ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО

РУССКАЯ КУЛЬТУРА И ФРАНЦИЯ

I

ХРАНИТЬ НАСЛЕДСТВО - ВОВСЕ НЕ ЗНАЧИТ
ЕЩЕ ОГРАНИЧИВАТЬСЯ НАСЛЕДСТВОМ
ЛЕНИН

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО

29-30

ЖУРНАЛЬНО-ГАЗЕТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
1 · 9 · МОСКВА · 3 · 7

GARDER L'HÉRITAGE —
NE SIGNIFIE PAS S'Y LIMITER
LÉNINE

LITERATOURNOE NASLEDSTVO

29/30

SOCIÉTÉ DE JOURNAUX ET DE REVUES (JOURGAZ)
1 · 9 · MOSCOU · 3 · 7

ОТ РЕДАКЦИИ

Настоящие три сборника «Литературного Наследства» посвящены разработке материалов, относящихся к литературным взаимоотношениям России и Франции в XVIII—XIX вв. Начало осуществляемого редакцией изучения русско-западных литературных отношений положено еще в 1932 г. «гётевским томом», и работа эта продолжается подготовкой к печати выходящего в недалеком будущем специального русско-английского сборника.

Методологическая важность изучения русского литературного процесса не в его национально-замкнутом разрезе, а в плане широкой европейской действительности подчеркнута в известных замечаниях товарищей И. Сталина, С. Кирова и А. Жданова по поводу конспекта учебника «Истории СССР»: «Нам нужен такой учебник истории СССР, где бы история Великороссии не отрывалась от истории других народов СССР—это во-первых, и где бы история народов СССР не отрывалась от истории обще-европейской и, вообще, мировой истории—это во-вторых».

Товарищ Сталин указывает на необходимость изучать весь процесс исторического развития России и отдельные его этапы в международном аспекте, как часть мировой истории, и делает, с одной стороны, ряд замечаний, идущих по линии указаний международной роли и положения русского царизма, русского капитализма, русской революции, с другой стороны—по линии роли и влияния западно-европейских революций и социалистического движения на формирование буржуазного революционного движения и пролетарского социализма в России.

В свете этих методологических указаний, в полной мере относящихся и к изучению русского литературного процесса, становится особо очевидной научная актуальность общей проблематики, положенной в основу настоящего издания.

В силу ряда исторических причин, литературные и общекультурные связи России с Францией в XVIII—XIX вв. были крепче, разностороннее и плодотворнее, чем с какой-либо другой европейской страной. Французская литература и социально-политическая мысль, французские буржуазные революции 1789, 1830, 1848 гг., Парижская Коммуна 1871 г., с одной стороны, глубокое действие, оказываемое, начиная с последней четверти XIX в., на французскую литературу и мысль русским романом и русским искусством, могучее воздействие Великой Октябрьской Социалистической революции, с другой,—все эти и другие явления и события определили многое и существенное в содержании и направлении движения культурного развития России и Франции на протяжении двух последних столетий. В общей истории международных культурных связей история творческого общения русской и французской мысли в XVIII—XIX вв. образует одну из наиболее содержательных по богатству своих материалов и наиболее важных по своему значению глав. И невозможно правильно понять и оценить смысл и даже общий характер ряда явлений в истории русской и французской культуры, оставаясь в рамках национально-замкнутого изучения этих явлений, игнорируя их взаимные связи и выделяя их из общеевропейского культурно-исторического процесса.

Несмотря на теоретическую очевидность этого положения, следует признать, что история литературных и общекультурных отношений России и Франции до сих пор остается областью малоисследованной. К изучению ее до сих пор обращались, как правило, лишь по частным поводам, в связи с отдельными именами и явлениями русской и французской литератур. В результате, наряду с достаточной фактической изученностью отдельных частных эпизодов истории франко-русских литературных отношений, остаются даже первично не обследованными целые разделы этой истории. До сих пор не было и нет ни одного сводного, обобщающего труда, систематизирующего прежние русские и французские разыскания, посвященные отдельным вопросам данной проблемы. Исключением является известная книга проф. E. Haumant: «La culture française en Russie». Но и эта книга, до сих пор сохраняющая свое значение наиболее солидного вклада в дело изучения франко-русских культурных отношений, является обобщающей, как это видно из самого названия, лишь по отношению

к одной части проблемы: она суммирует лишь разыскания и материалы, касающиеся воздействий французской культуры на русскую, и почти не затрагивает обратных влияний. Кроме того, книга E. Haumant вышла в свет в 1910 г., а все довольно многочисленные фактические материалы, опубликованные за последнее двадцатипятилетие русскими и французскими исследователями, остаются не только не суммированными в каком-либо труде, но и не сведенными воедино библиографически. Если, таким образом, в отношении систематизации уже накопленного материала—этого первоначального этапа всякой научной работы—сделано очень мало, то еще меньше сделано в направлении научного осмысления этого материала и разработки, на его основе, общей проблематики истории литературных отношений России и Франции. Здесь перед исследователями еще, действительно, непочатый край работы.

Крайняя недостаточность предварительных частных изучений проблемы не позволяет в настоящее время дать сколько-нибудь полную ее научную характеристику. Это обстоятельство в значительной мере определило характер, содержание и задачи настоящего издания. Цель его—привлечь внимание к одному из наиболее отстающих, но крайне важных участков нашего литературоведения, суммировать для отдельных вопросов ранее произведенную работу, дать в руки исследователя значительное количество новых архивных материалов и, опираясь на них, выдвинуть ряд новых исследовательских тем и установить ряд новых литературных связей России и Франции.

Подавляющее большинство публикуемых статей и материалов непосредственно связано с основной темой издания—выяснением русско-французских литературных отношений. Одновременно, редакция сочла целесообразным включить в издание также материалы, которые представляют несомненный научный интерес для изучения ряда крупнейших писателей Франции и которые, вместе с тем, раскрывают наши архивные богатства в отношении западных литератур. Таковы, например, некоторые впервые публикуемые тексты Вольтера, Ж.-Ж. Руссо, Бальзака, А. де Виньи, В. Гюго, Жорж Санд, Беранже, Золя.

В связи с предстоящим в 1939 г. 150-летним юбилеем Великой французской буржуазной революции, редакция сочла также необходимым расширить историко-литературные рамки настоящего издания и опубликовать в нем такой ценный и новый источник, касающийся истории этой революции и отношения к ней царизма, как донесения русского посла в Париже в период 1784—1792 гг., И. М. Симолина. Изучение этих исторических данных необходимо и для понимания тех литературных процессов и явлений конца XVIII—начала XIX вв., в которых отразилось отношение русского дворянства к революции.

Содержание каждого из трех томов издания таково:

Открывающие первый том две статьи—«Литературные взаимоотношения России и Франции XVIII—XIX веков» и «Французская литература и СССР»—дают общие вводные очерки, характеризующие основное содержание двухвековой истории взаимоотношений русской и французской литератур и те глубочайшие принципиальные изменения в этих отношениях, которые были внесены Великой Октябрьской Социалистической революцией.

В остальном, содержание первого тома образуют публикации материалов, хронологически относящихся к XVIII—началу XIX вв. и группирующихся вокруг трех основных тем: французской просветительской литературы, Французской буржуазной революции 1789 г. и, наконец, вызванной этой революцией общеевропейской феодальной реакции, главным идеологом которой явился Жозеф де Местр, долго живший в России и много писавший о ней.

Французская просветительская литература, оставившая столь глубокий след в истории русской культуры, представлена в трех публикациях—«Наследие Вольтера в СССР», «Литературная корреспонденция Блен де Сенмора в Россию» и «Письма иностранцев к И. И. Шувалову». Наиболее крупный научный интерес представляет первая публикация, показывающая, каким исключительным богатством вольтеровских фондов располагают наши архивные собрания. Среди ряда документов здесь печатаются две неизданные рукописи Вольтера большого историко-литературного интереса. Одна из них—ранний фрагмент трагедии «Дон Педро», написанный не каноническим для французской трагедии александрийским стихом, а неровными строками вольного стиха (152 строки), другая—«посвящение» трагедии «Олимпия» известному деятелю XVIII в. И. И. Шувалову. Основная ценность и интерес этого «посвящения» заключаются в том, что оно дает новый и чрезвычайно яркий материал по вопросу о взглядах Вольтера на драматургию Шекспира и сценическое искусство. Существенным пополнением известного до сих пор эпистолярного наследия Вольтера являются описание и публикация рукописного сборника 178 подлинных вольтеровских писем

к семье Даржанталь—Пон де Вейль—источник несомненной важности для изучения литературной биографии писателя. Здесь же публикуется и ряд других писем Вольтера к различным адресатам, а также письма к нему, содержащие, в частности, новые материалы для суждения о его интересах в области русской истории.

Две другие публикации, в которых воспроизводятся неизданные тексты Гельвеция, Даламбера, Галиани, Бюффона, а также различные материалы о Дидро, Вольтере, Бомарше, Ж.-Ж. Руссо, дают значительное количество новых документальных данных для изучения не только русского «вельможного вольтерьянства», но и литературной и общественно-бытовой жизни предреволюционной Франции, а также для характеристики отношения к России времен Екатерины II ряда крупнейших представителей французской образованности конца XVIII в.

Тема об отношении царизма к Великой французской буржуазной революции раскрывается на материале дипломатических донесений русского посла в Париже в период 1784—1792 гг., И. М. Симолина. Историческая ценность и научный интерес этих донесений заключаются, прежде всего, в том, что они дают весьма существенный и яркий материал, разоблачающий контрреволюционную роль правительства Екатерины II и ее политики в отношении Французской революции 1789 г.

Для изучения столь недостаточно еще известной нам литературы, созданной Французской революцией, большой интерес представляет публикуемый текст неизданной патриотической пьесы «Обеты гражданок» М.-А. Жюльена—яркий образчик санкюлотской драматургии.

Общеевропейская, в том числе и русская, феодальная реакция начала XIX в. показана в работе «Жозеф де Местр в России». В ней публикуется большое количество неизданных документов, существенно дополняющих известные уже прежде материалы о жизни и деятельности этого идеолога-публициста реакции. Привлеченные материалы позволяют раскрыть интенсивную деятельность, которую развил Жозеф де Местр в русском дворянском обществе Петербурга, где он прожил 14 лет, создавая в нем особую реакционную группировку, задачами которой были укрепление дворянских привилегий и крепостного права и пропаганда католицизма, как духовного орудия аристократической реакции.

Статьи и публикации второго тома освещают ряд вопросов о связях французской литературы с русской в XIX в. Работы эти неоднородны по своему характеру и целям, которые они преследуют. Если в отношении двух крупнейших имен русской литературы—Пушкина и Толстого, французские связи которых неоднократно и с разных сторон подвергались изучению в научной литературе, даны очерки, суммирующие основной материал фактических наблюдений, здесь накопленный, то изучение связей с русской жизнью и культурой двух крупнейших представителей французской литературы XIX в.—Бальзака и Гюго дано в работах, стремящихся к монографической разработке темы. Эти работы впервые в литературе широко охватывают тему русских интересов и русских связей Бальзака и Гюго, а также тему о творческом воздействии их на русскую литературу, привлекая для этого обширные архивные и иные материалы, существенно дополняющие русскими источниками биографические данные об этих писателях. По широте охвата темы и богатству привлеченного материала к этой же группе работ относится статья об Элиме Мещерском, впервые освещающая деятельность этого русско-французского поэта-романтика в области установления связей между официозной и славянофильской Россией 30-х годов и романтической Францией Людовика-Филиппа.

Другой раздел представляют статьи и публикации, посвященные более частным разработкам различных тем из области русско-французских литературных отношений XIX в. Такова, например, работа «Вяземский и Франция», дающая существенный новый материал для характеристики отношений Вяземского к французской литературе и журналистике 1810—1830 гг. и устанавливающая, в частности, на материале неизданного письма к редактору «Revue Encyclopédique»—первостепенного памятника русской политической литературы второй половины 20-х годов—его связи и единомыслие с либерально-конституционным движением во Франции. Сюда же нужно присоединить публикацию неизданных писем И. С. Тургенева к Флоберу, Э. де Гонкуру и Максиму Дю-Кану, дающих новый материал для суждений о взаимоотношениях русского романиста с названными писателями и являющихся ценным дополнением к тургеневскому эпистолярному наследию; далее, публикацию донесений секретного парижского агента русской политической полиции, Якова Толстого, в III отделение, представляющих значительный интерес исторического источника и, особенно, источника для изучения французской журналистики от середины 30-х годов XIX в. до начала крымской войны, в частности, ярко рисующих на идеологическом участке роль самодержавия, как «жандарма Европы»; наконец, публикацию писем

Золя, писем Тютчева о французских политических событиях 1870—1873 гг. и переписки Ж. Ришпена с Загуляевым.

Третий том, в отличие от первых двух, содержит значительное количество более мелких по объему и различных по своей общей тематике и характеру работ, которые образуют несколько разделов, или групп.

В первом разделе, продолжающем публикацию новых материалов, относящихся к изучению литературных отношений России и Франции, печатаются неизданные документы о работе Вольтера над «Историей России при Петре Великом», статья «Декабрист и Бальзак», выясняющая на неизданных материалах отношение Кюхельбекера к французскому романисту, и ряд других сообщений. Много новых значительных материалов для истории русско-французских общественных и литературных течений конца XVIII и начала XIX вв. дает публикация переписки, мемуаров и других документов из архивов Стурдзы-Эдлинг и баронессы Крюденер. Здесь, в частности, публикуются неизданные письма Бернардена де Сен-Пьера, Шатобриана, г-жи де Сталь, Бенжамена Констана и Сент-Бёва. Совсем почти не изученная, но чрезвычайно существенная для истории как русской, так и французской литератур тема о литературной активности французской эмиграции эпохи 1789 г. в России частично разрабатывается на архивных материалах «Строгановской академии».

Следующую группу образуют два больших обзора. Первый из них—«Изучение русской литературы во Франции»—является первым опытом социально-политической интерпретации французского руссоведения от середины XVIII в. до наших дней и, вместе с тем, первой на русском языке сводкой библиографических материалов по данному вопросу. Второй обзор—«Царская цензура о французских писателях»—впервые на обширном материале изучает основные принципы и практику царской цензуры в ее отношениях к крупнейшим французским писателям XVIII—XIX вв.

Значительную группу образуют, далее, публикации новых обнаруженных в архивах СССР текстов французских писателей. Публикуются, в частности, письма и другие автографы Ж.-Ж. Руссо, Шатобриана, Жорж Санд, Беранже и др.

Самостоятельный раздел третьего тома представляет группа искусствоведческих работ. Среди многих хранящихся в художественных собраниях СССР произведений искусства публикуется неизданная рукопись с миниатюрами знаменитого памятника французской аллегорической поэзии—«Романа Розы» (рукопись начала XVI в.), ряд других старофранцузских миниатюр (XIV—XVI вв.), портреты и портретная скульптура Мольера, Корнеля, Вольтера, Бюффона, Руссо и др., иллюстрации к произведениям Мольера, Лафонтена, Вольтера, сказкам Перро и др.

Все публикуемые документы, написанные на французском языке, печатаются в этих основных томах в русских переводах. Публикация текстов тех же документов на языке оригинала, в сопровождении кратких резюме исследовательских работ, составит содержание отдельного (четвертого) тома.

Издание приготовил к печати С. А. Макашин.

В заключение, редакция «Литературного Наследства» приносит свою благодарность всем учреждениям и лицам, оказавшим ей помощь в работе над этим изданием.

Особенно большую и ценную помощь редакция неизменно получала от директора Institut des études slaves, проф. André Mazon, принявшего непосредственное участие в издании, давшего ряд общих советов и указаний и способствовавшего получению редакцией из Франции целого ряда необходимых ей архивных, библиографических, иллюстративных и иных материалов. Значительную помощь оказал изданию также и г. Michel Gorlin, непосредственно проведший все необходимые многочисленные архивно-библиографические изыскания в парижских архивах, библиотеках и музеях.

За содействие в разыскании и предоставлении ряда художественных иллюстративных материалов редакция приносит благодарность директору Государственного Эрмитажа академику И. А. Орбели и М. В. Доброклонскому.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ РОССИИ И ФРАНЦИИ XVIII—XIX вв.

Статья С. Макашина

В истории развития европейской культуры Франции принадлежит особая роль. Она оказала наиболее глубокое и длительное культурное воздействие почти на все другие страны Запада. На протяжении столетий (за исключением эпохи Ренессанса, когда первенствовали итальянские культурные влияния) Франция была подлинной культурной метрополией Европы, Париж—признанной столицей европейского мира, французский язык—единственным могущим претендовать на положение международного.

В числе других европейских стран, Россия многое взяла от великой культуры французского народа и тесно связана с ней. В то же время русский народ выработал свои самобытные культурные ценности мирового значения и щедро вернул свой долг Франции. Длительные и плодотворные общения русской и французской мысли на протяжении последних двух столетий образуют одну из наиболее содержательных глав в истории международного культурного сотрудничества нового времени. Нам предстоит ознакомиться с основным содержанием двухвековой истории взаимоотношений русской и французской литератур и наметить главные этапы этого длительного культурного общения.

Сильнее, безраздельнее всего культурное значение Франции сказалось в европейской жизни на рубеже XVII—XVIII вв. «В начале XVIII столетия французская литература обладала Европою,—писал Пушкин.— Она должна была иметь на Россию долгое и решительное влияние»[1]. Это было обусловлено рядом причин.

На протяжении XVII столетия Франция создает великую по своей общественной значимости литературно-художественную культуру; целое «созвездие гениев» (Пушкин) представляет ее—Корнель, Паскаль, Боссюэт и Фенелон, Буало, Расин, Мольер и Лафонтен. Культура эта опирается на сильную централизованную государственность, на социальное господство дворянства, утратившего былую феодальную независимость, но сохранившего свои сословные привилегии, на существование политически еще бесправной, но экономически уже крепкой буржуазии, весьма активно участвующей в идеологической жизни страны. Наличие развитых буржуазных элементов во французской культуре времени Людовика XIV и кардинала Ришельё определило ее более прогрессивный, передовой характер по сравнению с большинством других стран континентальной Европы, где все еще господствовали феодальные отношения. А то обстоятельство, что культура эта в известной мере была еще

феодальной, облегчало усвоение ее аристократическим обществом всей остальной Европы, в том числе, разумеется, и России[2].

В силу этих же причин, экономически более развитые и передовые страны той эпохи—Голландия и Англия—не могли, однако, соперничать с полуфеодальной Францией в отношении международного размаха и силы ее культурных влияний. И в Голландии—«образцовой капиталистической стране XVII века», и в Англии, установившей господство буржуазной олигархии из земледельцев, купцов и банкиров, новая буржуазная культура развивалась в таких односторонних формах и в среде настолько еще чуждой социальному строю остальной Европы, что ни та, ни другая не могли иметь решающего международного влияния. Франция одна была достаточно передовой, чтобы импонировать другим странам, и еще достаточно дворянско-монархической, чтобы быть им понятной и доступной.

Таковы были исторические причины, определявшие для рубежа XVII—XVIII вв. культурное первенство Франции в Европе.

Для России это была эпоха, когда имевшие уже большую давность процессы экономического развития, стихийно вовлекавшие хозяйственно и культурно отсталую страну в орбиту европейского исторического движения, получили в преобразовательной деятельности Петра I государственное признание и мощный толчок для своего дальнейшего роста. Прорубив для России «окно в Европу», Петр I, «не останавливаясь перед варварскими средствами борьбы против варварства»[3] византийско-феодальной Руси, начал энергично европеизировать весь государственный строй страны, что, в свою очередь, неизбежно влекло за собой европеизацию всех сторон культурной жизни, в том числе и литературы.

Однако, политические задачи требовали на первых порах от русских людей, приобщавшихся к европейской образованности, не столько усвоения каких-либо общих идей, которые были созданы Францией, сколько овладения техническими познаниями и навыками в различных областях практической деятельности. По выражению Пушкина, «Россия вошла в Европу как спущенный корабль, при стуке топора и при громе пушек»; войны и пафос государственной и хозяйственной стройки определили своеобразие петровского западничества—взгляд на просвещение, в первую очередь, с точки зрения его непосредственной, практической пользы, установку на освоение передовой западной техники, что, в свою очередь, обусловило и характер преимущественных иностранных воздействий в это время. Преобладают влияния буржуазной Голландии и Англии. К этим странам тяготеют и личные симпатии Петра, туда он направляет дворянскую молодежь для изучения «навигацкой науки», инженерного искусства, военного дела и т. п. Наоборот, усвоение господствующей в монархической Европе культуры дворянской Франции происходит с трудом и очень медленно. Утонченный светский лоск парижско-версальского придворного быта был еще совершенно не к лицу «жантильомам российской Европии», только-что, по царскому приказу, сбрившим «московские» бороды и с трудом осиливавшим науку «политеса» на голландско-немецких ассамблеях Петра. Идеи французской литературы, образованности, государственности «великого века» были еще мало доступны умственному кругозору российского дворянства, а внедрение этих идей в русскую почву осложнялось неразвитостью литературного языка, который с большим трудом мог вложить в свои архаические церковно-славянские формы новое творчество французов XVII в. Тем не менее, некото-

рые литературно-идеологические заимствования из Франции имеют место и в это время. Укажем хотя бы на интересный, но вовсе еще не изученный факт зарождения в петровское время довольно интенсивного русского интереса к творчеству дворянского социального утописта Фенелона, этого крупнейшего представителя французской оппозиционной литературы на рубеже XVII и XVIII вв. Первые из многочисленных русских переводов его «Похождений Телемака» относятся ко времени Петра, который, кстати сказать, и сам проявлял интерес к этому роману. Интерес к Фенелону сохранялся в нашей литературе на протяжении всего XVIII в. и, через Тредиаковского, Державина, Фонвизина, Радищева, Карамзина, дошел и до Пушкина[4].

Дворянская реакция, сменившая «буржуазную» политику царствования Петра I, в сильнейшей степени содействует обращению российского дворянства, или, по терминологии эпохи, «шляхетства», к монархической Франции. Как это обычно бывает в подобных случаях, изменениям подвергается, прежде всего, внешность; дворянско-монархическая культура Франции воздействует прежде и осязательнее всего своей бытовой стороной; в царствование Анны Иоанновны делаются уже первые организованные усилия привить французские культурные формы «высшим» слоям дворянского общества. Важным этапом здесь явилось основание Шляхетного кадетского корпуса (1732), призванного быть первым рассадником русских дворян европейской формации. Но только при Елизавете, когда представители интересов дворянской массы оказались непосредственно у власти и когда русское дворянство в целом располагало уже своей культурной силой—интеллигенцией, началось сознательное усвоение французской культуры. Но и теперь процесс этот не мог пройти безболезненно. Непрекращающийся приток новых людей из среднего, провинциального, глухого шляхетства в высшие слои знати постоянно поддерживал «национально-самобытные» черты в высшем вельможестве и способствовал сохранению в нем элементов старой, феодальной культуры допетровской Руси. Даже в конце XVIII в. (весной 1785 г.) гр. Сегюр, французский посол при петербургском дворе, застал в нем немало лиц, «принадлежавших скорее времени московских бояр, чем царствованию Екатерины»[5].

Тем не менее, именно в это царствование происходит постепенно то приобщение русского дворянства к французской культуре и нравам, которое достигло апогея в первую половину царствования Александра I, что так классически изобразил в «Войне и мире» Толстой. Выше этого бытовая и языковая «галломания» дворянского общества в России уже не поднималась, но традиции ее сохранялись долго, и еще во второй половине XIX в. умение говорить по-французски было необходимым признаком принадлежности к «хорошему обществу».

Традиционное мнение о пленении русского дворянства второй половины XVIII—первого десятилетия XIX вв. французской культурой верно лишь в разрезе его внешнего быта. Действительно, из всех проявлений французской дворянско-монархической культуры наибольшее влияние на Россию (как и в остальной Европе) оказали правила великосветского общежития с их всеобъемлющим кодексом поведения. Но, разумеется, этим далеко не ограничился процесс культурного воздействия Франции на Россию. Усвоение бытовых форм придворно-монархической Франции и, особенно, французского языка являлось для русского дворянства одновременно и средством своего классового утверждения и начальным

этапом усвоения французской культуры в ее высших—политических, юридических, философских и художественных—проявлениях.

Этот сложный процесс отнюдь не сводился к простому заимствованию чужого. Силы исторического развития, втягивавшие отсталую Россию в орбиту экономического и культурного развития Запада, были огромны. Процессы петровской культурной реформы, ломавшей вековые устои феодальной московской Руси, происходили, в силу ряда причин, с исключительной интенсивностью, быстротой и, одновременно, неравномерностью. Россия проходила те же стадии социально-экономического развития, что и страны Запада, но шла с опозданием, в окружении высокоразвитой культуры других европейских стран. Отсюда необычайная «сомкнутость» этапов культурно-исторической жизни нашей страны и стремительность в прохождении Россией стадий европейской цивилизации. Отсюда же внутреннее сходство ряда самостоятельных литературных процессов и идейных тенденций, возникавших на русской почве, с теми, которые имели место на Западе,—сходство, которое и делало возможным внешние заимствования. Отсюда, наконец, крайняя пестрота этих заимствований в русской литературе XVIII в., в частности, сосуществование в ней различных по времени элементов французской культуры XVII—XVIII вв. и новые своеобразные соотношения этих элементов.

Наиболее широко была использована в русской литературе XVIII в. художественная система французского классицизма, господствовавшая тогда в литературе всей монархической Европы. Однако, в то время, когда в России начиналось ознакомление с этим литературным стилем абсолютистского государства, уже зародилась и росла новая Франция—Франция буржуазного просвещения, подготовившая 1789 год.

Представители старшего поколения французских просветителей—Монтескьё и Вольтер не порывают еще с придворно-дворянской культурой,—они завоевывают ее изнутри и преобразовывают для своих целей. Только на последнем своем этапе демократическо-плебейская часть просветителей, во главе с Руссо и Дидро, решительно разрывает с придворно-монархическим наследием XVII в. На первом же этапе деятели просвещения еще стоят на страже придворно-дворянской эстетики, хотя Монтескьё приемлет уже не столько Расина или Корнеля, сколько Кребийона-старшего, а Вольтер в «Заире» уже сближает классическую трагедию с мещанской драмой.

Дворянско-монархическая оболочка французской литературы XVIII в., уже в значительной степени буржуазной по своей идеологической сущности, в сильнейшей степени способствует усвоению этой культуры на русской почве, и в Россию французская поэзия почти с самого начала приходит, уже насыщенная элементами просвещения. Только молодой Тредиаковский, выученик Сорбонны, вернувшись из Парижа, переводит в 1730 г. галантно-аллегорический роман Поля Тальмана «Путешествие на остров любви» и тем самым культивирует еще чисто придворные формы французской литературы XVII в. Но в том же году Кантемир уже переводит «Разговор о множестве миров» Фонтенеля—самого блестящего популяризатора научных и антирелигиозных идей в подготовительный период французского просвещения[6], а несколько позднее осуществляет не дошедший до нас перевод «Персидских писем» Монтескьё—произведения, столь своеобразно сочетавшего просветительскую критику абсолютистской монархии Людовика XIV с идеологией феодально-аристократической «фронды».

В качестве дипломата Кантемир долго жил в Лондоне и Париже, он общался там с деятелями раннего французского просвещения, дружил с Фонтенелем, Монтескьё и Мопертюи, переписывался по вопросам истории с Вольтером, изучал философию Декарта и политические сочинения Боссюэта, пристально следил за французской поэзией и даже сам пытался участвовать в ней[7]. А его салон в Париже знакомил литературную Францию с мало известной тогда молодой русской литературой. Французская культура, несмотря на критическое отношение Кантемира к некоторым ее сторонам, несмотря на осложняющее наличие сильных английских и итальянских влияний, наложила глубокий отпечаток на его мировоззрение и помогла ему стать в уровень с крупнейшими деятелями европейской образованности. Но практически культуру эту он воспринимал с точки зрения русского просвещенного дворянина, т. е. все же в достаточной мере ограниченно. «Дорогое Кантемиру западное просвещение,—замечает Плеханов,—не заронило в его душу ни тени сомнения относительно правомерности крепостной зависимости крестьян. Зависимость эта представлялась ему чем-то вполне естественным»[8].

Как писатель, Кантемир испытал на себе сильное воздействие французского и итальянского классицизма. Своими сатирами он первый насаждает этот стиль на русской почве, и Пушкин недаром именно «со времен Кантемира» намеревался проследить историю влияния «французской словесности на русскую литературу»[9]. Кантемир сам указал нам своих учителей. В предисловии к первой сатире «На хулящих учение» он признавался: «Я в сочинении своих [сатир] наипаче Горацию и Боалу, французу, последовал, от которых много занял, к нашим обычаям присвоив».

Каким именно образом Кантемир делал это, показывает Плеханов на материале сравнения пятой кантемировой сатиры с восьмой сатирой Буало, в подражание которой она была написана: «Произведение Буало,— говорит Плеханов,—несравненно выше произведения Кантемира в смысле формы. Но при этом оно беднее перед его конкретным, прямо из жизни взятым содержанием»[10]. Таким образом, пример Кантемира, которого Белинский и Чернышевский считали основоположником «сатирического направления» в русской литературе восемнадцатого века, показывает, что ранние русские «просветители», несмотря на свое откровенное «ученичество» у Запада, отнюдь не были простыми подражателями своим учителям, а использовали их принципы и идеи применительно к своей отечественной почве, насыщая их богатым конкретным содержанием современной русской действительности.

Широкое восприятие французской культуры начинается, как указывалось, в царствование Елизаветы, в 40—50-е годы, в пору завершения движения русского дворянства к власти, в период его бурного подъема, его культурной и политической экспансии.

Сферой притяжения и восприятия французских влияний является, в первую очередь, двор императрицы, играющий роль не только политического центра, но и культурного представительства абсолютной власти, призванного демонстрировать ее величие и мощь. Необходимые для двора и высшей знати дворянской монархии блеск и пышность целиком заимствуются из Франции, безоговорочно признанной арбитром художественного вкуса. Дворцы при Елизавете строит Растрелли — итальянец по

И. В. СТАЛИН И РОМЭН РОЛЛАН
Москва, 28 июня 1935 г.
Фото - снимок Г. Петрова

крови, но француз по культуре; на потребу двора и знати из Парижа в изобилии рекрутируются художники, архитекторы, литейщики, среди которых приезжают и работают в России такие выдающиеся мастера, как художники Токке и Лагрене, миниатюрист Самсуа, скульптор Жилле, архитектор Деламот и др. Из Франции же заимствуются придворные формы поэзии—торжественные оды, «надписи», мадригалы, входившие необходимым элементом в ритуалы дворцовых празднеств. Верхушка дворянства, с ее стремлением ко двору, начинает усваивать нормы французского светского поведения. Входят в моду французский язык, французские книги, французские гувернеры. Французам подражают в обстановке, одежде, нравах.

Непосредственные внешнеполитические интересы (предстоящее вступление России в семилетнюю войну в союзе с Францией), а еще более необходимость политики идеологического укрепления дворянской монархии, поднятия ее престижа в странах Запада, где «северную империю» все еще рассматривали, как «империю варваров», заставляют правящие круги озаботиться установлением непосредственного культурного контакта с Францией. Ограниченная и невежественная Елизавета, хотя и воспитанная на французский лад, не могла, подобно Екатерине, претендовать на роль «друга философов». Культурный престиж монархии на Западе защищают просвещенные вельможи, влиятельнейшим и типичнейшим среди которых является, для данного времени, И. И. Шувалов. По выражению его биографа, «он был чем-то вроде неофициального русского посла при той общеевропейской литературной державе, которая имела Париж своей столицей и задавала тон остальной Европе»[11]. Шувалов одним из первых завязывает непосредственные связи с европейскими писателями. Он выступает инициатором в области вовлечения в политику русского двора деятелей французского просвещения, в первую очередь Вольтера, пишущего по заказу Елизаветы (фактически Шувалова) «Историю России при Петре Великом». Человек по-европейски образованный, посещавший «философические гостиные» маркизы дю Деффан и г-жи Жоффрен, находившийся в деловой и дружеской переписке с Вольтером, Гельвецием, Даламбером, Бюффоном и другими, И. И. Шувалов—«северный Меценат», как его называли в Европе,—несомненно, способствовал украшению европейским орнаментом фасада елизаветинской монархии и подготовил дворянско-придворный «siècle des lumières» Екатерины II.

Сложнее складывались отношения к французской культуре за пределами узкой сферы придворно-монархического быта и политики елизаветинского времени.

Величайший культурный деятель этого времени, гениальный русский ученый и мощный строитель национального языка и литературы, Ломоносов, непосредственно почти не связан с Францией (хотя в его торжественных одах имеются отдельные тематические и текстовые параллели с Малербом, Ж.-Б. Руссо и др.). Тем не менее, этот поэт-ученый, утвердивший в русской литературе господство классического стиля, в сильнейшей степени содействовал своей теорией и практикой усвоению целого ряда эстетических и жанровых норм французского классицизма на русской почве. Утвержденный им поэтический стиль удержался в России едва ли не дольше, чем где-либо, и окончательно заколебался лишь в начале XIX в. Весь этот период развития русской словесности проходит под знаком господства французских идей, и можно сказать, что воздействие

художественной системы, созданной Буало и Расином, явилось наиболее мощным проявлением культурных влияний Франции на всем протяжении нашей литературной истории. Но это обстоятельство не лишает, разумеется, допушкинскую литературу ни ее самостоятельности, ни оригинальности. Традиционное мнение о подражательности всего русского классицизма, о его «неорганическом», «импортном» характере отражает инерцию домарксистских методов изучения этого вопроса[12].

Классицизм возник в России в результате социальных причин, во многом аналогичных тем, которые обусловили зарождение и развитие этого стиля во Франции. В условиях отсталости русского экономического и культурного процесса, неизбежным оказалось заимствование ранее сложившихся и родственных поэтических форм для развития собственной дворянской литературы. Но, заимствуя у своих старших французских учителей те или иные идеи и образы, русская поэзия приспособляла их к своим специфическим условиям и особенностям национального развития. Нельзя поэтому говорить об «искусственности», «неорганичности» русского классицизма, о голой подражательности его. Восприятие системы французского классицизма было подготовлено и вызвано собственными процессами русской литературы XVIII в., обусловившими и глубокую переработку этого литературного стиля на русской почве.

По замечанию исследователя, французский классицизм утратил в России свою тонкую изысканность и остроумие и вместо того включил в себя много элементов «готической грубоватости и нескладности»[13]. Но оригинальность русской литературы периода классицизма отнюдь не ограничивается теми формальными новшествами и тем огрублением стиля, которые были неизбежны уже в силу отсутствия развитой нормы литературного языка. Оригинальность эта, в первую очередь, измеряется степенью реализма нашей литературы, но не только этим. Торжественные оды Ломоносова на темы русского культурного и хозяйственного строительства, не будучи реалистическими, вполне оригинальны и национальны в своем пафосе, непосредственно порожденном русской историей, русской политикой. «Отечеству подать довольство, честь, покой и просветить народ», ради чего «нам сносны все труды и не ужасны смерти», — вот лозунг национально-просветительной патетики, пронизывающей творчество Ломоносова. Прямое же, реалистическое отражение конкретной русской действительности в том «сатирическом направлении», которое, по словам Чернышевского, «составляло самую живую сторону нашей литературы» XVIII в., сообщает подлинную оригинальность, несмотря на имеющиеся в них элементы формальной и жанровой зависимости от французских образцов, и сатирам Кантемира, и очеркам Новикова, и комедиям Сумарокова и Фонвизина, не говоря уже о «Путешествии» Радищева.

Огромная работа, проделанная русской литературой эпохи классицизма над выработкой и организацией литературного языка, проходила, в основном, также вполне самостоятельно. С самого начала XVIII в. происходил стихийный и бурный процесс европеизации нашего словаря, особенно обогатившегося в области быта и повседневного обихода словами французского происхождения[14], но формированию русского литературного языка непосредственный французский опыт мало чем мог помочь. Французскому слогу трудно было подражать, как ввиду резкого отличия грамматического строя его от русского языка, так и в силу огромной, вначале, разницы между высокоразвитой французской и примитивной

русской языковой культурой. И нет большего несходства, чем, например, между идеально гладким языком творца «Федры» и стремившегося итти по французскому пути «российского Расина», Сумарокова. Еще более наглядно эта разница выступает при сопоставлении гладких и правильных французских стихов Тредиаковского с его русскими поэтическими опытами, в которых на каждом шагу ощущается затрудненность экспериментатора, еще лишенного собственной языковой традиции. Труднейшей задачи создания литературного русского языка наш классицизм не разрешил, оставив ее Карамзину, Жуковскому и Пушкину. Но основы были заложены, и вековая работа русской мысли в области языкового строительства была исключительно плодотворна. Особенно замечательна в этой области деятельность Ломоносова. Как и Тредиаковский, и Сумароков, и другие поэты XVIII в., Ломоносов в своей работе над языковой системой, разумеется, в какой-то мере опирался на богатую теоретическую и практическую разработку вопросов литературного языка и стиля в эстетике французского классицизма. Еще во Фрейбурге он изучал Словарь Французской академии и работы крупнейшего теоретика эпохи, Вожлà. Организация французского литературного языка в поэтической системе классицизма, несомненно, служила и для него некоторой гипотетической нормой, к которой нужно было, в меру структурных особенностей русского языка, стремиться и у нас[15]. Но, хотя ломоносовская иерархия «трех штилей» литературного языка и связывается, в конечном счете, с французской дворянско-монархической эстетикой, тот широкий доступ, который Ломоносов открыл народному языку, в его разнообразных проявлениях, преимущественно перед языком дворянской гостиной, совершенно противоречил духу французского классицизма и был абсолютно чужд эстетическому катехизису не только Буало, но и Вольтера.

Значительно более определенны и широки французские связи русского классицизма у деятелей второго его этапа—сумароковского. Сумароковская школа оформляется в конце царствования Елизаветы, в пору завершения творчества Ломоносова и в ожесточенной борьбе с ним и с его направлением. Она господствует в основном примерно до 1780 г. и включает, кроме самого Сумарокова, В. Майкова, Хераскова, Новикова, Фонвизина и до десятка других более мелких имен. Открытая приверженность Сумарокова французским эстетическим и жанровым нормам слишком известна. В «Наставлении хотящим быти писателями» Сумароков перечисляет имена французских классиков:

Корнелий и Расин, Депро и Молиер,
Де ла Фонтен и где им следует Волтер
. . . .
Мальгерб, Русо, Кино, французов хор реченный—

чтобы завершить этот перечень призывом:

Последуем таким писателям великим.

Сумароковский классицизм опирается на хорошее, непосредственное знакомство с французскими образцами и выражает разностороннее движение богатой дворянско-аристократической культуры третьей четверти XVIII в. Вольтер для них, прежде всего,—законодатель вкуса и литературных приличий, а потом уже враг суеверия и религиозного фанатизма. Монтескьё близок им, прежде всего, своей идеей чести, как основы дворянской этики. В его учении они ищут подкрепления своей аристокра-

тической независимости перед двором и вельможами и в то же время обоснования своим стремлениям ограничить в пользу просвещенного и «добродетельного» дворянства произвол монарха и его сатрапов. Свою миссию писатели сумароковской группы видели в воспитании социального самосознания дворянства, в пропаганде его культурных идеалов и стремились в своей поэтической практике возможно полнее отразить все интересы этой группы. Отсюда богатство и разнообразие поэтических жанров, заимствуемых «сумароковцами» из поэтики французского классицизма, в противоположность «одическому» однообразию Ломоносова. Сумароков, в частности, в сильнейшей мере способствует утверждению в России французского театра, в лице его корифеев Мольера, Корнеля, Расина, но также и Вольтера. Начиная с Сумарокова и вплоть до начала XIX в., русская трагедия, не теряя своего самостоятельного развития, неразрывно связана, вместе с тем, с именами великих французских трагиков[16]. Исключительность же русской литературной судьбы Мольера общеизвестна. Проникнув в Россию еще в конце XVII в., Мольер именно Сумароковым—его страстным поклонником, предсказывавшим «Тартюфу» «бессмертие, доколь пребудет век» и подражавшим великому французу в своих комедиях, вводится в русскую литературу и на русскую сцену и с тех пор и до наших дней остается там в качестве самой живой, самой активной, самой плодотворной силы французского театра[17].

Сумароков и его последователи образуют центральную группу в русской дворянской культуре XVIII в. Но усвоение идей французского просвещения в первые годы царствования Екатерины происходит и помимо сумароковской группы, и притом с необыкновенной быстротой, которая представляется, чаще всего, обратно пропорциональной глубине и органичности этого усвоения.

На протяжении 60—80-х годов получает широкое развитие одно из наиболее ярких культурно-бытовых явлений XVIII в.—знаменитое русское вольтерьянство. Казанова, посетивший Россию в половине 60-х годов, пишет в своих «Мемуарах»: «Говоря о французских книгах, я разумею сочинения Вольтера, которые для московитов представляют всю французскую литературу»[18]. Направление это было, конечно, весьма поверхностным, о чем свидетельствует уже самая широта его распространения: «вольтерьянской» считала себя чуть ли не вся масса русского грамотного дворянства, и даже в провинциальном захолустье «раздавались насмешки над религией, хулы на бога, эпиграммы на богородицу». Но эти насмешки и «свободомыслие» переплетались и превосходно уживались с унаследованной от отцов патриархальной церковностью и причудами дикого барства, принимая иногда самые уродливые формы. Разумеется, для бóльшей части русских «вольтерьянцев» подлинный Вольтер был в полной мере неизвестен и недоступен. Вольтеровские ирония и насмешка усваивались не столько в идеологическом плане, сколько в качестве одного из необходимых элементов модного светского обихода и европейской образованности[19].

Широкое развитие дворянского «бытового» вольтерьянства в значительной мере поддерживалось официальным поощрением и официальным примером со стороны «правительственного» и «вельможного» вольтерьянства. Пример подавала сама Екатерина. Но если ее прославленная всеми верноподданническими и буржуазными историками «дружба с философами» была в значительной мере саморекламой и одним из методов ее политиче-

ской тактики, то среди ее вельмож и приближенных нашлись такие, которые сумели придать своим официально-должностным вначале сношениям с «республикой литературы» формы более серьезного, искреннего и плодотворного сотрудничества.

За исключением одного Сумарокова[20], круг русских корреспондентов и знакомых Вольтера был замкнут средой придворной и правительственной знати. С Вольтером лично общались и переписывались русский посланник в Париже, гр. М. П. Бестужев-Рюмин (1688—1760), через которого велись переговоры с Вольтером о написании «Истории России», русский посол в Голландии и Париже кн. Д. А. Голицын, главный устроитель поездки Дидро в Петербург, а также инициатор проекта перенесения печатания Энциклопедии в Россию, лицемерно поддержанного Екатериной[21]; упомянутый выше И. И. Шувалов, снабжавший «фернейского отшельника» ценными документами для «Истории Петра Великого»; гр. К. Г. Разумовский (1728—1803), канцлер гр. М. Л. Воронцов (1714—1767), его племянник и также будущий канцлер граф А. Р. Воронцов (1741—1805), дипломат, поэт и музыкант кн. А. М. Белосельский-Белозерский (1752—1809), корреспондент Шувалова, посланный Вольтеру для «помощи» в его работе над «Историей России», Б. М. Салтыков (1723—1808), президент Академии наук кн. Е. Р. Дашкова (1743—1810), известный своими связями со всем миром энциклопедистов и своими безупречными французскими стихами, принимавшимися современниками за стихи самого Вольтера, гр. Андрей П. Шувалов (1744—1789), блестящий царедворец екатерининского времени, дипломат кн. Н. Б. Юсупов (1750—1831), которому Пушкин посвятил свое послание «К вельможе», упомянув в нем и о Вольтере, и ряд других.

Русское вельможное дворянство, не ограничиваясь личными связями с одним Вольтером, переписывалось также с Дидро (И. Бецкий, Е. Дашкова, Д. Голицын, Г. Орлов, С. Нарышкин), с Руссо (Гр. и Вл. Орловы, К. Разумовский), Гельвецием и Даламбером (И. Шувалов, Д. Голицын, Е. Дашкова).

Дворянско-буржуазная литература, отечественная и иностранная, создала пышную легенду о «Великой Екатерине» («Catherine la Grande»). Нельзя, конечно, отрицать у нее наличия достаточно живого, субъективного интереса к идеям французских просветителей и ее начитанности в этой области. У себя на родине она получила незаурядное для своего времени воспитание с модным тогда философским уклоном. Привезенная в пятнадцатилетнем возрасте в Россию и живя здесь в уединении, она, по собственному выражению, «питала свою душу серьезным чтением», читала Плутарха, Цицерона, Платона, более же всего Монтэня, Вольтера, Монтескьё, Бэля, а с 1751 г. и Энциклопедию. Но эти свои знания, как и свой личный интерес к последнему слову европейской культуры, Екатерина, став императрицей, поставила на службу политическим интересам, не имевшим ничего общего с сущностью тех теорий, которым она, на словах, так сочувствовала. «Покровительство» французским просветителям великолепно служило целям европейской рекламы «просвещенного самодержавия», в искусстве которой Екатерина не имела себе равных. И нужно признать, что ряд современников невольно способствовал этой рекламе и, сам того не сознавая, творил легенду о «философе на троне». Вольтер расточал перед ней свою лесть—«земных богов напиток». Дидро, этот «посол и полномочный министр энциклопедической республики» (Вяземский), не

ограничившись перепиской, приехал на склоне своих дней в Петербург, обольщаемый обещаниями издать под эгидой «северной Семирамиды» второе, свободное от цензурных искажений, издание Энциклопедии и добросовестно думая своими советами помочь ей облагодетельствовать свой народ. Даламбер, хотя и не простивший никогда Екатерине смерти Петра III и отклонивший предложение быть воспитателем Павла Петровича, был с ней в дружеской переписке. Гримм, «странствующий агент французской философии» (Пушкин), был в полном ее распоряжении и даже поступил позднее на ее дипломатическую службу.

Пушкин назвал эти сношения Екатерины с философами ее столетия «отвратительным фиглярством», но нужно признать, что нигде это фиглярство не проявилось с бóльшим лицемерием и цинизмом, чем в попытках императрицы заручить на свою сторону Ж.-Ж. Руссо, самого непримиримого философа того времени, которого она ненавидела и чьи книги запрещала к распространению в своей империи. Нескрываемый демократизм «женевского гражданина», его плебейская честность и независимость заставили Екатерину благоразумно уклониться от риска непосредственного обращения к нему. Но инспирированный ею Григ. Орлов приглашает автора только-что запрещенного Екатериной «Эмиля» в Россию, предлагая ему поселиться в Гатчине и соблазняя его блестящими предложениями. Волее бескорыстно приглашал Руссо его «усердный почитатель», гр. К. Г. Разумовский, намеревавшийся предоставить в распоряжение философа свое украинское имение и подарить ему свою знаменитую библиотеку. Когда же Руссо решительно отказался приехать в Россию, Екатерина через Дидро предложила ему пенсию и единовременную выдачу 100.000 франков, не требуя уже взамен его приезда. Это циничное предложение было, разумеется, сделано с расчетом на огласку, и Руссо справедливо расценил его, как попытку Екатерины «обесчестить» его имя в глазах потомства[22]. Известны также откровенные отзывы Екатерины о Дидро, «ученицей» которого она любила себя называть. Ознакомившись с его замечаниями на ее «Наказ»—наивную компиляцию из Монтескьё, Вольтера, Локка и Беккарии,—оставшийся без всякого применения в России, она раздраженно писала Гримму: «Это—сущая болтовня, в которой нет ни знания обстоятельств, ни благоразумия, ни предусмотрительности. Если бы мой Наказ был во вкусе Дидро, он должен был бы перевернуть в России все вверх дном». В таком же духе она отзывалась и о своих личных петербургских беседах с философом. Но, несмотря на этот разрыв между либеральным словом и крепостническим делом, в истории русско-французских культурных отношений «правительственное вольтерьянство» 60—70-х годов сыграло и свою положительную роль (приобретение личных библиотек и рукописей Вольтера и Дидро, деятельность последнего по разысканию и покупке для Екатерины, очень мало понимавшей в искусстве, ряда ценных коллекций картин, составивших ценнейший вклад в наш Эрмитаж, и др.).

Сочинения французских писателей в огромном количестве ввозились в Россию, произведения Вольтера, Дидро, Монтескьё и даже Руссо в изобилии появлялись и в русских переводах, а популярный «Дух законов» мог даже служить предметом целого университетского курса[23]. С другой стороны, либеральные заявления Екатерины и «покровительство», оказывавшееся ею теснимым и преследуемым во Франции писателям и философам, вызывали у последних интерес к России, что, в свою очередь,

способствовало более углубленному и непосредственному ознакомлению французов с нашей страной. Самым ярким фактом является здесь участие целой группы французских писателей и ученых, в том числе и Вольтера, в закрытом конкурсе Вольного экономического общества в 1765 г. на представление сочинений, разрабатывающих тему о крестьянской собственности в России. Из Франции было представлено 21 сочинение, и первую премию получил француз Béardé de l'Abbaye, сторонник уничтожения крепостного права[24].

О французском интересе к России свидетельствуют и другие факты. Французский историк Шарль Левек, проживший в Петербурге семь лет, на основе собранных им здесь материалов выпускает в 1782—1783 гг. свою пятитомную «Histoire de Russie»—первый, если не считать Вольтера, серьезный французский труд по истории России, в котором уделено большое внимание современности, в том числе и новейшей русской литературе. Экономику и быт России тщательно изучает, готовясь к поездке в северную столицу и уже находясь в ней, Дидро. С законодательством России приезжает знакомиться на месте ученый-юрист д'Агессо. Посещает Россию и знаменитый Рэналь, собравший здесь материал об ужасающем положении крепостных и сумевший позднее разоблачить Екатерину. С широким планом экономических реформ явился в Петербург известный физиократ Мерсье де Ла Ривьер, но, услышав резкую отповедь Екатерины в ответ на свои радикальные советы о превращении феодально-деспотической монархии в буржуазное общество, быстро покинул Россию. Молодой Бернарден де Сен-Пьер, наивно уверовавший, что в империи «северной Семирамиды» наступил «золотой век» для философов и открылась широкая возможность для социально-политического экспериментаторства, помчался в Россию в надежде основать где-то на территории современного Казахстана свою «республику свободных общин», нечто вроде будущих фаланстер Шарля Фурье. Но Екатерина не захотела даже разговаривать с наивным утопистом, а Гр. Орлов счел его не вполне нормальным. Однако, плодом пребывания автора «Поля и Виргинии» в Москве и Петербурге явились его описания России и ее быта—первое «русское путешествие» французского писателя[25].

Еще в 1761 г. в Тобольск через Петербург ездил астроном аббат Шапп д'Отрош, чтобы наблюдать прохождение Венеры через диск солнца. Вернувшись во Францию, он написал и издал в 1768 г. книгу «Relation d'un voyage en Sibérie», в которой, наряду с результатами своих наблюдений над небом, дал яркую картину страшной действительности крепостной России. Екатерина была сильно возмущена этой книгой. Не имея возможности расправиться с ученым-аббатом, как она расправлялась со своими домашними «врагами», она прибегла к орудию печати. Не сумев заставить Фонвизина и Болтина написать возражения Шапп д'Отрошу, она сама написала ответный ему памфлет под заглавием «Антидот».

Политика либеральных фраз и официального «вольтерьянства» была кратковременна. Широкая волна крестьянских восстаний 1773—1774 гг. положили конец и либеральной саморекламе Екатерины, и вольнодумству дворянских просветителей, а появление в 70-х годах первых русских «разночинных», демократических вольнодумцев, с одной стороны, и углубление, по мере приближения к 1789 г., революционности самой

французской литературы—с другой, явились причинами, обусловившими постепенный переход значительной части либеральной дворянской интеллигенции от «нападения» к «обороне», от вольтеровского деизма и рационализма к масонской религиозности (розенкрейцеры). Это влекло за собой ослабление французских идейных влияний и усиление немецких пиэтических. Среди дворянских либералов появляется определенная вражда к левой буржуазно-просветительной литературе. Против Руссо резко ополчается теперь и Сумароков (в статьях «О новой философической секте» и «О слове Мораль»), и переводчик Гольбаха И. В. Лопухин, печатающий в 1780 г. опровержение на «De l'Esprit» Гельвеция под названием «Рассуждение о злоупотреблении Разума некоторыми новыми писателями» и «Замечания на известную книгу Руссову Du contrat social».

В дворянской поэзии 70—80-х годов все большее развитие получают элегические, пасторально-идиллические и пиэтические темы, противопоставляемые идеям и установкам буржуазно-просветительной литературы. Соответственно меняется и характер французских воздействий. Пиэтист Сен-Ламбер, пасторалист Флориан, элегик Парни и другие привлекают к себе все большее внимание. И эта новая струя французских литературных воздействий отчетливо видна в творчестве Сумарокова, Хераскова (в свои поздние годы примкнувшего к молодому Карамзину), Я. Княжнина, Майкова, Богдановича и др. В целом, однако, французские идейные влияния ослабевают и уступают место немецким пиэтическим. Необходимость отмежевания от все более возрастающего, по мере приближения революции, радикализма идей французских просветителей принимает иногда форму вражды ко всему французскому. Некоторая галлофобия свойственна была дворянским фрондерам и раньше, но она была направлена против поверхностного обезьянничания с французских мод, против «петиметров», против французских заезжих авантюристов, водивших за нос невежественных русских бар. После крестьянского восстания Пугачева начинает развиваться «французоедство», проникнутое сознанием социальной опасности буржуазно-просветительных идей. Наиболее яркое выражение эта галлофобия получает в письмах Фонвизина из Франции к Петру Панину, одному из лидеров дворянских фрондеров. Отдавший дань вольнодумию и увлечению энциклопедистами, создавший под прямым воздействием французской просветительной философии свое «Послание к слугам моим...», переводчик вольтеровской «Альзиры» и трактата аббата Койе «Торгующее дворянство», автор политических рассуждений «о пользе третьего чина», Фонвизин вместе с тем сознает социальную опасность для своего класса увлекающих его идей французского философского, экономического и религиозного радикализма и сочувствуя некоторым из них одновременно борется с их основным содержанием. Он высмеивает эти идеи в их русском преломлении в «Бригадире», стремясь уничтожить «русских гельвециянцев» в образе Иванушки, и дискредитирует первоисточник этих идей в письмах из Франции 1777—1778 гг. В этих замечательных в литературном отношении письмах тонко проводится отожествление прогрессивной, просветительской Франции с косной Францией старого, умирающего режима. Грязь и антисанитарное состояние французских городов, моральная распущенность столичного дворянства и его прихлебателей, легкомыслие, переменчивость, культ моды, уродливые крайности атеизма и демократизма—все сливается у Фонвизина в один образ страны легкомысленной, безбожной, безнравственной. Автор «Недоросля» пользуется здесь приемом

моральной дискредитации враждебных ему прогрессивных явлений путем отожествления их с той действительностью, отрицанием которой они являются. При этом Фонвизин широко заимствует замечания и суждения о социально-политической жизни Франции, не называя, однако, источников из сочинений самих просветителей, в частности, из «Философских мыслей» Дидро, а более всего из известной работы французского моралиста Шарля Дюкло «Considérations sur les mœurs de ce siècle»[26]. Отзывы Фонвизина о современных ему писателях Франции отличаются тем же стремлением морально дискредитировать их. С особенной неприязнью и резкостью отзывается Фонвизин о Мармонтеле и Даламбере. Примечательно, однако, что он делает исключение для «славного Руссо», которого считает «чуть ли не всех почтеннее и честнее из господ философов нынешнего века», и Антуана Тома[27], которого «кроткость и честность» ему «очень понравились». В письме к своей сестре из Парижа от августа 1778 г. Фонвизин рассказывает о своих попытках познакомиться с Руссо. Это письмо, в котором сообщается также о последних днях жизни философа и об обстоятельствах, предшествовавших его смерти, является интересным памятником своеобразного русского дворянского руссоизма, о котором нам еще придется сказать ниже несколько слов.

В то время, когда Фонвизин выступает против Франции и французов, Державин в своей поэтической практике создает искусство максимально чуждое французским нормам. Выходец из рядового провинциального дворянства, до зрелых лет простой гвардейский солдат, не знавший французского языка и чуждый светской французской культуре, Державин—самое самобытное явление русской литературы до Пушкина. «Невежество было причиной его народности»,—писал о нем Белинский в «Литературных мечтаниях». Но Державин отлично знал цену своему невежеству и совершенно сознательно культивировал его, как сознательно культивировал свои чудачества Суворов и свое «варварство» Потемкин. В поэзии Державина французское влияние сходило на-нет. Хотя в Державине не было ничего романтического и хотя его неподчинение французской классической норме имеет гораздо больше общего со свободой поэтов позднего Ренессанса и Барокко, еще не подчинившихся ей, чем со свободой Руссо или Гёте, сбросивших с себя ее ярмо,—Державин явился в тот момент, когда новый буржуазный антиклассицизм уже начинал просачиваться в Россию, и творчество его явилось толчком и к разрушению классических норм, и к усилению борьбы против идей просвещения. Но дальнейшее развитие русско-французских культурных взаимодействий было резко осложнено взятием Бастилии и началом революции.

Пока дворянские фрондеры превращались в масонов—мартинистов и розенкрейцеров и обращали свои взоры к Германии, пока Фонвизин, как бы предчувствуя 1789 г., начинал свою антифранцузскую кампанию, а Державин на практике ниспровергал художественную систему французского классицизма, французские влияния разрастались по другим линиям. С одной стороны, продолжалось завоевание дворянства французской светской культурой, а с другой—узким, но острым клином вторгалось новое, левое просветительство, материалистически оформляя идеологию нарождавшейся антидворянской демократической интеллигенции. Ни филиппики Фонвизина, ни систематическое противодействие масонов не могли его удержать. Носители этих левых тенденций были частью разночинцы, частью отдельные лица из числа дворянства. Одни из первых эпизодов

в этой области—книга шляхтича Я. Козельского «Философические предложения» (1768), проводившая идеи Руссо и Гельвеция, и антирелигиозная диссертация московского адъюнкта-поповича Д. Аничкова «О начале и происхождении богопочитания», представленная в Московский университет в 1769 г. и вызвавшая гонение со стороны куратора университета Хераскова. Но центральная фигура раннего русского революционного просветительства—Радищев.

Подобно Ломоносову, Радищев учился в Германии и непосредственного, личного контакта с французской культурой не имел. Но если Ломоносов и в Германии 30-х годов не мог уйти от вездесущего влияния французских эстетических норм, Радищев около 1770 г. жил там, полностью окруженный атмосферой нового французского материализма и демократизма, которые глубоко волновали и молодую Германию. В «Житии Федора Васильевича Ушакова», своего рано погибшего друга, Радищев описывает, как он и его товарищи, русские студенты, познакомились в Лейпциге с книгой Гельвеция «О Разуме» и «в оной мыслить научались»[28]. Радищев познакомился в Лейпциге и с сочинениями Мабли, которые также оставили глубокий след в мировоззрении русского просветителя. Книга Мабли «Размышления о греческой истории или о причинах благоденствия и несчастия греков» была издана в 1773 г. в русском переводе Радищева.

Французская просветительная литература—главный теоретический источник мировоззрения Радищева. «В Радищеве,—писал Пушкин,—отразилась вся французская философия его века: скептицизм Вольтера, филантропия Руссо, политический цинизм Дидерота и Рэналя». Просвещение немецкое и английское сыграло менее значительную роль в развитии его философских и социально-политических взглядов[29]. Бэль, Вольтер, Монтескьё, Руссо, Мабли, Рэналь, Гольбах, Гельвеций, Дидро—таковы идеологические вдохновители русского мыслителя, приговоренного к смерти за смелое выступление против самодержавия, за осуждение крепостного права, за прославление свободы. Наряду с этими воздействиями, в его теории отразилась и практика восстания Пугачева и ряда крестьянских «бунтов» конца века, усложненная опытом революций в Англии и Америке и всем движением мощного идеологического подъема, предшествовавшего Французской революции 1789 г. В своих социально-политических взглядах Радищев шел значительно дальше не только Вольтера, но и французских материалистов. Радищев стоит у истоков русской революции—отсюда тот размах его взглядов, тот полет, смелость и самобытность его мысли, которые позволили ему создать книгу, не только полную революционно-демократического пафоса, но и книгу, насыщенную конкретным материалом русской действительности. В этом величие и оригинальность Радищева, чье имя, как указывал Ленин, должно являться предметом русской национальной гордости. Критически усвоив близкие его собственным идеям достижения философии и социально-политических наук XVIII в., он переработал их в самостоятельное учение, органически связанное с историей России, с историей борьбы русского народа против самодержавия и крепостничества.

Философский трактат Радищева «О человеке, о его смертности и бессмертии» также обнаруживает тесную родственную связь его идей с французским просвещением и, в особенности, с французским материализмом XVIII в. Но и здесь Гольбах, Гельвеций и Дидро выступают не столько учителями, сколько родственными его собственному строю мыслей фило-

софами, которым он частично следует, уверенно формулируя свою собственную материалистическую философию, находящуюся на уровне самых передовых западно-европейских течений философской мысли того времени.

Как писатель, особенно как поэт, Радищев воспринял довольно значительные немецкие влияния, что не умаляет, однако, общеизвестного факта воздействий на него также и левого крыла французской литературы, в первую очередь Ж.-Ж. Руссо (в «Путешествии»), Вольтера (в поэме «Бова»), Монтескьё (в «Песни исторической»), а также Мабли, Мерсье, Ретиф де ла Бретона, Рэналя.

Французская революция, начавшая новый этап мировой истории, должна была оказать свое воздействие и на судьбы русской культуры. Для самых различных групп русского образованного общества конца XVIII—начала XIX вв. существенным показателем их социально-политического мировоззрения являлся тот или иной характер их отношения к революции. Она была тем политическим и идеологическим фоном, реже прямым источником, который многое определил в содержании и развитии русской общественной мысли на протяжении ближайших двух десятилетий, вплоть до декабристов. Однако, зависимость эту легче констатировать в ее общем историческом значении, чем проследить в конкретных явлениях современной русской общественной и литературной жизни.

В условиях реакции последних лет екатерининского и всего павловского царствования самая тема революции была слишком одиозна для того, чтобы получить сколько-нибудь прямое освещение в русском печатном слове. Вот почему связь русской литературы и общественной мысли с Французской революцией может быть установлена не столько по прямым высказываниям (сколько-нибудь значительных произведений, посвященных Французской революции, нет вовсе), сколько путем анализа всей литературы этого периода в целом, изучения ее основных идеологических направлений на фоне отношения различных групп русского общества к событиям, уничтожившим во Франции феодализм и аристократию и приведшим к победе буржуазии. Но такая работа еще не произведена нашей историко-литературной наукой[30].

Отношение дворянской России к революции было сперва неопределенное. Событиям 1789 г.—первой конституционной фазе революции—многие даже платонически и романтически сочувствовали, вроде, например, Карамзина, восхищавшегося в Париже 1789 г. Робеспьером[31], двух князей Голицыных, участвовавших в штурме Бастилии, или молодого Строганова, вступившего, при содействии своего воспитателя, республиканца и монтаньяра Жильбера Ромма, в члены Якобинского клуба и сделавшегося на очень короткое время секретарем этого клуба[32]. Сегюр свидетельствует даже, что весть о событиях 14 июля вызвала в Петербурге «энтузиазм», и притом в довольно широких слоях общества—«среди купцов, торговцев, граждан и некоторых молодых людей высших классов»[33].

Еще дальше идет в своих наблюдениях официальный (после отъезда Сегюра) представитель революционной Франции в Петербурге, Эдмон Жене. Под впечатлением грандиозности революционных событий его мысль обращается к вопросу о том, насколько прочен в свете этих событий существующий в России государственный порядок: «Крестьяне готовы сбро-

сить иго своих господ-тиранов»; грамотное мещанство сочувствует «с энтузиазмом» революционной Франции, и это показывает, что в России «заложены семена истинной демократии»[34]. Если и допустить некоторое преувеличение в этих свидетельствах, необходимо, все же, признать, что первоначальный конституционный этап Французской революции не только не воспринимается русским дворянством резко-враждебно, но даже способствует некоторому оживлению оппозиционно-фрондерских настроений среди дворянских либералов, еще не полностью отошедших от прежних позиций, и служит для них источником теоретических рассуждений о свободе. Все это, однако, было тогда, когда революция возглавлялась либеральной буржуазией и еще не порывала с монархией. Якобинская диктатура, выступления крестьянства и широких плебейских масс быстро уничтожили всякие следы платонического сочувствия русского дворянства революции. Она воспринимается теперь, как угроза для всего дворянства, как опасность, с которой надо бороться и у себя дома. Этому повороту дворянства в отношении к революции способствует и правительственная политика. Первые же известия, полученные Екатериной о французских событиях, вызывают у нее резкое недовольство и раздражение. Екатерина нападает на революцию, боясь возможности перенесения «революционной заразы» в самодержавно-крепостническую Россию. Она прекрасно учитывает, что революция пропагандирует себя уже самым фактом своего существования, и стремится поэтому, прежде всего, создать крепкий заслон от проникновения в общество известий о совершающемся во Франции. Но войны с Турцией и Швецией сильно отвлекали Екатерину от французских дел и связанных с ними внутренних забот. Систематическая борьба против революции, угрожавшей «делу всех монархов», начинается только с 1792 и особенно с 1793 гг. В прямой связи с революцией происходит развертывание целой системы репрессивных и идеологических мероприятий реакции: приговор над Радищевым и сожжение его книг (1790 г.), разгром фрондерского, в глазах правительства, масонства, арест Новикова и уничтожение всех его предприятий, усиление цензуры, запрещение княжнинского «Вадима» с его дифирамбами свободолюбию, борьба с идеями левого просветительства и республиканизма, путем издания ряда «разоблачительных» памфлетов на Руссо, Вольтера, на энциклопедизм и французский материализм в целом («Заблуждения Волтеровы», «Обнаженный Волтер», «Изобличенный Волтер» и т. п.). Одновременно в литературе появляются сочинения, прямо направленные против революции и стремящиеся идеологически обосновать и укрепить авторитет церкви и самодержавия. Одно из ранних здесь—сочинение Павла Икосова «Дифирамв, изображение ужасных деяний французской необузданности» (2 ч., 1794 и 1795). С резкой враждебностью к революции выступают Державин (стихи «В честь князя Пожарского» и «На панихиду Людовика XVI») и недавний лидер дворянских либералов, Херасков. Его патриотическая поэма «Царь или спасенный Новгород» должна, по словам автора, «представить весь ужас безначальственного правления, пагубу междуусобий, бешенство мнимой свободы и безумное алкание равенства».

Но отношение русской литературы к Французской революции не определялось только непосредственными откликами и впечатлениями. Влияние революции было значительнее и глубже; в той или иной степени оно входило активной силой в содержание самих литературных процессов и литературных явлений того времени, в качестве их существенной, опре-

деляющей величины. «Литературная деятельность Шишкова и Карамзина,—пишет исследователь,—и борьба архаистов и новаторов, национализм, определившийся в качестве своеобразной литературной идеологии в 90-х годах XVIII столетия, в значительной степени обусловливались именно отношением русского общества к Французской революции».

Последнее десятилетие XVIII в.—первое десятилетие XIX в.—в основном, границы литературной деятельности Карамзина, писателя, быть может, наиболее глубоко пережившего и отразившего в своем творчестве впечатления от революционного катаклизма, разрушившего самые основы дворянско-монархической культуры в Европе. Стремясь осознать грандиозные события, кратковременным очевидцем которых он был, Карамзин умел почувствовать размах и силу революции, длительность и глубину ее исторических последствий. «Французская революция,—записал в 1790 г. Карамзин, проведший три месяца в революционном Париже,—принадлежит к числу тех событий, которые определяют судьбу людей на длинный ряд столетий. Начинается новая эпоха; я вижу ее, а Руссо ее предвидел... Я слышу разглагольствования за и против, но я далек от подражания этим крикунам... События следуют одно за другим, как волны бурного моря, и уже хотят смотреть на революцию, словно она окончилась. Нет, нет! Еще предстоит много удивительных вещей; крайнее возбуждение умов—тому предзнаменование»[35].

Это понимание революции не как случайного и преходящего события, а как громадного исторического процесса, разламывающего всю дворянскую культуру в целом, оформляло политические и литературные позиции Карамзина, окрашивало в характерные тона его лирику и многое определило в развитии того направления, которого он был зачинателем.

В литературном отношении молодой Карамзин, как и Радищев, был учеником левого крыла французской литературы, Жан-Жака Руссо и того направления, которое называют сентиментализмом. Стремясь к раскрепощению «личности», которое с середины XVIII в. сопровождало рождение нового буржуазно-демократического сознания, являясь одним из органических элементов демократического миросозерцания Руссо, сентиментализм, однако, мог принимать направление совсем не демократическое. Он легко вступал в союз, например, с культом религиозного чувства и мог служить реакционным целям. В России 80—90-х годов XVIII в. «Новой Элоизой» и «Эмилем» Руссо восхищались и люди, которых никак нельзя было заподозрить в сочувствии к основному идейно-политическому содержанию этих произведений. На русской почве усваивалась не столько идеология автора «Общественного договора», сколько литературный стиль сентиментального руссоизма. Только у Радищева и его учеников сентиментализм сочетался с подлинным демократизмом, в руках же дворянских писателей он превращается в нечто совсем иное[36].

Основным проявлением русского сентиментализма была ранняя деятельность Карамзина и примыкавших к нему писателей, не чуждая актуальных политических задач. Они стремились к тому, чтобы в условиях выявившихся реальных опасностей для класса помещиков (крестьянские восстания и Французская революция) сберечь свою дворянскую культуру, созданную за XVIII в., укрепив ее элементами национальной самобытности и в то же время сохранив максимум связи с живыми источниками

европейского просвещения, без чего дворянской интеллигенции грозили национальная замкнутость и культурное обеднение.

В связи со всеми этими задачами и обстоятельствами стоит и сложное отношение карамзинистов к французской культуре. С одной стороны, у них продолжаются наметившийся после восстания Пугачева отход от нее и сближение с культурой немецкой и английской, с другой—именно у карамзинистов русская дворянская литература приобретает наиболее «французский» характер. Но Франция карамзинистов—Франция обезвреженная и «стерилизованная». Это Франция XVIII в., но без вольтеровской насмешки, без жан-жаковской страсти и демократического пафоса.

Значение французской культуры для Карамзина было почти всегда велико. Его «антифранцузский» период, когда он переводит Шекспира и Гердера и пишет «Поэзию» (1787), где, перечисляя великих поэтов, не упоминает ни одного французского имени, продолжался недолго[37]. Главный поэт карамзинистов, реформатор языка дворянской поэзии, Дмитриев,—не только чистый «француз»[38], но—в основных культивировавшихся им жанрах сатиры, стихотворной сказки (conte), басни—и чистый классик, не меньше, чем Сумароков, и гораздо больше, чем Державин. В начинающейся борьбе против карамзинского либерального «европеизма» реакционеры обрушиваются на карамзинистов именно, как на «французов». И авторитетами для карамзинистов, вплоть до решительного перехода Жуковского к балладе (который произошел не раньше 1808—1809 гг.), остаются не Гердер и Клопшток, а Делиль, Флориан, Монкриф и т. п. Одно из самых влиятельных и «новаторских» по своему субъективизму произведений Карамзина—элегия «Меланхолия» (1800), больше чем на десятилетие определившая стиль русской элегии,—просто перевод из Жака Делиля—«парнасского муравья», которого Пушкин называл вместе с Буало, Расином и Вольтером, как одного из столпов «парнасского православия».

В борьбе за создание русского литературного языка карамзинисты широко использовали опыт французских писателей и сознательно ориентировались на него в ряде своих новшеств[39]. И совершенно не случайно, что борьба против карамзинизма со стороны реакционеров свелась, главным образом, к борьбе против их языковых реформ, в которых шишковисты усматривали проводников французской якобинской и атеистической пропаганды[40]. И это, в известном смысле, было правильно. Хотя сами карамзинисты были как нельзя более далеки от якобинизма и безбожия, они создали для русского языка возможность сделаться носителем отвлеченной философской и критической мысли, а тем самым и носителем безбожия и якобинизма. Язык Пушкина идет от языка карамзинистов, отличаясь от него силой, народностью, реализмом.

Пока русское дворянство настойчиво ищет путей для идеологического обезвреживания идей революции, официальная борьба самодержавия с революционной Францией идет, все более напрягаясь, вплоть до самого 18-го брюмера. Продолжая контрреволюционную политику Екатерины, прекратившей дипломатические и торговые сношения с Францией и вступившей в первую антифранцузскую коалицию, Павел I открывает поход против всего французского, которое является для него синонимом «яко-

бинского». Он совершенно не допускает привоза французских книг, возвращает из-за границы всех русских студентов, преследует республиканские фраки и круглые шляпы, борется с «якобинизмом» в языке, запрещая слова, напоминающие о революции, как «отечество», «гражданин», «представители», и уже пытается осуществить то, что впоследствии осуществили его сыновья,—сделать царскую Россию «жандармом Европы». В 1798 г. Павел присоединяется ко второй коалиции держав, организованной против Республики под руководством Англии и России, и принимает непосредственное участие в военных действиях против Франции. Героизм русских солдат, победоносно сражавшихся на равнинах Ломбардии и в снегах швейцарских гор, военный гений Суворова, огромные материальные средства и силы русского народа были использованы самодержавием для «спасения царей» и монархической Европы.

В условиях относительного либерализма «дней Александровых прекрасного начала», французские культурно-бытовые влияния хлынули широкой волной. Вместе с парижскими модами эпохи наполеоновской империи был принят и художественный стиль новой Франции, сменивший, впрочем, на русской почве свою суровую монументальность на интимность и превратившийся в русский «ампир»—самый характерный стиль русского дворянства. Французский язык достигает своего наибольшего распространения. Дворянская Россия, борющаяся с буржуазной Францией, в своем внешнем облике обильно заимствует у этой Франции.

Но наполеоновская Франция не была единственным источником французских воздействий на данном этапе, а самые эти воздействия не ограничивались сферой бытовой культуры и языка. Продолжала еще существовать старая полудворянская-полубуржуазная Франция XVIII в., и появилась контрреволюционная французская эмиграция, значительная часть которой направилась в Россию, надолго осела здесь и вошла, таким образом, в непосредственное соприкосновение с русской дворянской культурой, оставив в ней свои заметные следы.

Идейное и общекультурное влияние эмиграции было двояким и противоречивым. С одной стороны, французские эмигранты в России в массе своей были не столько представителями контрреволюции, сколько обломками дореволюционной Франции XVIII в., часто даже носителями умеренных и невинных идей просвещения. Они были воспитаны в чисто светской, антиклерикальной и отчасти даже антирелигиозной культуре, пропитанной идеями материализма. «Хотя они и эмигранты, они более или менее заражены взглядами, господствующими в их отечестве»,—писал про них Витворт, английский посланник в Петербурге.

В России Павла и Аракчеева французские роялисты, бежавшие от республики и боявшиеся военно-буржуазной империи, могли иногда быть даже ближе к либералам, чем к реакционерам, а среди царских вельмож такой эмигрант, как устроитель Одессы, герцог де Ришельё, был, конечно, в числе просвещенного и относительно передового меньшинства.

С другой стороны, в мировоззрении известной части эмиграции, в результате катастрофы, постигшей их дворянскую культуру, происходит поворот к воинствующему католицизму и начинает складываться глубоко реакционная идеологическая система, объявившая непримиримую борьбу всяким идеям революции, материализма и атеизма, всяким «сделкам с XVIII веком». Учителями здесь были Жозеф де Местр и Шатобриан.

Французская эмиграция влияла на окружавшую ее русскую дворянскую среду в обоих этих направлениях. В той мере, в какой эмигранты, в массе своей ставшие в России домашними учителями в дворянских семьях, способствовали передаче своим воспитанникам антиклерикальной, насыщенной идеями просвещения французской культуры XVIII в., их воздействие, естественно, ничего реакционного в себе не содержало. Наоборот, оно в известной мере способствовало новому оживлению старой традиции русского дворянского «вольтерьянства» и явилось для некоторых дворянских юношей первоначальным толчком к критике самодержавно-аракчеевского деспотизма. Но это течение, не заключающее в себе специфических элементов контрреволюционной эмигрантской идеологии, сливается с общей струей продолжающихся воздействий французской культуры XVIII в. и с трудом поддается выделению. Гораздо легче определить следы католически-реакционных и контрреволюционных влияний эмиграции.

Хотя главный идеолог контрреволюции, Жозеф де Местр, четырнадцать лет своей жизни провел в России в качестве посланника сардинского двора, в интимной близости с петербургским «светом», хотя одно из его главных произведений называется «Санкт-петербургские вечера» и хотя он много размышлял и писал о России, идейное влияние эмигрантской контрреволюции на русскую культуру в целом было невелико. Программа, развернутая Местром в сочинении «Quatre chapitres sur la Russie», требовала, в качестве одного из основных средств предохранения страны от революции, распространения в ней католицизма, в котором автор «Du Pape» видел самую крепкую основу монархии. Не возражая против социальной части местровской программы, сводившейся к необходимости дальнейшего укрепления роли дворянства и к всемерной охране крепостного права, лидеры обеих групп русского консервативного дворянства той поры — Шишков и Карамзин (как автор «Записки о древней и новой России») — именно в этом пункте отказывались принять ее. Оба они хотели опираться не на католицизм, а на исконное православие и «народность»[41].

Идеологу международной феодальной реакции не удалось создать в России сколько-нибудь широкой ультрамонтанской партии, о которой он мечтал, но влияния идей Местра, тем не менее, не избег ряд русских деятелей, среди которых, в первую очередь, нужно назвать Чаадаева, Тютчева и Печерина, а пребывание в аристократических гостиных Петербурга и Москвы французских аббатов-эмигрантов имело своим последствием переход в католицизм таких личностей, как Свечина, которой предстояло сыграть крупную роль в парижском литературном католическом мире и сгруппировать вокруг себя таких людей, как Монталамбер, Фаллу и др., а впоследствии Зинаида Волконская, Ив. Гагарин, Мартынов, Балабин[42].

При Александре I для идей революции было мало почвы. После Радищева и до Пестеля в России, в сущности, не было подлинно революционной мысли, питавшейся идеями 1789 г., тем более 1793 г. Демократические тенденции в русской культуре этого периода проводили «радищевцы», деятели Вольного общества любителей словесности, наук и художеств. Но хотя идеи Французской революции не прошли бесследно для членов Общества, особенно для его радикального крыла (В. Попугаев, И. Борн), «радищевцы» начала 800-х годов были, в сущности, если говорить об их отношении к Франции, не более, как учениками просветителей дореволюционного периода. Монтескьё, Мабли, Рэналь, Руссо, Гельвеций составляли предмет их пристального внимания, изучения и восхищения[43].

Вообще, Франция, действовавшая на русскую культуру эпохи наполеоновских войн, была, в основном, Францией XVIII в., Францией классицизма, рационализма, просветителей и светской бытовой культуры. В частности, классицизм, начавший колебаться перед революцией, когда Руссо и Дидро, по существу, совершенно порвали с ним, заложив основание новых эстетических мировоззрений, значительно укрепился, и именно в наполеоновские времена завершилась кодификация его в «Лицее» Лагарпа, получившем огромный авторитет и в России. Здесь нужно, однако, подчеркнуть, что за годы революции во Франции происходит революционное переосмысливание классицизма, и этот революционный классицизм, вдохновлявшийся свободолюбивыми речами древнеримских ораторов и искусством республиканского Рима, несомненно, оказал влияние на те попытки нового революционно-декабристского использования классического стиля, которые были предприняты Кюхельбекером, Катениным и Рылеевым (тираноборческие образы Брута, Катилины, Публиколы и др.).

Безграничная бытовая галломания широких слоев дворянства и войны с Наполеоном не могли не порождать антифранцузских настроений среди более активной части консервативного дворянства. В борьбе с вышедшей из революции Францией, впервые после Елизаветы, начинает оживляться архаическое православие. Весной 1807 г., при возобновлении войны с Наполеоном, впервые царское правительство прибегает к религиозной демагогии, рассчитанной, якобы, на широкие массы; к этому прибегает и дворянская литература, выдвигающая таких поэтов, как например Н. Шатров с его православно-патриотической риторикой, подражанием библейским образцам и одическим переложением псалмов.

В тесной связи с активизацией православия организуется реакционная литературная группировка, возглавляемая адмиралом Шишковым. Сохраняя верность французскому классицизму, слишком ценному орудию иерархической дисциплины, чтобы от него отказываться, Шишков и его последователи строго ограничивают его XVII в., совершенно отвергая его буржуазно-просветительские и, тем более, революционные «извращения». Со всем новофранцузским они борются беспощадно. Против французских новшеств они выдвигают, с одной стороны, православие с его библейской торжественностью, с другой—«народность», идеализирующую все то косное, что века угнетения, религиозного дурмана и крепостничества привили народу.

Вторжение Наполеона в Россию в 1812 г. подняло на борьбу с ним весь русский народ. Перед лицом наполеоновского нашествия вынуждено сплотиться на единой патриотической платформе и русское дворянство. Патриотические переживания событий порождают целую литературу, проникнутую пафосом борьбы с «тираном-завоевателем» и антифранцузскими настроениями. Средоточием этого противофранцузского движения в литературе являются те же шишковисты, и особенно «Русский Вестник» Сергея Глинки. С концом войны напряжение борьбы со всем французским ослабевает, и дворянская литература отказывается от ряда крайних мер, допущенных перед лицом опасности. Французская культура была еще нужна русскому дворянству, и оно не хотело отказываться от нее, а лишь ограничивать и перерабатывать ее в меру своих социальных интересов и своего понимания задач национальной русской культуры. Когда в годы наибольшего влияния Сперанского и подчинения Александра Наполеону наметилась широкая крепостническая реакция, ее идеологом и выразителем

выступил скоро не кто иной, как Карамзин. Чрезвычайно уверенно выступая (в «Записке о древней и новой России») против всяких реформ, могущих поколебать незыблемость самодержавия и крепостного хозяйства, Карамзин, однако, не нападает на культурное западничество, на европейское просвещение. Выступая апологетом самодержавия, он не предлагает цельной идеологической системы, теоретически обосновывающей его архаическим православием, как у Шишкова, или контрреволюционным ультрамонтанством, как у Местра. Он остается сторонником просвещения, общения с Западом, рационализма и морализма. Он за компромисс, за «сделку с XVIII веком», против чего так яростно возражал Местр. В этом была слабость Карамзина, как идеолога реакции, но это же объясняет и то, почему, несмотря на его политическую реакционность, такие люди, как Пушкин и Вяземский в молодости, могли считать его своим.

Характеризуя Францию периода наполеоновских войн и «униженный» немецкий народ, Ленин писал: «Против него [немецкого народа] стояла не только военная сила и мощь, не только завоевателя Наполеона—против него стояла страна, которая была выше его в отношении революционном и политическом, выше Германии во всех отношениях, которая поднялась неизмеримо выше других стран, которая сказала последнее слово»[44]. Падение Наполеона повлекло за собой общий кризис французской культуры и французского культурного сознания. Но международная общественно-политическая значимость французской дореволюционной культуры, Французской революции и наполеоновских войн была столь велика, что и после двойной национальной катастрофы 1814—1815 гг. Франция продолжает сохранять свой международный культурный престиж, хотя и в ослабленном виде. В России же отношения складывались так, что именно теперь эта, казалось бы, скомпрометированная французская культура оказалась особенно нужна и особенно плодотворна. Это было связано с принципиально новым этапом в развитии культурных отношений России и Франции, России и западно-европейских стран вообще.

Пора неизбежного ученичества русской литературы, занявшая весь XVIII в.,—ученичества никогда, однако, не пассивного, а сочетавшегося с самостоятельными поисками творческих путей и созданием своих, самобытных культурных ценностей,—в основном завершилась. К 20-м годам русская литература вступает в период своей зрелости и в своих высших достижениях становится равной всякой иной национальной литературе Запада. Даже в таких областях, как басня и комедия, где связи с французской традицией были особенно крепки[45], русская литература к середине 20-х годов становится в уровень с французской и, в плане национальной культуры, оказывается способной заменить ее. В лице Крылова Россия создает своего Лафонтена, и Пушкин скажет по поводу французского учителя русского баснописца: «Мы можем ему предпочитать Крылова»[46]. Грибоедов проходит глубокую и плодотворную школу французского театра, школу Мольера в первую очередь, и французский исследователь констатирует: «В творчестве Грибоедова русский гений возвысился до уровня театра Мольера, этого chef-d'œuvre серьезной комедии: ему уже ничему не оставалось учиться»[47]. Французская литература утрачивает для русской исключительность своей былой роли—быть образцом для подражания и источником для заимствования—и приобретает принципиально иное значение, определяемое не только возмужалостью русской культуры, но

и всей совокупностью исторических условий, сложившихся к первому десятилетию XIX в.

Французская революция и французская контрреволюционная эмиграция, наполеоновские войны и русские заграничные походы, Венский конгресс и Священный союз,—весь этот огромный поток исторических событий и фактов полностью вовлек в себя и Россию. Сфера европейских интересов и знаний русских людей значительно расширяется. Замечательное поколение строителей русской культуры, родившихся в десятилетие между взятием Бастилии и 18-м брюмера, — поколение, к которому принадлежали Пушкин, Грибоедов, Пестель, Чаадаев, Рылеев, Вяземский, Н. Тургенев,—осознает себя деятелями не только русской, но и всеевропейской истории и культуры, хотя и на русском их участке. Русскую национальную культуру они вполне сознательно—и это их характерная черта—строят, как одну из великих европейских национальных культур, в тесном общении с ними, с учетом и творческой переработкой их опыта. Это осмысление своих национально-культурных задач в плане общеевропейского исторического развития становится отныне существенной чертой передовой русской литературы, определяющей и характер ее культурных взаимоотношений с Западом.

Для пушкинского поколения из всех национальных культур Запада самой близкой продолжает быть французская. В литературе первоначальным центром этих французских связей было объединение младших карамзинистов, а главным деятелем—молодой Пушкин. Если Жуковский, многое воспринявший из французской поэзии, около 1808 г. порвал с французской поэтикой и вступил на путь немецкого и английского романтизма, то его ближайший соратник, Батюшков, обновлявший и оживлявший русскую лирику новой искренностью чувства, опирался в своей работе не столько на классиков итальянской поэзии, которых он любил объявлять своими учителями, сколько попрежнему на французов, на Парни и Мильвуа. Пушкин причислял себя к «школе, основанной Жуковским и Батюшковым» и говорил, что, прежде всего, он ученик Жуковского, но учился он у Жуковского только новой гармонии русского стиха. Подлинными учителями Пушкина в его ранней поэзии были не Жуковский и даже не столько Батюшков, сколько Вольтер и другие французы XVIII в., прочно усвоенные им с детских лет. Политические взгляды, вернее, настроения юного Пушкина, теснейшим образом связанные с ранним периодом дворянского революционного движения, также складывались под большим воздействием на него Вольтера и идей французского просвещения. В свои позднейшие годы Пушкин критически оценивал влияние Вольтера на себя. Это отношение выразилось, например, в наброске 1836 г.:

В младенчестве моем бессмысленно-лукавом
Я встретил старика с плешивой головой,
С очами быстрыми, зерцалом мысли зыбкой,
С устами, сжатыми наморщенной улыбкой.

Но Пушкин сохранил до конца глубокую личную привязанность к своему «старому учителю» и, осуждая направление «Орлеанской девственницы», продолжал признавать ее произведением подлинной поэзии, стоящим много выше гораздо более благонамеренных поэм близкого ему в то время

Соути. Для Пушкина же лицеиста Вольтер—«муж единственный» и «поэт в поэтах первый». После лицея отношение к Вольтеру не меняется. Дух непочтительной вольтеровской насмешки над всем традиционным и признанным помогает Пушкину оформлять свои политические настроения («хочу воспеть свободу миру, на тронах поразить порок») и проникает во все стихи 1815—1820 гг.

Творческое освоение поэзии Байрона, утвердившей на место дерзкой и насмешливой непочтительности страстный пафос неподчинения существующей действительности и ее традиционным нормам, помогло Пушкину выйти за пределы французской поэтики XVIII в. Уже в 1821 г.—год создания «Гавриилиады»—он поднимается неизмеримо выше ее, но благотворный след увлечения французами XVIII в. останется у Пушкина навсегда, как навсегда останутся у него пристальный интерес к французской литературной культуре и глубокая и широкая его осведомленность в ней.

Ясность и точность мышления, простота и лаконичность выражения—эти индивидуально присущие Пушкину черты делали передовую французскую литературу еще более близкой ему из всех других иностранных литератур и способствовали плодотворности его обращений к ней. Эти же черты пушкинского творческого облика определяли не только своеобразие его пути в русской литературе, но и содействовали тому, что его поэзия свободно и органически установила стилистическую связь с просвещением XVIII в., а это—черта, резко выделяющая Пушкина среди современных ему великих поэтов Европы.

Период «ученичества» Пушкина у французов XVIII в. кончается очень быстро. В 1822—1825 гг. он уже решительно борется с «маркизами» и всей силой защищает «немцев и англичан». Но тогда как Байрон, Шекспир, В. Скотт помогали Пушкину в решении крупнейших задач создания национальной литературы, методов освоения новых тем и нового материала, знаменательно, что последний поэт, привлекший наибольшее творческое внимание Пушкина, был француз Шенье.

Отход Пушкина от французской поэтики не был изменой началам просвещения. Принимая и с гениальной силой развивая и обогащая те стороны французской традиции, которые полнее всего выразились в прозе Вольтера, Пушкин с величайшей решительностью отвергает придворную и салонную французскую поэзию, и в этой борьбе—смысл его «заступничества» за немцев и англичан. «Нам нужны народные законы драмы Шекспировой, а не придворный обычай театра Расинова»,—к этому, по существу, сводится антифранцузская позиция Пушкина в 20-х годах. Этой борьбой против французско-придворной традиции Пушкин как бы повторяет отчасти в русской литературе ту борьбу, которую за три четверти века до этого начали во Франции Руссо и Дидро.

Юношеский «вольтеризм» Пушкина, так же как пришедший ему на смену «байронизм» 1820—1824 гг. и «русско-пушкинский» (выражение И. Киреевского) реализм его зрелости, самым тесным образом связаны с тем революционным движением передовой дворянской интеллигенции, которое развернулось между 1816 и 1826 гг.

Идеология декабристов, этих «дворянских революционеров» (Ленин), как и все их движение возникли и развились на почве русской экономической и культурно-политической действительности первой четверти XIX в. Но это было, вместе с тем, первое широкое (широкое еще только в дворянском масштабе) движение, в котором активный вооруженный протест

против царизма и крепостничества сочетался с великими социально-политическими движениями Запада и с идеями европейского просвещения, среди которых на первом месте стояли идеи французского происхождения. Для движения декабристов, начертавших на своем знамени лозунги буржуазной революции—уничтожение самодержавия и крепостного права,—огромное определяющее значение имел, в первую очередь, опыт Великой французской буржуазной революции. Французская революция явилась тем всемирно-историческим этапом в борьбе с феодализмом, через который должны были пройти и другие феодально-монархические страны, в том числе и Россия. Декабристы начали буржуазную революцию в России, начали ее, исходя из опыта Франции, исходя из тех исторических задач, которые были поставлены перед русской действительностью грандиозными событиями 1789—1794 гг. Французская революция явилась, таким образом, определяющим историческим источником декабризма, и этому нисколько не противоречит тот факт, что для большинства декабристов якобинский этап Французской революции был неприемлем. Только крайний левый фланг тайных обществ, Соединенные славяне, сочувствовал массовой народной революции, но их идеология была неразвитой и незрелой. В оформлении идеологии декабристов большое значение сыграл и подготовительный этап Французской революции—французское просвещение. На влияние идей Монтескьё, Вольтера, Руссо, Рэналя, Гельвеция указали многие декабристы на следствии[48]. Для правого крыла декабристов и близких к ним либералистов, вроде Вяземского, характерна близкая связь с политической мыслью либеральной оппозиции эпохи Реставрации. Влияние Бенжамена Констана и г-жи де Сталь (особенно ее «Considération sur la Révolution Française») было чрезвычайно велико. Изучение этих французских либералов продолжается и в 30-е годы и идет совместно с изучением английского либерализма, но конкретный интерес к французам больше, так как французская политическая обстановка, с ее феодальными реакционерами и абсолютистской монархией Бурбонов, кажется ближе к русской. Одновременно идет увлечение политической экономией, историками и публицистами Франции, причем особенной популярностью пользуются Сэй, Гизо и Токвиль. Но особенно важно отметить политическую осведомленность передовых русских людей пушкинской эпохи в вопросах текущей французской политики. Эта осведомленность в течение всего периода 1815—1848 гг.—характерный признак политически передового русского человека. Франция и политика для всего этого периода — синонимы. Всякое ослабление интереса к Франции есть ослабление интереса к политике. Эта роль Франции накануне 14 декабря хорошо иллюстрируется одним местом из «Воспоминаний» позднейшего славянофила А. И. Кошелева. В 1824—1825 гг. он 17-18-летним молодым человеком принадлежал к обществу «любомудров», которые сочувствовали некоторым идеям декабристов, но мало интересовались политикой, занимаясь преимущественно изучением немецкой идеалистической философии. В феврале или марте 1825 г. Кошелев в обществе нескольких декабристов слушает политические стихи Рылеева и свободные разговоры «о необходимости—d'en finir avec ce gouvernement». Наэлектризованный, он идет к своим друзьям—Ив. Киреевскому, Веневитинову и Рожалину — и заражает их своим политическим энтузиазмом. «Много мы в этот день толковали о политике и о том, что необходимо произвести в России перемену в образе правления. Вследствие этого мы с особенной жадностью налегли на сочинения Бен-

жамена Констана, Рое-Коллара и других французских политических писателей; и на время немецкая философия сошла у нас с первого плана»[49]. Естественно, что поражение декабристов и последовавшая за ним, в условиях николаевского царствования, политическая бесперспективность ослабили французские и усилили немецкие влияния в русской интеллигенции.

Общеизвестна роль Пушкина в деле создания русского национально-литературного языка. Поколение Пушкина и декабристов, столь французское и европейское по своему воспитанию и интеллектуальным связям, сумело, вместе с тем, нанести решительный удар французскому влиянию в области языка, русской культуры и русского просвещения, хотя и не смогло еще положить предел бытовому распространению французского языка в дворянском обществе. Судьба французского языка, как языка русского дворянства, складывалась вне прямой зависимости от общего хода русско-французских взаимоотношений. К 1789 г. французский язык настолько упрочил свое положение, как международный язык дворов, дипломатии и дворянства, что революция не поколебала его положения. Во время коалиционных войн он был общим языком врагов революционной и наполеоновской Франции, и не потому, что в армии и дипломатии союзников играли ту или иную роль французские роялисты, а потому, что, став у себя на родине языком революции, он остался, вместе с тем, международным языком аристократии. Положение его внутри каждой отдельной страны зависело не от отношения говорящих к современной Франции, а от способности национального языка стать полноценным языком современной образованности. Вот почему даже такое резкое обострение вражды к Франции, как то, через которое прошло русское дворянство в 1812 г., не пошатнуло положения французского языка в России. Русское дворянство во время и после наполеоновских войн говорило так же исключительно по-французски, как и до этого.

Борьба Ростопчина, Шишкова и их единомышленников против французского языка не могла сыграть решающей роли потому, что тот язык, который они предлагали,—основанный на соединении церковно-славянского с подделкой под крестьянскую речь,—не мог быть языком просвещения, не мог в плане национальной культуры заменить французский. Лишь Пушкин, со своими арзамасскими друзьями синтезировав существовавшие стили русской языковой культуры, с их богатством «европейских», особенно «французских» элементов, и безмерно обогатив их глубоким приобщением к подлинно-народному языковому творчеству, смог утвердить употребление русского языка, как всеобщего языка национального просвещения, и именно потому, что умел сделать его одним из европейских языков современной культуры.

На протяжении 30—40-х годов французский язык постепенно начинает терять и свое положение «родного» языка русского дворянства. С одной стороны, создание национального литературного языка, завершенное Пушкиным, лишало французский язык его былого резкого преимущества, как более разработанного языка мысли, с другой—политика уваровской официальной «народности», заставившая даже придворных дам одеть якобы русские платья, теснила его сверху. Уже в поколении, достигшем зрелости около 1825 г., такое явление, как Чаадаев, пишущий свое главное произведение по-французски, было исключением. И едва ли не последним по году рождения (1803) значительным деятелем русской культуры, который не в полной мере пользовался родным языком, был Тютчев,

писавший по-русски только стихи. Но Тютчев от 20 до 40 лет жил за границей, дипломатом, почти вне личного общения с деятелями русской культуры.

С переходом культурной гегемонии от дворянства к смешанной дворянско-разночинной интеллигенции и, дальше, к интеллигенции демократической, роль французского языка, как орудия духовного обмена образованных русских людей, кончается. Но французский язык еще долго продолжает сохранять свое значение, как своего рода культурно-сословный знак принадлежности к дворянству, и недаром уже в 80-х годах, в эпоху крепостнической реакции, Щедрин раскрывает идейно-политическую враждебность и реакционность дворянских групп и персонажей в своей сатире через их языковое французское выражение (например, в «Письмах к тетеньке»).

Литературное движение романтизма возникло почти одновременно в России и во Франции. Русский «романтизм» на своем первом, декабристском, дворянско-революционном этапе почти не заключал в себе каких-либо специфических романтических черт. Это было движение, прежде всего, боровшееся с догмами французского классицизма, освобождавшее поэтов от традиционных авторитетов и жанровых норм. Его первым положительным содержанием был байронизм. Для Пушкина байронический романтизм был только кратковременным (1820—1823) этапом на пути к реализму, но по русской терминологии 20-х годов реализм, например, «Бориса Годунова» полностью включался в понятие романтизма, так как произведение это не вмещалось в рамки классического жанра, и сам Пушкин в своем теоретическом предисловии подчеркивал, что пишет романтическую трагедию.

Развиваясь параллельно французскому романтизму, одновременно с ним отходя от норм французского классицизма и испытывая сильное воздействие Байрона, русский додекабристский романтизм не обнаруживает в целом особых влияний со стороны французских романтиков. Но связь с Францией продолжает быть очень крепкой. Именно через французскую литературу приходят в Россию и Байрон, и Шекспир, и Вальтер Скотт, и идеи немецких романтиков. Онегин «знал немецкую словесность по книге госпожи де Сталь»,—это был путь ознакомления с новой немецкой литературой и самого Пушкина.

«Первое определение романтизма,—указывает Б. В. Томашевский,—как направления, которое должно обновить литературу, Пушкин прочитал в книге M-me de Staël „О Германии“». Вообще значение г-жи де Сталь для Пушкина и его круга было очень велико. Пушкин хорошо знал все ее главные произведения, и они наложили отпечаток не только на его политические воззрения этого периода, но и на его концепцию национальной литературы. Идеи г-жи де Сталь и французского романтизма приготовили восприятие Пушкиным историзма Гизо и системы Шлегеля. Шатобриан, Ламартин и Андре Шенье также сыграли свою роль в романтический период Пушкина. Однако, восхищаясь Андре Шенье, Пушкин решительно и резко отрицает его принадлежность к романтизму. Из других явлений новой французской литературы до ее предиюльского расцвета Пушкин по-настоящему интересуется только «Адольфом» Бенжамена Констана. Вяземский переводит «Адольфа», и Пушкин признает этот перевод

«важным событием» в истории образования русского «метафизического языка», т. е. языка психологических понятий и переживаний, а в творчестве самого Пушкина «Адольф» Бенжамена Констана сыграл свою роль в генезисе самого замысла центрального произведения поэта—«Евгения Онегина».

В середине 20-х годов русский романтизм вступает в новый этап. С одной стороны, Полевой все энергичнее ведет пропаганду левого крыла французского романтизма, определенно буржуазного в своем социальном сознании. Свою философию он черпает из эклектической системы Кузена, этого, по словам Маркса, «истинного истолкователя трезвого, практического буржуазного общества», и «неистовую» французскую словесность рассматривает и приемлет не столько в качестве «нового метода художественного восприятия мира», что интересовало во французском романтизме Пушкина, сколько, прежде всего, в качестве «руководства к боевым действиям за построение буржуазной литературы». Гюго, Сю, Дюма, Жанен, позднее Бальзак находят в «Московском Телеграфе» Полевого (в последние годы его издания) свою подлинную русскую трибуну[50]. Одновременно в среде московских «любомудров» возникает группировка, сближающаяся с немецкой литературой, пропагандирующая «философский романтизм», враждебная французской традиции и объединяющая молодое поколение дворянской интеллигенции. Усиленный интерес к немецкой философии становится с этого времени характерной чертой русской интеллигенции. Особенно в 30-х годах в кружках уже не чисто дворянских, захваченных увлечением немецкой философией, зреют некоторые из важнейших всходов новой русской культуры. Значение этого усвоения немецкой идеалистической философии передовыми русскими людьми было очень велико, но все же и в пору наибольшего увлечения ею, в первую половину николаевского царствования, в области художественной литературы французские писатели остаются известнее и популярнее всяких других. Может быть, даже русский читатель никогда так внимательно не следил и не был так хорошо осведомлен о движении французской литературы, как в конце 20-х и начале 30-х годов. Это не была только инерция традиционного «франкоцентризма» русского читателя,—это диктовалось необычайным расцветом французской художественной литературы накануне Июльской революции, внезапным нарождением сильной и яркой поэзии в стране, давно почти не имевшей подлинных поэтов, огромным подъемом французского романа в лице Бальзака и в то же время быстрым назреванием политической борьбы, разрешившейся Июльской революцией 1830 г., которая снова сделала Францию революционным сердцем мира.

Успех французских писателей 30-х годов у читателей был огромен. По переписке Пушкина можно видеть, как культурные читательницы дворянского круга, вроде Е. М. Хитрово и В. Ф. Вяземской, зачитывались и Бальзаком, и Гюго, и Альфредом де Виньи, и Жюлем Жаненом. Бальзак становится любимым писателем широких кругов дворянско-разночинной интеллигенции, Ламартин уже с начала 20-х годов—любимым поэтом дворянских читательниц, «героем альбомных стихов»[51].

На фоне этого читательского интереса к новой французской литературе ее творческое влияние на русских писателей было сравнительно незначительным. Литература, выраставшая в самой тесной связи с открытой политической борьбой, в условиях широкой свободы печати, волновала и привлекала русского читателя николаевской эпохи, но творческому ее

освоению препятствовала глубокая противоположность социального и политического бытия двух обществ. «Неистовое» направление французских писателей и риторический стиль французских романистов не совпадали с тем реалистическим направлением, которое принимала русская литература в своих высших выражениях, а реализм Бальзака, отражавший развитое капиталистическое общество, был еще, для этой эпохи, по материалу своему достаточно чужд русскому социальному сознанию.

Пушкин, достигший полной зрелости своего гения и выбиравший предметы своего творческого интереса исключительно в соответствии с внутренними заданиями своего творчества, сочувственно изучает англичан и, в общем, отрицательно оценивает новую французскую литературу. Правда, его слова о «глубоком и жалком упадке нынешней французской словесности» не следует понимать слишком буквально, ибо они противоречат множеству частных отзывов его об отдельных произведениях не только Мюссе, Мериме и Сент-Бёва, которых он из этого упадка выделяет, но и Стендаля, Жюля Жанена и главных корифеев—Бальзака и Гюго. Все же ясно, что общий дух новой французской литературы ему органически враждебен: ему претит в ней забвение лучших французских качеств—ясности, стройности, простоты и остроумия, ему претит ее риторическое направление, ее искания «пустых эффектов», ее пристрастие к необыкновенному и неестественному, словом, ее полная противоположность его собственным устремлениям. Из всех новых писателей он творчески воспринимал только Проспера Мериме, в «Жакерии» которого находит полезные для себя указания для построения исторической драмы нового типа («Сцены из рыцарских времен»), но главный стимул этого влечения—в подлинных чертах героического фольклора сербов, которые он сумел разглядеть сквозь тонкую подделку «Гузлы». Характерно, что вражда к новому направлению французской литературы сопровождалась почти демонстративным усилением уважения к французским классикам. В послании «К вельможе» XVIII столетие противопоставляется XIX, как век поэзии—эпохе прозы; в наброске сатиры на современную литературу он призывает Буало помочь ему в борьбе с «новейшими врагами», а в одной из последних своих статей признается, что предпочитает семь строк Вольтера чуть ли не всей новой французской поэзии[52].

Но до конца своей деятельности Пушкин, созидавший огромное здание русского реализма, оставался верен передовым принципам европейского просвещения и образованности. Национальную культуру он понимал и творил не как культуру национально ограниченную, а как одну из великих европейских национальных культур, и, ставя ее под знак русской народности, обильно черпал из великих источников культурных ценностей, созданных народами Европы и, в первую очередь, Франции. Отсюда и идет та интернациональная широта народного русского гения Пушкина, о которой Мельхиор де Вогюэ сказал: «Если, как это иные думают, является большой заслугой быть понимаемым только в Москве, то, может быть, еще бóльшая заслуга заставлять думать, плакать и улыбаться повсюду, где дышит человек; и Пушкину это удалось»[53].

Если по отношению к зрелому Пушкину, покончившему с прямым ученичеством у французов очень рано, почти не приходится говорить о прямых влияниях на него тех или иных писателей Франции, то иначе обстоит дело с младшим поколением поэтов. Все они в той или иной степени продолжали широко обращаться к французской литературе, и даже

поэты, которым была ближе немецкая поэзия, не избежали этого. Так, например, риторическая поэзия Хомякова, если говорить об ее иностранных источниках, в большей степени обязана Гюго, чем кому-либо из немцев. Особенно плодотворно было обращение к французской литературе Полежаева, сумевшего найти в Ламартине и, особенно, в политической поэзии Гюго родственный материал для выражения своего трагического, полного отчаяния протеста против николаевской тюрьмы[54].

Менее видны с первого взгляда, но не менее несомненны связи Гоголя с французской литературой и мыслью. Диапазон и интенсивность его интересов в этой области, естественно, уже и слабее, чем у воспитанного на французской культуре Пушкина. Для Гоголя гораздо ближе Шиллер и, особенно, немецкие романтики, у которых он находит ряд родственных социально-политических идей и черпает теоретические аргументы в пользу своего понимания философии искусства и философии истории. Тем не менее, не следует слишком преуменьшать значение французской литературной культуры для Гоголя и, особенно, степени его осведомленности в ней. Еще в период своего нежинского ученичества Гоголь знакомится с комедиями Мольера, пьесами Флориана и заинтересовывается сентиментально-моралистическими «Contes moraux» Мармонтеля, которые читает в подлиннике. Общение с Пушкиным и его кругом в сильнейшей мере способствует углублению и расширению французских интересов Гоголя. Пользуясь его указаниями, он проходит целый «курс» французской литературы, читает Корнеля, Расина, Лафонтена, Вольтера, Руссо, пристально изучает Мольера, знакомится с такими произведениями философской, моралистической и публицистической литературы, как «Опыты» Монтэня, «Мысли» Паскаля, «Персидские письма» Монтескьё, «Характеры» Лабрюйера. Занятия всеобщей историей обращают Гоголя к изучению сочинений Гизо, Тьерри, Мишле, Вильмэна и, что особенно примечательно, Стендаля, произведения которого «Прогулки по Риму» и «Пармский монастырь» входили в собранную им специально для своих занятий библиотеку и, как это недавно предположил В. А. Десницкий, оказали, возможно, свое воздействие на гоголевское восприятие Рима и на разработку его незаконченной повести, носящей название этого города.

В целом отрицательно оценивая современную ему французскую литературу, Гоголь, однако, не перестает следить и за ней. В его переписке мелькают имена Гюго, Бальзака, Дюма, Жюля Жанена, Сент-Бёва (с которым в 1838 г. он и лично познакомился), Ламартина, Мериме, о котором он помещает сочувственную статью в «Современнике», называя автора «Кармен» «бесспорно замечательным писателем 19-го века французской литературы». Вместе со своим поколением, хотя и по-своему, он высоко ценил дарование Жорж Санд и эту оценку не изменил и в свои последние годы. В «Авторской исповеди» он называет ее «известною французскою писательницей, более всех других наделенной талантами» и считает, что она «в немного лет произвела сильнейшее изменение в нравах, чем все писатели, заботившиеся о развращении людей». В недавно опубликованном «Перечне авторов и книг», составленном Гоголем, повидимому, уже в последний период его жизни, упоминается, наряду с Мольером, Гизо, «Словарем Французской академии» и другими историческими изданиями, также и имя Андре Шенье, интерес к которому, возможно, был внушен стихами Пушкина[55].

Таким образом, круг французских интересов и связей Гоголя был достаточно широк, и это определило ряд соприкасаний его творчества как с великим наследием французской культуры, так и с живыми движениями литературной современности Франции. Из прошлой литературы Гоголь полнее и плодотворнее всего усваивает Мольера, у которого он учится, прежде всего, глубокой драматургической разработке характеров и общей сценической технике[56]. Но, совершенствуя свое высокое комедийное искусство, Гоголь пристально изучает также комедии Корнеля, Бомарше и Лесажа. Как зачинатель русской «натуральной школы», Гоголь сочетает свои литературные искания с аналогичными движениями европейской литературы, и установленные исследователями связи его ранних повестей, в том числе «Невского проспекта», с произведениями французской «неистовой словесности», особенно с романами раннего представителя западно-европейского натурализма, Жюля Жанена, не подлежат сомнению. Наконец, в своей публицистике последних лет он связан с некоторыми романтически-религиозными системами французских идеологов Реставрации, в частности, с системами Бональда и Балланша[57].

Июльская революция 1830 г. произвела в России, как и во всей Европе, огромное впечатление. Отклики на нее были разнообразны. Все, что так или иначе продолжало или лелеяло традицию декабристов, все, что таило в себе элементы оппозиционности чудовищному гнету империи Николая, оживилось и насторожилось. «Вдруг блеснула молния, раздался громовой удар, разразилась гроза Июльской революции,—вспоминал через десять лет об этом времени Печерин.—Воздух освежел, все проснулись, даже и казенные студенты. Да и как еще проснулись! Словно дух святой снизошел на них. Начали говорить новым, дотоле не слыханным языком: о свободе, о правах человека, и пр. и пр. Да чего тут еще ни говорили!..»[58]. Даже на правом крыле дворянского просветительства наступило политическое оживление, плодом которого явился «Европеец» Киреевского. Люди немецкой, метафизической, антиполитической ориентации вдруг сделали резкий шаг влево, к политике, к Франции, стали восхвалять XVIII в., переводить Гейне, отказываться от «крайностей» идеализма. Сами декабристы, в своем заточении «недвижимы, как мертвые в гробах», с тоской невозможности, но одновременно и с надеждой слушали раскаты июльских боев и их польские отклики. А. Одоевский в читинском остроге писал:

Едва дошел с далеких берегов
Небесный звук спадающих оков—
И вздрогнули в сердцах живые струны...[59].

«Европеец», однако, был скоро закрыт, и закрытие его похоронило эту последнюю вспышку правого декабризма. Баратынский, пораженный поэзией Барбье, признавался с глубокой завистью, что эта поэзия «живой веры» в революционное действие «не для нас».

Но, с другой стороны, потрясенный 1830 г. Чаадаев выходит из своего одиночества и начинает ту своеобразную келейную пропаганду, которую злой и остроумный враг его, Денис Давыдов, называл «маленьким набатиком», но который, раздаваясь в глухое и мертвое время, не давал заснуть многим из лучших людей. Для многих пробудившихся от набата июльских дней пробуждение было роковым. Особенно трагична, в этом отношении, судьба замечательного русского человека Печерина, проснувше-

гося среди глухой ночи, не сумевшего найти пути, начавшего его, по собственному признанию, «республиканцем школы Ламенэ, коммунистом, сен-симонистом», затем, по выражению Герцена, «упавшего» в католический монастырь ордена редемптористов и кончившего слишком поздним трагическим пробуждением. Но в числе услышавших этот набат были и Лермонтов и Герцен с Огаревым.

Значение французского революционного романтизма для Лермонтова, как и значение параллельно усваивавшейся поэзии Байрона, было, несомненно, очень велико. Лермонтов прославляет Июльскую революцию, клеймит в ряде стихотворений Карла X; под непосредственным действием 1830 г. лермонтовские стихи 1830—1832 гг. проникаются революционными мотивами. Его юношеская повесть «Вадим» входит в систему «неистового» романа, и ее не без основания сопоставляют с «Бюг Жаргалем» Гюго. И тогда как Баратынский мог только завидовать публицистической силе Барбье, Лермонтов испытал глубокое и благотворное влияние наиболее сильных сторон его поэзии. Интонации поэта-трибуна, которые с новой в русской поэзии силой раздались в «Смерти поэта», в «Поэте», в «Не верь себе», в «Думе», кое в чем восходят к Барбье, как к одному из сильнейших источников литературных впечатлений Лермонтова в эти годы[60].

Вообще, судьба Барбье в России своеобразна: вспыхнув после июльских дней коротким, но ярким светом, он зажег больше огней в России, чем у себя на родине. Знаменательно, что такой антисоциальный и, по существу, обывательский, несмотря на свое большое мастерство, поэт, как Бенедиктов, прикоснувшись к Барбье, быть может, единственный раз в жизни поднялся до подлинно высокой политической поэзии в своем переводе «Собачьего пира», о котором с таким восторгом отзывался Т. Шевченко, утверждавший, что он выше подлинника[61].

В то же время Июльская революция явилась могучим толчком, способствовавшим движению новой русской демократической мысли, неудержимо начавшей расти с начала 30-х годов. Созидателями русской демократической культуры в это время являлись, с одной стороны, Белинский, с другой — кружок Герцена. Для Белинского, его первого этапа, огромное значение имеет немецкая мысль. Для Герцена и его друзей, наследников пафоса дворянских революционеров 20-х годов, с самого начала преобладающую роль в их развитии играет Франция. Разбуженные из бессознательного состояния 14-м декабря, они были снова ободрены и оживлены набатом июльских дней. «Славное было время, события неслись быстро,—вспоминал позднее Герцен—...Какое-то горячее революционное дуновение началось в прениях, в литературе...»[62]. Буржуазный исход революции 1830 г. и разгром польского восстания быстро потрясли веру в «беранжеровскую застольную революцию», но на почве разочарования политическими событиями и политическими учениями Лафайета и Бенжамена Констана окреп интерес к наиболее передовому направлению французской мысли того времени — сен-симонизму: «Новый мир толкался в дверь,—писал Герцен в «Былом и думах»;—наши души, наши сердца растворялись ему. Сен-Симонизм лег в основу наших убеждений и неизменно остался в существенном»[63].

Первое знакомство с идеями Сен-Симона имелось уже у декабристов: еще в первые посленаполеоновские годы Лунин, один из замечательнейших и мужественнейших декабристов, лично познакомился с Сен-Симоном в Париже, причем последний настолько увлекся своим русским знакомым, что надеялся увидеть в нем впоследствии своего последователя. Есть

основания полагать, что и другие образованные декабристы, особенно Пестель, не прошли мимо такого явления французской мысли, как сенсимонизм. Но сущность этого учения не могла еще быть плодотворно освоена дворянскими революционерами, и, конечно, ни о каком «социалистическом» влиянии здесь не может быть и речи. Только Июльская революция во Франции и парламентская реформа в Англии, т. е. приход к власти «либеральной» буржуазии, впервые основательно дискредитировали среди наиболее передовых элементов Европы и России самую идею либерализма и вызвали пристальное внимание нашей интеллигенции к французскому утопическому социализму. Сен-симонизмом, как учением о новой органической культуре, идущим на смену «критицизму» буржуазного просвещения, был глубоко заинтересован Чаадаев. Уже в сентябре 1831 г. он писал Пушкину: «Какое-то смутное чутье говорит мне, что скоро имеет явиться человек поведать нам истину, потребную времени. Кто знает, быть-может, это, во-первых, нечто вроде той политической религии, что Сен-Симон теперь проповедует в Париже... Отчего и не так? Какое дело, тем ли, иным ли способом будет дан первый толчок тому движению, которое долженствует завершить судьбы отечества!»[64].

Для молодого Герцена сен-симонизм был важен не столько своей утопической, социалистической стороной, сколько тем, что это была новая и высшая демократическая форма гуманизма. Устранение религии без погружения в бесплодный скепсис, пафос науки, соединенный с широкими историческими обобщениями, освобождение человека от гнета собственнической семьи и христианско-аскетической морали без впадения в вульгарный эпикуреизм—вот что привлекало Герцена к сен-симонизму. Изучение философии Гегеля помогло Герцену довольно быстро освободиться от мистических и фантастических элементов сен-симонизма, взяв из него то, что вошло в общее развитие социалистической мысли. И сен-симонизм сыграл огромную роль на этом первом этапе формирования русской демократической культуры.

Поскольку в 30-е годы еще не было предпосылок для сколько бы то ни было массового политического движения, естественно, что усилия дворянских демократов устремились в направлении конкретно близком. Раскрепощение женщины становится в центр внимания демократической мысли и, рядом с сен-симонизмом, приводит к всеобщему увлечению Жорж Санд.

Для новой дворянско-разночинной, демократической по своим устремлениям интеллигенции Жорж Санд была как бы символом нового русского гуманизма. Она лучше всего передавала те гуманитарные стороны французского утопического социализма,—в форме освобождения человеческой личности и, особенно, женщины, в форме сочувствия ко всем угнетенным и эксплоатируемым, в форме общей критики несправедливости современного строя,—которые, в первую очередь, привлекали русскую демократическую интеллигенцию на ее раннем этапе. Все «люди 40-х годов», а в большей своей части и «люди 60-х годов» прошли через глубокое увлечение Жорж Санд. Сам Белинский был страстно увлечен ею после перехода ее к социальной теме и к пропаганде идей Пьера Леру и писал в 1842 г. Н. А. Бакунину: «Занд—это решительно Иоанна д'Арк нашего времени, звезда спасения и пророчица великого будущего». В своих статьях он называл ее «первой поэтической славой современного мира». Кавелин вспоминал позднее, что «Жорж Занд и французская литература были нашим евангелием» («Воспоминания о Белинском»)[65]. Щедрин признавал ее огромную

роль в формировании своего мировоззрения. Тургенев, узнав об ее смерти, назвал ее «одной из наших святых»[66], а Достоевский, давно изменивший идеалам своей молодости, написал о ней умиленный и восторженный некролог, в котором с нескрываемым сочувствием и преклонением вспоминал то влияние, которое имела на него Жорж Санд в его юные годы. Она привлекала его «невыясненными идеалами, неразрешимыми желаниями, чистотой типов и идеалов красоты и нравственности»[67]. Жорж Санд вызывала восторженное отношение к себе кружка Герцена, ею восхищался в конце 40-х—начале 50-х годов Чернышевский, видевший в ее романе «Жак» программу для своего собственного поведения. Бакунин, а позднее и Тургенев находились с ней в личных дружеских отношениях[68].

Общие социальные идеи Жорж Санд, ее проповедь сочувствия угнетенным и служения человечеству в целом, ее убеждение, что личное страдание является следствием общественного строя, нашли широкое отражение в русской литературе 40-х годов. Для ряда же произведений установлена и прямая связь с романами Жорж Санд. В первую очередь, здесь нужно назвать, помимо повестей Е. Ган, сочувственно оцененных Белинским, «Кто виноват?» Герцена, «Полиньку Сакс» Дружинина, «Что делать?» Чернышевского, отчасти «Записки охотника» Тургенева, ряд страниц Салтыкова и Достоевского и др. Жорж Санд имела, таким образом, громадное и длительное действие и в художественной литературе и в общественной мысли России, способствуя формированию социалистической идеологии в среде русской демократической интеллигенции 40-х годов. И в богатой истории интернациональных влияний Жорж Санд нет более крупной и содержательной главы, чем глава о ее роли в России,—недаром и лучшая монография о писательнице принадлежит русскому автору[69].

Переход от 30-х к 40-м годам, основной вехой которого были отказ Белинского от правого гегельянства и его сближение с Герценом, означал победу «французской» ориентации над «немецкой». «Немецкая» ориентация вовсе не была сама по себе реакционной. Восприятие немецкой идеалистической философии, сперва наиболее положительных сторон раннего шеллингианства, потом диалектики Гегеля, а также материалистической философии Фейербаха дало Белинскому ту теоретическую глубину, которой он не почерпнул бы ни из какого другого источника.

Герценовская пропаганда французских социалистических идей в условиях 30-х годов не могла выйти за пределы крайне узких и разрозненных кружков, подобного тому, который изобразил в автобиографической «Исповеди лишнего человека» Огарев:

Я помню комнатку аршинов в пять,
Кровать да стул, да стол с свечею сальной...
И тут втроем мы—дети декабристов
И мира нового ученики,
Ученики Фурье и Сен-Симона,—
Мы поклялись, что посвятим всю жизнь
Народу и его освобожденью,
Основою положим соцьялизм,
И чтоб достичь священной нашей цели,
Мы общество должны составить втайне...[70].

Такие кружки и общества легко ликвидировались жандармами, а всякие попытки пропаганды печатным словом немедленно пресекались цензурой.

Около 1840 г. наступает перелом. Николаевская ночь начинает сереть, и если внешние силы реакции остаются прежними, их внутренний гнет на сознание начинает терять свою силу. Глухие подземные толчки нарастающей крестьянской революции получают отражение во все большем подъеме революционных настроений среди демократической интеллигенции, получающих свое высшее выражение в письме Белинского к Гоголю. Ясного сознания своего единства с крестьянской революцией у русской демократической интеллигенции, за исключением, быть может, одного Белинского, еще нет,—к этому сознанию она придет только на следующем этапе, в лице Чернышевского. Тем сильнее сознание единства с нарастающей революционной борьбой во Франции и ее идеологическим выражением в разнообразных системах утопического социализма. «Когда осенью 1843 г. я прибыл в Петербург,—писал в «Замечательном десятилетии» П. В. Анненков,—то далеко не покончил все расчеты с Парижем, а, напротив, встретил дома отражение многих сторон тогдашней интеллектуальной его жизни. Книга Прудона «De la Propriété», тогда почти-что старая; «Икария» Кабе, малочитаемая в самой Франции, за исключением небольшого круга мечтательных бедняков-работников, гораздо более ее распространенная и популярная система Фурье,—все это служило предметом изучения, горячих толков, вопросов и чаяний всякого рода... Книги названных авторов были во всех руках в эту эпоху, подвергались всестороннему изучению и обсуждению, породили, как прежде Шеллинг и Гегель, своих ораторов, комментаторов, толковников, а несколько позднее, чего не было с прежними теориями, и своих мучеников. Теории Прудона, Фурье, к которым позднее присоединился Луи Блан с известным трактатом «Organisation du travail», образовали у нас особенную школу, где эти учения жили в смешанном виде и исповедывались как-то зараз адептами ее»[71].

Но в 40-х годах еще отчетливо различимы два этапа. Белинский и Герцен, носившие в себе с самого начала своей деятельности зерна революционно-демократической идеологии, достигают полной зрелости своего демократического сознания только на втором из этих этапов, который для Белинского был последним. В позднейшем представлении «сороковые годы»—это, прежде всего, первый из этих двух этапов, момент, когда политика далеко не получила гегемонии, когда эстетика играет центральную роль, когда учителем остается Гегель, уже понятый, как создатель «алгебры революции», но все еще не преодоленный в его элементах «абсолютного идеализма», когда религия, уже потеряв свой авторитет, еще не стала врагом, когда, одним словом, «французское» направление еще уравновешивается «немецким». В атмосфере этих 40-х годов сложились основные кадры последнего поколения русской дворянской литературы—Тургенев и его круг. Это люди, знающие и любящие Париж, но отнюдь не враждебные его буржуазии и нисколько не увлеченные той революционной и социалистической Францией, которая стала светочем для людей второго этапа 40-х годов. Этими людьми второй половины 40-х годов были, во-первых, Герцен и Белинский,—Герцен «Писем из Avenue Marigny» и Белинский «Письма к Гоголю»,—во-вторых, молодые люди, бывшие лет на десять моложе их и активным ядром которых был кружок Петрашевского. Люди эти были социалистами, восторженными приверженцами французского утопического социализма—и, прежде всего, уже не Сен-Симона, а Фурье,—увлеченными читателями «Истории десятилетия» и «Истории Французской революции» Луи Блана, поклонники Жорж Санд

периода ее социальных романов. О том, чем была передовая Франция для этих людей, удивительные и незабываемые слова написал принадлежавший к их числу Салтыков-Щедрин в гениальной четвертой главе «За рубежом»:

«С представлением о Франции и Париже для меня неразрывно связывается воспоминание о моем юношестве, то есть о сороковых годах. Да и не только для меня лично, но и для всех нас, сверстников, в этих двух словах заключалось нечто лучезарное, светоносное, что согревало нашу жизнь и в известном смысле даже определяло ее содержание... Оттуда лилась на нас вера в человечество, оттуда воссияла нам уверенность, что «золотой век» находится не позади, а впереди нас... Словом сказать, все доброе, все желанное и любвеобильное—все шло оттуда... В особенности эти симпатии обострились около 1848 г. Мы с неподдельным волнением следили за перипетиями драмы последних лет царствования Луи-Филиппа и с упоением зачитывались «Историей десятилетия» Луи Блана... Луи-Филипп и Гизо, и Дюшатель, и Тьер все это были как бы личные враги... успех которых огорчал, неуспех радовал. Когда грянула февральская революция, энтузиазм дошел до предела. Даже ламартиновское словесное распутство—и то не претило среди этой массы крушений и нарождений. Громадность события скрадывала фальшь отдельных подробностей и на все набрасывала покров волшебства. Франция казалась страной чудес»[72].

В России февральская революция, вызвавшая взрыв восторга среди демократической интеллигенции, привела к правительственной реакции, еще более свирепой, чем прежде. Салтыков уже в мае был в вятской ссылке, отправленный туда за напечатание повести «Запутанное дело», в которой, как гласило обвинение, «оказалось вредное направление и стремление к распространению революционных идей, потрясших уже всю Западную Европу». Белинский в том же месяце «во-время умер». Петрашевцы были разгромлены в следующем году. Самодержавие наглухо замкнуло страну от «крамольной» Франции и Европы жандармскими и цензурными заслонами. Наступило то страшное семилетие реакции, в сравнении с которой даже николаевский режим 40-х годов казался либеральным,—семилетие, о котором пережившие его вспоминали с содроганием. Но под гнетом его уже зрел революционный гений Чернышевского, а во-время уехавший за границу Герцен высоко поднял там в эти годы факел русской демократической мысли.

Но чем восторженнее была вера в революционную Францию, тем ужаснее было так быстро наступившее крушение этой веры. Оно началось со «страшных июньских дней» (Герцен), когда французская буржуазия руками Кавеньяка с неслыханной жестокостью подавила восстание парижского пролетариата, и завершилось «позором 2-го декабря», когда «Бонапарт, с шайкой бандитов, сначала растоптал, а потом насквозь просмердил Францию» (Щедрин).

Трагический исход 1848 г. глубоко переживали не только русские демократы, но и такие либералы, как Тургенев, в произведениях которого еще долго звучали отклики катастрофы революции. Герцен, бежавший из «страны победившей реакции», из Парижа, где ему стало «невыносимо тяжело», с глубоким лиризмом рассказал о крушении своих надежд в «Письмах из Франции и Италии» и в очерках «С того берега»—замечательных вехах в истории русского «западничества». Вера в революционную Францию кончилась. Но началась вера в революционную Россию. «Мы присутствуем теперь при удивительном зрелище,—писал Герцен:—страны, где

остались еще свободные учреждения, и те напрашиваются на деспотизм... Деспотизм или социализм—выбора нет... А между тем Европа показала удивительную неспособность к социальному перевороту. Мы думаем, что Россия не так неспособна к нему... На этом основана наша вера в ее будущность».

Герцен в эти послеиюньские годы придал своей вере романтическую форму веры в крестьянскую общину—якобы, ячейку будущего русского социализма. У Чернышевского несколько позднее она стала конкретной «верой в возможность крестьянской революции» (Ленин), в подготовке к которой заключалась вся задача русской демократии. Около того же времени, когда Герцен писал свое известное «письмо» к Ж. Мишле («Русский народ и социализм»), пытаясь доказать в нем, что русский крестьянин—прирожденный социалист, Чернышевский утверждал, что в России «скоро будет бунт», и заявлял, что, когда он вспыхнет, он будет непременно участвовать в нем и его «не испугают ни грязь, ни пьяные мужики с дубьем, ни резня». Так впервые русский просветитель становился во всем конкретном смысле слова крестьянским революционером.

А «письмо» Герцена к Ж. Мишле, при всей фантастичности его аргументации,—важная веха в международной истории русской культуры: впервые представитель молодой России заявлял всей передовой Европе, в лице одного из вождей французской демократии, что, кроме России царской и помещичьей, жандармской и православной, есть другая Россия—народная и революционная, и что этой России предстоит будущее не менее великое, чем будущее «матери революции», Франции.

Поражение революции 1848 г. и торжество контрреволюционных сил образуют переломный момент в истории русско-французских культурных взаимоотношений. До 1848 г. Франция играла в отношении многих форм и направлений русской культуры роль активной, ведущей и передовой страны. Хотя в основных своих направлениях русская литература всегда шла своим самостоятельным, оригинальным путем, хотя уже с начала 20-х годов, в высших своих проявлениях, она стала равной всякой другой национальной литературе Запада, хотя, наконец, эстетическая теория, в лице Белинского (а затем, и особенно, Чернышевского и Добролюбова), достигает в России уровня, выше которого она может подняться только уже на основе научного коммунизма,—все же французские революции, французский утопический социализм, французская демократическая идеология, французские историки и, в значительной мере, французская художественная литература до 1848 г. играют для передовых русских людей роль ценнейших идеологических источников и сохраняют, во многих случаях, значение образцов и примеров.

После 1848 г. положение постепенно начинает изменяться. С одной стороны, французская литература вступает в период Второй империи, в начало той исторической фазы своего развития, когда враждебность капитализма искусству и поэзии сказывается уже не только в романтическом отрицании капиталистической действительности или ее реалистической критике, как у Бальзака, а в начинающемся идейном обеднении самого содержания искусства, хотя и продолжающего создавать на буржуазной почве великие произведения, великие культурные ценности. С другой стороны, в России в 50—70-е годы наступают эпоха широкого революционно-демократического движения и время замечательного подъема и расцвета русской литературы, наступает свой, русский «век просвещения»,

отличающийся от своего далекого французского прототипа не только краткостью, но и гораздо более радикальным, демократическим, плебейским характером.

Великие писатели, строившие в 50—70-х годах огромное здание русского реализма, сложились в 40-е годы, когда французская литература сохраняла для русской еще большое значение, и не могли не испытать ее сильных воздействий. Но общий характер русского реализма второй половины XIX в. глубоко отличен от аналогичного течения во Франции, широко утвердившегося в эту же эпоху. Корень различия—в ином историческом положении по отношению к национальной буржуазной революции. По определению Ленина, это была та всемирно-историческая эпоха, «когда революционность буржуазной демократии уже умирала (в Европе), а революционность социалистического пролетариата еще не созрела»[73]. Для французских реалистов революция позади. Они имеют дело со сложившимся капиталистическим обществом. Рабочего класса они еще не видят. Они живут в мире, где законы буржуазной борьбы за существование царствуют безраздельно. Борьба демократического буржуа против буржуа монархического и до 1830 г. против воскресшего из гроба аристократизма—борьба за свои кровные, личные интересы, «борьба молодого хищника против хищника старого» (Чернышевский). Отсюда у Стендаля героизация чисто буржуазного индивидуализма, когда он сочетается с борьбой плебея против аристократии. В этих условиях Бальзак мог охватить буржуазный мир во всю ширину и глубину, дать портрет целого класса, портрет глубоко критический, резко осуждающий все движущие силы буржуазного мира.

Для русских реалистов мир еще не стал до конца буржуазным. Пути национального развития еще не ясны. Развитие русского капитализма может пойти по «прусскому» или «американскому» пути. Отсюда сознание возможности активно воздействовать на историю и, следовательно, сугубо оценочное отношение к своим героям. В статье «Лев Толстой, как зеркало русской революции» Ленин писал: «Если перед нами действительно великий художник, то некоторые хотя бы из существенных сторон революции он должен был отразить в своих произведениях»[74]. Великие русские реалисты второй половины века, действовавшие на исторической арене в эпоху подготовки крестьянской революции, именно тем и велики, что в своих произведениях, и как художники и как публицисты, отразили черты исторического своеобразия эпохи собирания сил русской революции. Русские реалисты глубоко проникнуты сознанием не совершившейся еще крестьянской революции и не могут не оценивать всего с точки зрения ее перспектив. Позиции их в отношении этой революции разные, но оценки действующих лиц всегда зависят от их отношения к народу.

Общая идейно-политическая направленность русского реализма резко отличается, таким образом, от французского реализма, на смену которому во второй половине XIX в. великие русские реалисты приходят в качестве главного и передового отряда мировой литературы. Это глубокое различие между русским и французским реализмом не исключает, разумеется, того, что французская культура как в ее прошлом, так и в настоящем была воспринята в той или иной степени всеми великими русскими писателями 50—70-х годов. Меньше всего, пожалуй, тем, который позже так близко стоял к французской литературе, участвовал в ее строительстве и кому суждено было стать русским учителем французских писателей.

Поэтика Тургенева целиком выросла на освоении наследства Пушкина, Лермонтова и Гоголя. Из французских влияний он творчески воспринял в свои поздние годы кое-что от Флобера и Бодлэра, о чем нам придется сказать ниже, а в молодости от Жорж Санд, пройдя, как и все «люди 40-х годов», через увлечение ею, но, главное, заинтересовавшись ее крестьянскими повестями, сыгравшими некоторую роль в литературном генезисе «Записок охотника». Несмотря на личные связи и литературное сотрудничество с большинством крупнейших писателей Франции 50—70-х годов (не говоря о дружбе с Мериме и, особенно, с Флобером, он общался с Жорж Санд, В. Гюго, Э. Гонкуром, Э. Золя, Г. де Мопассаном, И. Тэном, Э. Ренаном, М. Дю-Каном), Тургенев скорее отрицательно и, во всяком случае, скептически относился к современной ему французской литературе, сочувственно выделяя из нее лишь немногие произведения, в частности, «Госпожу Бовари» Флобера—«бесспорно самое замечательное произведение новейшей французской школы». Ко Второй империи Тургенев относился резко-враждебно, литературу наполеоновской Франции он рассматривал, как литературу начавшегося «упадка» и «измельчания», и противопоставлял ей «жизненную правду и простоту» русского реализма. Рельефнее и резче всего этот взгляд Тургенева выражен в его предисловии (1868) к русскому переводу романа Максима Дю-Кана «Утраченные силы». Тургенев отмечает здесь, что период культурной гегемонии Франции в России кончился, что время огромной русской популярности Бальзака и других французских писателей в 30—40-е годы прошло и что русский писатель 50—70-х гг. уже, несомненно, предпочитал им Толстого[75].

Что касается творческого влияния Бальзака на великих русских реалистов, то в целом оно было не особенно значительным. Ближе всех к нему, пожалуй, Писемский. «Тысяча душ»—быть может, самый «бальзаковский» по литературной манере роман в русской литературе: та же преобладающая роль, отведенная вопросам карьеры и наживы, то же отсутствие столь характерной для русской литературы всепроникающей моральной оценки действующих лиц. Но, конечно, желчная мизантропия Писемского очень далека от огромной жизнетворящей силы великого француза. Бальзаком интересовались Пушкин и Кюхельбекер, особенно последний[76]. «Школу Бальзака», хотя и в слабой степени, прошли также молодой Тургенев, отразивший в «Месяце в деревне» свои литературные впечатления от бальзаковской «Мачехи», и Гончаров, в «Обыкновенной истории» которого имеются элементы творческих заимствований из «Утраченных иллюзий» и «Физиологии брака». Бальзака высоко ценил Щедрин. Но глубже всех воспринял Бальзака Достоевский. В молодости он восторженно увлекается им, переводит «Евгению Гранде»; для него—«Бальзак велик! Его характеры—произведения ума вселенной! Не дух времени, но целые тысячелетия приготовили бореньем своим такую развязку в душе человека». Достоевского, в отличие от Писемского, сближают с Бальзаком драматизм и динамичность рассказа, а также чуждая вообще другим русским романистам резкость красок, гиперболичность и заостренность характеров, отсутствие полутонов и мягких контуров, утвердившихся в русском реалистическом романе со времени «Евгения Онегина». Но Достоевского интересует в Бальзаке и другое. Критика буржуазной цивилизации Запада, показ гибели патриархальности, деградация человека, разложение семьи и буржуазной морали, всевластие денег и торжество буржуазного хищника,—все эти бальзаковские темы глубоко волновали

Достоевского в его страстных размышлениях о судьбах старой Европы и ее культуры. Бальзак был одним из самых сильных и длительных литературных впечатлений Достоевского. От юношеских восторгов при чтении «Евгении Гранде» до предсмертной «пушкинской речи» Бальзак сопутствует его творческой работе, ни в чем не нарушая ее самобытного развития, но оставляя в ней свои заметные следы. Известна роль «Отца Горио» и рассказанной в этом романе истории его героя Растиньяка в литературном генезисе «Преступления и наказания» и образа Раскольникова. Но «бальзаковские» черты проступают и во многих других вещах Достоевского, от «Неточки Незвановой» и до «Братьев Карамазовых». И не бальзаковская ли критика французского буржуазного общества отчасти подготовила восприятие Достоевским «царства Ваала»—Парижа Второй империи и его героя—«удовлетворенного буржуа», которым посвящены гениальные по своей памфлетно-негодующей силе французские главы в «Зимних заметках о летних впечатлениях» («Ваал», «Опыт о буржуа», «Брибри и мабишь» и др.)?

Наряду с Бальзаком, Достоевский глубоко воспринимает творчество Гюго, особенно Гюго-романиста, которого считает «бесспорно сильнейшим талантом, явившимся в девятнадцатом столетии во Франции». С Гюго Достоевского сближает, несмотря на все различие их политических устремлений, некоторая общность творческих методов, например, тяготение к сложной архитектонике романов, но главное—общность интересов к широким социальным явлениям, гуманитарно-моралистический подход к ним, тема «униженных и оскорбленных». Главную заслугу Гюго Достоевский видел в том, что он провозгласил идею «восстановления погибшего человека» и дал «формулу оправдания униженных и всеми отринутых париев общества»[77]. Наибольшее литературное действие на Достоевского оказывают «Отверженные» и «Последний день приговоренного». К этим «любимейшим» книгам тянутся многие нити со страниц таких произведений, как «Преступление и наказание», «Идиот», «Подросток», «Братья Карамазовы». Бальзак и Гюго стоят в центре французских литературных интересов Достоевского, но круг их широк и разнообразен. Паскаль и Мольер, Руссо и Вольтер, Жорж Санд и Шарль Фурье, Кабе и Дезами, Эжен Сю и Фредерик Сулье,—все эти имена хорошо известны Достоевскому, их книги, как всегда у него, были прочитаны им со страстной заинтересованностью—сочувственной или полемической—и нашли свое отражение в его собственном творчестве[78]. Враждебно относясь в свои зрелые годы к современной ему Франции, как к стране «безбожия», революций и «мещанства», Достоевский позднее переносит свои антипатии отчасти и на новейшую французскую литературу. Кумиры его молодости—Бальзак, Гюго, Санд—сохраняют свою притягательную силу, но такие явления, как Флобер и Золя, уже не вызывают особо пристального его внимания, хотя до последних дней Достоевский не перестает интересоваться французской литературой и широко обращается к ней в процессе своего творческого труда[79].

Но едва ли не глубже и шире, разностороннее всех своих современников знал и воспринял французскую литературу величайший из писателей «периода 1861—1905 гг.»—Лев Толстой, оказавший, в свою очередь, глубокое влияние на французскую мысль. Он внимательно следил за французской литературой на протяжении всей своей жизни, пристально изучал ее прошлое, хорошо знал не только художников слова Франции, но и французских историков, моралистов, публицистов. Но, в отличие

от страстных реакций Достоевского, непосредственные впечатления от изучения французских писателей сравнительно мало отразились в художественной и публицистической прозе Толстого.

Особенно связан Толстой с Руссо. Толстой любил признавать свой большой долг «женевскому философу» и его влияние на себя считал «великим и благотворным». «Многие страницы его [Руссо],—признавался Толстой,—так близки мне, что мне кажется я сам написал их». Внутреннее родство между руссоистской идеологией «естественного человека» и толстовской органической враждой к дворянско-буржуазной цивилизации несомненно, как несомненно и глубокое, творчески-интимное восприятие Толстым ряда положений и мыслей Руссо. Но Руссо никогда не превращался для Толстого в фетиш, и отношение его к нему было критически-самостоятельным. «Меня сравнивают с Руссо,—записывает Толстой в дневнике 6 июня 1905 г.—Я много обязан Руссо и люблю его, но есть большая разница. Разница та, что Руссо отрицает всякую цивилизацию, я же отрицаю лжехристианскую. То, что называют цивилизацией, есть рост человечества. Рост необходим, нельзя про него говорить, хорошо ли это или дурно. Это есть в нем жизнь,—как рост дерева».

В чисто художественном отношении Толстой воспринял много от Стендаля, который, после Пушкина, имеет наибольшее право называться его учителем. «Я больше чем кто-либо, многим обязан Стендалю. Он научил меня понимать войну»,—говорил Толстой в 1901 г. В дальнейшем, при резко отрицательном отношении к французскому натурализму, в частности, к Флоберу и, особенно, к французскому декадентству (Бодлэру, Верлэну и др.), Толстой высоко ценил гуманистические тенденции Гюго (хотя стиль и метод Гюго совершенно противоположны толстовскому), «народный, благородный, нравственный и бодрый» «склад» Беранже и уже в старости полюбил Мопассана, переводил и переделывал его и написал о нем замечательную статью. В этом последнем большом реалисте буржуазной Франции Толстой разглядел трагическое отчаяние и одиночество человека в собственническом обществе, отчаяние и одиночество, которые были так мучительно знакомы и ему[80].

Если русская реалистическая проза к 60-м годам заслонила всякую иностранную и значение литературного «ввоза» в этой области резко падает[81], то, наоборот, значение переводной, в первую очередь с французского, поэзии в России никогда не было так велико, как в 60—70-е годы. Из русских поэтов демократического читателя полностью удовлетворяет лишь Некрасов. Но его одного недостаточно, а эпигонствующая дворянская поэзия, естественно, не пользуется популярностью. Этот недостаток восполняют иностранные поэты. Среди них одно из первых мест принадлежит Беранже. Этот замечательный поэт был известен в России уже с 20-х годов, однако, по выражению Чернышевского, его тогда «не понимали, считая его не более как певцом гризеток». Его высоко ценили в 40-е годы Белинский и петрашевцы, но лишь 60-е годы приносят ему настоящую популярность. Блестящие переводы В. Курочкина и известная статья Добролюбова делают его подлинно «русским» поэтом и определяют его значительное влияние на сатирический стихотворный фельетон 60-х годов и на поэтов «Искры»[82]. Наряду с Беранже, демократический читатель по-новому начинает любить Гюго, автора «Отверженных». Русский успех этого романа, хотя и запрещенного в отдельном издании самим Александром II, был очень велик, и Боборыкин прав, говоря, «что он едва ли

надолго не остался самым популярным у нас, вплоть до 70-х годов»[83]. Огромный успех имеет также «История одного крестьянина» Эркмана-Шатриана, которую Писарев выдвигает, как подлинно демократический роман, изображающий историю с точки зрения человека массы. В области театра, имеющего уже Грибоедова и Гоголя, Островский и Сухово-Кобылин окончательно утверждают господство русской драматургии, русского национального репертуара, и значение переводных французских пьес сильно падает. Но связи с французским театром не порываются, Мольер по-прежнему остается «одним из классиков русской сцены» (С. А. Венгеров), школу которого проходит и творец русской бытовой комедии, Островский, завершающий свою литературную деятельность переводами из любимого писателя. Из новейших французских драматургов особенное внимание привлекает Скриб, у которого Сухово-Кобылин учился некоторым приемам драматургической техники[84].

В политической мысли значение Франции для русской демократии отнюдь не окончилось с 1848 годом. Предстоял еще 1871 год. Но уже с 50—60-х годов социалистическая Франция перестает играть в отношении России свою прежнюю столь выдающуюся и глубоко плодотворную роль. В лице Чернышевского—«великого русского ученого» (Маркс)—русская социалистическая мысль поднимается выше всех форм мелкобуржуазного социализма и достигает наивысшего уровня, возможного для непролетарского социализма. В лице того же Чернышевского и Добролюбова Россия выдвигает двух великих революционно-демократических просветителей, которые, по мнению Энгельса, назвавшего их «социалистическими Лессингами», намного превзошли современную им официальную социально-политическую науку Франции и Германии и которые были на-голову выше корифеев французского мелкобуржуазного утопического социализма после Фурье. Но и Чернышевский и Добролюбов были многим обязаны передовой французской культуре. Они пошли дальше своих французских предшественников и учителей, сблизили теорию и философию с практикой и политикой, преодолели многие их слабые стороны и, наоборот, гениально развили то, что было в них революционно-демократической силой, а не мелкобуржуазной ограниченностью, но в ряде теоретических источников революционного мировоззрения великих русских просветителей французские материалисты XVIII в., особенно Гельвеций и французские социалисты-утописты Сен-Симон, Фурье, Прудон, Луи Блан, Бланки, занимают одно из важнейших мест. Как писатель, Чернышевский особенно обязан Фурье. Достаточно напомнить здесь знаменитый четвертый сон Веры Павловны в «Что делать?», дающий в художественной форме исключительно яркую картину осуществления центральных идей Фурье о радостном труде («travail attrayant») и об огромном росте культуры в будущем освобожденном обществе. Чернышевский сумел сделать привлекательными самые ценные из идей Фурье, то, что является бессмертным в его учении, но, вместе с тем, он решительно порвал с его и других «мирных» утопистов надеждами на добрую волю власть имущих, считая неизбежной предпосылкой построения социализма по плану Фурье или Луи Блана революционный переход власти в руки трудящихся. После Чернышевского, давшего в ряде своих работ блестящую популяризацию, углубление, развитие и, вместе с тем, критику Фурье (равно как и Сен-Симона—в статье «Июльская монархия»), сам фурьеризм в его французских первоисточниках уже не имел непосред-

ственного влияния на развитие русской общественной мысли. Фурье был заслонен огромной фигурой Чернышевского, который на ряд десятилетий сделался лучшим учителем русской революционной демократии.

Но после 1863 г., когда реакция стала уже совершившимся фактом, а русское революционное движение, в связи с арестом Чернышевского и смертью Добролюбова, лишилось своих самых замечательных вождей и теоретиков, влияния французской мелкобуржуазной социальной мысли вновь хлынули широкой волной. С конца 60-х годов начинается сильное и длительное влияние на революционное народничество главного теоретика мелкобуржуазного социализма Франции, Прудона, которого Маркс в «Коммунистическом Манифесте» назвал представителем «буржуазного социализма», и его антипода, революционного мелкобуржуазного социалиста Бланки. Русское народничество нашло в Прудоне одного из наиболее близких себе мыслителей, своего теоретического учителя, особенно в экономических вопросах, влияние которого сказывалось вплоть до появления русского марксизма и свидетельствовало о том, как это отметил по поводу Михайловского Ленин, что теоретическая мысль народников сделала «шаг назад от Чернышевского»[85]. Противоречивость и эклектичность мировоззрения Прудона и всех его социально-политических взглядов, в которых революционные фразы смешивались нередко с самым консервативным и даже реакционным содержанием, объясняют то, почему в России из Прудона черпали свою аргументацию и опирались на него самые разнообразные направления народничества и даже представители весьма далеких от него общественных групп. В частности, значительное влияние в 60-е годы имели идеи Прудона на Толстого. Чисто прудоновская ненависть к деньгам, как к главному источнику царящего в мире зла, особенно ярко проявившаяся в известной толстовской сказке «Об Иване-дураке», мечты о независимости мелкого производителя-крестьянина от власти капиталиста и помещика, наконец, отрицание государственной власти и проповедь пассивного бойкота ее,—все эти черты мировоззрения Толстого имели много общего с типичными и любимыми идеями Прудона и обусловили сильный интерес к нему русского романиста. Интерес этот был настолько интенсивен, что в 1861 г. Толстой специально ездил в Брюссель с рекомендательным письмом от Герцена и познакомился с жившим там в изгнании Прудоном. Впоследствии Толстой, вспоминая об этой встрече, говорил, что Прудон оставил в нем впечатление «сильного человека», самостоятельно мыслящего, и что он стал к Прудону «в самые близкие отношения». Как известно, название романа Толстого «Война и мир» было заимствовано им от заглавия известной философско-исторической работы Прудона на эту тему[86].

Если влияние французских мелкобуржуазных идеологов на русскую революционно-теоретическую мысль в 60—70-х годах не играет уже той прогрессивной роли, которую оно играло в России в период 30—40-х годов, до Чернышевского включительно, если и у себя на родине, где уже в это время стали широко известными взгляды основоположников научного коммунизма, французский мелкобуржуазный социализм теряет свое былое значение, то скоро положение в самой Франции резко меняется и вновь приковывает к ней внимание всего передового человечества, в том числе и его русской части.

Пока мелкобуржуазная французская демократия идейно мельчала и «снижала тон», росла другая французская демократия—пролетарская,

АНАТОЛЬ ФРАНС

Портрет с дарственной надписью писателя Марии Ауэр

Гравюра Эдгара Шахина, 1900 г.

Собрание М. Л. Ауэр-Унковской, Москва

еще раз с небывалым героизмом утвердившая революционное первенство французского народа.

Страна, совершившая Великую буржуазную революцию, явилась колыбелью социалистической революции. Парижские рабочие, штурмовавшие твердыни буржуазного мира в 1871 г., открыли новый период человеческой истории, завершенный русским пролетариатом и его партией в октябре 1917 г. За парижскими коммунарами остается вечно-неувядаемая слава первого установления диктатуры пролетариата. Но ни один из идеологов французского мелкобуржуазного социализма не сумел понять значения и задач первой победы пролетариата. Понял «тайну» Коммуны Маркс, и гениально истолкованный им опыт парижских коммунаров был одним из важнейших теоретических оснований, на котором построили победу русского пролетариата Ленин и Сталин.

Русская революционная демократия не могла вполне понять этой «тайны», хотя отдельные представители ее подошли к этому пониманию довольно близко, а некоторые из них приняли и непосредственное участие в боях Коммуны[87]. Особенно близко подошли—очевидец парижских событий Лавров, что объясняется, в значительной мере, его личным общением с Марксом и Энгельсом, к которым он ездил по делу организации помощи Коммуне, и Щедрин, сделавший смелую, но безнадежную попытку напечатать в «Отечественных Записках» статью, гневно клеймящую «одичалых консерваторов Франции», версальских палачей, и выражающую уверенность в исторической правоте дела Коммуны и неизбежности его победы в будущем[88]. Весной 1872 г. Париж посетил Глеб Успенский. Он увидел там расправу озверевшей буржуазии над побежденным пролетариатом, он присутствовал в Версале на «судебных процессах» героических коммунаров, сотнями и тысячами ссылаемых на каторгу в Новую Каледонию. Его письма из Парижа полны сочувствия героическим бойцам Коммуны и страстного негодования относительно жестокости версальского суда, перед которым даже царский суд кажется ему образцом справедливости: «В один час таким образом при нас захерили на смерть трех человек. Возмутительнее я ничего не видал. Вот злодеи! Это злодеи! Что наши судьи—они святые, они образцовые в самом серьезном смысле... С самым скверным впечатлением вышли мы отсюда и пошли пешком за несколько верст от Версаля в Сатори, где расстреляли Росселя». Все его парижские впечатления окрашены острым переживанием недавних событий: «Здесь, на этом месте,—передает он о посещении Пантеона,—версальцы в прошлом году 21 мая расстреляли 450 коммунистов, вся площадка была залита кровью... Я на этой площадке простоял час, словно помешанный или в столбняке,—ноги мои словно прилипли к тому месту, где умерло столько народа». В Парижской Коммуне Успенский увидел и почувствовал ее классовую сущность, непримиримость классового антагонизма, и это содействовало укреплению в нем убеждения, что революционное движение должно для своего успеха найти опору в широком общественном слое. Но, в отличие от Щедрина, Коммуна страшила Успенского ужасами гражданской войны, и позднее, в статье «Горький упрек», он, полемизируя с Марксом и Энгельсом, высказывал народническую надежду, что этот «фазис» минует Россию[89]. Огромное впечатление произвела Коммуна на Достоевского, который, естественно, резко враждебно осудил ее и в самом ее поражении пытался почерпнуть новые аргументы для своей теории о бессилии революции[90].

Набат Коммуны сыграл значительную роль в оживлении революционного движения в России. В 1883 г. Лавров писал, что 1871 год «вызвал в революционных элементах русской интеллигенции определенное движение, которое резко выступило в начале 70-х годов, как энергичная сила, на сером фоне унылой и сознающей свое бессилие русской оппозиционной интеллигенции»[91]. Активный участник революционного движения 70-х годов, народоволец Степняк-Кравчинский, свидетельствует, что с «Парижской Коммуной... русский социализм вступил в воинствующий фазис своего развития, перейдя из кабинетов и частных собраний в деревни и мастерские»[92]. Дебагорий-Мокриевич в своих воспоминаниях указывает на скрытое влияние Коммуны, сказавшееся в попытках поднять вооруженное восстание среди крестьян, которые были сделаны южными революционерами («Чигиринский заговор» и др.)[93].

Но влияние Коммуны преломлялось у русских революционеров 70-х годов через бакунинскую призму; пониманию ее мешали народнические иллюзии и предрассудки в отношении политической борьбы, и по-настоящему революционные традиции Коммуны вошли в русское общественное движение, лишь как органическая часть марксизма-ленинизма. Характерно, что сам Лавров, так близко прикоснувшийся к делу Коммуны и к роли Маркса в этом деле, является автором стихотворения, ставшего гимном русской буржуазно-демократической революции и известного под именем «Русской Марсельезы» («Отречемся от старого мира...»), так как музыка его заимствована из гимна Великой французской буржуазной революции. Великий же гимн рабочего Интернационала, созданный поэтом-коммунаром Эженом Потье и композитором-рабочим Пьером Дегейтером, вошел в русский язык, как песня большевистской партии, ставшая после Октября гимном Советской страны и великим символом пролетарской революции.

Для передовых русских современников Коммуна была яркой революционной молнией, прорезавшей на короткое время серое небо буржуазной эпохи и вновь приковавшей все взоры к Франции. С падением Парижской Коммуны Франция, вступившая в период начавшегося упадка капитализма, становится, в лице своих господствующих классов, в своей культуре еще более буржуазной. События 1871 г. произвели огромное впечатление на буржуазию и буржуазную демократию Европы и, в первую очередь, самой Франции. От недавнего радикализма французских республиканцев, хотевших «полного обновления крови, костей и мозга нации», скоро не осталось и следа. Политика республиканской партии после Коммуны преследовала цель консолидации сил буржуазии, примирения всех враждовавших внутриклассовых течений и была насквозь соглашательской. Тьер, этот «карлик-чудовище» (Маркс), усмиривший Парижскую Коммуну, был хуже самого Наполеона III, а республиканский режим Гамбетты если был более демократичен, чем режим 2-го декабря, был, вместе с тем, еще более беспримерно буржуазен и насквозь оппортунистичен. Гамбетта был подлинным героем и кумиром всей либеральной Европы этой эпохи. Ему аплодировали и русские либералы, в частности, Тургенев.

Но Францию Тьера и Гамбетты, Францию Третьей республики изобразил в своей гениальной книге «За рубежом» Щедрин. Силу и остроту щедринского разоблачения буржуазной демократии Третьей республики Ленин назвал к л а с с и ч е с к и м[94]. Замечательны щедринские страницы, посвященные критике французской художественной литературы 70—

80-х годов. Воспитанный на «героической, идейной беллетристике» великих писателей Франции—Рабле, Бальзака, Жорж Санд—и сохранив к ним всю горячую любовь своей молодости, русский сатирик противопоставляет им современную литературу эпигонов натурализма. Он обнажает связь этого литературного направления с буржуазией периода ее установившегося могущества и, одновременно, начала ее культурно-исторического упадка. В литературе, провозгласившей принципиальный отказ от борьбы за общественные идеалы, он видит «современного французского буржуа», которому «ни идеалы, ни героизм уже не под силу», который «слишком отяжелел, чтобы не пугаться при одной мысли о личном самоотвержении, и слишком удовлетворен, чтобы нуждаться в расширении горизонтов»[95].

Этот художественный суд великого русского демократа и реалиста над достигшей своей полной зрелости западной буржуазией—одна из великих страниц русской и мировой литературы, свидетельствующая, в частности, о глубоко изменившейся роли передовой русской мысли в отношении буржуазной Франции, вступившей в новый империалистический период своей истории. Литературная Франция Третьей республики—Франция Флобера и Ренана, Золя и Мопассана—продолжала, конечно, и на буржуазной почве создавать великие культурные ценности и попрежнему удерживала свою влиятельность в Европе. Но общий характер французской литературы глубоко изменился. 70—80-е годы во французской литературе явились узловым пунктом, в котором сошлись те линии литературного развития—натурализм, импрессионизм, символизм,—которые обозначали начало распада буржуазного реализма и перерождения прогрессивной литературы в эстетскую культуру декаданса.

Русская литература третьей четверти XIX в. была выше, сильнее и человечнее, чем современная ей французская, и в дальнейшем оказала мощное воздействие на последнюю.

В течение долгого времени Россия воспринималась передовой Францией—Францией просвещения, буржуазных революций и буржуазной демократии, Францией Парижской Коммуны—прежде всего, в качестве неиссякаемого источника реакции, сковывающей и душащей силы европейских революций и европейского освобождающего мировоззрения. Для правящих классов Франции Россия была, прежде всего, колоссальной военной империей, простиравшейся от Германии до берегов Тихого океана, вооруженной мощи которой боялись и внешнеполитические отношения с которой вплоть до 90-х годов XIX столетия были почти все время напряженными. Для тех и других Россия казалась «варварской» страной «царя, кнута и мужика», от которой нельзя было ожидать никаких культурных ценностей и, тем более, заимствовать этих ценностей у нее. На протяжении ряда десятилетий XVIII и XIX вв. характерной чертой французской литературы о России являлись памфлетные разоблачения русских царей и царского деспотизма типа «Relation d'un voyage en Sibérie» Шапп д'Отроша, «Anecdotes sur la Révolution de la Russie en 1762» Рюльера (1797), «La Russie en 1839» Кюстина (1843) или «La Sainte Russie»—альбома сатирической графики Гюстава Доре (1854). «Нет недостатка в книгах о России,—писал в 1849 г. Герцен,—но большая их часть—политические памфлеты; они писались не для лучшего ознакомления с этой страною: они служили лишь делу либеральной про-

паганды либо в России, либо в Европе. Цель их была пугать Европу и поучать ее картиною русского деспотизма»[96].—«Французы ненавидят Россию, потому что они ее смешивают с правительством»,—замечает Герцен в другом месте[97], и это замечание соответствует исторической действительности. Колосс самодержавия, которое ненавидели во Франции и которого боялись, невольно заслонял собою от французов подлинную Россию—ее народ, ее национальную культуру. Характерны пренебрежение, с которым Кюстин говорит о Пушкине, в котором заранее отказывается допустить возможность самобытности; податливое легкомыслие, с которым он усвоил навязанную ему Николаем I легенду о декабристах, как кучке гвардейских заговорщиков; презрение, с которым он сразу же по приезде в русскую столицу отзывается о русском народе («Кюстин знал тогда русский народ только по петербургским извозчикам»,—замечает Герцен[98]) и о тех, кого он называет русской буржуазией, т. е. об образованном чиновничестве и дворянской интеллигенции средней руки. Кюстин, конечно, аристократ, роялист и католик, которого только зрелище николаевского царизма могло превратить, в известном смысле, в либерала, но проявленные им невежество и предубежденное презрение к русской культуре, уверенность, что настоящая Россия—это только «безмолвный и дикий мужик» и, с другой стороны, царь и «бояре»,—долго остается характерной чертой отношения к России и широких кругов французской (и не только французской) буржуазии, и отдельных представителей французской литературы, даже таких, как Бальзак, который прожил в нашей стране свыше двух лет, но «не заинтересовался ни русским народом, ни русской поэзией, ни русской мыслью, ни русским общественным мнением и в своем творчестве прошел мимо России и русских»[99].

Характерно, что в XVIII в., когда царизм не превратился еще в жандарма Европы, когда его контрреволюционная роль во внешней политике еще не давала себя знать, Франция уделяла России и ее культуре гораздо более серьезное и глубокое внимание. Интерес к России и всему русскому проявляли не только отдельные философы и писатели, лично связанные с Екатериной и ее вельможами или дипломатами, но и довольно широкие круги дворянско-буржуазной интеллигенции. Военная мощь «северной империи», огромная фигура Петра I, русская история, политика, наука, современная русская литература, русские нравы служили предметом не только достаточно живого внимания общественного мнения и текущей прессы, но и предметом специальных изучений и откликов в художественной литературе. Достаточно назвать здесь «Историю Карла XII» Вольтера, поэму «Петриада» А. Тома, драмы «Петр Великий» Дора, «Меньшиков» Лагарпа, «Федор и Лизанька» Деформа и др. Вопрос о значении «русской темы» во французской литературе XVIII в. совсем почти не изучен, а между тем, как это удалось совсем недавно показать Mohrenschildt, автору книги «Russia in the intellectual Life of Eighteenth Century France», исследование этого вопроса приводит к несколько неожиданным результатам. Следует, конечно, критически отнестись к заключительному выводу автора, что Россия сыграла в культурной и литературной жизни Франции XVIII в. роль почти не меньшую, чем Англия, но обширные материалы, привлеченные исследователем, во всяком случае, свидетельствуют о том, что роль и значение «русской темы» во французской литературе XVIII в. до сих пор сильно преуменьшались[100].

Борьба самодержавия с революционной, а затем и наполеоновской Францией, реставрация силою русского оружия ненавистных большинству французского народа Бурбонов, оккупация Парижа русскими войсками, создание Александром I системы Священного союза, в расчете установить гегемонию русского царя в Европе,—все это, утверждая политическую роль России на Западе, не способствовало, вместе с тем, развитию сколько-нибудь широких французских интересов и симпатий к культурной жизни враждебной страны. Уже в 1824 г. поэт Баур-Лормиан, рецензируя только-что появившуюся антологию русских поэтов («Anthologie russe») Дюпре де Сен-Мора, писал: «Вот автор, который хочет заставить нас полюбить русских. Мы же знаем их только по их многочисленным батальонам»[101]. Но, начиная с 20-х годов, положение начинает несколько меняться. Пропагандистами и популяризаторами русской литературы выступают сначала сами русские. В 1821 г. Кюхельбекер, очутившись в Париже, читает в «Athénée Royal» свои свободолюбивые лекции о русской литературе и славянских языках, в которых заявляет о верности своих передовых соотечественников принципам свободы. С. Д. Полторацкий усиленно снабжает русскими материалами журнал «Revue Encyclopédique»—единственное издание, внимательно следившее во Франции за текущей русской литературой и сыгравшее на этом раннем этапе ознакомления французов с русской культурой большую роль. В полемике, вспыхнувшей по поводу упомянутой «Anthologie russe» Дюпре де Сен-Мора, участвуют со своими толкованиями русской литературы Яков Толстой и член кружка кн. Шаховского Н. И. Бахтин, наконец, с реакционно-монархических позиций усиленно пропагандирует русскую литературу Элим Мещерский[102]. Одновременно появляется ряд французских переводов из русских авторов, в том числе привлекший большое внимание критики перевод «Истории государства Российского» Карамзина, сделанный Сен-Тома и Жоффруа, переводы из Пушкина, Крылова, Жуковского, поэтов XVIII в., а также ряд французских статей и книг о России и русской литературе, среди которых особую роль сыграли «русские главы» в «Dix années d'exil» г-жи де Сталь и «Six mois en Russie» Ансло. Но русская литература, сама по себе, мало привлекала внимание в эти годы. Ею интересовались, в первую очередь, потому, что рассматривали ее, как единственно возможную в России форму выражения общественного мнения, которая давала иностранцам возможность в какой-то мере объективно знакомиться с политической борьбой, шедшей в России, узнавать о внутренних опасностях, угрожавших самодержавию,—а всем этим французы интересовались сильно. Это особенно сказалось на отношении французов к Пушкину, который долгое время привлекал внимание, лишь как автор антиправительственных стихов[103]. Однако, были уже и исключения, и даже в такой среде, как дипломатическая. Так, по свидетельству А. И. Тургенева, когда петербургский «свет», чтобы помешать демонстрации народного гнева, съехался на панихиду по Пушкине, французский посол Барант—историк, высоко ценимый Пушкиным, был среди них «единственным русским», единственным среди этой «светской черни» понимавшим страшное значение понесенной русским народом потери. Вообще дуэль и смерть Пушкина значительно усилили к нему внимание литературной Франции и Европы. Французский литератор Лёве-Веймар, для которого Пушкин делал подстрочные переводы русских народных песен, написал о нем в «Journal des Débats» сочувственный и, по словам В. Ф. Одо-

евского, «довольно справедливый некролог», в котором, однако, больше сказалось обаяние личности великого русского поэта, чем глубокое знакомство с его творчеством. Во влиятельном «Revue des deux Mondes» была напечатана анонимная статья Шарля Бодье, в которой Пушкин уже ставился в ряд с крупнейшими писателями Европы и, прежде всего, с Байроном. Но все же единственным человеком во Франции, который на смерть русского поэта мог отозваться не только достойными словами, но и проявить при этом действительное понимание значения его творчества, был Адам Мицкевич. Его статья в «Le Globe», в которой он заявил, между прочим, что «если бы не существовало произведений Байрона, то Пушкин был бы провозглашен первым поэтом своего времени»,—важная веха в ознакомлении Европы и Франции с величайшим русским поэтом.

Период с Реставрации 1814 г. и до крымской войны 1853—1856 гг. был мало благоприятен для проникновения во Францию русской литературы. Политические отношения России и Франции, особенно обострившиеся в связи с революцией 1830 г., оставались все время враждебными, и враждебность эта шла, все усиливаясь, до самой войны. Николай I ненавидел режим Июльской монархии «короля баррикад» и мечтал о воссоздании системы Священного союза; еще бóльшую ненависть к Франции внушила ему революция 1848 г. Франция, в свою очередь, остро ненавидела николаевское самодержавие, как жандарма европейской свободы, как душителя Польши. Весь этот период проходил во Франции под знаком антирусских настроений в общественном мнении и непрекращающейся антирусской агитации в прессе[104]. Все это наложило глубокий отпечаток и на характер литературных отношений Франции к России в первую половину XIX в. и определило, в частности, сравнительно незначительную роль русской темы во французской литературе эпохи романтизма, открывшего столь широкий доступ иноземной тематике и локальному колориту.

После Дидро и Бернардена де Сен-Пьера первым крупным писателем Франции, писавшим о России на основании личных впечатлений, была M-me де Сталь. Зачинательница французского либерального романтизма, разъяснившая Европе и России, в том числе Пушкину, смысл нового литературного направления и «открывшая» богатства немецкой словесности, она хотела узнать и нашу страну и вызвать интерес к ней во Франции. Она посетила Россию проездом в Швецию летом 1812 г., в разгар Отечественной войны, видела Киев, Москву, Петербург и впечатления свои изложила в последних главах книги «Dix années d'exil», вышедшей в 1821 г. В этих воспоминаниях она стремится рассеять предубеждение французов против России и первая среди европейских писателей пытается подойти к определению содержания русской национальной самобытности и узнать характер русского народа. «Несколько скверных анекдотов из предыдущих царствований, несколько русских, делавших долги в Париже, несколько острот Дидро поселили в голове французов мысль, что Россия состоит исключительно из испорченного двора, придворных и народа, состоящего из рабов». «Это,—отмечает Сталь,—большая ошибка». «В характере русского народа—не бояться ни усталости, ни физических страданий; в этой нации совмещаются терпение и деятельность, веселость и меланхолия; в ней соединяются самые поразительные контрасты, и на

этом основании ей можно предсказать великую будущность». «Этот народ характеризуется чем-то гигантским во всех отношениях; обыкновенные размеры неприложимы к нему».

Наблюдениям над русским крестьянством, над его бытом, нравами, песнями, даже над его речью, непонятной ей, но в которой она сумела услышать «нежность и блистание звуков, предназначенных для музыки и поэзии»,—всему этому Сталь уделяет в своих путевых воспоминаниях много сочувственного внимания. Суждения ее о придворно-аристократическом обществе Москвы и Петербурга, наоборот, отрицательны. Она отказывает этому обществу в праве считать себя просвещенным и указывает: «Всякая значительная мысль всегда более или менее опасна во дворце, где одни остерегаются других и где больше всего занимаются интригами»; это различие оценок, данных автором «Коринны» двум социальным группам русского общества, хорошо отметил Пушкин словами героини «Рославлева»: «Пускай она вывезет о этой светской черни мнение, которого они достойны. По крайней мере она видела наш добрый простой народ и понимает его». Но следует признать, что вместе с «светской чернью» Сталь отказывает в просвещенности и всему русскому дворянству и проходит мимо его культуры. Она, отмечающая с удовлетворением популярность своего литературного имени среди русских «даже в Туле, на таком расстоянии от моего отечества», сама никогда ничего не слышала о Ломоносове, Сумарокове, Державине, Крылове, Фонвизине, Карамзине, не заинтересовалась этими именами и теперь и прямо утверждала, что русской литературы еще не существует: «Поэзия, красноречие и литература не встречаются еще в России»[105].

Столь категорическое суждение, высказанное авторитетной писательницей в книге, получившей огромное распространение в Европе, должно было оказать свое действие и, разумеется, не могло способствовать пробуждению интереса Франции к литературной России.

Почти одновременно с г-жей де Сталь увидел нашу страну Стендаль, тогда еще Анри Бейль. Но он посетил ее не как писатель-путешественник, а в качестве участника наполеоновского похода 1812 г. Он проделал русскую кампанию, занимая довольно видную должность при интендантстве главной армии, видел горящую Москву—«прекрасный город... превращенный в черные и смрадные развалины», пережил трагедию отступления и гибели великой армии и навсегда сохранил в своей памяти эти исторические воспоминания. Москва дала ему и сильнейшие эстетические переживания, поразив его творческое воображение самобытной красотой своего архитектурного облика. «Только моя счастливая и благословенная Италия давала мне такие впечатления»,—признавался Стендаль своим парижским друзьям в письме, носящем помету: «Кремль, 16 октября 1812 г.»[106]. Но эти эстетические переживания и необычность обстановки, в которой произошло соприкосновение писателя с русской действительностью, не ослабили его всегдашней привычки к анализу и не заслонили от него политической стороны «московской изысканности». «Русская власть—это своеобразный вид восточной деспотии,—сообщал он в том же письме.—Правящая верхушка (восемьсот или тысяча человек) имеет от пятисот тысяч до полутора миллионов франков ежегодного дохода и сотни тысяч рабов». Наблюдения над социально-политическим укладом страны вызывают интерес к некоторым фактам ее прошлого, и Стендаль знакомится в оставленных владельцами московских библиотеках с мемуарной и памфлетной

литературой о Лже-Димитриях, Пугачеве, с бурными событиями русской придворной истории XVIII в.

Но русские интересы Стендаля, пробужденные 1812 годом и поддержанные позднее знакомством с А. И. Тургеневым, С. И. Соболевским и другими русскими парижскими посетителями салона M-me Ancelot[107], не получили, однако, достаточного развития и не нашли сколько-нибудь существенного отражения в его художественном творчестве. Правда, героиня его повести «Арманс» (Арманс Зоилова)—русская, русскую фамилию носит также один из героев романа «Красное и черное» (Коразов), но как раз национальные характеристики этих персонажей выявлены слишком мало, и они вряд ли могут быть сочтены за изображения р у с с к и х л ю д е й[108]. Не забудем, однако, что именно Стендалю обязан Мериме сюжетом и деталями своей «русской» новеллы «Взятие редута», в которой дано столь мастерское изображение одного из центральных эпизодов Бородинского сражения—боя за Шевардинский редут.

Если отзывы г-жи де Сталь о России Александра I не отличались еще резкой враждебностью к ее правительству, то скоро, в эпоху священносоюзной реакции и, особенно, николаевского царствования, превратившего самодержавие во всеевропейского жандарма, французские писатели заговорили об официальной России совсем другим языком. Ее имя стало для них символом тирании и деспотизма русского царя, в ненависти к которому сошлись демократ Гюго и аристократ Виньи.

Гюго, создавший в свой ранний период, под впечатлением вольтеровской «Histoire de l'empire de Russie...», панегирическую характеристику Петра I в одном из своих ранних «Discours» («Conservateur Littéraire», III, 7) и несколько позже поэму «Мазепа» («Les Orientales», XXXIV), вместе с тем, не посвятил ни строчки России в «Легенде веков». Но он обрушился на ненавистную ему «мрачную империю» русского царя и на порабощенный народ в гневных строфах своих «Châtiments»:

Peuple russe, tremblant et morne, tu chemines,
Serf à Saint-Pétersbourg, ou forçat dans les mines.
Le pôle est pour ton maître un cachot vaste et noir;
Russie et Sibérie, oh tsar! tyran! vampire!
Ce sont les deux moitiés de ton funèbre empire:
L'une est l'Oppression, l'autre est le Désespoir.
(«Carte d'Europe»)[109]

Ненависть к самодержавию Гюго сохранил до конца своих дней, но с 60-х годов, при помощи Герцена, он узнал другую—революционную и оппозиционную—Россию и в дальнейшем не раз активно помогал ее борьбе с царизмом своим горячим словом публициста-демократа.

Альфред де Виньи, никогда не простивший Николаю I расправы над декабристами и удушения Польши, работал, как показывает его дневник—«Journal d'un poète», над двумя поэмами, направленными против самодержавия и русского царя,—«Le Despôte» и «Le Russe», но завершить ему удалось лишь третью поэму, «Wanda» (1847)—замечательный по своей сосредоточенно-негодующей энергии рассказ о женах декабристов в Сибири, в судьбе и поведении которых автор цикла «Les Destinées» находит новые подтверждения для своей идеи о трагической обреченности всякой героической и морально сильной личности и необходимости стоически подчиниться этой гибели:

Et ces femmes sans peur, ces reines détrônées
Dédaignent de se plaindre et s'en vont au désert
Sans détourner les yeux, sans même être étonnées
En passant sous la porte où tout espoir se perd[110].

Аналогичный сюжет, связанный с историей Полины Гебль и декабриста Анненкова, вдохновляет А. Дюма на целый роман «Mémoires d'un maître d'armes» (1840)—первый роман о декабристах, в котором, несмотря на фантастичность многих деталей и эпизодов, дано волнующее изображение событий 14 декабря, как яркой вспышки революционного протеста против веков крепостнического рабства, придавленности и угнетения. Позднее, в 1858—1859 гг., Дюма совершил большое путешествие по России и Кавказу и описал его в нескольких томах своих известных книг «De Paris à Astrakan» («En Russie») и «Le Caucase»—занимательных, благодаря живости и мастерству рассказа, путевых очерках, в которых подлинные наблюдения и переживания автора тонут в море безудержной и неистощимой фантазии творца «Трех мушкетеров»[111].

Столь связанный в своей биографии с Россией Бальзак, знавший Петербург и особенно Украину, где он прожил, в общей сложности, более двух лет, тем не менее, прошел в своем творчестве мимо нашей страны. Правда, он набрасывает в «Человеческой комедии», как бы мимоходом, силуэты нескольких титулованных русских людей и переносит в Россию некоторые эпизоды из «Прощания» и «Деревенского врача», но это—малозначительные детали на его огромном творческом полотне. А его главная «русская» героиня—светская львица Федора из «Шагреневой кожи» и «Autre étude de femme»—представляет собою в гораздо большей степени парижско-космополитический, чем русский тип[112].

Великосветских русских бар-космополитов выводит и Теофиль Готье в своем «Путешествии в Италию» и в «Перевоплощении» («Avatar»). Но Готье связан с Россией не только через своих литературных героев,—он был в России (в 1859 г.), видел Петербург, Москву и Нижний-Новгород, изучал древнерусскую архитектуру и искусство, восторгался русским театром и балетом, знакомился с народными обрядами и впечатления свои изложил в замечательной в литературном отношении книге «Voyage en Russie». В живописной пластической манере, смешивая на своей палитре все ее богатые краски, изображает Готье русский зимний дорожный пейзаж, поразивший его своим «гранитным величием» Петербург—«золотой город на серебряном фоне»—среди архитектурных ансамблей которого «чувствуешь себя, как в сновидении»,—и вызвавшую его особенное восхищение Москву и Кремль—«архитектурную кристаллизацию из «Тысячи и одной ночи»... самое великолепное нагромождение дворцов, церквей, башен и стрел, о котором только может грезить человек». В ансамбле Кремля Готье находит «некоторое сходство с Альгамброй», но, вместе с тем, весь его архитектурный облик «не греческий, не византийский, не готический, не арабский,—он русский»[113]. Готье восхищается древнерусской и византийской иконописью в кремлевских соборах и русскими жемчугами в Троицкой лавре, высоко ценит блеск драматического и балетного искусства Петербурга и Москвы; его внимание привлекает красочная сторона некоторых русских обрядов, он едет в Нижний-Новгород, «давно непреодолимо занимавший мое воображение», чтобы насладиться «пестрым великолепием» его ярмарки, он восторгается пляской цыган, которая

похожа на «качучу при лунном свете на снегу»[114], но за всем этим богатством зрительных впечатлений он не видит подлинной России, ее народа и жизни; он сознательно проходит мимо русской литературы, которой не знает, и отстраняется от обсуждения каких-либо социально-политических вопросов русской действительности. В этом отношении книга Теофиля Готье, вполне отвечающая его требованию искать «экзотизм в пространстве и во времени», стоит особняком в ряде «русских путешествий» других французских писателей.

В числе произведений французской литературы первой половины XIX в., посвященных русской тематике, следует назвать еще две известные повести Ксавье де Местра: «Jeune Sibérienne» и «Les prisonniers du Caucase», из которых последняя, повествующая о побеге из чеченского плена двух русских офицеров, привлекла внимание Пушкина[115] и оказалась в числе литературных источников рассказа Л. Толстого «Кавказский пленник»; целую серию романов из русской жизни, точнее, из жизни русской аристократии, П. де Жюльвекура под общим названием «Le faubourg Saint-Germain moscovite»—«Nastasie», «Les russes à Paris», «Le chevalier-garde», «La bohémiènne de Nijney», а также его стихотворные произведения на русские темы в сборнике «Fleurs d'hiver» и книгу «Le Yataghan et la Dame de pique»[116]; наконец, ряд книг писателей-путешественников, посетивших Россию,—Э. де Монтюле (в 1825 г.), Ансло (в 1826 г.), П. де Жюльвекура и Ж. де Сен-Феликса (в 1834 г.), Кюстина (в 1839 г.) и, особенно, Ксавье Мармье, впервые приехавшего в нашу страну в 1842 г., много и серьезно писавшего впоследствии о русской жизни, политике и литературе и переводившего русских авторов, в том числе Пушкина, Лермонтова и Гоголя[117].

Если, таким образом, в свете приведенных данных, было бы неправильно утверждать,—подобно тому, как это делает современный французский исследователь Pierre Jourda в отношении великих романтиков,—что французские писатели первой половины XIX в. остались совсем «равнодушны к России»[118], то необходимо, все же, признать, что русская тематика во французской литературе эпохи романтизма играла достаточно скромную роль и не дала, как, например, Испания и Италия, произведений, сколько-нибудь равных по значению таким, как «Кармен» Мериме, «Капризы Марианны» или «Сказки Испании и Италии» Мюссе, наконец, итальянские новеллы и хроники Стендаля.

Тем не менее, несмотря на неблагоприятные политические условия, уже в 40-х годах один из крупнейших французских писателей своего поколения, писатель, которого Пушкин выделял из числа его современников,—Проспер Мериме, начинает во Франции борьбу за Пушкина и русскую литературу. И эта борьба открывает новую и блестящую страницу в истории взаимоотношений двух литератур. Впервые великий русский писатель становится фактом самой французской литературы, ибо Мериме не просто знакомит французов с Пушкиным, а опирается на него в своей борьбе за определенные художественные принципы—за ясность, стройность, высшую простоту, против риторики эпигонов романтизма. Мериме назвал Пушкина «афинянином среди скифов», признавал его величайшим европейским поэтом XIX в. и сам испытал его творческое воздействие[119].

На протяжении 40-х годов происходит и первое знакомство Франции с Лермонтовым и Гоголем. В 1843 г. выходит первый перевод «Героя нашего времени», в 1845 г. появляются «Повести» Гоголя, которые вызывают восхищение в литературных кругах и получают высокую оценку критики, в частности, Сент-Бёва, назвавшего «Тараса Бульбу» «запорожской Илиадой» и признавшего ее автора (с которым он в 1838 г. познакомился и лично) «человеком истинного таланта, проницательным и неумолимым наблюдателем человеческой природы»[120].

Дальнейшим важным этапом в знакомстве Франции с русской литературой и культурой были европейская деятельность Герцена и деятельность Тургенева в Париже. Герцен, который, по словам Ленина, «в крепостной России 40-х годов... сумел подняться на такую высоту, что встал в уровень с величайшими мыслителями своего времени»[121], был первым русским (если не считать Бакунина), который не только знакомил Европу с подлинной Россией, но и оказал влияние на развитие европейской революционной демократии. Тургенев был первым русским писателем, оказавшим непосредственное влияние на европейские литературы. В их лице «молодая Россия» начала отдавать свой идеологический долг Западу.

Уехав в 1847 г. за границу, Герцен с исключительным блеском начинает осуществлять здесь ту задачу ознакомления европейской демократии с революционной и оппозиционной Россией, с великим русским народом, которую он сам поставил себе в знаменитом прощальном обращении к своим русским друзьям: «Пора,—писал он здесь,—действительно знакомить Европу с Русью. Европа нас не знает; она знает наше правительство, наш фасад и больше ничего... Пусть она узнает ближе народ, которого отроческую силу она оценила в бою [с Наполеоном], где он остался победителем; расскажем ей об этом мощном и неразгаданном народе, который втихомолку образовал государство в шестьдесят миллионов, который так крепко и удивительно разросся... об народе, который как-то чудно умел сохранить себя под игом монгольских орд и немецких бюрократов, под капральской палкой казарменной дисциплины и под позорным кнутом татарским, который сохранил величавые черты, живой ум и широкий разгул богатой натуры под гнетом крепостного состояния и в ответ на царский приказ образоваться ответил через сто лет громадным явлением Пушкина. Пусть узнают европейцы своего соседа...»[122].

Исполняя это обязательство, Герцен публикует ряд статей о России, русской культуре и жизни в газете Прудона «Voix du peuple», издает на французском языке свои известные работы «О развитии революционных идей в России», «Крещеная собственность», «Старый мир и Россия» и другие, в которых знакомит европейского читателя с декабристами, Пушкиным, петрашевцами и др. Резонанс этих выступлений в передовой Франции был очень силен, как об этом, между прочим, свидетельствует тот факт, что на призыв Герцена помочь ему в «закладке свободного русского дела»—в издании «Полярной звезды» откликнулись крупнейшие деятели французской демократии—Прудон, Луи Блан, Мишле, Виктор Гюго[123].

С последним Герцен находился и в личном общении на протяжении ряда лет, вплоть до своей смерти, и служил для него посредником в его связях с новой Россией. Гюго, в свою очередь, высоко ценил Герцена и как одного из вождей европейской и русской демократии, и как замечательного писателя; он восторгался «Былым и думами» и книгу

эту, вместе со всей передовой французской критикой, считал одним из наиболее волнующих произведений современной европейской литературы[124].

Тургенев, почти безвыездно живший с конца 50-х годов за границей, сблизившись в 60-х годах с кругом Флобера, настолько прочно вошел в него, настолько воспринимался, как его органическая часть, что уже в 70-х годах американский писатель Генри Джемс, приехавший в Париж и посещавший французские литературные круги, включил очерк о Тургеневе в свою книгу «Французские романисты». В лице Тургенева впервые в истории франко-русских литературных отношений великий писатель одной страны активно и непосредственно участвовал в создании целого литературного движения в другой стране, был одним из признанных руководителей литературной жизни в этой стране. Мериме и Флобер высоко ценили литературный вкус Тургенева, посвящали его в свои творческие работы, обсуждали с ним свои замыслы и знакомили его со своими произведениями в далеко еще не завершенных рукописях. Известно то прямое участие, которое принимал Тургенев в работе Мериме над повестью «Локис» и, особенно, над его историческими этюдами «Петр Великий» и «Лже-Елизавета», и его участие в создании и появлении в свет «Легенды о Юлиане-странноприимце» Флобера. Младшие члены флоберовского круга—Золя и Мопассан—смотрели на Тургенева, как на учителя, и из Парижа его влияние начало распространяться и на другие страны. Но влияние Тургенева не ограничивалось его личностью и творчеством,—он был деятельным пропагандистом и истолкователем во Франции великих русских писателей, в первую очередь Пушкина, но также Лермонтова, Гоголя, Толстого, Писемского и др. Русский роман впервые проник во Францию через Тургенева и с самого начала был воспринят, благодаря его умелой и тактичной пропаганде, не в качестве какой-либо «экзотики», а как нечто «свое», как и сам Тургенев, который, оставаясь для французов иностранным русским писателем, был для них в то же время живой силой в развитии своей литературы. Велика роль Тургенева и как активного посредника между французскими писателями и русской литературной жизнью; в частности, целиком его инициативе обязан Золя своим сотрудничеством в «Вестнике Европы», где он получил возможность сформулировать и развить идеи возглавлявшегося им натуралистического направления. Тургеневу обязан Золя и своим пониманием Пушкина. Выразив в горячих словах свое восхищение великим поэтом в юбилейном приветствии 1899 г., Золя указал, что именно Тургенев раскрыл перед ним всю глубину пушкинского гения[125].

Реализм Флобера и его школы был антибуржуазен. Но эта антибуржуазность была пассивна и глубоко пессимистична, и пока в русской литературе господствовало гуманистическое, общественное и демократическое направление, флоберовский роман оставался на русской почве без сколько-нибудь широкого влияния, а круг русских почитателей автора «Госпожи Бовари» был в это время незначителен[126]. Характерны в этом отношении и невнимание, с которым отнеслась русская критика к замечательной статье Золя о Флобере, появившейся в 1875 г. в «Вестнике Европы», и неудача, постигшая в 1880 г. Тургенева в его обращении к русскому читателю принять участие в подписке на памятник Флоберу в Руане[127].

Сложнее складывались отношения с русской литературой у Золя. Его

известность романиста началась в России раньше, чем на его родине. Его теоретическая борьба за новые принципы литературы, за «натурализм», за «научный роман» развернулась впервые на страницах русского журнала. Впоследствии Золя неоднократно вспоминал с благодарностью, как много обязан он России. «В ужасные дни материального стеснения и отчаяния,—писал он,—Россия возвратила мне мою веру и силу, предоставив трибуну и самую отзывчивую, самую страстную аудиторию. Благодаря ей, я стал в критике тем, чем я сейчас являюсь. Я не могу говорить об этом без волнения и сохраняю постоянную благодарность»[128]. За исключением Вольтера и Жорж Санд, ни один французский писатель не привлекал в России такого широкого и разностороннего внимания, как Золя в 70-е годы, и Михайловский имел основание утверждать, что «Золя стал наполовину русским писателем».

Русского передового читателя в эти годы—годы бурного подъема движения революционного народничества—к Золя привлекали его глубокий демократизм, его социальная тематика, его интерес к массам. Но популярность Золя в России была основана преимущественно на его романах. Правда, его «Парижские письма», ежемесячно печатавшиеся, начиная с 1875 г., в «Вестнике Европы», в которых он сформулировал концепцию натуралистического романа, первоначально были встречены также восторженно. Происходило это потому, что понятия «натурализм», «экспериментальный роман», сопровождаемые, к тому же, постоянными ссылками на «научность», «физиологию», «биологию», «медицину» и т. п., на русской почве 70-х годов неправильно ассоциировались вначале с радикальной общественно-политической программой, а также с теми революционно-демократическими традициями левого крыла русской «натуральной школы», теоретиками которой являлись Белинский и Чернышевский и из недр которой вышли Герцен, Некрасов и Щедрин. Но по мере того, как полнее и точнее выяснялась сущность проповедуемых Золя теорий, он стал терять свою популярность и подвергаться ожесточенным нападкам. Демократического читателя начали отталкивать от Золя формулируемые им требования «объективизма», «аполитичности» («я не затрагиваю вопроса об оценке политического строя, я не хочу защищать какие-либо политики или режим; рисуемая мною картина—простой анализ действительности такой, какова она есть»), его биологизм, его тенденция в человеке видеть «человеческое животное», наконец, его резко-полемические выступления против недавних кумиров—Жорж Санд и Гюго. Золя начинает подвергаться резким нападкам демократической критики, особенно усилившимся после появления его «Нана» (статьи Михайловского, сатирическая критика Щедрина и др.[129]), и скоро теряет свой недавний огромный авторитет, хотя и не перестает быть одним из наиболее читаемых французских авторов, а в недалеком будущем вновь приковывает к себе сочувственное внимание всех передовых русских людей, в том числе Ленина, своей мужественной и честной защитой Дрейфуса[130].

Расцвет русской популярности Золя частично захватывает тот период с середины 70-х годов, когда в России начинает укрепляться буржуазная литература, освобождающаяся постепенно от демократических тенденций и все более «европеизирующаяся». Писателем этого направления выступает Боборыкин, убежденный сторонник метода «экспериментального романа», но его первым крупным центром становится «Вестник Европы» Стасюлевича—«европейский» орган русского буржуазного либерализма.

Постоянный и главный сотрудник его—Тургенев, постоянный корреспондент в Париже—Золя; к нему примыкает новое поколение либеральных ученых, историков и социологов контовской школы, пользующейся большой популярностью и создающей в России таких адептов, как Г. Н. Вырубов—известный ученый-кристаллограф и философ-публицист, в прошлом связанный с Герценом, который поселился в Париже и вместе с Литтре основал там и редактировал центральный орган позитивизма «Philosophie positive». Не разделяя радикализма 60-х годов, «Вестник Европы» еще признает примат общественных интересов и чуждается того растущего антиобщественного эстетизма, который все более характеризует новую французскую литературу.

Поворот к эстетизму намечается в русской литературе с конца 70-х и особенно в 80-е годы—годы реакции, годы идейного и организационного распада движения народнической революции и, вместе с тем, годы усиления буржуазных элементов в русской культуре. Борьба за «европеизацию» русской литературы на деле означала борьбу пошедшей на сделку с самодержавием буржуазии за более определенно буржуазный характер литературы, за ее отказ от наследства 60-х годов, за эмансипацию ее от общественных, оппозиционно-демократических традиций. В эти годы начинается увлечение русской интеллигенции новой французской литературой. Уже у Тургенева, в его последних произведениях, намечаются отрыв от общественной традиции и переход на позиции «артистицизма» и пессимистического эстетизма. Тургенев проходит стилистическую школу Флобера, работая над переводами «Легенды о Юлиане-страннолриимце» и «Иродиады», и переносит в свою «Песнь торжествующей любви» некоторые методы флоберовского «артистического» письма. Он обращается к созданному Бодлэром жанру прозаических petits-contes, вырабатывая литературную форму своих стихотворений в прозе, сознательно исходя, в ряде случаев, из бодлэровских образцов[131]. Тургенев, несомненно, содействует проникновению в русскую литературу эстетических и литературно-формальных принципов новой французской поэзии, непосредственно предшествующей символизму и подготовляющей его. Но литературное действие поздней импрессионистско-неоромантической фазы тургеневского творчества сказалось больше в западно-европейской, в частности немецкой, литературе (Т. и Г. Манны, Я. Вассерман), чем в русской. В России же пропагандистами новой французской поэзии и литературы выступают не только профессиональные литераторы, как П. Боборыкин, защитник «Парнаса», поэм Леконт де Лиля и сонетов Эредиа, И. Ясинский, убежденный сторонник флоберовско-натуралистического романа, или П. Якубович-Мельшин, переводчик «Цветов зла» Бодлэра, но и такие лица, как В. Д. Спасович, С. А. Андреевский и А. И. Урусов. Особенно интересен этот последний—упорный пропагандист Бодлэра, бр. Гонкур и особенно Флобера, сыгравший известную роль в популяризации Флобера и в самой Франции. Своего рода центром этого направления становятся литературные собрания, «понедельники» журнала «Слово», организованные И. Ясинским. «Мои понедельники,—вспоминал он позднее в «Романе моей жизни»,—играли, несомненно, кое-какую роль в литературе конца семидесятых и начала восьмидесятых годов... и были колыбелью господства у нас не золаизма, как утверждала тогдашняя критика, плохо разбиравшаяся в литературных направлениях, а своеобразного импрессионизма, вдохновителем которого был Флобер»[132].

Зарождение в русской литературе поэтических традиций французского «артистицизма» и эстетизма, на которые будут позднее опираться русские символисты и декаденты, следует относить, таким образом, к значительно более раннему периоду, чем это обычно принято. Но до 90-х годов, когда в России сложилась своя собственная культура символизма и импрессионизма, это увлечение неоромантическими идеалистическими течениями нового французского искусства эстетского толка не имело сколько-нибудь широкого действия и оставалось вне основного русла русского литературного развития.

В целом, однако, влияние флоберовско-натуралистской школы французского реализма на русскую литературу 1890—начала 900-х годов было относительно невелико. Русская литература протекает в резко иных исторических условиях—условиях назревания все еще не совершившейся демократической революции, теперь уже при гегемонии пролетариата. Этапу, отмеченному во Франции Флобером, Золя и Мопассаном, соответствует в России Чехов, имеющий много общего с ними, особенно с Мопассаном. Но Чехов, вместе с тем, резко отличается от них чертами, явственно связанными с еще не совершившейся демократической революцией,—гораздо менее абсолютным характером своего «пессимизма», своей «обличительной печали», гораздо более глубоким гуманизмом, глубокой болью за человека, которая переходит у него не в презрение к обезображенному капитализмом человеку, а в мучительную сочувственную боль[133]. Разница исторических условий, при которых русская литература достигла своего «флоберовского этапа», сказалась и в том, что этот этап ограничился в России одним гениальным творчеством Чехова, который не имел продолжателей, а только эпигонов, из которых по силе таланта можно выделить одного Бунина, в образовании творческого метода которого, кроме Чехова, большую роль сыграли Флобер и Мопассан. На смену Чехову, с одной стороны, поднимался пролетарский реализм Горького, с другой—нарождалось русское декадентство со всеми его разветвлениями, от чисто буржуазного эстетизма «Мира Искусства» до глубоко трагического творчества Блока.

В 80-е годы, когда Боборыкины и Урусовы начинали поход за «европеизацию» русской литературы, против ее, якобы, «национальной ограниченности»,—в эти самые годы в русско-французских культурных отношениях происходит резкий перелом в пользу русской стороны. Франция «открывает», что за последние десятилетия «отсталая» Россия создала всемирную литературу, которой не только нельзя было дальше не знать, но у которой можно было учиться, можно было ожидать ответов на свои наболевшие вопросы.

Датой торжественного вступления русских во французскую литературу принято считать выход в 1886 г. книги Мельхиора де Вогюэ «Русский роман»[134]. Литературное действие ее было исключительно и неоднократно сравнивалось французской критикой с исторически знаменитым действием, оказанным когда-то на европейские литературы книгой «О Германии» г-жи де Сталь. «Русский роман» составил эпоху во французской литературе и дал начало целому культурному движению, неразрывно связанному с великими русскими именами—Толстым, Достоевским, Тургеневым, русской литературой и искусством в целом.

Однако, утверждение, что Вогюэ открыл Франции русскую литературу, верно лишь в определенном и ограниченном смысле. Русская литература,

как мы видели, была известна во Франции задолго до появления статей Вогюэ в «Revue des deux Mondes». Достаточно вспомнить, как много сделали для ее пропаганды во Франции Проспер Мериме и Ксавье Мармье, с одной стороны, Герцен и Тургенев — с другой, чтобы признать, что у Вогюэ были хорошие предшественники. К этим более ранним именам нужно прибавить еще ряд других, на этот раз имен ученых, познакомивших Францию с Россией, ее историей и культурой в ряде блестящих исследований, появившихся непосредственно в период, предшествовавший выходу «Русского романа» и составивших эпоху в истории французского «руссоведения». Особенно важное значение имели здесь статьи А. Леруа-Больё, появившиеся с 1873 по 1880 гг. в «Revue des deux Mondes», впервые во Франции достаточно полно и объективно знакомившие читателя с социально-политическим, культурно-бытовым и религиозным укладами тогдашней России, в частности, с крепостным правом. Не меньшее значение имела блестящая книга А. Рамбо «Эпическая Россия» (1876), впервые открывшая Франции богатую сокровищницу русского народного творчества и явившаяся этапом в изучении русского эпоса вообще. Тот же Рамбо познакомил Францию с русской историей в своей «Истории России» (1878), а его почин в области изучения русского народного творчества был подхвачен и продолжен Энсом, выпустившим в 1883 г. книгу «La Russie dévoilée au moyen de sa littérature populaire». Художественная литература 70—80-х годов также уделяет внимание России и если, за исключением, быть может, новеллы Артюра Гобино «La danseuse de Shumaka», написанной в прозрачном и точном стиле, напоминающем манеру Мериме, не создает в этой области ничего сколько-нибудь выдающегося, то, тем не менее, многочисленными «русскими» романами M-me Анри Гревиль — «Dosia», «Céphise», «Le vœu de Nadia» и др. — знакомит широкие круги французского читателя с некоторыми сторонами русской жизни[135]. Вся эта подготовительная работа сыграла свою большую, но все еще недооцененную роль в успехах того исключительно быстрого «мирного вторжения» русского романа во французскую литературу, которое было так блестяще ознаменовано книгой Вогюэ и окончательно санкционировано огромным успехом романов Бурже «Crime d'amour» и, особенно, «Le Disciple», в которых он выступил проникновенным приверженцем и учеником Достоевского, создав в сильном образе Робера Грелу французского Раскольникова.

«Открывая» в 1886 г. русский роман, Мельхиор де Вогюэ, по существу, открывал Франции лишь Толстого и уже позже Достоевского, отношение к которому, впрочем, у него было гораздо более сдержанным. Третье имя, возвещенное в «русском манифесте» Вогюэ, — Тургенев — было уже давно и хорошо знакомо французам, и ничего существенно-нового к его оценке автор «Русского романа» не прибавил. По-иному обстояло дело с Толстым. Мериме его не понял и как следует не заинтересовался им, Тургенев же слишком мало сделал для того, чтобы его узнали в Париже. В результате, к середине 80-х годов, когда литературная слава Толстого в России достигла всеобщего и восхищенного признания, во Франции почти-что не знали его имени.

Интересен рассказ Вогюэ о своем «открытии» Льва Толстого. Связанный родством с русским дворянским обществом, Вогюэ, знавший русский язык и живший в Петербурге в 1876—1878 гг., по совету С. А. Толстой (жены Алексея К. Толстого), решил прочесть «Войну и мир». Он при-

А. М. ГОРЬКИЙ И РОМЭН РОЛЛАН
На даче Горького близ Москвы, июль 1935 г.
Фото-снимок М. Ошуркова

ступил к чтению «с естественным недоверием всякого француза... к произведениям, которые не получили еще общего признания», а «общее признание для нас,—замечает Вогюэ,—это признание со стороны Парижа». Роман произвел на Вогюэ чрезвычайное впечатление. «По мере того, как я двигался вперед, любопытство сменялось удивлением, удивление—восторгом перед этим бесстрастным судьей, который привлекает к своему суду все проявления жизни и заставляет человеческую душу раскрыть все ее тайны. Я чувствовал себя унесенным течением спокойной реки, дна которой я не мог достать; передо мной проходила сама жизнь, прикасавшаяся к сердцам людей, внезапно обнажая их во всей правде и сложности их биений...».

Воспользовавшись французским переводом «Войны и мира», сделанным кн. Ириной Паскевич и изданным в 1879 г. в Петербурге, Вогюэ начинает пропаганду романа в литературном Париже. Его восхищение грандиозным творением русского гения сразу же разделяет Альфонс Доде. Флобер прочитывает его «залпом» и торопится поделиться своими переживаниями с Тургеневым. Он пишет ему: «Это перворазрядная вещь! Какой художник и какой психолог! Два первые тома изумительны [«sont sublimes»]... Мне кажется, что есть места, достойные Шекспира! Мне случалось вскрикивать от восторга во время чтения, а оно продолжительно! Да, это сильно! Очень сильно!»[136]. «Война и мир» становится подлинным литературным событием Парижа, и этот успех кладет начало длительному, глубокому и плодотворному увлечению Толстым со стороны широких кругов французской интеллигенции и таких ее благородных представителей, как Ромэн Роллан, который одно время выступал главным глашатаем Толстого во Франции и который в трудные годы своего интеллектуального и творческого самоопределения получил из далекой Ясной Поляны столь необходимую ему тогда поддержку и ободрение. Впоследствии Ромэн Роллан вспоминал: «Дни, когда я познал его [Толстого], никогда не изгладятся из моей памяти. Это было в 1886 г. После нескольких лет медленного прозябания чудесные цветы русского искусства возникли на французской почве. Переводы Толстого и Достоевского начали сразу появляться во всех издательствах с лихорадочной поспешностью... В несколько месяцев, в несколько недель перед нашими глазами раскрылось творчество одной великой жизни, в которой отражался целый народ, даже целый новый мир... Это были как бы врата, раскрытые на безбрежную вселенную, великое разоблачение жизни... Никогда еще подобный голос не раздавался в Европе»[137]. Свою личную благодарность и восхищение перед художественной мощью творца «Войны и мира» Ромэн Роллан сохранил навсегда. Он создал о нем замечательную книгу «Жизнь Толстого», одну из своих героических биографий великих людей, и уже в наши дни писал: «Я сохранил к Льву Толстому все восхищение и всю любовь моей молодости. Никогда не забуду отеческой помощи, которую он оказал мне, ищущему юноше. Я считаю его величайшим мастером жизни в искусстве, мастером живого искусства. «Война и мир» остается для меня образцом современной эпопеи... Я вижу его, как Жан-Жака Руссо, сидящим на развалинах старого мира, разрушению которого он способствовал, на пороге нового мира, приход которого он, сам того не подозревая, подготовил и который идет теперь дальше своим путем»[138].

Вслед за переводами «Войны и мира», «Анны Карениной», «Казаков» и других вещей Толстого в конце 80-х—начале 90-х годов появляются

переводы «Записок из мертвого дома», «Идиота», «Братьев Карамазовых», «Бедных людей», рассказа «Кроткой», «Записок из подполья», и Достоевский воцаряется во французской литературе едва ли не более властно и активно, чем Толстой, оказывая чрезвычайное влияние на таких писателей и поэтов, как Поль Бурже (прошедший перед тем через полосу сильного увлечения Тургеневым), Эдуард Род, который, как он сам это признавал, дал в своей «Sacrifiée» лишь перифразу «Преступления и наказания»; далее Марсель Прево и Поль Маргерит, романы которых «Mademoiselle Jauffre» и «Jours d'épreuve» Жюль Леметр, имея в виду влияние Достоевского, назвал «русскими романами», дышащими «гуманностью и милосердием»; отчасти Мопассан, который, однако, испытал влияние и Толстого и Тургенева. Леконт де Лиль под впечатлением «Великого инквизитора» создает свою замечательную поэму «Les Raisons du Saint-Père», а Вилье де Лиль Адан, пораженный тою же главою из «Братьев Карамазовых», насыщает свою ранее написанную трагедию «Аксель», при окончательной обработке ее, целым рядом отзвуков монолога «великого инквизитора»[139]. Увлечение Достоевским во французской литературе остается прочным и длительным, достигая своего подлинного апогея в 20-е годы нашего века, когда Сюарес и Андре Жид превращают его в своего рода декадентского полубога и создают его подлинный культ, служителями которого выступают, помимо них, такие писатели, как Марсель Пруст, Дюамель, Александр Арну, особенно Андре Сальмон и др.[140].

Толстой, Достоевский и Тургенев вызывают интерес и к другим именам и явлениям русской литературы. Во французских переводах появляются «Тысячи душ», «Дельцы» Писемского, «Обрыв» Гончарова, «Господа Головлевы» и «Пошехонская старина» Щедрина, а также некоторые его «сказки», отрывки из «Помпадуров и помпадурш», из цикла «За рубежом»[141], переводят также произведения Гаршина, Решетникова, Крестовского, Короленко и др.

Весь этот поток переводных русских книг вызывает не менее обширную критическую литературу. О русских авторах пишут Брюнетьер (одна из ранних здесь статей о «Что делать?» Чернышевского, 1870), Эрнест Дюпюи («Великие мастера русской литературы», 1885), Эмиль Эннекен («Писатели, ставшие французскими»—о Тургеневе, Достоевском и Толстом, 1889), в качестве критиков выступает Мопассан, снабжающий своим предисловием издание рассказов Гаршина, а также Барбэ д'Орвильи, Катюль Мандес и др.

Русская культура проникает и на парижскую сцену, в концертные залы, в выставочные салоны художников. В 1888 г. в «Théâtre Libre» осуществляется постановка «Власти тьмы», а в 1889 г. «Грозы» и «Не в свои сани не садись» Островского, около того же времени театр «Odéon» показывает инсценировку «Преступления и наказания» Достоевского, а «Théâtre du Gymnase» несколько позже—«Анну Каренину». Ряд русских художников, в том числе Верещагин, устраивает, по приглашению Парижа, свои выставки. Наконец, в эти же годы происходит знакомство Франции с русской музыкой и народной песней (выступления хора Агренева-Славянского, концерты Чайковского) и, особенно, с Мусоргским, страстным пропагандистом которого выступает известный музыкальный критик Пьер д'Альгейм. Мусоргский входит активной силой во французскую музыку и вместе с другими «кучкистами» оказывает заметное влияние на композиторов новой французской школы, в частности, на их признанного лидера, Клода Дебюсси. В эти годы, наконец, начинается

успех русского балета, хотя его парижские триумфы, связанные с антрепризой Дягилева, еще впереди.

В эту пору широких русских влияний под флагом «русского» прокралось во Францию немало ложного, двусмысленного и поверхностного. Немногие тому примеры—пьесы вроде «Сержа Панина» Жоржа Онэ или более ранних «Данишевых» Ал. Дюма-сына (по сюжету П. Корвин-Круковского), относительно которых Золя писал, что «действительно, нужна дерзость, чтобы давать этих злополучных «Данишевых» после того, как во Франции весьма распространены в переводах произведения, например, Тургенева, знакомящие нас с настоящим бытом России»[142]. Крайности увлечения всем русским вызывают естественную реакцию. И если известный писатель Леон Гандеракс в ответ на запрос редактора «Gil Blas» о Флобере писал ему: «Вы запрашиваете меня относительно Флобера? Меня, француза, да еще в 1890 году! Почему бы лучше не запросить меня о Толстом? Я бы тогда, между прочим, упомянул о Флобере, чтобы с похвальным беспристрастием принести в жертву русскому натурализму натурализм французский»,—то в этом ответе звучит лишь беззлобная ирония. Но скоро Жюль Леметр уже начнет призывать к спасительной «реакции латинского гения» против «русского порабощения»[143].

Но эти эксцессы, эти приливы и отливы—неизбежные спутники каждого большого движения. Неоспоримым же реальным результатом его было то, что с середины 80-х годов русские входят во французскую литературу активной силой и прочно остаются в ней.

Андре Лирондель—известный французский руссовед, автор монографии об Алексее Толстом—пишет в своей статье «Le roman russe en France à la fin du XIXe siècle»:

«Было бы слишком утомительно приводить бесчисленные хищения, совершенные со страниц «Войны и мира», «Анны Карениной», «Преступления и наказания», и бесполезно перечислять все книги, на которых отразилось веяние нового духа. Россия упоминается в них, может быть, даже менее часто, чем во времена, когда «Le Général Dourakine» графини Сегюр, «Le Comte Kostia» Шербюлье и бесчисленные произведения г-жи Анри Гревиль вводили нас в живописные детали «русских» нравов и в разнообразный маскарад «русских» костюмов. Но и невидимое присутствие России, иногда даже незаметно, было более реально для тех, в которых она жила. Можно было проследить это присутствие по сотням вех, начиная от «Confession d'un amant» Марселя Прево и до рассказов Шарля-Луи Филиппа, затрагивая по пути «Petite paroisse» Додэ и «L'Impérieuse bonté» братьев Рони и драмы Бриё. И не от России ли пошел полет Метерлинка?..»[144].

Книга Мельхиора де Вогюэ дала толчок широкому «русскому движению» во французской литературе 80-х годов и «ввела» в нее Толстого и Достоевского. В этом—положительная сторона пропаганды русского романа, предпринятой Вогюэ. Но была и отрицательная: пропагандируя Толстого, Тургенева и Достоевского, Вогюэ ими одними и хотел бы ограничить «русский роман»; он противился распространению во Франции революционно-демократических и народнических писателей, и когда стали появляться переводы из Щедрина и Решетникова, косвенно протестовал против этих «излишеств» в печати. Вогюэ, вместе с Брюнетьером, Лемэтром, Бергсоном и другими, был активным деятелем того движения спиритуалистической реакции конца 80—90-х годов, которая была на-

правлена против т. н. механистического, естественно-научного материализма 60—70-х годов. В своей борьбе за идеалистическое мировоззрение он стремился использовать и русскую литературу, с ее богатыми гуманистическими традициями. Отсюда затушевывание демократически-оппозиционных элементов русской литературы, силу которых он и его единомышленники хорошо понимали. Размышляя над «русским сочувствием к несчастным», над русской «жалостью к ближнему», Вогюэ несколько неожиданно приходит к такому заключению: «Почти математический закон исторических колебаний требует, чтобы за этими излияниями последовали страшные реакции, чтобы жалость превратилась в ожесточение, чувствительность—в ярость. Да отвратятся от нее [России] эти предзнаменования!». Почти то же говорит по поводу Толстого и связанного, по его мнению, с его учением «распространения коммунизма религиозных сект» среди крестьянства Эрнест Дюпюи. Он предвидит день, «когда эти приверженцы социального, по существу, догмата будут насчитываться тысячами... В этот день, если они решатся действовать, им останется только дунуть на старый порядок вещей, чтобы от него ничего не осталось». Эти слова и оценки—не наши, но они показывают, кого боялись и с чем боролись в русской литературе, одновременно пропагандируя ее, Вогюэ и его друзья.

Но «русское движение» 80-х годов во французской литературе было гораздо шире и разностороннее, чем это было предусмотрено манифестом «русской идеи» Мельхиора де Вогюэ. И если несомненно, что русская литература мобилизовалась отдельными французскими деятелями в интересах идеалистической реакции на борьбу с позитивизмом 60—70-х годов, то столь же несомненно, что в развернувшейся борьбе она привлекалась и слева в интересах возрождающегося демократического гуманизма. Огромную роль здесь сыграло творчество пролетарского реалиста Горького, оказавшего еще задолго до революции сильное воздействие на демократическую французскую литературу, в частности, на Шарля-Луи Филиппа и писателей, группировавшихся вокруг него. В целом же, и русская литература поразила французских читателей, помимо своей художественной силы и красоты, тем реалистическим гуманизмом, который почти полностью улетучился из искусства буржуазного Запада. Там гуманизм доживал свой век только в романтике старого демократа Гюго, а реализм был или натуралистически объективен и аполитичен, как у Золя, или пессимистически мизантропичен, как у Флобера. Вера в лучшие стороны человека и его достоинства, в его возможности, оценочное отношение к социальному «добру» и «злу»,—все эти качества, почти утерянные литературой буржуазного Запада той поры, французская литература в изобилии нашла в русской. Русские реалисты, к тому же, с точки зрения строгости и чистоты реалистического метода, удовлетворяли самым максимальным требованиям. «Русское движение» 80-х годов во Франции навсегда останется превосходным выразителем того момента в истории французской культуры, когда она, потеряв былую силу своих общественных идеалов, в лучших своих представителях не смогла примириться со скудостью буржуазных перспектив и в поисках выхода «открыла» великую русскую литературу и, обильно черпая из ее богатых источников, нашла в ней опору для нового гуманизма.

В политических взаимоотношениях России и Франции период 90-х годов, вплоть до империалистической войны 1914 г., проходит под знаком франко-русского союза 1891 г. Французская буржуазия, заключая союз с русским царем, надеялась использовать Россию, как «отсталую» страну: во-первых, как неисчерпаемый источник живой военной силы русских солдат, которыми царь мог располагать по своему произволу в интересах своих политических союзников; во-вторых, как огромную экономически еще не развитую страну, в которую можно было помещать капитал на условиях, давно невозможных на Западе. Франко-русский союз был союзом царского самодержавия и тех помещиков и октябристско-черносотенных капиталистов, которых оно возглавляло, с французской реакционной и империалистической буржуазией не только против германского империализма, но и против русского народа. Именно парижская биржа в 1906 г. своей финансовой поддержкой помогла царизму подавить первую русскую революцию. Создавшиеся отношения между господствующими классами России и Франции не способствовали культурному сближению демократии этих стран. Отношение революционной пролетарской России к буржуазно-банкирской Франции, естественно, доходило до глубокой вражды и классовой ненависти, с большой силой сказавшейся в известном памфлете Максима Горького «Прекрасная Франция».

В культурном общении России и Франции кануна империалистической войны передовой стороной выступает Россия. Творчество Толстого и Горького продолжает вливать свежую и живую струю во французскую демократическую и гуманистическую литературу и способствует ее оживлению. И величайший ее представитель, Ромэн Роллан, наряду с другими лучшими традициями мирового гуманизма, продолжает глубоко воспринимать в себя гуманизм русских классиков. Описывая позднее обстановку, в которой создавалась эпопея «Жан-Кристофа», Ромэн Роллан вспоминал, что на его рабочем столе была одна только фотография. Она изображала «двух далеких спутников»—Толстого и Горького, снятых рядом в парке Ясной Поляны. «Часть „Жан-Кристофа“ была написана под их взглядами»,—добавляет Ромэн Роллан. Франция же, по ряду исторических причин остающаяся столицей международного искусства, в это время выступает, как учительница русских декадентов.

В Россию «новое искусство» стало вливаться широким потоком, начиная с последнего десятилетия XIX в. После 1905 г. русская литература, за вычетом пролетарской литературы во главе с Горьким, начинает принимать в воинствующих своих направлениях все более декадентский характер. Французская струя в русском декадентстве очень значительна. Русский символизм, правда, имел достаточно прочные корни в собственной литературной традиции—в Достоевском, Тютчеве, Вл. Соловьеве, и наиболее сильные и оригинальные его явления, в первую очередь Блок, свободны от следов французских влияний. Но в общем фоне того движения, центром которого был символизм, французские влияния играют выдающуюся роль. Главными проводниками французского влияния среди символистов были Брюсов и Волошин. Целиком пропитана культурой французского декаданса поэзия Иннокентия Анненского. Бодлэр, Верлэн, Метерлинк, Барбэ д'Орвильи, Вилье де Лиль Адан переводились, пропагандировались, им подражали[145]. Однако, в русском интересе к декадентской Франции есть своеобразные моменты, говорящие о невозможности отождествления русского и французского декадентства. Особенно

это относится к Брюсову. Характерно, что он особенно выдвигает такого писателя, как создатель «научной поэзии» Рене Гиль,—совершенно непризнанного и неизвестного у себя на родине. Гиль, благодаря Брюсову, поручившему ему французскую хронику в «Весах», становится для русской эстетской публики ее главным путеводителем по французской литературе. С другой стороны, характерен особый интерес к Верхарну—поэту лично близкому символистам, но, по существу, чуждому им. Русские символисты, конечно, всячески подчеркивают символистские элементы в поэзии Верхарна, но их влечение к нему все же отражает тот факт, что в России даже буржуазные эстеты не могли полностью отделиться от проблем назревавшей революции. Бельгиец Верхарн как бы связывал русских символистов с революцией. И недаром в первые годы после Октября он оказывал заметное влияние на молодых пролетарских поэтов, а А. В. Луначарский призывал учиться у него.

Русский футуризм имел мало общего с родоначальником направления—итальянским футуризмом, но связь его с французским кубизмом была очень тесна. Французский кубизм тоже имел свою поэзию, свою литературу, но на русских кубофутуристов влияли не столько поэты-кубисты, вроде Гийома Апполинэра, а непосредственно живопись кубизма. Проводником этих французских влияний в русском футуризме был Давид Бурлюк. Но в русском футуризме была и другая, более демократическая, более сильная и более национальная сторона, шедшая еще от анархистского бунтарства, связанная с нарастанием революции. Выразителем этой стороны русского футуризма был молодой Маяковский, впоследствии выросший в «лучшего, талантливейшего поэта нашей советской эпохи» (Сталин).

Великая Октябрьская Социалистическая революция, открывшая новый всемирно-исторический этап, открыла, вместе с тем, и новую главу в истории русско-французских, теперь уже советско-французских, культурных взаимоотношений, в корне отличную от всех прежних.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] А. С. Пушкин, Полное собрание сочинений в шести томах. Изд. «Художественная Литература», М., 1936, VI, 230. В дальнейшем все ссылки на Пушкина даются по этому изданию, обозначенному сокращенно.

[2] Определяя причины всеевропейского господства французской литературы в XVII—XVIII вв. и указывая на придворно-монархический характер литературы «великой эпохи», Пушкин писал: «Отселе вежливая, тонкая словесность, блестящая, аристократическая и немного жеманная, но тем самым понятная для всех дворян Европы».—Пушкин, VI, 234—235.

[3] Ленин, Сочинения, 3-е изд., XXII, 517.

[4] О Фенелоне и других утопистах в русской литературе XVIII в. см.: Н. Чечулин, Русский социальный роман XVIII века, 2-е изд., СПБ. 1900; Б. Святловский, Русский утопический роман, П., 1922; ак. А. С. Орлов, «Тилемахида» В. К. Тредиаковского.—Сборн. «XVIII век» Института литературы АН СССР, Л., 1935, 5—55. Из более ранних проникновений французской литературы в Россию нужно указать на ряд средневековых французских песен, поэм и романов, дошедших до Московской Руси сложным путем и живших здесь, в сильно измененном, разумеется, виде, еще в конце XVII в. «Именно в Восточной Европе закончила свой славный путь старинная французская эпическая литература»,—пишет A. Rambaud, указывая, при этом, на особую долговечность поэмы об одном из героев Каролингского цикла—Bue ve Hantone, получившей у нас известность под именем сказки о Бове-королевиче (A. Rambaud, La Russie épique, P., 1876, 433). Современный исследователь J. Patouillet, в свою очередь, констатирует: «Сказка о Бове остается единственным

живым свидетельством французской средневековой поэзии в современной России» (Ю. Патуйе, Мольер в России, П., 1924, 9).

[5] «Записки гр. Сегюра о пребывании его в России в царствование Екатерины II. 1785—1789», СПБ. 1865, 32.

[6] Перевод Кантемира («Разговоры о множестве миров господина Фонтенелла, парижской академии секретаря»), напечатанный в 1740 г., подвергся нападкам духовенства, а позднее, в 1757 г., по докладу Синода, был конфискован. Предприятие Кантемира было тем смелее, что сам Фонтенель задался целью доказать своим «Разговором», что французский язык способен передавать все научные понятия и может полностью заменить латинский, как язык науки. Кантемир своим переводом старался доказать ту же истину в отношении русского языка. И хотя ему удалось ввести в свою родную речь ряд удачных, привившихся к ней слов, как, напр., «центр», «понятие», «средоточие» и др., попытка эта была преждевременной. Но, как первый опыт в развитии русской философско-научной прозы, перевод Кантемира заслуживает большого внимания.

[7] Как об этом, по крайней мере, свидетельствуют два недавно опубликованных французских стихотворения русского сатирика. См. G. Losinski, Cantemir poète français.—«Revue des études slaves», V, t. 3—4, P., 1925.

[8] Плеханов, Сочинения, М.—Л., ГИЗ, 1925, XXI, 80.

[9] Пушкин, VI, 171.

[10] Плеханов, Сочинения, XXI, 211, 213. О роли и значении французских влияний в творчестве Кантемира см. Т. М. Глаголева, К литературной истории сатир кн. А. Д. Кантемира. Влияние Буало и Лабрюйера.—«Известия Отд. русск. яз. и словесн. Акад. наук», 1913, XVIII, кн. 2, 143—187.

[11] Н. Голицын, И. И. Шувалов и его иностранные корреспонденты — см. в настоящей книге ниже, стр. 259—342.

[12] Критику этого мнения см. в статье Г. А. Гуковского, За изучение восемнадцатого века.—«Литературное Наследство», кн. 9-10, М., 1933, 295—326.

[13] С. Бонди, Тредиаковский, Ломоносов, Сумароков, вступительная статья в выпуске «Библиотеки поэта», посвященном Тредиаковскому, М.—Л., 1935, 19.

[14] Н. Смирнов, Западное влияние на русский язык в Петровскую эпоху.— «Сб. Отд. русск. яз. и словесн. Акад. наук», т. 88, 1910, 1—398.

[15] В заметке «О нынешнем состоянии словесных наук в России» Ломоносов, в качестве примера того, «коль полезно человеческому обществу в словесных науках упражнение», ставит именно Францию и работу французских писателей над языком. См. Ломоносов, Стихотворения, в серии «Библиотека поэта», М.—Л., 1935, 307.

[16] О судьбе Расина в русской литературе XVIII в. см.: Gr. Gukovskiy, Racine en Russie au XVIIIe siècle; les critiques et les traducteurs; les imitateurs.— «Revue des études slaves», 1927, t. VII, 75—93, 241—260.

[17] О судьбе Мольера в русской литературе XVIII в. см.: П. И. Рулин, Русские переводы Мольера в XVIII веке.—«Изв. Отд. русск. яз. и словесн. Акад. наук СССР», Л., 1928, I, 221—244; Юлий Патуйе, Мольер в России, пер. с франц. К. Памфиловой, под ред. Г. Лозинского, изд. «Петрополис», Берлин, 1924 (приведена литература); Aschkinazi, Les influences françaises en Russie. Molière, ses traductions, ses critiques et ses interprètes en Russie. Bibliographie rétrospective.—«Livre», 1884, XI.

[18] «Русская Старина», 1878, IX, 121.

[19] О русском вольтерьянстве см.: К. Н. Беркова, Вольтерьянство в России.— В книге «Вольтер», М.—Л., Соцэкгиз, 1931, 207—219; И. Наумов, Вольтерьянство русских писателей екатерининского времени, СПБ. 1876; В. В. Сиповский, Из истории русской мысли XVIII—XIX ст. (Русское вольтерианство).— «Голос Минувшего», 1914, I, 105—131; Д. Д. Языков, Вольтер в русской литературе.—Сб. «Под знаменем науки», М., 1902, 696—714.

[20] См. J. Patouillet, Un épisode de l'histoire littéraire de la Russie: la lettre de Voltaire à Soumarokov (26 février 1769).—«Revue de litt. comparée», 1927, V, 438—458.

[21] Д. А. Голицыну удалось осуществить (в 1772 г. в Гааге) издание знаменитого посмертного труда Гельвеция «De l'Homme», который не мог быть напечатан в самой Франции, и тем принести посильную помощь работе французских просветителей. Находясь под их воздействием, Голицын и сам написал ряд сочинений, например, «В защиту Бюффона» («Défense de Buffon», 1793), «О духе экономистов» («De l'esprit des économistes», 1796) и др., но эти труды вельможного «материалиста-гельвецианца» серьезного самостоятельного значения не имели и интересны сейчас лишь, как свидетельство искреннего его увлечения идеями своих тогдашних учителей. См. А. Рачинский,

Русские ценители Гельвеция в XVIII веке по документам Московского главного архива мин. иностр. дел.—«Русский Вестник», 1876, V.

[22] См. письмо Руссо к Сесиль Гобарт, 1773 г.—«Revue d'histoire littéraire de la France», 1936, avril—juin. В этом письме оскорбленный Руссо пишет о своей «неизменной отныне ненависти к русскому тирану». Ср. также: Д. Ф. Кобеко, Екатерина II и Ж.-Ж. Руссо.—«Исторический Вестник», XII, № 6, 603—617.

[23] В 1782 г. в Москве была издана книга профессора Московского университета Якова Шнейдера, Рассуждения на Монтескиеву книгу Дух Законов. Книга составилась из лекций, которые Шнейдер читал «для студентов на латинском, а для дворян на французском языке без платы».

[24] В. И. Семевский, Крестьянский вопрос при Екатерине II.—«Отечественные Записки», 1879, октябрь и ноябрь, 205—207.

[25] Интересные материалы и записи Бернардена де Сен-Пьера, относящиеся к его поездке в Россию, до сих пор остаются неопубликованными полностью. Рукописи их хранятся в составе его архива в библиотеке гор. Гавра (опись этих материалов любезно сообщил нам M. Michel Gorlin).

[26] О французских заимствованиях в комедиях Фонвизина (для «Недоросля», например, такие заимствования установлены из сочинений Лабрюйера, Дюкло, Дюфрени, Вольтера, Ларошфуко и др.) и в его письмах из Франции к П. Панину см.: П. А. Вяземский, Фон-Визин, СПБ. 1848; Н. С. Тихонравов, Материалы для полного собрания сочинений Д. И. Фонвизина, СПБ. 1894; Алексей Веселовский, Западное влияние в новой русской литературе, 5-е изд., М., 1916, 81—85. «Письма» Фонвизина были изданы в 1888 г. по-французски с интересной вводной статьей М. де Вогюэ (Denis Fon Vizine, Lettres de France, P., 1888).

[27] Antoine Thomas (1732—1785)—Фонвизин близко познакомился с ним и перевел его «Похвальное слово Марку-Аврелию».

[28] В примечании к этому абзацу «Жития» Ушакова Радищев сообщает, что «Г. Гримм в бытность свою в Лейпциге, извещен будучи, с каким прилежанием мы читали Гельвециеву книгу о Разуме, по возвращении своем в Париж сказывал о сем Гельвецию».—А. Радищев, Полное собрание сочинений, СПБ. 1907, I, 35.

[29] Не вполне правы те исследователи, которые, подчеркивая роль немецкой культуры в мировоззрении Радищева, отодвигают французское просвещение на задний план. Такой взгляд см., напр., в работе проф. Боброва, Философия в России, вып. 3-й, Казань, 1900, и в новейшей обстоятельной работе Я. Л. Баркова, А. Н. Радищев. Жизнь и личность («Путешествие...», изд. «Academia», II, 93).

[30] Существует, насколько нам известно, лишь одна специальная работа, посвященная этой теме,—статья А. Я. Кучерова, Французская революция и русская литература XVIII века (в сб. «XVIII век» ИЛИ Академии наук СССР, М.—Л., 1935, 259—307). Но в этой содержательной статье автор, как он сам об этом заявляет, должен был сильно ограничить впервые исследуемую им проблему и «ставил себе задачей только наметить расстановку классовых сил и охарактеризовать первые впечатления от революции и первые отклики на нее в русской литературе». См. также С. Бородин, Галлофобия в нашей литературе прошлого века.—«Наблюдатель», 1887, октябрь, 70—85, и ноябрь, 303—316 (обзор русских сочинений, направленных против Французской революции и материализма XVIII в.).

[31] Николай Тургенев пишет в своей книге «La Russie et les russes» (русск. перев., М., 1915, ч. III, 342): «В молодости Карамзин видел Европу, он прибыл во Францию во время террора [неточно—летом 1789 г.]. Робеспьер внушал ему благоговение. Друзья Карамзина рассказывали, что, получив известие о смерти грозного трибуна, он пролил слезы...».

[32] Не следует, однако, забывать, что якобинцы имели тогда очень пестрый состав и среди их главных функционеров были даже конституционные монархисты.

[33] «Mémoires, souvenirs et anecdotes par M. le comte de Ségur», édition Barrière, P., 1859, II, 170.

[34] «Recueil des Instructions données aux ambassadeurs et ministres de France depuis les Traités de Westphalie jusqu'à la Révolution Française...». Russie, vol. 2. Avec une introduction et des notes par Alfred Rambaud, P., 1890, 518. В этом издании опубликовано лишь несколько донесений и писем Жене. Большая же их часть остается до сих пор ненапечатанной. Укажем попутно, что корреспонденция Жене подвергалась в Петербурге перлюстрации, и эти копии перлюстрированных писем, в которых содержится много материалов по вопросу об отзвуках Французской революции в русской жизни, сохранились и находятся ныне в ГАФКЭ, в Москве.

[35] Переводим с французского. Эти строки, входившие в «Письма русского путешественника», были изъяты оттуда самим Карамзиным и напечатаны им только по-французски

в статье «Un mot sur la littérature russe», помещенной в 1796 г. в издававшемся в Гамбурге эмигрантском журнале «Le Spectateur du Nord» (octobre, 53—72). На протяжении 90-х годов Карамзин настойчиво возвращается к «ужасным происшествиям Европы». В письме от 17 августа 1793 г. к поэту Дмитриеву он пишет: «Я живу, любезный друг, в деревне, с людьми милыми, с книгами и с природою, но часто бываю очень, очень беспокоен в моем сердце. Поверишь ли, что ужасные происшествия Европы волнуют всю душу мою? Бегу в густую мрачность лесов—но мысль о разрушаемых городах и погибели людей везде теснит мое сердце». («Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву», под ред. Я. Грота и П. Пекарского, СПБ. 1866, 42).

[36] Характерно, например, весьма сочувственное отношение к Руссо такого дворянского идеолога, как Болотов. В одной из своих критических статей 80-х годов он, называя его «славным в свете сочинителем», пишет: «Всему свету известно, кто был Жан-Жак Руссо и сколь много прославился он разными своими сочинениями и, между прочим, самыми романами».—«Литературное Наследство», 1933, № 9—10, 207.

[37] Характерно, что сам Карамзин позднее счел нужным пояснить свой отбор имен, упомянутых в «Поэзии», таким специальным примечанием: «Сочинитель говорит только о тех поэтах, которые наиболее трогали и занимали его душу в то время, как сия пиеса была сочиняема».

[38] Современный исследователь творчества Дмитриева пишет: «В продолжение всей своей литературной деятельности Дмитриев работает, по преимуществу, над переводами или переделками французских стихотворений... Почти все басни и сказки Дмитриева—переводы и переделки. Дмитриев переводил Лафонтена, Флориана и менее известных французских поэтов—Гишара, Легуве и других. Не преувеличивая, можно сказать, что часть басен Дмитриева все еще считается оригинальной лишь потому, что не разысканы оригиналы, с которых они переведены».—А. Кучеров, И. И. Дмитриев, статья в выпуске «Карамзин и поэты его времени» малой серии «Библиотеки поэта», М.—Л., 1936, 162.

[39] О роли французского элемента в языковой работе карамзинистов см. В. Виноградов, Очерки по истории русского литературного языка XVII—XIX вв., М., 1934 (гл. IV: «Процесс образования салонно-дворянских стилей русского литературного языка на русско-французской основе»).

[40] В своих «Записках» Шишков пишет: «Следы языка и духа чудовищной французской революции, доселе нам неизвестные, мало по малу, но прибавляя по часу скорость и успехи свои, начали появляться в наших книгах» («Записки, мнения и переписка адмирала А. С. Шишкова», изд. Н. Киселева и Ю. Самарина, Berlin, 1870, I, 303). В своем «Рассуждении» Шишков, борясь с этими словами, приводит пример: «По мнению нынешних писателей, великое было бы невежество, нашед в сочиняемых ими книгах слово переворот [слово, введенное Карамзиным], не догадаться, что оное означает révolution, или, по крайней мере, révolte».

[41] Между тем, сам Местр искал сближения с кругом Шишкова. Он посещал заседания «Беседы любителей русского слова» и присутствовал, в частности, при знаменитом выступлении Шишкова с речью «О любви к отечеству» («Воспоминания А. С. Сербиновича».—«Русская Старина», 1896, № 9, 575). В то же время Местр изучал и взгляды антагониста Шишкова—Карамзина. В «Quatre chapitres» он цитирует «Письма русского путешественника» для доказательства религиозного вольнодумства русского дворянского общества. О русских отношениях Местра см. в настоящей книге специальную работу М. Степанова, Жозеф де Местр в России.

[42] В совершенно иной области нельзя не указать еще на явление, представляющее собой одно из последствий пребывания французской эмиграции в России, а именно на распространение в русской дворянской среде ряда предрассудков светской бытовой культуры, свойственных французскому обществу. Именно под воздействием эмигрантов окончательно складываются те понятия дворянской чести, на которых воспитывалось поколение Пушкина, в частности, представление о дуэли, как о палладиуме личной чести дворянина.

[43] Один из основателей Общества, В. Дмитриев, сообщает, например, о своих «занятиях»: «Перевожу поэму о благополучии Гельвеция, как произведение образцовое, как творение, которого цель и все аллегорические картины, мастерскою кистью автора-живописца писанные, имеют предметом своим убеждение людей в истине, что вернейший путь их к достижению возможного на земле благополучия есть: Просвещение,—что оно есть твердое основание народного благоденствия...». «По окончании поэмы Благополучие,—сообщает далее В. Дмитриев,—выйдет в следующих книгах Ореад анализ сочинений Гельвеция, а по издании оных, если позволят обстоятельства... и полные переводы трактатов его о разуме и человеке».—В. Дмитриев, Ореады, ч. I, СПБ. 1809, 122—123. О значении французской просветительной лите-

ратуры и философии для «радищевцев» см. В. Десницкий, Радищевцы в общественности и в литературе начала XIX века, вступит. статья к выпуску «Поэты-радищевцы» большой серии «Библиотеки поэта», 1935, М.—Л., 15—90.

[44] Ленин, Сочинения, 3-е изд., XXII, 400.

[45] См. об этом: М. Н. Лонгинов, Заимствования русских баснописцев у французских писателей.—«Русский Архив», 1905, I, 174—176 (перечень заимствований из французских авторов у Кантемира, Княжнина, Хемницера, Нелединского-Мелецкого, В. Л. Пушкина, Измайлова, Жуковского); Алексей Веселовский, Западные влияния в новой русской литературе, М., 1896, гл. IV (заимствования в баснях Крылова); J. Fleury, Krylov et ses fables, P., 1869.

[46] «О предисловии Лемонте к переводу басен И. А. Крылова», 1825.

[47] Ю. Патуйе, Мольер в России, П., 1924, 15. О значении Мольера и французского театра для творчества Грибоедова см. специальное исследование: Н. К. Пиксанов, Грибоедов и Мольер. Переоценка традиции, М., 1922.

[48] О роли и значении Французской революции и идей французского просвещения для декабристов см.: M. Mirkine-Guetzevith, L'influence de la Révolution Française sur les décembristes russes.—«Révolution Française», 1926, juillet—septembre; В. И. Семевский, Политические и общественные идеи декабристов, СПБ. 1909; «Декабрист М. С. Лунин». Сочинения и письма, ред. С. Я. Штрайха, П., 1923; А. Н. Ш., Западно-европейские влияния в мировоззрении Н. И. Тургенева.—«Анналы», 1923, III; Его же, Декабристы в оценке западно-европейской публицистики.—Сб. «Бунт декабристов», изд. «Былое», 1926; Н. П. Павлов-Сильванский, Пестель перед Верховным уголовным судом, Ростов-на-Дону, 1907; Б. Н. Сыромятников, Политическая доктрина Пестеля.—«Сборник статей, посвящённых В. О. Ключевскому», М., 1909.

[49] «Записки Александра Ивановича Кошелева (1812 — 1883 годы)». Berlin, Behr's Verlag, 1884, 13.

[50] О Полевом, «Московском Телеграфе» и романтизме см. В. Орлов, Николай Полевой—литератор тридцатых годов, вступит. статья к изданию: «Николай Полевой. Материалы по истории русской литературы и журналистики тридцатых годов», под ред. В. Орлова, Л. [1934].

[51] «Méditations» Ламартина были напечатаны по-французски в Петербурге и Москве в том же 1820 г., что и в Париже. О роли Ламартина в русской поэзии 20-х годов см. Н. Сурина, Русский Ламартин.—Сб. «Русская поэзия XIX века», под ред. Б. Эйхенбаума и Ю. Тынянова, Л., 1929, 299—335. Статья чисто формалистская и вопроса о «русском Ламартине» не разрешает, но содержит интересный фактический материал. Ср. Guillemain, Lamartine en Russie.—«Revue de littérature comparée», 1934, IV, 646—660.

[52] Приведя стихотворение Вольтера, Пушкин писал: «Признаемся в *rococo* нашего запоздалого вкуса: в этих семи стихах мы находим более слога, более жизни, более мысли, нежели в полдюжине длинных французских стихотворений, писанных в нынешнем вкусе, где мысль заменяется исковерканным выражением, ясный язык Вольтера — напыщенным языком Ронсара, живость его — несносным однообразием, а остроумие—площадным цинизмом или вялой меланхолией».—Пушкин, V, 184.

[53] Цитируем по переводу, приведенному во вступительной статье В. Десницкого («Пушкин и мы») к однотомнику Пушкина под ред. Б. В. Томашевского, Л., 1936; в этой статье дана интересная оценка творчества Пушкина в плане европейской, в частности, французской, культурно-исторической действительности. Литература о Пушкине и французской литературе очень велика. Последний суммирующий очерк на эту тему дан Б. В. Томашевским в статье «Пушкин и французская литература», напечатанной во II томе настоящего издания.

[54] Ряд интересных фактических указаний о роли Гюго и Ламартина в поэзии Полежаева содержится в работе Н. Коварского, Полежаев и французская поэзия.—Сб. «Русская поэзия XIX века», под ред. Б. Эйхенбаума и Ю. Тынянова, Л., 1929, 142—175. Однако, статья эта, формалистская по своим установкам, решает вопрос о Полежаеве и французской литературе исключительно в плане эволюции жанров, игнорируя социальную сторону вопроса. См. также Е. Бобров, Мелочи из истории русской литературы, вып. II, Варшава, 1907, 4—5 (О Гюго и Полежаеве).

[55] «Н. В. Гоголь. Материалы и исследования», под ред. В. В. Гиппиуса, ИЛИ АН СССР, М.—Л., 1936, 12, 39.

[56] См. его отзыв о Мольере в «Петербургских записках».—Н. В. Гоголь, Сочинения, 10-е изд., V, 313. См. также его впечатления от парижского спектакля памяти Мольера в письме к Прокоповичу от 25 января 1837 г.

[57] О Гоголе и французской литературе см.: Г. Чудаков, Отношение творчества Н. В. Гоголя к западно-европейским литературам, Киев, 1908 (круг французского чтения Гоголя, сопоставления с Паскалем, Мольером, Лабрюйером, Руссо, Лесажем, Шатобрианом, Мериме, Бальзаком, Матюреном); А. Назаревский, Гоголь и искусство, Киев, 1910, 27—29 (сопоставление статьи «Об архитектуре нынешнего времени» с архитектурными описаниями в «Соборе парижской богоматери» Гюго); В. В. Виноградов, Эволюция русского натурализма, Л., 1929, 153—205 («Романтический натурализм. Жюль Жанен и Гоголь»); Б. Энгельгардт, Комментарий к «Невскому проспекту» в т. III «Полного собрания сочинений Гоголя», изд. Академии наук СССР; В. Десницкий, На литературные темы, кн. 2, Л., 1936, 365—366 (Гоголь и Стендаль); Б. Эйхенбаум, Толстой и Поль де Кок, статья в «Западном Сборнике» ИЛИ АН СССР, М.—Л., 1937, 294—296 (Гоголь и Поль де Кок). Ср. еще Raïna Tyraeva, Nicolas Gogol. Ecrivain et moraliste. Thèse de doctorat... de l'Université de Lyon, Aix, 1901, 70—71 (Гоголь и Шатобриан), 161—162 (Гоголь и Лабрюйер).

[58] В. С. Печерин, Замогильные записки, изд. «Мир», 1932, 38. Эта книга содержит ряд интересных свидетельств о раннем знакомстве русской интеллигенции с идеями французского утопического социализма и о личных сношениях русских людей с учениками Сен-Симона. Печерин утверждает здесь, что и его уход в католический монастырь был подготовлен религиозными элементами в учениях утопического социализма, и ссылается при этом на Жорж Санд, Пьера Леру и Мишле.

[59] Из стихотворения А. Одоевского «Недвижимы, как мертвые в гробах», печатаемого обычно под произвольным заглавием «При известии о польской революции».

[60] О Лермонтове и французской литературе наиболее полные сводки фактических данных и наблюдений см. в работах: E. Duchesne, M. J. Lermontov, P., 1913 (русск. перев.: Э. Дюшен, Поэзия Лермонтова в ее отношении к русской и западноевропейской литературам, Казань, 1914); С. И. Родзевич, Предшественники Печерина во французской литературе, Киев, 1913 («Рене» Шатобриана, «Адольф» Б. Констана, «Исповедь сына века» А. де Мюссе, «Оберман» Сенанкура). См. по поводу этих книг Б. М. Эйхенбаум, К вопросу о «западном влиянии» в творчестве Лермонтова.—«Северные Записки», 1914, № 10—11, 220—225; С. В. Шувалов, Влияния на творчество Лермонтова русской и европейской поэзии.—Сб. «Венок М. Ю. Лермонтову», М., 1914.

[61] О популярности Барбье в России и его роли в русской поэзии интересный материал собран во вступительной статье М. П. Алексеева к вышедшему под его редакцией изданию: Огюст Барбье, Ямбы и поэмы, Одесса, 1922, XXV—XL.

Перевод Бенедиктова был настолько резок, что мог появиться лишь в зарубежной печати, в «потаенной литературе» Огарева. Перевод этот напечатан ныне в составе дневника Тараса Шевченко, переписавшего его во время возвращения из ссылки в 1857 г. См. Т. Шевченко, Дневник, ред. И. Айзенштока, изд. «Пролетарий», 1935, 86—90.

[62] А. И. Герцен, Полное собрание сочинений и писем, под ред. М. Лемке, П., 1919, XII, 124—125.

[63] Ibid., 152. Влиянию сен-симонизма на Герцена посвящена V гл. работы Плеханова, А. И. Герцен и крепостное право.— Соч., XXIII, 283—287. См. также: В. И. Семевский, М. Б. Буташевич-Петрашевский и петрашевцы, ч. I, 1922, 5—11, и П. Н. Сакулин, Русская литература и социализм, 1922, 97—115.

[64] П. Я. Чаадаев, Сочинения и письма, под ред. М. Гершензона. Французский текст—т. I, М., 1913, 162—165; русский перевод—т. II, М., 1914, 178—180. Отношение самого Пушкина к утопическому социализму и к сен-симонизму, в частности, не вполне ясно,—никаких прямых высказываний у Пушкина на эту тему нет. Единственное же место в его сочинениях, которое может быть отнесено к утопическому социализму, свидетельствует об отрицательном и, во всяком случае, глубоко скептическом отношении реалиста Пушкина к подобного рода утопиям. В статье «Александр Радищев» (1836) Пушкин писал: «Другие мысли, столь же детские, другие мечты, столь же несбыточные, заслонили мысли и мечты учеников Дидрота и Руссо, и легкомысленный поклонник молвы видит в них опять и цель человечества, и разрешение вечной загадки, не воображая, что, в свою очередь, они заменятся другими».— Пушкин, V, 266.

[65] Белинский, Письма, СПБ. 1914, II, 318; Белинский, Собрание сочинений, под ред. С. А. Венгерова, СПБ. 1904, VII, 305. Ср. также В. Л. Комарович, Идеи французских социальных утопий в мировоззрении Белинского.—Сб. «Венок Белинскому», под ред. Н. К. Пиксанова, М., 1924, 263 стр.

[66] Тургенев, Сочинения, Л., 1933, XII, 270—271.

[67] Достоевский, Дневник писателя за 1876 г., июнь.

[68] А. Скафтымов, Чернышевский и Жорж Санд, в изд. «Николай Гаврилович Чернышевский. 1828—1928. Неизданные тексты, материалы и статьи». Саратов, 1928; В. Каренин, Тургенев и Жорж Санд.—«Тургеневский Сборник», Л., 1921.

[69] Владимир Каренин, Жорж Санд, ее жизнь и произведения, тт. I—II—на русском языке, СПБ. 1899—1916, т. III—на французском языке, Париж, 1926. Общих работ на тему «Жорж Санд в России» не существует, если не считать небольших обзорных статей: анонимной—«Жорж Занд и ее влияние на русскую литературу».—«Вестник Иностранной Литературы», 1901, июнь, 306—314, и Н. Кравцова в бюллетене «Художественная Литература», М.—Л., 1931, № 8. Подготовленная проф. А. И. Белецким обширная монография на эту тему еще остается в рукописи. Ср. также отзыв С. В. Соловьева об оставшемся ненапечатанным сочинении «Влияние Жорж Занд на русскую литературу».—«Записки Харьковского Университета», 1910, 12, 44—48, и статью E. Séménoff, Influence de G. Sand sur la littérature russe.—«Mercure de France», 1930, XII, 15.

[70] Н. П. Огарев, Собрание стихотворений, М., 1904, II, 417.

[71] П. В. Анненков, Воспоминания, изд. «Academia», Л., 1928, 301—302.

[72] Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полное собрание сочинений, Л., 1936, XIV, 161—162.

[73] Ленин, Сочинения, 3-е изд., XV, 465.

[74] Ленин, Сочинения, 3-е изд., XII, 331.

[75] «Русские Пропилеи», под ред. М. Гершензона, III, «И. С. Тургенев», М., 1916, 172.

[76] Интерес Пушкина к Бальзаку нашел некоторое творческое отражение в его прозе («Станционный смотритель»). См. об этом в статье Б. В. Томашевского, Пушкин и французская литература.—II том настоящего издания, 67—69. Об отношении Кюхельбекера к Бальзаку см. статью Ю. Н. Тынянова, Декабрист и Бальзак, в III томе настоящего издания.

[77] Из предисловия Достоевского к русскому переводу «Собора парижской богоматери».—Достоевский, Собр. соч., XIII, М., Госиздат, 1930, 525—527.

[78] Литература о Достоевском и французской литературе довольно значительна, но синтетической работы на эту тему нет. Назовем следующие работы: М. П. Алексеев, О драматических опытах Достоевского—в сб. «Творчество Достоевского», Одесса, 1921 («Село Степанчиково» и «Тартюф» Мольера); В. Виноградов, Из биографии одного «неистового» произведения. Последний день приговоренного к смерти—в его сб. «Эволюция русского натурализма», Л., 1929, 127—152 (формальное влияние Гюго на творчество Достоевского); Л. Гроссман, Библиотека Достоевского. По неизданным материалам, с приложением каталога, Одесса, 1819, 168 сл. («Великий инквизитор» и поэма Гюго «Le Christ au Vatican», сопоставления с Вольтером, Бальзаком, Жорж Санд); Его же, Путь Достоевского, М., 1928, 81 сл. (Фурье, П. Леру); Его же, Композиция в романе Достоевского—в сб. автора «Поэтика Достоевского», М., 1925, 36—52, 64—115, или «Творчество Достоевского», М., 1928, 36—42 (Д. и французский роман-фельетон: Э. Сю, Б. Сулье, Поль де Кок; Бальзак и Д.); Его же, Последний роман Достоевского—вступ. ст. к «Братьям Карамазовым», М., 1935 («Братья Карамазовы» и параллели со «Спридионом» Жорж Санд и «L'auberge rouge» Бальзака; «Великий инквизитор» и книги: V. Menier, Jésus-Christ devant les conseils de guerre; Th. Dézamy, Le jésuitisme vaincu et anéanti par le socialisme; Cabet, Le vrai christianisme suivant Jésus-Christ); Его же, Деревня Достоевского—вступ. ст. к «Селу Степанчикову», М., 1935, 17—19 (Д. и Мольер); Его же, Бальзак в переводе Достоевского—вступ. ст. к «Евгении Гранде», «Academia», 1935; В. Комарович, Мировая гармония Достоевского.—«Атеней», 1924, I—II, 112—142 («Сон смешного человека» и «Destinée sociale» Консидерана); Его же, Die Urgestalt der Brüder Karamasoff, München, Piper-Verlag, 1928, 167—235, 505—506 («Мопра» Жорж Санд, «Les Misérables» Гюго и «Братья Карамазовы» Д.); И. Таль, Достоевский и Флобер.—«Авангард», 1922, II, 43—45; А. Цейтлин, «Преступление и наказание» и «Les Misérables». Социологические параллели.—«Литература и Марксизм», 1928, V, 20—58; Б. Реизов, К истории замысла «Братьев Карамазовых».—«Звенья», VI, 567—573 (проблема наследственности в «Ругон-Маккарах» и в «Братьях Карамазовых»); A. Bem, En face de la mort. «Le dernier jour d'un condamné» de Victor Hugo et «L'Idiot» de Dostoïevski—в сб. «Mélanges P. M. Haškovec», Brno, 1936, 45—64; Его же, Гюго и Достоевский.—«Slavia», 1937, R. XV, s. I, 73—86 (обзор литературы). Dr. Dragutin Prohaska, F. M. Dostojevski. Studia o sveslavenskom čovjeku, Загреб, 1921, 236 сл. («Les Misérables» и «Преступление и наказание»); Václav Černý, Několik indicii k otázce vlivu Hugova na Dostojevského.—«Kvart», ч. III, 1936, č. I,

48—58 (идейные предпосылки возможности влияния Гюго на Достоевского); A. Lewinson, Dostoïevskij et le roman occidental.—«Revue des cours et conférences», 1927, 15—30—II и 15—30—III.

[79] Насколько Достоевский учился до конца у французов, можно судить по следующей записи (неизданной) из черновых тетрадей к «Подростку»:

[1874, июнь—июль.] «Книги в Эмской библиотеке прочитать, если будет время. G. Sand, Césarine Dietrich.—Erckmann-Chatrian, Histoire d'un homme du peuple.—Belot, L'article 47.—G. Sand, La confession d'une jeune fille.—Erckmann-Chatrian, Waterloo.—A. Dumas, Affaire Clemenceau.—Proudhon, La révolution sociale démontrée par le coup d'état du 2 Décembre.—Musset Alfred, La confession d'un enfant du siècle.—Flaubert, Madame Bovary.—Octave Feuillet, Le roman d'un jeune homme pauvre.—Belot, Le drame de la rue de la Paix.—Femme de feu.—Al. Dumas-fils, L'homme-femme.—Belot, M-lle Giraud ma femme.—NB [Laboulaye] Paris en Amérique.—О романах Зола» (черновая тетрадь «Подростка» № 22, стр. 56, ГАФКЭ.—Сообщил Л. П. Гроссман).

[80] О Толстом и французской литературе см. во II томе настоящего издания суммирующий очерк М. Чистяковой, Лев Толстой и Франция. О Толстом и Руссо см.: Milan J. Markowitch, Jean-Jacques Rousseau et Tolstoï, P., Champion, 1928.—«Bibliothèque de la Revue de littérature comparée»; М. Н. Розанов, Руссо и Толстой.—Отчет о деятельности АН СССР за 1927 г., Общий отчет, Л., 1927. Приложение 1—22; Л. Якобсон, Молодой Л. Толстой, как критик «руссоизма».—«Искусство», 1928, № 3—4, 219—235. О Толстом и Стендале: Л. Гроссман, Стендаль и Толстой.—В книге «От Пушкина до Блока», М., 1926, 135—170. См. также статью Б. М. Эйхенбаума, Толстой и Поль де Кок.—«Западный Сборник» Инст. литер. Акад. наук СССР, т. I, Л., 1938.

[81] В 1868 г. Тургенев писал: «Как бы то ни было, но несомненно то, что, несмотря на истинно-изумительное обилие продуктов французской беллетристики—спрос на эти продукты у нас в России упал заметно... Не говоря уже о той давно минувшей эпохе, когда не только Буало и Вольтер, но Дюсис и Делиль считались у нас законодателями Парнаса; но куда девалось то время, когда Дюма-сын мог со свойственным ему наивным самообожанием воскликнуть: «Les Russes ne lisent que moi! Cela fait honneur à leur goût: ils me jugent maintenant comme la postérité me jugera dans cinq ou six cents ans»!? Теперь у нас хоть и продолжают читать Дюма, но только в высшем обществе и, разумеется, в оригинале,—а на русский язык его более не переводят; да не только Дюма—Поль де Кока не переводят; Фанни... сама пресловутая Фанни не нашла порядочного издателя».—«Русские Пропилеи», III, И. С. Тургенев, М., 1916, 172.

[82] О Беранже в русской и украинской литературе см. М. П. Алексеев, Беранже и французьска пiсня, вступ. статья к изданию «П. Беранже, Вибранi пiснi», Харькiв—Киiв, 1933, 5—78. О русской популярности Беранже в 60-е годы см. также в издании «Поэты «Искры» («Библиотека поэта»), ред. И. Ямпольского, Л., 1933, 33—34. В рукописи существует подготовленный Н. Д. Эфрос к печати подробный аннотированный библиографический указатель «Беранже в русской литературе» (переводы и критическая литература).

[83] П. Д. Боборыкин, Столицы мира, М., 1911, 163—164. Об успехе «Отверженных» в России, как и вообще о русской судьбе Гюго, см. во II томе настоящего издания работу М. П. Алексеева, Виктор Гюго и его русские знакомства.

[84] Об Островском и Мольере см.: J. Patouillet, Le théâtre de mœurs russes, des origines à Ostrovski (1672—1850), P., 1912; Н. Кашин, Островский и Мольер.—«Slavia», 1926, r. V, I, 107—135; М. Каган, «Мещанин в дворянстве» и «Бедность не порок» Островского.—«Филологические Записки», 1914, V—VI, 786—792. О театре Скриба и Сухово-Кобылина см. Л. Гроссман, Преступление Сухово-Кобылина. Л., «Прибой», 1928, 204—209.

[85] Ленин, Сочинения, 3-е изд., XVII, 224.

[86] О роли Прудона в истории русского мелкобуржуазного социализма см. статью Б. И. Горева под этим названием в журнале «Красная Новь», 1935, № 1. Специально о Л. Н. Толстом и Прудоне см. Б. Эйхенбаум, Лев Толстой, кн. 2, Л.—М., 1931, 281—315. Ср. еще Н. Мендельсон, Герцен—Прудон—Толстой.—«Литературное Наследство», кн. 15, М., 1934, 282—286.

[87] Активное участие в Коммуне приняли Е. Л. Дмитриева (Тумановская), близко стоявшая к Марксу и выполнявшая ряд ответственных его поручений в I Интернационале, А. В. Корвин-Круковская (Жаклар) и Е. Г. Бартенева, обе прошедшие через русскую секцию Интернационала; на парижских баррикадах сражался также Сажин; известна, наконец, роль Бакунина и Озерова в попытках провозгласить Коммуну в Лионе.

[88] Это была пятая глава «Итогов», которую Щедрин вынужден был изъять, по настоянию цензуры, из августовской книжки «Отечественных Записок» за 1871 г. Впервые статья была опубликована по рукописи, но в крайне урезанном виде, В. П. Кранихфельдом в газ. «Киевская Мысль», 1914, № 116. Полный текст статьи напечатан в книге: М. Е. Салтыков-Щедрин, Неизвестные страницы, ред. С. Борщевского, «Academia», 1931, 281—325.

[89] Письма Успенского к жене, в которых содержатся его впечатления от версальского суда над коммунарами, см. в «Русском Богатстве», 1912, кн. 1; см. также его очерки «Большая совесть» («Отеч. Зап.», 1873, кн. 2 и 4) и «Выпрямила» («Русская Мысль», 1885, кн. 5).

[90] В одном из писем к Страхову 1871 г. Достоевский писал: «Взгляните на Париж, на Коммуну. Неужели и вы один из тех, которые говорят, что опять не удалось за недостатком людей, обстоятельств и пр.? Во весь XIX век это движение или мечтает о рае на земле (начиная с фаланстеры), или, что до дела (48 год, 49—теперь)—высказывает унизительное бессилие сказать новое слово—явление не случайное. Они рубят головы. Почему? Единственно потому, что это всего легче. Сказать что-нибудь несравненно труднее. Желание чего-нибудь не есть достижение. Они желают счастия человека и остаются при определениях слова «счастье» Руссо, т. е. на фантазии, не оправданной даже опытом».

[91] П. Лавров, Взгляд на прошедшее и настоящее русского социализма.—«Календарь Народной Воли на 1883 г.», Женева.

[92] Степняк-Кравчинский, Подпольная Россия, 2-е изд., 1906, 10.

[93] В. К. Дебагорий-Мокриевич, Воспоминания, т. I. От бунтарства к анархизму, СПБ. 1906, 307—309, ср. также гл. XII и XIII.

[94] Ленин, Сочинения, 3-е изд., X, 238.

[95] Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полное собрание сочинений, XIV, Л., 1936, 199. О Щедрине и Франции см. во вступительной статье к этому тому Д. О. Заславского, Международная буржуазия в сатире Щедрина. О щедринской критике французского натурализма см. в работе А. Лаврецкого, Щедрин—литературный критик.—«Литературное Наследство», кн. 11—12, стр. 620—622.

[96] А. Герцен, Полное собрание сочинений, под ред. М. Лемке, П., 1915, V, 334.

[97] Ibid., VI, 431.

[98] Ibid., V, 339. «Попав в придворную среду, Кюстин не покидает ее,—пишет Герцен,—он не выходит из передних и удивляется, что находит в них только лакеев. Он обращается к придворным за сведениями, но те знают, что он писатель, боятся его болтовни и обманывают его. Кюстин негодует; он сердится и во всем обвиняет русский народ».

[99] Леонид Гроссман, Бальзак в России.—См. II том настоящего издания, 315.

[100] Mohrenschildt v. D., Russia in the intellectual Life of Eighteenth Century France. Columbia University Studies in English and Comparative Literature. № 124, New York, 1936. Columbia University Press, X, 325 стр. Возможностью ознакомиться с этой работой я обязан любезности З. А. Венгеровой, приславшей мне книгу. Рецензию на нее см. «Slavische Rundschau», Jahrg. IX (1937), № 6, 408—409.

До XVIII в. упоминания о России во французской художественной литературе относительно редки. Однако, Киевская Русь и монгольское нашествие нашли довольно полное отражение в средневековых chansons de geste. См. об этом Gr. Lozinskij, La Russie dans la littérature française du moyen âge.—«Revue des études slaves», 1929, IX, fas. 1—2, 71—88, и fas. 3—4, 253—269. Автор приходит к выводу, что упоминания Руси встречаются чаще, и они полнее, чем Польши и немецких стран. В XVI—XVII вв. о Московии и московитах упоминают Раблэ в «Гаргантюа и Пантагрюэле», Монтэнь в «Опытах», Агриппа д'Обиньев «Трагических песнях» (éd. L. Lalanne, P., 1857, 254), Сирано де Бержерак в «Одураченном педанте», Сорель в романе «La vraie Histoire comique de Francion» (éd. E. Roy, P., 1926, II, 82), Расин в письме к Лафонтену 1661 г.; Раймонд Пуассон в пьесе «Les faux Moscovites», замечательный поэт XVII в. Сент-Аман в ряде своих произведений и ряд других. См. об этом Abel Mansuy, Le Monde Slave et les classiques français au XVI et XVII ss. P., 1912, 27—42 (Раблэ, Монтэнь, Расин, Пуассон); V. Fournel, La littérature indépendante et les écrivains oubliés, P., 1862, 119 sq. (Сирано де Бержерак); М. Алексеев, Украïнськи казаки, як их змальовуе французькïй поет XVII в.—«Збiрник на пошану ак. Д. Iв. Багалiя», изд. Укр. ак. наук, Киев, 1927, 616—624 (о Сент-Амане). Много данных о русско-французских литературных сношениях в XVI в. (по поводу русского путешествия Тевэ) собрано в книге: М. П. Алексеев, Сибирь в известиях западно-европейских путешественников и писателей, Иркутск, 1932, I, 136—145. См. также L. Delavaud, Les Français dans le Nord. Notes sur les premières rela-

tions de la France avec les royaumes scandinaves et la Russie septentrionale depuis l'antiquité jusqu'à la fin du XVIe s. Société Normande de Géographie».—«Bulletin de l'année 1910», XXXI, 245—292, 1911, XXXIII, 31—81, и отдельно, Rouen, 1911.

[101] «Journal de Paris» от 2 января 1824 г. Цитирую по статье: Изучение русской литературы во Франции, в которой дана обширная библиография вопроса французских изучений русской литературы с XVIII по XX вв.—См. в III томе настоящего издания.

[102] О нем см. работу проф. А. Мазон, Князь Элим—во II томе настоящего издания.

[103] О французских изучениях Пушкина см. М. П. Алексеев, Пушкин на Западе.—«Временник Пушкинской комиссии», вып. 3, М.—Л., 1937, 115.

[104] См. об этом Е. В. Тарле, Самодержавие Николая I и французское общественное мнение—в его книге «Запад и Россия», П., 1918. Ср. также М. Фридиев, Франция и Россия в общественном мнении 1842—1847 гг.—«Le Monde slave», 1938, XIV, вып. 10.

[105] M-me de Staël, Dix années d'exil, 246—325. Русские переводы цитат даются по книге П. В. Безобразова, О сношениях России с Францией, М., 1892, 456—460.

[106] Это письмо, так же как и десять других писем, отправленных Стендалем во Францию из Москвы и Смоленска, были перехвачены русскими войсками и никогда не дошли до своих адресатов. Подлинники писем сохранились и находятся ныне в Гос. архиве внешней политики в Москве. Тексты писем по этим подлинникам опубликованы в издании: Léon Hennet et Emm. Martel, «Lettres interceptées par les russes durant la campagne de 1812. Publiées d'après les pièces communiquées par S. E. Goriaïnow», P., La Sabretache, 1913. Помимо этого, сохранилось еще пять писем Стендаля из России; они опубликованы в его «Correspondance inédite», éd. Calmann-Lévy. В русском переводе несколько отрывков Стендаля, касающихся кампании 1812 г., опубликовано В. Горленко.—«Русский Архив», 1891, кн. 8, 490—495 («Москва в первые два дня вступления в нее французов в 1812 г.—Из дневника Стендаля»), и 1892, кн. 10, 234—236 («Заметки Стендаля о походе в Россию в 1812 г.»). См. также сообщение А. Хоментовской, Стендаль в Москве и Смоленске.—«Русская Старина», 1912, кн. II, 378—390.

[107] О русских знакомствах Стендаля см. Anatole Vinogradov, Trois rencontres russes de Stendhal, P., 1928 (extrait du «Mercure de France»).

[108] В «Promenades dans Rome» Стендаль упоминает князя Демидова и рассказывает историю изгнания его из Рима папской полицией.

[109] *Перевод:* О русские! Народ, бредущий в тундре снежной,
В Санкт-Петербурге—раб, раб—в тундре безнадежной;
Сам полюс для него стал черною тюрьмой!
Россия и Сибирь,—о царь! тиран кровавый!—
Два края скорбные чудовищной державы:
Один—Насилие, Отчаянье—другой!

В. Гюго, Избранные произведения, М., 1928, 61.

[110] *Перевод:* «И эти бесстрашные женщины, эти развенчанные царицы с презрением отказываются от жалоб и идут в пустыню, не оборачивая взоров и не проявляя удивления, даже проходя под вратами, за которыми гибнет всякая надежда...»—Alfred de Vigny, Œuvres complètes. Poèmes. Notes et éclaircissements de F. Baldensperger, P., Conard, 1914, 247. Литературным источником этой французской поэмы о «русских женщинах» послужило известное сочинение Николая Тургенева «La Russie et les russes», появившееся в Париже в апреле 1847 г. (поэма датирована 5 ноября того же года), в котором сообщается, в частности, о судьбе Никиты Муравьева и С. Трубецкого и их жен. Именно это место (т. I, стр. 204 соч. Н. Тургенева) А. де Виньи привел в качестве комментирующего текста к поэме. Судьба декабристов тем более должна была взволновать А. де Виньи, что один из них, С. И. Муравьев-Апостол, был с детства его товарищем по пансиону Hix в Париже. Одновременно там воспитывался и М. И. Муравьев-Апостол.—Ibid., 376—377; ср. «Восстание декабристов, изд. Центрархива, IV, 264.

[111] О русском путешествии Дюма см. в настоящем издании работу С. Н. Дурылина, Дюма в России в 1858 г., II, 518—562.

[112] О русских интересах Бальзака и их отражении в его творчестве см. в настоящем издании работу Л. Гроссмана, Бальзак в России, II, 149—372.

[113] T. Gautier, Voyage en Russie, P., Charpentier, 1867, 66, chap. 17, 267 sqq. См. также ch. 15, 190, ch. 16, 259—262 и др.

[114] Ibid., 71, 137.

[115] См. об этом в статье: А. Некрасов, К вопросу о литературных источниках «Кавказского пленника» Пушкина.—«Сборник статей к 40-летию ученой деятельности ак. А. С. Орлова», Л., 1934, 153—163.

[116] Жюльвекуру принадлежит также антология французских переводов из русских поэтов, в том числе из Пушкина, под названием «La Balalayka» (1837). В предисловии к одному из романов своей серии «Le faubourg Saint-Germain moscovite» Жюльвекур сообщает, что он предпринял свой большой литературный труд с «единственной мыслью», которая его занимала: «celle de faire connaître à la France la vie d'un pays qu'elle ignore».—«Les russes à Paris», P., Souverain, 1843, 6. См. о нем «Остафьевский Архив», III, 699—700, и «Journal de Victor Balabine...», P., 1914, 82.

[117] E. de Montulé, Voyage en Angleterre et en Russie, P., A. Bertrand, 1825, t. II; Ancelot, Six mois en Russie, Bruxelles, 1827; P. de Julvécourt et J. de Saint-Félix, Autour du monde, Hivert, 1834; Marquis de Custine, La Russie en 1839, 3-e éd., P., 1846, 4 vol; X. Marmier, Souvenirs de voyages et traditions populaires, P., Masagna, 1841; Его же, Voyageurs nouveaux, P., Bertrand, 1851, I, 161, 239; 265, 303 (о средней России, Кавказе и Сибири); Его же, Lettres sur la Russie, la Finlande et la Pologne, P., Garnier, 1851 (здесь отмечается, между прочим, на стр. 334 «большой успех» «Ревизора»—пьесы «резкой, полной правды и сверкающей остроумием»); Его же, Du Danube au Caucase, P., Garnier, 1854; Его же, Au bord de la Néva, P., 1856 (переводы из Лермонтова, Гоголя, статья о нем и др.); сборник переиздан в 1889 г. под названием «Contes russes»; Его же, Histoires russes, P., 1891. О политических установках Мармье в его книгах о России по поводу «Lettres sur la Russie...» см. Е. В. Тарле, Император Николай I и французское общественное мнение, в сборнике «Запад и Россия. Статьи и документы из истории XVIII—XX вв.», П., 1918, 66—67. О русских интересах Мармье см. R. Martel, Xavier Marmier: Un précurseur ignoré des études slaves en France.—«Mélanges», Paul Boyer, P., 1925, 282 sq.

[118] «Les grands romantiques sont restés indifférents à la Russie».—Pierre Jourda, L'exotisme dans la littérature française depuis le romantisme. X. La Russie.—«Revue des cours et conférences», 1937, 15 mai.

[119] G. Brandes, Menschen und Werke. Essays, Frankfurt a. M., 1894, 299; см. также Trahard, Biographie de Mérimée, III, P., 1928. О Пушкине и Мериме существует обширная литература. Ограничимся указанием на последнюю по времени и итоговую в отношении предыдущей литературы статью Henri Mongault, Mérimée et la littérature russe, значительная часть которой посвящена изучению отношений Мериме к Пушкину. Статья помещена в издании «Œuvres complètes de Prosper Mérimée, publiées sous la direction de Pierre Trahard et Edouard Champion. Etudes de littérature russe. Tome premier. Texte établi et annoté avec une introduction par Henri Mongault, P., 1931, pp. VII—CXLI.

[120] «Revue des deux Mondes», 1845, t. XII, I, Décembre, 883—889; статья вошла в «Premiers lundis» Сент-Бёва, т. III, P., 1878, 24. Фактическую сводку материалов об усвоении на французской почве творчества Лермонтова дал André Mazon в обзоре «Лермонтов у французов», напечатанном в V томе Академического издания «Сочинений Лермонтова», СПБ. 1913. Наиболее полный очерк французских изучений Гоголя и литературной судьбы его во Франции дан М. П. Алексеевым к публикации русского перевода статьи Барбэ д'Орвильи о Гоголе, см. «Н. В. Гоголь, Материалы и исследования», под ред. В. В. Гиппиуса, I, М.—Л., 1936, 266—281.

[121] Ленин, Сочинения, 3-е изд., XV, 464.

[122] Герцен, Сочинения, под ред. М. Лемке, V, 390—391.

[123] В 1857 г. Герцен писал Мадзини: «Я никогда не забуду того сердечного участия, с каким вы и другие выдающиеся люди, как Виктор Гюго, Мишле, Прудон, Луи Блан, протянули мне руку в 1855 г. и старались вселить в меня мужество, когда я начинал в Лондоне свой русский журнал «Полярную Звезду».—Герцен, Сочинения, под ред. Лемке, VIII, 409.

[124] «Ваши воспоминания—это летопись чести, веры, высокого ума и добродетели»,—писал Гюго Герцену 15 июля 1860 г., прочитав присланный ему автором французский перевод «Былого и дум». О Герцене и Гюго см. во II томе настоящего издания работу М. П. Алексеева, Виктор Гюго и его русские знакомства, спец. главу III, 823—837. Для оценки Герцена современной ему французской критикой характерна статья H. Delavau, переводчика на французский язык «Былого и дум», в «L'Athenaeum Français», 18 mars 1854. С тех пор французская критика не переставала интересоваться Герценом. Французскую литературу о нем см. в книге R. Labry, Alexandre Herzen. Essai sur la formation et le développement de ses idées, P., Bossard, 1929.

[125] E. Zola, Correspondance. 1872—1902. Notes et commentaires de M. Le Blond. P., s. a., 843. О Тургеневе и Франции существует довольно обширная литература,

освещающая различные стороны его взаимоотношений с французской литературой и его посредническую роль в деле ознакомления французского читателя с русской литературой и обратно. Однако, обобщающей работы на эту тему все еще нет. Основным источником остается работа E. Halpérine-Kaminsky, Ivan Tourguéneff d'après sa correspondance avec ses amis français, P., 1901. Эта переписка Тургенева с французскими писателями пополнена ныне 60-ю новыми письмами к Флоберу, Э. Гонкуру и М. Дю-Кану, опубликованными проф. A. Mazon и M. Gorlin во II томе настоящего издания. См. также E. Haumant, Ivan Tourguéneff, la vie et l'œuvre, P., 1906. Специально о взаимоотношениях Тургенева и Флобера см. в комментариях М. Клемана к VIII тому Собрания сочинений Флобера под ред. А. В. Луначарского и М. Д. Эйхенгольца, М.—Л., 1938 (ср. в V томе этого издания статью М. Клемана, И. С. Тургенев—переводчик Флобера). О взаимоотношениях Тургенева и Мериме см. в назв. выше статье H. Mongault, Mérimée et la littérature russe, pp. XCV—CXLI, и М. Клеман, И. С. Тургенев и Проспер Мериме—во II томе настоящего издания. Ср. еще Eug. et Marc Séménoff, Tourguéneff et les Français.—«Grande Revue», 1930, juin.

[126] Однако, произведения Флобера переводились в России давно. Первый перевод «Госпожи Бовари» появился в 1858 г. в «Библиотеке для Чтения» Писемского, который высоко оценил талант Флобера; в 1868 г. был напечатан перевод «Саламбо» в «Отечественных Записках» Некрасова и Щедрина, который относил Флобера, наряду с Жорж Санд и Бальзаком, к числу «сильных» писателей; в «Вестнике Европы» за 1877 г. были напечатаны в переводе Тургенева «Иродиада» и «Легенда о Юлиане-страннноприимце». «Бувар и Пекюше» появились в «Новом Обозрении» Урусова, «Искушение св. Антония»— в «Еженедельнике Нового Времени» и т. д.

[127] Статья Золя «Флобер и его сочинения», появившаяся в «Вестнике Европы», впервые вошла в I том его «Парижских писем», СПБ. 1878. Обращение Тургенева см. в декабрьской книжке «Вестника Европы» за 1880 г., 948.

[128] Из предисловия к сборнику критических статей «Экспериментальный роман».

[129] Критикуя, в форме замечательной пародии (IV гл. «За рубежом»), концепцию натуралистического романа, как она формулирована в «Парижских письмах», Щедрин делает, однако, оговорку, что «критические этюды» Золя, в отличие от его романов, он не признает «замечательными». За исключением «Nana» и «L'Assomoir», Щедрин ценил романы Золя, намеревался пригласить его к сотрудничеству в «Отечественных Записках» и вел с ним об этом переговоры в Париже.

[130] В заметке «Что привлекало меня в романах Э. Золя» Н. К. Крупская сообщает: «Владимир Ильич ценил романы Золя, как писателя, имевшего мужество в 1897 г. встать на защиту Дрейфуса». («Литературная Газета», 1937, № 52). О Золя и его русских отношениях см. М. Клеман, Эмиль Золя. Сборник статей, Л., 1934.

[131] Ср., например, тургеневское стихотворение в прозе «Нищий» с «Anywhere» Бодлэра. О Тургеневе и новой французской литературе см. Л. Пумпянский, Тургенев и Флобер—вступит. ст. к т. X Сочинений Тургенева, М., 1930, 5—19. См. также С. Родзевич, Тургенев и символизм.—Сб. автора «Тургенев», Киев, 1918 (Вилье де Лиль Адан и Тургенев) и М. Габель, Песнь торжествующей любви (опыт анализа).—Сб. «Творческий путь Тургенева», под ред. Н. Л. Бродского, П., 1923, 202—225 (сопоставление «Песни торжествующей любви» и «Саламбо»).

[132] И. Ясинский, Роман моей жизни, М.—Л., 1926, 134. Об А. И. Урусове, как пропагандисте Флобера, см. в III томе настоящего издания статью З. А. Венгеровой, Парижский архив А. И. Урусова. О П. Я. Якубовиче, как переводчике Бодлэра, см.: Ф. Батюшков, Бодлэр и его русский переводчик П. Я.—«Мир Божий», 1901, кн. 8, отд. II, 11—19; Его же, Еще о Бодлэре и его русском переводчике.—Там же, кн. 10, отд. II, 8—15.

[133] О Чехове и французских натуралистах (Флобер, Золя, Мопассан) см. Л. Гроссман, Натурализм Чехова.—Сб. автора «От Пушкина до Блока», М., 1926, 279—328. Ср. также: Библиограф [Н. Н. Бахтин], Иностранные писатели в русской литературе. Гюи де Мопассан.—«Русское Обозрение», 1893, кн. 9, 324 стр., и И. Гливенко, Мопассан и Чехов, сравнительный этюд, Киев, 1904.

[134] Книга эта, впрочем, составилась из этюдов, печатавшихся несколько раньше в «Revue des deux Mondes».

[135] J. A. Gobineau, Nouvelles Asiatiques, P., Perrin, 1913, II ss. Гобино—писатель-социолог и дипломат—занимал пост французского посланника в Персии и имел возможность наблюдать русских на Кавказе; позднее, в бытность послом в Швеции, он предпринял пятимесячное путешествие по России и описал его в своих «Souvenirs de voyage» (1872). M-me Henry Gréville — псевдоним писательницы Алисы Дюран (1842—1902), долго жившей в России.

[136] Тургенев переслал точный французский текст этого отзыва Толстому в письме от 12/24 января 1880 г. См. Толстой и Тургенев, Переписка, ред. А. Е. Грузинского и М. А. Цявловского, изд. Сабашниковых, М., 1928, 93.

[137] Цитируем по переводу, приведенному в книге Л. Гроссмана, Собеседник Толстого Ромэн Роллан и его творчество, М., 1928, 15—16.

[138] Из письма Ромэн Роллана в редакцию «За Рубежом» по поводу 25-летия со дня смерти Толстого.—«За Рубежом», № 32, от 15 ноября 1935 г. О Ромэн Роллане и Толстом см.: P. Birjukow, Romain Rolland et Tolstoï. Liber Amicorum Romain Rolland, 1926, Zürich und Leipzig, Rotapfel-Verlag, 58—66; Леонид Гроссман, Собеседник Толстого Ромэн Роллан и его творчество. М., 1928, «Никитинские Субботники»; М. Алданов, Толстой и Роллан, I, П., 1915.

[139] См. P. Clarac, Un chapitre des «Frères Karamazov» et «Les Raisons du Saint-Père» de Leconte de Lisle.—«Revue de littérature comparée», 1926, juillet—septembre, 512—517; E. Drougard, Un replique française de la légende du Grand Inquisiteur.—«Revue des études slaves», 1913, 4, 1—2 (О Вилье де Лиль Адане). Ср. также М. Волошин, Апофеоз мечты. Трагедия Вилье де Лиль Адана «Аксель» и трагедия его собственной жизни.—Сб. автора «Лики Творчества», кн. I, СПБ. 1914, 16 сл. (автор устанавливает «головокружительное сходство с «Великим инквизитором», но не ставит вопроса о влиянии Достоевского).

[140] В романе «L'Entrepreneur d'illuminations» Андре Сальмон создает психологический тип следователя Раважо в несомненной связи с образом Порфирия Петровича из «Преступления и наказания», он включает в сборник «Feéries» стихотворение «Успение Спиридона Спиридоновича Мармеладова», вводит «Федора Михайловича» и его героев в философские беседы, которые ведутся между автором и одним из персонажей в романе «Une orgie à St.-Pétersbourg», широко обращается к образам, мыслям и художественным приемам русского романиста и в ряде других своих произведений. См. русский перевод романа: А. Сальмон, Устроитель иллюминаций, пер. Т. Ириновой, ред. и послесловие М. Эйхенгольца, М.—Л., 1927, 326.

Литература о Достоевском во Франции, а также библиографические перечни переводов Достоевского на французский язык указаны в прим. 152—153 к работе: Изучение русской литературы во Франции, помещенной в III томе настоящего издания.

[141] Библиографию переводов Щедрина на французский язык и примеры политического использования его сатиры в применении к французской действительности см. в моем обзоре «Щедрин в иностранной литературе». — «Литературное Наследство», М., 1934, кн. 13—14, 676 и 692—694.

[142] Э. Золя, Парижские письма. XIII. Три страницы из истории современного театра и литературы.—«Вестник Европы», 1876, апрель, 882—883. Золя дал здесь подробный разбор и резкую критику «Данишевых» на фоне противопоставления этого «лубочного псевдо-русского быта» творчеству Тургенева.

[143] См. его статью «De l'influence récente des littératures du Nord» в «Revue des deux Mondes», 1894, 15 décembre.

[144] «Revue des cours et conférences», 26-e année, 2-e série, P., 1924/1925, 740.

[145] О французских влияниях в поэзии символистов см.: Н. К. Михайловский, Русское отражение французского символизма.—«Русское Богатство», 1893, кн. 2, 45—68. Ср. также A. Lirondelle, La poésie de l'art pour l'art en Russie et sa destinée.—«Revue des études slaves», 1922, I, 1—2.

ФРАНЦУЗСКАЯ ЛИТЕРАТУРА И СССР

Статья И. Анисимова

1

Великая Октябрьская Социалистическая революция создала принципиально новую основу культурных связей между Францией и Россией. Страна, которую французы знали не только как страну Пушкина, Тургенева, Достоевского, Толстого, но и как страну самодержавия, бывшего оплотом европейской реакции, стала страною социализма, страною нового мира. В свете этого события, открывшего новую эру в истории человечества, и надо рассматривать отношения между французской и советской литературами за последнее двадцатилетие.

С первых же дней существования Советской России международный, в том числе и французский, империализм начал наступление против молодой рабоче-крестьянской республики. Французский империализм, игравший руководящую роль в интервенции и блокаде Советской России, пытался задушить социалистическое государство трудящихся, утвердившееся на гигантском пространстве одной шестой части земного шара и объединившее 170 миллионов людей; реакционные французские правительства того времени вели по отношению к Советской России агрессивно-враждебную политику.

Нет ничего удивительного в том, что реакционная французская пресса целиком следовала этой политике и ставила себе задачей всячески очернить Советскую страну; в частности, она особенно усердствовала в создании легенд о «большевистском варварстве».

Нет ничего удивительного в том, что нашлись и литераторы, которые занялись публикацией откровенной клеветы на советскую действительность. Кто теперь помнит их имена? Кто помнит, например, имя господина Воше, автора сенсационной брошюры «Большевистский ад»? Эти имена давно канули в Лету.

Но Франция недаром была родиной Вольтера, Дидро, Стендаля, Гюго, Золя. Как бы сильна ни была реакция Пуанкаре и подобных ему политиков, она не могла заглушить голоса самой истории, она не могла заставить замолчать тех честных французских писателей, которые были современниками и свидетелями великих событий Октябрьской революции. Уже в самые первые месяцы существования Советской России находятся среди французских мастеров культуры великие люди, сумевшие близко подойти к правильному пониманию смысла событий, осознавшие всемирно-историческое значение победы пролетарской революции в России. Эти лучшие мастера французской культуры мужественно вступили в бой с реакцией. Защиту Советского Союза они вели во имя интересов всего человечества.

На весь мир раздался голос великого писателя, который с полным правом носил имя своей родины,—голос Анатоля Франса.

«Нами правит теперь многочисленная банда людей, заработавших на войне хорошие деньги. Эти милитаристы и реакционеры становятся с каждым днем все наглее и все настойчивее в проведении своих замыслов. Но теперь есть уже некоторая надежда на улучшение положения. Снова огонь горит в сердцах людей. Взгляните на Восток! Казалось, для русского народа не было выхода из мрака царизма. На революцию, и, в особенности, на революцию победоносную, не было надежды. Но Россия—страна, где сбывается и невозможное. Большевики это невозможное теперь совершают до конца».

В октябре 1919 г. в газете «Юманите» появилось воззвание, подписанное выдающимися французскими писателями, художниками и учеными во главе с Анатолем Франсом. Это воззвание свидетельствовало о том, что культурная блокада Советского Союза, которую французская реакция проводила со всею настойчивостью, прорвана и что лучшие представители французской интеллигенции встали на путь поддержки и защиты Советской России. В истории франко-советских культурных отношений этот манифест передовых мастеров культуры Франции имеет огромное значение.

«Разоблачайте кроваво-лицемерную коалицию международной реакции и финансовых тузов, направленную против Советской России,—читаем мы в обращении Анатоля Франса и его соратников.—Только потому, что Советская республика санкционировала завоевание рабочими власти и международную солидарность, только потому, что она воплощает истинный, а не лже-социализм, только потому подверглась она столь бешеной клевете и злобе со стороны капиталистов и их опричников. На низвержение советской власти уже потрачены миллиарды—вам же придется их платить.

Вы будете соучастниками удушения России, если останетесь равнодушными.

Не загрязняйте же себя позором, не допустите убийства святой свободы, которая есть достояние всех.

Народ земного шара, будь единодушен!

Тебя хотят разъединить, дабы поработить т е б я!».

Известно, с каким вниманием отнесся к этому выступлению А. Франса и других французских писателей и ученых Владимир Ильич Ленин. Он подробно говорил об этом документе в своей речи на VII Всероссийском съезде советов: «В этом заявлении, которое начинается подписью Анатоля Франса, где есть подпись Фердинанда Бюиссона, я насчитал 71 фамилию представителей буржуазной интеллигенции, известных всей Франции, которые говорят, что они против вмешательства в дела России, потому что блокада, применение голодной смерти, от которой гибнут дети и старики, не может быть допустима с точки зрения культуры и цивилизации, что они этого снести не могут. А известный французский историк Олар, насквозь стоящий на буржуазной точке зрения, в своем письме говорит: „Я,—как француз,—враг большевиков, как француз—я сторонник демократии, меня смешно заподозрить в противном, но когда я читаю, что Франция приглашает Германию принять участие в блокаде России, когда я читаю, что Франция с этим предложением обращается к Германии,—тогда я ощущаю краску стыда на лице“. Это, может быть, просто словесное выражение чувств со стороны представителей интеллигенции, но можно сказать, что это—третья победа, которую мы одержали над

империалистической Францией внутри нее самой» (Ленин, Сочинения, 3-е изд., XXIV, 600).

Победа, о которой говорит Ленин, была, в дальнейшем, закреплена. Выступления французской интеллигенции против империалистической Франции, выступления в защиту Советской России приобретают все более широкий характер. Замечательные статьи и обращения Ромэн Роллана, боевая деятельность Барбюса, всей душой отдавшегося делу ознакомления французского народа со смыслом происшедших в России всемирно-исторических событий,—все это имело огромный европейский резонанс. В 1919 г. возникает под руководством французских писателей группа «Кларте»—международная организация передовых деятелей культуры. Одним из важнейших пунктов программы этой организации была защита Советской России. Из французских писателей в «Кларте» входили: Анри Барбюс, Анатоль Франс, Ромэн Роллан, Поль Вайян-Кутюрье, Р. Лефевр, Жюль Ромен, Леон Базальжет и др.

«Спасайте человеческую истину, защищая правду русскую,—писал Барбюс в октябре 1919 г.—Будьте уверены, что грядущие поколения будут судить честных людей нашего поколения в зависимости от того, на чью сторону они встанут в настоящий момент».

Тогда же Барбюс произносит свою знаменитую речь: «Русская революция и долг трудящихся». В этом выступлении дано, между прочим, поразительно простое и популярное изложение первой Советской Конституции. Разоблачая безобразную ложь, которую усердно распространяла капиталистическая пресса, Барбюс дал своим слушателям яркое, живое и увлекательное представление о том, что такое Советская Россия и как героически борются народы молодой республики против белогвардейских полчищ, поддерживаемых интервентами. «Товарищи,—закончил свою речь Барбюс,—знамя Социалистической Республики Советов, уничтожению которого вы содействуете своей безучастностью, это красное знамя освобождения всего человечества! На нем вышиты золотом известное изображение и надпись. Это изображение—скрещенные серп и молот. Эта надпись—не обозначение какого-нибудь великого коллективного убийства, как на старых наших знаменах варварства и милитаризма, это—клич разума, давно уже брошенный в мир Карлом Марксом: „Пролетарии всех стран, соединяйтесь!“».

Это был голос французского народа, это было выступление той французской демократии, которая составляет теперь народный фронт, защищающий Францию от фашизма.

В 1922 г., к пятилетию Октябрьской революции, Анатоль Франс опубликовал следующее обращение:

«Пять лет назад, бедная и непобедимая, родилась Республика Советов. Она несла с собой новое начало, грозное для всех правительств угнетения и несправедливости, которые разделили между собой землю. Старый мир здесь не ошибся. Его властители узнали в ней своего врага. Они вооружили против нее клевету, богатство, насилие.

Они хотели задушить ее: они послали против нее полчища бандитов. Республика Советов собрала свои красные войска и раздавила бандитов.

Если в Европе есть еще друзья справедливости, пусть с почтением приветствуют они пятую годовщину этой Революции, принесшей в мир, после стольких веков, первый опыт создания власти, правящей через народ и для народа. Рожденные в нищете, выросшие в голоде и войнах, могли

ли Советы сразу выполнить свой великий замысел и немедля осуществить полную справедливость!

Но принципы ее они, во всяком случае, установили. Они бросили семена, и семена эти, если судьба будет благоприятствовать, широко рассыплются по России и, может быть, оплодотворят однажды Европу».

После того, как Советская Россия разгромила интервентов и Советское государство начало крепнуть с каждым годом, тесная связь культур, установленная вопреки намерениям французской реакции, разрастается вширь и вглубь.

Известно, что дипломатические отношения с Советским Союзом Франция устанавливает в 1924 г., а в 1932 г. между Францией и Советским Союзом заключается пакт о ненападении, впоследствии дополненный договором о взаимной помощи в случае нападения агрессора. Эти даты свидетельствуют о том, что создается все более благоприятная обстановка для культурных связей между Советским Союзом и демократической Францией.

Поток французских книг, посвященных Советскому Союзу, поистине грандиозен. На всех языках мира создалась за истекшее двадцатилетие почти необозримая литература о Советской стране,—доля французских книг в этом литературном изобилии очень велика. Французские писатели, общественные деятели, ученые, люди самых разнообразных профессий и квалификаций, а также самых разнообразных политических взглядов посещали Советский Союз и писали затем, на основе полученных впечатлений, очерки, книги, исследования. Если оставить в стороне известный процент клеветнических и явно недобросовестных выступлений, то основным выводом, вытекающим из всего написанного во Франции о Советском Союзе, будет признание того, что Советский Союз — это новый мир, где создаются новые условия человеческого существования, где создается новая цивилизация на основе раскрепощения человека. Даже люди, реакционно настроенные и весьма тесно связанные с капиталистическим миром, часто находили в себе мужество признать историческую прогрессивность того, что они наблюдали в Советском Союзе.

Совершенно естественно, что передовые люди современной Франции— французские демократы, социалисты и коммунисты, представители французского народа с его прекрасной революционной традицией,—написали о Советском Союзе больше всего книг, глубже всех сумели понять происходящее в Советской стране, сумели правдиво и ярко отобразить всемирно-историческое значение победы социализма на одной шестой части земного шара.

Французская литература вот уже двадцать лет проявляет исключительный интерес к Советской стране. Анатоль Франс, одним из первых приветствовавший Октябрьскую Социалистическую революцию, как бы подал пример передовым французским писателям, указал путь, которым они должны итти. «Они следуют советам и примеру самого удивительного и наиболее уважаемого из французских мастеров слова: Анатоля Франса»,—писал в 1919 г. Барбюс, разъясняя позицию группы «Кларте».

Каждый знает, что творчество ряда значительнейших писателей современной Франции неразрывно связано с глубочайшим интересом к Советскому Союзу. Ромэн Роллан является верным другом Советского

Союза с первых шагов Октябрьской Социалистической революции. Вспомним славный путь, который прошел Анри Барбюс. Этот выдающийся писатель и достойный сын французского народа был пламенным энтузиастом Советского Союза.

Очень большое количество современных французских писателей относится с глубочайшей симпатией к Советскому Союзу и совершенно правильно видит в нем будущее человечества и гарантию того, что культура будет спасена от разнузданного фашистского варварства. В суждениях этих передовых французских писателей Советский Союз предстает, как страна, где открыты широчайшие возможности для развития человеческой личности, широчайшие возможности всякого творчества, это—страна новых условий человеческого существования и подлинного расцвета культуры.

Внимательно изучая эту новую культуру, французские писатели—авторы книг и статей о Советском Союзе—подчас с некоторым приятным удивлением замечали, какое огромное внимание уделяется в Советском Союзе французской культуре. Это объясняется, конечно, не памятью о том общении с французской культурой, которое имели русские писатели XVIII и XIX столетий,—советская культура, впитывающая в себя все соки мировой культуры, естественно, обращается к великому богатству французской культуры—самой яркой, блестящей и разносторонней из европейских культур. Широчайшие массы советских читателей проявляют огромный интерес к французской литературе, в особенности к французским просветителям XVIII в. и к великим французским реалистам XIX в. Весьма высок интерес и к современной французской литературе.

Эдуард Эррио в своей интересной книге «Восток», опубликованной в 1934 г., дает очень подробную, документированную и яркую характеристику советской культуры. Он ставит вопрос и о том, как много переводят, читают и изучают французских писателей в Советском Союзе. Длинный список французских авторов, приводимый Эдуардом Эррио, можно было бы значительно расширить и дополнить. Наш исследователь отмечает, например, что «Государственное издательство публикует произведения Стендаля, Золя, Флобера, Мериме и Гонкуров»,—к этому необходимо добавить, что в Советской стране не только издаются произведения всех классиков французской литературы, но издаются также большие, прекрасно комментированные собрания сочинений Стендаля, Бальзака, Флобера, Золя, Мопассана, Мериме, Гюго, Дидро, Мольера, Расина, а также А. Франса и Ромэн Роллана. Некоторые из этих собраний по своей полноте превосходят французские издания—таково, например, собрание сочинений Э. Золя, в котором публикуется ряд интереснейших материалов из рукописного наследия Золя, до сих пор еще не обнародованных на родине великого писателя.

Следовало бы расширить и список современных французских авторов, который приводит Эдуард Эррио. Нет ни одного, хоть сколько-нибудь значительного, произведения современной французской литературы, которое не было бы опубликовано в русском переводе. Проявляя особый интерес к социальному и реалистическому творчеству писателей французского народного фронта (Ромэн Роллан, Анри Барбюс, Луи Арагон, Андре Мальро, Жан Кассу, Луи Гийу, Люк Дюртен, Жюль Ромен, Андре Шамсон, Жан-Ришар Блок), советский читатель знакомится и с

такими французскими писателями, как Валери (отметим издание его «Варьете») или Марсель Пруст (отметим издание всех томов грандиозного романа «В поисках утраченного времени»).

Необходимо значительно дополнить и перечень французских писателей XVI, XVII и XVIII вв., издаваемых, читаемых и изучаемых в Советской стране. Не только Вольтер, Дидро, Руссо издаются во множестве видов и в больших тиражах, но и Гольбах, Кондильяк, Кондорсе, Дени Верас, Мерсье, Ретиф де ла Бретонн («Французский Дедал»); не только Раблэ и Ронсар, но и Бонавентур Деперье, Агриппа д'Обинье.

Французская литература во всем богатстве своем доступна советскому человеку. Ее знают и любят, ее лучшими достижениями восхищаются в Советской стране. Об этом, со свойственной ему убедительностью и яркостью, рассказывает Эдуард Эррио в книге «Восток». Аналогичные наблюдения делает большинство французских авторов, писавших о СССР и изучавших советскую культуру (см., например, интереснейшую книгу Анри Барбюса «Россия»).

Во время своего пребывания в Советском Союзе Эррио встречался с Горьким. Рассказывая о своих беседах с великим писателем, Эррио снова поднимает интереснейший вопрос о французской культуре в СССР,— Горький счел необходимым подчеркнуть, какою славою пользуются в Советской стране лучшие создания французского гения. «С большим удовлетворением он [Горький] говорит: „У нас издают всего Стендаля, всего Бальзака, у нас переводят Декарта...“».

Эррио считает необходимым коснуться знаменитого памфлета Горького «Прекрасная Франция», опубликованного в мае 1906 г. Эррио напоминает о том, что этот памфлет, бичующий французских банкиров, мракобесов и реакционеров, поддержавших своим золотом Николая Кровавого и способствовавших подавлению первой русской революции,—памфлет, полный ненависти и гнева к врагам народа, был вполне естественным и законным выступлением великого русского писателя. Эррио, вспоминая об этом историческом выступлении Горького, очень хорошо и очень патетически доказывает полную правоту Горького.

Эррио убедительно показывает, что гневная отповедь Горького французским реакционерам отнюдь не устраняла горячей любви Горького к французскому народу и к его великой культуре. «Писатель негодует, и в то же время он вызывает в памяти образ той Франции, какую он когда-то любил»,—пишет Эррио и приводит замечательную цитату из Горького:

«Я шел по улицам Парижа, и сердце мое пело гимн Франции, с которой я беседовал в темном склепе.

Кто не любил тебя всем сердцем на утре дней своих?

В годы юности, когда душа человека преклоняет колена перед богинями Красоты и Свободы—светлым храмом этих богинь сердцу казалась лишь ты, о Великая Франция.

Франция! Это милое слово звучало для всех, кто честен и смел, как родное имя страстно любимой невесты. Сколько великих дней в прошлом твоем! Твои битвы—лучшие праздники народов, и страдания твои—великие уроки для них.

Сколько красоты и силы было в твоих поисках справедливости, сколько честной крови пролито тобой в битвах ради торжества свободы. Неужели навсегда иссякла эта кровь?

Франция, ты была колокольней мира, с высоты которой по всей земле разнеслись однажды три удара колокола справедливости, раздались три удара, разбудившие вековой сон народов—Свобода, Равенство, Братство».

Горький был замечательным знатоком и ценителем французской культуры. Он всегда подчеркивал, что классики французской литературы оказывали на него большое влияние. Так, отвечая в 1911 г. на запрос Октава Мирбо, Горький писал о том, как еще в юношеские годы он познакомился с книгою Гонкура «Братья Земганно» и с «Шагреневой кожей» Бальзака, как в дальнейшем творчестве книги Бальзака стали ему «наиболее дороги... той любовью к людям, тем чудесным знанием жизни, которые с великой силой и радостью я всегда ощущаю в его творчестве».

В другом месте Горький пишет: «Настоящее глубокое воспитательное влияние на меня, как на писателя, оказала большая французская литература—Стендаль, Бальзак, Флобер...».

Когда в первые годы революции, в обстановке блокады и голода, Горький начал грандиозное издание «Всемирной литературы»—серии, в которую должны были войти, в переводах, лучшие книги всех литератур мира,—французской литературе в этом издании было уделено особо почетное место.

Великий пролетарский писатель Горький был наследником лучших ценностей мировой культуры, он впитал в себя французскую культуру. Эту важнейшую особенность Горького, очень ярко характеризующую отношение советского народа к культурному наследству, правильно и убедительно осветил в своей книге Эррио. Великий пример Горького он справедливо рассматривает, как символ всей новой культуры, создающейся в СССР.

В день, когда Горькому исполнилось шестьдесят лет,—это был большой праздник культуры для всего передового человечества,—многие французские писатели обратились к юбиляру со словами дружбы и привета. С особой полнотой и силой выразил отношение передовой французской литературы к Горькому Ромэн Роллан. Вот что он писал в своем обращении:

«Имя Горького для меня с юности—имя друга. Младший по возрасту, он уже тогда казался мне старшим, потому что слава его уже сияла на Западе, когда я только начал писать. Где-то я уже рассказывал, что его портрет, на котором он снят вместе с Толстым в Ясной Поляне, он один только украшал нашу маленькую редакционную комнату «Двухнедельных Тетрадей», где молодой Жан-Кристоф начал свой пятнадцатилетний бой против «ярмарки на площади Парижа и всего мира». Эти изображения были защитниками нашей независимости и правды.

Что меня теперь, как и тогда, больше всего поражает в искусстве Горького—это удивительная ясность взора, отличающая его среди других больших русских писателей. Его глаз подобен озеру, в котором все явления—люди, вещи—отражаются более ясными, яркими и выразительными, чем они есть в действительности. Его сетчатка сохраняет неизменными образы, виденные и десять и тридцать лет назад. Эта чудесная ясность взора в бурях мысли—богатый природный дар.

Пятнадцать лет, в особенности же с окончания войны и эпохи революции, я знаю Горького лично, и каждое его письмо является для меня живительным источником бодрости. Какая жажда учиться! Какое величие мысли, какая вечная юность ума! Никогда не знал он того состояния безразличия, которое, как туча, тяготеет над столь многими из лучших

умов Запада, утомленных и равнодушных. Как природа, он вновь рождается каждое утро.

Зачем же напоминать ему о его 60 годах? Число лет—мера, применимая только к детям усталой Европы. Они вышли в путь со скудными припасами и, истощив их, льстят себя надеждой восполнить их сухим интеллектуализмом. Горький же берет свою долю вечно новых сил природы у полноводной реки, у вечного ритма вечерней и утренней зари. Сейчас он моложе, чем 40 лет назад, ибо сочетался браком со своим юным, освободившимся народом. Это стало для него неисчерпаемым источником молодости. В этот час я праздную не день его шестидесятилетия, а его духовный брак с молодой Россией. Пусть их прекрасные дети принесут миру радость и обновление».

Вернемся к книге Эдуарда Эррио, которая имеет своей задачей охватить все стороны советской действительности.

Эдуард Эррио развертывает большую панораму советской культуры: от научных институтов до советских школ, от художественной литературы до московского балета, где особое его восхищение вызывает «Пламя Парижа» (балет Асафьева на сюжет из времен Французской революции 1789 г.).

У Эдуарда Эррио не мало существенных политических разногласий с коммунистами, но он говорит правду о Советском Союзе, а значит, свидетельствует со всею силою своего авторитета о том, что в СССР заложена основа новой человеческой цивилизации. Раскрепощение человека, неограниченная возможность проявления всех творческих сил каждого полностью обеспечены в Советской стране. Открыта широкая и ровная дорога всем талантам, которыми так богаты народы великого Советского Союза.

Чрезвычайно характерно, что Эррио специально обращается к вопросу об условиях развития личности в Советском Союзе. Он разоблачает вздорные выдумки о том, что социализм означает уравниловку и нивеллирование личности, он подчеркивает, что в Советском Союзе созданы условия для неограниченного роста и расцвета индивидуальности.

Если окинуть взором все написанное французскими авторами о СССР за двадцать лет, открывается характерная картина. Уже в первые месяцы существования Советской власти гиганты французской мысли и искусства давали правильную и прозорливую оценку исторических событий, происходивших на территории бывшей царской России (Анатоль Франс, Ромэн Роллан). Но немалое количество французских рядовых литераторов занималось фабрикацией вздорных сказок и сочинением нелепых пасквилей о «красной опасности» (роман Мак-Орлана «Эльза-кавалеристка», глупая и злобная книжонка Поля Морана). Однако, чем дальше, тем больше перспектива проясняется, множество людей едет в Советский Союз, чтобы собственными глазами увидеть ставшую легендарной страну, сказкам уже никто не верит,—выходит очень много французских книг, дающих полное, правдивое и ясное представление о Советском Союзе.

Еще в 1927 г. было возможно появление книжки под таким интригующим заголовком, как «Одна в Советской России», подчеркивающим, что некая француженка проявила недюжинное мужество, решившись одна поехать в СССР. Это тем более характерно, что книга принадлежит перу Андре Виоллис, передовой французской писательницы, и в ней дана

вполне сочувственная оценка советской действительности, которую Виоллис «открыла», как некую Америку.

С тех пор французскими авторами проделана огромная работа по изучению Советского Союза, по ознакомлению с жизнью Советской страны широких кругов французских читателей. Серьезные научные исследования, книги, в которых даны художественные зарисовки советского мира (назовем, как пример, великолепное исследование Андре Рибара «Народ у власти»), разными средствами достигают одной цели—показать Советскую страну более или менее всесторонне.

Французский читатель проявляет широкий интерес к советской литературе. Многие советские писатели приобрели большую известность во Франции. Переводы советских писателей на французский язык появляются в большом количестве. Произведения Максима Горького, романы Алексея Толстого, Шолохова, Леонова, Фадеева, Федина, Гладкова, Эренбурга, Бабеля и других, стихи Владимира Маяковского—все это переводится на французский язык и читается современной Францией. Знакомясь с художественными произведениями, изображающими советскую действительность, французский народ получает особенно полное и живое представление о Советской стране.

Между передовыми французскими писателями и представителями советской литературы устанавливаются отношения взаимной дружбы и взаимного понимания. На парижском конгрессе в защиту культуры (1935), организация которого была, прежде всего, делом французских писателей, советская делегация была окружена особым вниманием французских собратьев по творчеству и борьбе. Работа этого международного съезда писателей оказала большое влияние на плодотворную связь французской литературы с литературами народов Советского Союза. На парижском конгрессе не было Горького—он болел тогда, но весь конгресс, начавшийся с оглашения приветствия Горького, прошел при его ближайшем идейном участии. Для передовых французских мастеров культуры, как и для передовых деятелей культуры во всем мире, нет имени более великого, чем имя Горького. Великий писатель, неутомимый борец против войны и фашизма, пламенный гуманист, Горький является вдохновляющим примером для всех, кому дороги интересы культуры и будущее человечества. Колоссальный международный авторитет Горького особенно велик в демократической Франции. С волнением говорят о своей дружбе с Горьким те французские писатели, которые поддерживали с ним личные отношения. Но об огромном влиянии, которое оказали на них книги Горького, обаянии его имени говорят и те писатели, которым не пришлось встретиться с великим русским писателем. В «России» Барбюса есть глава «Разговор с Горьким», замечательно передающая впечатления от встречи одного из крупнейших писателей Франции с автором «Матери» и «Клима Самгина». В их простой и дружеской беседе вопросы гуманизма, создания новой культуры в СССР и взаимоотношений между французской литературой и литературами народов Советского Союза заняли важное место. Барбюс показал в своем очерке, как необъятен был умственный кругозор Горького, как бесконечно много знал этот писатель и как страстно стремился он к счастью и освобождению человечества. Барбюс показал в своем очерке величие Горького, он прекрасно выразил восхищение и глубочайшее уважение передового французского писателя перед гением Горького, и он говорил здесь не только от своего имени.

Французские писатели не остаются в стороне от тех творческих проблем, которые поднимаются в советской литературе. Все чаще можно встретить в тех изданиях, где участвуют французские писатели, связанные с народным фронтом, высказывания о социалистическом реализме, попытки поставить проблемы литературного наследства (в частности, проблему отношения к реалистам XIX в., к Бальзаку, Стендалю, Золя) в прямой связи с тем, как эти вопросы ставятся в советской литературе. Укажем здесь хотя бы на брошюру Луи Арагона «К социалистическому реализму» или на весьма оживленную дискуссию, которая имела место среди мастеров изобразительного искусства. Необходимо отметить распространение идей марксизма среди французских ученых (сборники «В Свете Марксизма», в которых участвуют лучшие силы французской науки). Относительно писателей во Франции можно сказать, что марксизм оказывает на них заметное воздействие, помогая их творчеству.

Демократическая Франция проявляет все более серьезный интерес к старой русской культуре, очень чутко улавливая то, с каким вниманием, с каким живым интересом в Советской стране относятся к культурному наследству. Уже давно вошли в основной фонд французской культуры Толстой, Достоевский, Тургенев. В наше время к этим именам по-настоящему присоединился Пушкин. Столетний юбилей великого русского поэта нашел широчайший отклик во Франции. Бесспорно,—это историческая дата, свидетельствующая, что Пушкин нашел свой путь к французскому народу.

На многочисленных собраниях, которыми во Франции был отмечен юбилей Пушкина, выступали выдающиеся французские писатели, как Поль Валери, Анри Ленорманн и др. Отмечая, что во время пребывания в СССР он был поражен «благоговением», с каким там «чтут гениев литературы», Ленорманн ярко характеризовал величие Пушкина.

На собрании в Большом зале Сорбонны после вступительной речи тогдашнего министра народного просвещения, Жана Зея, с прекрасной речью о Пушкине выступил Поль Валери. Отметив, что «Пушкин не только поэт—создатель произведений на русском языке, но и поэт—созидатель самого русского языка», Валери убедительно и патетически говорил о том, что «Пушкин оплодотворил в смысле насаждения литературы русскую нацию; именно благодаря ему, русская земля, словно каким-то волшебством, дала целый урожай литературных произведений, многие из которых сделались памятниками мировой литературы... Он вызвал к жизни такие создания в областях пластики и музыки, что все специфически русское искусство, будь то литература, музыка, живопись или хореография, должно видеть в нем своего родоначальника, отца, созидателя, подлинного творца».

Характеризуя Пушкина, как национального русского поэта, Валери воздал в его лице должное русскому народу, воспитавшему этого гения. Большое количество статей было напечатано во Франции в юбилейные пушкинские дни, и в той или иной мере авторы этих статей учитывали, какое колоссальное значение было придано в Советском Союзе чествованию великого поэта. Эти статьи, в какой-то степени, были не только статьями о Пушкине, но и статьями о том, на какую высоту подняты в Советском Союзе искусство и литература. Пушкинский юбилей надо рассматривать, как знаменательную дату культурного сближения Франции с СССР.

Французские реакционеры, враги демократии и народного фронта, стремящиеся отнять у французского народа все его социальные завоевания, совершающие прямую измену родине подготовкой сговора с фашистскими агрессорами, ненавидят Советский Союз, как оплот всеобщего мира и как страну социализма, указывающую всем народам путь к победе. Они покупают продажных литераторов, и на свет появляются весьма подозрительные произведения, клевещущие на Советский Союз. Ничто с такой силой и убедительностью не разоблачает этих пасквилянтов, как множество правдивых книг, написанных честными французскими писателями на тему о Советском Союзе. Эти книги показывают, с каким вниманием относится французская демократия к социалистическому строительству в СССР, какие высокие надежды возлагает она на Советский Союз—страну нового мира.

2

Из многих книг французских писателей, посвященных СССР, следует указать на два очень показательных произведения. Первое из них—вышедшая в прошлом году книга Люка Дюртена «Земной шар подмышкой». Известно, что этот выдающийся французский писатель уже много лет работает над грандиозной панорамой современного мира, в которой отображена жизнь не только Европы, но и других континентов, в частности, Америки. Эта панорама носит название «Завоевание мира», в нее входят все многочисленные романы и повести Дюртена. Знакомство с биографией Дюртена показывает, что путешествия играют в жизни этого человека очень важную роль. Он исколесил весь мир не как любознательный турист, а как создатель огромного литературного произведения, опирающегося на колоссальный материал и спаянного одной основной мыслью.

Дюртен всегда был гуманистом, и свое основное художественное исследование он предпринял с той целью, чтобы показать, как в разных уголках нашей планеты создается единая человеческая цивилизация. Он был опьянен мыслью о единстве всех усилий человечества, о великом благе так называемого прогресса. Но то, что он видел перед собой, было очень далеко от его идеала, и так как правда была для него всего дороже, ему пришлось показать отталкивающее безобразие капиталистического мира—и в этом сила книг Дюртена: огромная панорама «Завоевание мира» представляет ценнейший документ «социальной истории» нашего мира.

В обращении «К советским товарищам», которым открывается русский перевод «Завоевания мира», Люк Дюртен дает простое и ясное определение характера своего творчества: «Рост человека—это показывает моя книга—ужасающе ограничен, сдавлен тройным гнетом капитала, расовых предрассудков и религии. Не удивляйся поэтому, что здесь изображаются поражение человека и безрадостность его существования». «...Советский товарищ, ты имеешь счастье жить в стране, которая одержала победу над этим злом, для тебя оно уже в прошлом. Настанет день, когда бессмысленная социальная система, которая привела к крушению старой культуры, станет прошлым для всех народов на земле.

Я посетил сорок стран, путешествовал в обоих полушариях, и я могу сказать: солнце новых времен сияет у вас, над шестой частью мира...».

В этих словах—вся история творчества Люка Дюртена. Исколесив весь земной шар в поисках легендарной «праведной земли», много раз испытав

самое безнадежное отчаяние, подвергнув самому внимательному исследованию «теневую сторону нашей планеты», он, наконец, нашел великую страну, над которой сияет «солнце новых времен». Как и для всех тех писателей современного Запада, которых можно назвать подлинными гуманистами, для Дюртена Советский Союз является символом света, великой надеждой, воплощением человеческого достоинства.

Первая книга Дюртена появилась в 1906 г., это был «Неизбежный этап», открывший большой цикл «Завоевания мира». Таким образом, уже тридцать лет пишет Дюртен свою «книгу человека», и до самого последнего времени он мог лишь с горечью констатировать, что этот человек стоит «пред лицом необъяснимой, тяжелой и пустой жизни». В книгах Дюртена этому было приведено бесчисленное количество доказательств.

Дюртен исходил всегда из мысли, что благо человечества есть высший закон для всякого подлинного художника. Поэтому он и считал себя гуманистом. Но это был чрезвычайно абстрактный гуманизм, оторванный от тех реальных условий, в которых живет современное человечество. Лишь после того, как наш неутомимый путешественник и исследователь «открыл» советскую землю, залитую лучами «солнца новых времен», его гуманистическая утопия стала действительностью.

В книге Дюртена «Земной шар подмышкой» противопоставлены два мира. Описывая Бразилию, Аргентину, Индо-Китай, Северо-Восточную Африку, Грецию, Балканы, Испанию, Англию, Голландию, Швецию, Дюртен дает богатую по наблюдениям и интересную по выводам картину капиталистического мира.

Он описывает старый мир с тщетной надеждой найти такое место, где человек был бы счастлив. Вся книга наполнена горьким сознанием того, что буржуазная цивилизация и в Европе и на других континентах находится в состоянии упадка и развала. Дюртен все время говорит о «величии человека», о «будущем человечества» и т. д. Но именно человечности, простора для выявления возможностей человека он не нашел в старом мире, хотя он произвел самые тщательные поиски. Отсюда глубокий пессимизм и даже отчаяние Дюртена. О «нашей несчастной Европе» Дюртен говорит не иначе, как с оттенком безнадежности. С горечью наблюдает наш гуманист крушение цивилизации и то, как буржуазный мир погружается в мрак варварства.

Главы о Советском Союзе написаны Дюртеном в плане резкого контраста с капиталистической действительностью. Сопоставляя два мира, Дюртен пишет: «В то время как хаос, в который вовлечены капиталистические государства, не позволяет видеть другого исхода, кроме варварского возвращения к прошлому, здесь возникает новый мир, обращенный к будущему. Он смотрит вперед, как это должен делать человек».

«Реконструкцией человечества» называет Дюртен то, что он наблюдал в Советской стране. Дюртен свидетельствует о том, что в Советском Союзе «обеспечен расцвет индивидуальности». В этом он справедливо видит одно из самых ярких проявлений «достоинства революции».

Люк Дюртен был в Советском Союзе летом 1936 г. Он посетил Ленинград, Москву, Тбилиси, Киев, он побывал во многих колхозах и на многих заводах. Первое, о чем он говорит с подлинным восторгом,— это о больших переменах, которые он заметил, по сравнению с тем, что он видел восемь лет назад, во время первого приезда в СССР. Огромные успехи социалистического строительства, изменившийся облик наших

городов, новый облик колхозной деревни—все это Люк Дюртен наблюдает с живым интересом : «Повсюду в СССР, во всех городах этой страны, где созидается цивилизация, возвеличивающая труд, видишь вдохновенное, стремительное и планомерное движение вперед».

Картина Советского Союза, которую дает Дюртен, богата фактами и интереснейшими деталями, раскрывающими перед западным читателем яркий и увлекательный облик нового мира. Значительность и сила этой картины, нарисованной талантливым французским автором, возрастают оттого, что читатель подходит к ней, пробравшись сквозь джунгли капиталистического мира. В книге «Земной шар подмышкой» показано, что к признанию того, что Советский Союз есть воплощение самых высоких идеалов человечества, счастливая страна, где человеку возвращено его достоинство, писатель-гуманист пришел после долгих и упорных поисков, после того, как он обошел весь мир. Вот почему сила и неопровержимость утверждений Дюртена особенно наглядны.

Книга Дюртена, как зеркало, отражающая весь путь выдающегося писателя, являющаяся, в своем роде, итогом тридцатилетних его исканий, показывает, что наша страна является путеводным огнем для лучших людей всего мира. Читая эту книгу, мы видим, как от бесплодных иллюзий абстрактного гуманизма честный и искренний писатель приходит к гуманизму подлинному, опирающемуся на величественные достижения социалистического строительства в СССР. Этот подлинный гуманизм делает писателя активным участником антифашистского народного фронта. Этот подлинный гуманизм вдохновляет писателя, творчество которого на деле становится оружием борьбы за счастье человечества. Последние книги Люка Дюртена доказывают, что каждый честный, правдивый писатель старого мира неизбежно становится защитником и энтузиастом нового мира, если он додумывает свои мысли до конца.

«Прекрасное зрелище: самые высокие формы культуры—научное и художественное творчество—стимулируются в СССР человеческой массой, для которой они предназначены, в таком огромном масштабе, который даже трудно себе представить. Все взгляды нации беспрестанно устремлены на исследовательские институты, на пластические искусства, на литературу.

Одно из самых значительных достижений новой России—это ее поэмы и романы: к вечным, общечеловеческим темам писатель присоединяет все темы, связанные с гигантским процессом обновления. Не забудем о той культурной помощи, которую СССР оказывает литературам входящих в него народов: украинской, грузинской и всем другим; их своеобразие и сочность оцениваются по достоинству, к их независимости относятся с уважением. А кто не слыхал о замечательном московском театре, самом смелом в мире, где осуществляется творческое единение между артистами и публикой, как в эпоху Эллады?!

В стране, где самые мощные научные учреждения в мире умеют донести мысль до деревни и завода, творчество перестало быть изолированным. Здесь вся масса участвует в усилиях тех, кто занят научными изысканиями. Все связаны друг с другом. Нет сомнения, что культура выигрывает от усилий социализма, самых героических из всех, которые когда-либо прилагались человеком с целью внести порядок и законы мысли туда, где всегда царствовал случай, где обстоятельства правили человеком...

Новая мораль, новый героизм... Статую человечества мы представляем себе со скорбными чертами,—это представление сложилось постепенно,

в течение тысяч и тысяч лет. Представление довольно мрачное; но, наклоняясь совсем близко к статуе, мы видим со всех сторон слабое сияние, похожее на блеск тех золотых крупинок, которые глаз различает на темной поверхности гранита. Эти блестки—героические деяния всех времен. Хоть это не более, как крупинки, тонущие в густой массе вещества, они согревают нам сердце.

И вдруг новая фигура представляется нашим взорам. Контур, в котором все отдельные черточки сливаются в одно радостное целое. В этом обществе, где каждая часть связана со всеми другими, героизм становится естественным. Это непосредственное проявление сущности человека».

Вот суждение передового французского писателя о Советском Союзе, суждение честного французского демократа. Оно представляет вывод всей его полноценной жизни и было высказано после того, как в продолжение многих лет писатель внимательнейшим образом исследовал буржуазную действительность, на каждом шагу убеждаясь в том, что капитализм не имеет будущего. Великая надежда человечества—это Советский Союз, страна социализма, страна счастья. Точка зрения Дюртена есть точка зрения всех передовых мастеров культуры современной Франции и всего французского народа.

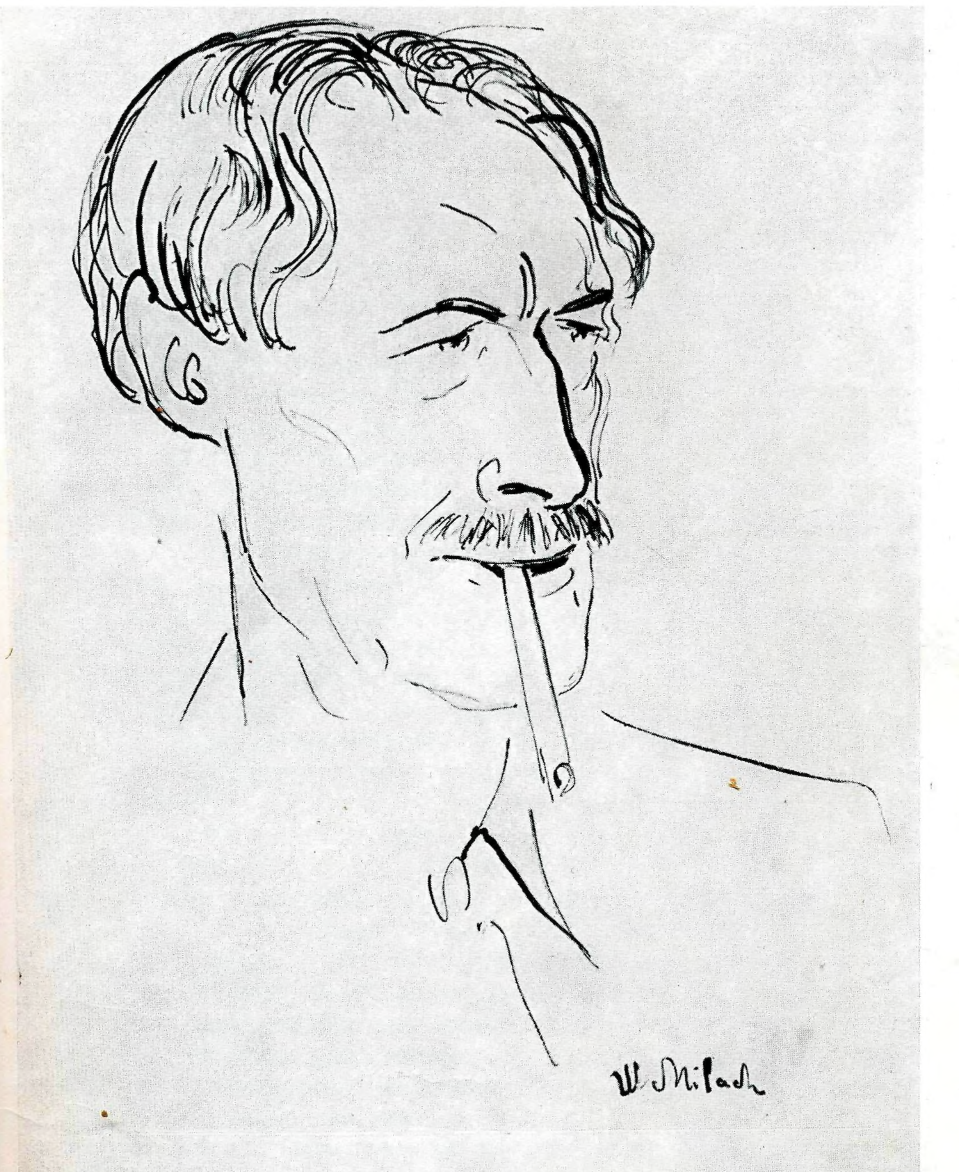
Приведем еще один не менее характерный пример. Выдающийся французский писатель, знаток искусства, критик театра, друг Анатоля Франса (автор очень ценной книги «Беседы Анатоля Франса»)—Поль Гзель опубликовал недавно книгу, посвященную Советскому Союзу. Он назвал эту правдивую и полную пафоса книгу: «Мир, каким он должен быть». Поль Гзель не раз был гостем нашей страны. Он собрал огромный материал, который и лег в основу его умной и глубокой книги. Говоря о Советском Союзе, Поль Гзель ведет все время полемику с капиталистическим миром, сравнивает, сопоставляет, замечательными примерами иллюстрирует победу социализма и то, как разителен контраст между двумя мирами.

Описывая Москву наших дней, первый советский город, с которым познакомился Поль Гзель, он говорит о тех многочисленных стройках, которые придают нашему тысячелетнему городу аромат молодости. Гзель с восхищением говорит об энергичной, жизнерадостной и молодой московской толпе, своим видом убеждающей иностранца в том, что он попал в новый мир.

Мысль о том, что в Советской стране созданы условия, обеспечивающие расцвет всех творческих возможностей человека, проходит через всю книгу нашего автора. В залитых светом мраморных залах московского метро, как и повсюду в Советской стране, он увидел новый мир и нового освобожденного человека.

Уже первое знакомство с московскими улицами, с витринами книжных магазинов показало Гзелю, что он попал в страну невиданного «книжного изобилия» и что «ненасытная жажда чтения» проявляется здесь повсюду. Книга пользуется здесь огромной любовью. Культура давно стала здесь всеобщим достоянием.

После Москвы Гзель видел Ленинград. В книге прекрасно показано, как этот советский город, бережно и внимательно сохранив все лучшее в своем старом архитектурном ансамбле, стал подлинным социалистическим городом. Начиная с того, как старинные дворцы стали здесь двор-



Je trouve tout à fait excellent le portrait que vient de faire de moi Wladimir Milachevsky et je serais très heureux qu'il fût reproduit dans le livre Zola.

Moscou. 3 août 1933

Henri Barbusse.

АНРИ БАРБЮС

Рисунок В. Милашевского, 1933 г.

Внизу отзыв писателя: «Я нахожу сделанный с меня Владимиром Милашевским портрет превосходным и очень хотел бы, чтобы он был воспроизведен в книге „Золя“. Москва, 3 августа 1933 г. Анри Барбюс»

Собрание художника, Москва

цами новой культуры, и кончая колоссальным промышленным и жилищным строительством, совершенно изменившим облик многих районов города, Гзель рисует картину того поразительного подъема, с которым он встречался повсюду в стране Советов. Вся книга Гзеля проникнута ощущением крепнущей силы, ощущением, которое, как он признается, его всегда «опьяняло».

В дальнейшем, Гзель переходит к показу «грандиозных достижений социалистического строительства, поразивших мир»; после Москвы и Ленинграда он пытается охватить своим взором всю грандиозную панораму социалистической страны. Рассказывая о «великих работах Днепростроя, Магнитогорска, Сталинграда...», приводя цифры, показывающие победы сталинских пятилеток, Гзель приходит к выводу о глубочайшем моральном и политическом единстве народа, которое обеспечило все эти достижения. Он приветствует нашу великую партию, обеспечившую это единство народа, обеспечившую победу социализма. Он говорит с восхищением о товарище Сталине, о том, какой горячей любовью и преданностью широчайших масс народа окружен вождь и организатор побед социализма.

Книга Гзеля была написана еще до принятия Сталинской Конституции,—тем не менее, вдумчивый и непредубежденный наблюдатель советской действительности дал очень полную и яркую картину тех завоеваний социалистической демократии, которые записаны в Сталинской Конституции. Рассказывая о том, как живут советские люди, о том, чем является для них труд, о том, каким чувством единого ритма проникнута вся жизнь народа, Гзель весьма убедительно показывает, что раскрепощение человека осуществлено в Советской стране, что право на труд, на отдых, на образование, полностью обеспеченное в Советской стране, является основой нового порядка жизни. В этих невиданных и невозможных при капитализме условиях и развивается «социалистический человек, подлинное новое чудо современного мира». Этими словами Вайян-Кутюрье наш автор заканчивает главу о торжестве социалистической демократии в Советском Союзе. Яркими примерами он показывает, что Советская страна— это страна прочного счастья; как нельзя более естественны светящиеся радостью и энтузиазмом лица молодежи, лицо того молодого советского человека, историю которого рассказывает Гзель для того, чтобы воскликнуть, спросить у своего западного читателя:

«Понимаете ли вы теперь, почему русские более счастливы, чем мы с вами?».

Поль Гзель дает правдивое описание новой, счастливой жизни рабочего и колхозника в Советской стране, затем он переходит к теме, особенно интересующей его, как «мастера культуры»,—к теме «Интеллигент в СССР». Как и вся книга Гзеля, эта глава полемически заострена против капитализма, пересыпана сравнениями, показывающими, как поразительна разница между положением интеллигентов в странах капитализма и в социалистической стране.

«Интеллигенты пользуются в СССР таким почетом, как ни в одной стране мира... Наша пресса уделяет больше внимания сутенерам, взломщикам и всяким уголовным подонкам, чем людям, которые стремятся постичь тайны природы... В СССР народ окружает своих ученых восторженной любовью». В таком же положении находятся и советские писатели, перед которыми социализм раскрыл гигантские перспективы. Им дано великое счастье творить «в неразрывной связи с чувствами и мыслями народа».

Гзель предлагает своему читателю хороший очерк развития советской литературы, убедительно показывая, как социализм вызвал к жизни новые таланты из народа, как социализм благотворно повлиял на творчество писателей, выступивших еще до революции, какое огромное и патетическое содержание дает советскому писателю окружающая его действительность.

Весьма подробно знаток театра Поль Гзель говорит о театре в СССР. Рассказывая о лучших постановках московских и ленинградских театров, которые он оценивает со всею компетентностью критика, имеющего мировую известность, Поль Гзель говорит о невиданном расцвете театрального искусства в Советской стране. Он видит причину этого в подлинной народности советского театра, в том, что советские артисты, режиссеры, драматурги одухотворены тем энтузиазмом созидания нового мира, которым одухотворено все в Советской стране.

«Театр в СССР исходит из народа и обращается к народу». С восторгом говорит он о советском зрителе, предъявляющем к театру очень высокие требования и умеющем искренно волноваться, заражать своим энтузиазмом актера. О невиданном единстве актера и зрителя в советском театре говорит Гзель. «Как далеки мы,—восклицает он,—и наше драматическое искусство, все более и более остывающее, все более и более изолирующееся, от народа».

Особо отмечает Гзель грандиозные народные празднества в Советском Союзе. Он был на Красной площади в день 1 сентября и так описывает впечатление, которое произвел на него традиционный парад молодежи: «Это блистательный расцвет здоровья и силы. И это не только торжество ритма. Советская физкультура ставит своей целью развить не только силу, но скорее чувство коллективности, которое и проявляется в прекрасном единстве движений... Сила, единство, мужество—вот качества, великолепно проявляющиеся в народных празднествах в Советской России; они представляют свидетельство радостного материализма масс».

В главе «Новая социальная вера» Поль Гзель обращается к вопросу, поставленному еще в самом начале книги,—к вопросу о судьбе личности, о том, что он называет «индивидуальной свободой». Из огромного количества наблюдений он делает вывод о том, что социализм, раскрепостивший человека, освободивший его от мучительной «заботы о завтрашнем дне, сделал его невиданно свободным, создал условия, в которых человек может проявить все свои возможности».

И Гзель показывает, что Советская страна—это надежда всего передового и прогрессивного человечества. «Самый важный моральный и социальный закон, которому подчиняется человек, это закон прогресса,—такова советская доктрина»,—пишет Поль Гзель. Он справедливо видит, что Советский Союз является твердым оплотом против фашистского варварства и мракобесия, что он является воплощением лучших надежд всего человечества, что величественный пример Советского Союза показывает путь в будущее.

В главе о Красной Армии Поль Гзель показывает, насколько обеспеченным и надежным является этот будущий мир, воплощенный в грандиозном и солнечном облике Советского Союза. Никогда фашизму не осуществить своих планов закабаления человечества. Советский Союз тому порукой.

Патетическое заглавие книги Гзеля—«Мир, каким он должен быть»—

становится понятным с первых страниц повествования. Но в главе «Заключение» автор еще раз подчеркивает основную идею своей книги, так ярко выраженную в заглавии. Это разъяснение Гзель дает в виде развернутого сопоставления двух миров.

«Буржуазный строй агонизирует. Его существование противоречит здравому смыслу... Разве это не мир, перевернутый на-голову?».

СССР—вот «мир на своем месте», «мир, каким он должен быть».

И Поль Гзель развертывает целую серию резких и неотразимых сопоставлений «мира, поставленного на-голову»—противоречащего здравому смыслу капиталистического мира, и социалистической Советской страны—«мира, каким он должен быть». Приведем некоторые из этих сопоставлений, заключающих книгу:

«При буржуазном строе интеллигентов презирают, они с трудом обеспечивают свое существование, у них нет средств, чтобы продолжать научные изыскания. Таким образом, общество лишает себя того, что могли бы принести ему эти ценнейшие люди. Таков мир, поставленный на-голову.

В СССР интеллигенты рассматриваются, как всеми уважаемые граждане, полезные члены общества, обогащающие человечество своими открытиями. Наука пользуется здесь особым почетом и поддержкой.

Это мир, каким он должен быть.

При капиталистическом строе литература и театральное искусство, которые являются огромными социальными силами, предназначаются лишь для того, чтобы развлекать мещанок и возбуждать сластолюбие любителей порнографии. Писатели, которые могли бы облагородить народ, развращают его.

Таков мир, поставленный на-голову.

В СССР романисты и драматурги сознают всю ответственность своего дела и стремятся лишь к тому, чтобы вдохновлять, просвещать и вести вперед массы.

Это мир, каким он должен быть.

При капиталистическом строе особенно трагична судьба молодежи, у которой нет денег. В эпоху, когда остановилась всякая деятельность, она не находит применения ни в области физического труда, ни в области интеллектуальной работы; она с горечью видит, как бесплодно гибнет вся ее энергия и рушатся все ее надежды. Капиталистическое общество преграждает молодому поколению путь к будущему.

Таков мир, поставленный на-голову.

В СССР все сделано, чтобы помочь молодежи, чтобы дать выход ее способностям и выдвинуть вперед талантливых. Ибо коллектив знает, что, развивая все дарования молодежи, он обеспечивает богатство и расцвет будущего.

Это мир, каким он должен быть».

Правдивая книга Поля Гзеля, честного европейского интеллигента, добросовестно сравнившего капиталистический мир и мир социализма, представляет весьма важный и ценный документ. Искренний и горячий пафос книги Гзеля вполне оправдан. В этом пафосе выражены чаяния и надежды лучших людей Запада.

Мы взяли книги Дюртена и Гзеля, не только как самые свежие примеры, характеризующие отношение французской демократии к СССР, но и как примеры типичные. Можно было бы поставить рядом с ними много других французских книг, дающих честную и правдивую оценку советской действительности, показывающих расцвет культуры в СССР.

3

Как уже было указано, в борьбе с французской реакцией, стремившейся скрыть от французского народа правду о Советской стране, исключительную роль сыграли Анатоль Франс, Анри Барбюс и Ромэн Роллан. С замечательным мужеством эти лучшие люди Франции, лучшие мастера французской культуры защищали достоинство своего народа, выступая на защиту Советской России от интервенции и блокады, ведя разъяснительную работу в народных массах, устанавливая братскую связь французского народа с Советской страной.

Анатоль Франс умер в 1924 г. Анри Барбюс и Ромэн Роллан победоносно продолжали непреклонную защиту Советского Союза. Они всегда связывали эту защиту с борьбою за человеческую культуру, которой угрожает фашистское варварство. В лице СССР эти французские писатели защищали будущее человечество. Еще в 1921 г. Барбюс писал в своем обращении к интеллигенции («С ножом в зубах»), что существование Советской России—«факт более важный, чем христианство и Французская революция, крупнейшее и прекраснейшее в мировой истории явление,— этот факт вводит человечество в новую эру его развития». Они с величайшей убедительностью показывали в своих выступлениях, что решающей особенностью современного момента является наличие борьбы двух миров и что все передовое человечество, заинтересованное в спасении культуры, кровно заинтересовано в существовании и укреплении СССР. В этом плане Барбюсом написан ряд интереснейших произведений, посвященных Советской России. Так, убедительная и яркая книга Барбюса «Россия», дающая большую панораму «советской цивилизации», очень настойчиво подчеркивает резкий контраст двух миров.

Известно, что деятельность Барбюса в последние годы его жизни была полностью посвящена борьбе с фашизмом и надвигающейся новой мировой войной. Он был одним из пламенных энтузиастов народного фронта, он был организатором целого ряда международных конгрессов, сплачивавших широчайшие массы на борьбу с фашизмом. Парижский конгресс писателей в защиту культуры, собиравшийся в 1935 г., был подготовлен при его близком участии. В своих выступлениях против фашизма и войны Барбюс всегда подчеркивал, что наличие СССР является самой мощной гарантией того, что человеческая культура будет спасена и разнузданному фашистскому варварству будет дан сокрушительный отпор. Этот завет Барбюса, достойного сына своего народа, хранят передовые мастера французской культуры, идущие в рядах антифашистского фронта.

Последним произведением Барбюса была книга «Сталин», в которой он дал не только яркий и правдивый образ величайшего из людей нашей эпохи, но и величественную картину Советской страны. Подзаголовок книги Барбюса—«Человек, через которого раскрывается новый мир»—показывает, как художник представлял стоящую перед ним задачу. Барбюс показывает во весь рост гигантскую личность Сталина, неотделимую от всей истории революции, от всей борьбы за социализм. Книга, написанная Барбюсом, в равной мере является книгой о Сталине и книгой о Советском Союзе. Художник сделал ощутимым факт, что в личности Сталина сосредоточены энергия и мысль миллионов, поднявшихся на строительство новой жизни. Эту кровную связь чутко уловил и волнующе показал Барбюс. Он не раз повторяет слова, объясняющие его подход к личности Сталина: именно в Сталине воплотились линия коммунисти-

ческой партии, мощь пролетарской революции, мужество рабочего класса. Этот правильный курс, взятый писателем, позволяет ему дать изображение событий в верной перспективе. В книге развернута картина победы социализма в СССР.

Приведем примеры, показывающие высокий и чистый пафос последней книги Барбюса, основанной на колоссальном фактическом материале и на кропотливейшем изучении советской действительности. Вот суждение Барбюса о национальной политике Советского Союза, которым завершается прекрасная глава «Созвездие национальностей»:

«Итак, вот оно—советское разрешение неразрешимого национального вопроса. Не часто видим мы победу нового в таких гигантских масштабах. Вот она—победа в теории и на практике. Вот они—основные элементы социалистического строительства «в пространстве». Принципы эти просты и справедливы, научны и благородны,—одним ударом они дают разрешение многим и многим высоким чаяниям. Если бы социализма не существовало, его пришлось бы выдумать, чтобы разобраться в путанице живой действительности; его пришлось бы выдумать—с его твердым, точно рассчитанным остовом, с его живой, гибкой плотью.

Вот мы видим его в действии, видим, как он упорядочивает современное человечество, раздираемое жадностью, завистью и ненавистью; победоносно завершает вековое смутное, неопределенное стремление разбросанных по земле масс к лучшей жизни. В варварском хаосе нашей переходной эпохи, нашего средневековья, все отчетливее выделяются непобедимые лозунги предвестников новой жизни, людей, которым принадлежит слава открытия нового мира».

Приведем одну из последних страниц превосходной главы «Два мира», в которой дана гневная отповедь фашистскому варварству; эта глава заканчивается обращением к трудящимся всего мира:

«Все человеческие умы и сердца устроены одинаково. То, с чем мы обращаемся к ним, очень просто: либо люди должны отказаться жить вообще, либо они должны начать историю заново, взять курс на великий пример, на зарево пожара.

Русский народ, первым начавший спасать народы, СССР—единственный социалистический опыт—дают реальное, уже построенное доказательство: социализм осуществим на земле.

Результаты социализма—налицо. Вот они. Пусть паяцы и лисы парламентских трибун не пытаются внушить нам, будто это не так. Вот перед нами страна, где в руках двух великих людей сочетались «русский революционный размах с американской деловитостью», страна сознания и долга,—вот она, с ее жаждой истины, с ее энтузиазмом, с ее весной. Она выделяется на карте мира не только тем, что нова, но и тем, что чиста.

Только советская социалистическая власть обеспечила процветание, воспитала гражданские доблести, которые не имеют ничего общего с омерзительным «кодексом чести» бандитов типа Муссолини или типа Ставиского, блистающих бок-о-бок во всех столицах. Октябрьская революция действительно принесла нравственное и общественное очищение, чего не дала поныне ни одна религиозная или политическая реформа: ни христианство, ни реформация, ни Декларация прав человека и гражданина».

Эти патетические слова Барбюса были итогом его многогранной и беззаветной деятельности на благо всего человечества. Эти слова принадле-

жат выдающемуся французскому писателю, ярко выразившему здесь отношение своего народа к Советскому Союзу и его гениальному руководителю.

Ромэн Роллан, друг Советской России с первых дней ее существования, всегда мужественно защищал страну нового мира и, несомненно, много сделал для того, чтобы французский народ узнал о ней правду. Великий гуманист, всю свою жизнь посвятивший исканию счастья человечества, связал самые высокие свои чаяния с Советским Союзом. В замечательной статье «На защиту мира» он так выразил свое отношение к СССР: «Я знаю, что Советский Союз является самой мощной гарантией социального прогресса и что человеческое счастье находится под его защитой. Я знаю, что это—наша живая крепость и что, если бы эта крепость пала, погибла бы надежда всего мира и наш Запад не нашел бы в своих венах достаточно крови, чтобы дать отпор сапогам беспощадной реакции и собственному отчаянию. Я знаю, что мир оказался бы вновь,—неизвестно на сколько столетий,—под гнетом порабощения и был бы залит волной грязи и крови».

Судьба мировой культуры, судьба всего человечества неотделима от успехов и побед страны социализма. Эту мысль Роллан развивает с огромной убедительностью в своих выступлениях, всегда получающих широчайший резонанс.

В ряде произведений последнего времени—«Прощание с прошлым» (1931), «Панорама» (1935)—великий писатель показывает, какое глубочайшее влияние оказала на его развитие Великая Октябрьская Социалистическая революция, как она помогла ему стать подлинным выразителем интересов французского народа, как она вдохнула в него новые творческие силы. Роллан подчеркивает все более крепнущие связи его творчества с советской культурой, в частности, он говорит с большим волнением о своей духовной близости с великим мастером социалистической культуры Горьким, в котором он справедливо видит самое полное и целостное выражение расцвета культуры в Советском Союзе.

В трогательном «Привете Горькому» Роллан пишет: «Почва кругом меня была истощена и иссушена. Но я протянул свои корни и достиг подпочвы Европы, плодородных пластов русского народа, необъятной жизни, пробужденной в глубинах СССР. Как раз в конце этой подземной работы мои корни встретились с корнями Горького, и они братски сплелись с ними».

Трудно представить себе более мощный и яркий образ, в котором выразились бы содружество и связь культур двух великих народов Европы.

В день своего семидесятилетия Роллан послал «своим советским друзьям» обращение, в котором он говорит о прямой связи стремлений всего своего творчества с грандиозной стройкой нового мира в Советской стране: «Здесь нашли свое осуществление мечты моего искусства, надежды моей жизни, дух Жан-Кристофа и Кола Брюньона».

Летом 1935 г. Роллан посетил Советский Союз. Он был гостем Горького, с которым его связывали многолетняя дружба и глубочайшая близость двух великих художников, пути которых сошлись. Ромэн Роллан говорит о том, что в Советской стране он увидел осуществленным и завоеванным все то, о чем он мечтал всю свою жизнь, все, к чему он страстно стремился, к чему он пытался вести своих героев.

Ромэн Роллан беседовал с товарищем Сталиным, и эта историческая встреча великого французского писателя с великим вождем народов Советского Союза является незабываемой датой сближения культуры Франции с СССР.

Ромэн Роллан нашел поразительные слова для того, чтобы передать переполнившее его ощущение близости, кровного родства его с советской действительностью. В письме к товарищу Сталину, накануне своего отъезда из Москвы, Роллан писал: «Я уезжаю с подлинным убеждением в том, что я и предчувствовал, приезжая сюда: что единственно настоящий мировой прогресс неотделимо связан с судьбами СССР, что СССР является пламенным очагом пролетарского Интернационала, которым должно стать и которым будет все человечество, что обязательным долгом во всех странах является защита его против всех врагов, угрожающих его подъему. От этого долга,—Вы это знаете, дорогой товарищ,—я никогда не отступал, не отступлю никогда, до тех пор, пока буду жить».

В этих словах—весь Роллан с его огненным энтузиазмом, с его кристальной чистотой, с его непоколебимой верой в торжество лучших идеалов человечества.

В своем художественном творчестве Роллан очень ярко и характерно выразил свое отношение к СССР. В последней части своего монументального произведения «Очарованная душа», в книге «Роды», дан патетический и величественный образ СССР. Показывая современную Европу, раздираемую фашистскими агрессорами, Европу, над которой нависли черные тучи близкой войны, Роллан показывает, как пред лицом страшной угрозы пробуждаются живые силы народов Европы, как устанавливается крепкий союз между мастерами культуры и народом. Роллан дает в ярких художественных образах представление о том, какие глубокие перемены произошли в сознании лучших людей западной интеллигенции, как вовлекаются они в активную борьбу против фашизма, как крепнет их связь с народными массами, как возникает новый тип мастера культуры на Западе. Этот новый мастер культуры отбрасывает опутывающие его предрассудки буржуазного гуманизма и становится в ряды борцов против фашистского варварства.

Величественный пример СССР вдохновляет демократии Европы в их вооружении против фашизма. Образ СССР стоит перед взором современных гуманистов, борцов за спасение культуры. Аннета Ривьер и ее сын Марк, Бруно Кьяренца, Жюльен Дюмон—все эти герои «Очарованной души» являются активными участниками антифашистского движения западной интеллигенции. Все они—энтузиасты СССР. Для всех них СССР есть высшая надежда. Сквозь всю книгу «Роды» проходит возвышающийся над всем образ великой страны социализма, раскрытый с огромной взволнованностью и силой.

Так в произведениях лучших французских писателей выражено отношение французского народа к Советскому Союзу. В этих произведениях ярко и убедительно показано, что́ теснейшим образом связывает народы Франции и Советского Союза, что́ является крепким фундаментом их дружбы. Перед угрозой фашистского наступления, перед угрозой новой мировой войны, пожар которой уже разжигают коричневые, черные и иные фашистские империи, эта дружба приобретает особое значение.

Дело идет о защите всех завоеваний человеческой культуры, дело идет о будущем человечества.

Франция народного фронта является в современной Европе передовой страной демократии. Франция Вольтера, Дидро, Гюго, Золя, Франция со славным революционным прошлым ее народа должна стать барьером против фашизма. Не надо разъяснять, как эта историческая ситуация способствует углублению культурной, духовной связи Франции и Советского Союза. Путь, указанный Франсом, Ролланом, Барбюсом,—это путь жизненных интересов французского народа, путь борьбы за культуру, путь защиты ее от фашистского варварства.

В свете этой огромной исторической задачи ясны преступления французских реакционеров, профашистов, врагов Франции, стремящихся расколоть народный фронт и ослабить мощь, которую Франция может противопоставить фашистской агрессии. Литераторы этого направления, естественно, пытаются самыми грязными приемами поколебать авторитет Советского Союза. Печальным и комическим эпизодом был приезд в СССР старого декадента и эстета Андре Жида, пожелавшего, в поисках новых сильных ощущений, стать «революционным писателем» и опозорившего себя книгой, о которой затруднительно сказать, чем она более замечательна—цинизмом своего лицемерия или бездарностью своих мыслей. В озлобленного инсинуатора, поставщика антисоветской клеветы превратился Доржелес—некогда французский писатель, а теперь агент де Ла Рока. Луи Селин, с головой погрузившийся в зловонное болото буржуазного разложения, предпринимает попытку выдать свою нечистую, как всегда, фантазию за советскую действительность. Все это не достойные Франции книги. Но удельный вес подобных выступлений, раздуваемых продажной фашистской печатью, ничтожен, и вздорность всей этой клеветы ясна каждому честно мыслящему человеку.

Французские писатели, идущие с народным фронтом,—а эти писатели составляют цвет современной французской литературы,—являются подлинными гуманистами и активными деятелями антифашистского движения. Верные сыны своего народа, достойные наследники великого прошлого французской культуры, они являются друзьями Советского Союза, ибо это—страна цветущей культуры, страна счастья, страна, которая даст сокрушительный отпор фашистской агрессии. Можно с удовлетворением сказать, что ряды передовых писателей, воплощающих в себе достоинство Франции, расширяются и крепнут. Об этом свидетельствует недавно опубликованное французской печатью «Соглашение писателей о единстве», под которым стоят имена не только Арагона, Мальро, Шамсона, Жюля Ромена, но и Франсуа Мориака, Анри де Монтерлана, Шлюмберже и целого ряда других выдающихся французских писателей, до сих пор остававшихся в стороне от антифашистской борьбы.

ЭТЬЕН ЛЕБЛАН ПОДНОСИТ РУКОПИСЬ СВОЕГО ПЕРЕВОДА РЕЧЕЙ ЦИЦЕРОНА БАРОНУ МОНМОРАНСИ

Миниатюра неизвестного художника из французской рукописи „Quatre oraisons de Cicéron", 1526—1538 гг.

Публичная библиотека, Ленинград

СТАТЬИ И МАТЕРИАЛЫ

НАСЛЕДИЕ ВОЛЬТЕРА В СССР

Статья и публикация В. Люблинского*

Двоякая задача стоит перед советским литературоведением в отношении изучения Вольтера.

С одной стороны, слишком незначительно то внимание, которое уделялось этому автору за последние годы, по сравнению с другими большими именами французской литературы. В общем фонде классического наследия образ Вольтера, созданный буржуазной историографией и историей литературы, оказался поэтому воспринятым слишком механически. Иначе говоря, первой и методологически важнейшей задачей должно явиться критическое изучение итогов буржуазной науки в оценке позиции, роли и значения Вольтера.

С другой стороны, слишком обширны коллекции, ответственность за разработку которых ложится, в первую очередь, на советских исследователей. В архивных собраниях СССР находится весьма значительная часть материалов для изучения творчества и биографии Вольтера. Без предварительного освоения этих богатейших фондов собраний нельзя говорить в наши дни о подлинно научном изучении Вольтера, о подлинно исследовательском подходе к любым вольтеровским темам. В соответствии с этим вторая, ближайшая задача состоит в раскрытии советского вольтеровского фонда для литературной науки. Частичному разрешению этой второй задачи и посвящена настоящая работа.

Русские материалы по Вольтеру, несомненно,—один из самых необследованных и самых неразработанных участков вольтероведения. Современная наука имеет право рассматривать эти материалы почти как вновь открытые—настолько слаба, если не чисто номинальна, их связь с общим руслом исследований, даже специально вольтероведческих. Покинув Францию в период живейшего интереса русского образованного общества к учению фернейского вольнодумца, т. е. еще задолго до начала критического и систематического изучения Вольтера даже на его родине, материалы эти в России почти автоматически оказались изолированными от исследователя. Такова была участь не только тех писем, которые входили в частные собрания, но и главного ядра, основного материала по Вольтеру—книг и рукописей его библиотеки, приобретенной Екатериной II.

Чем бы субъективно ни определялись причины появления вольтеровского наследия в Петербурге, а затем и мотивы омертвления его здесь, объективный результат этого свелся к тому, что русская буржуазная наука прошла мимо этого памятника, а французская довольствовалась

* Вторая глава включает работу Н. Платоновой. Переводы публикуемых текстов Вольтера выполнены: стихотворных—М. Таловым, прозаических—М. Неведомским.

крайне неполными о нем сведениями и легко мирилась с вредной традицией игнорирования русских источников.

При огромном общем интересе к Вольтеру в России—стране, где, в силу ряда исторических причин ее социально-политического и культурного развития, «вольтерианство» сыграло совершенно исключительную роль, более глубокую и длительную, чем где бы то ни было,—официальная наука, в лице дворянских и буржуазных историков, не раз грешила поразительным неведением в отношении именно русских материалов о Вольтере.

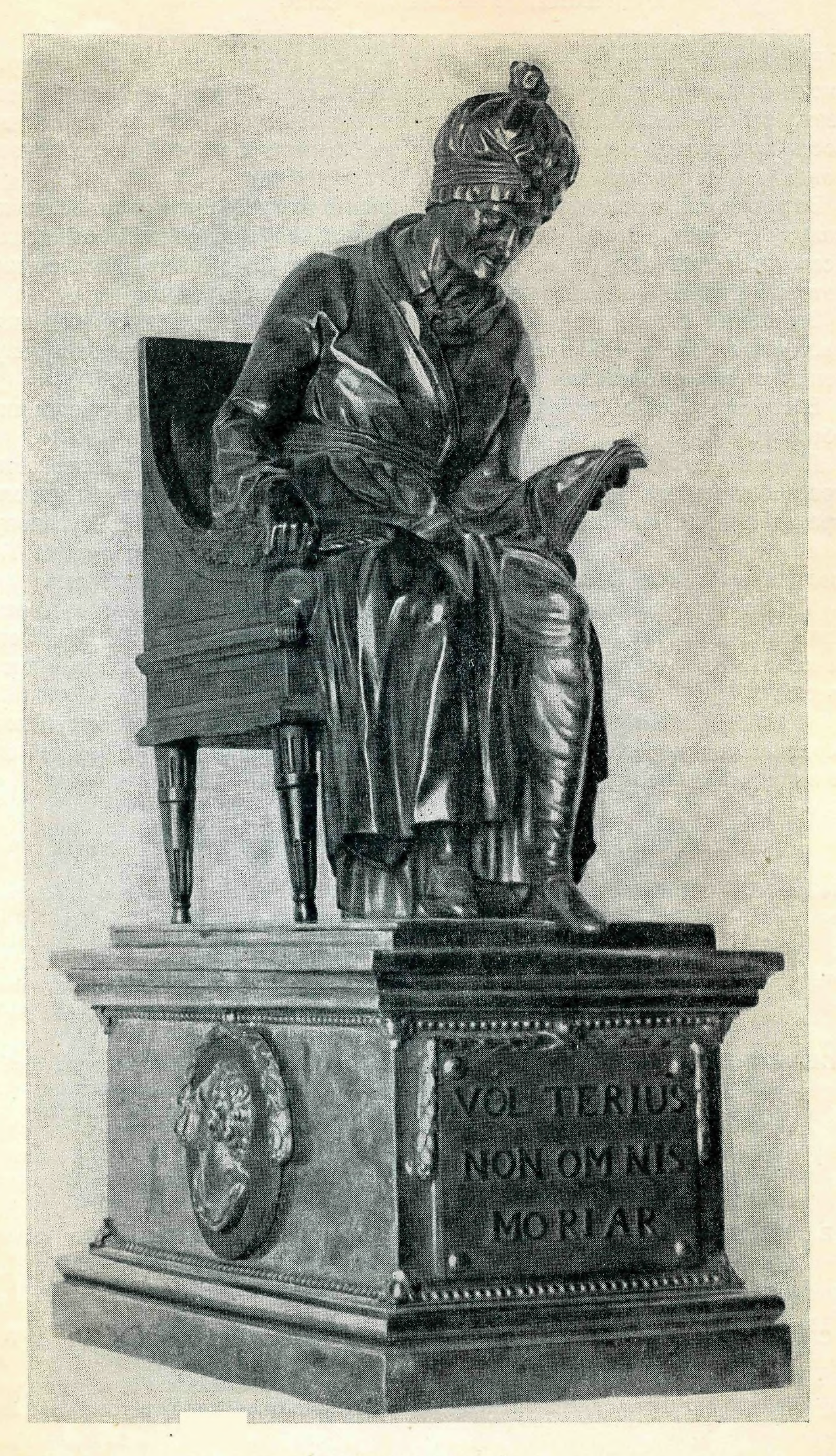
Чтобы не быть голословным, приведем примеры, которым, как кажется, нельзя отказать в убедительности. В основном капитальном руководстве по русской историографии—в «Опыте» В. С. Иконникова, где обстоятельно перечислено и описано множество частных архивов и второстепенных собраний документов для русской истории, библиотеке Вольтера, с ее богатой рукописной частью, в которой, не говоря о прочем, имеется пять больших томов с 120 документами, специально относящимися к истории России в эпоху Петра Первого, уделено буквально шесть слов, причем в 1891 г., т. е. через 30 лет после перевозки в Публичную библиотеку, она попрежнему у заслуженного историографа числится в Эрмитаже (В. С. Иконников, Опыт русской историографии, т. I, Киев, 1891, отдел V, гл. V, стр. 772; см. также стр. 781—841).

Еще более разительный пример дает Устрялов—историк Петра Первого par excellence. В 1858 г. он сокрушался о безвозвратной утере для науки ценных материалов, сообщенных в свое время Шуваловым Вольтеру, тогда как все эти материалы благополучно хранились в Петербурге (Н. Г. Устрялов, История царствования Петра Великого, СПБ. 1858—1863, т. I, предисловие, стр. XI).

Если, таким образом, старое русское литературоведение оказалось совершенно беспомощным даже в отношении сколько-нибудь удовлетворительной осведомленности об основном русском собрании вольтеровских рукописей, то немногим выше показала себя здесь и западно-европейская буржуазная наука. Русскими материалами по Вольтеру французские исследователи занимались совершенно недостаточно. Обращения в Петербург носили единичный характер и не были, как правило, длительными и систематическими. Ценнейшее петербургское собрание ничтожно используется даже в такие моменты, как подготовка в конце 70-х—начале 80-х годов XIX в. нового научного издания текстов Вольтера—полного собрания его сочинений под редакцией Луи Молана (Moland).

Еще хуже обстоит дело с использованием и учетом всех иных, достаточно многочисленных, русских материалов по Вольтеру, не входящих в состав основного собрания, т. е. библиотеки Вольтера.

В нашей публикации будет достаточно примеров относительно хранящихся или хранившихся в России и отчасти даже опубликованных частей вольтеровской переписки, не нашедших своевременного отражения в соответствующих французских работах и изданиях. Здесь не приходится говорить о недостатке интереса, и отсутствие исследовательского контакта следует, прежде всего, объяснять вредной традицией—господством пережиточного принципа «Rossica non leguntur». При таком положении дела совершенно неизбежным оказалось наличие большого количества промахов, ошибок и всякого рода курьезов, сопровождающих значительную часть комментариев, относящихся к России, даже у наиболее авторитетных исследователей.



ВОЛЬТЕР ЗА РАБОТОЙ
Статуэтка неизвестного мастера, бронза, 1760-е гг.
Эрмитаж, Ленинград

В своих ценных замечаниях (1912 г.) на молановское издание переписки Вольтера известный литературовед Шарль Шарро (Charrot) особенно заострил внимание международного вольтероведения на необходимости приступить к систематическому пополнению и уточнению изданного фонда вольтеровской переписки.

Возможность откликнуться на этот призыв русская литературная наука получила лишь после Октябрьской революции, открывшей советским исследователям доступ ко многим архивам и собраниям, пользование которыми ранее было затруднено, а то и просто невозможно.

Выполняя старый долг русской науки в отношении вольтероведения, настоящая работа, естественно, кладет лишь начало систематическому изучению и использованию советских материалов по Вольтеру.

В соответствии с поставленными задачами, работа строится следующим образом.

Первая глава посвящена публикации двух неизданных автографов Вольтера чисто литературного содержания: раннего варианта трагедии «Дон Педро» и посвящения трагедии «Олимпии» И. И. Шувалову.

Вторая глава отведена описанию и публикации сборника 178 подлинных писем Вольтера к семье Даржанталь—Пон де Вейль.

Третья глава содержит публикацию писем Вольтера к различным адресатам, а также двух неизданных писем (И. И. Шувалова и химика Элло), адресованных Вольтеру и связанных с его русскими интересами.

Четвертая глава дает общий обзор вольтеровских материалов, хранящихся в различных собраниях СССР, в том числе и в личной библиотеке Вольтера.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ПРИМЕЧАНИЯХ

MOLAND — Œuvres complètes de Voltaire, Nouvelle édition,... conforme pour le texte à l'édition de Beuchot, enrichie de découvertes les plus récentes etc. Paris, Garnier frères, 1877—1885, 52 тома. Это издание, выполненное Louis Moland, положено в основу всех ссылок на тексты Вольтера в настоящей публикации и цитируется в дальнейшем Moland с последующим номером тома, напр., Moland, XLV, 211.

DESNOIRESTERRES — Gustave Desnoiresterres, Voltaire et la Société française au XVIII siècle. 8 томов, Paris, 2-e éd., 1877 (иногда цитируется по первому изданию). Отдельные тома, носящие самостоятельные заглавия: I. La jeunesse de Voltaire, II. Voltaire à Cirey, III. Voltaire à la Cour, IV. Voltaire et Frédéric, V. Voltaire à Délices, VI. Voltaire et J.-J. Rousseau, VII. Voltaire et Genève и VIII. Le retour et la mort, цитируются сокращенно, напр., Desnoiresterres, II.

BENGESCO — Georges Bengesco, Voltaire. Bibliographie de ses œuvres. Paris. Tome I—1882—1885, t. II—1885, t. III—1889, t. IV—1890. За номером тома и страницей следует номер по общей нумерации библиографии Банжеско, напр., Bengesco, IV, 226, № 2208.

CHARROT — Charles Charrot, Quelques notes sur la correspondance de Voltaire. «Revue d'histoire littéraire de la France», XIX (1912) и XX (1913); цитируются в дальнейшем Charrot с добавлением года, при традиционном обозначении журнала (RHL), напр., Charrot, RHL, 1912, 661.

I. РАННИЙ ФРАГМЕНТ ТРАГЕДИИ «ДОН ПЕДРО» И ПОСВЯЩЕНИЕ ТРАГЕДИИ «ОЛИМПИЯ» И. И. ШУВАЛОВУ*

В IX томе (in folio) рукописей Вольтера, входящих в состав его библиотеки, хранящейся в Ленинграде, среди ряда разнообразных набросков, копий заметок и выписок из писем за время с 1726 по 1778 гг. имеются две рукописи большого историко-литературного интереса. Они занимают первые (от 2-го до 10-го) листы этого тома. По внешнему их виду и особенно по манере письма можно заключить, что они являются спешными, мало правленными черновиками.

Обе рукописи являются несомненными автографами Вольтера. Обе они не датированы и не имеют заглавия. Первая рукопись представляет набросок первой сцены первого акта какой-то трагедии в стихах, в которой действующими лицами являются Дон Педро, король Кастилии, и Элеонора Гусман. На рукописи есть пометка, сделанная рукой секретаря Вольтера, Ваньера: «Набросок г. Вольтера» («Esquisse par M-r de Voltaire»).

На второй рукописи имеется сделанная уже после ее написания, но рукой самого Вольтера, надпись: «г. Шувалову». Эта рукопись представляет собой рассуждение об искусстве трагедии в форме письма, в начале которого сообщается о посвящении адресату автором его новой трагедии. По содержанию, композиции и стилю письмо это нужно признать черновиком одного из тех посвящений, какими Вольтер имел обыкновение снабжать свои трагедии. Заглавие посвящаемой адресату трагедии, согласно обыкновению Вольтера, в письме не названо.

В «Инвентаре», составленном в 1914 г. приезжавшим в Россию французским литературоведом Фернаном Косси, рукописи обозначены: первая—как «Сцена из трагедии Дон Педро», а вторая—как «Посвящение трагедии Олимпия Шувалову»[1].

Анализ обоих документов, а также относящейся к ним переписки Вольтера вполне подтверждает сделанные Косси указания. Что касается датировки этих документов, то оба они должны быть отнесены, как будет показано ниже, ко второй половине 1761 г. Из писем Вольтера этого периода было известно о его намерении посвятить трагедию «Олимпия» Шувалову[2], но она вышла в свет и всегда переиздавалась без посвящения, и об участи этого проекта биографам Вольтера ничего не было известно. Не была известна и зафиксированная в ленинградской рукописи сцена из «Дон Педро», весьма сильно отличающаяся от традиционного окончательного текста этой трагедии.

Итак, обе публикуемые нами рукописи являются текстами совершенно новыми, нигде не напечатанными. Их опубликование представляет не только тот интерес, какой имеет всякое пополнение литературного наследия Вольтера. Оно важно также и по существу, потому что дает новый материал по вопросу о взглядах Вольтера на драматургию и сценическое искусство. Анализ обоих документов и выяснение истории их возникновения покажут их тесную связь с основными темами творческих исканий и критических размышлений Вольтера в указанной области. Что же касается, в частности, второго документа — посвящения трагедии «Олимпия»,

---

* В редактировании первой главы принял участие проф. С. С. Мокульский.—*Ред.*

то внимательный анализ его текста покажет неожиданную близость его к памфлету Вольтера «Апелляция ко всем нациям Европы» («Appel à toutes les nations de l'Europe»).

Специфичность именно данного этапа в истории театральных исканий Вольтера может быть установлена только путем тщательного сопоставления публикуемых текстов со всей его драматургической теорией и практикой, а также с аналогичными высказываниями его современников. При этом необходимо учесть все значение сознательного эксперимента, заключенного и в необычной манере стихосложения публикуемой сцены из «Дон Педро», и в мизансцене трагедии «Олимпия», и в своеобразной авторской ремарке к пятому акту этой трагедии, и, наконец, в перекликающемся с нею публикуемом нами «Посвящении», а также взвесить исключительную ценность высказываний Вольтера о Шекспире именно в данной связи. Наконец, путем текстологического сличения проекта «Посвящения» с названным выше памфлетом должно быть показано их генетическое сродство.

Развернутое освещение всех проблем, связанных с намеченным нами изучением публикуемых текстов, конечно, далеко выходит за рамки собственно публикации. Потому мы ограничимся здесь приведением лишь основных фактов, необходимых для понимания этих текстов.

Ныне Вольтер не только у нас сошел с театральных подмостков, но почти совершенно не ставится даже у себя на родине. Однако, в XVIII в. каждая новая пьеса его являлась событием. По мнению самого Вольтера и его современников, именно драматургия должна была обессмертить его. И, действительно, в роли трагического поэта Вольтер стяжал господство над умами всей Европы уже задолго до того, как он создал себе огромный политический авторитет своей неутомимой борьбой с идеологией и аппаратом католической церкви и феодальной монархии.

Никогда и нигде увлечение театром не было так велико, как во Франции XVIII века. Это увлечение охватывало как изживавшую себя феодальную знать, так и высококультурную буржуазную интеллигенцию. Всякий уважающий себя парижский барин имел в то время ложу в опере, а всякая знатная парижанка приезжала на бал или на ужин из театра. Точно так же и в замках вне Парижа ни одно более или менее длительное собрание гостей не обходилось без спектаклей, даваемых либо специально приглашенными артистами, либо самими гостями, выступавшими в качестве любителей. Театральное любительство достигло в XVIII в. совершенно исключительных размеров. По словам современника, в конце XVIII в. «не было ни одного прокурора, который не хотел бы иметь на своей даче подмостки и труппу актеров»[3].

Увлечение широких общественных кругов Франции XVIII в. театром было обусловлено той громадной ролью, которую театр играл в политической и культурной жизни страны, являясь мощным орудием просветительской пропаганды. Поэтому вся эта эпоха характеризуется бурным кипением театральной жизни. Борьба вновь возникающих ярмарочных и бульварных театров с монопольной королевской труппой Французской комедии; небывалый расцвет интриг, поощряемый новой общественной силой—журналистикой, соперничество авторов и актеров, блеск постановок и, наряду с этим, неслыханные прежде строгости цензуры и полная зависимость театра Французской комедии от камергеров двора, распоряжавшихся им, как своим доменом; властные требования реформы и гнет несокрушимых традиций[4]—таковы некоторые особенности театраль-

Esquisse par Mr De Voltaire

acte premier 2

Scene 1ere

Don Pedro Roy de Castille

eleonore de Gusmane

Eleonore

non ce fatal amour ne sera plus le maitre

~~non~~ mon cœur ne le peut ~~souffrir~~ supporter.

il m'en a couté trop, il va trop m'en couter

ah j'aurais du vous mieux connaitre

je renonce a vous Sire, et je dois vous quitter.

Don P

si de ce nom ~~cruel~~ vous me nommez encore

je vois que nos nœuds sont rompus.

ah nommez moy don Pedre, ingrate Leonore

le Roy s'est oublié, don Pedre vous adore

tout coupable qu'il est il cherit vos vertus

mes ennemis me persecutent

je vois mes sujets révoltez.

les anglais meme se rebuttent

de mes ~~dures~~ longues adversitez

tout m'irrite ou me fuit, vous seule me restez

Vous seule adoucissez cette affreuse amertume

Vous consolez ce cœur que le chagrin consume

Vous calmiez mes sens agitez

sans vous cette main meme eut puni transtamare

АВТОГРАФ НАБРОСКА ИЗ ТРАГЕДИИ „ДОН ПЕДРО“ ВОЛЬТЕРА

Лист 2 тома IX рукописей библиотеки Вольтера

Публичная библиотека, Ленинград

ной жизни Парижа в эпоху, предшествовавшую Великой буржуазной революции конца XVIII в.,—в годы, отмеченные разложением аристократического классицизма XVII в. и формированием новых драматургических жанров (слезной комедии, мещанской драмы и др.), выражавших идеологию поднимающегося третьего сословия.

Через всю долгую жизнь Вольтера, через всю его многотомную переписку красной нитью проходит его интерес к мелким подробностям парижской театральной жизни, хотя в то же время он не устает то и дело порицать этот «кабак» и «банду». Влечение и близость к театру не были у Вольтера только данью моде. Они были в самом темпераменте этого человека, питавшего поистине страстную любовь к театру. Сам горячий и талантливый актер-любитель, которому были близки и понятны все переживания актера на сцене, Вольтер своей интуицией художника и театрала умел угадывать сценические дарования и вывел в артисты ряд действительно одаренных людей, начиная со знаменитого Лекэна[5].

Во все периоды своей жизни Вольтер отдавал открытое предпочтение театру перед всеми прочими своими делами и трудами. Как писатель, он был прежде всего драматургом, а затем уже лирическим и эпическим поэтом, романистом, историком и философом. Свою обширную и многогранную деятельность Вольтер начал и закончил созданием драматических произведений. Его первым крупным литературным успехом была трагедия «Эдип» (1718), его последним триумфом была тоже трагедия— «Ирена» (1778). В промежутке между обеими этими датами Вольтер написал на протяжении шестидесяти лет 52 пьесы, в том числе 27 трагедий, т. е. на шесть трагедий больше Корнеля, который был, в отличие от Вольтера, только драматургом (Корнель написал 33 пьесы, в том числе 21 трагедию).

Сочинению трагедии Вольтер, по собственному его признанию, отдавался «всей душой». Он не имел обыкновения долго вынашивать в себе сюжет трагедии, как это делал, например, Расин. Обычно он сочинял трагедию быстро, почти за один присест. Но, создав целую трагедию в несколько дней (так, «Олимпия» была написана в течение шести дней), Вольтер мог затем долгие месяцы и годы неутомимо трудиться над ее отделкой, внимательно прислушиваясь к голосу критики, к мнению публики и друзей. Он считал, что творчество драматурга «требует глубочайшей сосредоточенности, живейшего энтузиазма и самого послушного терпения»[6]. Бескорыстно служа театру, Вольтер обладал, однако, болезненным авторским самолюбием. Он испытывал страстный, почти болезненный интерес к мнению публики, хотя порой сам третировал эту публику, как «варваров», неспособных понять произведение поэта[7]. В то же время он умел горячо увлекаться спектаклем, восторженно, до слез восхищаясь игрой актеров и приписывая им львиную долю успеха его собственных пьес.

Сам Вольтер охотно выступал на сцене: и в молодые годы, на премьере своего первенца «Эдипа», когда, затесавшись в толпу артистов, он нес шлейф жреца; и при дворе полуопальной герцогини Менской; и позднее, в роли Цицерона, на подмостках любительского театра в своей парижской квартире на улице Траверсиер и, наконец, в своих имениях Делис, Турне и Ферне. Появление Вольтера всегда сопровождалось оживлением театральной жизни. В Париже он заводит частный любительский театр. Стоит ему посетить пфальцграфа Карла-Теодора в 1753 г.—и в Шветцингене ставятся сразу четыре его трагедии[8]. Когда он проводит зиму

в Лозанне,—тотчас местные любители сплачиваются около него, осуществляя целую серию постановок сразу на двух сценах: на дому у самого Вольтера и в Монрепо у маркизы де Жанти[9]. Обосновавшись в окрестностях Женевы, Вольтер сразу начинает кампанию против фанатического отрицания театра в строгом «кальвиновом граде», наживая себе этим врагов среди местного духовенства. Ж.-Ж. Руссо, в свою очередь, не мог простить Вольтеру того, что тот своим театральным «соблазном» способствовал порче добрых нравов граждан Женевы; солидаризируясь в этом с духовенством, «гражданин Женевы» начинает полемику с владельцем Ферне и, переступая всякую меру, доходит даже до политически-полицейского доноса на Вольтера.

Отношение Вольтера к спектаклю всегда было двойственным. Твердо веря в воспитательное воздействие театра на зрителя и потому неизменно делая его орудием пропаганды просветительских идей, Вольтер в то же время подходил к спектаклю также и с чисто эстетической меркой, как к зрелищу и празднеству. «Я все же предпочитаю, чтобы повредились нравы публики, чем чтобы повредился ее вкус»,—говорил он в молодости[10]. Но такой подчеркнутый эстетический подход никогда не мешал Вольтеру выдвигать на первое место идейное содержание как своих собственных пьес, так и произведений его современников. Среди множества его высказываний по этому вопросу выделим особенно письмо Вольтера к итальянскому драматургу Альбергати-Капачелли от 23 декабря 1760 г.[11].

Будучи третьим великим французским драматургом классического стиля, Вольтер являлся, в сущности, лишь продолжателем дела Корнеля и Расина, прилагавшим к построению трагедии старые эстетические нормы. Но, при всем том, он очень остро ощущал тот кризис застоя, в который завела французскую трагедию деятельность эпигонов Корнеля и Расина, царивших на французской сцене в первую половину XVIII века.

Уже от раннего периода драматургической деятельности Вольтера сохранились красноречивые высказывания его по этому вопросу. Сюда относится, например, его первое «Рассуждение о трагедии» (1730), в котором Вольтер протестует против рабского ига рифмы, считавшейся обязательной в стихосложении классической трагедии. Сюда же относится запись Вольтера на 116-м листе V тома его рукописей, известного под наименованием «S o t t i s i e r». Запись эта, носящая пометку «Dans l'épître dédicatoire», относится, повидимому, к началу 30-х годов, когда Вольтер писал посвящение «Заиры» английскому негоцианту Фалькенеру. Вот ее текст: «Мольер, Расин, Корнель в своих пьесах поучали французов. То, что они говорили, тогда не было еще известно. Сейчас же, как ни стараются, говорят лишь такое, что всем уже известно»[12]. Несмотря на это, Вольтер решительно выступал против новаторских попыток Удар де Ламотта, пытавшегося утвердить в трагедии прозаическую форму и даже покушавшегося на правило трех единств. Хлесткая отповедь Вольтера подчеркивала его нежелание «преобразовать регулярный строй государства по образу анархии»[13].

Соблазн английской свободы в драматургии, к которой Вольтер склонялся в предисловии к «Заире», остается платоническим. Революционером театра Вольтер так и не стал. Но новатором он все же себя считал и имел на то основания; так, например, смелым вызовом, непонятным ни публике,

ни массе актеров, была его попытка создать трагедию без любовной интриги («Эдип», «Смерть Цезаря», «Меропа», «Семирамида», «Спасенный Рим»). По мнению Вольтера, от этой трагедии без амплуа любовников и любовниц можно получить «истинное наслаждение, не знакомое нашим надушенным французам». И если, несмотря на это, Вольтер все же часто дает образцы обычных для его времени любовных трагедий, то поступает он так из снисхождения «к парижским детям», которым в известный момент он считает нужным предоставить «остаток своего варенья»[14].

Свой отказ от осложнения действия побочной любовной интригой Вольтер объясняет требованиями простоты и естественности, соображениями психологическими. По его мнению, не только хороший вкус, но и сама «природа» не допускает того, чтобы герой, обуреваемый честолюбием, патриотизмом, религиозным фанатизмом, местью или другими страстями, был в то же время доступен другим помыслам или чувствам. Сколь ни наивно это противопоставление, оно вполне гармонирует с основными требованиями Вольтера: исходить из естественного, правдоподобного, согласного с природой (naturel). По той же причине Вольтер не выносит напыщенности слога, ходульной декламации: «Я не в силах более терпеть напыщенность, неестественное величие»,—восклицает он в письме 1765 г. к аббату Вуазенону[15].

Кроме того, Вольтер требует от драматического произведения, чтобы оно было «чувствительным». Это второе требование неразрывно связано с первым, с требованием правдивости и естественности как самой пьесы, так и ее актерского исполнения. «Чего стоит трагедия,—восклицает Вольтер,—если она не заставляет плакать?»[16]. Эти слезы — высшее выражение того захвата, того потрясения зрителя спектаклем, которые для Вольтера остаются истинным мерилом талантливости автора трагедии, точно так же, как слезы у актера являются верным признаком того, что он понял свою роль и достоин ее. Немало воззрений Вольтера эволюционировало на протяжении его долгого писательского пути; но, при всех изменениях творческих установок Вольтера, он в течение всей своей жизни оставался верен этому критерию, сближающему его с новой поэтикой сентиментализма, и современники считали Вольтера подлинно чувствительным автором. Даламбер высказывал общее мнение, когда писал ему: «Корнель диссертирует, Расин беседует, а вы волнуете сердца»[17].

Наконец, каково было объективное значение таких явлений, как усердный труд по комментированию Корнеля, с одной стороны, и с другой—столь частые использования сюжетов других трагических поэтов с целью переработки этих сюжетов до совершенства? Если отвлечься от субъективной поверхности явлений (вроде пиэтета в одном случае и соперничества в другом), то истинный смысл всех этих переделок опытов Кребильона, Беллуа и других сведется именно к исканию предельных возможностей, заложенных в традиционной классической поэтике, а смысл «Комментария на творения Корнеля» раскроется именно, как ревизия ходячих взглядов, как пересмотр систематический и смелый, несмотря на отсутствие принципиально новых точек зрения.

Здесь не место вдаваться в детальную периодизацию волновавших Вольтера вопросов теории драмы и практики театра. Важным источником для уяснения суждений Вольтера по этим вопросам являются те двадцать посвятительных посланий, которые Вольтер предпосылал пьесам, на успех коих он особенно рассчитывал; однако, лишь некоторые из этих посвящений

Изъ Книгъ К. Рылеева

МЕРОПА

ТРАГЕДІЯ.

господина

ВОЛТЕРА.

Переложена въ стихи изъ Русскія прозы

ВАСИЛЬЕМЪ МАЙКОВЫМЪ.

Въ Москвѣ

при государственной Военной коллегіи

1775 года.

РУССКОЕ ИЗДАНИЕ ТРАГЕДИИ „МЕРОПА“

Экземпляр из библиотеки К. Ф. Рылеева с его автографом

Частное собрание, Москва

заключают в себе прямые декларации или теоретические рассуждения Вольтера по вопросам театра. Кроме этих посвящений, суждения Вольтера по вопросам драмы и театра заключены в его «Комментарии к произведениям Корнеля», в отдельных статьях его «Философского словаря», в различных памфлетах и свидетельствах собеседников и, особенно, в переписке (притом, отнюдь не только за хронологически ближайший ко времени написания данной пьесы год).

Совокупность всего этого материала показывает, что именно самое начало 60-х годов—канун новой эпохи политической активности Вольтера, пробужденной процессом Каласа,—окрашено, среди вновь обретенного Вольтером фернейского покоя, особенно ярким расцветом его театральных интересов. Эти интересы никогда не отступали у Вольтера на задний план, но лишь редкие периоды в его жизни были столь сильно насыщены ими, как период возникновения публикуемых нами документов.

Чтобы установить то новое, что они вносят в уже известную картину, приведем сначала их тексты, а затем уже осветим некоторые детали.

Первые страницы публикуемой нами рукописи (листы 2—5) заняты отрывком из неназванной трагедии, которую уже Ф. Косси признал трагедией «Дон Педро».

Приводим текст этих страниц в оригинале и в стихотворном переводе М. Талова.

Л. 2

ESQUISSE PAR Mr DE VOLTAIRE*

ACTE PREMIER

SCENE I-ERE

Don Pedro Roy de Castille
Eleonore de Gusmane

E l e o n o r e

non ce fatal amour ne sera plus le maitre
(non) mon coeur ne l e** peut (résister) supporter.
il m'en a couté trop, il va trop m'en couter
ah jaurais du (m) vous mieux connaitre
je renonce a vous sire, et je dois vous quitter

D o n P [e d r e]

Si de ce nom (cruel) vous me nommez encore
je vois que nos noeuds sont rompus.
ah nommez moy don Pedre, ingrate Leonore
le Roy sest oublié, don Pedre vous adore
tout coupable quil est, il cherit vos vertus
mes ennemis me persecutent
je vois mes sujets révoltez.
les anglais meme se rebuttent
de mes (dures) l o n g u e s adversitez
tout m'irrite ou me fuit, vous seule me restez.
vous seule adoucissiez cette affreuse amertume
vous consoliez ce coeur que le chagrin consume
vous calmiez mes sens agitez
sans vous cette main meme eut puni transtamare
Оборот Sans vous je deviendrais barbare
je vais verser le sang, si vous ne m'arretez

E l e o n o r e

fautil vous combattre sans cesse?
don Pedre, vos emportements
ne sont point faits pour ma tendresse.
et plus mon coeur sent de faiblesse
plus je (hais) c r a i n s vos égarements.
avec mille vertus le ciel vous a fait naitre
vous corrompez ces dons, par vous meme trahi.
(et [?] on devait) o n v o u l a i t vous aimer, et vous etes haï.
on me hait avec vous, ces grands de la castille
au nom de tout l'état dans burgos assemblez,
pour unir s'il se peut votre triste famille
sont mes ennemis signalez.
mon malheureux amour est l'objet des murmures.
je (n'en [?]) (ne vois) n e v o i s que des yeux sombres et menaçants.

---

* Рукой Ваньера.
** В ломаные скобки заключены слова, зачеркнутые в воспроизводимом тексте. Набранное разрядкой надписано над строкой.

j'entends des citoiens éclatter en injures.
on croit sur votre cour mes conseils tout puissants,
que c'est moi dont la voix vous force a l'injustice;
quand je vous la reproche on m'en fait la complice.
la voix publi⟨e⟩que enfin de la cour me bannit.
tout mon crime est d'aimer, et c'est moi quon punit.

Л. 3 Don Pedre

qui sont ces insolents dont la voix téméraire
insulte eleonore et condamne mon choix?
j'imposerai silence aux clameurs du vulgaire,
a ces grands qui jugent les rois.
je hais tous les conseils qu'ils donnent;
ils se permettent tout, et jamais ne pardonnent,
ont plus d'orgeuil encor que de sevérité,
et sont jaloux surtout de mon autorité.
a ployer devant vous je forcerai leur haine
m'aimeriez vous encor?

Eleonore

vous le savez trop bien
et vous ne doutez pas d'un coeur tel que le mien

Don Pedre

eh bien montez au trone; eh bien, soyez leur reine.
que ces austeres ennemis
implorent les bontez de l'objet qu'ils condamnent
qu'ils prodiguent lencens a l'autel quils profanent
qu'ils soient a vos pieds comme moy;
Regnez Eleonore en acceptant ma foy

Eleonore

je ne le puis

Don pedre

o ciel quel étonnant langage?
Оборот vous ne pouvez regner, et vous pouvez maimer?
craignez vous mes malheurs? craignez vous le partage
d'un trone dangereux trop voisin du naufrage?
quand de mes ennemis je dédaigne la rage
pouvait elle vous allarmer?

Eleonore

⟨non ce serait encor une r⟩
non, vos malheurs seraient une chaine nouvelle
qui m'unirait a vous jusqua mon dernier jour

Don pedre

eh ⟨pour⟩ qui peut vous forcer cruelle,
a rejetter mon sceptre, a m'accabler?

Eleonore

L'amour.
⟨cet amour a rendu la castille jalouse⟩ ⟨l'amour votre interest
et lespagne. et les[?] français [illis.] jalousie[?]⟩
⟨et linjustice des mortels humains⟩
⟨nos feux sont un pretexte aux cris des malheureux⟩
⟨de votre triste amante on condamne les feux⟩ L'amour votre
interest. et lespagne jalouse
et linjustice des humains.
⟨ma te⟩ votre amante est coupable a leurs yeux inhumains
mais vous etes perdu si je suis votre épouse.

don Pedre

moy!

Eleonore

nous sommes en proye aux regards des mortels
de Blanche de bourbon la pompe funéraire
dans burgos, a mes yeux charge encor les autels.
on pleure votre femme, et pour ne vous rien taire
Л. 4 notre amour l'a mise au tombeau.
je ne soufrirai point que cet himen nouvau
insulte de si près a ⟨votre⟩ son heure derniere.
vous dirai-je encor plus? ⟨un indigne soupçon⟩ vous ⟨ose⟩
etes soupçonn⟨er⟩é
⟨que vous avez vous meme⟩ d'avoir avancé sa carriere.
⟨ce mensonge odieux remplit⟩ accusé par l⟨a⟩'europe entiere
⟨et si vous mepou⟩ tremblez d'en etre condamné.
⟨j⟩ ⟨n'en parlons plus⟩ je vous aime; ⟨et⟩ je sacrifie
⟨tous les sentiments de mon coeur⟩
ma tendre ma sincere ardeur,
au bien public a votre honneur
qui m'est plus cher que votre vie.

Don Pedre

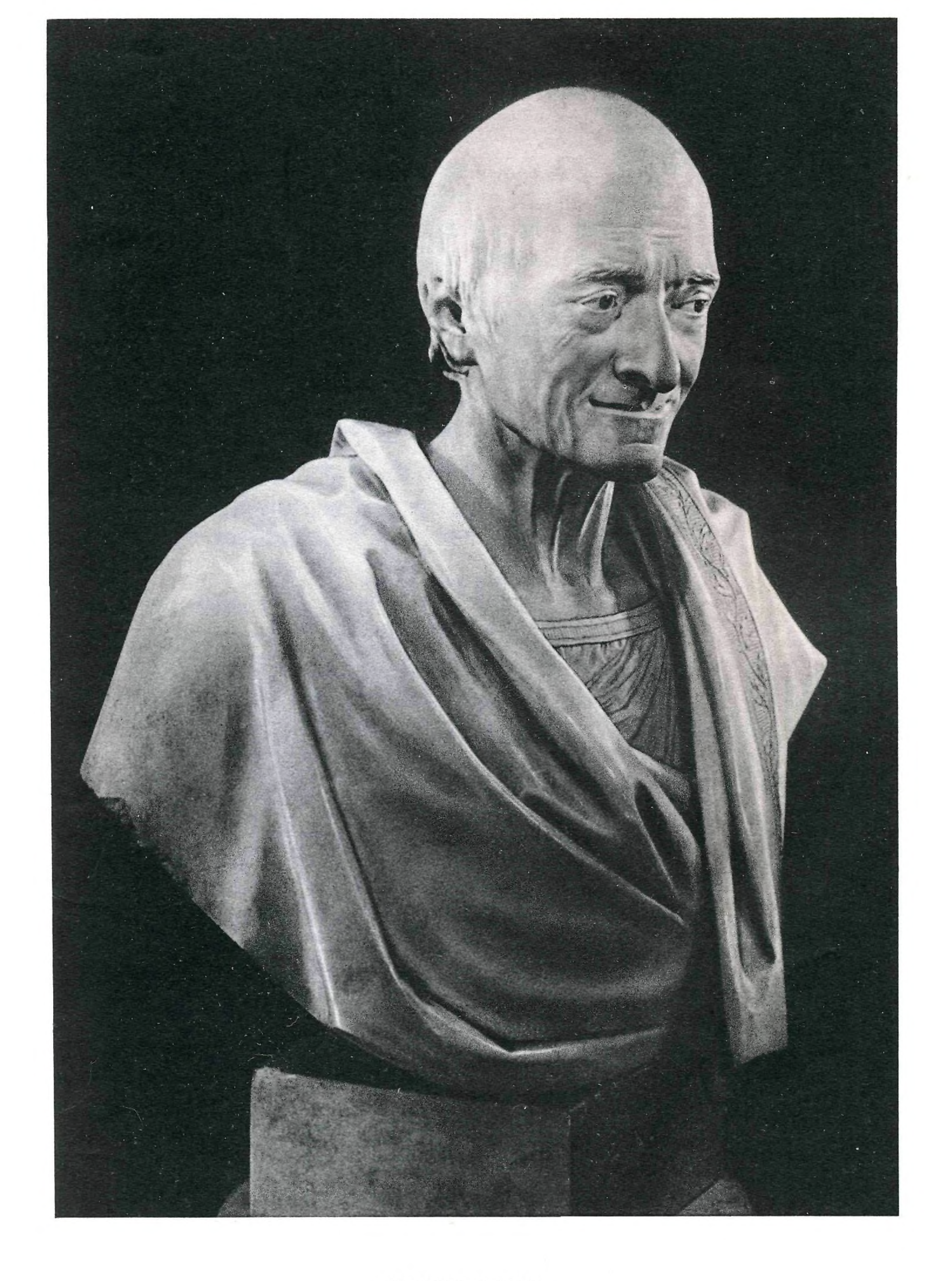
quoy des méchants lartifice imposteur
les cris honteux l'imfame calomnie
lemporteroient sur lamour qui nous lie?
et vous n'osez ecouter votre coeur?

Eleonore

je n'ecoute que luy, puisque je vous refuse.

don pedre

non votre ⟨coeur⟩ ⟨mem⟩ vertu vous abuse.
• eh pourquoy nous punir tout deux
de la perversité d'un monde qui m'accuse?
helas qu'un prince est malheureux? [sic!]
le plus vil des sujets dispose de luy meme
il vit selon son coeur. il se livre a son choix
Оборот ⟨sans crainte⟩ il coule en paix ses jours avec l'objet qu'il aime.
et moy superbe esclave en ma grandeur supreme,



ВОЛЬТЕР В ТОГЕ
Работа Гудона. Мрамор, 1778 г.
Эрмитаж, Ленинград

je ne pourai jouir de la commune loy?
et le droit naturel est interdit pour moy?
regnez Eleonore et confondez lenvie.
   ⟨ne⟩ pensez ⟨pas⟩ vous donc que votre Roy s'oublie,
   ⟨ny⟩ et quil s'abaisse en vous donnant la main?
etes vous au dessous d⟨u⟩e ⟨pouvoir⟩ ce rang souverain?

Eleonore

   jen suis digne par ma naissance
   plus encor par mes sentiments
je cesserai de l'etre en ces funestes temps
si de l'ambition j'écoutais limprudence.
soyez digne de moy; cest tout ce que veux.
de la guerre civile ecartez les allarmes:
confondez limposture en etant vertueux.
   gagnez les coeurs, sechez les larmes
que les peuples unis benissent votre loy
⟨et meritez cr [?] et que tous vos sujets vous aiment comme moy⟩

Л. 5 ⟨Don Pedre⟩

⟨commandez, que faut il faire⟩
⟨pour mériter detre a vous?⟩

⟨Eleonore⟩

⟨pardonner⟩

Don Pedre

allez les factieux n'aiment jamais un maitre
⟨jusquau dernier moment je veux lestre⟩
quoy qu'il puisse arriver, je le suis, je veux letre.
⟨si je recois des lois cest a vous d'en donner⟩

[Eleonore]

Soyez le de leurs coeurs

[Don Pedre]

⟨que⟩ ils recévront mes lois, mais daignez m'en donner.
⟨que⟩ disposez de mon diademe
   que doi-je faire?

Eleonore

   pardonner.

don Pedre

a quel sujet perfide?

Eleonore

   à transtamare meme

don pedre

a transtamare?

Eleonore

   a luy. J'ose vous en prier
il est prest ma til dit, a vous sacrifier
   ses ressentiments sa vengeance

d o n P e d r e

quoy toujours transtamare! ⟨o Douleur⟩ o soupçons douloureux

E l e o n o r e

que dites vous! cher prince! approuvez vous mes voeux

D o n P e d r e

moy?

D o n S a n c h e *⟨arri⟩*

les etats seigneur demandent audience

E l e o n o r e

adieu daignez penser a vos vrais interets
a ma priere, a moy

elle sort

Оборот

D o n P e d r e

quels ⟨sentiments⟩ m o u v e m e n t s secrets
⟨S'élevent malgré moy dans mon ame éperdue⟩
o n t reveillé⟨nt⟩ ⟨de mes sens⟩ laffreuse jalousie

d o n s a n c h e

que dirai-je aux etats.

d o n P e d r e

mon ame est trop saisie.
je ne puis ecouter.

Перевод:*

НАБРОСОК Г. ВОЛЬТЕРА**

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Дон Педро, король Кастильский, Элеонора де Гусман

Э л е о н о р а

Нет, пагубная страсть владеть не будет мною
⟨Нет⟩ И сердцу ⟨противится⟩ тяжела она.
Платила за нее я дорогой ценою
И горю буду я сильней обречена...
Должна была б ⟨я⟩ тебя я лучше знать, не скрою.
Прощай, король. Тебя покинуть я должна.

Д о н П е д р о

Коль скоро ⟨именем жестоким⟩ королем зовешь меня, синьора,
Меж нами больше связи нет!
Дон Педром называй меня, Элеонора!
Тебя Дон Педро чтит, а не король. Нет спора,
Как ни виновен он,— в тебе он видит свет.
Не гаснет злоба в вражьем стане,
И зреет бунт в сердцах людских,

---

* Транскрипция текста в переводе соблюдена не полностью. Ср. выше французский текст.

** Рукой Ваньера.

Грозят мне даже англичане
При виде ⟨тяжких⟩ долгих бед моих.

Все мне внушает гнев, всем страшен я, лишь ты
Души печальной скорбь ужасную смягчала
И сердце, полное тоски, ты врачевала,
Смиряя бурные мечты.
Когда б не ты — с пути я смёл бы Транстамара,
Его постигла б злая кара;
Кровь хлынет, коль меня не остановишь ты.

Элеонора

Все ль буду спорить я с тобою?
Дон Педро, пыл души твоей
Враждебен моему покою.
И чем тебя люблю сильней,
Тем ⟨ненавижу⟩ за тебя мне все страшней.
Бог наделил тебя прекрасными дарами,
Дар неба исказив, ты к небу глух и нем.
Любимым ⟨должен⟩ хочешь быть, а ненавистен всем.
Твой рок и я делю. Кастильские дворяне,
В Бургос прибывшие, чтоб спор твоей семьи
Унять и погасить огонь взаимной брани,—
Враги заклятые мои.
Моя любовь к тебе в них возбуждает ропот,
⟨Я не⟩ ⟨не вижу⟩ Их взоры хмурые ко мне обращены
И граждан слышу я злословье, низкий шопот.
И мнится им, что я — бич их родной страны,
Что на жестокости тебя я вдохновляю,
Как соучастница; а я их порицаю.
Людской, суровый суд меня решил изгнать,
А весь мой грех—любовь. За что меня карать?

Дон Педро

Кто эти наглые, чей голос безрассудный
Перечить мне дерзнул, Ленору ж оскорбить?
Я ропот заглушу и черни многолюдной
И грандов, выбор мой посмевших осудить.
Я их советы презираю.
Они безжалостны, их дерзости нет краю;
Не столь суров их род, сколь чванен искони,
И сану моему завидуют они;
Они перед тобой умерят вспышки гнева;
Ты любишь ли меня?

Элеонора

Прекрасно знаешь сам.
Верь преданности ты... О, верь моим словам!

Дон Педро

Взойди ж на трон и стань их королевой.
Пусть эти лютые враги
У оклеветанной пощады умоляют
И оскверненный храм всем хором прославляют.

Пусть припадут, как я, к твоим стопам
И воскурят тебе, царица, фимиам.

Элеонора

Не смею.

Дон Педро

Небеса! Как странно возраженье!
Не смеешь царствовать, попрежнему любя?
Или страшишься ты делить со мной волненья
И трон, которому грозит уже крушенье?
Когда врагов своих я презираю мщенье,
Что может здесь пугать тебя?

Элеонора

⟨Нет, будет то опять...⟩
Нет, цепью прочною твое мне было б горе,—
До дня кончины нас связующею вновь.

Дон Педро

⟨Для⟩ Кто ж подсказал Элеоноре
Отринуть скипетр мой? Жестокая!...

Элеонора

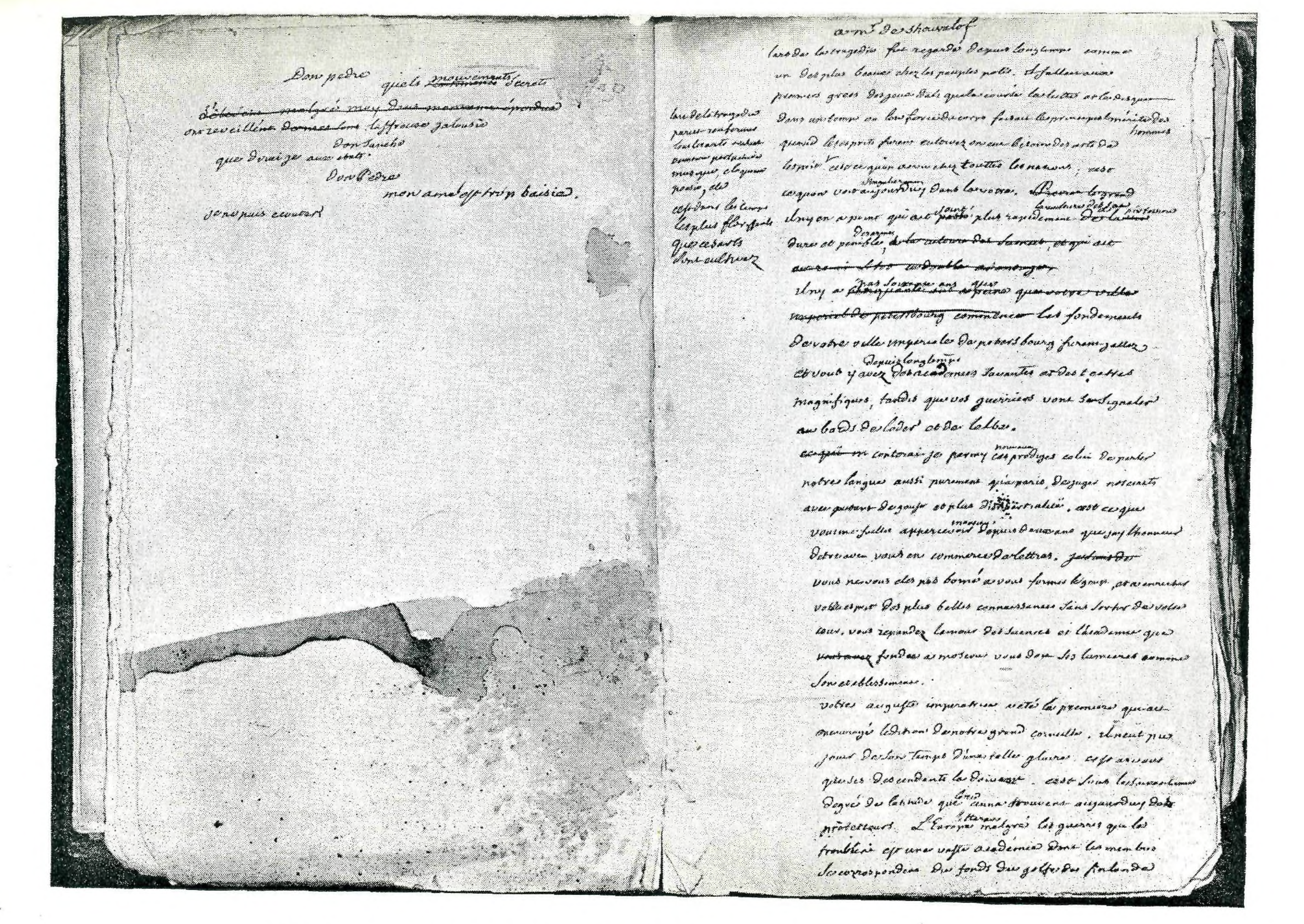
⟨Любовь та вызвала у Кастилии всей злобу⟩
Любовь.
⟨Любовь, твой интерес, Испания. И французы
И их зависть⟩
⟨Несправедливость смертных, злых людей⟩
⟨Ах, наша страсть—предлог для ропота людей⟩
⟨Все осудили страсть возлюбленной твоей⟩
Любовь, твой интерес, гнев края, над тобою
Несправедливой черни суд.
Они меня сочли виновницею смут.
Но ты погиб, меня назвав ⟨меня твоей⟩ своей женою.

Дон Педро

Я!

Элеонора

Приковала к нам Испания свой взор.
По Бьянке де Бурбон звон слышу погребальный
И отзвуком его бургосский полн собор.
И,—скрою ли?—как это ни печально,
Но наша страсть свела ее в могильный мрак.
И я не потерплю, чтоб этот новый брак
Тотчас за смертию свершился. Нет причины
Скрывать перед тобой! ⟨презренное подозренье⟩ Ты заподозрен в том,
⟨Что чуть ли не ты сам⟩ что ты ускорил час кончины.
⟨Ложь это обошла⟩ Европа вся бурлит—и что же,—
⟨И если ты на мне жен⟩ тебя ж осудят все потом.
⟨Я⟩ ⟨о том довольно⟩ люблю ⟨и⟩ пожертвую, о боже,
⟨Любовью сердца молодой⟩
На благо всех мой пыл святой
Отдам; я дорожу тобой,
Мне жизни честь твоя дороже.



АВТОГРАФ ПОСВЯЩЕНИЯ И. И. ШУВАЛОВУ ТРАГЕДИИ „ОЛИМПИЯ“ ВОЛЬТЕРА

Листы 5 об. 6 тома IX рукописей библиотеки Вольтера

Публичная библиотека, Ленинград

Дон Педро

Ужель, скажи, коварство черни злой,
Бесстыдный вопль и клевета людская
Нас победят, связь нашу осуждая?
Иль сердца глас подавлен клеветой?

Элеонора

Послушна сердцу я, союз наш разрывая.

Дон Педро

Нет, ⟨сердце⟩ ⟨даже⟩ доблести вас вводят в заблужденье.
Казнимы мы не оттого ль,
Что свет превратный мне готовит обвиненье?
Увы! Несчастней всех король!
Холоп ничтожный сам собой располагает;
Влеченью вольному послушный, он живет,
⟨Без страха⟩ Проводит мирно дни, любимую ласкает,
А я, величья раб, Кастилии оплот...
Ужели наслаждаться мне нельзя?
Запретна ль мне влечения стезя?
Владычествуй, расстрой их козни, Леонора!
⟨Ужель⟩ Не мнишь ли, что король узнает боль позора,
Деля с тобой любовь свою и трон?
Иль недостойна ты? Тебя пугает ⟨власть⟩ он?

Элеонора

Нет, трона я достойна родом,
Достойна чувствами вдвойне;
Достойна не была б его я в сей стране,
Когда б искала я лишь власти над народом.
Достоин будь меня; лелею я мечту,
Что войн гражданских ты рассеешь все угрозы;
Великодушием раздавишь клевету,
Влеки сердца, всем осуши ты слезы,
Народы дружные тебя прославят вновь,
⟨И заслужи⟩ Мою и подданных—ты обретешь любовь!

Дон Педро

⟨Скажи, что делать надлежит мне,⟩
⟨Чтоб заслужить твою любовь?⟩

Элеонора

⟨Простить⟩

Дон Педро

Бывал ли мил король бунтующему люду?
⟨Я до последнего мгновения им буду⟩
Что б ни было, я—царь, им постоянно буду.
⟨Законам рад служить, но ты должна их дать⟩

[Элеонора]

Царем над их сердцами будь!

[Дон Педро]

⟨Что⟩ Дам я законы им, но мне изволь их дать.
⟨Что⟩ Возьми венец, будь благосклонна к дару.
О, что же делать мне?

Элеонора

Прощать.

Дон Педро

Кому? Изменникам?

Элеонора

Хотя бы Транстамару!

Дон Педро

Ему?

Элеонора

Ему. Тебя прошу о том, любя.
Мне он сказал: готов забыть он для тебя
Остаток злобы, жажду мести.

Дон Педро

Как! Снова Транстамар! ⟨О, скорбь!⟩ Превратности судьбы!

Элеонора

О, добрый мой король! Услышь мои мольбы!

Дон Педро

Я!

Дон Санчо *(входит)*

Вас кортесы ждут и просят вас о чести...

Элеонора

Прощай!... О благе ты своем подумай, друг,
О просьбе, обо мне *(уходит)*.

Дон Педро

Как ⟨чувства⟩ потрясен я вдруг!
⟨В душе встревоженной невольно пробудился⟩
И призрак ревности встал в свете незнакомом.

Дон Санчо

Что мне ответить им?

Дон Педро

Я поражен, как громом.
Я слушать не могу.

Публикуемый отрывок привлекает наше внимание, прежде всего, тем, что он, в отступление от традиции, написан не каноническим для французской трагедии александрийским стихом, а неровными строками вольного стиха.

Уже одно это сразу исключает возможность видеть в нашем фрагменте один из вариантов окончательного текста трагедии «Дон Педро», написанной александрийским стихом, подобно всем другим трагедиям Вольтера. Как известно, трагедия «Дон Педро» вышла в свет в начале 1775 г. и явилась результатом труда предшествующего года[18]; однако, сохранилось немало указаний на то, что Вольтер лишь вернулся при этом к теме, зани-

мавшей его значительно ранее. Он сам отмечает это в предпосланных «Дон Педро» очерках, носящих форму: 1) «Посвятительного послания Даламберу», 2) «Исторического и критического рассуждения» и 3) «Фрагмента исторического и критического рассуждения о трагедии Дон Педро»[19]. Целый ряд оснований заставляет нас предположить, что публикуемый отрывок относится не ко времени написания трагедии в ее окончательном виде (1774), а к тому времени, когда Вольтер впервые задумал разработку сюжета «Дон Педро» (1761).

В эпоху написания трагедии, в 1774 г., Вольтер был строгим блюстителем канонизованного стихосложения и всей поэтики Буало. Это ярко сказывается в упомянутых очерках, предпосланных печатному изданию «Дон Педро». Полускрывшись под маской некоего «издателя», рекомендующего читателям произведение «неизвестного молодого драматурга», Вольтер излагает здесь свои соображения о значении в трагедии стихотворной формы. Мы находим среди этих высказываний такие фразы: «Если многие любители знают наизусть чудесные места из «Горациев», «Цинны», «Помпея» и «Полиевкта» и лишь четыре стиха из «Гераклия», это объясняется тем, что стихи здесь превосходны»... «Почему невозможно перечитывать «Беренику» Корнеля, а трагедия Расина того же наименования читается с таким наслаждением?»... «Мне прожужжали уши изречением, которое, будто бы, принадлежит Корнелю: «Пьеса моя кончена, мне остается т о л ь к о изложить ее стихами». В комедии стихи не самая основная трудность, а в трагедии, особенно в нашей, они представляют собой трудность почти непреодолимую»[20].

Канонический для трагедий Корнеля и Расина александрийский стих выдвигается здесь в качестве непререкаемого образца. Сама трагедия «Дон Педро» (подобно почти всем трагедиям Вольтера) и написана таким безупречным александрийским стихом, как пьеса вполне соответствующая канону классической трагедии во всех ее тематических и структурных особенностях.

В нашем же отрывке Вольтер делает крайне смелую попытку написать трагедию «вольными стихами», чередуя двенадцатисложные («александрийские») стихи с восьмисложными. Такое перенесение в трагедию приема версификации, узаконенного в то время в комедии, Вольтером никогда больше не повторялось. Свой смелый замысел нарушить метрический канон трагедии Вольтер держал в полной тайне, и без нашей рукописи мы никогда даже не подозревали бы о подобной его попытке. В этом отношении публикуемый черновик представляет, пожалуй, наибольший интерес. Но уже одна эта метрическая «вольность» Вольтера побуждает думать, что отрывок не относится к 1774 г., а написан в иную, менее «ортодоксальную» пору вольтеровского творчества.

Такой именно «наименее ортодоксальной» порой творчества Вольтера явился 1761 г., отмеченный написанием трагедии «Олимпия» и публикуемого нами «Посвящения» ее Шувалову. И действительно, первый замысел трагедии «Дон Педро» и начало работы над ней относятся к летним месяцам 1761 г. Мы знаем об этом из писем Вольтера к Даржанталю от 29 июня, 8 июля и 9 августа этого года. В первом из этих писем Вольтер дает общую экспозицию начатой им трагедии: «Что касается другого сюжета, о котором вы говорите и от которого я, кажется, уже отказался, то он наполовину французский и наполовину испанский. В нем можно было видеть Бертрана Дюгеклена меж доном Педро Жестоким и Генрихом Транста-

маром. Мария Падилла, под более благородным и более театральным именем, как безумная, влюблена в этого дона Педро, буйного, вспыльчивого, менее жестокого, чем это принято утверждать, влюбленного до крайности и столь же ревнивого, вынужденного бороться со своими подданными, ставящими ему в вину его любовь. Любовница его знает все его недостатки, но любит его оттого лишь больше.

Генрих Транстамар—его соперник. Он оспаривает у него трон и Марию

И. И. ШУВАЛОВ
Портрет маслом Л. Токке, 1760-е гг.
Эрмитаж, Ленинград

Падилла. Бертран Дюгеклен, посланный французским королем, чтобы помирить братьев и поддержать Генриха в случае войны, заставляет созвать генеральные штаты: Las Cortes de Castilla (депутаты от сословий) могут произвести прекрасный эффект на сцене, после того, как там теперь нет более светских франтов[21]. Дон Педро терпеть не может ни Las Cortes, ни Дюгеклена, ни своего побочного брата Генриха; он считает, что его предали все и даже его любовница, которая его обожает.

Бертран, в конце концов, вынужден вызвать французские войска; он играет сразу роль и покровителя Генриха, и увещевателя дона Педро,

и посла Франции, и полководца. Генрих, в качестве победителя, предлагает себя Марии Падилла, с руками, покрытыми кровью его брата. Падилла не принимает руки убийцы ее возлюбленного, предпочитая самоубийство над телом дона Педро. Бертран оплакивает их обоих, дает в кратких словах несколько советов Генриху и возвращается во Францию наслаждаться своей славой...»[22].

Несмотря на то, что в приведенном письме Вольтер пишет, что «кажется, уже отказался» от сюжета «Дон Педро», однако, последующие письма к Даржанталю не подтверждают этих его слов. Так, в письме от 8 июля Вольтер пишет, что он примирился с «Зюлимой», но все еще в ссоре с «Педро Жестоким», а 9 августа уже сообщает Даржанталю: «Днем я работаю над Корнелем, а ночью над доном Педро»[23]. И все же упоминания о «Дон Педро» являются довольно скудными, по сравнению с упоминаниями о других темах, волновавших Вольтера в это время. Повидимому, работа его над этой трагедией не была особенно интенсивной. Подробнее замыслы этих месяцев будут нами раскрыты при рассмотрении второго из публикуемых нами памятников. Пока же заметим, что именно в этот период, возможно, сложились те замечания о поэтике и языке Корнеля, которые несколько неожиданным образом оказались предпосланными Вольтером позднейшему изданию «Дон Педро».

Что представляет собой трагедия «Дон Педро», имевшая довольно незавидную судьбу среди вольтеровских пьес и, в частности, никогда не увидевшая света рампы? Это — трагедия на тему о политических интригах, сплетение которых замещает в данном случае обычную во французских трагедиях борьбу чувств и характеров. Замысел Вольтера был им отчасти раскрыт во втором из предпосланных печатному изданию трагедии очерков.

Разбирая причины наименования «Жестокий», упрочившегося в истории за кастильским королем середины XIV в. Педро, Вольтер дает выход и крайним формам своего «пирронизма» (т. е. исторического скептицизма), и, вместе с тем, ряду весьма едких размышлений по вопросам современной воинственной политики европейских держав. Некоторые из этих мыслей не потеряли своей остроты даже и по сей день. Так, Вольтер подчеркивает правоту Уолпола, утверждавшего, что когда пользующийся удачей король обвиняет своих противников, то все историки спешат наперебой услужить ему в качестве свидетелей. «Такова слабость слишком многих людей науки,—продолжает Вольтер, — не потому, чтобы они были более трусливы и низменны, чем придворные льстецы государя преступного, но пользующегося успехом, а потому, что их малодушие оказывается более долговечным». «Часто также те, кто лжет таким образом человеческому роду, воодушевлены также и глупостью национального соперничества»... «Но ныне, когда наша Европа поделена между столькими владениями, взаимно друг друга уравновешивающими, ныне, когда столько народов имеют такое множество великих людей во всех отраслях, всякий, кто захочет слишком польстить своей стране, впадает в риск прогневить другие страны (если случайно его в них читают), и притом должен мало рассчитывать на признательность собственной страны. Никогда столько не любили истину, как в наши дни: дело только за тем, чтобы найти эту истину»[24].

Вкратце сюжет драмы в ее окончательном виде развивается таким образом: заручившись поддержкой французского короля, выславшего ему

на подмогу Бертрана Дюгеклена, Транстамар, побочный брат дона Педро, пытается убедить Леонору бросить его соперника и тем самым узаконить его собственные притязания на престол и на ее руку. Отвергая домогательства Транстамара, которому некогда обещал ее руку отец, и оставаясь верной дону Педро, которому она была обещана своей матерью, Леонора убеждает Транстамара скрыться, но, вместе с тем, вымаливает ему пощаду у дона Педро, когда Транстамар в результате бурного объяснения обнажает против своего соперника шпагу. Удачным государственным переворотом дон Педро обезоруживает своего соперника и его партию в кортесах, на собрание которых он высокомерно отказывается явиться. Заступничество его возлюбленной за Транстамара повергает его, однако, в смятение и лишает Леонору его доверия. Счастье ему изменяет, и в самый момент его торжества над Транстамаром приходит известие о вступлении в город войск Дюгеклена. Переговоры короля с последним, пытающимся продиктовать ему неприемлемые условия, приводят лишь к назначению немедленной битвы. Дон Педро подчеркивает: «Судя по вашему поведению, можно было бы легко усомниться в столь редкостном беспристрастии вашего повелителя, который, не предупредив меня, опустошает мои земли и просит у меня мира силою двадцати тысяч солдат». В этом сражении дон Педро опасно ранен, и Дюгеклену, олицетворяющему рыцарское благородство, не удается спасти его от олицетворения низменной злобы—Транстамара, закалывающего раненого брата. При известии об этом Леонора проявляет величие своего характера, кончая с собой.

О чем же позволяет заключить публикуемый отрывок, являющийся, повидимому, единственным остатком первого варианта трагедии? Прежде всего, о значительной перестройке всего плана трагедии в 1774 г. Наш отрывок оканчивается полным драматизма объяснением дона Педро с Леонорой, в котором сжато и полно обрисованы характеры обоих персонажей и дана завязка всех дальнейших перипетий трагедии. В тексте же 1774 г. это объяснение разбито на две части, причем вторая часть объяснения перенесена в третий акт трагедии. В нашем фрагменте поведение Леоноры с самого начала вполне продуманное и раскрывает ее активный, волевой характер; в окончательном тексте ее образ бледнее, в нем чувствуются растерянность и бессилие. В самом конце нашего отрывка появляется некий дон Санчо, извещающий дона Педро о том, что члены кортесов просят у него аудиенции. Следующая сцена, вероятно, должна была изображать именно заседание кортесов, о сценической эффектности которого упоминает Вольтер в приведенном нами выше письме к Даржанталю от 29 июня 1761 г. В печатном же тексте 1774 г. никакого заседания кортесов на сцене не изображается; показаны только закулисные интриги Транстамара среди грандов и дается горделивый отказ дона Педро иметь с ними дело. Наконец, в нашем фрагменте сам дон Педро морально выше, чем в печатном тексте. Хотя он и смущен заступничеством Леоноры за своего соперника и отвергает ее совет проявить великодушие к нему, однако, он еще не дает воли своей подозрительности по отношению к Леоноре. Этот властный и горячий человек еще не обессилен ревностью и не раздавлен враждебными силами, как в окончательном тексте 1774 г.

Это—все, что можно извлечь из сопоставления нашего фрагмента с окончательным текстом трагедии. Сопоставление это дает право заключить о том, что этот последний гораздо ближе к традиционной структуре клас-

сической трагедии, чем новаторский набросок 1761 г., в котором Вольтер делал попытку сломать традиционную метрическую форму трагедии и внести в нее ряд зрелищных, живописных моментов (например, заседание кортесов), отсутствующих в печатном тексте 1774 г. При всем том «леденящий сюжет Дон Педро», по собственному выражению Вольтера, не способен был достаточно заинтересовать его в 1761 г., когда он был в первую очередь увлечен новаторскими сценическими замыслами. И Вольтер оставил «Дона Педро» ради работы над «Олимпией».

Обратимся теперь к рассмотрению второго из публикуемых документов—посвящения трагедии «Олимпия» И. И. Шувалову, занимающего листы 6—10 издаваемой нами рукописи.

Вот его текст:

ГОСПОДИНУ ШУВАЛОВУ *

Образованные народы давно считали трагедию одним из прекраснейших искусств. Грекам ранней поры нужны были игры, как бег, борьба, метание диска,—то были времена, когда люди выше всего ставили телесную силу. Вместе с духовным развитием явилась потребность и в искусствах порядка духовного**.

Это можно было наблюдать у всех народов; ныне это в удивительной степени проявлено вашим народом. Не было другой нации, которая так скоро научилась бы совмещать просвещение с суровым и тяжким ремеслом войны.

Не прошло и шестидесяти лет с той поры, как положено было начало столице вашей империи—Петербургу, а у вас уже давно существуют там научные учреждения и великолепные театры, а наряду с этим воины ваши снискивают себе славу на берегах Одера и Эльбы.

Упоминать ли, в числе этих неожиданностей и чудес, о вашем умении говорить на нашем языке так же правильно, как говорим мы в Париже, и судить о написанном нами с не меньшим, чем мы, вкусом, но с бóльшим беспристрастием?

В этом убеждаете меня вы, милостивый государь, за те два года, что я имею честь переписываться с вами. Вы не ограничились тем, что, пребывая при дворе, развивали свой вкус и обогащали ум лучшими познаниями: вы озаботились распространением любви к науке, и созданное вами в Москве ученое учреждение обязано вам не только, как основателю своему, но и как насадителю просвещения.

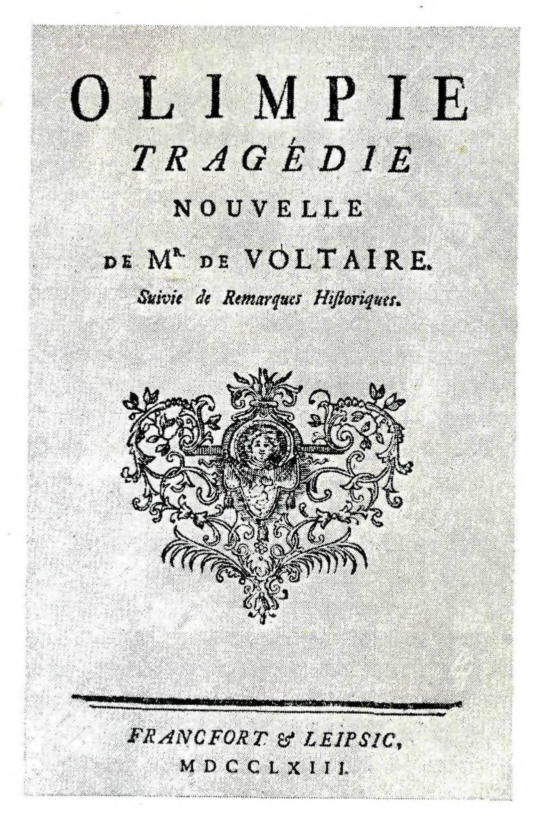
Изданию творений нашего великого Корнеля впервые было оказано покровительство вашей августейшей императрицей. В эпоху Корнеля на его долю не могло выпасть такой чести. Этой честью потомство его обязано вам: под шестидесятым градусом широты нашли себе ныне покровителей «Сид» и «Цинна». Как бы ни нарушали покой постоянные войны, литературная Европа все же остается обширной академией, члены которой—от далекого Финского залива до того города, где расцвело творчество Цицеронов, Горациев и Вергилиев,—поддерживают между собою общение.

---

* Заглавие написано рукой Вольтера, но отдельно, после написания текста.

** В оригинале—знак сноски, а на полях против него—текст вставки: «Искусство трагедии, казалось, включало в себя все остальные искусства: архитектуру, живопись, перспективу, музыку, красноречие, поэзию и т. д. Искусства эти развиваются лишь в самые цветущие эпохи».

ТРАГЕДИЯ „ОЛИМПИЯ“ ВОЛЬТЕРА
Титульный лист издания 1763 г.


OLIMPIE
TRAGÉDIE
NOUVELLE
DE Mr. DE VOLTAIRE.
Suivie de Remarques Historiques.

FRANCFORT & LEIPSIC,
MDCCLXIII.

Желая укрепить своим примером благое дело этого общения, а также засвидетельствовать вам чувства уважения и дружбы, я имею честь посвятить вам прилагаемую здесь новую трагедию, одновременно делясь с вами некоторыми соображениями об этом роде искусства, теперь столь распространенном, но предъявляющем и столь большие требования.

Пока язык еще не выработан, пока окончания слов еще не приведены к благозвучию и приятное чередование сочетаний гласных и согласных звуков, а также кратких и долгих слогов не смягчило грубости речи, все попытки создать литературу, во всех ее родах, долго оказываются и трудными и тщетными.

Первые свои опыты на этом поприще мы стали делать больше двухсот лет тому назад. Но лишь около ста тридцати лет назад образовался у нас язык, достойный той чести, которую вы ему оказываете, так хорошо им владея. Начали мы с театра. В этом искусстве мы преуспели больше, нежели во всех остальных.

Начали мы при наших королях Франциске I и Генрихе II, в XVI в. с подражания грекам. Мы им подражали очень плохо, а так как наши нравы совершенно не походили на их нравы, то и театр наш вскоре оказался нисколько не похожим на греческий.

Трагедия должна в совершенстве передавать великие события, страсти и их последствия. Изображаемые в трагедии люди должны говорить так, как люди говорят в действительности, а поэтический язык, возвышая душу и пленяя слух, ни в коем случае не должен приводить к ущербу естественности и правдивости. Из этого закона вытекают все остальные. Умение волновать мыслящие и тонкие умы—

вот, несомненно, наиболее трудно выполнимое из правил трагедийного искусства.

Самый посредственный талант сумеет соблюсти закон трех единств, который безусловно необходим, без которого всякая пьеса остается неправильно построенной. Гораздо труднее никогда не оставлять сцену пустой и осмысленно выпускать на нее или уводить действующие лица. Но овладеть этим приемом, как он ни обязателен, еще не значит добиться полного успеха у зрителя: этим приемом в пьесе только устраняется известная часть ее недостатков. Только варвару позволительно не знать только-что указанных правил. Тот же, кто, зная их, пренебрегает ими,— как бы заявляет своим соотечественникам: «Я не считаю вас достойными правильно созданной пьесы; довольствуйтесь сапожниками и башмачниками—рядом с Юлием Цезарем и Брутом, или могильщиками—рядом с Гамлетом!». Лопе де Вега говорил: «Когда я собираюсь писать для своего народа, я прячу под замок Аристотеля, Софокла и Теренция»...

Мы долго блуждали по этим диким пустыням. А когда решили вернуться в Афины, все же оказались лишь в Париже.

При всех наших недостатках,—а они весьма значительны,—мы, тем не менее, единственный народ, чьи драматические произведения до сих пор переводятся и исполняются; а объясняется это тем, что в каждой удачной нашей пьесе можно найти несколько вполне естественных сцен, что естественность вообще всюду в них чувствуется. Главная же причина,—что они написаны с умом, с благородным изяществом и т. д. Лишь такие произведения переводятся на все языки, доказательством чему может служить «Поселянин» Аддисона, хорошо написанный от первой до последней строки, и т. д.

Среди четырех-пяти тысяч наших трагедий едва ли найдется восемь, самое большее—десять таких, где действующие лица всегда говорят— и хорошо говорят—то самое, что сказать нужно. Вот такие-то пьесы, да те, что хотя бы отдаленно приближаются к ним, и создали французскому театру его славу. Уже мнилось, что театр наш успел достигнуть полного совершенства и далеко позади оставил театры Рима и Афин, когда обратили на себя внимание два неизменно присущих ему крупных порока, которым, в конце концов, суждено было сделать его томительно-скучным.

Первый из этих пороков—отсутствие действия. Все сводилось к длинным разговорам, без сильно действующих театральных эффектов, без соответствующей обстановки, без тех порывов чувства, которые так потрясают душу, без величавых сцен, пленяющих и очи и ум. Источником этого порока были остатки варварства. Театр у нас отнюдь не являлся основной заботой высшей власти, как то было в Афинах и в Риме: он был предоставлен в распоряжение актеров, которым приходилось длинный и узкий зал, предназначенный для игры в мяч, превращать в театр для Александров, Цезарей и Августов. Играли на пространстве десяти квадратных футов, и когда Цезарь, в шляпе и четыреугольном парике, появлялся среди толпы в 200 человек французов (тоже в париках), им трудно было немного потесниться, чтобы дать ему дорогу.

Второй порок, отчасти вызванный первым, состоит в том расхолаживании, к которому приводит заполнение целых пяти актов одними разговорами, при отсутствии обстановки... В этом есть, пожалуй, своего рода утонченность, но однообразная, не пробуждающая внимания и лишенная теплоты: это трогало сердца, но не волновало их, не восторгало,

не раздирало. Трагедия вызывала ощущение прекрасного, но не потрясала.

Сент-Эвремон первый сказал, что Цезарь, заявляющий о себе у Шекспира, будто он подобен полярной звезде, которая одна неподвижна среди бегущих вокруг нее звезд,—это образец смешного; что римские башмачники рядом с Брутом—это низкое; убийство Цезаря на сцене—варварство. Но вот скучного во всем этом нет. А хуже всего этого бывает что-нибудь? Бывает: длительные разговоры, холодные и томительные.

Но это, более чем верное, соображение Сент-Эвремона не вызвало достаточного к себе внимания. Так отнеслись бы во времена Люлли к тому, кто отважился бы назвать его музыку монотонной и слабой.

Медленно совершенствуются умы. Почти целый век прошел, пока заметили существование той скрытой язвы, которую сумел разглядеть Сент-Эвремон. И лишь тогда, когда Париж дожил до театрального зала, уже не такого жалкого и старомодного, как тот, в котором играли в течение столь долгих лет; когда сцена освободилась от обезображивавшей ее толпы зрителей,—тогда только, сами тому дивясь, мы, наконец, поняли, чего нам недоставало. Мы долго созерцали отцов, которые спокойно, не проронив ни единого слова, выслушивали повествования о смерти сына; мы внимали длительным беседам о политике. Но, в конце концов, все же сообразили, что у нас были прекрасные отрывки трагедий, а настоящих трагедий почти не было.

Мне вспоминается одна сцена из некогда виденной мною в Лондоне пьесы, почти совсем неправильной по своему построению, почти во всех отношениях дикой. Сцена происходила между Брутом и Кассием. Они ссорились, и, я готов это признать,—довольно непристойно; они говорили друг другу такие вещи, которых у нас порядочным и хорошо воспитанным людям выслушивать не приходится. Но все это было так полно естественности, правды и силы, что очень меня растрогало. Никогда не тронут нас так те холодные политические диспуты, которыми наш театр некогда приводил зрителей в восторг. Читателю они еще могут доставить удовольствие, но зрителя оставляют совершенно равнодушным.

Трагедия—это движущаяся живопись, это одушевленная картина, и изображаемые в ней люди должны действовать. Сердце человеческое жаждет волнений: хочется видеть, как мать, с распущенными волосами, со смертельным ужасом во взоре, готовая разрыдаться, устремляется к настигнутому бедой сыну; притягивают к себе проявления силы, занесенные над кем-либо кинжалы, ошеломляющие перемены, роковые страсти, преступления и угрызения совести, за ними следующие, смена отчаяния—радостью, высоких взлетов—стремительным падением.

Такова истинная трагедия, и ее образцом может служить пятый акт «Родогуны». Будем надеяться, что недалекое будущее даст нам гения, который, осуществляя эти идеи, сумеет облечь их всей прелестью истинной поэзии, нисколько не нарушая при этом ни законов языка, ни законов сцены. Даже если бы этот род искусства не оказался высшим его родом,—все же надо признать его необходимость. То, в чем нет ничего, кроме изящества или политики, порождает скуку. Возвышенное сверкает, подобно молнии среди ночного мрака, и поражает нашу душу, не вызывая тягостного настроения.

Этот новый вид драмы создаст и настоящих актеров, тогда как до сих пор мы имели только декламаторов. Нужны не безжизненные фигуры,

а—микель-анджеловские, одаренные при этом голосом и способностью двигаться. Часто голос должен греметь, глаза—метать молнии; в иных случаях нужно, чтобы глаза источали слезы, а голос замирал, прерываясь от рыданий... Отдельные черты набрасываемой здесь общей картины мне приходилось наблюдать. Но, вообще говоря, актеры в своем искусстве еще дальше от совершенства, нежели авторы трагедий.

Пусть даже окажется, что этого рода трагедия не привлекательнее других и не наиболее потрясающая. К ней все же следует обратиться, ибо искусство, как и наслаждения, всегда требует разнообразия.

Если бы трагедии ставились лишь в дни тех или иных торжеств, у нас оказалось бы их достаточно; но в таком городе, как Париж, приходится их ставить ежедневно, и здесь поражать умы можно лишь новшествами. Возможно, что именно эти новшества приведут когда-нибудь к порче как театра, так и литературы: необычайности и чрезмерности вытеснят в них простоту, декоратор заслонит автора; а взамен трагедий нам будут поставлять достопримечательности и диковинки.

Не каждый народ наделен вкусом. Как никогда не были свойственны народам Азии живопись и многоголосная музыка, красота в скульптуре и правильность в архитектуре, так всегда были им чужды и красноречие и поэзия; у них есть басни Локмара и Эзопа, но нет ни Зевксиса, ни Демосфена, ни Софокла...

Существуют и такие нации, у которых бывали великие философы, но никогда не было ни Мольеров, ни Расинов. Им дана была сила, но в изяществе и вкусе было отказано. И нет у них и сейчас ни таких живописцев, ни трагиков и комиков, которые пользовались бы признанием цивилизованных наций.

Причина этого лежит в самом народе, в некоторой грубоватости, всегда ему свойственной в странах с северным климатом, где, обладая достаточной зажиточностью и досугом, чтобы искать зрелищ, народ слишком мало наделен чуткостью, чтобы в них разбираться.

Вот почему люди с развитым вкусом, принадлежащие к такой нации, покупают итальянские картины, прибегают к итальянской музыке и читают наших авторов.

Только с течением времени изменяются вкусы народа. Вы не знакомы с французской сценой; да и у нас самих едва начинают с ней считаться. Долгое время у нас ограничивались тем, что декламировали стихи, произнося длинные диалоги и не менее длинные монологи. Вначале стихи декламировали напыщенно, потом стали читать их так, как читают повести.

Но настало время, когда чувства научились передавать—словом, жестом, всеми движениями тела и даже—просто молчанием. А это и значит настоящим образом исполнять трагедию. Каждый акт должен давать картину, трогательную или потрясающую; актерам нужно принимать такие позы, чтобы ничья кисть не могла с ними соперничать...*.

Собственноручная надпись Вольтера «Господину Шувалову» («A M-r de Chouvaloff»), сделанная на публикуемой рукописи, устраняет необходимость в розысках личности адресата этого документа, представляющего

* В оригинале на полях против последних строк: «Лишь у одного Расина находим мы сценические эффекты, единственным источником которых является чувство, и он пользуется ими с тем мастерством, к которому никто не сумел даже приблизиться. «Родогуна», акт пятый, и четыре последние... единственные истинно-драматические представления. И еще «Аталия», если бы это чудо с исчезновением армии и т. д.»...

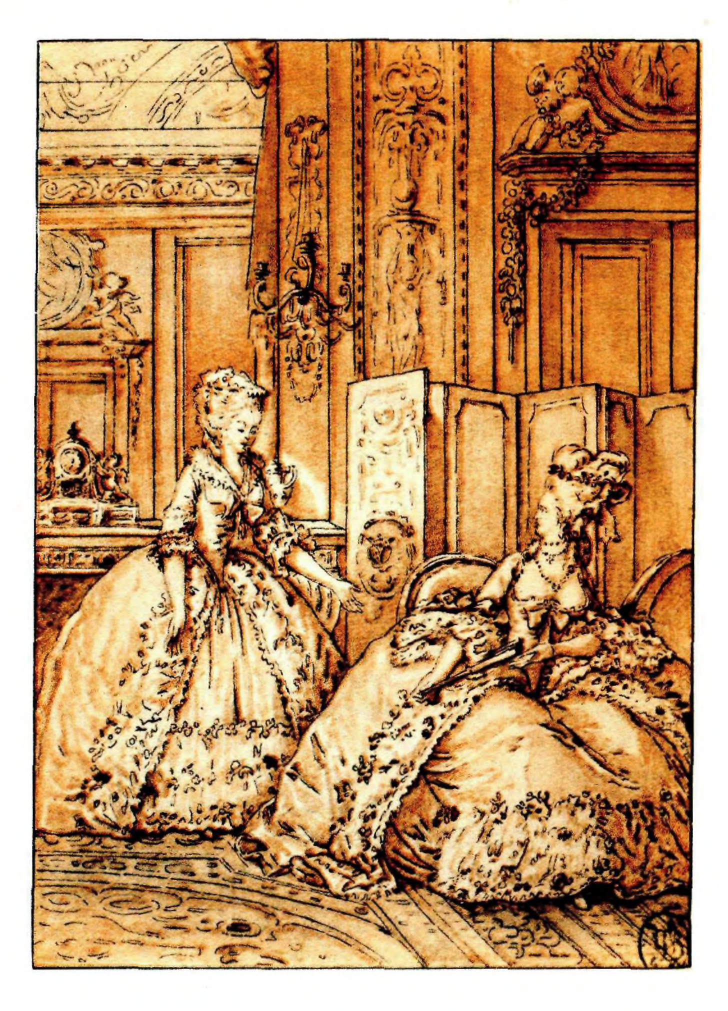


ИЛЛЮСТРАЦИЯ К КОМЕДИИ ВОЛЬТЕРА „НАНИН ИЛИ ПОБЕЖДЕННЫЙ ПРЕДРАССУДОК"

Рисунок Моро-младшего, 1784—1785 гг.

Эрмитаж, Ленинград

одно из тех посвятительных писем, какие Вольтер имел обыкновение предпосылать своим пьесам. Впрочем, если бы Вольтер не приписал на рукописи своего посвящения имени Шувалова, его можно было бы установить на основании ряда совершенно ясных указаний в самом тексте. Действительно, адресат характеризуется здесь не только, как русский и как вельможа, переписывающийся с Вольтером в течение двух лет, не только, как знаток французского языка и французской литературы, но также, как «насадитель просвещения» в России и как основатель в Москве «ученого учреждения», под которым, очевидно, следует разуметь Московский университет[25]. Наконец, об адресате сказано, что именно ему потомство обязано покровительством, оказанным русской императрицей изданию сочинений Корнеля. Все это с полной ясностью устанавливает личность адресата— всесильного фаворита императрицы Елизаветы Петровны, И. И. Шувалова, которому Вольтер, кроме того, был обязан прекрасной документацией для своего труда о Петре Первом и даже самым, столь лестным для него, заказом на этот труд, повлекшим за собой целый ряд царских «милостей».

Но если фамилию адресата посвящения установить легко, то название посвящаемой Вольтером Шувалову трагедии в документе не упомянуто. Неясным является также время написания посвящения. Ответ на оба эти вопроса можно получить, обратившись к переписке Вольтера с Шуваловым, а также припомнив историю создания «Олимпии».

Завершив, поставив на сцене и напечатав преисполненную новой романтики и чувствительности трагедию «Танкред» (1760—1761), которую он рассматривал, как дерзкий эксперимент, потому что в ней впервые было введено чередование рифм (rimes croisées), Вольтер с большим удовлетворением отдался своей работе над комментированием Корнеля. Среди этих занятий, почти ненарушенных попыткой разработать сюжет «Дон Педро» (см. выше), «Олимпия» возникла неожиданно, почти случайно для самого автора. Первое косвенное упоминание о ней можно усмотреть в письме к Даржанталю от 11 октября 1761 г., а, между тем, еще за какую-нибудь неделю перед тем (в письме от 3 октября) Вольтер высказывал ему такие сомнения и колебания: «Я очень стар,—писал он,—удастся ли мне написать еще трагедию? Что вы об этом думаете? Что касается меня, то я трепещу... Вы втянули меня в ужасный вертеп, сжальтесь же надо мной»[26].

Судя по письму к Даламберу от 20 октября[27], трагедия была написана и вчерне закончена в течение восьми дней—от 11 до 20 октября 1761 г. Под свежим впечатлением от ее окончания, Вольтер, ликуя, торопится в тот же день сообщить своему другу об обстоятельствах ее возникновения. Он рассказывает, как, трудясь над ранее задуманной, навеянной ему занятиями над Корнелем трагедией «Дон Педро», он внезапно почувствовал отвращение к этому леденящему созданию.

«Репетируя М е р о п у [свою старую пьесу, написанную в 1743 г.],— пишет Вольтер,—я говорил себе не раз: вот это интересно; тут не холодные рассуждения, не напыщенное мещанство! Не смог ли бы ты,—сказал я шопотом В. [т. е. самому себе: обычный прием Вольтера.],—написать пьесу в таком подлинно трагическом роде? Твой Дон Педро останется ледяным, несмотря на все его «генеральные штаты» и на Марию Падиллу... Тогда дьявол вселился в меня... Дьявол? Как бы не так! То был ангел света, то были вы! Меня охватил энтузиазм. Ездра никогда не диктовал с такой быстротой... Читайте, судите, но рыдайте!...»[28]. «Я все время безостано-

вочно рифмовал стихи и марал бумагу»,—сообщает он о ходе своей работы тогда же кардиналу де Берни[29].

Написанная в предельно короткий срок (сам Вольтер называл ее «творением шести дней»), «Олимпия» потребовала значительной и длительной обработки. Вольтер терпеливо занимался отделкой стихов и усовершенствованием интриги, пользуясь на этот раз не только советами своего обычного триумвирата судей (семьи Даржанталь—Пон де Вейль), но и кардинала де Берни и даже Даламбера, каждый из которых внес по одной детали, осложняющей завязку[30].

Дорожа советами друзей, Вольтер восклицал: «Горе тем, кто не прибегает к советам!» («Malheur à qui ne consulte pas!»). Это не мешало ему, однако, жаловаться на «замораживающие» драму советы Даржанталя (в письме от 12 ноября 1761 г.)[31]. Препирательства с друзьями по поводу «Олимпии» продолжались в течение двух-трех лет. Из одного каталога автографов известно о существовании двух писем г-жи Даржанталь от конца 1763 г. с разбором «Олимпии» и с возражениями Вольтера en regard[32], после чего Вольтер выставил в защиту «Олимпии» особую «Записку» (Mémoire pour Olympie adressé à M. d'Argental), где по пунктам обосновал свою правоту; на эту «Записку» «ангельская чета», в свою очередь, сделала обстоятельные возражения[33].

В 1763 г. вышло в свет пять отдельных изданий пьесы, а 17 марта 1764 г.[34] она уже была представлена в Париже и выдержала десять представлений сразу. До самого этого времени Вольтер исправлял и переделывал ее. Отношение Вольтера к «Олимпии» было очень любовным. Отзвуки этой особой привязанности к пьесе сказываются еще в 1776 г., когда Вольтер выражает в письме к Даржанталю надежду, что теперь ему, быть может, удастся снискать для «Олимпии сгоревшей» покровительство «божественной Антуанетты» (королевы)[35].

Чем объясняется подобное отношение Вольтера к «Олимпии»? Какова причина столь упорной заботы об этой пьесе? Как объяснить все эти проявления неуверенности в себе старого драматурга, в то же время то и дело отстаивавшего правильность своей позиции? Что означают все перечисленные признаки как бы исключительного отношения Вольтера к его детищу?

Ответить на все эти вопросы нетрудно. Сравнительно мало глубокая по своему идейному содержанию, трагедия «Олимпия» занимает довольно важное место в драматургическом наследии Вольтера, как новаторский эксперимент, как попытка создания чисто живописной трагедии, представляющей серию эмоционально насыщенных картин.

Сюжет трагедии «Олимпия», заимствованный из романа Ла Кальпренеда «Кассандр» («Cassandre», 1642—1645), сводится к следующему. Бывший полководец Александра Македонского, Кассандр, влюбляется в свою пленницу и воспитанницу Олимпию; его соперником в любви к Олимпии является соправитель Кассандра по Македонскому царству, Антигон. Олимпия обручается с Кассандром, но вдруг внезапно узнает, что она— дочь отравленного Кассандром Александра Македонского и убитой им жены последнего, Статиры. Затем выясняется еще, что царица Статира не убита, но оправилась от смертельного ранения и скрывается в Эфесском храме, при котором состоит старшей жрицей. Статира не соглашается на брак Олимпии с Кассандром, предпочитая ему Антигона. Соперники вступают в борьбу, призывая каждый на свою сторону часть народа; храму грозит осада, ибо народ, подстрекаемый Кассандром, желает возвести

на престол законных наследниц Александра Македонского—Статиру или ее дочь. Статира умирает от душевного потрясения. Тогда в том же перистиле, перед тем же жертвенником, который был приготовлен для свадебного обряда, Олимпия отказывает обоим претендентам на ее руку и бросается в пламя жертвенного костра, а Кассандр закалывает себя мечом.

Таково содержание «Олимпии». Привычное нагромождение роковых влечений, разоблачаемых грехов, поздних узнаваний родства, черного коварства и беспредельного благородства дополнено здесь рядом чисто сценических эффектов, вроде шествия жрецов и жриц, свадебного кортежа и пылающего на алтаре костра в последнем акте трагедии. Мы видим здесь пышное развитие того самого замысла, который заставлял Вольтера незадолго до того вводить в трагедию «Танкред» сцену казни, а в «Дон Педро» — сцены собрания кортесов (см. выше).

Истинное назначение этих приемов лучше всего раскрывается в чрезвычайно характерном, не имеющем прецедента, большом подстрочном примечании автора к вводной ремарке к четвертой сцене пятого действия «Олимпии». В этом обширном примечании, занимающем две страницы текста, Вольтер подчеркивает: 1) примат сюжета в его морально-поэтическом значении над чистой эстетикой зрелища и 2) «абсолютную необходимость» искания новой сценической формы и, в связи с этим, точку зрения на данную пьесу, как на сознательный эксперимент[36].

«Если сердце не тронуто красотою стихов и правдивостью чувств,—пишет Вольтер в этом обширном примечании,—то это обилие зрелищных эффектов не удовлетворит взоров, и им не только не будут рукоплескать, но их обратят в посмешище, как пустые украшения, которые никогда не могут заменить гения поэзии. Можно думать, что именно эта боязнь смешного почти всегда ограничивала французскую сцену узким кругом диалогов, монологов и рассказов. Нам недоставало действия; это—недостаток, в котором нас упрекают иностранцы и от которого мы едва решаемся исправиться». И далее Вольтер характеризует «Олимпию», как «легкий и несовершенный набросок безусловно необходимого жанра».

Под таким же углом зрения рассматривал «Олимпию» и первый историк вольтеровского творчества, маркиз Люше[37]. Равным образом, и враждебная Вольтеру критика не отрицает, что его нововведения рассматривались современниками, как перелом. Не без умысла забывая подчеркиваемое Вольтером стремление сохранить идейную высоту содержания спектакля, один из злейших его зоилов, Клеман, еще в 1771 г. возлагал на Вольтера ответственность за то, что именно театральность «Олимпии» (а также «Танкреда» и «Скифов») соблазнила молодых писателей, которые в подражание ему превратили французскую сцену в «волшебный фонарь»[38].

Хотя Вольтер не заслуживает упрека в насаждении пустой фееричности, однако, нельзя отрицать его слабости к постановочным эффектам. Весьма показательны в этом отношении нетерпение Вольтера испробовать сценический эффект «Олимпии» на вновь сооруженной фернейской сцене и, в особенности, его заботы о показе в последнем акте алтаря и костра на нем. Об успехе этого опыта Вольтер не устает сообщать в своих письмах этого периода (за март, апрель и май 1762 г.)[39]. Но лишь по косвенным намекам его биографу удается догадаться, что на костер, «пламя которого на четыре фута возвышалось над артистами», пошло все столовое белье Ферне[40]. Спектакль этот так полюбился автору, что был не раз повторен впоследствии.

Итак, пред нами в основном выступает тот круг идей, которые составляют тему посвящения и связывают его текст со всем комплексом творческих замыслов, породивших «Олимпию». С этой точки зрения посвящение является попыткой Вольтера подытожить накопленные соображения, привести в какую-то систему его личный опыт, явившийся результатом его размышлений над Корнелем и собственных драматургических начинаний. В этом разрезе форма письма, т. е. непринужденных размышлений вслух, как нельзя более отвечала внутренней потребности поэта.

Но посвящение имеет также значение, как своего рода литературно-театральный манифест. Целью Вольтера являлось здесь не провозгласить те или иные принципы поэтики или оправдать вводимый им в плане эксперимента новый жанр, но высказать свое мнение по вопросу об основах сценичности, о сущности спектакля, о требованиях, предъявляемых к актеру—словом, говорить языком не поэта, а драматурга-практика.

Если мы подойдем к публикуемому тексту с более широкой точки зрения и пожелаем рельефнее воспринять его связь с вольтеровским наследием в целом, то нас, прежде всего, поразит особая роль, уделяемая Шекспиру при выборе позиции между ортодоксальным классическим театром и требованиями жизни. Присмотримся к этому внимательнее, это приведет нас к некоторым выводам и о своеобразном назначении самого «Посвящения Шувалову».

Диапазон и тембр вольтеровского шекспиризма общеизвестны. Многократно, в различные периоды своей жизни, Вольтер высказывался о Шекспире, притом высказывался самым противоречивым образом. Амплитуда его колебаний в отношении к Шекспиру была чрезвычайно велика. Всю жизнь, как бы помимо собственной воли, его и манила к себе и одновременно отталкивала художественная мощь британского гения. Шекспир, можно сказать, всю жизнь мучил Вольтера. Начав с пропаганды его творчества в своих «Английских письмах» (начало 30-х годов)[41], Вольтер дошел до полного его отрицания в своем старческом «Письме к Академии», оглашенном на ее заседании 25 августа 1776 г. Здесь он кается, что сам некогда способствовал проникновению Шекспира во Францию (своими переводами на французский язык монолога Гамлета и нескольких сцен из «Юлия Цезаря»); он воздает затем громкую хвалу композиции корнелевских трагедий, противопоставляя им «грубейшие экстравагантные выходки» «пьяного дикаря» и вообще весь «площадной, ярмарочный английский театр, созданный для низкой черни»[42].

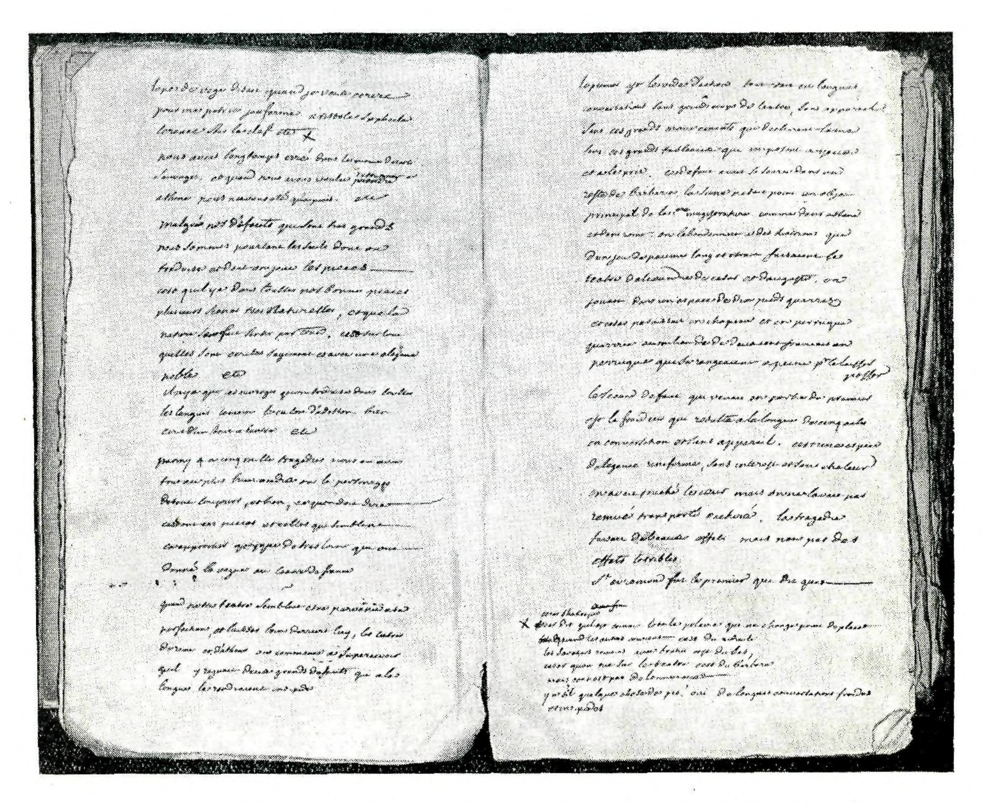
Как ни разнородны высказывания Вольтера о Шекспире, все они достаточно выпукло показывают, что Шекспир всегда оставался классово чужд эстетике Вольтера, находившейся в плену у аристократических канонов. Однако, несмотря на это, Вольтер, как художник сцены, чутьем угадывал величие и мощь Шекспира[43]. Неверно представление (якобы увязанное с марксистским анализом) о том, будто «при оценке Шекспира решающее значение для Вольтера имеет только внешность, выбор стихотворного размера и т. п.»[44]. Для Вольтера основными достоинствами Шекспира являются его сценичность, его насыщенность динамикой.

В этом отношении публикуемое «Посвящение Шувалову» содержит красноречивейшее признание неотразимости шекспировской правды. Пускай Брут появляется в пьесе Шекспира в окружении римских башмачников, пускай Цезаря убивают на сцене, на глазах у зрителей,—все это может быть «низко», все это—«варварство», но зато это не скучно, как часто бывает

во французском театре. Так, в борьбе с двумя «крупными пороками», «неизменно присущими» французскому классическому театру—с «отсутствием действия» и с «заполнением целых пяти актов одними разговорами при отсутствии обстановки», Вольтер прибегает к театру Шекспира, как к крайнему, наиболее сильному доводу.

Через два с лишним года, в феврале 1764 г., в письме к Сорену, Вольтер снова возвращается к тому же аргументу: «Но этот Жилль Шекспир, при всем его смехотворном варварстве, обладает, подобно Лопе де Вега, чертами столь наивной правдивости и столь внушительным запасом грохочущего действия («un fracas d'action si imposant»), что все резонерские рассуждения Пьера Корнеля кажутся ледяными по сравнению с трагизмом этого Жилля. До наших дней сбегаются на его пьесы и, даже считая их абсурдными, смотрят их с удовольствием»[45].

Эти строки, вместе с соответствующими строками посвящения, раскрывают отношение Вольтера к Шекспиру несравненно лучше, чем его упомянутые выше поздние антишекспировские выступления 1776—1778 гг., продиктованные соображениями полемическими и националистическими. Тем не менее, нам надо сейчас обратиться еще к одному антишекспировскому высказыванию Вольтера, появившемуся совсем незадолго до «Олимпии», в начале 1761 г. Мы говорим о рассуждении «О различных переменах, которые претерпело трагическое искусство», которое помогает понять не вполне ясное место в посвящении о том, что̀ именно сказал Сент-



АВТОГРАФ ПОСВЯЩЕНИЯ И. И. ШУВАЛОВУ ТРАГЕДИИ „ОЛИМПИЯ“ ВОЛЬТЕРА
Листы 7 об.-8 тома IX рукописей библиотеки Вольтера
Публичная библиотека, Ленинград

Эвремон (крестики на полях черновика «Посвящения» допускают также другую, а не только приведенную нами, последовательность текста).

С сочинениями Сент-Эвремона, этого убежденного англомана времен Людовика XIV, Вольтеру приходилось иметь дело в связи с его работой по комментированию сочинений Корнеля, когда он заново пересмотрел также весь знакомый ему шекспировский репертуар. Биографию Сент-Эвремона Вольтер упоминает (по совершенно иному поводу) в ноябре 1759 г.[46]. В принадлежавшем Вольтеру экземпляре «нового издания» (s. l., 1740) III тома «Œuvres de Monsieur de Saint-Evremond» одна из закладок (перед стр. 225) указывает на отрывок крайне близкий тексту «Посвящения». Совершенно четкие, почти дословные сближения с ним дает упомянутое вольтеровское рассуждение «О различных переменах». Там мы читаем, между прочим: «Был и другой недостаток, который остался незамеченным. Он был вскрыт лишь Сент-Эвремоном. Он сказал, что наши пьесы не производят достаточно сильного впечатления... Следует признать, что Сент-Эвремон вложил перст в тайную язву французского театра». Положение об единстве материала, из которого сложены как посвящение «Олимпии», так и рассуждения «О различных переменах», лучше всего подкрепляется произведенным нами сличением параллельных мест; их выявлено нами не менее десяти[47].

Что же представляет собой это столь близкое нашему «Посвящению» произведение Вольтера? Речь шла о кровной обиде, нанесенной французскому театру двумя английскими очерками, появившимися в переводе аббата Прево в «Journal Encyclopédique» в номерах от 5 октября и 1 ноября 1760 г. Очерки эти представляли параллели между Шекспиром и Корнелем, в одном случае, и Отвеем и Расином, в другом, причем в обоих случаях преимущество отдавалось английским авторам. Вольтер пришел в негодование, которым поделился с Даржанталем и с Про[48]. Не предавая дело огласке, он к концу года изготовил памфлет «Апелляция ко всем нациям по поводу суждения одного английского писателя о французском театре, или Манифест относительно спора о почестях штандарта между английским и французскими театрами»[49]. Памфлет этот содержал: 1) краткую вводную часть, 2) разборы «Гамлета» (Plan de la tragédie «Hamlet») и «Сироты», якобы аналитически беспристрастные, но, в действительности, преисполненные истинно вольтеровского издевательства, 3) «Краткие размышления», дававшие разбор «Отелло», и 4) рассуждение «О различных переменах, которые претерпело трагическое искусство».

В целом задачей памфлета являлась защита драматургической системы Корнеля и Расина от английских критиков, отдававших предпочтение своей отечественной драматургии.

Этому произведению Вольтера не повезло. Отрывок из латинских «Разговоров» («Sermones festivi») писателя начала XVI века, Урцея Кодра, Вольтер приписал здесь какому-то монаху-проповеднику Codret. Это явилось мишенью для нападок критики. Анонимность сохранить не удалось, и Вольтеру ничего не оставалось, как поспешить поскорее затушить разговор об этом вопросе. Начиная с апреля—мая 1761 г., когда герцог де Ла Вальер в письме от 9 апреля[50], опубликованном в «Journal Encyclopédique» в номере от 15 мая 1761 г., публично извинился в том, что именно он ввел Вольтера в заблуждение, мы долго не встречаем в корреспонденции Вольтера никаких упоминаний об этом памфлете. Да и вообще он был забыт настолько основательно, что все издатели Вольтера,

не исключая и Бешо, игнорировали это сочинение и воспроизводили его издание 1761 г. под заглавием «Du théâtre anglais, par Jerôme Carré», т. е. в той форме, в которой Вольтер вторично пустил его в оборот три года спустя.

Теперь же оказывается, что в течение этого времени материал этот не лежал неподвижно: в посвящении «Олимпии» Вольтер снова призывает к вниманию к болячкам театра, причем широко использует текст не сумевшей ему послужить «Апелляции», а затем, при вторичной переработке памфлета для печати, использует текст нашего «Посвящения». Так, например, рассуждение «Об английском театре, Жерома Карре» включает фразу об убожестве оборудования французского театра[51], отсутствовавшую в издании «Апелляции» 1761 г., но близко соответствующую словам посвящения: «Играли на пространстве десяти квадратных футов, и когда Цезарь, в шляпе и четыреугольном парике, появлялся среди толпы в 200 человек французов» и т. д.

Тем любопытнее отметить, что как только у Вольтера остыл полемический задор, он, вразрез с установками своего антибританского памфлета, засвидетельствовал в посвящении «Олимпии» свое глубокое восхищение Шекспиром. И как ни скромно это свидетельство, однако, при надлежащем его учете в свете сопоставлений, диктуемых конкретной обстановкой его появления, оно может пролить некоторый свет на столь часто, но довольно бесплодно трактованный вопрос о шекспиризме Вольтера.

Но для нас сейчас важно иное: в том, что за эти годы выходило из под пера Вольтера, начинает ясно звучать новая нотка. Сознавая себя охранителем истинного просвещения и арбитром изящного вкуса, Вольтер ощущает с особой остротой процесс усвоения французской культуры европейской периферией. Полемическую резкость своих комментариев к «Цинне» Корнеля он склонен объяснять и оправдывать стремлением к истине. По его признанию, комментарий «должен явиться вместе и грамматикой и поэтикой». «Помните, — восклицает он, — что иностранцы по этой книге должны будут учиться французскому языку... Наш язык изучают в Москве, в Копенгагене... в Лиссабоне. Существенно то, чтобы там не могли принимать неудачные обороты за сценические красоты» (письмо к Даламберу от 15 сентября 1767 г.). Комментарием к Корнелю Вольтер с удовольствием занимается лишь в надежде на то, что этот комментарий будет содействовать распространению французского языка в Европе (письмо к Шувалову от 19 сентября)[52].

Особенно часто под пером Вольтера начинают появляться в это время русские собственные имена, что не может быть поставлено в связь с «милостями» Екатерины, относящимися к более позднему времени. «Произведения этого ждут в Петербурге, в Москве, в Яссах, в Каменце»,—сообщает Вольтер о «Комментарии на Корнеля» аббату д'Оливе в октябре 1761 г.[53]. Через полгода он пишет Даржанталю: «Тогда как мы являемся подонками рода человеческого, на французском языке говорят в Москве и Яссах; но кому мы обязаны этим почетом? Дюжине граждан, преследуемых у себя на родине» (письмо от 4 апреля 1762 г.)[54]. Наконец, в упомянутой «Апелляции» Вольтер обращается в начале 1761 г. «ко всем читателям от Петербурга до Неаполя», уверенный, что «нет такого просвещенного человека, будь то русский, итальянец, немец, испанец, и нет швейцарца или голландца, который бы не знал, например, „Цинны“ и „Федры“».

Будучи твердо уверен в безусловном превосходстве французского классицизма над всеми другими литературными стилями и видя свою задачу

в том, чтобы быть истолкователем и пропагандистом классической поэзии, Вольтер нередко прибегает в это время к столь характерному для него способу поучения в форме посланий к иноземцам, имевшим большее или меньшее влияние на литературную жизнь своей страны. Наиболее ярким документом такого рода является пространное письмо Вольтера итальянскому писателю маркизу Альбергати-Капачелли от конца 1760 г.[55]. Такой же характер имеет и письмо Вольтера к Сумарокову (1769 г.), посвященное вопросу о комедии и являющееся своеобразной параллелью к рассуждению о трагедии, заключенному в «Посвящении „Олимпии" г. Шувалову». Цель посланий Вольтера к Сумарокову и Шувалову была одна и та же: разъяснить русским читателям, и в первую очередь читателям, причастным к литературе, «истинные основы» искусства. Именно потому оба эти послания явно были рассчитаны на печать[56].

Если это так, то почему же посвящение «Олимпии» Шувалову не было опубликовано? Почему несомненное для нас намерение автора не получило воплощения? Для того, чтобы дать ответ на этот вопрос, необходимо сначала выяснить, как датируется наше посвящение.

Первое упоминание о посвящении мы находим в письме Вольтера к И. И. Шувалову от 14 ноября 1761 г. Говоря в нем о своей «Истории России в царствование Петра Великого», Вольтер заключает письмо сообщением, что намерен посвятить И. И. Шувалову «некое иное произведение». «Я недавно написал трагедию в довольно своеобразном роде,— пишет он,—и с вашего разрешения посвящу ее вам. Это посвящение явится рассуждением о драматическом искусстве, в котором я попытаюсь высказать несколько новых мыслей». Вольтер не скрывает, что ищет в имени И. И. Шувалова «опоры своему имени», и кончает письмо обычным для него комплиментом: «Мне будет весьма лестно и приятно публично высказать вам все, что я думаю о вас, об изящных искусствах и о пользе, которую вы им приносите». А непосредственно за этим следуют строки, почти дословно совпадающие с соответствующими строками «Посвящения»: «Это тоже одно из чудес Петра Великого, что среди болот, где во времена моего детства не было ни одного дома, появился покровитель искусств и воздвигся столичный город, которым восхищается Европа. Это предмет и моего живейшего восхищения». Итак, Вольтер не только сообщает здесь Шувалову о своем намерении написать ему посвящение какой-то (не названной) трагедии, но отчасти даже предвосхищает в письме текст этого посвящения.

Через месяц, 23 декабря 1761 г., он снова пишет Шувалову (из Делис): «Льщу себя надеждой, что вы приняли мое подношение новой трагедии... Мне будет весьма утешительно, если я сумею высказать публике все то, что думаю о вашей особе»[57].

В том, что эти слова относятся именно к «Олимпии» и к опубликованному нами посвящению ее И. И. Шувалову, ни малейшего сомнения быть не может. За комплиментами русскому вельможе скрывались, однако, интересы просветителя, стремившегося пропагандировать свои воззрения и перенести на русскую почву свой богатый театральный опыт. Эти стремления Вольтера имели определенное основание, ибо российские театральные начинания 60-х годов XVIII в. носили на себе явственные следы влияния Вольтера. Пьесы Вольтера довольно часто ставились в это время при русском дворе; так, в первую зиму царствования Екатерины II придворными кавалерами и дамами были разыграны целых три его пьесы[58]. Несколько позже, уже в начале 70-х годов, Вольтер предложил Екатерине II

СЦЕНА ИЗ ЛОЖНО-КЛАССИЧЕСКОЙ ТРАГЕДИИ
Рисунок Моро-младшего
Эрмитаж, Ленинград

свою трагедию «Законы Миноса» для постановки в «русском Сен-Сире», т. е. Смольном монастыре, в котором Екатерина в то время создала закрытое учебное заведение для девочек. Однако, с таким великим почитанием Вольтера в Петербурге уживалось и неменьшее непонимание вольтеровской драматургии: так, несколькими годами позднее в Эрмитажном театре шел «Танкред» с переделанным на счастливый лад концом[59].

Добавим к этому и то, что первый том вольтеровской «Истории России в царствование Петра Великого» большого успеха среди публики—особенно в России—не имел. В течение двух лет, прошедших со времени появления его в свет, Вольтер не спешил с выпуском второго тома, и это сильно расхолаживало его русских заказчиков. Стремление Вольтера иным путем снискать благосклонность своих покровителей в России можно считать поэтому вполне вероятным. Кроме того, вторая половина Семилетней войны вообще является периодом, когда Вольтер стремился оживить и заново укрепить свои связи с сильными мира сего; в это время у него впервые завязываются непосредственные отношения с русским двором, возобновляется переписка с Фридрихом II, а трагедия «Танкред» снабжается пышным и льстивым посвящением недавнему врагу Вольтера, фаворитке Людовика XV, маркизе Помпадур. Таким образом, любезность Вольтера по отношению к И. И. Шувалову, этому «русскому маркизу Помпадур», как его впоследствии называл Вольтер, была весьма своевременной.

Сделаем здесь небольшое отступление, необходимое, чтобы пополнить сведения о публикуемом нами тексте.

В конце рукописи посвящения имеются три строки, написанные рукой Ваньера: «Состояние литературы... Порча вкуса, литературный разбой, смешные выражения... стиль бессвязный и жесткий».

Эти строки, несомненно, относятся к последней трети января 1761 г.

Чтобы убедиться в этом, достаточно перечесть такие документы, как письмо Вольтера к аббату д'Оливе от 22 января 1761 г.[60] и первое из «Писем к г. де Вольтеру о Новой Элоизе или Алоизии Жан-Жака Руссо, женевского гражданина», вышедших в первых числах февраля 1761 г. от имени маркиза Хименеса, а в действительности написанных самим Вольтером[61]. Эти строки, написанные рукой Ваньера, являются не чем иным, как одним из первых резюмирующих откликов Вольтера на чтение только-что полученного им нового романа Руссо; все те «смешные выражения», которые в них приведены, встречаются в вышеупомянутом письме к д'Оливе и в памфлете, изданном от имени маркиза Хименеса[62]. Но возможность точно датировать эту переписку Ваньера не подсказывает никаких выводов для установления даты посвящения трагедии «Олимпия». Эти строки скорее осложняют этот вопрос, так как заставляют предполагать, будто текст «Посвящения» был написан около января 1761 г., т. е. гораздо раньше создания самой трагедии «Олимпия».

Можно ли, однако, хронологически сближать посвящение «Олимпии» с этим моментом? На этот вопрос можно дать лишь отрицательный ответ. Пусть ряд размышлений автора «Новой Элоизы» о слабых сторонах французской трагедии (в XVII письме второй части этого романа) и, в частности, о преобладании в ней разговоров над действием[63], мог найти со стороны Вольтера сочувственный отклик (не получивший, однако, внешнего выражения); но несомненно, что не эти размышления непосредственно породили наш текст.

Зато строки Ваньера, если можно так выразиться, материально-архивно связывают самые листки нашего черновика с теми самыми днями начала 1761 г., когда Вольтер не только читал новый роман Руссо, но и работал над «Апелляцией»; тем более вероятно, что и другие материалы, нашедшие отражение в этом памфлете, оказались у автора под рукой через год— при написании посвящения.

Считать связь текста «Посвящения» с трагедией «Олимпия» чисто случайной и допустить, что оно было написано Вольтером только из желания посвятить И. И. Шувалову вообще какое-нибудь из своих произведений, вряд ли возможно. Действительно, в письмах Вольтера к И. И. Шувалову за зиму 1760—1761 г. мы не встречаем никаких намеков ни на подобное намерение, ни на самый текст посвящения. Зато все письма, в которых о нем упоминается, относятся к следующей зиме 1761—1762 г.

Ответ И. И. Шувалова на предложение Вольтера посвятить ему «Олимпию» до нас не дошел. Известно, однако, что это предложение было принято благосклонно. Это видно из письма Вольтера к Даржанталю от 4 января 1762 г., в котором Вольтер сообщает ему о том, что «на краю света живет человек, безумно жаждущий посвящения»[64]. А в письме к Шувалову от 15 марта того же года Вольтер выражает удовлетворение тем, что его адресат соблаговолил принять публичное изъявление его чувств к нему, и прибавляет: «Если произведеньице, о котором идет речь, встретит у публики благосклонный прием, это позволит мне с тем большей уверенностью поднести его вам»[65].

В тот момент, когда Вольтер писал это письмо, он, очевидно, рассчитывал на то, что И. И. Шувалов пользуется милостями нового двора. Но в интервале между письмами царствование покровительницы Шувалова Елизаветы сменилось крайне ей враждебным царствованием Петра III; франкофильскому направлению русской политики пришел конец, и звезда

бывшего фаворита Елизаветы начала закатываться. Вести об этом не могли не дойти до Ферне[66], тем более, что через несколько месяцев ход событий в связи с воцарением Екатерины лишь ускорился, и Шувалову вскоре пришлось удалиться не только от двора, но даже за пределы России. Вольтер же с первых месяцев правления Екатерины, как известно, начал завязывать все более тесные связи с новой императрицей и, сильно дорожа ими, естественно, поостерегся выставить опальное имя Шувалова на следующем издании «Олимпии», несмотря на то, что первые издания, повидимому, отнюдь не свидетельствовали о холодном приеме публики[67].

Тем не менее, личные отношения с бывшим всесильным фаворитом Елизаветы у Вольтера не прекратились. Впоследствии, во время своих странствований по Европе, И. И. Шувалов посещал Ферне и был там радушно принят. Равным образом, и в письмах Вольтера мы неоднократно встречаем самые лестные и благожелательные отзывы об этом «бывшем русском императоре». И потому в судьбе не увидавшего свет посвящения «Олимпии» приходится винить лишь ход русских политических событий.

Подытоживая, можно лишь пожалеть о том, что этот проект Вольтера не получил воплощения. В самом деле, при том громадном авторитете, которым Вольтер пользовался у своих культурных русских современников, посвящение «Олимпии» Шувалову могло бы значительно повлиять на развитие русской трагедии в направлении от классического канона к буржуазной драме.

Нельзя не пожалеть также о том, что наш документ не был ранее введен в научный оборот. Хотя мы и указывали на существование параллельных, аналогичных выступлений Вольтера по вопросам драмы и театра, было бы, однако, неверно видеть в публикуемом тексте лишь рядовой вариант высказываний Вольтера о театре. Слишком ярки и откровенны отдельные формулировки посвящения, и слишком своеобразен момент, их породивший, чтобы исследователь мог пренебречь ими при установлении подлинной позиции Вольтера в его исканиях правдивого, чувствительного, патетического и сценически действенного спектакля. Именно в этом настойчивом провозглашении начал нового театра (по существу — уже сентиментального, преромантического по своим установкам), именно в осуждении всей практики старой сцены, при строжайшем отборе лишь единичных крупиц из всего пересмотренного наследия классической драматургии, наконец, именно в откровенном признании силы Шекспира — основная ценность и интерес нашего текста.

Учтем, наконец, момент написания посвящения. Пронизывающее его осознание кризисного, застойного состояния французского театра и вытекающее отсюда перенесение центра внимания с чистой поэтики на театральную практику не случайны в 1761 г. Всего за несколько лет до того были сделаны первые попытки реалистической реформы трагического костюма, а сцена театра Французской комедии освобождена от восседавшей на ней аристократической молодежи. Всего за два-три года до «Олимпии» юный Гёте впервые столкнулся со столь поразившими его обычаями французских спектаклей, и примерно в ту же пору Руссо устами героя своей «Новой Элоизы» попытался вскрыть те же язвы парижской сцены. С листков наших черновиков веет тем критическим духом, который побуждает Дидро в эти же годы бороться за буржуазную реформу театра.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Caussy (F.), Inventaire des manuscrits de la Bibliothèque de Voltaire conservée à la Bibliothèque Impériale Publique de St.-Pétersbourg (Extr. des Nouvelles Archives des Missions Scientifiques, nouvelle série, fasc. 7). P., 1913, 41.

[2] Moland, XLI, №№ 4749 и 4782 от 14 ноября и 23 декабря 1761 г. (527 и 559).

[3] Bachaumont, Mémoires secrets, запись от 17 марта 1770 г.

[4] См. бесплодную попытку Вольтера в 1778 г. добиться от Амело переименования труппы «королевских комедиантов» (Французской комедии). Подлинник этой переписки—в Ленинграде, в IX т. рукописей библиотеки Вольтера. По копии в парижской Национальной библиотеке (Nouv. Acquis. Fr. 31) она была опубликована Caussy в журнале «La Revue», LXXXVIII, 446 сл.).

[5] Ср. Moland, I, 414—421 (Лекэн). О соответствующем месте рассказа Лоншана—Meinhardt (G.), Voltaire und seine Sekretäre, Berlin, 1916.

[6] Moland, XXXV, 306, № 1184—к M-lle Кино от 27 июля 1739 г.

[7] См. рассказ Collé в его «Journal Historique», цит. Moland, V, 3.

[8] Ср. Moland, XXXVIII, 114, № 2636, и Desnoiresterres, V, 3.

[9] Desnoiresterres, VI, 29 сл.

[10] Moland, XXXIII, 248, № 243—к Сидевилю от 8 марта 1732 г.

[11] Moland, XLI, 110—122, № 4387.

[12] О «Sottisier» см. Caussy, Inventaire, 22 [неточно!]. Большая часть рукописи воспроизведена у Moland, XXXII.

[13] «Préface de l'édition de 1729» к трагедии «Эдип».

[14] Moland, XXXVII, 475, № 2421—к Даржанталю от 1 сентября 1752 г. (пунктуация сомнительна, лучше последние три слова первой фразы отнести к началу второй—«Avec ma barbe grise j'en suis honteux»). Ср. «Рассуждение о трагедии» («Dissertation sur la tragédie»), предпосланное трагедии «Семирамида».

[15] Moland, XLII, 406, № 5209. Ср. Desnoiresterres, VI, 281.

[16] Moland, XLI, 587, № 4781—к Даржанталю от 23 декабря 1761 г. (весь второй абзац). Ср. Moland, XXXIX, 190, № 3336, XLV, 204, и №№ 6832 и 6848; Desnoiresterres, VII, 170 и 186 сл., а также неоднократно в других местах.

[17] Moland, XLI, 500, № 4726—письмо Даламбера из Парижа от 31 окт. 1761 г.

[18] Moland, VII, 239 сл. (см. 241). Однако, в «Замечаниях» на Кельское издание (см. ниже, стр. 173 и 179) Ваньер категорически утверждает (стр. 6), что сочинена была эта трагедия не в 1774, а в 1772 г.

[19] Moland, VII, 243 сл. (в первом из названных очерков).

[20] Ibid., 249—252.

[21] Намек на происшедшее незадолго до того (в 1759 г.) освобождение сцены от зрителей, занимавших места с обеих сторон просцениума и крайне затруднявших возможность осуществления на сцене каких-либо постановочных эффектов.

[22] Moland, XLI, 345, № 4594.

[23] Ibid., 360, № 4602, и 389, № 4632.

[24] См. прим. 19.

[25] Будучи сам 15 лет членом петербургской Академии наук и подробно о ней упоминая в своей «Истории Петра I», Вольтер, разумеется, не мог сознательно приписывать Шувалову учреждение Академии в Москве: он либо допустил ошибку в черновике, либо, вероятнее, употребил слово «académie» не в частном, а в общем смысле «ученого учреждения».

[26] Moland, XLI, № 4698. Словом «tripot» («кабак», «вертеп») Вольтер, как известно, обозначал мир подмостков.

[27] Ibid., 488, № 4714.

[28] Ibid., 489, № 4715.

[29] Ibid., 491, № 4720—к кардиналу де Берни.

[30] См. «Avertissement» к «Олимпии» в Кельском издании, по изд. Бешо цитируемое Desnoiresterres, VI, 223, note 3; ср. Moland, XLII, 71—74, 79, 123.

[31] Moland, XLI, 524, № 4747.

[32] О датировке этого письма (до 22 декабря 1763 г. или после 13 января 1764 г.) см. соображения Л. Молана, Moland, XLIII, 68 сл.

[33] Moland, XXV, 145, 148. О подходе Вольтера к отделке набросков см. отрывок Лоншана, цитируемый в книге Meinhardt (G.), Voltaire und seine Sekretäre, Berlin, 1916, 86 сл. (отрывок цитируется здесь по Havard A., Voltaire et M-me du Châtelet. Révélations d'un serviteur attaché à leurs personnes, P., 1863).

[34] Поставлена в Comédie Française 17 марта; слухи о предстоящей постановке шли,

однако, уже в 1762 г. (Mémoires de Bachaumont, XVI, 135). До Парижа шла уже в Ферне и в Маннгейме.

[35] Moland, L, 108, № 9866—к Даржанталю от 18 сентября 1776 г. и намеки в письмах от 19 июля и 27 августа того же года (№№ 9808 и 9834).

[36] См. особенно заключительные слова этого примечания. Ср. письмо к Колини от 23 апреля 1762 г. (Moland, XLII, 96, № 4887) и, особенно, письмо к Даржанталю от 17, 18 и 20 апреля (ibid., 90—94, № 4884): «Нельзя, чтобы в этом произведении имелась хоть единая черта, напоминающая трагедии, к которым все привыкли. Это, несомненно, спектакль нового рода». Еще показательнее мотивировка выпуска в свет издания этой трагедии в письме к Даламберу от 25 февраля 1762 г.: «Я избрал этот сюжет не столько в целях создания трагедии, сколько ради написания книжки примечаний в конце пьесы» (Moland, XLII, 50, № 4846).

[37] Luchet (marquis de), Histoire littéraire de monsieur de Voltaire, Cassel, 1780, III, 193. См. любопытное свидетельство в «Pensées détachées» венгерского графа Féketé во втором томе рукописей библиотеки Вольтера, л. 265, воспроизведенных в женевском издании 1781 г. «Mes Rapsodies» Фекете.

[38] Clément, Observations critiques, Genève, 1771, 392 (цит. по Desnoiresterres, VIII, 14, note 1).

[39] Постановка «Олимпии» 24 марта была повторена 17 и 20 апреля и в первых числах июня (ср. письмо Даржанталю от 31 мая, Moland, XLII, 123, № 4914). Подробнее о мизансцене и ходе первого спектакля см. в письме герцогу де Виллар от 25 марта (ibid., 71—74, № 4867). Интересные указания о технике постановки см. в письмах Вольтера к Колини, например, в №№ 5023, 5026, 5041, изд. Moland (ср. Meinhardt G., op. cit., 141).

[40] На основании письма к Даржанталю от 27 апреля 1762 г. (Moland, XLII, 98, № 4889)—Desnoiresterres, VI, 228.

[41] «Lettres philosophiques», XVIII. (Ср. Charrot Ch., RHL, 1912, 174).

[42] Напр., в письме к Альбергати-Капачелли от 4 июня 1762. г. (Moland, XLII, 125, № 4916).

[43] См. Moland, I, 332 сл. (энтузиазм при слушании партии Ромео); там же—эпитеты «barbare aimable» и «fou séduisant», а также—патриотическая подоплека полемики: «не будь войны с Англией, с творцом ее театра обошлись бы лучше».

[44] Варнеке Б., Путь к Шекспиру.—«Театр и Драматургия», 1933, №№ 1 и 2; там же подчеркнута «неспособность Вольтера оценить сущность таланта Шекспира».

[45] Moland, XLIII, 140, № 5576.

[46] Moland, I, 54 («Mémoires pour servir à la vie de M. de Voltaire écrits par lui-même»).

[47] По изд. Moland, XXIV, 216, 218 (bis), 219 (ter.), 219—220.

[48] Moland, XLI, № 4377 сл.; ср. № 4367 (от 16 декабря, как и первое из писем Даржанталю) с упоминанием о «варварах-англичанах» и относительно вопросов сюжета и мизансцены.

[49] «Appel» вышел в свет в первой половине января 1761 г.—Bengesco, II, 96 сл., № 1658 и IV, 226 сл., № 2208.

[50] Moland, XLI, 526—528, № 4749.

[51] Ср. Moland, XXIV, 219 note.

[52] Moland, XLI, 444, № 4676, и 448, № 4683.

[53] Ibid., 507, № 4730.

[54] Moland, XLII, 85, № 4878.

[55] Moland, XLI, 110—122, № 4387.

[56] Помимо самого характера текстов, об этом свидетельствует, напр., Moland, XLI, 140.

[57] См. прим. 2.

[58] Письмо Пикте к Вольтеру от 19/30 сентября 1762, Moland, XLII, 287, № 5089.

[59] «Mémoires posthumes du feld-maréchal Comte de Steding, rédigés... par... Bjoernstjerna», I, P., 1844 (письмо от 22 сентября 1790 г.).

[60] Moland, XLI, 165 сл., № 4431.

[61] О дате см. замечание Бешо.—Moland, XXIV, 165.

[62] См. Moland, XXIV, 166, 169.

[63] J.-J. Rousseau, Œuvres complètes, P., Hachette, IV (1909), 172—176.

[64] Moland, XLII, 4, № 4797.

[65] Ibid., 64, № 4859.

[66] Ср. Moland, XLII, 64 сл., №№ 4857 и 4859, и Charrot, RHL, 1912, 679.

[67] Ср. Bengesco, I, 65—67, №№ 255—259.

II. СОБРАНИЕ ПИСЕМ ВОЛЬТЕРА ИЗ АРХИВА ВОРОНЦОВЫХ

Среди богатых материалов архива Воронцовых, хранящегося в собраниях Института истории Академии наук СССР (Ленинградское отделение), имеются два сборника автографов Вольтера. Один из них (по описи архива № 1208) содержит подлинники 14 писем Вольтера к А. Р. Воронцову, опубликованные в «Архиве кн. Воронцова» в 1872 г.[1]. Другой сборник заслуживает особого внимания. Его материалам и посвящается настоящая глава.

Сборник этот в кожаном переплете (25×18,5 см), с золотым тиснением и с гербом Воронцовых в качестве супер-экслибриса; в нем 356 листов, пронумерованных синим карандашом.

По описи архива этот рукописный сборник значится под названием «Nr. 1134, Lettres autographes de Voltaire».

Это—собрание 178 писем Вольтера (за исключением одного—собственноручных), к которым присоединен сделанный рукой писца список со стихотворного послания Вольтера к маркизе де Сен-Жюльен.

Письмам предпослана опись на пяти листах, в которой, на основании имеющихся в письмах датировок, а также проставленных адресатом пометок, указаны дата и адресат каждого письма.

Адресатом большинства писем является граф Даржанталь (d'Argental), незначительное число писем адресовано его жене и брату, Пон де Вейлю (Pont de Veyle), и, наконец, одно письмо г-же де Солар. По очевидному недосмотру составителя описи, два самостоятельных письма помещены в ней под № 23, почему опись и насчитывает на единицу меньше фактического количества номеров: таким образом, и последняя из входящих в сборник рукописей (список стихотворения, посвященного г-же де Сен-Жюльен) стоит под № 178 вместо нужного № 179.

Опись имеет дату и надпись: «11 Апреля 1912 г. Ю. Линден» и печать: «Главная контора по имениям графини Е. А. Воронцовой-Дашковой».

Особый интерес представляет французский заголовок описи: «Table de q u e l q u e s l e t t r e s de Voltaire recueillies dans un manuscrit» («Оглавление рукописного собрания н е с к о л ь к и х п и с е м Вольтера»). Обратив внимание на довольно близкое совпадение текста этого заголовка с фразой в одном из писем к А. Р. Воронцову, Н. С. Платонова (детально изучавшая этот сборник в 1926—1930 и 1935 гг.) пришла к весьма вероятному предположению о времени и путях поступления настоящего собрания вольтеровских писем в библиотеку Воронцовых. Текст заголовка легко сблизить со следующими строками письма к канцлеру Александру Романовичу Воронцову из Парижа от 5 апреля 1803 г., в которых русский посол во Франции, граф А. М. Морков, сообщает Воронцову о приобретении для него и посылке по его адресу «н е с к о л ь к и х п и с е м В о л ь т е р а, с п л о ш ь с о б с т в е н н о р у ч н ы х, с о б р а н н ы х о д н и м л ю б и т е л е м, с р е д и к о и х н е к о т о р ы е н а п е ч а т а н ы н е б ы л и»[2]. Это сближение подкрепляется и анализом внешнего вида сборника. Опираясь на авторитет Н. П. Лихачева, Н. С. Платонова относит золотое ампирное тиснение переплета к н а ч а л у XIX в е к а и подтверждение этому видит в том обстоятельстве, что супер-экслибрис изображает не княжеский, а г р а ф с к и й герб Воронцовых, которые княжеский титул получили лишь в 1845 г. Таким образом, сборник этот

связывается с личностью канцлера, графа Александра Романовича Воронцова (1741—1805).

Это был один из самых серьезных и искренних читателей и почитателей Вольтера в России и один из наиболее образованных русских вельмож XVIII в. вообще. Еще в елизаветинскую пору, получив дома полуфранцузское воспитание, А. Р. Воронцов закончил образование в Версале. О своем путешествии по Европе и о годах учения в Версальской школе легкой кавалерии он рассказал в «Автобиографической записке», составленной им на французском языке в 1805 г., в годы старости, в последние месяцы жизни. Здесь он вспоминает, между прочим, о впечатлениях, полученных от самого «знаменитого человека» и от его трагедий, и о том поощрении, какое его интерес к Вольтеру встречал со стороны старшего поколения. Там же вспоминает он и об Арну, преподававшем в школе легкой кавалерии изящную словесность и литературу, «бывшем секретаре» Вольтера: юноша Воронцов брал у него частные уроки и «с увлечением слушал его рассказы о Вольтере и ученой маркизе» (г-же Дю Шатле)[3]. Проведя многие годы за границей в эпоху, когда Вольтер был властителем передовых умов, Воронцов увлекся им с самого начала своей дипломатической карьеры. Личное его знакомство с Вольтером состоялось в 1757 г. в Шветцингене, при дворе пфальцграфа, а затем он посетил Ферне в 1760 г.; он переписывался с Вольтером[4] и до конца жизни не переставал живо им интересоваться.

Эти биографические данные идут вполне навстречу высказанному выше предположению, что первым русским владельцем публикуемого здесь собрания писем Вольтера был именно он, канцлер Александр Романович Воронцов.

Подлинность этих вольтеровских автографов несомненна. Помимо хорошо известного почерка Вольтера, подлинность документов наглядно подтверждается сохранившимися на многих письмах собрания следами от сгиба листов, надписанными адресами, остатками облаток и печатей, наконец, почтовыми штемпелями и пометками.

Письма, заключающиеся в Воронцовском собрании, относятся к 17-летнему промежутку времени от 1734 по 1751 гг., т. е. к периоду жизни Вольтера в замке Сире, у маркизы Дю Шатле, их совместных путешествий, пребывания в Лотарингии у бывшего польского короля Станислава Лещинского, и к первым полутора годам пребывания Вольтера в Пруссии, куда он уехал в 1750 г., вскоре после смерти г-жи Дю Шатле.

Как уже сказано, большинство писем адресовано к Даржанталю. Отметим тут же, что во всем необъятном эпистолярном наследии Вольтера нет ни одного адресата, к которому письма направлялись бы в таком изобилии. Это отразилось и на всех изданиях вольтеровской переписки. В последнее, вышедшее в 80-х годах прошлого века, полное собрание сочинений Вольтера (под редакцией Молана) письма к Даржанталю, включая сюда же значительное число писем к жене Даржанталя и к его брату, Пон де Вейлю, вошли в количестве 1 094 экземпляров. Для понимания и изучения публикуемой нами части вольтеровского эпистолярного наследия необходимо иметь представление о личности этого главного корреспондента Вольтера и, конечно, прежде всего, о характере существовавших между ними отношений.

К сожалению, дошедшая до нас переписка—односторонняя: ответные письма Даржанталя до нас не дошли. Плохо сохранилась переписка Дар-

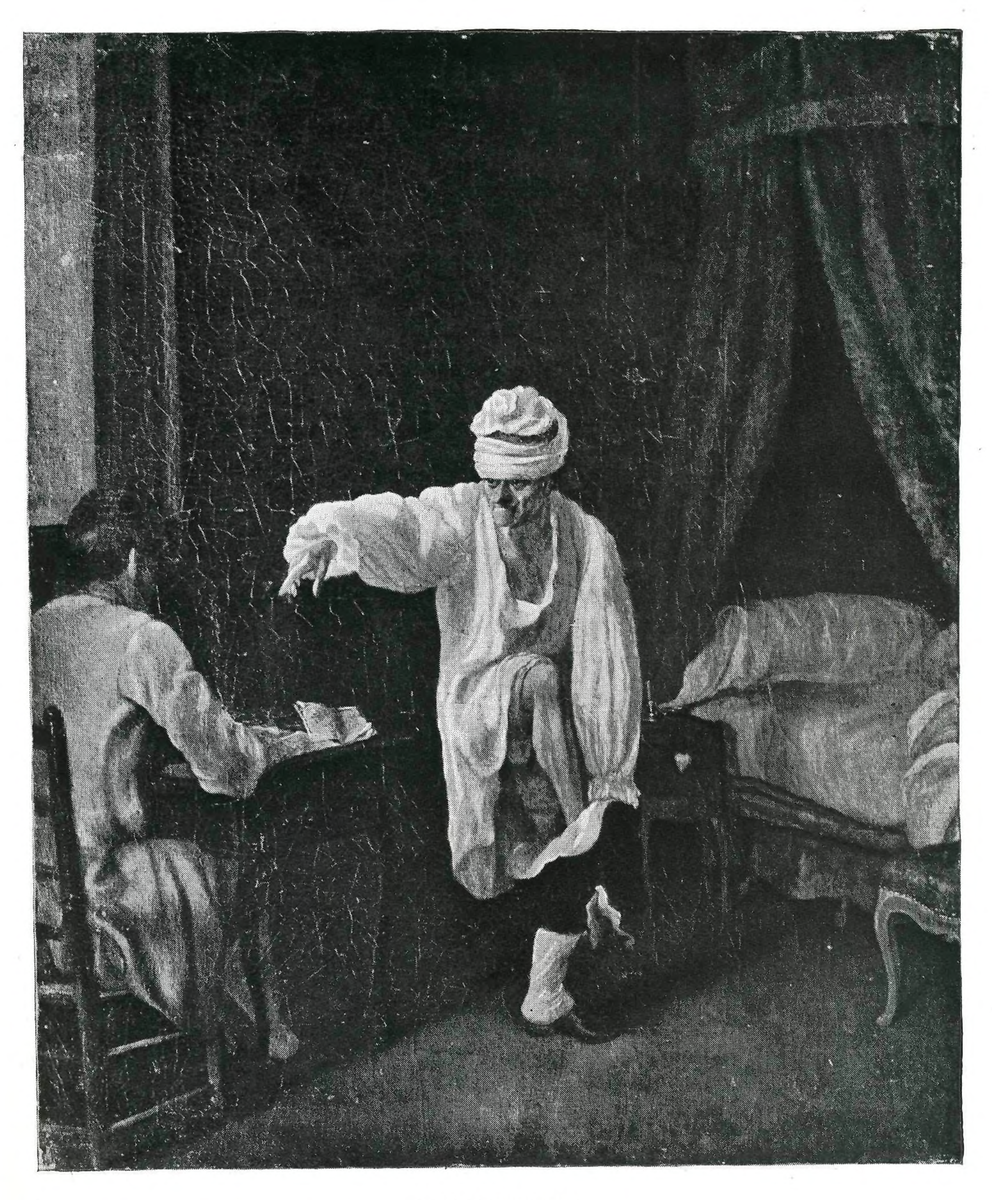
жанталя и с другими лицами. Интересующую нас характеристику дают поэтому только письма самого Вольтера, с весьма скудными дополнениями и поправками к ним в виде отзывов и откликов кое-кого из его современников.

Шарль-Огюстен де Ферриоль, граф Даржанталь (Charles-Augustin de Ferriol, comte d'Argental, 1700—1778) не только состоял в более чем полувековой дружбе с Вольтером, с которым встретился еще на школьной скамье, в коллегии Людовика Великого, но всю жизнь был неизменным и самым доверенным его советчиком в литературных и житейских вопросах. Вольтер роптал порой на иные из приговоров «трибунала» своего «триумвирата», как он именовал самого Даржанталя, его жену и его младшего брата—Пон де Вейля, который также был школьным товарищем Вольтера. Но все же с решениями «трибунала» считался, вносил поправки по его указаниям и постоянно в своих практических делах прибегал к советам своих ангелов-хранителей, как он то и дело величал их в письмах. Такое наименование, в данном случае, не было лестью могущественным покровителям, которую, как известно, мастерски и в изобилии умел расточать Вольтер. Здесь отношения были именно дружеские и интимно-деловые.

Не будучи ни влиятельными магнатами, ни какими-нибудь законодателями моды в области литературы, братья Ферриоль, по характеру своих интересов и занятий, по кругу своих знакомств и связей, для устройства театральных и литературных дел Вольтера, а также дел «тяжебных» (а ими изобилует вольтеровская биография) были, пожалуй, ценнее самого щедрого мецената, самого авторитетного критика или покровителя-администратора. У них имелись тесные связи и с театральным миром (Пон де Вейль сам был драматическим писателем[5]), и с феодальной знатью, и с парламентским, т. е. судебно-бюрократическим, миром. Тысячу мелких и крупных услуг, неоценимых для писателя, большую часть жизни не имевшего доступа в Париж, оказывала эта семья Вольтеру, содействуя успеху его произведений, отстаивая его репутацию, защищая его личные и имущественные интересы. Они парализовали интриги среди актеров и нападки враждебной критики, предупреждали Вольтера об угрозе ареста, хлопотали за него перед начальником полиции и т. д. и т. п.

Оценку Даржанталя, содержащуюся в письмах самого Вольтера, восполним свидетельством Лагарпа в некрологе, посвященном Даржанталю, и несколькими строками вольтеровского секретаря—Ваньера, в которых он характеризует Даржанталя, возражая на недостаточно почтительный отзыв о нем, напечатанный в так называемых «Мемуарах Башомона». По утверждению как того, так и другого, Вольтер имел в лице своего старого друга не только посредника в литературных делах, но и глубоко понимающего ценителя. Из всех его друзей Даржанталь был тем, с кем он особенно охотно советовался относительно своих драматических произведений, чьим мнением и чьей дружбой особенно дорожил[6].

Мы знаем, что Вольтер хотя и безуспешно, но много раз в течение 30 лет, предшествовавших его возвращению в Париж, пытался организовать в том или другом месте встречу с четой своих «ангелов». Не случайно Даржанталь был единственным из парижских друзей и близких знакомых Вольтера, с которым он виделся летом 1754 г. на курорте в Пломбьер и первым, кого он навестил, едва прибыл в Париж в 1778 г.[7].



УТРО ВОЛЬТЕРА
Картина маслом Жана Гюбера, 1770—1775-е гг.
Эрмитаж, Ленинград

Сближение Вольтера с Даржанталями восходит к очень ранним годам его жизни и говорит об общей принадлежности их в эпоху Регентства к среде политически оппозиционной и идеологически по тому времени передовой. Так, в 1717 г. полицейский шпион Борегар, следивший за Вольтером после написания им памфлета на герцога Орлеанского и его дочь, застает у Вольтера именно Даржанталя. О близости к г-же де Ферриоль (матери Даржанталя и Пон де Вейля) говорит письмо к ней Вольтера, написанное им 6 мая 1726 г. по дороге в английскую ссылку: в письме сообщается, между прочим, что в Бастилии его отделяла лишь одна стена от сестры адресатки—г-жи де Тенсен (de Tencin). Следует отметить, что это письмо содержит первое упоминание о Даржантале в дошедшей до нас вольтеровской переписке[8]. В одном из самых ранних писем к Даржанталю—от мая 1734 г.[9]—Вольтер благодарит его за предупреждение о грозящем ему аресте в связи с появлением его «Английских писем»: друг спас его этим от неминуемой тюрьмы. Он с полным доверием сообщает тут же Даржанталю о своем намерении эмигрировать в «свободное государство», «чтобы пользоваться самым великим из преимуществ», какие он знает,—«прекраснейшим из прав человечества, состоящим в том, чтобы зависеть лишь от закона, а не от прихоти людей». В одном из писем к Даржанталю 1735 г. обнаруживаются и социально-политические истоки идеологической близости друзей. «Было бы весьма печально родиться в этот гадкий век, не существуй еще нескольких человек вроде вас, которые мыслят, как мыслили в прекрасные дни Людовика XIV»[10]. Убежденный поклонник не столько самого «Короля Солнца», сколько его в е к а, Вольтер противопоставляет здесь широкий размах идейного и художественного творчества в эпоху, наиболее полно осуществившую строй абсолютной монархии,—времени упадка и разложения этого строя, т. е. царствованию Людовика XV, с характерной для этого царствования сменой распущенности ханжеством, с ее полицейским произволом и мелочной подозрительностью.

Не только в публикуемых здесь письмах, но и вообще в переписке Вольтера с Даржанталем значительное место занимают интересы театральные—обсуждение произведений Вольтера и их постановки на сцене. Широко пользуясь своим другом в качестве советчика и посредника по множеству различных дел, Вольтер едва ли не чаще всего прибегал к нему, к его советам и практической помощи именно в моменты постановок своих трагедий и комедий. Даже в последние месяцы жизни, проживая уже в Париже, т. е. в одном городе с Даржанталем, он продолжал обмениваться записками со своим старым другом. К этому периоду, впрочем, относится единственная, насколько мы знаем, резкая размолвка между друзьями. Вызвана она была самовольными (санкционированными, впрочем, г-жей Дени и Лагарпом) изменениями, которые были внесены Даржанталем в текст вольтеровской «Ирены» при разучивании ее в театре Французской комедии в марте 1778 г. (т. е. в последние месяцы жизни обоих друзей). В письме к Перонне Вольтер тогда жаловался: «Эх, сударь, счастливый вы человек—вы сооружаете чудесные мосты, и нет при вас Даржанталя, который осмеливался бы строить за вас арки...»[11].

Рядом с только-что цитированной эпистолярной «жалобой» можно поставить и следующую маргинальную пометку Вольтера, найденную Ваньером. «В одном парижском издании [вольтеровской трагедии «Олимпия»],—сообщает Ваньер,—присланном г. де Вольтеру, он отметил на полях

против пяти стихов: „Отвратительные стихи, которые г. Даржанталю, по свойственной ему привычке, заблагорассудилось ввести в пьесу“»[12]. Но хотя Даржанталь и не раз грешил самовольным исправлением стихов своего друга, обе эти вспышки гнева производят впечатление исключения на фоне их многолетней дружбы.

Эстетические взгляды Даржанталя, а следовательно, и объективное значение его, как литературного «судьи» (с чем, без сомнения, познакомили бы нас его собственные письма), из писем Вольтера почти не выясняются. Вольтер отвергает ту или иную сделанную Даржанталем частную поправку или принимает ее, иногда восходя к теоретическим обоснованиям, но не дает указаний на какие-либо теории, исповедуемые самим Даржанталем.

Основным остается, конечно, факт—неизменной на протяжении почти полувека—отсылки Вольтером своих произведений на суд даржанталевского «трибунала». Только в той части переписки, которая вошла в Воронцовский сборник, «суду» Даржанталя подвергаются трагедии «Альзира», «Зюлима», «Магомет», «Семирамида» и обсуждается работа над «Принцессой Наваррской», «Пандорой» и «Святошей». И если вольтеровские письма не дают достаточного материала для оценки роли Даржанталя, как критика Вольтера, то неоспоримой, конечно, остается их ценность, как источника для суждений об эстетических взглядах самого Вольтера.

Обращаясь к характеристике личности Даржанталя, приходится, отметив еще раз недостаточность данных, которыми располагает литература, добавить к сказанному выше следующие краткие сведения.

По матери Даржанталь приходился родным племянником упомянутой уже г-же де Тенсен, считавшейся автором знаменитых в свое время «Мемуаров графа Коменж» («Memoires du comte de Comminge»). В ее салоне собирались лица, близко стоявшие не только к власти и деньгам, но и к литературе. Это была женщина, прославившаяся искусными интригами — в молодости романическими, в зрелом возрасте политическими, а в старости близкая к маркизе Помпадур. По некоторым сведениям, настоящим автором названных выше «Мемуаров» был Даржанталь. Но это—факт спорный. Вообще же надо сказать, что в области литературы Даржанталю ничем прославиться не привелось.

Страстный любитель театра, он, как уже сказано выше, подобно Пон де Вейлю, был своим человеком в мире актеров; уже молодость его отмечена романом с знаменитой актрисой Лекуврёр. Литературно образованный светский человек, с репутацией обладателя изысканного вкуса, Даржанталь, повидимому, никакими особыми талантами одарен не был.

Как на особенность его натуры, можно указать на штрих, несколько неожиданный в фигуре литературного «руководителя» Вольтера, одного из членов строгого критического «триумвирата»: Даржанталь был крайне осторожен и нерешителен в суждениях и действиях. Английский магнат-философ Болинброк, близкий к семье Ферриолей, знавший Даржанталя с детских лет, называл его «господин Осторожность». Ту же черту нерешительности высмеивает в нем приписывавшаяся Мармонтелю, но на самом деле написанная Бэ де Кюри (Bay de Cury) в 1759 г. сатира, пародирующая сцену из корнелевского «Цинны»[13].

Нам остается еще запомнить Даржанталя, как одного из самых рьяных энтузиастов-поклонников таланта Вольтера, сидящим в первых рядах кресел и усердно аплодирующим каждой новой постановке его трагедий,—таким, как изобразил его на первом представлении «Шотландки» Фрерон в сатирической своей «Реляции о великой баталии»[14]. А затем, вместе с Ваньером, мы должны пожалеть, что «сборника даржанталевских писем, который, несомненно, был бы очень ценен для истории», на свет так и не появилось. И не только сборника не появилось, но и изо всех писем Даржанталя всплыли лишь редчайшие экземпляры, вроде хранящегося в Публичной библиотеке в Ленинграде письма к начальнику полиции с ходатайством по делу Вольтера, да еще письма к Вольтеру (от 6 августа 1751 г.), в котором Даржанталь уговаривает его покинуть двор Фридриха II и вернуться в Париж, ввиду успеха трагедии «Магомет» и необходимости присутствия автора при постановке «Спасенного Рима». При жизни Вольтера было предано гласности лишь одно письмо Даржанталя, специально предназначенное для опубликования и посланное 24 ноября 1750 г. в Потсдам; оно имело своей задачей дискредитировать, Бакюляра д'Арно задевшего Вольтера[15].

Вот то немногое, что следует знать об «ангеле-хранителе» Вольтера, вошедшем в историю лишь в качестве спутника при том человеке, из-за которого век просвещения во Франции столь часто назывался «веком Вольтера».

Переходим к рассмотрению самой коллекции писем Воронцовского собрания Института истории АН СССР.

Какова с точки зрения историко-литературной вообще, текстологической в частности, ценность публикуемых здесь писем Вольтера к Даржанталю?

Сличение рукописей Воронцовского собрания с существующими печатными текстами писем Вольтера к Даржанталю и к членам его семьи дает следующие результаты:

1) Из 178 писем Воронцовского собрания 19 писем нигде до сих пор напечатаны не были; 2) 132 письма были уже напечатаны в выходивших ранее изданиях, но с той или иной степенью искажения текста; 3) только 27 писем вполне точно воспроизведены в вышедших до сих пор изданиях[16].

Иначе говоря, ленинградские подлинники, даря нам 19 новых текстов, наряду с этим, позволяют окончательно установить и документально подтвердить текст еще 159 вольтеровских писем. Это, конечно, ценное увеличение вольтеровского эпистолярного наследия.

Письма Воронцовского архива вносят кое-что новое в разрезе биографическом, с одной стороны, а с другой — несколько уточняют представление о той поэтике, которой теоретически и практически придерживался Вольтер. На этой стороне дела мы вкратце сейчас и остановимся, чтобы затем перейти к более пристальному рассмотрению основного вопроса—о текстологической ценности этих писем, значительность которой очевидна из только-что приведенного подсчета.

Как в письмах, впервые нами публикуемых, так и в письмах, которые до сих пор печатались неполно и неточно, полностью же воспроизводятся здесь в первый раз, имеются неизвестные до сих пор варианты отдель-

ных стихов Вольтера из трагедий «Альзира», «Магомет», «Семирамида» и из поэмы «О событиях 1744 года» («Sur les événements de l'année 1744»). Это—во-первых. А наряду с этим, некоторые из этих писем содержат интереснейшие показания Вольтера о самых методах его творчества. Такие высказывания встречаются не только в письмах, касающихся только-что названных трагедий, но отчасти и в тех, где Вольтер говорит о «Зюлиме» и о комедии-балете «Принцесса Наваррская». Подчеркнем, что особенную ценность такие места в его письмах представляют уже в силу одного того обстоятельства, что, начиная с первых же изданий вольтеровской переписки, редакторы ее, из трудно нам теперь понятных соображений, систематически опускали именно такие высказывания Вольтера, касающиеся его поэтики и творческой лаборатории.

Характеристика новшеств, которые отстаивал Вольтер в выдвигаемой им поэтике классической трагедии, дана уже в предыдущей главе, при анализе текста посвящения к «Олимпии». Здесь мы ограничимся поэтому лишь указанием, что все вольтеровские реплики Даржанталю, отстаивание им—подчас очень энергичное—текста того или иного стиха,—все это неизменно укладывается в одну определенную линию: все это сводится к защите наибольшей эмоциональности эпитета, образа, стиха, к требованию психологической правдивости в ситуациях и речах действующих лиц—как он, Вольтер, эту эмоциональность и правдивость понимал. Эти реплики и даваемое в письмах их обоснование служат, конечно, ценным дополнением к тем общим теоретическим положениям, какими Вольтер, по большей части, ограничивался в своих многочисленных предисловиях-«посвящениях» к трагедиям.

В переписке Вольтера, особенно за ранний период его деятельности, сравнительно мало конкретных высказываний о приемах стихосложения; указаниями же о методах развертывания перипетий и ситуаций и о других вопросах его творческой лаборатории за ранний период относительно богаче других те письма, которые содержат в себе полемику с Даржанталем по поводу трагедии «Альзира». И вот к двум-трем таким ранее известным письмам об «Альзире» Воронцовский сборник присоединяет еще два новых интереснейших письма (по нашей нумерации I и II). О втором из них можно даже сказать, что оно не имеет себе равных во всей переписке Вольтера по количеству и конкретности высказываний о поэтическом языке, по обстоятельности синтаксических и стилистических соображений. Это же письмо может служить опровержением довольно распространенного мнения о «легкости», с какой Вольтером слагались стихи, и о «поверхностном» характере его работы над своими произведениями: здесь, как и в иных случаях, творчество ему давалось не дешево, стоило большого труда, тщательного и многократного пересмотра (иногда на протяжении нескольких лет) и строгого, можно сказать педантического, взвешивания почти каждого стиха, каждого слова.

В публикуемых письмах найдется немало высказываний, характернейших для Вольтера, как театрального писателя. Изрядное место уделено в этих письмах вопросам сценической интерпретации и собственных трагедий Вольтера: он пристально вникает не только в вопросы постановки вообще, но и в распределение ролей среди актеров и в другие детали.

Наконец, он выдвигает постоянно вопрос о пригонке стихотворного текста к требованиям декламационной техники

„ВОРОНЦОВСКИЙ СБОРНИК“ ПИСЕМ ВОЛЬТЕРА

Институт истории Академии наук СССР, Ленинград

и, что особенно характерно для Вольтера-драматурга, называет это «самым важным пунктом»—«le grand point».

В указанном смысле заслуживают особенного внимания письма по нашей нумерации I, II, LVII и LXI, в которых идет речь об «Альзире» и «Семирамиде».

В биографическом отношении значение публикуемых писем определяется тем, что они обогащают кое-какими дополнительными штрихами психический облик Вольтера, картину быта и социально-политических условий, в которых протекала его деятельность в период 1734—1751 гг. Период этот не вполне точно совпадает с каким-либо одним определенным периодом жизни Вольтера, но почти полностью обнимает так называемые «сирейские годы» и частично захватывает начало «потсдамских лет». Личная близость к маркизе Дю Шатле, благодаря которой он чувствует себя хозяином в замке Сире, пребывание в Лотарингии при дворе бывшего польского короля Станислава Лещинского, тяготение ко двору Людовика XV, начало дружбы с будущим королем Фридрихом II и затем камергерство при его дворе,—вот чем отмечены эти годы. Недаром традиционная историография склонна именно эти годы считать полосой спада оппозиционности Вольтера, снижения его идеологического пыла, даже периодом политического затишья в его биографии. Вольтер как бы уходит в занятия наукой и личную жизнь. Но не случайно значительное место в этой его личной жизни занимает «самооборона от врагов», особенно рельефно отразившаяся в описываемых здесь письмах. Правда, мотив социально-политического конфликта с правительственной системой, не в пример прочим годам жизни Вольтера, почти вовсе заглох. Но глубоко ошибочно, забывая политический смысл борьбы, видеть лишь личный момент во всех передрягах, тяжбах, склоках и литературных бурях, разыгрывавшихся постоянно вокруг Вольтера и даже усилившихся именно в эти годы. Нотой, то и дело звучащей в письмах к Даржанталю, особенно в начале рассматриваемого периода, являются вечная тревога и опасения, постоянные просьбы о помощи в борьбе с «врагами» и жалобы на превратности судьбы. Пусть враги Вольтера в данную эпоху—это не власть, засаживавшая его в прежние годы в Бастилию (но, впрочем, и в самые эти годы сжигавшая рукой палача его книгу и заставлявшая его удаляться за границу), не щедрые на палочные удары «безродному пиите» кавалеры де Роганы. Сейчас враги—это, например, писатель аббат Дефонтен, напечатавший против Вольтера памфлет «Voltairomanie» (правда, в ответ на памфлет «Le Préservatif», выпущенный против Дефонтена при ближайшем участии Вольтера). Другой «враг»—скрипач оперы Травеноль, заподозренный Вольтером в распространении направленных против него памфлетов; далее издатель Про (Prault), по мнению Вольтера, замышлявший издать, без разрешения автора, его новую трагедию «Семирамида»; другой издатель—Жор (Jore), хитростью выманивший у Вольтера письмо, которое с головой выдавало последнего, как автора сожженных по постановлению власти «Философских писем», тогда как Вольтер свое авторство старательно отрицал; наконец,—те «зложелатели», которые собирались поставить на сцене сочиненную Монтиньи пародию на вольтеровскую «Семирамиду»[17], и т. д. Методы борьбы с этими врагами у Вольтера таковы: собрав «обвинительный» материал, он подает жалобу в суд или полицию и ищет сильных людей, вмешательство которых направило бы очередное «дело» к желательному концу. При этом он, повидимому,

совершенно искренно считает себя оскорбленным и пострадавшим и неделями, даже месяцами живет в тревоге и хлопотах по этим «делам». Нельзя, однако, игнорировать тот социально-политический фон, на котором эти дрязги и тяжбы разыгрывались. Если не всегда еще легко, при отсутствии подлинно научной, марксистской биографии Вольтера, точно сформулировать идейно-политический смысл его многочисленных литературных «тяжеб», то не так уж трудно уловить в главнейшем, какие именно силы мобилизовал вокруг себя хулитель Вольтера типа Дефонтена (или впоследствии Фрерона), чью социальную волю выполняли авторы направленных против Вольтера памфлетов, какие круги в королевской резиденции Фонтенбло должна была потешать пародия на «Семирамиду» и т. п. За оскорбленным мелочным самолюбием автора не трудно разглядеть защиту им достоинства писателя и читающей публики, защиту свободы политического мнения, театрального новаторства. И если в этой личной самозащите Вольтер, пожалуй, проявляет не в меньшей степени ту свойственную ему неистовую энергию, которую проявит впоследствии в «тяжбах» иного, более широкого социально-политического характера, вроде знаменитых процессов Каласа или де Лабарра, которыми сумеет взволновать весь мир, то это происходит потому, что разница в побуждениях, питавших эту энергию, будет скорее количественного, нежели качественного порядка.

Круг людей, к которым он обращался за протекцией непосредственно или через своих друзей (главным образом, через все тех же Даржанталей), обширен. В него входят лица, стоявшие на довольно высоких ступенях бюрократической лестницы: морской министр граф Морепа, министр иностранных дел маркиз Даржансон, главные начальники полиции: Эро, де Марвиль, Беррие, канцлер Дагессо... Чтобы добраться до трудно досягаемого кардинала Флёри, он обращается к его первому камердинеру Баржаку; через аббата де Берни добирается даже до маркизы Помпадур, а в дело с Дефонтеном пытается, при ближайшем участии г-жи Дю Шатле, вмешать наследного прусского принца.

Но само собой понятно, что, для изучения жизненной обстановки и настроений Вольтера в указанную пору, публикуемые здесь письма имеют значение лишь дополнительного материала: сообщая ряд интересных штрихов и деталей, они ни в каком случае не могут претендовать на всестороннее освещение огромной и сложной личности Вольтера. Наши письма, как мы уже указывали, рисуют его лишь в дофер487нейский период его жизни, и притом рисуют таким, каким он не боялся показывать себя своему близкому другу. Вольтер предстает нам здесь в будничном освещении, во всей непосредственности изъявлений обуревающих его чувств. Преобладающей темой почти везде служит он сам, с его личными обстоятельствами, заботами и делами. Незачем доказывать, что подобная характеристика (хотя, в данном случае, это и само-характеристика) является односторонней, что и в этот период своей жизни Вольтер был много сложнее и содержательнее того самолюбивого и эгоцентричного существа, каким он представляется нам в иных письмах к Даржанталю, особенно в годы жизни в Сире; или того поэта-царедворца, который в Версале сочиняет панегирики Людовику XV и тексты для всяческих торжеств, вроде написанного им «Храма славы» («Le Temple de la Gloire»).

Но надо вспомнить и о долгих годах, проводимых в оторванности от родной среды парижских «философов» и «салонов», от столь дорогой сердцу

этого горячего театрала Французской комедии,—и тогда мы приблизимся к объективной оценке тех особенностей его психики, которые сквозят в публикуемых нами письмах. Героические годы напряженной и страстной борьбы Вольтера с «фанатизмом», с феодальными пережитками государства и с тем, что он называл «l'infâme»,—с нетерпимым мракобесием церкви, были еще впереди.

А главное, нельзя упускать из виду, что даже в эти годы Вольтер продолжал и основную линию всей своей жизни и своего художественного творчества—пропаганду все тех же идей разумной морали, свободы и веротерпимости. Этой цели—прикровенно—служили его трагедии, а более открыто—«посвящения» к ним, а также художественные произведения иных жанров: стихи, романы и т. п.

В приведенной выше характеристике интересов Вольтера во время жизни в Сире и поездок в Брюссель и Берлин не упомянуто о господствующих его интересах того времени, правда, крайне слабо отраженных в письмах Воронцовского сборника. Имеем в виду его интенсивные занятия естественными науками, астрономией и физикой и, особенно, оптикой. Но «натурфилософия» Вольтера тесно переплетается в творчестве тех годов с «философией» во всем том широком идейно-политическом и моральном содержании этого понятия, которое так характерно для века просвещения вообще. С «Метафизическим трактатом» 1734 г., «Элементами философии Ньютона» 1738 г., «Опытом о природе огня» (того же года) и «Сомнениями о движущих силах» («Doutes sur la mesure des forces motrices») 1741 г. чередуются «Стихотворное рассуждение о человеке» (1734—1737), второе посвящение «Заиры» и «Ода о фанатизме» (1736), ряд философских посланий к маркизе Дю Шатле и другим лицам, «Идеи де ла Мот ле Вайера» (1751), «Защита „Светского человека“» (1737), предисловие к «Анти-Маккиавелю» и т. д. Но, как уже говорилось, идейный дидактический момент был в высокой мере присущ и художественному, в том числе драматическому, творчеству Вольтера, а ведь именно в эти годы создаются такие основные произведения вольтеровской драматургии, как «Альзира» (1734), «Зюлима» (ряд переделок текста 1740 г.), «Магомет» (1742), «Меропа» (1743), «Семирамида» (1748), «Спасенный Рим» (1751), не говоря уже о «Блудном сыне» (1736), «Нанине», «Оресте».

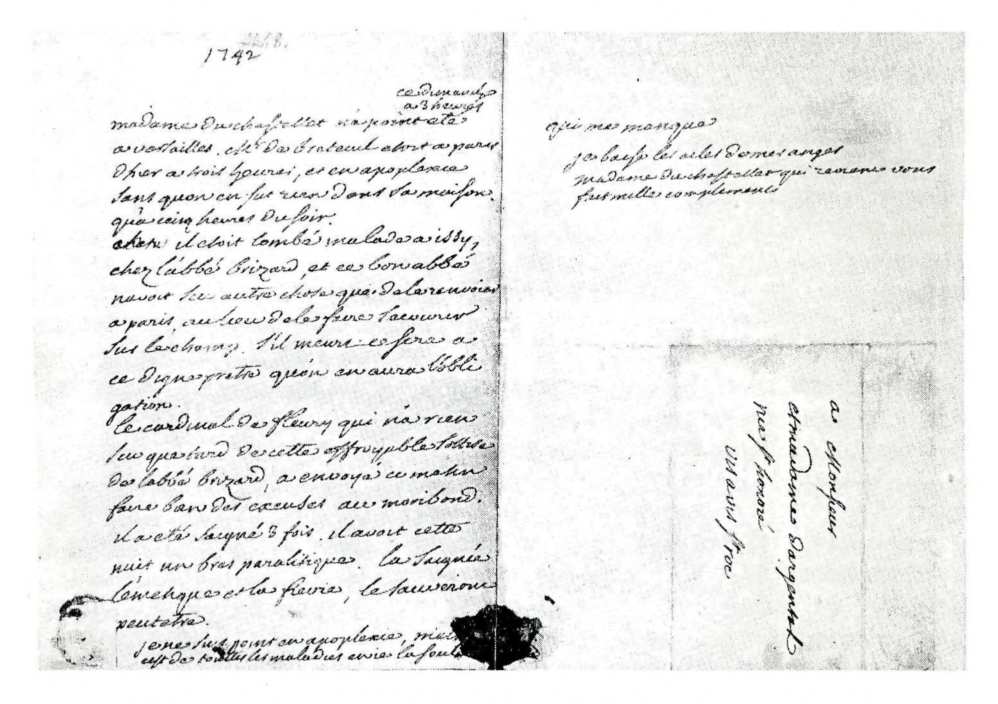
В эти же годы создается длинный ряд стихотворений и посланий на всевозможные поэтические сюжеты, складывается большинство философских рассказов («Видение Бабука», «Задиг», «Мемнон»), проводится огромная работа историка—завершение в 1750 г. капитального «Века Людовика XIV», исследование подлинности завещания кардинала Ришельё, собирание «Анекдотов о царе Петре Великом», ведется непрестанная переписка со всем научным и литературным миром и т. д.

Приведенная справка вносит необходимый корректив в то впечатление об эгоцентричности интересов и о чисто житейских горизонтах Вольтера, которое может сложиться у читателя от первого чтения писем «Воронцовского сборника». Вольтер и в эти годы проявляет все ту же неиссякаемую, обычную для него, но на самом деле чудовищную энергию и продуктивность, и в эти годы не замолкает речь апостола просвещения и гуманизма.

Обращаемся к главному вопросу—о ценности писем Воронцовского архива в текстологическом отношении, как материале для установления текста эпистолярного наследия Вольтера.

Этот вопрос лучше всего может быть освещен путем справки из сложной истории публикации вольтеровских писем и характеристики обусловленного этой историей состояния, в каком находится сейчас текст вольтеровских писем.

Ограничимся приведением немногих основных фактов. Письма Вольтера начали появляться в печати еще при его жизни. Однако, в эти годы они чаще распространялись иным путем. Для современников письма Вольтера были законченными образцами мастерства речи, чудесными орудиями философской пропаганды[18]; попав в руки парижан, они быстро становились общим достоянием всей «республики просвещенных», будили умы и волновали всех, проникая в салоны, в Академию, в среду театральную. Так



АВТОГРАФ ПИСЬМА ВОЛЬТЕРА К СУПРУГАМ ДАРЖАНТАЛЬ ОТ 8 ФЕВРАЛЯ 1742 г.
Институт истории Академии наук СССР, Ленинград

было впоследствии и вне стен Парижа—в провинции и далеко за пределами Франции—в литературных и политических салонах Европы и при иностранных дворах, куда копии вольтеровских писем станут пересылаться, в качестве острой новинки, корреспондентами «просвещенных монархов»—Гриммом, Дидро, Мейстером, Блен де Сенмором и др.

Первая попытка собрать воедино необозримое эпистолярное наследие Вольтера производится в месяцы, непосредственно следовавшие за его смертью. В первом издании полного собрания вольтеровских сочинений, выпущенном в середине 80-х годов XVIII века Бомарше, Кондорсе и Декруа в городе Келе (т. н. Кельское издание, 1784—1790), переписка Вольтера представлена уже 4491 письмом. Однако, по признанию самих издателей, в это собрание вошел не весь имевшийся в их руках эпистолярный материал: письма Вольтера печатались ими с известным отбором, с учетом того интереса, который могло представить для читающей публики того времени содержание того или иного письма[19].

Как известно, в предисловии к следующему по времени собранию сочинений Вольтера, подготовленному Бёшо (Beuchot, Париж, 1829—1841, в 72 т.), специально указано, что редакторы Кельского издания, за отсутствием в их руках оригиналов, принуждены были печатать часть писем Вольтера по непроверенным копиям. Результаты понятны: многие даты оказались ошибочными, текст многих писем весьма неточным. Но особенно сильные искажения текстов произошли оттого, что первые издатели писем Вольтера не только позволяли себе выбрасывать из них те или иные места, но и соединять по два и даже по три письма в одно, а при этом еще вносить от себя целые фразы, менявшие иногда содержание, искажавшие отзывы Вольтера о событиях, людях, произведениях литературы...[20].

Так воцарился полтора века тому назад в публикации вольтеровской переписки тот хаос, из которого до наших дней не найдено выхода, несмотря на последовавшие с тех пор многочисленные издания подлинников. Уже нашему современнику—внимательнейшему исследователю Шарлю Шарро—удалось внести ценный вклад в дело пересмотра вольтеровских текстов, хотя работать ему пришлось, главным образом, лишь путем сопоставления различных мест текста последнего «критического» издания, вышедшего под редакцией Луи Молана (Moland) в 1877—1885 гг. Но конечный вывод, к которому Шарро приходит после тщательных изысканий, таков: «Мы обладаем лишь приблизительными текстами писем Вольтера». И, в поисках выхода из создавшегося положения, Шарро предлагает «применить к тексту переписки Вольтера приемы критики, давно применяющиеся к текстам классической древности, оригиналы которых утрачены»[21].

Вслед за Шарро неудовлетворительное состояние текста было отмечено и немецким ученым Лео Иорданом, при анализе первого тома публикации новых вольтеровских материалов, предпринятой Ф. Косси; Иордан настаивает на необходимости критического пересмотра и научного комментирования всех вольтеровских материалов и подчеркивает: «Особенно надо это сказать о переписке, бесчисленные за последние годы публикации которой вопиют о пересмотре текста и необходимости нового критического издания ее»[22].

Работа над частичным исправлением текстов и датировки вольтеровских писем началась еще в предвоенные годы. Ограничиваясь лишь примерами из области интересующей нас переписки с Даржанталем, укажем, что в 1914 г. Л. Деларюэль (Delaruelle) дал новые конъектуры для исправления письма Вольтера к Даржанталю от 27 октября 1750 г., а также писем к нему от 15 июня и 13 сентября 1756 г.[23], Шарро, помимо ряда чисто грамматических и хронологических замечаний, предложил произвести перестановку местами второго и третьего абзацев письма Вольтера от 21 ноября 1768 г.[24]. Еще задолго до этого Денуартер доказал, что письма к Тибувиллю от 7 марта и Даржанталю от 30 марта 1776 г. «составлены из разных клочьев, позаимствованных там и сям»[25] и т. д. и т. п. Так обстоит дело с текстом. Что же касается датировки писем, то, несмотря на всю работу, произведенную в этой области Моланом, тому же Шарро пришлось не раз вносить серьезные изменения в даваемые Моланом датировки: так, письмо № 434, отнесенное Моланом к 1734 г., приходится, на основании бесспорных данных, признать более поздним (на целых девять лет) и не видеть в нем одно из самых ранних дошедших до нас писем к Даржанталю, каким считали его до сих пор, и т. д.[26].

Но в истории издания переписки Вольтера бывали и крупные, хотя

и редкие удачи, когда всплывали на свет целые пачки подлинников (например, 150 писем к аббату Муссино, изданных в 1875 г.).

Аналогичный случай представляет собой и описываемое здесь собрание 178 писем Вольтера.

Какими путями дошли до нас эти письма?

В год смерти Вольтера, т. е. в 1778 г., Даржанталь продал было эти письма за 4 тысячи ливров издателю Панкуку, но вскоре почему-то затребовал их обратно, а затем, умирая, завещал их некоей г-же Де Вимё (De Vimeux), которую молва считала его внебрачной дочерью. Последняя продала их тому же Панкуку, причем по условию, между ними заключенному, редактирование писем поручалось Сюару, литератору близкому Вольтеру и свойственнику Панкука, с предоставлением ему права устранения всех скабрезных или кого-либо компрометирующих строк[27]. Побывав в руках Сюара и попав затем в «редактированном» виде в Кельское издание, письма эти в годы революции, вероятно, затерялись, чтобы всплыть, но в виде одной шестой части, на поверхность около 1803 г., и волей судьбы, олицетворенной в данном случае русским послом во Франции Морковым, с его желанием угодить своему патрону—канцлеру Воронцову—они направляются в Россию[28]. Здесь, скрытые в фамильном архиве, они покоятся почти полтора века и, наконец (только в 1926 г.), попадают в руки исследователей и в нашу публикацию.

Что же дает нового для установления текстов Вольтера обретенная у нас коллекция его подлинных писем?

Мы уже указывали, что писем, совершенно не вошедших в наиболее полное из всех предыдущих изданий под редакцией Молана, в ней не так много. Это, по нашей нумерации, следующие девятнадцать номеров: VII, IX, XI, XVI, XVII (за исключением двух опубликованных фраз), XVIII, XXII, XXIV, XXXII, XXXVIII, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLVII, XLVIII, LIII, LIV, LXVII. Затем, подтверждая правильность традиционной редакции 27 писем, Воронцовский сборник для 132 писем дает материал к их исправлению, а в целом ряде случаев приводит и к совершенному отказу от существующего печатного текста, к необходимости прочтения его заново.

Не перечисляя всех, даже существенных, исправлений, диктуемых произведенным нами сличением текстов издания Moland с подлинниками Воронцовского сборника, ограничимся несколькими примерами.

Два письма издания Moland — №№ 1040 и 1069—оказываются составленными из кусков одного письма Воронцовского сборника, а именно № 73; письмо по нумерации Moland № 1882 составлено из подлинников № 116 и № 117; письмо № 1904 составлено из №№ 124 и 126; № 1908—из №№ 127 и 128. С другой стороны, два письма №№ 1098 и 1132 оказываются частями одного и того же оригинала (№ 89); равным образом, из одного письма Воронцовского сборника № 133 получились основа письма № 1915 и часть № 196, включающего, кроме того, все письмо № 134.

Письмо, числящееся в издании Moland за № 1943, является сложной мозаикой текста двух подлинных писем: от 11 февраля (№ 118 Воронцовского сборника) и от 21 февраля (№ 113). К первому из них относятся начальная и девятая фразы текста Moland; ко второму относится в нем все прочее, и притом в такой последовательности: одна фраза оригинала пропущена, затем следуют в переставленном порядке фразы восьмая, шестая и седьмая, далее пропущены три фразы оригинала, затем следуют фразы вторая, третья, четвертая, далее—опять пропуск восьми фраз и, наконец,

в правильной последовательности фразы с десятой по четырнадцатую. Но это еще не все: в том же письме имеется фраза, вставленная из какого-то неизвестного нам, третьего письма.

Не менее мозаичным является письмо № 1259, составленное из двух подлинных писем—№№ 27 и 20; к первому из них, написанному 22 марта 1740 г., относятся первые четыре абзаца и самый последний абзац рассматриваемого письма; все же прочее взято из письма, написанного не 22-го, а 30 марта.

Подобные повреждения текста не могли не приводить к недоразумениям. Moland, например, в примечании к письму № 1412 (от 25 февраля 1741 г.) смешивает упоминаемое в нем письмо Вольтера к Пон де Вейлю с письмом № 1315, на что обратил уже внимание Шарро[29]. Возможность такого недоразумения теперь устранена: обладая оригиналами Воронцовского сборника, мы можем утверждать, что источником ошибки является плохая традиция текста письма № 1412: первая часть его неверна, а вторая представляет собой не что иное, как часть письма к Пон де Вейлю (№ 36 Воронцовского сборника), написанного Вольтером в тот же самый день, что и письмо № 1412.

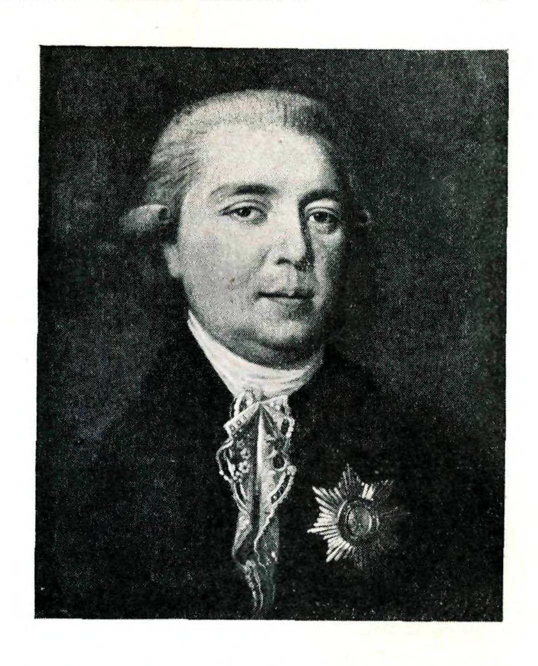
Естественно, что письма, текст которых был искажен такого рода контаминациями, парцеллированием и произвольными вставками, приходится полностью переиздавать заново.

Неустановленность текста переписки Вольтера порождала иногда неточности и в сообщениях б и о г р а ф и ч е с к о г о характера. Приведем два случая, в которых ленинградские подлинники позволяют навести некоторую, отнюдь не лишнюю, р е т у ш ь в направлении истины.

Уже Денуартер заподозрил в комплиментарном преувеличении показания секретаря Вольтера Лоншана о том изумительном «присутствии духа», какое, по его сообщению, обнаружил Вольтер в Шалоне, когда в сентябре 1740 г. был «на волосок от смерти, вследствие жестокого приступа лихорадки». Лоншан в своем рассказе ссылается на письмо Вольтера именно из Шалона, в котором Вольтер, будто бы, «с необычайной выдержкой, полным спокойствием, в чисто деловом тоне» обсуждает свои собственные дела и дела своих друзей. Справкой в нашей коллекции можно обнаружить, что знаменитое письмо представляет собой а м а л ь г а м у из двух писем и что в подлинном письме из Шалона от 12 сентября 1740 г., вместо «делового разговора», имеются жалобы на «врагов» (в данном случае на издателя Про), а наряду с ними—даже полупризыв к друзьям, намек на возможность для них пробраться к Вольтеру в Шалон... Таким образом, выясняется, что иллюстрацией на тему о «стоицизме» Вольтера шалонское письмо даже в памяти Лоншана, некогда его писавшего под диктовку, служить бы не должно было.

К аналогичным результатам приводит сверка с оригиналом письма № 701 издания Moland (№ 9 Воронцовского сборника). Не говоря уже о вставке нескольких слов, ослабляющих эпитет, данный Вольтером г-же Дю Шатле (о разлуке с ней он говорит, что она «лишает его жизни», а редакторы почему-то разрешили ему говорить лишь о лишении «того, что составляет утеху его жизни»), или о пропуске одного выражения («избыток ярости»), а также об одной малозначительной стилистической погрешности, остановимся на другом. Сверка обнаруживает пропуск двух фраз подлинника, меняющий характер всей ситуации. Последняя казалась очень патетической. Подлинник, восстанавливая опущенные редакторами фразы, не-

А. Р. ВОРОНЦОВ
Копия И. Истомина с портрета маслом И. Шварца
Русский музей, Ленинград



сколько по-иному освещает то настроение смятенности и тревоги, которыми дышит письмо. Вольтер пишет в 4 часа утра в кабачке на почтовой станции, только-что перед тем приняв решение бежать от угрожающих ему преследований за границу, хотя бы это привело к вечной разлуке со всем, что ему дорого на родине. Доказывая свою невиновность и сетуя на бесчеловечность преследований, о которых он узнал только накануне, он говорит: «Я знаю только одно,—я хотел бы, чтобы обо мне позабыли все на свете, чтобы знали обо мне лишь вы да ваша приятельница. Она в 9 час. вечера решилась отпустить меня; я же говорю вам сейчас, в 4 часа утра, по соглашению с ней: делайте все, что сочтете уместным»... Это означало: парижский друг должен был по своему усмотрению определить решение Вольтера эмигрировать: он вернется с пути в том лишь случае, если Даржанталь сообщит ему, что всякая опасность миновала.

В оригинале непосредственно после слов: «лишь вы да ваша приятельница» (т. е. г-жа Дю Шатле), имеются следующие строки, вносящие в тон письма несколько прозаический диссонанс: «она сегодня просит передать вам, чтобы вы не удовлетворяли желаний лица, которое требует денег и которому она прежде просила вас эти деньги передать. Таким образом, отменяя свои первоначальные предположения, она...» и т. д.[30]. Речь, очевидно, идет здесь о взятке или «отступном», т. е. о способе, с помощью которого надеялись потушить слухи, опасные для репутации Вольтера, но от чего в последний момент решили отказаться.

На вопрос, имели ли искажения подлинного текста какую-нибудь определенную цель, были ли они тенденциозны в том или ином смысле, приходится ответить отрицательно.

Значительное количество сокращений можно объяснить чисто механическим слиянием отдельных «пунктов», на которые разделял свои письма Вольтер (например, излагая свои доводы в пользу того или иного намечаемого им хода хлопот по «тяжебному делу» или в защиту той или иной редакции своей пьесы). Той же цели служило устранение фраз, имеющих личный характер, а также помещаемых в начале и конце писем приветов

и поклонов, упоминаний о подарках и т. п. (такие сокращения вызваны операцией склейки нескольких писем в одно).

Но длинный ряд существенных изменений и перестановок текста совершенно не поддается объяснению, особенно сейчас, по прошествии полутора столетий со времени редакторской правки: на современный взгляд, опущенные места представляют ничуть не меньший интерес и ничуть не сильнее кого бы то ни было компрометируют, чем смежные с ними, сохраненные.

Нельзя сколько-нибудь определенно ответить и на вопрос о том, кем именно произведены искажения текста и сводятся ли они к тем первым исправлениям, которые сделал еще Сюар, по уговору с г-жей Вимё, при получении от нее оригиналов.

Следует отметить, что из опубликованных в свое время оригиналов Воронцовского сборника не все были опубликованы именно в Кельском издании. Часть из них впервые увидела свет лишь в 1856 г. (в сборнике де Кейроля, с примечаниями Франсуа)[31], т. е. значительно позже пересылки оригиналов в Россию. Нужно думать, что во Франции письма, подлинники которых вошли в Воронцовский сборник, имелись в виде копий и притом, вероятно, в «сюаровской» редакции, ибо произвольный отбор писем и настолько «свободное» обращение с их текстом, какое мы видели, можно допустить лишь у редакторов Кельского издания, но не у позднейших.

Обрисовав в общих чертах текстологию Воронцовского сборника, коснемся в двух словах и специального вопроса о датировке.

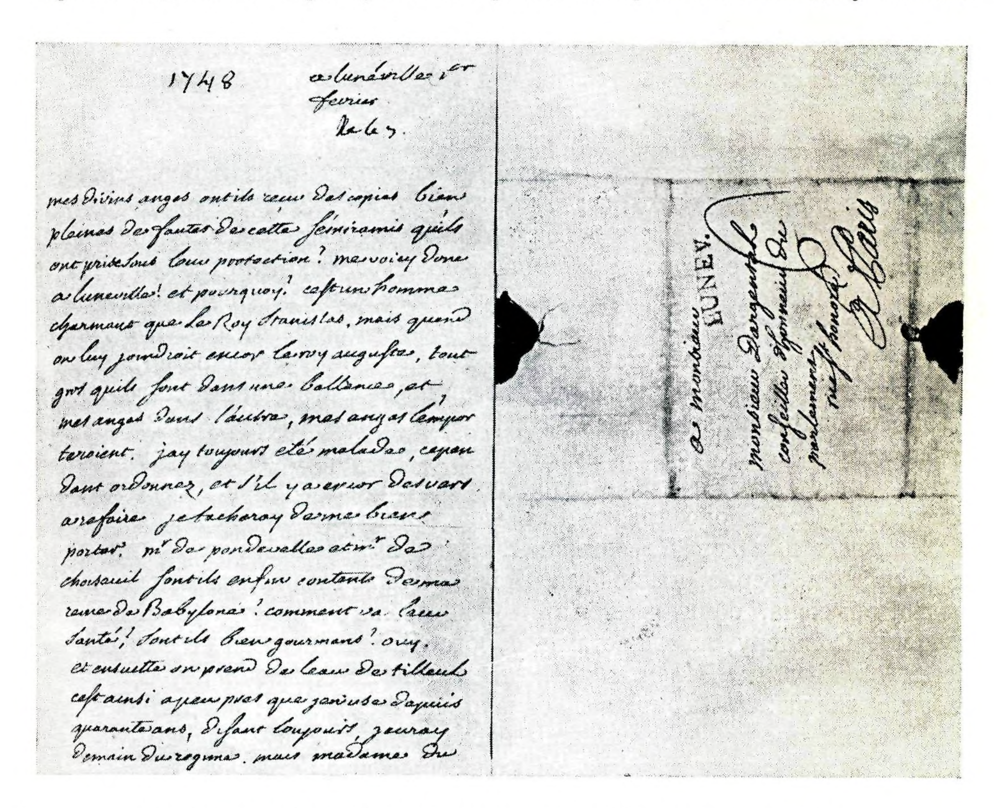
Серьезная работа над датировкой вольтеровских писем началась не так давно и не очень продвинута.

Сам Вольтер иногда вовсе не датировал своих писем, а часто проставлял лишь месяц и число, не обозначая года. С другой стороны, далеко не на всех письмах имеются вполне достоверные пометки их адресатов (или владельцев) о времени их получения или написания ответа на них: многие пометки проставлены, несомненно, впоследствии, иногда по памяти или в процессе какого-то подбора и пересмотра писем. Этими особенностями писем обусловлена трудность работы над их датировкой.

Не перегружая настоящей статьи деталями этого вопроса, мы отсылаем читателя к примечаниям, которыми снабжены публикуемые нами письма Вольтера, где конкретно указаны основания для датировки каждого из писем. Из затруднений, возникающих в работе над датами, укажем на случаи, когда трудно определить, сделана ли на письме пометка рукой Даржанталя или же рукой Пон де Вейля, почерки которых столь схожи, что их невозможно различить. Для сравнения их почерков мы располагаем лишь одним цельным автографом Даржанталя (уже упоминавшимся выше его письмом к начальнику полиции)[32] и одной пометкой, бесспорно, сделанной его рукой на письме к нему Вольтера (в Воронцовском сборнике), где Вольтер неправильно его титуловал, а с другой стороны, адресом, несомненно, надписанным Пон де Вейлем на письме Вольтера к его брату. Заметим вообще, что даты числа и месяца, проставленные на письмах адресатами, в большинстве случаев уполномочивают лишь на предположительную датировку.

Но подлинники обладают еще той особенностью, что у них есть внешние признаки, являющиеся подчас вполне надежными вехами. Таковы, прежде всего, проставленные на значительном большинстве писем адреса. На основании одного такого внешнего признака, т. е. указания на то, живет ли, например, Даржанталь на улице Grange Bâtelière или уже на

улице St. Honoré и величает ли его Вольтер просто советником или уже почетным советником парламента, мы в иных случаях можем окончательно решать вопросы датировки. Так, именно по такому признаку можно установить, что письмо Воронцовского сборника № 76 (№ 1423 по изд. Moland) должно быть перенесено минимум на два года позднее. Уже Шарро высказывал сомнение в том, что оно написано из Брюсселя, и задавался вопросом, не следует ли его отнести к 1744 г., вместо 1741 г., к которому оно отнесено Моланом, не согласившимся с датировкой его первых издателей—Франсуа и Кейроля, которые ставили дату начала


1748 a luneville 1er fevrier

R. le 3.

mes divins anges ont ils receu des copies bien
pleines de fautes de cette semiramis qu'ils
ont prise sous leur protection? me voicy donc
a luneville! et pourquoy? c'est un homme
charmant que le Roy stanislas, mais quand
on luy joindroit encor le roy auguste, tout
gros qu'ils sont dans une ballance, et
mes anges dans l'autre, mes anges l'empor
teroient. jay toujours eté malade, cepen
dant ordonnez, et s'il y a encor des vers
a refaire je tacheray de me bien
porter. m.r de pondevelle et m.r de
choiseuil sont ils enfin contents de ma
reine de Babylone? comment va leur
santé? sont ils bien gourmans? ouy.
et ensuitte on prend de l'eau de tilleul
c'est ainsi a peu pres que je vis depuis
quarante ans, disant toujours, jauray
demain du regime. mais madame du

a monsieur
LUNEV.
monsieur Dargental
conseiller d'honneur du
parlement
rue st honoré
a Paris

АВТОГРАФ ПИСЬМА ВОЛЬТЕРА К ДАРЖАНТАЛЮ ОТ 1 ФЕВРАЛЯ 1748 г.

Страницы первая, с пометами Даржанталя о получении письма, и последняя, с адресом, почтовым штемпелем и печатью.

Институт истории Академии наук СССР, Ленинград

1742 г.[33]. Оригинал наш кладет конец спору: письмо адресовано на улицу St. Honoré, «г-ну Даржанталю, почетному советнику парламента» и, следовательно, никак не могло быть написано ранее 30 июля 1743 г., когда он получил это звание[34].

В отношении биографическом публикуемые ниже письма группируются, главным образом, вокруг двух эпизодов из жизни Вольтера, отраженных в них довольно обстоятельно: это, во-первых, борьба с аббатом Дефонтеном и, во-вторых, история постановки «Семирамиды».

Второй эпизод не требует специальных комментариев. Письма же, посвященные делу с Дефонтеном, ввиду сложности и запутанности перипетий этого эпизода, нуждаются в пояснении.

Старые счеты Вольтера с аббатом Дефонтеном из-за довольно бесцеремонных полемических выступлений последнего превратились в затяжную неприязнь и неоднократно вызывали Вольтера на апелляцию к широкой публике. Непосредственным поводом к той «тяжбе», которая нашла себе отражение в печатаемых здесь письмах начала 1739 г., послужил выход в свет 12 декабря 1738 г. сборника под названием «Вольтеромания». Это был резкого тона памфлет, изобиловавший прозрачными намеками личного свойства и оскорбительными для Вольтера анекдотами. Авторство аббата Дефонтена не подлежало ни малейшему сомнению. Впрочем, «Вольтеромания» была лишь «ответом на памфлет господина Вольтера», на выпущенную за несколько месяцев перед тем (под именем кавалера де Муи) брошюру Вольтера «Предохранительное средство» («Le Préservatif»). В последних числах декабря 1738 г. Вольтер с г-жей Дю Шатле энергично принимаются за мобилизацию всех своих близких и дальних друзей, опираются на все свои связи, привлекают множество свидетелей— для показаний даже о самых давних событиях, лишь бы опровергнуть, так или иначе, сделанные в дефонтеновском памфлете разоблачения и наветы. Они пытаются вовлечь в кампанию всех, кто хотя бы косвенно был, по их мнению, затронут памфлетом. «Честь семьи Вольтера», «репутация адвокатского сословия», от одного из членов которого, якобы, исходила брошюра, «честь и репутация» влиятельных лиц, «компрометируемых» ссылками на них Дефонтена,—все пущено в ход. Больше всего хлопот доставил Вольтеру и г-же Дю Шатле лучший друг и приятель Вольтера— бесхарактерный и безвольный Тьерио, чрезвычайно долго не решавшийся отмежеваться от Дефонтена с той определенностью, какая нужна была Вольтеру. От Тьерио требовалось категорическое опровержение одного из главных выпадов Дефонтена. Вольтер в предшествующей полемике ссылался на Тьерио, как на свидетеля, который может морально опорочить Дефонтена, обличив его в черной неблагодарности по отношению к нему, Вольтеру, по хлопотам которого Дефонтен некогда был освобожден из тюрьмы; Дефонтен же в своем памфлете назвал эту ссылку на Тьерио ложью... Тьерио, вел, однако, двойную игру: он послал экземпляр «Вольтеромании» прусскому наследному принцу (будущему Фридриху II, парижским литературным корреспондентом которого состоял), составил крайне неудачное (даже компрометировавшее супругов Дю Шатле), предназначенное для публикации письмо, а затем долго и упорно бездействовал, не скупясь, в то же время, в письмах на заверения в «безграничной дружбе и уважении» к Вольтеру и снабжая свои отзывы о Дефонтене негодующими и презрительными эпитетами. В конце концов, когда нажаты были все пружины (вплоть до принца Фридриха Прусского!), Тьерио «одумался» и пошел навстречу требованиям Вольтера. К этому времени (конец января 1739 г.) друзьями и родственниками, по настоянию Вольтера, было уже начато в Париже судебное дело, а сам Вольтер успел несколько раз перередактировать обстоятельный «м е м у а р» («записку») в свою защиту, согласовав все подробности своего выступления с мнением Даржанталей[35]. При посредстве аббата Муссино, казначея и делового агента Вольтера, «мемуар» был разослан всем влиятельным лицам, от которых мог зависеть исход процесса. Вольтер добивался приказа об уничтожении «Вольтеромании» и привлечения к ответственности ее автора. Однако, по мере хода дела, друзья Вольтера и, в первую очередь, Даржанталь сумели его убедить, что благоразумнее было бы изъять дело

ЗАВТРАК ВОЛЬТЕРА

Картина маслом Жана Гюбера, 1770—1775-е гг.

Эрмитаж, Ленинград

из рук юстиции, избежать процесса, сопряженного с широкой оглаской деталей инцидента, и передать его на рассмотрение начальника полиции, который мог бы в административном порядке принудить Дефонтена дать желанное удовлетворение Вольтеру. И в этой новой стадии дела (февраль—март) энергия Вольтера не ослабевает. Он делает попытки воздействовать на решение начальника полиции Эро, обзаводится свидетелями и свидетельствами, говорящими в его пользу. Переписка этого периода полна десятками разных директив аббату Муссино, не щадившему на это дело ни времени, ни средств, и изобилует образчиками неприкрытой лести по адресу Эро и настойчивыми напоминаниями о нанесенной Вольтеру «обиде». (Эти письма к начальнику полиции хранятся в «Бастильском деле» в Публичной библиотеке Ленинграда и были опубликованы Леузон Ле Дюком)[36]. Все эти старания привели, однако, к результату, далеко не вполне удовлетворившему Вольтера. Ему было предложено подписать совместно с аббатом Дефонтеном документ, в котором оба отрекались бы: один от «Вольтеромании», другой—от «Предохранительного средства». И только путем дальнейших усилий Вольтер 4 апреля добился, наконец, совершенно посрамляющего Дефонтена отречения его от «Вольтеромании». Вольтеру, со своей стороны, пришлось написать лишь небольшую записочку с дезавуированием книжки «Кавалера де Муи», и эта записка даже не предназначалась к опубликованию. Это, конечно, было серьезной победой Вольтера над его закоренелым врагом.

Публикуемые нами письма отражают основные перипетии этой борьбы и вносят ясность в этот запутанный эпизод вольтеровской биографии. Отметим, что именно в этой части вольтеровской переписки первые издатели ее произвели особенно много опустошительных сокращений и перегруппировок, причем даты на письмах были проставлены совершенно произвольно. Последовательность хода событий точно устанавливается нашими подлинниками.

Вполне изолированно в Воронцовском сборнике стоит письмо № 85 (по нашей нумерации XLII, от 7 марта 1747 г.), относящееся к аналогичному делу—к тяжбе Вольтера с музыкантом Травенолем; оно является единственным из дошедших до нас писем на эту тему к Даржанталю и до сих пор опубликовано не было. Перипетии «борьбы» Вольтера с Травенолями—отцом и сыном изложены в примечаниях к этому письму.

В предлагаемой статье, главная задача которой состояла в описании хранящейся в Ленинградском отделении Института истории Академии наук СССР коллекции подлинных писем Вольтера, дана, конечно, далеко не исчерпывающая оценка заключающегося в этой коллекции богатого материала. Но опубликование новых текстов, а также данных, служащих как для критического изучения текста вольтеровских писем, так и для более точного хронологического приурочения той или иной их части, несомненно, облегчит дальнейшую работу по изучению эпистолярного наследия Вольтера.

Вместе с тем, несмотря на применение несколько упрощенной археографической техники[37], настоящая публикация—ответ советской науки на старый призыв Шарро к международному сотрудничеству для восполнения лакун вольтеровской переписки—послужит, надеемся, и для будущего, столь нужного, полного издания «Корреспонденции» Вольтера.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «Архив кн. Воронцова», г. V, стр. 445 сл. Из опубликованных здесь писем два вошли в изд. Moland (№№ 6996 и 7487) и, кроме того, в 1889 г. одиннадцать — в III том Bengesco (G.), Voltaire, Bibliographie de ses œuvres, P., 1882—1890. О самом Воронцовском архиве см. «Литературное Наследство» № 9/10, «XVIII век», М., 1933, стр. 397—420.

[2] «Quelques lettres de Voltaire, toutes écrites de sa main, qu'un amateur avait recueillis et dont quelques-unes n'ont pas été imprimées... Je les joins à cette expédition».— «Архив кн. Воронцова», т. XIV, стр. 305.

[3] «Архив кн. Воронцова», т. V, стр. 62, 85 сл.

[4] См. прим. 1.

[5] Пон де Вейлем написаны комедии: «Le Complaisant» (1732); «Le fat puni» (1738) и «Le Somnambule» (1739); см. «Nouvelle Biographie Générale», 40 [1866], стр. 776 сл.; Sainte-Beuve, Derniers Portraits littéraires, P., 1854 (Lettres de M-lle d'Aïssé). О Даржантале, как о посреднике в связях Вольтера с театром, см. Longchamp et Wagnière, Mémoires anecdotiques, II, стр. 269 и 283.

[6] «Journal de Paris» от 16 января 1788 г. (воспр. у Moland, L, 389—391); Longchamp et Wagnière, Mémoires, I, стр. 408 сл. (Wagnière, Examen des Mémoires de Bachaumont), а также II, стр. 197.

[7] Ibid., I, стр. 122 («Relation du voyage de M. de Voltaire à Paris en 1778 et de sa mort»); Desnoiresterres, V, стр. 54. Ср. также, особенно, неиспользуемую биографами заметку (Кондорсе или Декруа?) о Даржантале в вышедшем в 1789 г. заключительном томе Кельского издания (т. LXX, стр. 515—519).

[8] «Mémoire instructif des discours que m'a tenu le sieur Arouet etc.».—Moland, I, 297; о г-же де Ферриоль см. в названной в прим. 5 статье Сент-Бёва; о г-же дю Тенсен—см. Moland № 164 (XXXIII, 158). Помимо прочих связей с семьей Даржанталя, надо особо упомянуть и внимание Вольтера к его приемной сестре—черкешенке M-lle Айсе.

[9] В издании Moland, в качестве более раннего, указано только письмо № 142, от 1725 г. Письмо от мая 1734 г. см. Moland № 404 (XXXIII, 419—422); подлинник этого письма входит в состав Воронцовского сборника, где числится под № 8 (см. ниже, таблицу Б).

[10] Moland № 456 (XXXIII, 472).

[11] Desnoiresterres, VIII, 273—277.

[12] Речь идет о конце 3-й сцены I действия «Олимпии». Пометка Вольтера относится к стихам: «Nous verrons... mais on ouvre et ce temple sacré...». См. рукопись «Notes et remarques de Wagnière, avec les corrections et additions, faites par Mr. de Voltaire etc.» (Библиотека Вольтера, 4-247, л. 4 об.; примечание к стр. 15, строкам 14 сл. пятого тома Кельского издания). Об этой рукописи см. ниже, в главе IV, стр. 173 и 179, а также в моей работе, названной ниже, в прим. 1 на стр. 194.

[13] Correspondance littéraire, philosophique et critique par Grimm, Diderot, Raynal, Meister etc. (Maurice Tourneux), т. IV, P., 1878, стр. 174.

[14] Moland, XL, 479 сл. («Relation d'une grande bataille»).

[15] Письмо к начальнику полиции см. на стр. 250 «Бастильского дела» Вольтера, в Рукописном отделении Публичной библиотеки в Ленинграде, и Caussy (F.), Inventaire des manuscrits de la Bibliothèque de Voltaire conservée à la Bibliothèque Impériale Publique de Saint-Pétersbourg (Extrait des Nouvelles Archives des Missions Scientifiques, Nouv. Série, fasc. 7), P., 1913, стр. 94. Письмо 1751 г.—Moland № 2259 (XXXVII, 299). Письмо 1750 г. (в Потсдам)—Moland № 2150 (XXXVII, 202—204). Ср. Longchamp et Wagnière, Mémoires, II, 514—516. Письмо Даржанталя к начальнику полиции впервые было опубликовано Леузон Ле Дюком (см. ниже).

[16] В дальнейшем не упоминается о последнем документе сборника—о послании к маркизе Сен-Жюльен, потому что он является точной копией традиционной версии «Epitre à Madame de Saint-Julien» 1766 г. в X томе издания Moland (без последних трех стихов).

На рукописи имеется пометка Ваньера, удостоверяющая принадлежность стихов Вольтеру и относящая их к числу «напечатанных в XIII томе» и в «XIII томе Кельского издания».

[17] О врагах Вольтера см. в настоящей публикации письма: III—X, XXIII, XXXIII—XXXIV, XXXVI и XXXVIII.

[18] Ср. Bengesco, III, 2.

[19] См. Кельское издание сочинений Вольтера, т. XVIII—«Correspondance générale», стр. 3—4.

[20] Ср. Bengesco, III, стр. III: недатированные письма были кельскими издателями расположены «à l'aveuglette, et bien de fois ils (т. е. издатели) se sont trompés de place». См. также стр. IV.

[21] Charrot (Ch.), Quelques notes sur la «Correspondance» de Voltaire.— RHL, 1912 (XIX), 171.

[22] Jordan (Leo), Voltairiana.—«Archiv für das Studium der neuen Sprachen und Literaturen», 1914, № 3/4, стр. 408—411.

[23] Delaruelle (L.), Pour contribuer à l'annotation de la «Correspondance» de Voltaire.— RHL, 1914 (XX), 183—187.

[24] Charrot, loco cit.

[25] Desnoiresterres, VIII (2 éd.), 103, note 3. Ср. Moland, XLIV, 162—164, где четырежды отмечается неблагополучие с отдельными абзацами и датировкой частей письма к Даржанталю № 6211 от конца 1765—начала 1766 гг.

[26] Существование писем, начиная с 1716 или 1717 г., входивших в первоначальный состав писем, переданных Даржанталем для издания, указано и в разъяснениях издателей Кельского издания, т. LXX, стр. 515.

[27] Desnoiresterres, VIII, 451 сл., со ссылками на: a) Laharpe, Correspondance littéraire (1804), t. II, 296 сл.; b) «Mémoires secrets pour servir à l'histoire de la république des lettres» (Londres, John Adamson), t. X, стр. 132—133, 12 octobre 1778; c) журнал «Le Collectionneur» (Juillet 1868), № 2, стр. 2—3, и d) «Catalogue des lettres autographes de M. Duvivier (Etienne Charavay) du vendredi 14 décembre 1873», № 4, стр. 158, 191.

[28] Известно, что А. Р. Воронцов, пользуясь своим служебным положением, усиленно разыскивал и скупал за границей различные документы и целые архивы, ассигнуя на такие покупки крупные суммы, зорко следя за всякой возможностью приобретения. Сохранилось письмо Воронцова, без даты и без указания адресата, но направленное во Францию, со следующей любопытной аргументацией: «По нынешнему образу правления во Франции уповать можно, что многие дела и бумаги, кои до сих пор сокрыты были, с некоторым старанием могут сделаться известными, а потому самому их и достать можно, или, по крайней мере, копии с оных, как из архивов тамошних, так и от приватных людей, коим иногда таковые бумаги или дела по наследству доходили». См. «Архив кн. Воронцова», т. XIII, стр. 481 сл.

[29] Charrot, RHL, 1912, 653.

[30] «Tout ce que je sais, c'est que je voudrais être ignoré de toute la terre, et n'être connu que de vous et de votre amie. Elle vous mande aujourd'hui de ne point satisfaire la personne qui exige cet argent et à qui elle vous avait prié de le faire tenir. En contremandant ainsi ses premières volontés elle était déterminée, à neuf heures du soir, à me laisser partir; mais, moi, je vous dis, à quatre heures du matin, à présent de concert avec elle. Faites tout ce que vous croyez convenable». Ср. Moland, XXXIV, № 701, и, в последнем выпуске настоящего издания, разночтения к письму № 9 (Воронцовский сборник).

[31] «Lettres inédites de Voltaire», recueillies par M. de Cayrot et annotées par M. Alphonse François, P., 1857, 2-e éd.

[32] См. выше, прим. 15.

[33] Moland, XXXVI, 36, note 2.

[34] Хронологическое распределение писем Воронцовского сборника см. в суммарном обзоре в приложенной ниже, в конце данной главы, таблице А.

[35] Вероятнее всего, что к описываемому здесь эпизоду относится (и, следовательно, началом 1739 г. датируется) автограф письма Вольтера к графу или графине Даржанталь, проданный в апреле—мае 1923 г. на аукционе Cornuau: перечислив все этапы полицейских и судебных преследований, которым в разное время подвергался Дефонтен, Вольтер заканчивает письмо так: «Вот ступени, по которым г. аббат Дефонтен шествует к Капитолию. Если вы сумеете сделать так, что его с Капитолия вернут в Бисетр, это будет с вашей стороны актом правосудия». Ср. RHL, 1933, № 3, 469 (Chronique).

[36] Léouzon Le Duc, Etudes sur la Russie et le Nord de l'Europe, P. [1853]; его же, Voltaire et la police, dossier recueilli à Saint-Pétersbourg parmi les manuscrits français... avec une introduction sur le nombre et l'importance des dits manuscrits et un essai sur la Bibliothèque de Voltaire, P., 1867.

[37] Характер публикации предопределял, в частности, отказ от приведения данных о формате каждого отдельного письма, о сорте бумаги, а также о чрезвычайно интересных перстневых сургучных печатях, следы которых сохранились на ряде писем.

ПИСЬМА ВОЛЬТЕРА К ДАРЖАНТАЛЮ

Из отмеченных во вступительной статье В. С. Люблинского особенностей традиционного печатного текста вольтеровских писем вытекает, в отношении научного использования Воронцовского сборника, необходимость:

1) наряду с опубликованием всех новонайденных, ранее не издававшихся писем, напечатать полностью в исправленной редакции и те письма, которые до сих пор известны были лишь в незначительных отрывках или в редакции настолько искаженной, что смысл и значение писем существенно или полностью изменялись;

2) ко всем прочим, более исправно напечатанным письмам указать необходимые исправления, диктуемые подлинниками.

В первом томе настоящего издания воспроизводятся 67 писем Воронцовского сборника, в том числе все 19 ранее не бывших в печати и 48 из числа тех, которые при их первоначальной публикации подверглись наибольшему искажению. Список более мелких исправлений текста ко всем остальным письмам Воронцовского сборника печатается лишь на французском языке, в отдельном (четвертом) томе издания.

Публикуемые письма расположены в хронологическом порядке. Каждое из них снабжено порядковым номером (римская цифра), слева сверху указан (буква В и арабская цифра курсивом) номер данного письма по порядку Воронцовского сборника с соблюдением его нумерации, предполагающей под № 23 два письма.

При датировке писем, не имеющих дат в подлиннике, или при уточнении и пополнении исследовательским путем дат, стоящих на документе, данные, внесенные авторами публикации, заключены в прямые скобки.

Так как подавляющее большинство публикуемых писем адресовано Даржанталю, указание на адресата дается лишь там, где письмо обращено к кому-либо другому.

В конце публикации приложены таблицы, сопоставляющие нумерацию писем издания Moland с нумерацией соответствующих им подлинников Воронцовского сборника и позволяющие точнее сопоставить объем всего сборника с прежде опубликованным фондом.

После самостоятельного параллельного изучения всего сборника в целом, работа по публикации его текстов распределялась между В. С. Люблинским и Н. С. Платоновой следующим образом:

Общая подготовка писем к печати—совместная, подготовка реального комментария—Н. С. Платоновой, сверка датировок писем и составление таблиц—В. С. Люблинского.

Редакция

I

В. 15

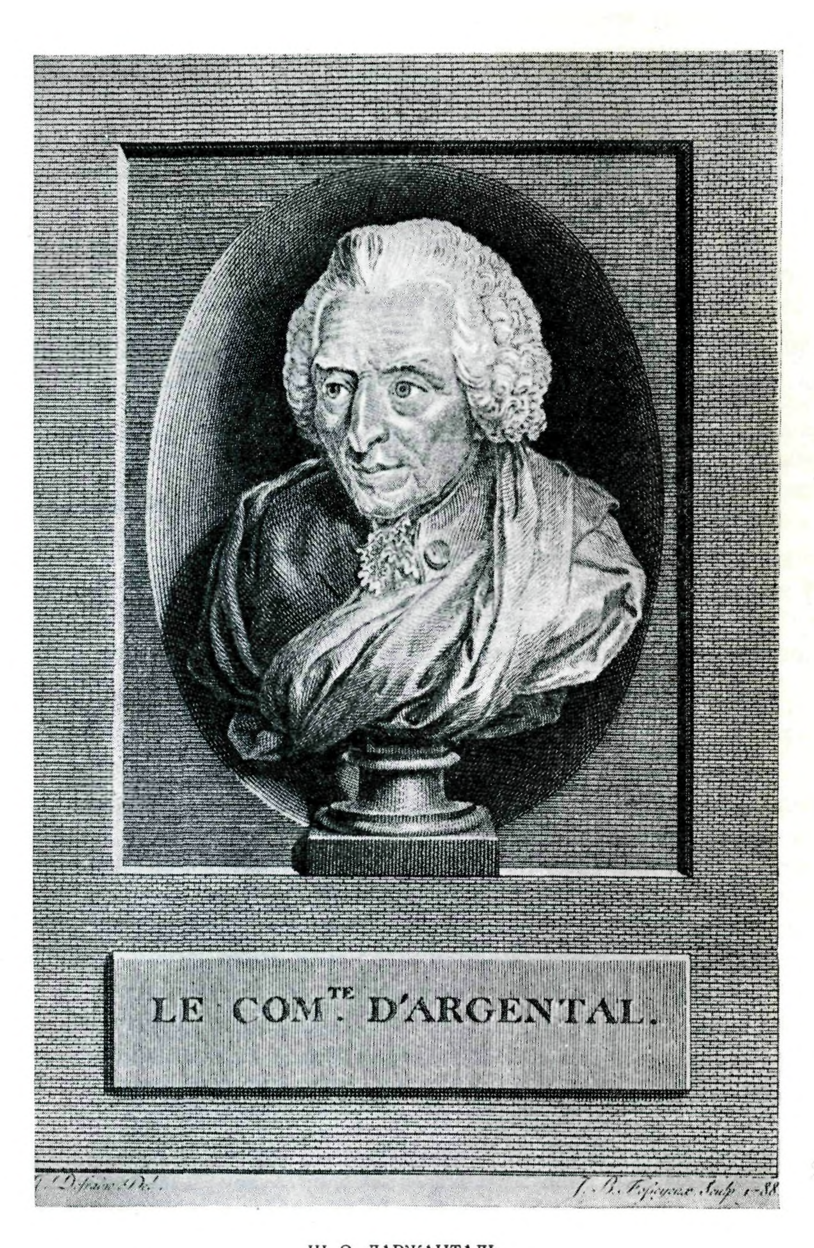
22 [января 1736 г.], Сире[1]

Я только-что получил, дорогой мой благодетель, письмо ваше от 18-го. Не знаю, как и благодарить вас. Для «Американцев» наших[2] вы все делаете, даже стихи сочиняете, а я еще дерзаю исправлять их и слать вам взамен такие, которые, весьма возможно, хуже ваших:

Sans être instruite encore de cette loi nouvelle[3].

Я представляю себе, что это новое вероучение, хотя бы до некоторой степени, должно быть ей известно. Но замечание это в еще гораздо большей мере приложимо к моему собственному стиху:

J'ignore encore les lois de ma secte nouvelle[4].



Ш.-О. ДАРЖАНТАЛЬ

Гравюра Ж.-Б. Фоссейё с рисунка Ж.-Ф. Дефрена, 1778 г.

Фронтиспис LII тома „Œuvres de Voltaire", éd. de la Société typographique, 1785—1789

Г-н Эро[5] совершенно напрасно налагает запрет на выражение секта: пусть он подберет нам двухсложное слово, обозначающее вероисповедание. А вот публика могла бы совершенно справедливо возражать против этого стиха, ибо он явно противоречит тому, что Альзира говорит в пятом действии:

Mais des lois des chrétiens mon esprit enchanté
Vit, chez eux, ou du moins, crut voir la verité[6].

Поэтому я предлагаю, при вашем на то согласии, сказать так:

Je connais mal encore une loi si nouvelle
Mais j'en crois ma vertu qui parle aussi haut qu'elle[7].

Ваш стих:

De l'univers entier n'es-tu donc pas le père?[8]

я предпочитаю своему:

Es-tu l'effrois d'un monde et de l'autre le père?[9].

Мне, однако, кажется, что непосредственно перед этим употреблено слово вселенная (univers).

Quel est donc le tourment qu'en ce jour on m'apprête?[10].

Этот стих разрешите мне безусловно отвергнуть. En ce jour [сегодня] здесь совершенно недопустимо. Альзире не следует переживать тревогу при мысли о грозящей ей пытке или о том, какого рода пытку ей готовят,—ею владеет только мысль об опасности, грозящей ее возлюбленному. И когда она будет произносить:

Zamore! O ciel, conserve une si chère tête!
Qu'est devenu Zamore?[11].

и сумеет выразительно произнести эти прерывающиеся, преисполненные волнением и страстью стихи,—зрители будут растроганы.

Я вам, впрочем, с двумя последними почтами послал гораздо больше поправок, чем вы просили. Вы и представить себе не можете, как растет во мне трусость по мере приближения опасности! Хотя это и за пятьдесят льё от меня, но ведь звук свиста проходит больше десяти льё в минуту. Мне начинает казаться, что произведение мое совершенно недостойно внимания публики, и я умру от страха, если вы не сумеете придать мне бодрости. Однако, в случае провала моей пьесы, я употреблю все усилия, чтобы не умереть от огорчения. Ведь врагам моим такая неудача доставит изрядное удовольствие, а Дефонтенам[12] даст материал для нападок, сделает меня жертвой обидных насмешек...

Так несправедливы люди: попытку доставить им удовольствие они карают, как преступление. Как тут быть?—Перестать служить столь неблагодарному барину и сообразоваться лишь со вкусами подобных вам людей.

Больше всего, после самого себя, я боюсь г-жи Госсен[13]: сам я не справился, быть может, со своим сюжетом, а ей не справиться со своей ролью. Нельзя, мне кажется, предполагать в ней той величавости и той силы, без которых невозможно сделать этот характер внушительным и привлекательным.

Что касается актеров,—они не понимают ни приличий, ни своей действительной выгоды. Взимая двойную плату, они публику возмутят еще сильнее, чем возмутили меня, не отвечая мне. Я того мнения, что можно

принять во внимание производимые ими затраты и разрешить им надбавку в размере одной трети; но, в случае необходимости, надо прибегнуть к властям, ни в каком случае не допуская удвоенных цен[14].

Ко всем вашим добрым делам я умоляю вас присоединить еще одно— не допустить, чтобы они помещали на афише мое имя. Такое подчеркивание только раздражает публику, да еще оповещает свистунов, чтобы готовились ко дню боя. Повторяю свою просьбу относительно письма г. Альгаротти[15], а также небольшого предисловия или, вернее, простых вступительных слов де Ламара[16]. Эмилия[17] шлет вам тысячу любезных слов, а у меня нехватает уже слов, как и места на бумаге.

В.

[1] Печатается впервые, за исключением двух отрывков, напечатанных по изд. Moland в письме № 456: 1) «Vous ne sauriez croire combien l'approche du danger... qu'à des hommes comme vous». 2) «J'ose vous supplier... pour le jour du combat». В подлиннике дата дана без указания года и месяца. Говоря о «приближении опасности», Вольтер разумеет приближающийся день первого представления его трагедии «Альзира» («Alzire»), которую впервые сыграли в 1736 г. на сцене Comédie Française 27 января, а в придворном театре—21 февраля. Письмо, следовательно, датируется 22 января 1736 г. Сире—имение маркизы Дю Шатле (см. ниже, прим. 17).

[2] Трагедия «Альзира» озаглавлена: «Alzire, ou les Américains» («Альзира, или Американцы»).

[3] «Еще не посвященная в это новое вероучение»—неизвестный до сих пор вариант стиха из д. III, явл. 5 «Альзиры». Ср. Moland, III, 415, стих 3.

[4] «Закон новой секты моей мне еще неизвестен»—другой вариант того же стиха.

[5] Hérault Рене (1691—1740)—главный начальник полиции с 1725 г.

[6] «Но дух мой, пленившись законом христиан, признал или только склонялся к признанию, что истина—у них».—«Альзира», д. V, явл. 5. Ср. Moland, III, 433.

[7] «Мало я еще знаю этот столь новый закон, но доверяю голосу добродетели, не менее властно, чем он, во мне говорящей».—«Альзира», д. III, явл. 5. Ср. Moland, III, 415, стихи 3—4.

[8] «Ты, значит, не всему миру отец?»—неизвестный до сих пор вариант стиха из д. IV, явл. 5 «Альзиры». Ср. Moland, III, 425, стих 14.

[9] «Разве для одного мира ты—ужас, а другому миру—отец?»—неизвестный до сих пор вариант стиха из д. IV, явл. 5 «Альзиры». Ср. Moland, III, 425, стих 16.

[10] «Какую же пытку мне готовят сегодня?»—в печатном тексте «Альзиры» (изд. Moland) этого стиха нет.

[11] «Замор! Небеса, сохраните столь драгоценную жизнь! Что с Замором?»—первого из этих двух стихов в печатном тексте «Альзиры» (изд. Moland) нет.

[12] Desfontaines Пьер-Франсуа (1685—1745)—аббат, воспитанник иезуитов, литератор. Отбывал по обвинению в «преступлении против нравов» тюремное заключение; в 1724 г. был освобожден по хлопотам Вольтера. Впоследствии стал литературным его врагом. В 1735 г. в статье «Observations sur les écrits modernes» сделал выпады против Вольтера. Ответом на них был вольтеровский памфлет «Le Préservatif», за которым со стороны Дефонтена последовали памфлеты: «La Voltairomanie» (1738) и «Le Médiateur» (1739). Сотрудничал в «Journal des savants», в «Nouvelliste de Parnasse» и др. изд. Его перу принадлежат: «Dictionnaire néologique» (1726), перевод «Гулливера» Свифта, вольтеровского английского «Опыта об эпической поэзии» и множество анонимных статей, указанных в «Dictionnaire des Anonymes» Барбье. О Дефонтене см. также во вступительной статье стр. 63 сл. и в большей части публикуемых писем за 1738—1740 гг.

[13] Gaussin, или Gaussem Жанна-Катрин (1711—1767)—известная актриса Comédie Française. В трагедии «Альзира» исполняла заглавную роль. Вольтер неоднократно посвящал ей стихи, а об ее игре в «Альзире» говорит в своем «Troisième discours sur l'Homme» («De l'Envie»):

Quand Dufresne ou Gaussin, d'une voix attendrie,
Font parler Orosmane, Alzire, Zénobie,
Le spectateur content qu'un beau trait vient saisir
Laisse couler des pleurs, enfants de son plaisir.

(«Когда Дюфрен или Госсен голосом, исполненным чувства, говорят за Оросмана, Альзиру, Зенобию, зритель, сладостно потрясенный красотой, проливает слезу— эту дочь наслаждения»).—M o l a n d, IX, 395. После триумфа Gaussin в роли Альзиры Вольтер посвятил ей следующий мадригал:

Ce n'est pas moi qu'on applaudit;
C'est vous qu'on aime et qu'on admire.
Et vous damnez, charmante Alzire,
Tous ceux que Gusman convertit.

(«Аплодируют не мне: это вам дань любви и восхищения, и вы губите, прелестная Альзира, всех тех, кого Гусман обращает в истинную веру»).

[14] Правом повышать цены на места в зрительном зале Comédie Française артисты пользовались в дни первых представлений новых пьес, как источником для покрытия убытка от налога (шестая часть сбора со спектаклей шла на содержание госпиталей).

[15] A l g a r o t t i Франсуа (1712—1764)—камергер и личный друг прусского наследного принца, с 1740 г. короля Фридриха II; возведен им в графское достоинство; автор известных в свое время диалогов об оптической теории Ньютона под заглавием «Neutonianismo per le dame». В 1733 г. во время своего путешествия по Франции вступил в дружеские сношения с Вольтером, а также с рядом других выдающихся писателей и ученых. В публикуемом письме Вольтер имеет в виду письмо Альгаротти к аббату Франкини (Franchini) от 12 октября 1735 г., восхвалявшее трагедию Вольтера «La Mort de César» и помещенное в виде предисловия к ней в издании 1736 г. («Lettre de M. Algarotti à M. l'abbé Franchini, envoyée de Florence à Paris, sur la tragédie de Jules César par M. de Voltaire»).—M o l a n d, III, 312—315.

[16] L a M a r r e или L a m a r r e, аббат де (1708—1746?)—литератор, автор либретто к нескольким операм. В 1735 г. Вольтер поручил напечатать ему свою трагедию «La Mort de César», предоставляя в его пользу доход от нее. В публикуемом здесь письме Вольтер говорит о предисловии, написанном Ламаром для этого издания, «Avertissement de l'édition de 1736» (M o l a n d, III, 307). Ламар дал свое имя для комедии «L'Envieux», в которой Вольтер изобразил своего литературного врага, аббата Дефонтена. По свидетельству Вольтера, Ламар был автором «Le Préservatif».

[17] D u C h â t e l e t Габриэль-Эмили, маркиза (1706—1749)—одна из выдающихся женщин своего времени. С образом жизни светской дамы умела сочетать занятия философией, математикой, физикой. Напечатала несколько трудов по этим отраслям знаний. Состояла в переписке с Мопертюи, Вольфом и другими выдающимися учеными своего времени. Сблизилась с Вольтером и, когда ему угрожали преследования за его «Lettres philosophiques», вместе с ним покинула Париж и поселилась в своем замке Сире, в Шампани, на границе Лотарингии. Жизнь Вольтера связана с Сире, начиная с 1734 г. и до смерти г-жи Дю Шатле, в 1749 г.

II

В. 14

26 февраля [1736 г.], Сире[1]

Так уж, видно, суждено мне, что приходится вечно благодарить вас, извиняться перед вами и тут же доставлять вам новые неприятности. Доброту вашу и снисходительность я знаю, как знаю и то, что хорошо иметь с вами дело. Но надо же было обстоятельствам сложиться так, как сейчас, чтобы книгопродавцы осаждали вас своими ежедневными нападками и доносами, а я, из-за этих несчастных «Американцев»[2], еще усугублял выпадающие на вашу долю неприятности... Но, в конце концов, тому, кто соблазнил девицу, приходится и ребенка прокармливать и в хозяйственные мелочи входить. Соблазнителем Альзиры являетесь вы, вам приходится поэтому простить мне причиняемую вам мною докуку.

До меня дошел, наконец, список пьесы в том виде, как она была сыграна. Признаюсь вам, что позаботься Демулен[3] доставить мне его раньше, я бы выправил там многое, и довольно существенное, по части декламации. Из-за спешки, с которой приходилось отдавать рукопись, и в силу необходимости наскоро изменить некоторые места, в это произведение закра-

ce 22 a cirey 1736

je reçois mon cher protecteur votre lettre du 18. vous m'acablez de vos bontez, vous faites tout pour nos americains, et meme des vers. et moy je n'ay que l'impertinence de les corriger, et de vous en envoyer probablement de moins bons

Sans etre instruitte encor de cette loy nouvelle

il me semble quelle en doit etre instruite du moins a un certain point. et cette critique tombe encor bien davantage sur le vers que j'avois fait

j'ignore encor les loix de ma secte nouvelle

mr herault a grand tort de proscrire le terme de secte. quil nous fournisse donc un mot de deux sillabes qui signifie religion. mais le public auroit raison de proscrire ce vers, qui est une contradiction manifeste a ce qu'alzire dit dans le cinquieme acte

mais des loix des cretiens, mon esprit enchanté
vit chez eux, ou du moins, cru voir la verité

je metrois donc sous votre bon plaisir,

je connais mal encor une loy si nouvelle
mais j'en croi ma vertu qui parle aussi haut qu'elle

je donne la preference a votre vers.

de l'univers entier n'es tu donc pas le pere,

sur le mien
es tu tiran d'un monde et de l'autre le pere.

mais il me semble que le mot d'univers est immediatement auparavant.

quel est donc le tourment qu'en ce jour on m'aprete

permettez moy de rejetter absolument ce vers. en ce jour n'est pas soutenable alzire ne doit pas s'inquieter ny de ce qu'on luy prepare un suplice, ny du genre du suplice. elle ne doit etre occupée que du danger de son amant et quand elle dira

zamore! o ciel, conserve une si chere teste
qu'est devenu zamore

АВТОГРАФ ПИСЬМА ВОЛЬТЕРА К ДАРЖАНТАЛЮ ОТ 22 ЯНВАРЯ 1736 г.
Страницы первая и вторая
Институт истории Академии наук СССР. Ленинград

quand, di-je, elle recitera bien ces vers entre
pleins du desordre de la passion. elle attendrira
spectateur

je vous ay dailleurs envoyé par les deux derniers ordinaires
bien plus de corrections que vous nen demanderez

Vous ne sauriez croire combien l'aproche du danger augmente
mal poltronnerie. il est vray que jen suis a cinquante lieues.
mais le bruit du siflet fait plus de dix lieues par minute

je commence a trouver mon ouvrage tout a fait indigne
du public. et si vous ne me rassurez pas, je mourray de
frayeur. mais si la piece tombe je feray ce que je pourray
pour ne pas mourir de chagrin. il est vray que cette chute
fera bien du plaisir a mes ennemis, que les desfontaines
en prendront sujet de m'accabler, que je seray immolé
a la raillerie, et au mepris. car telle est l'injustice des
hommes. ils punissent comme un crime l'envie de leur
plaire, quand cette envie na pas reussy. que faire a
cela! ne plus servir un maitre si ingrat, et ne songer
a plaire qu'a des hommes comme vous. javoue

ce que je crains le plus apres moy, ce son
… jay manqué peutetre mon sujet, et elle manquer
son role. je croy quil est impossible qu'elle ait cette dignit
et cette force qui seules pourroient rendre son caractere
imposant et interessant

a legard des comediens, ils ne connoissent ny les
bienseances ny leurs vrais interets. ils revolteront
le public en prenant le double, bien plus quils ne
mont revolté en ne me faisant pas reponse.

je croi quon peut leur permettre un tiers en sus
a cause de la depense quils font. mais quil faut
sil est necessaire, se servir de l'autorité pour
leur interdire le double

jose vous suplier dajouter encor a toutes vos bont
celle de les empecher de mettre mon nom sur l'affi
cette affectation ne sert qua irriter le public, et a
avertir les sifleurs de se preparer pour le jour du comba

je vous renouvelle mes prieres au sujet de la lettre de m. algaroti
et de la petite preface, ou plustost simple avertissement de la mar
Emilie vous fait mille complimens. et moy je manque d'expressions
et de papier

АВТОГРАФ ПИСЬМА ВОЛЬТЕРА К ДАРЖАНТАЛЮ ОТ 22 ЯНВАРЯ 1736 г.

Страницы третья и четвертая

Институт истории Академии наук СССР, Ленинград

лось несколько стихов, на переработку которых потребовалось бы известное время.

Я послал Демулену огромный лист бумаги, сплошь исписанный необходимыми, на мой взгляд, поправками, проставив при этом на полях обоснование каждой из них.

Настоятельно прошу вас прочесть это. Стихи, которые я считаю необходимым произносить, я посылаю всем актерам, за исключением Дюфрена[4], с его чересчур хорошей памятью. Г-н Тьерио или г-н де Ламар[5] займутся, с вашего разрешения, этим делом. Имея это в виду, я и заказал два списка с рукописи. Мы с г-жей Дю Шатле внимательно все просмотрели и сразу же оба увидали, что многое должно быть восстановлено почти в первоначальном виде. Когда мы, например, прочли в четвертом действии:

Alzire

Compte après cet effort sur un juste retour.

Gusman

En est-il donc, hélas! qui tienne lieu d'amour?[6].

мы совершенно перестали удивляться, что четвертое действие прошло с таким малым успехом, особенно при дворе. Поймите, что для Альзиры гораздо выгоднее вовсе не появляться в четвертом действии, чем произносить такие полувнятные речи, такие жесткие и ничем не оправданные стихи. И уже совершенно недопустимы слова, которые заставляют произносить Гусмана в ответ Альзире. В уста этого неумолимого и гордого человека вкладывают тот самый стих, который произносится Астратом[7]. Это же—нечто совершенно противоречащее его характеру. Не следует так бояться публики, особенно, когда уже пережита гроза первого представления. Надо приучать ее к правдивым, смелым, сильным вещам, а не смягчать краски действительности в угоду непонимающим людям. Бог мой, что сказал бы Депрео[8], если бы слышал этот слащавый ответ Гусмана... Истинного вкуса ради, оставьте это место в первоначальном виде. Какая разница! Вы не чувствуете?

Compte à jamais au moins sur ma reconnaissance,
Sur ma foi, sur les vœux, qui sont en ma puissance,
Sur tous les sentiments du plus juste retour
(S'il en est après tout qui tienne lieu d'amour).
Par tant de grandeur d'âme éprouve mon courage.
Une femme d'Europe eut promis davantage:
Elle eut pu prodiguer le charme de ses pleurs.
Je n'ai point leurs attraits et je n'ai point leurs mœurs, etc.[9].

Вот это—в ее характере, вяжется с тем, что предшествует, служит ему продолжением и, в свою очередь, влечет за собой следующий стих:

Peut-être en te priant redouble ton outrage[10]

которым и оправданы ответные слова Гусмана[11].

Я настаиваю также на своем мнении о пятом акте. Он до того укорочен, до того быстротечен, что не произвел на нас никакого впечатления. Боятся длиннот на сцене... Их и нужно бояться, но лишь в том случае, когда они холодны и являются лишними в пьесе. Посмотрите, как много стихов произносит умирающий Митридат[12]. А так ли они необходимы, как те, что произносятся Гусманом?

Как нарушены все правила тем, что Монтез[13] не появляется вместе с Гусманом, не обнимает его колен! Я говорил об этом актерам, но тщетно. А все теперь думают, что это моя ошибка: я ежедневно получаю за это упреки. В итоге—умоляю вас побудить г. Тьерио или г. де Ламара настоять на всех указанных изменениях.

Знаю я, что предъявляется много других возражений. Но удовлетворить критиков можно бы, лишь переделав все произведение, а в результате количество возражений только возросло бы. Лишь с течением времени устанавливается правильное мнение о пьесе и затихает критика.

Посвящение, которое Тьерио вам, конечно, уже вручил, одобрено и г-ном и г-жею Дю Шатле. Вот почему мы обращаемся к вам с нижайшей просьбой о том, чтобы г-ном Руйе[14] была дана привилегия[15] на похвальное слово моего сочинения, обращенное к г. Тьерио[16]. Я еще окончательно не решил, пущу ли я его в ход или нет. Ни на один сатирический выпад против моих произведений я отвечать не стану. Мудрость в том, чтобы пренебрегать такими вещами. Но клеветнические нападки на личность, столько раз появлявшиеся и теперь опять появившиеся в печати, распространяемые как во Франции, так и за границей,—это, в конце концов, заставляет взяться за возражения. Личная честь—дело совершенно иного рода, нежели авторская слава. Самолюбие писателя может молчать, но честный человек должен поднять свой голос в ответ на обвинения, чтобы не сказали:

Pudet haec opprobria nobis
Et dici potuisse, et non potuisse repelli[17].

Надо только решить, самому ли мне говорить или доверить это кому-либо другому. Вот вопрос, решения которого я жду от вас.

Прошу извинения и за пространность этого письма и за все, что в нем сказано. Г-жа Дю Шатле мысли мои разделяет, но называет меня болтуном и просит простить беспокойство, мною вам причиняемое. Она шлет тысячу приветствий милым братьям[18], к которым и я, со своей стороны, вечно буду питать чувства нежнейшей дружбы и почтительной благодарности.

В.

Я только-что еще раз перечитал пьесу и снова берусь за перо, чтобы сказать вам, что более, чем когда-либо, ощущаю, до чего необходимо, чтобы считались с исправлениями, которые я к вам направил.

Часто бывает, что нас неприятно удивляют или расхолаживают строки, которые, в общем, и умны и вполне на месте. В причинах этого не разбираются. А причины—нередко в том, что строки эти грешат против правил языка, или нехорошо развернута в них та нить наших мыслей, которая определяется внутренним соответствием между нашими представлениями. Я давно вам говорил, что совершенно не выдерживают критики стихи:

Sans être instruite encore d'une loi si nouvelle
J'écoute ma vertu qui parle aussi haut qu'elle[19]

но их, тем не менее, сохранили. А не угодно ли вам посмотреть, сколько в этих стихах недостатков:

1. Sans être—вялое и прозаическое выражение.
2. Изобилующие буквой r и сталкивающиеся друг с другом слога оскорбительны для сколько-нибудь тонкого слуха.

ГОСПОЖА ДЮ ШАТЛЕ
С современной гравюры
Публичная библиотека, Ленинград

3. Здравому смыслу противоречит изречение: добродетель во мне говорит не менее властно, чем правила веры, мне еще неизвестные.

4. Голосу добродетели она могла следовать, но не без посвящения в вероучение, а потому, что не была в него посвящена или хотя не была посвящена. Здесь огромная погрешность против закона о соответствии представлений.

5. Можно вполне сказать: не вникая в свою веру, я последую голосу добродетели,—потому что здесь оба глагола в действительном залоге: одно действие может заменить другое; но нельзя говорить: я последую голосу добродетели без посвящения в догматы своей веры, ибо тут нет противоположения. Надо бы сказать так: я последую голосу добродетели, хотя (или потому что) еще не знаю учения своей веры. А лучше всего было бы сообразоваться с положением и характером Альзиры, с законами речи и мышления, с требованиями красоты поэтической и сказать:

Je connais mal peut-être une loi si nouvelle,
Mais j'en crois ma vertu qui parle aussi haut qu'elle.

В пятом действии Альваресу[20] вложили в уста много блеска и величия:

Mon fils en ce moment va peut-être expirer.
Sensible à tes bienfaits, détestant ta vengeance,
Mon cœur ressent la haine et la reconnaissance,
Tu me vois tour à tour penetré, combattu
D'horreur pour ton forfait, d'amour pour ta vertu[21].

Но как много тут промахов:

En ce moment [в то же самое время] и peut-être [быть может]—два бледных вставных выражения; sensible [чувствитель-

ный]—невыразительно; vengeance [мстительность]—повторяется шестью стихами ниже; la haine [ненависть]—неподходящее здесь слово; tour à tour [по очереди]—вяло; forfait [злодеяние]—не то слово. А вдобавок, эти антитезы вовсе не свойственны языку, которым говорит горе: тут не описывать надо душевные движения, а дать их почувствовать. А он говорит языком стихотворца! Прощение, которое изрекает Гусман, благодаря словам: Je suis chrétien avant d'être père [я христианин, а уж потом отец], является повторением, вторичным высказыванием на ту же тему. Одних этих слов вполне достаточно, чтобы сделать пятое действие слабым. Кроме того, Альварес должен быть тут же, рядом с сыном: отсутствие его может быть оправдано лишь для той минуты, когда объявляется приговор.

Вы теперь представляете себе, какая это трудность—трагедия, в которой необходимо так строго и тщательно обсудить 1 800 стихов! Простите же, простите: я назойливый педант, но вас и искусство свое обожаю до безумия!

В.

[1] Отрывки этого письма вошли в изд. Moland № 567 (XXXIV, 38). Несомненно, написано в 1736 г., вскоре после первого представления при дворе трагедии «Альзира» (см. прим. 1 к письму I).

[2] См. прим. 2 к письму I.

[3] Demoulin—фактотум Вольтера, не раз служивший ему подставным лицом в различного рода делах, в том числе и денежных.

[4] Quinault-Dufresne Абраам-Алексис (1690—1767)—известный актер театра Comédie Française; в «Альзире» исполнял роль Замора.

[5] О Ламаре см. прим. 16 к письму I.—Thiériot, или, как пишет Вольтер, Tiriot—приятель Вольтера; оба они в молодости были клерками в конторе прокурора Алэна (Alain). Известен только многолетней дружбой с Вольтером.

[6] «Альзира: Знай, что победой над собой ты вполне заслужил ответное чувство! Гусман: Есть ли, увы! такое чувство, которое может заменить любовь...»—вариант к д. IV, явл. 2 «Альзиры». Ср. Moland, III, 438, стихи 19—20. На первом представлении трагедии в Comédie Française этими двумя стихами актеры самочинно заменили стихи Вольтера (слова Альзиры):

Tu t'assures ma foi, mon respect, mon retour,
Tous mes vœux s'il en est qui tiennent lieu d'amour.

(«Ты надежно обрел мою верность, мое уважение, все мои ответные чувства и желания, если только бывают такие, что заменяют любовь»). Против этой-то замены Вольтер здесь и протестует.

[7] Астрат—герой одноименной трагедии Quinault (1635—1688).

[8] Boileau-Despréaux Николà (1656—1711)—знаменитый поэт и критик.

[9] «По крайней мере, знай, что я вечно буду тебе благодарна и тебе предана, что я отдам тебе все, чем в праве располагать, что отплачу возвратом всех лучших чувств (если только есть чувства, которыми можно отплатить за любовь). Своим великодушием испытай мои душевные силы. Европейская женщина обещала бы больше. Она прибегла бы к чарам своих слез. Но у меня нет такой обаятельности, и иного я держусь обычая»—неизвестный до сих пор вариант к д. IV, явл. 2 «Альзиры». Ср. Moland, III, 420, стихи 17—24.

[10] «Мольбой своей, быть может, усиливает нанесенную тебе обиду»—неизвестный до сих пор вариант к д. IV, явл. 2 «Альзиры». Ср. Moland, III, 420, стих 26.

[11] См. монолог Гусмана.—Moland, III, 421.

[12] Митридат—герой одноименной трагедии Расина.

[13] Монтез—действующее лицо в трагедии, отец Альзиры.

[14] Rouillé Антуан-Луи, граф де Жуи (1689—1761)—управляющий делами промышленности. Возглавляя с 1732 по 1737 гг. департамент печати, давал разрешение на печатание литературных произведений.

[15] Т. е. разрешение.

[16] Под словом посвящение Вольтер разумеет «Послание к г-же маркизе Дю Шатле» («Epître à madame la marquise du Châtelet») при посвящении ей трагедии «Аль-

зира» (см. Moland, III, 373—377). «Похвальное слово» к Тьерио Вольтер считал нужным печатать после текста трагедии, однако, начиная с изд. 1736 г., его всегда предпосылали тексту. Написано оно под впечатлением нападок печати на Вольтера (см. Moland, III, 379—383).

[17] «Тем позорит нас это бесчестие, что оно могло быть нанесено и что не было возможности его опровергнуть».—Овидий, Метаморфозы, кн. I, стих 758.

[18] «Милые братья»—адресат письма, граф Даржанталь, и его брат, граф Пон де Вейль де Ферриоль. См. о них выше, во вступительной статье.

[19] «Я еще мало, быть может, знаю столь новое учение, но следую голосу добродетели, звучащему не менее громко» — неизвестный до сих пор вариант к д. III, явл. 6 «Альзиры». Ср. Moland, III, 415, стихи 3—4.

[20] Альварес—одно из действующих лиц трагедии.

[21] «Мой сын в эту минуту, быть может, умирает!.. Полный умиления перед благодеяниями твоими и ненавидя твою мстительность, я ощущаю сердцем одновременно и ненависть и благодарность. Поочередно наполняют меня и раздирают—то отвращение к твоему злодеянию, то любовь к твоим добродетелям».—Эти стихи были, без ведома автора, внесены актерами в трагедию (д. V, явл. 7).

III

B. 79

[13 января 1739 г., Сире][1]

Дорогой мой ангел-хранитель, [пишу?] лишь для того, чтобы сказать вам, что, по вашему мудрому указанию, я переделываю весь мемуар, неотложно теперь необходимый[2]. Нумерации не будет, чтобы не напоминало «Предохранительного средства»[3]. Надо больше сдержанности, а еще больше порядка и методичности. Вот чего следует добиваться, чтобы я имел право сказать публике:

Et mea facundia, si qua est,
quae nunc pro domino, pro vobis saepe locuta est[4].

Посоветуете ли вы мне послать статью г. Даржансону[5] в рукописи, для представления ее на рассмотрение канцлера?[6]. Ни одного шага без вашего распоряжения! Покидаю вас для работы... А затем спешу приняться и за план трагедии[7]. Г-н де Мопертюи[8] здесь. Это не лишает меня, однако, возможности заниматься тем, что пользуется вашей любовью и поощрением. Тысяча почтительных приветствий г-же Даржанталь[9] и философическому дому Дюссе[10].

В.

13-го.

Адрес: Господину Даржанталю,
советнику парламента
Улица Grange Bâtelière, близ вала, в Париже

Почтовая пометка:
Bar sur Aube

[1] Начало этого письма, кончая латинской цитатой, вошло в издание Moland № 1040 (XXXV, 136); по традиции, идущей от Кельского издания, текст письма № 1040 составлен из отрывков как настоящего письма, так и ниже публикуемых писем XII и XIII. Целиком письмо печатается впервые. Написано оно в Сире во время пребывания там Мопертюи (см. ниже, прим. 8), гостившего у маркизы Дю Шатле с 12 по 16 января 1739 г.; датируется 13 января 1739 г. Здесь, впервые в серии писем Вольтера из Воронцовского собрания, затрагивается вопрос о его распре с аббатом Дефонтеном (см. прим. 12 к письму I и вступительную статью к этой главе).

[2] Речь идет о мемуаре, в котором Вольтер излагает свое дело с Дефонтеном. Этот мемуар он намеревался разослать целому ряду влиятельных лиц, от которых ждал заступничества. Много раз переделанный автором, мемуар дошел до нас в двух редакциях. См. «Mémoire du Sieur de Voltaire» и «Mémoire sur la Satire à l'occasion d'un libelle de l'abbé Desfontaines contre l'auteur», Moland, XXIII, 27 и 47.

[3] Памфлет «Le Préservatif» был разделен на главы, и каждая из них имела свой номер. От авторства по отношению к этому памфлету Вольтер упорно отрекался.

[4] «Если я обладаю каким-либо красноречием и сейчас оно применяется в интересах его обладателя, то ведь не раз применялось оно и в ваших интересах...»—Овидий, Метаморфозы, XIII, 137—138.

[5] D'Argenson Рене-Луи, маркиз (1694—1757); в 1744 г. был назначен министром иностранных дел; в 1747 г. оставил службу и посвятил себя литературным занятиям; оставил мемуары, интересные для истории его времени. Его брат (Марк-Пьер) начал свою карьеру начальником полиции, затем был военным министром. Оба брата состояли в дружеских отношениях с Вольтером.

[6] D'Aguesseau Анри-Франсуа (1668—1751)—канцлер, с 1737 г. министр юстиции.

[7] В то время Вольтер начинал работу над новой трагедией «Зюлима» («Zulime»).

[8] Maupertuis Пьер-Луи-Моро (1698—1759)—известный математик, космолог и физик; корреспондент и друг Вольтера и г-жи Дю Шатле; впоследствии, в бытность свою президентом прусской Академии наук, разошелся с Вольтером и был им осмеян в памфлете «Histoire du docteur Akakia».

[9] Граф d'Argental был женат на Jeanne-Grâce-Rose du Bouchet (1702—1774).

[10] D'Ussé Луи-Себастьен, маркиз (1699—1772), был близок к кружку философов и энциклопедистов, собиравшихся у г-жи дю Деффан и г-жи Леспинас.

IV

В. 41

17 [января 1739 г., Сире][1]

Всегдашний—особенно сейчас!—ангел мой хранитель, посылаю вам новый свой мемуар[2], которому придал, насколько могу судить, надлежащую форму. Умоляю вас признать его годным в форме, какая теперь получилась, и безотлагательно переслать аббату Муссино[3] для изготовления с него нескольких списков. При этом все же прошу вас сообщить мне, не нужно ли изменить какие-нибудь детали и не следует ли отправить списки господам Эро[4], Даржансону[5], прокурору палаты, Морепа[6], товарищу прокурора и т. д. Ваше мнение о первом моем мемуаре[7] мне еще неизвестно. Но по последнему письму вашему я догадываюсь, что вы против всего, что сколько-нибудь явно отзывается тоном «Предохранительного средства» и настроением личной обиды.

Если новый мемуар заслужит ваше одобрение, прикажите аббату Муссино переслать его канцлеру[8], приложив к нему и мое письмо к последнему. До моего сведения дошло, что гг. Андре, Прокоп, Питаваль[9] и др. подали канцлеру жалобу.

Уж если возмущаются люди посторонние, тем невозможнее пребывать в безмолвии родственникам. По-моему, племянник мой[10] должен послать или лично подать прошение, что может расположить в его пользу, отнюдь не препятствуя начать и судебное преследование; причем я очень прошу вас настойчиво посоветовать ему начать таковое, ибо преступление в данном случае затрагивает интересы общественные.

Pone inimicos meos scabellum pedum tuorum donec faciam tragediam[11]. Подлинным издевательством надо мною являются великодушные, но секретные благодеяния г-жи Дю Шатле. Наконец-то призналась она мне, что вам писала, и прочла мне написанное. Дай-то бог, чтобы все это оказалось столь же убедительно, сколь оно умилительно.

Когда я посылал вам копию одного из моих писем к Т.[12], подлинник был уже отправлен. Намыльте Т. голову, поднесите ему к новому году книги «Об обязанностях» и «О дружбе»[13]. Засвидетельствуйте мое почтение другому ангелу. Прощайте. Лобызаю крылья ваши и становлюсь под их сень...

На обороте: Г-ну Даржанталю

ВОЛЬТЕР НА ВЕРХОВОЙ ПРОГУЛКЕ

Картина маслом Жана Гюбера, 1770—1775-е гг.

Эрмитаж. Ленинград

[1] Конец этого письма, начиная со слов: «До моего сведения дошло, что гг. Андре, Прокоп, Питаваль и т. д...», вместе с отрывками письма VIII вошел в текст № 1013 изд. Moland (XXXV, 103—105), датированного 9 января 1739 г. Год и месяц написания публикуемого письма устанавливаются письмом Вольтера к аббату Муссино от 17 января 1739 г. (Moland, XXXV, 120, № 1029). Число («сего 17») проставлено в оригинале самим Вольтером. Отсюда наша датировка: 17 января 1739 г. По отсутствию адреса и почтовой отметки можно предположить, что письмо было послано в одном пакете с «мемуаром», о котором в нем говорится.

[2] См. прим. 12 к письму I и прим. 1 к письму III.

[3] Moussinot—аббат, каноник аббатства Saint-Merry, преданный Вольтеру его корреспондент, выполнявший всевозможные его деловые поручения.

[4] См. прим. 5 к письму I.

[5] См. прим. 5 к письму III.

[6] См. прим. 7 к письму VI.

[7] Под «первым мемуаром» Вольтер разумеет первую редакцию памфлета «Предохранительное средство».

[8] D'Aguesseau—см. прим. 6 к письму III.

[9] Врачи André и Procope, адвокат Pitaval, аббат Seran de la Tour, Duperron de Castéra и др.—лица, вместе с Вольтером затронутые Дефонтеном в его памфлете «La Voltairomanie». См. письмо Вольтера к аббату Муссино от 8 февраля 1739 г.—№ 1065 изд. Moland (XXXV, 165).

[10] Mignot—сын сестры Вольтера, советник государственного контроля (conseilleur correcteur à la Chambre des comptes); по настоянию Вольтера, помогал ему в хлопотах по делу с Дефонтеном.

[11] «Попирай врагов моих своей стопой, пока не будет закончена мной трагедия моя» (перефразировка псалма CIX).

[12] Thieriot—см. о нем прим. 5 к письму II.

[13] Заглавия двух трактатов Цицерона: «De officiis» и «De amicitia».

V

B. 67

21 [января 1739 г., Сире][1]

Ангел мой хранитель! Вы уже наверно получили новый мемуар мой, письмо для г-на канцлера[2] и другое для товарища прокурора г-на Дагессо[3]. Послал я вам и письмо г-жи де Берньер[4]. Каждый шаг свой я подчиняю вашему руководству.

Хорошо было бы, мне кажется, получить от г-жи де Берньер несколько слов, в которых она более просто и сдержанно дала бы общую оценку отвратительному, клеветническому пасквилю. Я посылаю ей несколько строк в виде образца. Очень прошу вас потребовать того же и от Тьерио[5]. Поведение его нестерпимо: он торгуется с Сире, вздумал вести какую-то политику... Должен же он понимать, что в подобных вещах политика есть уже преступление!.. Он не писал мне целый месяц, так что, в конце концов, возбудил подозрение, не изменяет ли мне... Если он согласен искупить все это исполненной дружественных чувств статьей с сильными доводами в журнале «За и Против»[6],—будет славно! Но пусть он не пытается при этом заговаривать о «Предохранительном средстве». Не суждения его нам нужны: если он говорит обо мне, то должен говорить в тоне благодарности, преданности, уважительности и, прежде всего, отнюдь не компрометируя г-жу Дю Шатле. Но напечатает ли он в «За и Против» такое письмо или нет, во всяком случае, необходимо получить от него несколько слов в следующем роде: «Г-н Тьерио, ознакомившись с пасквилем, под заглавием «Вольтеромания», где утверждается, будто он отрекается от г. Вольтера,—с пасквилем, состоящим из сплошного сплетения гнусной клеветы, почитает своей обязанностью под честным словом заявить, что все, что там приписано как г. Вольтеру, так и ему самому, представляет собою наказуемую по закону клевету; что в течение 25 лет

он был свидетелем-очевидцем совершенно противоположного; что настоящее его письмо является данью уважения, дружественных чувств и благодарности, питаемых им к . . . . Писано в . . . . Тьерио».

Если он откажет в этом,—он жизни не достоин! Если исполнит,—я его прощаю... Прошу вас посоветовать моему племяннику[7] составить обстоятельный протокол, если только это ему удастся. Это может пригодиться, повредить же не может. Это может внушить преступнику почтение, предотвратить возражения, закончить все дело... О трагедия моя, трагедия моя![8]. Когда примусь я за тебя? Ангел мой, eripe me a faece[9].

Вы—единственное прибежище мое!

B.

Адрес: Г-ну Даржанталю,
советнику парламента
Улица Grange Bâtelière, близ вала, в Париже

Почтовая пометка:
De Bar sur Aube

[1] См. прим. 1 к письму III. Датируется по связи с ним.

[2] См. прим. 6 к письму III.

[3] D'Aguesseau de Plainmont Анри-Шарль (1713—1741)—товарищ прокурора палаты и королевского суда; сын канцлера Дагессо.

[4] В 1722—1724 гг., во время своего пребывания в Руане, Вольтер вместе с Тьерио (см. прим. 5 к письму II), внося 1800 фр. в месяц за общее их содержание, проживал у своих друзей—президента парламента de Bernière и его жены. Дефонтен же в памфлете «Вольтеромания» инсинуировал, что Вольтер проживал у них на положении «паразита». Г-жа де Берньер, по просьбе Вольтера, написала письмо с протестом против инсинуации Дефонтена, столь горячее по своему тону, что Вольтер просил ее заменить его другим, более сдержанным, которое и приобщил к документам по «делу» с Дефонтеном. См. письма Вольтера 1739 г.: к аббату Муссино от 8 января (Moland, XXXV, 97, № 1010); к Гельвецию от неизвестного числа января (ibid., 149, № 105); к канцлеру Дагессо от 11 февраля (ibid., 165, № 1066).

[5] См. прим. 5 к письму II. В письме к Вольтеру от 16 августа 1726 г. Тьерио сообщал, что, по его совету, Дефонтен у него на глазах уничтожил свой памфлет, озаглавленный «Apologie du Sieur de Voltaire» и, будто бы, начатый им еще в дни заключения в тюрьме Bicêtre. Вольтер приобщил это письмо к документам по делу с Дефонтеном, так как это письмо могло служить последнему уликой в неблагодарности к человеку, избавившему его от тюрьмы (см. прим. 12 к письму I). Но помимо этого, вместе с г-жей Дю Шатле он настаивал на том, чтобы Тьерио выступил и в печати против Дефонтена, в защиту доброго имени Вольтера; оба они были раздражены уклончивым ответом Тьерио. Письмо Тьерио к г-же Дю Шатле от 31 декабря 1738 г. см. Moland № 1001 (XXXVI, 84—86).

[6] «Le Pour et le Contre»—журнал, издававшийся аббатом Прево с 1733 по 1740 гг. До Сире дошел слух, будто свое письмо к г-же Дю Шатле от 31 декабря 1738 г. (см. предыд. прим.) Тьерио собирается напечатать в этом журнале.

[7] Упомянутому в предыд. письме Mignot—см. прим. 10 к письму IV.

[8] Вольтер работал в это время над трагедией «Зюлима».

[9] «Извлеки меня из грязи!»

VI

B. 83

26 [января 1739 г., Сире][1]

Дорогой мой ангел! Вас очень удивил последний пакет с «Зюлимой»[2]. Но умеющий пользоваться временем многое успевает сделать. Я работаю, но мне только необходимо руководство ваше.

Я настаиваю на уголовном обвинении против аббата Дефонтена. В «Предохранительном средстве» ничего опасного для меня не имеется: автор его себя назвал[3]. Ничем не угрожают мне и «Философские письма»[4]:

1) Я отрекся от этой книги, и нет никаких улик, ничего написанного моей рукой.

2) Я посылаю вам письма к г. помощнику прокурора и к г. канцлеру[5].

3) Г-ну Эро[6] я послал новогоднее поздравление в духе преданности и готовности к услугам.

4) Г-ну Морепа[7] я написал, вообще говоря, в том же духе, но с еще большей выразительностью.

5) То же и по отношению к г. Даржансону[8].

АББАТ ПРЕВО
Портрет маслом работы мастерской Карла Ванлоо
Эрмитаж, Ленинград

От всех троих пришли благосклонные ответы[9].

6) Г-ну Даржансону я послал также и последний свой мемуар[10]. Но напечатан он должен быть как бы без моего разрешения, в сборнике, в начале которого будут помещены две главы «Истории Людовика XIV», затем — статья о способах ведения газет[11]; далее пойдут мои послания,

в исправленном виде[12], и еще несколько вещей. Я считал бы, что тут, в моем защитном мемуаре, следует сохранить все места, касающиеся литературы; ибо если теперь озлобленная публика наших дней только и падка, что на дела личные, то впоследствии, на взгляд людей понимающих, будет во много раз интереснее именно то, что имеет отношение к литературе. Статья написана мною в духе Пелиссона[13], а пожалуй, и Цицерона. И если этот стиль мне не удался, это для меня равносильно поражению.

Умоляю вас заказать несколько списков с письма г-жи Берньер[14] для доставления их г. канцлеру и гг. Дагессо, Даржансону и Эро. Переписывать надо лишь до того места, где она просит сохранить секрет. Прошу вас также прислать и мне один из списков. Я рассчитываю, что вы вложите по одному списку в письма, которые я сейчас посылаю на ваше имя. Для Линана[15] мы с г-жей Дю Шатле сделаем, что нужно. Не понимаю, почему он мне ничего не пишет: Про[16] должен был передать ему от меня деньги, а он должен был прислать мне свою пьесу. Что сталось с «З а в и с т н и к о м»?[17]. Что сталось с «Э д и п о м»?[18]. Если увидитесь с Про, прикажите ему быть, наконец, поаккуратнее.

Прощайте, дорогой мой ангел-хранитель, прощайте! Время не терпит. Преисполненный добрых чувств к вам

В.

Сего 26-го.

Пересылаю вам только-что полученное мною письмо. Из него вы лишний раз увидите, что за человек этот аббат Дефонтен... Если это, по-вашему, нужно, я с первой почтой пошлю вам письмо для г. Эро.

[1] Отрывки этого письма, вместе с отрывками письма X, вошли в изд. M o l a n d, в состав письма № 1037 (XXXV, 132). Целиком оно печатается впервые. Датируется по связи с предыдущими письмами.

[2] Вольтер посылал свою новую трагедию «Зюлима» «на суд» к чете Даржанталь. См. п р и м. 7 к письму III.

[3] Автором памфлета «L e P r é s e r v a t i f» объявил себя шевалье де Муи (d e M o u h y).

[4] См. п р и м. 8 к письму XIII.

[5] См. п р и м. 3 к письму V и п р и м. 6 к письму III.—Все свои деловые письма, а также и художественные произведения Вольтер имел обыкновение посылать «на суд» Даржанталя и очень считался с его указаниями.—В изданной переписке Вольтера писем к отцу и сыну d'Aguesseau нет.

[6] Слово «новогоднее» указывает, что письмо к Эро было написано около 1 января 1739 г. В напечатанной до сих пор корреспонденции Вольтера такого письма нет.

[7] Письмо к Морепа до нас не дошло.—P h é l i p p e a u x d e M a u r e p a s Жан-Фредерик (1701—1781), с 1723 г. был морским министром. Состоял в дружбе с Пон де Вейлем (см. п р и м. 17 к письму II) и, благодаря посредничеству последнего, принял участие в деле Вольтера с Дефонтеном: вместо возбуждения уголовного преследования, рекомендовал Вольтеру обратиться к суду главного начальника полиции. См. письмо Вольтера к аббату Муссино от 22 февраля 1739 г. — M o l a n d № 1080 (XXXV, 184—186).

[8] Это письмо к Даржансону до нас не дошло.—О Даржансоне см. п р и м. 5 к письму III.

[9] Ответные письма Эро и Морепа к Вольтеру до нас не дошли. В своем ответном письме к Вольтеру Даржансон обещал всяческое содействие в деле с Дефонтеном. См. M o l a n d № 1063 (XXXV, 163).

[10] Под «п о с л е д н и м м е м у а р о м» Вольтер разумел последнюю в тот период редакцию своего «мемуара» против Дефонтена (см. п р и м. 2 к письму III).

[11] «U n é c r i t s u r l a m a n i è r e d e f a i r e l e s j o u r n a u x»—статья Вольтера, впоследствии, в 1744 г., напечатанная (с датой 10 мая 1737) под заглавием: «Conseils à un journaliste sur la philosophie, l'histoire, le théâtre, les pièces de poésie, les mélanges de littérature, les anecdotes littéraires, les langues et le style». См. M o l a n d, XXII, 241.

[12] Под «и с п р а в л е н н ы м и п о с л а н и я м и» Вольтер имеет в виду свои «D i s c o u r s e n v e r s s u r l'H o m m e» (см. M o l a n d, IX, 579). О намерении

издать сборник такого характера Вольтер писал Даржанталю 5 февраля 1739 г.— Moland № 1060 (XXV, 159).

[13] Pellisson-Fontanier Поль (1624—1693)—автор истории основания Французской академии. Был секретарем и личным другом Фуке, суперинтенданта финансов при Мазарини. После падения Фуке, в 1661 г., написал в его защиту три «речи» («Discours»), за что поплатился несколькими годами заключения в Бастилии. Эти его «речи» и имеет в виду Вольтер.

[14] См. прим. 4 к письму V.

[15] Linant Мишель (1708—1749)—сын хозяйки той гостиницы, в которой Вольтер останавливался в Руане в 1731 г. Вольтер поощрял его поэтические опыты и подсказал ему сюжет для трагедии «Ramsès»; г-жа Дю Шатле взяла его в Сире, в воспитатели к своему сыну. Но Линан вел себя в Сире так бестактно, что в декабре 1737 г. был оттуда удален; однако, и после того Вольтер переписывался с ним и помогал ему деньгами и своими связями.

[16] Prault—книгопродавец и издатель хорошо оформленных книг. В течение ряда лет издавал произведения Вольтера.

[17] «L'Envieux»—комедия Вольтера (1738 г.) с выпадами против Дефонтена.

[18] «Œdipe»—первая трагедия Вольтера. Впервые представлена 18 ноября 1718 г., а в следующем году вышла первым изданием.

VII

B. 59

28 [января 1739 г., Сире][1]

Я труда не жалею: только-что, сообразуясь с мудрыми вашими указаниями, закончил я переделку своего мемуара[2]. Направляю его к вам; сейчас он у аббата Муссино, в монастыре Сен-Мерри. Если он, на ваш взгляд, удался, пошлите аббату Муссино распоряжение приготовить три-четыре списка с него. Их надо вручить г-ну канцлеру, г-ну Морепа[3], г-ну Дефрену[4], г-ну Эро. Я всем им напишу по письму, а письма эти, с вашего разрешения, направлю к вам. Г-ну Даржансону я мемуар уже посылал; но теперь он стал лучше, чем был, и я ему доставлю его и в исправленном виде. Мне представляется, что лучше отдать его в печать сейчас, а впоследствии поместить в сборнике, дабы пребывал он ut testimonium[5].

Жду приговора над «Зюлимой»[6]. В области стихов, как и в области прозы, я лишь простой смертный и действую исключительно под вашим руководством. Очень странно, что Линан ничего мне не написал[7]. Не могли бы вы побудить Ламара[8] поместить в «За и Против»[9] в мою защиту что-нибудь такое, что сделало бы честь и ему, как проявление признательности с его стороны? Впрочем, люди всегда более склонны наносить оскорбления, нежели заступаться за оскорбленного. Человечное сердце имеется только у вас, ангел мой хранитель, только у одного вас! В Сире душа у всех переполнена чувством благодарности... Нам с г-жей Дю Шатле пришло в голову, что следовало бы воздействовать на старшину адвокатского сословия и на старейших адвокатов, чтобы они дезавуировали тот пасквиль, авторство которого столь нагло приписано адвокату[10]. Не мог ли бы нам оказать в этом помощь Сорен?[11]. Не может ли что-нибудь сделать и президент Ружо?[12]. Мне как раз надо отвечать ему на письмо, и я заведу об этом речь. Не знаю, чем и как доказать вам признательность мою!

Не поговорит ли ваш уважаемый брат с Морепа?

В.

Настоятельно просил бы вас прислать мне копию с письма супруги президента[13].

Адрес: Г-ну Даржанталю,
советнику парламента
Улица Grange Bâtelière, близ вала, в Париже

Почтовая пометка:
De Bar sur Aube

[1] Печатается впервые. Датируется по связи с перепиской о деле с Дефонтеном (№№ III—XV настоящей публикации), а также с письмом Вольтера к Муссино от 28 января 1739 г. (Moland, XXXV, 142—1044).

[2] См. прим. 2 к письму III.

[3] См. прим. 7 к письму VI.

[4] D'Aguesseau de Fresnes Жан-Батист (1701—1784) — сын канцлера, комиссар второго департамента кассационного суда. В 1737 г. сменил Руйе (см. прим. 14 к письму II) и управлял департаментом печати.

[5] «В качестве свидетельства». О намерении Вольтера включить свою статью против Дефонтена в сборник своих произведений см. также письмо VI.

[6] См. прим. 2 к письму VI.

[7] См. прим. 15 к письму VI.

[8] См. прим. 16 к письму I.

[9] Журнал «Le Pour et le Contre».—См. прим. 6 к письму V.

[10] Памфлет Дефонтена «La Voltairomanie» был издан за подписью: «Молодой адвокат». В письме от 12 февраля 1739 г. член адвокатского сословия Пажо отрекся от имени всей корпорации от какого-либо участия в этом пасквиле. Вольтер добился этого, благодаря старым связям в судейском мире, в котором вращался его отец.

[11] Saurin Бернар-Жозеф (1706 — 1781) — адвокат. Автор комедии «Trois Rivaux» (1749) и трагедий «Aménophis» (1752) и «Spartacus» (1760). Впоследствии член Французской академии. Состоял в дружеских отношениях с Вольтером.

[12] Roujaut Венсан-Этьен—президент четвертой следственной палаты Парижского парламента; еще в 1734 г. Вольтер был близок его кругу и рассчитывал на его поддержку (Moland, XXXIII, 420, № 404).

[13] Т. е. г-жи де Берньер.

VIII

B. 31

30 [января 1739 г., Сире][1]

Дорогой и уважаемый друг! Обременяю я вас своими письмами и делами, и перед любым человеком, не обладающим таким сердцем, как ваше, я счел бы необходимым извиняться. Г-жа Дю Ш[атле] только-что получила ваше письмо от 28-го[2]. До вас пьеса не дошла[3]. А, между тем, она отправлена в полночь 23-го. Господа почтовые, очевидно, любят забавляться чтеньем...

Необычное, а быть может, и прискорбное по своим последствиям напряжение, с которым я написал пьесу в течение восьми дней, порождено исключительно вашим советом потушить всю эту клевету каким-нибудь заинтересовывающим публику произведением... Очень хорошо, что я располагаю временем до пасхи. Давайте же мне указания, и за восемь недель мне, конечно, удастся исправить ошибки восьми дней. Я отлично чувствую кое-какое сходство с «Баязетом»[4]. Но ведь этого ни одна пьеса не может избежать! Заимствований я не делал, я обретал ситуации в самом сюжете своем, писал с вдохновением, я вовсе не плагиатор!

Что пасквиль[5] может вызвать лишь презрение и негодование у людей честных, а особенно у тех, кому известны подробности клеветнической кампании,—это я знаю хорошо. Но существуют тысячи писателей, а также иностранцев—на них пасквиль впечатление производит. В нем приведено множество фактов, и этим фактам поверят, если они не будут опровергнуты. Предположим, что я пожелал бы стать членом какой-нибудь академии, хотя бы, например, петербургской. Оставленный без возражений, этот пасквиль, несомненно, закроет мне доступ в нее. Ведь само собой разумеется, что г. Гийо де Мервиль[6] и другие приверженцы Руссо[7] уже играют и будут играть на этом лганье.

Пасквиль этого негодяя только-что напечатан в Голландии. За две недели раскуплено 2 000 экземпляров[8]. В ваших глазах он меня не опорочит,

но еще немного и — в совокупности с десятками двумя новых пасквилей в том же роде — он ляжет на меня клеймом в глазах потомства, останется пятном на чести нашей семьи! От одного из моих друзей, проживающих в Голландии, я узнал, что именно Дефонтен и Жор[9] восстанавливают против меня издателей, с которыми я состою в сношениях. Дело, пожалуй, дойдет до того, что эти самые мои издатели в отместку за то, что я лишил их своих милостей, напечатают пасквиль во главе того или иного из моих произведений. И выйдет так, что я буду бездействовать, а враги мои за это время опорочат меня в глазах всей Европы... Не священнейший ли долг мой, в таком случае, раз это в моих силах, — опровергнуть и разбить столь позорящую меня клевету, которую молчание с моей стороны может только подтвердить?

Для трех четвертей писательского мира здесь нужна умная, убедительная, волнующая статья; но, сверх того, мне необходимо получить

ВОЛЬТЕР

Миниатюра на эмали, работы неизвестного художника второй половины XVIII в., и оборотная сторона той же миниатюры

Эрмитаж, Ленинград

значительное количество опровергающих всю эту ложь письменных свидетельств. Таковые мне нужны: от г-жи Берньер, от Про[10], от Тьерио — от всех вообще, кто может дать какие-нибудь показания в опровержение пасквиля. Напечатаны эти опровержения не будут, но я размножу их в списках, и они всегда будут у меня под рукой на случай нападения, как надежное орудие обороны, как документы, которые могут пригодиться и на суде.

Мне безусловно необходимо возбудить уголовное преследование — наряду с указанной статьей и письменными свидетельствами, которые в данном случае могут помочь, а повредить нисколько не могут. И я намерен и обязан всемерно добиваться судебного дела, чтобы раз и навсегда растоптать эту гидру. Никаких и никакого рода обвинений мне бояться не приходится. Я никогда не признавал никакого касательства своего к «Предохранительному средству»[11]. Ничуть не беспокоят меня и «Философские письма»[12], которые Тьерио издал в Англии и о которых даст показание, что не я являюсь их автором. Полезно, во всяком случае, начать

с предъявления обвинения к тем, кто занимался продажей пасквиля. Так и будет сделано. Ввиду всего указанного, было бы, разумеется, очень существенно, если бы г. голландский посланник[13] высказался об этом в решительной форме и вообще предупредил бы господ Леде о том негодовании, какое вызовет в нем нарушение ими обязательств, на них лежащих[14].

Это будет новым благодеянием по отношению ко мне со стороны моего ангела-хранителя, которому я и так всем обязан.

Раскрываю перед вами, уважаемый друг, все свои помышления и поступки, повергая их на суд вашего просвещенного ума и доброго сердца.

Г-жа Шамбонен[15] явится к вам с большой косулей из Сире. Я с удовольствием появился бы у вас с этой косулей, но я околдован и не отлучаюсь из своего замка. Эта дама должна повидаться с г-жей де Берньер и с теми, кого я побуждаю написать несколько слов, которые не собираюсь предавать гласности. Прошу вас побудить к тому г-жу де Берньер.

Я собираюсь писать г-ну кавалеру де Брассак[16] и уже послал свой мемуар г. Даржансону. Напишу и к г. Дефрену. Как обстоит дело с моими письмами к г-ну канцлеру и к помощнику прокурора? Разрешите мне присоединить еще письмо к г. де Меньеру[17]. Прилагаю письмо мадам, рекомендующее Линана[18].

[1] См. прим. 1 к письму IV. Целиком печатается впервые. Датировано Вольтером: «Сего 30». По содержанию непосредственно примыкает к предыдущему письму (VII), от 28 января 1739 г. Ср. письма Вольтера к Тьерио от 29 января, к аббату Муссино от 8 февраля и к канцлеру Дагессо от 11 февраля 1739 г.—№№ 1048, 1065 и 1066 изд. Moland (XXXV, 146, 165).

[2] Это письмо Даржанталя к г-же Дю Шатле до нас не дошло.

[3] Речь идет о трагедии «Зюлима». О посылке ее «на суд» к Даржанталю см. два предыдущих письма.

[4] «Bajazet»—трагедия Расина.

[5] «La Voltairomanie» аббата Дефонтена (см. письма IV, VII и примечания к ним).

[6] Guyot de Merville Мишель (1696—1755)—автор нескольких трагедий и многих комедий. Литературный враг Вольтера.

[7] Rousseau Жан-Батист (1671—1741)—знаменитый лирический поэт старой «классической» школы, в области критики—последователь Буало. С Вольтером его связывало давнишнее знакомство, но рано начавшаяся литературная борьба между ними доходила порою до крайнего ожесточения. В предисловии к амстердамскому изданию своей трагедии «La Mort de César» (1736) Вольтер позволил себе злую выходку против него. Руссо ответил ему в «Bibliothèque Française, ou Histoire littéraire de la France» (Amsterdam, 1736, т. XXIII, стр. 133—138), а в памфлете, написанном от лица анонимного «друга», разоблачал авторство Вольтера по отношению к «Epitre à Uranie», которое упорно отрицалось Вольтером. Немедленно в той же «Bibliothèque Française» (т. XXIII, стр. 344—356) появился под именем Демулена ответ Вольтера (см. прим. 3 к письму II), полный лестных эпитетов... по собственному адресу.

[8] Такое же беспокойство сказывается и в относящихся к этому времени письмах г-жи Дю Шатле к Даржанталю. В письме от 3 января 1739 г. она пишет: «Добейтесь от него [Морепа], чтобы он побудил голландского посланника унять этих злосчастных издателей, принудив их к молчанию, чтобы, по крайней мере, не всё сразу разразилось»... (см. «Lettres de la marquise du Châtelet, réunies pour la première fois», P., 1878, стр. 283, 313, 314—315 и др.).

[9] См. прим. 16 к письму X.

[10] См. прим. 16 к письму VI.

[11] См. ниже, прим. 6 к письму XIII.

[12] См. ниже, прим. 8 к письму XIII. Об участии Тьерио в опубликовании лондонского издания «Lettres philosophiques» см. Moland, XXII, 75.

[13] Голландский посланник («l'ambassadeur de Hollande»)—французский посланник в Голландии, маркиз Des Ares Шарль-Франсуа (1653—1740), был

известен в обществе под именем графа de Luc; покровительствовал Ж.-Б. Руссо (см. «Lettres de la marquise du Châtelet», стр. 288, прим. 2 к письму от 10 января 1739 г.).

[14] Ledet—совладелец издательской фирмы Ledet et Desbordes в Амстердаме. Во время путешествия своего в Голландию в 1736 г. Вольтер останавливался в его доме. В июле 1738 г., в связи с неисправным изданием фирмой Леде книги Вольтера «Eléments de la philosophie de Newton», их отношения испортились. См. письмо Вольтера к «Господам Леде и К°» от 7 июля 1736 г.—Moland № 896 (XXXIV, 519).

[15] См. ниже, прим. 4 к письму IX.

[16] Brassac Рене (1699—1771)—композитор, автор нескольких опер. В своем «Le Temple du goût» Вольтер отозвался о нем с похвалой.

[17] Durey de Maynières (Meinières) Жан-Батист (1705—1785)—президент второй палаты прошений; был шурином начальника полиции Эро.

[18] См. прим. 15 к письму VI.

IX

B. 81

[Между 2-м и 4-м февраля 1739 г., Сире][1]

Как сообщает мне племянник, г. канцлер обещал ему переговорить с г. Эро. Это далеко еще не значит, что он намерен упразднить данное Дефонтену разрешение. Но предположим даже, что он не позволит ему выпустить «Наблюдения»[2],—на следующий же день он выпустит какие-нибудь «Изыскания», и на них набросится весь Париж.

Разве заставить Дефонтена дать мне удовлетворение—значит совершить нечто чрезвычайное?

Не забывайте, умоляю вас, о письмах г-жи де Берньер и Дюлиона. Когда письмо последнего будет вами использовано, пришлите мне его в подлиннике или в копии. Г-жа Шамбонен[3] от вас в восторге. Но кто же мог бы быть не в восторге от вас? От вас одного получаю я из Парижа что-нибудь утешительное... Вас можно только обожать!

Адрес: Г-ну Даржанталю,
советнику парламента
Улица Grange Bâtelière, близ вала, в Париже

Почтовая пометка:
Vuassy

[1] Печатается впервые. Датируется на основании двух писем Вольтера к аббату Муссино, от 2 и 5 февраля 1739 г. (по изд. Moland №№ 1052 и 1057). Во втором из них Вольтер выступает с возражением на мнение Даржанталя, будто лишение права на издание журнала «Observations sur les écrits modernes» было бы достаточным для аббата Дефонтена наказанием. Если признать правильной датировку указанных двух писем к Муссино, то с большей долей вероятия можно датировать настоящее письмо первой неделей февраля—между 2 и 4 числами этого месяца.

[2] «Observations»—см. выше, прим. 1.

[3] M-me de Champbonin—подруга г-жи Дю Шатле по монастырскому пансиону, корреспондентка Вольтера.

X

B. 63

19 и 20 [февраля 1739 г., Сире][1]

Вы меня знаете, дорогой ангел-хранитель: эпическими поэмами и ньютоновскими началами[2] занимаются люди настойчивые,—и я до последнего вздоха своего буду требовать суда над Дефонтеном... С другой стороны, те же душевные свойства, сдается мне, являются залогом вечной и сердечной моей признательности к вам.

Умоляю вас окинуть беглым взором все нижеследующее. Приступим к делу по порядку.

1°. Хотя мне не приходится бояться никаких обвинений, я все же настаиваю на том, чтобы начать с жалобы, подаваемой писателями; а уж

затем мои родственники пусть подают жалобу от имени оскорбленной семьи[3], в случае надобности—с присоединением и моего имени.

2°. Помимо кары, которую может и должна наложить на аббата Дефонтена власть, у меня была надежда получить необходимые мне опровержения всех клеветнических наветов этого негодяя—опровержения, отказывать в которых немыслимо при наличии представляемых мною доказательств, вроде письма самого Дефонтена, написанного им при выходе из Бисетра[4], письма г-жи де Берньер и писем Тьерио[5].

3°. Чтобы полностью добиться как указанных опровержений, так и самой административной кары по отношению к Дефонтену, в высшей степени и прежде всего необходимо, чтобы Тьерио подтвердил г-ну Эро существование письма от 16 августа 1726 г., которое, боюсь, мною затеряно, но с которым успела ознакомиться г-жа де Шамбонен. В этом письме имеется об аббате Дефонтене формальное показание, что по выходе из Бисетра он сочинил на меня пасквиль под заглавием «Апология», а кроме того, напечатал в Эврё неприличное, издевательское издание «Генриады»[6].

Будьте же добры, уважаемый друг мой, вызовите к себе Тьерио и заявите ему: «Я видел письмо, оно было мне предъявлено. Поспешите же повидать г. Эро и подтвердите это мое показание перед ним или перед г-ном д'Эоном[7]. Только таким путем можно вернуть расположение наследного принца и г-жи Дю Шатле. И нет поступка, который более послужил бы к вашей чести, нежели такая услуга старинному вашему другу. А для него она послужит побуждением в письмах к наследному принцу отзываться о вас с особой горячностью». С ним надо взять теперь такой именно тон, дорогой мой друг, потому что наследного принца очень рассердило проклятое, рассчитанное на огласку письмо, которое Тьерио, по глупости, ему написал. Наследный принц относится ко мне так же хорошо, как вы ко мне относитесь, и ответил ему в высшей степени суровым письмом[8]. Заставьте же его признать свою вину в том, что им написано это злосчастное, рассчитанное на огласку письмо, столь оскорбительное для нас с г-жей Дю Шатле, столь опасное, поскольку оно до известной степени приписывает мне «Предохранительное средство», столь вредное, поскольку отрицает существование письма от 16 августа 1726 г. и проч.

3° [sic!]. Но есть еще нечто необходимое, чтобы добиться кары, а также и опровержений,—это самые усиленные хлопоты. Я уже писал г-ну Морепа. Прилагаю по экземпляру нового прошения для него, для г-на канцлера, лично для г-на кардинала[9], для г-на Эро. Одну копию посылаю Баржаку[10]. Не может ли брат ваш[11] понастойчивее воздействовать на г-на Морепа? А г-да Дагессо[12] не повоздействуют ли на г-на канцлера?

4°. Как вам известно, г-н Эро дал мне обещание вернуть мое письмо, которое у меня выманил этот ловкий мошенник Жор[13] и за которое я так дорого заплатил. Но г-н Эро и не думает возвращать его мне, а держит у себя и тем потворствует Жору. Мне, однако, не верится, чтобы он отказался выполнить мою просьбу, если бы на него оказали некоторое давление г. Морепа и г. канцлер.

5°. Если г. канцлер направил все дело[14] к г. Эро, не означает ли это, что он имел в виду решение дела в упрощенном порядке? Ибо какая будет мне польза, если он станет разбирать его в порядке уголовном, с соблюдением судебных правил? Я бы решительно предпочел этому даже обычное судебное разбирательство.

6°. А в конце концов, я возвращаюсь все к тому же: против меня нет никаких улик, за исключением только того, что письмо[15], которое вошло в «Предохранительное средство», написано мною. Ну, а о чем говорит это письмо? О том, что я вытащил Дефонтена из Бисетра, а он отплатил мне неблагодарностью! Повторяю, это письмо надо считать первым моим иском к Дефонтену. При этом, ни одной улики против меня, и, наоборот, все улики—против него. В итоге, я настаиваю на опровержении дефонтеновских наветов, всецело полагаясь на благодеяния моего ангела-хранителя.

6° [sic!] Кавалер де Муи[16] чрезмерно пылок; но если это действительно преданный человек, он признает «Предохранительное средство» своим сочинением. Он один сумел поднять на ноги тех, кто дал свои подписи. Его и поощрять надо, но одновременно и сдерживать.

7°. Мой мемуар[17] ему передали с тем, чтобы он его показывал, давая на обсуждение. А он мне сообщает, что поспешил сдать его в печать. Не знаю, действительно ли он его напечатал или, желая закрепить за собою право издания, только уверяет, будто это им уже сделано. Но, так или иначе, в обоих случаях предупредите его, что появление в чужих руках хотя бы одного экземпляра вызвало бы негодование как со стороны г-на канцлера, так и со стороны Даржансона. К этому прибавьте, что я вношу в текст значительные поправки и что опубликовывать его в теперешнем виде—значит губить меня.

Мне было бы очень стыдно причинять вам столько хлопот, если бы вы не были г-ном Даржанталем. Прощайте! Сердце мое преисполнено добрых чувств к вам и нежной признательности.

[1] См. прим. 1 к письму VI. Полностью печатается впервые. Датируется 19 и 20 февраля 1739 г., так как написано после передачи канцлером «дела» о Дефонтене главному начальнику полиции, имевшей место в середине февраля 1739 г. См. письмо Вольтера к начальнику полиции Эро от 20 февраля 1739 г., с текстом жалобы.—Moland № 1077 (XXXV, 180—182).

[2] Намек на раннюю поэму Вольтера «La Ligue, ou Henri le Grand», известную под названием «Генриада» (1723), и на его же более позднее сочинение «Eléments de la philosophie de Newton», изд. 1738 и 1741 гг.

[3] По делу Вольтера с Дефонтеном были поданы канцлеру жалобы от имени нескольких лиц, помимо Вольтера задетых памфлетом «Вольтеромания» (см. прим. 13 к письму XIII), а также племянником Вольтера, Миньо (об этих жалобах см. в книге «Lettres de la marquise du Châtelet», стр. 300, прим. 3). Вольтер побуждал своих родственников выступить от имени всей оскорбленной семьи—см. письма к аббату Муссино от 8 и 12 февраля 1739 г. (в издании Moland №№ 1065 и 1068); в последнем из этих писем Вольтер просит Муссино назваться его родственником, а в письме к канцлеру Дагессо от 11 февраля 1739 г. (Moland № 1066) называет г-жу де Шамбонен своей «кузиной».

[4] Текст благодарственного письма Дефонтена к Вольтеру за хлопоты об освобождении его из тюрьмы в 1724 г. см. в изд. Moland, XXXIII, 110, № 110.

[5] О письме Тьерио к Вольтеру от 16 августа 1726 г. см. прим. 5 к письму V. Текст письма до нас дошел лишь в отрывках: см. цитаты из него в письме Вольтера к Тьерио от 2 января 1739 г.—Moland № 1005 (XXXV, 91—93) и в «Mémoire du Sieur de Voltaire» (Moland, X, 39).

[6] См. прим. 5 к письму V. Под этим «издевательским» изданием «Генриады» Вольтер разумеет издание поэмы, вышедшее без разрешения автора в 1724 г. в Руане или в Эврё, с пометкой «Amsterdam, Jean-Frédéric Bernard», инициатива которого приписывалась Дефонтену: здесь встречаются стихи, не принадлежащие Вольтеру и считавшиеся стихами Дефонтена (Bengesco, I, 101, № 363).

[7] Речь, возможно, идет о Луи Эон де Бомоне (Eon de Beaumont)—адвокате парламента и королевском советнике, отце известного дипломата кавалера д'Эона (Eon de Beaumont, 1728—1810).

[8] Став, повидимому, на сторону Вольтера в его деле с Дефонтеном, кронпринц Фридрих уклонялся от слишком резкого суждения о Тьерио, и его «недовольство» этим последним Вольтер, повидимому, значительно преувеличивал. Ср. Desnoiresterres, II, 189.

[9] Fleury Андре-Эркюль де, кардинал (1653—1743), был воспитателем Людовика XV; с 1726 г. до самого дня своей смерти—первый министр, фактический руководитель всей французской политики этого периода.

[10] Barjac—первый камердинер кардинала де Флёри.

[11] См. прим. 7 к письму VI.

[12] «Господа Дагессо»—сыновья канцлера.

[13] Jore Клод-Франсуа—книгопродавец-издатель в Руане, в 1733 г. печатавший «Философские письма» Вольтера и поплатившийся за это лишением издательских прав и заключением в Бастилии. В начале 1736 г. он заявил Вольтеру, что ему вернут права издателя под условием полной откровенности в деле о печатании «Философских писем». Вольтер послал ему письмо, в котором излагал историю издания. Имея в руках доказательство авторства Вольтера, Жор стал требовать от последнего уплаты 1 400 ливров, будто бы, издержанных им на издание «Философских писем». Между ним и Вольтером разгорелась вражда, длившаяся годы и дорого обошедшаяся обеим сторонам. Пользуясь своими связями, Вольтер делал попытки вернуть себе обличающее его в авторстве письмо и получил от начальника полиции Эро обещание о содействии в этом.

[14] Возбуждение уголовного процесса привело бы к судебному следствию, которое могло вывести на свет целый ряд компрометировавших самого Вольтера обстоятельств. Предпочитая ему «упрощенный порядок» («juger sommairement»), Вольтер имел в виду разбор дела и нажим на Дефонтена в административном порядке, который привел бы к письменному опровержению Дефонтеном позорящих Вольтера мест в памфлете (см. прим. 12 к письму I).

[15] В памфлет «Le Préservatif» вошло (в качестве § 27) «письмо к маркизу Маффеи». Отрицая свое авторство по отношению к памфлету в целом, Вольтер признавал себя автором этого письма: речь в нем шла, между прочим, о неблагодарности Дефонтена к освободившему его из тюрьмы автору письма, почему Вольтер и называл письмо это своим первым «иском» к Дефонтену. См. Moland, XXIII, 386, а также письмо Вольтера к Тьерио от 24 ноября 1738 г. (ibid., XXXIV, 50) и «Mémoire du Sieur de Voltaire» (ibid., XXIII, 55).

[16] О кавалере де Муи см. прим. 3 к письму VI.

[17] «Мой мемуар»—все та же многократно переделывавшаяся Вольтером его записка против Дефонтена.

XI

B. 68

21 [февраля 1739 г., Сире][1]

О «Зюлиме»[2], дорогой друг, мне некогда с вами и побеседовать. Я написал ее в десять дней. Больше десяти недель займут у меня исправления. Сейчас же я с головой ушел в свое дело[3].

Г-жа де Шамбонен пришлет вам копию с письма г. Эро, только-что—21-го—мною полученного, а также и ответное письмо мое к нему[4].

Я попрежнему настаиваю на том, чтобы лица, уже давшие свою подпись под одной жалобой[5], подписали в присутствии прокурора и другую, согласно форме составленную. Эро будет действовать в официальном порядке; палата королевского прокурора начнет следствие по обвинению Шобера[6] и Дефонтена, и дело обойдется без моего прямого участия.

У нас с вами совершенно совпали мнения относительно того, чего надо добиваться от г. Эро. Но если этого нельзя добиться без суда,—я смело пойду и по такому пути, в уверенности, что против меня нет никаких улик, и в надежде на вашу помощь. Г-н Морепа высказался очень решительно[7], и вот опять услуга, которой я обязан дорогому своему ангелу-хранителю!

К кардиналу я не писал, а предпочел написать Баржаку.

Я начинаю думать, что мне следовало прямо прибегнуть к уголовному преследованию, раз г. Меньер приходится судье шурином и дружен с ним[8]. Но особенно важно, чтобы Тьерио помнил о своем письме от 16 августа

ce 9 aoust 1744 a cirey

adorable amy je recois votre lettre,
vous corrigez la princesse de navarre et
Prault. il faut que je vienne vous remercier
de tous vos bienfaits. mad^e du chastellet
et dieu me sont temoins que je rapetassois
la scene manquée quand votre lettre
est venue. monsieur de Richelieu veut
despotiquement que nous revenions a paris
et je sens que mon coeur dit ouy, puisque
je vous reverray.
javois envoyé un placet a ch. de pondevele
pour le prier de se joindre a vous dans
laffaire de prault. comme il ment! le
grand point cest quil consente luy et ses
j.f. de confreres que le faquin de duplain
remette a ch^r palu tous les exemplaires
ou quon ly contraigne. bonsoir. nous
vous disons les choses les plus tendres
je suis au desespoir de ne pas travailler
avec les francoeur que vous aimez V
mille respects a contrange

АВТОГРАФ ПИСЬМА ВОЛЬТЕРА К ДАРЖАНТАЛЮ ОТ 9 АВГУСТА 1744 г.

Институт истории Академии наук СССР, Ленинград

1726 г., в котором он упоминает о дефонтеновском пасквиле под заглавием «Апология»[9].

Простите мне все эти ничтожные мелочи... Но ведь дело идет о человеческом счастье, о счастье человека, всецело вам преданного!

Вашему брату я шлю благодарственное письмо.

Г-же Даржанталь—тысяча почтительных поклонов.

Адрес: Г-ну Даржанталю,
советнику парламента
Улица Grange Bâtelière, в Париже

Почтовая пометка:
De Vuassy

Рукой Даржанталя: Г-же Шамбонен в Париж

[1] Печатается впервые. Датируется по письмам Вольтера к Муссино и к Эро от 21 февраля 1739 г. (Moland №№ 1078 и 1079).

В верхнем левом углу подлинника зачеркнутая надпись рукой Вольтера: «Lettre à M. Hérault».

[2] «Zulime»—см. прим. 3 к письму VIII.

[3] «Мое дело»—дело Вольтера с Дефонтеном.

[4] Письмо Эро к Вольтеру до нас не дошло; ответ на него Вольтера от 21 февраля 1739 г. см. Moland № 1079 (XXXV, 183).

О г-же Шамбонен—см. прим. 4 к письму IX.

[5] См. прим. 3 к письму X.

[6] Chaubert—издатель памфлета «Вольтеромания»—был заподозрен и в его распространении.

[7] См. прим. 7 к письму VI.

[8] «Судьей» Вольтер называет начальника полиции Эро; де Меньер приходился ему шурином.

[9] См. прим. 5 к письму V.

XII

В. 73

25 [февраля 1739 г., Сире][1]

Посылаю вам, дорогой ангел-хранитель, свой мемуар, свои пьесы и просьбы мои к г-ну де Меньер. Поступать я буду согласно указаниям, которые он вам даст, и вашим предписаниям.

Присоединяю выдержку из письма принца, которому предстоит стать во главе огромной монархии. Очень хорошо, если это может произвести некоторое впечатление, а если не так,—сожгите выдержку[2].

Я снова принимаюсь за «Зюлиму». Но я уязвлен в самое сердце: хорошо воздаяние за заслуги! Как! Не найти управы на какого-то Дефонтена! Regnum meum non est hinc[3].

Как ни стараюсь, не могу придумать, какое обвинение мог бы выдвинуть против меня Дефонтен. Письмо Жора[4] о «Философских письмах» в руках у г. Эро, а он обещал вам отдать его мне и в регистратуру его не представит, так что письмо это не может явиться уликой против меня. А на все прочее, ручаюсь, нет ни малейших доказательств! За всем тем, однако, без протекции не делай ни шага: нет покровительства—нет и успеха. Я же полагаю, что добиться управы над этим негодяем необходимо. Я просил бы г. Эро написать коротенький ответ на мои вопросы или поручить написать этот ответ на полях.

[1] В текст писем по изданию Moland №№ 1040 и 1069 вошло по одному незначительному отрывку из этого письма (см. прим. 1 к письму III). Датируется по связи с вышеопубликованными письмами X и XI. Второй абзац включен в состав Moland № 1040 от 25 января (фразы 9 и 10); третий абзац (кроме первых слов)—в Moland № 1069, от 12 февраля.

[2] В письме к Вольтеру наследника прусского престола (будущего Фридриха II) от 3 февраля 1739 г. имеются строки: «Недостойно Франции и постыдно для нее, что вас безнаказанно преследуют... Я возмущен, что никто не восстает против ярости ваших

врагов. Нация должна бы принять сторону того, кто трудится исключительно для славы своей родины и является едва ли не единственным человеком, делающим честь своему веку... Вы знаете, что мы с маркизой—лучшие ваши друзья; если на вас нападут, поручите нам взять на себя вашу защиту» (M o l a n d, XXV, 154, № 1053). Ответ Вольтера на это письмо—см. i b i d., 197, № 1090.

[3] «Царство мое не от мира сего» (ев. Иоанна, XVIII, 36).

[4] См. прим. 13 к письму X.

XIII

B. 46

25 [февраля 1739 г., Сире][1]

Днем я работаю над «Зюлимой»[2], а вечером пересматриваю мое дельце с милейшим Дефонтеном.

Письмо мое к г. Эро[3] вы прочли и знаете, в чем сейчас дело. Все укладывается в два слова: может ли г. де Меньер совершенно определенно сказать вам, на что я могу рассчитывать со стороны г. Эро?

Власть, допускающая такие поношения, навеки оскорбляет литературу; дать справедливое удовлетворение—дело чести для администрации. Повторяю, мне нечего бояться, если г. Эро на моей стороне. Клеветнические наветы Дефонтена разоблачаются документально. «Предохранительного средства» вменить мне в вину нельзя[4]: я располагаю письменными показаниями, что сочинение это писано не мной. На печатание «Послания о зависти»[5] имелось разрешение, а вдобавок в нем не названо ни одного имени. Что до «Философских писем»[6]—пусть он доносит на меня, как на их автора: сатана не мог бы этого доказать! А на счет «Послания к Урании»[7]—этого не сделать и Вельзевулу! Я смело пошел бы на суд самого Миноса... Ибо, как вменить мне то, чего я не делал? Только бы не обязывал меня г. Эро являться в Париж, а, во внимание к моей болезни, уполномочили бы принять от меня показания какого-нибудь судью в Васси или Шомоне[8].

Прошу вас, однако, немедленно через савояра известить Бегона[9] или Муссино, надобно ли мне в течение 24 часов заявить о своем отказе, чтобы королевский прокурор начал безвозмездно дело. Говоря м н е, я разумею себя или вообще тех, кто подаст жалобу, ибо если последняя не будет подана от имени Прокопа или Андре[10], или от имени моих родственников—я подам ее от своего собственного имени. Ни перед чем я, чорт побери, не остановлюсь, только бы справиться с ним!

25-го.

Тысяча сердечных благодарностей г. Пон де Вейлю.

Адрес: Г-ну Даржанталю,
советнику парламента
Улица Grange Bâtelière, в Париже

Почтовая пометка:
Vuassy

[1] Датируется по связи с письмом Вольтера к начальнику полиции Эро, содержащим заявление Вольтера (requête). Начало публикуемого письма, кончая словами «дело чести для администрации», внесено в текст M o l a n d № 1040 (XXXV, 136—137). Подлинники Воронцовского сборника обнаруживают, что это письмо составлено из отрывков четырех публикуемых здесь писем Вольтера: III, V, XII и XIII. Тот необычный факт, что Вольтер посылает в тот же день, не оговаривая этого, два письма к одному адресату, может быть объяснен тем, например, что настоящее письмо написано в ночь на 26 февраля и послано вслед за письмом XII. Допустима и ошибка в датировке со стороны Вольтера.

[2] Трагедия «Зюлима» была начата Вольтером в середине декабря 1733 г.—см. M o l a n d, XXXV, 94, № 1007. Посвящена автором знаменитой трагической актрисе Comédie Française—К л э р о н (1723—1803).

[3] Письмо Вольтера к Эро с изложением дела о памфлете «Вольтеромания» до нас не дошло.

[4] Уверенный в том, что Вольтер является автором памфлета «Le Préservatif», Дефонтен требовал от Вольтера такого же опровержения этого памфлета, какого Вольтер требовал от него по отношению к памфлету «La Voltairomanie».

[5] Вольтер имеет здесь в виду «Epître sur l'Envie» — третье из своих «Рассуждений о человеке в стихах» («Discours en vers sur l'Homme»). Литературная традиция относит к Дефонтену стихи:

> ...Ce fripier d'écrit que l'intérêt dévore,
> Qui vend au plus offrant son encre et ses fureurs,
> Méprisable en son goût, détestable en ses mœurs... и т. д.

«Этот литературный старьевщик, снедаемый корыстью, продающий тому, кто больше даст, и перо свое и свое неистовство,—со своим низким вкусом, со своей позорной нравственностью» и т. д.

[6] «Lettres philosophiques» (иначе—«Lettres sur les Anglais») написаны Вольтером во время его пребывания в Англии в 1726—1729 гг., изданы в Лондоне на английском языке в 1734 г. и в 1735 г. напечатаны на французском языке в Руане у книгопродавца-издателя Jore. Противопоставление английских порядков отечественным превращает «Письма» в сатиру на Францию того времени. Авторство свое Вольтер тщательно скрывал. По постановлению Парижского парламента от 10 июня 1734 г., книга была сожжена рукою палача, как произведение «против церкви, добрых нравов и властей», а Вольтеру пришлось оставить Париж и искать пристанища на границе Лотарингии, в замке Сире.

[7] «Epître à Uranie» Вольтер написал в 1722 г. «в назидание» своей приятельнице, г-же de Rupelmonde, вдове богатого фландрского дворянина. В «послании» имеется ряд выпадов против христианской религии, что и вызвало негодование клерикалов и реакционных кругов. Призванный к ответу начальником полиции Эро, Вольтер отрекся от авторства, приписав его аббату Chaulieu, в то время уже умершему. См. Desnoiresterres, I, 459.

[8] Vuassy (Wassy, Vassy) и Chaumont—местечки неподалеку от Сире.

[9] **Begon**—прокурор, к которому обращался Вольтер по делу с Дефонтеном.

[10] Помимо Вольтера, памфлетом «La Voltairomanie» оказались затронутыми врачи Procope и André, адвокат Gayot de Pitaval (автор ряда книг, в том числе известного собрания «Знаменитых процессов»—«Causes célèbres», 1734), аббат Séran de la Tour и еще несколько лиц; все они участвовали в «заявлении» (requête), поданном канцлеру.

XIV

В. 80

28 [февраля 1739 г., Сире][1]

Вот, уважаемый друг, последний предел неудач и обид! Мне уже раньше сообщали, что аббат Дефонтен опередил меня; сейчас я узнал, что королевский прокурор, к которому он обратился,—открытый мой враг и только и ищет, как бы меня погубить. Какого заступничества могу я от него ждать? Это, увы, так! Увы, неужели надо искать заступничества против какого-то Дефонтена?

Доставлено ли, наконец, милому моему ангелу начало «Опыта истории Людовика XIV», которое было вручено Тьерио только для передачи вам[2], а он продержал его целый месяц?

Все делается вкривь и вкось! Но вы меня любите, и я полон надежд.

В.

Адрес: Г-ну Даржанталю,
советнику парламента
Улица Grange Bâtelière, в Париже

Почтовая пометка:
Vuassy

[1] Отрывок из этого письма вошел в текст письма № 1069 изд. Moland (XXXV, 170 сл.), составленного из небольшой части ныне публикуемого письма и письма XII. Датируется по связи с письмами Вольтера к Муссино и Тьерио, писанными в тот же день (Moland, XXXV, №№ 1089 и 1901).

[2] См. письмо к Тьерио, указанное в предыд. прим.

ВОЛЬТЕР, ИГРАЮЩИЙ В ШАХМАТЫ С ОТЦОМ АДАМОМ

Картина маслом Жана Гюбера, 1770—1775-е гг.

На картине изображен также сам художник, рисующий Вольтера, и секретарь Вольтера, Ваньер

Эрмитаж, Ленинград

XV

В. 89

7 [марта 1739 г., Сире][1]

Так значит, милый ангел мой хранитель, ваш дядюшка становится уже «престолом», «властью» — unus ex altissimis... La santa chiesa è una bella cosa per Dio[2]..... А вы? Разве вы так навеки и останетесь советником парламента? Нет. Я хочу, чтобы и вы стали также властью—среди мирян. Клянусь, вы также достигнете высоких ступеней, но только не в Америке[3]. На тот случай, что среди шума поздравлений и торжеств у вас найдется время и для «Зюлимы», я посылаю ее вам через Тьерио, запечатанную тремя печатями с гербом г-жи Дю Шатле.

В четвертый раз повторяю, что еще полтора месяца тому назад Тьерио обязан был вручить вам начало «Опыта о Людовике XIV»[4].

Ангел мой, лобызаю ваши крылья, а с его позволения,—и крылья другого ангела—г-жи Даржанталь.

Итак, вы оказались архистратигом Михаилом и попираете ногой дракона—Дефонтена? Великое же спасибо вам, покровителю праведников![5].

Если, благодаря вам, аббат де Бретёйль[6] пройдет в конклависты вашего дяди, вы станете всеобщим ангелом-покровителем. Ручаюсь вам, что кардиналу де Тансен не сыскать себе помощника более приятного, лучше знающего то, что знать полагается, и лучше умеющего действовать так, как действовать надлежит.

Прощайте, дорогой мой ангел.

Кстати, я не сумел так переделать начальные действия, как вы этого требовали. Я пробовал—не выходило. Зюлима оказалась в положении незваной гостьи: не могли повернуться к ней сердца, уже плененные Атидой[7]. Примите это во внимание, господа члены совета! «Зюлиму» вам перешлет уже не Тьерио: г-жа Дю Шатле перестала доверять ему и прибегает к иному способу доставки.

Адрес: Г-ну Даржанталю,
советнику парламента
Улица—Grange Bâtelière, в Париже

Почтовая пометка:
Vuassy

[1] Впервые было напечатано в I томе издания писем Вольтера Cayrol et François (стр. 115) с датой «ce 7 mars»; перепечатано в изд. Moland, причем текст публикуемого письма разделен на две части и составил письма: № 1098—с датой 7 марта 1739 г. и № 1132—без даты, но с отнесением к периоду между 12 и 15 апреля (см. Moland, XXXV, 244 notes). В обоих изданиях опущен постскриптум («Кстати, я не сумел...»).

Дата 7 марта 1739 г. согласуется: 1) с рядом других писем от этого числа (Moland, XXXV, 202—205), 2) с упоминанием о высылке через Тьерио «Века Людовика XIV» (см. письмо XIV) и 3) с датой получения сана кардинала аббатом де Тансен (см. следующее примечание).

[2] Аббат de Tencin, дядя гр. Даржанталя, был возведен в сан кардинала 23 февраля 1739 г. «Unus ex altissimis»—«один из высших»; итальянская фраза означает: «святая церковь, ей-богу, славная вещь!». Словами «престол», «власть» по церковной терминологии обозначаются «ангельские чины».

[3] Намек на неосуществленное намерение Даржанталя принять пост губернатора Сан-Доминго.

[4] Первые главы известного труда Вольтера, вышедшего в 1751 г. под названием «Le Siècle de Louis XIV».

[5] Неизвестно, о каком новом заступничестве Даржанталя за Вольтера идет здесь речь. Судя по письму Вольтера к аббату Муссино от того же числа (Moland № 1095, XXXV, 22), Вольтер в этот день получил от последнего какие-то приятные для него известия.

[6] Аббат de Bréteuil—брат г-жи Дю Шатле.

[7] Atide, испанская невольница—действующее лицо трагедии «Зюлима».

XVI

B. 33

[Сентябрь—октябрь 1739 г., Париж?][1]
Лежа в постели, в половине третьего

Дорогой мой ангел, всегда-то вы слетаете ко мне на помощь с небесных высот мудрости! С вами не сравняться духу, жившему в Сократе... Но раз вы видите насквозь мое сердце, должны же вы знать, что там никогда не было и тени намерения предпринимать что-нибудь иначе, как по соглашению с г-жей Госсен[2], к которой я полон дружеских и благодарных чувств. И речи не может быть о том, чтобы ставить «Зюлиму» после «Меропы»[3] в качестве пьесы новой. Нет еще ни обстановки, ни музыки. До моего отъезда в Сире[4] актеры успеют только репетировать «Зюлиму» в вашем присутствии, чтобы посмотреть, какое впечатление она производит. Затем можно будет сделать объявление о первом представлении— на последней неделе поста, а то и после пасхи; в случае же успеха, можно будет дать и второе представление. Вот и все. И никакой «Меропы» в среду на первой неделе великого поста! Вы лучший из ангелов. С величайшим почтением целую краешки крыльев и у ангелоподобной вашей супруги.

В.

На обороте: Г-ну Даржанталю

[1] Издается впервые. Не имеет подробного адреса, ни почтовой отметки. Точной датировке не поддается. Повидимому, было написано во время пребывания Вольтера в Париже осенью 1739 г., когда шли переговоры о постановке в Comédie Française его новой трагедии «Зюлима»; возможно, однако, и отнесение этого письма к концу марта—началу апреля 1743 года, в пользу чего говорят некоторые косвенные признаки (постановка «Меропы», отношения к Госсен и т. д.).

[2] В трагедии «Зюлима» M-lle Госсен играла роль испанской невольницы Атиды. О Госсен см. прим. 13 к письму I.

[3] Над трагедией «Меропа» (поставленной лишь в 1743 г.) Вольтер работал с конца 1737 г.

[4] Вольтер уехал в Париж в первых числах ноября 1739 г. и зиму 1739—1740 г. провел не в Сире, а в Брюсселе.

XVII

B. 50

31 января [1740 г., Брюссель][1]

Дорогой и уважаемый друг! Письма наши разошлись. Сердечно благодарен я вам за то, что вы отложили произнесение приговора над «Магометом»[2]. Я его перечитывал сегодня, когда пришло ваше письмо от 27-го. Я чувствовал, что меня расхолаживает первая половина третьего действия[3]—она показалась мне очень длинной, хотя она и коротка. Я убежден, что причина тут в изъяснениях Магомета в любви к Пальмире[4]. Если принять во внимание, что к этому времени он все хладнокровно подготовил для отцеубийства, такое падение кажется нестерпимым. Чем больше я о том думаю, тем более возмутительным представляется мне такой переход от ужасов к чувству любви. Безусловно необходимо, чтобы Магомет был встревожен холодностью Пальмиры еще до принятия своего решения и уж, конечно, до разговора с Сеидом[4], это и должно оказаться для него лишним поводом к мести; а не так, что он является к дочери и спокойно рассуждает о любви, после того, как уже принял решение отомстить отцу и сыну!

Наряду с этим существенным, на мой взгляд, недостатком, каким-то вводным эпизодом оказывается первая сцена III акта, которая могла бы

быть и живой и сильной. В ней, правда, говорится об опасности, угрожающей Сеиду, но ведь опасность эта еще весьма далекая: несчастия, почти лишь воображаемые, зрителя волновать не могут. Словом, влюбленная эта пара показывается только для того, чтобы побеседовать. Все же то, что не является необходимым, расхолаживает. Есть, на мой взгляд, еще один значительный порок—это подробности, о которых распространяется Омар[4] в разговоре с Магометом[4], после обещания Сеида убить отца. В подобных случаях подробности томительны, и его признание Герсиду[4], без которого обойтись, правда, нельзя, никого не заинтересовывает, ибо в такой напряженный момент порождает скуку все, что не направлено к основной цели.

Все эти недостатки, кажется мне, не трудно будет устранить. Я поразмыслю над исправлениями, какие надо сделать во всех отмеченных вами местах. Торопиться мне незачем.

Если пьеса выйдет хорошей, то ставить ее никогда не поздно[5]. Я еще подвергну ее серьезной переработке. Если вы за последнее время нашли в ней еще какие-нибудь ошибки, ранее вами упущенные, прошу вас не щадить меня, пока у меня спорится дело. Если мне не удалось усовершенствовать 5-й[6]—это доказывает мое бессилие; но как только осенят меня какие-либо счастливые мысли, я не оставлю в пьесе погрешностей против изящества; до сих пор же оно мне не давалось.

Мне очень совестно, что я так плохо сделал этот 5-й: он должен был выйти лучшим из всех актов, раз я им целиком обязан вам.

Я не думаю, чтобы г-же Дю Шатле удалось побывать в Париже после пасхи, и отдам переписать все роли с пометками на полях, чтобы все актеры могли ими руководствоваться. Признаю, что играть эту пьесу чрезвычайно трудно. Но самая эта трудность может стать причиной успеха драмы, ибо трудность вызвана тем, что все здесь написано в новом вкусе, и этой новизной может отчасти быть искуплена недостаточность моих сил.

Мне стало известно, что Прево[7] укрывается в здешних местах. Знаете ли вы, в чем состоит его дело? Я опасаюсь, что он оказался поставщиком злобных слухов для торговцев скандальными сплетнями. Хорошо бы разузнать об этом, чтобы быть настороже в отношении к нему, и прежде всего, чтобы не оказать ему плохого приема, в случае, если он того не заслуживает.

Прощайте, милый ангел. Тысяча почтительных любезностей г-же Даржанталь. Г-жа Дю Шатле любит вас и заявляет об этом.

Господин де Рютан[8] живет не в Лотарингии, он сейчас в Мюнстере. Как только он появится в Люневилле, его поторопят с ответом, а об его поведении нас будут осведомлять.

[1] Печатается впервые, за исключением двух фраз, вошедших в текст письма № 1486 изд. Moland (XXXVI, 112), якобы, от 19 января 1742 г., из Грэ. Повидимому, относится ко времени пребывания Вольтера в Брюсселе в 1740 г., когда он был занят переработкой трагедий «Zulime» и «Mahomet», оперы «Pandore» и комедии «La Prude». (Ср. Desnoiresterres, II, 267). Однако, дате 31 января 1740 противоречит письмо № 1236 изд. Moland (XXXV, 276) к Даржанталю, помеченное «1 февраля» того же года, и, стало быть, как бы написанное на следующий день после публикуемого нами, а в нем Вольтер жалуется на отсутствие отзывов Даржанталя о «Магомете» и вообще на длительное отсутствие писем от него. Выход из противоречия может быть двоякий: либо письмо № 1236 изд. Moland следует отнести к 1741 г., как это и сделано в изд. Cayrol et François; либо публикуемое здесь письмо нужно перенести на позднейшее время—31 января 1741 или 1742 г. (обе эти даты совпадают с пребыванием Вольтера в Брюсселе, а обработка текста «Магомета» продолжа-

лась и в эти годы). Однако, ввиду сомнительности датировки письма в изд. Moland и ввиду упоминания в публикуемом письме о скрывающемся в Лотарингии Прево — вполне соответствующего письму его к Вольтеру от 15 января 1740 г. (см. ниже, прим. 7)—приходится остановиться для публикуемого письма на дате: 31 января 1740 г.

[2] «Приговор над „Магометом"» — отзыв Даржанталей об этой трагедии, над которой в то время Вольтер еще работал.

[3] Сомнения на тему о «холодных местах» в «Магомете» можно найти и в письме Вольтера к маркизу Даржансону от 26 января 1740 г. (Moland, XXXV, 374, № 1234), что тоже является аргументом в пользу предложенной выше датировки публикуемого здесь письма.

[4] Действующие лица трагедии «Магомет».

[5] «Магомет» впервые был поставлен в Лилле в апреле 1741 г., а в Париже лишь 29 августа 1742 г.

[6] Т. е. V акт трагедии «Магомет».

[7] Prévost d'Exiles Антуан, аббат (1697—1763)—известный писатель, автор знаменитого романа «Манон Леско» (1731) и ряда других романов, редактор журнала «Le Pour et le Contre» (с 1733 по 1740 гг.). В письме к Вольтеру от 15 января 1740 г. Прево сообщал, что скрывается от кредиторов, срок уплаты которым истекал 1 февраля 1740 г.—Moland № 1230 (XXXV, 368).

[8] О Рютане у нас сведений нет.

XVIII

ПОН ДЕ ВЕЙЛЮ

В. 62

11 [февраля 1740 г., Брюссель][1]

Я в восторге, ангелы мои хранители!

Итак, решительно мы обладаем гораздо лучшим вкусом и большей утонченностью, нежели англичане! Знайте же, что «Г-жа Святоша»[2] почти полностью представляет собой перевод одной из лучших английских комедий. Из последней я выкинул только грязь, да еще те черты, которыми автор наделил господина Франкборда, заимствовав их у мольеровского Мизантропа.

Свою новую «Зюлиму»[3] я отослал. Разрешите мне считать пятый акт недурным, четвертый же слаб. Поспеют ли во-время в Париж еще несколько исправлений несчастного четвертого акта, если бы я дополнительно их послал? Исправил я также конец четвертого и пятое действие «Магомета». Думается, что все это сейчас уже не так плохо, как было прежде. Буду иметь честь представить эти два акта на суд вашего трибунала[4].

С «Пандорой»[5] сделаю все, что вам будет угодно. Вдохновляйте меня, любите меня и исправляйте!

Г-жа Дю Шатле шлет вам самые сердечные приветствия.

Адрес: Г-ну Пон де Вейлю,
заведывающему мореходными классами
Porte St. Honoré, в Париже

[1] Печатается впервые. Датируем февралем по связи с письмами к Даржанталю от 2 и 16 февраля 1740 г.—Moland №№ 1237 и 1240 (XXXV, 376 сл.).

[2] «Madame Prudise»—комедия Вольтера, являющаяся переработкой известной в то время английской комедии «Plain dealer» Вичерлея (Wicherley). В письмах к друзьям Вольтер именует свою комедию «Madame Prudise»; официально она называлась в то время «La Dévote». В изданиях Beuchot и Moland она напечатана под заглавием «La Prude»; поставлена была 15 декабря 1747 г. на сцене у герцогини Мэнской. Действующее лицо английской комедии Francbord в комедии Вольтера переименовано в Blanbord.

[3] «Зюлима» была впервые поставлена на сцене Comédie-Française 8 июня 1740 г.

[4] Ср. письмо к Даржанталю от 16 февраля 1740 г. (Moland № 1240, XXXV, 381).

[5] «Pandore»—текст Вольтера к опере на сюжет известного мифа (музыка Royer, аранжировка Sireuil); на сцене опера не появлялась. Текст был впервые напечатан в III томе Сочинений Вольтера, изданных в 1748 г. в Дрездене.

XIX

ПОН ДЕ ВЕЙЛЮ

В. 28

23 [февраля 1740 г.][1]

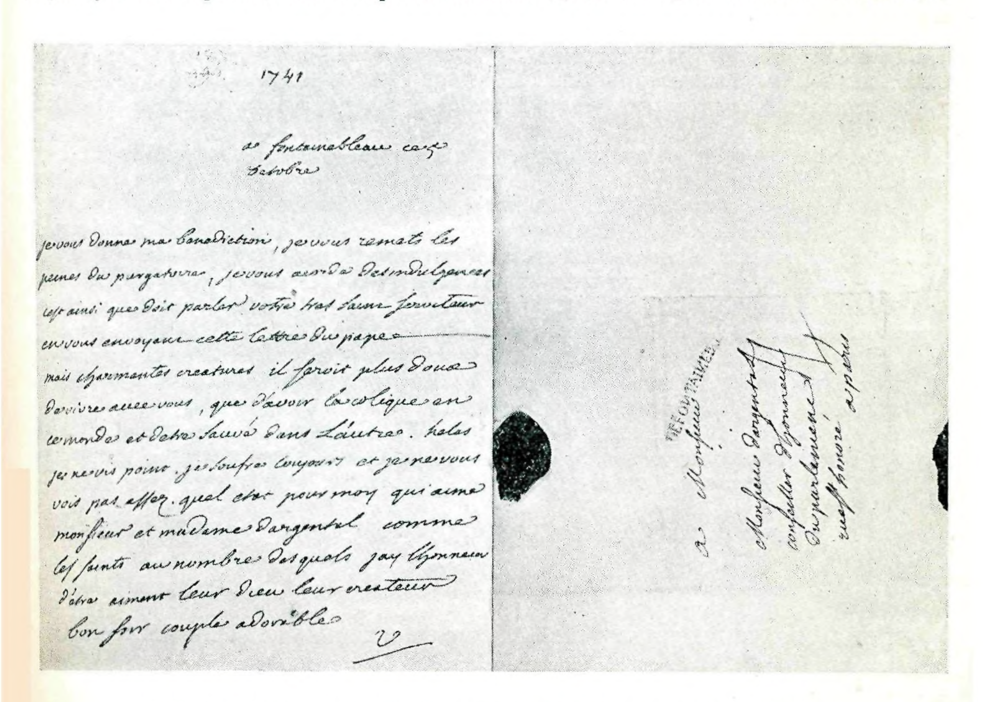
Если исполнить скоро, значит хорошо исполнить,—вы, милостивый государь, должны быть удовлетворены. Я возвращаю пятый акт «Зюлимы» в тот самый день, как его получил, и надеюсь хоть поведением своим угодить г-же Кино[2], если и не в состоянии угодить ей своими талантами. Я пересмотрел этот пятый акт холодным оком, и он показался мне удовлетворительным. У меня возникает крепкая вера в успех постановки этого произведения, в виду того, что актерам в этой пьесе дается возможность изобразить весь ход развития страстей. А трагедия должна быть страстью, высказывающейся в словах.

Не думаю, чтобы она произвела столь же сильное впечатление при чтении, ибо слишком похожа она на собрание старинных облачений Роксаны, Аталии, Химены, Каллиррои[3], расшитых новыми вышивками.

Перехожу к «Магомету»[4]. Он—весь новый.

Tentanda via est, qua me quoque possim tollere humo[5].

«Зюлима» будет пьесой женщин, а «Магомет»—пьесой мужчин. Я рассчитываю на ваше благоволение к обоим. Позволяю себе попросить вас о небольшой услуге. Вы попадаете на улицу Сент-Оноре не иначе, как проходя мимо Эбера. Я и прошу вас зайти к нему и осмотреть письменный прибор Мартена[6], заказанный нами для преподнесения прусскому наследному принцу. Понравится ли он вам? Для подобного принца это вполне подходящий подарок: это сабля, посылаемая Солиманом Скандербегу[7]. Но проклятый Эбер затягивает дело на целые века! Состояние


1741

a fontainebleau ce 5 octobre

je vous donne ma benediction, je vous remets les
peines du purgatoire, je vous accorde des indulgences
cest ainsi que doit parler votre tres humble serviteur
en vous envoyant cette lettre du pape
mais charmantes creatures il seroit plus doux
de vivre avec vous, que d'avoir la colique en
ce monde et d'etre sauvé dans l'autre. helas
je ne vis point, je souffre toujours et je ne vous
vois pas assez. quel etat pour moy qui aime
monsieur et madame dargental comme
les saints au nombre desquels jay l'honneur
d'etre aiment leur dieu leur createur
bon soir couple adorable

V

DE FONTAINEBLEAU

a Monsieur dargental
conseiller d'honneur
du parlement
rue st honoré a paris

АВТОГРАФ ПИСЬМА ВОЛЬТЕРА К ДАРЖАНТАЛЮ ОТ 5 ОКТЯБРЯ 1745 г.

Страницы первая, с неправильной позднейшей датировкой „1741“, и последняя, с адресом, почтовым штемпелем и печатью с гербом Вольтера

Институт истории Академии наук СССР, Ленинград

прусского короля очень плохо, и моя любезность может пропасть даром, если он умрет раньше[8], чем приборчик дойдет до принца. Не так ведь уж это изящно—посылать подарки королю, который может воздать за них сторицею: видимость корысти может лишить мой прибор всякой ценности. Умоляю же вас, поторопите этого Эбера, натравив на него кого-нибудь из ваших слуг.

Позвольте еще попросить вас передать мой глубоко почтительный поклон г-же Люксанбур[9]. Быть может, и г-жа де Тансен согласится принять такой же поклон?[10].

В.

[1] Со времен Кельского издания часть этого письма вводится в текст письма № 1251 изд. Moland (XXXV, 396), напечатанного с датой 12 марта 1740 г. и с указанием на Даржанталя, как его адресата. Этому, однако, противоречит обращение «Monsieur», необычное для писем Вольтера к Даржанталю, а также отсутствие в конце письма обычного приветствия по адресу его жены. На то, что письмо адресовано не к Даржанталю, указывает также письмо Вольтера к последнему, опубликованное в изд. Moland № 1245 (XXXV, 387) с датой «25» [февраля 1740 г.]: по содержанию оно совпадает с ныне публикуемым письмом. (Даты не совпадают, но в печатных изданиях переписки Вольтера они вообще мало достоверны). В только-что указанном письме к Даржанталю Вольтер сообщает, что пишет Пон де Вейлю и M-lle Кино. Предполагаем, что при этом он говорит как раз о публикуемом нами письме, и адресатом этого письма считаем поэтому Пон де Вейля.

До нас дошло и письмо прусского принца Фридриха к Вольтеру от 23 марта 1740 г., Moland № 1254 (XXXV, 400), где выражается благодарность за поднесение письменного прибора, о котором Вольтер говорит в публикуемом письме. Основываясь на совокупности этих данных, датируем настоящее письмо 23 февраля 1740 г.

[2] M-lle Quinault Жанна-Франсуаза (1699—1783)—актриса Comédie Française. В ее салоне собирались энциклопедисты и цвет парижской умственной аристократии. Была приятельницей и корреспонденткой Вольтера.

[3] Роксана—героиня трагедии Расина «Александр», Аталия (Гофолия)—одноименной трагедии Расина, Химена—трагедии Корнеля «Сид»; «Каллирроэ» (Callirrhoé)—опера, текст которой написан поэтом Пьером-Шарлем Roy (1683—1764).

[4] В начале 1740 г. Вольтер усиленно работал над усовершенствованием трагедии «Магомет».

[5] «Надо мне изведать путь, по которому и я мог бы подняться из праха» (Verg., Georg., III, 8—9).

[6] Письменный прибор мог быть исполнен по рисункам которого-нибудь из двух художников по имени Martin: Martin des Batailles Жана-Батиста (1657—1735), или его родственника и младшего современника, Пьера-Дени Martin.

[7] Scander-beg Ян-Кастриот—албанский национальный герой первой половины XV в., ставший во главе восстания эпиротов против турок. На тему о Скандербеге композиторы Rebel и Francœur написали оперу по либретто Ламотта. Она была поставлена в Париже в Королевской музыкальной академии 27 октября 1735 г.

[8] Король прусский Фридрих-Вильгельм I, отец Фридриха II, умер 31 мая 1740 г.

[9] Герцогиня de Luxembourg, урожд. Colbert (1711—1747).

[10] Tencin Клодина-Александрина (1635—1749)—писательница, хозяйка литературного и политического салона, сестра кардинала де Тансен и тетка Даржанталя и Пон де Вейля (см. о ней во вступительной статье).

XX

В. 18

12 марта [1740 г.][1]

Дорогой мой ангел-хранитель! Я выслал вчера по адресу вашего брата небольшой пакет, вложив в него почти все исправления к «Зюлиме», которых от меня требовал мой верховный совет. Я уже охладел к этому произведению и почти утерял самый замысел его, как утерял и список. Мадемуазель Кино пришлось возвратить мне все пять актов, чтобы ввести меня в курс собственного моего творения! Раздуть наново почти угасшее

пламя—дело весьма трудное, и справиться с этим могло разве только дыхание моих ангелов. Не знаю, удастся ли вам найти остатки какого-нибудь жара в посылаемых вам поправках. Вряд ли это может быть сыграно постом: до пасхи стравить госпожу Госсен с госпожей Дюмениль[2] мне представляется немыслимым... У меня, значит, остается время для «Магомета». Вы не забыли о «Пандоре»? Вы говорили, что из нее может что-нибудь получиться. Сдается мне, что «Пандорой» я скорее удовлетворю вашим требованиям, чем «Зюлимой»... Мне, признаюсь, очень приятна мысль, хоть раз в жизни, добиться успеха у музы оперы. Я обожаю их все девять, а чем больше одержишь побед—тем лучше, если не слишком при этом кокетничать...

Наследный принц написал мне трогательное письмо о своем отце, который лежит уже в агонии[3]. Повидимому, он хотел бы иметь меня возле себя. Но вы, конечно, слишком хорошо меня знаете, чтобы допустить, что я могу покинуть мадам Дю Шатле ради какого-нибудь короля, хотя бы и любезного...

А вам, право, следовало бы сообщать мне что-нибудь о спектаклях. Они продолжают меня интересовать, несмотря на то, что я в настоящее время весь ощетинился колючками философии[4]. Никогда также не сообщаете вы ничего лично о себе, ни одного слова о вашем пузыре, ни одного слова о том, как вы развлекаетесь... А мне это интереснее всех спектаклей в мире! Попрежнему ли отправляетесь вы каждое утро, облачившись в судейскую мантию, чтобы, скучая, выслушивать тяжущихся?[5]. Шлю тысячу сердечных приветов г-же Даржанталь. Не забывайте, пожалуйста, обо мне, когда бываете у господина сардинского посланника[6], а также у господина Дюссе.

В.

Адрес: Г-ну Даржанталю,
советнику парламента
Улица Grange Bâtelière, в Париже

[1] Настоящее письмо в соединении с предыдущим (XIX) письмом почти целиком вошло в текст письма № 1251 изд. Moland (XXXV, 396 s.).

Дата (год) письма устанавливается на основании его содержания, в частности, упоминания о смертельной болезни прусского короля (умер 31 мая 1740 г.).

[2] В трагедии «Зюлима» актрисы Госсен и Дюмениль исполняли роли испанской невольницы Атиды и трахименской царевны Зюлимы—двух соперниц по любви к Рамиру.

Dumesnil Мари-Франсуаза (1711—1803)—знаменитая трагическая актриса Comédie Française.

[3] См. Moland № 1246 (XXXV, 387). Письмо датировано 26 февраля 1740 г.

[4] Вольтер в это время писал работу об учении Ньютона «La métaphysique de Newton».

[5] Намек на службу Даржанталя в парламенте.

[6] Сардинский посланник в Париже, de Solar.

XXI

ПОН ДЕ ВЕЙЛЮ

B. 20

30 марта [1740 г.][1]

Разрешите мне, милостивый государь, направить к вам новое мое мечтательное раздумье[2]. Вы его сожжете, если осудите, а если одобрите, то покажете г-ну графу Морепа. В последнем стихе ему воздается самая лестная из похвал: там у меня сказано, что у него есть друзья. Ваша с ним дружба—вот хвала ему.

Удовлетворяет ли вас хоть сколько-нибудь «Зюлима»? Думаете ли вы, что мне надо еще пообтесать ее? Я предпочел бы заняться рамками для «Магомета». Убедительно прошу вас послать аббату Муссино все тексты «Магомета», какие у вас имеются, в запечатанном пакете, и пусть он перешлет мне пакет с почтовой каретой.

Не думаете ли вы, что надо найти музыканта для «Пандоры»? Не думаете ли, что можно кое-что извлечь из пресловутой «Madame Prudise»[3], позволив ей лишь по слабости проделывать то, что на английской сцене ее заставляют проделывать умышленно и злонамеренно и что оскорбляло бы наши нравы—слабоватые, но в то же время и чрезмерно щепетильные... Роль маленького Адина мне кажется такой привлекательной,—умилитесь же и разрешите мне что-нибудь сделать из этой «Прюдиз».

Я прочел «Эдуарда»[4]. Вы очень тронули меня, послав мне перевод Ортолани[5]. Он довольно хорош, на мой взгляд. Грессе я ответил вежливым и дружеским письмом. Это, кажется, добрый малый.

Неужели г-жа Люксанбур действительно нехорошо себя чувствует? Я привязан к вам очень искренно, очень нежно и благодарен вам на всю жизнь. Г-жа Дю Шатле шлет вам самые сердечные свои пожелания.

В.

[1] По традиции, идущей от Кельского издания, данное письмо печаталось в соединении с письмом Воронцовского сборника № 27 от 22 марта [1740 г.] см. письмо № 1259 изд. Moland (XXXV, 406). Такие же соображения, как высказанные выше по поводу письма XIX, заставляют считать адресатом его не Даржанталя, а Пон де Вейля. Это подтверждается и просьбой Вольтера показать его новое произведение графу Морепа, с которым близок был не Даржанталь, а именно Пон де Вейль.

[2] Имеется в виду «Epître à un ministre d'Etat sur l'encouragement des arts» («Послание к государственному человеку о поощрении искусств») 1740 г.—см. Moland, X, 314. Первоначально в нем было обращение к графу Морепа, но когда в 1743 г. последний не поддержал кандидатуры Вольтера во Французскую академию, его имя было изъято Вольтером из послания.

[3] См. прим. 2 к письму XVIII.

[4] «Edouard III»—впервые появившаяся на сцене 22 января 1740 г. трагедия Жана-Батиста Gresset (1709—1777), известного поэта и драматурга.

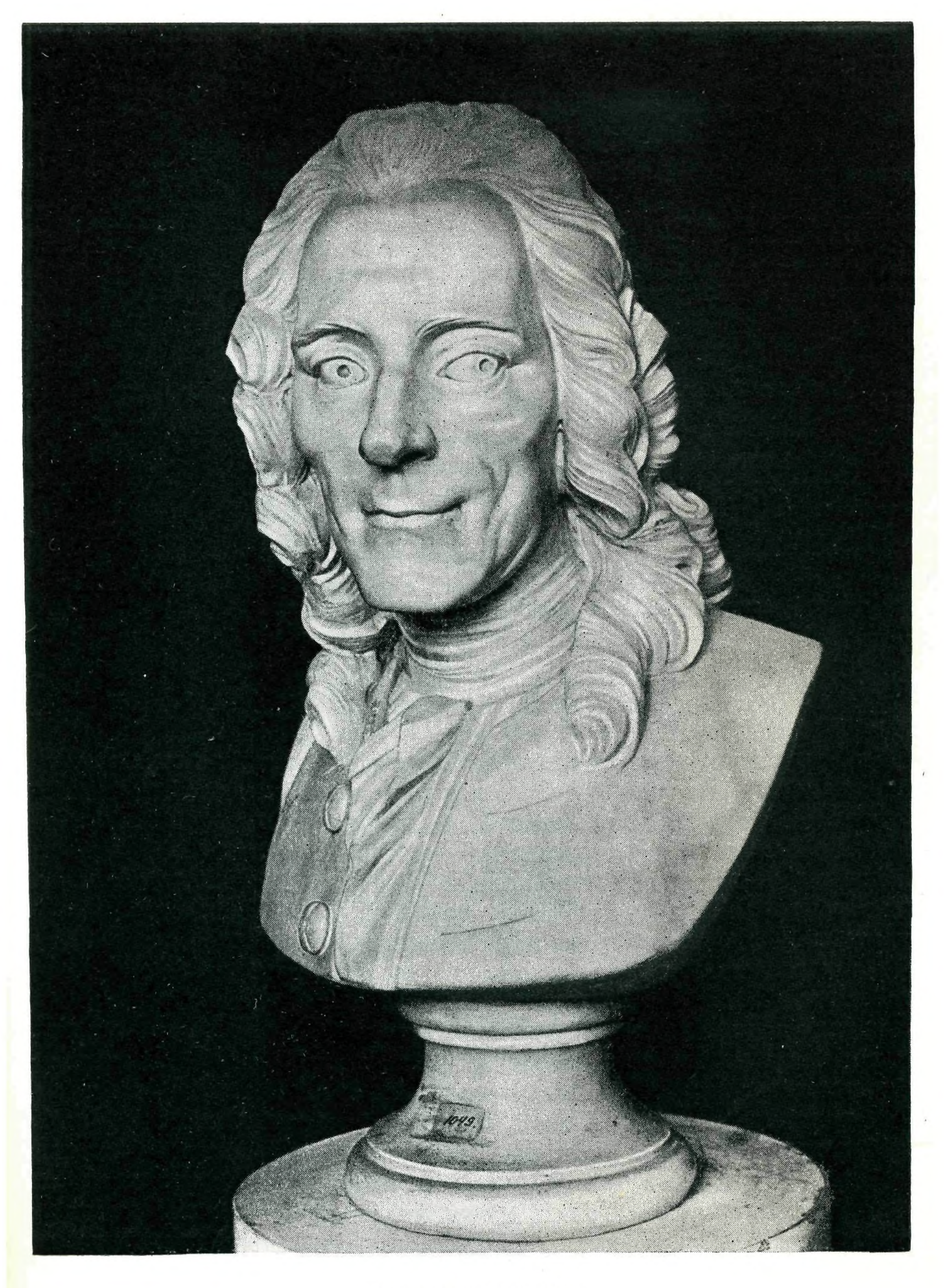
[5] Ortolani—переводчик на итальянский язык нескольких песен «Генриады» Вольтера.

XXII

В. 2

[14 сентября 1740 г., Клеве][1]

Я располагаю временем только на то, чтобы сообщить вам, дорогой мой ангел-хранитель, что ко времени моего приезда сюда ваше дело было уже сделано. Однако, только наполовину. Я под этим разумею, что г-н Альгаротти уже предложил королю ваших двенадцать цезарей по две тысячи ливров за штуку. Однако, как раз в это же время, пришло письмо к королю от посланника Тьерио, с извещением, что можно приобрести их за одну тысячу[2]. Г-н Альгаротти[3] только-что сказал мне, что он уже уведомил вас об этом «солецизме»[4]. Мы сейчас едем. Г-н Мопертюи[5] сопровождает короля в Берлин. Путешествие в Клеве оказалось несколько приятнее страсбургского. Мы втроем, гг. Альгаротти, Мопертюи и я грешный, провели здесь три очаровательных дня в обществе короля, который мыслит по-человечески, живет, как частное лицо, совершенно забывая о своем сане ради наслаждения, доставляемого дружбой. Этому поистине не бывало примеров. Единственный недостаток мешает ему стать



ВОЛЬТЕР В МОЛОДОСТИ
Работа М.-А. Колло, мрамор, ок. 1771 г.
Эрмитаж, Ленинград

совершенным[6]... Прощайте, я устал от удовольствия, которое здесь испытал. Возвращаюсь в Брюссель через Голландию. Я не теряю надежды обнять вас. Тысяча почтительных приветствий хору ангелов.

В.

14 сентября, Клеве.

Адрес: Г-ну Даржанталю,
советнику парламента
Улица Grange Bâtelière, в Париже

[1] Печатается впервые. Датируется, согласно указанию самого Вольтера в конце письма, 14 сентября [1740 г.], днем отъезда Вольтера в Гаагу из г. Клеве, в окрестностях которого, в замке Moyland, произошла его первая встреча с прусским королем Фридрихом II. Несомненно, что именно это письмо Вольтер считал затерявшимся, когда писал Даржанталю 15 сентября 1740 г.: «Боюсь... что письмо, написанное мной из Клеве, до вас не дошло». (Moland, XXXV, 510, № 1345).

[2] «Двенадцать цезарей»—бюсты двенадцати римских императоров, найденные в конце 1737 г. в замке родных г-жи Даржанталь. Продажа их Фридриху II не состоялась.

[3] Об Альгаротти см. прим. 15 к письму I.

[4] Солецизмом Вольтер в шутку называет поступок Тьерио, сбавившего цену, назначенную за бюсты цезарей; solécisme значит—нарушение синтаксиса, правил согласования.

[5] См. прим. 8 к письму III.

[6] Судя по письму Вольтера от 19 января следующего года, под этим «единственным недостатком» следует понимать скупость Фридриха II, помешавшую ему купить бюсты цезарей (см. Moland, XXXVI, 9, прим. 2).

XXIII

В. 34

6 января 1741 г., Брюссель[1]

До Брюсселя я доехал очень поздно, милый мой ангел-хранитель. Но раньше доехать не мог: Маас, Рейн и море целый месяц держали меня в пути. Не воображайте, пожалуйста, что путешествие в Силезию[2] ускорило мое возвращение. Если бы мне и предложили ехать в Силезию, я все же остался бы здесь. Я считаю безумием предпочитать что бы то ни было наслаждению дружбой. Что более существенного может получить даже тот, за кем останется Силезия?

У такого сердца, как ваше, я должен просить прощения за свой отъезд в Берлин. Он был необходим. Но еще гораздо более необходимо было вернуться сюда. Король прусский просил меня еще о двух днях,—я ответил отказом. Не из тщеславия сообщаю я вам это. Хвалиться здесь нечем. Но пусть же знает мой ангел-хранитель, что я исполнил свой долг. Никогда г-жа Дю Шатле не была для меня настолько выше всяких королей[3]...

Как жаль, дорогой и уважаемый друг мой, что мне нельзя было быть в Париже и для полноты моего счастия увидать там вместе с нею и вас. Прошу вас передать г-же и г-ну Дюссе, что судьба их всегда меня интересует. Трудно было решить, к которому из трех больше лежало у меня сердце...

Плавая по воде, я много сделал исправлений в «Магомете»[4]. Я отдам в переписку новую его редакцию. Умоляю вас все приостановить, пока я не предоставлю вам возможность судить о моих новых стараниях, целью которых было—угождение вам, осуществление ваших мыслей. Есть на свете такой сардинский посланник[5], которому я многим обязан и к которому, независимо от его благодеяний, привязан самым почтительным образом.

Очень прошу вас передать ему это. А вам, второй ангел мой хранитель, вам, сударыня, я шлю уверение в почтительнейшей и сердечнейшей своей приверженности.

В.

Ваши двенадцать императоров[6] очень меня огорчили. Мне еще неизвестно, какое место среди королей займет тот, кто обещал мне купить их у вас... Я вам послал оттуда[7] две небольших записки.

Прощайте, милый ангел.

Часть тех ошибок, на которые вы имели любезность дополнительно мне указать, мной исправлена. В конце концов, благодаря вам, должно же стать достойным вас это произведение[8].

Адрес: Г-ну Даржанталю,
советнику парламента
Улица Grange Bâtelière, в Париже[9]

[1] Начало письма (до слов «Как жаль, дорогой и уважаемый друг...») было издано в виде отдельного письма—Moland № 1394 (XXXVI, 1). В Берлине, при дворе Фридриха II, Вольтер прожил около трех недель и покинул его 3 декабря 1741 г. В Брюссель, где его ждала г-жа Дю Шатле и откуда он посылает публикуемое письмо, он приехал лишь в начале января 1741 г.

[2] «Путешествием в Силезию» Вольтер называет военный захват Силезии Фридрихом II, которым началась так называемая война за «австрийское наследство». В поход на Силезию Фридрих двинулся в декабре 1740 г., вскоре после отъезда Вольтера из Берлина.

[3] Приглашая к себе Вольтера, Фридрих II всегда отклонял приезд к своему двору г-жи Дю Шатле. См. ее письмо к Даржанталю от 3 января 1741 г.—«Lettres de la marquise du Châtelet», 401.

[4] После первого представления трагедии «Mahomet» в Comédie Française 9 августа 1742 г. враги Вольтера с Дефонтеном во главе подняли шум, объявив, что трагедия подрывает основы государства и церкви; по распоряжению полиции, она была снята с репертуара после первых трех представлений.

[5] См. прим. 7 к письму XX.

[6] См. прим. 2 к письму XXII.

[7] Т. е. из Пруссии. Упоминаемые здесь две записки, которые, по словам Вольтера, только и были посланы им из Берлина «ангелу-хранителю», объясняют, почему по своем возвращении Вольтер счел нужным извиняться перед Даржанталем «за поездку в Берлин». Г-жа Дю Шатле в своем письме к Даржанталю от 3 января 1741 г. выражает сомнение даже в том, были ли написаны и эти две записки.—См. Lettres de la marquise du Châtelet», стр. 401.

[8] Речь идет о трагедии «Магомет».

[9] Адрес написан, повидимому, рукой Пон де Вейля; письмо же запечатано красной сургучной печатью с гербом Вольтера; вероятно, оно было вложено в другое письмо, направленное к Пон де Вейлю.

XXIV

В. 114

22 января 1741 г., Брюссель[1]

Согласитесь ли вы, дорогой мой ангел, чтобы Магомет, в своем смятении в конце пьесы, говорил:

Vous êtes tous vengés, je me connais moi-même,
Je me hais, je déteste et le trône et le jour.

Обращаясь к Омару:

Frappe; ôte-moi la vie et sauve au moins ma gloire,
Frappe et de tant de honte étouffe la mémoire,
Prends pitié de ton maître et cache à tous les yeux
Que Mahomet coupable est faible et malheureux[2].

Читая во втором действии сцену между Магометом и Омаром[3], я нахожу ее неудовлетворительной: Магомет, кажется, слишком пространно говорит там о своих намерениях по отношению к детям Зопира. Ничего нельзя ждать от человека, высказывающего все, что он собирается делать: от такой болтовни—один вред.

Мне думается, что словами: «Le ciel voulut ici rassembler tous les crimes»[4]—что этим сильным стихом он и должен кончить, а появление Зопира должно остановить его готовность изъяснить Омару все свои решения:

Le ciel voulut ici rassembler tous les crimes!
Je veux... Zopire vient. Ses yeux lancent vers nous
Les regards de la haine et les traits du courroux etc.[5].

Одним из поводов опустить все, что говорилось Магометом, является соображение, что все это должно было быть сказано в последней сцене второго акта. Он удручен отказом, узнает, что на него злоумышляют. Вот тут-то и должны вспыхнуть в нем мстительные его замыслы. Тут их можно даже извинить: угрожающая ему опасность делает их естественными, ослабляя мерзость его поступков.

Настоятельно прошу вас поэтому сказать переписчику, чтобы он принял во внимание это изменение. И лучше будет, думается мне, если вы любезно согласитесь распорядиться о переписывании пьесы под вашим наблюдением, а я, тем временем, буду иметь честь доставить вам изготовленную здесь копию. Дело будет сделано скорее, и при этом вы успеете переслать мне ваши указания насчет стихов, которые требуют, на ваш взгляд, исправления. Разуму моему любо подчиняться вашему разуму. Прощайте. Тысяча сердечных приветствий г-же Даржанталь.

Адрес: Г-ну Даржанталю,
советнику парламента
Улица Grange Bâtelière, в Париже

[1] Печатается впервые. Об усиленной работе Вольтера над текстом трагедии «Магомет» см. еще в его письме к Даржанталю от 19 января—Moland № 1402 (XXXVI, 9—11), ср. № 35 Воронцовского сборника.

[2] «Вы все отомщены, теперь я себя знаю, ненавижу себя, и ненавистны мне и власть и свет дневной.
Обращаясь к Омару:
Рази! Отними жизнь, но спаси хоть славу мою. Рази и заглуши память обо всем позоре, сжалься над господином своим и скрой от всех очей, что преступный Магомет и несчастен и жалок»—неизвестный до сих пор вариант к заключительным стихам д. V трагедии «Магомет». Ср. Moland, IV, 162.

[3] Ср. Moland, IV, 123.

[4] «Небеса решили соединить здесь все преступления».

[5] «Небеса решили соединить здесь все преступления. Я хотел бы... Но вот Зопир. Глаза его мечут в нас взоры ненависти и стрелы гнева»...

XXV

B. 93

[2 февраля 1741 г., Брюссель][1]

Вот вам, дорогой и уважаемый друг, письмо от г-на Рютана. Вы спросите: почему мне не пересылает его сама г-жа Дю Шатле? Уверяю вас, что ей очень хотелось присоединить длинное собственноручное послание к письму этого Рютана, но она так утомлена целым днем разговоров с Христианом Вольфом[2] и подобными ему лицами, что не в состоянии писать. Ничего, кроме этой моей записки, вы поэтому не получите. Но гораздо

ценнее сотни моих писем те сердечные приветствия, которые она вам шлет. Тысяча поклонов г-же Даржанталь.

Брюссель, 2 февраля.

Не пишите впредь на улицу Grosse Tour: вот уже скоро год, что мы там не живем[3]. Из-за такого адреса письма иногда запаздывают на целый день. Пишите просто—Брюссель.

Адрес: **Г-ну Даржанталю,**
советнику парламента
Улица Grange Bâtelière, в Париже

ОПЫТЪ
ІСТОРІЧЕСКІЙ
И
КРІТІЧЕСКІЙ
О
РАЗГЛАСІЯХЪ ЦЕРЬКВЕЙ
ВЪ ПОЛЬШѢ
сочиненъ
Іосифомъ Бурдільліономъ
Профессоромъ права общенароднаго
а
съ французскаго переведенъ
В. Т.

ВЪ САНКТПЕТЕРБУРГѢ
При морскомъ Шляхетномъ Кадетскомъ Корпусѣ 1768 года.

ВЪ ИЗВѢСТІЕ
отъ
ПЕРЕВОДИВШАГО

Не большая сія Тетрадь, сочиненная въ превосходное почтеніе Греческому Православію предъ Римскою Церьковію, и въ толикуюжъ славу и хвалу САМОДЕРЖИЦѢ нашей, Великой Премудрой, Августѣйшей Государынѣ ІМПЕРАТРІЦѢ, прещедрой ЕКАТЕРІНѢ II, благополучно нынѣ и препрославленно обладающей нами, хотя и возвѣщаетъ, въ заглавной своей Тітлѣ, Автора себѣ Іосифа нѣкоего Бурдільліона; но мнится, что сіе имя есть подмѣнное вмѣсто прямаго Сочинителева, и что истинный сея книжки Авторъ, есть одинъ изъ славнѣйшихъ во всей Европѣ Філологъ французскій.

Все

РУССКОЕ ИЗДАНИЕ „ОПЫТА О РАЗНОГЛАСИЯХ ЦЕРКВЕЙ В ПОЛЬШЕ“ ВОЛЬТЕРА, В ПЕРЕВОДЕ ТРЕДИАКОВСКОГО, 1768 г.

[1] По традиции, идущей от Кельского издания, первые строки публикуемого письма, кончая словами: «... сердечные приветствия, которые она вам шлет», вводились в виде второго абзаца в письмо № 1636 изд. Moland (XXXVI, 277), ошибочно датированное 2 февраля 1744 г. Письмо, несомненно, относится к более раннему времени. В июле 1743 г. Даржанталь получил звание «почетного советника парламента», и Вольтер с тех пор никогда не забывал именовать его так в адресах своих писем к нему. В адресе же публикуемого письма Даржанталь назван просто «советником парламента». К тому же это письмо адресовано на улицу Grange Bâtelière, откуда чета Даржанталь переехала на улицу St.-Honoré с осени 1742 г. (см. ниже, письмо XXIX). А тот факт, что февраль 1738, 1739 и 1742 гг. Вольтер жил в Сире и, стало быть, писать из Брюсселя не мог, приводит нас к февралю 1741 г.

[2] Wolff Христиан (1679—1754)—известный немецкий философ.

[3] Вольтер не совсем точен: с этой улицы он сам датировал свои письма не только от 20 февраля 1740 г. (Moland, XXXV, 383, № 1242), но и от 1 июня (ibid., 443, № 1281) и даже еще 27 июня того же года (ibid., 446, № 1302), если только верна традиция текста в издании.

XXVI

ПОН ДЕ ВЕЙЛЮ

B. 36

[25 февраля 1741 г.[1]]

Вы, пожалуй, подумаете, милостивый государь, что найдете в настоящем пакете какое-нибудь из действий моего «Пророка»...[2]. Но это только полугеометрический и полуметафизический мемуар[3]. Не бросайте его, прошу вас, в огонь, а благоволите вручить вашему брату для передачи г. Мерану[4]. Надеюсь, что брат ваш уже окончательно поправился[5] и что оба вы простите мне мою вольность.

«Пророк» совсем готов и только и ждет отправки на ваш суд и окончательного над ним приговора. Я жду от вас любезного указания, по какому пути ему надо следовать к вашему трибуналу.

Нет ничего важнее, как появиться на свет во-время. Как ни слаба моя пьеса, она уж, конечно, лучше Алькорана. А такого успеха иметь не будет... Где уж мне быть пророком в своем отечестве!

Но пока вы сохраните хоть немного дружбы ко мне, я буду доволен судьбой за себя и своих близких. Г-жа Дю Шатле шлет вам сердечнейшие свои пожелания. А я жду ваших распоряжений, веруя в вас крепче, нежели мусульмане веруют в своего пророка.

В.

[1] Частично вошло в текст письма № 1413 изд. Moland (XXXVI, 22), адресованного Даржанталю. Но адресатом его, несомненно, является Пон де Вейль, как это и указано в Воронцовском сборнике: именно на это письмо, написанное 25 февраля 1741 г. и адресованное к Пон де Вейлю, имеются совершенно определенные указания в двух письмах Вольтера к Даржанталю от 25 и 26 февраля 1741 г., №№ 1412 и 1413 изд. Moland (XXXVI, 22). В соответствии с ними настоящее письмо датируется 1741 г.

[2] Т. е. «Магомет».

[3] В 1740 г. и начале 1741 г. Вольтер вступил в философскую полемику с г-жей Дю Шатле. Последняя, увлекшись философией Лейбница, напечатала изложение его системы в «маленьком эскизе» «Les institutions de physique». Вольтер, как последователь Ньютона, возражал против учения Лейбница в трактате «La métaphysique de Newton». В своем «мемуаре», озаглавленном «Doutes sur la mesure des forces motrices et sur leur nature», Вольтер развивал свои возражения против системы Лейбница.

[4] Dortous de Mairan Жан-Жак (1678—1771)—с 1719 г. член Академии наук. С 1740 г., сменив Фонтенеля, был ее непременным секретарем.

[5] Даржанталь в это время страдал болезнью глаз. Ср. письмо XXVII к г-же Даржанталь от 13 марта 1741 г.

XXVII

Г-ЖЕ ДАРЖАНТАЛЬ

B. 94

13 марта [1741 г.], Брюссель[1]

Любезнейшему секретарю моего ангела-хранителя.

Près de vous perdre la lumière
C'est doublement être accablé.
Qui vous entend est consolé.
Mais celui qui sachant vous plaire,
Vous aime et vit auprès de vous,
Celui-là n'à plus rien à craindre:
Quoi qu'il perde, son sort est doux
Et les seuls absents sont à plaindre[2].

Все же нужно дорогому и уважаемому другу моему выйти из числа Quinze-vingt[3], ибо то, что любишь, надо и видеть. Когда он наглядится на вас, сударыня, прочтите—умоляю вас обоих—совсем теперь законченного нового «Магомета». Я переделал его, по мере сил, исправил наново, отшлифовал. Если совет постановляет, что он должен быть сыгран в этом году[4], ему надо попасть к вам до пасхи. Спросите же г. Пон де Вейля, нельзя ли мне отправить из Лилля пакет на имя г. Морепа[5]: более надежно отправлять пакеты не из заграничного города, а из французского. В Лилле у меня есть родственники, к которым я его и направлю, и таким путем он дойдет до вас скоро[6].

Ни одна из распространенных в Париже мелочишек не попадается мне на глаза. Мы изучаем старые истины, а до новых глупостей нам и дела нет. На-днях г-жа Дю Шатле одержала победу в очень важной части своего процесса, и одержала ее, благодаря своей стойкости, уму и утомительным хлопотам. Это ускорит решение дела на два слишком года. И все, повидимому, говорит за то, что она выиграет дело и по существу, как выиграла его в этой предварительной стадии. Тогда, дорогой друг, мы поселимся в этом прекрасном дворце, расписанном Лебреном и Лесюёром, самом подходящем обиталище для философов, не лишенных чувства изящного[7].

До этого времени мне вряд ли придется быть в Париже. Я отдал переписывать «Магомета» по ролям, и на полях проставляю все необходимые для исполнения в театре указания—по устройству сцены и даже по части декламации.

Руководить своими товарищами может г-жа Кино, если только она лучше себя чувствует[8]. В противном случае, я постараюсь восполнить этот пробел заметками на полях, которые не трудно понять актерам, обладающим разумением театрального искусства. Я, дорогой друг, еще не уверен, что К. П.[9] заслуживает того, чтобы им так интересовались, как интересуемся им мы. Это—король, что само по себе уже приводит в трепет. Время все покажет... Прощайте. Целую вас, дорогой мой ангел-хранитель. Тысяча сердечных и почтительных приветов г-же Даржанталь. Г-жа Дю Шатле любит вас так, как еще никогда не любила. В.

[1] Полностью печатается впервые. Начиная с первых изданий, всегда печаталось с пропусками; с ними же воспроизведено в изд. Moland (№ 1418, 26 сл.). Должно быть отнесено к 1741 г.—к тому времени, когда Вольтер заканчивал работу над трагедией «Магомет» и хлопотал о постановке ее в Париже, при содействии своего театрального друга—г-жи Кино. См. письмо к ней от 6 января 1741 г., в изд. Moland № 1395 (XXXVI, 1). Публикуемое письмо обращено к г-же Даржанталь и было ответом на письмо ее мужа к Вольтеру, написанное ее рукой, ввиду того, что сам Даржанталь страдал в это время болезнью глаз.

[2] «Зная вас, потерять зрение—значит быть дважды несчастным. Слышать ваш голос уже утешение. Но тому, кто избран вами, и любит вас, и жизнь проводит с вами—тому ничто не страшно: чего бы ни лишился он, жребий его счастлив, жалости же достойны только те, кого нет близ вас».

[3] Т. е. из числа слепых. «Quinze-vingt»—больница для слепых в Париже.

[4] Трагедия «Mahomet» была поставлена в Comédie Française только 9 августа 1742 г.

[5] Этот способ пересылки пакетов через морского министра де Морепа, приятеля Пон де Вейля, практиковался Вольтером и раньше.

[6] В Лилле жила тогда со своим мужем племянница Вольтера, г-жа Дени. В их доме Вольтер останавливался, когда бывал в Лилле.

[7] Под «прекрасным дворцом» Вольтер разумеет так называемый «Hôtel Lambert» в Париже, на острове св. Людовика, купленный четой Дю Шатле в 1739 г.

[8] Надежды Вольтера на содействие г-жи Кино в постановке «Магомета» на сцене Comédie Française не оправдались: знаменитая актриса покинула сцену в марте 1741 г.

[9] К. П. (R. de P.)—Roi de Prusse, т. е. король прусс[illegible] Фридрих II.

XXVIII

В. 48

Грэ в Франш-Конте, 19 января 1742 г.[1]

Мы держали путь через Франш-Конте, дорогой и уважаемый друг мой, чтобы скорее приехать и повидаться с вами. Те же чувства дружбы и признательности, которые привели г-жу Дю Шатле в Грэ[2], побудят нас быстро возвратиться к вам. Я не извещал вас, что процесс окончательно ею выигран, *полагая, что она писала вам в тот же день, что и я*[3]. *Я ограничился* сообщением интересных театральных мелочей. К Ла Ну[4] я не писал. Становиться между королем и актерами так же неразумно, как совать палец меж коры и древесины. Я не намерен ссориться ни с королем прусским, ни с королем театральным. Спокойно буду я выжидать, как примет Ла Ну Париж, и так же мало собираюсь заниматься этими выборами, как и выборами императора. Занимаюсь я время от времени только небольшими переделками своего «Магомета». Я сделал с ним что мог. На мой взгляд, он стал интереснее, чем тот, что вызвал слезы у обитателей Лилля[5]. Добавлю, что я убежден и считаю чрезвычайно важным, чтобы «Магомет» шел ранее «Монтезумы». Не знаю, верна ли моя догадка о «чуде» у Пирона: в письме к вашему брату я высказывал догадку, что Пирон использовал чудесный момент, когда Кортец опрокидывает тласкальских богов на глазах у жрецов, к изумлению которых, на испанцев не обрушиваются громы небесные[6]. К тому же, этот ловкий шаг Кортеца, на мой взгляд, выше магометовского, ибо Кортец стоит за правое дело и тем, наверное, вызывает сочувствие в зрителях, тогда как Магомет вызывает в них одно возмущение: его «чудом» увенчиваются преступные деяния, его «чудо» оскорбляет нравственное чувство. И если такое мошенничество, вдобавок, преподносится публике лишь в виде какого-то перепева того, что ей уже известно,— успеха здесь быть не может. Отсюда мой вывод, что Пирона, оказавшегося опасным для меня соперником, необходимо опередить, что «Магомета» надо ставить как можно скорее, с теми актерами, какие сейчас налицо. Помогая им в разучивании ролей, совместной работой с ними я, думается, могу добиться удовлетворительного исполнения пьесы.

О Дюфрене[7] я не жалею: для Сеида он слишком утончен и слаб для Магомета[8]. Он совсем не создан для ролей, требующих величавости и силы. На мой взгляд, он был слабоват, когда изображал первосвященника в «Аталии»[9]. В таких ролях Ла Ну гораздо выше его. К сожалению, в нем есть что-то обезьянье.

Прочел я, наконец, «Исповедь графа де...»[10]. Ведь это уже обязательно— быть «графом», а мемуары писать не иначе, как от лица «человека знатного происхождения»...[11]. Что касается меня, то я все же такие исповеди предпочитаю исповеди блаженного Августина[12]. Но, по правде говоря, книга эта нехороша, не из тех, что остаются для потомства. Это лишь запись счастливых приключений, рассказ незаконченный, роман без интриги, произведение, ничего не дающее уму, скоро забываемое—так точно, как его герой забывает своих прежних возлюбленных. Я понимаю, однако, что естественность и живость изложения, и особенно основной сюжет, нравятся старым и молодым женщинам, а портреты, похожие на кого угодно, нравятся всем. Прощайте, чудный человек, которому я очень хотел бы нравиться. Тысяча сердечных и почтительных поклонов второму ангелу.

В.

ВОЛЬТЕР, САЖАЮЩИЙ ДЕРЕВЬЯ
Картина маслом Жана Гюбера, 1770—1775 гг.
Эрмитаж, Ленинград

[1] Напечатано в изд. Moland № 1486 (XXXVI, 111) в традиционной редакции, с пропусками и с вставками из другого письма.

[2] По дороге в Париж из Сире Вольтер с г-жей Дю Шатле заезжали в Грэ навестить больную приятельницу г-жи Дю Шатле, графиню д'Отре (d'Autrey).

[3] Процесс семьи Дю Шатле с родом Гонсбрук (Honsbrook), тянувшийся 60 лет. Упоминаемое в тексте письмо г-жи Дю Шатле к Даржанталю (от 12 января) см. в «Lettres de la marquise du Châtelet», стр. 434.

[4] La Noue Жан-Батист (1701—1760)—талантливый актер, драматург, автор трагедии «Mahomet II». Вольтер способствовал его переходу из провинции на сцену Comédie Française. Дебютировал при дворе в Фонтенбло 14 марта 1742 г. Принимал участие в придворных спектаклях в Версале.

[5] Впервые «Магомет» шел в Лилле в апреле 1741 г.

[6] Монтезума и Кортец—действующие лица в трагедии Пирона «Фернандо Кортец», которую Вольтер называет «Монтезумой», по имени одного из ее действующих лиц.— Piron Алексис (1689—1773)—известный поэт и сатирик. Его трагедия «Fernand Cortèz» впервые появилась на сцене 6 января 1744 г. Действие ее происходит в Мексике; Тласкала—город в этой стране.

[7] См. прим. 4 к письму II.

[8] Действующие лица трагедии Вольтера «Магомет».

[9] «Athalie»—трагедия Расина.

[10] Заглавие изданного в 1742 г. романа Duclos (Шарль-Пино, 1704—1772)—«Les confessions du comte de ***».

[11] Заглавие романа в 8 томах аббата Прево «Mémoires d'un homme de qualité». О Прево см. прим. 7 к письму XVII.

[12] Августин, епископ Гиппонский (354—430)—автор знаменитой «Исповеди» («Confessiones») и книги «О граде божьем», один из «отцов церкви».

XXIX

B. 91

[15 октября 1742, Брюссель[1]]

Мне хочется поделиться новостями с моими ангелами. Сюда только-что прибыл обладающий тонким чутьем г. Стэр[2]. В его честь стреляют из пушек. Не думаю, чтобы он рискнул стать перед нашими пушками... Голландцы никак себя не проявляют[3]. Вся тяжесть ляжет на английского короля, а она не мала: его ганноверцы, стоящие лагерем под Брюсселем, открыто говорят, что их ведут на бойню, и порядком досадуют на свое путешествие. Фламандское войско я лично видел: оно в лохмотьях, и ему плохо платят; офицерам в настоящее время задолжали за одиннадцать месяцев. Можете, стало быть, радоваться, французы!

Прошу вас передать г. де Солару[4], что мы принимаем близко к сердцу его выздоровление.

Тысяча почтительных поклонов моим ангелам.

В.

В Брюсселе, 15 октября вечером.

Адрес: Г-ну Даржанталю,
советнику парламента
Улица St. Honoré, в Париже[5]

[1] Начало письма напечатано в изд. Moland № 1636 (XXXVI, 276); датировано 2 февраля 1744 г. В подлиннике дата (без обозначения года) проставлена Вольтером в конце письма. Вольтер пишет своим парижским друзьям из Брюсселя, занятого (во время войны за «австрийское наследство») враждебными Франции английскими и ганноверскими войсками. Содержание письма, в частности, указание на позицию голландцев по отношению к войне, побуждает отнести его к 1742 г.

[2] Dalrymple Джон, второй граф Stair (1673—1743)—военачальник и дипломат; несколько лет провел в качестве английского посланника в Париже; в 1742 г. командовал английской армией; с марта этого года был чрезвычайным и полномочным послом в Соединенных провинциях.

[3] Голландцы решились выступить лишь в мае 1743 г.
[4] См. прим. 6 к письму XX.
[5] В дошедшей до нас переписке здесь впервые Вольтер адресует свое письмо Даржанталю на улицу St. Honoré.

XXX

В. 57

20 октября 1742 г., Брюссель[1]

Sic vos non vobis mellificatis, apes[2].

До боли огорчен я известием, что, в завершение всего, «Магомет» напечатан неверными[3]. Я пишу г-ну де Марвилю[4] в самом настойчивом тоне и умоляю его пустить в ход всю его осведомленность и власть для раскрытия этого злоупотребления и наказания виновников. Напишу я и кардиналу де Флёри[5], как ни неприятно мне беспокоить его такими мелочами среди его важных занятий. Клянусь моим ангелам, что ничего не оставил в Париже, кроме двух экземпляров, скрепленных подписью де Марвиля. Один из них пробыл не более полутора дней в руках Гранваля[6]. Надо только узнать, что сталось со старым экземпляром, который два года тому назад был вручен г-ну де Марвилю и, как ему представляется, передан им Дюфрену. Не трудно удостовериться, соответствует ли печатный текст тексту этой переданной Дюфрену старой рукописи или тексту тех двух рукописей, которые остались, в конце концов, у г. начальника полиции и по которым ставилась пьеса[7]. И в том и в другом случае г-н де Марвиль может обнаружить исходную точку этих обманных проделок: от разносчика не трудно добраться до издателя, а от издателя—до того, кто пьесу продал. Настоятельно молю моих ангелов, чтобы простерли они над всем этим свои крылья. Выходит так, что их «Магомет», которому они оказали столько благодеяний, на которого я, со своей стороны, потратил столько стараний, доставил мне одни огорчения. Очень несчастлива была бы моя участь, не будь у меня утешения в лице Эмили и моих ангелов. У меня сильные подозрения на Про...

Адрес: Г-ну Даржанталю,
советнику парламента
Улица St. Honoré, в Париже

[1] По примеру прежних изданий, конец этого письма, начиная со слов: «Настоятельно молю моих ангелов...», включен в текст письма Moland № 1550 (XXXVI, 180), датированного «A Bruxelles, novembre 1742». Об этом см. также прим. 1 к письму XXXI.
[2] Из интерполяции в «Vita Vergilii» Доната: «Так, пчелы, мед собираете вы, но не для себя».
[3] Речь идет о «незаконном» (т. е. сделанном без разрешения автора) издании трагедии «Магомет», поставленной на парижской сцене 29 августа 1742 г. Просьбу Вольтера о розыскании участников незаконного издания кардинал де Флёри удовлетворил, передав дело в руки начальника полиции; ср. изд. Moland № 1542 (XXXVI, 173). Сохранилось три издания «Магомета», помеченных Брюсселем и датой 1742 г.; все они вышли без разрешения автора (см. Bengesco, I, 35); о котором из трех изданий говорит письмо, решить трудно.
[4] Feydeau de Marville Клод-Анри с 12 января 1740 г. по 1747 г. был главным начальником полиции. Письмо Вольтера к нему, о котором здесь идет речь, до нас не дошло.
[5] Письмо Вольтера к кардиналу де Флёри от 20 октября 1742 г. см. в изд. Moland № 1541 (XXXVI, 172).
[6] Grandval Франсуа-Шарль (1710—1784)—известный актер Comédie Française. В трагедии Вольтера «Mahomet» исполнял заглавную роль.
[7] О первых постановках «Магомета» см. прим. 4 к письму XXVII и прим. 5 к письму XXVIII.

XXXI

B. 58

10 ноября [1742 г.], Брюссель[1]

Меня, должно быть, вдохновляло ваше хранительное попечение, дорогой и уважаемый друг мой, ибо и в «Магомете» и в «Зюлиме» я успел скрепить не одну нить еще до того, как пришло ваше ангельское повеление. «Магомета» необходимо было отдать в печать, ввиду появления тех злосчастных изданий, какие были выпущены в Париже и какие собираются выпустить еще и в Лондоне и в Голландии. Мне пришлось послать в эти два города правильный текст, снабженный кое-какими дополнительными поправками, какие были мне по силам. Посвятительного послания прусскому королю там нет. Но будет печататься письмо к нему, которое я написал два года тому назад, пересылая ему рукописный экземпляр этой пьесы[2]. Надеюсь, что не доставлю вам этим письмом неудовольствия. Вы увидите, что в нем предвосхищены и опровергнуты нападки, которые могли бы исходить от фанатиков, так что мне не придется и отвечать на них. Я там даю понять только одно,—что всегда было много Сеидов[3], под разными именами, и что, в сущности, пьеса является лишь обличительным словом против тех адских идей, которые вкладывали нож в руки разных Польтро, Равальяков и Шателей...[4]. К тому же, хотя я в письме и обращаюсь к королю, оно все же чисто философское и ни в малейшей мере не запятнано лестью. От лести королям я так же далек, как и от мысли писать кардиналу Флёри, будто обвиняю Про в тайном издании «Магомета»! Я безусловно не сообщал ничего подобного ни г-ну кардиналу, ни г. де Марвилю. И если, чтобы попугать Про, мне приписали такое обвинение против него, это было лишь бессовестной ложью. Правда, когда я не получил от Про ответа на мою просьбу добыть мне экземпляр мошеннического издания, у меня одно время возникли подозрения на него, и я сообщил вам о них[5] и поделился ими также и с г. де Меньером. Но дальше этого я, безусловно, не шел. Прошу вас вызвать Про и хорошенько подтвердить ему эту истину.

Я рассчитываю, что мы уедем отсюда через пять-шесть дней и будем в Париже около 20-го этого месяца. Не будь на свете вас, мне было бы безразлично, где проводить жизнь. В Брюсселе мы вели вполне соответствующее моим вкусам, очень уединенное существование. Я не переставал работать, но много времени я теряю из-за плохого здоровья. А оно расстроено, как никогда. Вы сделаете счастливой жизнь, которую природа упорно терзает; общение с вами и с г-жей Даржанталь вернет мне силу переносить любые страдания... Прощайте.

Будут ли при дворе ставить «Ариадну»?[6]. Г-же Госсен[7] следует играть роль Федры, а Ариадну пусть играет Ла Конель[8]. Новостей здесь нет никаких. Австрийцы уверяют, что в наступающем году стотысячной армией наводнят Францию. Я этому ни мало не верю[9]. Тысяча сердечных и почтительных приветов г-же Даржанталь и обоим моим друзьям. Не забывайте обо мне, когда видитесь с г. де Соларом.

[1] По традиции, идущей от Кельского издания, данное письмо печаталось с пропусками и со вставкой из предыдущего письма XXX (см. Moland, XXXVI, 180, № 1550), с датой «ноябрь 1742 г.». Для более точной датировки достаточных данных нет. В пользу 1742 г. говорит все содержание письма: а) Вольтер поспешно выпускает авторизованное издание «Магомета», ввиду того, что «без его ведома появились и будут появляться тайные издания трагедии». Судя по письму XXX, эти тайные издания вышли в октябре 1742 г. Естественно предположить, что шаги для выпуска своего издания Вольтер предпринял именно в ноябре того же года (первое авторизованное

издание «Магомета», с указанием на Амстердам, как место издания, вышло в 1743 г.). б) Еще определеннее приводит к тому же 1742 г. имеющееся в письме указание самого Вольтера на его письмо к Фридриху II от декабря 1740 г., как на посланное «два года тому назад».

[2] Первым изданиям трагедии «Магомет» предпослано только-что указанное письмо Вольтера к Фридриху II от декабря 1740 г. См. изд. Moland № 1389 (XXXV, 557); содержание этой трагедии в нем характеризовано так: при писании ее пером Вольтера водили «две добродетели—любовь к роду человеческому и ненависть к фанатизму». В последующих изданиях трагедия печаталась с посвящением папе Бенедикту XIV.

[3] Сеид—действующее лицо трагедии «Магомет», религиозный фанатик, по наущению Магомета убивший старика Зопира, не ведая о том, что это его отец.

[4] Poltrot de Meré—гугенот, убивший в 1563 г. католика герцога Гиза; Ravaillac—фанатик-католик, убивший в 1610 г. Генриха IV; Châtel—фанатик-католик, в 1594 г. покушавшийся на жизнь того же короля.

[5] См. предыдущее письмо (XXX); в письмах к кардиналу де Флёри и к начальнику полиции де Марвилю Вольтер об издателе Про, действительно, не говорит.

[6] Речь идет, вероятно, об «Ariane», трагедии Тома Корнеля (1625—1709).

[7] См. прим. 13 к письму I.

[8] Актриса труппы Comédie Française.

[9] Во время войны за «австрийское наследство» Франция была в коалиции враждебной Австрии.

XXXII

Г-ЖЕ ДАРЖАНТАЛЬ

В. 88

[Конец 1742 г.][1]

Взамен успеха, очаровательный мой ангел-хранитель, вам надо довольствоваться тем, что намерения у вас были добрые. Об августейших придирках я уже знаю. Не говорите о них, пожалуйста, никому. Кланяюсь вам обоим. Повидать г-на Даржанталя мне еще не пришлось, но вас я видел, а вы единственная, кто может его заменить. Известно ли вам, очаровательнейшая чета, что кардиналу сегодня очень плохо?

Воскресенье, 11 часов вечера. В.

[1] Печатается впервые. Подлинник без даты. Написано ранее смерти кардинала де Флёри (умер 29 января 1743) и, можно думать, в самый день приезда Вольтера в Париж, когда ему еще «не пришлось» повидаться с Даржанталем. Приезд этот состоялся не позднее ноября 1742 г.—Ср. письмо из Парижа к César de Missy (Moland, XXXVI, 181, № 1551) от 3 декабря, в котором Вольтер говорит, что долго ждал ответа на письмо, посланное им из Парижа. Датировать публикуемое письмо приходится условно—концом 1742 г.

XXXIII

В. 104

Четверг [весна 1743 г., Париж][1]

Очаровательный друг мой, сегодня вы не получите ни одной бутылочки того вина, которое вы удостаиваете своего предпочтения, изменив вину г-на Мерана[2]: я сегодня отправляюсь в Версаль, вернусь же только в субботу. Но, бог мой, обвиняют меня совершенно несправедливо! Я только и разговаривал, что с самим Ла Ну[3], а замечания свои высказывал самым дружественным образом. Принял он их с некоторой досадой. Это меня не обескураживает. Не только не следует ему играть Оросмана[4], но не должен он играть и Магомета в своем собственном «Магомете». Таков был мой совет. Подходит ему только одна роль—роль Аги. Он не понимает, до какой степени я дорожу сутью дела и дорожу лично им.

Тысяча сердечных поклонов обоим ангелам.

Адрес: Г-ну Даржанталю,
почетному советнику парламента
Улица St. Honoré, в Париже

[1] Начало настоящего письма, кончая словами: «...с некоторой досадой», вместе со следующим письмом (XXXIV) составляет текст письма по изд. Moland № 1563 (XXXIV, 194), датированного мартом 1743 г. Публикуемое письмо датируется по связи с письмом XXXIV.

[2] См. прим. 4 к письму XXVI.

[3] См. прим. 4 к письму XXVIII.

[4] Главная мужская роль в трагедии Вольтера «Заира».

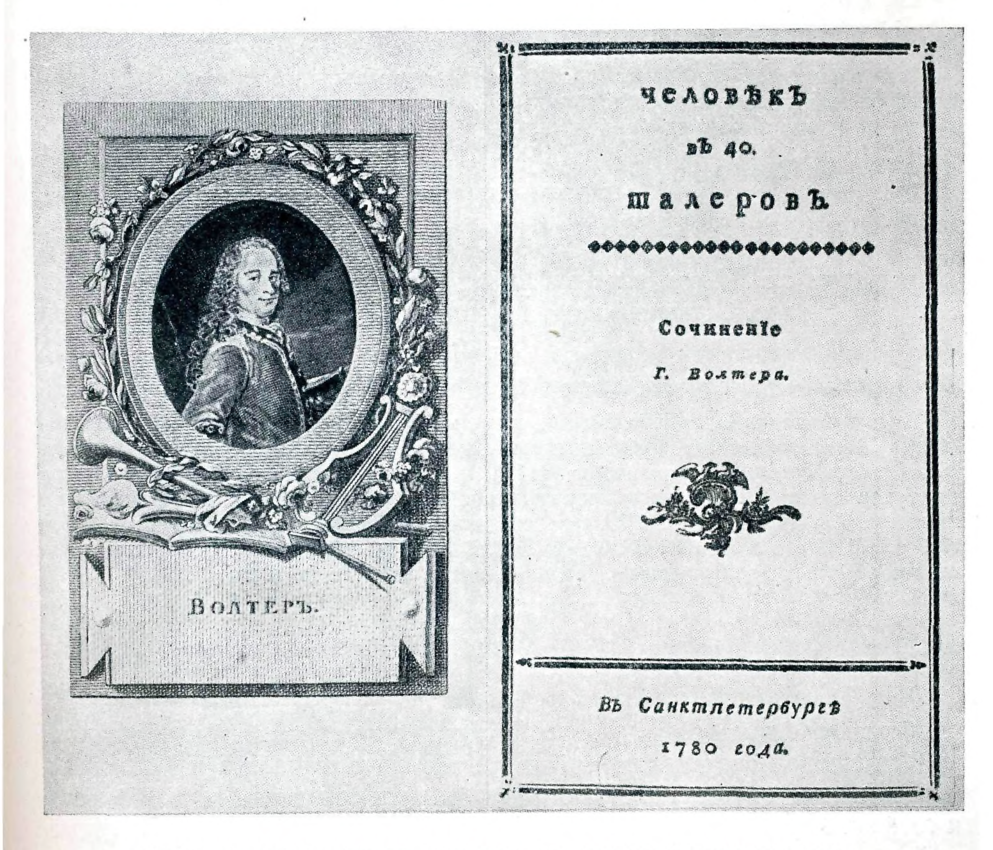
XXXIV

Г-НУ И Г-ЖЕ ДАРЖАНТАЛЬ

В. 104

[Февраль-март? 1743 г., Париж][1]

Но, дорогой и уважаемый друг мой, я только потому противился появлению в Версале физиономии Ла Ну под чалмой Оросмана, что, сыграв роль Оросмана в этом маленьком городке, он получал право и, как я думал, захотел бы играть ее в Париже. Вы сообщаете, что он согласен уступить ее Гранвалю[2], сыграв ее в Версале, в провинции. Это известие во всех отношениях для меня приятное. Мое отношение к личности Ла Ну, как и к его дарованию, нисколько не изменилось к худшему. Я так же досадовал бы, если бы Гранваль взял роль Тита в «Бруте»[3]. У каждого свой дар, и следует умещаться в его границах. В самом деле, ведь надо же и вам и всей публике признать, что у Ла Ну неподходящая для Оросмана внешность. Заиру вы любили ранее того, как полюбили Ла Ну; отдать ему роль Оросмана—значит изменить обоим. Умоляю вас, дорогой мой ангел, наставить



РУССКОЕ ИЗДАНИЕ ПОВЕСТИ ВОЛЬТЕРА „ЧЕЛОВЕК В 40 ТАЛЕРОВ“, 1780 г.

его на истинный путь. Не называйте мою настойчивость упрямством. Ла Ну должен бы поблагодарить меня: я услугу ему оказываю, настоятельно отговаривая появляться в унизительном для него виде. Присоединитесь ко мне, заставьте его понять, что в этом его личная выгода: объясните ему, что ею-то я и дорожу—не хочу я его огорчать, оказывая ему услугу.

Вчера я получил письмо от епископа Нарбоннского[4]. Он дает мне понять, что его убеждают наследовать место кардинала де Флёри и что он согласился. Меня травят со всех сторон. Пусть же будет за меня хоть общество. Показать себя обществу различными сторонами своей личности—это почетно для меня и выгодно. Побудить публику возвысить за меня голос и присоединить его к вашему—вот что может мне дать истинное утешение.

Тысяча сердечных приветов двум обожаемым мною ангелам.

В.

Понедельник.

На обороте: Г-ну и г-же Даржанталь

[1] Вошло в состав письма по изд. Moland № 1563 (XXXVI, 194), см. прим. 1 к письму XXXIII. Оба письма—XXXIII и XXXIV—написаны, очевидно, весной 1743 г., когда еще было вакантно место во Французской академии, освободившееся после смерти кардинала де Флёри (29 января 1743 г.). Вольтер мечтал занять это место, но в начале апреля оно было замещено епископом Байё (Luynes Albert, évêque de Bayeux, 1729—1788).

Публикуемое письмо было написано, очевидно, между 29 января и 4 апреля 1743 г.

[2] См. прим. 6 к письму XXX.

[3] «Brutus»—трагедия Вольтера. Впервые шла в Comédie Française 11 декабря 1730 г.

[4] Breton de Grillon Жан-Луи де—архиепископ Нарбоннский. В члены Французской академии избран не был.

XXXV

Г-НУ И Г-ЖЕ ДАРЖАНТАЛЬ

В. 102

[Июнь 1743 г., Париж][1]

Прощайте, мои обожаемые ангелы-хранители. Жизнь у меня кочевая, а сердце оседлое. Оставляю на ваше попечение двух великих людей: г-жу Дю Шатле и Цезаря.

На обороте: Г-ну и г-же Даржанталь

[1] Согласно традиции, включено в виде заключительных строк в письмо по изд. Moland № 1560 (XXXVI, 190), датированное мартом 1743 г. Вероятно, написано Вольтером в средних числах июня 1743 г., в момент отъезда из Парижа в Потсдам с поручением от французского правительства, вскоре после запрещения постановки трагедии «La mort de César»; ср. письмо Вольтера к Тьерио от 11 июня 1743 г., Moland № 1581 (XXXVI, 213). Г-жа Дю Шатле оставалась в Париже для хлопот об отмене запрещения ставить на сцене названную пьесу.

XXXVI

В. 98

9 августа 1744 г., Сире[1]

Обожаемый друг! Я только-что получил ваше письмо. Вы исправляете и «Принцессу Наваррскую»[2] и Про. Я обязательно явлюсь к вам отблагодарить за все эти благодеяния ваши. Беру в свидетели г-жу Дю Шатле и господа бога,—когда пришло ваше письмо, я был занят штопкой неудавшейся мне сцены. Г-н Ришелье[3] деспотически требует нашего возвра-

щения в Париж, и я чувствую, что сердце мое отвечает согласием: ведь я там увижусь с вами. Я послал письмецо г-ну Пон де Вейлю с просьбой содействовать вам в деле с Про. Как он лжет! Самое главное: пусть он и J.-f.[4], сотоварищи его, дадут согласие на то, чтобы мошенник Дюплен добровольно передал г-ну Паллю[5] полностью все экземпляры или чтобы его к этому принудили. Прощайте. Мы мысленно говорим вам самые ласковые речи. Я в отчаянии, что не могу сотрудничать с любезными вам Франкёрами[6]. Каждому ангелу по тысяче приветов.

В.

Адрес: Г-ну Даржанталю,
почетному советнику парламента
Улица St. Honoré, в Париже

[1] Частично вошло в состав письма изд. Moland № 1669 (XXXVI, 316 сл.).

[2] «La princesse de Navarre»—комедия-балет, написанная Вольтером для торжественного празднования свадьбы дофина, сына Людовика XV, с дочерью испанского короля Филиппа V. Впервые дана в день торжества, 25 февраля 1745 г. Над «Принцессой Наваррской» Вольтер работал с апреля 1744 г.

[3] Richelieu Луи-Франсуа-Арман, герцог де (1696—1788)—дипломат, полководец и придворный, а также академик и корреспондент Вольтера. В 40-х годах состоял в кружке лично близких Людовику XV людей. Через него Вольтер поддерживал связь со двором. Ришелье принял участие в постановке «Принцессы Наваррской».

[4] Непечатная брань.

[5] Среди корреспондентов Вольтера был некий г-н Pallu, в 1744 г. бывший интендантом в Лионе, см. Moland № 1639 (XXXVI, 277). Его ли имеет в виду Вольтер, а равно, кто такой Дюплен, нам выяснить не удалось.

[6] Francoeur Франсуа (1688—1787)—композитор, заведывавший музыкальной частью при дворе Людовика XV.

XXXVII

Г-ЖЕ ДАРЖАНТАЛЬ

В. 78

Суббота [сентябрь? 1744 г.][1], Champs

Вместо того, чтобы обедать, обожаемый ангел, я отправился в Шан[2]. Я залез в трясучку аббата де Сен-Пьера[3] и теперь чувствую себя получше. Принимая так близко к сердцу интересы искусства, вы не потерпите того, чтобы г-жа Клэрон[4] в своей рассудочной и холодной манере играла тот самый третий акт, где ей необходимо развернуть величайший пафос глубокой муки отчаяния. Это явилось бы самым непростительным из нарушений здравого смысла—нарушением сердечного здравого смысла. Если вам будет известно, когда пойдет «Альзира», и вы пожелаете известить меня об этом, вы доставите большое удовольствие созданию рук ваших. Г-жа Дю Шатле шлет обоим моим ангелам самые нежные пожелания, а я припадаю к стопам их.

В.

Адрес: Г-же Даржанталь
Улица St. Honoré, в Париже

[1] По традиции, идущей от Кельского издания, два отрывка из начала письма вошли в текст письма по изд. Moland № 1675 (XXXVI, 322), с датой «сентябрь 1744 г.». Предположительно, по связи со следующим, XXXVIII, письмом, публикуемое письмо датируется сентябрем 1744 г.

[2] Champs—замок герцога де Лавальер, см. прим. 1 к письму XXXVIII.

[3] Trémoussoir de l'abbé de St. Pierre—трясучка аббата де Сен-Пьера—специальное лечебно-гимнастическое приспособление, введенное знаменитым политическим прожектером и филантропом, автором проекта «Вечного мира», «Полисинодии» и т. д., Шарлем-Иринеем Кастелем (Castel), аббатом де Сен-Пьер (1658—1743).

[4] Clairon Клэр-Жозеф (1723—1803)—знаменитая трагическая актриса.

XXXVIII

В. 72

Среда [середина сентября 1744 г.], Champs[1]

Вы—ангел-хранитель моих слабых вдохновений и ангел-истребитель плохих моих стихов! Что ж! Если уж запрещаете вы мне резко определять все, что пишут для нашего короля, как ни к чорту не годное, скажем так:

Tant de feux d'artifice et si peu de bons vers[2].

Это si peu—все спасает, а на мой взгляд, заслуживает даже предпочтения, как нечто менее оскорбительное.

Притом же и покоряюсь я всегда охотно...

Говорят «с горы на гору», значит, можно сказать и «с горы в пропасть»[3]. Даже если бы это оказалось вольностью, она, во всяком случае, была бы здесь уместной.

Alpes (Альпы)—женского рода, а у меня они—мужского рода. Если нас лишают и такой крупицы свободы, мы—лишь несчастные, жалости достойные невольники!

Что скажете вы, любезнейшие мои судьи, о двух последних моих стихах:

Grand roi, d'un tel honneur daignez être jaloux
Et formez des esprits qui soient dignes de vous[4].

В этом желают видеть назидание королю, отмечая, что я не имею чести состоять членом Совета.

Как же на ваш взгляд лучше:

Louis fit des Boileaux, Auguste des Virgiles.
Puisse un Roi, qui comme eux de son peuple est l'appui,
Faire un siècle nouveau digne d'eux et de lui[5].

или так:

Puissions nous mériter de vivre sous sa loi
Et que ce siècle heureux soit digne de son Roi[6].

или:

Et que le siècle enfin soit digne de son Roi[7].

Вас очень смущает, повидимому, выражение: n'éludez point mes vœux. Надо просто сказать: ne trompez pas mes vœux[8].

Я потому распространяюсь обо всех этих пустяках, что г. Пон де Вейль поправляется, а приятные вести придают легкость уму.

Завтра вечером мы явимся в Париж с куропатками, и вы решите вопрос, где нам их есть.

Всем вам троим—по тысяче сердечных приветов.

Адрес: Г-ну Даржанталю,
почетному советнику парламента
Улица St. Honoré [в Париже]

[1] Печатается впервые. Датируется серединой сентября 1744 г. по следующим соображениям: 1) письмо находится в полном соответствии с вольтеровскими письмами из Champs к президенту парламента Эно (Hénault) от 14 сентября 1744 г. и к г-же Даржанталь от 18 сентября того же года—см. Moland №№ 1676 и 1677 (XXXVI, 323 сл.); 2) в Champs, замке герцога де Лавальер, с которым Вольтер был в близких отношениях, он в сентябре 1744 г. работал над поэмой «Sur les événements de l'année 1744» (Moland, IX, 429), о которой идет речь в письме; и 3) 7 октября Вольтер пишет к Berger из Парижа, что уже давно покинул Champs—см. Moland № 1678 (XXXVI, 326).

[2] «Так много потешных огней, так мало хороших стихов»—вариант к поэме «Sur les événements de l'année 1744». Ср. Moland, IX, 430, стих 37.

[3] Ibid., стих 21.

[4] «Великий король, дорожите такой славой и образуйте умы, достойные вас»—вариант к двум последним стихам той же поэмы. Ср. Moland, IX, 432.

[5] «Людовик создавал таких, как Буало, а Август—Вергилиев. Да создаст же король, подобно им являющийся опорой своего народа, новый век, достойный и их и его»—вариант к последним стихам той же поэмы; в изд. Moland не указан.

[6] «Да заслужим мы того, чтобы жить под его властью, и пусть счастливый этот век будет достоин своего короля»—другой вариант к последним стихам поэмы.

[7] «И чтобы век, наконец, стал достоин своего короля»—то же.

[8] «Не измените надежде моей» и «не обманите надежды моей»—варианты той же поэмы; в изд. Moland ни в тексте поэмы, ни среди вариантов к ней их нет.

XXXIX

В. 47

5 октября [1745 г.], Фонтенбло[1]

Даю вам благословение свое, избавляю от печалей чистилища, отпускаю вам грехи ваши—так следовало бы обратиться к вам святейшему слуге вашему, раз он шлет вам письмо от папы. Но, чудесные создания, жить близ вас было бы гораздо приятнее, чем, мучась коликами в этом мире,

МОНТЕСКЬЁ И ВОЛЬТЕР

Миниатюра пером работы Ивана Кашинцова, 1773 г.

Миниатюра оправлена в виде перстня. Портрет Монтескьё сделан на обороте изображения Вольтера

Эрмитаж, Ленинград

снискивать себе спасение в мире ином! Увы, я не живу... Я вечно болею и слишком мало вас вижу. А какое уж это существование для того, кто так любит г-на и г-жу Даржанталь, как святые, к числу коих я имею честь принадлежать, любят своего бога и создателя!

До свидания, обожаемая чета!

В.

Адрес: Г-ну Даржанталю,
почетному советнику парламента
Улица St. Honoré, в Париже

Почтовая пометка:
de Fontainebleau

[1] Текст публикуемого письма вместе с текстом письма Воронцовского сборника № 99 составили письмо по изд. Moland № 1765 (XXXVI, 397). Датируется 1745 г., так как оно написано вскоре по получении Вольтером от папы Бенедикта XIV письма, 19 сентября 1745 г.—Moland (IV, 102). Письмо папы прислано в ответ на посвящение ему Вольтером трагедии «Магомет».

XL

В. 107

5 декабря [1745 г.], Париж[1]

Посылаю вам, обожаемые ангелы, праздничное представление, которому я старался придать разумный и скромный характер, намеренно устранив

в нем оперную слащавость и дребедень, как не соответствующие ни возрасту моему, ни вкусам, ни избранному сюжету[2].

Я получу от вас гораздо более приятный подарок, если вы будете добры послать мне в конверте г-на Даржансона (из ведомства иностранных дел)[3] подробности, какие вам известны о геройском подвиге г-на Дазенкура[4].

Г-н де Кремиль[5] просматривает сейчас написанное мною о Фонтенуа[6]. Он не бранит эту вещь. Как только наберу здесь небольшой запас историй[7],—полечу к вам снова на поклон.

В.

5 декабря.

[1] По традиции, идущей от Кельского издания, отрывок этого письма, кончая словами: «...ни вкусам, ни избранному сюжету», включен в текст письма по изд. Moland № 1780 (XXXVI, 410) в виде его начала; к нему целиком присоединено письмо по нумерации Воронцовского собрания № 107. Относится, несомненно, к 1745 г., когда, заслужив «благоволение» Людовика XV своей «Poème sur la bataille de Fontenoy», Вольтер получил звание историографа Франции.

[2] Речь, вероятно, идет о тексте Вольтера к опере «Le Temple de la Gloire», музыка Rameau (1685—1764); опера в Версале шла 27 ноября 1745 г., в Париже—17 апреля 1746 г. Первым изданием вышла в 1745 г.

[3] См. прим. 5 к письму III.

[4] D'Azincourt—молодой офицер, отличившийся в битве при Меле 9 июля 1745 г.

[5] Crémilles Boyer Гиацинт де—один из виднейших офицеров в армии Морица Саксонского.

[6] 11 мая 1745 г. при Фонтенуа английские, голландские и австрийские войска были разбиты французскими. Этой победе и посвящена Вольтером «Poème sur la bataille de Fontenoy».

[7] Под «запасом историй» Вольтер разумел собираемый им материал для задуманной им «Histoire de la guerre de 1741».

XLI

В. 109

[НЕИЗВЕСТНОЙ]

[Апрель? 1746 г.][1]

Ручаюсь, сударыня, что вам никогда не придется иметь дело с посланцем более любезным, чем тот, кто доставит вам это изъявление моей нижайшей к вам благодарности. Если я и вступлю в эту Академию, поверьте, все же, что всю жизнь я буду считать во сто раз бо̀льшим счастьем, что принят у вас.

В.

[1] Печатается впервые. Можно предположительно отнести это письмо к апрелю 1746 г., к эпохе усиленных стараний Вольтера пройти в Академию на место, освободившееся со смертью президента Bouhier (17 марта 1746 г.). Избрание Вольтера состоялось 25 апреля того же года.

К кому именно обращена эта записка, выяснить не удалось.

XLII

В. 85

[7 марта 1747 г.], Версаль[1]

Вы знаете, дорогой мой ангел, что война крыс с лягушками вызвала распрю между богами? Палата Ла Турнель[2] своим представлением повергает в недоумение и Совет и меня. Вот, поистине, много шума из пустяков! Не можете ли вы, со свойственным вам благоразумием, успокоить достопримечательное сие столкновение? Не повидаетесь ли с аббатом де Шовеленом[3] и не попросите ли его передать г-ну Шовелену-президенту[4], что я очень склонен направить дело в парламент, что я далек от намерения избегать столь почтенного трибунала, а, напротив, только и мечтаю под-

чиниться его решению; что располагаю даже возможностью облегчить до известной степени Совету пересмотр вынесенного им решения; что страстно желаю поставить всех членов Совета в известность о моих намерениях, о моем уважении и доверии к ним; что не дерзал вносить предложения, сколько-нибудь напоминающие выставление каких-либо условий, при которых я соглашался бы на направление дела к вторичному разбирательству Ла Турнельской палатой. Я лишь надеюсь, что адвокатам будет предложено вести себя пристойнее, что не будет допущено такое фиглярство, каким было опозорено слушание дела у судьи по уголовным делам.

Я даже осмелился бы ходатайствовать, чтобы дело не слушалось в заседании суда, а было решено в порядке заочного разбирательства. Мне, словом, хотелось бы, дорогой ангел мой, чтобы через вас, через г-на президента Меньера и через аббата Шовелена господа члены Ла Турнельской палаты были осведомлены о моих намерениях, и притом чем скорее, тем лучше. Приняв во внимание, что я нахожусь в полной неизвестности о том, в каком направлении склонен г-н канцлер решать вопрос о пересмотре дела в Первом совете по делам спешного свойства, вы поймете, до какой степени мне важно, чтобы не была раздражена против меня Ла Турнельская палата, к которой на суд я могу попасть.

Умоляю же вас, мой ангел-хранитель, так широко развернуть надо мной ваши крылья, как еще никогда не развертывали! Умение примирять— одна из ваших добродетелей. И мне кажется, что здесь вам представляется отличный случай применить ваш дар убеждать умы и смягчать настроения... Я не хочу, да и не следует мне прибегать к письменным заявлениям, и я умоляю вас заверить этих великолепных мастеров выступать с представлениями, что я самым искренним образом желал бы иметь их своими судьями.

Тысяча сердечных приветов г-же Даржанталь.

Версаль, 7-го. В.

[1] Печатается впервые.—В августе 1746 г., по жалобе Вольтера в полицию и судье по уголовным делам (lieutenant criminel), якобы, за распространение памфлетов, направленных против Вольтера в связи с его избранием в Академию, был арестован вместе со своим 80-летним отцом скрипач оперы Травеноль.

Палата суда Châtelet, куда Травеноли обжаловали арест, постановила взыскать с Вольтера 500 ливров в пользу старика Травеноля, а Травеноля-сына приговорила к 300 ливрам штрафа. Тогда Вольтер, в нарушение обычного хода для этого рода дел, добился при помощи своих связей того, что Государственный совет (Conseil d'Etat) 1 февраля 1747 г. передал дело на пересмотр в Chambre de l'Arsenal, которая и вынесла решение в его пользу. Но нарушение законного хода дела было вновь обжаловано Травенолями, и Государственному совету пришлось пересмотреть дело и направить его для разбирательства в палату парламента La Tournelle. Здесь Вольтер потерпел поражение: приговор суда Châtelet был подтвержден, и ему пришлось уплатить штраф в сумме 500 ливров.

Публикуемое письмо, очевидно, написано в момент, когда Государственный совет вторично обсуждал дело и склонялся направить его в Ла Турнель, чего Вольтер и опасался. Окончательное постановление совета о направлении дела в Ла Турнель состоялось 25 марта 1747 г. Таким образом, письмо Вольтера написано ранее 25 марта, а так как оно помечено «Версаль 7», то датировать его следует: 7 марта 1747 г. (Ср. Desnoiresterres, III, 63 сл.).

[2] La Tournelle—одна из палат парламента, решавшая как уголовные, так и гражданские дела.

[3] Chauvelin Анри-Филипп де (1714—1770)—аббат; с 1738 г. советник парламента. Впоследствии заслужил известность литературной борьбой с иезуитами, в которой ему оказывал поддержку и Вольтер.

[4] Вероятно, брат предыдущего—Chauvelin Жак-Бернар де—интендант финансового ведомства и государственный советник (intendant des finances et conseiller d'Etat).

XLIII

Г-ЖЕ ДАРЖАНТАЛЬ

B. 110

[1747 г., Париж?][1]

Я потому не являюсь к вам, дорогие мои ангелы, что нахожусь примерно в том состоянии, в каком вчера была г-жа де Люксанбур. Большое надо бы иметь мужество, чтобы переносить жизнь, не будь вы ее утешеньем и усладой...

В.

На обороте: Г-же Даржанталь

[1] Издается впервые. Точно датировать трудно. Если предположить, что здесь говорится о предсмертной болезни герцогини Люксанбур, умершей 29 октября 1747 г., то можно отнести эту записку к осени 1747 г.; после 25 августа Вольтер с г-жей Дю Шатле провели тогда месяца полтора в Париже и около 14 октября уехали с двором в Фонтенбло. См. Desnoiresterres, III, 130 сл. О г-же Люксанбур см. прим. 9 к письму XIX.

XLIV

Г-ЖЕ ДАРЖАНТАЛЬ

B. 147

[1744—1747 г.][1]

Если бы меня сегодня пригласили в «малые кабинеты» или к президенту Эно[2], что еще поважнее, я, конечно, без всяких колебаний, предпочел бы храм дружбы.

Я полон почтения к горю г. де Шуазёля[3] и к вашей отзывчивости. Еще никогда не высказывали вы, сударыня, столь доброго ко мне отношения! Я явлюсь к вам с богатым запасом таких мелочей, которые могли бы вас развлечь, и с сердцем, умеющим разделять все ваши чувства, горячо любящим прекрасную вашу душу.

В.

Воскресенье.

На обороте: Г-же Даржанталь

[1] Печатается впервые. Данных для точной датировки нет. Выражениями «кабинеты»—«les cabinets», «petits cabinets» при французском дворе того времени называли кружок людей, состоявших в личной близости к Людовику XV. Исходя из того, что к придворным кругам и, в частности, к герцогу Ришелье (см. прим. 4 к письму XXXVI) Вольтер был особенно близок в 1744—1747 гг., считаем возможным отнести публикуемое письмо к этому периоду.

[2] Hénault Шарль-Жан (1685—1770)—президент одной из палат парламента. Его дом был центром литературной и «светской» жизни Парижа середины XVIII в.

[3] Choiseul Сезар-Габриэль, граф де (1712—1785)—с 1752 г. герцог de Praslin.

XLV

B. 116

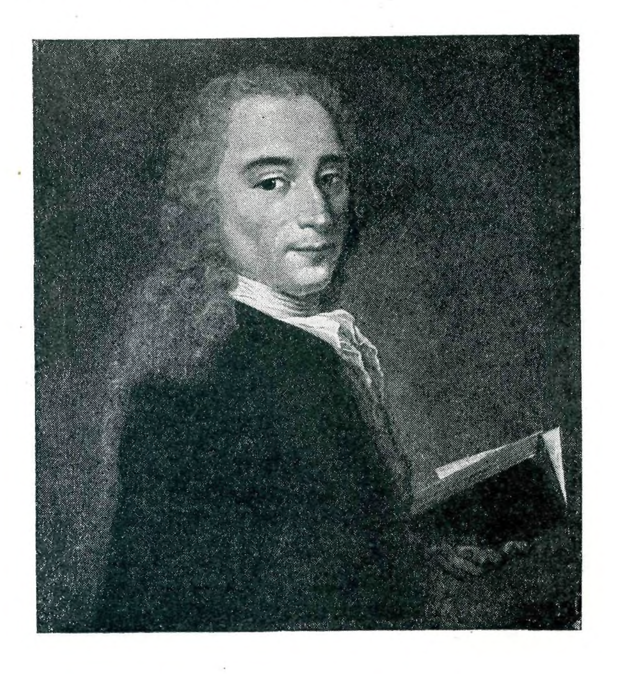
Люневиль, 1 февраля[1] [1748 г.]

Дошли ли до моих прекрасных ангелов полные ошибок списки той «Семирамиды»[2], которую они приняли под свое покровительство?

Вот я и в Люневиле! А зачем? Прекрасный человек король Станислав[3], но даже вместе с королем Августом[4], как ни велик их вес,—если положить их на одну чашку весов, а на другую моих ангелов,—то перетянут ангелы...

Я все время болен. Но если еще остались стихи, требующие исправления, приказывайте, и я постараюсь выздороветь. Довольны ли, наконец, г. Пон де Вейль и г. де Шуазёль[5] моей вавилонской царицей? Как здо-

МОЛОДОЙ ВОЛЬТЕР
Портрет маслом работы неизвестного художника французской школы, ок. 1737 г.
Исторический музей, Москва



ровье их? Любят ли они покушать? Да, конечно... А затем принимают липовую настойку. В этом же роде поступаю и я,—целые сорок лет ежедневно повторяя себе: с завтрашнего дня—воздержание! А вот никогда не знавшая воздержания г-жа Дю Шатле чувствует себя чудесно и шлет вам самые сердечные поклоны. Не знаю, она, быть может, останется здесь на весь февраль месяц... Что же касается меня, то в качестве незначительной планеты сонма, ее окружающего, я плетусь кое-как по ее орбите. И хотя жизнь моя здесь проходит в высшей степени приятно и удобно, я с наслаждением вернусь к вам на поклон. Прощайте, обожаемые мои ангелы. Вам я буду верен до последней минуты жизни и всегда и от всего сердца буду вас чтить.

В.

Адрес: Г-ну Даржанталю,
почетному советнику парламента
Улица St. Honoré, в Париже

Почтовая пометка:
Lunev[ille]

[1] Вместе со следующим письмом (XLVI), часть публикуемого письма вошла в текст письма Moland № 1882 (XXXVI, 504). Публикуемое письмо является первым в серии писем Вольтера из Лотарингии, где они с г-жей Дю Шатле, при дворе бывшего польского короля Станислава Лещинского, провели с перерывами почти весь 1748 г. и часть 1749 г. (см. письма XLV и LXI). Письмо относится ко времени, когда в Париже готовилась постановка новой трагедии Вольтера «Sémiramis», а автор продолжал работать над ее усовершенствованием. Первое ее представление в Париже на сцене Comédie Française 29 августа 1748 г. не встретило того единодушного одобрения, какое трагедия вызвала позднее на придворном спектакле в Фонтенбло 24 октября того же года. Датируется письмо 1 февраля 1748 г.

[2] Трагедия «Sémiramis» («Семирамида») была написана по просьбе первой жены дофина, дочери испанского короля Филиппа V, женщины литературно образованной и любившей сюжеты из древней истории. Заказчица умерла в 1746 г., за два года до постановки трагедии.

[3] Станислав Лещинский (1677—1766)—польский король. Вследствие военных и политических неудач, в 1732 г. после 32-летнего царствования отрекся от престола, а по Венскому трактату 1738 г. получил в пожизненное владение Лотарингию, после его смерти долженствовавшую отойти к Франции. Его резиденции—Nancy,

Lunéville, Commercy, Malgrange—стали блестящими центрами художественной и светской жизни.—Дочь Станислава Лещинского была женой Людовика XV.

[4] Август III (1696—1763)—польский король, выбранный на место Станислава в 1736 г. Его дочь была второй женой дофина Франции.

[5] См. прим. 3 к письму XLIV.

XLVI

В. 117

13 февраля [1748 г.][1], Люневиль

Успех Мармонтеля[2], уважаемый и милый друг мой, доставил мне гораздо больше удовольствия, чем могла бы доставить та поспешная постановка «Семирамиды», которую собирались осуществить актеры. От откладывания пьеса лишь выиграет. Спешу же я только вернуться ко двору моих ангелов, который предпочитаю дворам всех королей!

Мармонтеля я очень люблю. При его средствах ему необходим был этот случайный маленький прибыток. Получив возможность спокойно работать, он будет работать гораздо успешнее. Мне кажется, что от него можно ждать очень много хорошего.

Я присутствовал здесь на представлении «Гордеца»[3]. Его жестоко терзали, но пьеса все же доставила мне необычайное удовольствие. Я почти убежден, что это произведение в отношении нравственности не уступает лучшим произведениям Мольера и выше их всех по развитию сюжета. «Заира» была здесь сыграна мальчиками и девочками. Ex ore infantium и т. д.[4].

Выходит так, что я не могу отлучиться из Парижа, чтобы не оказаться изгнанником![5]. Ваши парижане чрезвычайно милы: они доводят до сведения королей и вельмож, что стоит только издать «lettre de cachet», а уже встречено это будет всегда полным одобрением. Послание от меня к супруге дофина! Ничего подобного, конечно, не было. Я, правда, написал одну вещь для принцессы, которую вся Европа почитает любезнейшей, после королевы и г-жи супруги дофина[6]. Написано это послание более года тому назад. Списков с него я не давал никому, даже вам: я не придавал ему такого значения, чтобы вам его показывать. Заявляйте же, пожалуйста, каждому из этих звонарей, где бы их ни встретили, что к супруге дофина писем я не пишу.

Так называемое изгнание свое, благодаря деду августейшего супруга принцессы, я провожу здесь с большой приятностью[7]. Я, правда, хворал, но и хворать приятно в гостях у польского короля. Вряд ли кто заботится так о своих близких, когда те заболеют. Невозможно быть ни лучшим королем, ни лучшим, чем он, человеком.

Очень рад буду по возвращении к вам оказаться собратом автора «Злюки». Он не станет угощать нас нелепыми грамматиками, как его предшественник, аббат Жирар[8], зато будет сочинять прелестные стихи, а это гораздо более ценно. Мне бы очень хотелось присутствовать на его приеме в Академию.

За доброе отношение ко мне сердечно благодарен уважаемому брату вашему, г-ну Шуазёлю, г-ну де Ла Марш[9], г-ну аббату де Шовелену[10]. Передайте, пожалуйста, аббату де Берни[11], что если он и забывает меня, то я-то его помню. Расположился ли он уже в своем Тюильрийском дворце? Что до меня, то если б я жил без г-жи Дю Шатле, я непременно занял бы помещение с гирляндами и букетами цветов, которое прежде занимала «прекрасная Бабе»[12]. Г-же Дю Шатле здесь так нравится, что я начинаю

думать, она никогда отсюда и не выедет. А я чувствую, что только ради вас решусь расстаться с Люневилем. Вы и представить себе не можете, обожаемая чета, какое чувство преданности и нежности связывает меня с вами и вашими близкими.

В.

Еще не малой шлифовки требует та, что находится под вашей опекой[13].

[1] См. прим. 1 к письму XLV.

[2] Marmontel Жан-Франсуа (1723—1799) — известный драматический писатель. В начале литературной карьеры пользовался покровительством Вольтера, которому посвятил трагедию «Denis le Tyran», с успехом появившуюся на сцене 5 февраля 1748 г. Именно об этом его успехе говорит Вольтер в публикуемом нами письме (ср. его письма к Мармонтелю от того же 13 февраля, Moland № 1880, и от 15 февраля 1748 г., ibid. № 1884); на этом основании письмо датируется 13 февраля 1748 г.

[3] «Le Glorieux» (1732 г.) — комедия известного поэта Филиппа Детуша — (Néricault-Destouches, 1680—1754).

[4] «Устами младенцев... [глаголет правда]».

[5] В Париже распространился неверный слух о новом изгнании Вольтера из-за, якобы, написанного им послания в стихах жене дофина с критикой французского двора.

[6] Под «любезнейшей принцессой» Вольтер разумеет жену шведского наследного принца, в честь которой им написаны стансы «Souvent la plus belle princesse» и т. д.

[7] Дед дофина — Станислав Лещинский (см. прим. 1 и 3 к письму XLV).

[8] Автор комедии «Le Méchant»—Gresset (1709—1777 г.)—поэт и драматург, избранный в академики 4 апреля 1748 г.

Girard (1677—1748)—автор в свое время очень известного труда «Synonymes français, leurs differentes significations et le choix qu'il en faut faire pour parler avec justesse» («Французские синонимы, различные их значения и выбор их, необходимый для правильности речи»), изд. 1718 и 1736 гг. Этот труд Жирара Вольтер называет «грамматикой».

[9] Fyot de La Marche Клод-Филипп, маркиз — товарищ Вольтера по коллежу Людовика Великого.

[10] См. прим. 3 к письму XLII.

[11] Bernis Франсуа-Иоахим (1715—1794)—аббат, с 1758 г. кардинал; поэт, впоследствии дипломат и государственный деятель. В эпоху, к которой относится публикуемое письмо, был близок к фаворитке Людовика XV, маркизе Помпадур; пользовался пенсией и квартирой в Тюильрийском дворце.

[12] «La belle Babet»—прозвище аббата де Берни.

[13] Т. е. трагедия «Sémiramis».

XLVII

В. 123

11 июля [1748 г.][1], Коммерси

Святые мои ангелы! Пломбьерский[2] пруд, оказывается, уж надоел г-ну де Шуазёлю? Как же относится к этому г-жа Даржанталь? Еще надолго ли хватит ее настойчивости? Не поедете ли вы в обратный путь по дороге через Лотарингию и Бар? Если вы выберете эту дорогу, а она самая краткая, сообщите мне об этом, мы тогда встретимся при вашем проезде в Вуа[3], до которого от Коммерси всего одно льё расстояния. Очень вам благодарен за письмо от г. аббата Шовелена[4], которое вы любезно мне переслали. Вы воскрешаете мой интерес к «Семирамиде». Мне необходимо посмотреть ее, но в первую очередь—посмотреть на вас, дорогие мои ангелы. И зачем бы это в Вуа, в каком-то трактире, а не с полным для всех нас удобством в Сире? Разве не вполне подобало бы вам и не гораздо приятнее было бы отдохнуть денёк в Сире? Г-жу Верпийак замените г-жей Дю Шатле,—она же окажет вам не менее сердечный прием[5], ибо, в конце концов, обе они добрые женщины.

Я вернулся бы вместе с вами в Париж, разместиться в экипажах было бы не трудно. В Париж и даже в Компьен[6] мне, повидимому, придется поехать в конце июля или в первых числах августа. А вам, думается мне, придется возвращаться приблизительно в это же время.

Сообщите же мне подробно, как располагаете поступить, дабы г-жа Дю Шатле могла сообразоваться с вашими решениями. Но надо с этим спешить. Мы будем ждать вашего ответа с нетерпением людей, которым представляется возможность повидаться с вами. Никакие короли помешать тут не могут. Ради кого же и покидать их, если не ради вас? До свидания, мои ангелы и короли. При вашем милом дворе я охотно провел бы всю свою жизнь.

В.

Адрес: Г-ну Даржанталю, почетному советнику парламента В Plombières, через Нанси

Почтовая пометка: de Commercy.

[1] Печатается впервые. Датируется 1748 г. в связи с предшествующими двумя письмами, относящимися тоже ко времени пребывания Вольтера при дворе Станислава Лещинского. Commercy—одна из резиденций последнего.

[2] Лето 1748 г. чета Даржанталей проводила с гр. Шуазёлем «на водах», в курорте Пломбьер в Вогезах. См. Moland №№ 1889, 1896, 1901 (XXXVI, 511, 518, 522).

[3] Void—местечко в 8 километрах от Коммерси.

[4] См. прим. 3 к письму XLII. Аббат де Шовелен, любитель театра, принимал большое участие в деле постановки «Семирамиды».

[5] О г-же de Verpillac упоминает и г-жа Дю Шатле в своем письме к Даржанталю от 29 июня 1748 г. (Ср. «Lettres de la marquise du Châtelet», 471).

[6] В конце августа 1784 г. Вольтер вместе со Станиславом Лещинским, действительно, ездил в Париж. Compiègne—город в 100 километрах от Парижа, издавна служивший резиденцией французским королям. Вольтер и г-жа Дю Шатле ездили туда ко двору Людовика XV.

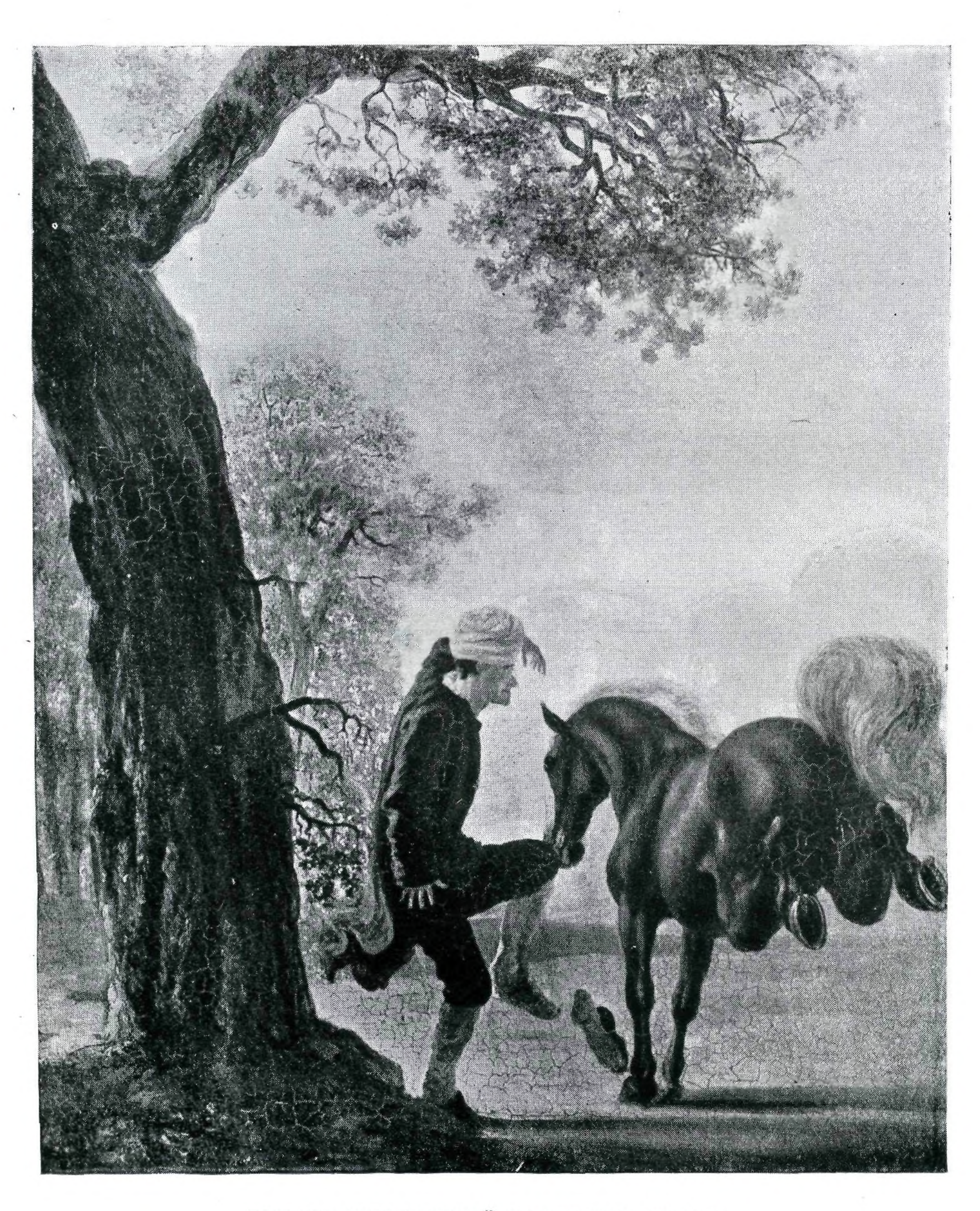
XLVIII

B. 122

[18 июля 1748 г.[1], Коммерси]

Я не увижу «Семирамиды», зато увижу вас, дорогой и уважаемый друг. На Сире уже рассчитывать не приходится, но, в конце концов, не вечно же будет пребывать в Пломбьере[2] г-жа Даржанталь, а я на пути вас и изловлю. Я должен увидеть ее располневшей, с волчьим аппетитом. Совсем собрался было в Компьен и Версаль[3], но остался здесь со своими недугами, кипами исписанной бумаги, в среде приятных людей. Г-ну аббату Шовелену[4] я написал благодарственное письмо и боюсь, что сделал глупость, адресовав письмо на улицу Бланманто — он, кажется, живет не там. Не могу вспомнить, как называется его улица. Смешно это — из Коммерси справляться в Пломбьере о названии парижской улицы!..

Всем сердцем и вполне искренно приветствую план декораций, хотя его и не видел, и благодарен вам за него, за то, что вы свели меня с герцогом Домоном[5], да и вообще я вам всем обязан. Пусть аббат Шовелен делает, что и как хочет. Все будет хорошо, удалась бы только пьеса! Успех пьесы не от того зависит, что одним размалеванным холстом будет больше или меньше... Мне приходится, стало быть, выразить благодарность графу де Шуазёлю[6]. Но не стану я писать ему на улицу Бланманто, а попрошу вас сообщить мне его адрес и тем избавить меня от повторения промаха, какой сделал я с адресом г. аббата де Шовелена.



ВОЛЬТЕР, УКРОЩАЮЩИЙ СТРОПТИВУЮ ЛОШАДЬ
Картина маслом Жана Гюбера, 1770—1775-е гг.
Эрмитаж, Ленинград

Г-жа Дю Шатле просит передать вам обоим самые сердечные свои пожелания. Прощайте, божественный друг мой, верните нам г-жу Даржанталь веселой, здоровой, блистательной. Тысяча сердечных приветов вам обоим.

Коммерси, 18 июля. В.

Адрес: Г-ну Даржанталю, почетному советнику парламента В Plombières, через Нанси

Почтовая пометка: de Commercy

[1] Издается впервые. Датируется по связи с предыдущими письмами 1748 г.
[2] См. прим. 2 к письму XLVII.
[3] Т. е. ко двору Людовика XV.
[4] См. прим. 3 к письму XLII.
[5] Д'Aumont Луи-Мари, герцог (1690—1789) в качестве первого камергера двора имел влияние на ход дел в Comédie Française, на постановку пьес и распределение ролей. Содействовал постановке «Семирамиды».
[6] См. прим. 3 к письму XLIV.

XLIX

В. 124

26 [июля 1748 г.][1]

Дивный ангел мой! Заместитель ваш, аббат Шовелен, мне сообщает, что король даст роскошные декорации[2]. Примите, пожалуйста, основную долю моей благодарности, ибо все это делается вас ради. Но да не будем же мы освистаны при этих царственных затратах! Пусть не скажут:

Le faste de votre dépense
n'a point su réparer l'extrême impertinence[3].

Если меня освищут, я никогда уж не решусь показаться на глаза ни г-ну и г-же Даржанталь, ни королю. Этот знак королевского внимания восстановил против меня все племя писателей. Поддержать меня на первом представлении может только ваше присутствие. Вы знаете, что торжество это ваше, и допускать, чтобы «Семирамиду» ставили раньше, чем вы вернетесь[4], нельзя. Меня там не будет, но вы будете, а это гораздо лучше.

Г-жа Дю Шатле очень хотела видеть вас у себя в Сире. Туда привозит шомонская[5] почта. Славный бы для меня вышел день, и лишать меня его не следует! Сообщите же нам, какой изберете путь. Говоря о шомонской почте, которая доставляет в Сире, я имею в виду почтовую станцию между Шомон и Бар-сюр-Об[6]. Название ее Вимори, а от Сире она находится на расстоянии двух льё. Никаких неудобств тут не представится. Сообразуйтесь с состоянием здоровья г-жи Даржанталь и перешлите нам распоряжения, которые вам и ей угодно будет сделать. Прощайте, чудное создание!

В.

Сего 26-го.

[1] По традиции, идущей от Кельского издания, вместе со следующим письмом (L) частично вошло в письмо по изд. Moland № 1904 (XXXVI, 524). Вольтер пометил оригинал 26-м числом. Датируется по связи с предыдущим письмом (см. прим. 2 к письму XLVII).
[2] См. прим. 4 к письму XLVII.
[3] «Всей роскошью затрат не сумели вы искупить безмерной своей наглости».
[4] Т. е. до возвращения четы Даржанталей в Париж из Пломбьер, где они провели все лето 1748 г.
[5] Chaumont—город в нынешнем департаменте Верхней Марны.
[6] Bar sur Aube—главный город нынешнего округа Aube.

L

В. 126

15 августа [1748 г.][1], Люневиль

Неужели, ангел мой хранитель, вы допустите, чтобы наш призрак[2] одели в черное, чтобы ему дали креп, как в «Двойном вдовстве»?[3]. По моему замыслу, он должен быть в белом, в золотых латах, со скипетром в руке и короной на голове... А по части призраков можно на меня полагаться, ибо я и сам до некоторой степени имею честь принадлежать к ним, особенно сейчас. Надеюсь, что г-жа Даржанталь к ним не принадлежит, что она с «вод» привезла цветущее здоровье или хотя бы тот здоровый вид, который так мне знаком. Мы сейчас в Люневиле, и мне было бы очень удобно приехать на поклон к вам обоим и поблагодарить вас за попечение о судьбе «Семирамиды».

Я посылал аббату де Шовелену несколько поправок к третьему акту. Они, быть может, не нужны? Я просил его показать их вам,—вы и решите. Перед своим отъездом вручил я несколько поправок и Ла Ну[4],—это для второго действия:

Je la vis captiver et le peuple et l'armée.
Le grand art d'imposer même à la renomée
Fut l'art qui l'affirmait, malgré tous mes desseins,
Aussi bien qu'en son rang, dans l'esprit des humains.
Mais j'ai vu l'affaiblir, cette grandeur suprême;
Sémiramis n'est plus qu'une ombre d'elle même.
Un vain remord la trouble etc.[5].

Надеюсь, что он изволит выучить эту небольшую вставку, сокращающую передаваемый им рассказ, и что он дал ее вписать в текст пьесы.

Простите, что я так злоупотребляю вашим доброжелательством, но вы сами виноваты: вы меня давно к этому приучили. Если требуется еще какая-нибудь переделка и есть еще время для этого, только скажите—и будет сделано с полной готовностью. Прощайте, дорогой и уважаемый друг. В Париже ли г. Пон де Вейль? Г-жа Дю Шатле шлет вам обоим самые сердечные приветы.

В.

Адрес: Г-ну Даржанталю,
почетному советнику парламента
Улица St. Honoré, в Париже

Почтовая пометка:
Lunev[ille]

[1] См. прим. 1 к предыдущему письму. По связи с ним настоящее письмо датируется 1748 годом.

[2] Речь идет о призраке царя Нина, появляющемся в конце III действия «Семирамиды».

[3] «Le double veuvage»—комедия Шарля-Ривьера Dufresny (1648—1724), ставилась при дворе Станислава Лещинского; г-жа Дю Шатле исполняла в ней одну из ролей. См. письмо Вольтера к Даржанталю от 2 августа 1748 г.—Moland, № 1901 (XXXVI, 522), или 125-е письмо Воронцовского сборника.

[4] О Ла Ну см. прим. 4 к письму XXVIII. С марта 1742 г., находясь в труппе Comédie Française, Ла Ну заслужил своей игрой высокую оценку со стороны Вольтера. В трагедии «Sémiramis» Ла Ну играл роль Ассура.

[5] «Я видел, как овладела она и войском и народом. Великое искусство подчинять своей воле даже славу—вот искусство, которым, вопреки всем моим намерениям, утвердила она себя и в сане своем и в сознании людей. Но я видел и то, как слабело дивное это величие: Семирамида стала лишь собственной тенью, смущают ее бесплодные угрызения...»—вариант трагедии «Sémiramis», до сих пор неизвестный. Ср. «Sémiramis», действие II, явл. 4 (Moland, IV, 527).

LI

В. 127

12 сентября 1748 г., Шалон[1]

Не могу вам собственноручно писать, дивные мои ангелы. У меня лихорадка. Крепко держит она меня в Шалоне, и я даже не знаю, когда буду в состоянии отсюда уехать.

Про-младший одолевает меня предложениями печатать «Семирамиду»[2]. Но надо еще кое-что в ней исправить и написать предисловие. А всего этого не сделаешь при довольно сильной лихорадке. Он, конечно, явится к вам: прошу вас, пообещайте ему от моего имени «Семирамиду» и скажите, что он получит ее в скором времени. Среди публики надо даже распространить слух, что печатать ее уже начали,—это может воспрепятствовать появлению потайных изданий.

Повидимому, я еще проболею здесь несколько дней. И если вы лично или г. аббат Шовелен[3] захотите что-нибудь мне сообщить, можете в течение трех дней, считая от нынешнего, слать письмо почтой в Шалон. В случае, если я к тому времени уеду, письмо переправят в Люневиль.

Издалека вы так же меня охраняете, мои ангелы, как и будучи близ меня. Я ставлю *В* под письмом. И это все, что я в силах сделать,—так мне неможется...

В.

Адрес: Г-ну Даржанталю, почетному советнику парламента Улица St. Honoré, напротив церкви св. Роха, в Париже

Почтовая пометка: Chaalons

[1] В искаженном виде, вместе с отрывками следующего письма (LII), составило текст письма в изд. Moland № 1908 (XXXVI, 526). Написано рукой Лоншана, секретаря Вольтера, но снабжено собственноручной подписью-инициалом последнего. Послано из Шалона-на-Марне—на обратном пути Вольтера в Лотарингию из Парижа, куда он ездил вместе со Станиславом Лещинским, чтобы присутствовать на первом представлении «Семирамиды» в Comédie Française (29 августа 1748 г.), и где провел первые дни сентября 1748 г.

[2] «Семирамида» появилась в печати в 1749 г. в двух парижских изданиях—у Le Mercier et Lambert и в одном—с пометкой города «La Haye», без имени издателя; в 1750 г. она была переиздана в Амстердаме у Ledet et C[ie]. У издателя Prault трагедия не выходила. (См. Bengesco, I, 45 сл., №№ 182—185).

[3] См. прим. 3 к письму XLII.

LII

В. 128

19 сентября [1748 г.], Люневиль[1]

Как здоровье моих ангелов? Лихорадка моя прошла, и ничто, кроме разлуки с ними, мне страданий уже не причиняет. Повидимому, «Катилину» читают с бо́льшим рвением, чем его пишут...[2]. Неужели же другу моему Мармонтелю придется пострадать от этого рвения и не состоится повторение его бедного «Дионисия», а ведь это так ему нужно. Это было бы крайней несправедливостью, и ангелы мои ее не допустят.

Про, конечно, приходил к вам попусту: ему страшно хочется издавать «Семирамиду»; но разве нельзя поводить его за нос, чтобы избежать мошеннических изданий, постоянно угрожающих мне своим появлением?[3].

Неужели «Семирамиду» ставят только по средам и субботам, при ужасном теперешнем безлюдии Парижа?

Допустят ли ее до Фонтенбло?[4].

И вот еще что: вы говорите о «Задиге»[5], как будто я тут при чем-нибудь!.. Но почему я? Почему называют мое имя? С романами я не желаю иметь ничего общего.

Мое чувство благодарности к господину помощнику епископа не иссякает[6]. Большое сделал бы он мне одолжение, как-нибудь сообщив, что творится в Комедии. Говорят, что Саразен и Ла Ну[7] день ото дня все хуже играют. А ведь это может сильно повредить... Как здоровье г-на Пон де Вейля? Тысяча сердечных приветов всему, что вам близко.

В.

Мы ставили здесь одну сцену между Помоной и Вертумной[8]. Г-жа Дю Шатле играла божественно. Она шлет вам сердечнейшие пожелания.

[1] Частично включено в текст письма по изд. Moland № 1908 (XXXVI, 526), с пометкой: «Шалон, 12 сентября». Датируется по связи с предыдущими письмами. См. прим. 1 к письму LI.

[2] «Catilina»—трагедия Кребильона. Читалась у маркизы Помпадур в сентябре 1748 г. Кребильон над ней работал почти 20 лет, на что и намекает Вольтер в настоящем письме. (Ср. Desnoiresterres, III, 213).—Crébillon Проспер-Жолио де (1674—1762)—известный автор многочисленных трагедий.

[3] О появлении «незаконных» изданий «Семирамиды» не говорится ни в одном из посвященных Вольтеру исследований.

[4] В Фонтенбло «Семирамида» шла 24 октября 1748 г.

[5] «Zadig»—первый философский роман Вольтера; напечатан был в Париже в 1747 г. с пометкой «A Londres, pour la Compagnie», под заглавием «Memnon, histoire orientale», без имени автора (см. Bengesco, I, 435, № 1420). От своего авторства в отношении этого романа Вольтер упорно отрекался.

[6] Помощник епископа («Coadjuteur»)—аббат Шовелен.

[7] Sarrasin и La Noue—актеры Comédie Française, игравшие в трагедии «Sémiramis».

[8] «Pomone»—пастораль; написана в 1669 г. аббатом Perrin; музыка—Cambert.

LIII

В. 129

21 сентября [1748 г.], Люневиль[1]

Дорогой и уважаемый друг, я на положении выздоравливающего; здоровье же «Семирамиды», как вы сообщаете, совсем хорошо[2]. За это благодарю вас: своим здоровьем она обязана мудрому режиму, которому вы ее подвергли. А господам Шовеленам[3] мне вечно суждено быть обязанным: один из них содействует успеху пьесы в теперешнем ее виде; другой мучается над изобретением новых способов сделать ее более достойной выпавшего на ее долю успеха. Если бы бригадный командир[4] находился сейчас в Париже, он очень бы вам помог. То, что младший Про[5] к вам не заходит, меня очень беспокоит. Накануне моего отъезда он торопился вручить мне вексель и договоры, и я направил его к вам. У меня все основания опасаться, что какой-нибудь плохой список с пьесы успел за это время попасть к нему в руки и он собирается сыграть со мной такую же штуку, какую уже сыграл однажды при печатании «Магомета», когда тайком торговал очень неисправным списком с него.

Никому из издателей доверять нельзя, а этому особенно. Настоятельно прошу вас, будьте любезны позвать его и предложите ему пьесу, как бы уже готовую к печати и со значительными исправлениями. Это не даст ему остыть. Совершенно необходимо распространять при этом слух, что имеется разрешение на ее печатание. Только таким путем возможно избежать мошеннических изданий. А без этих предварительных мер самые

пира»...[3]. Это, поверьте, произведет страшное впечатление! Дать мрак очень легко — притушив все свечи в кулисах, спустив затянутую плотно раму позади люстр и пониже опустив плошки. В Фонтенбло можно бы добиться толку, если бы только Сендре[4] приложил к этому кое-какие усилия. Слодсам[5], при возобновлении пьесы, совершенно необходимо восстановить свою честь. Им совсем не трудно будет создать вполне красивую постановку. Из партера я получил четыре записки, в которых просили дать декорации хоть сколько-нибудь более достойные пьесы! Пьеса, наконец, попала в милость, и при ее возобновлении можно будет вдохнуть в нее новую жизнь... Вы и не представляете себе, насколько «Семирамида» стала мне дороже, благодаря вашим попечениям об ней! Не подозревал я, что так ее люблю... Я старательно над ней поработаю, чтобы заслужить все, что вы, со своей стороны, для нее делаете.

Г-жа Дю Шатле шлет вам сердечные приветствия. Жизнь здесь проходит в бессменных удовольствиях, но я никогда так не скорбел от разлуки с вами, милые мои ангелы. Вы создаете и счастье мое, и славу!

В.

Кстати, умоляю г-на Пон де Вейля удостоить своего внимания варенье из слив. Попросите его также черкнуть несколько слов г. де Ла Маршу[6], это очень существенно.

Адрес: Г-ну Даржанталю,
почетному советнику парламента
Улица St. Honoré, в Париже

Почтовая пометка:
Lunev[ille]

[1] Печатается впервые. Датируется по связи с предыдущими письмами 1748-го года (XLV—LIII).

[2] См. прим. 5 к письму XLVIII.

[3] «Le Festin de pierre»—заглавие известной комедии Мольера на тему о Дон Жуане.

[4] Le Noir de Cindré—один из управляющих театром при дворе Людовика XV.

[5] См. прим. 7 к письму LIII.

[6] См. прим. 9 к письму XLVI.

LV

В. 134

11 окт[ября 1748 г.][1]

Прекрасные души, покровители души моей! Вот вам новые поправки[2],— попрошу вас их переслать, присоединив к прежним. Когда хочешь оказаться достойным стольких благодеяний, никаких упущений позволять себе нельзя. Прилагаю мемуар, который актеры должны, на мой взгляд, разослать трем старшим камергерам[3], а г-жа Клэрон[4] пусть убедит подписаться под ними и Сендре[5], которому надо вручить четвертый экземпляр...*. Эти законнейшие заявления, наряду с вашей действенной добротой и с предпринимаемыми мною шагами, надеюсь, предотвратят ту мерзость, которой хотят опозорить французскую сцену,—единственную в Европе сцену, заслуживающую покровительства!

Вам, дорогой и уважаемый друг, приходится теперь защищать то, что обязано вам своим успехом... Одержите верх над самым подлым из всех заговоров, какие только возникали со времени постановки «Федры»![6].

* Не следует ли также вручить мемуары, прибегая в них к тем же примерно доводам, г-ну де Морепа и начальнику полиции?

лучшие намерения г. Беррие[6] и все его попечение не защитят нас от жадности любого типографа. Вы оберегали постановку пьесы, спасите нас теперь от ее напечатания. Заклинаю вас поговорить с Про. Что касается мысли об уступке пьесы актерам, то не полагаете ли вы, что предпочтительнее оделить небольшими подарками тех главных исполнителей, которыми мы довольны, чем отдавать пьесу целой толпе пошлых комедиантов, столь же неблагодарных, как и бездарных? А затем, разве мне не следует оставить за собой право на возобновление ее зимою? Я при этом успел бы еще ее посовершенствовать. Слодсы[7] согласны улучшить свои декорации. Быть может, не так уж будет трудно дать «Семирамиде» новую жизнь, особливо, если с «Катилиной» стрясется беда...[8]. Но главное в том, чтобы воспрепятствовать появлению этих проклятых изданий, поддерживая для этого пылкие надежды Про. Во всем полагаюсь на моих милых ангелов. Они ведь не скажут: «Curavimus Babylonem et non est sanata, derelinquamus eam»[9].

Тысяча сердечных приветствий вашему дому — всему в него входящему, всему из него исходящему!..

В.

Адрес: Г-ну Даржанталю,
почетному советнику парламента
Улица St. Honoré, в Париже

Почтовая пометка:
Lunev[ille]

[1] Печатается впервые. Датируется по связи с предыдущими письмами (XLV—LII). См. прим. 1 к письму XLV.

[2] Здесь имеется в виду успех «Sémiramis» у парижской публики.

[3] «Господа Шовелены»—два брата Шовелен, см. прим. 3 и 4 к письму XLII и прим. 4 к письму XLVII.

[4] Кто разумеется здесь под «командиром бригады» (maréchal de camp)—точно неизвестно.

[5] Младший Про — издатель Prault-сын.

[6] Berryer Никола-Рене (1705—1762)— с 1747 г. главный начальник полиции, креатура маркизы Помпадур, изобрел «черный кабинет» для перлюстрации частной переписки.

[7] Три брата Slodtz, сыновья скульптора Sébastien Slodtz из Антверпена; придворные живописцы; исполняли рисунки для театральных декораций.

[8] «Catilina»—трагедия Кребильона (см. прим. 2 к письму LII).

[9] «Пытались мы врачевать Вавилон, он не исцелился, покинем же его» (Иеремия, LI, 9).

LIV

В. 130

26 сентября [1748 г.], Люневиль[1]

Я получил от г. коадъютора весьма красноречивое и весьма утешительное письмо о «Семирамиде». Победа! Победа, дорогие мои ангелы! Вы восторжествовали над демонскими кознями! Я остаюсь при своем решении не приступать к ее печатанию и длить ожидание выхода ее в свет; только при этом условии не повторятся те штуки, которые не раз уже со мною разыгрывали. Умоляю вас, как оберегали вы представления пьесы, так постарайтесь теперь предотвратить появление этих изданий, которых я так опасаюсь. Я послал в Фонтенбло к герцогу Домону[2] небольшую просьбицу: я упрашиваю его, в случае постановки «Семирамиды», сделать распоряжение, чтобы для призрака нам устроили глубокий мрак, чтобы призрак этот не оказался опять толстощеким и рослым парнем с неприкрытым лицом, а чтобы взяли за образец статую в латах из «Каменного

Вы тут гораздо больше можете сделать, чем я сам. Мое присутствие лишь разожгло бы врагов моих: им так захотелось бы сделать меня свидетелем заготовленного ими шельмования! И в случае, если бы не удалось добиться запрещения мерзкой их сатиры, я только дал бы пищу их злорадству, сам предал бы им себя на заклание... Я все же, однако, надеюсь, что г. аббат де Берни не откажет вам в просьбе поддержать перед г-жей де Помпадур мое ходатайство и решительно выскажется против этих презренных пародий, как позорящих нашу нацию. Повторяю: с моей стороны лучший ответ, который могу я дать, лучший шаг, к которому могу прибегнуть,—

ЭКЗЕМПЛЯР ИЗДАНИЯ „ГЕНРИАДЫ“, ПРИНАДЛЕЖАВШИЙ Ф. И. ТЮТЧЕВУ

Слева—автограф стихотворения Тютчева 1818 г., посвященного Вольтеру

Музей Тютчева, Мураново

это употребить все силы на то, чтобы «Семирамида» стала менее недостойной просвещенных зрителей. Хорошо работать да иметь вас на своей стороне—к этому сводится все мое евангелие. Прощайте, дорогие, пекущиеся о Вавилоне[7] ангелы! Зависть совершенно права, ища моей гибели: слишком большое счастье дает мне ваша дружба!

В.

Как-то отнесетесь вы к моим поправкам и к написанному мною мемуару? Я лично думаю, что, даже и не будучи вполне удачными, сделанные изменения могут разоружить в Фонтенбло прежних хулителей пьесы[8]: теперь ее успех им можно будет объяснять моей готовностью к повиновению.

Рассчитываю на ночную тьму и на призрак в белом и с потемневшими латами. Я, кажется, уже сообщал вам, что весь партер желал видеть его именно таким?.. Вперед же и смелее!

Сегодня, 12 октября, я надумал следующее. Если над всеми выставленными мною соображениями одержит все же верх ожесточенная клика заговорщиков и восторжествует подлое удовольствие, доставляемое подобными оскорблениями, наносимыми ближним, если сумеют, словом, настоять на том, чтобы играли эту мерзость при дворе,—то не может ли герцог Домон, которому все это, несомненно, доставит огорчение, отложить представление «Семирамиды»? И даже нельзя ли вам просто убедить г-жу Дюмениль[9], что ей надо потребовать от ее сотоварищей длительной отсрочки, ввиду необходимости заново разучить сто стихов, только-что подвергшихся исправлению? Переустройство театра в Фонтенбло ведь тоже может явиться поводом для отсрочки. Нельзя ли будет затянуть эту отсрочку до самого последнего дня, а в крайнем случае, вовсе не играть пьесы? Ведь тогда и пародии нельзя будет ставить... А этим временем мы воспользуемся, не только предпринимая новые шаги, но и для новых исправлений к зимней постановке. Тогда пьеса оказалась бы значительно обновленной, Слодсы же, которым так хочется восстановить свою честь исправлением декораций, придали бы нашей ветоши совершенно новый вид и новую ценность: мы достигли бы полного триумфа, а в это же время «Катилина», быть может...

Сообщите, считаете ли вы уместным, чтобы, в связи с этим, я обратился с письмом к герцогу Домону? Как владеете вы моим сердцем, так владейте и головой моей и рукой!

[1] Закончено 12 октября. Издавалось с пропусками, в том виде, в каком находим его в изд. Moland (№ 1916, XXXVI, 534 сл.). Датируется 1748 г. по связи со всеми предыдущими письмами, начиная с XLV.

[2] Поправки к тексту трагедии «Семирамида».

[3] Этот «мемуар» касался постановки пародии Монтиньи на трагедию Вольтера «Sémiramis» труппой Итальянской оперы. Вольтер добивался того, чтобы актеры Французской комедии возбудили ходатайство о запрещении этой постановки. См. ниже, прим. 10 к письму LVII.

[4] См. прим. 4 к письму XXXVII.

[5] См. прим. 4 к письму LIV.

[6] Намек на провал трагедии Расина «Федра», вызванный интригой нескольких представителей французской знати; освистывая Расина, они надеялись обеспечить успех подготовлявшейся к постановке одноименной трагедии второразрядного драматурга Прадона.

[7] Действие трагедии «Семирамида» происходит в Вавилоне.

[8] При дворе в Фонтенбло готовилась постановка «Sémiramis» (состоялась 24 октября 1748 г.).

[9] Г-жа Dumesnil (см. прим. 2 к письму XX) в трагедии «Семирамида» исполняла главную роль.

LVI

В. 135

Коммерси, 14 октября [1748 г.][1]

Дражайший ангел мой, следовало бы мне удручить вас новыми поправками к «Семирамиде». Несколько поправок мной уже и сделано, но я ими не вполне удовлетворен. К тому же они, на мой взгляд, не так существенны, как те, что я делал по вашему совету и уже послал вам на рассмотрение. И вот взамен изменений текста, настолько обильных, что они сейчас могли бы утомить актеров, но которые все же пригодятся для новой постановки[2], я посылаю вам новый свой мемуар, который, думается, актерам следовало бы пустить в ход[3]. В борьбе с таким вредным обычаем, как обычай прибегать к пародиям, необходимо использовать все пути. Личное

мое положение не таково, чтобы мое участие сколько-нибудь значительно и в выгодную сторону отозвалось на успешности предпринимаемых нами шагов. Из письма, которое я доверительно вам посылаю, вы увидите, что делались попытки повредить мне во мнении королевы[4]. Не трудно представить себе, что с тем же ожесточением, с каким стараются очернить меня в ее глазах, будут со всех сторон нападать на меня.

Этот ответ г-ну аббату де Берни я счел необходимым писать на глазах у польского короля[5], дабы рассеять существующие до сих пор подозрения. Как мне кажется, это шаг достаточно прямой. Я жду от него такого же благородства и надеюсь, он не употребит во зло доверие, мной к нему проявленное. Будьте же добры, дорогой и уважаемый друг, передать ему это мое письмо, поставить ему на вид, как велико мое доверие к его дружбе, к его чувству справедливости и к его скромности.

Очень досадно было бы мне прослыть автором романа «Задиг»[6], который стараются очернить самыми гнусными истолкованиями, осмеливаясь находить в нем дерзкое учение, направленное против священной нашей религии... Как это похоже на правду!

Г-жа Кино[7], Кино из Комедии, все время твердит, что я автор этой вещи. Не находя в ней ничего худого, она говорит, вовсе не желая мне повредить, но это на-руку мошенникам, нарочито усматривающим злонамеренность в этом произведении. Не прострутся ли крылья ангелов-хранителей даже над кончиком язычка г-жи Кино? И не скажете ли вы ей, или не велите ли ей передать, что распространение таких слухов может очень вредно на мне отозваться? Направо и налево приходится вам оборонять меня! Много доставляю я вам затруднений... Я уверен, что вы близко к сердцу принимаете и эту гнусную историю с пародией, уверен и в том, что победа будет за вами!

Быть не может, чтобы не справился с этим герцог Домон, если сколько-нибудь определенно того захочет. А вы, наверное, сумеете убедить и раззадорить его. От вас и ваших друзей я жду в тысячу раз больше, чем от всего, что сам мог бы сделать в Фонтенбло. Мое присутствие, как я уже не раз вам говорил, только подогреет завистников: они, конечно, предпочтут наносить мне раны с близкого расстояния, чем издалека. Когда люди разнуздаются, лучше всего держаться от них в стороне.

Я увижусь с вами еще до рождества, дорогие мои любители ужинов и потребители молока. Сохраняйте ко мне драгоценную вашу дружбу, утешающую во всех горестях и усиливающую все радости!

В.

Надеюсь, вы убедите аббата Берни написать в решительном тоне г-же де Помпадур.

[1] Отрывки этого письма вошли в письмо № 1915 изд. Moland (XXXVI, 532—534). Датируется 1748 г. по связи с предыдущими письмами (XLV—LV).

[2] В исправленном виде «Семирамида» шла в Париже 10 марта 1749 г.

[3] См. прим. 3 к письму LV.

[4] Т. е. жены Людовика XV, дочери Станислава Лещинского; она отказала в своем покровительстве Вольтеру, являвшемуся в ее глазах крайним вольнодумцем в вопросах религии.

[5] Т. е. Станислава Лещинского.

[6] См. прим. 6 к письму LII.

[7] См. прим. 2 к письму XIX.

LVII

В. 136

17 октября [1748 г.], Мальгранж[1]

Когда говорят мои ангелы, автор «Семирамиды» должен молчать. Дорогой и прекрасный друг, я получил ваше письмо от 14-го, где вы осуждаете мои слишком наскоро написанные стихи[2]. Это отнюдь не законченное произведение, а скорее лишь дань уважения к вашей критике, лишь упражнения в послушании вам... Прошу вас видеть во всем этом только материал, которым можно впоследствии воспользоваться. Вы любите стихи? Поговорим же о стихах и обсудим их. Мне совершенно не нравится, что Арсас в первом действии говорит:

Le plus tendre amour et le plus noble orgueil
Me préparent peut-être un redoutable écueil.
Né fier, ambitieux, sensible, téméraire,
J'attendais des conseils de Phradate mon père[3] и т. д.

Я считаю эти стихи слабыми, считаю, что гораздо лучше дать почувствовать в Арсасе любовь и надменность, чем вкладывать в его уста слова вроде «я горд и влюблен». Я вижу гораздо больше правды и искусства там, где действующие лица обнаруживают свои чувства, а не дают самим себе какие-то определения.

Исходя из этого принципа, надо признать, что несравненно лучше будут такие стихи:

Privé du seul mortel dont les yeux éclairés
Auraient conduit mes pas à la cour égarés,
Pleurant entre vos bras la perte de mon père,
En proie aux passions d'un âge téméraire,
A mes vœux orgueilleux sans guide abandonné,
De quels écueils nouveaux je marche environné![4].

Во втором действии характер Семирамиды, с ее самоуничижением перед богами и вечной гордыней перед людьми, мне кажется, лучше будет выдержан, если она скажет Ассуру следующее:

J'ai gouverné l'Asie, et peut-être avec gloire,
Peut-être Babylone, honorant ma mémoire,
Mettra Sémiramis à côté des grands rois.
Vos mains de mon empire ont soutenu le poids.
Toujours victorieuse, absolue, adorée,
De l'encens des humains je vivais enivrée,
Tranquille, j'oubliais, sans crainte et sans ennuis,
Quel degré m'éleva dans le rang ou je suis,
Des dieux dans mon bonheur j'oubliais la justice.
Elle parle, je cède etc.[5].

Вот какой я себе представляю эту блистательную и богомольную особу!

Вы хотите, чтобы в том же акте Ассур посильнее чувствовал получаемые им щелчки. Не будет ли уместно, в этих видах, в конце его сцены с Арсаком заставить его обратиться к последнему с такими словами:

Tu mourras, téméraire, et tu cours à ta perte![6].

Может статься, будет не плохо, если затем, раскрывая свои намерения по отношению к Аземе, он скажет так:

ПЕРВОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ ВОЛЬТЕРА НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Перевод И. Г. Рахманинова. Последующие томы издания вышли с заголовком „Собрание сочинений Вольтера“, СПБ. 1785—1789

АЛЛЕГОРИЧЕСКІЕ

ФИЛОСОФИЧЕСКІЕ и КРИТИЧЕСКІЕ

сочиненія.

Г. ВОЛТЕРА,

переведены

съ Французскаго языка

И... Р...

Печатано съ дозволенія Управы Благочинія.

Въ вольной типографіи у Г. Галченкова.

Въ Санктпетербургѣ 1784 года.

Madame, son audace est trop longtemps soufferte,
La reine en d'autres temps aurait puni soudain
Un sujet insolent qui vous offre sa main.
Mais les temps sont changés, bientôt l'Asie entière
Ouvrira sous vos pas une vaste carrière,
Et les communs objets doivent peu vous frapper
Près du grand interêt qui va nous occuper.
Sémiramis n'est plus que l'ombre d'elle-même.
Le ciel semble abaisser cette grandeur suprême,
Et cet astre brillant si longtemps respecté
Penche vers son déclin sans force et sans clarté.
On le voit, on murmure, et déjà Babylone
Demande à haute voix un héritier du trône.
Ce mot en dit assez etc.[7].

Не будет ли выполнена ваша мысль насчет начала пятого действия, если я напишу:

Otane

Le peuple est consterné, mais il vous est soumis,
Les partis sont tombés devant Sémiramis,
Son nom seul à la terre est un frein respectable.
Son trône est affermi.

Sémiramis

Trône horrible et coupable!
Quels déserts cacheront ma honte et mon effroi?

L'Univers m'épouvante, il a les yeux sur moi.
Qu'ai-je fait, et qui suis-je? Une femme odieuse,
Epouse parricide et mère incestueuse![8].

Ошибаюсь я или здесь, действительно, в тысячу раз больше страстности, чувства и трагизма, нежели было прежде? А к тому же—и это очень существенный пункт—все здесь лучше приноровлено к декламации. Тысяча поправок, внесенных таким образом, не придадут ли вашей подопечной новую ценность, не поднимут ли вновь настроение у публики, не заставят ли умолкнуть клику заговорщиков, которые могут выпутаться, заявляя, что теперь их возражения приняты во внимание?

Соглашаюсь с вами, господа члены совета, что нельзя медлить по части Фонтенбло, коль скоро там собираются ставить «Семирамиду» 24-го[9]. Но, с другой стороны, если допустить возможность отсрочки, разве не хорошо было бы дать пьесу в усовершенствованном виде, пригласив актеров заняться теми исправлениями, которые удостоились вашего одобрения? Решайте вы, как полный хозяин дела. Г-жа Дю Шатле шлет вам тысячу сердечных пожеланий. А я поджидаю варенья из слив—это ведь поинтереснее «Семирамиды».

Кстати, уважаемый друг, скажите мне, довольны ли вы моим поступком по отношению к аббату де Берни?[10]. Не составил ли он для вручения г-же де Помпадур[11] блестящей адвокатской речи против пародий? Нашли ли вы применение тем мемуарам, которыми я вас до смерти измучил? Простите мне и стихи мои, и мемуары, и вообще всю эту томительную докуку!

Привет мой всем ангелам-хранителям.

В.

Видите, как кочует этот двор?[12]. Продолжайте все же посылать мне ваши распоряжения в адрес лотарингского двора.

[1] Отдельные фразы этого письма вместе с отрывками из следующего (LVIII) составили в изд. Moland текст письма № 1920 (XXXVI, 538), печатавшийся без изменений со времени Кельского издания. Датируем письмо 1748 г. по связи с рядом предшествующих писем.

[2] Упоминаемое здесь письмо Даржанталя (от 14 октября 1748 г.) до нас не дошло. В начале публикуемого письма речь идет об исправлении текста «Семирамиды», в виду новой ее постановки.

[3] «Любовь самая нежная, благороднейшая гордость, быть может, грозят мне гибельными подводными камнями. Рожденный гордым, честолюбивым, чувствительным, дерзновенным, я ждал советов от отца своего, Фрадата...»—неизвестный до сих пор вариант.

[4] «Лишенный единственного из смертных, чьи просвещенные взгляды могли бы направлять мои шаги, сбитые с пути нравами двора, оплакивая в ваших объятиях утрату отца; жертва страстей, присущих на все дерзающему возрасту; лишенный руководителя и предоставленный своим заносчивым мечтаниям,—меж каких неведомых подводных камней я бреду!»—неизвестный до сих пор вариант к 1 явл. I д. «Семирамиды». Ср. Moland, IV, 509, стихи 24 сл.

[5] «Я правила Азией и, быть может, со славой. Быть может, Вавилон будет чтить мою память и поставит Семирамиду в ряд великих владык. Вы собственными руками поддерживали мою власть... Вечная победительница, обожаемая самодержица, я жила в опьянении от расточаемой мне хвалы; спокойная, не ведая ни горестей, ни страха, я забывала, по каким ступеням поднялась на высоту, на которой стою. Я забыла в своем счастье, что боги справедливы. Я слышу их голос, я склоняюсь...» и т. д.— «Семирамида», д. II, явл. 1, стих 3 сл. (Moland, IV, 529).

[6] «Дерзкий, ты умрешь! Ты торопишь свою гибель!»—неизвестный до сих пор вариант к последнему стиху д. II, явл. 2 «Семирамиды». Ср. Moland, IV, 524.

[7] «Государыня! Слишком долго потворствуют его заносчивости... В былое время царица не медлила бы покарать дерзость подданного, который предложил вам свою

руку. Но времена изменились. Скоро вся Азия развернет перед вами широкое поприще. И перед лицом великих забот, которым должны мы отдаться, вам не до будничных дел. Семирамида стала лишь собственной тенью. Словно хотят небеса умалить безмерное это величие. И так долго чтимое блестящее светило, обессилев, меркнет и склоняется к закату. Это видят и ропщут, и уже Вавилон требует громко наследника престолу. Одним этим словом уж сказано не мало» и т. д.—неизвестный до сих пор вариант к начальным стихам 5 явл. III д. «Семирамиды». Ср. Moland, IV, 524.

[8] «Отан: Народ в унынии, но вам покорен. Перед Семирамидой пали все партии, только ее имя согласен мир почитать своею уздой. Престол ее окреп.

Семирамида: Преступен и ужасен этот престол! В каких пустынях скрыть мне позор свой и страх? Мне страшен этот мир, на меня устремлены его взоры. Что содеяно мной и кто я? Лишь ненависти достойная женщина, жена-мужеубийца, мать-кровосмесительница!..»—неизвестный до сих пор вариант к 1 явл. V д. «Семирамиды». Ср. Moland, IV,557.

[9] «Семирамида», действительно, была поставлена на придворной сцене 24 октября 1748 г.

[10] Ввиду того, что в Париже и в Фонтенбло собирались ставить пародию Монтиньи на трагедию Вольтера «Семирамида», Вольтер прибег к аббату Берни, лицу близкому к маркизе Помпадур, прося его ходатайствовать о запрещении постановки пародии и ее печатания. Вмешательство фаворитки расстроило постановку пародии на сцене, но напечатана она была под заглавием: «Sémiramis, tragédie en cinq actes. Amsterdam, chez P. Mortiez, 1749». См. Moland, IV, 485 сл., прим. 3, пункт IX, а также Querard, Bibliographie Voltairienne, P. [1842], стр. 40, прим. к № 130, и стр. 115, прим. к № 483.

[11] Pompadour Жанна-Антуанетта Poisson, маркиза де (1721—1764)—фаворитка Людовика XV; покровительствовала писателям, художникам, ученым.

[12] О «кочеваниях» лотарингского двора по резиденциям Станислава Лещинского свидетельствуют пометки «Luneville», «Malgrange», «Commercy», сменяющие одна другую в датировках писем Вольтера, начиная с письма XLV до настоящего.

LVIII

B. 137

19 октября 1748 г.[1], Люневиль

Я только-что получил от г-на помощника епископа прекрасный мемуар[2], поддержанный запиской г-на Даржанталя. В настоящую минуту могу ответить на это лишь изъявлением чувствительнейшей благодарности. Я всеми силами, конечно, постараюсь заслужить эти одолжения—столь постоянные, столь сердечные и так подымающие дух мой.

Из Мальгранжа я с последней почтой послал вам еще несколько лоскутков. Но признаем все это несостоявшимся и подождем, пока я, поработав со свежей головой, приеду в Париж работать у вас на глазах—в средних числах декабря[3]. Самая трудная работа превращается в наслаждение для того, кто может пользоваться критикой друзей столь нежных и просвещенных.

Я напишу г. герцогу Домону, а затем займусь, не отрываясь, «Семирамидой».

Убедительно прошу доставить по экземпляру мемуара г-ну де Морепа и г-ну Беррие[4]—по такому же, какие предназначены для передачи камергерам. Хорошо бы напомнить об этом актерам, ибо они, хотя и любят своих [друзей?], но редко о них думают, и ими приходится руководить. Мне совестно причинять столько хлопот. Нет, никогда не было на свете людей таких, как вы; но, право же, и таких, кто так бы чувствовал это, как я чувствую.

Адрес: Г-ну Даржанталю,
почетному советнику парламента
Улица St. Honoré, в Париже

[1] См. прим. 1 к письму LVII.

[2] В «мемуаре» аббата Шовелена, как и в других «мемуарах», упоминаемых в публикуемом письме, речь шла о пародии на трагедию «Семирамида». Вольтер добивался запрещения постановки и печатания этой пародии.

[3] Покинув Лотарингию в середине декабря 1748 г., Вольтер поехал не в Париж, а в Сире, где пробыл до конца января 1749 г.; в Париж он прибыл только к февралю или в феврале 1749 г.

[4] См. прим. 6 к письму LIII.

LIX

B. 141

10 ноября [1748 г.][1]

У чорта на куличках очутились, что ли, мои ангелы? Что в таком случае со мной станется? Ничего я о них не знаю... Сейчас три часа пополуночи. Я продолжаю достраивать «Семирамиду». Поправки я вношу всюду, где сердце подскажет: Spiritus flat ubi vult[2]. К несчастию, я совершенно запамятовал несколько изменений, ранее мною сделанных и, насколько помню, уже вам посланных.

Например, в 4-м акте такое место:

Il parle, il vous attend. Ninus est votre père,
Vous êtes Ninias; la reine est votre mère[3].

Прошу милых моих ангелов послать мне этот отрывочек, если он только есть у них. Я приготовлю второй список. Безусловно необходимо отдать пьесу в переписку также и по ролям. Благоволите же, дорогой и уважаемый друг, предложить г-же Дюмениль истребовать все такие списки и вернуть их вам вместе с пьесой.

Возобновлена пьеса будет, конечно, лишь, когда вы этого пожелаете. Насчет пародии ничего нового не знаю. Жду сообщений о моем варенье из слив, а от г-жи Кино—насчет зоба[5]. Я отправил огромные пакеты—очень перед вами извиняюсь. Я иссохну, если вы не будете мне писать.

В.

Адрес: Г-ну Даржанталю, почетному советнику парламента Улица St. Honoré, Париж

Почтовая пометка: Lunev[ille]

[1] Первые строки этого письма встречаются в двух печатных текстах: 1) Moland № 1927 (XXXVI, 546), восходящем к Кельскому изданию, LIV, № CX, и 2) Moland № 1931 (XXXVI, 551), восходящем к изд. «Lettres inédites de Voltaire, recueillies par M. de Cayrol et annotées par M. Alphonse François», P., 1857, 2-e éd. (t. I, p. 175). Отрывок, начинающийся словами: «К несчастью, я совершенно запамятовал...» встречается только во втором из названных текстов. Начиная со слов: «Например, в 4 акте такое место...», письмо печатается впервые. Датируется по связи с предыдущими письмами.

[2] «Дух веет где хочет»—евангельское изречение.

[3] «Он говорит, он ждет вас. Нин—ваш отец, вы—Ниниас; царица—ваша родительница»—«Семирамида», д. IV, явл. 2 (Moland, IV, 549).

[4] См. прим. к письму V и прим. 2 к письму XX.

[5] В письме к Даржанталю (от 7 ноября 1748 г.) Вольтер просил его узнать у актрисы Comédie Française Кино рецепт для лечения зоба.

LX

B. 112

[9 декабря 1748 г., Мальгранж][1]

Ангелы небесные! Г-жа Дю Шатле, оказывается, забыла, что я уже поздравлял ее от вашего имени с этим новым назначением[2]. Лично я поздравлений не делал, ибо должность эта—лишь видимость. В ней одно хорошо—

оклад, а затем—и это, пожалуй, еще важнее—она дает счастье общения с королем, который, право же, даже вам не уступит по части привлекательности. Мы уезжаем[3]. Я покидаю одно небо, чтобы попасть на другое: я еду к вам! У него в подданстве я не был, а в вашем состою... Отцу де Латуру[4] поручено переслать вам «Семирамиду». Но за это время я получил новое ее издание[5]. Пусть же хоть оно окажется таким, какое достойно вас!

Прощайте, обаятельные создания.

В.

Сего 9-го в Мальгранже.

Адрес: Г-ну Даржанталю, почетному советнику парламента, в Париже

Почтовая пометка: de Nancy

[1] Отрывок этого письма был впервые напечатан в I томе издания Cayrol et François—в тексте письма № 180: к этому отрывку там присоединены отрывки письма LXII нашей публикации. Письмо № 180 изд. Cayrol без изменений вошло и в изд. Moland (XXXVI, 554, № 1935). Публикуемое нами письмо датируется декабрем 1748 г. в соответствии с предыдущими письмами, начиная с XLV.

[2] В ноябре 1748 г. Станислав Лещинский назначил маркиза Дю Шатле, генерал-лейтенанта французской армии (мужа г-жи Дю Шатле), гоффурьером (grand maréchal des logis de la maison du roi). С этой должностью не связывалось ни обязанностей со стороны гоффурьера, ни вознаграждения ему от короля Станислава, но так как это назначение считалось честью, то с ним принято было поздравлять и самого назначенного гоффурьера и его жену.

[3] Вольтер с г-жей Дю Шатле оставили двор Станислава Лещинского около 20 декабря 1748 г.

[4] La Tour Симон (1697—1766) — иезуит, начальник («principal») коллежа Людовика Великого, где учился Вольтер. Стремясь попасть в члены Французской академии, Вольтер в 1746 г. в письме к Латуру расточал хвалы папе и заверял в своем уважении к ордену иезуитов (Moland, XXXVI, 424, № 1797).

[5] «Новое издание»—новая редакция «Семирамиды», подготовленная Вольтером для новой постановки трагедии на парижской сцене. (Первые печатные издания «Семирамиды» вышли только в 1749 г., см. Bengesco, I, 45 и сл.).

LXI

В. 143

16 декабря 1748 г.[1], Люневиль

Наконец-то получил я письмо от своих ангелов и улыбаюсь: советы ваши уже выполнены, а вернее—даже предвосхищены!.. Всюду, где надо было, я дал объяснение вынужденной бездеятельности Ассура[2]. В четвертом действии сама Семирамида заявляет Ниниасу[2]:

Tout le parti d'Assur, frappé d'un saint respect,
Tombe à la voix des dieux et tremble à mon aspect[3].

А в пятом действии:

Le détestable Assur, sait-il ce qui se passe?
N'a-t-il rien attenté? Sait-il, quel est Arsace?[4].

А ей отвечают:

Non. Ce secret terrible est de tous ignoré,
De l'ombre de Ninus l'oracle est adoré:
Et le parti d'Assur que la terreur assiège,
N'ose encor lui prêter une main sacrilège.
On se tait, on attend ces moments solennels,
Où fermé si longtemps au reste des mortels

Ce tombeau doit ouvrir ses portes redoutables.
La terre, les enfers, les cieux sont favorables,
Cependant Azéma dans un trouble nouveau
Veille dans la nuit sombre autour de ce tombeau.
Ninias est au temple, et d'une âme éperdue
Se prépare à frapper la victime inconnue...[5].

Затем Семирамида, узнав от Аземы, что Ассур уже в гробнице, говорит:

Mes yeux ont épié ses pas et sa fureur.
Voyant ses vœux trompés, sa faction tremblante,
Votre choix confirmé, Babylone contente,
Il ne commet qu'à lui ce meurtre détesté[6].

Словом, я всюду подчеркнул причины, заставляющие Ассура откладывать свою месть. В подтверждение этого можно сослаться на тысячу примеров: на Антуана Наваррского, не одержавшего верх над Катериной Медичи[7], на принца Гастона[8], почти ничего не предпринявшего против Анны Австрийской, и т. д.

Что касается монолога Аземы, произносимого в момент, когда Ниниас находится в мавзолее, то он теперь таков:

Dieux, conduisez ses pas dans ce tombeau funeste!
Que voulez-vous? Quel sang doit aujourd'hui couler?
Impénétrables dieux, vous me faites trembler.
Je crains Assur, je crains cette main sanguinaire—
Il peut percer le fils sur la cendre du père!
Abîmes redoutés, dont Ninus est sorti,
Dans vos antres profonds que ce monstre englouti
Porte au sein des enfers la fureur qui le presse!
Cieux, tonnez, cieux, lancez la foudre vengeresse!
Ô son père, ô Ninus! quoi, tu n'as point permis
Qu'une épouse éplorée accompagnat ton fils,
Veille sur lui du moins dans ce lieu de ténèbres?
N'entends-je pas sa voix parmi des cris funèbres?
Je l'entends, c'est lui-même. Ah, qu'est-ce que je vois?!..[9].

Я наведу и еще кое-какие поправки. Изменения я внес во все роли и умоляю г. Даржанталя, в дополнение ко всем его любезностям, оказать мне еще и такую: распорядиться о возвращении мне как всех списков ролей, так и самой пьесы[10]; я же снова раздам их, но только по его распоряжению—когда ангелы мои признают пьесу удовлетворительной.

Я все еще жду руководящих указаний о том, следует ли мне обращаться к г-же де Помпадур с просьбой насчет пародии[11].

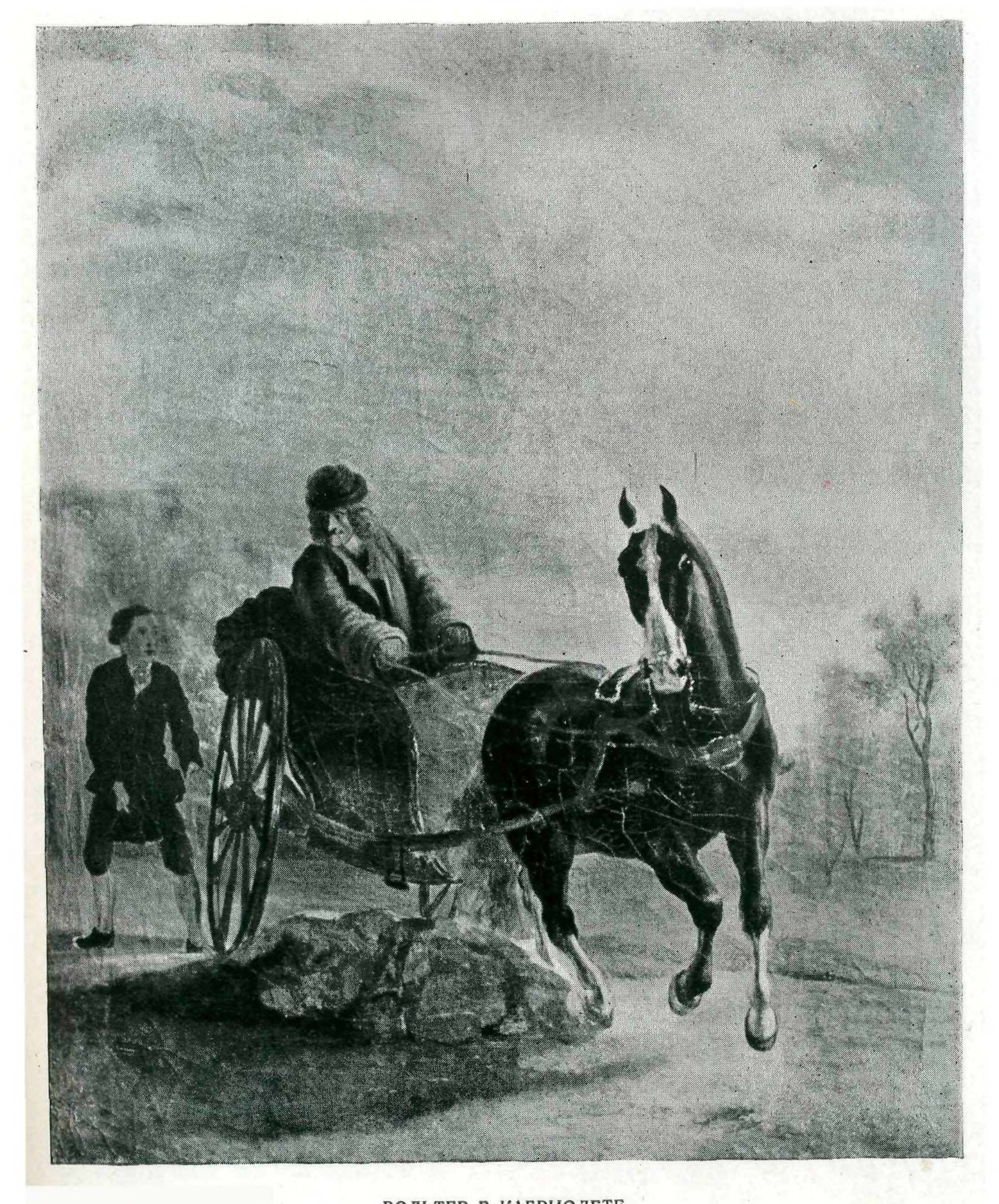
От г-жи Кино я жду рецепта для лечения зоба. Жду и варенья из слив. Жду, наконец, того дня, когда снова увижу своих ангелов. С особенной почтительностью лобызаю края их крыльев.

В.

Адрес: Г-ну Даржанталю,
почетному советнику парламента
Улица St. Honoré, в Париже

Почтовая пометка:
Lunev[ille]

[1] Первые три строки этого письма, кончая словами: «...я дал объяснение вынужденной бездеятельности Ассура», вошли в текст письма изд. Moland № 1933 (XXXVI, 533).



ВОЛЬТЕР В КАБРИОЛЕТЕ
Картина маслом Жана Гюбера, 1770—1775-е гг.
Эрмитаж, Ленинград

[2] Действующие лица в трагедии «Семирамида».

[3] «Все сторонники Ассура, в смирении перед святыней, заслышав голос богов, рассеялись и, меня завидя, трепещут»—«Семирамида», д. IV, явл. 4 (ср. Moland, IV, 552).

[4] «Знает ли ненавистный Ассур о том, что происходит? Не питает ли он какого-нибудь замысла? Знает ли он, каков этот Арсак?» — «Семирамида», вариант к д. V, явл. 1 (ср. Moland, IV, 558, стихи 1—2).

[5] «Нет. Об этой страшной тайне не знает никто. Оракул тени Нина все еще чтим. И приспешники Ассура, охваченные ужасом, не дерзают еще подать ему святотатствующую руку. Они молчат. Ждут тех торжественных мгновений, когда раскроются грозные двери гробницы, так долго ни для кого из смертных неприступные. Земля, ад и небо—все благоприятствует! Между тем, Азема, одержимая новыми страхами, во тьме ночной сторожит гробницу. Ниниас в храме. Трепещет его рука, которой предстоит сразить неведомую жертву...»—неизвестный до сих пор вариант к д. V, явл. 1 «Семирамиды» (ср. Moland, IV, 558, стихи 3 сл.).

[6] «Взоры мои следили за шагами его, видели его ярость, порожденную рухнувшими надеждами, страхом, обуявшим его сторонников, признанием вашего выбора, спокойствием удовлетворенного Вавилона. Он лишь себе во вред совершает это презренное преступление» — неизвестный до сих пор вариант к д. V, явл. 4 «Семирамиды» (ср. Moland, IV, 560, стих 3 сл.).

[7] Antoine de Bourbon (1518—1562)—король Наварры. В борьбе между католиками и гугенотами не решался занять определенной позиции и оказался игрушкой в руках Катерины Медичи (1519—1589).

[8] Gaston d'Orléans (1608—1660)—«Monsieur», т. е. брат Людовика XIII; в царствование последнего и в годы регентства матери Людовика XIV—Анны Австрийской был участником многих политических интриг, всецело подпав под влияние своей энергичной и властной невестки.

[9] «Направьте, о боги, стопы его к этой роковой могиле! Чего хотите вы? Чья кровь должна сегодня пролиться? Непостижимые боги, я трепещу пред вами! Боюсь Ассура, боюсь его длани, ищущей крови. Он готов пронзить сына над прахом отца... Страшная пропасть, покинутая Нином! Пусть чудовище это, поглощенное твоими глубинами, на самое дно ада несет ту ярость, что его толкает. Гремите, небеса! Низвергайте карающие громы! О, отец его! О, Нин! Как? Ты не позволил жене твоего сына, обливаясь слезами, за ним следовать, чтобы хотя бы в этом царстве мрака его оберегать? Не его ли голос доходил до меня среди зловещих криков? Я слышу его, это он» и т. д. — «Семирамида», д. V, явл. 5, монолог Аземы (ср. Moland, IV, 563).

[10] Вольтер просил взять у актеров Comédie Française прежний текст «Семирамиды», чтобы заменить его другим, заново переработанным.

[11] См. ниже, прим.[4] к письму LXIII.

LXII

В. 144

[24 декабря 1748 г., Сире][1]

Из Люневиля я очутился в Сире[2] и только после крещения[3] попаду к своим ангелам.

Полагаю, что они уже получили список «Семирамиды» от отца де Латура[4], но я привезу им и другой, который им доставит больше удовольствия. Поработать под их наблюдением я еще вполне успею, если, как мне говорят, «Катилину» действительно, ставят...[5].

Тот из ангелов, кто пожелал бы передать мне свои веления, может адресовать их в Сире через Васси,—они дойдут до меня еще во-время. Тысяча сердечных приветствий всему дому вашему, всем, кто там ужинает, всем, кто обедает!

В.

Сего 24 декабря.
Сире, через Васси.

Адрес: Г-ну Даржанталю,
почетному советнику парламента
Улица St. Honoré, в Париже

Почтовая пометка:
L'Aube

[1] Начало этого письма, кончая словами: «„Катилину“, действительно, ставят», впервые напечатано в I томе издания Cayrol et François, в тексте письма № 180, стр. 176 (см. выше, прим. 1 к письму LX). Датируется по связи с серией публикуемых нами писем Вольтера XLV—LXI.

[2] См. прим. 3 к письму LX.

[3] Буквально: «после дня [трех] царей» («après les Rois»), т. е. после 6 января.

[4] См. прим. 4 к письму LX.

[5] Первое представление трагедии Кребильона «Катилина» состоялось на сцене Comédie Française 20 декабря 1748 г.

LXIII

B. 113

11 января [1749 г.], Сире[1]

Получили ли мои ангелы небольшую кадочку варенья из Бара[2], которую им должны были доставить с лотарингской почтовой каретой? Я сам был бы рад к вам приехать с этим вареньем, но г-же Дю Шатле нужно закончить свои дела с арендатором, и «Семирамиде» приходится уступить первое место кузницам...[3]. Не понимаю, о каких-таких существенных вещах следует мне говорить с г-ном де Ришелье? Он сообщает нам, что раз навсегда покончил с пародиями[4]. По-моему, нет ничего более существенного с точки зрения хорошего вкуса. Мои ангелы ставят мне в упрек, что я не сообразовался с запиской г-жи Даржанталь. Но клянусь их крылами, что, ставя последние свои заплаты, я именно ей и следовал!

Что же касается предложения устранить от гробницы некоего Ассура[5], то признаюсь, я перепробовал все возможные для того способы и пришел к убеждению, что это невыполнимо...

Подвижную и жуткую игру в жмурки надо предпочесть правдоподобию, если оно холодное и действует расхолаживающе. Что было в моих человеческих силах, я сделал. А там, где доходишь до пределов своего дарования, приходится остановиться. Если зритель будет растроган всем остальным,— он скоро притерпится к этой игре в жмурки у гробницы.

У вас хватило смелости оставить этот рискованный вымысел в уже выпущенном издании. Надо держаться того же бесстрашия и теперь.

Что касается Слодсов, то им, конечно, придется давать указания. Через две недели мы, наверное, будем в Париже. Я успею все пересмотреть, исправить, придать пьесе надлежащий вид, набросать план обстановки. Поставить «Семирамиду» нам удастся не ранее первой недели поста. Никаких затруднений, следовательно, перед нами нет. А если бы театр оказался надолго занят разного рода «Катилинами»[6] и слезными комедиями, то и задержка до пасхи большого ущерба не принесет. Чего я жду с самым большим нетерпением, так это—свидания с моими ангелами, которые мне дороже «Семирамиды», к которым я привязан так сердечно.

Самые сердечные поклоны шлет им и г-жа Дю Шатле. Она только-что закончила предисловие к своему Ньютону[7]. Это шедевр. В Академии наук не найдется никого, кто сумел бы дать что-нибудь лучшее. Ее работа делает честь женскому полу и Франции. Я в искренном восторге от нее. Valete angeli[8].

Адрес: Г-ну Даржанталю,
почетному советнику парламента
Улица St. Honoré, в Париже

Почтовая пометка:
Vuassy

[1] По традиции, идущей от Кельского издания, вошло частями в письмо по изд. Moland № 1943 (XXXVI, 561), составленное из отрывков настоящего письма и следующего, здесь публикуемого (LXIV). Датируется 1749 г. по связи с предыдущими письмами.

[2] Т. е. из Bar le Duc (в нын. департаменте Meuse).

[3] Вольтер и маркиза Дю Шатле оставили двор Станислава Лещинского около 20 декабря 1748 г. и 24 декабря прибыли в Сире, где маркизе предстояло заняться хозяйственными делами.

[4] Пародия Монтиньи на «Семирамиду» на сцене не появилась, благодаря ходатайству Вольтера перед аббатом Берни и герцогом Ришелье, добившимися вмешательства в это дело маркизы Помпадур.

[5] Имеется в виду сцена из V акта «Семирамиды».

[6] В новой редакции «Семирамида» появилась на сцене Comédie Française 10 марта 1749 г. «Разного рода Катилины»—ирония по адресу трагедии Кребильона «Катилина».

[7] Вольтер говорит о предисловии г-жи Дю Шатле к ее переводу трактата Ньютона «Principia mathematica philosophiae naturalis». Ее работа появилась в печати лишь в 1756 г., т. е. после смерти автора. (См. написанное Вольтером похвальное слово г-же Дю Шатле: «Eloge historique de madame la marquise du Châtelet»—Moland, XXIII, 515).

[8] «Прощайте, ангелы!»

LXIV

B. 118

[21 января 1749], Сире[1]

О ангелы! Я бы предпочел сам броситься в эту могилу, не заставляя Ассура кружиться около нее, не вызывая плохих советов, не подправляя—и притом неудачно—сцену заговора, не выводя Ассура в цепях, не предотвращая катастрофу распылением ее на мелкие подробности, в большинстве случаев—искусственные, нисколько не интересные, передача которых выйдет в высшей степени скучной...[2].

Речь об остальном отлагаю до той блаженной минуты, когда вознесусь

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ всѣхъ до нынѣ переведенныхъ на Россійской языкъ, и въ печать изданныхъ СОЧИНЕНІЙ Г. ВОЛТЕРА

Второе изданіе

Съ поправленіемъ противъ прежнихъ и съ присовокупленіемъ жизни сего знаменитаго писателя, и многихъ вновь переведенныхъ его сочиненій, кои никогда еще изданы не были.

ЧАСТЬ I.

Собрано и издано И Р

Печатано съ Указнаго дозволенія

Въ городѣ Козловѣ 1791 года.

ВТОРОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ ВОЛЬТЕРА НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Напечатано И. Г. Рахманиновым в собственной типографии в селе Казинке Тамбовской губ.

По приказу Екатерины II издание подлежало конфискации

Музей книги, Москва

к вашим небесам. Посмотрите пьесу в теперешнем ее виде и решайте. Ваша власть над ней должна быть неограниченной. Я писал г-ну Ришелье[3] о необходимости отказаться от роковой мысли ставить «Семирамиду» в Версале. Недоумеваю, что это за дело, успех которого зависит от г-жи де ла Поплиньер. Не знаю за ней никаких дел, кроме того, в котором ваша тетушка была доверенным лицом[4]. Что касается Слодсов, то лучше поговорить с ними 1 февраля, чем посылать им чертежи. А что вас касается, мои ангелы, то я желал бы уже быть у ваших ног.

В.

Сире, 21-го.

Адрес: Г-ну Даржанталю,
почетному советнику парламента
Улица St. Honoré, в Париже

Почтовая пометка:
Vuassy

[1] См. прим. 1 к предыдущему письму.
[2] Речь идет об исправлении текста «Семирамиды».
[3] О Ришелье см. прим. 3 к письму XXXVI.
[4] M-me de la Popelinière—жена откупщика. Ее брак был устроен теткой Даржанталя, г-жей де Тенсен. О последней см. во вступительной статье, стр. 50.

LXV

В. 150

[Начало января 1750 г., Версаль][1]

Вы должны знать, ангелы мои, что в Версале создание ваше прихворнуло. Но что вы скажете на то, что г-жа Дени[2], узнавши об этом не понимаю каким образом, тотчас поехала ко мне в сиделки? Вернуться мы можем только завтра, в пятницу. Очень желал бы, чтобы «Орест»[3] чувствовал себя лучше, чем я. Вы, конечно, поймете, что я совершенно не мог работать, даже над «Катилиной»[4]...

До завтра же, ангелы мои небесные!

Умоляю вас обеспечить мне услугу со стороны герцога Домона. В воскресенье «Ореста» репетируют.

Я хочу жить ради удовольствия отомстить за «Софокла»[5], но больше всего, чтобы служить вам и никому другому, здесь я—только на покое, в отставке.

В.

Четверг.

Адрес: Г-ну Даржанталю,
почетному советнику парламента
Улица St. Honoré, против церкви св. Роха, в Париже
Уплатить 6 су подателю

[1] Письмо это произвольно соединяли с письмом LXVI и относили к январю 1750 г.—Moland № 2045 (XXXVII, 91). Отсюда возникала трудность согласовать его по содержанию с несомненно мартовским письмом Вольтера к Даржансону—Moland № 2069 (XXXVII, 111-112 и сноска № 3), в котором Вольтер подчеркивал, что за последние месяцы не бывал при версальском дворе. На подлиннике имеется пометка рукой Даржанталя: «mars 1750». Но доверять точности пометок Даржанталя нельзя. Указание на предстоящую репетицию «Ореста» (см. прим. 3) заставляет датировать письмо началом января.

[2] Denis Луиза, рожд. Mignot—племянница Вольтера, проведшая с ним все годы его жизни в Ферне; по смерти его наследовала его имущество и, в частности, литературное право на его переписку (см. вводную статью).

[3] «Oreste»—трагедия Вольтера, написанная им в течение 1749 г. и посвященная герцогине Мэнской. Впервые поставлена на сцене 12 января 1750 г.

[4] «Catilina», иначе «Rome sauvée»—трагедия Вольтера; он работал над ней одновременно с работой над трагедией «Oreste».

[5] «Удовольствие отомстить за Софокла» состояло в посрамлении Кребильона: и «Катилина» и «Орест» Вольтера были созданы в прямом расчете на то, чтобы показать, как слабо использованы эти сюжеты в одноименных трагедиях Кребильона. Яркий след этого этапа борьбы Вольтера с литературным методом Кребильона сохранен в виде маргиналий Вольтера на принадлежавшем ему экземпляре трагедий Кребильона в издании 1750 г. Œuvres de M. de Crébillon (Paris, Imprimérie Royale, 1750), хранящемся в составе библиотеки Вольтера в ленинградской Публичной библиотеке.

LXVI

B. 151

[Январь 1750 г., Париж][1]

Где нет воплей Клитемнестры[2], там нет истинной трагедии об Оресте[3]. Это греческое блюдо, быть может, тяжело для желудков парижских петиметров—я вполне готов признать, что их и не следует угощать им.

Чтобы Клитемнестра бросила мужа, урну, убийцу и пошла к себе дуться—это, на мой взгляд, совершенно нестерпимо! Готов признать коекакие длинноты в сцене между сестрами[4], особенно, когда разговаривают так, как Госсен. Тут необходимы сокращения. Труднейшей задачей является злосчастное общее место—с неистовствами. Его я полностью представляю вашему суду, дивный ангел. Со всех маленьких поправок, мной внесенных, делаются списки. Совершенно верно, что я недостаточно развил сцену с урной. В чтении чувствуется ее скомканность: все действующие лица как будто спешат куда-то...[5].

Завтра сообщу г-же Гишар, что для нее есть ложа на понедельник.

Мне надо переговорить с вами о множестве вещей. Вчера мне было очень весело смотреть на г-жу Даржанталь, как она кушала свой молочный суп.

Нежно обнимаю вас, дорогой и уважаемый друг.

В.

На обороте: Г-ну Даржанталю

[1] См. прим. 1 к предыдущему письму.

[2] Мать Ореста, действующее лицо трагедии «Орест».

[3] См. прим. 3 к письму LXVI.

[4] Сестры—Электра и Ифиза—действующие лица трагедии «Орест». Г-жа Госсен играла роль Ифизы.

[5] После этих слов в текст письма Moland № 2045 вставлена фраза: «Mais vous verrez les petites corrections que j'ai faite»,—отсутствующая в оригиналах как настоящего письма, так и письма XV (второго компонента письма Moland № 2045).

LXVII

[?][1]

B. 101

Я провел такую жестокую ночь, мне так плохо сегодня, что тело мое отказывается добраться до тех, кто владеет моей душой. Очень бы хотелось очутиться у г-жи Даржанталь. Но я слишком плохо себя чувствую. Жду к себе судей и властителей своих.

На обороте: Г-ну ангелу моему

[1] Печатается впервые. Данных для датировки этой записки не имеется.

ТАБЛИЦА *А*

ОБЗОР СОСТАВА СБОРНИКА ИНСТИТУТА ИСТОРИИ АН СССР С УКАЗАНИЕМ ГОДА НАПИСАНИЯ И СООТВЕТСТВУЮЩЕГО НОМЕРА ПО ИЗДАНИЮ MOLAND*

1	1738— 903	*30*	1740—1235	*60*	1744—1496	*90*	1743—1589	*120*	1748—1889	*150*	1750—2080
2	1740— —	*31*	1739—1013	*61*	1742—1494	*91*	1742—1636	*121*	„ —1896	*151*	„ —2045
3	1738— 985	*32*	1738— 977	*62*	1743— —	*92*	„ —1523	*122*	„ — —	*152*	„ —2099
4	1734— 436	*33*	1739— —	*63*	1739—1037	*93*	1743—1604	*123*	„ — —	*153*	„ —2104
5	1736— 599	*34*	1741—1394	*64*	„ —1027	*94*	1741—1636	*124*	„ —1904	*154*	„ —2107
6	1734— 429	*35*	„ —1402	*65*	1737— 723	*95*	„ —1418	*125*	„ —1901	*155*	„ —2111
7	„ — 409	*36*	„ —1413 и 1412	*66*	1741—1410	*96*	1744—1646	*126*	„ —1904	*156*	„ —2113
8	„ — 404	*37*	1739—1121	*67*	1739—1040	*97*	„ —1665	*127*	„ —1908	*157*	„ —2117
9	1736— 701	*38*	1741—1428	*68*	„ — —	*98*	„ —1669	*128*	„ — „	*158*	„ —2120
10	„ — 450	*39*	„ —1448	*69*	„ —1087	*99*	1745—1765	*129*	„ — —	*159*	„ —2124
11	„ — 548	*40*	1740—1282	*70*	1745—1564	*100*	1743—1703	*130*	„ — —	*160*	„ —2128
12	1734— 447	*41*	1739—1013	*71*	1743—1567	*101*	? — —	*131*	„ —1912	*161*	„ —2135
13	1737— 712	*42*	1740—1300	*72*	1744— —	*102*	1743—1560	*132*	„ —1913	*162*	„ —2139
14	1736— 567	*43*	1739—1062	*73*	1739—1040 и 1069	*103*	„ —1563	*133*	„ —1915 и 1916	*163*	„ —2146
15	„ — 456	*44*	1741 -1470	*74*	„ —1070	*104*	„ — „ и 1694	*134*	„ —1916	*164*	„ —2152
16	1737— 785	*45*	1740—1315	*75*	1745—1598	*105*	1744—1685	*135*	„ —1915	*165*	„ —2159
17	1736— 691	*46*	1739—1040	*76*	„ —1423	*106*	1745—1780	*136*	„ —1920	*166*	1751—2173
18	1740—1251	*47*	1745—1765	*77*	„ —1582	*107*	„ — „	*137*	„ — „	*167*	„ —2181
19	1739—1216	*48*	1742—1486	*78*	1744—1675	*108*	1744—1674	*138*	„ —1921	*168*	„ —2219
20	1740—1259	*49*	1741—1405	*79*	1739—1040	*109*	„ — —	*139*	„ —1924	*169*	„ —2225
21	1738— 857	*50*	1740— —	*80*	„ —1069	*110*	1747— —	*140*	„ —1927	*170*	„ —2229
22	„ — 864	*51*	„ —1236	*81*	1739— —	*111*	1743—1560	*141*	„ —1931	*171*	„ —2250
23	„ — 863	*52*	„ —1237	*82*	1743—1573	*112*	1748—1935	*142*	„ — „	*172*	„ —2271
23 [*bis*]	„ — 879	*53*	1739—1060	*83*	1739—1037	*113*	1749—1943	*143*	„ —1933	*173*	„ —2279
24	„ — 888	*54*	1741—1437	*84*	„ —1173	*114*	1741— —	*144*	„ —1935	*174*	„ —2300
25	1740—1317	*55*	1742—1530	*85*	1747— —	*115*	1748—1936	*145*	„ —1885	*175*	„ —2304
26	„ —1261	*56*	1740—1345	*86*	1739—1076	*116*	„ —1882	*146*	1750—2066	*176*	„ —2309
27	1739—1259	*57*	1742—1550	*87*	1742—1535	*117*	„ — „	*147*	1747— —	*177*	„ —2311
28	1740—1251	*58*	„ —1550	*88*	„ — —	*118*	1749—1943	*148*	1748—2054	[*178*	1766—т. X]
29	1741—1482	*59*	1739— —	*89*	„ —1098 и 1132	*119*	„ —1933	*149*	1750—2045		

* Первый ряд—порядковый номер в сборнике, второй—дата (год), третий—номер по изданию Moland.

ТАБЛИЦА *Б*

К ПРОИСХОЖДЕНИЮ ТЕКСТА ИЗДАНИЯ MOLAND (RESP. KEHL, BEUCHOT, CAYROL ET FRANÇOIS).

I. Из всех писем к Даржанталю за 1734—1751 гг., вошедших в издание Moland, в сборнике Института истории АН СССР вовсе не представлены только следующие номера:

434, 456, 591, 663, 732, 857, 858, 954, 975, 1007, 1018, 1031, 1148, 1240, 1245, 1412, 1470, 1658, 1667, 1670, 1671, 1672, 1677, 1701, 1781, 1795, 1842, 1871, 1966, 1970, 1974, 1981, 1985, 1987, 1989, 1991, 1995, 2000, 2001, 2002, 2008, 2010, 2013, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022, 2198, 2240, 2255, 2260 и 2287.

II. Из прочих писем к корреспондентам сборника Института истории АН СССР следующие письма в издании Moland полностью или частично основаны на оригиналах сборника*.

404 *(8)*, 409 *(7)*, 429 *(6)*, 436 *(4)*, 447 *(12)*, 450 *(10)*, 456 *(15)*, 548 *(11)*, 567 *(14)*, 599 *(5)*, 691 *(17)*, 701 *(9)*, 712 *(13)*, 723 *(65)*, 785 *(16)*, 863 *(23)*, 864 *(22)*, 875 *(21)*, 879 *(23* bis*)*, 888 *(24)*, 903 *(1)*, 977 *(32)*, 985 *(3)*, 1013 *(31* и *41)*, 1027 *(64)*, 1037 *(63* и *83)*, 1040 *(46, 67, 73* и *79!)*, 1060 *(53)*, 1062 *(43)*, 1069 *(73* и *80)*, 1070 *(74)*, 1076 *(86)*, 1087 *(69)*, 1098 *(89)*, 1121 *(37)*, 1132 *(89)*, 1173 *(84)*, 1216 *(19)*, 1235 *(30)*, 1236 *(51)*, 1237 *(52)*, 1251 *(18* и *28)*, 1259 *(20* и *27)*, 1261 *(26)*, 1289 *(40)*, 1300 *(42)*, 1315 *(45)*, 1317 *(25)*, 1345 *(56)*, 1394 *(34)*, 1402 *(35)*, 1405 *(49)*, 1410 *(66)*, 1412 *(36)*, 1413 *(36)*, 1418 *(95)*, 1423 *(76)*, 1428 *(38)*, 1437 *(54)*, 1448 *(39)*, 1482 *(29)*, 1486 *(48)*, 1494 *(61)*, 1496 *(60)*, 1523 *(92)*, 1530 *(55)*, 1535 *(87)*, 1550 *(57* и *58)*, 1560 *(102* и *111)*, 1563 *(103* и *104)*, 1564 *(70)*, 1567 *(71)*, 1573 *(82)*, 1582 *(77)*, 1589 *(90)*, 1598 *(75)*, 1604 *(93)*, 1636 *(91* и *94)*, 1646 *(96)*, 1665 *(97)*, 1669 *(98)*, 1674 *(108)*, 1675 *(78)*, 1685 *(105)*, 1694 *(104)*, 1703 *(100)*, 1765 *(47* и *99)*, 1780 *(106* и *107)*, 1882 *(116* и *117)*, 1885 *(145)*, 1889 *(120)*, 1896 *(121)*, 1901 *(125)*, 1904 *(124* и *126)*, 1908 *(127* и *128)*, 1912 *(131)*, 1913 *(132)*, 1915 *(133* и *135)*, 1916 *(133* и *134)*, 1920 *(136)*, 1921 *(138)*, 1924 *(139)*, 1927 *(140)*, 1931 *(141* и *142)*, 1933 *(119* и *143)*, 1935 *(112* и *144)*, 1936 *(115)*, 1943 *(113* и *118)*, 2045 *(149* и *151)*, 2054 *(148)*, 2066 *(146)*, 2080 *(150)* и №№ 2099, 2104, 2107, 2111, 2113, 2117, 2120, 2124, 2128, 2135, 2139, 2146, 2152, 2159, 2173, 2181, 2219, 2225, 2229, 2250, 2271, 2279, 2300, 2304, 2309, 2311 (соответствуют в порядке последовательности №№ *152—177*).

* Первые цифры—номер по изданию Moland, цифры в скобках—порядковый номер в сборнике.

III. ИЗ НЕИЗДАННОЙ ВОЛЬТЕРИАНЫ

Настоящая глава посвящена публикации ряда обнаруженных за последние годы в различных советских собраниях отдельных писем и документов Вольтера, а также двух писем к Вольтеру—химика Элло и И. И. Шувалова (публикация последнего документа и комментарий к нему принадлежат Н. С. Платоновой).

В комментариях к каждому из печатаемых документов даются, как правило, лишь основные сведения, нужные для понимания текста, и почти не освещаются обильные побочные выводы, которые могли бы служить для исправления датировок прежде опубликованных писем, уточнить приводимые в них адреса и иные моменты биографического порядка.

При всей пестроте и неравноценности публикуемых документов, они имеют несомненный историко-литературный интерес, представляя собой дополнительный материал, столь необходимый для воссоздания полной корреспонденции Вольтера.

ПИСЬМА ВОЛЬТЕРА

1. БАКЮЛЯРУ Д'АРНО[1]

[Париж, 18 июня 1749 г.]

Дорогое дитя[2], клянусь вам, я придаю этому произведеньицу лишь весьма умеренное значенье. Учтите, что я ценю мелочи. Дело не в том, что я не сознаю его трудностей. Именно это-то меня и унижает. Почему нужно, чтобы этакую ерунду было так трудно создавать? Дитя мое, все суетно в сем мире, а всякое искусство неисчерпаемо. Все это—весьма печально. Но приходится утешаться в том, что представляешь собой нечто весьма незначительное. Ибо таков наш удел. Постараемся же хотя бы позабавиться. Это—единственное благо. Забавляйтесь же, если сможете, «Наниной»[3], вот два билета, оставшиеся у меня. Ежели вы, впрочем, пожелаете быть у Прокопа[4], я введу вас и ваших друзей и ваших дев веселья—или вовсе не веселья—повсюду, куда вам захочется. Прощайте.

В.

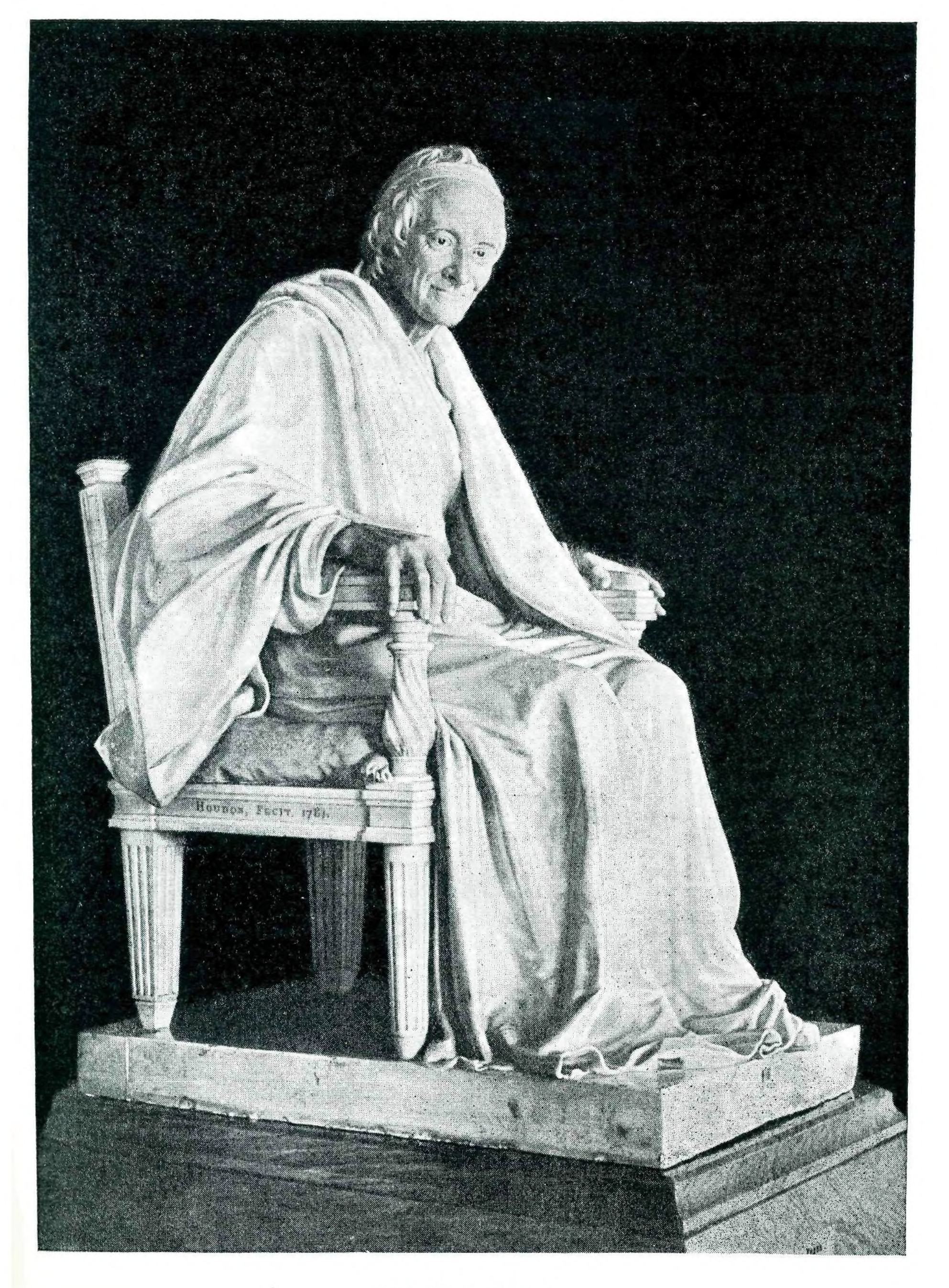
В среду, 18 июня.

Адрес: Г-ну д'Арно,
агенту короля прусского[5]

Театральная библиотека имени А. В. Луначарского в Ленинграде.— Собрание В. С. Протопопова.

[1] Мы относим настоящее письмо к числу неизданных, ввиду того, что оно отсутствует в составе «Переписки» в XXXIII—LII тт. издания Moland. Отметим, однако, что текст письма был известен Молану, т. к., издавая в 1877 г. V том сочинений Вольтера, он в своем предисловии к комедии «Нанина» (стр. 5) цитировал две последние фразы этого письма («Забавляйтесь...» и т. д. до «Прощайте»).

[2] Это нежное обращение характерно для всего раннего периода взаимоотношений корреспондентов, когда трогательная забота Вольтера о литературных успехах юного Бакюляра д'Арно (François-Thomas Baculard d'Arnaud) еще не сменилось негодованием на его вероломство. Начиная с января 1736 г., Вольтер принимал близкое участие в устройстве дел д'Арно и в множестве писем следующих лет неоднократно поручал своему доверенному, аббату Муссино, выплачивать д'Арно субсидии в размере от 1 до 60 ливров. В 1739 г. он рекомендует его Гельвецию, «как родного сына» (Moland, XXXV, 188, № 1083), но уже в 1740 г. делится с M-lle Кино своим подозрением о том, что «этот рослый парень, столь же безрассудный в чужих делах,



ВОЛЬТЕР В КРЕСЛЕ
Работа Гудона, мрамор, 1781 г.

Эрмитаж, Ленинград

как и в своих», вскрывает чужие письма. Выдвинувшись, благодаря поддержке Вольтера, и став впоследствии «литературным агентом» Фридриха II, д'Арно не гнушался клеветы, всячески вредя Вольтеру и пытаясь занять его место при дворе (Moland, XXXVII passim, особенно №№ 2100, 2128, 2145, 2146, 2150; подлинный текст № 2146 восстановлен ниже, в последнем выпуске этого тома, и по-новому освещает инициативу Вольтера в разоблачении д'Арно Даржанталем).

[3] Комедия Вольтера «Nanine», к которой, очевидно, относятся и предыдущие высказывания, была поставлена в Comédie Française летом 1749 г. (после первой постановки на частной сцене в июле 1748 г.—Moland, V, 4—5).

[4] Кафе («Пещера») Прокопа—напротив здания Comédie Française—постоянное место театральных дебатов после спектаклей.

[5] Агентом, т. е. литературным корреспондентом Фридриха, д'Арно стал летом 1748 г., заняв место другого ставленника Вольтера—Тьерио (ср. Moland, XXXVI, 516, № 1894).

2. ВО ДЕ ЖИРИ, АББАТУ ДЕ СЕН-СИР[1]

Кольмар[2], 24 февраля 1754 г.

Сударь, прилагаемый к сему формальный акт объяснит вам, почему я так возмущен выпущенным под моим именем гнусным изданием![3]. Клевета доходит до слуха высоких особ из сотен уст, в защиту же истины редко раскроются чьи-нибудь одни уста.

Надеюсь, что ваши не останутся сомкнутыми, что вы в настоящем случае выступите на защиту человека, имеющего честь быть вашим собратом. Не знаю, имел ли возможность по состоянию своего здоровья господин бывший епископ Мирпуа узнать об этом злосчастном произведении и сделать доклад о нем и может ли он, при нынешнем состоянии здоровья, вступиться за мои права. Публика их признает, признать их должен каждый. Вот почему я позволяю себе надеяться, что при том чувстве справедливости, которое вам так свойственно, вы его проявите в данном случае отстаиванием прав, мне принадлежащих. Я жду этого доброго дела от вашего сердца, исполненного добродетели, а со своей стороны—почту долгом пребывать признательным вам, сударь, нижайшим и покорнейшим слугой вашим

Вольтер

Рукописное отделение Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде.—Собрание Сухтелена. За исключением собственноручной подписи Вольтера, написано рукой его секретаря [Колини?]. На обложке письма рукой владельца карандашом надписано: «A Mr. l'abbé de St. Cyr».

[1] Аббат де Сен-Сир (Odet-Joseph de Vaux de Giry, abbé de Saint-Cyr, ум. в 1761 г.) с 1741 г. был членом Французской академии, как и Вольтер, почему последний и называет его в письме своим собратом. Званием академика аббат Сен-Сирский обязан был не столько своим ученым заслугам, сколько своей должности воспитателя дофина, а этой должностью—своей преданности упоминаемому ниже епископу Mirepoix, тоже академику и своему предшественнику на посту при дофине. Близость аббата ко двору и явилась, очевидно, причиной того, что в поисках лиц, которые могли бы довести слово правды до слуха короля, Вольтер вспомнил о своем собрате. В изданной переписке Вольтера каких-либо других писем к аббату де Сен-Сир не имеется.

[2] В Кольмар (в Эльзасе) Вольтер приехал в начале октября 1753 г. (Desnoiresterres, V, 8—10, и Moland, XXXVIII, 132—140). Здесь, у порога Франции, после того удара для его репутации, который нанесли бегство от Фридриха II, франкфуртский арест летом того же года и т. д., Вольтер столкнулся с невозможностью вернуться на родину и стал выжидать смягчения постигшей его королевской немилости. Свое вынужденное пребывание в Кольмаре (посильно использованное им для усиленных занятий историей) Вольтер переносил, как тяжелое испытание, и, не без основания опасаясь преследований со стороны церкви, в своих письмах иронизировал над «великим градом Кольмарским», называя его подчас «столицей готтентотов» (за сожжение «Словаря» Бейля).

[3] «Гнусным изданием» Вольтер называет книгу «Abrégé de l'histoire universelle depuis Charlemagne jusqu'à nos jours par M. de Voltaire» (см. Bengesco, I, № 1162, и Voltaire, Œuvres inédites, I, P. 1914, pp. 22—24). Она была выпущена в Гааге в 1753 г. издателем Жаном Неомом (Néaulme), купившим по случаю рукопись Вольтера 1740 г. под названием «Essai sur les Révolutions du Monde et sur l'histoire de l'esprit humain depuis le temps de Charlemagne jusqu'à nos jours». Издание рукописи в Гааге было осуществлено без ведома самого Вольтера, а текст ее подвергся сильным и тенденциозным искажениям, придавшим этому произведению весьма нежелательный для автора политический смысл. В весьма резких письмах к Неому Вольтер указывал, что по его милости он лишился королевской пенсии, а также возможности вернуться в Версаль и в Париж и что это последнее обстоятельство само по себе лишает его половины его состояния (Moland, L, №№ 10370 и 10371). Вольтер начал энергичную кампанию по разоблачению «гаагской подделки» и по реабилитации себя от упреков в употреблении в своих произведениях научно не проверенных сведений и слишком радикальных, в политическом отношении, выражений. Своего апогея эта самозащита достигла как раз к концу февраля, когда Вольтер затребовал и получил из Парижа подлинную свою рукопись. За два дня до отправки публикуемого письма кольмарские нотариусы Калло и Бессон составили, по просьбе Вольтера, «формальный акт» сличения рукописи с гаагским изданием. Этот протокол, в котором были зарегистрированы крупнейшие искажения подлинного текста и тем самым разоблачена подделка Неома, Вольтер и посылает аббату де Сен-Сир.

3. ДЕВИЦАМ БУКЕ

Монрион, 25 мая [1756 г.][1]

Бернские путешественники[2], граждане Монриона, Делис и Роль[3], заявляют барышням Буке[4] о своей преданности и о некоторых своих желаниях. Желания эти состоят в том, чтобы нам оказали честь посещением и согласием безотлагательно с нами поужинать у высокого английского капитана[5]. Взята ли Магонская цитадель или не взята[6], побивает ли или побит английский флот, для нашего брата-швейцарца, состоящего в друзьях со всем светом[7], это безразлично. Мы молим обеих прелестных барышень сообщить нам свои распоряжения и известить, когда можно явиться к ним на поклон в английский дом[8], который лишь для того и нанят нами, чтобы удобнее было почаще заявлять им о том, как они милы и как я их люблю и уважаю.

В.

На обороте: Девицам Буке, в Роль

Архив Исторического музея в Москве.—Собрание С. С. Уварова. Из альбома, подаренного Уварову Е. Ф. Долгоруковой.

[1] В Монрионе, вблизи Лозанны, Вольтер приобрел дом в 1755 г., но вскоре его оставил.

[2] «Бернскими путешественниками» Вольтер называет себя и мадам Дени. Обосновавшись на швейцарской территории, Вольтер поспешил завязать отношения с представителями федерального правительства. Официальным поводом для поездки была необходимость сделать визиты представителям союзных властей в Берне. Но одновременно с этим у Вольтера имелись другие причины поездки. Он был вызван из Делис для секретных переговоров с французским посланником в Золотурне, причем ему была предложена деликатная миссия в Пруссии, от чего он, однако, отказался. Поездка в Берн заняла не свыше недели; еще 15 мая Вольтер был в Монрионе, как это явствует из одного письма его, отправленного отсюда в этот день (Moland, XXXIX, 44, № 3172), а публикуемое письмо указывает на то, что не позже 25 мая он уже вернулся в Монрион.

[3] Rolle—местечко неподалеку от Лозанны, еще в XVIII веке слывшее курортом. Вольтер посетил его также в 1765 г., а летом следующего года он укрывался там от опасности, которая, как он думал, угрожала всем философам после казни де Лабарра.

[4] На страницах вольтеровской переписки имени Bouquet не встречается, и, насколько известно, это имя не привлекло внимания биографов Вольтера. Не имея под рукой ни местных архивных материалов, ни узко-местной литературы, более точно опреде-

лить, кто именно были эти барышни Буке, невозможно; швейцарский историко-биографический словарь («Dictionnaire historique et biographique de la Suisse», II, 259) указывает, что фамилию Bouquet носило несколько семейств в кантоне Во; одно из них поселилось в Роле со времени отмены Нантского эдикта, причем член этого семейства, Луи (1704—1781), служил в Голландии; к другой семье принадлежал Анри-Луи Буке (1715—1765), служивший в Голландии, Сардинии, Франции, а затем в Англии и в 1754 г. в чине полковника «королевского американского» (английского) полка сражавшийся против французов.

[5] Доступные нам материалы не дают возможности установить, кто такой этот «высокий английский капитан». Не исключена возможность, что под этими словами Вольтер подразумевает того самого родственника сестер Буке, который в 1754 г. сражался против французов (см. предыд. примечание).

[6] Падение крепости Порт-Магона на Минорке—один из первых по времени эпизодов Семилетней войны. Борьба из-за Минорки между французами и англичанами шла в течение апреля—июня 1756 г. Отсюда и датировка публикуемого письма.

[7] Безразличие Вольтера к исходу экспедиции было мнимым; в действительности он в этом случае очень близко принимал к сердцу успехи французов и их полководца Ришельё. Ср. особенно его апрельские письма этого года к последнему и письма от 2 и 16 июля к Даржанталю (Moland, XXXIX, 28 сл., 64 сл. и 70 сл., №№ 3156, 3194 и 3200).

[8] «Английским домом» Вольтер называет, повидимому, свой замок в Монрионе. О приятной для него жизни там среди круга местной «знати»—главным образом, подобно Буке, протестантских выходцев из Франции, и о постоянных театральных постановках в Монрионе см. Desnoiresterres, Voltaire à Délices, 204—208.

4. ТЕОДОРУ ТРОНШЕНУ

[1762 г.?][1]

Дорогой мой Эскулап, г-жа Дени передала мне, что вы—в поисках сельского дома, где могли бы провести осень. Предлагаю вам Делис, они, как и владелец оных,—к вашим услугам. Блажен тот, кто живет вдали от городов! Прошу передать мой нижайший поклон герцогине д'Анвиль. Живите, дорогой Эскулап, ради самого себя и ради ваших друзей.

В.

На обороте: Г-ну доктору Троншену, в Женеве

Архив Исторического музея в Москве.—Собрание Г. В. Орлова.

[1] Адресованное знаменитому врачу и близкому знакомому Вольтера—Теодору Троншену (1709—1781), публикуемое письмо было написано, во всяком случае, раньше 1765 г., когда Вольтер продал Делис. С наибольшим вероятием оно должно быть отнесено к 1762 г., так как именно во второй половине этого года герцогиня д'Анвиль жила в Женеве.

5. ТРОНШЕН-КАЛАНДРЕНУ

[14 мая неизвестного года]

Господин Франсуа Троншен, наверное, сообщил уже г. Троншен-Каландрену, что на получение креста г. Гариг может рассчитывать не ранее, чем через $2^1/_2$ года. Ему придется запастись терпением. Тысячам людей не приходится так долго ждать, чтобы нести свой крест. Старый отшельник В[ольтер] приносит нижайшее и самое сердечное почтение свое г. Троншену и всему его племени. И остается на всю жизнь готовым служить им[1].

.В.

14 мая.

Адрес (рукой Ваньера): Г-ну Троншен-Каландрену,
государственному советнику
Derrière les Granges, Женева

Рукописное отделение Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде.—Собрание Андреева. В верхнем левом углу на 1-й странице клеймо: «Dolgorouki».

[1] Год, когда эта записка была написана, нам неизвестен, неизвестна и личность того, для кого Вольтер хлопотал о кресте. Записка адресована женевскому советнику Троншен-Каландрену (Tronchin-Calendrin), одному из родственников Франсуа Троншена, приятеля Вольтера. В издании Moland (XLIV, № 6153) имеется лишь одно письмо к Троншен-Каландрену от 13 ноября 1765 г., в котором Вольтер заверяет его в своей лойяльности по отношению к женевским властям и предлагает свое посредничество для примирения враждующих в Женеве партий.

6. ЗАПИСИ ВОЛЬТЕРА, ДАЛАМБЕРА, М. ДЕ СЕН-СИМОНА И НЕИЗВЕСТНОГО НА ЛИСТКЕ ИЗ АЛЬБОМА БЬЁРНСТАЛЯ

Mea mihi conscientia pluris est quam omnium sermo.
Cicer[1]. Die 21 augusti 1770
D'alembert
Cum moriar dicant posteri hic fuit Dalemberti amicus
Voltaire 3 oct[b] 1770 in castello ferney[2].

Id populus curat scilicet
Romae IV Nonas Majas
MDCCLXXII[3]

J'entrai dans larche de noé
Le 20 janvier 1775.
a melisweert pres utrecht
sous la garde de dieu et de Mrs les barons de Rudbeck et Mr. Bjornstaehl.
Le M[qs] de S[t]. Simon[5]

Перевод:

Совесть моя мне важнее, чем все людские толки.
Цицерон[1] 21 августа 1770
Даламбер
Когда умру, пусть скажут потомки: он был другом Даламбера.
Вольтер, 3 октября 1770 г., в замке Ферне[2].

Об этом позаботится сам народ.
Рим, в четвертые ноны мая 1772[3]

Я вступил в ноев ковчег
20 января 1775 г.
в Melисвеерте близ Утрехта
под защиту божию и господ баронов Рудбек и г. Бьёрнсталя[4].
М[аркиз] де Сен-Симон[5]

Рукописное отделение Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде.—Собрание Сухтелена. Листок из разрозненного альбома Бьёрнсталя.

[1] Цицерон, Письма к Аттику, кн. 12, письмо 28.

[2] Об истинном характере взаимоотношений Вольтера с Даламбером красноречиво свидетельствуют их интенсивная переписка и их солидарные выступления с трибуны Академии и в боевых статьях «Энциклопедии». Запись Вольтера—не просто комплимент, а дань его серьезного и глубокого уважения к знаменитому философу.

[3] Рука автора этой анонимной поправки к формулировке Вольтера нам неизвестна.

[4] Bjœrnstahl Иаков-Ионас (1731—1779)—весьма образованный шведский путешественник и писатель. Оставил интересные письма о своих путешествиях и, в частности, мало использованные биографами Вольтера записи о двух посещениях в Ферне. Был воспитателем в доме шведского барона Рудбек (Rudbeck), впоследствии жившего в Голландии.

[5] Saint-Simon Максимилиан-Анри, маркиз де (1720—1799)—один из потомков знаменитого мемуариста и дядя великого утописта XIX столетия, автор ряда известных в свое время сочинений (главным образом, по истории и ботанике), а также «Опыта о деспотизме и революциях в России», изданного в 1794 г. («Essai sur le despotisme et les révolutions de la Russie», s. l, 1794).

БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

1. УДОСТОВЕРЕНИЕ, ВЫДАННОЕ ВОЛЬТЕРОМ ЛУИ-ТОМА ДЕ ЛА БИОЛА

Мы, Франсуа де Вольтер, кавалер, камергер короля, сеньёр Ферне, Турне, Шамбери и пр., удостоверяем, что Луи-Тома де ла Биола служил у нас три года, с величайшей добросовестностью исполняя свои обязанности. Дано в замке Ферне 24 апреля 1769 г.

Вольтер

Архив Института истории АН СССР, Ленинград.—Фонд быв. ИКДП. Собрание Н. П. Лихачева.

Удостоверение написано рукой Ваньера и снабжено собственноручной подписью Вольтера и его печатью.

2. УДОСТОВЕРЕНИЕ О НАХОЖДЕНИИ ВОЛЬТЕРА В ЖИВЫХ

(CERTIFICAT DE VIE)

№ по регистру займодержателей 2098

Мы, Пьер-Мишель Эннен, резидент короля при Женевской республике, удостоверяем и свидетельствуем всем, кому надлежит, что *г. Франсуа Мари Аруэ де Вольтер, родившийся двадцать первого ноября тысяча шестьсот девяносто четвертого года, камергер короля и один из сорока Французской академии, проживающий в своем Фернейском замке, в местности Жекс,* находится в настоящее время в живых, поскольку он сего дня предстал пред нами, в удостоверение чего мы ему выдали настоящее свидетельство, которое мы подписали, которое мы повелели скрепить нашей печатью и которое подписал *названный г. Вольтер.* В Женеве, сего *десятого января* тысяча семьсот семьдесят *шестого* года.

Эннен

Франсуа Мари Аруэ де Вольтер

Признано подлинным, скреплено собственноручными подписями

на основании акта о депозите, предъявленного нижеподписавшимся парижским нотариусом сего дня десятого февраля тысяча семьсот семьдесят шестого года

Печать

Скрепил

Габаро Во

Ле Сюёр

Ла Шэз *Минон*

Архив Института истории АН СССР, Ленинград.—Фонд быв. ИКДП. Собрание Н. П. Лихачева.

Бланк. Выделенное курсивом внесено в бланк от руки.

Публикуемый документ, на котором руке Вольтера принадлежит только полная его подпись «Франсуа Мари Аруэ де Вольтер», не следует рассматривать, как вид на жительство: он служил лишь необходимым для всяческих сделок документом, свидетельствующим о том, что данное лицо, проживающее вне пределов Франции, фактически находится в живых. Такое же удостоверение Вольтер получил также в начале 1764 г., о чем и упоминает в письме к Дамилавилю от 26 февраля того же года (Moland, XLIII, 140). Удостоверение это, выданное французским резидентом в Женеве Энненом (Hennin), интересно поставить в связь с имущественными делами Вольтера во Франции, а также и с правительственными мероприятиями на случай его смерти (ср. Moland, I, 365—373; Desnoiresterres, VIII, 31—32). Документ интересен и тем, что в нем лишний раз и официально указана точная дата рождения Вольтера—21 ноября 1694 г., долгое время остававшаяся спорной.

ПИСЬМА К ВОЛЬТЕРУ

1. И. И. ШУВАЛОВ — ВОЛЬТЕРУ

С.-Петербург, 19/30 марта 1762 г.

Милостивый государь,

Конечно, я кажусь вам очень виновным в том, что так долго медлил с известиями о себе, но не осуждайте меня, не выслушав. Император вверил мне управление Шляхетным кадетским корпусом, шефом которого он до сих пор был, и я все время занимался делами, имеющими отношение к тому посту, обязанности по которому мой августейший предшественник выполнял с величайшей исправностью. Мне нужно было собрать все силы моей удрученной души, чтобы исполнять обязанности по должности, превышающей мое честолюбие и мои силы. Простите же мне, государь мой, за то, что, оказавшись в затруднительном положении, я не мог еще послать вам заметок об *осуждении царевича*. Но признаю себя виновным, так как раньше всего должен был бы позаботиться о том, чтобы вывести вас из неизвестности и ускорить окончание вашего славного и тяжкого труда. Теперь же, когда я стал спокойнее, я примусь за дело и через несколько дней буду иметь честь сообщить вам свои соображения; сделайте им лишь то употребление, которое вы найдете нужным. Но я настолько уверен в вашей доброте, что осмеливаюсь повторить просьбу, с которой уже к вам обращался: помедлить со вторым изданием первого тома до тех пор, пока вы не проредактируете его в тех местах, которые могут подать повод к нашему осуждению. Наши завистники и наши общие враги неистовствуют против нас более, чем когда-либо, мое положение меня обязывает быть с ними осторожным, а вы меня слишком любите для того, чтобы желать меня

ЗАПИСИ ВОЛЬТЕРА, ДАЛАМБЕРА, ДЕ СЕН-СИМОНА И НЕИЗВЕСТНОГО НА ЛИСТКЕ ИЗ АЛЬБОМА И. БЬЁРНСТАЛЯ, 1770—1775 гг.

Публичная библиотека, Ленинград

скомпрометировать. Я считал бы, что нарушаю долг дружбы, если бы не был с вами вполне откровенным, и ценю свою искренность. Быть может, я буду так счастлив, что скоро меня узнает ближе человек, чье имя есть уже хвала и который всегда был для меня предметом поклонения. Ухудшившееся здоровье, отвращение ко всему, что составляет очарование для светских людей, желание вас видеть и воспользоваться вашим просвещенным обществом заставляют меня ходатайствовать перед е. и. в. о разрешении отправиться в путешествие и вдали от пышности двора искать того блаженного душевного покоя, которым до сих пор я наслаждался лишь в воображении; знаю, что он существует только в замке Ферне, туда я отправлюсь в поиски за ним, и там, наконец, смогу принести вам уверение в нежной привязанности, с которой останусь всю жизнь, сударь...

Рукописное отделение Библиотеки АН СССР, Ленинград.—Из бумаг архива Шуваловых.

Письмо без подписи; написано каллиграфическим почерком и в одном месте исправлено, повидимому, рукой самого И. И. Шувалова. Внешний вид письма заставляет думать, что перед нами не черновик или копия, а скорее письмо, уже переписанное набело для отправки. Установление адресата письма не представляет затруднений. Совершенно очевидно, что тем человеком, «чье имя есть уже хвала» и кому автор письма мечтает засвидетельствовать свое почтение в замке Ферне, является Вольтер. Что касается автора письма, то в нем, тоже без труда, можно узнать И. И. Шувалова, еще недавно всесильного фаворита императрицы Елизаветы Петровны. После ее смерти он некоторое время оставался при дворе, действительно, занял пост директора Шляхетного кадетского корпуса и, по примеру прежних лет, продолжал вести переписку с Вольтером, заботясь о снабжении его материалами для работы над «Историей Петра I».

Шувалов, естественно, считал это своей прямой обязанностью, так как именно он, преодолев сопротивление канцлера А. П. Бестужева, настоял на том, чтобы история Петра I была заказана Вольтеру (см. об этом книгу E. Šmurlo, Voltaire et son œuvre. Histoire de l'Empire de Russie sous Pierre le Grand. Edition Orbis, Prague). Однако, с первых же дней после того, как Вольтер получил предложение заняться составлением этой «Истории», политическая сложность поставленной перед ним задачи стала для него совершенно очевидной. Необходимо было прибегнуть к известным уловкам для того, чтобы не слишком вдаваться в подробности личной жизни царя Петра, «которые могли бы помрачить его славу». Вот почему заглавие «История жизни Петра I» заменяется заглавием «История Российской империи при Петре Великом». По мысли Вольтера, такая формулировка темы давала возможность историку, сосредоточившись на вопросах политических и экономических, избежать «необходимости предаваться компрометирующим царя анекдотам из его частной жизни».

«Я считаю, что поступил уже согласно с вашими видами, объявив, что не намерен писать секретную историю Петра Великого»,—писал Вольтер И. И. Шувалову 8 июня 1761 г.—«...мелкие подробности нужно оставить для мелких сочинителей анекдотов» (Moland, XLI, № 4546).

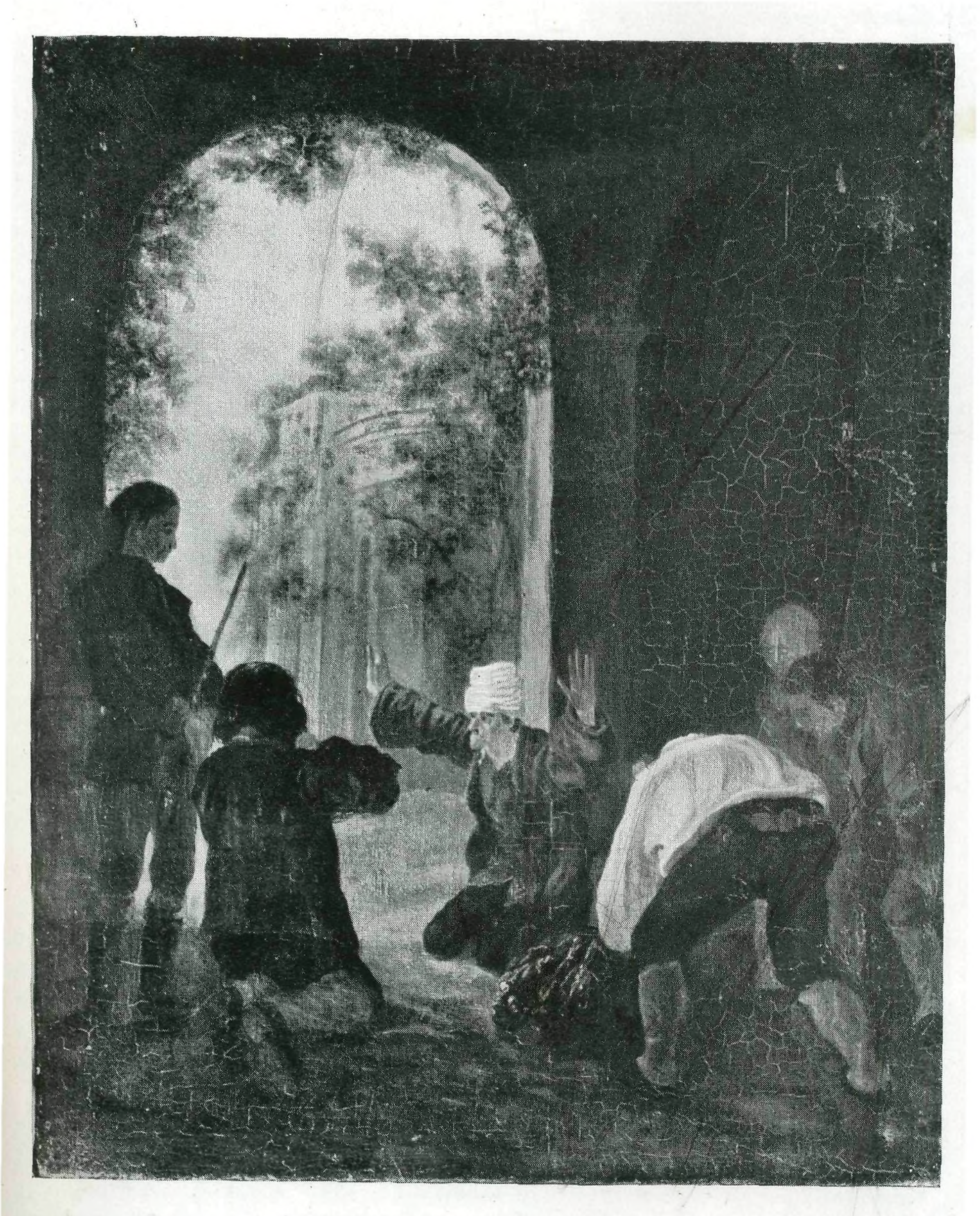
Трудность заключалась, однако, не в мелких подробностях, а в тех весьма важных моментах деятельности Петра I, которые даже Вольтер не решался безоговорочно прославить, и самым трудным из таких темных и сложных дел Петра I была казнь царевича Алексея.

Самому Вольтеру, по собственному его признанию, «этот смертный приговор всегда казался слишком суровым» (письмо Вольтера к И. И. Шувалову от 22 ноября 1759 г., Moland, XL, № 3983).

Чувствуя трудность своего положения, Вольтер обратился именно к И. И. Шувалову, к тому, кого впоследствии в письме к герцогу Ришельё именовал человеком, «в течение пятнадцати лет неограниченно управлявшим империей протяжением в две тысячи льё» (письмо от 30 января 1774 г., Moland, XLIX, № 9041).

Вольтер просил об инструкциях, писал Шувалову три раза за период с конца января и до 15 марта н. ст. 1762 г. Письмо от 15 марта, повидимому, было четвертым. Долгожданный ответ на все эти письма Вольтера был написан И. И. Шуваловым только 19—30 марта. Его текст мы и публикуем.

Было ли это письмо в свое время отослано и дошло ли оно до Вольтера? На этот вопрос можно ответить утвердительно: в томе XLII издания Moland, на стр. 115—116,



ВОЛЬТЕР В ТЕАТРАЛЬНОЙ СЦЕНЕ
Картина маслом Жана Гюбера, 1770—1775-е гг.
Эрмитаж, Ленинград

находится за № 4905 письмо Вольтера к И. И. Шувалову от 21 мая 1762 г., по своему содержанию являющееся ответом на письмо, текст которого приводится выше. Извещая И. И. Шувалова о получении его письма от 17 марта, Вольтер делает обещание, оправившись от всех своих невзгод, снова приняться за историю Петра I и, выражая радость по поводу проекта И. И. Шувалова, отправившись в чужие страны, посетить и Ферне, прибавляет: «Это достойно вас—подражать Петру Великому, путешествуя, как путешествовал он...».

Таким образом, темы писем И. И. Шувалова от 19—30 марта и Вольтера к нему от 21 мая 1762 г. вполне совпадают; в обоих письмах речь идет о продолжении работы над историей Петра I и о предполагаемом заграничном путешествии И. И. Шувалова. Правда, дата полученного Вольтером письма—17 марта (ст. ст.) не совпадает с датой публикуемого письма, помеченного 19 марта, но разница в два дня, по целому ряду соображений, не может смущать исследователя. Во-первых, всем, кто хоть немного знаком с Вольтером, должна быть известна небрежность, с какой он обращался с датами даже своих собственных писем, путая в них числа, месяцы и даже годы. Вполне допустимо, поэтому, предположение, что в своем ответе И. И. Шувалову от 21 мая 1762 г. Вольтер ошибочно пометил 17 числом письмо И. И. Шувалова от 19 марта.

Но причина этого несоответствия может корениться и не в Вольтере. История текста его письма к И. И. Шувалову от 21 мая 1762 г. далеко не ясна: о нем известно лишь то, что это письмо впервые увидело свет в сборнике под заглавием «Lettres inédites de Voltaire. Paris, chez les éditeurs Mongie, Delaugnay et Pelicier 1818». В этом сборнике, известном в вольтероведческой литературе под упрощенным названием «Recueil de 1818», оно было напечатано в числе 19 писем Вольтера к И. И. Шувалову (см. Bengesco, III, 127), но как оно попало в этот сборник, на основании какого документа печатался его текст, сказать невозможно. А между тем, история издания переписки Вольтера свидетельствует о том, что громадное большинство печатных писем Вольтера дает текст заведомо искаженный—неполный или с грубыми ошибками. И если источник, из которого издатели «Recueil de 1818» почерпнули текст письма Вольтера к И. И. Шувалову от 21 мая 1762 г., остался неизвестным, никто не может утверждать, что в его первоначальном тексте стояла дата «17», а не «19» марта. Важно только одно обстоятельство: что, как это становится ясным из письма № 4905 издания Moland, Вольтер, действительно, получил от И. И. Шувалова письмо от середины марта 1762 г., содержание которого совпадает с текстом публикуемого письма.

Н. Платонова

2. ЭЛЛО — ВОЛЬТЕРУ

[28 июня 1764 г.]

Вы, сударь, как и другие историки, заставили умереть принцессу—вдову царевича, сына Петра Великого. Но она жива до сих пор. Вот рассказ (anecdote), заслуживающий проверки. Он мне заверен господином де Сен-Мартеном, ныне одним из синдиков Индийской компании, а в прошлом исполнявшим временно обязанности губернатора островов Франции и Бурбон.

В деревне Витри, под Парижем, существует иностранка, именуемая мадам де Мальдань, называющая себя вдовой Алексея Петровича, которого Петр I, его отец, приговорил к смерти за заговор против него с русским духовенством. Зовется она Христиной-Шарлоттой-Софией Брауншвейг-Вольфенбюттельской, дочерью Людвига-Рудольфа Брауншвейгского, родившейся 29 августа 1694 г. Она была выдана замуж за Алексея Петровича 25 октября 1711 г. Генеалогические таблицы Гибнера отмечают, что она умерла 7 июля 1718 г. Она имела от этого брака двух детей, Наталью Алексеевну, родившуюся 23 июля 1714 г. в Петербурге, и наследника. Оба они умерли. Эта вдовствующая дама (или принцесса) утверждает, будто по наущению Екатерины, второй жены Петра Великого, этот государь в припадке гнева и пьянства своими руками срезал сыну голову в тюрьме и что он вызвал затем смерть обоих детей с тем, чтобы

сын Екатерины смог в будущем царствовать. Она добавляет, что и она сама трижды была отравляема агентами Екатерины. Чтобы избегнуть угрожавшей ей участи, она притворилась опасно больной. Доверенные лица разгласили об ее смерти, устроили ей симуляцию похорон, во время которых она спаслась со своим секретарем и горничной, кое-какими драгоценностями и очень малым количеством денег. Она прибыла во Францию, но не осталась там, а отплыла в Луизиану на корабле Индийской компании, которой тогда Луизиана принадлежала. Секретарь умер во время плавания, а горничная—на реке Ла Мобиль. Оставшись одинокой и без знакомств в Луизиане, она узнала в Новом Орлеане некоего Мальдань, француза, которого она видела в Петербурге в войсках царя. Она почувствовала к нему склонность, отреклась от своей веры и вышла за него замуж. Когда Индийская компания отдала Луизиану королю, Мальдань и его супруга вернулись во Францию, имея около 20 000 экю. Немного времени спустя они отправились на Остров Франции, где муж, первоначально бывший сержантом в войсках Компании, был сделан капитаном, а затем и майором. Она родила там дочь, которую муж распорядился крестить руками господина де Бретон, лазариста, священника этого прихода, и которую он объявил законной дочерью своей и Шарлотты-Христины Вольфенбюттельской, своей жены. Дочь эта дожила до 12-летнего возраста. Господин де Сен-Мартен, бывший тогда королевским наместником на Острове Франции, несколько раз видывал и мать и дочь. Мать подружилась с госпожей Гоше, матерью Лолотты, ныне супруги графа д'Эрувилль. Когда Мальдань умер от водянки на Острове Франции в 1732 г., вдова его вернулась во Францию для переговоров с наследниками своего мужа. Необходимо было представить акт о браке в Новом Орлеане, и господин де Сен-Мартен видел этот акт, однако, она зачеркнула несколькими штрихами пера имя Вольфенбюттель, несмотря на что его все еще можно было рассмотреть. С восемью тысячами ливров она отправила бедных наследников своего мужа в Домб. Она передала свое имущество господину де Сен-Мартену, чтобы отправиться в Брюссель: оттуда она направилась в Брауншвейг, где виделась с герцогом, своим племянником. Она провела полтора года в монастыре лютеранок. Будучи довольно ревностной католичкой, она не смогла там ужиться и возвратилась в Париж. Однажды летом, когда она гуляла в Тюильрийском саду с господином де Сен-Мартеном, его женой и дочерью, она увидела идущим по Разводному мосту графа Саксонского*; она хотела избежать встречи с ним, но он направился прямо к ней и сказал, подходя: «Ах, принцесса, вы ли это, или ваша тень?». Они удалились вдвоем в боковую аллею на добрых четверть часа. Затем она присоединилась к своему обществу. Желая уединиться и жить в неизвестности, она однажды отправилась с господином де Сен-Мартеном в деревню Витри осмотреть домик, понравившийся ей ради своего красивого сада. Сделка была заключена в течение 24 часов за 14 000 ливров, включая издержки, которые она выплатила двойными луидорами. Она живет там одна, не встречаясь ни с кем, кроме господина Сен-Мартена, служащего ей банкиром, и его семьи. Из всех слуг она имеет лишь одного садовника, служащего ей лакеем, когда она берет наемную коляску, чтобы отправиться в Париж, когда там бывают какие-либо государи Брауншвейгского дома, а также одну негритянку, воспитанную ею на

* Морица (1696—1750), с 1744 г. известного, как «Маршал».

Острове Франции и служащую ей кухаркой и горничной. Подозревают, что царствующая императрица выдает ей пенсию, так как она не испытывает нужды в деньгах. В деревне знают, что она вдова царевича, и хотя и притворяются, что не знают об этом, но оказывают ей должное почтение, когда она отправляется в церковь. Она—пожилая, но крупная, хорошо сложена, имеет вид и тон весьма благородный: я сам видел ее однажды у господина де Сен-Мартена, но не будучи с ней знаком. Если когда-либо вы воспользуетесь этими подробностями, прошу вас не называть ни господина де Сен-Мартена, ни моего имени.

HISTOIRE
DE L'EMPIRE
DE RUSSIE
SOUS
PIERRE LE GRAND,
Par l'Auteur de l'hiſtoire de
CHARLES XII.
TOME PREMIER.

MDCCLIX.

„ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ПРИ ПЕТРЕ ВЕЛИКОМ" ВОЛЬТЕРА,
Первое издание 1759 г.

Фронтиспис и титульный лист первого тома

Остаюсь, сударь, с почтением, вашим нижайшим и покорнейшим слугой.
Элло, член Академии наук, улица Анжу в Болоте, в Париже.
Сего 28 июня 1764 г.

Адрес: Господину Вольтеру,
камергеру и одному из 40 членов Французской академии,
в Делис, через Женеву

Автограф.—Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде. Рукописи библиотеки Вольтера.

В вольтеровской «Истории Российской империи при Петре Великом» (1759—1763) и, особенно, в «Анекдотах о царе Петре Великом» (вышедших еще в 1748 г.) особое внимание уделено расправе царя с сыном. Этот эпизод был для Вольтера не только памятной сенсацией его собственной молодости, но и очень щекотливым для его совести историка пунктом изложения. Личная позиция либерального протеста против произвола бесчеловечной репрессии вступала здесь в острый конфликт с положением

привилегированного русским самодержавием историографа, обязанного, в силу этого положения, придерживаться официозной версии в изложении событий русской истории. Отсюда и повышенный интерес Вольтера к документации относительно «процесса царевича», и известные перипетии в его переписке с И. И. Шуваловым в мае и октябре 1759 г. Два года спустя, 29 октября 1761 г., Вольтер (так гласит собственноручная его пометка) получил от Шувалова рукопись под названием: «Детали, относящиеся до жизни и смерти царевича Алексея Петровича»—«Particularités concernant la vie et la mort du Tsarevitz Alexei Petrovitz» (ср. Caussy, Inventaire, 77). Это было изложение официальной версии, составленное в России в опровержение Nestesuranoi и «Mémoires d'Etat» Ламберти. Названный документ хранится ныне в ленинградской Публичной библиотеке в составе библиотеки Вольтера, занимая листы 228—234 III тома «Рукописей для истории России».

Ближайшее ознакомление с вольтеровской документацией по этой теме обнаруживает, однако, еще одну весьма любопытную побочную линию: материалы относительно судьбы жены Алексея. Так, например, во втором томе той же серии рукописей имеется документ, озаглавленный «История принцессы, жены царевича, сына Петра Великого» («Histoire de la princesse femme du Czarevitz fils de Pierre le Grand»). На обороте этой рукописи имеется собственноручная пометка Вольтера: «Басня о супруге царевича, осужденного своим отцом» («Fable sur l'épouse du Czarewitz condamné par son père»). Во втором томе общей серии рукописей Вольтера in quarto на стр. 359 находим «Анекдоты о царевиче и мадам д'Обан, мнимой его вдове», на стр. 356—«Мнимые анекдоты о супруге царевича», а на стр. 357—публикуемое нами собственноручное письмо к Вольтеру химика Элло (Hellot).

Элло—ученый, химик, член Академии, исследователь вопросов крашения и издатель трактатов о горном деле (1685—1766)—доселе вовсе не фигурировал в числе вольтеровских корреспондентов. Его письмо, несомненно, является интересным вкладом в довольно запутанную историю, долгое время занимавшую праздные умы, а именно в историю о мнимом спасении от смерти и о последовавших затем приключениях Софии-Шарлотты Вольфенбюттельской, под именем которой какая-то ловкая авантюристка сумела обосноваться в Париже.

Тема о злоключениях в экзотической обстановке стрельнинского дворца, о романтическом бегстве и не менее романтических скитаниях по французским колониям в Индийском океане и в Америке, о любовных приключениях принцессы и ее уединенном образе жизни по возвращении в Европу, о случайном узнавании и т. п. как нельзя более соответствовала литературным вкусам эпохи и послужила впоследствии канвой для целой литературы (ср. Брикнер А. Г., Царевич Алексей Петрович в произведениях иностранных драматургов и беллетристов.—«Исторический Вестник», 1880, т. III, сентябрь, 146).

По получении из Парижа «весьма странных анекдотов» Вольтер 21 сентября 1760 г. сообщает их в виде обстоятельного резюме Шувалову и подчеркивает их невероятность и фантастичность, обязуясь запросить Версаль о том, что может служить основой «подобной сказки, неправдоподобной по всем пунктам» (Moland, XL, 544, № 4246). Этот запрос Вольтера, адресованный министру иностранных дел, герцогу де Шуазёлю, и ответ последнего сохранились во втором томе «Рукописей для истории России». Министр подтвердил, что в Париже, действительно, проживает интересующая Вольтера мадам д'Обан, но отрицал малейшую основательность распространяемых о ней слухов (л. 344). Продолжая интересоваться этой историей, Вольтер повторно говорит о ней в письме к Шувалову от 7 ноября того же 1760 г., а через некоторое время, 22 января 1761 г., обращается к графине Бассевич, от которой мог ожидать более подробных сведений, с письмом (до нас дошел лишь отрывок), в котором, уже совершенно в ироническом тоне, излагает авантюру мадам д'Обан. При этом Вольтер добавляет от себя такую подробность: «В 1722 г. прибыла в Париж полька, поселившаяся в нескольких шагах от дома, который я занимал» (Moland, XLI, 146 сл., № 4430). Сам Вольтер не был склонен верить всем этим слухам, впоследствии всполошившим даже Екатерину II и вызвавшим от ее имени журнальную полемику (см. об этом статью Д. Д. Рябинина в «Русской Старине», 1874, № 10, 360—370, и В. И. Герье, Кронпринцесса Шарлотта.—«Вестник Европы», 1872, № 5, стр. 19, и № 6, стр. 461—534).

Еще в «Анекдотах о Петре Великом» Вольтер писал о кронпринцессе: «Говорят, что она умерла от горя, если от горя вообще можно умереть» (Moland, XXIII, 289), а в «Истории Петра Великого» автор отводит всякое подозрение в убийстве царевичем Алексеем его жены.

Тем более любопытен тон серьезного укора, с которого начинается публикуемое нами письмо Элло—документ, не лишенный интереса не только для русской истории, но и для развития данного литературного сюжета.

IV. ВОЛЬТЕРОВСКИЕ МАТЕРИАЛЫ В СОВЕТСКИХ СОБРАНИЯХ

Богатое наследие Вольтера, хранящееся в различных собраниях СССР, никем еще полностью до сих пор не выявлено, не учтено, не описано. Эта необходимейшая работа является, однако, делом будущего. Она может быть осуществлена с успехом и с достаточной гарантией полноты лишь путем длительных и систематических разысканий, произведенных целым коллективом советских исследователей и архивных работников.

В настоящей, заключительной главе нашей работы мы ставим себе задачей дать лишь самый предварительный и беглый обзор главнейших советских фондов, содержащих вольтеровские материалы. Прежде всего, дается характеристика основного советского собрания, связанного с Вольтером,— его собственной библиотеки, хранящейся в Ленинграде, и рукописей, входящих в состав этой библиотеки. Затем следует суммарный обзор вольтеровских документов, главным образом, эпистолярного характера, хранящихся в ряде других собраний СССР.

БИБЛИОТЕКА ВОЛЬТЕРА

Среди всех реликвий и архивных материалов, оставшихся после Вольтера, первое место по ценности и интересу, бесспорно, принадлежит его собственной библиотеке, хранящейся в Ленинграде.

Крупная личная библиотека гениального писателя, содержащая множество следов его работы, полностью сохранившаяся и притом почти вовсе не изученная,—это редчайшее сочетание данных заставляет рассматривать ее, как источник совершенно исключительной важности.

Несмотря на очевидность этого положения, тщетно было бы искать в русской дореволюционной литературе не только достойной оценки этого фонда, находящегося в России с екатерининских времен, но даже достаточно серьезных упоминаний о нем[1]. Для русской дореволюционной науки вольтеровская библиотека оказалась не столько даже запретным плодом, сколько забытым сокровищем, самая ценность которого не была понята. Впрочем, не было посвящено ей достаточно научного внимания и на родине автора «Генриады». Однако, если краткость и эпизодичность сведений о библиотеке Вольтера, проникавших на страницы французской печати, до некоторой степени могут быть объяснены теми трудностями, с которыми был сопряжен самый доступ к этим материалам, то систематическое игнорирование их со стороны русских авторов должно быть объяснено причинами не столь механического порядка. Причины эти следует искать глубже—в обстоятельствах первичного освоения вольтеровских материалов, попавших в Россию. Правда, никаких нарочитых мер к изъятию этих материалов из научного обихода первоначально не предпринималось. Но этого и не требовалось,—достаточно было того пассивного забвения, которым сменился у Екатерины ее первоначальный острый интерес к фернейским реликвиям. Эта смена увлечения безразличием всецело объясняется тем, что в последние годы жизни Екатерины вкусы и образ мыслей ученицы французских философов-просветителей пришли в явное противоречие с осознанными ею нормами официальной идеологии и, во избежание общественного соблазна,—беспрекословно умолкли.

При первой же вести о смерти Вольтера Екатерина II приняла решение увековечить в России память своего любимого автора. Она поручила своему постоянному агенту за границей, Мельхиору Гримму, снестись

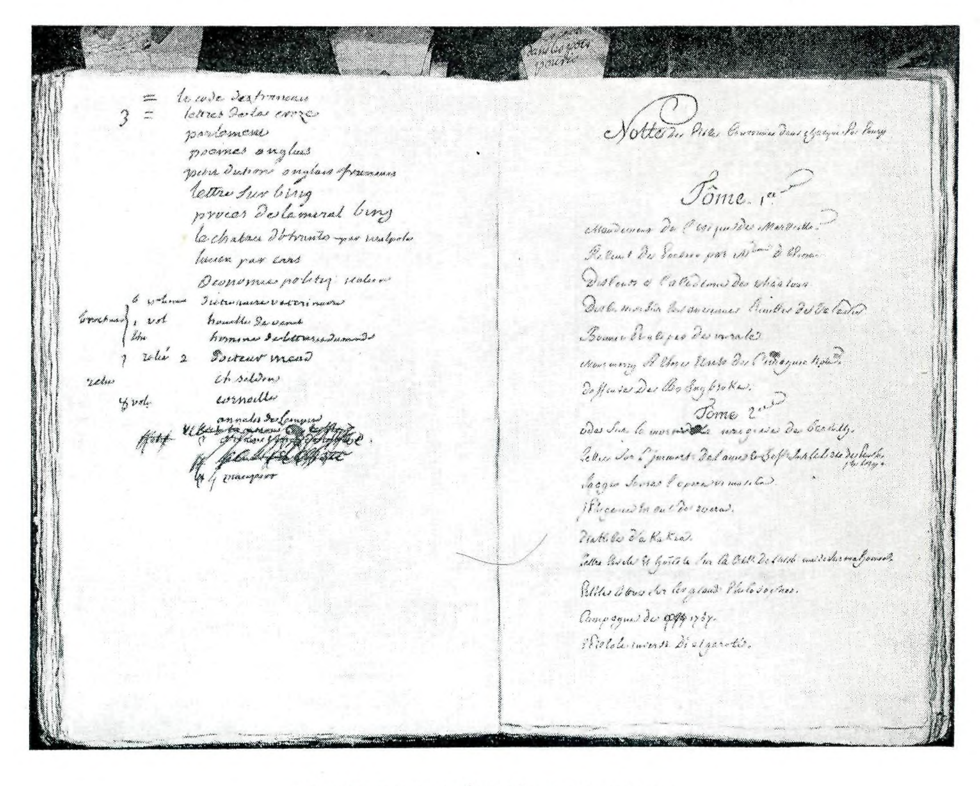
с племянницей философа, г-жей Дени, для приобретения от нее книг и рукописей Вольтера, его статуи, планов Ферне и моделей фернейского замка[2]. Момент живой личной симпатии к любимому писателю, учителю вкуса, интереснейшему корреспонденту и усердному апологету «Северной Семирамиды», причудливо сочетался при этом у русской царицы с побуждениями политическими и вопросом ее престижа в Европе. «Просвещенный монарх» должен был достойно ответить на мракобесие французского духовенства, из-за происков которого «не осмеливаются хоронить... первого человека нации»[3]. Кроме того, видную роль сыграла забота об изъятии от будущих издателей собственных писем Екатерины к Вольтеру, в которых многие правители, в особенности Мария-Терезия и Фридрих II, нашли бы немало строк, компрометирующих их автора[4].

Гримм превосходно справился с возложенным на него поручением. Он немедленно вступил в переговоры с г-жей Дени, связался с давнишним своим корреспондентом и отчасти контрагентом—женевским советником Франсуа Троншеном, а главное, взял на себя общее руководство всем этим делом и заботу об участи вольтеровского секретаря, Ваньера,—фактического хранителя книжного и рукописного наследия писателя. Переписка Гримма с этими двумя лицами—Троншеном и Ваньером—дает нам ценный материал для предистории ленинградской библиотеки Вольтера, материал, до сего времени остававшийся неиспользованным теми, кто писал об этом собрании.

Главной наследницей крупного состояния Вольтера оказалась г-жа Дени, его племянница, по единодушному свидетельству биографов писателя,—ограниченная буржуазка, своекорыстная, вздорная, с узким умственным кругозором. Ни она, ни брат ее, аббат Миньо, не могли оценить по достоинству всего значения попавшего им в руки после смерти их дяди литературного наследия. Русская царица и ее корреспонденты очень быстро и верно учли это обстоятельство[5]. Правда, аббат Миньо выразил протест против вывоза из Франции библиотеки своего дяди, но можно ли было принимать всерьез его протест? Довольно единодушные сожаления современников по поводу поступка г-жи Дени, продавшей библиотеку крупнейшего писателя Франции русской царице, также не оформились в сколько-нибудь серьезный и действенный протест. Таким образом, библиотеке Вольтера предстояло быть переправленной в Россию, а его еще не изданные рукописи и значительная часть его писем были переданы издателю Панкуку, от которого эти материалы затем перешли к Бомарше и в значительной части своей увидели впоследствии свет в Кельском издании сочинений Вольтера.

В главнейших чертах история приобретения библиотеки Вольтера и перевозки ее в Россию давно и хорошо известна. Однако, русские материалы позволяют и здесь внести в общую картину немало уточнений и дополнений.

Обнаруженные редакцией «Литературного Наследства» новые архивные документы, не рисуя существенно новой картины приобретения библиотеки, позволяют дополнить новыми штрихами и отчасти по-новому осветить момент, до сих пор обстоятельно освещавшийся только перепиской Гримма с Ваньером, которую 40 лет тому назад опубликовал Поль Боннефон[6]. Любопытными деталями нас обогащает, например, письмо г-жи Дени к И. И. Шувалову, сохраненное в одной неизданной биографии этого последнего[7]. Оказывается, кроме Гримма, в переговорах о покупке



КАТАЛОГ ФЕРНЕЙСКОЙ БИБЛИОТЕКИ

Запись на левой странице — рукой Вольтера, на правой — рукой Ваньера. Каталог переложен закладками с пометами Вольтера

Публичная библиотека, Ленинград

библиотеки непосредственное участие принимал и от имени Екатерины действовал И. И. Шувалов. Свидетельствует это письмо также и о том, что уже в конце октября 1778 г. участь библиотеки была решена и что раньше, чем поднять вопрос об ее покупке, Гримм передал г-же Дени просьбу русской императрицы о возвращении ей писем, которые она писала Вольтеру. Кроме того, оно живо рисует показную «дипломатическую» скромность автора письма. Как известно, библиотека Вольтера была получена Екатериной отнюдь не в дар, а за «135 398 ливров 4 су 6 денье», не считая ценных подарков, и еще в сентябре 1778 г. Гримму была отпущена для этого дела сумма в 30 000 рублей[8]. Но предоставим слово самой племяннице философа.

Париж, 24 октября 1778 г.

Ваше письмо, сударь, не только не предмет огорчения, но, напротив того,—утешение для меня, так как оно только возобновляет в моей памяти оказанную нам, в Ферне, честь и удовольствие, которые мы испытали, принимая вас там. Мы никогда не забывали вас и были рады узнать, что вы наслаждаетесь счастием при государыне, достоинства которой равны ее могуществу. От ее имени вы просите меня передать ей библиотеку моего дяди; я повергаю ее к ее стопам. Я была свидетельницей тех милостей, которыми она почтила г. Вольтера; вот почему он питал к ней чувство величайшего преклонения, глубочайшего уважения

и беспредельной преданности. Посудите сами, могу ли я колебаться в том, чтобы поднести ей эту библиотеку, раз она, повидимому, этого желает. Не скрою от вас, сударь, что это—жертва, которую я могу понести только для вашей императрицы; я отказала в том же двум германским государям. Я имела намерение сделать себе из этой библиотеки укромный уголок, куда я могла бы часто удаляться, чтобы оплакивать там моего дядю и предаваться мыслям только о нем одном. Вы мне пишете, чтобы я назначила цену. Таковой для меня не существует, я не нуждаюсь в деньгах и чувствую себя слишком осчастливленной тем, что императрице угодно принять эту библиотеку и что этим я могу ей дать слабое доказательство моего уважения. Ее величество императрица уже велела потребовать у меня свои письма через г. Гримма; я их отправила ему два дня тому назад и не сомневаюсь, что он не замедлит доставить их ей. Сохраните мне вашу дружбу, она для меня драгоценна. Имею честь быть и проч. и проч.

Дени

Не могу удержаться, чтобы не сообщить вам, сударь, что г. Гримм прочитал мне письмо императрицы, в котором она сообщает ему, что велит поставить памятник моему дяде посреди его библиотеки. Надеюсь, что она осуществит свое намерение. Ему здесь отказали в четырех пригоршнях земли; только первой государыне в мире свойственно распорядиться воздвигнуть памятник величайшему гению Европы.

Расписка г-жи Дени в получении денег за библиотеку датирована Парижем, 15 декабря 1778 г. Однако, еще 28 ноября г-жа Дени, а 30 ноября Гримм писали Троншену о том, что библиотека уже упакована в Ферне, и просили его о разрешении поставить на зиму ящик с книгами в его имении Делис, где имелась «большая галлерея... всю зиму отапливаемая печью и, следовательно, совершенно сухая», как писал 8 декабря Гримму Троншен[9].

Можно думать, что эта переброска библиотеки имела не только ту цель, чтобы из сырого, неотапливавшегося фернейского «замка» переместить книги в сухое помещение: отныне этот замок опустел, и для библиотеки Вольтера требовалось помещение, лучше охраняемое, чем в Ферне. По крайней мере, в письме от 30 ноября Гримм просит Троншена именно о приеме библиотеки, говоря о возможности предоставления этой библиотеке, «отныне императорской», права гостеприимства в Делис, в «сухом и надежном месте». Гримм прибавляет: «Мне бы хотелось, чтобы вы получили от Ваньера особую декларацию о том, что переданное вам число ящиков содержит все имеющееся в составе фернейской библиотеки г. Вольтера, и чтобы вы затем, совместно с Ваньером, опечатали ящики и известили меня о том, что они отныне поступили в ваше обладание в Делис»[10].

Вся ситуация находит себе четкое объяснение в том документе, которого словно недоставало для восстановления полной картины. Документ этот—письмо Гримма Ваньеру, отправленное им в тот же день, что и только-что цитированное и знакомое Боннефону письмо к Ф. Троншену. Можно лишь строить догадки о том, какими именно путями оно попало в советские архивы[11], но нельзя сомневаться в его значительной ценности для интересующей нас темы.

Париж, 30 ноября 1778 г.

Я располагаю только минутой, мой дорогой господин Ваньер, чтобы написать вам до отхода почты. Вы, вероятно, узнали уже от г-жи Дени, что библиотека покойного всеобщего нашего учителя покупается русской императрицей. Чтобы завершить это дело, мы договорились, г-жа Дени и я, просить г-на Троншена из Делис взять эту библиотеку на сохранение до тех пор, пока я не организую ее отправки. Зная любезность г-на Троншена, я не сомневаюсь ни минуты, что он согласится на мою просьбу, и потому я прошу вас, согласно с полученными вами от г-жи Дени распоряжениями, передать как можно скорее ему библиотеку, а затем, не теряя времени, сообщить мне о числе переданных вами ящиков. Я надеюсь, что ящики будут хорошо заделаны и опечатаны вами совместно с г-ном Троншеном. Г-жа Дени сказала мне, что по окончании всего этого она собирается просить вас безотлагательно прибыть в Париж, главным образом, для того, чтобы передать мне здесь книги и бумаги г-на де Вольтера, а также для устройства других дел в связи с этой продажей, которые вы один можете хорошо выполнить.

Впрочем, мой дорогой господин Ваньер, с самого момента, как мы имели несчастье потерять г-на де Вольтера, я был озабочен устройством вашей судьбы, но я поднял разговор об этом с г-жей Дени только после того, как дело с покупкой библиотеки было закончено. Я предложил ей поручить вам сопровождать библиотеку до Петербурга, привести ее там в порядок на глазах у императрицы и представить ей обо всем отчет.

Г-жа Дени согласилась на это с большой охотой, сказав мне, что поездка не изменит ни в чем вашего положения у нее. В свою очередь, я предупредил императрицу об этом проекте и с большим удовлетворением могу вам сообщить, что е. и. в. в только-что полученном мной письме своем от 19 октября тоже выражает свое согласие и поручает мне подтвердить вам от ее имени это предложение. Так как я нисколько не сомневаюсь в том, что, имев несчастие потерять величайшего из людей, доверием и любовью которого вы пользовались, вы найдете для себя большим счастием и настоящим утешением приблизиться к государыне, которая царствует с такой славой и которая была самым верным другом великого человека, я прошу вас устроить все свои дела с таким расчетом, чтобы быть в состоянии выехать в Россию будущей весной. Обо всем остальном мы договоримся с вами, когда вы приедете и отдохнете здесь. Мне нужно еще сказать вам, что императрица просит меня достать для нее рельефный внутренний и наружный план фернейского замка, с указанием его расположения, садов, аллей и т. д., так как она предполагает восстановить по этому плану в честь г-на де Вольтера этот замок в своем царскосельском парке. По этому поводу я пишу г-ну Троншену, и если бы вы, со своей стороны, могли посодействовать мне в получении этого плана или каких-нибудь других материалов, относящихся к зданию и к месту расположения замка, и прислали бы их мне сюда, я был бы вам за это чрезвычайно обязан. Поговорите об этом с г-ном Троншеном. Я не мог еще сообщить эту новость г-же Дени, так как сам только-что узнал ее, но она доставит ей большое удовлетворение.

Приезжайте, прошу вас, как можно скорее. Я не говорю вам о необходимости проявить особую старательность в этом деле, которое вам предстоит выполнить, так как вполне уверен, что в память г-на де Вольтера

и из уважения и привязанности к императрице вы сделаете все, что только можно ожидать от большого и просвещенного усердия.

Не сомневайтесь в удовольствии, которое я получу, повторив вам лично и в скором времени уверение в чувствах, с которыми всегда пребуду вашим нижайшим и покорнейшим слугой.

Гримм

Отправить книги в Россию в марте 1779 г., как это первоначально предполагалось, не удалось, и они были вывезены из Делис 10 апреля, а 16 мая соединились с книгами, в свое время вывезенными в Париж по требованию Вольтера, а также с рельефным планом Ферне и со статуей Вольтера работы Гудона. Еще перед тем библиотека получила ценное пополнение: к ней были присоединены все английские книги, некогда подаренные и завещанные их владельцем своему другу и соседу Анри Риё (Henri Rieu). Купленные у Риё за 6000 ливров, 227 томов этого собрания, в свою очередь, получили пополнение в составе собранной тем же Риё ценной коллекции сочинений Вольтера, переплетенных в 101 том[12].

От первоначально намеченного пути на Амстердам тоже пришлось отказаться: англо-французские военные действия на море являлись источником весьма реальной опасности, и, учитывая это, русская императрица предписала отправить книги сушей до Любека, где их должен был ждать русский корабль. Ваньеру были высланы документы русского дипломатического курьера, а Гримм снабдил его многочисленными рекомендательными письмами и инструкциями на весь путь вплоть до Любека, где он должен был нагнать свой драгоценный груз. К этим инструкциям имелось приложение под заглавием: «Прибытие в Петербург», заключавшее в себе ряд любопытных для нас характеристик русских вельмож и чиновников, от которых могла зависеть судьба Ваньера[13].

Письмо Гримма от 19 июня 1779 г., полученное Ваньером уже в Любеке, прекрасно рисует нам как предусмотрительное внимание Гримма к судьбе Ваньера, так и то не вполне определенное положение, в котором мог очутиться (и действительно очутился) Ваньер. Дело в том, что, поджидая в Петербурге библиотеку Вольтера, Екатерина сама не знала, какое назначение она даст сопровождавшему эту библиотеку библиотекарю, и не раз в письмах к Гримму подчеркивала, что не испытывает в нем особой нужды, хотя и готова устроить его судьбу. Повидимому, главный интерес для нее от его присутствия заключался в том, что он единственный мог оказать помощь при выборе места в окрестностях столицы, которое напоминало бы Юрские горы, Альпы и Женевское озеро. «Библиотеку же мы пока поместим в комнатах г-жи Левшиной... Рядом с этой библиотекой и Ваньеру найдется уголок»,—пишет она 14/25 июля. Из этого же письма явствует, что, несмотря на сильную склонность его автора к «науке неопределенности, более ему свойственной, чем то принято думать», этот автор, т. е. русская императрица, готов остановиться на том, чтобы поручить Ваньеру разбор и приведение в порядок библиотеки. «Затем он станет чтецом»[14].

Наконец, из того же письма мы узнаем, что в тот день «ни Ваньер, ни библиотека, ни пакетбот еще не вошли в Кронштадский рейд», «но их ждут с часу на час».

Ваньер в своих мемуарах указывает, что прибыл в Петербург 8 августа, т. е. 28 июля ст. ст.[15]. В письме Екатерины к Гримму от 30 июля (10 августа) это событие подтверждается, причем оказывается, что Ваньер приехал

больным[16]. Его болезнь затянулась, и представиться императрице и приступить к работе он смог лишь в середине октября. Но северный климат был вреден для здоровья Ваньера, и он в том же 1779 г. покинул Петербург и вернулся в Ферне[17], где уже с марта 1780 г. начал свою деятельность по реабилитации памяти Вольтера. Ваньеру была назначена русской царицей пожизненная пенсия в 1 500 ливров, но выплачивалась она неаккуратно, и, начиная с 1781 г., Гримму приходилось прибегать к всевозможным ухищрениям для того, чтобы Ваньер мог получать из царского казначейства очередные суммы. Пенсия Ваньеру выплачивалась вплоть до эпохи террора[18].

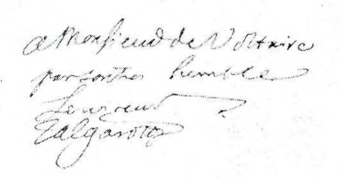
Литературный музей в Москве обладает одним из писем Гримма, как обычно, исполненным и пиэтета к Вольтеру, и внимания к нуждам его секретаря. Вот его текст:

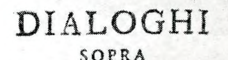
[Париж, 24 декабря 1786 г.]

Г-н де Сожи (Saugy) передал мне, дорогой господин Ваньер, ваше письмо и экземпляр «Болингброка», на котором я хорошо узнал руку бессмертного человека, которого никто никогда не заменит. Я отослал и то и другое к императрице; я не смог бы передать ее величеству вашу просьбу лучше, чем вы это сделали сами.

Прошу вас и вашу семью не забывать меня.

Здоровье мое в нынешнем году было неважно, это оттого, что я был





DIALOGHI

SOPRA

LA LUCE, I COLORI, E L'ATTRAZIONE.

Quæ legat ipſa Lycoris.

DEL CONTE FRANCESCO ALGAROTTI

Ciamberlano di S. M. il Re di Pruſſia, e Cavaliere dell' Ordine del Merito.

IN BERLINO.

MDCCL.

КНИГА Ф. АЛЬГАРОТТИ ИЗ БИБЛИОТЕКИ ВОЛЬТЕРА С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ АВТОРА

Публичная библиотека, Ленинград

загружен тысячью мелких дел, которые меня удручают и мешают мне делать настоящее дело. Так как год приходит к концу, я считал бы самым лучшим, чтобы для получения вашей пенсии вы выписали вексель на меня с отнесением за мой счет понесенных вами расходов. Мне не хотелось обращаться к г-ну Троншену, министру республики, так как это, кажется, нас ни от чего не избавило год тому назад. Прошу вас прислать мне вашу расписку, сообщив, кому вами выписан на меня вексель. Будьте здоровы и рассчитывайте всегда на мою искреннюю привязанность.

Гримм

Париж, 24 декабря 1786 г.

Заботу Гримма Ваньер очень ценил, а благодеяния царицы превозносил до конца своей жизни, в назидание и своим детям и всем соотечественникам Вольтера. Он был далек от верного понимания действий Екатерины, и даже неаккуратная выплата пенсии не умерила того рвения, с которым он время от времени посылал в Петербург свои скромные работы—систематические вклады в дело защиты памяти Вольтера.

При всей скудости сведений о детальных обстоятельствах прибытия библиотеки в Россию, предание определенно утверждает, что она была доставлена прямо в Эрмитаж. Это предание подтверждается косвенной ссылкой историка Эрмитажа на воспоминания Клостермана[19], рассказывавшего о том, как осенью 1779 г. «в Эрмитажном [ныне Ламоттовом] павильоне» он натолкнулся на двух иностранцев—«щуплого и дюжего», по-французски осведомлявшихся о том, кому следовало бы передать «la bibliothèque de M. de Voltaire». Это были только-что прибывшие с корабля Ваньер «и его кучер, с великим множеством ящиков».

До нас дошла опись того, что находилось в ящиках, которые за год до того были сложены в Делис:

1. Богословие и энциклопедические журналы в переплете.
2. Богословие, мемуары Академии наук и «Избранная библиотека» («Bibliothèque Choisie»).
3. История Франции.
4. История Франции н а д н е, то же других наций. Латинские авторы.
5. Словари в лист; Плутарх, Платон, Попурри*.
6. История. Попурри.
7. Вольтер в четверку, Корнель в четверку, Словарь в четверку и т. п.
8. Философия, Вольтер в осьмушку и т. п.
9. Итальянцы, Англичане, Разные французы.
10. Театр. Поэзия. Изящная словесность.
11. Путешествия. Торговля. Естественная история. Медицина.
12. Путешествия. Медицина. Романы. Литература.

Доставленная в Петербург библиотека Вольтера вместе с прежде приобретенной библиотекой Дидро образовала первоначальное научное ядро собственной императорской библиотеки (впоследствии—Эрмитажной). Однако, в отличие от книг Дидро, вскоре же обезличенных и распределенных по разным фондам, библиотека Вольтера хранилась обособленно и дошла до наших дней, как единое целое, со специальным экслибрисом «Bibliothèque de Voltaire» на каждом томе. Если данные старого ферней-

* Под названием «Pots pourris» Вольтер имел обыкновение объединять, отнюдь не по случайному признаку, от 3-4 до 10—15 мелких изданий в одном переплете. Таких сборников в его библиотеке сохранилось свыше двухсот.

ского каталога[20], а также изучение каталогов и инвентарей библиотеки Вольтера (1821, 1839 и 1862 гг.)[21] и позволяют считать необоснованным распространенное в литературе мнение о том, будто книги Вольтера стоят и ныне в том же порядке, как они были расставлены еще в Ферне, то, с другой стороны, эти же данные говорят об отличной сохранности фонда в целом и об его относительно высокой полноте[22]. В литературе, впрочем, отмечались также примеры частичного как обогащения, так и распыления этого фонда в ближайший же за смертью Вольтера период. Так, например, сосед и приятель писателя, Henri Rieu, предложил, как уже указывалось, Екатерине, а последняя купила у него все английские книги, подаренные и завещанные ему Вольтером, а также богатую коллекцию изданий вольтеровских произведений; г-жа д'Эпинэ прислала том копий писем Вольтера к ней и к другим лицам; кроме того, был приобретен список «Зюлимы»; Ваньер присылал то дополнительный экземпляр своего исторического «Комментария» о жизни и сочинениях автора «Генриады», то свои «Замечания» на Кельское издание[23]. А с другой стороны, библиографически уже установлено, что около десятка книг[24], принадлежавших Вольтеру, не дойдя до Петербурга, разными путями попало в западноевропейские собрания, одну же из них —«Lettres de Monsieur de Voltaire à ses Amis de Parnasse, avec des notes historiques et critiques. A Genève MDCCCLXII»—несколько лет тому назад видел и изучил в Томске проф. М. П. Алексеев[25].

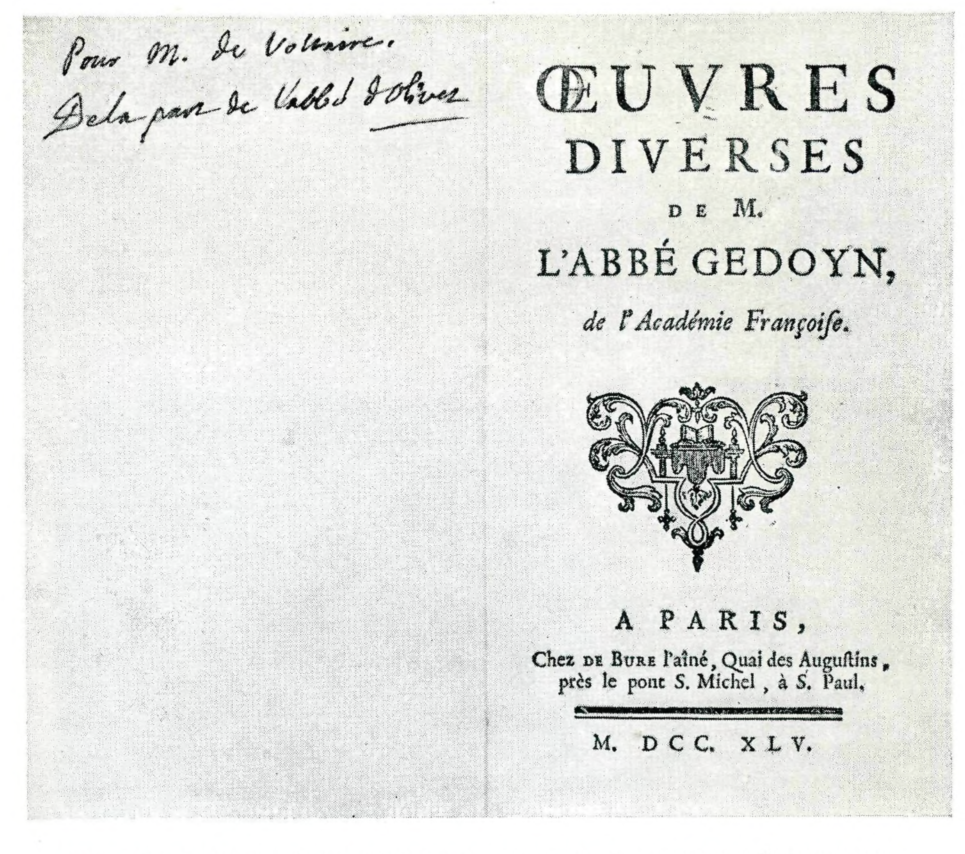
Не удивительно, что все эти не попавшие в Петербург томы принадлежали как раз к числу наиболее богатых маргиналиями. Не будучи библиофильской затеей, библиотека Вольтера сейчас, через два века после своего образования, содержит все же не мало библиографически ценных и редких книг, а начавшееся за самые последние годы систематическое изучение этой библиотеки обнаруживает все новые экземпляры интересных изданий, вовсе не и. естных французским библиографиям и каталогам[26]. Но не в этом основная ценность библиотеки Вольтера. Она интересна, прежде всего, как целое, дающее представление об «арсенале идей» и о качестве документации, которыми располагал столь многосторонний и притом столь живо откликавшийся на общественные события писатель. А каждая отдельная книга сама по себе интересна тем, что, даже не будучи «маргинированной» (термин Вольтера), она позволяет, по дате выхода в свет или приобретения и т. п., строить догадки и делать выводы о творческом ее использовании Вольтером. Еще большего внимания заслуживают те многочисленные книги, которые носят столь красноречивые следы его чтения. Закладками и чистыми и заполненными конспективными записями, наклейками, отчеркиваниями, приписками и т. д.—вообще целой системой пометок семнадцати различных видов Вольтер, не знающий холодного беспристрастия, уснащает страницы получаемых книг. Его пометки редко заключают в себе похвалу, порою они—просто насмешка или брань, но чаще всего в них встречаются фактические поправки, начиная от корректорских и кончая обоснованными полемическими ссылками. При всей своей пристрастности, Вольтер умеет быть и справедливым, особенно в критике стиля или в деле пропаганды тех или иных идей. Так, например, обрушиваясь на дерзающего отрицать «священную собственность» Руссо, Вольтер в своих обильных замечаниях на «Общественный договор» и «Рассуждение о неравенстве» не раз среди стилистических придирок и принципиальной критики воздает должное

отдельным мыслям ненавистного ему автора, кратко отмечая на полях: «bon», «bon cela» и т. п.[27].

Показателен простой перечень пометок на экземпляре перевода «Илиады», сделанного Ламоттом, вернее, на полях вступительного рассуждения автора перевода о Гомере (в изд. 1714 г.)[28]. Мы тут найдем и чистую закладку, и отчеркивание на полях, и подчеркивание отдельных слов, и корректурные исправления пропущенного слова, и, наконец, заметки на полях— то сочувствующие мыслям автора, то резко расходящиеся с ними, то носящие характер фактических справок: «Очень верно, а значит и очень хорошо»; «Брови Юпитера, потрясающие небо, кажутся мне лишь смешными»; «Если бы Гомер, действительно, хорошо изобразил все эти различные характеры, он заслуживал бы восхищения. Но Ахилл выдает Бризеиду, как трус и дурак, он убивает Гектора, как подлец, и обращается с его трупом, как каннибал»; «Об этом в те варварские времена столько еще не знали»; «Боги Гомера—сами первые нечестивцы»; «Забавно, что два коня Ахилла бессмертны, а их хозяин не бессмертен». Обильные маргиналии в издании драмы Беллуа «Гастон и Баярд»[29] дают нам то истинное представление об отношении Вольтера к произведениям этого автора, которого бы мы ниоткуда узнать не могли: самые неумеренные по тону, насмешливые, презрительные, даже ругательные замечания (на протяжении целого первого акта) завершаются гневным: «Пошел, ты мне слишком надоел!» («Va t'en, tu m'ennuies trop!»), после чего книжка, видимо, была в негодовании отброшена: все ее последующие страницы, оставшиеся девственно чистыми, свидетельствуют о том, что драма Беллуа так и осталась недочитанной Вольтером.

Пометки Вольтера на книгах глубоко искренни; они являются отражением первого порыва впечатлений и не искажены никакой боязнью формы, так как предназначены лишь для интимного употребления. А для столь импульсивного темперамента (при всей осторожности и гибкости его политического лавирования), какой был у Вольтера, это—момент совершенно исключительной важности для выяснения его подлинных позиций в целом ряде вопросов. В этом отношении какое-либо одно слово маргиналий, разумеется, взятое не изолированно, но в надлежащем контексте, может подчас для исследователя дать не меньше, чем целые главы вольтеровских текстов и даже чем целые серии писем к самым близким друзьям.

Специфический интерес имеют те пометки Вольтера, которые маскируют или, напротив, позволяют определенно приписать или отвергнуть его авторство в отношении отдельных произведений, особенно, если такие пометки совпадают с позднейшими справками Ваньера. Такое совпадение мы имеем, например, в следующем случае. В V томе так наз. «последнего» издания «Полного собрания сочинений г-на де...» (1764 г.), на странице 148-й, единственная маргинальная пометка под заголовком к полемическому сочинению «Le Préservatif» гласит: «Это сочинение не мое: оно написано г-ном де ла Маром»[30]. Необходимо иметь в виду, что в свое время принадлежность этого сочинения Вольтеру опровергалась им с особой настойчивостью и с несравненно большей, чем во многих подобных случаях, убедительностью. Но если некоторые биографы Вольтера и склонны были доверять ему в этом вопросе и признавали кавалера де Муи не подставным издателем, а истинным автором, то издатели вплоть до Молана не смущались систематически включать эту пьесу в собрания вольтеровских сочинений. Публикуемая выше переписка Вольтера по



Pour M. de Voltaire.
De la part de l'abbé d'Olivet

ŒUVRES
DIVERSES
DE M.
L'ABBÉ GEDOYN,
de l'Académie Françoise.

A PARIS,
Chez DE BURE l'aîné, Quai des Augustins, près le pont S. Michel, à S. Paul.

M. DCC. XLV.

КНИГА АББАТА ЖЕДУЭНА ИЗ БИБЛИОТЕКИ ВОЛЬТЕРА С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ АББАТА Д'ОЛИВЕ

Публичная библиотека, Ленинград

этому вопросу (см. II гл. наст. публ.), в сочетании с приведенной маргинальной пометкой на полях экземпляра, явно не предназначенного для распространения на стороне, как кажется, может считаться совершенно решающей в данном споре. Тем более, что и Ваньер в своих «Замечаниях и поправках» на Кельское издание, опять-таки не рассчитанных на гласность, а направленных для личного пользования русской царицы, также отвергает авторство Вольтера и безоговорочно называет ла Мара[31].

Учитывая самую разностороннюю, пусть даже не всегда методологически удовлетворительную, но часто весьма мелочную изученность всех известных вольтеровских текстов, именно сюда, на его откровенные и язвительные маргиналии, как на материал совсем не использованный, должен будет направить свое внимание марксистский исследователь, литературовед или историк, при классовом анализе вольтеровских позиций.

В 1927 г. Г.-Р. Хевенс и Н.-Л. Торрей сделали—правда, на основании довольно беглого ознакомления с составом библиотеки—ряд интересных подсчетов относительно историко-литературного состава библиотеки и представленных в ней авторов. Подсчеты эти значительно дополняют опубликованные в 1861 г. соответствующие сведения хранителя эрмитажного собрания—Жиля[32]. Но, разумеется, лишь завершение предпринятой в недавние годы систематической работы по научному описанию библиотеки Вольтера и по выявлению всех маргиналий даст возможность

исследователям приступить к непосредственному и всестороннему изучению всего круга вопросов, связанных с этим фондом.

Здесь немало вопросов специального порядка, но еще больше вопросов широкого научного интереса.

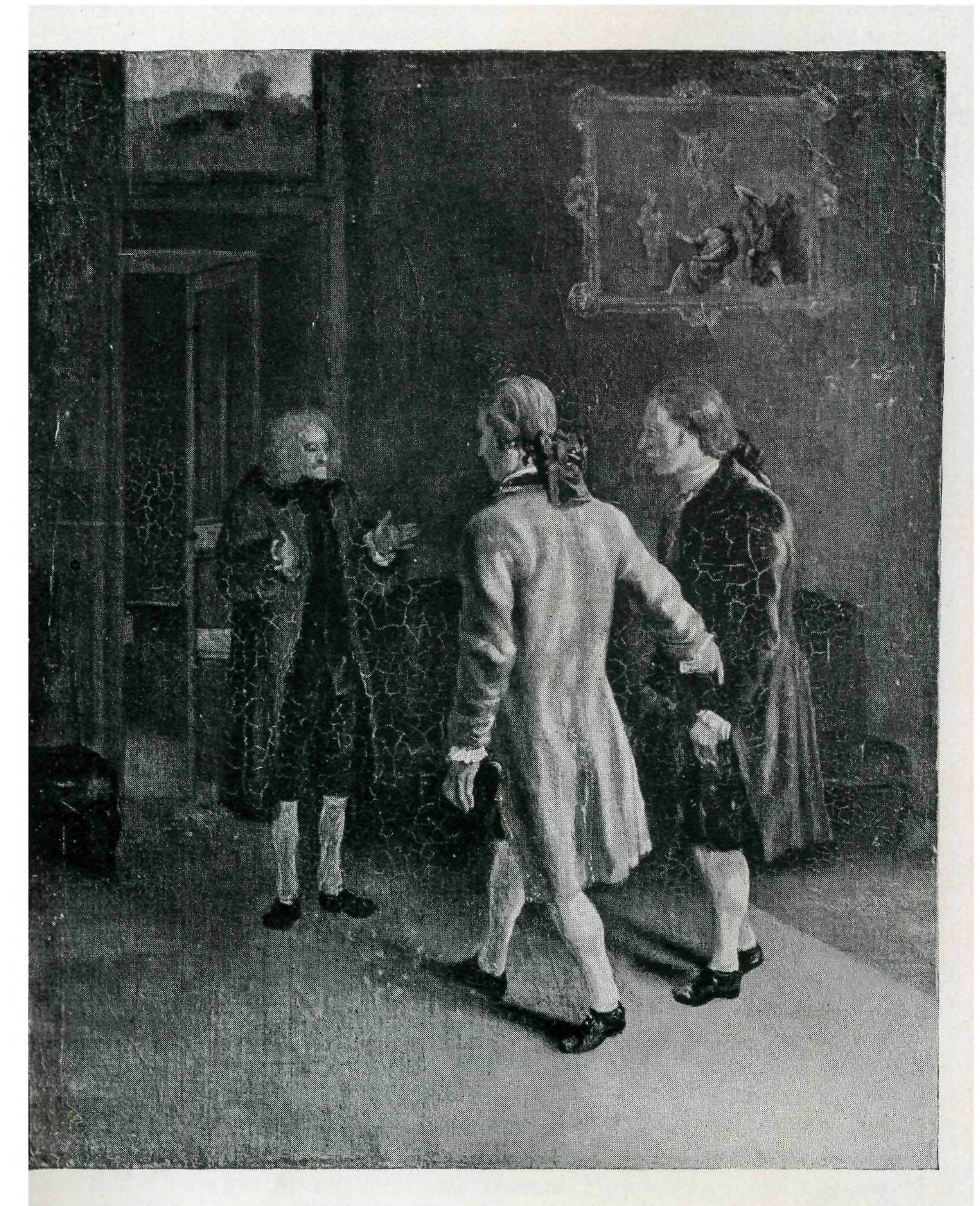
К первой группе относятся: характер пополнения и роста библиотеки, методы документации Вольтера по отдельным занимавшим его темам, преобладающие интересы его, как владельца библиотеки, умение Вольтера пользоваться книгой в справочных целях, изумительная его читательская память и т. д. и, наконец, наиболее существенный вопрос—о времени образования ленинградского собрания: только ли фернейская это библиотека, или же, напротив того, в ее состав вошли собрания, принадлежавшие писателю в более раннее время, чем в годы его жизни в Ферне. На одном частном примере (факт пользования двумя книгами еще в 30-х годах в Сире) нам удалось показать бесспорное наличие в библиотеке Вольтера изданий, приобретенных в дофернейский период его жизни[33].

Ко второй группе следует отнести вопросы, касающиеся социальных позиций Вольтера, его мировоззрения и творческого метода. Например, вопрос об отношении Вольтера к книге, как орудию классовой борьбы, или, по терминологии того века, «как к источнику истин и заблуждений»[34], вопрос об идеологической стороне состава его библиотеки (каковы были преобладающие литературные вкусы Вольтера, эпизоды и темы, вызывавшие в нем наиболее живой отклик и др.) и, наконец, вопрос о том, как велась им редакционная работа над собственными произведениями.

Все эти исследовательские задачи приходится формулировать так обще лишь потому, что этап всестороннего изучения библиотеки Вольтера, базирующегося на солидной основе научного каталога, перечня маргиналий и тематической разработки их, сейчас еще не наступил. Фонд далеко не обследован, и даже библиографическое его описание требует длительных сроков именно потому, что дошедшие до нас каталоги XIX в. этой задачи не разрешили, ограничиваясь более или менее бесхитростным указанием на номинальное заглавие книги и даже не вскрывая тех многих псевдонимов, под которыми так любили скрываться памфлетисты века Вольтера и, в первую очередь, он сам.

Библиотека Вольтера слишком долго находилась в забвении. От конца XVIII века и от первой четверти XIX века только в архивах Эрмитажа сохранились кое-какие упоминания о ней. Отношение представителей господствующего класса к этому арсеналу идей, породивших, как тогда думали, весь революционный пожар, или, как бы мы сказали, идейно вооруживших буржуазию для борьбы с господствовавшим перед революцией классом, характеризуется в пору феодальной реакции начала 20-х годов прошедшего столетия полными презрения и гнева строками Жозефа де Местра, первого и единственного за этот период писателя, заговорившего в печати о библиотеке Вольтера. Как видно из его слов в «Санкт-петербургских вечерах», в этой библиотеке он видит лишь доказательство «крайней посредственности сочинений, некогда удовлетворявших потребности фернейского патриарха», с которым вообще «следует, наконец, покончить»[35].

Первые более объективные по тону сведения о библиотеке мы встречаем в «Письмах, писанных г-ну К.-Б. Сентину в 1826 г., в эпоху коронования е. в. императора», принадлежащих перу М. Ансло[36]. Автор, среди достопримечательностей Петербурга, упоминает и о библиотеке Вольтера, «рас-



ВОЛЬТЕР, ВСТРЕЧАЮЩИЙ ГОСТЕЙ
Картина маслом Жана Гюбера, 1770—1775-е гг.
Эрмитаж, Ленинград

положенной в том же порядке», в каком она стояла у своего первого владельца, и «состоящей из 6760 томов». Это книжное собрание М. Ансло пришлось видеть только через стекла шкафов, оставшихся запертыми во все время осмотра им книжных богатств Вольтера, но, «насколько можно было судить по заглавиям», «большая часть книг посвящена истории и философии, многие... относятся к богословию, и... в особенности эти последние ощетинились бумажками, указывающими на наличие пометок Вольтера».

Ряд свидетельств о библиотеке Вольтера, начатый в 20-х годах XIX в. Жозефом де Местром и Ансло, продолжают в 50-х—60-х годах Леузон Ле Дюк[37], Э. Гарде[38], Г. де Ла Феррьер[39] и, наконец, уже в 1913 г., Ф. Косси[40]. Только Леузон Ле Дюк дал более самостоятельный очерк библиотеки, и только последний из названных авторов, Ф. Косси, достойно оценил неисчерпаемое научное богатство этого фонда, начав на его базе широко задуманную серию публикаций материалов[41]. Впрочем, и перед этими двумя авторами на первое место выступили рукописи, а не маргиналии, что и было вполне закономерно на той стадии изученности вольтеровского текста. Однако, когда в 1832 г. после целого ряда затруднений и хлопот в библиотеку Вольтера попал А. С. Пушкин — единственный русский за всю первую половину XIX в., которому посчастливилось быть допущенным к книжным богатствам Вольтера, то от рукописей по истории России при Петре I, ради которых он пришел, он обратился к богато маргинированным фолиантам[42]. И нынче мы, отнюдь не умаляя выдающегося значения вольтеровских рукописей (о которых речь пойдет далее), должны всячески подчеркнуть совершенно самостоятельное и притом необычайно важное значение изучения именно маргиналий.

После передачи в 1861 г. вольтеровской библиотеки из Эрмитажа в Публичную библиотеку она стала немногим более доступной, чем во время ее пребывания во дворце,—было установлено правило: из ее состава в день выдавать не свыше пяти томов. Не удивительно поэтому малое знакомство с этим фондом русских ученых и слабое использование его французскими исследователями, о чем говорилось в начале этой главы.

Подводя итоги о библиотеке Вольтера, скажем следующее. Фонд этот, численность которого в течение столетия точно определена не была, а по (сомнительной) статистике Публичной библиотеки в 1879 г. сводилась к 3420 названиям в 6902 томах[43], должен быть безотлагательно включен в орбиту советского и мирового литературоведения. Ценность его, прежде всего, заключается в собственноручных пометках Вольтера на полях нескольких сотен книг, а также и в изданиях, до сих пор остававшихся неизвестными. И то и другое, однако, должно изучаться не иначе, как при условии обязательного привлечения к делу исследования всей полноты идейно и хронологически смежного материала. При этом условии изучение библиотеки Вольтера может внести, действительно, содержательные новые данные в биографию и творческую историю Вольтера, а вместе с тем, и в общественную историю его времени.

РУКОПИСИ ПУБЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ. М. Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА

Собрание вольтеровских рукописей Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде распадается на две неравноценные части.

Одну из них образуют автографы, хранящиеся в различных собраниях Рукописного отделения Библиотеки. Это—по преимуще-

ству изолированные документы безбрежного моря вольтеровского эпистолярного наследия. Другую и основную часть составляют целых 20 томов рукописей, хранящихся в составе библиотеки Вольтера. Это ценнейшее собрание составилось под наблюдением самого писателя и было органически сгруппировано после его смерти Ваньером.

Все эти материалы, как уже указывалось, были описаны в 1913 г. французским литературоведом Фернаном Косси, и в этом отношении фонды Публичной библиотеки существенно отличаются от всех прочих собраний СССР.

Что же представляют собою эти материалы?

Оставляя пока в стороне документы Рукописного отделения, относительно рукописей библиотеки Вольтера укажем, прежде всего, что они распадаются в основном на 2 серии:

1) «Рукописи, относящиеся к истории России при Петре Великом»,— пять томов («Manuscrits relatifs à l'histoire de Russie sous Pierre le Grand»).

2) Общая и основная серия рукописей Вольтера, включающая: десять томов в четверку и три тома в лист, в красных сафьяновых переплетах, с общей нумерацией томов I—XIII, и, кроме того, три тома, занятые: а) копией «Записок, служащих для жизнеописания г-на Вольтера, писанных им самим» («Mémoires pour servir à la vie de M. de Voltaire écrits par lui-même»), б) копией писем Вольтера к г-же д'Эпинэ и другим лицам, в) копией трагедии «Зюлима».

Охарактеризовать, хотя бы самым суммарным образом, содержание первой из названных серий чрезвычайно трудно. Коричневые кожаные переплеты этих пяти томов in folio скрывают множество подлинных писем, копий официальных документов, выдержек из сочинений современников (в годы работы Вольтера еще не всегда напечатанных), специально для Вольтера по заказу Шувалова составлявшиеся сводки-перечни собственных имен, данных об отдельных городах и землях и т. п., целые вопросные листы, посылавшиеся Вольтером в Россию вместе с ответами петербургских ученых и пр.

Что же касается основной серии, то, ввиду чрезвычайно малой распространенности «Инвентаря рукописей Вольтера» Ф. Косси, приведем здесь краткий перечень содержания отдельных ее томов.

I том занят, главным образом, драматическими текстами Вольтера. Сюда входят рукописи пьес «Ирена», «Агафокл», «Атрей и Тиест», «Право господина», «Аделаида Дюгеклен», «Братья-враги», «Эрифила», «Самсон», «Саул и Давид», «Две бочки», «Барон Отрантский», «Хозяин и хозяйка». Писанные большею частью рукой секретарей, тексты эти носят немалочисленные следы исправлений самого Вольтера и дают ряд не известных до сих пор вариантов, несомненно отражающих последнюю стадию работы автора над этими произведениями при подготовке их к новому изданию. Первые две трагедии, «Ирена» и «Агафокл», представлены двумя списками каждая, отражающими разные стадии творческой переработки текста этих произведений. Всего в I томе 403 листа.

II том—чрезвычайно пестрого содержания. В него входят преимущественно письма разных лиц к Вольтеру, стихи и послания, ему посвященные, а также собрание выписок и копий разных стихов, куплетов и анекдотов, в том числе и «анекдоты о царевиче и г-же д'Обан, мнимой его вдове»[44]. Всего 427 листов.

III том по составу близок к предыдущему. Кроме того, в нем находятся любопытные планы фернейской церкви и подбор материалов о самоубийствах[45]. Всего 369 листов.

IV том содержит, главным образом, черновые материалы исторических трудов Вольтера, выписки, копии исторических документов, брошюры о событиях 1745 г. и т. п. Всего 188 листов, включая 76 листов печатного текста.

V том—это знаменитый «Sottisier», т. е., казалось бы, бессистемный сборник отдельных анекдотических мелочей, подчас весьма вольного содержания. Но, по существу, материалы этого тома являются обильнейшей и ценнейшей документацией для сочинения Вольтера «Век Людовика XIV». Это — единственная часть материалов библиотеки Вольтера, попавшая в издания Бёшо и Молана[46]. Всего 134 листа.

VI том почти сплошь занят разнообразными документами, относящимися к ряду судебных процессов—Лалли, Лабарра, Эталлонда и др. Исторически ценная документация эта была собрана Вольтером в связи с той борьбой, которую он вел за реабилитацию этих жертв фанатизма и судейской рутины. Всего 310 листов, в том числе 119 листов печатного текста.

VII том занят исключительно черновиками писем Вольтера, писанными как собственноручно, так и диктованными Ваньеру. Среди них 142 письма к Фридриху II и 69 писем к разным лицам, в том числе к Даламберу, Кондорсе, г-же Дю Деффан, Альгаротти, И. И. Шувалову, Шуазёлю, Ришелье и к шести разным коронованным особам. За единичными исключениями, все эти письма, по подлинникам или копиям с них, изданы, но ленинградские черновики остаются до сих пор вовсе не изученными. Всего в VII томе 181 лист.

VIII том является как бы продолжением тома IV. Здесь содержатся материалы для исторических сочинений Вольтера: «Опыт о нравах», «Век Людовика XIV» и «Век Людовика XV». Кроме того, в том входят документы по так называемому делу Ла Бурдонне (т. е. относящиеся к одной из экспедиций французской Индийской компании). Всего 272 листа.

IX том, содержащий, помимо рукописей Вольтера, часть архива г-жи Дю Шатле, в полном виде до нас не дошедшего, был уже охарактеризован нами выше (см. начальные строки главы I). В IX т. 452 больших листа.

X том—исторические материалы, «смесь», научные записки разных авторов, копии различных стихов (не Вольтера), разнообразные отрывки, письма к Вольтеру и т. п. Всего 392 листа.

XI и XII томы целиком заняты письмами к Вольтеру Фридриха II и некоторыми литературными опытами последнего. Имеется целый ряд автографов, использованных при издании «Трудов Фридриха Великого». Всего 270 — 291 листов.

XIII том включает весьма разнородные, но очень любопытные документы. Среди них отметим несколько листков с корректурными исправлениями «Истории установления христианства» (решающие бесспорно вопрос о принадлежности этого сочинения Вольтеру); письма Вольтера к Ваньеру, 35 вольтеровских писем к г-же Дени и ода А. П. Шувалова, ей посвященная (в 1779 г.), под названием «Вольтеру» (печатное издание), автографы писем и черновиков Вольтера, планы и чертежи фернейской церкви, материалы по экономической деятельности Вольтера—по устроению им своего поместья и всей вообще области Жекс, в которой находи-

лось Ферне (борьба с пошлинами, освобождение сервов и т. п.), переписка с швейцарскими властями, письма пастора Верне и др. Всего 360 листов.

Таково, в кратком изложении, основное содержание рукописных материалов библиотеки Вольтера.

Переходя к вольтеровским документам Рукописного отделения Публичной библиотеки, следует, прежде всего, указать, что здесь хранится такая исключительная по своему значению коллекция, как так называемое «Бастильское дело», т. е. собрание документов, захваченных у Вольтера при его первом аресте, и содержащее, среди других материалов, подбор писем самого Вольтера к полицейским властям за 1718—1755 гг.

Здесь же, в Рукописном отделении, хранятся, кроме описанных в «Инвентаре» Косси, еще следующие подлинники текстов Вольтера:

1) Письмо к графине Вертейяк (Verteillac) от 30 мая 1746 г.—Собрание П. К. Сухтелена. Опубликовано: Moland, XXXVI, № 1823.

2) Письмо к Во де Жири, аббату Сен-Сирскому от 24 февраля 1754 г.— Собрание П. К. Сухтелена. См. в настоящей публикации, стр. 153.

3) Письмо к женевцу Франсуа-Пьеру Пикте (Pictet) от 12 марта 1762 г. Опубликовано: F[ernand] B[aldensperger], Flamin, Patouillet, Lettres inédites ou négligées de Voltaire ayant trait à son rapport avec l'Etranger.—«Revue de Littérature Comparée», 1931, № 2, 271 (с неверным истолкованием адресата, как гр. Строганова).

4) Письмо к А. П. Сумарокову от 26 февраля 1769 г. Опубликовано: Moland, XLVI, № 7485.

5) Письмо к герцогу де Прален (de Praslin) от 24 января 1770 г.—Собрание Вакселя (Юргенсона). Опубликовано: Moland, XLVI, № 7760.

6) Запись о Даламбере от 3 сентября 1770 г. Листок из альбома шведского путешественника Иакова Бьёрнсталя (Bjœrnstaehl).—Собрание П. К. Сухтелена. См. в настоящей публикации, стр. 156 и 161.

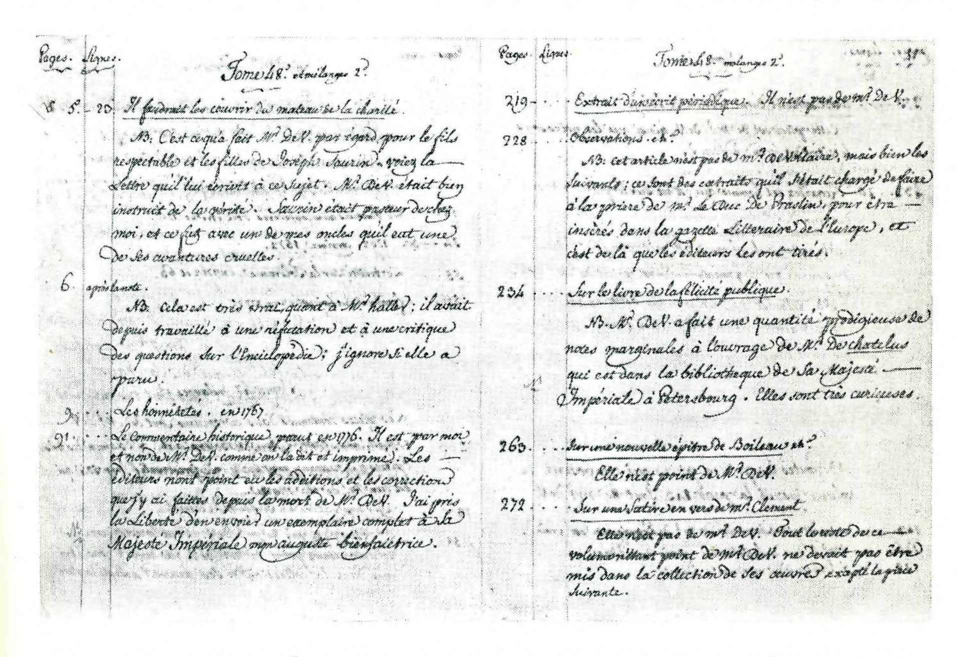
7 и 8) Два письма к И. И. Шувалову от 29 июня неизвестного года и от 22 марта 1774 г. Копии рукой Maratray de Cussy в составленном им альбоме «Consolation de l'absense». См. ниже, в настоящем издании, публикацию «И. И. Шувалов и его иностранные корреспонденты».

9) Письмо к советнику Троншен-Каландрену (Tronchin-Calendrin) от 14 мая неизвестного года.—Из собрания Андреева. См. в настоящей публикации, стр. 155.

Чтобы правильно оценить все значение вольтеровского фонда ленинградской Публичной библиотеки, необходимо указать, что в совокупности своей он охватывает, с бо̀льшей или меньшей полнотой, буквально все этапы жизни и творчества великого писателя. Так, первый юный парижский период отражен в документах «Бастильского дела», «английский» период 1726—1729 гг. представлен тетрадкой, служившей Вольтеру для изучения английского языка, а также записями различных поговорок и эпиграмм. Краткий второй парижский период и самый плодотворный и длительный сирейский период богато представлены множеством писем и документов вплоть до ученых трудов самой хозяйки Сире—«божественной Урании». Период жизни в Потсдаме при дворе, в годы 1751—1753, отражен весьма скромно, почти одной перепиской Вольтера с его племянницей. Наоборот, для следующего полукочевого этапа (вплоть до приобретения Ферне в 1758 г.) ленинградские материалы вновь дают значительное количество источников; долгий фернейский период (до начала 1778 г.) представлен наиболее обильно. Наконец, ряд источников относится к краткому

предсмертному этапу, к дням парижских триумфов Вольтера: письма уже больного поэта, черновики стихов 1778 г., обмен письмами относительно звания «королевских комедиантов», полемика с Клеманом и другие письма.

Произведенный нами краткий обзор вольтеровских материалов Публичной библиотеки показывает, каким исключительным по своей ценности источником новой научной документации по Вольтеру мы располагаем. Необходимо, однако, еще раз констатировать, что планомерной и углубленной научной разработке эти богатства все еще не подвергнуты. Многообещавшей попытке широкого научного использования материалов Публичной библиотеки, сделанной Ф. Косси—составителем «Инвентаря» этого собрания, не суждено было осуществиться. Опираясь преимущест-


Pages. Lignes. Tome 48.e Mélanges 2.d

5. — 20. Il faudrait les couvrir du manteau de la charité.

NB: C'est ce qu'a fait Mr. De V. par égard pour le fils respectable et les filles de Joseph Saurin. Voiez la lettre qu'il lui écrivit à ce sujet. Mr. De V. était bien instruit de la vérité. Saurin était pasteur de chez moi, et ce fut avec un de mes oncles qu'il eut une de ses avantures cruelles.

6. après la note.

NB. Cela est très vrai, quant à Mr. Haller; il avait depuis travaillé à une réfutation et à une critique des questions sur l'Encyclopédie; j'ignore si elle a paru.

9. . . Les honnêtetés, en 1767

91. . . Le Commentaire historique parut en 1776. Il est par moi et non de Mr. De V. comme on l'a dit et imprimé. Les éditeurs n'ont point eu les additions et les corrections que j'y ai faites depuis la mort de Mr. De V. J'ai pris la liberté d'en envoier un exemplaire complet à Sa Majesté Impériale mon auguste bienfaitrice.

Pages. Lignes. Tome 48.e Mélanges 2.d

219. . . Extrait d'un écrit périodique. Il n'est pas de Mr. De V.

228. . . Observations etc.

NB: cet article n'est pas de Mr. De Voltaire, mais bien les suivants; ce sont des extraits qu'il s'était chargé de faire à la prière de Mr. le Duc de Praslin, pour être insérés dans la gazette littéraire de l'Europe, et c'est de là que les éditeurs les ont tirés.

234. . . Sur le livre de la félicité publique.

NB. Mr. De V. a fait une quantité prodigieuse de notes marginales à l'ouvrage de Mr. de Chatelus qui est dans la bibliothèque de Sa Majesté Impériale à Petersbourg. Elles sont très curieuses.

263. . . Sur une nouvelle épitre de Boileau etc.

Elle n'est point de Mr. De V.

272. . . Sur une Satire en vers de Mr. Clement

Elle n'est pas de Mr. De V. Tout le reste de ce volume n'étant point de Mr. De V. ne devait pas être mis dans la collection de ses œuvres, excepté la pièce suivante.

СТРАНИЦЫ „ЗАМЕЧАНИЙ ВАНЬЕРА НА КЕЛЬСКОЕ ИЗДАНИЕ СОЧИНЕНИЙ ВОЛЬТЕРА"
Рукопись, поднесенная Ваньером Екатерине II и хранящаяся в библиотеке Вольтера
Публичная библиотека, Ленинград

венно на ленинградские материалы, Ф. Косси собирался издать 9 томов неопубликованной вольтерианы. Однако, повидимому из-за войны 1914 г., он успел издать лишь один том исторических текстов.

Что касается самого «Инвентаря» Косси, то, являясь пока единственным научным описанием основного собрания вольтеровских рукописей в Публичной библиотеке, издание это содержит в себе ряд крупных дефектов и не может считаться вполне надежным пособием. Покажем это здесь на одном примере. В Рукописном отделении Публичной библиотеки хранится рукопись «Собрания автографов» № 288. Рукопись эта содержит уже упоминавшееся полицейское дело о Вольтере, сохранявшееся в архиве парижской полиции в Бастилии и попавшее в Публичную библиотеку, повидимому, одним путем с прочими ее бастильскими материалами, т. е. через Дубровского, успевшего еще 15 июля 1789 г. набрать на месте неплохую часть разгромленного архива, до того, как были приняты меры к его охране[47].

Наиболее сенсационную часть этого «досье»—переписку Вольтера с полицией—еще в 50-х годах опубликовал Леузон Ле Дюк. Он издал во Франции, среди ряда работ о России и русской литературе, целую книгу «Вольтер и полиция», откуда все эти письма и перешли в дальнейшие издания сочинений Вольтера. Но сколько-нибудь систематически исчерпывающее научное описание всего содержания этой рукописи не входило в задачу этого автора[48]. Такую задачу, наоборот, должен был, естественно, ставить себе Ф. Косси в соответствующем разделе своего «Инвентаря»[49]. Однако, легко убедиться, что его описание рукописи «Собрания автографов» № 288 совершенно не выдерживает критики. Помимо нескольких десятков мелких, но подчас немаловажных погрешностей и ошибок (или опечаток), искажающих датировки документов, основной дефект описи состоит в том, что она почти целиком выполнена не на основании подлинного «Бастильского дела», а на основании копии с него, хранящейся вместе с ним и под тем же номером (сделана в XIX в. не вполне полно и не вполне исправно). В этом совершенно бесспорно убеждают нас следующие факты: 1) в подлинной рукописи имеется ряд материалов, не вошедших ни в эту копию, ни в опись Косси. 2) «Инвентарь» Косси повторяет, как правило, ряд ошибок и пропусков копии, отсутствующих в подлиннике. 3) Отмеченные Косси пропуски лл. 128—148 и 234—245 описываемой им рукописи объясняются тем, что соответствующие этим пропускам документы ошибочно вплетены не в копию, а в подлинное дело.

Опуская многочисленные примеры тех новых данных для характеристики содержания рукописи «Собрания автографов» № 288, которые можно извлечь, изучая ее подлинник, отметим здесь лишь одно, в историко-литературном отношении наиболее любопытное обстоятельство. Отсутствуя в копии, оказалась вовсе не отмеченной в «Инвентаре» Косси часть тех документов чисто литературного содержания, которые составляют как бы вводную главу подлинного дела, занимая три первых десятка его страниц. Эти документы остались, таким образом, неведомыми науке, тогда как их изучение могло бы привести исследователей к ряду интересных и подчас неожиданных наблюдений. В частности, можно бы было доказать, что в состав первоначального подлинного «дела» могли входить лишь единичные пьесы Вольтера из числа тех, которые входят в него сейчас. Все остальные были написаны им уже после второго его заключения в Бастилию в 1726 г., а один небольшой листок со стихами, несомненно, нужно датировать даже 1778 г., т. е. годом смерти писателя. О первоначальной внешней форме этого дела нам ничего неизвестно. Но несомненно лишь, что подшивка бумаг была произведена уже в Публичной библиотеке в XIX в. (вспомним о вшитых в подлинное дело копиях). Несомненно и то, что полицейское дело не закончилось в 1755 г. (дата наиболее позднего из писем) и вообще было гораздо обширнее. Изучение рукописи «Собрания автографов» № 288 приводит к выводу, что в ней мы имеем не целое неприкосновенное «Бастильское дело», как думал Ансло, и не собственный портфель поэта, запечатанный в Бастилии и вскрытый лишь в Санкт-Петербурге, как утверждал Леузон Ле Дюк[50], а подбор документов, сделанный первым владельцем рукописи—Дубровским. Очевидно, получив в свои руки весьма разрозненный материал и комплектуя его в сборник, Дубровский включил сюда вполне произвольно или даже по явному недоразумению (стихи 1778 г.!) те документы, которые никак не могли быть в подлинном «деле».

АВТОГРАФ ЗАПИСЕЙ ВОЛЬТЕРА О РЕЛИГИИ

Из IX тома рукописей библиотеки Вольтера

Публичная библиотека, Ленинград

РУКОПИСИ И ДОКУМЕНТЫ ОТДЕЛЬНЫХ СОБРАНИЙ

Если при всей неизученности вольтеровских коллекций Публичной библиотеки, состав их рукописей учтен и хотя бы суммарно известен, то этого отнюдь нельзя сказать о тех многочисленных листках вольтеровских текстов, которые рассеяны по ряду других собраний СССР. Поэтому, приступая к перечню вольтеровских материалов в советских собраниях, считаем необходимым сразу же оговориться, что перечень наш весьма далек от исчерпывающей полноты: несомненно, что в богатых фондах наших архивов имеется еще целый ряд автографов Вольтера или копий с них, оставшихся нам неизвестными. Еще в бо̀льшей степени такую оговорку необходимо сделать в отношении смежных материалов—например, писем к Вольтеру. В настоящем обзоре эту группу документов мы смогли учесть лишь в порядке попутных, а потому достаточно случайных наблюдений.

С другой стороны, не подлежит сомнению факт исчезновения некоторых автографов Вольтера, о существовании которых нам известно из ряда источников и наличие которых в русских коллекциях было уже давно удостоверено. Такая участь постигла как материалы частных собраний, так и автографы Вольтера, некогда хранившиеся в составе русских правительственных коллекций, перешедших после революции в собрания центральных архивных учреждений СССР. Так, например, в описании Архива Академии наук СССР, вышедшем в 1934 г., мы находим указание на то, что в середине XIX века некоторые документы вырезались из переплетенных в XVIII веке томов, и в настоящее время ряд ценнейших документов отсутствует, например, письма Вольтера и других выдающихся лиц[51]. Давно уже затерялись следы богатой библиотеки в селе Молдаваное (б. Карачского уезда Орловской губернии), некогда принадлежавшей видному деятелю екатерининских времен, Г. Н. Теплову. Здесь, наряду с интересным подбором книг, хранилось «несколько свертков никогда не изданной переписки с Тепловым и Разумовским», в том числе и Вольтера[52].

Невозможно разыскать в настоящее время и такой исключительно важный документ, полностью никогда не опубликованный, как присланное Вольтером на соискание премии Вольно-экономического общества сочинение о крестьянской собственности. Материалы об этом конкурсе, происходившем в 1767 г., позволяют бесспорно установить, что сочинение, поступившее одним из первых—«рукопись № 9»—под анонимным девизом «Si populus dives, rex dives» («Если богат народ, то богат и царь»), в действительности принадлежало перу Вольтера. По содержанию своему оно близко примыкало к опубликованному тремя годами позже тексту статьи «Собственность» («Propriété») в «Философском словаре». Представленное сочинение заслужило почетный отзыв, должно было удостоиться напечатания, но напечатано не было. Рукопись должна была сохраняться и, действительно, сохранялась, по крайней мере, до конца 70-х годов прошлого века, когда ее видел и изучал В. И. Семевский[53]. Но дальнейшая нить теряется, и «рукопись № 9» в настоящее время разыскать не удается. Судя по данным, приводимым Семевским в «Крестьянском вопросе при Екатерине», Вольтер выступал в этом сочинении в защиту крестьянской собственности с весьма характерной аргументацией. «Все крестьяне не будут богаты,—писал Вольтер,—да этого и не нужно; нужны люди, у ко-

ſiſte longtems. Le voyageur français en relliſant avec attendriſſement la lettre éloquente & touchante du Roi, que nous avons transcrite, diſait : *apres une telle lettre je ne peux qu'avoir un très-grand tort.*

L'échappé de Berlin avait un petit bien en Alzace ſur des terres qui appartiennent à Mgr. le duc de Virtemberg. Il y alla, & s'amuſa, comme je l'ai déjà dit, à faire imprimer les *Annales de l'Empire*, dont il fit préſent à Jean Frédérie Shoeflin libraire à Colmar, frere du célebre Shoeflin, profeſſeur en Hiſtoire à Strasbourg. Ce libraire était mal dans ſes affaires. Mr. de Voltaire lui prèta dix mille livres : ſur quoi je ne puis aſſez m'étonner de la baſſeſſe avec laquelle tant de barbouilleurs de papier ont imprimé, qu'il avait fait une fortune immenſe par la vente continuelle de ſes ouvrages.

Lorſqu'il était à Colmar, Mr. Vernet français réfugié miniſtre de l'Evangile à Geneve, & Mrs. Cramer, anciens citoyens de cette ville fameuſe, lui écrivirent pour le prier d'y venir faire imprimer ſes ouvrages. Les deux freres, qui étaient à la tête d'une librairie, obtinrent la préférence, & il la leur donna aux mêmes conditions qu'il l'avait donnée au Sr. Shoeflin, c'eſt-à-dire, gratuitement. (*) Il alla donc à Geneve (°) avec ſa niece & Monſieur Coligni ſon ami qui lui ſervait de Secrétaire, & qui a été depuis celui de Monſeigneur l'Electeur Palâtin & ſon Bibliothécaire.

Il acheta une jolie maiſon de campagne à vie auprès de cette ville, qui nomma les Délices, dont les environs

(*) Messieurs Cramer peuvent et doivent en rendre témoignage. Je puis d'ailleurs certifier à tous les détracteurs de Mr. De Voltaire que pendant les vingt cinq années que j'ai eu le bonheur de lui être attaché, il n'a jamais exigé la moindre rétribution d'aucun de ses ouvrages, qu'au contraire il en a même acheté des exemplaires pour donner à ses amis ; et qu'il n'a jamais voulu souffrir que ceux qu'il en favorisait me fissent quelque present, crainte que l'on ne dit qu'il se servait de mon nom pour vendre ses ouvrages.

(°) Il y arriva le 12e Décembre 1754.

ſont infiniment agréables, & où l'on jouit du plus bel aſpect qui ſoit en Europe. Il en acheta une autre à Lauſanne, & et auprès de Lausanne, nommée Montriond, en janvier 1756, et ensuite une dans le faubourg du chêne à toutes les deux à condition qu'on lui rendrait une certaine ſomme quand il les quitterait. Ce fut la première fois depuis Zuíngle & Calvin qu'un catholique romain eut des établiſſemens dans ces cantons.

Il fit auſſi en 1758 l'acquiſition de deux terres (de Ferney et Tourney) à une lieue de Genève dans le pays de Gex, ſa principale habitation fut à Ferney dont il fit préſent à Madame Denis. C'était une ſeigneurie abſolument franche & libre de tous droits envers le Roi, & de tout impôt depuis Henri IV. Il n'y en avait pas deux dans les autres provinces du royaume qui euſſent de pareils privileges. Le Roi les lui conſerva par brevet. Ce fut à Mr. le duc de Choiſeul le plus généreux & le plus magnanime des hommes qu'il eut cette obligation ſans avoir l'honneur d'en etre particuliérement connu.

Le petit pays de Gex n'était preſque alors qu'un déſert ſauvage. Quatre-vingt charrues étaient à bas depuis la révocation de l'édit de Nantes ; des marais couvraient la moitié du pays & y répandaient les infections & les maladies. La paſſion de notre auteur avait toujours été de s'établir dans un canton abandonné pour le vivifier. (+) Comme nous n'avançons rien que ſur des preuves authentiques, nous nous bornerons à tranſcrire ici une de ſes lettres à un évêque d'Annecy, dans le dioceſe duquel Ferney eſt ſitué. Nous

D 2

(+) Il n'y avait que quarante neuf personnes en tout à Ferney lorsque Mr. De Voltaire en fit l'acquisition, et à sa mort il y en avait douze cent, qui toutes l'adoraient. Aiant été un peu malade en 1775 ainsi que Mad. Denis sa niece, tous furent si transportés de joie de leur convalescence, que les jeunes gens se formerent en compagnies militaires, dragons et infanterie, donnérent de très jolies fêtes ; et le jour de la St. François il y eut une illumination superbe dans tout Ferney, et un beau feu d'artifice donné par Mad. Denis. Les jeunes gens venaient tous les dimanches danser dans son chateau, il leur faisait donner des rafraichissements, il venait voir et partager la joie de ces Colons.

Une compagnie de dragons fit faire une médaille d'or avec le portrait de Mr. de Voltaire, qui fut le prix de celui qui en tirant avec le fusil approcha le plus du but. La compagnie de l'infanterie en fit faire une autre avec l'effigie de Mr. Turgot, avec ces mots au revers *Et tamen regni*, pour le remercier de l'affranchissement du païs de Gex. Elle fut gagnée à l'arquebuse par Mad. de St. Julien née comtesse de La Tour du Pin.

L'on fit faire une troisième. Le portrait de Mr. De Voltaire était si ressemblant, que j'ai cru ne pouvoir mieux faire que de prendre la liberté de la presenter à Sa Majesté l'Impératrice de Russie.

СТРАНИЦЫ ИЗ ЭКЗЕМПЛЯРА „ИСТОРИЧЕСКОГО КОММЕНТАРИЯ О ЖИЗНИ И СОЧИНЕНИЯХ АВТОРА ГЕНРИАДЫ“ С ВКЛЕЙКАМИ И ПРАВКОЙ ВАНЬЕРА

Публичная библиотека, Ленинград

торых бы не было ничего, кроме их рук и доброй воли... они будут иметь право продавать свой труд тому, кто более заплатит, и это заменит им собственность». Вольтер выступил далее против возникновения нового класса собственников из среды непривилегированного класса: «Нужно противопоставить узду закона гордости новых выскочек» путем ограничения права скупки крестьянских земель и путем прямого запрещения скупать помещичьи земли[54]. Эта позиция намечается и в статье «О собственности» в «Философском словаре», однако, на основании описания Семевского можно установить, что в «рукописи № 9», объем которой примерно в два раза превосходил объем этой статьи, был ряд мест, вовсе не нашедших в ней отражения, но прямо рассчитанных на пропаганду практического применения принципов фернейского помещика на территории, подвластной «Северной Семирамиде».

Необходимо, далее, указать на длинный ряд уже опубликованных прежде писем Вольтера, подлинники которых в значительной своей части к моменту издания находились на территории России, но местонахождение которых в настоящее время неизвестно. Таковы, например, два письма к Антиоху Кантемиру, которые Эдуард Гарде в 1860 г. видел еще в Эрмитаже, а де Ла Феррьер в Публичной библиотеке. Текст писем был тогда же издан обоими этими авторами и из их публикаций перешел в собрание сочинений Вольтера под редакцией Moland[55]. Однако, инвентари Публичной библиотеки не дают возможности их обнаружить в настоящее время.

Не находим мы следов и того—едва ли не наиболее сенсационного—письма Вольтера к начальнику полиции, которое содержало почти бескорыстный донос на книготорговцев, распространяющих запрещенные издания. Письмо это было напечатано Леузон Ле Дюком. Судя по данным его публикации, оно датируется 1749 или 1750 г. и должно было бы входить в состав «Бастильского дела» о Вольтере. Но и в соответствующем переплете мы не находим ни этого письма, ни каких-либо следов изъятия его оттуда.

Охарактеризованным выше общим неудовлетворительным состоянием дела учета вольтеровских текстов в архивах СССР частично объясняется и невозможность в настоящее время полностью реконструировать специально интересующую нас русскую переписку Вольтера, а также наметить все те desiderata, которые могут быть установлены на основании дошедшей ее части. В порядке случайных наблюдений можно указать, например, на то, что должно было существовать неизвестное нам вольтеровское письмо к Бецкому от середины декабря 1766 г. О нем упоминает сам Вольтер в письме к Голицыну от 31 декабря того же года[56]. В письме Вольтера к кн. Репнину от 7 октября 1763 г.[57] упоминается об ответных письмах этого корреспондента, также остающихся до сих пор в полной мере неизвестными.

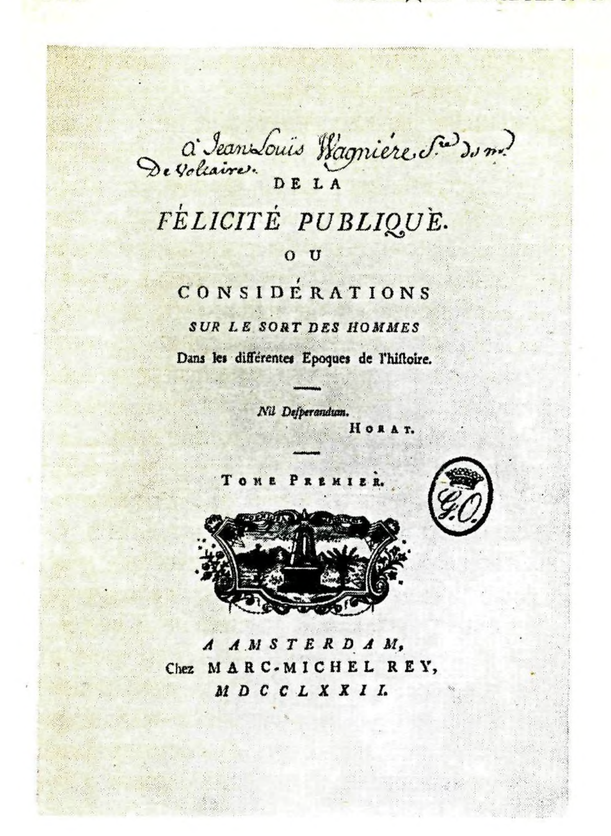
Что касается опубликованной переписки Вольтера с русскими людьми, то и здесь мы далеко не всегда осведомлены о нынешней судьбе подлинных писем, образующих эту переписку. Примером тому могут служить письма к Вольтеру Бецкого из С.-Петербурга от 29 ноября 1765 г. и А. П. Шувалова из Берлина от 10 сентября 1777 г. Оба они были опубликованы П. Б[артеневым] в «Русском Архиве» за 1886 г. вместе с двумя письмами А. Р. Воронцова из Парижа от 9 июля 1760 г. и из Гааги от 11 мая 1767 г. Все четыре документа входили в состав известного собрания И. И. Куриса[58], но если два последних обнаруживаются в наши дни

в собраниях б. Института книги, документа и письма Академии наук СССР и, следовательно, в свое время от Куриса перешли в конечном счете к Н. П. Лихачеву, то относительно нынешнего местонахождения и вообще архивной судьбы первых двух нам ничего неизвестно.

Говоря о судьбах хранящихся в России автографов Вольтера, необходимо упомянуть и о том, что некоторые тексты, опубликованные в свое время в русских изданиях, до сведения французских исследователей или вовсе не дошли вплоть до настоящего времени, или же дошли со значительным опозданием. Иллюстрацией к сказанному может служить хотя бы судьба 14 писем Вольтера к А. Р. Воронцову, относящихся ко времени 1760—1769 гг. Эти письма, хранящиеся ныне в Институте истории Академии наук в Ленинграде, были напечатаны в 1872 г. в V томе «Архива князя Воронцова»[59]. В издание Moland они вовсе не вошли, и только в 1886 г. 13 из них были напечатаны в III томе труда G. Bengesco[60]. В соединении с теми двумя письмами к Вольтеру от А. Р. Воронцова, о которых только-что упоминалось выше, эти письма раскрывают новую и интересную страницу в истории сношений Вольтера с Россией и с русскими. До настоящего времени в поле зрения французских исследователей не вошли хранящиеся ныне в Архиве АН СССР письма к Вольтеру историка Миллера от 14 апреля 1746 г. (копия) и К. Г. Разумовского от января 1751 г. (черновик), опубликованные Пекарским еще в 1870 г.[61].

Еще более важное значение для изучения русских интересов Вольтера имеет его переписка с Екатериной II. Эта переписка и в России с самого начала XIX в. не переиздавалась отдельно, и, в сущности, полного собрания ее мы до сих пор не имеем. Сама Екатерина в октябре 1778 г. насчитывала гораздо более сотни писем, но уже тогда не все сумела разыскать[62]. Судя по вводной статье к I тому «Бумаг императрицы Екатерины», опубликованных П. Пекарским в «Сборниках Имп. Русского Исторического Общества»[63], далеко не все письма Вольтера к русской императрице находились в течение XIX в. собранными в Государственном архиве. Из числа его писем, хранившихся в других местах, назовем раньше всего два письма из московского Главного архива министерства иностранных дел—одно от 24 июля 1765 г., другое от 21 июня 1766 г. Оба они были опубликованы Пекарским в X томе «Сборников Имп. Русского Исторического Общества» и до 1872 г. не входили ни в одно из изданий произведений Вольтера. В 1893 г. в «Сборнике Московского Главного Архива Министерства Иностранных Дел» было издано письмо Вольтера к Екатерине от 1773 г., в котором он рекомендует ее вниманию швейцарского инженера Обри[64]. Подлинник этого письма находится в ГАФКЭ Центрархива, в Москве, а копия с него—в Ленинграде, в Архиве Академии наук. История этого письма такова: его подлинник некогда находился среди бумаг академика Миллера в составе IV портфеля «Материалов истории Академии наук за 1765—1782 годы» и вместе с этими бумагами был куплен Потемкиным и через него попал в Архив министерства иностранных дел. В издание Moland это письмо вошло[65].

В петербургском Государственном архиве министерства иностранных дел хранился подлинник письма Вольтера к Екатерине из Ферне от 21 июня 1766 г. (ныне находится в ГАФКЭ). Это письмо необходимо для понимания известного письма Екатерины от 29 июня 1766 г., которое является ответом на него. Оно было опубликовано в «Русском Архиве» еще в 1855 г.[66], а вместе с ним хранились и вместе были опубликованы два


À Jean-Louis Wagnière S^re du m^d De Volcaire.

DE LA FÉLICITÉ PUBLIQUE. OU CONSIDÉRATIONS SUR LE SORT DES HOMMES Dans les différentes Epoques de l'histoire.

Nil Desperandum. HORAT.

TOME PREMIER.

A AMSTERDAM, Chez MARC-MICHEL REY, MDCCLXXII.

ПРИНАДЛЕЖАВШИЙ ВОЛЬТЕРУ ЭКЗЕМПЛЯР КНИГИ МАРКИЗА ШАСТЕЛЮ „ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СЧАСТЬЕ"

Сверху помета рукой Ваньера

Исторический музей, Москва

подлинных письма Вольтера к князю Д. М. Голицыну, русскому послу в Вене. Оба написаны в Ферне—одно 12 августа, а другое 25 августа 1763 г. Письма эти интересны для нас тем, что относятся к периоду, когда у Вольтера начинали завязываться отношения с новым для него двором Екатерины II. В этих письмах наше внимание привлекают имеющиеся в них сведения об отправляемых Вольтером для Екатерины II четырех пакетах, упоминания об его письмах к И. И. Шувалову и к Пикте, писавшему Вольтеру от имени императрицы, и данные для характеристики отношений Вольтера к самой Екатерине и к И. И. Шувалову.

Среди писем Вольтера, адресовавшихся в Россию, можно указать еще ряд таких, следы пребывания которых в нашей стране засвидетельствованы в литературе. Таковы, например:

1. Письмо от 3 мая 1745 г. к французскому посланнику в Петербурге, д'Алиону, с просьбой о поддержке в деле зачисления Вольтера в члены петербургской Академии наук. На письме имеется пометка канцлера Бестужева. Хранилось в московском Архиве министерства иностранных дел и впервые было опубликовано еще в 1807 г. в «Вестнике Европы». В 1839 г. послужило предметом отдельной публикации С. Д. Полторацкого[67]. В издание Moland вошло под № 1721.

2. Письмо к тому же корреспонденту из Версаля от 27 июня 1746 г. Хранится в Париже, в архиве французского министерства иностранных дел, и было опубликовано Векленом в 1896 г.[68].

3. Письмо к кн. Е. Р. Дашковой из Ферне от 9 мая 1771 г. Было включено в издание Moland по тексту мемуаров адресатки[69]; местонахождение же подлинника до сих пор неизвестно.

Для критического пересмотра текста переписки Вольтера с Екатериной II, несомненно, большой интерес представляют доселе неизученные черновики писем Вольтера, охватывающие период с 19 января 1768 г. по 24 января 1777 г. и носящие следы его собственноручных поправок. Эти черновики фигурировали на аукционной продаже Лемайе (Lemailler) в 1924 г. К сожалению, описание материалов в аукционном каталоге, откуда была почерпнута соответствующая хроникальная заметка в «Revue d'histoire littéraire de la France»[70], было сделано очень поверхностно. Это явствует хотя бы из того, что каталог приписывает написание четырех из этих писем руке Колини, который, как известно, оставил службу у Вольтера более, чем за десятилетие до наиболее раннего из этих писем. Но эта пачка документов—на 61 страницах, появившаяся на свет совершенно неожиданно, весьма характерна, как пример того процесса «всплывания на поверхность» материалов вольтеровской переписки, который, несомненно, и в интересующем нас направлении изучения русских связей Вольтера принесет еще не мало любопытного.

Неослабевающая до последнего времени интенсивность этого процесса свидетельствует о сравнительно примитивной стадии учета вольтеровского наследия, проведенного буржуазной наукой за полтора века изучения этого автора. Такое положение предвещает крупные затруднения при попытке создать, наконец, более или менее полный свод всей вольтеровской переписки. Совершенно очевидно, что задача эта может быть сколько-нибудь удовлетворительно разрешена лишь в порядке интернационального научного сотрудничества, и притом не партизанскими экс-

СОБСТВЕННОРУЧНЫЕ ПОМЕТЫ ВОЛЬТЕРА НА ПОЛЯХ КНИГИ МАРКИЗА ШАСТЕЛЮ „ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СЧАСТЬЕ“

Исторический музей, Москва

курсиями отдельных исследователей, а путем систематического обследования национальных государственных и частных архивов, библиотек и собраний. Если такое требование может быть предъявлено по отношению к наследию всякого крупного писателя, то по отношению к Вольтеру, круг корреспондентов которого был ограничен лишь социально, но никак не географически, а круг почитателей которого и социально был достаточно широк, это требование представляется совершенно необходимым. Без соблюдения его французские исследователи не только никогда не смогут создать действительно полное научное издание произведений Вольтера, но даже вполне эффективно реализовать тот призыв Ш. Шарро к всестороннему пополнению и исправлению традиционного текста вольтеровской корреспонденции, о котором мы упоминали выше.

Наш обзор, несмотря на всю его неполноту, идет навстречу этому призыву, посильно раскрывая перед исследователями—в первую очередь перед французскими—наши советские материалы, могущие восполнить или уточнить издание вольтеровской переписки, и притом прежде всего в части писем самого Вольтера, так как прочая вольтериана, не исключая и писем к нему, нами не учитывалась и включается лишь в порядке попутной ориентации, а наличные письма Екатерины II к Вольтеру и вовсе не смогли быть подвергнуты обследованию.

Приводим предварительный перечень выявленных при содействии редакции «Литературного Наследства» автографов и копий писем и отдельных листков, написанных Вольтером, еще раз подчеркивая, что претендовать на значение реестра в с е х таких материалов, хранящихся в собраниях Советского Союза, этот перечень не может.

АРХИВ АН СССР, ЛЕНИНГРАД

[*1773 г. 3 января*]. Письмо к Екатерине II. Копия. Опубликовано: «Сборник Московского Главного Архива Министерства Иностранных Дел», VI, 465, и «Сборник Имп. Русского Исторического Общества», XIII, 307. Ср. M o l a n d, XLVIII, № 8723.

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ АН СССР, ЛЕНИНГРАД

Фонд бывшего Историко-археографического института

[*1760—1769 гг.*]. Сборник 14 подлинных писем к А. Р. Воронцову. Из архива Воронцовых. В отдельном коричневом кожаном переплете. Опубликованы: «Архив кн. Воронцова», V, М., 1872, 445—457; воспроизведены B e n g e s c o, III, №№ 88—100 (стр. 355—365), кроме последнего письма от 26 февраля 1769 г.

[*1734—1751 гг.*]. Сборник 178 подлинных писем к гр. Даржанталю и его семье. Из архива Воронцовых. См. выше, гл. II настоящей публикации.

Фонд бывшего Института книги, документа и письма

[*1759 г.? 10 декабря*]. Письмо г-жи Дени к маркизу д'Альбаре в Турин. Автограф. Из собрания Н. П. Лихачева. На папке пометка «N. C. 416 (1911)» и № 69852, очевидно, из печатного аукционного каталога.

В письме встречаются упоминания о семье Шовелен и о театральных представлениях в Турне, позволяющие хронологически сблизить это письмо с двумя письмами к графу д'Альбаре самого Вольтера от 16 августа 1759 г. и 10 апреля 1760 г. См. M o l a n d, XL, №№ 3909 и 4089.

[*1767 г.?*]. Две недатированные записки Вольтера к Габриэлю Крамеру. Автографы. Из собрания Н. П. Лихачева. Опубликованы Н. С. Платоновой в журнале «Анналы», кн. 2, 1922, 318—320.

[*1769 г. 24 апреля*]. Удостоверение, выданное Вольтером Луи-Тома де ла Биола. Из собрания Н. П. Лихачева. См. выше в настоящей публикации, стр. 158.

БИБЛИОТЕКА ЭРМИТАЖА СО СТАТУЕЙ ВОЛЬТЕРА РАБОТЫ ГУДОНА
Акварель К. Ухтомского, 1859 г.
Эрмитаж, Ленинград

[*1772 г. 18 мая*]. Письмо Вольтера к Дидро. Подлинник. Из собрания Н. П. Лихачева. На папке пометка: «Ch. Cat. I, p. 266, № 727». Опубликовано: M o l a n d, XLVIII, № 8546.

Написано рукою секретаря. От печатного текста отличается: 1) в дате: «c e 18 mai 1772», 2) абзац в печатном тексте произвольный, 3) вместо имеющихся в 4-й строке на 97-й странице слов «me pourrais» следует читать «pouvais me», 4) в конце письма рукою Вольтера приписано: «V. 18 may je ne peux écrire de ma main».

[*1760 г. 9 июля, Париж, и 1767 г. 11 мая, Гаага*]. Два письма к Вольтеру А. Р. Воронцова. Подлинники. Опубликованы П. Бартеневым: «Русский Архив», 1886, № 6, 145 сл.

[*1778 г. 26 мая*]. Письмо г-жи Дени к Ваньеру. Подлинник. На обложке документа пометка Н. П. Лихачева: «Аукцион 18 дек. 1909 г.». Опубликовано: M o l a n d, L, № 10226.

Это знаменитое письмо с ложным известием об улучшении здоровья Вольтера написано, повидимому, рукой камердинера Морана, исполнявшего во время отсутствия Ваньера его секретарские обязанности. Г-же Дени принадлежат только подпись и приписка перед последней фразой в издании M o l a n d, пропущенная, несмотря на то, что там текст письма воспроизводится на основании «Записок» Ваньера. Текст этой приписки следующий: «Je vous ruine en ports de lettres, mais à votre arrivée je vous les rembourserai» («Я вас разоряю оплатой почтовых расходов, но по вашем приезде их вам возмещу»).

ИНСТИТУТ ЛИТЕРАТУРЫ АН СССР, ЛЕНИНГРАД

[*1737 г.*]. Выписка из Персия и Ювенала и отрывок из послания к кронпринцу Фридриху, будущему прусскому королю Фридриху II. Автограф Вольтера. Найдено в 1934 г. в «Делах опеки», т. е. в бумагах, оставшихся после смерти А. С. Пушкина. Опубликовано: Л ю б л и н с к и й В. С., Неизвестный автограф Вольтера в бумагах Пушкина. Академия наук СССР. Институт литературы. «П у ш к и н», Временник Пушкинской комиссии, II. Л., 1936, 257—265.

[*50-е годы, начало?*]. Отрывок из выписок для одного из исторических трудов Вольтера. Автограф на 4 страницах. Из собрания Новиковой.

Подобных выписок сохранилось много; они имеются и среди рукописей библиотеки Вольтера в ленинградской Публичной библиотеке[71]. Отчасти этот материал был использован Ф. Косси в I томе его издания «Voltaire. Œuvres inédits», но настоящий отрывок ему известен не был. Выписка этого отрывка охватывает события, начиная с эпохи папы Евгения и потери Неаполя Рене Анжуйским, и доходят до середины XVII в. Начало: «Le pape Eugène deposé à Bâle le jour qu'il réunit à Florence l'église grecque et la latine. Réunion passagère et inutile (savoir si la pragmatique sanct. de St. Louis est vraie ou supposée. Consul. l'ab. Dubos).

1442. René duc d'Anjou et de Lorraine par sa femme, vaincu en Lorraine par le duc de Bourgogne, vaincu à Naples par Alfonse d'Arragon surpris dans la ville, perd Naples etc.».

Перевод: «Папа Евгений смещен в Базеле в день соединения им во Флоренции греческой и латинской церквей. Соединение преходящее и бесполезное (узнать, была ли прагматическая санкция Людовика Святого подлинной или подложной. Справиться у аббата Дюбо).

1442 г. Рене, герцог Анжуйский и, по жене, Лотарингский, разбит в Лотарингии герцогом Бургундским, разбит в Неаполе Альфонсом Арагонским, захвачен в городе, теряет Неаполь и т. д.».

Конец: «Les espagnols ont vendu tous les titres à Naples prodigués en Italie, vendus en Allemagne, usurpés en France, où un homme de rien peut prendre de lui-même le titre de marquis et de comte, et un Bernard fait comte par le roi n'osait s'intituler comte et le chancelier Seguier fait duc n'osa jamais se faire appeler duc».

Перевод: «Испанцы распродали в Неаполе все титулы, щедро раздававшиеся в Италии, продававшиеся в Германии, захватывавшиеся во Франции, где человек, не имеющий никакого положения, может сам себе взять титул маркиза и графа, а какой-нибудь Бернар, сделанный графом по приказу короля, не осмеливался титуловаться графом, а канцлер Сегье, сделанный герцогом, никогда не осмеливался заставлять именовать себя герцогом».

ТЕАТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. А. В. ЛУНАЧАРСКОГО, ЛЕНИНГРАД

[*1749 г. 18 июня*]. Письмо к Бакюляру д'Арно (Baculard d'Arnaud). Автограф из собрания В. В. Протопопова. См. выше в настоящей публикации, стр. 152.

ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ, МОСКВА

[*1732 г. 29 октября*]. Письмо к M-lle Любер (Lubert). Копия. Из собрания Орлова. Опубликовано: Moland, XXXIII, № 284.

Имеется дата «1733», явно ошибочная; упоминания о театрально-придворных интригах вокруг постановки пьесы Пирона «Густав Ваза» и о графине Фонтен-Мартель, умершей в январе 1733 г., заставляют отнести это письмо к 1732 г.

[*1736 г. 5 августа*]. Письмо к Дево (Devaux). Автограф. Из собрания Бахрушина. Опубликовано: Moland, XXXIV, № 627. Текст совпадает с опубликованным, за исключением последних слов: вместо «vos suffrages» в печатном тексте, имеем: «votre suffrage». Подпись—«Volt.».

[*1743 г. март*]. Письмо к Буайе (Boyer), бывшему епископу Мирпуа (de Mirepoix). Копия. Из собрания Орлова. Опубликовано: Moland, XXXVI, № 1562.

[*1750 г.*]. Четыре записки к г-же Графиньи (Graffigny). Автографы. Из собрания Орлова. Опубликованы: Moland, XXXVII, №№ 2051, 2052, 2060, 2061.

Печатный текст совпадает с подлинником, за исключением датировки № 2061 «ce mardi», которая в подлиннике отсутствует.

[*1751 г. 8 мая*]. Письмо к Дево (Devaux). Копия. Из собрания Орлова. Опубликовано: Moland, XXXVII, № 2232. Печатный текст отличается от подлинника лишь орфографией и тем, что в датировке подлинника имеется год и нет заключительных слов: «vale et me ama» («прощай и люби меня»).

[*1755 г. 1 октября*]. Письмо к Тьерио (Thieriot). Копия. Из собрания Орлова. Опубликовано: Moland, XXXVIII, № 3031. Внешний вид документа допускает толкование его и как заготовленного рукой писца подлинника.

Без подписи. Кроме орфографии, от опубликованного текста отличается в следующем: 1) в датировке имеется год, 2) в третьей фразе слово «pucelle» написано не с прописной буквы, как того и требует вводимая здесь игра слов, 3) в конце письма граф де Лораге не назван, а имеются только слова: «Monsieur le Comte de ***».

[*1755 г. 12 октября*]. Письмо к Дю Марсэ (Dumarsais). Копия. Из собрания Орлова. Опубликовано: Moland, XXXVIII, № 3034, причем в дате печатного текста отсутствует обозначение года.

[*1756 г. 16 апреля*]. Письмо к Теодору Троншену (Tronchin). Копия. Из собрания Орлова. Опубликовано: Moland, XXXIX, № 3158. Без даты.

[*1756 г. 25 мая*]. Письмо к девицам Буке (Bouquet). Автограф. Из альбома, подаренного Уварову Долгоруковой. См. выше в настоящей публикации, стр. 155.

[*1757 г.*]. Письмо к маркизу Адемару (Adhemar). Копия. Из собрания Орлова. Опубликовано: Moland, XXXIX, № 3384.

[*1761 г. 28 октября*]. Письмо к Дево (Devaux). Подлинник. Из собрания Орлова. На листке сохранились почтовый штемпель «Genève» и часть печати. Опубликовано: Moland, XLI, № 4725 (с ошибочной датировкой 26 октября). Писано рукою секретаря, Вольтеру принадлежит только подпись: «votre très sincère ami et serviteur [дальше оборвано] Voltaire». Адрес: «A Monsieur Monsieur De Vaux Lecteur de S. M. Le Roy de Pologne à Lunéville».

[*1762 г.?*]. Письмо к Теодору Троншену (Tronchin). Автограф. Из собрания Орлова. См. выше в настоящей публикации, стр. 156.

[*1768 г. 17 октября*]. Письмо президенту Эно (Hénault). Подлинник. Из собрания Орлова. Опубликовано: Moland, XLVI, № 7360. Написано рукою секретаря. Вольтеру принадлежит только подпись: «V.».

В заключение этого раздела нашей описи отметим, что в том же собрании Орлова хранятся следующие материалы, не являющиеся вольтерианой в собственном смысле слова, но смежные с ней: 1) 14 писем г-жи Графиньи (Graffigny) к Дево (Devaux); 2) письмо неизвестного [к Дево?] о г-же Графиньи, датированное «A Nanci ce dimanche soir» (нач.: «Que ne feroit-on pour vous plaire!», конч.: «J'aurois bien voulu que ce morceau soit mis dans la copie que mr. Alliost a envoyé à la Reyne par ordre du Roy. Vale»); 3) письмо неизвестного к г-же Графиньи, адресованное в Париж, без даты и подписи; нач.: «Très chère dame, le Baron de Bastie mort en 1742 et qui étoit du pays à d'Avignon», конч.: «vous ne ferez pas mal de lui repeter que tout est à son service»; датировано должно быть 1751 г.; 4) письмо неизвестного к г-же Графиньи, адресованное в Люневиль, без даты и подписи, нач.: «Voici madame l'épitre à Emilie que, suivant ma coutume, j'ai beaucoup tardé à vous envoyer», конч.: «ainci je finirai ma lettre que Voltaire aura rempli toute entière ce qui ne la rend pas plus mauvaise»; 5) 3 письма неизвестной к Дево, адресованные «M. de Vaux chez Madame de Grafigny rue Hyachinte, cartier de Luxsanbourg près la place St. Michel. A Paris», от 10, 19 и 26 февраля 1748 г. В этом же собрании—несколько копий отдельных эпиграмм Вольтера (сообщено Н. Д. Эфрос).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ ФЕОДАЛЬНО-КРЕПОСТНИЧЕСКОЙ ЭПОХИ (ГАФКЭ), МОСКВА

[*Март 1737 г.*]. Письмо к Гравезанду (Gravesande). Подлинник. Опубликовано: Moland, XXXIV, 231, № 730.

[*1756—1769 гг.*]. Три письма к кн. Дмитрию Голицыну: от 31 декабря 1766 г., 7 октября 1767 г. и 25 января 1769 г. Подлинники. Опубликованы: «Сборник Московского Главного Архива Иностранных Дел», II, стр. 76, 77, 79. Ср. Moland, XLIV—XLVI, №№ 6643, 7039 и 7465.

[*1766 г. 14 августа*]. Письмо к кн. Дмитрию Голицыну. Копия. Опубликовано: Там же, стр. 75.

[*1765—1774*]. Пять писем к имп. Екатерине II: от 24 июля 1765 г., 21 июня и 22 декабря 1766 г., 27 февраля 1767 г. и 7 мая 1774 г. Подлинники, в каждом случае снабженные собственноручной подписью «V.». Первые два были опубликованы в «Сборнике Императорского Русского Исторического Общества», X, стр. 39 и 95; ср. Moland, XLIV, №№ 6071, 6367, 6629; XLV, № 6771; XLIX, № 9094 (в № 6771 подпись опущена).

[*1767 г.*]. Два письма к гр. А. Р. Воронцову от 22 и 28 апреля 1767 г. Подлинники. Опубликованы: «Архив кн. Воронцова», V, М., 1872, стр. 451.

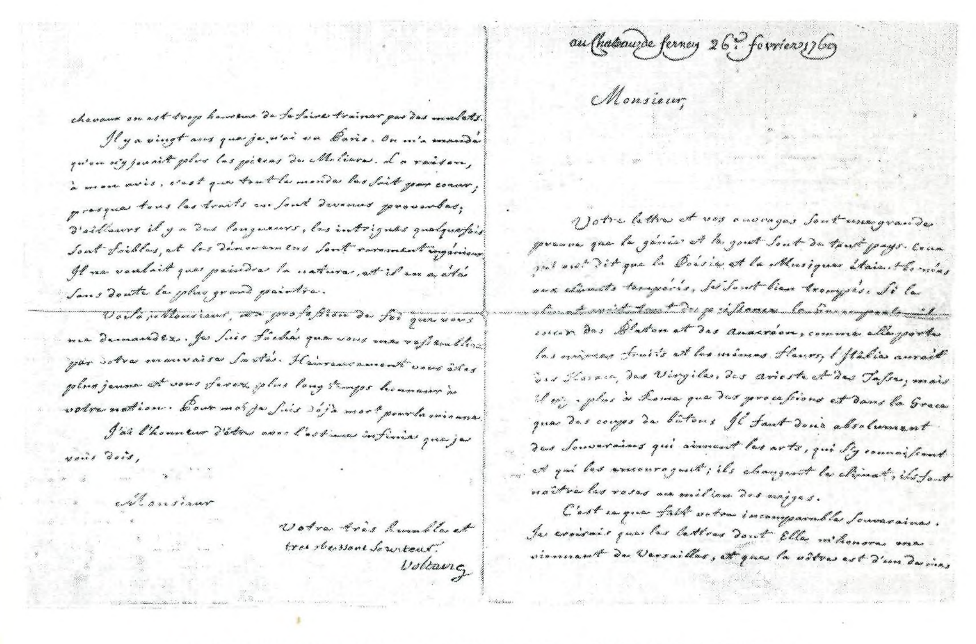
ТЕАТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ИМ. А. А. БАХРУШИНА, МОСКВА

[*1755 г. 3 января*]. Письмо к Дюпону (Dupont). Автограф. Опубликовано: Moland, XXXVIII, № 2841.

Согласно подлиннику, печатный текст требует следующих исправлений: 1) в дате должен быть добавлен год, 2) в 6-й фразе письма (по пунктуации издания Moland) вместо «ne demande la comptabilité»—«не требовал бы отчетности», следует читать «ne demande la compatibilité»—«не требовал бы совместимости [пригодности?]», 3) должен быть добавлен адрес, написанный на обороте письма: «A Monsieur Monsieur Dupont avocat au conseil à Colmar Alsace». Кроме того, на письме имеются почтовый штемпель и пометки о сборах, а также пометка владельца автографа «3-e janvier 1755».

Кроме инвентарного № 17 и штемпеля с тем же номером, свидетельствующих о принадлежности этого автографа к собранию музея А. Бахрушина, на самом письме имеется

еще внизу пометка карандашом «Voltaire», а в верхнем левом углу пометка чернилами «Lettre XIII». Если считать эту пометку сделанной рукой самого адресата письма, то нужно признать, что она свидетельствует о большой полноте переписки Вольтера с Dupont, опубликованной в издании Moland, так как в этом издании это письмо тоже является тринадцатым из писем Вольтера к тому же корреспонденту. (Ср. Moland, XXXVIII, 583 и указатели к предыдущим томам переписки). Но не исключена возможность того, что эта пометка была сделана одним из издателей, тем более, что последнее слово в первой фразе этого письма — «Munster» в подлиннике снабжено значком, напоминающим сноску и как будто сделанным тою же рукой, что и указанная выше пометка «Lettre XIII». В издании же Moland к слову «Munster» сноски нет только потому, что сноска аналогичного содержания с тою,


au Château de Ferney 26e février 1769

Monsieur,

Votre lettre et vos ouvrages sont une grande preuve que le génie et le goût sont de tout pays. Ceux qui ont dit que la Poésie et la Musique étaient bornées aux climats tempérés, se sont bien trompés. Si le climat avait tant de puissance ...
ceux des Platon et des Anacréon, comme elle porte les mêmes fruits et les mêmes fleurs, l'Italie aurait des Horaces, des Virgiles, des Arioste et des Tasse; mais il n'y a plus à Rome que des processions et dans la Grèce que des coups de bâton. Il faut donc absolument des Souverains qui aiment les arts, qui s'y connaissent et qui les encouragent; ils changent le climat, ils font naître les roses au milieu des neiges.

C'est ce que fait votre incomparable Souveraine. Je croirais que les lettres dont Elle m'honore me viennent de Versailles, et que la vôtre est d'un de nos

chevaux on est trop heureux de se faire traîner par des mulets.

Il y a vingt ans que je n'ai vu Paris. On m'a mandé qu'on n'y jouait plus les pièces de Molière. La raison, à mon avis, c'est que tout le monde les sait par cœur; presque tous les traits en sont devenus proverbes; d'ailleurs il y a des longueurs, les intrigues quelquefois sont faibles, et les dénouements sont rarement ingénieux. Il ne voulait que peindre la nature, et il en a été sans doute le plus grand peintre.

Voilà, Monsieur, ma profession de foi que vous me demandez. Je suis fâché que vous me ressembliez par votre mauvaise santé. Heureusement vous êtes plus jeune et vous ferez plus longtemps honneur à votre nation. Pour moi je suis déjà mort pour la mienne.

J'ai l'honneur d'être avec l'estime infinie que je vous dois,

Monsieur

Votre très humble et très obéissant serviteur.
Voltaire

ПИСЬМО ВОЛЬТЕРА К А. П. СУМАРОКОВУ ОТ 26 ФЕВРАЛЯ 1769 г.

Страницы первая и последняя. Написано рукой секретаря. Последняя строчка и подпись — рукой Вольтера

Публичная библиотека, Ленинград

которая была бы уместна здесь, уже сделана на той же странице к тексту предыдущего письма.

[*1745?*]. Отрывок из V акта «Храма Славы» («Le Temple de la Gloire»). Автограф. На четверке листа.

Текст: Air qui commence une petite scène entre une bergère et un berger.

La bergère

[1] Icy les plus brillantes fleurs
n'effacent point les violettes
les étendards et les houlettes
sont ornés des mêmes couleurs.
[5] La voix de nos tendres pasteurs
adoucit les fières trompettes
L'amour anime en ces retraites
tous les regards et tous les cœurs.

В нынешних изданиях, на основании издания Ренуара от 1809 г., 5-я и 6-я строки этой песенки читаются иначе:

[5] Les chants de nos tendres pasteurs
Se mêlent au bruit de trompettes (Moland, IV, 3).

Точно датировать этот автограф затруднительно. Пьеса «Le Temple de la Gloire» была сочинена для придворного празднества. Не имея самостоятельного художественного значения, ставилась только в 1745 г. 27 ноября и 4 декабря в Версале и 7 декабря в Париже во время празднеств по случаю победы французов при Фонтенуа. Была возобновлена лишь однажды—17 апреля 1746 г. При жизни Вольтера она вышла самостоятельным изданием лишь раз, в 1745 г., а в 1763 г. вошла в V том изданных в Женеве «Nouveaux Mélanges». Вероятно, публикуемый нами отрывок относится как раз ко времени разработки самой пьесы, т. е. к осени 1745 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Упоминания эти сводятся к более или менее сжатым и общим строкам в различных «Путеводителях» по Публичной библиотеке и в юбилейном издании «Императорская публичная библиотека за сто лет. 1814—1914», СПБ. 1914. Исключение составляет лишь относительно обстоятельный раздел, озаглавленный «Библиотека Вольтера», в книжке: Жиль, Музей имп. Эрмитажа. СПБ. 1861. Ср. также беллетристический очерк Д. Л. Мордовцева, Сон в Публичной библиотеке.—«Исторический Вестник», 1884, т. 16, стр. 23—33.

Автором настоящей публикации подготовлена книга «Вольтеровские фонды Публичной библиотеки», которая должна выйти в свет в издании Публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде. Являясь введением в изучение библиотеки Вольтера, книга эта содержит главу, посвященную истории и составу этой библиотеки. В дальнейшем изложении настоящего раздела нашей публикации, а равно и в ряде деталей других ее частей мы опираемся преимущественно на выводы, изложенные в названной работе.

[2] «Lettres de Cathérine II à Grimm» («Письма Екатерины II к Гримму», 1774—1796). Изд. ак. Я. Грот, СПБ. 1878, «Сборник Имп. Русского Исторического Общества», т. 23, стр. 93 сл. В дальнейшем цитируется сокращенно: «Письма Екатерины II к Гримму», с указанием страницы.

[3] Ibid.

[4] См. в позднейших, 1785 и 1787 гг., письмах Екатерины к Гримму — особенно «Сборник ИРИО», т. 23, стр. 436. См. также Moland, I, XIX и упомянутую в прим. 6 работу Боннефона, стр. 522 сл.

[5] «Письма Екатерины II к Гримму», стр. 94; см. также стр. 103—104.

[6] Bonnefon (P.), Une correspondance inédite de Grimm avec Wagnière, RHL, III (1896), 481—535, и его же, Quelques renseignements nouveaux sur J.-L. Wagnière, RHL, IV (1897), 74—100.

[7] Об этой рукописной биографии, хранящейся ныне в ГАФКЭ (Москва), см. ниже, во вступительной статье к публикации «Письма иностранцев к И. И. Шувалову», в настоящем издании.

[8] «Письма Екатерины II к Гримму», стр. 103, 112.

[9] Письмо Троншена к Гримму от 3 декабря 1778 г. См. в назв. выше работе Боннефона.

[10] Письмо Гримма к Троншену от 30 ноября 1778 г. См. там же.

[11] Письмо хранится ныне в ГАФКЭ.

[12] «Письма Екатерины II к Гримму», стр. 108, 133.

[13] Bonnefon (P.), Une correspondance inédite de Grimm avec Wagnière, RHL, IV (1896), 505 сл.

[14] «Письма Екатерины II к Гримму», стр. 140, 150, 153.

[15] Мемуары Ваньера см. Longchamp et Wagnière, Mémoires anecdotiques [etc.] sur Voltaire, t. I, P., 1838, стр. 170.

[16] «Письма Екатерины II к Гримму», стр. 155.

[17] На основании переписки А. Р. Воронцова можно установить, что Ваньер уехал из Петербурга 29 или 30 декабря 1779 г. См. «Архив кн. Воронцова», V, 459, 461—462.

[18] См. Bonnefon (P.), op. cit., 513 et 516, и Meinhardt (G.), Voltaire und seine Sekretäre, Berlin, 1916, 301.

[19] Жиль, Музей имп. Эрмитажа, СПБ. 1861, 128. Клостерман (1768—1838)—видный петербургский антикварий и книготорговец. Выдержки из его мемуаров изданы в «Русском Архиве», 1881 г., т. III, вып. 2: Фонвизин. Из неизданных записок Клостермана.

[20] Каталог этот, часть страниц которого написана Вольтером и Ваньером, сохранился вместе с библиотекой Вольтера. Ср. также Havens (G.-R.) и Torrey (N.-L.), The private library of Voltaire at Leningrad, repr. from «Publications of the Modern Language Association of America», XLIII, № 4, december 1928, 990—1009.

[21] Первый из этих каталогов (инвентарный) был составлен в Эрмитаже и ныне хранится там же: Архив Гос. Эрмитажа, опись VI, № 1, тт. 1 и 2; к нему приложены 3 ведомости Notes (опись I, 1837, № 9) и, кроме того, каталог рукописей (опись VI, № 2). Второй каталог—алфавитный, 1839 г.—тоже был составлен в Эрмитаже, но сохраняется ныне вместе с библиотекой. Третий каталог, 1862 г., является инвентарем, составленным в Публичной библиотеке вскоре же после приемки библиотеки Вольтера из Эрмитажа.

[22] См. особенно ведомости А и В (о недостающих книгах) в Архиве Эрмитажа—всего около полутораста названий; однако, среди них некоторые, повидимому, никогда к составу библиотеки Вольтера и не принадлежали.

[23] «Additions au Commentaire Historique sur la vie et les œuvres de l'auteur de l'Henriade» и «Notes et remarques de Wagnière avec les corrections et additions faites par Mr. de Voltaire pour être mises dans ses œuvres et qui ne se trouvent dans aucune des collections, en attendant la suite».

Вопросу об авторстве Ваньера посвящены, между прочим, работа И. Л. Вейнштейна: Veinstein, Fragment inédit sur Voltaire.—«Журнал Научно-Исследовательских Кафедр в Одессе», 1924, I, № 7, стр. 45—50 (на французском языке), а также особый экскурс в названной выше, в прим. 1, нашей работе.

[24] Ср. Bengesco, II, 427 и 472 сл.

[25] В настоящем томе «Литературного Наследства» воспроизводятся снимки с двух страниц одного из таких экземпляров, богатых маргиналиями Вольтера и притом отсутствующих в его библиотеке. Книга эта хранится в Историческом музее и была в свое время приобретена гр. Г. В. Орловым, несомненно, от лиц, близко стоявших к самому Ваньеру. Это—«Рассуждение об общественном счастье» маркиза Шастелю в амстердамском издании 1772 г. («De la félicité publique ou considérations sur le sort des hommes dans différentes époques de l'histoire par le marquis F.-J. de Chastellux», Amsterdam, M. M. Rey, 1772, 2 тома). Несомненно, именно этот экземпляр, испещренный собственноручными пометками Вольтера, послужил основой для переиздания 1822 г., в котором известный библиограф Ренуар (A. A. Renouard) воспроизводил также и «Неопубликованные заметки Вольтера» (... nouvelle édition, augmentée de notes inédites de Voltaire etc.). На экземпляре Исторического музея имеется надпись, свидетельствующая о том, что книга была «подарена Вольтером своему секретарю—Ваньеру». Интересно отметить, что в библиотеке Вольтера в Ленинграде хранится другой экземпляр того же самого издания (Амстердам, 1772), в котором обычные закладки приводят к множеству вольтеровских маргиналий, начисто переписанных аккуратной рукой Ваньера.

[26] Полный их учет дает близящийся к завершению научный каталог библиотеки Вольтера, который имеет в виду в недалеком будущем издать Публичная библиотека. В качестве примеров укажем на раздельные издания двух «Anecdotes sur Bélisaire» в 8 и в 7 стр. (Bengesco, II, 166, приводит под № 1717 лишь издание в 15 стр.); самостоятельное издание «Lettre pastorale à M. l'archevêque d'Auch»; «третье, добавленное» издание («troisième édition augmentée») «Анонимного письма г. де Вольтеру и ответа на него» («Lettre *anonyme écrite à Mr.* de Voltaire et la *réponse*») (ср. Bengesco, II, № 1773) и др. (Примеры любезно сообщены Д. С. Крым).

[27] Havens (G.-R.), Voltaire's marginalia on the pages of Rousseau. A comparative study of ideas, Columbus, Ohio, 1933.

[28] [De la Motte], L'Iliade, Poème. Avec un Discours Sur Homère. Par Monsieur De la Motte, De l'Académie Françoise. A Paris, Chez Gregoire Dupuis, rue S. Jacques, à la Fontaine d'Or, Avec Approbation & Privilège du Roy. 1714. CLXXX+207 pp. (переплетено вместе с «La Critique, Ode» и «L'indien et le Soleil. Fable Au Roy. Prononcé à sa Majesté par l'Auteur, pour le remercier d'une pension». Paris, Du Puis, s. a., 15 p.+approbation+catalogue, 8 p.). Шифр 6—98.

[29] Belloy de, Gaston et Bayard, P., 1770. Шифр вольтеровской библиотеки 11—149. Наблюдение М. Л. Лозинского.

[30] «C'est [sic!] ouvrage n'est point de moi; il est de m-r de la Mare». Шифр библиотеки Вольтера 11—97.

[31] Библиотека Вольтера, 4—247, стр. 39, прим. к 504 стр. 47 тома Кельского издания.

[32] См. в его книге «Музей имп. Эрмитажа», а также Havens and Torrey, Voltaire's library.—«Fortnightly Review», 1929, sept., и, особенно, The books of Voltaire. A selected list.—«Modern Philology», XXVII, № 1, august 1929.

[33] См. нашу заметку «Неизвестный автограф Вольтера в бумагах Пушкина» во 2-м выпуске «Пушкин». Временник Пушкинской комиссии, АН СССР, Л., 1936, стр. 257—265.

[34] Письмо к Даламберу от 5 апреля 1765 г.—Moland, XLIII, 520.

[35] Maistre (J. de), Soirées de Saint-Pétersbourg, Amiens, 1821, 319—320, цит. у Desnoiresterres, VIII, у Havens and Torrey, в названной в прим. 20 работе, отчасти у Moland, I, стр. XLVII—XLIX.

[36] Ancelot (M.), Six mois en Russie. Lettres écrites à M. X.-B. Saintines à l'époque du couronnement de S. A. I., Bruxelles, 1827, 165 сл.

[37] Léouzon Le Duc, Etudes sur la Russie et le Nord de l'Europe, P. [1853]; его же, Voltaire et la police, dossier recueilli à Saint-Pétersbourg parmi les manuscrits français, [etc.] avec une introduction sur le nombre et l'importance des dits manuscrits et un essai sur la Bibliothèque de Voltaire, P., 1867; его же, Rapport sur les papiers de Voltaire conservés dans la Bibliothèque Imperiale et dans celle de l'Ermitage de Saint-Pétersbourg. Archives des Missions Scientifiques et Littéraires. Vol. I, P., 1850, 40—41.

[38] Gardet (V.-J. Edouard), Une visite à l'Ermitage. (Le discours sur l'Inégalité des conditions et le Contrat social, annotés par Voltaire).—«Bulletin du Bibliophile et du Bibliothécaire» (J. Techener), P., 1860, 1519—1543.

[39] La Ferrière (comte Hector de), Deux années de mission à St.-Pétersbourg. Manuscrits, livres et documents historiques sortis de la France en 1789. P., 1867 (повторение трех «Rapports» из «Archives des Missions Scientifiques et Littéraires»).

[40] См. предисловие к названному выше «Инвентарю» Косси.

[41] Voltaire, Œuvres inédites, т. I, P., 1914. Это издание было рассчитано на 9 томов.

[42] Якубович Д. П., Пушкин в библиотеке Вольтера.—«Литературное Наследство», 1934, № 16—18, стр. 905—922.

[43] «Императорская публичная библиотека за сто лет. 1814—1914». СПБ. 1914, стр. 356.

[44] Публикацию одного из неизданных документов этого тома рукописей—письма химика Элло к Вольтеру—см. в предыдущей главе настоящей работы, стр. 161—164.

[45] Материалы II и III, а также XIII томов отчасти используются в указанной в сноске [1] нашей работе «Вольтеровские фонды Публичной библиотеки». Материал о самоубийцах интересовал Вольтера в связи с процессом Каласа.

[46] В издании Moland «Sottisier» занимает крупнейшую часть XXXXII тома.

[47] О Петре Петровиче Дубровском—в те годы секретаре русского посольства в Париже, замечательном коллекционере и основателе «Депо манускриптов»—будущего Рукописного отделения ленинградской Публичной библиотеки—см. в издании «Императорская публичная библиотека за сто лет». СПБ. 1914, стр. 22 сл., 28, 57, 64—69 и 131, и Ивановский А. Д., I. Археологические исследования государственного канцлера графа Н. П. Румянцева и митрополита киевского Евгения. II. О значении библиотек в России и важности заслуг Петра Дубровского, барона М. А. Корфа и генерал-адъютанта Н. В. Исакова. Извлечение из публичных лекций профессора А. Д. Ивановского, Киев, 1869, стр. 35—41.

О судьбе архива Бастилии см. замечания Ravaisson в отдельных томах серии «Les archives de la Bastille» и суммарное изложение I. Frantz Funck-Brentano, Légendes et archives de la Bastille. P., 1900. Основной материал, сохранившийся ныне из полицейских дел о Вольтере, напечатан в XII томе «Архивов Бастилии». См. также указатель у Frantz Funck-Brentano, Les lettres de cachet à Paris. Etude suivie d'une liste des prisonniers de la Bastille (1659—1789). P., 1903 (Histoire générale de Paris, collection des documents publiés sous les auspices de l'édilité parisienne).

[48] Léouzon Le Duc, Voltaire et la police, dossier recueilli à Saint-Pétersbourg parmi les manuscrits français originaux enlevés à la Bastille en 1789, avec une introduction sur le nombre et l'importance des dits manuscrits et un essai sur la Bibliothèque de Voltaire, P., 1867.

[49] Caussy (Fernand), Inventaire des manuscrits de la Bibliothèque de Voltaire conservée à la Bibliothèque Impériale Publique de Saint-Pétersbourg. (Extrait des Nouvelles Archives des Missions Scientifiques, Nouv. série, fasc. 7), P., 1913, 96. См. особенно стр. 90—96.

АНТИВОЛЬТЕРОВСКИЙ ПЛАКАТ КОНЦА 1870 г.

Институт истории Академии наук СССР, Ленинград

[50] Ancelot, op. cit., 114. Léouzon Le Duc, Voltaire et la police, 86. См., однако, также замечания Бешо — Moland, XXXIII, 48 сл., note 1.

[51] Академия наук СССР. Труды Архива, вып. I. Архив Академии наук СССР. Обозрение архивных материалов под общ. ред. Г. А. Князева, Л., 1933, стр. 15 и прим. 1 на стр. 33. Бумаги эти входили в состав «Ученой корреспонденции на иностранных языках» за время с 1705 по 1835 гг. и относились к фонду I («Конференция Академии наук»).

[52] Судя по Moland, L, 582—583, заметка об этой библиотеке появилась во французском «Moniteur Universel» от 28 октября 1880 г. Ссылка эта, однако, оказалась настолько неточной, что библиотекарь Национальной библиотеки в Париже г. Léo Crozet, по просьбе ВОКС любезно предпринявший для нас розыски, вовсе не смог в этом издании найти ее следов (письмо г. Léo Crozet в ВОКС от 5 июля 1933 г.). См. также Alexeyeff (M. P.), Voltaire et Schouvaloff. Fragments inédits d'une correspondance franco-russe au XVIII s. [Travaux de la Bibliothèque Publique d'Etat à Odessa. Série V. Documents inédits, на франц. яз.]. Odessa, 1928, 23. См. также «Орловский Вестник», год VIII, № 117 (5/17 ноября 1880 г.), стр. 1, «Местные известия».

Наши собственные обращения в Орловский отдел народного образования и в районный Орловский музей, равным образом, остались безрезультатными; судя по письмам этого музея от 26.V и 13.VI.1933, никаких данных о тепловском собрании на месте не осталось. В связи с этим не лишне привести устное свидетельство П. А. Картавова, которому лет тридцать тому назад потомки наследников Теплова подтвердили наличие и сохранность на месте этого книжно-рукописного собрания.

[53] Семевский В. И., Крестьянский вопрос при Екатерине II.—«Отечественные Записки», 1879, V т., №№ 246—247, октябрь и ноябрь, стр. 205—207; Незеленов А. И., Литература в екатерининскую эпоху.—«Исторический Вестник», 1884, XVI т., стр. 259. О конкурсе Вольно-экономического общества см. «История Имп. вольного экономического общества с 1765 до 1865 года, составленная по поручению Общества секретарем его А. И. Ходневым». СПБ. 1865, стр. 20—34 и 367—368. Дела Вольно-экономического общества хранятся в Архиве народного хозяйства в Ленинградском отделении Центрального исторического архива (ЛОЦИА).

[54] Конспективное изложение дано Семевским в указ. соч., стр. 206. Этот же автор заметил отсутствие статьи «Propriété» в первом издании «Dictionnaire philosophique portatif» (Лондон, 1764).

[55] J. E. G. [J.-Edouard Gardet], Deux lettres inédites de Voltaire.—«Bulletin du Bibliophile et du Bibliothécaire», 1860, 1120—1126: «Мы списали их с оригиналов, при-

надлежащих императорской библиотеке в С.-Петербурге»—«Nous les avons copiées sur les originales qui appartiennent à la Bibliothèque Impériale de St.-Pétersbourg». См. Moland №№ 1104 и 1138 (XXXV, 210—212 и 255 сл.). Отметим, что уже в глазуновском издании сочинений А. Кантемира («Сочинения, письма и избранные переводы», СПБ. 1867—1868, под редакцией П. Ефремова, вступ. статья В. В. Стоюнина), т. II, стр. 435, письма эти опубликованы не по подлинникам, а по тексту Gardet. Но в те же годы Hector de La Ferrière, игнорируя публикацию Gardet, вновь полностью приводит их текст по оригиналу Публичной библиотеки—см. «Deux années de mission à St.-Pétersbourg. Manuscrits, lettres et documents historiques sortis de la France en 1789», P., 1867, стр. 210—212.

[56] Moland, XLIV, 566.

[57] «Сборник Московского Главного Архива Министерства Иностранных Дел», вып. II, М., 1881, 71—81: бар. Бюлер Ф., Неизданное письмо Вольтера. См. также «Сборник Имп. Русского Исторического Общества», XV, 618—625.

[58] «Русский Архив», 1886, № 6, 145 сл.; ответом на первое из писем А. Р. Воронцова является письмо Вольтера от 16 июля 1760 г., напечатанное в «Архиве кн. Воронцова», V, 445, и затем в III томе «Voltaire, Bibliographie de ses œuvres» G. Bengesco.

[59] «Архив кн. Воронцова», V, 445—457.

[60] Bengesco (G.), Voltaire. Bibliographie de ses œuvres. III, №№ 88—100, стр. 355—365, и упоминание о 14-м письме на стр. 375.

[61] Архив Академии наук СССР. «I. Ausgehende Briefe von 1736 bis 1767» и «I. Исходящие письма 1749—1751». См. Пекарский П., История Имп. академии наук в Петербурге, т. I, СПБ. 1870, 383 и 384—ответное латинское письмо Вольтера.

[62] Письмо Екатерины II к Гримму от 1 и от 17—19 октября 1778 г. См. Moland, I, 455 и 457.

[63] «Сборники ИРИО» VII, X, XIII, XXVII.

[64] Сообщение И. И. Любименко.

[65] «Сборник Московского Главного Архива Министерства Иностранных Дел», вып. VI (М., 1893), 465. См. также «Сборн. ИРИО», XIII, 304—309. В тексте Moland, XLVIII, 262—263, № 8723 некоторые отличия.

[66] «Русский Архив», 1855, I, 133—136. Сообщил Д. К. (Дмитрий Кавелин, его же вводные примечания), заключительная заметка П. Б. (Бартенева).

[67] [Serge Poltoratsky], Lettre de Voltaire (1745) relative à son Histoire de Pierre I adressée au comte d'Alion, ministre de France en Russie sous le règne de l'impératrice Elisabeth I. Publiée pour la première et unique fois dans un Journal russe de Moscou, en 1807, et omise dans toutes les éditions des Œuvres complètes de Voltaire, suivie de notes bibliographiques, P., avril 1839, 11 стр. Эта редкая брошюра, посвященная Бешо и выпущенная в 150 экз., весьма любопытна либеральной полемикой автора с антивольтерианскими тенденциями современной ему критики. Об этом письме см. также Bengesco, III, 54, № 1952.

[68] Veuclin (V.-E.), L'amitié franco-russe. Ses origines. I. Un poète français en Russie. II. Voltaire et la Russie. III. Catherine II et la mémoire de Voltaire. Documents inédits, Verneuil, 1896.

[69] «Mémoires de la princesse Daschkoff», III, P., 1859, 247 — 249, ср. Moland, XXXII, 618—619 (дополнительные страницы добавочного тиража этого тома).

[70] RHL, 1924, 716.

[71] Ср. лл. 29—33 в IV томе общей серии рукописей Вольтера, лл. 2 и 22 об.—30 в VII томе той же серии, лл. 140—169, 271—272 там же. Ср. Caussy (F.), Inventaire, 20 (ошибочно листы, образующие одну тетрадь, описаны раздельно), 37—40.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ БЛЕН ДЕ СЕНМОРА В РОССИЮ

Предисловие и публикация Ю. Готье

Имя Блен де Сенмора (1733—1807) и его место во французской литературе определены давно. Он принадлежит к тем забытым ныне писателям XVIII в., которые в своем забвении только оттеняют неувядающую славу великих имен того времени — Вольтера, Руссо, Дидро и других.

Коротенькие биографии, посвященные Блен де Сенмору (более обстоятельных нет вовсе), совершенно согласны между собой в оценке его талантов, как писателя: «Очень чистый и правильный стиль. Много естественности и чувствительности», но надо всем этим «царит какая-то слабость, скука и однообразие». «Напрасно искать у него вдохновения, которое только и создает поэта». Блен более блещет «своими домашними и общественными добродетелями, чем своими талантами»[1]. «Нет ни одного труда Блена, который возвышался бы над посредственностью, хотя везде у него чувствуется хороший вкус, сознание того, что нужно и чего не нужно, и большое уважение к здоровым литературным принципам»[2].

Однако, именно к этому забытому писателю мы и хотели бы привлечь некоторое внимание. Почти во всех биографических заметках о Блен де Сенморе есть указания, что он был литературным корреспондентом великой княгини Марии Федоровны, жены будущего императора Павла, что корреспонденция его сохранилась и что «говорят, она находится в дворцовой библиотеке в Павловске»[3].

Несмотря на эти указания, вопрос о корреспонденции Блена до последнего времени оставался в полной мере темным, и ни одной строки из нее не появлялось в печати.

Лишь в середине 1920-х годов было обнаружено, что подлинники писем Блен де Сенмора, действительно, сохранились в библиотеке Павловского дворца, где они пролежали, таким образом, без всякого использования и изучения более 130 лет.

В 1935 г. эти документы были перевезены из Павловского дворца-музея в Москву, в Государственный литературный музей, и попали, тем самым, в поле зрения исследователя.

Настоящее сообщение ставит себе целью ознакомить читателя с корреспонденцией Блен де Сенмора, дать ее краткое описание, выяснить ее содержание, отличительные черты и личность составителя. Публикуемые вслед за вводной заметкой отрывки из корреспонденции дадут читателю возможность самостоятельно оценить этот интересный литературный памятник, специфически свойственный XVIII в.

Рукопись корреспонденции Блен де Сенмора состоит из десяти томов in 8^0, в великолепных красных сафьяновых переплетах. Корреспонденция длится с сентября 1781 г. по декабрь 1791 г. За каждый год должно было бы быть по 52 еженедельных письма, нумерованных от 1 до 52, однако, в своем теперешнем состоянии корреспонденция не совсем полна, и, кроме того, в нумерации писем есть ошибки[4]. За редкими исключениями, все письма одинаковы по размеру и содержат по 8 страниц каждое. От первого до последнего, т. е. в течение 11 лет, письма писаны одним и тем же почерком, очень четким в начале каждого письма, быстрым и малоразборчивым в конце.

Ознакомление с корреспонденцией ставит ряд вопросов. Действительно ли корреспонденция Блен де Сенмора в Россию началась с 1781 г. или же начало ее можно отодвинуть к более ранней дате? На этот вопрос наши материалы не дают никакого ответа, никакого, хотя бы косвенного, указания. Но зато есть некоторые глухие намеки, что переписка могла продолжаться и несколько позже конца 1791 г., может быть, до лета 1792 г., т. е. до того момента, когда вспыхнула война и границы Франции закрылись. Во всяком случае, в одной из биографий Блен де Сенмора говорится, что он был корреспондентом Марии Федоровны в течение целых 14 лет.

Но действительно ли изучаемая корреспонденция составлялась Блен де Сенмором и предназначалась для Марии Федоровны? В этом сомнения быть не может. Правда, письма никому не адресованы и не имеют никакой подписи. В этом они существенно отличаются от подлинников известных писем Ж.-Ф. де Лагарпа к Павлу I (тогда еще вел. князю), хранившихся в той же библиотеке[5]. Письма Лагарпа все имеют в начале обращение к «его имп. высочеству великому князю Российскому» и неизменно подписаны «его имп. высочества покорным слугою» Лагарпом. Но если письма Блена и не подписаны им, то имя его и упоминания о его поступках и о некоторых событиях его жизни не раз встречаются в изучаемой корреспонденции. От времени до времени он предлагает своим читателям в качестве литературных новинок свои собственные произведения. Так, в письме от 2 февраля 1782 г. мы читаем следующие строки: «Я имел честь знать графа Скавронского, камергера ее имп. величества, во время двух его путешествий в Париж. С тех пор он не переставал дарить меня свидетельствами своего уважения и благоволения, и, когда я узнал о его женитьбе, я счел долгом выразить ему мою признательность и мою привязанность, написав ему 12 ноября прошлого года следующее послание...». За этим приводится длинная напыщенная ода, принадлежность которой Блен де Сенмору устанавливается и другими источниками. Из письма от 12 февраля 1791 г. мы узнаем о неприятностях, испытываемых Бленом по поводу его трагедии «Иземберга», и о причинах его вражды к Жозефу Шенье (см. в нашей публикации № XXXVIII).

Если Блен де Сенмор повествует о своих огорчениях, то в других случаях он непрочь поделиться с читателем своими успехами. В письме от 8 апреля 1786 г. он сообщает, что «Г-н Блен де Сенмор только-что получил орден св. духа в качестве историографа королевских орденов. Этой должности, одной из наиболее ценимых в литературных кругах, добивалось множество литераторов и других лиц, опиравшихся на самые могущественные рекомендации. Мотивировка назначения, изложенная в дипломе короля, при пожаловании ему места, делает очень большую честь этому литератору». Тем же тоном достоинства и гордости Блен сообщает своим читателям, что он избран членом комиссии для редактирования наказа от Парижа (письмо от 2 мая 1789 г.): «Город Париж выбрал г. Блен де Сенмора одним из редакторов своего наказа совместно с 36 другими членами комиссии самого различного общественного положения, в том числе с несколькими академиками и литераторами, каковы г. Мармонтель, г. Бальи, г. Гайар, г. Сюар, г. Вовилье, г. Эуэн, г. Лакретель и т. п.».

Блен де Сенмор был одним из основателей Филантропического общества, возникшего в 1778 г., и до революции оставался одним из его самых активных членов. Об успехах общества Блен всегда сообщает с нескрываемой радостью и гордостью, а иногда ставит общество в образец людям, вмешивающимся в дела благотворительности и, по мнению Блена, предлагающим фантастические и мало практичные проекты. Таково именно его отношение к благотворительным проектам, выдвинутым в 1786 г. Бомарше (см. № XV).

Итак, можно не сомневаться, что составителем корреспонденции был именно Блен де Сенмор. Нет сомнений и в том, что, раз корреспонденция хранилась в Павловском дворце—одной из резиденций Павла I,—она предназначалась кому-нибудь из

его семьи. Впрочем, Блен сам сообщает, что среди читателей его корреспонденции, направлявшейся в Россию, находилась жена Павла—Мария Федоровна. Он сообщает об этом, рассказывая о пребывании в Париже графа и графини Северных (7 мая—7 июня 1782 г.). Упомянув, что он был представлен графине Северной, Блен прибавляет: «Ее имп. высочество соблаговолили сообщить мне, что я имею честь иметь ее среди моих читателей. Я не знал о моем счастье, а теперь испытываю новое, услышав об этом из ее уст».

Известно, что во время революции Блен де Сенмор, потеряв все средства к существованию и очутившись в нищете, получил от Марии Федоровны помощь в размере 2 000 экю, что должно было составить не менее 2 500 руб. на русские деньги. Помощь эта была оказана, вероятно, в 1792 или 1793 г., и в ней следует, как кажется, видеть экстренную оплату услуг литературного корреспондента, и ранее, конечно, получавшего вознаграждение за присылаемые письма, в тот момент, когда его деятельность должна была прекратиться, вследствие развития политических событий и, вероятно, вопреки желанию как самого составителя писем, так и его читателей.

За отсутствием источников оказалось невозможным точно выяснить, была ли Мария Федоровна единственным лицом, получавшим корреспонденцию Блена, или у него были и другие читатели. Первое из этих предположений маловероятно. Литературные корреспонденции, классическим образцом которых является корреспонденция Гримма, были довольно распространенным видом литературной продукции XVIII в., свойственным одной этой эпохе. Они всегда велись без огласки, в полусекрете. Ведь даже состав и число лиц, получавших корреспонденции Гримма, до сих пор не вполне установлены. Из читателей корреспонденции Блена нам известна пока только одна Мария Федоровна. Однако, среди владетельных домов Европы, особенно же Германии, а также среди магнатов различных стран должно было быть достаточно большое число лиц, воспитанных на французский лад, которые желали всегда быть в курсе того, что делалось в столице цивилизованного мира, какой считался в то время Париж, и которые поэтому должны были обращаться к специальным и приватным корреспонденциям, выходившим из под пера квалифицированных парижских литераторов. Вел. княгиня Мария Федоровна, урожденная принцесса Вюртембергская, сама выросла в местности, где говорили на французском языке. Жизнь в замке Этюп, любимой резиденции Монбельярских владетельных князей из Вюртембергского дома, была более французской, чем немецкой. Быть может, именно в сторону архивов и библиотек прежних вюртембергских герцогов и королей следует направить поиски, если задаться целью найти следы других лиц, получавших корреспонденцию Блен де Сенмора. Во всяком случае, последний, за какой бы лестью он ни гнался, не мог бы сказать, представляясь Марии Федоровне, что он не подозревал о чести иметь ее читателем, если бы она была, на самом деле, его единственным читателем. Из этих слов можно, наоборот, сделать вывод, что у него было несколько абонентов, да разве еще сделать предположение, что в ранние, по крайней мере, годы письма Блена, отправляемые в Петербург, адресовались не прямо Марии Федоровне.

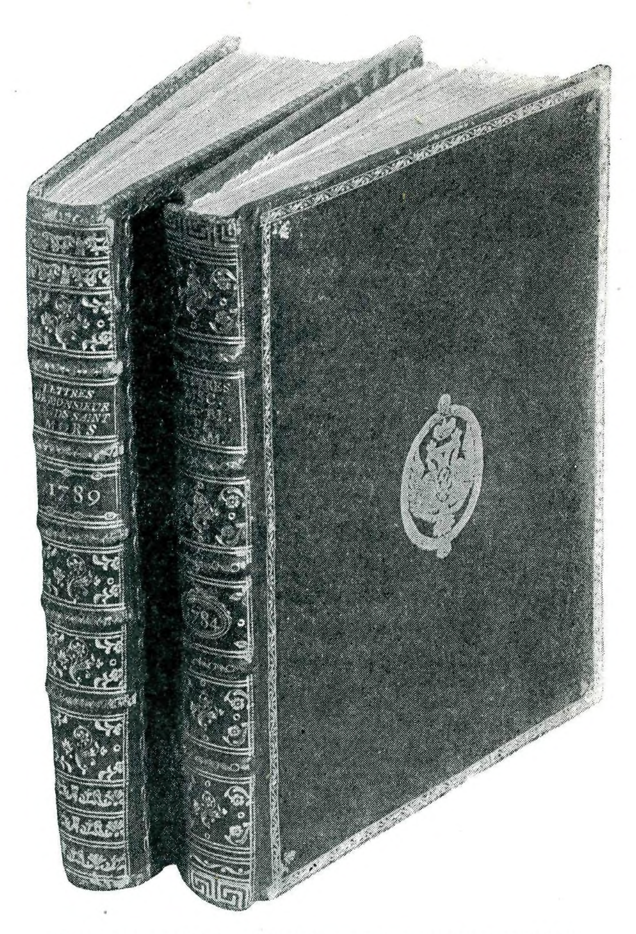
Таким образом, в начале 1780-х годов все три взрослых лица, которые составляли в то время российскую императорскую фамилию, т. е. Екатерина, Павел и Мария Федоровна, имели каждый своего литературного корреспондента в Париже: Екатерина — Гримма, Павел—Лагарпа, его жена—Блен де Сенмора. Корреспонденции первых двух, изданные впервые более столетия назад и хорошо известные, могут служить отправной точкой для определения основных и наиболее характерных черт литературной корреспонденции Блен де Сенмора. Корреспонденция Лагарпа почти исключительно литературная в узком смысле этого понятия. В письмах, адресованных Павлу, Лагарп сообщает о литературных новостях, дает очень подробный и серьезный разбор их и часто строго их критикует. Ничто не может выбить его из привычной колеи,

заставить выйти из рамок чисто литературной критики, ничто не может заставить его изменить план, содержание и стиль его писем. Политическим событиям он отводит гораздо меньше места и о них говорит реже. Письмо, написанное на другой день после взятия Бастилии, столь же спокойно и академично, как если бы оно было написано десятью годами ранее. Корреспонденция Гримма более остроумная и едкая, также по преимуществу литературная. Однако, в ней есть сообщения и о политических событиях, о том, что происходит в парижском свете и в литературном мире; он собирает слухи и обходящие Париж сплетни и все это преподносит своим читателям в неизменно остроумной форме, не лишенной подчас злобной иронии. Корреспонденция Блен де Сенмора, может быть, не столь учена и не столь едка, как корреспонденции его более знаменитых современников. Можно, пожалуй, сказать, что она проще, но, вместе с тем, и разнообразнее. Схема писем не меняется почти вовсе, по крайней мере, за годы до революции. Основное место занимает изложение или критический разбор очередной книжной новинки, литературной, научной или политической. Блен сообщает о новостях самого разнообразного характера, начиная от книги, посвященной искусству плавать, и кончая политическими памфлетами Мирабо. Слог Блена очень легкий и изящный. Его критика, по большей части, очень умеренная; ей нигде нельзя отказать в тонкости, но едкой она бывает очень редко. Блен де Сенмор раздражается с трудом; тогда в его словах появляются нотки, показывающие, что он обижен и чувствует себя оскорбленным в своем достоинстве. Это чаще всего бывает тогда, когда он говорит о Лагарпе, которого терпеть не может, или о Жозефе Шенье, которого считает интриганом и плагиатором и с которым у него личные счеты. То же можно наблюдать, когда он разбирает политическую брошюру или иное сочинение, не согласное с его политическими взглядами; в этих случаях у него слышится негодование «добродетельного» и «умеренного» человека, и нужно сказать, что чаще всего это случается, когда дело идет о памфлетах Мирабо. За критическими разборами следуют сообщения о музыкальных новинках, о новостях из литературного и особенно театрального мира и анекдоты, которыми так увлекались в XVIII столетии. Далее идут сообщения о жизни при дворе и в большом парижском свете. Об этом, так же как о политических событиях, Блен де Сенмор с удовольствием говорит со своими читателями. Все это перемешано с эпиграммами на выдающихся деятелей. Блен выбирает наиболее, по его мнению, остроумные. Он все время старается найти что-нибудь неизданное, свежее, неизвестное. Особенное удовольствие доставляет ему отыскать и процитировать какой-нибудь неизданный отрывок крупного писателя, например, Вольтера или Руссо.

Со времени собрания нотаблей в 1787 г. общий тон корреспонденции Блена начинает постепенно меняться. Политические новости начинают занимать в его письмах гораздо больше места, чем раньше. О самом собрании нотаблей он рассказывает много и подробно. Письма конца 1788 и первых месяцев 1789 гг. полны изложения содержания бесчисленных политических брошюр того времени. Генеральные штаты и Национальное собрание наносят новый удар литературной части корреспонденции. Блен де Сенмор сам не раз жалуется на упадок литературы и на уменьшение интереса к ней среди вихря политических событий. «Только и разговоров, что о том, что происходит в Генеральных штатах»,—пишет Блен 30 мая 1789 г.—«При теперешних необыкновенных обстоятельствах политические известия гораздо богаче и интереснее литературных; последние теперь ничтожны и пусты» (август 1789 г.). Он продолжает в том же духе год спустя: «Уже давно забросили литературу и занимаются только политикой, и когда находишь случай поговорить о красноречии и о поэзии, то воображаешь, что попал в какой-то новый мир» (август 1790 г.). Словом, с 1789 г. корреспонденция Блена становится скорее политической, чем литературной; этим она резко отличается от корреспонденции Лагарпа за те же годы.

Чтобы иметь возможность лучше судить о литературных и политических взглядах Блена, надо сообщить некоторые черты из его биографии.

Адриен-Мишель Блен де Сенмор родился в 1733 г. в семье буржуазного происхождения, но успевшей, хотя, повидимому, и не слишком давно, получить дворянство. Ведь для получения ордена св. духа Блену нужно было доказать, что он дворянин только в третьем поколении. Семья была разорена банкротством Дж. Ло. Первые шаги Блена в литературном мире были очень трудны. Вот почти все, что известно о его моло-



СБОРНИКИ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ БЛЕН ДЕ СЕНМОРА

Литературный музей, Москва

дых годах. Впоследствии ему покровительствовал Вольтер. Героические поэмы, с которыми он выступил около 1760 г., были встречены холодно. Из его драматических произведений одна только трагедия «Орфанис» имела длительный успех и продержалась на сцене до 1803 г. Его поэтическая деятельность, в общем, дала ему больше разочарований, чем славы и материальной прибыли. Обеспеченное существование открылось перед ним только, когда ему было уже за сорок лет, после того, как он в 1776 г. получил должность цензора и пенсию из фондов «Gazette de France», став, таким образом, чиновником и защитником «старого порядка» на наиболее уязвимом его фронте. Конечно, образованный француз второй половины XVIII в., за редкими исключениями и если только он не принадлежал к придворной знати, не мог не критиковать существующих порядков и не желать реформ; желал их и Блен, но он желал их в рам-

ках, намечавшихся Неккером, который и оставался его идеалом вплоть до 1790 г. По своим политическим взглядам он примыкал, таким образом, к монархистам-конституционалистам, т. е. к группировке крупной буржуазии и либерального дворянства. Даже после бегства Людовика XVI в 1791 г. особа короля остается для Блена священной. В 90-х годах, в разгар революции, он впал в крайнюю бедность и жил несколько лет только на присланные от в. кн. Марии Федоровны деньги. В 1796 г. он получил должность хранителя государственных архивов Франции. Его последним литературным трудом была двухтомная история России[6].

Умеренность и изящный вкус в литературных делах, умеренность и полное отсутствие всякого революционного духа в политике—вот основные черты Блен де Сенмора, как литературного корреспондента и, силою вещей, с 1789 г. политического хроникера. Впрочем, здесь необходимо сделать одну оговорку. Ведь Блен посылал свою корреспонденцию заграничным коронованным особам. И возможно, что эта клиентура Блена невольно заставляла его и в 1791 г. держаться в своей корреспонденции того же политического тона, какой установился в ней с 1781 г.

Несколько отдельных черт из его корреспонденции позволят уточнить взгляды Блена на явления литературного и политического мира. Великие имена XVIII в.— предмет его культа: он старательно сообщает отрывки, неизданные четверостишия Вольтера; он с наслаждением делится со своими читателями неизданным письмом, описывающим образ жизни Вольтера в Ферне перед последней поездкой его в Париж (см. № XIX). Церемонию перенесения праха Вольтера в Пантеон, последний триумф великого писателя, он описывает во всех подробностях. Но тут он все же кое-чем недоволен. Слишком много шума и грохота, слишком много кричащего. «Находили,— говорит он,—что вся церемония больше походила на маскарад, чем на церемонию, требовавшую достоинства» (см. № XL). Вот об этом «достоинстве», утерянном в революционных событиях, и жалел больше всего Блен.

Столь же глубокие чувства питает он к «несчастному Жан-Жаку». Он восхищается «чувством восторга и негодования, внушаемым ему испытываемыми им впечатлениями», «его чрезмерной чувствительностью, постоянно вводимой в заблуждение его слишком деятельным воображением»; он не может освободиться «от чувства боли и не быть растроганным, видя, как гениальный человек истязает себя, измышляя себе беспокойство, и пользуется своим талантом и красноречием, чтобы доказать, что в интересах всех людей не признавать его и что для него нет более счастья на земле» (см. № IV).

Блен умеет распознавать настоящие литературные таланты и выявляет их перед своими читателями. Он приветствует запоздалое выступление Бернардена де Сен-Пьера на литературном поприще: «С жадностью читают новую книгу под заглавием «Этюды о природе». Ее приписывают некоему Бернардену де Сен-Пьеру, близкому другу и горячему стороннику покойного Ж.-Ж. Руссо: в описаниях природы он, кажется, унаследовал часть талантов своего друга» (см. № XIX).

Блен де Сенмор полон уважения к Дидро. Вскоре после его смерти он посвящает ему целое письмо, озаглавленное: «Похвала г. Дидро» (см. № XVI). Впрочем, и в Дидро ему не нравятся две вещи: он предпочитает обойти молчанием нападки Дидро на Гельвеция, «знаменитого и несчастного философа, который был ранее его другом и которого пепел еще дымился»; ему также очень несимпатичны драматические произведения Дидро—эти яркие проводники новой буржуазной морали и освободительных идей предреволюционной эпохи; они «дурного вкуса», и он сожалеет, что «даже некоторые столичные писатели» увидели в этих пьесах «единственный подходящий для театра вид творчества»: «столь ошибочное мнение извратило бы весь национальный характер французского театра и привело бы французскую сцену к гибели, если бы только люди хорошего вкуса не воспротивились этому потоку».

Фигуры Бомарше и Мирабо, наоборот, вполне закономерно ощущаются Бленом, как явления социально и литературно враждебные, хотя он и не всегда умеет дать себе в этом отчет. Они ослепляют и смущают его в одно и то же время. Его отзыв о первом представлении «Свадьбы Фигаро» полон сомнений и оговорок (см. № IX). Критика Блена по поводу авторского предисловия к этой комедии, напечатанного в 1785 г., еще более резка и враждебна (см. № XX). Бомарше и его шумной деятельности в годы после появления знаменитой комедии Блен вообще уделяет много внимания. Он издевается над филантропическими проектами Бомарше, глубокомысленно противополагая им «разумные и практические средства», которыми пользуется патронируемое им Филантропическое общество, он постоянно возвращается к процессу Корнмана, и все его симпатии отнюдь не на стороне автора «Свадьбы Фигаро» и т. д.

Что касается Мирабо, то об этом прославленном вожде и трибуне первых лет революции Блен с удовольствием сообщает в своих письмах лишь самые злые отзывы и эпиграммы. Все книги и брошюры, выходящие из под пера Мирабо, представляются Блену «подлостями, возмущающими до последней степени всех граждан» (см. № XXXI). Можно сказать, что самое имя Мирабо пугает Блена; он в этом почти признается в письме от 7 мая 1791 г., где сообщает «о почестях, воздаваемых его праху», и о слухах, ходивших о нем после его смерти (см. № XXXIX).

Мы уже говорили выше, что, начиная с 1789 г., корреспонденция Блен де Сенмора становится более политической, чем литературной. Литературные новости, о скудности которых Блен так часто сожалеет, занимают в ней все меньше и меньше места. Эпиграммы, которыми он так любит приправлять свои письма, являются уже не литературными, а чаще всего политическими эпиграммами. По мере того, как парижские театры, особенно Французская комедия, делаются политическими трибунами, где пьесы оцениваются не столько по их литературному достоинству, сколько по политическим симпатиям зрителей, Блен все чаще жалуется на упадок искусства вообще и, в частности, той «школы хорошего вкуса», какой был театр Французской комедии (см. № XXXVII).

С 1789 г. литературная корреспонденция Блен де Сенмора приобретает характер политической хроники, излагаемой человеком, большая часть жизни которого протекла при старом порядке (ему в это время было уже около 60 лет), человека образованного, воспитанного в школе «хорошего вкуса» XVIII в., доброго слуги короля, чуждого политики и обладавшего добрым характером. Для того, чтобы судить о его взглядах на первые шаги революции, достаточно, может быть, прочесть его описание открытия Генеральных штатов 5 мая 1789 г. (см. № XXXII). Он, прежде всего, описывает процессию депутатов, сообщает о громадном стечении народа и о полном внешнем порядке, царившем на улицах, причем прибавляет, что «королю был оказан самый единодушный и самый трогательный прием». Блен де Сенмор, однако, не реакционер и не придворный льстец. Его симпатии скорее на стороне третьего сословия, а некоторые действия привилегированных сословий ему очень не нравятся. «Очень многие приветствовали также третье сословие,—сообщает он.—Но с прискорбием было замечено, что епископы и все высшее духовенство оставили большое расстояние между собой и священниками и другими духовными недворянского происхождения. Такое разделение было тем более чувствительно, что духовные лица, прелаты и др., должны подавать пример смирения и согласия». Он ничего не говорит о речи хранителя печатей Барантена, ничтожной, как сам оратор, и которой «никто не слыхал». Но Неккер все еще его большая симпатия и его надежда, и он с сожалением отмечает, что в числе депутатов находятся два его больших врага—Мирабо и д'Эпремениль—и что первый уже проявил «самым возмутительным образом» свое нерасположение генеральному директору финансов «своими нападками на него в „Газете Генеральных Штатов"». Он с негодованием и горечью говорит, что среди депутатов третьего сословия слишком много адвокатов: «По правде сказать, я думаю, что из-за адвокатов мы проиграем самое лучшее из дел.

Нет ничего невыносимее, нетерпимее и болтливее, чем это сословие». Блен заканчивает свое описание изложением решений, принятых всеми тремя сословиями после закрытия заседания. Весь рассказ написан очень спокойно, и автор добросовестно старается быть беспристрастным. Но мы все же напрасно стали бы искать у него хотя бы намека на какой-нибудь революционный порыв или на энтузиазм к новой эре, в которую входила Франция. То же самое впечатление остается от описания Бленом других великих революционных событий—взятия Бастилии, движения на Версаль 5 и 6 октября и т. д. Всегда все те же старания стать выше страстей, та же верность королю, те же симпатии и склонности ко всему умеренному, те же сожаления по поводу всяких эксцессов. Впрочем, к концу 1791 г. в стиле его корреспонденции все-таки намечаются какие-то сдвиги. Революционный поток как будто овладевает и им, или, может быть, Блен, встречавший революцию скорее со страхом, теперь мало-помалу привыкает к ней, хотя, может быть, и против своей воли. Однако, это только слабые оттенки, несколько отдельных слов и выражений, которые приходится разыскивать в его письмах.

В качестве нового источника для изучения литературной и политической Франции кануна и первых лет революции 1789 г. корреспонденция Блен де Сенмора представляет несомненный интерес. Однако, полное издание этого обширного эпистолярного собрания еще впереди. Здесь мы ограничиваемся выборочной публикацией небольшой части отрывков из корреспонденции, относящихся к некоторым явлениям, фактам и эпизодам из области литературы, театра и лишь отчасти политики[7].

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Michaud, Biographie universelle. Nouvelle édition, P., 1843, IV, pp. 442—443.

[2] «Nouvelle biographie universelle», publiée par F. Didot frères, P., 1858, VI, p. 253.

[3] «Grande Encyclopédie», статья: Blin de Sainmore.

[4] В рукописи есть следующие пробелы:

1781 г. начинается только с 38-го письма, датированного 22 сентября; за конец года дошло 13 писем: №№ 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 и 51; №№ 42 и 52 отсутствуют.

1782 г.: отсутствуют письма №№ 8, 14, 17, 19, 22, 24—42, 45—52.

1783 г.: отсутствуют письма №№ 1, 2, 3 и 4.

1786 г.: отсутствует письмо № 13.

1789 г.: отсутствует письмо № 1.

Очень вероятно, что пробелы за 1781 и 1782 гг. можно отчасти объяснить тем, что конец 1781 г. и большая часть 1782 г. совпадают с путешествием Павла и его жены по Европе. Письма, получавшиеся в пути, не собирались и не хранились особенно тщательно. Однако, этим нельзя объяснить исчезновение первых 37 писем 1781 г.

В нумерации писем имеются ошибки. За 1784, 1785 и 1788 гг. насчитывается по 53 письма, между тем, за 1784 г. нехватает № 19, за 1785—№ 37, за 1788—№ 50, в то время как все письма неизменно следуют одно за другим через 7 дней.

[5] Ныне тоже хранятся в Государственном литературном музее в Москве.

[6] «Histoire de Russie représentée par figures gravées par F. A. David d'après les dessins de Monet, accompagnées de discours par Blin de Sainmore». 2 vols. in 4°, P., 1798—1799. В 1813 г. вышло 2-е посмертное издание в 3-х томах in 8°, заканчивающееся рассказом об убийстве Павла. Центр тяжести этого издания лежит в прекрасных гравюрах довольно фантастического содержания, иллюстрирующих события русской истории от призвания варягов до царствования Павла. Сопроводительный текст к рисункам составлен Бленом по известному в его время труду Lévesque, Histoire de Russie (6 vols. in 12°, Yverdon, 1782—1783). Текст этот полон ошибок и искажений фактов; предвзятых мыслей в нем нет, но он может служить образчиком популярного изложения истории России, предназначенного для широких кругов французской публики конца XVIII столетия.

[7] Ряд интересных отрывков, относящихся к отставке Неккера в 1781 г., к делу об ожерелье королевы и к заключению Бомарше в тюрьму С.-Лазар, опускается нами, так как тексты их были использованы в печати. См. статьи Н. С. Платоновой: «Накануне Французской революции» и «Критический момент в жизни Бомарше», напечатанные в первой и третьей книжках журнала «Анналы» (Ленинград, 1925 и 1926).

I

Париж, 2 февраля 1782 г.

...Если бы автор трагедии представил на сцене противоположность между естественными и простыми нравами дикаря и утонченным и ловким вероломством цивилизованного человека, и если бы для того, чтобы подчеркнуть такой контраст, он вывел на сцене лжеца и честолюбца-попа, который, добиваясь вершины власти, хочет убить короля и его наследника, в то время как дикарь, движимый только чувством справедливости

ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ МАРИЯ ФЕДОРОВНА
Портрет маслом А. Рослина, 1777 г.
Эрмитаж, Ленинград

и гуманности, оберегает отца и сына от ловушек злодея и спасает им жизнь, убив узурпатора со словами: «вот цивилизованный человек; узнай же, что такое дикарь»,—то я убежден, что зритель, восхищенный столь новым и философическим зрелищем, будет аплодировать с восторгом. Такова именно цель, которую ставил себе автор трагедии «Манко-Капак», поставленной в 1763 г. и возобновленной в прошлый понедельник. Однако, несмотря на прекрасный сюжет, избранный г. Ле-Бланом, исполнение трагедии посредственно, интрига пьесы запутанна, действие ее вяло, события надуманны и мало интересны, характеры действующих лиц непоследова-

тельны, слог, кроме некоторых мест и отдельных стихов, небрежен и плосок и в то же время напыщен; поэтому трагедия не произвела почти никакого впечатления.

В новой опере «Двойное испытание, или Колинетта при дворе» нравятся только некоторые прелестные музыкальные отрывки. В нижеприводимой эпиграмме изложено в стихах то, что я уже сообщал о либретто.

В искусстве мастером не став,
Борясь с Фаваром, ты неправ:
Узнаешь разочарованье.
Ты будешь побежден в борьбе.
Чтоб зрителей привлечь вниманье,
Найми ты правщика себе.

II

Париж, 9 марта 1782 г.

...Среди новостей, появившихся за последнюю неделю, отмечают книгу, вышедшую под заглавием «Poésies fugitives». Она принадлежит перу г. Ле Миерра, члена Французской академии. Книга открывается довольно холодными поэмами, которые, однако, получили премии в разных академиях. В одной из них можно найти очень известный стих, который избрали своим девизом многие корабли в наших гаванях:

Трезубец Нептуна есть скипетр мира.

Затем идет несколько посланий с остроумными мыслями и поэтическими деталями. Среди них есть три стихотворения, уже напечатанные в журналах. Первое называется Восход солнца, вольное подражание русскому поэту. Оно начинается следующими прекрасными стихами:

Déjà l'astre du jour s'est emparé du ciel,
Il lance par faisceaux ses rayons sur la terre,
Et je découvre à sa lumière
Les prodiges sortis des mains de l'Eternel.
Mon âme, élance-toi vers cette clarté pure;
Des portes du matin admire la Nature
Et remplis-toi de son auteur.
Ah, si nos yeux pouvoient, sans blesser leur paupières
Approcher du Soleil, contempler sa splendeur
Et s'enfoncer dans sa lumière!
Ils ne verroient qu'un océan de feu
Que ne bornent aucuns rivages
Que tourbillons brûlants luttant sans cesse entre eux
Et dès la naissance des âges
Embrasent la plaine des cieux[1].

Мне кажется, что эту картину можно отнести к редким по своему великолепию образцам поэтического творчества.

III

Париж, 25 мая 1782 г.

Впечатление от комедии «Льстец», произведения г. Лотье, оправдало при чтении то суждение, которое я уже высказал после его представления.

Как известно, Жан-Батист Руссо уже касался этого сюжета[2], и даже по отзыву г-на де Вольтера, который не любил ее, это была лучшая его пьеса. Действительно, хотя она и грешит недостатком действия, она выше всех комедий, которые появляются в настоящее время. Характер «льстеца» обрисован превосходно. Сцена, в которой он добивается от Доранта отказа от своего слова, ведется с необычайным искусством, а следующая сцена 5-го акта, где «льстец» разоблачается без какой бы то ни было обиды тому, кто им обольщен, принадлежит к наилучшим сценическим произведениям. Другое достоинство этой пьесы состоит в том, что она написана очень правдиво и естественно.

«Льстец» г. Лотье имеет все недостатки «Льстеца» Руссо и не имеет его качеств; все же новая пьеса обличает в авторе настоящий комический талант. В ее деталях есть такие места, которые позволяют возложить на автора большие надежды, если он только найдет сюжет более подходящий и более богатый комическими чертами.

Я приведу только одно место:

...некогда вельможа утверждал,
Что, в школе не учась, он все, однако, знал;
А ныне не подозревает,
Что учится всему, но ничего не знает.

Эта мысль нова и правдива. В старое время большие господа действительно были полными невеждами и рассуждали обо всем. Теперь они читают курсы по химии, ботанике, анатомии, естественной истории, гиппиатрии и т. д. и все-таки знают не больше, чем прежде.

В данный момент здесь только и говорят, что о приезде графа и графини Северных в Париж [3]...

Вчера граф и графиня были во Французской комедии. Их присутствие привлекло огромное стечение публики, которая выражала свою радость и удовольствие не раз повторявшимися рукоплесканиями. Давали «Танкреда» [4] и «Опасного человека». Хотя актеры старались превзойти самих себя, трагедия не произвела своего обычного впечатления, но роль «опасного человека» так превосходно передается Моле и Превилем, что недостаток действия и несообразности этой пьесы совсем не были заметны. Никогда не было такой естественной и совершенной игры.

Комедия «Женитьба Фигаро» г. де Бомарше испытала некоторые затруднения в цензуре, но они только-что сняты, и артисты Комедии не замедлят поставить эту столь давно ожидаемую пьесу.

IV

Париж, 8 июня 1782 г.

«Одинокими мечтаниями» [5] оканчивается 2-й том «Исповеди» Ж.-Ж. Руссо. Они разделяются на 10 прогулок. В них философ предается чувствам упоения и негодования, возбуждаемым в нем впечатлениями. В одних местах он с наслаждением вспоминает свои первые радости. В других он описывает преследования, которым он подвергался со стороны своих врагов, и свои прошлые несчастия, и возможно, что его воображение часто преувеличивает и радости и неудачи. Именно здесь с бо́льшей силой, чем где бы то ни было, проявляются его беспокойство, его подозрительность и его обидчивость. Ребенок, просящий у него милостыни и называющий его при этом по имени, уже внушает ему панический страх. Инвалиды,

проходящие мимо него, не смотря на него и не кланяясь, приводят его в состояние горести и безнадежности. Чрезмерная чувствительность, подогреваемая вечно деятельным воображением, заставляет его в самых безразличных вещах видеть общий заговор всех его современников, создаваемый для того, чтобы мучить и унижать его.

Описание острова Сен-Пьер на Биеннском озере, которое мы находим в одной из его «прогулок» и где он нашел убежище после своего дела в Мотье-Травер[6], дышит такой прелестью, что невольно разделяешь его восторг. Это, бесспорно, лучшее место в его «Мечтаниях».

Как бы то ни было, оплакивая печальную хрупкость человеческого ума, нельзя удержаться от чувства скорби и жалости, когда видишь, как гениальный человек истязает себя, измышляя причины беспокойства, и пользуется своим талантом и своим красноречием, чтобы доказать, что никто его не признает и что для него не существует счастья на земле. Мне все же кажется, что если у этого знаменитого и несчастного человека были враги, преследовавшие его, то у него было также не мало друзей и сторонников, которым следовало бы поддержать его. Если бы у него было поменьше чувствительности и побольше жизненной философии, то он бы должен был презирать первых и никогда не забывать о вторых...

...Актеры Французской комедии репетируют в настоящее время «Английских журналистов», трехактную комедию г. Кайава[7], долго задерживавшуюся цензурой; они собираются поставить ее в самом близком времени.

Французский театр[8] объявил на сегодняшний день «Иоанну Неаполитанскую»[9] с переделанным 5-м актом, но кажется, что придворные празднества помешали назначенному спектаклю.

В настоящее время пребывание графа и графини Северных поглощает все политические и литературные новости. Только ими и занимаются, только и справляются о том, что они делают и что они говорят...

...В прошлую среду высокие супруги были на заседании Королевской академии наук, где были приняты графом де Майбуа и астрономом г. де Лаландом[10]. Маркиз де Кондорсе[11], в качестве секретаря, открыл заседание чтением отрывка, в котором, воздав хвалу царю Петру I и знаменитому г. Галлеру[12], поздравил Академию с честью, оказанной ей в этот день. Граф и графиня Северные выказали много чувствительности по поводу этого комплимента. Затем несколько членов прочли научные рассуждения; но потому ли, что у читавших был слишком слаб голос или потому, что они были изложены сухо и неинтересно, эти рассуждения оставили мало впечатления.

Сегодня вечером граф и графиня должны присутствовать на парадном балу, который король дает им в Версале, а завтра они должны посетить Марсово поле, где будут смотреть учение французской гвардии.

Г-н де Бомарше имел честь прочитать перед графом и графиней Северными свою комедию «Женитьба Фигаро», которая, кажется, им очень понравилась. Чтобы засвидетельствовать автору свое удовольствие, граф Северный соизволил согласиться на посвящение ему пьесы[13].

V

Париж, 8 февраля 1783 г.

Г-н де Бомарше, принесший стольких в жертву своему сарказму и своей способности высмеивать всех и все, встретил, наконец, противника, не побоявшегося померяться с этим опасным бойцом. Некто, оставшийся

неизвестным, роздал украдкой в нескольких домах брошюру, озаглавленную «Письмо г-на Х., члена общества Парижских водопроводов, г-ну Карону де Бомарше[14]». Эта шутка появилась после записки, которую г-н де Бомарше подал королю с просьбой сложить все платежи и налоги с материалов, необходимых для предприятия по изготовлению пожарных насосов, одним из участников которого он состоит, как, например, с железа, свинца, леса, угля и т. п. Это и составляет главное содержание письма; поэтому я обхожу вступление, в котором есть забавные напоминания об успехах г-на де Б. во всех его делах, о записках, которые

ПАВЕЛ I
Миниатюра неизвестного художника XVIII в.
Собрание Н. И. Тютчева, Москва

он подавал, о революции, которую он хотел сделать в области комедии, но которой не сделал, о его манифесте против Англии и т. д. Я ограничусь тем, что предложу вниманию читателя разбор прошения, поданного г. де Б. королю.

«Наше предприятие вы посвящаете королю. Что ж! Пусть королю посвящаются пожарные насосы, как ему посвящается комедия, хотя бы и такая веселая, как «Севильский цирюльник». Вы начинаете так: «Если посвящение добродетельного поступка...». Прошу извинения, г. Карон де Б., я не думаю, чтобы предприятие было поступком, и я хотел бы, чтобы с королем Франции говорили по-французски. Далее вы прибавляете, что мы имели мужество пожертвовать Парижу, у которого достаточно денег, 3 миллиона, чтобы снабдить его водопроводами, что мы истратим еще столько же для этой благородной цели и что ни одна ассоциация не приносила еще столь полезного и столь велико-

душного дара. Знаете, ведь вы вселяете в меня тревогу. Объяснитесь, пожалуйста. Я люблю свое отечество не меньше других; хотя я и деловой человек, но душа у меня не железная, и я вовсе не хочу терять 100 000 экю, которые я внес в качестве моей доли в Компанию парижских водопроводов. Вы уверяете, что это—самый великодушный дар. А мне вы твердили, что это самое выгодное дело. Так мы и говорим о нем между собою, когда не обращаемся к королю в печатном листке, обегающем весь Париж гораздо скорее, чем наша вода. Правда, мы еще не получили прибылей на наши взносы. Но ведь и момент еще не пришел. Мы никогда не ждали, что наши 100 000 экю дадут нам 20 000 в 1-й год или 40 000 на второй, но я хорошо помню, что мы рассчитали, что капитал, вложенный в это предприятие, через некоторое время даст нам 20—25 % ежегодной прибыли вместо обычных 5 %. За такую цену снабжать водой Париж—прекрасное дело. Вот как я понимаю великодушие. Согласитесь, что и вы понимаете его так же точно и что вы вложили часть ваших денег в наше предприятие вовсе не из любви к общественному благу, да и не любовь ваша к 13 штатам заставила вас вооружать корабли в пользу Америки в начале восстания. Что касается меня, то я охотно буду благодетелем человечества и пущу мои деньги в оборот в Старом и Новом свете, если только они будут приносить мне 20 или 30 %. Я хотел бы, дорогой сочлен, чтобы вы говорили о нашем предприятии в менее выспренних, но зато в более правдивых выражениях, и чтобы вы сказали, что предприятие, над которым мы работаем, прежде всего выгодно нам, а затем уже, что оно будет полезно всему Парижу. Тогда бы вам поверили. Неужели же вы хотите, чтобы вас сочли столь бескорыстным и великодушным в деле, совершенно таком же, как другие наши дела, которые дают нам,— вам и мне,—прекрасный собственный дом, открытый стол, восхитительный загородный домик и экипажи на все вкусы.

Вы говорите также, что долг выдвинуть столь грандиозный проект и гордость проведения его в жизнь должны бы были, может быть, принадлежать только самому правительству. Я не знаю, ни что такое «долг проекта», ни что такое «гордость проекта». Однако, вас понимают и под богатым занавесом находят определенную истину. Все же, когда обращаешься к своему государю, не следует делать ему замечания и говорить, что вы сделали то, что ему самому следовало сделать. Ведь, в конце концов, у нас правительство—не кто иной, как король».

Отметив софизмы и пафос, содержащиеся в прошении г. де Б., аноним, продолжая в том же тоне, приводит, несколькими страницами дальше, собственные слова г. де Б.:

«Прежде чем извлечь самую незначительную прибыль из вложенных капиталов, Компания водопроводов считает себя счастливой предложить управлению этого великого города на вечное время и бесплатно всю воду, требуемую для тушения пожаров, а чтобы все обилие воды, необходимое для столь ужасной надобности, никогда не задерживалось и не прекращалось, компания намерена доверить начальникам парижских пожарных депо ключи от всех водных резервуаров, образцом которых может служить тот из них, быстрое и сильное вытекание которого компания только-что показывала членам городского магистрата, исходя из такого расчета, чтобы во всякое время и во всех местностях города можно было из любого громадного отвер-

стия трубы наполнить все вместилища пожарной службы (если пожар далеко), или же, если место пожара находится в непосредственной близости, то воспользоваться сильной и непрерывной струей в 50 футов высоты. Мощные краны непосредственно сообщаются по артериальным трубам с четырьмя большими резервуарами в Шайо. Последние, наполняемые при помощи огневой машины, дадут в распоряжение общественной безопасности неиссякаемую водную массу из 50 000 источников, предназначенную безвозмездно для ее сохранения».

Все сказанное выше извлечено из прошения г. де Б. Аноним отвечает на это следующее: «Какие фразы и какие слова! Сколько шума вы производите нашими водопроводами и нашими насосами! Наша машина хороша и проста, а когда вы о ней говорите, мне кажется, что я слышу шум машины в Марли. Какое запутанное и тяжелое построение! Какие трескучие слова! Обилие воды, необходимое для столь ужасной надобности, и т. д. Быстрое и сильное вытекание и т. д. Сильная и непрерывная струя и т. д., громадное отверстие трубы, мощные краны и т. д., артериальные трубы (причем тут артериальные?). Неиссякаемая масса, предназначенная для сохранения общественной безопасности (сохранения общественной безопасности!). Это не тот стиль, которого требует Гораций—puroque similimus amni. Во всяком случае, не следует так напыщенно говорить о собственной благотворительности. Тщеславие может часто сочетаться с талантами, но никогда не с благотворительностью. Оно наслаждается собою гораздо больше, чем взорами и восхищением других людей. И как вы плохо содействовали нашей цели. Вы хотели описать нашу машину и показать ее публике. А между тем, ваши громкие слова прячут ее вместо того, чтобы ее показать. Знаете ли вы слова древнего мужа, у которого спрашивали его мнение об одной трагедии? „Я не мог рассмотреть ее,—ответил он,—слова спрятали ее от меня“».

Злая критика оканчивается следующим образом:

«Прощайте, дорогой сочлен, я был слишком многоречив и многословен. Но когда говоришь с таким великим человеком, как вы, то смущаешься, путаешься, лепечешь, и фразы выходят слишком длинными. Ваша переписка с мадемуазель кавалером д'Эон [15] была немножко повеселее—вы вдвоем вели игру. Вашим гением особенно прониклась эта мадемуазель, когда она вам сказала, что из двух разбойников, которые напали на вас в лесу в Германии, вы убили трех. Разговор двух членов одного предприятия, беседующих о своих интересах, не может быть забавнее этого. Возвращайтесь, скорее возвращайтесь из ваших долгих путешествий. Разве Компания водопроводов и министерские кабинеты могут так долго обходиться без вас? Рассказывают, что во время пребывания вашего в Бордо вы, всегда одинаково щедро рассыпая ваши качества, по очереди говорили перед торговой палатой от имени г. д'Эстена [16] и от имени торговой палаты перед г. д'Эстеном, примерно, как Криспен[17], читая трагедию своего сочинения, поворачивается в одну сторону и изображает принца, а сделав пируэт и повернувшись в другую, изображает принцессу. Я вам скажу—не компрометируйте своей репутации и возвращайтесь в добрый Париж. В Бордо—тонкий народ, и тамошние люди могут поспорить с вами по части веселья».

ЧЕТВЕРОСТИШИЕ ВОЛЬТЕРА К КРАСАВИЦЕ

Философ, данник увлеченья,
Достоин я любви твоей,
Лишь полюби, дождусь верней
И зависти и уваженья.

VI

Париж, 12 июля 1783 г.

Только-что вышел маленький томик, содержащий новые нападки на прах красноречивого и несчастного Руссо; отдельные отрывки из него были напечатаны в «Энциклопедическом Журнале»[18] за этот год. Первая и главная из помещенных в томике статей принадлежит, несомненно, очень изящному перу. Автор ее — г. Серван, бывший генеральный адвокат парламента в Дофине, столь известный прекрасными работами по своей специальности [19]. Его новая статья должна, по моему мнению, окончательно утвердить за ним репутацию порядочного человека и отличного писателя; это очень умное, очень умеренное и прекрасно написанное рассуждение о том, какое видное место личные вопросы и отношения занимают в большей части произведений Ж.-Ж. Руссо, а особенно в его знаменитой «Исповеди». Г-на Сервана не следует смешивать с врагами Ж.-Ж.: рассуждая о недостатках автора «Эмиля», он нигде не уклоняется от уважения подобающему таланту и даже добродетелям знаменитого женевского гражданина. Он жалеет Ж.-Ж. за его заблуждения, за его подозрительность, за его химерические преувеличения и рассматривает эти явления, как следствие его кипучего воображения и слишком развитой чувствительности. Работа г. Сервана написана с увлечением и во многих отношениях должна быть поставлена рядом с сочинениями бессмертного автора «Эмиля». Везде в ней чувствуется честный человек, но все же я боюсь, что, предубежденный врагами Руссо, он защищает их мнения, думая, что он только

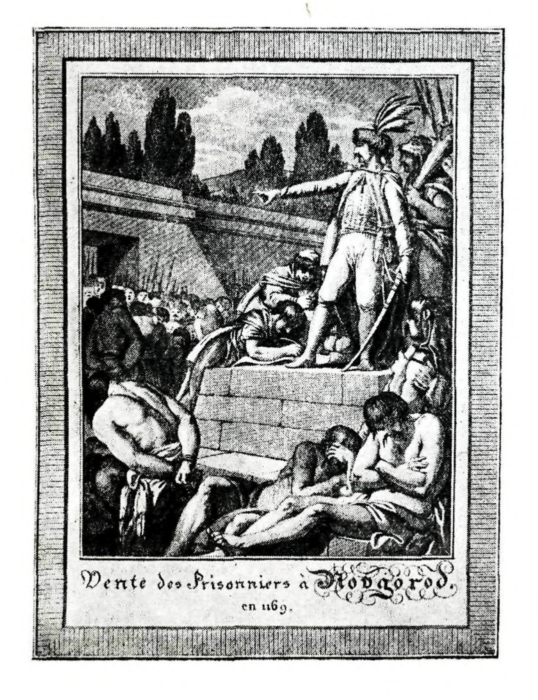
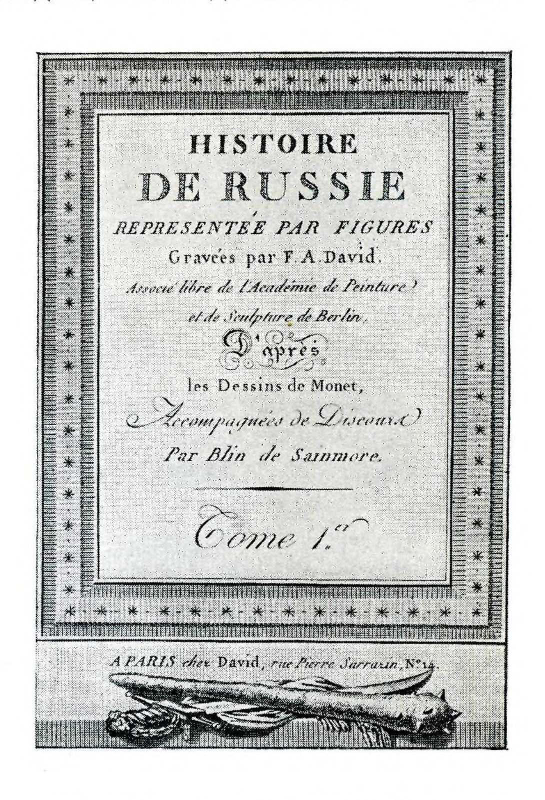


ИЛЛЮСТРАЦИЯ
ИЗ „ИСТОРИИ РОССИИ“ БЛЕН ДЕ СЕНМОРА,
ПАРИЖ, 1797—1799 гг.

Гравюра Ф.-А. Давида



ШМУЦТИТУЛ I ТОМА „ИСТОРИИ РОССИИ“ БЛЕН ДЕ СЕНМОРА, ПАРИЖ, 1797—1799 гг.

Гравюра Ф.-А. Давида

защищает свои взгляды. Разумно и красноречиво порицает он Руссо за личные выпады, которые Руссо позволял себе в своих сочинениях. Но можно спросить себя, не поступали ли точно так же и другие по отношению к Руссо и не боятся ли репрессалий его враги? Разве не может Руссо бороться с противниками теми же средствами, какими они пользовались, чтобы нападать на него? Не было ли уже давно написано, что Руссо — гордец, неблагодарный человек, лицемер, злодей, даже раньше, чем появилась его «Исповедь»? Повидимому, главная цель статьи г. Сервана — оправдать своего друга г. Бовье, гренобльского адвоката, от обвинений, которые Руссо высказывает в своей 1-й «прогулке», будто Бовье допустил его съесть ядовитых ягод, не предупредив его, что они ядовиты. Возможно, что г. Бовье совсем не знал, что есть эти ягоды опасно и что Руссо необоснованно считает его молчание за преступление. Но мне кажется, что г. Серван, оправдывая своего друга в этом случае, обвиняет его в другом отношении. Возможно, что против г. Бовье Руссо настроили не его слова и не его молчание, но письмо, которое он написал к Руссо с просьбой возвратить 9 ливров, которые какой-то странствующий мошенник занял у бедного ремесленника, назвавшись именем Руссо. Мне кажется, что образ действий г. Бовье, по меньшей мере, нескромен, ибо даже если предположить, что Руссо оказался в столь несчастных обстоятельствах, что занял 9 ливров у бедного рабочего и не мог их отдать, то все же г. Бовье должен был чувствовать, что, требуя эти деньги, он должен был унизить Руссо. Я думаю, что, прежде чем обращаться с требованием, он должен был выяснить факт и удостовериться, был ли действительно женевский гражданин лицом, которое заняло деньги, и притом сделать это так, чтобы тот ничего не знал, и, только удостоверясь, что это был именно он, г. Бовье должен был отдать 9 ливров рабочему, не говоря об этом деле ни Руссо,

ни кому бы то ни было. Таково должно быть, если я не ошибаюсь, поведение порядочного человека в подобном случае, и таково должно было быть поведение г. Бовье. Можно ли удивляться, если в таком образе действий Ж.-Ж. увидал лишь попытку оскорбить и унизить его? Как бы то ни было, но после искусно, осторожно и красноречиво написанной статьи г. Сервана становится ясно, что Руссо, действительно оскорбляемый и преследуемый, мог часто преувеличивать людскую злобу и упорно сражаться с привидениями, им самим выдуманными. Но было бы несправедливо думать, чтобы такой человек, как Руссо, постоянно ошибался и что все его обвинения были лживыми. Что касается меня, то я знаю, что своими врагами он считал людей, которые на самом деле недостойно оскорбляли его и которые были способны на все, чтобы повредить ему. Значит, он не всегда ошибался? Вслед за этой статьей помещена другая статья того же автора, содержащая мудрые мысли о публикации писем вообще. Г-н Серван доказывает, что нельзя располагать полученным письмом без формального на то согласия написавшего его и что столь частое злоупотребление доверием в этой области есть покушение на самое общество. Опубликование письма в печати без согласия автора и адресата он считает таким же преступлением, как если бы украсть у кого-нибудь кошелек.

VII

Париж, 18 октября 1783 г.

...Я, наконец, прослушал знаменитые тайные мемуары Вольтера[20], которых существуют на свете только два рукописных экземпляра и которые их теперешний владелец, согласно самым точным распоряжениям, не может сообщить кому бы то ни было.

Так как я не имел в руках ни одной из этих рукописей, то я только могу дать вкратце представление о духе, в котором они написаны; я слишком мало доверяю своей памяти, чтобы решиться войти в подробности. Сочинение это содержит только то, что случилось с автором при люневильском дворе и еще при другом дворе, при котором он долго жил. Основное содержание хорошо знакомо образованным людям, но манера, с которой он рассказывает самые маловажные события, освежает их легкостью и весельем его пера. Везде встречаются оригинальные и пикантные сопоставления. Есть также несколько любопытных анекдотов, скорее, впрочем, искусно выдуманных, нежели правдивых. Различные чувства, которые автор выражает касательно одного и того же предмета в этом сочинении и в других своих произведениях, не оставляют сомнения, что он солгал или в одном или в другом. Слушая мемуары, действительно, много смеешься, но если новое произведение дает высочайшее представление о таланте автора, о его сарказме и шутке, то далеко не в столь выгодном свете рисует оно его личный характер и степень надежности отношений с ним. Он одинаково насмехается и над друзьями и над врагами. Ничто не избегает его насмешек; никакой тормоз его не удерживает, лишь бы только позабавился читатель. Ж.-Ж. Руссо в своих мемуарах старается обрисовать свои недостатки. Вольтер в своих записках старается только о том, чтобы выставить других в смешном виде. В общем, у всякого порядочного человека чтение этих записок оставляет тяжелое чувство; с болью видишь, что человек, исключительные заслуги которого мы склонны уважать, сам отчасти разрушает то высокое мнение о себе, которое он внушил людям, достигая этого тем, что топчет все принципы нравственности только для

того, чтобы вызвать минутный смех. Восхищаясь его гением, приходится сожалеть, что он так им злоупотребляет. Вторая часть записок касается политических событий, в которых автор тайно играл довольно большую роль. Но как только исчезает его сатирический смех, он перестает быть интересным. Скажу откровенно, что эта часть записок всем слушателям показалась сухой и холодной и что автор становится скучным, когда принимается за рассуждения. Записки начинаются с 1750 г. и оканчиваются 1760 г.

VIII

Париж, 28 февраля 1784 г.

В четверг 26-го во Французской академии происходило публичное заседание, на котором совершался прием графа де Шуазёль-Гуффье[21] на место покойного г. Даламбера и г. Бальи[22] на место покойного графа де Трессана[23].

В своей речи г. де Шуазёль воздал, по обычаю, должное члену Академии, преемником которого он является, и сделал характеристику важнейших его трудов. Наибольший интерес привлекло изображение заброшенности его детства и той сыновней преданности, которую геометр всегда питал к тем, кто взял на себя заботу о его младенческих годах.

Маркиз де Кондорсе, отвечая г. де Шуазёлю в качестве директора Академии, распространился о научных заслугах г. Даламбера и искусно воспользовался только-что состоявшимся назначением нового академика на пост посланника при Порте, чтобы изобразить острую нужду в помощи, которую Оттоманская империя испытывает в области искусств и просвещения, и чтобы поздравить ее со счастливым выбором нового нашего посланника, столь подходящего для содействия ее просветительным интересам. Г-н Бальи, отдав, в свою очередь, дань обычаю и произнеся тонкое и искусное хвалебное слово в память графа де Трессана, старался доказать пользу участия ученых в литературном движении. В своем ответе г. де Кондорсе пошел еще далее, утверждая, что художественной литературой должны заниматься только ученые, резко нападая на всех несогласных с его мнением. Рискуя попасть в число последних, я беру на себя смелость думать, что литератор, конечно, не должен быть невеждой, но что все же есть такая степень учености, которая вредит теплоте, чувству и воображению писателя. Мне могут назвать двадцать геометров, в произведениях которых были ясность, методичность и точность, но мне не назовут ни одного, который обладал бы теплотой чувства и истинным красноречием.

IX

Париж, 1 мая 1784 г.

... После многих колебаний с разрешениями и запрещениями г. де Бомарше добился, наконец, того, что Французский театр поставил его пьесу под названием «Безумный день, или женитьба Фигаро». Первое представление состоялось в прошлый вторник[24]. Народа было множество. Толпа была так велика, что даже во время спектакля новая улица Французского театра, достаточо длинная и широкая, была густо наполнена людьми, не доставшими мест. Эта пьеса, усиленно возбуждающая любопытство своей оригинальностью, славой автора и упорством, которое правительство проявляло, чтобы не допустить ее на сцену, совершенно выходит из ряда обыкновенных. Это не комедия, а диалогированный роман, где можно встретить мысли самые сумасбродные, самые удивительные и в то же время

самые веселые, где встречаются самые забавные положения и самые пикантные эпиграммы, какие только можно себе вообразить. Нужно, однако, сознаться, что если пьеса и написана человеком острого и оригинального ума, то в сочинителе не видно ни глубокого наблюдателя, ни настоящего комического автора, ни изящного писателя. Шутки его большей частью дурного вкуса и надуманны. Прибавьте к этому, что общий характер его произведения изобличает в нем один из самых развращенных умов нашего века. Нет благородного чувства или добродетельного принципа, которых он не старался бы поднять насмех. В общем, автор скорее остроумный забавник, чем гениальный комик. Все же, однако, его произведение забавляет, развлекает и, несмотря на свои длинноты, заставляет зрителя смеяться. Пьеса целиком занимает весь спектакль, который оканчивается только к десяти часам.

Хотя ход действия довольно ясен, но интрига обременена таким количеством сложных инцидентов, сменяющих один другой и в то же время лишенных целостности, что в ней нельзя отдать себе отчета, видев пьесу один раз. Вот почему я и не решаюсь дать анализа интриги читателю. Ручаюсь, что это не удалось бы самому искусному журналисту. Достаточно сказать, что пьеса является продолжением «Севильского цирюльника». Интриги Фигаро приводят к тому, что граф Альмавива женится на Розине, но скоро он изменяет ей и стремится обольстить молоденькую Сусанну, предназначенную им для Фигаро. Последний, проникнув в замыслы своего господина, пускается на всякие хитрости, чтобы провалить их, что приводит ко всевозможным недоразумениям.

Пьесу на этой неделе сыграли три раза под ряд, и каждый раз почти с таким же стечением народа. Три первых акта понравились больше, чем два последние. Надо надеяться, что при дальнейших представлениях автор выпустит много таких деталей, которые возбудили ропот.

X

Париж, 8 мая 1784 г.

По случаю изумительного успеха «Женитьбы Фигаро» циркулирует следующая эпиграмма, озаглавленная: «Желание драмомана, или неделя розового цвета».

Стал парижанин ветреным повесой!
Вот потчивать себя отважился он пьесой,
И, распотешенный успехом Фигаро,
Он видит: перед ним мелькает жизнь пестро!
К веселью не остыв, чтоб зря не улетели,
Я круглый счет веду безумным дням недели.
Прекрасный Requiem откроет воскресенье,
А в понедельник «Вор-грабитель» у Куртена.
Во вторник «Женневаль» в театре Арлекена,
А в среду «Беверлей» в театре у Соклена,
Засим на бой быков в четверг вблизи Пантена;
Куда-то в пятницу на светопреставленье.
Глядеть, как вешают в субботу—в завершенье! [25].

Вероятно, по той же причине распространяют другую эпиграмму, на «незаслуженные успехи»:

Итти желая в ногу с веком,
Включающим в число слепцов,
Согласно римлянам и грекам,
Любовь с Фортуной, был готов
Подумать я, что рок упорный
Вознаградит зато цвет общества отборный,
Дав Славе острый глаз, чтоб видела она.
С тех пор, как понял я, что происходит ныне,
Я мыслю, что в своей гордыне
И Слава здесь ослеплена.

ОБМАНУТЫЙ РЕВНИВЕЦ. СЦЕНА ИЗ КОМЕДИИ БОМАРШЕ „ЖЕНИТЬБА ФИГАРО"
Картина маслом Л. Буальи
Музей изобразительных искусств, Москва

XI

Париж, 15 мая 1784 г.

Успех «Женитьбы Фигаро» продолжается. Пьеса производит все тот же фурор, и с ней происходит то, что всегда бывает со всеми пьесами, производящими сенсацию. Все о ней говорят и все бегут ее смотреть. На одном из представлений сверху в оркестр и паркет бросали множество экземпляров следующей эпиграммы:

Новинку странную сезона
Я видел: прихоти полна,
Через рогатки все закона,

Французов зрелища бесславила она.
Пороков не сочтешь в сей драме неприличной:
Бартоло—скряги тип обычный,
А Альмавива—совратитель;
И воплощение измен—
Его жена; вор Дублемен;
Базильо—клеветник-хулитель;
Мегера злая—Марселина;
Фанчетта-скромница не так скромна уж, право;
Сюзанна боле чем лукава:
И по сердцу ей паж,—о чудная картина!—
Любовник госпожи, любимчик господина.
Какая нравов смесь в интриге на примете!
Какой бонтон! У всех страх виден на лице.
И чтоб с реальностью сличить пороки эти,
Галерка вызвала и автора в конце.

Некоторые несомненно злонамеренные лица утверждают, что г. Бомарше сам напечатал и распространяет эпиграмму, предварительно подделав ее. Я верю этому с трудом, но, во всяком случае, он послал письмо в «Парижский Журнал», в котором приводит текст эпиграммы, обещает назвать имя автора и принести ему благодарность в предисловии к своей пьесе, которое не замедлит появиться в печати[26].

XII

Париж, 17 июля 1784 г.

На будущей неделе в Итальянском театре предполагают дать пьесу под заглавием «Любовные похождения Керубина». В ней много говорится о Фигаро. Под прикрытием этого имени в пьесе проводится косвенная сатира на автора «Безумного дня». Сделали так, что личность автора пьесы слита с личностью Фигаро. Комедия «Женитьба Фигаро» попрежнему привлекает толпы зрителей. На 29-м представлении было столько же народа, сколько на первом. Автор новой упомянутой выше пьесы остается неизвестным. Знают только, что музыка принадлежит г. Дезеду[27]. Эта маленькая комедия непременно наделает шума. Тем временем к Фигаро направлено следующее послание, которое уже успело прославиться:

Служитель Талии чудесный,
Рядивший в момусов колпак
Главу Урании небесной,
Ты жертва зависти и врак,
Меж тем как досаждали так
Тебе враги толпой кичливой,
Из Андалузии счастливой
Среди харит внезапно ты
Вновь прилетел в Париж бурливый,
Яд обезвредив клеветы;
Привет, дитя мечты игривой!
Здесь ты находишь верный кров,
Толпа жестоко осмеяла
Твоих гонителей—глупцов.
Вотще их свора ядом слов,

Едва утаивая жала,
Тебя пред троном ославляла
Безумцем, чей злочинный ков
Грозит покою городов,
Предав насмешке лиц степенных;
Компрометирует вельмож,
Не признает особ почтенных
И в выраженьях дерзновенных
Опровергает смело ложь.
Гонимый, ты с Тартюфом схож,
Но ты провел шутов презренных.
Триумф столь славный вдохновил
И пробудил твою отвагу:
Ты нас шедевром угостил.
Взойди же к общему ты благу
На холм священный и без слов
Оттуда изгони ватагу
Попавших чудом в ранг богов.
Насмешку обрати ты в шпагу,
Сорви с главы их ореол:
Чертополох там расцветает,
Где лавр бессмертный древле цвел.
Рази ты тех, кто обирает
Слабейших, сея произвол;
Тех, кто примером заражает
Простой, доверчивый народ;
Тех, кто, блистая мишурою,
С высокомерьем и тщетою
Мнят, что заменой долгу—род,
Что от оброков герб спасет.
Описанные кистью злою,
Сии предатели-жрецы,
Первосвященники Фемиды
И заклейменные лжецы
За туалетом у Киприды,
Свой усыпив деньгами стыд,
Права невинности даруют
И ими, как хотят, торгуют,—
Дельцы, чьи души—точный вид
Бездонной бочки Данаид.
Сих патентованных тиранов
Страшатся все за цепь обманов:
Невинный ими осужден,
Он обесславлен, обречен
На кандалы без сожаленья
Или на меч неправый мщенья.
Но брось врагов, смени свой гнев
На песнь; сыграй нам на гитаре,
Судеб удары претерпев,
О чванных, об их жалком даре;
О наших прихотях, как встаре,

Скажи литанью нараспев.
Воспой всесильных жен и дев,
Тайком дарящих в будуаре
И жезл правителя стальной,
И шелк для ленты голубой,
Прерогативы дипломата,
Чин академика пустой,
И снежный горностай с звездой,
И рясу черную аббата.
Героя наших дней воспой:
Себя достойным мнит герой
Венков Сюффрена, Лафайета[28]
За то, что (не победа ль это?)
Диваны чуть не с бою брал
И кумушек сживал со света;
Воспой стяжавших лавр поэта
Тем, что строчили мадригал
И кличкой Сафо льстили где-то
Отменным дурам модных зал
И королевам туалета;
Наш вольный нрав воспой без жал
И злободневное либретто,
Газет правдивых идеал.
Яви же, наконец, на сцене
Веселье вместо скучных драм,
Располагающих к слезам,
Вельми любезным Мельпомене.
Среди проказливых затей
И острословья удалого
Искусство воссоздать сумей
И, много показав смешного,
В весельи отпусти людей.
С душой всегда простосердечной
Храни ты вольности свои.
Король одобрит их, конечно:
Бывало ль разве, что Луи
От правды убегал лукаво?
Нет, слыша истины сии,
Король наш выиграет, право!

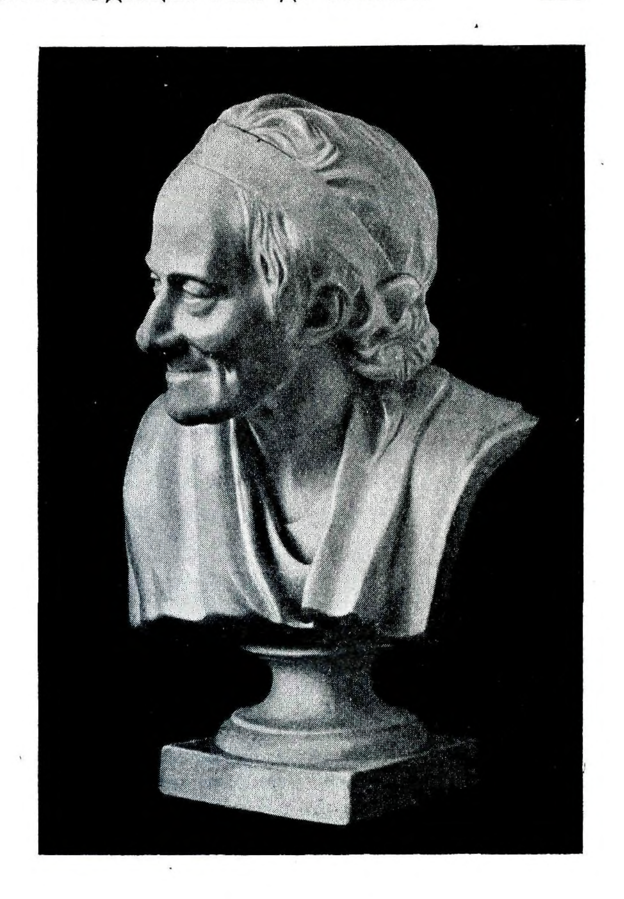
XIII

Париж, 18 сентября 1784 г.

Один поэт поднес царю Петру Великому русские стихи под заглавием «Привилегии гения». Недавно кавалер де Кюбьер следующим образом перевел эти стихи на французский язык. Петр Великий обещал сочинителю стихов награду, но автор никогда не открыл своего имени[29].

ПРИВИЛЕГИИ ГЕНИЯ

Народы и вы, смертные, дарующие нам законы,
Пусть ваше гордое чело, при звуках моей песни
Склонясь к земле, преисполнится святой кротости.



ВОЛЬТЕР
Фарфор завода Гарднера, первая четверть XIX в.
Исторический музей, Москва

Царь, когда ты стоишь рядом с Гением, ты больше не Великий.
Независимо от тебя торжествует он над временем и смертью,
А ты торжествуешь благодаря ему; он один—твоя крепость.
Хрупким оружием пролагаешь ты дорогу к победам,
А Гений запечатлевает твои походы навеки в летописях.
Какую пользу извлекаешь ты из своих кровожадных речей?
Твое оружие, твое воинство подчиняет себе тело человека,
Но владычество гения обширней, оно простирается на человеческую душу.
Твое царство зиждется на злодеяниях, на мече и пламени,
И только он один никогда не добивается венка бессмертия насилием.
Если царю нужен трон, то Гению—алтарь.

XIV

Париж, 9 октября 1784 г.

Пятидесятое представление «Безумного дня», данное в пользу бедных матерей-кормилиц, не дало выручки, на которую рассчитывал г. де Бомарше. Получено только 6 400 ливров, в счет которых граф Эльс[30] прислал билетом на учетную кассу 300 ливров. Проект г. де Бомарше относительно матерей-кормилиц не имел того успеха, какой имеет предприятие в пользу родильниц, организуемое Филантропическим обществом[31]. Автор «Фигаро» прибавил к водевилю пьесы несколько новых куплетов, приспособленных к случаю. Вот несколько лучших образцов в исполнении Сюзанны:

Нет, не ради представленья
Чтим мы день прекрасный сей.
Ныне цель увеселенья—
Благо бедных матерей.
Хоть спектакль пятидесятый
Служит целям лишь добра,
Мы смеемся, как вчера!
Друг, любовь не знает платы,
Что приятней долга мне?
Я, как мать и как супруга,
Выполню его вдвойне.
И ребенка и супруга
Сердце любит без забот,
Каждого и в свой черед.

XV

Париж, 23 октября 1784 г.

Проект г. де Бомарше об организации помощи бедным матерям-кормилицам не был принят сочувственно ни публикой, ни правительством, хотя он и предлагает действительно полезное средство помощи бедным людям. Проект этот вызвал даже появление анонимного памфлета, озаглавленного «Человек с десятью экю. Сочинение найденыша. В Севилье у Бридуазона»[32]. Я не буду приводить неприличных и глупых насмешек, которыми загрязнена эта брошюра, и изложу читателю только доводы, опровергающие мысли г. де Бомарше. В памфлете пытаются доказать, что расчет его неверен. Автор «Фигаро» предполагает, что рабочий зарабатывает 40 су в день, а жена рабочего—20, что составляет в общем 90 ливров в месяц. Если в конце года появляется ребенок, то жена, чтобы продолжать зарабатывать 20 су, должна отдавать ребенка кормилице с платой в 9 ливров в месяц, что сводит доход семьи до 81 ливра в месяц. Таким образом, муж и жена теряют 9 ливров, не считая дополнительных расходов на содержание новорожденного. Г-н де Б., уплачивая 9 ливров в месяц матери, которая сама будет кормить своего младенца, думает, что этим он возмещает ей 18 ливров, включая те 9 ливров, которые та должна платить кормилице. Но женщина кормящая и поглощенная всецело заботами о ребенке все же не будет в состоянии зарабатывать 1 ливр в день, вследствие чего семья не только не выиграет, но будет терять 21 ливр в месяц, и на ней, кроме того, будут лежать мелкие расходы на ребенка. Мне кажется, что этот расчет опровергнуть невозможно. Но, что касается меня, я иду дальше. Мне кажется, что г. де Бомарше, обязуясь давать по 9 ливров без исключения каждой женщине, кормящей своего ребенка, безрассудно пускается в безбрежное море, ибо я думаю, что уже в первый год за пособием явится до 1 000 женщин (принимая во внимание огромное население столицы, это число не преувеличено). Считая по 9 ливров на каждую женщину, мы получаем 9 000 ливров в месяц, или 108 000 ливров в год. В этот первый год такой расход можно покрыть при помощи 30 000 ливров, пожертвованных двумя друзьями г. де Бомарше, и примерно 60 000 ливров от его «Фигаро», доход с которого он представляет на это доброе дело. Но кто же даст деньги на пособия в следующем году? Можно держать пари, что если в первый год пособие будет оказано 1 000 семействам, то на втором году за получением пособия явятся 4 и 5 тысяч.

Выходит, что подобное предприятие под силу только правительству. А что оно от него получит? Ведь надо принять во внимание, что, заставляя каждую бедную женщину в Париже кормить своего рёбенка, можно разорить сельские местности, для которых этот род торговли составляет главный источник дохода. Мне кажется, что проект помощи родильницам, только-что опубликованный Филантропическим обществом, умнее, лучше составлен и легче выполним. По крайней мере, число женщин, получающих помощь, не беспредельно, и при выборе между бедными тех, кто более всего обременен семьею, возможно оказать помощь наиболее достойным. Поэтому-то все проекты этого общества получили одобрение властей и пользуются доверием публики, которая, внося ежедневно денежные суммы в общество, дает ему возможность расширить свои предприятия.

Автор памфлета, как мне кажется, трезвее смотрит на дело, чем г. де Бомарше. Он предлагает вносить в бюро найма кормилиц суммы, предназначаемые благотворительным обществом для освобождения заключенных за невзнос платы кормилицам, с тем, чтобы, не сажая в тюрьму бедняков, было бы возможно платить кормилицам, лишь за тех, кто не имеет для этого средств. Было бы, бесспорно, полезнее предупреждать заключение в тюрьму бедных людей, нежели помогать им после того, как они туда попали.

Как бы то ни было, но если благотворительные проекты г. де Бомарше терпят неудачу, его пьесы имеют успех беспримерный. Завтра—56-е представление его «Женитьбы Фигаро».

XVI

Париж, 4 декабря 1784 г.

ПОХВАЛА

г. Дидро, библиотекарю е. в. российской императрицы

Дени Дидро, родившийся в Лангре в 1713 г., учился в коллегии иезуитов. Последние, предвидя, что̀ из него выйдет, старались привлечь его в свое общество. Он получил уже тонзуру, а его дядя желал, чтобы он стал каноником. Но отец Дидро воспротивился этим планам, имея в виду передать ему свою торговлю. Конечно, не было никого на свете менее способного стать иезуитом, каноником или торговцем металлическими изделиями, чем Дидро. Его послали в Париж изучать право. Как только отец Дидро узнал, что литература и наука сделались его единственным занятием, он прекратил выплачивать ему содержание. Тогда Дидро пришлось искать ресурсов в его собственных талантах, и после того, как он несколько времени давал уроки математики, он перешел к философским трудам; смелые мнения, выраженные в последних, снискали ему известность, вредную для его спокойствия. Он приобрел ученую репутацию и врагов.

Поручение приготовить французское издание «Энциклопедии» Чемберса[33] привело его вместе с покойным г. Даламбером и другими известными писателями к выполнению работы столь знаменитой и вызвавшей так много нападок. 30 000 экземпляров едва хватило бы, чтобы насытить жадность интересующихся людей всей Европы. Это, бесспорно, одно из самых обширных и полезных предприятий человеческого ума, и хотя Энциклопедия и далека от совершенства, она всегда останется самым почетным памятником нашего века.

В 1758 г. Дидро издал «Отца семейства», поставленного на сцене только в 1761 г. Прием, оказанный этой пьесе, открыл путь множеству

других драм, из которых иные превзошли свой образец. Тогда в Германии, у северных народов, в нашей провинции и даже некоторые из писателей нашей столицы в драмах Дидро увидели единственный образчик театрального творчества. Столь ошибочное мнение, несомненно, привело бы к полному искажению национального характера французского театра и привело бы его к упадку, если бы люди, одаренные вкусом, не противостали потоку. Сам Вольтер, прочитав несколько драм этого рода, счел долгом издевательством и насмешками сражаться против тех, кто хулил классическую трагедию и комедию. Малый успех более поздних произведений нанес еще больший удар исключительным сторонникам нового вида комедии. «Внебрачный сын», изданный в 1767 г., не имел никакого успеха на сцене, где он появился в 1771 г.

Г-н Дидро обладал обширнейшими знаниями, богатым воображением, блестящими идеями, его стиль был полон энергии и жара, но этот жар был часто искусственным. Дидро скоро выдыхался, и, как он сам говорил, ему хорошо удавалась лишь одна, но прекрасная страница. Одаренный и полный неутомимого рвения к наукам, он, казалось, был одинаково знаком со всеми их отраслями. Никто не обладал таким красноречием, как он; он восхищал, увлекал, приводил в восторг слушателей. Его разговоры были выше, чем его сочинения. Слушая его, невозможно было не признать его гениальным человеком, между тем как его сочинения, несмотря на все их достоинства, не позволили бы, может быть, признать его таковым.

Мы не будем говорить здесь о несчастном сочинении г. Дидро[34], где он, стараясь реабилитировать память софиста, умершего 2 000 лет назад, оклеветал память знаменитого и несчастного философа, бывшего его другом и пепел которого еще дымился. Говорить об этом—значило бы подражать ему. Пожалеем о его заблуждении и скажем только, что мало знаменитых людей, из жизнеописания которых не хотелось бы вырвать нескольких страниц. Как сказал недавно один известный путешественник, это—излишек славы, от которого их избавляют.

Он был оплакан друзьями и почтен уважением и благодеяниями нескольких государей, а город Лангр поставил в своей публичной библиотеке его бронзовый бюст, исполненный знаменитым г. Гудоном.

В этой похвале уместно упомянуть о случае, служащем к чести как литературы, так и знаменитой Екатерины II. Ее импер-ое в-во, узнав, что г. Дидро находится в нужде, поспешила купить его библиотеку, которую он искал продать, и оставила ее в его пользовании с пенсией в 1000 ливров. Два года спустя государыня выдала ему эту пенсию за 50 лет вперед, а за несколько времени до его смерти, узнав, что его квартирные условия не соответствуют состоянию его здоровья, она приказала нанять помещение, достаточно просторное для ее библиотекаря и для ее библиотеки. В этом помещении на улице Ришелье он и умер 31 июля 1784 г. от последствий водянки.

XVII

Париж, 18 декабря 1784 г.

Я уже сообщил читателю послание к Фигаро. Только-что появился в печати ответ на него со следующим эпиграфом:

> И, смыслу вопреки, слог наглый, шутовской,
> Глаз обманув сперва, привлек нас новизной.
>
> Буало

СТРАНИЦА КОРРЕСПОНДЕНЦИИ БЛЕН ДЕ СЕНМОРА ОТ 4 ДЕКАБРЯ 1784 г. С ЕГО „ПОХВАЛОЙ ДИДРО“

Литературный музей, Москва

Уже выбор эпиграфа показывает, что автор не шутит. Вот начало его ответа:

Итак, мой Фигаро, безумный, беспокойный,
Ты Музу исказил под маской непристойной;
Позорной славой горд, ужель ты возомнил,
Что нами управлять права ты получил?
Ты вкуса тонкого судьей себя считаешь,
Однако, почему отныне полагаешь,
Что смеешь в пасквиле своем, мой дорогой,
Читать мораль Андре достойною строфой?

Этот Андре—подмастерье цирюльника, под именем которого вышла пресловутая трагедия «Лиссабонское землетрясение». Поэт приводит и других трагиков, пользующихся более заслуженной славой в качестве примеров того, как в настоящее время легко одержать блестящий успех во всех родах литературы. Необходимым качеством, чтобы создать и поддержать всеобщее увлечение, является, по его мнению, дерзость.

Придворный, генерал, аббат благочестивый—
Обязан славой ей всегда честолюбивый.
Но всюду скромностью лишь отличён дурак.
О ты, пленяющий скучающих зевак,
Открылась пред тобой блестящая карьера,
Но, милый друг! Что в том, что превзойдешь Мольера?
Тебе парение такое суждено,

Что можешь возмутить ты хладный прах Кино!
Ужель соперник он и впрямь такой опасный?
Пусть лютнею своей столь нежной и прекрасной
Пока еще пленит сограждан дорогих,
Но, чтоб их поразить, есть много средств других.

Автор имеет, конечно, в виду оперу «Тарар»[35] г. де Бомарше и заранее поздравляет его с большим триумфом.

Собою нежного Кино затмишь ты гений;
Победы одержав и полный дерзновений,
У Мельпомены вмиг ты выхвати кинжал,
Над шарлатанами искусства—генерал,
И крикни: «Господа, чтоб нравиться на сцене,
«Корнель вольнолюбив и чужд он Мельпомене;
«Расин нам кажется слащавым; даже он!
«По мне, не чересчур трагичен Кребильон.
«Вольтер... А, впрочем, он—философ своенравный.
«Отселе требуем, чтоб стиль трагедий славный
«Бребефа превзошел сумбурностью своей.
«Чем непонятней стих, тем он звучит новей».

Читатель видит здесь образец удовольствий, доставляемых большим успехом.

XVIII

Париж, 5 февраля 1785 г.

Начинаю тем, что сообщаю читателю довольно милую шутку в виде письма, которое ходит здесь по рукам:

«Происхождение знатных домов, их ветви, их брачные союзы—все это предметы дискуссий, достойные внимания ученых; рассеять туман, окутывающий их, значит оказать услугу обществу.

Вот почему я прошу у гг. ученых каких-нибудь подробностей об одном семействе, которое хотя и темного происхождения, но по своей счастливой судьбе и по роли, которую оно играет в настоящее время, заслуживает быть известным до своих самых последних отпрысков.

Семейство, о котором я говорю,—это семейство Фигаро, когда-то без имени, а теперь ставшее знаменитым. Я несколько раз слышал, как Фигаро рассказывал свою историю с мельчайшими подробностями, но я всегда замечал, что он забывает об одном маленьком обстоятельстве.

Он, правда, говорит, что родился в Севилье, что отец его был врач, а мать—некая девица Марселина, веселого нрава и пользовавшаяся всеми своими правами, что он был продан цыганам, что после всяких несчастий и приключений он попал в замок Акуас-Фрескас, где женился на Сюзанне, но, рассказывая о своих несчастьях, он нигде не говорит о том, что был уже женат и даже имел детей. Это создает некоторые затруднения, а, между тем, это легко доказать.

Надо помнить, что несколькими годами ранее (когда Фигаро впутался в Севилье в брак графа Альмавивы) Розина на вопрос Бартоло, почему нехватает нескольких листков почтовой бумаги, говорит, что она взяла один из них, чтобы завернуть конфеты для «маленькой Фигаро». Несколько далее Бартоло опять спрашивает: «А запачканные чернилами пальцы также для маленькой Фигаро?».

Значит, в Севилье была «маленькая Фигаро», которая могла быть дочерью только цирюльника Фигаро, ибо во всей Испании только один он носил это имя.

Может быть, это приемная дочь? Кто же ее мать? Так же ли она богата, как ее отец? Так же ли она любезна, как ее мачеха? Почему она не в Акуас-Фрескас, чтобы увеличить число побед дона Керубино? Вот сомнения, которые я прошу разъяснить мне и одновременно многим другим, интересующимся всеми, кто носит имя Фигаро. Имею честь и т. д.».

Публика, которая, в своей злостности, всегда видит больше, чем ей показывают, увидала в этом письме искусно замаскированную критику на произведение г. де Бомарше, на его происхождение и на его карьеру. Г-н де Б., скромность которого видит еще дальше, чем публика, подумал, как говорят, что письмо написано одним очень высоким лицом, которое иногда любит шутки такого рода. Тон ответа г. де Б., подчеркнутое напоминание о некоторых фактах и неоднократное повторение слова «Monsieur»[36] окончательно подтвердило такое предположение, что очень по вкусу г. де Бомарше. Некоторые же думают, что г. де Бомарше сам сочинил и письмо и ответ, чтобы вызвать побольше разговоров о себе и своей пьесе. Вот его ответ:

«Monsieur, получив сегодня утром, по счастливой случайности, достоверные сведения о судьбе «маленькой Фигаро», о которой вы, кажется, беспокоились, спешу сообщить их вам, будучи убежден, что вы предприняли эти изыскания в похвальном намерении быть ей полезным, как только вам известна будет ее судьба.

Ребенок, которого ошибочно называли «маленькой Фигаро», потому что этот добрый малый, тронутый ее несчастной судьбой, заботился о ней из простого чувства человечности, назывался Женевьевой Валуа. Когда Фигаро переехал во Францию, она и ее мать, очень порядочная женщина, последовали за ним, так как у них не было иного выхода. С тех пор эта работящая девушка вышла замуж в Париже за бедного и честного человека—поденщика в гавани св. Николая, по фамилии Леклюз. Совсем недавно, работая со своими товарищами, он, по несчастной случайности, был раздавлен машиной для разгрузки судов. Он оставил 25-летнюю жену с 13-месячным ребенком и с другим, которому всего 8 дней и которого мать кормит сама, хотя она больна и живет в большой бедности. Товарищи ее мужа, сами бедняки, из жалости к ее печальной участи собрали кое-какие деньги, чтобы временно поддержать ее. Они обратились ко мне сегодня через своего инспектора. Я с удовольствием присоединился к ним и не сомневаюсь, что вы последуете моему примеру. Я послал ей луидор на имя г. Мерле, инспектора гавани св. Николая. К настоящему письму я присоединяю два других с просьбой к издателям «Парижского Журнала» передать их тому же г. Мерле для Женевьевы Валуа, вдовы Леклюз, вместе с той суммой, какую вам, Monsieur, угодно будет добавить для помощи бедной матери, пораженной горем, больной и кормящей грудью.

Я с радостью узнаю через «Парижский Журнал», что ваш ум и сердце одинаково удовлетворены моим объяснением, единственным, которого можно было требовать от того, кто имеет честь быть и т. д.

Подписано—Карон де Бомарше»

XIX

Париж, 12 февраля 1785 г.

Любознательные люди сохранили в своих портфелях извлечение из письма, написанного из Ферне в 1778 г., хорошо описывающее нрав и характер знаменитого Вольтера. Вот оно:

«Успокойтесь, М. Г., от забот ваших касательно Вольтера. Этот великий человек, привыкший говорить 50 лет, что он умирает, совершенно здоров. Он жалуется, что слеп и глух; на самом деле он читает без очков и имеет очень тонкий слух. Это сухой и проворный старик, немного сгорбленный. В тот день, когда я имел честь его видеть, на нем были толстые башмаки, подвернутые белые чулки, короткий парик, манжеты с нашитым кружевом, закрывавшие ему всю руку, и ситцевый халат. Он очень извинялся перед нами за то, что не одет, но он никогда не одевается иначе. Он вышел к концу обеда. Для великого старца было приготовлено большое кресло, в которое он уселся и быстро поел овощей, печенья и фруктов. Он блещет остроумием. Можно было бы упрекнуть его за некоторую напыщенность и за отсутствие в разговоре острого и живого стиля, столь характерного для его сочинений. После обеда он повел нас в свою обширную, богатую и прекрасную библиотеку. Он прочитал нам некоторые места из редких книг о религии, т. е. против религии, так как именно в этом состоит его очередная мания. Он постоянно возвращается к этому предмету. Он сыграл в шахматы с патером Аданом; хотя последний и не принадлежит к особенно светским людям, но всё же он настолько иезуит, чтобы уметь проиграть игру. Г-н де Вольтер никогда бы не простил ему, если бы тот выиграл. Затем стали играть в игры, где надо было показать свое остроумие, после чего перешли к рассказам о ворах. Когда каждая из дам рассказала подобную историю, г. де Вольтеру предложили рассказать что-нибудь, в свою очередь. Он начал так: «Был когда-то откупщик, сударыни... Я, право, забыл остальное». После этой эпиграммы, несомненно лучшей из сочиненных им в этот день, мы покинули его...

Разыскивают и с жадностью читают новую книгу: «Этюды о природе». Это сочинение приписывается некоему г. Бернардену де Сен-Пьеру, близкому другу и усердному стороннику покойного Ж.-Ж. Руссо; в своих описаниях природы он, как будто, унаследовал часть таланта своего друга.

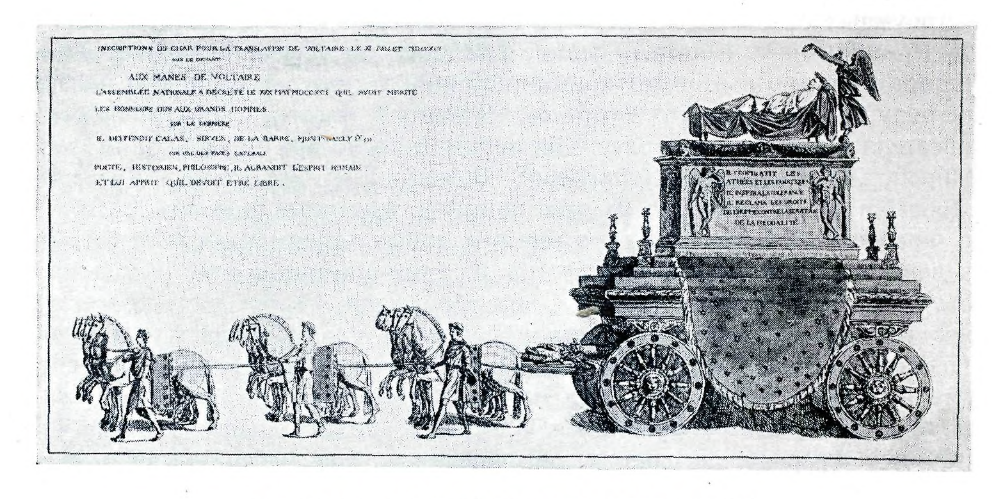
XX

Париж, 9 апреля 1785 г.

Я уже писал, что комедия «Женитьба Фигаро» появилась из печати. Я не буду предлагать читателю анализа этой пьесы, столь перегруженной эпизодами и столь тощей по содержанию. Чтобы разобрать каждый отдельный момент, понадобилось бы слишком много места. Поэтому я ограничусь разбором предисловия, уже наделавшего столько шума до напечатания и с большим трудом разрешенного к изданию вместе с текстом пьесы[37].

В предисловии г. де Бомарше всячески старается показать, что комедию питают пороки. В этом он прав: когда картина написана широкими мазками, тем хуже для тех, кто в ней узнает себя. Нет никакого сомнения, что если бы автора комедии останавливала боязнь, что порочные люди будут прилагать к себе общие изображения пороков, которые он дает, то комедия скоро исчезла бы и этот вид творчества обратился бы в пустое зрелище, годное разве только для забавы. Далеко не так прав

г. де Б., когда он старается доказать, что его пьеса очень нравственна. Я думаю, что ему трудно будет доказать просвещенному читателю, что вельможа, желающий соблазнить невесту своего слуги, что женщина, снисходительно выслушивающая приставания влюбленного маленького пажа, что невеста Фигаро, всячески содействующая нескромным желаниям молодого пажа по отношению к графине, что граф, назначающий ночное свидание Сюзанне в уединенной комнате, куда последняя и приходит, что Фигаро, который оказывается незаконным сыном Марселины и Бартоло, причем эти два старых возлюбленных кончают тем, что вступают в брак в один день с сыном,—трудно будет ему, говорю я, убедить, что все эти лица, главнейшие в пьесе, и их поступки представляют собою нечто полезное и нравственное. Можно спросить автора, какую пользу для добрых нравов можно извлечь из этой соблазнительной картины.



КОЛЕСНИЦА ДЛЯ ПЕРЕНЕСЕНИЯ ПРАХА ВОЛЬТЕРА

Современная гравюра неизвестного мастера

Эрмитаж, Ленинград

Я думаю, что ответ был бы для него нелегким. Впрочем, предисловие написано запутанным, тяжелым и достаточно плохим слогом. Самой пикантной и приятной показалась мне последняя страница, и я думаю, что я доставлю удовольствие читателю, приведя ее здесь.

«Вообще,—говорит г. де Б.,—мой главный недостаток заключается в том, что я написал свою комедию не по живым наблюдениям над светом, что она не описывает ничего существующего на самом деле и нисколько не отражает общества, в котором мы живем, и что низкие нравы, изображенные в ней, даже не имеют достоинства правдивости. Как раз такие мысли можно было прочесть в одной недавно изданной печатно речи, сочиненной добродетельным человеком, которому нехватало только немного ума, чтобы стать посредственным писателем. Впрочем, посредственный я писатель или нет, но я никогда не ходил виляющей и неверной походкой наемного убийцы, колющего вас стилетом в бок не глядя на вас, и поэтому я держусь приведенного выше мнения. Я признаю, что прошедшее поколение было очень похоже на мою пьесу, что будущее поколение также будет очень на нее походить, но что настоящее поколение

нисколько на нее не похоже. Я признаю, что я никогда не встречал ни мужа, соблазняющего чужих жен, ни безнравственного вельможи, ни жадного придворного, ни невежественного или пристрастного судьи, ни грубого адвоката, ни посредственных, но незаслуженно успевающих людей, ни низких и завистливых переводчиков и что если ни в чем не разбирающиеся чистые души раздражены моей пьесой и без устали бранят ее, то это только из уважения к своим дедам и из чувствительности к своим внукам. После этого заявления я надеюсь, что меня оставят в покое».

XXI

Париж, 7 мая 1785 г.

В настоящее время выходит четырехтомная компиляция in 8° под заглавием «Историческое изображение ума и характера французских литераторов от возрождения литературы до 1785 г.». Это сборник каламбуров, остроумных рассказов и анекдотов о литераторах от Виллона до Лефрана де Помпиньяна[38]. Конечно, первые три тома, посвященные старым литераторам, только повторяют прежние сборники этого же рода, и я ничего не буду приводить из них читателю. Четвертый отведен, главным образом, писателям, которых литература потеряла в последние годы,—таким, как Пирон, Ла Кондамин[39], Фрерон[40], Вольтер, Ж.-Ж. Руссо, Грессе[41], Дора[42] и др. Я извлекаю из него наименее известные анекдоты.

Фрерон в обществе был самым веселым, самым мягким и самым любезным человеком. У него было много врагов, и самым опасным и яростным из них был Вольтер. Известно, как он с ним обращался. Но вот что неизвестно: поэт считал журналиста человеком большого ума и вкуса. Один вельможа туринского двора, маркиз де Преццо, просил раз Вольтера указать ему в Париже кого-нибудь, кто мог бы давать ему сведения о всем, что выходит из печати во Франции. «Обратитесь,—ответил поэт,—к этому мошеннику Фрерону; он один может исполнить ваше желание». Вельможа недоумевал; тогда Вольтер добавил: «Да право же, это единственный человек, у которого есть вкус; я должен это признать, хотя я его не люблю и у меня есть основательные причины даже вовсе не терпеть его».

Нижеследующая черточка показывает, какая большая и великодушная душа была у Ж.-Ж. Руссо. С ним завтракал один литератор. Разговор перешел на Вольтера: «Он сделал мне,—сказал автор «Эмиля»,—все зло, какое один человек может сделать другому, но затем он сам отмстил за меня той бранью, какой он меня осыпал». Много говорилось о великом поэте в этом разговоре; наконец, Руссо сказал: «Вольтер сообщил людям так много полезных истин, что над его слабостями надо опустить занавес».

Покидая Англию, Руссо распродал почти все свои книги, думая отказаться от литературы и заняться одной только ботаникой. Гг. Юм и Дютан[43] купили их и разделили между собой. В доле второго нашелся экземпляр книги «О духе» с заметками на полях рукою женевского философа: это были материалы для основательного опровержения этой опасной книги. Известно, однако, что Руссо оставил свой проект, как только узнал, что автор книги подвергался преследованиям.

Одна знатная дама задала раз такой вопрос Руссо: «Что содержат ваши знаменитые мемуары?». «Мадам,—ответил Руссо,—я высказал в них все дурное о себе, чего никто не знает, и все хорошее, что я знаю о других». «В таком случае,—возразила дама,—книга будет небольшой».

Г-жа Пура, жена одного лионского банкира, кокетничая с Вольтером, высказала ему среди других приятных вещей, как она интересуется его здоровьем, и повелительно добавила, что необходимо, чтобы он сохранял его. Поэт, которому было уже 80 лет, тотчас же ответил ей с необыкновенной живостью:

Хотите удержать меня вы в сей юдоли.
Я верю вам, мой херувим.
Что нам принадлежит, терять мы не хотим:
Отпустит кто ль раба по доброй воле?

Г-жа Поз, жена откупщика, приехав в свое имение близ Ферне, хотела видеть г. де Вольтера. Зная, как трудно к нему попасть, она сообщила ему о своем желании и, стремясь повысить свое значение в его глазах, велела сказать ему, что она—племянница аббата Террюи. При этом имени Вольтер вздрогнул всем телом и ответил: «Скажите г-же Поз, что у меня остался один только зуб и что я берегу его для ее дяди».

Один остроумный почитатель Вольтера написал стихами следующий его портрет:

ПОРТРЕТ ВОЛЬТЕРА

По краскам—Рубенс он, рисунком—Рафаэль.
Волшебный чародей стиха и трезвой прозы,
Насмешник, чья стрела вмиг попадает в цель,
Срывал он в каждом жанре розы
На золотом, обширном поле дум.
И смех—его секрет, оружье, острый ум.
Как часто в пустячках, которых он создатель,
Под маской безрассудств скрывая разум свой,
Сам не стремясь к тому, он был законодатель!
И с безделушками Эмилии порой
Умел он совмещать шутя компáс Ньютона.
То он возносится, то сходит с небосклона,
Он весь из грации и гибкости живой,
Парит орлом и вьется он змеей.
Он Плавту Франции глубины уступает
И щеки Талии он мушкой украшает.
Не столь правдив, сколь колок он и мил,
Нас историческим романом одарил,
Небеспристрастен он, живой повествователь,
И вздор бывает им ценим,
Им соблазняется, как мудрецом, читатель,
Который скукою от истины томим.
Соперник классиков и столь же подражатель,
Все из чужих стихов похищенное им
Украсив, блещет он, великий чарователь.

Как-то, в минуту раздражения против Руссо, Вольтер сказал: «Я хотел бы вырвать все хорошие страницы из романа Юлии»[44].

Вот как Руссо сам описал свой характер: «Более пылкий, нежели вооруженный знаниями в своих изысканиях, но искренний во всем, даже против себя, добрый и простой, но чувствительный и слабый, всегда поступающий дурно, но всегда любящий добро; связанный дружбой, но никогда не

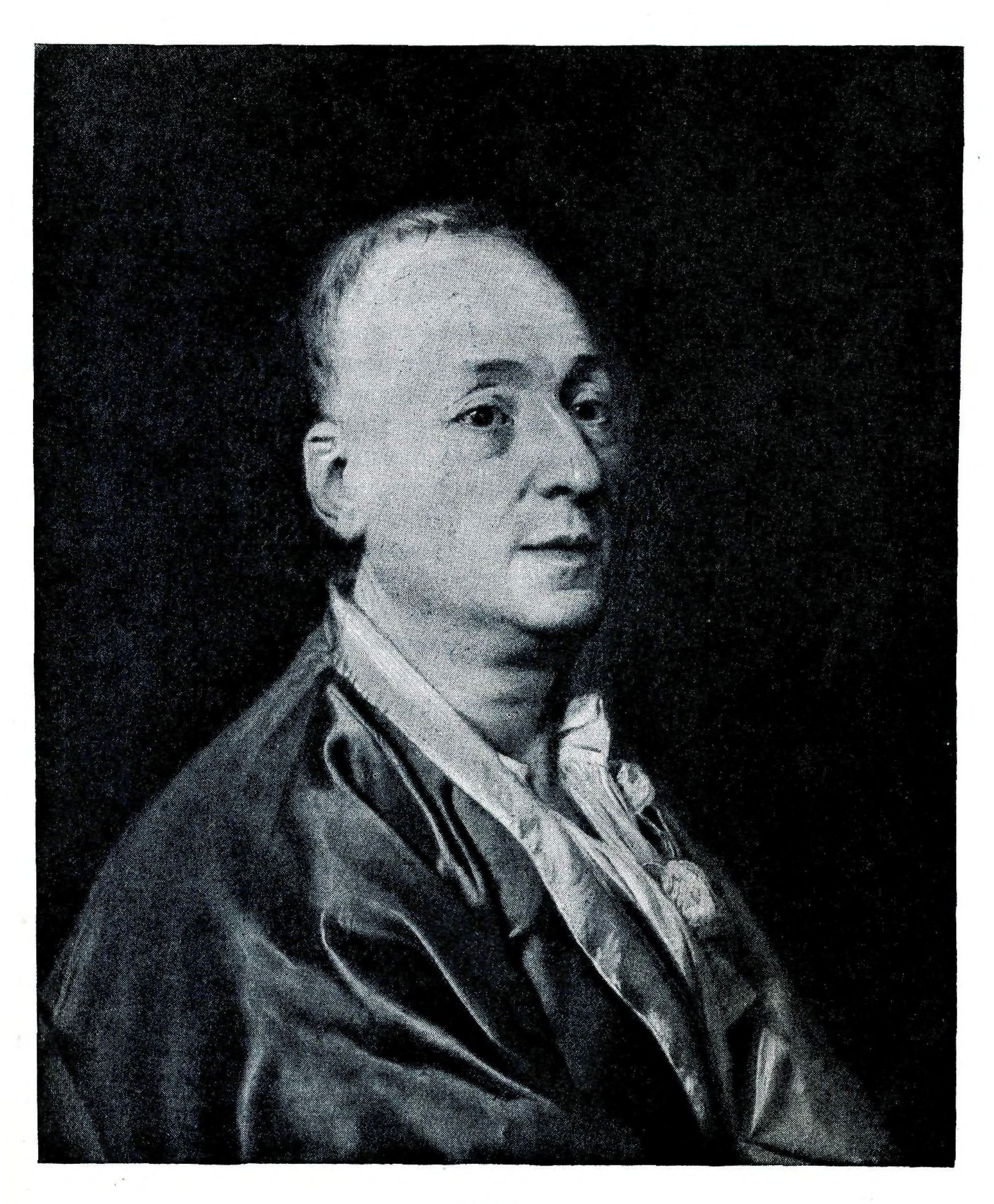
обстоятельствами; чаще следующий своим чувствам, нежели интересам, ничего не требующий от людей и не желающий от них зависеть; не уступающий ни их предрассудкам, ни их воле и оберегающий и свою волю и свой разум, боящийся бога без боязни ада; рассуждающий о религии без вольнодумства, не любящий ни безбожия, ни фанатизма, но ненавидящий нетерпимость еще более, чем вольнодумие; не скрывающий ни от кого своих мыслей, без прикрас и искусственности во всем; сообщающий о своих недостатках друзьям, о своих чувствах всем; подносящий публике правду без лести и без желчи, не боясь ни ее гнева, ни ее расположения».

В этом сборнике можно найти все, что касается последних минут Вольтера, и рассказ об этом занимает не последнее место по степени интереса.

XXII

Париж, 20 августа 1785 г.

Г-н д'Арно уже давно издал сборник анекдотов под заглавием «Отдохновение чувствительного человека». Это сочинение попрежнему пользуется успехом; сейчас выходит пятый том. Он содержит очень интересные вещи. Анекдот, который я привожу ниже, описывает самый, быть может, необычайный, по деликатности и великодушию, поступок, когда-либо совершенный на самом деле или же измышленный; будем для чести человечества думать, что он истинен. Нет никого, кто бы не слыхал о знаменитом разбойнике Пугачеве, который 10 или 12 лет назад задумал выдать себя за отпрыск русской императорской крови. Этот варвар, несший с собой повсюду разорение, захватил земли и замок старого русского вельможи, мирно доживавшего век в кругу семьи. Сыновья его были убиты вместе с отцом. Старшая дочь, не желая пережить бесчестия, бросается на шпагу и умирает, моля о небесном мщении. Из этой знаменитой и достойной жалости семьи осталась только молодая Прескавья, столь же трогательная своей красотой, сколько гибелью всех своих близких. Ей предоставили на выбор—или смерть или выдачу победителям. Она без колебания готовилась избрать первую, когда один из жителей этих опустошенных мест встал и сказал Пугачеву, что казнь не есть достаточная месть и что надо более длительно унизить дочь одного из тех вельмож, которые топтали народ ногами. «Отдай ее мне в жены, и я тебе ручаюсь, что ее гордость будет принижена». Пугачев находит мысль эту достойной себя. С пышностью совершается венчание, и новобрачных отводят в их жилище. Несчастная девушка падает без чувств на камень, находящийся посреди жалкой хижины. Между тем, Алексей (так звали того, кого ей дали в мужья), оглядевшись по сторонам и уверившись, что нет больше свидетелей, бросается к ногам девушки и уверяет ее, что у него нет иного намерения, как спасти ей честь и жизнь. «Нет,—говорит он,—я не злоупотреблю правом, которое я получил насилием. Я—не муж ваш, несмотря на все, что сделано, чтобы нас соединить. Не бойтесь ничего: я навсегда ваш раб, и это единственное звание, в котором я останусь при дочери моих господ». Алексей остался верным своему обещанию: он все время охранял девушку с беспокойной заботой отца и с рвением слуги, преданного своим обязанностям. Он никогда не говорил о браке. Можно было думать, что он отгонял от себя самую мысль об этом и только иногда испускал вздохи, и слезы стояли в его глазах. Прескавья не раз спрашивала его о причинах, но он всегда отвечал, что не может открыть их. Алексей был молод. Кроме величайшей деликатности чувств, он обладал интересным лицом,



ДИДРО
Портрет маслом Д. Левицкого
Университетская библиотека, Женева

и Прескавья не могла остаться равнодушной к стольким совершенствам. Наконец, распространился слух, что Пугачев получил возмездие за все свои преступления. Что же делает Алексей? Обеспечив всячески безопасность молодой девушки и оставив ее под охраной двух своих родственников, он отправляется в Петербург и бросается к ногам императрицы, умоляя ее расторгнуть его брак. Весь двор слушал его с удивлением, когда вдруг Прескавья, которая тотчас же последовала за ним, несмотря на все старания удержать ее, предстает в то же самое время перед императрицей всероссийской. Она заявляет, что удивительное великодушие Алексея произвело на нее глубокое впечатление, и просит согласия ее величества скрепить те самые узы, которые он хочет разорвать. Напрасно Алексей повторяет неуверенным голосом, что подобный брак не подходит для дочери барона**, что он только бедный крестьянин, который навсегда удовольствуется тем, что будет рабом Прескавьи. Все сердца трогаются. Сама императрица, как бы зачарованная таким великодушием, дав волю слезам, говорит следующие достопамятные слова: «Алексей! Небо сделало вас благородным, я подтверждаю это благородство всем, что может дать ему внешний блеск. Пользуйтесь правами самого высокого рождения. Такая добродетель, как ваша,—высший из титулов. Вы заслуживаете самой блестящей награды; примите руку Прескавьи». Супруги падают к ногам императрицы; они хотят выразить свои чувства, ...и все слышат слова крестьянина: «Я любил ее безумно; я умер бы от горя, если бы наш брак был расторгнут. Но я испустил бы дух с удовлетворением, чувствуя, что исполнил свой долг. Я не скрывал, что я был только рабом, но (обращаясь к императрице), государыня, пусть в. в. судит о моем счастье: я был любим!». При этих словах Алексей и Прескавья бросаются в объятия друг другу, проливая слезы и т. д. В конце концов, их брак скрепляется по всем правилам религии и закона, и оба наслаждаются самым чистым и самым заслуженным счастьем[45].

Чтение таких анекдотов оправдывает заглавие книги г. д'Арно.

XXIII

Париж, 3 июня 1786 г.

Я только-что получил рукопись, о которой спешу сообщить читателю. Это параллель между Ж.-Ж. Руссо и графом Бюффоном, как писателем. Работа написана г. Эро де Сешелем[46], генеральным адвокатом Парижского парламента. Вот его содержание.

Сравнивая философские отрывки знаменитого Руссо и не менее знаменитого автора «Естественной истории», я установил следующую параллель между этими великими писателями. Руссо обладает красноречием гения, Бюффон—гением красноречия. Руссо анализирует каждую мысль, Бюффон обобщает науку и снисходит к детализации только в способах выражения. Руссо разбирает и объединяет все чувствования, порождаемые данным предметом. Бюффон выбирает только наиболее значительные и, сочетая их, создает новые. Кажется, что Руссо писал для слушателей, а Бюффон—для читателей. Прекрасные обобщения, которым предавался Руссо, показывают, что он опьянялся своей мыслью: он с наслаждением подходит к ней со всех сторон, пока не исчерпает ее во всех самых малых оттенках. Это круг, который расширяется на поверхности самой чистой воды и постепенно исчезает. Когда Бюффон высказывает общую мысль, то это напоминает как бы связку или пучок мыслей, движение которых ускоряется новыми

мыслями, бьющими тем сильнее, чем дальше они удаляются от исходной точки. Руссо, по свойствам своего характера, почти всегда сосредоточивает мысли вокруг себя, они более относятся к нему самому, чем занимающему его предмету: его произведение отражает только самого автора. Бюффон, обладая глубоким знанием предмета и искусством писать, пользуется всеми умозаключениями с целью раскрыть тайны природы и объяснить ее действия; его стиль, основанный на сочетаниях различных отношений, становится необходимым для предмета стилем; он запечатлевает все, что он описывает, и оплодотворяет все, к чему прикасается. Наконец, Руссо своим деятельным гением придал движение всем чувствам, порождаемым природой, а Бюффон, еще большей деятельностью ума, как будто в себе самом создал еще одно новое чувство.

XXIV

Париж, 19 августа 1786 г.

Когда в Опере с таким успехом давали «Деревенского колдуна»[47] Руссо, все напевали арии из него, и в особенности арию «В моей темной хижине». Некое лицо упрекнуло Руссо, что он, будто бы, заимствовал эту песенку из старинного церковного гимна, сочиненного в 1612 г. в Женеве по поводу спасения этого города, едва не захваченного полководцами герцога Савойского[48]. Приводя два куплета этого гимна, данное лицо утверждало, что оно узнало его от часовых дел подмастерья, распевавшего гимн и днем и ночью. Враги Ж.-Ж. Руссо стали кричать о плагиате и без труда убедили публику, что мотив был действительно заимствован. Легковерие публики было тем извинительнее, что два нижеприводимых куплета носят характер простоты и наивности, свойственной такого рода произведениям. Читатель может сам судить об этом:

Шеф савойяров смелый
Однажды ночью встал,
Пустился к нам в пределы,
На наш нагрянул вал.
И лесенку без слова
Поставил тотчас он,
Осилил часового
Святой горы Сион.
Коли господь, наш отче,
Дом не построил сам,
Кто ж каменщик иль зодчий,
Который строил храм?
Коль он тебя покинет,
О, избранных страна,
Твоя защита сгинет,
Падет твоя стена.

Когда зачинщик всей этой истории увидел, что людская зависть сделала свое дело, он привел всех в недоумение, признавшись, что все было только обманом с его стороны и что он сам сочинил слова на мотив «моей темной хижины».

То же лицо проделало подобную же шуточку с Мондонвилем[49], когда тот поставил «Титана и Аврору». Все повторяли прелестный мотив: «Ваше сердце, любезная Аврора...». Наш шутник как-то вечером, ужиная с ком-

позитором в большом обществе, упрекнул его в том, что он воспользовался гимном «О душах в чистилище», слова и музыка которого принадлежали знаменитому миссионеру г. Бридену[50]. Мондонвиль защищался, уверяя, что он сам сочинил арию, и попросил шутника исполнить гимн. Последний, немного подумав, как будто бы вспоминая, спел нижеследующий куплет на мотив, ставший столь модным:

Братьям во Христе и женам!
Вы, глухие к нашим стонам!
Чтобы мы, душой нетленны,
Все попали в рай святой,
Чтоб спасти нас из геенны,
«De profundis» каждый пой.

Все пришли к убеждению, что Мондонвиль был плагиатором; слух этот распространился по всем кафе и в общественных кругах. Мондонвиль был в отчаянии. Но на следующий день шутник написал хозяину дома и Мондонвилю, что все происшедшее было выдумкой с его стороны и что гимн был сочинен им только в тот момент, когда собравшиеся попросили спеть его.

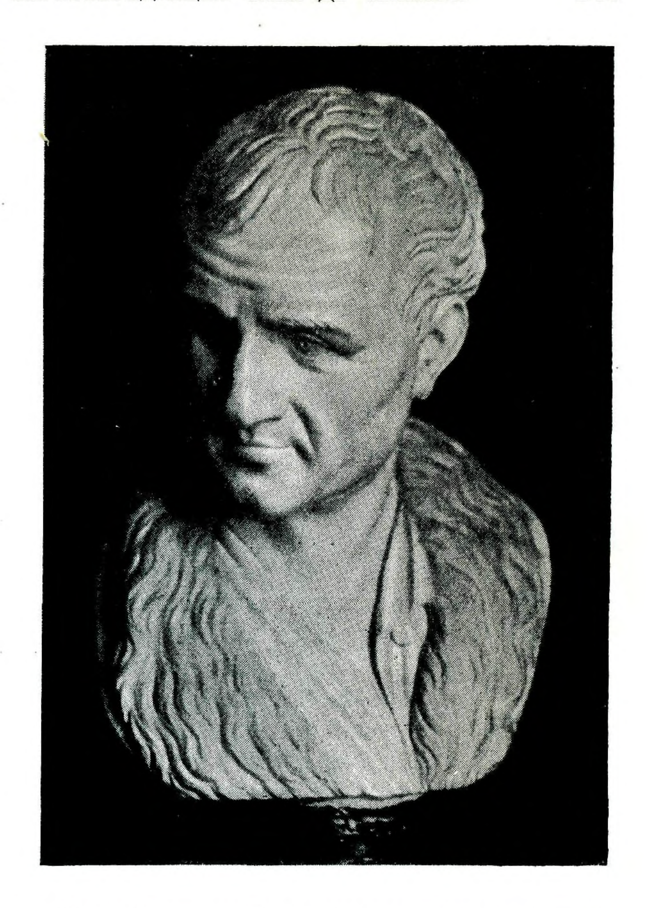
XXV

Париж, 24 марта 1787 г.

О том, что делается в собрании нотаблей[51], ничего неизвестно. Многие думают, что там много спорят и ничего не решают. Пока француз не узнает, что даст это собрание, он кипятится, забавляется острыми словечками, эпиграммами, песенками, и подчас случается, что он сочиняет песенки на свой собственный счет. Вот одна из таких песенок; ее распевают в обществе на мотив «Видел ли ты, мой любимый?..»:

Вам, монсеньер,
Наш контролер,
Привет, покой, отставка.
Как взят он был,
Париж заныл:
Расходов лишь прибавка!
Хороший стол, колода карт
Его бросают вмиг в азарт.
Настанет день
И праздность, лень
Он бросит, не жалея.
Он для господ
Скакать пойдет,
Для знатной ассамблеи.

Новая книга графа Мирабо носит заглавие «Обличение ажиотажа перед королем и собранием нотаблей». В этой книжке около 150 страниц in 8°; автор громит биржевую игру и биржевых игроков, которые уже несколько лет как внедрились в наши финансы. Он разоблачает все их маневры и всю их опасность. Как наиболее отчаянных игроков, он открыто называет гг. Барру, ранее бывшего нотариусом, аббата д'Эспаньяка и графа де Сенефа, который недавно получил очень доходное место казначея случайных доходов[52]. Как результат обличения графа Мирабо, последовала высылка всех трех названных лиц.



ТАЛЬМА В РОЛИ Ж.-Ж. РУССО В ПЬЕСЕ „ЖУРНАЛИСТ ТЕНЕЙ"
Работа неизвестного французского мастера, мрамор, 1790-е гг.
Музей „Архангельское"

Мне очень жаль, что гр. Мирабо на целых трех-четырех страницах нападает на управление г. Неккера[53]. Это дает повод подозревать, что он стакнулся с теперешним управлением финансами. Его обличение ажиотажа настолько резко, что сам гр. Мирабо почувствовал себя в опасности и недавно ночью удрал из Парижа в почтовом экипаже. Все биржевики взбесились и пустили на него эпиграмму, оканчивавшуюся уже не уколом острия, а ударом железной палки:

Пусть проповедь твоя, о грузный Мирабо,
Искоренит воров, изгадивших все дело.
Вновь обращенный вор стать должен палачом
И проповедывать, казня собратьев смело.

Из этого можно видеть, что если г. де Мирабо не пощадил занимающихся ажиотажем, то и они, в свою очередь, не пощадили его.

XXVI

Париж, 7 апреля 1787 г.

Я уже приводил резкую эпиграмму против графа Мирабо. Ее приписывали г. де Бомарше. Граф Мирабо не счел нужным хранить молчание и ответил следующей эпиграммой, не менее резкой, чем эпиграмма, направленная на него:

Меня ты палачом назвал;
О, вор толк в этом понимает!
Мне беспокойства не внушает
Клейменный мною зубоскал.

Г-н де Лагарп читает в лицее лекции литературы и вкуса[54]. Он делает обзор древней литературы, и женщины, которые его посещают, развлекаются на лекциях, потому что показывают себя там. Временный успех делает в настоящее время г. Лагарпа несколько высокомерным. Г-н Лебрён[55] написал по этому случаю следующую эпиграмму:

Эпиграмма Лебрёна

Воистину, Лагарп во всем неподражаем.
Лишь о стихах прочтет, всем классом мы зеваем.
И, с лекций уходя,—не вижу в том греха—
Нельзя ни одного прочесть его стиха.

XXVII

Париж, 6 октября 1787 г.

В сочинениях путешественников я нашел одно место, которое должно интересовать русских. Вот оно.

У остяков, народа, обитающего в той части Сибири, которая граничит с самоедами, господствуют совершенно неиспорченные нравы; они не знают ни воровства, ни вероломства и свято выполняют свои обязательства. Один шведский офицер в следующих словах рассказывает о замечательном примере их честности. «В 1772 году,—говорит он,—я отправился из Крусмижарка по р. Ениса[56] в сопровождении одного лишь прислуживавшего мне шведа, мальчика 14 лет. Покинутый проводником, данным мне комендантом, я принужден был путешествовать один с этим мальчиком по пустынным странам, населенным одними язычниками. Я жил в их юртах, и они доставляли мне все, что было в их возможности. Ту немногую меховую одежду, которую я имел, я оставил раз в открытой палатке, где жила многочисленная семья, и ничто не пропало. Мне приводили еще более веское доказательство честности этих дикарей. Один русский купец, ехавший из Тобольска в Борисов[57], провел ночь в остяцкой юрте. На другой день неподалеку от места ночлега он потерял кошелек со 100 рублями. Сын хозяина юрты, возвращаясь как-то с охоты, прошел по тому месту, где лежал кошелек. Он увидал его, но не поднял, а только, придя домой, сказал, что на дороге он видел кошелек, полный денег, и оставил его на месте. Отец сейчас же отправил его обратно, приказав прикрыть кошелек землей и ветвями, чтобы никто из проходящих не мог его заметить и чтобы хозяин кошелька мог найти его на том же месте, если он явится разыскивать его. Кошелек пролежал там 3 месяца. Возвращаясь из Борисова, купец еще раз остановился на ночлег у гостеприимного дикаря и рассказал ему о том, что имел несчастие потерять кошелек в тот самый день, когда он с ним расстался. «Значит, вы потеряли кошелек,—ответил остяк,—так успокойтесь, сын отведет вас туда, где он лежит, и вы сами его возьмете». Так и случилось, и эти добрые люди даже не гордились своим бескорыстием».

XXVIII

Париж, 29 декабря 1787 г.

На одном из последних представлений «Альцесты» покойного кавалера Глюка в Опере г-жа Левассёр[58] исполняла роль Альцесты. Когда в конце второго акта она пела этот дивный стих:

Он раздирает и вырывает мне сердце,

один из зрителей закричал: «Мадемуазель, вы вырываете мне уши». Его сосед, в восторге от дивной красоты этого места и от того, как оно было передано, возразил: «Какое было бы счастье, мсье, если бы вам их вырвали, чтобы заменить их другими»[59].

XXIX

Париж, 12 апреля 1788 г.

Гг. де Ривароль и де Шансене[60], должно быть, избрали злобную насмешку своим жанром и, тем самым, обрекли себя общей ненависти. Совершив при помощи альманаха нападение на более чем 600 граждан, которые им ничего не сделали, они теперь напали на женщин в новом памфлете под заглавием: «Трактат о женской любви к дуракам», с эпиграфом, взятым из Корнеля: «Есть тайные узы, есть симпатии и т. д.». Уже самое заглавие и эпиграф были бы оскорбительными для женщин, если бы в тексте авторы не поносили их еще грубее, стараясь доказать, что женщины любят только дураков. Из брошюры публика сделала вывод, что авторы ее не пользуются успехом у женщин, авторы же хотели заключения, что они очень остроумны, чего, впрочем, их памфлет не доказывает.

Этот памфлет посвящен одной даме, инициал фамилии которой—буква П; подозревают, что это не кто иной, как г-жа Панкук, жена книгопродавца, замешавшаяся в литературу и держащая у себя что-то вроде бюро остроумия, где собираются кое-какие литераторы.

Авторы, прежде всего, устанавливают принцип, что во времена процветания вкуса и ума женщины предпочитали дураков и преследовали гениальных людей. За этим следует несколько литературных портретов, в которых читатель ищет сходства и нелегко его находит. Вот несколько примеров.

Г-жа де Мервиль вступает в свет. Плохое воспитание вселило в нее навсегда предрассудок благородства рождения. Придворный—единственный человек, существование которого она допускает. Видеть одного из них у своих ног представляется ей идеалом счастья, к которому она всегда стремится. Разве она не предназначена к тому, чтобы всегда любить дурака? Она то приближает к себе старика-придворного, который ползает перед любовницей, как перед государем, и ухаживание которого ограничивается четырьмя словами и двумя реверансами; то она привязывается к одному из тех баловней судьбы, всего добивающихся с непоколебимой самоуверенностью, у которых невежество есть средство сделать карьеру, а дерзость составляет единственную заслугу. Иногда ее прельщает блестящий знак отличия. В орденской ленте она видит паспорт глупости и печать прекрасной души, но кто возводит ее на вершину блаженства и дает постоянство ее любви—это один из тех счастливых молодых людей, которым 400-летнее дворянство доставило придворные, охотничьи и бальные костюмы, которые приезжают в Париж объявлять о своих титулах и дать понять о своей кредитоспособности, которые хорошее общество оценивают дворянской грамотой и беззастенчиво посещают дурное, словом, которые вкладывают всю свою глупость в надменность, а храбрость понимают, как дерзость, так что становится отвратительным носить самое имя дворянина. Вот род людей, которым она будет расточать свою бесчувственную благосклонность. Общественное мнение и пример извинят ее, но кто ее исправит? Только возраст и уродство—болезни, против которых, увы, нет помощи и которые более жестоки, чем самое зло.

Вот еще один портрет: г-жа де Вальсе дебютирует в Париже, проявляя большой вкус к развлечениям. Ее кокетство влечет за собой всякого рода расходы. Роскошные драгоценности, крупная игра, частые ужины, ложи в театрах, словом, все разорительные излишества сделались для нее необходимостью. Ее муж состоятелен, но он не владеет королевской казной. Он не ревнует, но у него есть здравый смысл. Что же он делает? Как-то утром он идет к жене и говорит ей: «Ваш образ жизни мне безразличен, но ваши траты меня возмущают. Я спокойно отношусь к вашему скандальному поведению; оно лишает вас уважения столь немногих лиц, что я напрасно ставил бы его вам в вину. Но позвольте мне не потворствовать ему до того, чтобы жертвовать своим состоянием. Я заплачу ваши долги, но с сегодняшнего дня я запираю дом на ключ и возвращаю вам свободу с пенсией в 1 000 экю. Носитесь в сумасбродном свете, пока вы являетесь его украшением, но пусть вашими победами вы будете обязаны только вашим прелестям, ибо от всего другого надо отказаться. Прощайте, я избавляю вас от принятого в подобных случаях поучения; не жалуйтесь на меня, несправедливо было бы вам и ненавидеть меня. Правда, я лишаю вас иллюзий роскоши, но я оставляю вам все ваши смешные стороны».

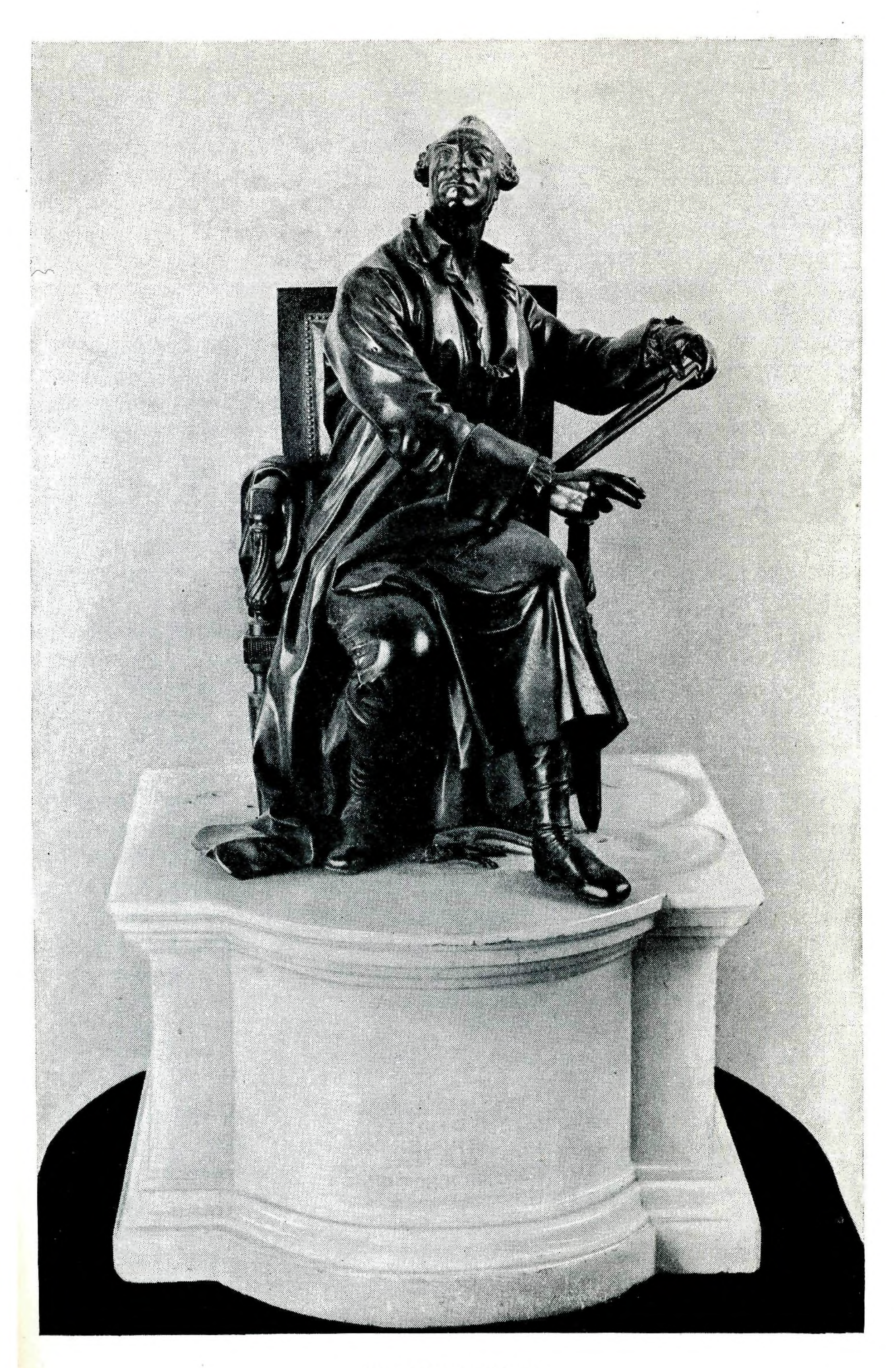
Он удаляется, не ожидая эффекта столь практического решения. Сначала г-жа де Вальсе машинально плачет, потом, подумавши, она зовет своих горничных и занимается туалетом, готовясь ехать в оперу. Скоро она уже рассказывает всему Парижу о грубости мужа, и притом так красноречиво, что дурак-миллионер предлагает ей свои услуги. Разве она может ему отказать? У него такое пошлое лицо и такие низкие, неподходящие для счастья манеры, что всегда отдаляют от женщины злословие. Он в высшей степени и очень кстати великодушен. Боясь, что он покажется противным, можно быстро к нему привыкнуть, а его золото так быстро тратится, что нет времени краснеть от признательности. Разве можно порицать г-жу де Вальсе за то, что она отдается человеку, который сочувствует всем ее склонностям? Ее ли вина, если из общества не изгоняют богатых автоматов, нагоняющих скуку одним своим словом и развращающих одним жестом? Конечно, нет. И все же ее ожидают новые несчастья. Проходят годы. Предложений все меньше. Распутство переживает прелести, и вот она стонет в монастыре над жизнью, которая дала ей тысячу страстей и ни одной мысли, и она все-таки не понимает, что она могла бы жить иной жизнью. В ее руки попадает «Новая Элоиза»: она думает, что открыла новый мир. Картина истинной любви впервые предстает ее взорам. Слог ее восхищает. Тонкость чувств объясняет постоянство любви. Она хочет любить, но время ушло; она еще может быть растроганной, но не в состоянии воспламениться. Она еще несколько лет сожалеет о себе, еще несколько лет переходит от волнения к желанию просветиться и, наконец, умирает от сожалений.

Пусть по этому образцу судят, настолько ли стиль этих портретов пикантен и весел, чтобы простить все эти мелкие низости.

XXX

Париж, 10 января 1789 г.

Раскол между дворянством и третьим сословием растет как в столице, так и в провинции. Все мнения разделились по этому случаю; часто наблюдаются эксцессы, могущие иметь печальные последствия. Дух несогласия доходит до высших пределов в южных провинциях и в Бретани. Сов-



БЮФФОН В КРЕСЛЕ

Статуэтка работы П.-Ф. Томира, бронза, 1788 г.

Эрмитаж, Ленинград

сем недавно из-за неосторожности и упрямства одного дворянина в г. Ренне[61] во всей Бретани едва не вспыхнула междоусобная война. Этот дворянин сидел в театре на сцене[62] и в шляпе; партер закричал ему: «Долой шляпу», но он, бравируя, нахлобучил ее еще больше, а три других дворянина надели шляпы на голову. Оскорбленный партер удвоил крики, а дворянин бросил шляпу в партер. Сидевшие там встали, вышли и возвратились, вооруженные шпагами, палками, ружьями и пистолетами. В городе Ренне готова была начаться резня, если бы не осторожность командующего гарнизоном, отправившего под арест буйного дворянина, чтобы утишить ропот и брожение. Если в других частях королевства споры не так жарки, то в них все же царит тот же дух беспокойства, и великолепная речь г. Неккера, долженствовавшая водворить мир и умеренность, еще увеличила рознь между обоими привилегированными сословиями, возмущенными тем, что королевский совет пошел навстречу требованиям третьего сословия и что последнее, опираясь на разум и справедливость, находит, кроме того, поддержку в справедливом короле и в мужественном и благодетельном министре. Речь г. Неккера, самая трогательная и самая красноречивая из всех речей, произнесенных министрами с тех пор, как существуют государства, все-таки нашла очень строгих цензоров в тех, кто дрожит за свои привилегии, но вся нация в восторге, и голос ее поднимается, благословляя короля и его министра.

Вполне понятно, что при таком огромном кризисе литературные произведения замечают только, когда они говорят об интересных предметах, о которых в настоящее время повсюду идет речь. Поэтому почти все наши писатели опубликовали в печати свои взгляды, и из всех брошюр, которые появились в связи с созывом Генеральных штатов, можно было бы составить объемистую библиотеку. Интересно отметить, что все брошюры, сочувствующие третьему сословию, составлены гораздо лучше, более убедительны, остроумны и красноречивы, чем немногочисленные брошюры, сочувствующие двум привилегированным сословиям. Любители книг усердно разыскивают только такие, где речь идет о политических вопросах, и пренебрегают всем, что носит исключительно литературный характер. Если все же читают вступительную речь кавалера де Буффле[63] во Французской академии, то только потому, что он сумел вставить в нее мысли о предстоящем созыве Генеральных штатов.

XXXI

Париж, 24 января 1789 г.

Граф де Мирабо двумя новыми подлыми поступками привел в полное негодование всех граждан.

Первый поступок состоит в том, что, втершись в доверие к г. Черутти[64] и заведя с ним переписку о всяких современных делах, в которой тот выказывал ему полное доверие и дружбу, он опубликовал всю переписку без его согласия. Этот бесчестный поступок тем более заслуживает осуждения, что в переписке задето и скомпрометировано много лиц.

Второй заключается в том, что он издал в двух томах замечания о Пруссии, в которых самым возмутительным образом клевещет на всех влиятельных людей в Европе и при нашем дворе. Я незнаком с этим сочинением и даже не хочу его читать. Я всегда питал непобедимый ужас к памфлетам, потому что не знаю ничего подлее и лживее, но это новое сочинение г. де Мирабо, в котором он унижает все достойное уважения, все

знаменитое и добродетельное, вызвало такое общее негодование, что он бежал, и не знаю, где он найдет убежище. Принц Генрих[65], о котором он выражается очень вольно, был так взбешен его клеветами, что принц Гессенский искал повсюду этого недостойного клеветника, чтобы с ним разделаться. Он имел наглость писать угрозы г. Неккеру. Он вообразил, что этот министр испугается и подкупит его, подобно г. де Калонну[66]. Но г. Неккер в тысячу раз выше его угроз.

XXXII

Париж, 9 мая 1789 г.

В прошлый понедельник провинциальные депутаты собрались в Версале, и король в сопровождении принцев и принцесс королевской семьи торжественно прошел в процессии вместе с Генеральными штатами. Процессия превзошла все виденное до сих пор. Все депутаты были в парадных одеждах. Было очень много народа, везде царствовал полный порядок. Прием, оказанный королю, был самый единодушный и трогательный. Е. в. был им в высокой степени тронут. Его лицо сияло радостью. Очень многие приветствовали также третье сословие. Но с прискорбием было замечено, что епископы и высшее духовенство оставили большое расстояние между собою и священниками и другими духовными недворянского происхождения. Такое разделение было тем более чувствительно, что духовные лица, прелаты и др. должны подавать пример смирения и согласия. Так как депутаты от города Парижа и парижского вицеграфства еще не избраны, они не могли присутствовать при церемонии. Процессия прошла во дворец Генеральных штатов, где король открыл их речью, составленной им самим; отеческие чувства, выраженные в этой речи, вызвали шумные рукоплескания.

Хранитель печатей[67] произнес речь, которой никто не слыхал и которая, конечно, будет напечатана. Речь г. Неккера была очень большой, она длилась около двух часов. Ему сильно аплодировали, но о речи говорят различно, соответственно чувствам каждого. Чтобы судить о ней, я подожду, пока она выйдет из печати; это будет в понедельник.

С горестью заметили, что среди депутатов находятся двое злейших врагов г. Неккера—граф де Мирабо и г. д'Эпремениль[68]. Последний только-что избран депутатом от парижского вице-графства.

Граф де Мирабо уже выказал самым возмутительным образом свое предубеждение против генерального директора финансов. Он объявил об издании «Газеты Генеральных Штатов». Уже вышли два первых номера. Второй содержит прямые нападки на г. Неккера; видно стремление осмеять его речь. Разумные люди были возмущены. Думают, и не без основания, что королевский министр не может говорить, как говорит нация, и что он обязан поддерживать королевский авторитет. По правде сказать, я думаю, что из-за адвокатов мы проиграем самое лучшее дело. Нет ничего невыносимее, нетерпимее и болтливее, чем это сословие, а оно самое многочисленное среди избирателей. Как бы то ни было, все три сословия или, по крайней мере, третье сословие от города Парижа постановило просить короля, не разбирая вопроса, прав или виноват редактор газеты, отменить приказ Совета[69] о запрещении газеты. Третье сословие предложило остальным двум присоединить свои подписи к ходатайству. Ожидают их ответа. Ходатайство основывается на том, что вся нация требует свободы печати и что в такой момент, когда нация, представленная

в Собрании, ищет света на базе общественного блага, следует предоставлять публичному суждению все политические споры; говорят также, что общественное мнение само осудит злонамеренных писателей, которые из личного интереса или из пристрастия будут уклоняться от общей цели. Газета была закрыта постановлением Королевского совета; она стоила 9 ливров и должна была выходить три раза в неделю. Подписчиков было 12 000, и число их еще увеличилось бы. Есть другие две газеты, но против них еще не принималось мер.

Парижская дворянская избирательная камера сделала следующее постановление по этому случаю. Она постановила, что одобряет принципы, установленные третьим сословием, и выражает неодобрение журналу. Надо заметить, что дворянство считается настроенным против г. Неккера, а журнал, главным образом, направлен против этого министра. Таким образом, гораздо благороднее не одобрять журнала, а третье сословие, расположенное к управляющему финансами, должно выказать больше беспристрастия.

Интересно также отметить, что г. д'Эпремениль был избран депутатом как раз ровно через год после того дня, когда он был арестован и отправлен на острова св. Маргариты.

Дворянство послало депутацию третьему сословию с уверением, что оно стоит за единение и согласие. Духовное сословие также заявило, устами своего председателя, епископа Вьеннского[70], что оно приняло решение ждать объединения всех депутатов для совместного обсуждения дела. Если это будет так, то успех Генеральных штатов обеспечен. Со своей стороны, третье сословие решило не начинать никакого обсуждения, пока не съедутся все депутаты. До полного съезда всех депутатов они даже не хотят вскрывать пакетов, адресованных Генеральным штатам.

Чтобы показать, что оно также стоит за общее объединение, третье сословие не удалилось в свою камеру. Оно осталось в общей камере на предназначенных для него местах, оставляя пустыми места других сословий, и сообщило им, что оно их ожидает.

XXXIII

Париж, 7 ноября 1789 г.

Временные служащие муниципалитета, исполняющие теперь обязанности начальника полиции, интенданта Парижского округа и купеческого старшины, нашли неудобным допускать представление новой трагедии г. Шенье «Карл IX, или Варфоломеевская ночь» ввиду царящего в умах брожения. Но г. Шенье взбунтовал всех писцов Дворца суда, которые с остервенением требовали постановки пьесы, грозя в противном случае поджечь Французскую комедию. Пришлось удовлетворить столь категорические требования, и пьеса была дана в прошлую среду[71]. Стечение народа было непостижимое; такого никогда не видели в театре. Половина публики не могла войти в театр, а те, кому это удалось, были помяты в толпе, хотя публике был предоставлен оркестр, кулисы и просторная задняя часть сцены. Перед поднятием занавеса из партера послышался голос, угрожавший повесить на уличном фонаре всякого, кто подаст малейший знак неодобрения. При таких предосторожностях все, кто интриговали за пьесу, были полными хозяевами и могли хвалить безо всякой помехи; поэтому на каждом стихе кричали «браво», «брависсимо». Сюжет хорошо

известен, и вторая песнь «Генриады»[72] воспроизводит его как нельзя лучше.

Главными действующими лицами являются слабый и кровожадный король Карл IX, его мать, Катерина Медичи,—женщина, ужасное коварство которой стремится только к поддержанию власти, честолюбивый и жестокий кардинал Лотарингский, герцог Гиз, его племянник, еще более гордый и жестокий, чем его дядя-кардинал, адмирал де Колиньи, Генрих IV, недавно женившийся на Маргарите Валуа, дочери королевы и сестре короля, и канцлер л'Опиталь, непреклонная честность и трогательная гуманность которого освящены историей. В первой сцене королева пред-

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ БЛЕН ДЕ СЕНМОРА ОТ 7 НОЯБРЯ 1789 г. С СООБЩЕНИЕМ О ПЕРВОМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ ТРАГЕДИИ М.-Ж. ШЕНЬЕ „КАРЛ IX“

Литературный музей, Москва

лагает своему сыну устроить резню; последний, по молодости, содрогается от такого проекта. Кардинал Лотарингский одет в торжественное церковное облачение. Во всей пьесе костюмы эпохи воспроизведены с удивительной точностью. Характеры первых четырех действующих лиц ужасны. Трое остальных обрисованы слабо. Генрих—плакса, равнодушным взглядом смотрящий на убийство своего друга Колиньи и ограничивающийся при этом несколькими проклятиями, л'Опиталь лучше других, но это только слабое [подражание характерам] Бурра и Куси[73]. Кардинал Лотарингский, кровавый лицемер, призывает заговорщиков к убийствам именем неба и дает им свое благословение. Сознаюсь, что эта сцена, происходящая в присутствии короля, навела на меня ужас. После избиения короля мучат угрызения совести. Трагедия полна декламации, лишена всякого действия и интереса и возбуждает только ужас и отвращение. Повторяю,

что лучшим местом в ней является речь л'Опиталя к королю с попыткой отвратить его от резни. Роль Колиньи, которая могла бы быть очень интересной, совершенно неудачна, так же как роль Марии Медичи[74], наводящей ужас, и роль Карла IX, внушающего жалость. На другой день при втором представлении толпа сильно уменьшилась. В воскресенье трагедию дают для депутатов Национального собрания. Уверяют, что Сорбонна взялась за цензуру этого произведения.

XXXIV

Париж, 5 декабря 1789 г.

Самая интересная литературная новость—это выход в свет столь долгожданной второй части мемуаров Ж.-Ж. Руссо[75]. Я их еще не читал и сообщу о них в следующий раз. Если бы все умы не были заняты политическими делами, это издание было бы событием, которое произвело бы самое сильное впечатление. Как бы то ни было, враги красноречивого и несчастного женевца, некоторое время оставлявшие в мире его прах, снова повели искусные интриги, чтобы сделать его память смешной и даже одиозной, хотя и они воздают должное его таланту и славе. Говорят, что очень много людей, принадлежащих к свету, и много писателей, по большей части находящихся еще в живых, сильно скомпрометировано в этих мемуарах. Мемуары вышли в трех толстых томах и в различном формате. Чтобы приобрести их, я жду выхода формата, подобного моему изданию; говорят, что это дело ближайшего времени.

XXXV

Париж, 12 декабря 1789 г.

Во Французском театре, недавно переименованном в Национальный, не проходит дня без скандала. Недавно с большим шумом требовали возвращения г. Ларива[76] и хотели изгнать г. Флоранса, плохого актера и самого большого интригана, и M-lle Тенар, актрису посредственную, но женщину доброго характера. Партер потребовал, чтобы на афише выставлялись фамилии актеров, играющих в объявленных пьесах. Конечно, при этом условии зритель не обманывался бы в своих ожиданиях и охотнее решался бы пойти в комедию.

«Крестьянин-судья», поставленный на прошлой неделе во Французской комедии, прошел еще более удачно во второй раз. Первые два акта полны веселья и естественности; с некоторыми исправлениями в двух последних актах пьеса, не будучи выдающейся, может иметь посредственный успех. Она принадлежит г. Колло д'Эрбуа, который, насколько мне известно, был провинциальным актером[77].

XXXVI

Париж, 19 июня 1790 г.

Я всегда думал, что враги революции не пытаются остановить ее развития не потому, что они стремятся к общему благу, как они хотят нас в этом убедить, но для того, чтобы соблюсти свои личные интересы. Бывший недавно со мною случай окончательно меня в этом убедил. Я был приглашен обедать к одной знатной даме; общество было очень многочисленно. Там были прелаты, владельцы церковных бенефиций, военные в высоких чинах, судейские и финансисты. За столом все в полном согласии ворчали на мероприятия Национального собрания. Один перед другим старался

показать недостатки новой конституции. Особенно придирались к недавно проведенным реформам. Что касается меня, я хранил молчание и ограничился только замечанием, что беспорядки в финансах, порча нравов и произвол, которыми мы страдали при прежних министрах, доведены до высшей точки. После обеда со мной заговорил один парламентский советник; предметом разговора была революция. Он начал с того, что оплакивал судьбу магистратуры, говоря, что при новом порядке вещей невозможно будет найти таких неподкупных и просвещенных судей, какие были в прежних судебных местах. В то же время он приветствовал от всего сердца церковную реформу. Он находил неприличным, чтобы духовенство составляло особое сословие, да еще к тому же первое, чтобы оно владело такими богатствами и пользовалось ими на соблазн всем, чтобы оно стремилось стать вне зависимости от какой бы то ни было власти и чтобы, владея наибольшим количеством земельных владений, оно воображало, что имеет исключительное право платить государству только то, что находит нужным; реформу он находил тем более необходимой, что правительство уже несколько раз, но безрезультатно, пыталось ее провести.

После этого я подошел к одному епископу и повел разговор о современных событиях. Прелат отвел меня в амбразуру окна, чтобы беседа не стала общей. «Согласитесь,—сказал он,—что если высшие слуги религии потеряют свое благосостояние и свой импозантный аппарат, у народа не останется к ним ни почтения, ни уважения; унизить высшее духовенство—значит разрушить религию». Он утверждал, что богатство прелатов шло исключительно на облегчение участи несчастных и что при новом порядке вещей именно последние и теряют больше всех. Но он очень одобрял упразднение судебного сословия. Он считал большим достижением и смелым ударом разрушение учреждений, которые одерживали постоянные победы над королевской властью, которые судили неправедно и которые, в конце концов, захватили бы тираническую власть. Он одобрял и финансовые реформы, считая возмутительным, что человек, вышедший из ничтожества и лишенный какого бы то ни было таланта, мог нажить огромное состояние и, напившись народной крови, вести самую роскошную жизнь, соперничая с первыми лицами в государстве. Тут пришли сказать, что лошади поданы; прелат оставил меня и простился со всеми присутствующими. Тогда я сел рядом с молодым полковником, показавшимся мне наиболее умеренным в этих вопросах. Правда, он не одобрял упразднения дворянских привилегий, но он находил справедливым, чтобы каждый человек платил налоги, он мирился с декретом, допускавшим каждого гражданина к повышению в военных чинах соответственно своим талантам и добродетелям. Он тем более сочувствовал всему этому, что при таких условиях каждый будет обязан повышением своим заслугам и каждый должен будет добиваться таких заслуг. Он находил, что смешно и неполитично, если одно только покровительство и интриги доставляют такие места, которые требуют больших способностей и испытанной честности. Он прибавил даже, что, пока его хартии были ему полезны, он хранил их, но что теперь он собирается их сжечь. Что касается финансиста, то он просто заявил, что уменьшать состояние финансовых столпов—значило ниспровергать государство и что Франция не сможет долго держаться без их кредита и помощи. Таким образом, каждый сочувственно относился к мероприятиям Собрания, которые лично его не затрагивали, и порицал только те, которые оказывали влияние на его частные интересы. Я остался

последним и дал хозяйке дома отчет о различных моих разговорах. Она смеялась от всего сердца.

XXXVII

Париж, 27 ноября 1790 г.

Представления во Французском театре попрежнему проходят очень бурно. Неистовые демагоги доносят на всех тех, кто аплодирует в местах, не соответствующих их инквизиторским взглядам. Если так будет продолжаться, театр скоро опустеет; а если к этому прибавить стычки, перессорившие актеров между собой, и споры, разъединяющие писателей, то выходит, что театр в настоящее время лишен возможности давать новые пьесы. Все эти неудобства не благоприятствуют посещению первого театра Европы, и если мы не примем мер предосторожности, наш народ, когда-то знаменитый своим изяществом, своим весельем, своими талантами во всех областях, своей вежливостью и обходительностью, служившими образцом для всех других народов, превратится в варварскую орду, от которой так же побегут прочь, как прежде в нас заискивали.

XXXVIII

Париж, 12 февраля 1791 г.

Распространился слух, что тайной пружиной петиции драматических авторов, поданной в Национальное собрание, был союз г-жи Вестрис и г. Тальма с гг. Лагарпом, Палиссо, Шенье и др.[78]. Они хотели поссорить писателей с актерами, встать во главе второго театра и продвигать в нем только преданных им авторов[79]. Тем временем Общество драматических авторов было предупреждено об этом письмом с подписями, но эти господа отнеслись к уведомлению с некоторым пренебрежением. Теперь дело подтверждается. Г-н Палиссо[80] в письме, полном низости и тщеславия, напечатанном в газетах, объявил себя директором новой труппы. Не знаю, окажут ли писатели доверие человеку, известному своей недобросовестностью и занимавшемуся всю жизнь тем, что чернил лучших писателей.

Г-н Шенье сделал попытку поставить в оперном театре свою трагедию «Генрих VIII, или Анна Болейн». Он уже составил труппу из актеров различных театров, пригласив г-жу Вестрис[81], Тальма, Монвеля[82] и некоторых других. Все было подготовлено, но Французская комедия запретила своим членам играть в других театрах, кроме самой Комедии, под страхом исключения, и проект г. Шенье не удался. Можно по этому случаю вспомнить о справедливых возражениях г. Блен де Сенмора против той же трагедии «Генрих VIII». Еще в марте 1789 г. он жаловался актерам Французской комедии на разительное сходство между этой трагедией, написанной и принятой в 1789 г., и трагедией «Иземберга»[83], принятой в 1786 г. Следует думать, что сходство это не случайно. Около 1788 г. Комедия захотела поставить «Изембергу». Г-н Блен де Сенмор передал рукопись г. Флорансу для переписки ролей. Потом к постановке встретились полицейские препятствия. Г-н Блен де Сенмор потребовал роли обратно, однако, одной из двух рукописей и двух главных женских ролей в руках г. Флоранса не оказалось, а как раз в это время трагедия «Генрих VIII» была написана и принята. Я теперь и прошу каждого беспристрастного человека сказать мне, возможно ли не заподозрить, что рукопись была сообщена г. Шенье и что он приспособил к своему сюжету ситуации и приемы, которые он нашел в «Иземберге»?

XXXIX

Париж, 7 мая 1791 г.

Ошибутся те, кто подумает, что почести, воздаваемые праху г. де Мирабо, окончены. На этой неделе все рабочие благотворительных мастерских и даже женщины и дети, занятые там на ткацкой работе, ходили большой процессией в сопровождении отряда Национальной гвардии, с музыкой в церковь св. Женевьевы, где возложили дубовые и кипарисовые венки на его гробницу. Это не помешало какому-то поэту из аристократов написать следующую эпитафию Мирабо:

О, Кабанис[84], ты в гроб свел Мирабо, леча.
Какой добычи, друг, лишил ты палача!

Нет человека, о котором суждения были бы столь различны. Одни воздают ему самые пышные похвалы, другие унижают его, как могут. Все признают за ним ту или иную степень таланта, но не все одинаково высоко ставят его нравственность. Я не был с ним знаком и не знаю в точности, где истина, но признаюсь, что все, что я о нем слышал, равно как и большинство брошюр, которые он издал до революции, не внушают мне высокого понятия ни о его нравственности, ни о его талантах. Я признаюсь также, что пропустил несколько случаев, когда мне было легко с ним сблизиться. Я причислял его к тем опасным людям, дружбы и вражды которых следует в одинаковой степени избегать. Нужно сказать, впрочем, правду: в нашей революции он играл одну из главных ролей. В спорах он начинал с двусмысленных выражений, маскировавших его взгляды. По мере того, как росло число сторонников какого-нибудь мнения, он развивал свои принципы, причем оказывалось, что он держится мнения самой многочисленной партии. Свое решение он высказывал ловким и смелым утверждением, которое производило впечатление на массу и приводило в восхищение партию, к которой он склонялся. Но в общем его красноречие не было прямым и открытым; в нем всегда замечалось что-то недосказанное. По моему мнению, лучшим, что вышло из под его пера, было обращение к королю, убеждавшее его величество отвести войска, окружавшие в 1789 г. Париж и Национальное собрание. Несомненно, он был всемогущей душой нашего законодательного корпуса, и после его смерти отсутствие его там очень заметно.

XL

Париж, 16 июля 1791 г.

Церемония перенесения тела Вольтера из Бастилии, куда оно прибыло в воскресенье вечером, в новую базилику св. Женевьевы, один из лучших памятников Европы, имело место в прошлый понедельник 11-го числа этого месяца. Погода была отвратительная. Утром объявили было, что церемония будет отложена, но те, кто привезли короля в Париж, и члены дистриктов[85] С.-Дени и Бур-ла-Рен пожелали, чтобы она непременно состоялась, и все приказания были отданы на данный день, несмотря на сильный дождь. Кортеж двинулся от Бастилии в 12 часов. Он состоял из многочисленного отряда Национальной гвардии, из депутации от муниципалитета, от департамента и Национального собрания, из учеников художественной школы, из писателей и членов академий. Произведения Вольтера несли два человека в одеждах греческого и римского жрецов. Несли также модель Бастилии. Колесницу с прахом Вольтера везли 12 белых

лошадей по четыре в ряд. На ней было картонное изображение лежащего Вольтера. Слава возлагала венок на его голову. Вокруг колесницы шла группа из 9 муз. Находили, что подобная процессия больше подходила бы полководцу, чем великому философу и великому поэту. Было слишком много военных. Находили также, что колесница была слишком тяжелой и вместе с тем убогой и что изображение человека в позе умирающего не подходит для торжественного апофеоза. Наконец, находили, что вся церемония скорее походила на маскарад, чем на такую церемонию, которая требует достоинства. Правда, что ужасный дождь несколько испортил этот день. Одна женщина из народа забавно сказала: «Национальное собрание уже два года как лишает нас карнавала, но зато оно вознаграждает нас теперь, в июле». Еще я слышал, как один человек из толпы говорил другому: «Знаешь ли ты этого г. Вольтера?». «Нет, по правде сказать, я никогда о нем не слышал». «Что касается меня, я слышал, что он умер уже 13 лет назад, но тоже не помню, чтобы я о нем что-либо слышал». «Хорошо,—возразил первый,—если такие почести воздают человеку неизвестному, то что же сделают для г. Марата?».

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Это стихотворение Le Mierre под названием «Lever du Soleil» является не чем иным, как переводом «Утреннего размышления о божием величестве» Ломоносова (впервые было напечатано в «Собрании разных сочинений» Ломоносова, СПБ. 1851). Цитированным строкам соответствуют первые три строфы ломоносовского текста, которые приводим для сравнения:

Уже прекрасное светило
Простерло блеск свой по земли,
И божия дела открыло;
Мой дух, с веселием внемли;
Чудяся ясным толь лучам,
Представь, каков зиждитель сам!

Когда бы смертным толь высоко
Возможно было возлететь,
Чтоб к Солнцу бренно наше око
Могло приближившись возреть;
Тогда б со всех открылся стран
Горящий вечно океан.

Там огненны валы стремятся
И не находят берегов,
Там вихри пламенны крутятся
Борющись множество веков;
Там камни, как вода, кипят,
Горящи там дожди шумят.

[2] Тип льстеца выведен в одноименной комедии Жана-Батиста Руссо, «Flatteur», написанной в 1696 г. прозой и позднее переложенной стихами.

[3] Титул графа и графини Северных носили Павел I (в бытность его вел. князем) и его жена Мария Федоровна во время своего путешествия инкогнито по Европе. В Париже они провели один месяц, с 7 мая по 7 июня 1782 г.

[4] «Танкред»—трагедия Вольтера.

[5] Точное заглавие этого произведения Руссо: «Rêveries d'un promeneur solitaire». Оно помещено тотчас же вслед за VI книгой «Исповеди».

[6] Руссо жил в деревне Мотье, в долине Травер в Невшателе, после своего бегства из Франции в 1762 г. Ему пришлось покинуть Мотье в 1765 г. после нападения местных жителей на его дом, последовавшего вследствие происков невшательских кальвинистских пасторов, начавших преследовать Руссо после выхода его книги «Lettres écrites de la montagne» (Амстердам, 1764). Бежав из Мотье, Руссо провел несколько недель на острове Сен-Пьер.

7 Кайава Жан-Франсуа (1751—1813)—драматический писатель и театральный критик; оставил записки, изданные после его смерти.

8 То же, что театр Французская комедия.

9 Трагедия Лагарпа, написанная в 1781 г.

10 Лаланд (1732—1810)—знаменитый астроном.

11 Кондорсе Жан-Антуан, маркиз (1743—1794)—литератор, философ и политический деятель. Член Французской академии с 1782 г. Впоследствии член Национального собрания и Конвента.

12 Галлер Альберт (1708—1777)—знаменитый швейцарский ученый—физиолог, анатом, ботаник и библиограф.

13 В первом издании «Свадьбы Фигаро» (Париж, 17[illegible]) и во всех последующих никакого посвящения комедии кому бы то ни было не имеется; но интересен самый факт существования такого намерения, о котором до сих пор ничего не было известно. Отметим, что Блен де Сенмор повсюду называет знаменитую комедию «Les Noces de Figaro», а не «Mariage de Figaro».

14 Бомарше был одним из главных деятелей «Компании парижских водопроводов», основанной в конце 1770-х годов. В половине 80-х годов компания процветала, и ее акции, выпущенные по 1 200 фр., стоили 3 600 фр. Однако, в деловом мире компания имела много врагов. Отголоском этой вражды была брошюра Мирабо «Sur les actions de la compagnie des eaux de Paris», изданная в Лондоне в 1786 г.

15 Кавалер Карл-Женевьева-Луиза д'Эон де Бомон (1728—1810)—одна из загадочных авантюристских фигур XVIII в., в молодости драгунский офицер, позднее дипломатический агент, действовавший сначала при русском дворе, где впервые носил некоторое время женское платье, и затем в Англии. В 1777 г. французское министерство иностранных дел обязало его всегда носить женское платье. С 1784 г. д'Эон не покидал Англии. Посмертное освидетельствование подтвердило, что он был мужчиной. В 1775 г. Бомарше имел поручение в Лондон получить от д'Эона бывшие у него секретные бумаги.

16 Адмирал граф д'Эстен (1729—1794) командовал в 1783 г. соединенным франко-испанским флотом, действовавшим против Англии в европейских водах.

17 Криспен—тип комедийного слуги, смелого и ловкого выходца из низов, фигурировавший в нескольких популярных комедиях XVIII в. и, прежде всего, в комедии Лесажа «Криспен—соперник своего господина».

18 «Journal Encyclopédique», основанный Пьером Руссо в Льеже в 1752 г. Сотрудниками журнала в числе других были Вольтер, Прево и Шамфор.

19 Серван Жозеф (1737—1807)—писатель, судебный деятель и оратор, генеральный адвокат при Гренобльском парламенте. В 1787 г. его статьи и мысли о Руссо были собраны в отдельном томе под заглавием: «Réflexions sur les Confessions de J.-J. Rousseau».

20 Речь идет о записках Вольтера под заглавием: «Mémoires pour servir à l'histoire de Voltaire écrits par lui-même». Через год (в 1784) они были напечатаны в Париже.

21 Граф Шуазёль-Гуффье де (1752—1817)—дипломат и археолог, автор труда «Voyage pittoresque en Grèce» (1782), открывшего автору двери Академии. После этого жил в России, где Павел I поручил ему управление Академией художеств. Вернулся во Францию в 1799 г.

22 Бальи Жан-Сильвен (1736—1793)—астроном и литератор. В 1789 г. после взятия Бастилии был избран мэром Парижа. Погиб на эшафоте в 1793 г.

23 Граф де Трессан Людовик (1705—1783)—военный деятель и писатель. Был избран в Академию в 1781 г. Один из деятелей по изучению и воскрешению старофранцузской и провансальской средневековой поэзии, находившейся в XVII и XVIII вв. в полном забвении.

24 Комедия Бомарше была в первый раз исполнена на сцене 27 апреля 1784 г.

25 В неделе парижанина перечисляются наиболее популярные зрелища того времени. Беверлей—герой драмы «Игрок» английского писателя Эдуарда Мура (Moore), переведенной в 1762 г. на французский язык Брюте де Луарсон и шедшей с успехом на французской сцене; зрелища в четверг и субботу следует понимать в буквальном смысле. Объяснить «Joli Requiem», «Jenneval», «Les grands voleurs», «Spectacle infernal» не удалось.

26 Письмо Бомарше напечатано в № 135 «Journal de Paris», 14 мая 1784 г.

27 Дезед (1740—1792)—популярный в те годы оперный и опереточный композитор.

28 Сюффрен—знаменитый французский флотоводец, прославившийся, главным образом, в войнах против Англии в Индийском океане; Лафайет был в то время известен, как герой войны за освобождение северо-американских колоний Англии.

[29] Кавалер де Кюбьер (1747—1820)—второстепенный поэт, подражатель Дора (см. прим. 42-е). Русского оригинала стихов и их автора установить не удалось.

[30] Граф Эльс—титул, который носил во время своих поездок во Францию принц Генрих Прусский (1726—1802), брат Фридриха Великого.

[31] Филантропическое общество было основано в 1779 г. при ближайшем участии Блен де Сенмора, который и позднее оставался одним из его самых деятельных членов (см. его письма по поводу деятельности Филантропического общества в «Journal de Paris» за 1781 и 1782 гг.).

[32] Бридуазон—комический персонаж из «Свадьбы Фигаро», в лице которого Бомарше осмеял судебное сословие.

[33] Чемберс (Chambers) Эфраим (ум. в 1740 г.)—составитель первой энциклопедии на английском языке. Ее первое издание в двух томах вышло в 1728 г. В 1748 г. книгоиздатель Лабретон обратился к Дидро с предложением перевести ее на французский язык. Это было началом работ Дидро и Даламбера над знаменитой Энциклопедией.

[34] По всей вероятности, дело идет о нападках Дидро на Руссо в «Essai sur le règne de Claude et de Néron» (P., 1778). Софист, умерший 2 000 лет назад,—Сенека. Возможно также, что это намек на нападки на посмертный труд Гельвеция «De l'homme, de ses facultés intellectuelles et de son éducation», содержащиеся в одной из последних работ Дидро «Réfutation du livre De l'Homme par Helvétius».

[35] «Тарар»—опера; либретто Бомарше, музыка Сальери. Ее первое представление состоялось 8 июня 1785 г.

[36] Monsieur—титул старшего из братьев короля; в то время он принадлежал графу Прованскому, впоследствии королю Людовику XVIII.

[37] Первое печатное издание «Свадьбы Фигаро», под единственным заглавием «Безумный день», появилось в 1784 г. в Париже. Предисловие служило как бы ответом Бомарше на все те бесчисленные нападки, упреки и критические отзывы, которым комедия подверглась со времени ее первой постановки. Блен де Сенмор приводит только одну выдержку из последней части предисловия. Он опускает при этом основную мысль Бомарше, выраженную следующими ироническими словами: «Итак, «Безумный день» объясняет, каким образом в счастливые времена, при справедливом короле и умеренных министрах, писатель может громить обидчиков, не боясь оскорбить кого бы то ни было».

[38] То-есть от XV до XVIII вв.

[39] Ла Кондамин (1701—1774)—математик, литератор и путешественник по Южной Америке.

[40] Фрерон (1719—1776)—критик и журналист, литературный враг Вольтера, отец члена Конвента Фрерона.

[41] Грессе (1707—1779)—поэт, один из крупнейших мастеров антирелигиозной сатиры во Франции XVIII в.

[42] Дора (1734—1780)—поэт, произведения которого могут служить образцом фривольной французской поэзии XVIII в.

[43] Дютан Луи (1731—1812)—филолог и нумизмат, французский кальвинист, нашедший убежище в Англии.

[44] Юлия—героиня «Новой Элоизы» Руссо.

[45] Анекдот о «Прескавье» следует считать отзвуком баснословных рассказов и небылиц, ходивших в Европе в годы после восстания Пугачева. Имя героини и некоторые детали напоминают отдаленно сюжет известной повести Ксавье де Местра «Параша-Сибирячка».

[46] Сешель Мари-Жан Эро де (1760—1794)—друг Дантона, казненный вместе с ним. Был членом Конвента и членом Комитета общественного спасения. Ему принадлежит работа «Visite à Buffon», вышедшая в 1785 г.

[47] «Le devin du village»—наиболее известное из музыкальных произведений Руссо, комическая опера (написана в 1752 г.).

[48] Имеется в виду знаменитая Эскалада—неудачная попытка войск Савойского герцога Карла-Эммануила I взять Женеву приступом в ночь с 11 на 12 декабря 1602 г.

[49] Де Мондонвиль Жан-Жозеф-Кассанеа (1711—1772)—композитор опер и ораторий.

[50] Бриден—католический проповедник XVIII в., известный своим красноречием.

[51] Собрание нотаблей, созванное в январе 1787 г. по поводу кризиса государственных финансов Франции, состояло из членов, назначенных королем. Собрание отвергло бо́льшую часть проектов поправления финансовых дел, предложенных генеральным контролером финансов Колонном. Нападки, которым Колонн подвергся

ГУДАР ДЕ ЛА МОТТ
Портрет маслом Алексиса Гриму
Эрмитаж, Ленинград

в собрании, привели 8 апреля к его увольнению. Проекты, предложенные его преемником, Ломени де Бриенном, были встречены с таким же несочувствием, и собрание нотаблей было распущено 25 мая того же года. Неуспех нотаблей был исходной точкой мысли о созыве Генеральных штатов.

[52] Случайные доходы («parties casuelles»)—ненормированные и случайные поступления от пошлин и казенных доходов. Исторические источники того времени нередко сообщают об огромных биржевых выигрышах. В частности, это сообщается о д'Эспаньяке.

[53] Неккер Жак (1732—1804)—женевский банкир, «генеральный директор» (министр) финансов до революции, инициатор созыва Генеральных штатов; его изгнание королем (12 июля 1789 г.) послужило толчком к народному возмущению, приведшему к восстанию 12—14 июля. В дальнейшем, по мере развития событий, Неккер постепенно перешел на сторону контрреволюции, потерял популярность и удалился от политической деятельности.

[54] Речь идет о знаменитом курсе истории литературы, читавшемся Жаном-Франсуа де Лагарпом с 1786 по 1789 гг. во вновь основанном лицее. Курс этот был проникнут тенденциями догматического классицизма и рационализма и имел огромное влияние на формирование литературного вкуса современников и ближайшего поколения вплоть до победы романтизма. Первое издание: Le Lycée, 17 vv., 1799.

Отношения между Лагарпом и Блен де Сенмором были очень натянутыми, что отразилось и в комментируемом отзыве Блена. Лагарп в своих лекциях отзывался о Блене крайне резко и насмешливо, а еще раньше подверг ожесточенной критике его сочинения «Epitre à Racine» и трагедию «Orphanis», написанные в 60-х годах XVIII в.

[55] Вероятно, это Экушар-Лебрен Понс-Дени—автор многочисленных эпиграмм, дифирамбов и од, стяжавший себе прозвище «революционного Пиндара». Его лирика послужила образцом для Беранже, Барбье и др.

[56] Несомненно, дело идет о Красноярске на Енисее.

[57] Несомненно, Березов.

[58] Левассёр Розали—сопрано Парижской оперы, наиболее прославленная исполнительница женских ролей в операх Глюка.

[59] Приводимый Бленом анекдот интересен, как живое свидетельство той длительной и страстной полемики (борьба «глюкистов» с «пиччинистами»), которой сопровождалось внедрение во вкусы слушателя знаменитой оперной реформы Глюка. На парижской сцене «Альцеста» была впервые исполнена еще в 1777 г.

[60] Ривароль Антуан (1753—1801), называвший себя графом де Ривароль,—сын лангедокского трактирщика, сатирический писатель, памфлетист и пасквилянт, обладавший очень острым пером. Приобрел скандальную популярность своим «Petit almanach de nos grands hommes pour 1788», вызвавшим бурю негодования в литературных и ученых кругах. С 1789 г. сделался глашатаем самой темной реакции и контрреволюции; умер в эмиграции. Его постоянным сотрудником был кавалер де Шансене, из дворянской семьи, беспринципный кутила; в политическом отношении он был столь же реакционен, как Ривароль; погиб на эшафоте.

[61] Ренн—главный город провинции Бретани, теперь департамента Илль и Виллен.

[62] Обычай размещать привилегированную публику на самой сцене еще сохранялся в то время в провинции.

[63] Кавалер де Буффле (1738—1815)—военный и политический деятель, член Учредительного собрания и в то же время остроумный поэт легкого и фривольного жанра. Эмигрировал в 1792 г., возвратился во Францию в 1800 г.

[64] Серютти (вернее, Черутти)—иезуит и литератор, родом из Пьемонта (1738—1792). После упразднения ордена иезуитов занимался исключительно литературными работами. Будучи близким человеком к Мирабо, был его сотрудником и подготовлял для него политические речи.

[65] Принц Генрих Прусский—см. прим. 30-е.

[66] Калонн (1734—1802)—генеральный контролер финансов с 1781 по 1787 гг.

[67] Хранителем печатей, т. е. министром юстиции, был в то время Барантен—личность безвестная и незначительная.

[68] Д'Эпремениль Жан-Жак-Дюваль—советник Парижского парламента. Один из вождей парламентской оппозиции, вызвавшей закрытие парламентов в 1788 г. В связи с этим д'Эпремениль был сослан на острова св. Маргариты (около Тулона). В Учредительном собрании играл контрреволюционную роль.

[69] Королевский совет, состоявший из министров и некоторого числа высших сановников, делился на пять департаментов: совет по иностранным делам, или государственный совет, финансовый совет, совет по делам торговли, тайный совет (печать, цензура, тяжебные дела) и совет внутреннего управления.

[70] Председателем духовного сословия был епископ Вьеннский, Лефран де Помпиньян Жан-Жорж.

[71] Шенье Мари-Жозеф (1762—1811)—крупнейший драматург эпохи революции, младший брат Андре Шенье. Трагедия Мари-Жозефа Шенье «Карл IX, или Варфоломеевская ночь» была впервые поставлена на сцене Французской комедии 4 ноября 1789 г. Представление «Карла IX», описываемое Бленом, вылилось в крупную политическую демонстрацию. После премьеры Дантон сказал: «Если Фигаро убил знать, Карл IX убьет королевскую власть».

[72] «Генриада»—поэма Вольтера.

[73] Здесь в оригинале пропуск двух слов, восстановленный предположительно. Бурр—действующее лицо в трагедии Расина «Британник».

[74] Ошибка Блена; нужно—Катерина Медичи.

[75] Блен де Сенмор говорит здесь о первом полном издании «Исповеди» Руссо, вышедшем в 1790 г. в Париже в семи томах in 8°.

[76] Модюи Жан, по сцене Ларив (1747—1827),—актер Французской комедии, заменивший в ней знаменитого Лекэна после его смерти. В 1788 г., освистанный в роли Оросмана в вольтеровской трагедии «Заира», Ларив удалился в провинцию и появился в Париже лишь в годы революции, в 1790 г. При этом лишь уговоры аббата Гутта, президента Национального собрания, взывавшего к патриотическим чувствам актера, могли заставить Ларива вернуться во Французскую комедию.

[77] Колло д'Эрбуа (1750—1796) был действительно и актером и директором театра в Женеве; позднее член Конвента (им был отдан приказ об аресте Робеспьера), умер в Кайенне, куда был сослан в связи с восстанием 12 жерминаля (1 апреля 1795 г.). Его комедия «Le paysan magistrat» была впервые представлена во Французской комедии 7 декабря 1787 г.

[78] Речь идет об известной петиции драматургов, поданной Лагарпом в Учредительное собрание в августе 1790 г. с требованием отмены существовавшего монопольного права Французской комедии на драматические произведения. Лишь 13 января 1791 г., после длительной борьбы, Учредительное собрание отменило эту монополию и декретировало свободу театров.

[79] После знаменитого раскола во Французской комедии левая «патриотическая» часть труппы во главе с Тальмá сорганизовалась в особый театр революционного направления. Он открылся на ул. Ришелье 27 апреля 1791 г. представлением трагедии М.-Ж. Шенье «Генрих VIII».

[80] Палиссо Шарль (1730—1814)—литератор и драматург. Прославился сначала ожесточенной и остроумной войной, которую вел против энциклопедистов и просветительной философии, в частности, Руссо и Дидро. После революции резко меняет фронт, становится приверженцем новых принципов, сближается с радикально настроенными группами литераторов и артистов и, вмешавшись в театральные распри революционного времени, яростно защищает своих новых друзей—М.-Ж. Шенье и Тальмá.

[81] Г-жа Вестрис (1746—1805; девичья фамилия—Дюгазон)—трагическая актриса, сестра знаменитых актеров Французской комедии, брата и сестры Дюгазон.

[82] Буте Жак, по сцене Монвель (1745—1812),—один из первых актеров Французской комедии. В революцию примкнул к крайней левой, действовал вместе с Тальмá, играл революционный репертуар.

[83] Трагедия Блен де Сенмора никогда не появилась на сцене. Ее сюжет взят из истории брака французского короля Филиппа-Августа (1180—1223) с дочерью датского короля Изембергой, точнее Ингеборгой.

[84] Кабанис Пьер-Жан-Жорж (1757—1808)—медик и философ-сенсуалист. Был политическим сотрудником и в то же время врачом Мирабо. Его обвиняли в том, что своим неумелым лечением он вызвал или, по крайней мере, ускорил смерть Мирабо.

[85] Дистриктом называлось подразделение департаментов, введенное Учредительным собранием и уничтоженное конституцией Третьего года. В 1789—1790 гг. Париж был также разделен на кварталы и дистрикты, позднее замененные секциями.

И. И. ШУВАЛОВ И ЕГО ИНОСТРАННЫЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ

ПИСЬМА К И. И. ШУВАЛОВУ КАРДИНАЛА ДЕ БЕРНИ, БЮФФОНА, ВОЛЬТЕРА, АББАТА ГАЛИАНИ, ГЕЛЬВЕЦИЯ, ДАЛАМБЕРА, Г-ЖИ ДЮ ДЕФФАН, Г-ЖИ ЖАНЛИС, Г-ЖИ ЖОФФРЕН, КАРАМАНА, Г-ЖИ ЛА ВАЛЬЕР, НЕККЕРА И Г-ЖИ НЕККЕР, А. ТОМА, ТРЕССАНА, О. ВАЛЬПОЛЯ, ПРЕЗИДЕНТА ЭНО И ДР.

Предисловие и публикация Н. Голицына*

Предлагаемый вниманию читателей материал представляет собой единственное в своем роде собрание писем, адресованных иностранцами русскому вельможе XVIII в. Считаем себя вправе назвать его в своем роде единственным потому, что ни одно другое известное нам собрание не содержит такого богатого подбора имен выдающихся деятелей европейской культуры кануна Французской революции 1789 г., как настоящее. Правда, далеко не все то, что они пишут, заслуживает одинакового внимания: многое может быть даже совсем опущено, как содержащее лишь громкие фразы и пустые комплименты; тем не менее, остается непреложным тот факт, что, адресованные одному человеку, письма эти исходят от ряда виднейших представителей европейской образованности второй половины XVIII столетия. В установлении франко-русских литературных и общекультурных связей И. И. Шувалов сыграл в свое время роль пионера; он был чем-то вроде неофициального русского посла при той общеевропейской литературной державе, которая считала Париж своей столицей и задавала тон остальной Европе. Памятником этой «миссии» И. И. Шувалова и является публикуемое нами, в наиболее интересных образцах, собрание писем к нему. Чтобы дать более полное представление об этой коллекции, мы сочли необходимым предпослать публикации текстов некоторые сведения о самом И. И. Шувалове, без которых были бы непонятны обстановка и причины появления этих писем. В конце публикации, в приложениях, читатель найдет также подробную опись содержания всего собрания в полном его составе.

I

Из длинного ряда «любимцев фортуны», которых в течение XVIII в. возносил на первые места в государстве любовный каприз той или другой императрицы или просто потребность ее опереться на мужскую руку, едва ли не единственно привлекательной и, во всяком случае, наименее одиозной является фигура Ивана Шувалова. Во время своего придворного «случая» он не обнаружил той жадности к власти, почестям и деньгам, какую проявили другие фавориты: Меншиков—при Екатерине I, Бирон—при Анне Иоанновне, Григорий Орлов, Потемкин и Зубов—при Екатерине II. Небогатый отпрыск мелкого дворянского рода, сын нечиновного военного времени Петра I, он и на вершине своего фавора сохранил скромные вкусы среды, из которой вышел, и подлинную любовь к просвещению. С именем И. И. Шувалова неразрывно связано создание двух крупных очагов русской культуры—Московского университета и Академии художеств в Петербурге. С его же именем тесно сплетается имя самого славного из его современников, Ломоносова. Ему же принадлежала, повидимому, мысль зака-

* Перевод с французского публикуемых писем сделан М. Неведомским.

зать Вольтеру составление русской истории. Интересы русской внешней политики конца 50-х и начала 60-х годов XVIII в. заставляли петербургское правительство предпринимать некоторые шаги для привлечения к далекой «северной империи» интереса и симпатий Западной Европы; в момент вступления России в семилетнюю войну (1756—1763) нужно было рассеять много предубеждений против русского «варварства» и научить Европу смотреть на молодую страну, как на равноправного члена в семье европейских народов. Для этой цели следовало воспользоваться услугами какого-нибудь крупного, общепризнанного авторитета, а кто мог лучше подойти к этой роли, чем Вольтер, давно уже направлявший из своего фернейского уединения «общественное мнение» всей Европы? И, решив воспользоваться пристальным интересом Вольтера к России, в частности, к личности и деятельности Петра I, И. И. Шувалов стал посредником между знаменитым писателем и русской императрицей Елизаветой Петровной, заказавшей Вольтеру написать историю России при Петре I. Намек на то, что инициатива этого дела исходила от И. И. Шувалова, мы находим в следующем, нигде еще не опубликованном письме Ф. П. Веселовского (жившего тогда в Швейцарии) к И. И. Шувалову, относящемся, повидимому, еще к 1757 г.[1]:

Перевод:

[1757 г.]

Я надеюсь, что ваше превосходительство получили письмо, которое я имел честь написать вам накануне своего отъезда из Женевы. К нему было приложено письмо, написанное ко мне г. Вольтером[2] в ответ на мое по поводу распоряжений, которые ваше превосходительство поручили мне передать ему. Нельзя обнаружить лучших намерений и большей готовности, чем те, какие он проявляет в отношении исполнения задуманного труда. В последнем он усматривает и честь и удовольствие для себя; но он хотел бы, чтобы его работа была удостоена высокого одобрения ее императорского величества, и это притязание представляется мне вполне основательным со стороны человека, который, как говорят, имеет 70 тысяч ливров дохода и хочет работать только ради славы...

Ф. Веселовский

Первое из сохранившихся писем самого Вольтера к И. И. Шувалову относится к 24 июня 1757 г.[3]; с этого момента переписка не прерывается до конца 1762 г., причем всех писем Вольтера к И. И. Шувалову за этот период времени известно пятьдесят два[4]. К сожалению, за исключением проекта одного ответного письма[5], писем И. И. Шувалова к Вольтеру не сохранилось. Но и по этой односторонне известной нам переписке можно составить представление о том, как шла работа Вольтера и как велико было участие И. И. Шувалова в составлении этой первой историографической характеристики Петра I. Как это видно из первых писем Вольтера к И. И. Шувалову, Вольтер не переставал испытывать недостаток в материалах для своей «Истории» и ощущать шаткость той документации, на которой ему приходилось воздвигать свое здание. Его письма к И. И. Шувалову наполнены ходатайствами о присылке ему тех или иных сведений о России и о Петре I и жалобами на промедление в доставке этих материалов. Со своей стороны, И. И. Шувалов делал все, что мог, для удовлетворения просьб Вольтера, и тот, повидимому, сумел оценить, как велика была помощь И. И. Шувалова при составлении «Истории Российской империи при Петре Великом»: в первой главе первого тома он сказал об этом несколько лестных для И. И. Шувалова слов[6]. Рукопись второго тома «Истории», законченная Вольтером в конце 1761 г., в момент смерти императрицы Елизаветы Петровны, и посланная им в Россию на просмотр, вернулась к автору в июне 1762 г. с замечаниями и поправками И. И. Шувалова и с этими внесенными им исправлениями была напечатана в 1763 г.[7].

Нет сомнения, что именно сношения И. И. Шувалова с Вольтером открыли первому двери в западно-европейский литературный и научный мир. Сторонник франко-

русского сотрудничества в политике и поклонник французского «просвещения», прекрасно усвоивший себе и язык его, и новейшие его завоевания, И. И. Шувалов мог выступить перед западно-европейской публикой во всеоружии приобретенных им знаний и того светского лоска, который был необходим в ту пору для всякого, стремившегося играть роль в литературных и аристократических салонах предреволюционного Парижа.

Насколько И. И. Шувалов зорко следил за всем, что появлялось нового во французской литературе, свидетельствует, между прочим, следующее, очень характерное

И. И. ШУВАЛОВ
Литография 1851 г. с портрета маслом
Е. Виже-Лебрён, 1795—1797 гг.

письмо к нему из Версаля от молодого гр. Александра Романовича Воронцова, впоследствии, при Екатерине II,—президента коммерц-коллегии, при Александре I—государственного канцлера. По всем признакам, письмо это относится к 1759 г.[8].

Перевод:

[1759 г.]

Милостивый государь,

Пользуюсь представившимся случаем, чтобы отправить вашему превосходительству сочинения одного из здешних ученых, который, конечно, имеет честь быть известным вашему превосходительству. Я присоединил к ним письмо г. Руссо[9], с которым

я так хотел познакомиться, но это мне не удалось. Он живет в пяти милях отсюда, никого не допускает к себе и совершенно не общается с посторонними людьми. Книга, в которой так мало пощажен г. Вольтер и о которой я имел честь сообщить вашему превосходительству, настолько быстро расходится, что я с величайшим трудом мог найти ее. Появилось также письмо Грессе, автора нескольких драматических произведений, имеющих большой успех[10]. Автор отрекается от них и, что особенно свидетельствует о постыдных предрассудках этого человека,—это то, что он заявляет, будто раскаивается в тех произведениях, которые написал. Это доказывает, что даже умный человек не менее подвержен колебаниям, чем всякий другой. Я не посмел отправить вашему превосходительству это письмо. У нас здесь ежедневно появляются какие-нибудь новые произведения, и если бы ваше превосходительство соблаговолили указать мне, какого рода сочинения вы предпочитаете, я докажу вам готовность, с каковой я исполню ваши приказания, имея честь быть и проч.

А. Воронцов

Смерть Елизаветы Петровны нанесла непоправимый удар положению И. И. Шувалова при дворе. Оставшись не у дел, подозреваемый Петром III в тайных умыслах против него, И. И. Шувалов мечтал об отъезде из России. Переворот 28 июня 1762 г. его положения не поправил; он просил новую царицу об отпуске за границу, и в начале 1763 г. его желание исполнилось: указом 4 марта 1763 г. он получил дозволение «отъехать на некоторое время в чужие края»[11].

И. И. Шувалов уезжал за границу в полном расцвете сил (ему было всего 36 лет), с уже установившейся репутацией просвещенного вельможи. Обстоятельства сложились так, что пребывание его вне России затянулось почти на целых 15 лет. За это время он успел объехать едва ли не всю Европу, неоднократно посещал Вольтера в его фернейском уединении и годами живал в Париже, где успел завести прочные связи среди «философов» и в светских кругах. В сентябре 1777 г. Шувалов, наконец, вернулся в Россию.

Он был принят Екатериной внешне благосклонно, получил должность обер-камергера двора, стал принимать ближайшее участие в придворных торжествах и увеселениях, но никакой роли в управлении не играл. У Екатерины с ним были счеты за прошлое, и в душе она затаила отзвук прежнего недоброго чувства к нему; вместе с тем, она, как будто, не могла побороть в себе известного раздражения, вследствие той популярности, которую И. И. Шувалов приобрел среди европейских ученых и писателей. Это сказывается в целом ряде ядовитых выходок по адресу И. И. Шувалова в ее письмах к Гримму[12]. Повидимому, она не могла простить ему того, что он самозванно, помимо нее и вопреки ей, стал, как мы выше его назвали, русским послом при европейской литературной державе.

II

Возвращаясь в Петербург в сентябре 1777 г., И. И. Шувалов привез с собой или призрел, уже будучи в Петербурге, некоего француза, по имени Маратрэ де Кюсси (Maratray de Cussy), которого поселил у себя в доме в качестве своего секретаря или библиотекаря. В благодарность за покровительство, ему оказанное, Маратрэ де Кюсси поднес в 1781 г. И. И. Шувалову каллиграфически переписанный им и красиво переплетенный в красный сафьяновый переплет золотообрезный сборник копий с писем к его покровителю от целого ряда иностранцев, писавших И. И. Шувалову как во время пребывания его за границей, так и по возвращении его в Россию. Всех писем в этом сборнике-альбоме, озаглавленном «Les consolations de l'absence» («Утешения в разлуке»), девяносто шесть. До революции альбом находился во владении потомков сестры И. И. Шувалова, княгини Голицыной, а от них поступил в Публичную библиотеку в Ленинграде, где и хранится ныне.

У этих потомков, однако, не сохранилось подлинных писем, с которых снял копии Маратрэ де Кюсси, и можно было думать, что их уничтожили после того, как эти копии были сняты; такое отношение к автографам было вполне возможным в XVIII столетии, хотя сам И. И. Шувалов берег и ценил письма, писанные ему наиболее знаменитыми из его современников-иностранцев. Уезжая в 1763 г. за границу, он писал своей сестре, чтобы она переслала ему «письма вольтеровы и прочих ученых людей»[13]. И. Ф. Тимковский, посещавший Шувалова в последние годы его жизни, видел в его кабинете письма к нему иностранцев, переплетенные в особую книгу in 4°[14]; весьма возможно, однако, что это и был тот самый сборник копий, который был сделан Маратрэ де Кюсси в 1781 г. и который мы ныне публикуем. Вопрос о судьбе подлинников, с которых эти копии были сняты, остался бы попрежнему невыясненным, если бы, благодаря розыскам, предпринятым редакцией «Литературного Наследства», не обнаружилось, что некоторые из них сохранились. Так, в собрании автографов Каролины Собанской, хранящемся во Всеукраинском историческом музее в Киеве, оказались подлинники трех писем аббата Галиани к Шувалову (от 13 ноября 1770 г., 1 октября 1771 г. и 11 февраля 1772 г.—№№ X, XI и XIII) и четырех писем г-жи Неккер к нему же (от марта—апреля 1778 г., от 8 сентября и 18 ноября того же года и от ноября 1781 г.—№№ XXXI, XXXV, XXXVIII и XLIX). В альбоме, составленном Маратрэ де Кюсси, имеются копии со всех этих писем, за исключением письма аббата Галиани от 13 ноября 1770 г., на итальянском языке, не включенного в альбом, быть может, потому именно, что оно написано не по-французски. Кроме того, в бывшем собрании автографов вел. кн. Николая Константиновича, хранящемся ныне в Центральном архивном управлении Узбекской ССР в Ташкенте, удалось обнаружить шесть подлинных писем кардинала де Берни к Шувалову. Из них три письма входят в копиях в состав альбома (письма от 4 ноября 1773 г., 26 января 1774 г. и 17 января 1776 г.—№№ XV, XVI и XVIII), два письма (от 10 января и 16 марта 1784 г.—№№ LI и LII) не включены в него, очевидно, потому, что они поступили после 1781 г., т. е. после даты составления альбома[15], и, наконец, одно письмо (от 27 марта 1779 г.—№ XLII) входит в копии в неизданную рукописную биографию И. И. Шувалова, о которой сейчас будет сказано подробнее. В том же ташкентском собрании обнаружены еще два письма, адресованные И. И. Шувалову, но не вошедшие в альбом Маратрэ де Кюсси: это письмо княгини Santa Croce, написанное в Риме 30 декабря 1768 г., и письмо генерала графа Lacy, датированное Петербургом, 15 июля 1777 г.

Нахождение в наших архивных собраниях указанных выше пятнадцати писем[16] заставляет предполагать, что подлинники писем иностранцев к Шувалову не были уничтожены, что они какими-то судьбами ушли из рук его наследников и стали попадать в руки собирателей автографов. Не исключена поэтому возможность нахождения в наших архивных собраниях и остальных автографов писем иностранцев, адресованных Шувалову.

Помимо сборника копий, сделанных Маратрэ де Кюсси, и пятнадцати подлинных писем, обнаруженных в Киеве и Ташкенте, в нашем распоряжении имелся еще один источник для воссоздания переписки Шувалова с иностранными знаменитостями его времени. Это написанная на французском языке биография Шувалова, единственная известная нам рукопись которой (примерно, середины XIX в.) хранилась в свое время в так называемой «собственной его величества библиотеке» в Зимнем дворце. После февральской революции 1917 г. вместе с прочим рукописным материалом «собственной библиотеки» рукопись была передана в Государственный архив (при министерстве иностранных дел), а затем, в составе последнего, перевезена в Москву, где и поступила в Государственный архив феодально-крепостнической эпохи (ГАФКЭ). Автор этой рукописи неизвестен, но, по некоторым признакам, мы угадываем в нем лицо близкое к семей-

ству графини Варвары Николаевны Головиной, урожденной Голицыной, племянницы И. И. Шувалова и автора известных мемуаров, изданных Валишевским в Париже[17]. Головина перешла в католичество, так же как и обе ее дочери, вышедшие замуж за поляков—графа Потоцкого и графа Фредро. В этой проникнутой духом католического прозелитизма среде и была, повидимому, написана, не ранее 1830 г., эта биография И. И. Шувалова, которая странным образом сочетает факты из жизни последнего с историей католической пропаганды в России, как будто пытаясь приписать И. И. Шувалову какую-то роль в этом отношении. Последнее должно быть категорически отвергнуто, так как И. И. Шувалов ни в чем не проявил своих симпатий к католицизму, хотя, будучи за границей, очень много вращался в католических кругах. Исторической ценности эта биография почти не имеет, но важно то, что в нее включено несколько писем к И. И. Шувалову от разных иностранцев, частью вошедших в альбом, составленный Маратрэ де Кюсси, но частью и не находящихся в нем. Всех этих писем—тридцать, из них новых, т. е. не содержащихся в альбоме,—семь. В это число не входят приведенные нами выше и заимствованные из этой же биографии письма Ф. П. Веселовского и А. Р. Воронцова, которые помещены в самом тексте биографии. Из этих новых семи писем мы сочли нужным опубликовать два: от кардинала де Берни (№ XLII) и от графа де Трессана (№ XL). Кроме того, в другой работе настоящего тома—«Наследие Вольтера в СССР»—публикуется еще одно заимствованное из этой биографии письмо, а именно письмо Луизы Дени, племянницы и наследницы Вольтера. Из этого письма выясняется посредническая роль И. И. Шувалова в переговорах между Екатериной II и племянницей философа о покупке у последней знаменитой библиотеки Вольтера.

Подавляющее большинство публикуемых ниже писем печатается впервые. Исключение составляют: 1) оба письма Вольтера (№№ XIV и XVII), появившиеся уже в первых изданиях его переписки; 2) письмо Гельвеция от 10 июня 1761 г. (№ I), напечатанное в русском переводе в апрельской книжке «Вестника Европы» за 1826 г., и 3) письмо Галиани от 12 февраля 1782 г. (№ LI), изданное в собрании его писем, вышедшем в Париже в 1882 г. под редакцией Lucien Perey и Gaston Maugras. Что же касается всех других публикуемых писем, то можно утверждать, что они еще не видели света; по крайней мере, в доступных нам печатных источниках они не фигурируют[18].

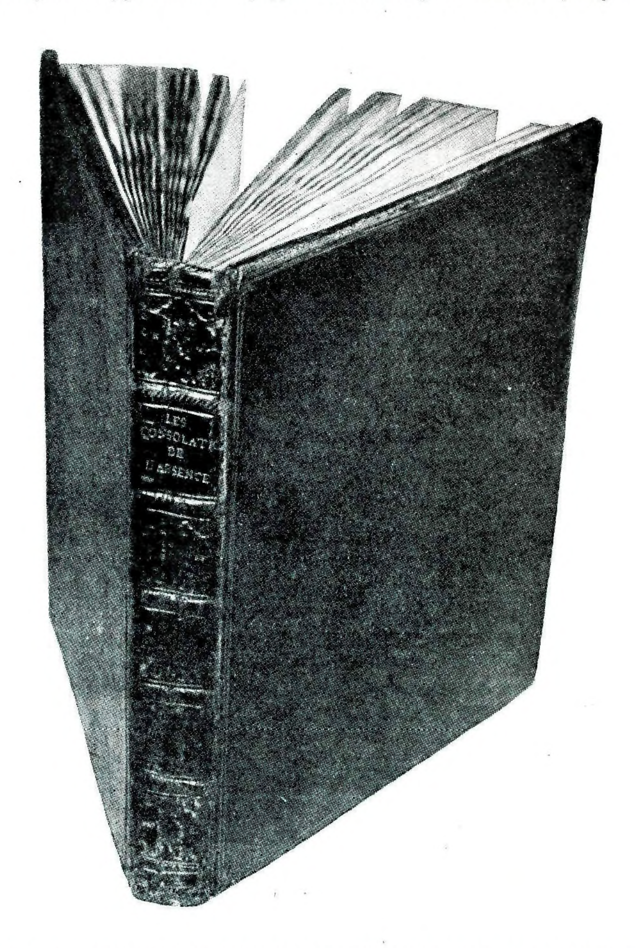
Печатание всех имевшихся в нашем распоряжении писем, а значит и опубликование всего альбома в целом, мы признали излишним: есть письма, не представляющие сколько-нибудь значительного интереса, содержащие только ряд комплиментов по адресу И. И. Шувалова или передающие факты, лишенные какого-либо исторического значения; есть письма и от лиц совершенно неизвестных. Поэтому мы решились сделать выбор наиболее значительных и интересных писем и, расположив их в хронологическом порядке, в таком виде предложить это собрание читателю.

III

Основное впечатление, которое выносишь из чтения адресованных Шувалову писем, может быть сформулировано так: это собрание писем типично для характеристики того предреволюционного придворно-аристократического общества Европы, которое нашло в это время общий язык для выражения своих мыслей, которое спешило жить своей беззаботной и легкомысленной жизнью, как будто в бессознательном предчувствии той революционной бури, которая скоро должна была смести и его и все то, чем оно жило. Очень характерно, что последнее из приведенных в альбоме писем—это письмо г-жи Неккер (№ LIV) от 16 декабря 1789 г., полное тревоги и растерянности перед лицом наступивших грозных событий; оно служит ярким финальным аккордом ко всему собранию этих беззаботных посланий общества, присвоившего себе монопольное право

на умственное превосходство и на светскую образованность. Интересы этого общества вращались вокруг событий литературной, политической и придворной жизни, не углубляясь в сокровенный смысл совершавшегося, скользя по его поверхности. Публикуемые письма очень ярко воспроизводят колорит изысканных и легких «causeries» последних салонов старой Франции; в этом отношении собрание писем к Шувалову является особенно типичным для предреволюционных годов XVIII столетия.

По авторам писем собрание это может быть подразделено на две большие группы: с одной стороны, это крупнейшие представители образованности, науки и литературы



АЛЬБОМ ПИСЕМ ИНОСТРАННЫХ КОРРЕСПОНДЕНТОВ И. И. ШУВАЛОВА
Публичная библиотека, Ленинград

XVIII в., начиная с Вольтера; здесь мы встречаем имена Гельвеция и Даламбера, лорда Честерфильда и Горэса Уолпола (Вальполя), аббата Галиани и кардинала Берни, Бюффона, Неккера и его жены, президента Эно и законодательниц литературных салонов Парижа—г-жи Жоффрен и маркизы дю Деффан. Другая часть писем принадлежит представителям и представительницам «высшего света» Парижа и других столиц; большинство этих лиц не оставило заметного следа в истории, но письма их имеют несомненную историческую ценность, как свидетельства современников о событиях, нравах, воззрениях той среды, которую вскоре унесла революция. Поскольку мы стремились, по возможности, полностью воспроизводить письма лиц первой из указанных групп, постольку из писем второй группы корреспондентов Шувалова мы решили печатать

только то, что представляет некоторый исторический интерес, опуская все, что научного значения не имеет или что является только обычным в эпистолярном стиле XVIII в. набором красивых фраз и комплиментов.

Впрочем, относительно последнего следует сделать одну оговорку. Поскольку личность человека, его характер и степень образованности могут быть выявлены по письмам, которые он получает, а не по тем, которые он сам пишет, следует притти к заключению, что в характере Шувалова было много черт, привлекавших к нему людей самых разнообразных характеров и типов. Нельзя допустить, чтобы все благоприятное для него, что встречается чуть ли не в каждом из адресованных к нему писем его французских, английских и итальянских друзей и знакомых, было только лестью; воскурять фимиам Шувалову в то время, когда он скитался по западным столицам без всякого официального звания, простым туристом, единственно с репутацией «бывшего фаворита», утратившего всякий политический вес в настоящем и не надеявшегося вернуть его в будущем, не имело ни смысла, ни основания. Между тем, наряду с банальными комплиментами по его адресу, в письмах к нему слышится явственный тон искренней симпатии, свидетельствующей о близости отношений, установившихся между ним и его корреспондентами. Они ценят в Шувалове человека одного с ними уровня образованности и одинаковых вкусов, сумевшего войти в интересы их круга и разделить эти интересы. Эта особенность писем иностранных друзей к Шувалову проходит яркой нитью через все собрание.

В заключение нельзя не вспомнить, по поводу собрания писем к Шувалову, гениального послания Пушкина «К вельможе» (князю Н. Б. Юсупову). В немногих стихах поэт воссоздал картину дореволюционных годов XVIII в. во Франции, ту самую, какую мы можем так ярко воспроизвести и по письмам к Шувалову его иностранных корреспондентов. Как будто про Шувалова пишет Пушкин:

Явился ты в Ферней, и циник поседелый,
Умов и моды вождь пронырливый и смелый,
Свое владычество на Севере любя,
Могильным голосом приветствовал тебя.
С тобой веселости он расточал избыток,
Ты лесть его вкусил, земных богов напиток.

И далее:

С Фернеем распростясь, увидел ты Версаль.
Пророческих очей не простирая в даль,
Там ликовало всё. Армида молодая,
К веселью, роскоши знак первый подавая,
Не ведая, чему судьбой обречена,
Резвилась, ветреным двором окружена.
Ты помнишь Трианон и шумные забавы?
Но ты не изнемог от сладкой их отравы;
Ученье делалось на время твой кумир:
Уединялся ты. За твой суровый пир
То чтитель промысла, то скептик, то безбожник,
Садился Дидерот на шаткий свой треножник,
Бросал парик, глаза в восторге закрывал
И проповедывал. И скромно ты внимал
За чашей медленной афею иль деисту,
Как любопытный скиф афинскому софисту.

Вспоминая тот «энциклопедии скептический причет», с которым Юсупов встречался за границей, Пушкин среди других имен называет Галиани, письма которого к Шувалову мы печатаем ниже; и любопытнее всего то, что в одном из них неаполитанский

аббат говорит о том самом Юсупове, которому полвека спустя посвятил свое послание Пушкин,—новое свидетельство необычайной точности и правдивости поэта, о том, что он никогда ничего не «присочинял» для эффекта или звучности стиха; узнав, очевидно, от самого Юсупова о знакомстве последнего с Галиани, он и счел себя вправе внести это имя в свое послание.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Текст письма Ф. П. Веселовского взят из неизданной биографии И. И. Шувалова, рукопись которой хранится в ГАФКЭ. Веселовский Федор Павлович—русский резидент в Англии при Петре I. Боясь быть замешанным в дело царевича Алексея, он ослушался царского приказания, не вернулся в Россию и остался жить за границей. Впоследствии неоднократно приезжал на родину, был куратором Московского университета при И. И. Шувалове, но конец жизни провел за границей и умер в Швейцарии.

[2] Письмо Вольтера к Ф. П. Веселовскому от 19 февраля 1757 г.—Архив князя Воронцова, III, 269.

[3] «Œuvres complètes de Voltaire», P., Garnier frères (издание Moland), XXXIX, 223, 3371.

[4] В издании Moland их имеется: за 1757 г.—3 письма, за 1758 г.—7, за 1759 г.—7, за 1760 г.—12, за 1761 г.—15, за 1762 г.—8.

[5] Письмо И. И. Шувалова к Вольтеру от 17 марта 1762 г.; оно впервые публикуется в настоящем издании («Наследие Вольтера в СССР», 159—161).

[6] Moland, XVI, 379.

[7] В первом издании «Histoire de la Russie sous Pierre le Grand» том I помечен 1759 г., том II—1763 г., без указания места напечатания.

[8] Текст письма А. Р. Воронцова взят из упомянутой выше неизданной биографии И. И. Шувалова.

[9] Это «письмо»—известный памфлет Ж.-Ж. Руссо, озаглавленный «Lettre à d'Alembert sur les spectacles» и направленный против театра, в частности, против Вольтера. В эти годы Ж.-Ж. Руссо жил в Монморанси, в имении герцога де Люксанбура.

[10] Gresset Жан-Батист (1709—1777)—известный поэт и драматург. Его письмо «О комедии», в котором он отрекался от своих драматических произведений, было опубликовано в 1759 г.

[11] «СПБ. Ведомости», № 31, от 18 апреля 1763 г.

[12] «Сборник Императорского Русского Исторического Общества», XXIII, 123—124, 146, 162, 209, 291, 1509.

[13] Бартенев П. И., Биография И. И. Шувалова, М., 1857, 40.

[14] Тимковский И. Ф., Мое определение на службу.—«Москвитянин», 1852, № 20, отд. IV, 62.

[15] Относительно этого обстоятельства следует, однако, оговориться, что альбом пополнялся и после 1781 г.: в нем встречаются письма позднейших годов, как, например, письмо аббата Галиани 1782 г. и письмо г-жи Неккер 1789 г.

[16] Подлинники писем аббата Галиани, г-жи Неккер и кардинала Берни извлечены из Всеукраинского исторического музея в Киеве и из Центрального архивного управления Узбекской ССР в Ташкенте, благодаря любезной помощи А. А. Назаревского и Е. К. Бетгера.

[17] В русском переводе были изданы Е. С. Шумигорским в «Историческом Вестнике» за 1899 г.; отд. изд.—«Записки графини Варвары Николаевны Головиной (1766—1819)», перевод с французской рукописи, под редакцией и с примечаниями Е. С. Шумигорского, СПБ. 1900.

[18] В качестве эпиграфа к альбому Маратрэ де Кюсси поместил четверостишие известного писателя Жана-Франсуа Мармонтеля (1723—1799), посвященное И. И. Шувалову. Это четверостишие было нанесено эмалью на оправленную в золото записную книжку, подаренную И. И. Шувалову известной при Людовике XV светской красавицей, герцогиней де Люксанбур (см. о ней ниже, прим. 1-е к письму XXIV). П. И. Бартенев опубликовал его текст в своей «Биографии И. И. Шувалова» (М. 1857, 57). Приводим перевод четверостишия (французский текст см. на следующей странице): «Сладка о прошлом мысль тому, кто мудр и счастлив, кто все использовал, во зло не потребив, кто так разумен был в дни славы и почета, что от соперников снискать хвалу умел».

УТЕШЕНИЯ В РАЗЛУКЕ

Le souvenir est doux pour l'homme heureux et sage
Qui sait user de tout et n'abuser de rien,
Et qui de la faveur fit un si bon usage
Que même ses rivaux n'en on dit que du bien.

Мармонтель
от имени супруги маршала де Люксанбура

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ Г. ШУВАЛОВУ, ГЕНЕРАЛ-АНШЕФУ, КУРАТОРУ МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, ОБЕР-КАМЕРГЕРУ Е. В. ИМПЕРАТРИЦЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ, МНОГИХ ОРДЕНОВ КАВАЛЕРУ И ПР.

Милостивый государь,

Приняв во внимание, что не столько долг, сколько чувство благодарности к вам и искренней к вам преданности, вызванной милостями вашего превосходительства за время четырехлетнего пребывания моего в вашем доме, водили моим пером, когда я составлял этот сборник, вы, надеюсь, не сочтете нескромностью с моей стороны желание принести его вам, как дань уважения, сопроводив настоящим письмом.

Я принялся за это письмо после долгих колебаний, ибо сознавал, что имени моему не приличествует стоять рядом с именами особ столь почтенных. И решился я лишь тогда, когда почувствовал, как искренни их чувства к вам и как совпадают они с моими собственными.

Могу заверить ваше превосходительство, что я не раз проливал слезы, переписывая иные из этих писем; и что же могло бы доставлять мне такое наслаждение, кроме языка истинной дружбы и справедливого признания ваших добродетелей и высоких достоинств?

Да не воспрепятствует вам присущая вам скромность предоставлять эти письма на прочтение тем, кто пожелает их прочесть! Пусть не тревожат вас похвалы, которые вызовет это чтение,—они слишком вами заслужены. В самом деле, каждый, в чьи бы руки они ни попали, должен почувствовать, какое это счастье вызывать любовь окружающих! Даже человек горациевского духа, самое холодное из существ, прочитав эти письма, будет искать себе друзей, а тот, на чью долю выпало счастье иметь их, с удвоенной заботой будет стараться сохранить своих друзей.

Вы обожаемы столь достойной почтения сестрой, как княгиня, которая обладает такими редкими свойствами и достоинствами—является, словом, олицетворением добродетели, как мы последнюю себе представляем; вы окружены семьей, которая только и помышляет, что об угождении вам, о любви к вам и о том, чтобы проникнуться духом добродетелей, которые вы ей внушаете. И кто мог бы служить лучшим образцом в этом отношении, нежели ваше превосходительство? Было ли сердце вашего превосходительства исполнено столь же чистой и безупречной радости в дни блеска и величия, которыми вы так долго пользовались, среди великолепия и роскоши и особенно среди лести придворных? И поступки ваши и столь заслуженная вами репутация ваша свидетельствуют об обратном.

Те, чьи души достаточно чувствительны, чтобы стремиться к счастью, подобному счастью вашему, пусть еще долго почитают для себя образцами княгиню и ваше превосходительство.

Я был свидетелем вашей жизни в продолжение четырех лет и почитал это время счастливейшим в моей жизни,—а продолжится это счастье, пока мне будет дозволено им пользоваться и неизменно доказывать при этом вашему превосходительству своей готовностью подчиняться его воле и своей сердечной преданностью всю искренность и полное бескорыстие моих чувств.

Вашего превосходительства почтительнейший и покорнейший слуга

Маратрэ де Кюсси

С.-Петербург, 4 апреля (ст. стиля) 1781 г.

I. ГЕЛЬВЕЦИЙ[1]

Люминьи, 10 июня 1761 г.

[Ваше превосходительство, не задерживаясь на лестных для моего самолюбия выражениях вашего письма, спешу поздравить как вас, так и соотечественников ваших с проявленной вами просвещенной ревностью к преуспеянию наук и талантов][2]. Бывают люди, самим небом предназначенные к тому, чтобы совершенствовать умы и нравы в той или иной стране и закладывать основы будущего ее величия. Царем положено начало тому труду, который вы сейчас завершаете[3]. Привести в движение всю массу огромной нации может только ряд следующих один за другим великих людей, вступающих между собой в соревнование. Царю самая его власть уже дает в руки такие возможности, каких нет у наиболее влиятельного из вельмож; но у такого человека, как вы, недостаток возможностей искупается высокими его дарованиями. Поддержку трудам своим вы найдете в сладостной мысли о бессмертии, которое музы обеспечивают каждому, кто оказывает им покровительство. При той высоте, на которую вы поставлены рождением, чинами и богатством, слава является единственным благом, которого вы могли бы себе пожелать. Для возвышенной души это лучшая награда, ибо она всегда—дар признательности общества. Вспомните, что самые наименования бесконечного множества могущественнейших народов погребены под развалинами их столиц, а благодаря вам, наименование «русский» уцелеет, быть может, и тогда, когда самая держава ваша будет разрушена временем. Если бы греки были только победителями в войнах с Азией, их имя было бы уже забыто: той данью восторга, которую мы с благодарностью им платим, они обязаны тем памятникам, которые ими воздвигнуты науке и искусству. [Мы и посейчас наслаждаемся тем, что создано благородными талантами Рима, в воздаяние

LES CONSOLATIONS
DE
L'ABSCENCE

ЗАГЛАВНЫЙ ЛИСТ АЛЬБОМА ПИСЕМ ИНОСТРАННЫХ КОРРЕСПОНДЕНТОВ И. И. ШУВАЛОВА

Публичная библиотека, Ленинград

Меценату и Августу за оказанное ими покровительство. Бессмертными творениями Горация и Вергилия мы обязаны именно этому покровительству. Вы пойдете по их стопам, поощряя ученых вашей родины]. Но, чтобы воспитывать великих людей, необходимо поощрять свободную мысль и не давать ножницам суеверия и богословия подрезать духу крылья. Государям отнюдь не следует бояться писателей: они нигде не вызвали революций. Скажут: они иногда позволяют себе выдвигать смелые истины; но такие истины могут оскорблять лишь глупцов, не умеющих извлекать из них пользы.

Из письма, которым угодно было вашему превосходительству меня почтить, я вынес впечатление, что вы относитесь с некоторым сомнением к успешности ваших стараний. Сомнение это вызвано, может статься, трудностью предоставить известную свободу писателям вашей страны; а, между тем, такая свобода безусловно необходима. С цепями на ногах не побежишь, с ними можно только ползти. Щедрые вознаграждения, сами по себе, еще не могут содействовать нарождению великих людей в области науки и искусства. К обильным же щедротам вовсе не следует прибегать: от чрезмерного благополучия таланты подчас отяжелевают,—богатые нередко бывают ленивы. Награждать следует преимущественно почестями. Чего только нельзя добиться от человека орденом, лентой или другим внешним знаком отличия! Отличия эти теряют, правда, свою ценность, когда их раздают неэкономно и присуждают не только по заслугам. Почести в руках государей подобны тем талисманам, которые феи в сказках дарят своим любимцам: как только ими начинают злоупотреблять, эти талисманы теряют всякую силу.

Установить более тесную связь русских ученых с миром писателей остальной Европы и возбудить между ними соревнование можно было бы, распространяя, по примеру Людовика XIV, на иностранцев те отличия, которых вы будете удостаивать своих соотечественников. В русском, оказавшемся членом того же общества, в которое входят во Франции Вольтер, а в Англии Юм, возникнет желание прочитать их произведения, а вскоре может появиться и желание самому написать нечто подобное. Так распространяется просвещение и разгорается пламень соревнования.

Меня самого воспламенило сказывающееся в письме вашего превосходительства участие к судьбам искусства, науки, к успеху ума человеческого вообще, и я боюсь, не слишком ли много я наговорил здесь об этом предмете. Надеюсь, однако, что северный Меценат простит мне увлечение, им же самим вызванное[4].

Пребываю и пр.

Гельвеций

Копия.—Публичная библиотека, Ленинград. Альбом «Les consolations de l'absence», лл. 11—14. В дальнейшем всюду указывается сокращенно: «C. d. l'a.».

[1] Helvetius Клод-Адриен (1715—1771)—знаменитый французский философ-материалист.

[2] Публикуемое письмо было напечатано, в русском переводе и с заменой, по цензурным обстоятельствам, фамилии Гельвеций буквой «Г», в «Вестнике Европы», 1826, VII, 162—166. Текст этого перевода в ряде мест крайне неточен, но он несколько полнее текста копии Маратрэ де Кюсси. Повидимому, последний при переписке оригинала допустил ряд купюр. Мы восстанавливаем их по тексту «Вестника Европы». Фразы эти заключены нами в прямые скобки.

[3] Т. е. Петром I, начавшим дело просвещения России, закончить которое, по представлению Гельвеция, надлежит «северному Меценату»—И. И. Шувалову.

[4] Публикуемое письмо является ответным на письмо И. И. Шувалова к Гельвецию от начала 1761 г. Русский перевод письма Шувалова был напечатан (с заменой фамилии адресата буквой «Г») в «Вестнике Европы», 1826, апрель, VII, 161—162. Приводим этот текст:

От Шувалова к Г[ельвецию]

Милостивый государь, вы приобрели столь справедливо всеобщее уважение, что не должны удивляться, получая из стран самых отдаленных знаки заслуженного вами почтения. Ваш превосходный гений, производя в других впечатление, кажется, хочет разделить с нами те преимущества, которыми природа вас одарила. Развивая ваши познания, она также развернула и наши. Вы стяжали право, м. г., на всеобщую признательность. Я не имею чести быть знакомым с вами, но почитал бы себя неблагодарным, если бы, прочитав ваше бессмертное сочинение «Об уме», не благодарил знаменитого сочинителя, как своего наставника, за ту пользу, которую извлек я из оного.

АВТОГРАФ ПОСВЯЩЕНИЯ МАРАТРЭ ДЕ КЮССИ И. И. ШУВАЛОВУ АЛЬБОМА ПИСЕМ ЕГО ИНОСТРАННЫХ КОРРЕСПОНДЕНТОВ

Публичная библиотека, Ленинград

Я признал бы себя счастливым, когда бы мое уважение к вашим познаниям предупредило вас в пользу народа, к несчастью, прослывшего у многих варварским. Самым сильным доказательством, м. г., ваших благоприятных для меня мыслей было бы доставление мне случая хотя несколько быть для вас полезным в моем отечестве и тем доказать отличное к вам почтение, с коим честь имею быть, м. г., вашим покорнейшим слугой

И. Шувалов

С.-Петербург.

К первым словам этого письма—«Вы приобрели столь справедливо всеобщее уважение»—редактор «Вестника Европы» (М. Каченовский) сделал любопытное примечание: «Последствия показали, что к людям, каков Г[ельвеций], не следовало иметь ни доверенности, ни внимания, но письма сии любопытны по историческому своему достоинству».

Получив ответное письмо Гельвеция, И. И. Шувалов не замедлил вновь написать ему большое письмо, также напечатанное в «Вестнике Европы» (стр. 166—168). Приводим и этот текст:

От Шувалова к Г[ельвецию]

Я получил письмо, которым вы меня почтили. Моя признательность равняется моему к вам уважению; я был бы им еще более доволен, если бы не нашел в нем похвал, не заслуженных мною. Может быть, м. г., кто-нибудь мало меня знающий представил вам меня совсем в другом виде; может быть, почитал он меня сильнее и способнее к совершению того, чего вы от меня ожидаете. Я хочу вам изобразить себя в настоящем виде и сперва дать вам понятие о состоянии нашего государства в отношении к наукам и искусствам. Петр I, сотворив или преобразовав все, не имел после смерти своей последователей в бо́льшей части своих предначертаний и мудрых заведений. Науки и искусства в государстве нашем получили свое начало со времен сего великого мужа: мы имели искусных людей во всех родах. Художники, учившиеся в Италии, могли стать наряду с хорошими мастерами и делали честь нашему отечеству. Невнимание к их талантам и небрежение о воспитании новых художников подавили росток того, что́ прозябло, уничтожив столь лестные ожидания. В последствии времени первые места в государстве были заняты иностранцами, которые оставались в совершенном бездействии касательно сего предмета—вероятно, оттого, что не радели о распространении наук и искусств в стране им чуждой, или потому, что их намерения не позволяли им мыслить и действовать с ревностью патриотов. Такая небрежность о просвещении юношества (исключая военную школу, или Кадетский корпус, основанный в 1730 г. для шестисот дворян и приготовивший столько хороших офицеров) некоторым образом остановила успехи просвещения. Вот почему благородная ревность к учению совершенно была погашена во многих из моих соотечественников. Столь неприятный для нас промежуток дал повод некоторым иностранцам несправедливо думать, что отечество наше неспособно производить таких людей, какими бы они должны быть: сей предрассудок может истребиться одним временем. Ее императорское величество, следуя по стопам великого Петра, основала Московский университет и Академию в С.-Петербурге, над коими я имею честь быть начальником. Вот, м. г., две только части, в которых я мог бы быть полезным своему отечеству, если бы мои познания соответствовали моей ревности. Я чувствую себя ободренным вашими советами; буду еще более ободрен, если вы станете их продолжать. Ваше письмо есть для меня собрание наставлений; не умею выразить, сколь лестны для меня честь и польза вашего знакомства и еще многих других ученых, в особенности г. В[ольтера], который не перестает изъявлять мне знаки своей дружбы. Как бы я почитал себя счастливым, м. г., если бы мог заслужить ваше уважение! Ободрение такого человека, как вы, для меня гораздо драгоценнее, нежели то, что получаем мы от прихотей счастья. Я постараюсь употреблять во всех отношениях полезно ваше знакомство; вы же ничего не извлечете из моего, кроме беспредельной признательности и почтения, с коими честь имею быть, и проч.

С.-Петербург, 27 июля 1761 г.

Переписка Шувалова со знаменитым философом продолжалась еще некоторое время, как это видно еще из двух сохранившихся и публикуемых ниже писем Гельвеция.

II. ГЕЛЬВЕЦИЙ

Воре, 9 июля 1762 г.

Разрешите мне высказать вашему превосходительству, как меня трогают знаки расположения, столько раз вами ко мне проявленного. Позвольте поблагодарить вас и за благосклонный прием, оказанный вами г. Вальи, имевшему честь вручить вам мое письмо. С тех пор, как я имел честь писать вашему превосходительству, я был сильно болен, а когда стал поправляться, узнал о кончине императрицы[1] и, конечно, сознавал, что у такого вельможи, как вы, в минуту восшествия на престол нового царя много найдется дел более важных, чем выслушивание размышлений философа. Я и пришел к мысли, что писать вашему превосходительству мне следует, только выждав, пока пройдет время торжеств, исполнения обязанностей служебных и публичных, время личных тревог и упований. Во времена таких резких перемен, когда людей волнуют столь великие интересы, философу следует хранить молчание. Чтить Аполлона философам и ученым приходится не тогда, когда он всходит на свою колесницу

и начинает рассеивать свет по вселенной, а лишь тогда, когда он пасет свои стада или нисходит на Парнас.

Удаленность местности и уединенный образ жизни, какой я веду в деревне, при обычной в таких случаях неосведомленности о том, что происходит при дворах государей, и сейчас лишают меня возможности решить, удобное ли я выбрал время, но я действую в расчете на вашу снисходительность: ваше превосходительство, конечно, поймете, как мало я осведомлен о том, что происходит в Петербурге.

В настоящем письме к вашему превосходительству я не буду говорить о тех слезах, которые не могла не исторгнуть у него потеря оплакиваемой всей Европой государыни, чьи высокие достоинства признаны всеми народами. Что могло бы служить более верной порукой таким ее достоинствам, чем доверие, которое она питала к уму вашему и знаниям, и то уважение, с которым она относилась к вашим личным свойствам! Добродетели и таланты любимцев государя—вот чем воздается ему хвала. Если в этом состоит подлинная хвала царице, то такая хвала ей уже воздана!

По слухам, новый император[2] любит искусства и науки; надеюсь, что я не совершу нескромности, спросив, не на вас ли им возлагается, как возлагалась прежде, забота об их процветании? Его дружеское отношение к королю прусскому внушает писателям и ученым надежду, что они найдут в нем покровителя. Благорасположение такого могущественного государя целиком восстановит подобающее им значение, которое ханжи пытаются подорвать.

Из всех пожеланий, какие я мог бы высказать, наиболее важным для успехов человеческого разума, а также и для счастья России будет пожелание, чтобы за вами сохранилось прежнее ваше влияние. Вы сумеете разъяснить русским, что народу, вышедшему из состояния варварства и дикости (в какой пребывали предки наши—кельты и татары), нельзя довольствоваться одной славой оружия, что самое превосходство в этом отношении может быть только временным, если народ не будет проявлять стремления прославиться и на всех других поприщах, ибо в государстве все между собой связано, и тот самый дух соревнования, который приводит к появлению в стране великих людей в области науки и литературы, всегда и в достаточной мере обеспечивает ее и искусными полководцами и великими государственными деятелями.

Имею честь пребывать с глубочайшим почтением вашего превосходительства и т. д.

Гельвеций

Копия.—«C. d. l'a.», лл. 14—16.

[1] Т. е. императрицы Елизаветы Петровны, умершей 24 декабря (ст. ст.) 1761 г.

[2] Известия о событиях, происходивших в России, доходили до Франции с большим опозданием, и в то время, когда Гельвеций писал свое письмо от 9 июля (н. ст.) 1762 г., он не мог еще знать о перевороте 28 июня (ст. ст.) 1762 г., низложившем Петра III и возведшем на престол Екатерину II.

III. ГЕЛЬВЕЦИЙ

Париж, 23 января 1763 г.

Ваше превосходительство, покровитель литературы и науки, северный Меценат, разрешит мне, надеюсь, совместно с ним порадоваться тем милостям, которыми оделяет ныне ученых августейшая российская императрица. Величайшую честь делает ей письмо, написанное ею г. Далам-

беру[1]. Письмо это одновременно свидетельствует как о возвышенности духа, так и об исключительной одаренности и просвещенности этой государыни. Она вполне поэтому может рассчитывать на любовь, благодарность, уважение и преклонение перед ней всех писателей; голос их,— а он дойдет и до слуха потомков,—будет славить проявляемое ею благоволение к ним. Но как могла бы она и не покровительствовать им? Государыне столь одаренной поневоле придется оказывать неизменную любовь и уважение талантливым людям, как собственному своему образу и подобию, а они, к тому же, так исполнены готовности прославлять и возвеличивать ее имя. Мы всегда любим то, что на нас похоже, и, окидывая взором все страны земли, мы можем убедиться, что даровитость государя повсюду находится в довольно точном соответствии с его любовью к даровитым людям.

То обстоятельство, что выбор пал на ваше превосходительство и что вы поставлены во главе российских университетов и ученых учреждений, уже явилось в моих глазах предзнаменованием как того благоволения, которое должно в вашей империи выпасть на долю ученых, так и предстоящего возвращения муз в страну, в которой даже Петру Великому не удалось их удержать. Разделите с вашей августейшей повелительницей то глубокое уважение, которое мы к ней питаем, и примите мою личную вам благодарность за все милости, которыми вы меня удостаиваете.

От имени всех ученых и писателей моей родины выражаю я благодарность вам.

Пребываю и пр.

Гельвеций

Копия.—«C. d. l'a.», лл. 17—18.

[1] См. ниже, прим. 2-е к письму IV.

IV. ДАЛАМБЕР[1]

Среда, 15 февраля [1764 или 1765 г.]

Свидетельствуя графу Шувалову свое почтение, г. Даламбер имеет честь направить к нему г. Лебрёна, которого, на основании всех собранных о нем сведений, считает весьма подходящим для успешного выполнения той задачи воспитания, которой озабочен граф Шувалов и которой г. Даламбер, со своей стороны, весьма был бы счастлив поспособствовать удачной рекомендацией[2].

Копия.—«C. d. l'a.», л. 41.

[1] D'Alembert Жан (1717—1783)—известный философ, один из главных сотрудников «Энциклопедии».

[2] Написано, повидимому, во время пребывания И. И. Шувалова в Париже. 13 ноября 1762 г. Екатерина II обратилась к Даламберу с письмом, приглашая его в воспитатели к своему сыну, будущему имп. Павлу I. Это предложение он отклонил. Осенью 1763 г., через И. И. Шувалова, Екатерина II возобновила свое предложение, которое снова было отклонено. См. «Сборник Русского Исторического Общества», VII, 178—179. Слова настоящей записки о «задаче воспитания», интересующей И. И. Шувалова, дают основание предполагать, что речь идет о той же задаче выбора воспитателя для наследника русского престола.

V. АНТУАН ТОМА[1]

Глатиньи, близ Версаля, 24 сентября 1765 г.

Милостивый государь, я имел бы честь выразить вам свою благодарность лично, если бы не должен был спешно уехать за город. Прекрасный

ГЕЛЬВЕЦИЙ В КРУГУ СВОЕЙ СЕМЬИ

Акварель Кармонтеля, 1740 г.

Собрание гр. д'Андло, Франция

подарок, которым вы меня удостоили, явился для меня неожиданностью, и я буду хранить его с вечной к вам признательностью. Говорят, что у каждого верующего есть любимая реликвия, которую он особенно бережно хранит, часто к ней обращается; теперь и у меня есть реликвия. Я благоговейно буду лобызать ее и время от времени буду воспевать ее в гимнах. Великие люди заслуживают такого же поклонения, как и святые, а тот, о ком идет речь, имеет на него безусловное право. Начавши прославлять его, я с радостью отмечаю все, в чем сказывается огромный произведенный им переворот, а одного личного знакомства с вами, милостивый государь, уже достаточно, чтобы признать этот переворот изумительным. Вы в Петербурге лучше владеете нашим языком, чем многие из французов—в Париже. Подобно Петру Великому, вы совершаете путешествия, но с одним различием: он был в поисках знаний, которые намеревался перенести на Север; а вы с далекого Севера переносите к нам такие знания, которые мы были бы рады обрести в собственной среде. Всем известно, как высоко в дни вашей служебной деятельности в России вы умели ценить все роды искусства, способствуя их развитию, покровительствуя им. Вы должны были не раз чувствовать, милостивый государь, что нет деятельности более достойной славы и более приятной. Для нее не нужно обладать ни строгостью, ни жестокостью, она не заставляет причинять людям горе: она создана для души, какой наделены вы. Искусство, которое вы насаждали и взращивали на Севере, должно ныне отблагодарить вас, услаждая вам жизнь. Вы уже ознакомились с ним в Англии, вы увидите его в Италии. Я желал бы, чтобы ему удалось подольше задержать вас во Франции—и это общее и самое искреннее пожелание всех, на чью долю выпало счастье знать вас, а в особенности—того, кто имеет честь пребывать горячо благодарным и глубоко вас уважающим.

Тома

Копия.—«C. d. l'a.», лл. 28—29.

[1] Thomas Антуан-Леонар (1732—1785)—известный писатель, член Академии, автор многочисленных «похвальных слов» («é l o g e s»), в том числе и «Похвального слова Петру Великому». Он является одним из создателей этого литературного жанра.

VI. ПРЕЗИДЕНТ ЭНО[1]

Париж, 17 февраля 1767 г.

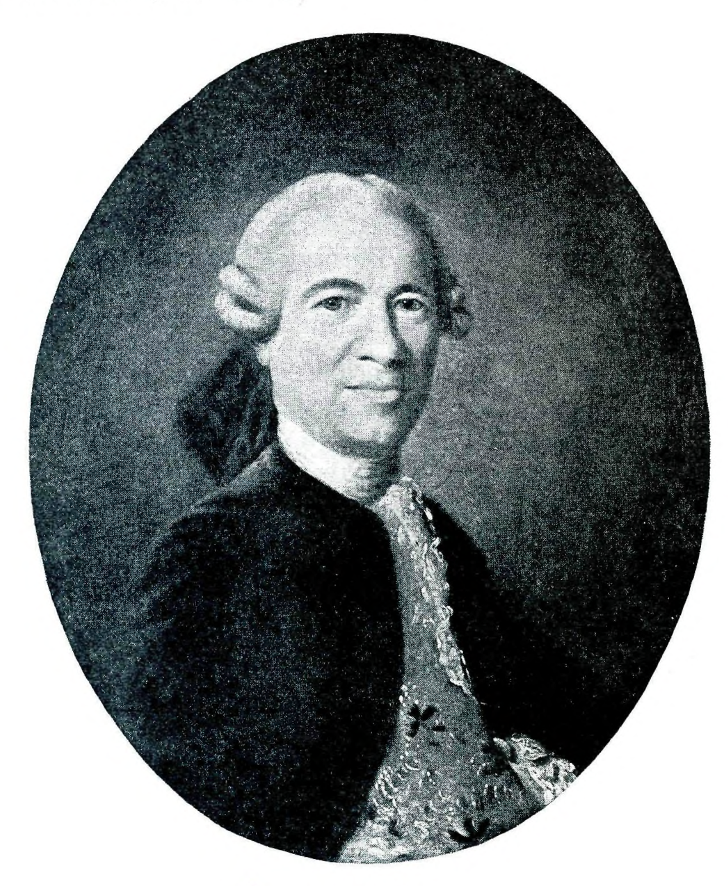
Наконец-то, отыскались вы, граф! При нынешних обстоятельствах вы своим преимуществом перед нами обязаны только нашей неосведомленности о месте вашего пребывания. Если бы не это, первенство было бы неизбежно на нашей стороне. Порукой этому могли бы служить наши беседы. Все мы знаем, что лишились вас, но никто не мог дать нам ни малейших сведений о вас. И вот, милостивый государь, на будущее время вы должны оказать нам милость и дать нам возможность заявлять вам, как мы сожалеем о разлуке с вами; не отказывайте нам в этом! Сожаления эти искренне разделяются и г-жей Жонсак[2],—я не в силах передать вам всех чувств, вызываемых в ней вашей о нас памятью. Вы так хорошо описываете страну, в которой живете, что можете вызвать желание ее увидеть, но признаюсь вам, что после желания получать удовольствие от общения с вами я больше всего хотел бы видеть вас на посту, какого вы заслуживаете, в такой стране, где вы пользовались бы наибольшей известностью и наибольшим

уважением. Репутация, которую вы создали себе у нас и которая повсюду за вами следует, могла бы сделать вас космополитом, человеком, принадлежащим всем нациям. Я оставляю вас, однако, за собой—для первой же державы, в которой буду королем; вы будете пользоваться там всей полнотой моей любви и доверия, пока я не откажусь от власти в вашу пользу. А пока, граф, примите уверение в моей любви и почтении.

Не забывайте г-жу Жонсак.

Эно

Копия.—«C. d. l'a.», лл. 44—45.



ДАЛАМБЕР
Портрет маслом Л. Токке
Гренобльский музей

[1] Hénault Шарль-Жан-Франсуа (1685—1770)—президент одной из палат Парижского парламента, писатель, автор «Abrégé chronologique de l'Histoire de France» (1-е изд. 1744 г.); член Академии, корреспондент Вольтера и других выдающихся людей своего времени, друг г-жи дю Деффан.

[2] M-me de Jonsac—племянница президента Эно, жившая вместе с ним.

VII. Г-жа ЖОФФРЕН[1]

Париж, 24 февраля 1767 г.

Дорогой генерал мой, шлю вам тысячу благодарностей за лестную для меня память обо мне и за уверения в дружеских чувствах, которые угодно

было вам высказать. Я заслужила такие чувства с вашей стороны своей дружбой к вам и тем, что так желала бы видеть вас счастливым. Но, увы, я начинаю бояться, что таким вас никогда не увижу. Вы всюду чувствуете себя как бы в пустоте: никакими путешествиями не насытить вам своей души. Мне очень хотелось бы, чтобы вы поселились в Париже: здесь каждый живет, как желает; для светской жизни здесь всегда найдутся разного рода развлечения, а для жизни уединенной—разного рода занятия. В Париже вы снискали себе любовь, уважение, успех в обществе—и должны быть признательны нам[2]. А если бы мы имели честь видеть в вас согражданина, мы еще лучше сумели бы вам угодить. Я говорю, что чувствую. Уверяю вас, дорогой граф, что моя привязанность к вам еще усилилась бы, что я с еще бóльшим удовольствием встречалась бы с вами, если бы у меня была надежда видеть в вас постоянного обитателя нашего города и счастливого человека. Возвращайтесь же, возвращайтесь в Париж—это единственное место, которое даст затихнуть сожалениям обо всем, что вы утратили.

Прошу вас передать от меня князю Голицыну[3] самый сердечный привет и наилучшие пожелания,—ему я обязана тем благополучием, каким пользовалась в Вене. Если вы правду говорите, дорогой генерал, что там обо мне еще вспоминают, заверьте тех, кто оказывает мне такую милость, что я не остаюсь перед ними в долгу: они постоянно живут в моем сердце и в моей памяти, и я стараюсь не упустить случая поговорить о них.

Особенно нежный привет мой передайте, пожалуйста, г-же де Паар, обер-гофмейстерине, и очаровательной княгине Кинской: я и отсюда вижу, с каким изяществом и легкостью она там танцует.

Искренно и от всего сердца обнимаю вас, дорогой мой генерал, и желаю вам в добром здоровье совершить свое путешествие в Италию.

В Риме вы можете увидеть мальтийского посланника бальи де Бретёйля, с которым я в очень хороших отношениях, а также аудитора Роты аббата де Вери. Я буду польщена, если вы им скажете, что любите меня. Я была уверена, что милый наш Бецкий[4], в конце концов, останется.

Жоффрен

Копия.—«C. d. l'a.», лл. 82—83.

[1] Geoffrin Мари-Тереза (1699—1777)—хозяйка прославленного салона, где собирались многие знаменитости XVIII в.—Монтескьё, Мармонтель, Станислав Понятовский и др.; субсидировала напечатание «Энциклопедии» Даламбера. Некоторое время жила в Варшаве (с 1766 г.) и в Вене (при дворе Марии-Терезии и Иосифа II).

[2] Письмо написано вскоре после отъезда И. И. Шувалова в 1767 г. в Вену из Парижа, где с перерывами он прожил несколько лет и завязал знакомства в литературных и светских кругах.

[3] Голицын Дмитрий Михайлович, князь (1721—1793)—русский посол в Вене.

[4] Бецкий Иван Иванович (1704—1795)—заведующий учебными заведениями в России, начальник Академии художеств, главный сотрудник Екатерины II в области педагогических реформ. С 1747 по 1762 гг. он жил за границей, в Париже, и завязал там обширные знакомства в литературных и ученых кругах.

VIII. МАРКИЗА ДЮ ДЕФФАН[1]

Сен-Жозеф, 6 мая 1767 г.

Я так уважаю вас, милостивый государь, и такую чувствую к вам привязанность, что для меня большая радость получать известия о вас, а перед вашими достоинствами я так преклоняюсь, что вырастаю в собственных глазах, когда могу похвалиться столь для меня лестным дружественным вашим отношением.

Вот вы и в Венеции; вы увидите обручение дожа с морем и посмеетесь над этим странным и красивым обрядом суеверия, которому, казалось бы, уже незачем и существовать. До вас, наверное, уже дошли слухи о том, что происходит в Испании. После стольких лет рабской зависимости от инквизиции она решается на шаг, который изумляет всю Европу и очень одобрительно ею встречен[2]. Я не политик и не берусь рассуждать о вещах серьезных, но очень рада, что люди избавляются от шарлатанов и гонят их от себя. В стране, где вы сейчас находитесь, их, кажется, немного; но вскоре вы, вероятно, окажетесь в столице их царства[3]. Г-н Вальполь[4], живущий в стране, настроенной совершенно иначе, еще не заводит речи о том, чтобы вернуться к нам. Он очень занят и очень интересуется своим парламентом и министерством. Я написала ему, что вы его помните, и он будет очень этим тронут. Я знаю, с какой любовью и почтением он к вам относится.

Здесь находится некий князь де Линь; я составила себе хорошее мнение о нем на том основании, что он высказывается о вас с уважением и любовью[5]. К концу письма приберегла я разговор о «бабушке» (вы, конечно, помните, что это герцогиня де Шуазёль). Она вчера уехала в Шантелу[6], где и пробудет до переезда двора в Компьен. Чувствует она себя хорошо; довольна и счастлива и более обворожительна, чем когда бы то ни было. Я выполнила ваше поручение к ней, и мне велено передать вам от ее имени, что ее отношение к вам неизменно и что она настоятельно просит вас сюда вернуться. С вашего разрешения, я охотно присоединилась бы к этим ее настояниям. Вы ничего не говорите о своих дальнейших планах. Будьте добры поставить меня в известность о них. Прошу вас верить, что никто на свете не принимает так близко к сердцу, как я, все, что вас касается.

Маркиза дю Деффан

Копия.—«C. d. l'a.», лл. 74—76.

[1] Deffand Мари де Виши-Шамрон, маркиза дю (1697—1780)—хозяйка одного из наиболее блестящих литературных салонов XVIII в., в котором собирались деятели французского просвещения, друг и корреспондентка Вольтера, Монтескьё, Даламбера, президента Эно и др. См. о ней новейшую работу: Bellesort (André), Le salon de Madame du Deffand.—«Les grands salons littéraires (XVII et XVIII siècles). Conférences du Musée Carnavalet», Payot, P., 1928, 145—176.

[2] В 1767 г. иезуиты были изгнаны из Испании королем Карлом III. «Философы» круга маркизы дю Деффан живо приветствовали это событие.

[3] И. И. Шувалов через Венецию ехал в Рим.

[4] См. о нем прим. 1-е к письму XIX.

[5] De Ligne Шарль-Жозеф, князь (1735—1814)—французский писатель, мемуарист, военный (на австрийской, затем на русской службе), дипломат. Известен своими письмами и мемуарами («Mélanges militaires, littéraires et sentimentaux»), отличающимися оригинальностью наблюдений и меткостью характеристик современников (был в переписке со многими крупнейшими людьми своего времени: Вольтером, Руссо, Фридрихом II и др.). На русском языке изданы: «Письма и избранные творения принца де Линя, изданные Стаэль-Гольстейн и Пропиаком, перевод с французского», 10 чч., М., 1809—1810.

[6] Choiseul, герцогиня де, урожд. Crozat—жена министра иностранных дел при Людовике XV, герцога Этьена-Франсуа де Шуазёля (1719—1782). Chanteloup—замок герцога де Шуазёля на р. Луаре.

IX. ПРЕЗИДЕНТ ЭНО

Париж, 9 мая 1767 г.

С большим нетерпением, граф, ждал я случая еще раз выразить вам уверение в неизгладимых чувствах, которые вы сумели внушить мне.

Вы любую нацию осчастливливаете пребыванием среди нее; но всех их ждет постигшая нас участь—сожалеть о вас, ибо такова уж судьба всего в нашем мире: нельзя быть счастливым безнаказанно и, в конце концов, всегда приходится страдать от потери. Удовольствие—лишь временное стечение обстоятельств; длительным состоянием является только счастье. Но в чем его обрести? Мы это хорошо чувствуем с тех пор, как вас лишились.

У меня нет новостей, которыми я мог бы с вами поделиться в расплату за то, что вам угодно было мне сообщить; мудрая ваша республика[1] никаких потрясений не испытывает—разве этого мало? В этом сказалась истинная ее мощь,—у нас здесь не верят в венецианский заговор; а мы счастливы уже тем, что нам нечего о себе сообщать. Ничего такого, что было бы неизвестно вам, я вам сказать не могу: вам угодно было жить среди нас частным человеком, вы нас знаете, ибо мы ничего не скрываем. Новое издание «Abrégé chronologique» будет закончено в течение этого года, будьте же добры указать мне, как доставить вам эту книгу. Я нахожу утешение в том, что беседую о вас со многими лицами, которым это доставляет удовольствие; обсуждая вашу судьбу, мы строим воздушные замки, а при благоприятных условиях мы выстроили бы для вас великолепный замок. Желаю вам счастья, вы его заслуживаете. Прошу извинения за скверный мой почерк: мне приходится делать усилия над собой—я больше писать не могу.

Я узнал, что уезжает близкий друг мой, маркиз де Польми[2], рекомендую его вам. Уверяю вас, что он заслуживает вашего уважения и сумеет заслужить и дружественное с вашей стороны отношение. Он еще надеется вас застать.

Эно

Копия.—«C. d. l'a.», лл. 45—47.

[1] Шувалов находился в то время в Венеции.

[2] Paulmy Антуан-Рене д'Аржантан, маркиз де (1722—1787)—был посланником в Швейцарии, Польше и Венеции, писатель, член Академии; опубликовал «Extraits d'une grande bibliothèque». («Извлечения из обширной библиотеки») в 65 томах. Великолепная принадлежавшая ему библиотека была в 1781 г. куплена графом д'Артуа и легла в основу библиотеки Арсенала в Париже.

X. АББАТ ГАЛИАНИ[1]

Неаполь, 13 ноября 1770 г.

Я убежден, что ваше сиятельство всегда отдавали мне должное, веря, что не отсутствие желания, а только отсутствие подходящего случая и повода мешало мне писать вам и напоминать о себе. Всех путешественников, с которыми я встречался, я просил объяснить это мое молчание, и ни один из моих знакомых не уехал из Неаполя без того, чтобы я не сообщил ему, как я много обязан вашему сиятельству, не высказал, как я горжусь вашей дружбой, и не просил бы его помочь мне сохранить ее.

Теперь, так как нет никого, кто бы уезжал отсюда, у меня оказался повод написать вам, и я с радостью пользуюсь им. Один ученый-врач, мой личный друг, напечатал книгу о самом ужасном биче человечества—оспе[2]. Исполненный энтузиазма и справедливого восхищения, он пожелал посвятить эту книгу той государыне, которая прославилась, начав борьбу с величайшим врагом своего народа, чтобы затем приступить к борьбе с более мелкими врагами. Страшнее всякого другого врага

ЧТЕНИЕ В САЛОНЕ Г-ЖИ ЖОФФРЕН

Среди присутствующих—в центре Даламбер (читает), справа г-жа Жоффрен, рядом с ней кн. Конти справа) и Фонтенель (слева)

Картина маслом Габриэля Лемонье

Академия художеств, Руан

была оспа, ибо она могла угрожать даже ее жизни. Врачи вполне правильно считают весь род человеческий единой нацией, потому что едина и почти всегда и всюду одинакова армия болезней, с которой они ведут борьбу. По мнению моего друга, не должно поэтому удивляться, что из далекой страны прозвучал голос человека, пожелавшего повергнуть плод своего ума к подножию императорского трона в самом Петербурге. Ему недостает только руки, которая оказала бы ему поддержку, и он желал бы, чтобы эта поддержка была ему оказана вашей могущественной рукой, дружественной и благорасположенной. Мой друг пожелал, чтобы я взял на себя труд обратиться к вам с этой просьбой, и я это делаю тем охотнее, что заранее уверен в вашей благосклонности к нам обоим. Огромное и исключительное великодушие августейшей государыни, в соединении с той высокой добротой, которая отличает ваше сиятельство и в которой я неоднократно имел случай убедиться, дают мне смелость прибегнуть к вашей помощи. Взывая к доброте вашей, я в то же время прошу простить меня, что я осмелился обеспокоить вас настоящей просьбой, и верить в чувства высокого почтения, уважения и благодарности, с коими остаюсь вашим преданным и покорным слугой.

Фердинандо Галиани

Автограф.—Всеукраинский исторический музей, Киев. «Альбом К. Собанской». На итальянском языке. Перевод письма выполнен А. Ясной.

[1] Galiani Фердинандо, аббат (1728—1787)—известный писатель-экономист, автор замечательного в литературном отношении сочинения «Dialogues sur le commerce des blés», 1770. С 1759 по 1769 гг. жил в Париже в качестве секретаря неаполитанского посольства, а затем посла. Здесь Галиани близко сошелся с кругом энциклопедистов, в частности с Дидро, и принимал деятельное и видное участие в литературном и политическом движении своего времени.

[2] Речь идет, вероятно, о докторе Гатти (Gatti), пропагандировавшем в Неаполе прививку оспы.

XI. АББАТ ГАЛИАНИ

Неаполь, 1 октября [?][1] 1771 г.

Ничто, граф, не может доставить мне большей радости, чем получаемые время от времени доказательства, что вы меня не забываете; мне начинает казаться, что я кое-что представляю собой в этом мире, когда я вижу, что самые выдающиеся люди моего времени знали меня, любили меня, читали мои книги, дарили мне муфты. Пусть даже весь мех на этих муфтах будет съеден молью, дело от этого не изменится,—я все же скажу, как Гораций: «Non omnis moriar»[2]. Мездра муфты—как слава: она сохранится и тогда, когда мех весь вылезет и ничего от него не останется.

Сюда приехал милорд Шельбёрн[3]; в дороге он познакомился с кавалером Заноби, который был его спутником[4],—ему очень хотелось обстоятельно поговорить о нем со мной, но для меня нет ничего скучнее собственных моих произведений, ибо я их знаю наизусть; мы стали говорить о другом, и было это мне ко благу, потому что он заговорил о вас, о моих прежних друзьях, обо всем, что для меня дороже всего на свете.

Благодарю вас за ваши сообщения. Я огорчен, что претендент[5] пошел по такому пути; он поехал, значит, повидаться с прежней своей любовницей, буйонской трактирщицей[6], и выпивать с нею; молодость он провел, как герой, а старость проводит, как все люди; только циник Диоген, может быть, нашел бы, что он теперь поступает правильнее, чем раньше.

На мой взгляд, русские войска вряд ли много проиграли от того, что выполняли в этой кампании мой план[7]. Несколько отклонился от него русский флот: я хотел отозвать бо̀льшую часть кораблей, предпочитая, чтобы они вернулись в Балтийское море до морозов; в архипелаге я оставил бы два корабля, четыре фрегата и несколько мелких судов. Тратиться на них мне бы не пришлось, так как они жили бы контрибуциями и захватом неприятельских судов, а в то же время они блокировали бы и беспокоили бы с этой стороны всю Оттоманскую империю. Я очень значительно сократил бы, таким образом, издержки, а к следующему году у меня в Балтийском море был бы почтенных размеров флот, и до намерений шведов и датчан мне было бы мало дела. Дивлюсь я тому спокойствию, с каким Россия относится к этим двум молодым королям[8]. Вы скажете, что, несмотря на отбытие трех флотов и неоднократные пожары, Кронштадт все же в силах спустить на воду еще целый флот. Может быть, и так. Но я по собственному опыту знаю, что не следует выпивать бутылку до дна. А впрочем, я только добрый итальянец, не более того. В завоевании Крыма русскими я вижу одно из самых благоприятных для Италии событий, потому что знаю из истории, что Италия никогда так не процветала, как во времена, когда Кафа[9] была во владении генуэзцев. И мой совет вашей государыне—возвратить ее нам и вступить с нами в непосредственные торговые сношения. Я с удовольствием поставлял бы для стола ее величества, царицы, плохие вина из моего аббатства, которые за время своего путешествия превращались бы в хорошие.

Поездка в Рим—вот чего мне хочется больше всего и на что у меня меньше всего надежды. Не льщу я себя мечтой и о какой-нибудь иной поездке. Я постарел: «Fuimus Troes»[10]. Приезжайте к нам, у нас солнце, дыни, винные ягоды, дамы—есть, что лопатами огребать и что брать щипчиками. Подумайте, не соблазнитесь ли этим?

Позвольте мне просить вас передать от меня нижайший поклон кардиналу де Берни[11] и маркизе де Пюи-Монбрён[12]; уважение, внушаемое

АББАТ ГАЛИАНИ

первым, не менее обожания, которое внушает вторая. Отношусь я к ним, как к божествам, ибо выполняю и то и другое издали сердцем и духом! Вы живете в эмпиреях небесных, я же на грешной земле. Будьте добры, напоминайте иногда обо мне кардиналу Паллавичини—старейшему из оставшихся в живых моих покровителей. Не забудьте и о бальи де Бретёйле[13], а если и еще найдется какая-нибудь добрая душа, иногда меня вспоминающая, заверьте ее, что к жизни меня теперь привязывает одно только чувство дружбы. Сочетая с этим чувством самую горячую благодарность и глубочайшее к вам уважение, имею честь быть вашего сиятельства покорнейшим [слугою].

Аббат Галиани

Автограф.—Всеукраинский исторический музей, Киев. «Альбом К. Собанской».

[1] Дата в подлиннике неразборчива. Маратрэ де Кюсси прочел ее, как 1 октября 1771 г., возможно, однако, и другое чтение: 2 октября и даже 2 ноября 1771 г.

[2] «Нет, весь я не умру».

[3] Shelburne Уильям, лорд (1737—1805)—английский политический деятель, был министром торговли и колоний.

[4] Кавалер Заноби—один из собеседников «Dialogues sur le commerce des blés» Галиани, выступающий от лица автора.

[5] Стюарт Карл-Эдуард (1720—1788), внук английского короля Якова II. После неудачных попыток 1745—1746 гг. захватить английский престол жил во Флоренции под именем графа Эльбани.

[6] Bouillon—город в Бельгии на р. Semoy, в провинции Люксанбур.

[7] Письмо относится ко времени войны России с Турцией (1768—1774 гг.). О своем «плане кампании» Галиани говорит в шутку.

[8] Т. е. к королю датскому Христиану VII (1749—1808) и к королю шведскому Густаву III (1746—1792).

[9] Кафа—Феодосия, в Крыму.

[10] «Мы были троянцами».

[11] См. о нем ниже, прим. 1-е к письму XV.

[12] Светская знакомая и корреспондентка Шувалова—M-me la marquise Narbonne du Puy-Montbrun. В альбоме Маратрэ де Кюсси имеется копия ее письма к Шувалову из Рима от 24 сентября 1778 г.

[13] См. о нем выше, в письме VII.

XII. МАРКИЗА ДЮ ДЕФФАН

Париж, 28 октября 1771 г.

Значит, вы еще не забыли меня, милостивый государь? Огромное для меня удовольствие не иметь повода жаловаться на вас. Если бы я знала, где вы находитесь, я не пребывала бы так долго в молчании, а слала бы вам упреки.

Оказывается, что вы все еще в Риме, а о возвращении в Париж и не упоминаете[1]. Почему бы повелительнице вашей, императрице, не дать вам каких-либо поручений в нашей стране? Не у нас разве находится картинная галлерея покойного г. Тьера? Предложения, по повелению императрицы, уже сделаны, но пришли ли к какому-либо соглашению, мне неизвестно.

О да, немало произошло событий со времени вашего отъезда: смерть бедного президента[2], а ровно через месяц изгнание самых близких моих друзей[3]; будь вы здесь, вы оказались бы свидетелем этих огорчений моих и облегчили бы их мне, разделив их со мной.

С бабушкой я усиленно переписываюсь. Я пошлю ей выдержку из вашего письма—то место, где вы говорите о ней, и ручаюсь вам, что это тронет ее и вызовет большую благодарность с ее стороны. Вы, конечно,

не забыли, что она питает к вам такие же нежные и почтительные чувства, как и я. Вы являетесь одним из праведников, поминаемых в наших молитвах, а в них мы мало кого поминаем, и с каждым днем эти молитвы становятся все короче. Чем дольше живешь, чем лучше узнаёшь людей, тем меньше оказывается среди них достойных любви и уважения.

Г-жа Жонсак живет в провинции; почти все мои друзья разъехались с апреля месяца; я же сделалась большой домоседкой и редко вылезаю из своей бочки (так называю я свое кресло). Как хорошо было бы, если бы вы хоть изредка были тут, близ меня.

Этим летом меня посетил г. Орас Вальполь; он попрежнему очень к вам расположен; я только-что писала ему, что получила известия о вас.

Аббат Бартелеми[4] сейчас в Париже, но пробудет он здесь очень недолго: он не покидает Шантелу и служит большим утешением для всех его обитателей. Бабушка, как и супруг ее, вполне здоровы; опала не лишила их ни одного из друзей; можно сказать, что, как раз наоборот, все наперерыв стали оказывать им особое внимание. Можно сказать, что это превратилось даже в своего рода моду. Я лично там еще не была и не знаю, позволят ли мне поехать повидаться с ними мои годы и слабость, ими вызванная. Очень мне будет прискорбно, если поездка эта и свидание окажутся мне не по силам.

Лорд Шельбёрн[5] в Париже, но у меня еще не был. Его посещение доставило бы мне большое удовольствие: он порадовал бы меня разговором о вас. Лорд Спенсер пробыл здесь недолго; он ничего не говорил, упоминали ли вы обо мне в разговоре с ним,—я, впрочем, склонна думать, что память у него не лучше его уменья вести беседу.

Все новости вам известны из газет. Те, что я могла бы сообщить, никакого интереса для вас не представят, а к тому же я довольно плохо осведомлена, да еще и рассказывать не умею. Разрешите же мне ограничиться заверением, что на всю жизнь останусь самым нежным и искренним вашим другом, который вас ценит и уважает, как никто на свете.

Маркиза дю Деффан

Копия.—«C. d. l'a.», 78—81.

[1] В Риме И. И. Шувалов прожил до осени 1773 г.

[2] Президента Парижского парламента Шарля-Жана Э н о, умершего 24 ноября 1770 г. См. о нем выше, прим. 1-е к письму VI.

[3] По настоянию фаворитки Людовика XV, Дюбарри, герцог де Шуазёль был уволен 24 декабря 1770 г. от должности министра иностранных дел и принужден был удалиться в свой замок Chanteloup.

[4] B a r t h é l é m y Жан-Жак, аббат (1716—1795)—археолог и писатель, автор «Voyage du jeune Anacharsis» (1788). Был другом четы Шуазёль и после опалы, постигшей герцога Шуазёля, поселился у него в замке.—См. «Revue de Paris», 15 janvier, 1 février 1935.—«Le Gazettier de Chanteloup».

[5] См. прим. 3-е к письму XI.

XIII. АББАТ ГАЛИАНИ

Неаполь, 11 февраля 1772 г.

Мне уже казалось, дорогой генерал мой, что мне невозможно расплатиться с вами за оказанные мне одолжения. Но счастливая судьба моя предоставляет мне такую возможность, ибо M-lle де Шемино, любезно согласившись передать вам настоящее письмо, великодушно взяла на себя и расплату по всем моим долговым обязательствам по отношению к вам. Я вполне уверен, что при такой поручительнице я отныне окончательно

расквитаюсь с вами. И не вы ли, говоря по совести, еще останетесь у меня в долгу за доставленное вам удовольствие вновь повидаться с нею? Вы встречались с ней в Париже; вам известно, что она вполне заслуживает быть вам рекомендованной. Ко всем ее правам на рекомендацию моя личная рекомендация ничего не могла бы прибавить. Ее возраст, внешность, ум, поведение, характер, национальность—все говорит в ее пользу. А сверх того, она рекомендована мне г. Дидро, и я, в свою очередь, вам ее рекомендую.

Не пеняйте на меня, дорогой генерал мой, за скверные чернила и неудобочитаемый почерк. Я умолкаю, ибо боюсь утомить глаза ваши, избалованные созерцанием самых красивых и великолепных вещей, какие только бывают на свете. Но вам все же угодно было бросить свой взор на меня, отчего я и возгордился. Пора мне, однако, заверить вас, что я с равными чувствами почтения и преданности пребываю вашим и пр.

Галиани

Адрес: A Son Excellence
Monsieur le Général Comte de Schouvaloff
Chambellan de S. M. Czarinne
à Rome.

Автограф.—Всеукраинский исторический музей, Киев. «Альбом К. Собанской».

XIV. ВОЛЬТЕР

Ферне, 29 июня 1772 г.

Милостивый государь, никакое письмо не могло бы мне доставить такого удовольствия и не могло бы быть более приятным образом вручено, чем то, передачей которого, по поручению вашего превосходительства, оказал мне честь князь Голицын[1]. Он оказал мне честь еще и тем, что переночевал в моем уединенном домике. Удовольствие, доставленное мне знакомством с одним из ваших племянников, заставило меня почти забыть свою старость и все недуги, ее удручающие. Одного только мне недоставало, чтобы окончательно утешиться,—возможности лично засвидетельствовать свое почтение его дядюшке.

Удивляюсь я, что князь Голицын покидает Рим для Женевы—сердце изящных искусств для изучения очень сухих вещей, но с его умом он скрасит любую самую сухую науку, которой пожелает заняться. Мое тяжелое болезненное состояние не помешало мне заметить всю его привлекательность; он завоевал сердца всех дам, с которыми у меня встретился. Ничто не могло служить мне таким сладостным утешением, как сообщение его, что вы, вероятно, проедете через наши швейцарские пределы. Вы очень давно не были на родине, а она с каждым годом все более покрывает себя славой. Я буду почитать себя чрезвычайно счастливым, если окажусь на вашем пути и мне удастся еще раз высказать вам чувства искреннего уважения и неизменной преданности, с которыми я буду иметь честь пребывать все то недолгое время, что мне еще осталось прожить на свете[2].

Вашего превосходительства и пр.

Вольтер

Копия.—«C. d. l'a.», лл. 194—195.

[1] Голицын Федор Николаевич, князь (1751—1837)—сын сестры Шувалова, Прасковьи Ивановны, впоследствии куратор Московского университета, автор записок о временах Екатерины II и Павла I.

Eccellenza.

Sono persuaso che V. E. mi avrà sempre resa la giu-
stizia di credere, che a me non è mai mancata
la voglia, ma solo l'occasione, ed il pretesto
per scriverle, e rinovarle la memoria di me.
Ho fatto supplire a questo mio silenzio la voce
di tutti i viaggiatori, de' quali niuno di mia
conoscenza ho lasciato uscir da Napoli senza
narrargli le mie somme obbligazioni verso
V. E.; vantarmi della sua amicizia ed
incaricarlo di contribuire a conservarmela.
Ora che niuno parte, mi si porge un pretesto di
scri=

anticipatamente che la grazia sarà ed a lui ed a
me accordata. Non può non esservi bontà ra-
ra in V. E. sempre che per suo mezzo vi di-
ma quella grandissima e singolare, ch'è nell'
Augusta Sovrana: ed a questa che di là viene
vi s'aggiunge come nuovo fiume quella propria
e particolare sua di cui io ho tante riprove.
Questa imploro io acciocchè scusi la libertà
che mi prendo nell'importunarla, mentre con
infinito ossequio, rispetto, e riconoscenza mi
[illegible] di V. E.

Napoli 13 gen.o 1770

Dev.mo Obb.mo [illegible]
Ferd.o Ab.e Galiani

S. E. Sig.r Conte di Schuwaloff

АВТОГРАФ ПИСЬМА АББАТА ГАЛИАНИ К И. И. ШУВАЛОВУ ОТ 13 ЯНВАРЯ 1770 г.
Страницы первая и последняя

Всеукраинский исторический музей, Киев

[2] Ср. французский текст письма в «Œuvres complètes de Voltaire». Nouvelle édition.., P., Garnier frères, 1877—1885, XVI, N. 8567. В печатном тексте письмо датировано 27 июня без обозначения года. Печатный текст отличается от копии Маратрэ де Кюсси также рядом разночтений стилистического характера.

XV. КАРДИНАЛ ДЕ БЕРНИ[1]

Рим, 4 ноября 1773 г.

Я получил, милостивый государь, через барона Менгдена письмо, которым вы удостоили меня в сентябре месяце текущего года. Передали его мне всего несколько дней тому назад. Ваше превосходительство может не сомневаться, что я всегда буду оказывать должное внимание его друзьям и соотечественникам. Тот, с которым мне привелось, благодаря вам, познакомиться, произвел на меня впечатление очень любезного человека. Я надеялся, дорогой генерал, что вы еще проведете здесь с нами эту зиму, но вам угодно было отдать предпочтение нашим южным провинциям— в такое время, когда мне невозможно сопутствовать вам. Добрые пожелания мои все же повсюду будут следовать за вами, равно как и неизменное с моей стороны желание наслаждаться обществом вашего превосходительства и, как всегда, высказывать ему вечную мою преданность.

Кардинал де Берни

Прошу вас передать знаменитому собрату моему, г. де Вольтеру, что я попрежнему люблю его и преклоняюсь перед ним[2].

Автограф.—Центральное архивное управление Узб. ССР, Ташкент. Бывш. собрание автографов в. к. Николая Константиновича.

[1] Bernis (правильное произношение Бернис) Франциск-Иоахим де, кардинал (1715—1794)—поэт, писатель и политический деятель; был министром иностранных дел при Людовике XV, затем послом в Венеции и в Риме; автор известных мемуаров.

[2] Письмо адресовано в Швейцарию, где И. И. Шувалов провел зиму 1773—1774 г. В течение этого периода он неоднократно бывал у Вольтера в Ферне. Кардинал де Берни называет Вольтера «собратом», так как оба они были членами Французской академии.

XVI. КАРДИНАЛ ДЕ БЕРНИ

Рим, 26 января 1774 г.

Позвольте мне поблагодарить вас, ваше превосходительство, за сообщение вестей о себе и о г. де Вольтере. Последний, если можно судить по стихам, которые вы послали моей племяннице, находится в совершенно добром здравии: вряд ли кто мог бы высказаться о войне в более философическом и веселом тоне. Мы проводим здесь эту зиму без русских; я все же утешился бы в этом, если бы вы лично отдали Риму предпочтение перед Женевой.

Папа несколько раз осведомлялся у меня о вас. Авиньон и Беневент мы возвратим ему, когда вполне удостоверимся, что он не намеревается отлучить от церкви инфанта, герцога Пармского[1]. Любая ссора (если только не замешается тут самолюбие) начинается из-за того, что люди друг друга не поняли, и кончается, как только они хорошенько поймут друг друга. Прошу ваше превосходительство сохранять ко мне прежнее дружественное отношение и твердо верить моей преданности.

Кардинал де Берни

Автограф.—Центральное архивное управление Узб. ССР, Ташкент. Бывш. собрание автографов в. к. Николая Константиновича.

[1] Фердинанд, герцог Пармский (1751—1802), в 1769 г. был отлучен от церкви папой Климентом XIII за неповиновение папской власти; на это он ответил изгнанием из своих владений иезуитов и уничтожением инквизиции. В 1774 г. между ним и папой Климентом XIV было достигнуто соглашение и заключен мир. Папа получил обратно потерянные его предшественником (1768 г.) Авиньон и Беневент.

XVII. ВОЛЬТЕР

Ферне, 22 марта 1774 г.

Вразумили бы вы, милостивый государь, иных наших французов, отказывающихся верить, что «Послание к Нинон» написано молодым челове-

ВОЛЬТЕР
Копия с портрета работы М. Латура, 1736 г.
Институт мировой литературы им. Горького, Москва

ком, уроженцем Российского государства[1]. Уже одно присущее вам умение так обаятельно вести беседу могло бы, кажется, доказать им, что ни остроумие, ни хороший вкус, ни изящество не чужды этой стране.

Племянник ваш привык к такому же успеху своих стихов, каким пользуется ваша проза. Мы должны быть ему благодарны за честь, оказываемую нашему языку. Послание его останется навсегда одним из драгоценнейших памятников нашей литературы; и если нужно признать, что стихи такого достоинства довольно редко пишутся в России, то ведь и в Париже это случается не часто. Хорошее всюду редко. Не много найдется во Франции дам, которые писали бы так, как пишет императрица[2].

Вольтер

Копия.—«C. d. l'a.», л. 197.

[1] Племянник (двоюродный) И. И. Шувалова, граф Андрей Петрович Шувалов (1744—1789), напечатал во Франции «Epitre à Ninon»; относительно этих стихов долго не верили, что они принадлежат перу русского.

[2] Ср. французский текст письма в «Œuvres complètes de Voltaire». Nouvelle édition.., P., Garnier frères, 1877—1885, XVII, № 9350. В печатном тексте письмо датировано 28 марта, год указан предположительно [1775]. Печатный текст письма несколько полнее копии Маратрэ де Кюсси, а также отличается от последней некоторыми разночтениями стилистического характера.

XVIII. КАРДИНАЛ ДЕ БЕРНИ

Рим, 17 января 1776 г.[1]

Имею честь, милостивый государь, выразить благодарность вашему превосходительству за доставленное мне удовольствие познакомиться с обоими молодыми графами Румянцовыми и с г. Гриммом[2]. Первые произвели на меня впечатление прекрасно воспитанных молодых людей, а г. Гримм—человека очень образованного и любезного; они выехали в Неаполь и возвратятся сюда постом. Надеюсь, что они довольны моим приемом. Я готов быть к вашим услугам и подобающим образом принимать знатных ваших соотечественников. Мне хотелось бы возможно чаще иметь случаи доказывать вашему превосходительству чувство глубокой привязанности, мною к вам питаемой.

Кардинал де Берни

Автограф.—Центральное архивное управление Узб. ССР, Ташкент. Бывш. собрание автографов в. к. Николая Константиновича.

[1] Адресовано в Париж, где И. И. Шувалов провел время с лета 1774 г. до своего возвращения в Россию в 1777 г.

[2] Графы Румянцовы—сыновья фельдмаршала гр. П. А. Румянцова-Задунайского: Николай Петрович (1754—1826)—впоследствии канцлер, известный меценат и владелец богатой библиотеки, послужившей основанием для Румянцовской, ныне Всесоюзной библиотеки им. Ленина в Москве; Сергей Петрович (1755—1838) в молодости был автором стихотворений на французском языке, впоследствии изданных в русском переводе под заглавием «Духовный Сумароков»; в первые годы царствования Александра I С. П. Румянцов подал ему записку об уничтожении крепостного права, в результате которой появился указ о свободных хлебопашцах 25 февраля 1803 г. Братья Румянцовы путешествовали по Европе в сопровождении известного корреспондента Екатерины II, писателя барона Мельхиора Гримма (1723—1807).

XIX. ОРАС ВАЛЬПОЛЬ[1]

Лондон, 19 апреля 1776 г.

Большую честь оказали вы мне, граф, и огромное доставили удовольствие присылкой своего портрета. Вы доказали этим, что цените мои дружеские к вам чувства и считаете, что на такой подарок мне дают право то уважение и та преданность, которые я к вам неизменно питаю. Но позвольте сказать вам, что, по чрезмерной своей доброте и скромности, вы значительно понизили цену портрета, приказав присоединить к нему изображение человека, совершенно не достойного быть рядом с вами. Только Марк-Аврелий имел бы, пожалуй, право на соседство с философом, в течение двенадцати лет обладавшим полнотой власти и не нажившим ни одного врага и никому не причинившим ни малейшего зла. Я просил портрет графа Шувалова не для того, чтобы иметь изображение друга (хотя и очень почетно так называть себя и я очень горжусь правом на это), и, может статься, не просил бы его портрета в дни его величия. Нет, милостивый государь, я домогался изображения исключительного в нашем веке человека, самого лучшего и самого скромного из людей. Мне

хотелось иметь запечатленными в чертах вашего лица свойства прекрасной души вашей, и я счастлив, что получил это теперь в превосходной передаче. Знайте, однако, граф, что я немедленно велю стереть с портрета то, что на нем добавлено вашей чрезмерной скромностью и доброжелательством. Отец мой, если бы на его долю выпала честь состоять в числе ваших знакомых, еще мог бы, пожалуй, удостоиться скромного местечка на этом холсте: он походил на вас прекрасными свойствами своими, не имея, однако, подобно вам, безграничной власти над огромною частью земного шара. Сын его—маленький человек, которому ни разу в жизни не привелось послужить человечеству,—ни в каком случае не дерзнет пребывать близ вас на портрете. Мне совестно на нем оставаться. И я останусь на нем только временно, в ожидании милости с вашей стороны, которой настоятельно у вас испрашиваю.

Я жду от вас, граф, гравированного портрета государыни, которая по достоинству умела вас ценить. Вы, надеюсь, не будете возражать, если я прикажу изобразить такой эстамп в руках человека, который был украшением ее царствования и благодетелем ее подданных. В летописях истории древней и новой не легко найти государыню и министра в такой степени друг другу соответствовавших.

Имею честь быть с чрезвычайным почтением и величайшей благодарностью вашим, граф, и пр.

Орас Вальполь

Копия.—«C. d. l'a.», лл. 41—43.

[1] Walpole Орас (правильное произношение Уолпол Горэс) (1718—1797)—сын английского государственного деятеля Роберта Вальполя (1676—1745) и сам в те годы член парламента, известный писатель, основатель и наиболее яркий представитель т. н. «готического романа», меценат, друг маркизы дю Деффан. Помимо своих романов (основной из них—«Замок Отранта», 1764), оставил обширную переписку с многочисленными своими друзьями во Франции и в Англии и ценные мемуары («Mémoires sur le règne de George II»). Вальполь познакомился с Шуваловым в Париже в 1765 г. и писал по этому поводу графу Гертфорду: «Я в совершенном восторге от Шувалова; никогда не видел я столь любезного человека, такое умение держаться, столько простоты и скромности, вместе со здравым смыслом и достоинством! Несколько меланхолическое выражение, но ничего униженного». («L'abbé F. Galiani. Correspondance»... par L. Perey et G. Maugras, nouvelle éd., P., 1882, II, 188).

XX. ОРАС ВАЛЬПОЛЬ

Strawberry-Hill, 23 июня 1776 г.

Надеюсь, граф, что еще до получения вами этого письма уже дошел до вас ящичек с медальонами, посланный мною по адресу нашей доброй знакомой обитательницы Сен-Жозефа[1]. Я истратил все ваши деньги, но зато ведь и медальонов не мало; я должен вам дослать еще два экземпляра, о которых продавец сначала позабыл и доставил их мне уже после отправки ящичка; среди тех медальонов, которые теперь у вас, есть голова лорда Чатама в профиль, вам очень легко будет ее узнать[2]. Если вы довольны исполнением вашего поручения, я, может быть, могу надеяться, что удостоюсь чести сделаться вашим комиссионером? Я очень рад буду каждому случаю вам о себе напомнить. Но не потому, конечно, что вы оказали мне чрезмерную честь, предназначив мне место на одном ценнейшем портрете, который я даже никому не решаюсь и показывать. Если вам угодно будет хранить эстамп с моим изображением в вашей комнате, то уже и это будет для него незаслуженным почетом, но никогда нехватит у меня дерзости вставить себя в одну с вами раму. Вы лишаете меня

лестной возможности хвалиться тем, что у меня имеется ваш портрет. Очень прошу вас не приписывать ложной скромности мое упорное нежелание занять место столь почетное, но не подобающее такому малозначащему человеку, как я, не совершившему за свою жизнь ничего достопримечательного. От такого добавления только понизилась бы ценность вашего портрета. Если вы меня рассердите, я заставлю вас держать в руке кардинала де Ришельё, у которого столь же мало прав на соседство с вами, граф, как и у—

вашего и пр.

Ораса Вальполя

Копия.—«С. d. l'a.», лл. 43—44.

[1] Маркизы дю Деффан.
[2] Уильям Питт, лорд Chatham (1708—1778)—знаменитый государственный деятель Англии.

XXI. ГЕРЦОГИНЯ ДЕ ЛА ВАЛЬЕР[1]

Париж, 2 ноября 1777 г.

Что же не даете вы, милостивый государь, вестей о себе? Неужто успели вы уже забыть вашего верного и искреннейшего друга? Вы, очевидно, так рады своему возвращению на родину, к своей семье, а также и тому прекрасному приему, который оказан вам августейшей и очаровательной государыней вашей, что не хотите и вспоминать о том, как здесь по вас скучают, и о той пустоте, которая так чувствуется в домах, где вы часто, но далеко не достаточно часто, бывали. Ну, так вот я хочу, чтобы вы поговорили с императрицей обо мне. Когда она заведет с вами речь о Париже, я хочу, чтобы вы сообщили ей, что, как частное лицо, я преклоняюсь перед нею (не осмеливаюсь сказать, что люблю ее), а также считаю, что она делает честь нашему полу и льстит моему самолюбию, что я весьма рада быть женщиной, потому что она собственным примером своим показала, что можно быть женщиной и, вполне сохраняя привлекательность своего пола, обладать всеми высокими достоинствами, добродетелями и возвышенными стремлениями, свойственными вашему полу; что, наконец, если бы я, по воле неба, подобно ей, оказалась на престоле, я вступила бы с ней в соперничество и, восхищаясь ею, так бы к ней ревновала, что только о том и помышляла, как бы сравняться с ней и даже превзойти ее, если бы это было мыслимо. Но в то же время настоятельно попросите ее не давать мне умереть, не испытав удовольствия еще раз повидаться с вами, т. е. попросите, чтобы по прошествии некоторого времени пребывания вашего при ней она разрешила вам хоть разочек меня навестить. Я не в силах о вас не думать. Каждое утро за завтраком я пью из чашки, подаренной вами, и держу в руке другой щедрый ваш дар—ложку. На обеденный стол мне ставят хорошенькую вашу солонку. Все говорит мне о вас. Если вы в скором времени не возвратитесь, я все это перебью и переломаю и попытаюсь вас забыть, ибо слишком я стара, чтобы проводить свои дни в горести.

Прощайте, милостивый государь. Я очень люблю вас, вы это знаете, и хочу, пока жива, еще раз повидаться с вами. Если этого не будет, я восторгаться вашей императрицей не перестану, так как это невозможно для меня, но буду сердиться на нее за то, что она не приказывает вам навещать ваших друзей.

Герцогиня де Ла Вальер

Копия.—«С. d. l'a.», лл. 160—162.

[1] La Vallière, герцогиня де (1708—1780)—жена герцога Луи-Сезара де Ла Вальер, известного библиофила. Об этом ее письме к И. И. Шувалову Екатерина II писала Гримму 25 ноября 1777 г.: «Надо вам сказать, что герцогиня де Ла Вальер велела передать мне через г. Шувалова, что она любит меня до безумия. Я приказала отвечать ей, что я высоко ценю это выражение ее чувств».—«Сборник Императорского Русского Исторического Общества», XXIII, 70—71.

XXII. ГРАФ ДЕ КАРАМАН[1]

Париж, 14 ноября 1777 г.

Величайшую радость доставило мне, граф, известие о хорошем приеме, оказанном вам в Петербурге. Но в этом случае я думаю более о вас,

ЗАВТРАК Г-ЖИ ЖОФФРЕН
Картина маслом Гюбера Робера
Собрание Артура Вейль-Пакар, Франция

чем о самом себе, ибо я уже отчаиваюсь увидеть вас снова у нас во Франции, а это можно перенести только при уверенности, что это составляет ваше счастье.

В нашем обществе все очень огорчены вашим отсутствием; слово «друг» еще не выражает всех моих чувств к вам, и, говоря по правде, мы мечтали о чести всецело принадлежать вам. Приходится, однако, довольствоваться вестями, от вас получаемыми, и извещать вас о себе—в этом единственное наше утешение.

Старшая моя дочь имела большой успех в Фонтенбло, и эта первая ее удача окрыляет меня наилучшими надеждами; вторая живет с мужем

в Буасси, это счастливая чета; Полина растет и хорошеет; остальные попрежнему подают большие надежды.

Надеюсь, граф, что вы отдаете должное нашей крайней умеренности; никаких признаков приближающейся войны во Франции нет, зато подготовка к тому, чтобы должным образом вести ее, если бы мы к ней были вынуждены, в полном ходу. В настоящую минуту наши колонии готовы к обороне, в таком же положении и флот; денег в королевстве много, благодаря оживленной торговле почти со всеми странами, и мы преспокойно созерцаем, как истощает себя людьми и средствами Англия, пытаясь вернуться к положению, в котором она находилась до этой злополучной войны, чему, впрочем, не суждено осуществиться. Эта держава—в горячке, и, по заявлению врача, «речь сейчас идет не о попытке избежать болезни, а приходится уже лечиться». Поэтому и дают ей одно лекарство за другим, прибегают и к помощи знахарей, и, может быть, пичкая ее лекарствами, удастся остановить горячку, но выздоровление будет продолжительным, а счета аптекарей достигнут ужасающих размеров. Говорят, что оппозиция сведена на-нет, и, чтобы избежать скуки от разговоров, которых никто и не слушает, я посоветовал бы подвесить оппозицию на ниточках и дергать за них этих китайских болванчиков; этого было бы вполне достаточно, чтобы успокоить народ в отношении к угнетающему его деспотизму, ибо, повидимому, с него довольно и одной тени свободы.

Г-н Неккер работает с пользой; он выполняет план г. Тюрго, в смысле умеренности во взимании налогов[2]. Это целая золотая россыпь, к тому же поступающая в государственную казну без всякого разрешения парламента. Недавно отменили взимание двадцатой доли с промышленных заведений в местечках и селах, и это истинное благодеяние, ибо владельцы предприятий уплачивали эту двадцатую долю путем повышения цен на все товары. Благодаря этому, наши фабрики станут более доходными, так как работающие на первичных предприятиях освобождены от уплаты двадцатой доли. Таковы благодетельные последствия этого отеческого указа. Новые правила государственной монополии на почту, ямское дело и пр. только-что принесли королевской казне 6 миллионов годового дохода, а может быть, и более. Говорят, что число дивизий в армии будет сокращено с 18 до 16; придется в связи с этим вернуться к инспекторам по надзору за войсковыми частями и устроить лагери в разных провинциях для обучения командного состава. Это лишь пророчество с моей стороны, ибо пока речь об этом еще не заходит.

При дворе ничего нового; держат пари, устраивают прогулки пешие и верхом на лошадях и ослах, ведут очень крупную игру; спектакли в Фонтенбло были довольно посредственны, но слуги там любезны, обходительны и очень хорошо кормят—рвения и усердия у них много. Собираются организовать дело призрения бедных по приходам, направляя установленную законом милостыню в общую кассу с добровольными пожертвованиями, а касса эта будет в ведении помещика, священника и наиболее видных граждан; вспомоществования будут оказывать престарелым и больным мужчинам и женщинам, а также сиротам. Этой мерой покончат, наконец, с нищенством.

У меня, граф, одна надежда—что через несколько лет я повезу к вам своего наследника. Если уж нельзя мне рассчитывать вновь и так надолго, как мне бы желалось, увидеться с вами здесь, то все же чего-нибудь да стоит надежда как-нибудь самому отправиться повидать вас. Примите

уверение в неизменной на всю жизнь преданности моей, с каковой имею честь пребывать вашим, граф, и пр.

Граф де Караман

Надеюсь, что вы не откажетесь напомнить обо мне князю Голицыну[3].

Копия.—«C. d. l'a.», лл. 47—50.

[1] Caraman Виктор-Морис, граф де (1727—1807)—генерал-лейтенант, участник семилетней войны и войны Франции с Англией 1778—1783 гг. Судя по письму Екате-

Г-ЖА ЖОФФРЕН В СВОЕМ РАБОЧЕМ КАБИНЕТЕ
Рисунок Гюбера Робера
Музей в Валансе

рины II к Гримму от 18 декабря 1783 г., приезжал в том же году в Россию («Сборник Императорского Русского Исторического Общества», XXIII, 291). Исторический интерес публикуемых писем графа де Карамана заключается в том, что эти документы дают лишние и весьма выразительные штрихи к давно известной картине беспечного легкомыслия французского придворного общества перед наступлением рокового для него 1789 г. Политическое, а главное, экономическое положение Франции, в сущности, крайне тяжелое, из которого Францию безуспешно пытались вывести Тюрго и Неккер, казалось гр. де Караману прекрасным и не возбуждало в нем никакой тревоги.

[2] Turgot Анн-Робер (1727—1781)—министр финансов Людовика XVI (1774—1776); пытался провести некоторые реформы для устранения наиболее стеснительных преград для капиталистического развития промышленности и внутренней тор-

говли. Резкое сопротивление двора и феодального дворянства вызвало в 1776 г. отставку Тюрго и отмену всех его реформ. Necker Жак (1732—1804) стал во главе финансового ведомства Франции в 1777 г., вскоре после отставки Тюрго. Его финансовая политика сначала сводилась к заключению займов, с помощью которых он покрывал расходы на войну Франции с Англией из-за американских колоний последней (1778—1783). Впоследствии им была проведена реформа действовавшей во Франции откупной системы взимания налогов, упразднены многочисленные ненужные должности и осуществлен ряд других мероприятий по укреплению финансового положения страны. Вынужденный вступить на путь Тюрго, Неккер своей проповедью бережливости тоже восстановил против себя двор и привилегированные группы, не желавшие ни платить налогов, ни расставаться со своими привилегиями.

[3] См. прим. 1-е к письму XIV.

XXIII. Г-ЖА ДЕ ЖАНЛИС[1]

[1777 г.]

Разрешите, милостивый государь, воспользоваться случаем напомнить вам о себе. Мне очень памятны те знаки внимания и расположения, которые вам угодно было оказать мне в дни вашего пребывания в Париже, и я принадлежу к числу тех, кто с особенной искренностью сожалеет, что Франция не является вашим отечеством. Небольшое посылаемое вам при сем сочинение я выпустила в свет в целях освобождения трех несчастных братьев из тюрьмы, в которой они томятся вот уже два года. Это офицеры, дворяне, люди редкого мужества и больших нравственных достоинств; познакомилась я с ними лишь в дни их бедствий и потому отношусь к ним с особенной нежностью. Из тех маленьких комедий, которые я вам посылаю, четыре были разыграны моими детьми месяца четыре тому назад; зрителей было много, спектакль имел успех, редко выпадающий на долю нравоучительных произведений. Все единодушно и настоятельно просили меня напечатать эти комедии. Я сначала отказывалась, но потом подумала о своих узниках и отдала в печать свои пьесы, решив, что буду продавать их в пользу гг. де Кейсса. Несомненно, что только такому назначению обязано своим успехом мое произведение. Оно выпущено в количестве только трех тысяч экземпляров, и я весьма сожалею об этом, ввиду того исключительного, сказала бы я, спроса, который на него предъявляется. Гг. Даламбер и де Лагарп заверяли меня, что ее императорское величество могла бы милостиво разрешить мне преподнести ей эти пьесы, тем более, что она в усовершенствованном виде осуществила в России идею нашего Сенсирского воспитательного заведения, так что у вас можно ставить мои пьесы, в которых среди действующих лиц нет мужчин. Будьте же добры повергнуть к стопам ее императорского величества это слабое произведение. Оно, разумеется, недостойно занять хотя бы минуту ее досуга, но где тот дар, который был бы ее достоин? В предположении, быть может и чрезмерно самомнительном, что ее величество пожелает иметь еще несколько экземпляров моей книги, я велела отложить двенадцать экземпляров и буду ожидать ее повеления, о котором благоволите мне сообщить. Через полгода должно появиться продолжение этих театральных пьес, состоящее из трех томов; один том предназначается исключительно для мужчин, ибо надо же и о них подумать: поучения им нужны ничуть не менее, чем женщинам[2].

Вам, может быть, известно, что я назначена воспитательницей к дочерям герцогини Шартрской[3]. Я согласилась принять эту почетную, но и трудную должность лишь при условии, что буду вести их воспитание

не в Пале-Рояле[4], что у меня не будет помощницы и что дети будут переданы мне прямо с рук кормилицы. Для меня построили очаровательный домик в саду при Бель-Шасском монастыре, куда я и удаляюсь в наступающем сентябре месяце на целых 20 лет. Все были изумлены таким самопожертвованием со стороны женщины моего возраста; таких примеров не было, чем я особенно и дорожу. Не было и такого случая, чтобы принцесса с детства попадала в руки женщины высшего общества; до сих пор принцесс предоставляли нянькам, а к воспитательницам они поступали лишь в возрасте четырнадцати-пятнадцати лет. Вот почему я снискала своим поступком похвалы, которых на самом деле не заслуживаю: засвидетельствовать перед герцогом и герцогиней Шартрскими свою искреннюю им преданность мне совсем не трудно; я испытываю, напротив, полное удовлетворение и чувствую, как сладостны жертвы, приносимые во имя дружбы.

Не пеняйте на меня за длинное это письмо. Я стараюсь, по возможности, утешиться в разлуке с вами, в том, что вы так далеко, и услаждаю себя беседой с вами. Искренность моих чувств да послужит оправданием причиняемой вам докуке. Она дает мне полное право на вашу снисходительность. Имею честь быть, милостивый государь, покорной вашей и пр.

Дюкре, графиня де Жанлис

Герцог и герцогиня Шартрские знают, что я имею честь писать вам, и поручают мне передать вам всяческие пожелания и совет не забывать окончательно Пале-Рояля, где вас всегда так рады были видеть. Это собственные их выражения, я передаю их дословно. Ввиду того, что меня обвиняют в рассеянности и сильно сомневаются в точности моей памяти, я просила бы вас, милостивый государь, в вашем ответе так упомянуть об этом, чтобы было ясно, что я честно выполнила данное мне поручение.

Копия.—«C. d. l'a.», лл. 144—147.

[1] De Genlis Стефани-Фелисите, графиня де (1746—1830)—знаменитая в свое время женщина-литератор, придерживавшаяся сначала весьма либеральных и даже якобинских убеждений, а затем, после казни ее покровителя, Филиппа Эгалите, бывшего герцога Шартрского, затем Орлеанского, детей которого она воспитывала, перешедшая в лагерь контрреволюции. Автор многих нравоучительных повестей, посвященных воспитанию, пьес «для молодых девиц», одна из предшественниц феминистского движения.

[2] Вот что мы читаем о пьесах г-жи де Жанлис в письме Екатерины II к Гримму от 7 декабря 1779 г.: «Комедии г-жи Жанлис были переданы г. Бецкому. А так как обер-камергер [И. И. Шувалов] все еще находится в заточении и взывает к небесам из своей деревни, я не надеюсь скоро получить от него произведения вышеназванной дамы».—«Сборник Императорского Русского Исторического Общества», XXIII, 166.

[3] Назначение г-жи Жанлис воспитательницей к дочерям герцога Шартрского, по собственному ее указанию, состоялось в 1777 г.—см. M-me de Genlis, Mémoires (édition Barrière), P., 1885, 176—179. Это указание служит основанием для датировки настоящего письма. У герцога и герцогини Шартрских были две дочери-близнецы (р. 1777): M-lle де Шартр и Луиза-Мария-Аделаида (известная позднее, как M-lle Аделаида). Г-жа Жанлис воспитывала также и сыновей герцога и герцогини Шартрских—старшего, Луи-Филиппа (р. 1773), будущего короля Франции (1830—1848), и его младших братьев—герцога Монпансье (р. 1775) и графа Божолэ (р. 1779).

[4] Palais-Royal—дворец в Париже, принадлежавший герцогу Орлеанскому (Philippe Egalité), до 1785 г. носившему титул герцога Шартрского. Нижний этаж своего дворца он отдал внаймы под магазин и кофейни, и в революционные 1789—1794 гг. эти помещения стали местом постоянных собраний революционно настроенных групп Парижа.

XXIV. Г-жа НЕККЕР[1]

[Конец 1777—начало 1778 гг.][2]

Отсутствие ваше, граф, очень сильно чувствуется в нашей среде. Непритязательность, с которой вы умели перейти с высоты большого своего поста на положение частного лица, не прибегая при этом ни к напускной простоте, ни к позе философа, в соединении с привлекательнейшими вашими свойствами, завоевали вам все сердца, и все непрестанно жалеют о том, что вас нет среди нас. Что сказать вам о нашей стране? Каждый день, как будто, приносит новые события, но истолковать их, даже собрав их воедино, невозможно. С некоторых пор мы являемся центром, в котором особенно сильно ощущаются колебания почвы. Г-н Неккер неуклонно идет по пути, избранному им с самого начала, уменьшая количество лиц, занятых взиманием налогов, и ограничивая получаемые ими доходы. Этот образ действий весьма не по вкусу отдельным лицам, но широкая публика очень его одобряет[3]. Вполне правильно изображают общественное мнение стоустым и имеющим сто ушей, но безруким. Отдельные лица обладают действенной силой, а общество может только разговаривать и ничего не в силах сделать. Впрочем, эта истина, верная в других местах, не так уж приложима к Парижу. Здесь общественное мнение стало с некоторых пор грозной силой. Если в стране, где вы проживаете, оно имеет такой же вес, вы должны в ней пользоваться огромным влиянием, а желая счастья вашей родине, я очень хотела бы этому верить.

Мне очень приятно будет познакомиться с двумя носящими вашу фамилию лицами, пользующимися вашим расположением, что уже само по себе внушает выгодное мнение о них[4].

Поговорим немного о литературе, ибо мне кажется, что новости из этой области тем ценнее, чем из большего далека они приходят. Г-н де Бюффон печатает книгу под заглавием «Семь эпох природы»[5]. Широкой кистью, ему свойственной, изображает он тут семь различных картин, какие мог представлять собою мир с того самого времени, как была создана материя. Это результат и наглядный итог всех его трудов в области науки. То, что мне привелось прочесть из этой книги, по моему мнению, написано превосходнейшим слогом. Похвальное слово канцлеру де Лопиталь[6] оказалось соблазном для многих наших писателей, ибо люди вообще любят давать поучения по части управления государством и заявлять этим во всеуслышание о своей пригодности к делам управления. Академия присудила премию г. Реми, а публика—некоему анониму, в конкурсе не участвовавшему. Г-н де Кондорсе[7] тоже попытался пробиться в двери Академии, и произнесенная им речь оказалась достаточно для этого тяжеловесной.

Мне очень хотелось бы знать, милостивый государь, что вы счастливы и попрежнему нас любите. Г-н Неккер шлет вам свой почтительный привет, а я выражение лучших чувств, с коими имею честь быть и проч.

К[юршо]-Неккер

Копия.—«C. d. l'a.», лл. 87—89.

[1] Necker Сюзанна, урожд. Curchod (1739—1794)—жена Жака Неккера, мать г-жи де Сталь; писательница-моралистка и хозяйка литературного салона в Париже.

[2] Датируем письмо на основании литературных фактов, сообщаемых г-жей Неккер и относящихся к 1777—1778 гг., а также по письму Бюффона к И. И. Шувалову от 4 марта 1778 г., со ссылкой на данное письмо г-жи Неккер (см. ниже, № XXVIII).

[3] О деятельности Неккера-министра см. прим. 2-е к письму XXII.

Г-ЖА ДЮ ДЕФФАН
С рисунка Кармонтеля

[4] Речь идет о двоюродном племяннике И. И. Шувалова, графе Андрее Петровиче Шувалове, и его жене, в то время путешествовавших по Европе.

[5] Сочинение Бюффона «Epoques de la nature» появилось в 1778 г. С Бюффоном г-жа Неккер находилась в большой дружбе.

[6] L'Hospital Мишель де (1507—1573)—знаменитый французский государственный деятель.

[7] Condorcet Антуан-Николà (1743—1794)—знаменитый математик, философ и политический деятель в годы революции. В 1777 г. был избран непременным секретарем парижской Академии наук.

XXV. ГРАФИНЯ ДЕ ГЮНОЛЬШТЕЙН[1]

Париж, 18 января 1778 г.

Весь двор теперь уже в столице, милостивый государь. Светское общество остается, каким было при вас, распадаясь на три-четыре основных кружка и от десяти до двенадцати более мелких. Г-жа де Люксанбур[2] возобновила свои четверги и субботы, и здесь сходятся все. Она всегда угощает «фараоном», почему ужины ее всегда отличаются блеском и многолюдьем. Несмотря на царящий кругом шум, несколько лиц увлекаются беседой, и это оказывается иногда самым шумным уголком в зале; лично я, не имея возможности подбирать себе собеседника, иду по следам большинства—играю и в этом отношении не могу пожаловаться на судьбу. У друга, а вернее—недруга вашего, г-жи де Реньер, парадные ужины бывают теперь только по воскресеньям; по средам же у нее ужинают лишь немногие близкие люди. В Пале-Рояле—все по-старому, у г-жи дю Деффан—также; в приверженности к вам со мной соперничает семья г. Карамана, но я далека от мысли уступать ей первое место в любви к вам. Г-жа де Лафар[3] беременна вторым ребенком; для нее это радость, а мне обидно, что ей нельзя выезжать на балы; она так прелестно танцует, что служит им украшением. У королевы вчера состоялся большой прием; она лежала на кушетке, и весь двор, женщины и мужчины, продефилировал перед ней; в одну дверь входили, в другую выходили. Это представляло собою очень красивое зрелище.

У шведского посланника сильный припадок подагры. Какое счастье для вас, милостивый государь, что вы не страдаете этой болезнью: вы этим обязаны воздержанности вашей в напитках и умеренности во всем вообще. Сообщите мне, пожалуйста, поподробнее о жизни в Петербурге. Вам будет не трудно дать мне верное представление о ней, сопоставив ее с нашей, и тем удовлетворить и любознательность мою и любопытство. Г-жа Матиньон продолжала итти тем путем, каким шла при вас; но хорошей семье ее свекрови, г-жи де ла Вепальер, удалось вывести ее на лучшую дорогу. Она влюблена в виконта де Ноайля[4]. Эта связь получила громкую огласку как раз в ту минуту, когда с ней, без малейшего к тому повода, было уже покончено. Продолжалась она больше двух лет, но никто о ней и не подозревал. С год тому назад в нашей среде появился кавалер, опаснейший для молодых дам мастер побеждать сердца; я имею честь состоять его двоюродной сестрой и могу уверить вас, что больше ничем никогда для него не буду. Успех ему создают целый ряд побед и огромная самовлюбленность, а вдобавок к этому он и очень одарен, очень остроумен, обворожителен и обладает непостижимым умением выдавать поддельные чувства за истинные. Это—младший в роде, человек без состояния, словом—кавалер де Пюизегюр[5]. Благодаря своей привлекательности, он уже получил назначение при графе д'Артуа[6]. В настоящее время он влюблен в г-жу Фитц-Джемс, и так как эта любовь успехом не увенчается, то она может продлиться дольше обыкновенного. Прощайте, милостивый государь. Надеюсь, что не наскучила вам всеми этими мелочами. Пишу я так скверно из-за холода. Простите мне это и примите лучшие пожелания от всей семьи моей.

Барбантан де Гюнольштейн

Копия.—«C. d. l'a.», лл. 140—143.

[1] См. о ней прим. 1-е к письму XXVII.

[2] Luxembourg Мадлена-Анжелика де Невиль-Виллеруа, герцогиня де (1707—1787)—вдова маршала Монморанси-Люксанбура (1702—1764), друг и корреспондентка Руссо, хозяйка одного из наиболее блестящих салонов Парижа.

[3] Caraman de La Fare, графиня, корреспондентка Шувалова.

[4] Noailles Луи-Мари, виконт де (1756—1804)—генерал, участник войны за освобождение Соединенных штатов в 1789—1790 гг., член Национального собрания.

[5] Puységur Арман-Марк-Жак де Шастенэ, маркиз де (1751—1825)—при Людовике XVI бригадный командир, бывший в эмиграции в годы революции; или брат его Антуан-Гиацинт-Анн de Puységur, морской офицер, эмигрант.

[6] Граф d'Artois (1757—1836)—младший брат Людовика XVI, с 1824 по 1830 гг. французский король Карл X.

XXVI. МАРКИЗА ДЕ ГОНТО-БИРОН[1]

Париж, 4 февраля 1778 г.

Разрешите мне, милостивый государь, несколько посетовать на то, что ваша государыня оказала вам такой милостивый прием. Мне, впрочем, довольно трудно привести в порядок свои чувства и высказать их вам, потому что, с одной стороны, все, что могло бы дать вам счастье, является сердечным моим желанием, и я, конечно, вместе с вами радовалась блестящему приему, оказанному вам императрицей; а с другой стороны, я говорила себе: «Вот теперь г. Шувалов вполне удовлетворен; он останется в России, а о Франции перестанет и думать; его прекрасно приняли, императрица всеми милостями своими, можно сказать, обязывает его к благодарности, и, чтобы доказать ей свою благодарность, он окончательно

нас покинет». Согласитесь, милостивый государь, что это довольно грустные соображения для лиц, безгранично и на всю жизнь вам преданных! Верьте этой преданности! Мне приятно заявлять вам о ней и надеяться, что заверение мое будет благосклонно принято вами. Я очень молода годами, но стара душой, и потому мне не возбраняется изъясняться вам в нежной дружбе. Прошу вас всегда на нее полагаться и знать, что у вас, в очень далеком от вас краю, существует друг, которому невозможно забыть вас. Вы достаточно меня знаете, милостивый государь, чтобы верить, что с моей стороны это не любезности только, а глубокое чувство, которое никогда не изгладится в моей душе.

Вспоминайте обо мне и присылайте о себе вести—это смягчает горесть разлуки. Оба ваших письма чрезвычайно меня порадовали. Вы, повидимому, счастливы—я так этого желаю. Я радовалась вместе с вами заслуженному, лестному приему, оказанному вам на родине. В императрице я вижу великую государыню, умеющую сочетать с искусством управления приятные для общества личные свойства. По отношению к вам она выказала не мало благородства. Не скупитесь на подробности: все, вас касающееся, мне близко и сердечно мной воспринимается. Но возвращайтесь! Неблагородно было бы с вашей стороны забывать Францию, опечаленную тем, что она покинута вами. По моем приезде сюда мне передали ящик восхитительного чая. Я очень тронута этим знаком памяти с вашей стороны. Я часто пью этот чай за ваше здоровье и каждый раз мысленно шлю вам тысячу благодарностей. Чай этот кажется мне исключительно вкусным! Но позвольте мне попенять вам за слишком красивый лаковый ящик. Мне приходится очень бережно с ним обходиться, и я лишь изредка и только самых близких друзей своих удостаиваю чести пить этот чай. Вчера я имела честь встретиться в доме Биронов (глава которого так глубоко к вам расположен) с графом Шуваловым.

ПРЕЗИДЕНТ ЭНО

С гравюры неизвестного художника конца XVIII в.

Вам незачем пояснять, о ком шел у нас с ним разговор. Мне очень хотелось бы познакомиться с графиней Шуваловой и усладить, по возможности, ее пребывание в нашей стране. Легкое нездоровье помешало ей быть у Биронов. Они обещали ужинать у меня в воскресенье. Я привыкла наслаждаться встречами с вами и не могу помириться с мыслью о том, что между нами сейчас легли тысячи льё. У меня то и дело возникает желание послать вам записочку с приглашением, но что поделаешь,— приходится писать письмо и, к сожалению, отсылать его много дальше, чем на улицу Ришельё.

Я приехала в Париж после восьмимесячного отсутствия, три недели тому назад, в самые дни карнавала, при всем его несмолкаемом шуме и прыганье совершенно незанимательного. Парадные ужины, визиты, Версаль заполняют все время, а вернее, оно целиком на это уходит, так что день кончится, а вспомнить нечего. В голове пусто, не менее пусто и на душе, а утром встаешь и опять принимаешься за то же. Совершенно не приучаешься находить удовольствие в просвещающих ум занятиях и не подготовляешь возможности истинных наслаждений для той поры, когда проходит молодость (а пора эта надвигается быстро). Вы, может быть, найдете, что я большая моралистка, но ведь я говорю с человеком, который мораль признает, вполне способен оценить мой образ мыслей и уж, конечно, не вообразит, что я нелюдимка и люблю злословить. Я вращаюсь в большом свете, но не люблю его, однако, как бы ни говорило во мне чувство отвращения, я живу, как все. Я стараюсь понять этот большой свет,—вот что я извлекаю из привычного для меня пребывания в нем. С величайшим удовольствием возвращаюсь я домой и стараюсь проводить здесь побольше времени. Вам известно, как хорошо я чувствую себя дома, особенно, когда в своем небольшом кабинете пишу к вам и с полной откровенностью с вами беседую.

Насчет войны еще ничего не решено. Одни держат пари, что война будет, другие, что не будет. Правительство же никаких решений не объявляло. Таким образом, все покуда только обсуждается. В связи с кое-какими происками англичан по отношению к Бресту несколько полков двинуто в Бретань, а всем командирам полков, расквартированных в этой провинции, приказано выехать к месту их расположения. Мне кажется, что намерены перейти к действиям и быть наготове, а может быть, хотят только показать свою силу; я держусь того мнения,—а его придерживается и большинство,—что мы разыграем басню о горе́, которая родила мышь. Я лично желала бы войны, если она может оказаться удачной для нас. А мне кажется, что это сейчас возможно, что англичане, действительно, истощили свой запас людей и денежных средств, тогда как года через два нас, может статься, к войне принудят, и тогда мы будем побиты самым жалким образом. Мне дороги и родина и ее честь, и я всегда буду за то, чтобы жертвовать личным благом для блага общего. Друзей надо любить ради них самих, но государство должно стоять на первом месте. Все наши обязанности должны вытекать из этого возвышенного начала, и если бы все в стране были гражданами,—все силы ее объединились бы, все стали бы, как один человек. Но у нас каждый думает о себе, эгоизм достиг высшей своей степени. У римлян воцарились императоры, а им на смену явились впоследствии папы—вследствие честолюбия вельмож, вызывавшего между ними рознь и приведшего к появлению владык над ними; потому что к власти стремятся все, а каждый

у них, желая возвыситься, не думал ни об остальных гражданах, ни о том, чтобы сохранить свободу. И очутились они в цепях и, конечно, впали в ничтожество. А вот в эпоху процветания республики все были гражданами. Зато, хотя римляне и подчинили своей власти весь мир, сами они вскоре попали под власть корыстолюбия, роскоши и честолюбия.

В то время, как у нас занимаются только разговорами о политике, вместо того, чтобы заниматься делами, в Версале танцами развевают грустные мысли. Только и говорят, что о балетах и кадрилях. Боюсь, что англичане заставят нас плясать на иной лад—и довольно невеселый.

Огорчены ли вы, милостивый государь, смертью Лекэна?[2]. Насколько помню, вы его любили. С ним вместе умерла и трагедия. Мельпомена, наверное, обливается слезами, потому что оставшиеся актеры очень уж плохо будут ее обряжать. Это был великий актер—такой восприимчивый и умевший любое чувство выражать горячо и с обаятельностью почти непонятной, а потому и неизъяснимой. Те, что придут ему на смену, чужды нюансов, все у них либо слишком ярко, либо слишком бледно, тогда как Лекэн передавал самую правду. Он нравился, несмотря на ужасные черты лица и вообще невыгодную внешность; все это забывалось, и зритель видел перед собой только Магомета, Оросмана, Танкреда, Вандома, и у него возникало желание, чтобы они и в действительности были такими, какими их изображал Лекэн.

Король назначил трех лиц кавалерами ордена св. духа: коменданта одной из провинций—графа де Вогюэ, заведующего королевским гардеробом г. де Буажелена,—имя третьего выпало у меня из памяти, но мне, может быть, удастся вспомнить его еще до того, как я стану запечатывать это письмо! И пустая же у меня голова: его зовут г. де Монбарри. Вот вам трое осчастливленных смертных. Но есть и огорченные—те, что уже успели выдвинуться и имели все основания рассчитывать на орден. Можно поэтому сделать такой подсчет: каждый раз, как король выдает комунибудь награду, число недовольных больше числа довольных, ибо на каждую награду приходится, по меньшей мере, двадцать лиц, ее домогающихся...

Две недели тому назад Пиччини преподнес нам «Роланда». Это большая опера на текст Кино[3]. Надо, впрочем, сказать, что Мармонтель[4] до того возомнил о себе, что произвел значительные изменения в этой прекрасной поэме. Недаром прозвали его починщиком обуви при Кино. В самом деле, надо обладать огромным запасом самомнения, а вернее сказать, наглости, чтобы решиться посягнуть на такую чудесную поэму. А публика в восторге; музыка, как утверждает та же публика, необычайно хороша, гораздо выше музыки Глюка, которого каких-нибудь два года тому назад считали несравненным. Глюк может утешиться: появится третий, которого предпочтут Пиччини[5]. Так идет жизнь в этом мире. Одни уступают место другим, а последние заставляют забывать о первых. Благодаря такому ходу вещей, каждый обиженный отмщен и должен чувствовать удовлетворение, ибо месть сладка и утешительна. Таковы законы нашего сердца, и разум не в силах их отвергнуть, хотя и должен был бы стать надо всем господином. Господин этот закован, однако, в цепи и скорее напоминает раба, и, что бы там ни говорили, будто его голос силен, его слышат, но не слушаются. Все согласны, что у него больше права руководить нами, но страсти затмевают все понятия, которыми разум хотел бы и мог бы просветить наши сердца.

Лицам, упомянутым в письме вашем, я передала, как вы о них вспоминаете. Они поручили мне выразить от их имени добрые чувства к вам и просили предупредить, что мы соберемся целым ополчением и отправимся за вами в Россию, если вы не прибудете сюда в скором времени. Это настоящее объявление войны. Но не пролитие крови нам нужно, а доказательство, что вы не забыли о нашей стране и обо всех тех, кто так вам предан. Ужасная это вещь—изменять друзьям своим, а вдобавок и данному слову. И на этих двух основаниях мы требуем вашего прибытия сюда. Вы слишком честный и слишком верный человек, чтобы не признать этих оснований достаточными. Обе близкие мне дамы шлют вам привет. К ним присоединяются г. де Гонто с братом и поручают себя вашему благорасположению. Мы часто говорим о вас и о том, как грустно разлучаться с тем, кого любишь и уважаешь. Маршал де Бирон и свекровь моя тысячекратно заверяют вас в своей преданности. Словом, все, имеющие честь состоять в числе ваших знакомых, просят меня напомнить вам о них. Письму этому не было бы конца, если бы я стала всех их переименовывать. Скажу в двух словах: тут весь Париж. Я являюсь передатчицей всех этих чувств и пожеланий, а благодаря этому, только растут личные мои чувства к вам. Разрешите же мне поставить себя на первое место. Мне дает на него право сердечнейшая и искреннейшая привязанность к вам. Я всем сердцем и непрестанно ощущаю, какая истинная это привязанность!.. Мне очень хотелось бы поехать в Россию, но нечего и думать о выполнении такого плана.

Прощайте, милостивый государь. Я помню только, что мне приятно с вами беседовать, и совершенно забыла, что докучаю вам этим письмом на двенадцати страницах! Мне, положительно, пора его кончать. Я только извинюсь еще перед вами, что оно вышло таким длинным. Единственным извинением мне служит удовольствие, доставляемое мне общением с вами, но ведь это значит—думать исключительно о себе. Решаюсь все же, если не будет это нескромностью, попросить вас замолвить два слова обо мне вашей сестре. Если вы упомянете обо мне, как об очень преданном вам лице, она милостиво отнесется к моему преклонению пред ней. Только в таком случае не удивится она, что особа, не имеющая чести быть с ней знакомой, осмеливается обращаться к ней со всевозможными приветствиями и пожеланиями.

Кое-какие сведения о нашей стране я вам сообщила и жалею, что, кроме этого, ничего не могла сообщить. Позвольте, милостивый государь, еще раз проститься с вами.

Де Салерн маркиза де Гонто

Копия.—«C. d. l'a.», лл. 149—157.

[1] De Gontaut-Biron, урожд. de Salerne—жена сына известного маршала Франции, Шарля-Армана de Gontaut-Biron (1663—1756).

[2] Lekain (Le Cain) Анри-Луи (1729—1778)—великий французский трагический актер, ученик Вольтера и лучший истолкователь его репертуара. См. о нем Olivier, Henri-Louis Le Cain de la Comédie Française, P., 1907.

[3] Quinault Филипп (1635—1688)—известный поэт и драматург, автор многочисленных либретто для опер. Опера Пиччини «Roland» впервые была исполнена в Париже 27 января 1778 г.

[4] Marmontel Жан-Франсуа (1723—1799)—известный французский писатель.

[5] О борьбе сторонников Пиччини и Глюка см. ниже, прим. 10-е к письму XXVII.

БЮФФОН

Рисунок Андре Пюжо, 1776 г.

Эрмитаж, Ленинград

XXVII. ГРАФИНЯ ДЕ ГЮНОЛЬШТЕЙН[1]

Париж, 26 февраля 1778 г.

Ваше последнее письмо от 21 января, милостивый государь, я получила. Когда я представила себе, какое счастье вы теперь переживаете, я почувствовала, что это смягчает сожаления и печаль, вызываемые мыслью, что я не увижусь с вами, во всяком случае, долго не увижусь. Все, что вы сообщаете об императрице, говорит о больших достоинствах ее и обаятельности. Но все же я обвиняю вас не в том, что вы говорите, как придворный, а в некоторой доле пристрастия. Оно, правда, вполне простительно в вашем положении, и добрые качества, проявляемые на ваших глазах государыней, могут служить для вас побуждением наделять ее и такими, которых вы на самом деле в ней не видите.

Мне очень жаль, что, по свойственной вам осторожности, вы не пожелали даже немного поговорить со мною о политике и войне. К последней мы, повидимому, очень близки в настоящую минуту и ждем ее с двух сторон. В Париже убеждены, что мы уже заключили договор с инсургентами и признали их независимость[2]. Герцог Шартрский[3] недавно совершил поездку по всему нашему побережью, и так как она совпала с моментом особенного возбуждения в умах и оживленной деятельности наших портов, она произвела очень сильное впечатление, особенно на находящихся в Париже англичан. Лорд Єтормонт[4] держит себя, по обыкновению, строго и спокойно. Из Америки до нас доходит очень мало сведений: вот уже три месяца, как нет вестей о г. де Лафайете[5]; последние известия о нем сообщали о довольно серьезной, но не опасной ране в ногу. Если начнется морская война с англичанами, он на обратном пути во Францию легко может попасть в плен. Долгое отсутствие вестей о нем—с того самого времени, как он был ранен,—вызывает у всех тревогу, будем надеяться, неосновательную. Очень любопытен будет момент его возвращения, я сообщу вам об этом, потому что знаю, как вы интересуетесь его судьбой.

Тысячу сердечнейших приветов шлют вам виконтесса де Ноайль, г-жа де Фитц-Джемс, леди Стормонт, равно как и вся моя семья, в том числе и отец мой, который живет с нами уже несколько месяцев. Г-н де Пуа поручил мне напомнить вам о нем. Много мне говорил о вас г. Ламарк[6]. Мы вообще часто о вас говорим. Ваше отсутствие нисколько не ослабило интереса, который вы сумели внушить всем, кому привелось с вами познакомиться. Мне лично очень приятно служить передатчицей таких заверений: это для меня повод непосредственно обращаться к вам и свидетельствовать о своем искреннем к вам расположении.

Мне привелось с большим удовольствием встретиться несколько раз с графом и графиней Шуваловыми[7]; оба они произвели на меня впечатление любезных и достойных уважения особ. Граф каждую неделю мечет банк у супруги маршала де Люксанбура[8] и этой любезностью очень угодил всем дамам. Я намерена заказать себе русское платье, но приходится повременить, пока талия моя примет более естественные формы. С нетерпением жду я этой минуты: чудесное это будет приобретение и чудесная минута в моей жизни. Должна, впрочем, сознаться, что это лишь очень увеличит обычное мое счастье, ибо я и сейчас счастлива и всегда была счастлива.

Больших перемен в нарядах наших дам нет. У королевы состоялась кадриль, первое исполнение которой было на прошлой неделе и кото-

рая, вероятно, повторена не будет. Костюмы были индийские. Туалеты дам не удались, хотя они были исполнены по замыслу г-жи Гимар M-lle Бертен[9]; вину за неудачу они теперь сваливают друг на друга. В общем, это все же имело красивый вид. Все женщины были хороши собою; их было шесть, и столько же мужчин с луками в руках; а у дам были маленькие, очень хорошенькие колчаны. Что до меня, то в этом году я могу принимать участие во всех развлечениях только в качестве зрительницы. Лишение это огорчает меня гораздо меньше, чем радует причина, которой оно вызвано. Когда я разрешусь от бремени, я дам вам об этом знать, а сестра моя будет выполнять обязанности секретаря и с нетерпением этого ждет. Не будь она так занята карнавалом, она бы уж написала вам, но репетиции кадрили происходили так часто, что она не успевала этого сделать. Старший брат мой попрежнему склонен к увлечениям, но сохраняет благоразумие. Мне очень хотелось бы, чтобы он женился: это, я думаю, явилось бы для него началом прочного счастья.

Семь, а то и восемь раз ставили оперу Пиччини под названием «Роланд». У Пиччини много сторонников. В опере есть красивые места, но нет истинных красот, тогда как у Глюка они в изобилии. Об этом ведутся нескончаемые споры. Между приверженцами той и другой стороны разгорелась вражда—просто, постыдная, для писателей по вопросу, не входящему в их компетенцию, особенно, если принять во внимание, что соперники-то живут между собою в полном согласии и почти дружески друг к другу относятся. Глюкисты торжествуют, а пиччинисты делают вид, будто убеждены, что победа на их стороне[10]. Вольтер прибыл как раз в день похорон несравненного Лекэна[11]. Так как эта потеря вызвала лишь слабые сожаления, я пришла к выводу, что большинство не понимало его достоинств, и позавидовала тем, на кого эта потеря не подействовала так, как на меня. Для меня же это было очень чувствительной утратой, ибо он доставлял мне наслаждение ничем не заменимое и совершенно исключительное по глубине и длительности впечатления, которое он на меня производил. Вольтер привез две трагедии, которые намеревается поставить на сцене. Он провел целую ночь над исправлением одной из них, а на первой же репетиции другой трагедии так рассердился на актеров, что это вызвало у него кровохарканье. Троншен[12] велел пустить ему кровь; есть опасение, что он не переживет этого припадка. Монотонное существование в Ферне, может быть, несколько продлило бы ему жизнь. Если обе пьесы его будут иметь успех и если придется ему увидеть этот успех, он умрет смертью Софокла, который в том же возрасте умер от радости, вызванной успехом только-что законченной им трагедии.

Прощайте, милостивый государь, прошу вас сохранять ко мне дружеское расположение, а я неустанно буду стараться своей привязанностью заслужить вашу любовь и не давать вам повода лишать меня своего лестного для меня отношения, которого я удостоилась в возрасте, позволяющем рассчитывать только на снисхождение. Прощайте же. Простите за беспорядочность письма: я очень торопилась и не сумела написать более кратко.

Барбантан де Гюнольштейн

Сегодня большой бал в королевском дворце. Герцог Шартрский еще не вернулся.

Копия.—«C. d. l'a.», лл. 126—130.

ОРАС ВАЛЬПОЛЬ
Рисунок Ж. Данса, 1793 г.
Национальная портретная галлерея, Лондон

[1] Насколько можно судить по содержанию писем графини d'Hünolstein, урожд. Barbantane, она занимала какую-то должность при герцогине Шартрской, жене будущего герцога Орлеанского (Филиппа Эгалите). См. ниже, прим. 3-е.

[2] После удачного для американской армии сражения при Саратоге 17 октября 1777 г. Франция признала восставшие против Англии американские колонии воюющей стороной и заключила с ними торговый договор; результатом его было объявление войны Англией Франции в феврале 1778 г.

[3] Людовик-Филипп, герцог Орлеанский (1747—1793), двоюродный брат Людовика XVI, до смерти отца в 1785 г. носил титул герцога Шартрского. Его оппозиция двору создала ему большую популярность среди буржуазии. Он одним из первых среди депутатов дворянства присоединился к третьему сословию. После свержения Людовика XVI вошел в Конвент с именем Филиппа Egalité (Равенство). В начале войны Франции с Англией служил во флоте, но вследствие интриг принужден был перейти в сухопутные войска.

[4] Лорд Stormont—английский посол в Париже.

[5] Lafayette Мари-Жан, маркиз де (1757—1834)—знаменитый участник борьбы американцев за независимость; отправился в северо-американские колонии добровольцем, против воли Людовика XVI, еще до объявления Англией войны Франции; впоследствии—известный французский государственный деятель.

[6] М. б. Lamarck Жан-Баптист де Моне (1744—1829)—знаменитый французский ученый-натуралист.

[7] См. прим. 4-е к письму XXIV.

[8] См. прим. 2-е к письму XXV.

[9] Guimard Мари-Мадлен (1743—1816)—известная танцовщица; Bertin Роза (1744—1813)—модистка королевы Марии-Антуанетты.

[10] В целях противодействия оперным реформам Кр.-В. Глюка (1714—1787), сторонники итальянской оперы («буффонисты») привлекли в Париж неаполитанского композитора Николо Пиччини (1728—1800). Разгорелась знаменитая в истории музыки война между «глюкистами» и «пиччинистами», причем сторонником Глюка выступил Ж.-Ж. Руссо.

[11] См. выше, прим. 2-е к письму XXVI.

[12] Tronchin Теодор (1709—1781)—известный врач, швейцарец, друг и доктор Вольтера.

XXVIII. БЮФФОН[1]

Монбар, 4 марта 1778 г.

В своей деревне, в Бургундии, получил я, граф, письмо, которым вы меня почтили, а за две недели перед тем мне доставлен был мемуар о новооткрытых за Камчаткой островах, с приложением письма от г. До-

машнева[2]. Я был бы в отчаянии, если бы не сумел заслужить в ваших глазах все оказываемые мне вами любезности, к которым вам угодно было присоединить исключительную милость, а именно указать на меня великой и несравненной вашей императрице, которая, по моему мнению, занимает особое место среди всех европейских монархов, и не столько в силу мощи и необозримости подвластной ей державы, сколько в силу личных ее достоинств. Мне трудно было бы передать вам, милостивый государь, какую радость доставило мне известие, что вы возвращаетесь к ее двору. Мне прекрасно известны высокие и исключительные достоинства ваши, и приверженность моя ко благу человечества побуждала меня видеть в вашем возвращении на родину новое благодеяние, оказываемое вашей стране августейшей вашей государыней, в дополнение ко всем оказанным ею ранее. И как же тронули вы меня тем, что вспомнили обо мне в минуту, когда на вас лежало такое множество важнейших дел! Признательность моя равна только высокому моему мнению о вас и чувству уважения к вам, а эти чувства разделяет со мной вся мыслящая Европа. Я даже позволил себе высказать их в печатающейся ныне книге об эпохах мироздания, о которой по дружбе ко мне сообщала вам г-жа Неккер[3]. Уважаемое имя ваше там названо мной в связи с тем мемуаром г. Домашнева, который доставил мне большое удовлетворение и дал возможность извлечь из него несколько фактов[4]; мемуара же о Каспийском море, о котором вам угодно было упомянуть в письме ко мне, я не получал. Письма г. Домашнева полны такой предупредительности, что я решаюсь, с вашего соизволения, вступить с ним в переписку и очень прошу вас, граф, распорядиться о доставке ему прилагаемого здесь письма. Первые шесть томов in 4⁰ полного собрания моих сочинений мне удастся доставить князю Барятинскому только через два-три месяца. Мне было бы в высшей степени обидно, граф, если бы они поступили к вам не лично от меня; надо же мне выразить мое уважение к вам хотя бы таким ничтожнейшим его проявлением. Если вы сколько-нибудь желаете мне добра, не приказывайте покупать у моего издателя четыре тома, вышедшие несколько месяцев тому назад. Сейчас заканчивается печатание шестого, в котором я позволил себе назвать ваше имя, и вы должны доставить мне удовольствие послать вам сразу все шесть томов.

Имею честь пребывать с полным уважением, почтением, осмеливаюсь сказать—и с истинной расположенностью к вам ваш и т. д.

Граф де Бюффон

Копия.—«C. d. l'a.», лл. 18—20.

[1] Buffon Жорж-Луи, граф де (1707—1788)—знаменитый натуралист, автор многотомной «Histoire naturelle générale et particulière» (1749—1789), трактата «Epoques de la nature» и др. В своих сочинениях дал выдающиеся образцы французской литературной прозы, почему вошел также и в историю французской литературы.

[2] Очевидно, речь идет о группе островов, открытых в конце 70-х годов XVIII Прибыловым, штурманом корабля, принадлежавшего известному исследователю Сибири, купцу Григорию Ивановичу Шелехову (1747—1795). Острова получили название островов Прибылова; в 1867 г., вместе с русскими владениями на Аляске, были проданы Соединенным штатам. Домашнев Сергей Герасимович (1742—1796)—директор Академии наук.

[3] См. выше, письмо XXIV.

[4] Действительно, в примечаниях к «Epoques de la Nature» (sixième Epoque) Бюффон пишет, что к моменту, когда его работа уже находилась в печати, он получил, в письме от 27 октября 1777 г., «от гр. Шувалова, этого выдающегося государст-

венного деятеля, уважаемого и почитаемого всей Европой, великолепный мемуар г. Домашнева — председателя Петербургского императорского общества». Далее Бюффон подробно излагает мемуар Домашнева, знакомящий с новейшими для того времени (1770—1778 гг.) открытиями русских экспедиций на Камчатке и сибирском побережье, и высказывает пожелания, чтобы русские продолжали свои ценные для науки исследования крайнего севера. Цитир. по «Histoire Naturelle» par Buffon P., 1799, VIII, 342—352.

XXIX. КАРДИНАЛ ДЕ БЕРНИ

Рим, 4 марта 1778 г.

Еще до получения письма, которым ваше превосходительство почтили меня 11 января, мне было известно, что вы благополучно прибыли в Петербург и удостоились от августейшей вашей повелительницы всяческих милостей и отличий. Благорасположение ее к вам будет возрастать по мере того, как она ближе будет узнавать вас. Просвещенное покровительство, оказываемое императрицей наукам и искусствам, в не меньшей мере будет содействовать славе ее царствования, чем добродетели и таланты, в ее лице взошедшие на престол. Я, со своей стороны, всячески буду здесь содействовать выполнению ее намерения приобрести копии с рукописей греческих и латинских авторов[1]; наиболее любопытные, как и наиболее важные для понимания исторических событий документы находятся в Ватикане. Должен, однако, предупредить, вас, милостивый государь, что почти все представляющие какой-либо интерес рукописи Ватиканской библиотеки уже были полностью или частично напечатаны или, по крайней мере, опубликованы в трудах многих ученых, в виде подробных сообщений о них. Лично я могу испросить разрешения (а его дают не так легко) снимать копии и взять на себя руководство отбором документов, переписку которых будет оплачивать банкир Барацци; я подыщу ученого, который укажет мне рукописи, наиболее достойные войти в библиотеку императрицы, и совместно с вашим банкиром определит стоимость каждой копии, так как в этой стороне дела я не разбираюсь. Г-н Барацци даст вам отчет о дальнейшем ходе этого дела. Мне очень хотелось бы, чтобы вы вернулись в Рим и сами руководили всем. А чтобы несколько утешить себя в отсутствии вашем, я постараюсь получше принимать здесь ваших соотечественников. Будьте уверены, милостивый государь, в вечной преданности и почтении, которые я неизменно питаю к вашему превосходительству.

Кардинал де Берни

Копия.—«С. d. l'a.», лл. 22—24.

[1] По словам Екатерины II в ее письме к Гримму от 17—19 октября 1778 г., она хотела получить из Ватиканской библиотеки копии «классических писателей греческих и латинских, до тех пор остававшиеся неизданными», так как она слышала, будто «в этой библиотеке имеются вещи, о которых не знает никто».—«Сборник Императорского Русского Исторического Общества», XXIII, 107.

XXX. КАРДИНАЛ ДЕ БЕРНИ

Рим, 18 марта 1778 г.

Письмо, которым вашему превосходительству угодно было меня почтить, было мне передано несколько дней тому назад графом Скавронским, камер-юнкером двора Российской императрицы[1]. Надеюсь, что он остался доволен оказанным ему мною приемом.

Кардинал Зела́да[2], мой друг и владелец очень любопытных рукописей, обещал мне заказать с них копии для библиотеки императрицы;

я велю передать Бараццн, чтобы он сговорился обо всем с его эминенцией[3]. Первой будет переписана рукопись, представляющая собою подлинник протокола процесса Анны Болейн, жены английского короля Генриха VIII[4]. В Ватиканской библиотеке этой рукописи нет, и я счел, что она может заинтересовать императрицу. Вы видите, что я, не теряя времени, иду навстречу ее желаниям и требованиям. Прошу ваше превосходительство принять уверения в чувствах преданности и привязанности, которые буду вечно питать к вам.

Кардинал де Берни

Копия.—«C. d. l'a.», лл. 24—25.

[1] Скавронский Павел Мартынович, граф (1757—1793)—русский посланник в Неаполе.

[2] Zélada Франциск-Ксаверий (1717—1801)—кардинал, собиратель древностей, начальник Ватиканской библиотеки.

[3] Т. е. кардиналом Зелàда.

[4] О пересылке Екатерине II копии процесса Анны Болейн см. в ее письме к Гримму от 17—19 октября 1778 г.—«Сборник Имп. Русского Историч. Общества», XXIII, 107.

XXXI. Г-жа НЕККЕР

[Март-апрель 1778 г.][1]

На любезное письмо ваше, отправленное из Берлина, я имела честь послать вам ответ в Петербург. Я упоминаю об этом, милостивый государь, чтобы вы не заподозрили меня в невнимании. По отношению к вам я невнимательной быть не могу, несмотря на тот вихрь, в котором без всякого для себя удовольствия я теперь кружусь. Я рождена для жизни тихой и уединенной, а благодаря занимаемому нами положению, нам достаточно часто приходится заглядывать в глубины человеческих сердец, отчего вкус к одиночеству только усиливается. Этими мыслями я могу поделиться с человеком, который долгое время правил делами огромной империи и, оставив в ней по себе вечное сожаление, сам ни минуты о былом не жалел.

С радостью узнали мы о том, что императрица осыпала вас знаками милости, а также личного своего благоволения.

Нам уже давно известно, что она поощряет заслуги даже иностранцев. Тем охотнее, конечно, награждает она заслуги собственных подданных.

То, что г. Гримм, в согласии с общей молвой, передает об этой государыне, представлялось бы совершенно невероятным, если бы сама она постепенно не приучила нас этому верить. Ибо, чтобы признать совершенство великого деяния или великой идеи, нам необходимо знать их оттенки.

Я видела г-на и г-жу Шуваловых[2]; они и сами по себе пользуются успехом в здешнем обществе, уже не говоря о том, что вызывают приятные воспоминания, которые действуют, как волшебный талисман, так что личное их обаяние становится, пожалуй, излишним. Общество наше живет той же жизнью, какой жило при вас; к сожалению, невозможно заставить себя верить, что оно всегда будет существовать и впредь, как до сих пор существовало. Я согласна с г-жей дю Деффан, что каждая минута, переживаемая нами сверх семидесяти лет, есть уже узурпация жизни, хотя ей лично и удалось оправдать такую узурпацию, сохранив привлекательность молодых лет.

Вам уже, наверное, доставлены три похвальных слова, посвященные гг. Томà, Мореле и Даламбером г-же Жоффрен[3]; трое мужчин выдающегося ума занялись составлением этого панегирика во славу умной жен-

щины и установили, что и ум имеет пол, что в нем может быть и пикантность, и утонченность, и даже обаятельность. Г-же де Ла Ферте-Эмбо[4] эти восхваления не понравились: «Я отношусь к громкой известности,— говорит она,—как дети промотавшихся отцов, которые больше всего страшатся беспокойств и издержек».

Г-н Шувалов остался очень доволен певцом Петра Великого. Боюсь, однако, как бы стремление достигнуть совершенства не замедлило развития таланта поэта. Люди перестают вносить в свои произведения поправки, когда влюбляются в них, подобно Пигмалиону, и это обычное явление. Но в данном случае это происходит с читателями г. Тома, а не с ним самим.

Мы, наконец, увидели на сцене трагедию «Мустафа и Зеанжир»[5]. Не очень верно в ней переданы константинопольские обычаи и нравы; автор как бы предвосхищает то время, когда вы там воцаритесь: в его пьесе перед нами одаренные волей женщины и мужчины, признающие над собой их власть.

Нам говорят, милостивый государь, что вы потеряны для нас безвозвратно. Будет ли, однако, ваше бледное солнце оказывать на вас действие столь же благотворное, как взоры вашей государыни? Но в Петербурге ли или в Париже, в качестве ли украшения нашего общества или как причина грусти нашей—вы для г. Неккера и для меня всегда останетесь предметом лучших чувств и глубочайшего уважения.

К[юршо]-Неккер

Г-н Неккер свидетельствует вам свое почтение.

Автограф.—Всеукраинский исторический музей, Киев. «Альбом К. Собанской».

[1] Датируется на основании литературных фактов, сообщаемых г-жей Неккер.
[2] Графа Андрея Петровича Шувалова и его жену, Екатерину Петровну.

УРОК ИГРЫ НА АРФЕ

На картине изображены г-жа Жанлис, ее приемная дочь Памела и воспитанница — дочь герцога Орлеанского — Аделаида

Картина маслом Мозена по рисунку Ж. Жиру, 1787 г.

[3] Г-жа Жоффрен умерла в октябре 1777 г. Morellet Андре, аббат (1727—1819)—экономист, один из главных участников «Энциклопедии». О Тома см. прим. 1-е к письму V.

[4] La Ferté-Imbault Мария-Тереза, маркиза де (1715—1791)—дочь г-жи Жоффрен. Известна своей ненавистью к друзьям своей матери—энциклопедистам.

[5] Речь идет о трагедии Chamfort «Mustapha et Zéangir», впервые поставленной на сцене в 1778 г.

XXXII. ГРАФИНЯ ДЕ ГЮНОЛЬШТЕЙН

12 апреля 1778 г.

Со дня на день, милостивый государь, жду я минуты, когда стану матерью. Пользуясь тем, что я пока еще в состоянии дать вам весточку о себе, мне хочется заверить вас, что я о вас вспоминаю и неизменно предана вам. Надеюсь, что последнее мое письмо вами получено. Я не преминула бы, разумеется, сообщить вам обо всех наших новостях, если бы не была убеждена, что у вас здесь есть родственники и друзья, которые могли в этом отношении меня опередить и гораздо лучше меня справиться с ролью газетчиков. В том случае, если бы оказалось, что я одна могу давать вам сведения о происходящем, я охотно взялась бы за эту роль и держала бы вас в курсе всех событий.

Важным событием для государства является война, а для двора событием, и очень большим по своей неожиданности, является дуэль между графом д'Артуа и герцогом Бурбонским[1]. У вас здесь так много друзей и вы так этого заслуживаете, что, наверное, имеете среди них аккуратного корреспондента. Я имела удовольствие беседовать о вас с очень расположенным к вам человеком—секретарем английского посольства; он еще молод и, надо признать, очень любезен; зовут его г. Фуллертон. Он только-что уехал отсюда, а принимая во внимание род его службы, приходится, к сожалению, думать, что нам не суждено более встретиться. Мне немного жаль, что прервалось это мимолетное знакомство, для меня тем более приятное, что оно началось с разговора о вас.

О войне уже не говорят, хотя она, повидимому, неизбежна. Те, чьи интересы она близко затрагивает, еще надеются, что она нас минует, а так как заинтересован в этом двор, то все стараются не подрывать этих надежд. У герцогини Шартрской недавние страшные опасения сменились иллюзией, которая может сказаться на ней роковым образом в день, когда объявят войну: герцогу Шартрскому[2] придется тогда немедленно сесть на корабль «Saint Esprit» [«Святой дух»].

Вашими политическими делами стали меньше заниматься с тех пор, как наши собственные вызывают к себе такое усиленное внимание. Но меня лично ничто не может так заинтересовать, чтобы я перестала интересоваться вами, и я всю жизнь не утрачу этого интереса к вам.

Вы просите сообщить вам что-нибудь о г. Лафайете. С тех пор, как Франция заключила договор с инсургентами, его положение стало особенно блистательным, так как вся нация оправдала и признала правильными его действия и пошла по его следам. Вы, конечно, знаете, что он был ранен, но не опасно. В декабре месяце он произвел нападение на отряд англичан и проявил в этом деле большой героизм. Кое-кто завидует его судьбе, у других она вызывает восторг. Его возвращение (если только суждено ему вернуться) будет минутой всеобщего энтузиазма к нему, недешево ему обошедшегося, но вполне им заслуженного; но до

сих пор нет и речи о его возвращении: никто ведь не знает, не предстоит ли нам еще вторая американская кампания.

Примите миллион нежных приветов от всего нашего семейства. Все к нему принадлежащие любят вас и с удовольствием, но и с грустью вспоминают о вас. Не забывайте нас и будьте счастливы, как того заслуживаете. Прощайте. Леди Стормонт[3] не раз поплакала, уезжая отсюда,— мы с ней часто вспоминали о вас в наших беседах.

Барбантан де Гюнольштейн

Копия.—«C. d. l'a.», лл. 133—135.

[1] Эта дуэль двух «принцев крови» была вызвана оскорблением, нанесенным братом Людовика XVI, графом d'Artois, жене герцога Бурбонского.

[2] Герцог Шартрский—см. выше, прим. 3-е к письму XXVII.

[3] Леди Stormont, жена английского посла в Париже, принуждена была оттуда уехать после разрыва дипломатических отношений Англии с Францией в начале 1778 г.

XXXIII. ГРАФ ДЕ КАРАМАН

Буасси, 19 июня 1778 г.

Я ничего не имею, граф, против роскоши, существующей при дворах, и даже считаю ее необходимой. Мне нравятся пышные празднества, мне нравится, что трон окружен некоторым блеском; я согласен даже предоставить ему исключительное право на роскошь, было бы только предоставлено зажиточным слоям населения право на истинное счастье, а бедному классу—право спокойно существовать своим трудом.

Именно такова, думается мне, истинная цель правления великой государыни, и, не сомневаясь в ее заботе о благоденствии подвластных ей народов, я считаю, что блеск, которым она окружена, приличествует величию ее власти. Иначе смотрел я на торжества при дворе герцога Вюртембергского: они совершенно не соответствовали его мощи, а так как население там отнюдь не благоденствовало, то чрезмерное великолепие было неуместным и не давало сердечного удовлетворения. Да, граф, все хорошо на своем месте. Вот почему я разделял вашу радость по поводу рождения наследника, столь драгоценного для вашей монархии[1].

Мы попрежнему умеренны и сильны. Повсеместно и хорошо вооруженные, мы исполнены готовности ко всякому приемлемому для нас соглашению. Мы не стремимся ни к каким завоеваниям, мы хотим одного— стать самой цветущей из стран на земле; таковы взгляды нашего правительства.

Что касается Англии, то ее намерения предвидеть трудно: ей все хочется быть владычицей морей, но такое единовластие природой не установлено, ибо море является общим достоянием. Тех средств, к преобладанию какими она располагала до отделения колоний, у нее теперь нет, и так как скипетра из литого золота у нее сейчас быть не может, она пытается заменить его хотя бы картонным, но золоченым. Это, однако, заблуждение с ее стороны, ибо замыслы, сами по себе, реальной силой еще не являются, а действительность далеко не всегда соответствует желаемому. В настоящее время Англии следовало бы отказаться от Америки (хотя бы и не признав ее независимости), отозвать оттуда войска свои и флот и, усилившись, таким образом, дома, выдвинуть новую, соответствующую новым обстоятельствам политическую систему. Такие решительные

повороты в политике всегда даются с трудом и тяжелы для самолюбия, но от этого они не менее обязательны. Проиграв половину своих средств, игрок играет по маленькой, без излишнего шума, играет с большей осторожностью, внимательно учитывая выпавшие на его долю преимущества; если почувствует, что ему повезло, он немного увеличивает свою ставку, усиливая ее, когда видит, что риск невелик. В конце концов, дела его поправляются, когда уже нельзя было на это и рассчитывать. А рядом другой игрок то и дело играет на квит или на двойной выигрыш, проигрывает, теряет возможность исправить дело и окончательно губит себя смелыми, но бесплодными попытками. Который из двух, полагали бы вы, на более верном пути?

Говорят, впрочем, что испанский посол в Англии, граф д'Альмадовар, должен добиться соглашения между Францией, Англией и независимыми колониями, которое обеспечит им всем и выгоды и мир. Возможно, что это лишь слух, в справедливость которого я все же не отказываюсь верить.

Мне приходится управлять лишь делами собственной семьи, но принципы мои, хорошо вам известные, быть может, применимы и к более обширному обществу людей. Мы достигли того, что все живем в согласии, счастливы, до такой степени привыкли к порядку, что уже не можем без него обходиться, у нас одинаковые понятия, одинаковый образ жизни, мы одинаково одеты и вдесятером живем единой душой, руководствуясь очень простыми правилами, соответствующими естественному порядку вещей, а частью выработанными и воспитанием, и следуем этим правилам по убеждению. Присоедините к нашей семье вторую, третью, четвертую и т. д.—и перед вами огромное общество, руководящееся теми же правилами и столь же счастливое. Чтобы достигнуть этого, надо только понять, что в мире есть лишь один властелин—природа, а вернее, ее создатель—начало всех законов, управляющих жизнью вселенной, и по отношению к которому всякая человеческая власть является только исполнительной властью, его волю осуществляющей.

Служить, граф, мне предстоит под начальством маршала де Брольи[2], моего дяди, и мы уже получили приказ быть на месте 1 июля. Граф и графиня Шуваловы делают нам честь, иногда посещая нас в Буасси, но, к несчастью для меня, они меня ни разу дома не заставали. Надеюсь, все же, что мне как-нибудь посчастливится в этом отношении.

Никаких новостей у нас здесь нет. Смерть Вольтера не произвела особенно сильного впечатления, и такое великое событие не вызвало появления ни одного хорошего стихотворения[3]. К великому огорчению воспитателя моих детей, г. Перро, наше поэтическое творчество, несомненно, переживает упадок; его место в настоящее время заняла наука, и особенно политическая экономия. Беременность королевы протекает нормально. Примите, граф, привет и пожелания от целого семейства, которое не столько надеется, сколько желало бы увидеть вас и посылает вам заверения в неизменной своей преданности.

Граф де Караман

Копия.—«C. d. l'a.», лл. 57—61.

[1] Александра Павловича (Александра I), родившегося 12/23 декабря 1777 г.

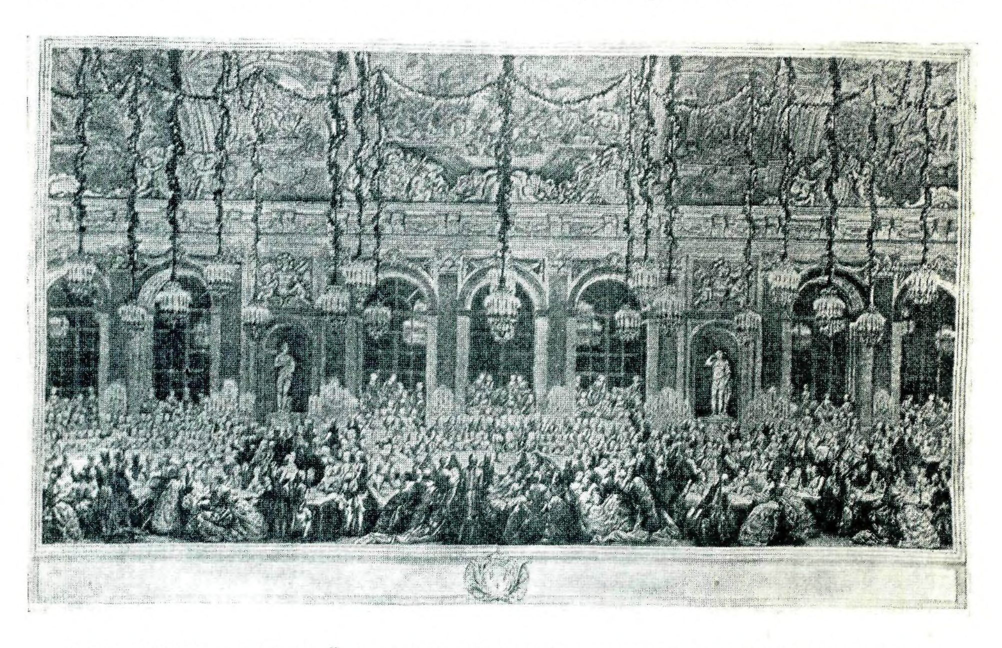
[2] Broglie (французское произношение Бройе) Виктор-Франсуа, герцог де (1718—1804)—маршал Франции.

[3] Вольтер умер в Париже 30 мая 1778 г.

XXXIV. ГРАФИНЯ ДЕ ГЮНОЛЬШТЕЙН

Париж, 6 августа 1778 г.

Я получила, милостивый государь, последнее ваше письмо и поздравления, которые вам угодно было мне послать. Меня очень тронуло, что вы так поторопились ответить на мое письмо и проявляете такое внимание ко мне по случаю рождения сына. Он, слава богу, здоров. Вы собираетесь сделать мне подарок. Боюсь, что не успею предупредить вас не делать этого, а между тем, мне очень хотелось бы убедить вас отказаться от этого намерения. Пока вы были здесь, я могла бороться с затеями, на которые (по самым незначительным поводам) то и дело вдохновляла вас прирожденная ваша щедрость, и в то же время у меня была полная воз-



ПРАЗДНЕСТВА В БОЛЬШОЙ ГАЛЛЕРЕЕ ВЕРСАЛЬСКОГО ДВОРЦА ПО СЛУЧАЮ СВАДЬБЫ ДОФИНА, 1745 г.

Гравюра Копена-отца по рисунку Копена-сына

можность высказывать вам свою благодарность, тогда как при разделяющем нас теперь расстоянии я одинаково лишена и возможности бороться с этим, и находить удовлетворение в выражении своей признательности. Благодарность письменная—нечто очень холодное. Убедительно прошу вас не посылать предназначенных мне подарков, если только эта просьба моя не окажется запоздалой. В случае же, если вы уже успели отправить подарок, примите от меня заранее огромную благодарность.

Вы, вероятно, уже осведомлены о происшедшем 27 июля очень непродолжительном сражении[1]. Хотя успех был сомнительный, у нас считают, что он на нашей стороне, а потому в воскресенье назначено молебствие в Нотр-Дам. Говорят, что убит адмирал Реппет, а то обстоятельство, что до сих пор из Англии не поступает никаких сообщений, придает вероятность этому печальному для англичан слуху. В этом сражении отличился герцог Шартрский. Он приезжал ненадолго в Париж, где был чрезвычайно радостно и восторженно встречен народом. Сад две ночи

сиял огнями и иллюминацией. Во время ужина прибыла Опера, и певцы исполняли соответствующие случаю песни и куплеты, в чем принимала участие и г-жа Арну[2]; вокруг стола собралась несметная толпа, а ужинающих было невероятное количество. Герцогиня Шартрская являлась олицетворением счастья: она, как будто, и не проезжала семидесяти льё, мчась навстречу своему мужу; а я на «крыльях амура» не неслась и очень устала от двух ночей, проведенных в карете. Все были очень растроганы этим проявлением радости. Но, увы, нам снова пришлось впасть в печаль и тревогу: едва успели мы перевести дух, как герцог Шартрский уже отправился навстречу новым опасностям.

Много говорят о предстоящем втором сражении. После него, в случае, если оно окончится в нашу пользу, нам предстоит экспедиция к островам Джерси и Гернси, а иные говорят, в Ирландию; но прежде всего необходимо путем крупной победы добиться господства на море, а удастся ли это, далеко не ясно, так как морские силы у обеих сторон совершенно равные.

Большую радость доставило мне известие о том, что вы заключили мир с турками[3]. Здесь пронесся слух, что недолго ждать заключения мира между императором и королем прусским. Но пришли новые известия, совершенно это опровергающие. Истинного положения дел мы здесь, впрочем, все еще не знаем. В Европе, положительно, начинается всеобщий пожар,—ведь нам теперь угрожает Голландия!

О г. д'Эстене[4] достоверных известий нет, но на него возлагаются большие надежды. Г-н де Лафайет, как говорят, намерен совершить свой обратный путь под его эскортом; это будет с его стороны очень разумным решением, потому что море в настоящее время—большая дорога, кишащая разбойниками. Недавно приехала графиня Эстергази; здоровье ее попрежнему непрочно. Дочь ее очаровательна. Они поселились в Пьемонтском отеле, в тех самых комнатах, которые занимали вы. Прощайте, милостивый государь. Прошу вас верить моей сердечной и неизменной привязанности к вам.

Барбантан де Гюнольштейн

Копия.—«C. d. l'a.», лл. 137—139.

[1] 27 июля 1778 г. произошло морское сражение у острова Ouessant, в 43 километрах от Бреста.

[2] Arnould Софи (1744—1802)—знаменитая певица парижской оперы.

[3] В 1778 г. войны между Россией и Турцией не было, но положение было очень натянутое; правительство Екатерины II достигло некоторого успеха, принудив Турцию признать крымским ханом ставленника России, Шагин-Гирея.

[4] D'Estaing Шарль-Анри, граф (1729—1794)—адмирал; во время войны Франции с Англией командовал французским флотом у берегов Северной Америки.

XXXV. Г-жа НЕККЕР

Париж, 8 сентября 1778 г.

Истинное наслаждение доставила мне, милостивый государь, примиряющая философия, которой проникнута каждая строка любезного вашего письма. Я так и знала, что вы чрезвычайно преуспеете в своем отечестве именно потому, что вы не такой, как все, и знала я также, что сами вы окажетесь выше этих своих успехов. Вы изведали два противоположных образа жизни. В Париже вы наслаждались покоем, дружескими отношениями и независимостью, а я очень хорошо понимаю, как сладостно понемногу, без всяких потрясений приближаться к ожидающему всех нас концу. В Петербурге вы долго имели в своих руках власть,

ради которой нам приходится ставить свои дружеские отношения ниже забот о человечестве и, рассматривая людей, как нечто отвлеченное, иметь в виду человечество в целом. Тут приятные нам чувствования надо приносить в жертву чувствам более возвышенным, но именно тут-то те самые треволнения жизни, которые, мнилось, возносят нас выше нас самих, на самом деле дают нам лишь крылья, на которых мы быстрее прежнего мчимся к могиле.

Нынешнее ваше положение представляет собой середину между обеими крайностями. Вы обладаете достаточным влиянием, чтобы приносить пользу, но в то же время не несете ответственности за результаты этого влияния. Как бы ни были мы рады вновь видеть вас здесь и какого бы высокого мнения ни держалась я о силе вашего духа, в самом себе умеющего находить удовлетворение, я все же не решилась бы призывать вас покинуть такой двор, где государыня умеет отличать людей по их достоинствам и приковывать их к себе не чем иным, как только оделяя их милостями, и где вы можете содействовать царству разума, благодаря влиянию своему и образу мыслей, столь же свободному от предрассудков, как и плененному всеми добродетелями. В Париже вы, конечно, были бы окружены лаской, вы это знаете по опыту, но мне с моего места ясно видно, что нам нечем похвалиться перед другими столицами. Чем дольше я живу, тем больше вижу сходства между скоплениями людей и вентиляторами: они высасывают весь имеющийся в стране запас испорченного воздуха, и, сгущенный в одном месте, он еще более портится. Правда, что со времени войны я так и не научилась смотреть на вещи сквозь розовые очки. Среди того безумия и разрушения, которого мы были свидетелями, даже доставляемые обществом удовольствия стали казаться чем-то нелепым, и несмотря на всю склонность к литературе, я очень плохо теперь осведомлена о вновь появляющихся произведениях. Книгу г. де Лагарпа[1] я назвала бы прекрасным руководством по части вкуса. Появись она в век Людовика XIV, ей очень бы посчастливилось, но в наше время писатели наши слишком отдались свободе и даже своеволию, чтобы чувствовать потребность в каких-нибудь законах.

Вы, как оказывается, похищаете у нас последние и самые ценные памятники ума и духа Вольтера[2] и славите в Петербурге его память, тогда как в Париже она подвергается поруганию. Вот что называется гнаться за славой до самого Тартара*. А вот вам не приходится гнаться за ней так далеко,—она всегда и всюду сама за вами гонится. Мне очень хорошо известно, что она, подобно лафонтеновской фортуне, не дается тому, кто ее проспит, но сейчас она уже закована вами в цепи, и отныне, без дальнейших стараний с вашей стороны, вечно будет вашей рабой. Письмо, на которое я сейчас имею честь отвечать вам, милостивый государь, является единственным полученным мной от вас с того времени, как вы прибыли в Петербург. Я очень жалею о тех, которые затерялись, потому что сохраню на всю жизнь живую благодарность к вам за ваше доброе ко мне отношение, и мне искренно хочется выразить вам свою преданность и нерушимую привязанность.

К[юршо]-Неккер

Г-н Неккер свидетельствует вам свое почтение.

Автограф.—Всеукраинский исторический музей, Киев. «Альбом К. Собанской».

---

* Непереводимая игра слов: «Tartare» значит «Тартар» и «татарин».—*Ред.*

[1] Laharpe Жан-Франсуа (1739—1803)—известный французский драматург и критик, последний крупный теоретик французского классицизма. Автор знаменитого курса истории литературы «Le Lycée» (17 vv.). В течение длительного времени был литературным корреспондентом А. П. Шувалова и вел. кн. Павла Петровича (будущего Павла I).

[2] Намек на покупку Екатериной II библиотеки Вольтера.

XXXVI. Г-жа ТРОНШЕН[1]

Женева, 12 сентября 1778 г.

Меня только-что так порадовали, любезный генерал, дорогой государь мой и достославный камергер, что мне самой захотелось вас поздравить. Обо всем мне про вас сообщил русский, по фамилии г. Катишон, Катишу, Катиша. Его мне рекомендовал этот сумасшедший князь Белосельский, но лучшей рекомендацией ему была, в моих глазах, возможность поговорить с ним о вас, почему я и приняла его чрезвычайно любезно. Он с сожалением покидает Париж, отправляясь в Италию, куда назначен советником посольства; судя по его виду, он обставлен не лучше советников нашей республики.

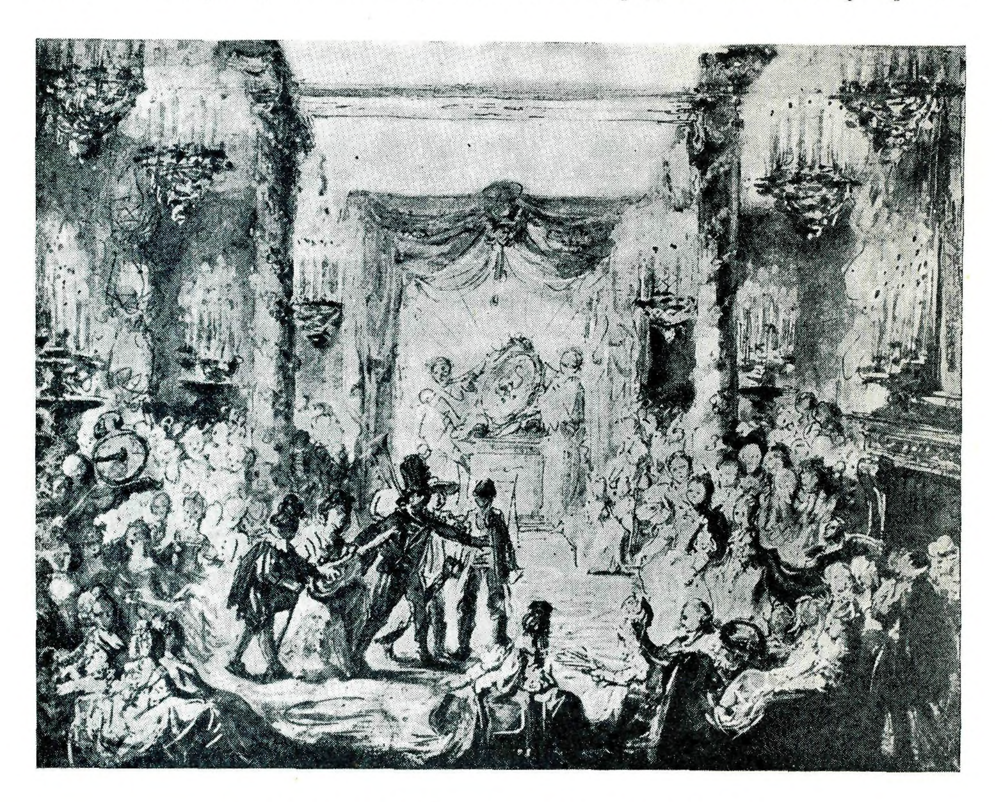
Не имея счастья быть у ног такой небесной императрицы, как ваша, я собираюсь вернуться в очаровательную нашу столицу. Уеду я, вероятно, в конце месяца: я здесь жду моего братца, который на-днях должен вернуться из своих больших путешествий, северных и южных. Обниму его и уеду. Я хотела бы видеть вас в Париже, если бы не знала, что на вашу долю выпало такое счастье. Я, наверное, увижусь с вашими приятельницами—маршальшами и всласть наговорюсь с ними о вас; я знаю, как вас тут любят, и скажу откровенно, с чисто гельветской прямотой, что любовь эта вполне заслуженная. Здесь мне любезно выражают сожаление по поводу моего отъезда из этой страны, окруженной горами, но поистине очень плоской*. Я имею в виду зимнее время, потому что лето нигде нельзя провести приятнее, чем здесь. Красивое озеро, великолепный вид на горы, загородные дома, как бы расставленные в определенном порядке рукой человека, любезные и образованные их обитатели—все это делает Женеву очаровательным летним местопребыванием; я поэтому в мае и собираюсь сюда вернуться. Я нужна сыну, который очень хотел бы, конечно, засвидетельствовать вам свое почтение. Беру на себя смелость утверждать, что он становится очень интересным человеком, и в случае, если ему когда-либо приведется ехать в Россию, я буду просить вас, милостивый государь, разрешить ему явиться к вам на поклон.

Я часто получаю письма от принцессы Монморанси и других моих знакомых. Они все еще не перестают доказывать мне, что помнят меня. Добрейший кардинал де Роган[2] прислал мне свой портрет. Слышали ли вы о том, какие огорчения доставила ему племянница его, принцесса де Рошфор? Она в монастыре и, вероятно, на всю жизнь; у нее родится ребенок, которым она беременна по 7-му месяцу. Вам незачем пояснять, какое это страшное горе для такой почтенной семьи. Г-жа де Монморанси только-что получила в наследство 800 тысяч франков; свою племянницу, проживающую в Брюсселе, она выдает замуж за князя д'Эльбёф. Императрица[3] дала разрешение на вывоз имущества, которым та владела в ее стране.

---

* Игра слов: «plat»—значит и плоский по форме, и пошлый, малоинтересный.—*Ред.*

Вчера я обедала среди тюков, участи которых завидую: это тюки с библиотекой великого, дорогого нашего Вольтера. Боже мой, как недостает мне его! Вам ведь известно, как хорошо он ко мне относился. Потеря столь редкостного гения будет всегда ощущаться. Ваша государыня дает прекрасное доказательство того, как она его ценила. Я обедала у моего дядюшки в Делис, в галлерее, где эти тюки сложены. Они будут отправлены в марте[4]. К тому времени к моему дяде должен прибыть г. Гримм. Дядя поручил мне напомнить вам о себе. Это достойный всяческого уважения философ и образованный человек. Ваша соотечественница, г-жа Крамер[5], также просила меня передать вам тысячу привет-



СЦЕНА ПРИДВОРНОГО ПРАЗДНЕСТВА. ВЫХОД МАСОК

Рисунок Г. Сент-Обена

ствий. Ее муж сопровождает в Париж герцогиню д'Овиль. Так как она великий эконом, ему нечего бояться этого пребывания с нею с глазу на глаз: с него ничего не потребуют. А вот нельзя ли мне, совсем не эконому, потребовать от вас сколько-нибудь обстоятельного письма, которое осведомило бы меня о состоянии вашего здоровья и обо всех ваших делах? Я имею право на все эти подробности, всегда важные для друзей, а разве найдется у вас друг более нежный, чем ваша Кошениль? Твердо верьте моей дружбе, милостивый государь, а также полной моей готовности выполнить все, что вам потребуется в Женевской республике.

Лаба Троншен

Г-н Троншен заверяет вас в своем почтении и сердечной преданности.

Копия.—«C. d. l'a.», лл. 170—173.

[1] Автор настоящего письма, г-жа Tronchin, была, повидимому, невесткой известного врача, Теодора Tronchin (1709—1781), и племянницей женевского юриста, Франсуа Троншена. Оба они были близкими приятелями Вольтера.

[2] Rohan Луи-Рене, князь де (1734—1803)—кардинал, замешанный в знаменитом деле с «ожерельем королевы».

[3] Императрица австрийская Мария-Терезия.

[4] Историю приобретения библиотеки Вольтера и перевозки ее в Россию см. в настоящем томе, в работе В. Люблинского «Наследие Вольтера в СССР», гл. IV, 166—177 (особенно ср. 165—166).

[5] Крамер, урожденная Веселовская—дочь Ф. П. Веселовского (о нем см. выше, стр. 267, прим. 1-е к предисловию).

XXXVII. КАРДИНАЛ ДЕ БЕРНИ

Рим, 5 ноября 1778 г.

Письмо ваше, граф, которым вы удостоили меня в истекшем октябре месяце, мною получено, и я незамедлительно начал подыскивать не видевшие печати старинные рукописи классических авторов, ввиду того, что совершенно бесполезно было бы приобретать списки с того, что уже напечатано и стало достоянием публики.

По прилагаемой описи вы увидите, с каких именно рукописей я мог бы, при большой затрате времени и денег, получить копии; вряд ли представляют они такой интерес, чтобы включать их в библиотеку вашей августейшей государыни, вот почему я приступлю к заказам лишь по получении ее распоряжений[1]. Все так называемые классические авторы уже напечатаны; очень приятно иметь самые оригиналы, но после их напечатания рукописные копии с них уже не представляют никакой ценности. Это совершенно напрасная затрата средств. Оставив в стороне классических авторов, можно найти очень интересные, еще не опубликованные рукописи. Но вам незачем пояснять, что ни здесь, да и нигде вообще не дадут разрешения делать списки с некоторых из этих документов. И тем не менее, быть может, не совсем невозможно приобрести кое-что одновременно и редкостное и любопытное. Императрица, при широте ее замыслов и возможностей, которыми она обладает, могла бы повелеть произвести изыскания в Греции, на Востоке, даже в Азии, в Китае и Индии; и хотя несколько государей до нее уже начали вспахивать это великое поле, все же, особенно в монастырях, наверное, остались очень любопытные вещи; собрать их было бы полезно для науки, а предоставить их в распоряжение ученых было бы делом, достойным вашей августейшей государыни. Мне представляется, что перед ней следует развертывать только широкие планы, ибо только они могут соответствовать широте ее ума. Книгопечатание уже исчерпало литературную сокровищницу нашей Европы; надо приняться за разработку иных рудников—за ее пределами.

Прошу вас передать ее императорскому величеству, что я припадаю к ее стопам и заверяю ее в своем горячем желании угождать ей и всячески содействовать выполнению благодетельных ее замыслов.

Огромное влияние ваше на августейшую эту монархиню является справедливой наградой за достоинства ваши, за возвышенный ум ваш и за то обаяние, которого исполнено общение с вами. Я этому влиянию радуюсь—за ваше превосходительство, ибо так давно и так сердечно вам предан, но позволяю себе, при этом, высказать, что милости, которыми оделяет вас императрица, ей самой делают, пожалуй, такую же честь, как и вам. Вам лучше, чем кому-либо другому, известны все опасности, с какими сопряжена жизнь при дворе; все они, однако, будут предотвра-

щены, благодаря достоинствам вашей государыни и вашей большой опытности.

Вам известно, что я всегда был сторонником сближения вашего двора с тем, к которому сам принадлежу. Все, что обещает способствовать этому сближению и усилению связи между ними, очень меня занимает и оживляет мои надежды. Шлю вам, граф, самые искренние свои пожелания и заверения в сердечнейшей и неизменной преданности.

Кардинал де Берни

Копия.—«C. d. l'a.», лл. 25—28.

[1] См. выше, письмо XXIX.

XXXVIII. Г-жа НЕККЕР

Париж, 18 ноября 1778 г.

На интересное ваше письмо, граф, я имела честь послать вам ответное с курьером князя Барятинского. Я достаточно глубоко чувствую, какую большую честь вы мне оказываете своим доверием. Но такое доверие никакими опасностями вам не угрожает. Чувства, вас одушевляющие, если бы стали известны, могли бы только увеличить общее уважение, которым вы пользуетесь; а если бы у вас были и тайны, то мое сердце не оказалось бы неверным их хранителем.

Когда вы уезжали, я уже предвидела, что милости и почести задержат вас в Петербурге. Императрица ваша обладает такой чуткостью к достоинствам и дарованиям людей, что не могла упустить ни одного средства, чтобы удержать вас при себе. Отличия, в таком изобилии вами полученные и столь вами заслуженные, лишают меня всякой надежды когда-нибудь вновь свидеться с вами в нашей стране. Нам приходится довольствоваться тем, что мы будем постоянно вспоминать о вас. Мне совершенно не нужны были видимые доказательства вашего дружеского ко мне отношения; оно в высшей степени служило мне к украшению и тогда, когда я еще не носила ваших соболей. Моя муфта приводит в восторг всех знатоков. Она вызывает у них такие восклицания, точно они угадывают, как она мне дорога. Но из всех редкостей как вашей страны, так и всех прочих самой большой редкостью и самой для меня ценной является уважение человека, который ни разу в жизни не злоупотребил своей огромной властью, который создавал счастье частных лиц и умел быть счастливым, когда сам сделался частным лицом,— уважение человека, не забывающего своих друзей даже на расстоянии тысяч льё от них, а к тому же способствующего делу просвещения во Франции, помогая великому Бюффону совершенствовать свои труды, на что последний непрестанно указывает.

Вы, оказывается, испросили у императрицы милостей для несчастного Руссо[1]. Вполне достойно вас такое движение души, всегда привлекательное, но особенно полное благородства, когда его предметом является судьба великого человека.

Мне случайно привелось иметь в руках в течение всего нескольких дней его мемуары[2]. На мой взгляд, это попытка осуществить совершенно необыкновенный замысел—попытка раскрыть не человеческое сердце вообще, а обнажить до конца сердце отдельного человека. В полную противоположность Монтеню[3], умевшему находить в изгибах своей души черты общие всем людям, Руссо выискивал в себе только странные мысли

и чувства, представляющие какой-нибудь интерес лишь благодаря той капле нектара, которая всегда стекала с кончика его пера, лишь в силу глубокой чувствительности, сближавшей его с людьми даже в те минуты, когда он, повидимому, особенно отдалялся от них. Тот, кто вглядится в это изображение, столь правдивое и волнующее, уже не будет удивляться недоверчивости и подозрительности Руссо, ибо не было в нем ничего, что могло бы служить для него мерой, не было у него никакой возможности произнести положительное суждение. В высшей степени любопытны поэтому эти мемуары. В них мы видим ребячески-наивную восторженность по отношению к мелочам, которые были бы недостойны пера такого писателя, если бы это перо не умело придать им такую красоту. И видим, как не меньшее значение приписывается всем безумствам зрелых годов. Эта правдивая передача первоначальных наших представлений, которые у писателей обыкновенно исчезают под влиянием размышлений, чрезвычайно поучительна и прекрасно выясняет и происхождение и постоянное развитие как таланта его, так и душевного его склада.

Я собиралась поговорить с вами о войне, но надо бросать перо. Князь сообщает, что отправляет курьера. Письмо мне приходится кончить, но не будет конца заслуженным вами чувствам уважения и привязанности со стороны двух лиц, сердечнее, чем кто-либо в нашей стране, вам преданных и к вам расположенных.

К[юршо]-Неккер

Автограф.—Всеукраинский исторический музей, Киев. «Альбом К. Собанской».

[1] Руссо умер 2 июля 1778 г. Остается неясным, когда именно и о чем ходатайствовал Шувалов относительно Руссо перед Екатериной II.

[2] «Мемуары» Ж.-Ж. Руссо—его знаменитая «Исповедь» («Confessions»), в то время еще не изданная.

[3] Montaigne Мишель (1533—1592)—известный писатель-скептик, автор знаменитых «Essais».

XXXIX. ГРАФ ДЕ КАРАМАН

Париж, 19 ноября 1778 г.

Какой великолепный подарок, граф! Никогда в жизни не приходилось мне видеть таких чудесных соболей и таких безупречных горностаев. Мы будем щеголять в дарах ваших щедрот. Ставки пари, вами предложенного, поистине не были равны, ибо никогда бы не могла Шампань дать вина столь превосходного, как превосходен этот мех. Разрешите же всей нашей семье, получающей от вас такие знаки внимания, присоединившись ко мне (хотя бы на портрете), почтительнейше выразить вам нашу общую благодарность. Это и есть то «посещение», о котором предупреждала вас г-жа де Караман,—посещение, которое нам очень хотелось бы осуществить в действительности. Вы тут увидите растущий в Буасси платан, стол для чаепития; узнаете знакомый вам сад, который вам так нравился и где так часто будет теперь недоставать вас друзьям вашим. В этом отношении мы питаем лишь слабую надежду, но сохранять хотя бы бледный ее луч все же лучше, чем впадать в полную безнадежность.

Мы разделяем с вами, граф, то удовлетворение, которое, наверное, доставляют вам столь заслуженно получаемые вами отличия. В России это, без сомнения, всеми приветствуется, а все те, кому на долю выпала честь встречаться с вами во Франции, как бы заодно с вами испытывают чувство признательности; но неужели же им так и не придется вновь увидеться с вами?

КАРДИНАЛ ДЕ БЕРНИ

Гравюра Д. Кюнего с портрета А.-Ф. Калле

Европа, мне кажется, вступает в период долгого и всеобщего замирения. Вы накануне соглашения с Портой[1]; у короля прусского и императора прошел их первоначальный пыл, и нынешней зимой они, вероятно, придут к соглашению. Позиция, занятая Испанией, очень благоприятствует заключению нашего договора с Америкой и Англией[2]. Потеря или приобретение пятидесяти кораблей может в данном случае произвести определенное впечатление. Одна из двух наций хочет мира, другая не склонна вести войну, которую, можно сказать, сама же и затеяла. Наш флот идет вперед гигантскими шагами; моряки наши совершенствуются в своем искусстве; наша артиллерия превосходит английскую; и если они допустят развитие наших морских сил до степени, которую они, вероятно, считали невозможной, им придется, пожалуй, пожалеть, что они сами же нас на это и вызвали; таким образом, все желают мира, и мир будет заключен.

Дух времени слишком проникнут философией и бережливостью, чтобы мыслимы были такие крупные расходы, когда силы так уравновешены, что могут только сталкиваться друг с другом, без решительного перевеса на чьей-либо стороне. В наше время война является лишь несоразмерным расходованием государственных средств; этой истиной мы обязаны господству философского духа, благодаря которому войны станут вскоре столь же ненавистны, как крестовые походы.

На море неудачи наши уравновешиваются удачами: мы взяли Сан-Доминго, захватили много корсарских и транспортных судов, четыре военных фрегата, а сейчас, по слухам, взяли и пятый, но потеряли много коммерческих кораблей, большая часть которых была, надо заметить, застрахована у английских банкиров. Я только-что совершил поездку по всей Франции, и война нигде совершенно не чувствуется; все говорит об изобилии и усиленной хозяйственной деятельности, и если кое-кто из наших негоциантов и обанкротится, то с сельским хозяйством этого отнюдь не произойдет.

Все, кем вы, граф, интересуетесь, находятся в добром здравии. M-lle Клэрон[3], наверное, горько оплакивает смерть г. де Вальбеля, которого поразил апоплексический удар в помещении военного министерства, после чего он жил не более двух часов.

Герцог Шартрский покидает флот и получает должность полковника легкой кавалерии, для него созданную. Прибавлю к сказанному, что мы ожидаем появления на свет драгоценного для Франции младенца. Других новостей у меня нет. Примите, граф, выражение самой искренней, самой нежной и нерушимой преданности, сохранить которую до гроба клянется

Граф де Караман

Копия.—«C. d. l'a.», лл. 54—57.

[1] В 1778 г. отношения между Россией и Турцией настолько обострились, что грозили разрывом; однако, в марте 1779 г. было заключено между ними соглашение (главным образом, о Крыме), устранившее опасность войны.

[2] Соглашение между Англией, Францией и Соединенными штатами не состоялось, и американская война окончилась только в 1783 г. признанием независимости Соединенных штатов.

[3] Clairon Клэр (1723—1803)—знаменитая трагическая актриса, особенно высоко ценимая Вольтером. Не менее, чем артистическими успехами, Клэрон славилась галантными похождениями.

XL. ГРАФ ДЕ ТРЕССАН[1]

[Не ранее июня 1778 г.][2]

... Граф, вы, сочетавший философию [Абарэ] с отвагой Одина, с добродетелями мудреца, воплотивший ум и обаяние всех наций, вы должны простить мне мое желание предаться игре воображения; не достаточно ли времени посвятил я мемуарам на пользу военного дела и академий наук, чтобы позволить себе позабавиться и сочинением сказок? Я возымел желание отнять у испанцев Амадиса Галльского, сочиненного, как я в том уверен, нашими французскими повествователями времен Филиппа-Августа. Все многословные и пространные продолжения Амадиса я уступаю испанцам, но что касается Амадиса Галльского, то я решил установить за французами право собственности на этот прекрасный роман. Убедительно прошу вас, граф, стать посредником между давно и всегда готовым к вашим услугам человеком и ее императорским величеством. Найдется ли хоть один мыслящий человек, который не пожелал бы так или иначе выразить ей свое почтение и преклонение перед ней? Старого друга моего, Вольтера, уже нет. Только вы, граф, и можете на мгновение приблизить меня к подножию трона героини и законодательницы Севера. Вы оказали бы мне большую честь и очень бы меня одолжили, если бы отозвались ей обо мне, как о человеке, исстари готовом служить вам. Да удостоится ее милостивого отношения мой вольный перевод романов об Амадисе и да признает она, что он написан тем слогом, которым вы в таком совершенстве владеете и образец которого я еще раз хотел бы получить от вас.

Имею честь быть и пр.

Граф де Трессан, генерал-лейтенант французской армии и член королевских академий наук парижской, лондонской, берлинской, эдинбургской и т. д. и т. д.

Копия.—Государственный архив феодально-крепостнической эпохи (ГАФКЭ), Москва. Рукописная биография И. И. Шувалова.

a Rome le 4 9bre 1773.

J'ay reçu Monsieur, par M. le Baron Chenguden la Lettre que vous m'avés fait l'honneur de m'ecrire le mois de 7bre dernier, elle ne m'a été remise que depuis quelques jours. votre ex.ce ne peut pas douter de l'attention que j'aurai toujours pour ses amis et pour ses compatriotes, celui qu'elle a daigné de me faire connoître me paroit fort aimable. Je m'estois flaté, mon cher general, de vous posseder encore ici cet hyver, vous auriés mieux aimé donner la préférence à nos provinces méridionales, lorsque je ne pourrois vous en faire les honneurs. malgré cela, mes voeux vous suivront partout, et je desirerai toujours de pouvoir jouir encore de votre société et de donner à votre excellence des preuves de mon ancien et inviolable attachement.

Le Card. de Bernis

Je vous prie de m'envoier de votre nouvel illustre confrere M. de Voltaire que je l'aime et l'admire toujours.

АВТОГРАФ ПИСЬМА КАРДИНАЛА ДЕ БЕРНИ К И. И. ШУВАЛОВУ ОТ 4 НОЯБРЯ 1773 г.

Центральное архивное управление Узбекской ССР, Ташкент

[1] Tressan Людовик, граф де (1705—1783)—военный деятель и писатель, занимавшийся изучением и воскрешением старофранцузской и провансальской средневековой поэзии, находившейся в XVII—XVIII вв. в полном забвении; автор целой серии пересказов (exposés) рыцарских романов (публиковались в серии «Bibliothèque des Romans» в его «Œuvres choisies», P., 1788—1791, 12 vv.), переводчик поэмы Ариосто «Orlando furioso» и др.

[2] Из содержания письма видно, что оно адресовано Шувалову в Петербург после его возвращения в 1777 г. и написано после смерти Вольтера (30 мая 1778 г.). Более точной датировке не поддается.

XLI. ГРАФ ДЕ КАРАМАН

Париж, 27 января 1779 г.

Величайшую радость, граф, доставило мне письмо, которым вы меня удостоили. Оно позволяет мне питать некоторые надежды на возможность увидеться с вами, но надежды эти куплены опасениями за ваше здоровье. Нет никакого сомнения, что мягкий климат наш гораздо более соответствует вашей натуре, с трудом выносящей холод. Я очень рад, что небольшая картинка моя доставила вам некоторое удовольствие. Замысел ее принадлежит г-же де Караман и выполнен в намерении засвидетельствовать этим скромным преподношением нашу вам преданность.

Вы, как говорят, собираетесь установить мир среди воюющих германских государей[1]. Голландия сохраняет свой нейтралитет. Мы, в свою очередь, постараемся указать Англии подобающее ей место и убедить, наконец, эту почтенную и надменную нацию, что море—общее достояние, а не чья-нибудь держава. Тогда для всего человечества настанет мирное существование, белый флаг появится на Темзе, а красные флаги—на реке у Бордо. Исключительное себялюбие вызывает всеобщее возмущение и приводит к печальным последствиям для тех, кто его проявляет; к таким же последствиям приводит и исключительное властолюбие. Будем управлять каждый своим достоянием и свободно обмениваться излишками—вот чего требуют американцы, и этому требованию придется пойти навстречу!

О г. д'Эстене[2] известий у нас нет; полагаем, однако, что дела его хороши; подкрепление ему все же посылаем. Г-на де Терне мы направляем в Ост-Индию, г. де Нассау[3]—в Африку и безостановочно продолжаем строить корабли. В этом году их у нас будет около 80. Арматоры наши также начинают объединяться, что, конечно, полезно. К тому же, и двор наш попрежнему себе верен: король стремится к благу своих подданных, подавая пример в соблюдении порядка и бережливости. Он очень любит Мадам—старшую свою дочь; вскоре, надо надеяться, подарит он нас и дофином.

Речь об остальном я откладываю до следующего письма к вам, граф: курьер отправляется сегодня, и здесь я могу только еще раз засвидетельствовать вам верную и неизменную свою преданность. Все семейство мое единогласно заверяет вас в наилучших чувствах, постоянно к вам питаемых.

Граф Караман

Копия.—«C. d. l'a.», лл. 52—53.

[1] В начале 1779 г. Екатерина II взяла на себя роль посредницы между Пруссией и Австрией в их войне из-за «баварского наследства». 10 марта открылся в Тешене конгресс, положивший конец этой войне.

[2] См. о нем выше, прим. 4-е к письму XXXIV.

[3] Nassau-Siegen Карл, принц (1745—1805)—известный путешественник и авантюрист, участник войны Франции с Англией, впоследствии вице-адмирал русской службы.

XLII. КАРДИНАЛ ДЕ БЕРНИ

Рим, 27 марта 1779 г.

Я получил, милостивый государь, письмо, которым вы удостоили меня 1-го числа прошлого месяца. Те ватиканские рукописи, которые до сих пор не напечатаны или не изучены в существенной своей части учеными, без сомнения, окажутся совершенно неинтересными для библиотеки августейшей вашей государыни; лучше было бы снабдить эту библиотеку хорошими книгами, чем копиями с копий рукописей, только по древности своей представляющих какой-нибудь интерес и значение. Если бы о собирании остатков прекрасной древности позаботились в то время, когда русские войска находились в Греции, императрица могла бы, бесспорно, оказать великую услугу наукам и искусствам. Но при свойственном ей вкусе к прекрасному, ей еще не раз представится случай это сделать.

В прошлом месяце я лишился умного и добродетельного аббата [неразб.], к которому в течение тридцати лет питал полнейшее доверие. Я был глубоко огорчен этой утратой, и весь Рим сумел показать, как ценили его заслуги.

Вот уже две недели, как здоровье папы внушает нам сильные опасения[1]. Ему шесть раз делали кровопускание, ввиду общего ревматизма, грозившего воспалением; со вчерашнего дня он чувствует себя лучше, и теперь уже можно надеяться, что мне не придется участвовать в конклаве.

Племянница моя, здоровье которой все еще очень ненадежное, поручает мне передать вам всяческие пожелания и особенно просит вас не пренебрегать заботами о здоровье, которого мы с ней оба искренно вам желаем.

Я в восторге от мудрости вашей государыни: человечество будет ей обязано водворением мира на Севере[2]. Пожелаем же, чтобы примером высокой мудрости и просвещенности и добродетелями своими ей удалось научить людей любить мирную жизнь, двигать вперед земледелие, искусства и торговлю, не покушаясь на свободу, свойственную людям вообще и определяемую положением и потребностями каждого из них.

Прошу ваше превосходительство принять уверение в неизменном уважении, любви и искренней преданности, которые больше всех на свете питает к вам

Кардинал де Берни

Автограф.—Центральное архивное управление Узб. ССР, Ташкент. Бывш. собрание автографов в. к. Николая Константиновича.

[1] Папа Пий VI умер только в 1799 г.
[2] См. прим. 1-е к предыдущему письму.

XLIII. ГРАФ ДЕ КАРАМАН

Париж, 11 июня 1779 г.

Мне удалось, наконец, граф, найти такого повара, какой, по моему мнению, нужен маршалу Разумовскому[1]: это брат старшего повара князя Конде, а рекомендован он мне самыми опытными и почтенными представителями этого рода искусства. Он производит впечатление человека с хорошим характером; произведенное же мной испытание показало, что он в своем деле не уступит первым парижским поварам.

Меня недавно назначили в распоряжение генерал-лейтенанта графа де Во[2] для участия в экспедиции, которую держат втайне и снабженной,

по распоряжению короля, большим количеством судов. Граф д'Орвилье[3] 3-го числа этого месяца вышел в море с 28 кораблями и 9 фрегатами и 4-го вечером скрылся из виду. К нему, по всей вероятности, на широте мыса Финистер присоединятся 20 испанских кораблей под командой дона Гастона, лучшего адмирала испанского флота. Г-н д'Орвилье назначен маршалом и будет командовать объединенной эскадрой. Испанский посол в Лондоне, маркиз д'Альмадовар, отозван.

У англичан в гаванях находятся 15 плохо вооруженных кораблей, под командой адмирала Гарди; 6 кораблей, под начальством адмирала Арбютнота, служат эскортом 300 судам, направляющимся в Америку, и я склонен полагать, что они уже захвачены либо г. д'Орвилье, либо испанским флотом, если только не повернули курса круто на запад; адмирал Дерби с 10 кораблями должен был эскортировать адмирала Арбютнота до мысов и далее, но, как говорят, вернулся в Торбей, ввиду слухов, что сама Англия находится под угрозой.

Таково, граф, положение вещей. На побережьях наших у нас 50 тысяч человек, во флоте обоих королевств насчитывается 50 кораблей и не менее 20 фрегатов; в Вест-Индии у нас будет 24 корабля с 13 тысячами человек, два корабля в Ост-Индии, еще два для секретных экспедиций—и, при всем том, у нас в руке оливковая ветвь на тот случай, если будут предложены разумные условия мира.

Все мое семейство в добром здравии и имеет честь слать вам тысячу приветствий, а я имею честь еще раз заверить вас в своей неизменной преданности.

Граф де Караман

Копия.—«C. d. l'a.», лл. 62—63.

[1] Разумовский Кирилл Григорьевич, граф (1728—1803) — фельдмаршал, украинский гетман.

[2] Vaux Ноэль (1705—1788)—«усмиритель» Корсики в 1769 г., с 1783 г.—маршал Франции.

[3] D'Orvilliers Людовик, граф (1708—1792)—адмирал; в 1779 г. произвел неудачную попытку высадки в Англии.

XLIV. ГРАФ ДЕ КАРАМАН

Сен-Мало, 8 июля 1779 г.

С тех пор, как я имел честь в последний раз писать вам, граф, картина изменилась. Граф д'Орвилье соединился с испанцами; в тот же день из порта в Кадиксе вышли 32 испанских корабля, из которых 11 имели назначение присоединиться к нашему флоту, а к нему еще ранее уже присоединились 9 испанских кораблей из Ферроля. Теперь у нас насчитывается 50 линейных кораблей[1]. Адмирал Гарди с 31 линейным кораблем находится у входа в Ламанш. Это число всячески стараются довести до 38, вооружая совершенно плохие суда, оставшиеся в Портсмуте, и сажая на них самый плохой экипаж. Если г. д'Орвилье удастся нанести поражение адмиралу, мы выйдем в море из Гавра, Сен-Мало и Дюнкирхена с силами в 40.000 человек, вслед за которыми дополнительно отправится еще 20 тысяч. Таким образом, очагом войны станет Англия; но все войска наши немедленно покинут ее пределы, как только будет признана независимость Америки и море будет отдано в распоряжение всей Европы, а не одних англичан. Посадка на корабли уже закончена и все в полном порядке. Дивизия, к которой я принадлежу, состоит в распоряжении графа де Ланжерона; в ней 15 тысяч человек пехоты и восемьсот конницы,

и это в одном только Сен-Мало. Если десант будет осуществлен, то вот вам, граф, величайшее событие изо всех когда-либо на земле происходивших. В средствах у нас недостатка нет, ибо мы только-что получили взаймы от Голландии 83 миллиона по 3½%. Франция никогда не знала такого процветания и никогда не делала столь искренних мирных предложений.

Ваше здоровье меня беспокоит: приезжайте подышать чистым здешним воздухом. Семья моя была бы очень рада повидаться с вами, а больше всех был бы рад я. Сейчас вы, быть может, и живете в прекрасной стране, в стране, к которой вы привязаны, но в холодном климате, совершенно для вас неподходящем. У нас климат умеренный. Вы застанете нас в мирной обстановке и увидите нас более занятыми сельскохозяйственными проектами, нежели военными планами, ибо не могу я себе представить, чтобы наша распря с англичанами не закончилась нынешней зимой.

Примите, граф, уверение в преданности покорнейшего вашего слуги.

Граф Караман

В морской поход я беру с собой и сына.

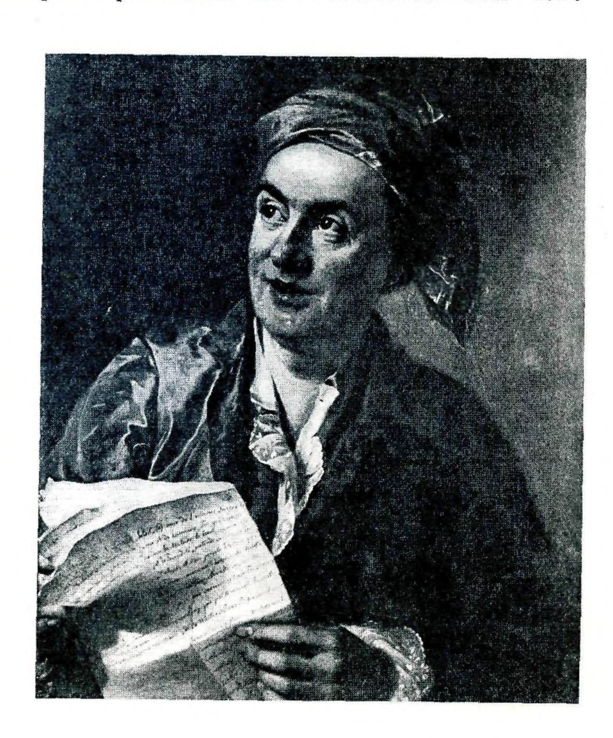
Копия.—«C. d. l'a.», лл. 64—65.

[1] В 1779 г. Испания, присоединившись к Франции, вступила в войну против Англии.

XLV. НЕККЕР[1]

Париж, 11 ноября 1779 г.

Полученные от вас, граф, доказательства, что вы нас не забываете, преисполнили нас величайшим сочувствием к вам и благодарностью. Всякий, кому привелось узнать вас, принимает близко к сердцу выпавшее на вашу долю счастье. В Париже вас так полюбили, что не простили бы вам вашего отъезда, если бы не признавали вполне естественными и разумными те чувства, которые призывали вас к блистательной пове-



МАРМОНТЕЛЬ
Портрет маслом А. Рослина, 1767 г.
Луврский музей, Париж

лительнице вашей, служить которой было бы лестно для каждого, если бы она и не находилась на престоле. Г-н Гримм отзывается о ней так же, как и вы. Голос придворных только подтверждает господствующее о ней мнение.

Имею честь быть, граф, почтительнейше преданным вам и пр.

Неккер

Копия.—«C. d. l'a.», л. 69.

[1] Necker Жак (1732—1804)—см. о нем прим. 2-е к письму XXII.

XLVI. ГРАФ ДЕ КАРАМАН

Париж, 24 ноября 1779 г.

Мы опередили ваши желания, граф. Мы несколько обеспокоили в этом году Англию, но не завоевали ее, как вы опасались. Наши войска на зимних квартирах, а главный штаб наш в Ренне, в Бретани. В храбрости у англичан недостатка, конечно, нет, и средств у них еще много, но мы все же показали им, что в рукопашных схватках мы им в храбрости не уступаем; а что средства для дальнейшего ведения войны, если им угодно ее продолжать, у нас неистощимые—это им прекрасно известно. Вскоре мы овладеем входом в Средиземное море. Мы сильно тесним гарнизон Гибралтара, и я уже держал пари, что он сдастся еще до января 1780 г., если только не получит подкреплений[1]. Г-н д'Эстен отправился во главе большой экспедиции на Нью-Йорк. С нетерпением ждем мы известий о ней. Имеются благоприятные для нас слухи, но достоверного пока ничего нет.

Что касается меня, то ввиду того, что зимой мне нечего делать, я вернулся к себе и занял то место, которое занимаю на картине, которую вам угодно было принять от меня, и счастлив, как всегда, когда вернусь домой. У меня два внука, а теперь еще и внучка; зять мой, виконт де Сурш, произведен в подполковники австразийского полка. Эта милость очень его обрадовала, но она лишает его удовольствия проводить зиму в Париже, так как его полк расположен в Иль-де-Франс.

Я очень огорчен, граф, что повара, которого я имел честь направить к маршалу Разумовскому, пришлось рассчитать. Нисколько не сомневаюсь, что будут выполнены все обязательства, принятые мною от имени графа по отношению к этому повару, которого я лишь с большим трудом уговорил покинуть родину. Этот пример несколько отобьет у нас охоту пускаться в путешествия.

Что воздух Парижа вам необходим, в этом я уверен, или, по крайней мере, хочу в это верить. Старым вашим друзьям очень было бы приятно вновь с вами встретиться и возобновить перед вами, граф, уверения в неизменной на всю жизнь своей преданности.

Граф де Караман

Все мои близкие в один голос поручают мне передать вам, граф, свои приветы и пожелания.

Копия.—«C. d. l'a.», лл. 50—52.

[1] Гибралтар, осажденный в 1779 г. французскими и испанскими войсками, не сдался им и, по миру 1783 г., остался за Англией.

АДМИРАЛ Д'ЭСТЕН

Внизу изображен эпизод американской войны — взятие французами у англичан острова Гренады, 1778 г.

Гравюра неизвестного художника конца XVIII в.

XLVII. ГРАФ ДЕ КАРАМАН

Буасси, 27 августа 1780 г.

Ваших друзей, граф (а в их среде я на первое место поставлю себя, в уверенности, что вы мне в этом не откажете), очень тревожит состояние вашего здоровья. Нам известно, что вы были нездоровы, но сами вы никому об этом не сообщали. Графиня Шувалова, и та не получала от вас вестей. Мы настоятельно просим вас поэтому успокоить нас.

После того, как я имел честь отправить вам свое последнее письмо, состоялось назначение второй моей дочери, г-жи де Сурш, в свиту графини д'Артуа что очень ее порадовало, так как на той же службе состоит и ее сестра. Меня король удостоил звания командора ордена св. Людовика. Вот и все новости, относящиеся до семьи, которой вы всегда оказывали столь дружественное расположение.

В случае, если будет война, глава этой семьи, получивший при производстве недавних назначений чин генерал-лейтенанта, постарается дослужиться до высшего чина; а если войны не будет, он удовольствуется положением командующего провинциальным военным округом.

Ваша приятельница Полина переросла своих сестер и хорошеет по мере того, как растет, чем подтверждается правильность сделанного вами выбора. Этой зимой мы выдадим ее замуж.

Что касается общего положения дел, то англичане очень мужественно обороняются; расположение наших сил очень удачно, мы сильны в Вест-Индии и Америке; в окрестностях Кадикса у нас мощная армия, но я предпочел бы видеть ее в Ламанше. Адмирал Джери все еще крейсирует, дожидаясь, чтобы его погнали. Ваши суда плавают в Ламанше, и дай бог, чтобы какая-нибудь отчаянная голова не присоветовала совершить безумное дело, вредное в настоящую минуту для нейтральных держав,

но впоследствии еще более вредное для самой Англии, так как это вскрыло бы всю чрезмерность ее домогательств. Полагаю, что г. Питт[1] был бы способен на подобную выходку.

В делах внутренних у нас попрежнему все идет хорошо. Благодаря справедливой, мягкой и экономной своей власти, несмотря на длительную и обременительную войну, Франция переживает годы процветания.

Прошу вас, граф, принять уверения в неизменной и сердечной преданности.

Граф де Караман

Г-жа Караман, как и все наше семейство, просит засвидетельствовать вам свою преданность. Г-жа дю Деффан очень больна.

Копия.—«C. d. l'a.», лл. 65—67.

[1] См. о нем прим. 2-е к письму XX.

XLVIII. ГРАФ ДЕ КАРАМАН

Париж, 27 января 1781 г.

Величайшее удовольствие, милостивый государь, доставило мне письмо, которое вам угодно было отправить мне 26 декабря. Я был обеспокоен, и совершенно правильно, состоянием вашего здоровья. Теперь я несколько успокоился. Моя мечта — чтобы врачи предписали вам воздух нашего умеренного климата; я имею честь писать вам у открытого окна, при прекрасной солнечной погоде. Для здоровья, на мой взгляд, ничто не может быть полезнее.

Вероломная Полина выходит замуж за виконта де Водрёйля—молодого человека из старинного и хорошего рода. Он приходится племянником главному сокольничьему Франции и носит одно с ним имя. Королева соблаговолила участливо отнестись к этому браку. Состояние его сейчас незначительно, зато будущее сулит многое, сам же он—великолепен. У него очень приятная внешность, и легкомысленная Полина, хотя и не забывает, чем обязана вам, и сохраняет свою к вам привязанность, неравнодушна к ухаживанию своего жениха. Она похорошела от счастья и всем нравится. Свадьба состоится только в мае месяце.

Король удостоил меня назначения на должность помощника командующего на территории трех епископств, под начальством моего дяди, маршала де Брольи[1]. Это одно из лучших положений в нашей армии, и оно вполне меня удовлетворяет. Я был также назначен начальником одного из четырех комитетов, образованных, по приказу короля, при маршале де Контаде[2] для всестороннего пересмотра и усовершенствования нашего воинского управления. Таким образом, как видите, занятий у меня не мало. К тому же г-жа де Караман, как и вся моя семья, вполне здорова, что также способствует моему счастью.

Весьма важным событием на пути к водворению всеобщего мира является образование морской лиги для установления равенства на море[3]. Грозное властолюбие Англии всегда проявлялось с особой силой в моменты, когда эта страна переживала особенно большие затруднения; не трудно, поистине, понять, какие преимущества сулит ее возвышение, когда она начинает видеть врагов в самых старинных своих друзьях, как только они не идут навстречу честолюбивым ее домогательствам. Необходимо искоренить подобные политические идеи, иначе ни один престол не может считаться прочным.

У нас хороший флот, недостатка в средствах у нас нет, а планы кампании таковы, что, надеюсь, заслужат ваше одобрение.

Примите, милостивый государь, поклоны и пожелания от всей моей семьи, а заодно с ними и заверения в преданности от верного вашего друга.

Граф де Караман

Копия.—«С. d. l'a.», лл. 102—104.

[1] См. прим. 1-е к письму XXXIII.

[2] De Contades Людовик-Жорж (1704—1793)—маршал Франции.

[3] «Лига вооруженного нейтралитета» для защиты свободы мореплавания нейтральных судов, образованная по инициативе России в 1780 г. и направленная против Англии; в нее вошли Россия, Швеция, Пруссия и Дания.

XLIX. Г-жа НЕККЕР

9 октября 1781 г.

Письмо ваше, милостивый государь, дошло до меня как раз к тому времени, когда обстоятельства заставили г. Неккера подать в отставку[1]. Враги его так успешно строили против него свои козни, что приходилось либо отказаться от направленной к добрым целям деятельности и, трусливо поступившись своим достоинством, сохранить за собою свой пост, либо обеспечить себя такой силой сопротивления, которой не пожелали его наделить. Последнее обстоятельство, вероятно, изумит вас, как оно всех здесь изумило, в том числе нас самих. Предоставляю вам поразмыслить о нем. Вы слишком хорошо знаете и жизнь и людей, чтобы не догадаться о том, о чем мне нельзя вам писать. Финансы передаются г. Неккером в таком состоянии, в каком они не бывали ни при одном министре, даже во времена полного мира. Постоянные расходы не превышают поступлений; ресурсы для постоянных и чрезвычайных расходов обеспечены на этот год и на часть будущего года. Я считала, что доброе и лестное для нас отношение ваше к нам обязывает меня посвятить вас в эти детали. А я с радостью вверила бы вашей дружбе не мало и других.

Имею честь приложить к этому письму отчет[2]. Это свидетельство о безупречной совести министра, как видите, не очень-то сильно подействовало на совесть его клеветников. Но кому же, как не вам, известны непоследовательность человеческая и превратности, связанные с высоким положением! Как никто, умеете вы наслаждаться всеми прелестями частной жизни и завоевали себе такое же уважение общества, каким ранее пользовались, благодаря влиянию вашему на политику огромной державы.

Я сейчас еще несколько взволнована новыми, сделанными мной открытиями, ибо наблюдения над явлениями морального порядка приводят иногда в большее изумление, чем наблюдения над явлениями физическими. Волнение мое отразилось в этом письме; но если мои мысли в беспорядке, то сердце мое спокойно. Вот почему в нем возникло воспоминание о чистом вашем облике, и мной овладело желание написать вам. Вам известно, что наши сожаления о разлуке с вами прекратятся лишь тогда, когда мы снова увидимся. Если занятия ваши позволят вам вновь посетить нас, вы окажетесь среди целой нации друзей и поклонников.

Примите наши с г. Неккером пожелания и приветы.

Автограф.—Всеукраинский исторический музей, Киев. «Альбом К. Собанской».

[1] Отставка Неккера (май 1781 г.) была вызвана тем, что он опубликовал государственный бюджет, разоблачивший злоупотребления двора.

[2] «Отчет»—знаменитый «Compte-rendu de M. Necker».

L. АББАТ ГАЛИАНИ

Неаполь, 12 февраля 1782 г.

Несравненный друг мой, география и хронология, при всей свойственной им злокозненности, очевидно, никак не могут отдалить вас от меня. Ни огромное разделяющее нас пространство, ни уходящее год за годом время не расхолаживают вашего дружеского ко мне отношения. Все с тою же сердечностью вспоминаете вы обо мне, шлете столь же искренние приветы и, что еще существеннее,—подарки. В двух первых пунктах я нисколько вам не уступаю, но про меня можно бы сказать то же самое, что сказано про Людовика XIV: «Из трех дел, что совершены Цезарем, нехватает только третьего»[1]. Муфту доставил мне по вашему поручению камергер князь Юсупов[2]. Подивитесь же моей простоте и полному невежеству по части шкур мертвых животных (ибо по части шкур живых я далеко не так несведущ): я до сих пор имел представление лишь о шкурках мертворожденных ягнят, завитых или курчавых, и никогда не видел гладких шкурок [damasquées] (если их так называют). Я и вообразил, что муфта страшно попорчена дождем и перевозкой, и пришел в полнейшее отчаяние. Спешно посылаю я за меховщиком, чтобы помочь беде. Каково же было мое удивление, когда мне сказали, что это так от природы и что вещь именно этим особенно и ценна. Позвольте же выразить вам благодарность, соответствующую и ценности самого подарка и значению его для меня, как знака вашей обо мне памяти, чем он особенно для меня дорог.

Вышепоименованный князь передал мне о вас две вещи: одна из них очень неприятная, зато другая восхитительна! Он сообщил мне, что прошлым летом вы перенесли страшную болезнь—такова скверная весть; а хорошая состоит в том, что вы от этой болезни избавились и что состояние вашего здоровья, советы врачей, а может быть, отчасти и мои пожелания побуждают вас вернуться в Италию. Так и поступайте — возвращайтесь! Здесь умирают только от наслаждений, а мы постараемся не пресыщать вас ими. Не воображайте, что от Петербурга так уж далеко до Неаполя. Приходится, правда, проехать всю Польшу, зато остальное — совершенные пустяки.

Третьего дня умер князь Франкавилла. Ему бы надо быть счастливейшим из людей, так как он был лучшим среди нас. Но для счастья нужно быть не столько хорошим, сколько предусмотрительным.

В пятницу вечером сюда прибыли граф и графиня Северные[3]. Королевская чета[4] выехала им навстречу и с полной сердечностью приняла их в свои объятия. То, что я вам говорю,—истинная правда. И если не все поверят этому правдивому сообщению, то вы-то, зная душевные свойства короля и королевы, ему поверите, конечно.

В субботу я удостоился чести быть им представленным самой королевой. И мне был оказан до такой степени милостивый прием, что это вскружило мне голову. Но так как нет роз без шипов, то я уже жду, что иные из отечественных умников не простят мне такой чести, как не могли они простить мне чести, оказанной эрцгерцогом и эрцгерцогиней Миланскими. Я сейчас работаю над сочинением о правах нейтральных государств[5], но оно не будет закончено до отъезда великого князя. Таким образом, я только и могу преподнести вам старое свое сочинение «Della moneta»[6], недавно переизданное и снабженное примечаниями. Надеюсь, что кто-нибудь из придворных, сопровождающих великого князя, согласится доставить вам эту книгу. Может быть, представится случай переслать вам и ту, что печатается сейчас. Но не лучше ли вам

самим сюда прибыть и получить ее прямо из моих рук? Вы меня найдете неизменно преисполненным благодарности к вам.

Покорнейший ваш слуга и пр.

Галиани

Копия.—«С. d. l'a.», лл. 188—191.

[1] Имеется в виду изречение Цезаря: «Veni, vidi, vici» («пришел, увидел, победил»).

[2] Юсупов Николай Борисович, князь (1751—1831). К нему обращено послание А. С. Пушкина «К вельможе», в котором упоминается имя аббата Галиани.

[3] Титул графа и графини Северных («comte et comtesse du Nord») носили Павел I (в бытность его великим князем) и его жена, Мария Федоровна, во время своего путешествия «инкогнито» по Европе в 1782—1783 гг.

[4] Король обеих Сицилий, Фердинанд VII, и его жена, Мария-Каролина.

[5] Точное заглавие этого труда: «Sur les devoirs des princes neutres envers les princes belligérants et de ceux-ci envers les neutres».

[6] Сочинение Галиани «Della moneta», libri cinque, первым изданием вышло в 1750 г.

LI. КАРДИНАЛ ДЕ БЕРНИ

Рим, 16 марта 1784 г.

Я чрезвычайно обязан вам, генерал, за все одолжения, оказанные вашим превосходительством г. де Булонь и его товарищу по путешествию. Они оба преисполнены к вам чувства благодарности, которое разделяю и я. По их словам, их императорские высочества[1] изволят еще помнить о тех чувствах почтения и восхищения, которые они во мне вызвали. Г-н де Булонь собирается совершить путешествие до Казани и Крыма и просил меня писать ему на Петербург. В том случае, если бы оба путешественника вздумали изменить план предстоящего им пути, благоволите, ваше превосходительство, разрешить мне направлять письма в ваш адрес, с просьбой пересылать им эти письма в Стокгольм.

Все ваши римские знакомые, генерал, постоянно справляются у меня о вас. Кто раз узнал вас, тот вас не забывает. Я, со своей стороны, всемерно стараюсь оказывать здесь возможно лучший прием всем тем русским, которых вы изволите рекомендовать мне, от всего сердца желая

РИСУНОК ГР. КАРАМАНА В АЛЬБОМЕ В. Н. ГОЛОВИНОЙ

Музей города, Ленинград

засвидетельствовать вашему превосходительству неизменную и верную свою преданность.

Кардинал де Берни

Автограф.—Центральное архивное управление Узб. ССР, Ташкент. Бывш. собрание автографов в. к. Николая Константиновича.

[1] В. кн. Павел Петрович и его жена, в. кн. Мария Федоровна, посетившие Рим в 1783 г.

LII. Г-жа НЕККЕР

Париж, 16 декабря 1789 г.

Меня очень тронуло, милостивый государь, только-что, после долгого перерыва, полученное мною доказательство, что вы обо мне еще помните. Я думаю, что в ваши очки видно очень далеко и что вы лучше нас самих разбираетесь в том, что сейчас происходит во Франции. Вы даете справедливую оценку г. Неккера. Он служит ярким доказательством того, что недостаточно обладать дарованиями, но что необходимы еще высокие добродетели, чтобы применять на деле эти дарования в своей деятельности. Кто мог бы не пасть духом, не имея в руках такого щита? Кто отважился бы на непрестанную борьбу со всевозможными опасностями? В ряде минувших веков судьба г. Неккера представляет собою нечто беспримерное. На его пути не возникало бы никаких препон, если бы люди сколько-нибудь верили в добродетель, но такая вера дается им еще труднее, чем вера иная; и даже те, кого все созданное богом убеждает в его существовании, ничего не могут обрести в своем сердце такого, что побудило бы их верить в возможность безупречной чистоты.

Ваше письмо передано мне г. де Сегюром[1]; ему с трудом удается ответить на все вопросы, которыми мы его здесь закидали. Мы так близко принимаем к сердцу вашу судьбу, что интересуемся всем вас касающимся, вплоть до мельчайших подробностей личного свойства. Слава и характер вашей повелительницы вызывают в нас жадное любопытство ко всем происходящим вокруг нее чудесам. Г-н Сегюр уверяет, что ничего не прикрашивает, а нам кажется, что он все передает в прикрашенном виде, ибо совершенно простые и совершенно правдивые его сообщения так ослепительны, что ничем не уступают самым роскошным сказкам. Всегда приятно отдавать должное таланту и гению. И, слушая г. Сегюра, мы наслаждались вдвойне: и его живописью, и тем, с кого он писал портрет.

О нас говорить вам не стану. *Здешние события так новы и необычайны, что не найдешь слов, чтобы передать эту картину человеку, живущему в иной стране. Это было бы похоже на попытку дать представление о событиях на луне и о страстях, волнующих ее обитателей.*

У нас уже не осталось ничего общего с жителями других стран, за исключением чувств, а поэтому мы, пока живы, не перестанем, милостивый государь, желать вам всего доброго.

Примите уверение в нашей вам преданности. Покорнейшая слуга ваша

Неккер

Копия.—«С. d. l'a.», лл. 191—193.

[1] *Ségur* Луи-Филипп, граф де (1753—1830)—французский посол в России в 1783—1789 гг.; писатель, автор известных мемуаров. Завоевал симпатии Екатерины II и принимал деятельное участие в увеселениях петербургского двора.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПИСЬМА ИНОСТРАННЫХ КОРРЕСПОНДЕНТОВ К И. И. ШУВАЛОВУ В СОБРАНИЯХ СССР

Знаком «*» отмечены письма, впервые публикуемые в настоящей работе.
Римские цифры обозначают №, под которым данное письмо напечатано в настоящей публикации.

А. АВТОГРАФЫ

1.* Кардинала де Берни (Bernis)—Рим, 4 ноября 1773 г.
Центральное архивное управление Узб. ССР, Ташкент. Бывш. собрание в. к. Николая Константиновича. См. выше: XV.

2.* Его же—Рим, 26 января 1774 г.
Хранится там же. См. выше: XVI.

3.* Его же—Рим, 17 января 1776 г.
Хранится там же. См. выше: XVIII.

4.* Его же—Рим, 27 марта 1779 г.
Хранится там же. См. выше: XL.

5. Его же—Рим, 10 января 1784 г.
Хранится там же. Неопубликовано.

6.* Его же—Рим, 16 марта 1784 г.
Хранится там же. См. выше: LI.

7. Графа де Ласи (Lacy)—Петербург, 15 июля 1777 г.
Хранится там же. Неопубликовано.

8. Княгини Санта-Кроче (Santa-Croce)—Рим, 30 декабря 1768 г.
Хранится там же. Неопубликовано.

9.* Аббата Галиани (Galiani)—Неаполь, 13 ноября 1770 г.
Всеукраинский исторический музей, Киев. «Альбом К. Собанской». См. выше: X.

10.* Его же—Неаполь, 1 октября 1771 г.
Хранится там же. См. выше: XI.

11.* Его же—Неаполь, 11 февраля 1772 г.
Хранится там же. См. выше: XIII.

12.* Г-жи Неккер (M-me Necker)—[Париж, март—апрель 1778 г.]
Хранится там же. См. выше: XXXI.

13.* Ее же—Париж, 8 сентября 1778 г.
Хранится там же. См. выше: XXXV.

14.* Ее же—Париж, 18 ноября 1778 г.
Хранится там же. См. выше: XXXVIII.

15.* Ее же—[Париж, 9 октября 1781 г.].
Хранится там же. См. выше: XLIX.

Б. „LES CONSOLATIONS DE L'ABSENCE"—АЛЬБОМ РУКОПИСНЫХ КОПИЙ ПИСЕМ К ШУВАЛОВУ, ХРАНЯЩИЙСЯ В ПУБЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ В ЛЕНИНГРАДЕ (франц. Q IV № 207)

Опись сохраняет порядок расположения писем в альбоме. Арабские цифры с предшествующей буквой „л" („Лл") обозначают листы альбома, на которые приходится текст данного письма.

Вторые цифры в порядковой нумерации, поставленные в скобках, обозначают, что данное письмо сохранилось также в подлиннике, и отсылают к соответствующим №№ первой рубрики описи (А. Автографы).

I. Эпиграф и Посвятительное письмо

1. Обложка с названием альбома и четверостишием Мармонтеля (Marmontel), посвященным Шувалову. Л. 3.
2.* Письмо составителя альбома, Маратрэ де Кюсси (Maratray de Cussy), к Шувалову по случаю поднесения ему альбома. Автограф. Лл. 7—9.

II. Письма к И. И. Шувалову

3. Гельвеция (Helvetius)—Люминьи, 10 июня 1761 г.
Лл. 11—14. См. выше: I.

4.* Его же—Воре, 9 июля 1762 г.
Лл. 14—16. См. выше: II.

5.* Его же—Париж, 23 января 1763 г.
Лл. 17—18. См. выше: III.

6.* Бюффона (Buffon)—Montbar, 4 марта 1778 г.
Лл. 18—20. См. выше: XXVIII.

7* (1). Кардинала де Берни (Bernis)—Рим, 4 ноября 1773 г.
Лл. 20—21. См. выше: XV.

8* (2). Его же—Рим, 26 января 1774 г.
Лл. 21—22. См. выше: XVI.

9* (3). Его же—Рим, 17 января 1776 г.
Л. 22. См. выше: XVIII.

10.* Его же—Рим, 4 марта 1778 г.
Лл. 22—24. См. выше: XXIX.

11.* Его же—Рим, 18 марта 1778 г.
Лл. 24—25. См. выше: XXX.

12.* Его же—Рим, 5 ноября 1778 г.
Лл. 25—28. См. выше: XXXVII.

13.* Антуана Тома (Thomas)—Глатиньи, близ Версаля, 24 сентября 1765 г.
Лл. 28—29. См. выше: V.

14. Его же—Рим, 4 июня, б. г.
Лл. 30—31. Неопубликовано.
Упоминание о племяннике Шувалова, Ф. Н. Голицыне.

15. Отца Жакье (Jacquier)—Рим, 4 июня, б. г.
Л. 31. Неопубликовано.
Об отъезде племянника Шувалова, Ф. Н. Голицына.

16. Его же—Рим, 5 августа [1769—1770 г.?]
Лл. 31—32. Неопубликовано.
Об успехах в науках кн. Ф. Н. Голицына.

17. Лорда Честерфильда (Chesterfield)—25 июля 1765 г.
Л. 32. Неопубликовано.
Ответное письмо. Благодарит за память и внимание.

18. Кавалера Гамильтона (Hamilton), английского посланника в Неаполе—Неаполь, 9 июля 1768 г.
Лл. 33—34. Неопубликовано.
Об отъезде из Неаполя короля и королевы обеих Сицилий (Фердинанда IV Бурбона и Марии-Каролины); о празднествах, о смерти герцога Нойа и распродаже его коллекций.

19.* (11). Аббата Галиани (Galiani)—Неаполь, 11 февраля 1772 г.
Л. 35. См. выше: XIII.

20.* (10). Его же—Неаполь, 1 октября 1771 г.
Лл. 36—39. См. выше: XI.

21. Графа де Трессана (Tressan)—Париж, 8 июня 1774 г.
Лл. 39—41. Неопубликовано.
О приглашении Шувалова к обеду у маркизы и маркиза де Жанлис. О возобновлении знакомства Шувалова с известным библиофилом, маркизом де Польми.

22.* Даламбера (d'Alembert)—[Париж], 15 февраля [1764—1765 г.].
Л. 41. См. выше: IV.

23.* Ораса Вальполя (Walpole)—Лондон, 19 апреля 1776 г.
Лл. 41—43. См. выше: XIX.

24.* Его же—Strawberry-Hill, 23 июня 1776 г.
Лл. 43—44. См. выше: XX.

25.* Президента Эно (Hénault)—Париж, 17 февраля 1767 г.
Лл. 44—45. См. выше: VI.

26.* Его же—Париж, 9 мая 1767 г.
Лл. 45—47. См. выше: VIII.

27.* Графа Карамана (Caraman)—Париж, 14 ноября 1777 г.
Лл. 47—50. См. выше: XXII.

28.* Его же—Париж, 24 ноября 1779 г.
Лл. 50—52. См. выше: XLVI.

29.* Его же—Париж, 27 января 1799 г.
Лл. 52—53. См. выше: XLI.

30.* Его же—Париж, 19 ноября 1778 г.
Лл. 54—57. См. выше: XXXIX.

31.* Его же—Буасси, 19 июня 1778 г.
Лл. 57—61. См. выше: XXXIII.

32.* Его же — Париж, 11 июня 1779 г.
Лл. 62—63. См. выше: XLIII.

33.* Его же—St.-Malo, 8 июля 1779 г.
Лл. 64—65. См. выше: XLIV.

34.* Его же—Boissy, 27 августа 1780 г.
Лл. 65—67. См. выше: XLVII.

35. Графа де Ла Фар (de La Fare)—Lunéville, 26 мая 1778 г.
Лл. 67—69. Неопубликовано.
О приеме, оказанном Екатериной II Шувалову по его возвращении в Россию; сожаление по поводу отсутствия Шувалова; о восстании американских колоний; о крымском хане и турках.

36.* Неккера (Necker)—Париж, 11 ноября 1779 г.
Л. 69. См. выше: XLV.

37. Герцога Бирона (duc de Biron), маршала Франции—Париж, 5 июня 1778 г.
Лл. 70—71. Неопубликовано.
О получении письма от Шувалова о Екатерине II с просьбой переслать ему ее гравированный портрет.

38. Маршала Субиза (Soubise)—Париж, 18 августа 1778 г.
Л. 71. Неопубликовано.
Поздравление по случаю назначения Шувалова обер-камергером.

39. Маркизы дю Деффан (M-me du Deffand)—Париж, 24 февраля 1767 г.
Лл. 72—74. Неопубликовано.
О проезде Шувалова через Мюнхен в Вену; известие об общих знакомых; об ожидаемом приезде Уолпола; о парижских балах.

40.* Ее же—St.-Joseph, 6 мая 1767 г.
Лл. 74—76. См. выше: VIII.

41. Ее же—Париж, 30 октября 1767 г.
Лл. 76—78. Неопубликовано.
О желании скорее свидеться с Шуваловым; об общих знакомых; о пребывании Уолпола в Париже.

42. Ее же—Париж, 28 ноября 1772 г.
Лл. 78—81. См. выше: XII.

43. Ее же—St.-Joseph, 29 сентября 1773 г.
Л. 81. Неопубликовано.
Приглашает Шувалова к себе; о герцогине де Шуазёль; о Вольтере.

44. Г-жи Жоффрен (M-me Geoffrin)—Париж, 24 февраля 1767 г.
Лл. 82—83. См. выше: VII.

45. Ее же—Париж, 6 апреля 1765 г.
Лл. 83—84. Неопубликовано.
Об успехе, которым Шувалов пользовался в Англии; приглашение скорее вернуться.

46. Ее же—Париж, 1 мая [1768—1769 г.?].

Лл. 84—85. Неопубликовано.

Об отъезде кн. Д. А. Голицына в Гаагу; о поручениях, возлагаемых Екатериной II на Шувалова в Риме.

47* (12). Г-жи Неккер (M-me Necker) [Париж, март—апрель 1778 г.]

Лл. 85—87. См. выше: XXXI.

48* Ее же—[Париж, конец 1777—начало 1778 гг.]

Лл. 87—89. См. выше: XXIV.

49.* (14). Ее же—Париж, 18 ноября 1778 г.

Лл. 89—91. См. выше: XXXVIII.

50* (14). Ее же—Париж, 8 сентября 1778 г.

Лл. 91—93. См. выше: XXXV.

51* (15). Ее же—Париж, 9 октября 1781 г.

Лл. 184—185. См. выше: XLIX.

52. Маркизы дю Деффан (M-me du Deffand)—22 июля [1777 г.].

Л. 94. Неопубликовано.

Сожаление об отъезде Шувалова в Россию; о герцогине де Люксанбур.

53. Г-жи де Каз (M-me de Caze)—Torcy, 19 июня 1766 г.

Лл. 95—97. Неопубликовано.

По поводу пребывания Шувалова в Торси; ответы на сообщаемые им светские новости.

54. Ее же—Torcy, 1 июня 1767 г.

Лл. 97—102. Неопубликовано.

О своей симпатии к Шувалову; оценка его личности; о г-же Брюне, воспитательнице детей графа Разумовского.

55. Графа Карамана (Caraman)—Париж, 27 января 1781 г.

Лл. 102—104. См. выше: XLVIII.

56. Графини Шимэ де Караман (Chimay de Caraman)—Boissy, 17 сентября 1777 г.

Лл. 104—105. Неопубликовано.

О пребывании Шувалова в Берлине; воспоминания о встречах с ним.

57. Ее же—Париж, 13 сентября 1777 г.

Лл. 105—108. Неопубликовано.

О неполучении писем от Шувалова; об отношении ее и всей ее семьи к нему; о похвальном слове г-жи дю Деффан в честь умершей г-жи Жоффрен.

58. Ее же—Париж, 3 марта 1778 г.

Лл. 108—109. Неопубликовано.

Сожаление о разлуке с Шуваловым; о карнавале; о пребывании Вольтера в Париже.

59. Ее же—Париж, 16 ноября 1778 г.

Лл. 110—112. Неопубликовано.

Сожаление о том, что Шувалов навсегда остается при дворе Екатерины II; о возможной поездке семьи Караман в Россию.

60. Ее же—Boissy, 26 августа 1779 г.

Лл. 112—114. Неопубликовано.

Беспокойство по случаю войны; о рождении ребенка у ее дочери, г-жи де Ла Фар; о желании свидеться с Шуваловым.

61. Графини де Ла Фар (de La Fare)—Париж, 11 августа 1777 г.

Лл. 114—116. Неопубликовано.

О своей болезни; о муже и сыне; об отъезде Шувалова в Россию.

62. Ее же—Boissy, 9 сентября 1777 г.

Лл. 117—118. Неопубликовано.

О состоянии своего здоровья; о своих дружеских чувствах к Шувалову; приветы от разных лиц.

63. Ее же—сентябрь 1778 г.

Лл. 118—121. Неопубликовано.

О благосклонном приеме Шувалова Екатериной II; сожаление по поводу его отсутствия; благодарность за присланные меха.

64. Ее же—Париж, 29 апреля 1780 г.

Лл. 121—122. Неопубликовано.

О семейных делах; о дружеских чувствах к Шувалову всей ее семьи.

65. Графини Барбантан-Гюнольштейн (Hünolstein)—Париж, 28 ноября 1777 г.

Лл. 123—126. Неопубликовано.

О письме Шувалова; о приеме его Екатериной II; сообщает, что ожидает ребенка; приветствия Шувалову от разных знакомых.

66.* Ее же—Париж, 26 февраля 1778 г.

Лл. 126—130. См. выше: XXVII.

67. Ее же—20 марта 1779 г.

Лл. 131—133. Неопубликовано.

Об ожидаемом приезде Шувалова во Францию и радость по этому поводу; о пребывании Лафайета в Париже.

68.* Ее же—[Париж], 12 апреля 1778 г.

Лл. 133—135. См. выше: XXXII.

69. Ее же—Париж, 22 июня 1778 г.

Лл. 135—136. Неопубликовано.

О первом морском сражении между французами и англичанами; об А. П. и Е. П. Шуваловых; пожелание счастья.

70.* Ее же—Париж, 6 августа 1778 г.

Лл. 137—139. См. выше: XXXIV.

71. Ее же—Париж, 16 сентября 1778 г.

Лл. 139—140. Неопубликовано.

Благодарит Шувалова за присланный чай; семейные новости; о войне с Англией.

72.* Ее же—Париж, 18 января 1778 г.

Лл. 140—143. См. выше: XXV.

73. Маркизы де Барбантан (Barbantane)—Париж, 6 мая 1778 г.

Лл. 143—144. Неопубликовано.

О рождении ребенка у ее дочери Гюнольштейн; о празднестве у кн. Барятинского по случаю рождения в. к. Александра Павловича; об угрозе войны с Англией; о графине Шуваловой.

74.* Графини де Жанлис (de Genlis)—[Париж], 1779 г.

Лл. 144—147. См. выше: XXIII.

75. Маркизы де Гонто (de Gontaut)—St.-Blanquart, 11 декабря 1777 г.

Лл. 148—149. Неопубликовано.

Об ожидании известий о Шувалове; семейные новости; благодарность за присланный чай.

76.* Ее же—Париж, 4 февраля 1778 г.

Лл. 149—157. См. выше: XXVI.

77. Ее же—Париж, 11 ноября 1778 г.

Лл. 157—160. Неопубликовано.

По поводу письма Шувалова; благодарит за присланные им меха и чай; об отправке ему своего портрета; о графе Ласси.

78.* Герцогини де Ла Вальер (de La Vallière)—Париж, 2 ноября 1777 г.

Лл. 160—162. См. выше: XXI.

79. Ее же—Париж, 23 января 1780 г.

Лл. 162—163. Неопубликовано.

О путешествии Екатерины II; об А. П. Шувалове и его жене.

80. Ее же—Париж, 23 августа 1780 г.

Лл. 163—165. Неопубликовано.

Об отъезде кн. Барятинского; об А. П. и Е. П. Шуваловых; о приезде Иосифа II в Россию; известия об общих знакомых.

81. Г-жи де Серан (M-me de Séran)—29 мая 1777 г.

Лл. 165—166. Неопубликовано.

О письме к ней Шувалова; о его характере.

82. Маркизы де Дониссан (Donissan)—12 июня 1779 г.

Лл. 166—168. Неопубликовано.

О письме Шувалова; об общих знакомых; о модах.

83. Неизвестной—Париж, 26 ноября 1778 г.

Лл. 168—170. Неопубликовано.

О благосклонном приеме Шувалова Екатериной II; о достоинствах его.

84.* Г-жи Троншен (Tronchin)—Женева, 12 сентября 1778 г.

Лл. 170—173. См. выше: XXXVI.

85. Г-жи Крамер (M-me Cramer, урожд. Веселовской)—Женева, 1 сентября 1780 г.

Лл. 174—175. Неопубликовано.

О смерти ее мужа; об ее отце, Ф. П. Веселовском.

86. Маркизы дю Пюи-Монбрён (Puy-Montbrun)—Рим, 24 сентября 1778 г.

Л. 175. Неопубликовано.

О герцоге Сан-Никола̀, вновь назначенном в Россию неаполитанском посланнике; о письме Екатерины II к г-же Дени.

87. Графини Кауниц-Ритберг (Kaunitz-Rittberg), жены австрийского посланника в Неаполе—Неаполь, 13 февраля 1770 г.

Л. 176. Неопубликовано.

О дружеских чувствах к Шувалову; о слухах по поводу перевода ее мужа в другое место.

88. Ее же—Вена, 25 февраля 1778 г.

Л. 177. Неопубликовано.

По поводу благосклонного приема Екатериной II Шувалова.

89. Г-жи Веселовской (урожд. Fabri)—Женева, 23 марта 1773 г.

Лл. 178—181. Неопубликовано.

О дружеских чувствах к Шувалову; о характере французской нации; о племяннике Шувалова Голицыне; о Домашневе; о Пугачеве; о графине Чернышевой.

90. Графини Ӭльбани (d'Albany)—Флоренция, 27 июля 1779 г.

Лл. 181—182. Неопубликовано.

Рекомендует Шувалову архитектора Тромбера, выписанного Екатериной II из Рима.

91. M-lle Макерюс (M-lle Makerus)—Кассель, 16 июля 1765 г.

Лл. 182—183. Неопубликовано.

Благодарит за доставленные ей Шуваловым книги.

92. Графини Барбантан-Гюнольштейн (Hünolstein)—Париж, 13 октября 1781 г.

Лл. 183—184. Неопубликовано.

О неполучении писем от Шувалова. Известия с театра войны в Америке. Семейные новости.

93. Графини Шимэ де Караман (Chimay de Caraman)—Париж, 9 января 1782 г.

Лл. 185—186. Неопубликовано.

О графине Брюс. Сожаления по поводу отсутствия Шувалова. Семейные новости.

94.* Графа де Карамана (Caraman)—Париж, 11 января 1782 г.

Лл. 187—189. Неопубликовано.

О предполагаемой поездке сына Карамана в Россию. Известия с театра войны.

95. Аббата Галиани (Galiani)—Неаполь, 12 февраля 1782 г.

Лл. 188—191. См. выше: L.

96.* Г-жи Неккер (Necker)—Париж, 16 декабря 1789 г.

Лл. 191—193. См. выше: LII.

97. Вольтера (Voltaire)—Ферне, 29 июня 1772 г.

Лл. 194—195. См. выше: XIV.

98. Его же—Ферне, 22 марта 1774 г.

Л. 197. См. выше: XVII.

В. КОПИИ ПИСЕМ, ВОШЕДШИХ В НЕИЗДАННУЮ РУКОПИСНУЮ БИОГРАФИЮ И. И. ШУВАЛОВА, ХРАНЯЩУЮСЯ В ГАФКЭ, МОСКВА

В рукопись биографии включены копии тридцати писем. Из них лишь семь писем дают новые тексты, а остальные двадцать три письма повторяют тексты копий из альбома „Les consolations de l'absence“ и не перечисляются поэтому здесь.

1* (4). Кардинала де Берни (de Bernis)—Рим, 27 марта 1779 г.

См. выше: XLII.

2.* Г-жи Дени (M-me Denis), племянницы Вольтера—Париж, 24 октября 1778 г.

См. выше: „Наследие Вольтера в СССР“, 167—168.

3.* Графа де Трессана (de Tressan)—[1778]

См. выше: XL.

ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1789 г. В ДОНЕСЕНИЯХ РУССКОГО ПОСЛА В ПАРИЖЕ И. М. СИМОЛИНА

Вступительная статья и общая редакция академика Н. Лукина

Публикация Е. Александровой

Комментарии О. Старосельской и Е. Александровой

ЦАРИЗМ И ФРАНЦУЗСКАЯ БУРЖУАЗНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1789 г. ПО ДОНЕСЕНИЯМ И. М. СИМОЛИНА

Донесения Симолина дают ценный материал, освещающий один из участков борьбы между европейскими государствами накануне и в первые годы Великой буржуазной революции во Франции. Посол Екатерины при французском дворе, как и всегда, был занят работой над осуществлением дипломатических комбинаций своей императрицы, как вдруг революционная гроза довольно неожиданно нарушила многие из расчетов его повелительницы.

Симолин смотрел на революцию взглядом русского дипломата, с точки зрения тех задач, которые ставила перед ним его должность.

Каковы же были задачи русской политики в тот момент, когда вспыхнула буржуазная революция во Франции?

Три вопроса поглощали в то время внимание Екатерины и ее советников—война с Турцией, война с Швецией и польские дела.

Русские войска закончили кампанию 1788 г. взятием Очакова. Екатерине очень хотелось использовать этот успех, чтобы повыгоднее и, вместе с тем, поскорее заключить мир. Несмотря на достигнутый успех, положение России было к началу 1789 г. не из легких. Россия начала в 1787 г. восточную войну в союзе с Австрией. Но австрийский союзник становился все менее надежным. Положение в Венгрии и в австрийских Нидерландах было крайне напряженным. Монархия Иосифа II переживала тяжелый внутренний кризис. Кроме того, Иосиф боялся Пруссии, уже поддерживавшей венгерское и бельгийское движения.

Война со Швецией уже не грозила такими опасностями, которых можно было ждать в первые ее дни, летом 1788 г., когда шведы, казалось, могли угрожать самому Петербургу. Но и конца ее тоже еще не предвиделось, а вести две войны одновременно было, конечно, не легко.

Тем временем крупные неприятности грозили русским интересам в Польше. Эти интересы не требовали нового раздела. Но Екатерина не могла допустить поглощения Польши Пруссией. Этому последнему она, конечно, предпочитала новый раздел, между тем опасность прусской гегемонии в Польше была вполне реальной.

Прусская партия в польском дворянстве, во главе с Радзивиллом, Потоцким и Огинскими, вела интриги в пользу польско-прусского союза,

который фактически поставил бы Польшу в зависимость от прусского короля. В сейме, собравшемся осенью 1788 г., прусская партия приобрела перевес, и сейм взял определенно враждебный России курс.

Пруссия опиралась на Англию. За спиной прямых врагов России—Турции и Швеции—стояла англо-прусская лига, усиленная с 1787 г. Голландией и готовившаяся полностью втянуть в орбиту своего влияния Польшу. Для польского народа это означало бы конец его национальной независимости, для Екатерины это означало бы торжество ее соперника в борьбе за влияние на польский «буфер».

Итак, положение Екатерины, невзирая на победу под Очаковом, в начале 1789 г. было довольно трудным. Ее дипломатия стремится противопоставить враждебной англо-прусской группировке свою собственную, работая над созданием так называемого «четверного союза». По мысли русской дипломатии, ослабевавший австро-русский союз должен был быть укреплен путем присоединения к нему Франции и Испании. Каковы были шансы этой комбинации? «За» говорило англо-французское и франко-прусское соперничество. Последнее было совсем недавно обострено прусской интервенцией в Голландию. «За» говорило то, что Франция была связана старым союзом с Австрией и Испанией. «За» говорило и то, что ослабление Франции в последние годы перед революцией зашло так далеко, что она уже не могла мечтать энергично спасать от покушений со стороны России территориальную целость Турции, как и Швеции, являвшейся традиционной опорой французского влияния в Восточной Европе. Но, вместе с тем, Франция была заинтересована сохранить от Турции как можно больше и была обеспокоена ее сближением с Пруссией. Это побуждало Францию стремиться к скорейшему окончанию войны на Востоке. А посредничество в деле скорейшего заключения мира с Портой было едва ли не главной услугой, которой русское правительство ожидало от нового союзника.

Но на пути к «четверному союзу» имелись и очень серьезные препятствия. Прежде всего, во Франции был, как известно, крайне непопулярен союз с Австрией, а идея «четверного союза» конечно включала в себя австро-французский союз в качестве необходимого ингредиента. Между тем, все, связанное со сближением с Австрией, связывалось во Франции с именем королевы—«австриячки» и становилось предметом ожесточенной ненависти. Когда во Франции началась революция, то связи Лафайета с бельгийскими демократами, конечно, тоже не улучшили австро-французских отношений.

Во-вторых, Испания боялась Англии. По мере ослабления Франции этот страх усиливался.

В-третьих—и это самое главное,—начало революции во Франции, события лета 1789 г., ослабление королевской власти заставляли екатерининскую дипломатию усомниться в ценности Франции, как союзника. Этот вопрос и составляет одну из основных проблем, которые интересовали в 1789—1791 гг. русского посла в Париже, когда он наблюдал за развитием событий во Франции.

Между тем, политическое положение России скорее ухудшалось, чем улучшалось. 31 января был заключен прусско-турецкий союз. В марте 1790 г.—польско-прусский. Он был резко заострен против России. Агрессивная политика Пруссии становилась все более активной.

Незадолго перед тем (в феврале) умер Иосиф II. Наследовавший ему брат его, Леопольд, был союзником менее надежным. Пруссаки требовали

от Австрии немедленного заключения мира с Турцией на основе «status quo ante» и возвращения Галиции Польше. Последняя должна была заплатить за эту «услугу» высокую цену—отдать Пруссии Данциг и Торн. В этом заключался так называемый «план Герцберга», руководившего в те дни политикой Фридриха-Вильгельма II.

На минуту у союзников блеснула надежда, что из-за одного колониального конфликта в Калифорнии начнется война между Испанией и Англией. «Семейный договор», связывавший испанских и французских Бурбонов, обязывал Францию поддержать Испанию. Война Франции и Испании против Англии, конечно, ослабила бы ту поддержку, которую последняя могла оказать Пруссии. Война могла бы помочь и урегулированию бельгийского вопроса, приостановив французское вмешательство. «Четверной союз» имел бы все шансы сделаться реальным фактом. Но, вместо вмешательства в пользу Испании, англо-испанский конфликт вызвал во Франции только известные дебаты в Национальном собрании о королевских прерогативах в вопросах войны и мира. Между тем, Испания капитулировала перед Англией.

Летом 1790 г. Леопольд ловким маневром, на сравнительно выгодных условиях, добился сделки с Пруссией, пригрозив англичанам, что если они не повлияют на свою союзницу в нужном ему духе, то он отдаст Бельгию французам в обмен за компенсации в других местах. Так явилось на свет так называемое «Рейхенбахское соглашение». Почувствовав, что Англия их не поддержит, пруссаки вынуждены были отказаться от передачи Галиции Польше, а вместе с тем от Данцига и Торна. Но одного они добились: Австрия согласилась заключить мир с турками, удовольствовавшись лишь сравнительно незначительными «исправлениями» границы. Австро-русскому союзу был нанесен сильнейший удар. Начались австро-турецкие переговоры. В сентябре 1790 г. было заключено перемирие в Жиржове. Россия вынуждена была продолжать войну одна.

Правда, несмотря на поражение русского флота (в июне, при Свенек-Зунде), в августе 1790 г. был заключен русско-шведский мир. В декабре Суворов разбил турок под Измаилом. Но зато весною 1791 г. встала опасность прямого вооруженного вмешательства Англии и Пруссии в русско-турецкую войну. Питт горячо боролся за осуществление этого плана, но не смог побороть встретившегося сопротивления в английских правящих кругах. В этот-то момент и возник у екатерининских дипломатов план побудить Францию предпринять морскую демонстрацию против Англии, о котором придется подробнее говорить ниже. Из этого ничего не вышло, да и надобность в этом быстро миновала. Миновала—на данный момент. За будущее нельзя было быть спокойным: Россия ведь оказывалась совсем изолированной. В Польше дела шли при этом еще хуже, чем в Турции.

После заключения прусско-польского союза и после разгрома турок при Измаиле польский вопрос становился для России самым трудным. Екатерина стремилась во что бы то ни стало сохранить свое влияние в Польше и не допустить фактического поглощения ее Пруссией. Назревавшая интервенция против буржуазной революции во Франции должна была отвлечь силы Пруссии с Вислы на Рейн. Понятно, что польский вопрос побуждал Екатерину приложить все усилия к тому, чтобы острие англо-прусской коалиции, к которой склонялась теперь и Австрия, повернулось с востока на запад, к Франции. Екатерина поняла это уже давно

и начала работать над организацией контрреволюционной интервенции против Франции.

Она поддерживает эмигрантов, она поощряет своего вчерашнего врага, Густава шведского, она убеждает Леопольда, она активно интригует среди германских князей, которые были в числе первых европейских монархов, непосредственно затронутых революцией.

Интриги русского представителя при Имперском сейме побуждали Австрию и Пруссию к интервенции. При активности русской дипломатии, их отказ от поддержки западногерманских государей уронил бы их престиж в Германии. Донесения Симолина дают не мало данных, характеризующих контрреволюционную роль русской дипломатии.

Но контрреволюционную роль царизма в последние годы царствования Екатерины II нельзя объяснять исключительно стремлением развязать себе руки в Польше. Поклонница Вольтера ненавидела революцию и боялась ее. Ненавидела животной ненавистью, руководствуясь классовым инстинктом дворянской царицы. Если бы мы, вслед за Сорелем, сказали, что борьба против революции была лишь дипломатической ширмой, поставленной для обеспечения выгодного раздела Польши, то мы совершили бы ошибку. Борьба против революции была для Екатерины борьбой против классового врага и, одновременно, борьбой за сохранение «европейского равновесия», которому угрожало распространение революции за пределы Франции, даже если бы она остановилась достаточно далеко от русских границ. Что Екатерина старалась провести борьбу против революции чужими руками—это вполне понятно. Ведь для Австрии и Пруссии вопрос о борьбе против революции стоял еще острее, хотя бы уже из-за их географической близости к Франции. Уже в силу этого, при организации интервенции, Екатерина имела, по сравнению с ее партнерами, больше возможностей загребать жар чужими руками. Что при этом, пользуясь обстоятельствами, Екатерина, со свойственной ей ловкостью, устроила свои дела в Польше—это нисколько не противоречит тому, что борьба против революции интересовала ее и сама по себе. Ведь так было и позже, скажем, при Николае I. Борьба против революции и внешняя экспансия всегда шли рука об руку в политике царизма. Поддержка европейских правительств, которым Французская революция угрожала более непосредственно, чем России, заставляла эти правительства, скрепя сердце, мириться с внешней экспансией царизма. Нельзя не принять во внимание и того, что польские и турецкие дела отвлекали силы Екатерины от борьбы против буржуазной революции. Речь идет не только о том, хотела ли Екатерина посылать войска против Франции, но и могла ли бы она это сделать, едва-едва закончив войну с Турцией и будучи занятой в Польше. Богатый материал, иллюстрирующий искреннюю и глубокую ненависть Екатерины к буржуазной революции, дают, в частности, донесения Симолина.

Публикация этих донесений тем более уместна и своевременна, что ряд работ последнего десятилетия уже привлек внимание научного мира к той роли, которую играл дипломатический представитель царской России в контрреволюционной интриге, преследовавшей цели восстановления престижа монархии в Европе, с одной стороны, и спасения королевской семьи от народного гнева, с другой.

Однако дипломатическая переписка является важнейшим источником не только по истории международных отношений: зачастую она дает весьма

ценный материал и по истории той страны, при правительстве которой был аккредитован тот или иной дипломатический представитель. В этом отношении донесения русского посла в Париже, Симолина, состоявшего при французском дворе в период с 1784 г. до начала 1792 г., а потому являвшегося свидетелем-очевидцем грандиозных, имевших всемирно-историческое значение событий Французской революции, представляют не меньший интерес.

Иван Матвеевич Симолин родился в 1720 г. в немецкой дворянской семье, предки которой еще в XVII веке переселились в Швецию. Его

И. М. СИМОЛИН

Миниатюра работы неизвестного художника второй половины XVIII в.

Местонахождение оригинала неизвестно

отец был пастором в Або, затем в Ревеле. В 1743 г. Симолин поступил на службу в коллегию иностранных дел. Со следующего года, когда Симолин был назначен исполняющим обязанности секретаря посольства в Копенгагене, начинается его дипломатическая карьера. В 1757 г. Симолин был переведен секретарем посольства в Вену; в 1758 г. его назначают министром-резидентом в Регенсбург. В 1771 г., во время первой русско-турецкой войны, Симолин состоял дипломатическим агентом при главнокомандующем русской армией П. А. Румянцеве; с 1772 по 1775 гг. был чрезвычайным посланником и полномочным министром в Дании, откуда был переведен на тот же пост в Швецию, где оставался до 1779 г., когда его перевели в Лондон. Наконец, в 1784 г. Симолин, имевший тогда

уже чин действительного тайного советника, был назначен полномочным министром в Париж, где он сменил князя П. С. Барятинского и где оставался до 7 февраля 1792 г., когда был фактически отозван русским правительством.

Из Парижа Симолин отправился через Брюссель в Вену специально для выполнения взятого им на себя поручения Марии-Антуанетты, переславшей с ним записку к ее брату—императору Леопольду II. В Вене Симолин вел переговоры с австрийским двором о возможности организации военной интервенции во Францию. Выполнив это поручение, он приезжает (17 апреля 1792 г.) в Петербург для устного доклада императрице о положении дел во Франции. О свидании Симолина с Екатериной II, имевшем место в апреле 1792 г., рассказывает в своем дневнике Храповицкий: «Сего утра,—пишет он,—с Симолиным, из Парижа приехавшим, разговаривали более часу... Шутили на счет Франции и, показав мне в окно на идущих солдат, сказали: «Ils n'ont pas des piques patriotiques». Я примолвил: «Ni des bonnets rouges»[1].

В июле того же года Симолин отправляется через Митаву и Берлин в Бельгию, где и остается на ближайшие годы, наезжая по временам в Германию. Из Брюсселя, а затем Кёльна, Дюссельдорфа и Франкфурта-на-Майне он продолжает посылать свои донесения о положении дел во Франции и военных действиях союзных прусско-австрийских войск против Республики. В 1797 г., после отставки вице-канцлера Остермана, Симолин получил распоряжение направлять свои донесения непосредственно Павлу I.

Донесения, адресованные Павлу, содержат, главным образом, сведения о положении дел во Франции, о передвижении французских войск, о революционной пропаганде на левом берегу Рейна[2]. Последнее донесение Симолина датировано 9 января 1798 г. Осенью 1799 г., проезжая через Вену по пути в Россию, Симолин умер (19 сентября). В придворно-дипломатических кругах за Симолиным упрочилась репутация дельного, аккуратного до пунктуальности чиновника и опытного дипломата[3].

Не менее высокую оценку своих «дипломатических» способностей Симолин нашел в кругу тайных агентов королевской семьи. Как известно из ценной публикации Söderhjelm (A.), Fersen et Marie-Antoinette. Journal intime et correspondance du comte Axel de Fersen (Paris, Kra, 1930), один из них, богатый шотландец Крафорд (Craufurd), предпринявший лично демарш в Лондоне в целях спасения короля и королевы и имевший свидание с самим Питтом, рекомендовал Марии-Антуанетте Симолина для передачи ее письма императору. При этом он характеризовал его в следующих выражениях: «Я знал мало представителей дипломатического мира, которые держались бы более правильной, более твердой линии поведения или отличались бы более верным тактом, чем он».

Публикуемые за соответствующий период донесения Симолина показывают, что он вполне оправдал надежды, возлагавшиеся на него Крафордом. Они раскрывают во всех подробностях, как с конца 1791 г. Симолин был вовлечен в круг самых близких и доверенных королевской семье лиц—Ферзена, Крафорда и их общей возлюбленной, M-me Sullivan, организаторов Варенна, бежавших из Парижа одновременно с Людовиком XVI и Марией-Антуанеттой и являвшихся в последующий период связующим звеном между ними и брюссельским гнездом заговорщиков-интервенционистов.

Общее число донесений Симолина, относящихся к Французской революции, составляет более 1000. Некоторые из них посылались в зашифрованном виде.

Вместе с донесениями Симолин посылал большое количество всякого рода материалов, рисующих тогдашнее политическое положение Франции,—экземпляры газет, брошюр, памфлетов, докладных записок («мемуаров»), официальных актов (как, например, отчеты о заседаниях Национального собрания, королевские обращения к народу), карикатур и т. п.[4].

В настоящем сборнике публикуется только часть донесений. Составители ограничились, во-первых, определенными хронологическими рамками. Мы публикуем донесения Симолина, начиная с января 1789 г. и кончая его последним донесением из Вены от 17 марта 1792 г. Выбор последней даты отнюдь не является случайным. Со времени отъезда Симолина из Парижа (7 февраля 1792 г.) его донесения, особенно касающиеся внутренних событий во Франции, в значительной мере утрачивают свою ценность. Теперь это уже не донесения непосредственного наблюдателя-очевидца: обосновавшись в Брюсселе, а затем наезжая в Германию, Симолин составляет свои донесения на основании материалов, получавшихся им от его тайных парижских агентов. В этих материалах сведения о событиях Французской революции даются им со значительным запозданием, сообщения далеко не блещут точностью и доброкачественностью. Большей частью, донесения агентов Симолина носят отрывочный характер и отличаются бледностью изложения. Достаточно, например, сопоставить почти ничего не дающее донесение такого агента о событиях 10 августа 1792 г. и собственное, чрезвычайно красочное, описание Симолиным похода парижских женщин на Версаль 5—6 октября 1789 г.[5]. Лишь в некоторых случаях сведения, доставленные секретными парижскими агентами Симолина и сообщенные им затем в Петербург, содержат интересный материал. Так, в донесении от 13 марта 1792 г. один из таких агентов сообщает, что при получении известия о смерти императора Леопольда II (брата Марии-Антуанетты) «рыночные торговки не постыдились отправиться плясать под окнами королевы, заставляя музыкантов разыгрывать „Ça ira“». В других донесениях секретной агентуры Симолина того же брюссельского периода мелькает ряд метких и интересных замечаний, относящихся к генералу Дюмурье. «... Это один из тех якобинцев,—пишет, например, один из агентов,—которые, раз пробравшись в министры, не задумываются стать весьма приемлемыми роялистами». «Хотя Дюмурье,—говорится в другом месте,—попал в министры благодаря их [якобинцев.—*Н. Л.*] влиянию, он отлично сознает все опасности пропагандируемой ими анархии. Он предполагает обрисовать на-днях в Собрании истинное положение вещей, достаточно ужасное, чтобы вызвать объединение всех партий и создать своего рода диктатуру в лице исполнительной власти»[6].

Известный интерес представляют также донесения самого Симолина, в которых рисуется его роль в попытке генерала Дюмурье произвести контрреволюционный переворот объединенными усилиями французской и австрийской армий. Эти донесения содержат подробный рассказ о ходе переговоров Дюмурье с австрийским командованием, а также сообщение о свидании Симолина с Дюмурье[7]. Но это—все или почти все ценное, что можно извлечь из донесений этого периода.

Значительно бóльшую ценность представляют донесения Симолина из Вены, рисующие контрреволюционную деятельность этого дипломата по

выполнению поручений королевы Марии-Антуанетты[8]. Вот почему мы считали необходимым включить некоторые из венских донесений Симолина в число публикуемых нами материалов.

Таким образом, определяются хронологические рамки подобранных для настоящего сборника документов—с января 1789 г. до половины марта 1792 г. Но и за этот период публикуются не все донесения, а лишь часть их. Отобраны, главным образом, донесения, посвященные важнейшим событиям Французской революции (за исключением донесений, содержащих подробные отчеты о заседаниях Национального собрания, хорошо известные из прессы и других источников), а также рисующие дипломатическую деятельность Симолина, в особенности в той ее части, которая иллюстрирует контрреволюционную роль правительства Екатерины II и ее дипломатического представителя в Париже. Считаем необходимым оговорить, что все донесения, включенные в публикацию, даются целиком. За немногими исключениями, публикуемый архивный материал появляется в печати впервые[9].

Как источник по истории Французской революции, донесения Симолина представляют несомненную ценность уже потому, что здесь мы имеем дело с показаниями весьма вдумчивого наблюдателя, порой—свидетеля-очевидца. Его первые же донесения начала 1789 г. говорят об интересе этого дипломата к экономическому положению «низов» французского населения. Симолин тщательно регистрирует все факты, рисующие рост дороговизны предметов первой необходимости, сыгравший столь важную роль в революционном движении городских («плебейских», по Марксу) масс. Движение 5—6 октября 1789 г. он совершенно правильно ставит в связь с наблюдавшимся тогда острым недостатком хлеба в Париже[10]. В том же донесении Симолин правильно отмечает политическую ситуацию момента, сообщая, что положение короля после переезда в Париж почти не отличается от положения «пленника».

С большой тщательностью русский посол регистрирует все случаи народных волнений в Париже, начиная с так называемого «дела Ревельона». Читая донесения Симолина за первые месяцы революции, чувствуешь, в какой накаленной атмосфере работало Национальное собрание[11].

Суждениям Симолина и его оценкам того или иного политического момента часто нельзя отказать в политической трезвости и меткости. Характеризуя в донесении от 19 июля 1789 г. положение вещей, создавшееся после взятия Бастилии, он пишет:

«Если бы король отказался подчиниться требованиям Постоянного муниципального комитета, народ, по всей вероятности, сверг бы его; таким образом, этот добрый государь... был поставлен в жестокую необходимость сдаться на милость бунтовщиков, тем более, что французская гвардия его подло покинула и он совсем не мог полагаться на войска, сосредоточенные вокруг Парижа и Версаля».

А вот как расценивал посол Екатерины позицию, занятую после бегства короля в Варенн Национальным собранием, уже напуганным начинавшимся в стране республиканским движением: Национальное собрание «старается казаться строгим, но, быть может, не будет таковым в действительности»[12].

В своих донесениях, из которых Екатерина II черпала основную информацию о Французской революции, Симолин опирался не только на непосредственные наблюдения, но и на имевшийся в его распоряжении печат-

ный материал—современные газеты, журналы, мемуары и брошюрную литературу. Об этих печатных источниках донесений Симолина можно судить по прилагаемым к его донесениям материалам. В донесениях, относящихся к 1789 г., Симолин использовал, повидимому, главным образом, такие газеты, как умеренно-либеральный «Journal de Paris», начавший с 1 мая 1789 г. выходить под новой редакцией Кондорсе и Гара, а также роялистские органы, как «Gazette de France» и «Journal Politique National».

Это последнее издание, одно из первых начавшее энергичную борьбу против революции, служило, повидимому, для Симолина в 1789 г., как и в последующие годы, одним из главных источников его политической информации.

«Сообщения «Journal Politique National» о революции во Франции,— пишет он в донесении от 28 января 1790 г.,—бесспорно, наиболее интересны, умеренны и правдивы, поэтому ни один типограф, книгопродавец и разносчик не захотел взять на себя труд печатать это издание, принимать на него подписку и разносить его. Издатель его, аббат Саббатье де Кастр, вынужден был переселиться в Брюссель, и затруднения, которые встретились при выпуске этой газеты, очень замедлили ее получение». Позднее, в 1791 г., «Journal Politique National» занимал уже более левую позицию.

В 1790—1791 гг. главным источником для донесений Симолина, помимо уже указанных изданий, служил орган придворной партии, «Gazette de Paris», а также начавшие выходить в ноябре 1789 г. «Actes des Apôtres»— орган роялистов, издававшийся Риваролем. За эти годы Симолин переслал вместе со своими донесениями до ста номеров этого наиболее влиятельного в контрреволюционных кругах политико-сатирического органа.

Помимо сведений, извлекавшихся Симолиным из прессы и других печатных материалов, важную роль в его донесениях играет информация, получавшаяся им непосредственно от тогдашнего французского министра иностранных дел, Монморена, с которым русский посол поддерживал до половины 1790 г. весьма интенсивные сношения. Монморен ориентировал Симолина не только во внутреннем положении Франции, но и относительно деятельности дипломатических представителей Пруссии и Англии при французском дворе. С половины 1790 г. встречи и беседы Симолина с Монмореном на приемах дипломатических представителей становятся все более редкими, а к концу 1791 г. почти прекращаются[13].

Несмотря на свою природную нелюдимость и неразговорчивость, Симолин аккуратно присутствовал на версальских балах и различных придворных церемониях, знакомился с нужными ему людьми и получал от них интересовавшие его сведения. Он регулярно посещал один из салонов, где можно было встретить хорошо информированных в политических делах лиц. Со времени созыва Национального собрания Симолин завел знакомство со многими депутатами: Мирабо, Талейраном и др.[14].

С половины 1790 г., когда политическое влияние Монморена, а следовательно, его значение, как информатора, начинает падать, Симолин широко использует также сведения, получаемые им от своего секретного агента, чиновника французского департамента иностранных дел, подкупленного им через посредство секретаря русского посольства Машкова. Через этого секретного агента Симолину удалось, между прочим, получить шифр, употреблявшийся Монмореном в его переписке с французским поверенным в делах при петербургском дворе, Жене (Genet). Шифр был переслан с Машковым в Петербург, где им пользовались при перлюстра-

ции донесений Жене его правительству[15]. Сам Симолин узнавал о содержании депеш Жене от того же чиновника французской службы, что имело важное значение для информации русского двора, так как не все письма Жене удавалось перлюстрировать в Петербурге. Информация от секретных парижских агентов (их было, повидимому, несколько) продолжала получаться Симолиным и после его отъезда из Парижа, вплоть до 1795 г.[16].

Источником информации Симолина были и депеши французского посланника в Константинополе, графа Шуазёль-Гуффье, о содержании которых он узнавал, повидимому, от одного из своих тайных агентов. Так, в одном из донесений Симолина читаем: «Курьер, отправленный этим министром [Монмореном.—*Н. Л.*] несколько месяцев тому назад в Константинополь к г-ну Шуазёль-Гуффье, вернулся оттуда. Депеши последнего датированы 13 июня. Он сообщает, что представители Англии и Пруссии потеряли у Порты всякий кредит, что их вызвали на совещание и объяснялись с ними самым нелюбезным образом, что, возвращаясь к себе, они бросали деньги в народ, который приписывает им все испытываемые несчастья и который хотел уже поджечь здания посольств. Г-н Шуазёль-Гуффье не мог узнать, о чем шла речь на этом совещании. Этот посол полагает, что война между Австрией и Портой возобновится, ввиду отказа последней произвести какой-либо обмен для урегулирования вопроса о границах Кроатии, хотя обмен ей и выгоден, и что военные действия еще продлятся»[17].

В то же время из перехваченных депеш царский посол узнавал кое-что из деятельности и самого Гуффье, чем очень интересовались в Петербурге. Симолину удалось подкупить даже некоторых членов Дипломатического комитета, которые помогали ему воздействовать на Монморена. Русский посол собирался включить в число «своих друзей», как он именует в донесениях своих высокопоставленных тайных агентов, Мирабо, о котором раньше он отзывался в весьма нелестных выражениях. Лишь тяжелая болезнь и смерть Мирабо помешали Симолину установить «контакт» с знаменитым трибуном. «Я более чем когда-либо сожалею о смерти г-на де Мирабо,—писал Симолин в донесении от 27 мая 1791 г.,—он смог бы преодолеть препятствия, которые создали г-н Дю Шатле и г-н де Монморен к выполнению его плана, и увлек бы их вопреки их воле». Зато с Талейраном, преемником Мирабо в Дипломатическом комитете, соответствующий контакт был налажен, и Симолину удалось привлечь и использовать его (факт, остававшийся до сих пор неизвестным биографам Талейрана)[18].

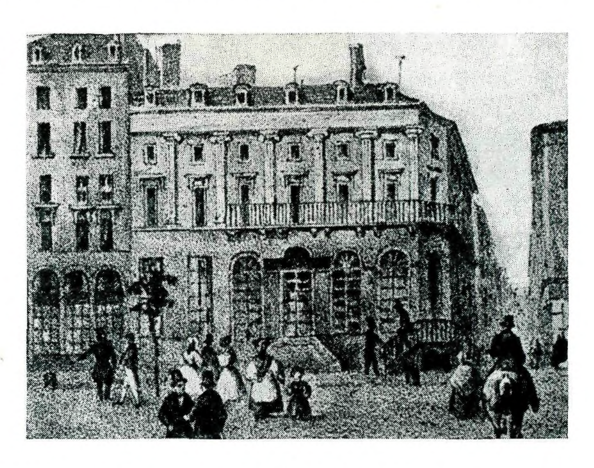
При наличии огромного количества печатных источников и литературы по истории Французской революции, донесения Симолина не могут, казалось бы, дать значительный новый материал для истории этой эпохи. И все же, оказывается, такой материал имеется.

В ряде донесений Симолина мы находим, например, любопытные подробности, относящиеся к «делу Ревельона», процессу Фавраса, расправе толпы с мэром Сен-Дени Бертье и т. п.

В донесении от 9 июля 1790 г. Симолин сообщает об организации своего рода «субботника» по сооружению амфитеатра, предназначенного к открытию в день празднования годовщины взятия Бастилии. «Марсово поле,—доносил Симолин,—представляет собой уже несколько дней самое необычайное зрелище. Амфитеатр, возводимый по всей его окружности, оставался незаконченным, несмотря на непрерывную работу от 12 до 15 тысяч рабочих. Граждане из опасения, что эта большая работа не будет выполнена к назна-

ДОМ ЛЕВИ НА УЛИЦЕ ДЕ ГРАММОН, В КОТОРОМ ПОМЕЩАЛОСЬ В 1789 г. РУССКОЕ ПОСОЛЬСТВО В ПАРИЖЕ

С литографии из „Paris en miniature“, par Jean-Baptiste Arnout. P., 1834



ченному сроку, взялись однажды вечером за заступы и лопаты, чтобы помочь рабочим. На другой день стечение народа стало еще многочисленнее; можно было видеть людей всех сословий, всех возрастов, нарумяненных женщин в шляпах, украшенных перьями, кавалеров ордена св. Людовика, священников, монахов,—все они поспешили принять участие в этих работах. Таким образом, более 40 тысяч человек занято теперь сооружением этого обширного амфитеатра».

Крайне любопытны сообщения Симолина, рисующие разложение старой королевской армии и подчеркивающие роль городской буржуазии в этом процессе. «В истории Франции,—пишет Симолин,—нет примера подобного заговора всех буржуа городов, направленного на то, чтобы сбить с толку солдат всеми способами соблазна»[19].

Донесения Симолина дают ряд интересных сообщений относительно эмиграции в Россию во время революции искусных французских мастеров, в том числе ремесленников, занятых изготовлением сукон и различных других материй. В целях вербовки таких ремесленников на русскую службу, Симолин завязал ряд связей в провинциальных городах Франции[20].

Эти донесения вскрывают стремление русского правительства заселить юг России эмигрантами-промышленниками, привлечение которых рекомендовалось Симолину особой инструкцией от 30 сентября 1790 г.[21].

Значительный интерес представляют донесения, относящиеся к области международных отношений. Эти донесения касаются, прежде всего, деятельности Симолина по заключению союзного трактата с Францией, к которому впоследствии предполагалось привлечь и Испанию. В помощь Симолину для ведения переговоров об этом «четверном союзе»[22] Екатерина командировала в Париж принца Нассау-Зигена. Однако, именно Французская революция помешала осуществлению этого проекта[23].

Одною из важнейших задач Симолина являлось также осведомление правительства Екатерины II о положении дел в Турции и Швеции, с которыми царская Россия вела войну.

Весной 1791 г., когда Пруссия, а особенно Англия готовы были предпринять ряд практических шагов с целью парализовать успехи России в русско-турецкой войне, Симолин, по поручению петербургского правительства, добивался от Франции демонстративной мобилизации военного флота и приведения в боевую готовность портовых укреплений. Эта мобилизация должна была «внушить страх Англии» и обезвредить «низкие

и коварные происки лондонского и берлинского дворов». Однако, поставленная Симолиным перед собой задача оказалась не из легких. Для того, чтобы получить согласие Национального собрания на это рискованное предприятие, грозившее обострить англо-французские отношения, требовалось убедить в необходимости этой меры Дипломатический комитет и Монморена. В своих донесениях Симолин сообщает о возможности подкупа некоторых членов Комитета, если можно будет рассчитывать на «щедрость и великодушие ее императорского величества». Однако, домогательства Симолина разбились о сопротивление некоторых членов Комитета, а также самого Монморена, ссылавшегося на необходимость заручиться предварительным согласием испанского двора, а затем—на ненужность этой демонстрации, ввиду близкого окончания русско-турецкой войны.

Таким образом, предложение Симолина о приведении в боевую готовность 35 линейных французских кораблей и соответствующего числа фрегатов, а также о вооружении портов не встретило сочувствия ни среди большинства членов Дипломатического комитета, ни со стороны министра иностранных дел и потерпело неудачу[24].

Но главный интерес донесений Симолина заключается в том материале, который рисует «контрреволюционную роль русского царизма во внешней политике со времен Екатерины II»[25]. В первой половине XIX века и позже эта роль обеспечила самодержавию, как известно, репутацию «международного жандарма».

Прямое участие России в вооруженной интервенции во Францию путем присоединения к первой коалиции европейских держав относится к весне 1793 г. Но, уже в силу договора с Россией от 23 января того же года, Пруссия получала свою долю в разделе Польши под условием продолжать военные действия против Франции, чтобы помочь Австрии вернуть Нидерланды, которые должны были отойти к Пруссии; Австрия же должна была получить в обмен на них Баварию и «некоторые другие выгоды, которые совместимы с общей пользой». Под этими выгодами, очевидно, разумелись возможные приобретения Австрии за счет Франции. Эти обещания должны были послужить утешением Австрии, которую Екатерина II и прусский король решили устранить от участия в новом разделе Польши[26]. Таким образом, Екатерина II была непосредственно заинтересована в успехах коалиции на французском фронте. Второй раздел Польши между Россией и Пруссией был направлен и против Французской республики, ибо польский вопрос был в эти годы неотделим от французского. Январским договором 1793 г. Россия и Пруссия как бы распределили свои роли в борьбе с Францией и ее союзницей—Польшей.

Договор 25 марта 1793 г. обязывал Россию принять участие в блокаде Франции. Непосредственное участие в военных действиях против Французской республики относится к 1798 г., когда Павел I присоединился ко второй коалиции держав, организованной против Республики под руководством Англии. Но помощь французским эмигрантам и дипломатическая интервенция со стороны царской России начались гораздо раньше.

С первых же дней Французской революции русская императрица проявила свое отрицательное к ней отношение. Полученное от Симолина сообщение о революции 14 июля и взятии Бастилии вызвало у Екатерины II крайнее раздражение и резкий выпад против Людовика XVI, не сумевшего поддержать свой королевский престиж. Этот эпизод отметил в своем

дневнике Храповицкий: «... Разговор е. в. о происшедшем в Париже. Le pourquoi est le Roi? Он всякий вечер пьян, и им управляет кто хочет, сперва Breteuil, партии королевиной, потом prince Condé et comte d'Artois и, наконец, La-Fayette уговорили его итти в собрание депутатов»[27].

Екатерина называла Учредительное собрание «гидрой о 1200 головах», «собранием адвокатов, прокуроров и сапожников, выдающих себя за законодателей», «шайкой безумцев и злодеев». Даже такие умеренные члены Собрания, как Монморанси и де Ноайль, выступившие с знаменитым предложением дворянства в ночь на 4 августа, были аттестованы Екатериной, как «негодяи», а один из Ламетов, как «буйный сумасшедший».

В письме к принцу де Линю (от начала августа 1790 г.) Екатерина писала: «Говорят, что с 14 июля все конфедераты каждый день пьяны. Так как не бывает последствий без причин, то, вероятно, существуют причины и тому, что в Париже 1000 людей напиваются допьяна ежедневно...

Я думаю, что Вольтер и его сочинения отвлекли бы от фанатизма и нелепостей настоящего момента и они не смогли бы продержаться долго. Вольтер не терпел никакого фанатизма. Неучи обоего пола пребывают точно такими же, какими вы их оставили, и, как уже было признано, не способны сочинять стихи, несмотря на то, что два учителя усиленно старались научить меня укладывать в размер мои мысли. Впрочем, я гораздо больше люблю стихи, чем прозу г-на Сегюра, в которой он нападал на лучших деятелей этого Национального собрания, которое все разбивает и ломает и отнюдь не дает ничего, которое, судя по всем принятым правилам и понятиям, лишено здравого смысла и отличается в высшей степени неблагоразумными действиями. Я считаю этих людей больными... Басня о членах человеческого тела, захотевших предписывать законы желудку, никогда не может быть лучше применена, чем теперь»[28].

Екатерина II нападала на Французскую революцию, прекрасно учитывая возможность перенесения революционной заразы даже в самодержавно-крепостническую Россию. Французский посол в Петербурге, Сегюр, сообщал, что известие о взятии Бастилии вызвало «сильное волнение и общее неудовольствие» при дворе и в то же время взрыв «энтузиазма» «среди купцов, лавочников, горожан и части молодежи высшего слоя... Все—французы, русские, датчане, немцы, англичане, голландцы—поздравляли друг друга, точно их освободили от тяжелых оков...». Сорель ошибается, когда утверждает, что Екатерина не боялась революционной пропаганды у себя дома; у него нет никаких аргументов для такого утверждения, кроме ссылки на письмо Екатерины к Гримму, где императрица явно бравирует, говоря в ироническом тоне о возможности серьезных отзвуков революционных событий в России[29].

Сохранились собственноручный черновик письма Екатерины II к маршалу герцогу де Брольи без даты и отпуск того же письма, датированный 22 октября 1791 г. В этом письме Екатерина выражает горячие симпатии французской аристократии, оказавшейся за пределами Франции, но оставшейся верной ее монарху. Говоря о своем покровительстве эмигрантам, Екатерина пишет: «Я только выполняла свой долг, защищая дело короля, то дело, которое в то же время является делом аристократии. Нет дворянства, нет и монарха. ...Не было более справедливого, более славного, великого и благородного дела, чем то, которому вы служите»[30].

После неудачного бегства Людовика XVI в Варенн и принятия королем конституции (14/IX 1791 г.) русское правительство фактически идет на

разрыв дипломатических отношений с революционной Францией[31]. В записке императрицы к Безбородко от 30 июня (ст. стиля) 1791 г. говорится о ее намерении «с венским и иными дворами условиться, чтобы, когда французское Народное собрание объявит от себя, что оно со всеми державами хочет жить в согласии, им ответствовать и требовать освобождения короля Людовика XVI, его супруги и фамилии, и в противном случае от них не принимать министров, а своим приказать выехать, кораблей их не пускать в гавани, а всех присягнувших Собранию не терпеть нигде; королевской же партии дать покровительство, понеже сие дело есть дело всех королей...»[32].

В «Записке по французским делам», помеченной 24 сентября (ст. стиля) 1791 г., Екатерина II возмущается, что «короля заставили подписать не христианскую конституцию, но антихристову». Там же императрица высказывает мнение, что, не снесясь предварительно «с дворами, кои признавать будут оные дела за дело всех государей», не следует признавать никаких актов французского правительства[33]. Итак, дипломатический и экономический бойкот революционной Франции впредь до восстановления короля—такова была программа Екатерины II осенью 1791 г. В этот бойкот предполагалось вовлечь и другие государства.

Но участвовать в вооруженной интервенции в дела Франции, на чем настаивали французские принцы-эмигранты, Екатерина II пока отказывалась, ссылаясь на полное бессилие контрреволюционной партии в самой Франции, у которой не оказалось достаточно «воли и силы, чтобы восстановить монархию»[34]. К тому же незаконченность мирных переговоров с Турцией (Ясский мир был подписан лишь 9 января 1792 г.) и необходимость держать достаточное количество войск на западной границе, в подкрепление своих притязаний при новом разделе Польши, не позволяли Екатерине II решиться в тот момент на обещание вооруженной поддержки эмигрантам. Ее план заключался в том, чтобы втянуть Австрию и Пруссию в коалицию против Франции и тем отвлечь их внимание от польских дел. В одной из бесед с Храповицким императрица откровенно заявила: «Il y a des raisons qu'on ne peut pas dire; je veux les engager dans les affaires pour avoir les coudées franches. У меня много предприятий неоконченных, и надобно, чтоб они были заняты и мне не мешали»[35].

Правда, этот план был разгадан венскими и берлинскими дипломатами. «Императрица,—говорил Кауниц,—ждет только того, чтобы Австрия и Пруссия вмешались во французские дела, чтобы все перевернуть в Польше». Поэтому, никак нельзя согласиться с Сорелем, будто Французская революция ничего не изменила во внешней политике Екатерины, якобы, всецело определявшейся тогда польскими делами[36].

Но денежную помощь принцам Екатерина оказывала неоднократно[37]. В то же время она имела весьма конкретный план «спасения» Франции: она прилагала старания к примирению партии принцев с партией королевы, к созыву собрания трех сословий и парламентов, предусматривала даже необходимость амнистии, «так как число виновных несметно».

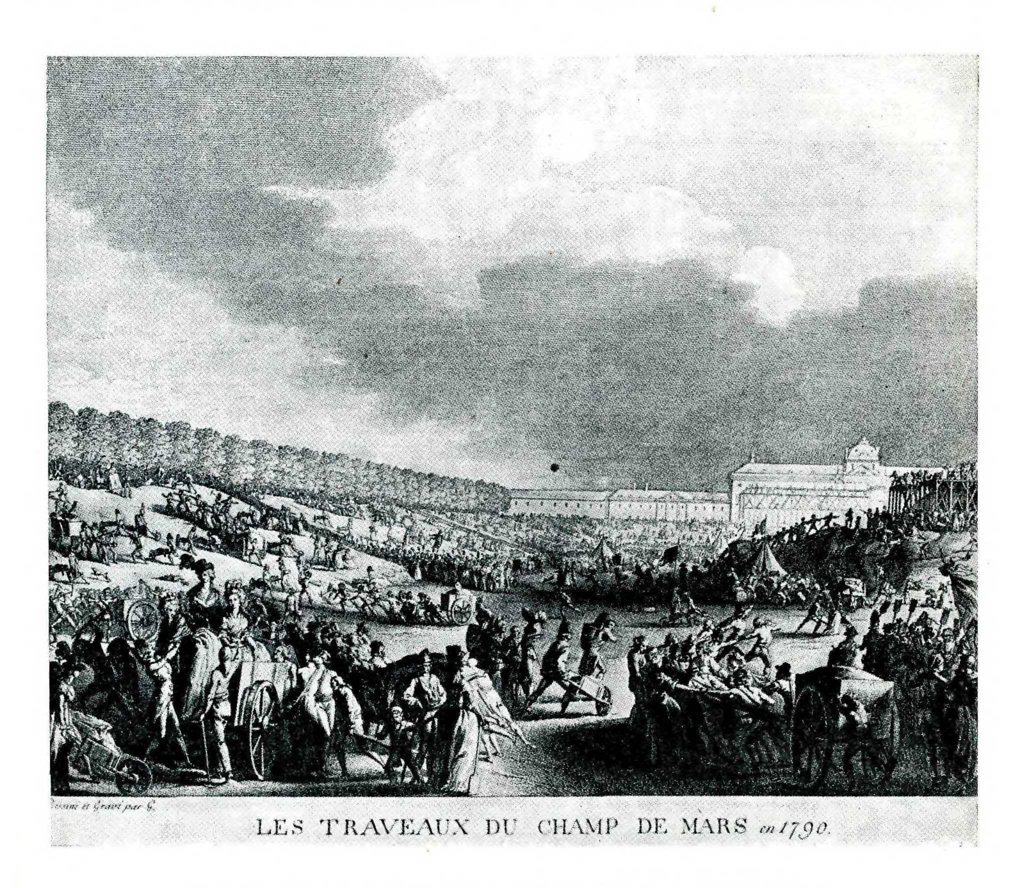
Но Екатерина II считала, что для этого, во всяком случае, надо действовать силой. «Парламентам, как и трем сословиям, необходима для их восстановления сила оружия, а не рассуждения: там, где надо драться, чтобы заставить понимать, переговоры кратки и почти ненужны»[38]. Принцы должны полагаться в основном не на вмешательство иностранных войск, а на собственную армию.

В письме к Гримму от 27 августа 1791 г. Екатерина рекомендует французским эмигрантам объединиться на платформе преданности королю и монархии и, вернувшись во Францию, развить там контрреволюционную деятельность. В том же письме она сообщает своему корреспонденту, что «Симолин, вероятно, один из первых покинет Париж», так как вице-канцлер уже посоветовал бывшему королевскому поверенному в делах, г-ну Жене, не являться более ко двору[39].

Императрица не желала иметь в России представителя революционной Франции. К сообщению Симолина (от 14 ноября 1791 г.) о получении Жене (Genet) новых верительных грамот приложена собственноручная записка Екатерины II: «Буде снова Женет аккредитован будет, то просто объявить, что от него ничего принято не будет»[40].

В августе же Симолиным было получено письмо от Остермана (от 31 июля 1791 г.), в котором рекомендовалось воздерживаться от каких бы то ни было сношений с французскими министрами, ввиду того, что король не свободен и находится на положении арестованного[41].

В докладе, представленном Монмореном Законодательному собранию 31 октября 1791 г., где были изложены ответы европейских дворов на французское сообщение о принятии королем конституции, ничего не говорилось, как официально реагировала на это сообщение Екатерина II[42].



ОБЩЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ НА МАРСОВОМ ПОЛЕ В ИЮЛЕ 1790 г.
Современная гравюра неизвестного мастера, с монограммой „G“

Эрмитаж, Ленинград

Известно, однако, что коллегия иностранных дел в Петербурге отказалась принять это сообщение, посланное на имя Екатерины Людовиком XVI.

30 января 1792 г. Симолин получил депешу от Остермана (от 3 декабря 1791 г.) с предписанием немедленно покинуть Францию, сдав дела поверенному в делах М. С. Новикову. В то же время Симолину предлагалось выразить на прощальной аудиенции сочувствие Екатерины II Людовику XVI и Марии-Антуанетте[43].

Отъезд Симолина из Парижа, состоявшийся (под видом отпуска) 7 февраля 1792 г., фактически означал отозвание русского посла из Парижа. Через пять месяцев Жене вынужден был покинуть Петербург. 8 июля 1792 г. ему было объявлено повеление Екатерины немедленно выехать из России, 14-го ему уже вручили паспорт и подорожную, 16-го состоялся его отъезд[44].

В апреле 1793 г. Екатерина II писала английскому королю Георгу III: «Причинами моего вмешательства в дела Франции являлись, бесспорно, не столько личные мои интересы, сколько интересы соседних с этим королевством держав. Отделенная от Франции громадными преградами, я могла бы, приняв некоторые меры предосторожности и в особенности благодаря счастливому характеру народов, находящихся под моим скипетром, спокойно ждать завершения событий...

Друг порядка, справедливости и всеобщего счастья человечества, побуждаемая лишь этими чистыми и бескорыстными мотивами, я старалась пробудить активность и привлечь внимание европейских держав к тем многообразным опасностям, которые угрожали им в результате французской революции»[45].

В этих строках нарочито преуменьшается опасность «революционной заразы» для подданных Российской империи, чтобы подчеркнуть «бескорыстие» Екатерины и ее мнимую незаинтересованность в вооруженной интервенции во Францию. Приведенное выше показание Сегюра заставляет усомниться в том, что в годы революции императрица твердо верила в «счастливый характер народов», подвластных ее скипетру, да и воспоминания о крестьянской революции 70-х годов XVIII века, так называемом «пугачевском бунте», были еще очень свежи в памяти Екатерины и русских дворян-крепостников. В некоторых письмах французского поверенного в делах в Петербурге, Жене, имеются определенные указания на наблюдавшийся в 1789—1791 гг. рост недовольства среди крестьян и купцов затяжной войной с Турцией[46]. Вмешательство держав должно, по мнению Екатерины, выразиться в решительной поддержке вооруженной интервенции, которую подготовляют французские принцы-эмигранты. Но для успеха их предприятия необходимо, чтобы в самой Франции образовалась сильная контрреволюционная партия, которая взяла бы верх над той «мерзкой кликой» («faction détestable»), которая там господствует в настоящее время. «Действительно, без этого средства как можно надеяться вернуть на путь истинный нацию в 25 миллионов человек, то и дело сбиваемую с толку вероломными советами,—нацию, вовлеченную в ужасные насилия ее теперешними руководителями»[47].

Итак, создание крепкого ядра роялистской партии в самой Франции, помощь вооруженной интервенции принцев со стороны держав—такова программа борьбы с революцией, выдвигавшаяся Екатериной II весной 1793 г. Посылать своих «казаков» против революционной Франции импе-

ратрица еще не обещает: они ей были слишком нужны для завершения расчленения Польши.

Разделял ли Симолин целиком отношение Екатерины II к Французской революции? Если говорить о первом годе революции, на этот вопрос приходится ответить, безусловно, отрицательно.

В донесении от 10 апреля 1789 г. он называет будущие Генеральные штаты «августейшим собранием» («Assemblée auguste»). О некоторых актах Национального собрания, относящихся к началу его деятельности, Симолин отзывается в своих донесениях с явным сочувствием. Так, сообщая о знаменитой клятве в «Jeu de Paume», он прибавляет: «Сегодняшний день — один из самых интересных и составит эпоху в истории французской монархии». В другом донесении он отзывается об отмене десятины и других феодальных поборов церкви, как об одном из «важнейших законодательных актов Франции, имевших место со времен капитуляриев Карла Великого». Особое восхищение Симолина вызывает «превосходный доклад» Мунье, в котором он утверждал, что основные законы Франции не противоречат конституции, и призывал приступить к ее выработке[48].

Эти, на первый взгляд неожиданные, отзывы Симолина по поводу деятельности Национального собрания объясняются не только грандиозностью происходивших на его глазах событий, производивших сильное впечатление даже на царского чиновника, но и его особым подходом к революции, определявшимся, прежде всего, интересами внешней политики царской России. К началу Французской революции Екатерина вела, в союзе с Австрией, войны с Турцией, которую поддерживали Пруссия и Англия, и с Швецией. В то же время она старалась не упустить своей доли в намечавшемся новом разделе Польши, которую пока поддерживала против России та же Пруссия. При такой международной ситуации царизм был крайне заинтересован в привлечении к австро-русскому союзу Франции и Испании. В этом направлении и вел свою дипломатическую работу Симолин. Но Франция была накануне революции, государственные финансы были в катастрофическом положении, административный аппарат был расшатан, росло всеобщее недовольство ненавистным режимом. Ослабленное революционным взрывом, королевское правительство уже не могло быть ценным союзником. Но Симолин надеялся, что с созывом Генеральных штатов финансовое положение Франции улучшится, все придет в порядок, королевская власть укрепится, наступит счастливое возрождение политической мощи страны, и, следовательно, возрастет и ее международный престиж. Отсюда — его благожелательное отношение к созыву Генеральных штатов и первым шагам деятельности Национального собрания.

Но успехи революции затруднили переговоры о союзе; общественное мнение Франции не хотело и слышать о союзе с Австрией, не хотело вступать в коалицию, враждебную Турции и Польше, одновременно рискуя вооружить против себя Англию. При таких условиях французская дипломатия затягивала переговоры, хотя король и королева, как доносил Симолин, признавали желательность франко-испано-русско-австрийского союза. Дальнейшие успехи переговоров о союзе зависели, как казалось Симолину, от сохранения добрых отношений между королем и Собранием. Вплоть до взятия Бастилии он еще верил в возможность избежать революции[49]. С этой точки зрения известная уступчивость двора в отношении

Собрания была крайне желательна. Отсюда известный, правда, крайне умеренный и преходящий, «либерализм» Симолина.

Отсюда же его особый интерес к состоянию государственных финансов Франции, как показателю устойчивости правительства, его ценности, как союзника. В донесении об открытии Генеральных штатов Симолин отмечает успокоительную речь Неккера о дефиците в государственном бюджете. В приложении к донесению от 20 сентября 1789 г. он с тревогой сообщает: «Так как со времени революции 12 июля налоги более не собираются, то все источники доходов иссякли, а Национальное собрание бесплодно теряет время вместо того, чтобы заняться воссозданием доверия и кредита и восстановлением финансов. При виде всего, что происходит, невольно думаешь, что Генеральные штаты были собраны только для разрушения государства». В донесении, относящемся уже к началу 1790 г., он пишет: «Так как вся нация вооружена, трудно, если даже не невозможно, заставить ее платить налоги. Поэтому отовсюду сообщают, что никаких сборов налогов не производится, и это должно само собой привести к банкротству»[50].

Взятие Бастилии сильно поколебало надежды Симолина на возрождение Франции, как могущественной державы, на ее способность стать ценным союзником царской России и на скорое присоединение ее к русско-австрийскому союзу. «Я счел своим долгом,—говорит он в донесении от 19 июля 1789 г.,—не медлить с отправкой курьера с известием о событии столь большой важности при любых обстоятельствах и имеющем в настоящее время особое значение для нашего двора. Было бы заблуждением рассчитывать теперь на союз и, тем более, на политическое влияние Франции. Каковы бы ни были соображения нового министерства по отношению к предполагаемому союзу с ее императорским величеством, оно не может уделить ему большого внимания, и надо рассматривать Францию, при решении стоящих перед нами в данный момент вопросов, как несуществующую. Я не беру на себя смелость давать советы, но все же считаю своей обязанностью доложить о положении дел, каким оно мне представляется, и сказать, что Франция, даже с наилучшими намерениями по отношению к нам, не сможет оказать нам никакой услуги и что союз с ней будет иллюзорным для Российской империи. Кроме того, нация питает отвращение к союзу с австрийским домом, из-за королевы, и если бы даже можно было заключить договор, он был бы нарушен, потому что министры будут вынуждены следовать принципам и побуждениям третьего сословия, которые возьмут верх над всеми другими соображениями. Если императрице нужны посредники, чтобы облегчить завершение двух войн, которые она ведет, то будет совершенно необходимо обратиться к кому-либо другому.

... Все поражены при виде того, как в течение тридцати шести часов французская монархия была уничтожена и ее глава вынужден соглашаться на все, чего разнузданный, жестокий и варварский народ требует от него с такой дерзостью и таким повелительным тоном, и еще считать себя при этом очень счастливым, что народ соблаговолил удовлетвориться его отречением от своей власти и от своих прав».

Сочувственные отзывы Симолина о некоторых актах Национального собрания не исключают того, что в ряде своих донесений он с самого начала революции совершенно открыто высказывает свое отвращение к выступлениям народных масс. Говоря о столкновениях толпы, соединившейся с Французской гвардией против королевского немецкого полка,

накануне взятия Бастилии, Симолин характеризует эти столкновения как «безобразия» («scandales»). Говоря о событиях 14 июля, он пишет: «Жестокость и зверство французского народа проявились при всех этих событиях в тех же чертах, как и в Варфоломеевскую ночь, о которой мы еще до сих пор с ужасом читаем, с той только разницей, что в настоящее время, вместо религиозного фанатизма, умы охвачены политическим энтузиазмом, порожденным войной и революцией в Америке»[51]. Сообщая о расправе толпы с интендантом армии Фулоном и его зятем Бертье, Симолин добавляет: «Париж походит на логовище тигров» («Paris ressemble à un repaire des tigres»).

Эта ненависть к выступлению «низов» была характерна для той политической группировки, на которую в то время ориентировался, повидимому,

ВОЗВРАЩЕНИЕ АРЕСТОВАННОГО ЛЮДОВИКА XVI ИЗ ВАРЕННА В ПАРИЖ
Современная гравюра неизвестного мастера
Эрмитаж, Ленинград

Симолин[52]. Такой группировкой были монархисты из правого центра, так называемые «беспристрастные», стоявшие на точке зрения не революции, а реформы, выступавшие, как сторонники абсолютного veto короля, двухпалатной системы и последовательного проведения в конституции принципа разделения властей.

Эта умеренная аристократическая группировка, занимавшая как бы промежуточное положение между крайними правыми и монархистами-конституционалистами, возглавлялась депутатами Национального собрания Мунье и Лалли-Толландалем, а после их эмиграции—депутатами Малуэ и Клермон-Тоннером. Представителями этого течения был организован «Клуб независимых», который назывался потом «Клубом друзей монархической конституции» (был закрыт в марте 1791 г.). С этой точки зрения отнюдь не случаен хвалебный отзыв Симолина о выступлении докладчика Конституционного комитета Мунье.

По мере развертывания революции отношение к ней Симолина становится все более и более враждебным. «Полнейшая и беспримерная анархия,—пишет он в донесении от 7 августа 1789 г.,—продолжает приводить Францию в состояние полного разрушения. Нет ни судей, ни законов, ни исполнительной власти, и о внешней политике настолько нет речи,

как будто это королевство вычеркнуто из списка европейских держав. Национальное собрание, повидимому, раздирается на части враждебными друг другу кликами. Король и королева содрогаются в ожидании неисчислимых последствий революции, подобной которой не знают летописи».

Еще более эта ненависть к выступлениям масс заметна в донесении Симолина об октябрьских событиях 1789 г. «Новое восстание,—пишет он 9 октября 1789 г.,—трагические и гибельные последствия которого неисчислимы, повергло Париж и Версаль в ужас. В понедельник утром 5-го этого месяца несколько сотен торговок, величаемых теперь «дамами рынка», рассеялись по городу и принудили итти за собою попадавшихся им навстречу женщин. Они вооружились чем попало. Затем направились к Ратуше; несколько мужчин присоединились к ним. Ратуша была взята силой. Они завладели оружием и запасными пушками и с триумфом их увезли... В полдень толпа этих женщин в количестве нескольких сотен двинулась на Версаль...».

Весь дальнейший рассказ о вторжении толпы в королевские покои проникнут презрением и ненавистью Симолина к этой «толпе» и его сочувствием королевской семье, которой пришлось переехать в Париж в качестве «пленников».

Сообщив о волнениях, происходивших во французском флоте, он винит во всем... «Декларацию прав человека и гражданина». «Вот,—восклицает он,—результат Прав человека, которые внесли сумбур в головы французов и свергли монархию... Подробности нового возмущения ужасны. Мятежники потребовали равенства, установленного Декларацией прав человека, и один из них заявил Альберу де Риом: „Предписывают законы те, кто сильнее, а потому это право принадлежит нам“, и весь экипаж „Патриота“ поддержал такую преступную наглость»[53].

Но и многие акты Национального собрания вызывают теперь у Симолина негодование.

В марте 1790 г. он пишет, например: «Каких только сумасбродств и безумств нет в головах 1200 величеств, и невозможно предвидеть, каковы будут, в конце концов, последствия этого... Все в этом королевстве дезорганизовано, извращено, уничтожено, и расстройство финансов сулит банкротство, если даже о нем не будет объявлено»[54].

Симолин возмущался мартовским декретом Национального собрания о выкупе феодальных прав, хотя этот декрет, как известно, устанавливал выкуп как раз наиболее ценных для помещиков повинностей, и притом на самых невыгодных для крестьян условиях. «Большинство статей [декрета—*Н. Л.*],—пишет он,—вопиющая несправедливость: они грабительски, без возмещения отнимают у владельцев их права, оставляя на их плечах все обязанности, какие они несли в связи с этими правами. Можно подумать, что Национальное собрание имело намерение подготовить почву к последующему аграрному закону»[55].

Еще более пессимистически, чем раньше, расценивает теперь Симолин Францию, как фактор европейской политики. Он считает, что Франция как бы сошла с арены международной политики. «Только провидение может предугадать,—пишет он,—когда Франция сможет снова занять свое место среди держав Европы. Если судить по сложившейся обстановке, то, конечно, это не произойдет в настоящем столетии, если бы даже контрреволюция, кажущаяся невозможной при существующем положении дел, перевернула все, что совершено за это время»[56].

Излишне доказывать, что в данном случае опытный екатерининский дипломат жестоко ошибался; разделавшись с внутренней контрреволюцией в 1793 г., Французская республика одержала уже в следующем году ряд побед и стала важным фактором международной политики.

В одном из майских донесений 1790 г. Симолин выражает свое возмущение по поводу нападения толпы на дома издателей контрреволюционных органов «Actes des Apôtres» и «Gazette de Paris» [57]. В донесении от 14 мая 1790 г. он сообщает о выдвинутом в Якобинском клубе предложении «отозвать всех находящихся при иностранных дворах послов и посланников, подозреваемых в симпатиях к аристократам, и заменить их поверенными в делах и консулами, на которых можно положиться». И тут же добавляет: это предложение «тем более по вкусу бешеным («des enragés»), что они не удовлетворяются тем, что привели Францию в состояние ужасной анархии, но стремятся уподобить ей все королевства и государства Европы». Отсюда Симолин делает вывод: «По-моему, необходимо установить во всех странах самое внимательное наблюдение над приезжающими туда французами...».

С другой стороны, Симолин считает, что и «для молодых людей других наций» пребывание во Франции становится очень опасным: «Умы их возбуждаются и проникаются принципами, которые могут причинить им вред при возвращении их в отечество».

Наблюдение за проживающими во Франции русскими входило в одну из обязанностей Симолина. После того, как он получил из Петербурга депешу от 4 июня 1790 г., предписывавшую ему добиться выезда всех русских из Франции[58], он усиленно собирает сведения о проживающих в Париже русских подданных и торопит их с отъездом[59]. Установить местопребывание в Париже графа П. А. Строганова царскому послу не удалось, несмотря на усердные поиски, которые предпринял, по поручению посла, священник при русской миссии. Но Симолин спешит сообщить, что воспитатель молодого Строганова (будущий член Конвента, Ромм) «связал его с самыми крайними бешеными из Национального собрания и Якобинского клуба, которому он, кажется, подарил библиотеку»[60].

В донесении от 25 июня 1790 г. Симолин сообщил о принятой Национальным собранием депутации, состоявшей из иностранцев, «от всех проживающих в Париже наций». Члены депутации просили предоставить ей места на празднике Федерации, чтобы потом рассказать повсюду о том, что они видели и пережили на этом празднике. Перечисляя состав депутации, Симолин добавил: «Называют также русских, в чем я сомневаюсь»[61]. На полях донесения имеется пометка Екатерины II: «Писать, чтоб сведомился, кто оне таковы»[62]. Получив этот запрос, Симолин ответил (25 августа 1790 г.), что ему не удалось установить никаких следов участия русских в этой делегации.

Эта перемена в отношении Симолина к событиям Французской революции сказалась и на подборе высылавшейся им литературы. С начала 1790 г. контрреволюционные «Actes des Apôtres» занимают среди интересующей Симолина литературы первое место.

Неудачное бегство королевской семьи в Варенн—событие, в котором Симолин, по его собственным словам, был «несколько замешан, хотя и самым невинным образом», только усилило его враждебное отношение к Французской революции. Но здесь необходимо выяснить его роль в организации этого неудавшегося побега.

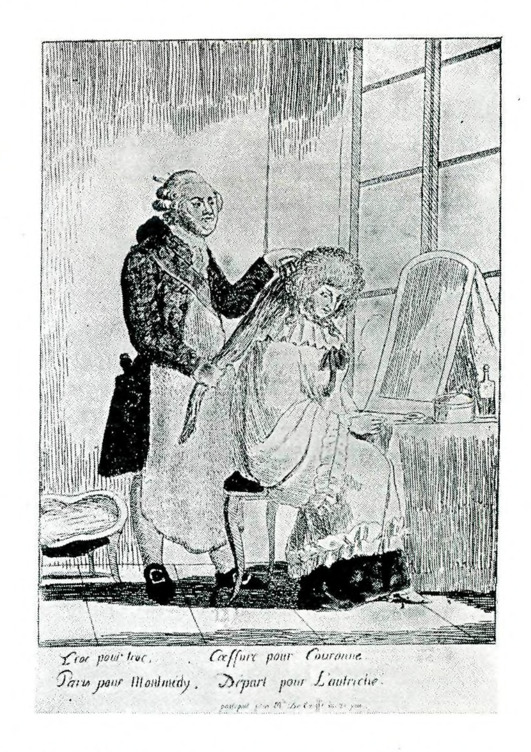
Отъезд короля и его семьи из Парижа состоялся в ночь с 20 на 21 июня 1791 г.[63]. Узнанный и остановленный в Варенне король предъявил паспорт, выданный за подписью Монморена на имя некоей госпожи Корф, отправлявшейся во Франкфурт с двумя детьми, лакеем, тремя слугами и горничной. Госпожа Корф была вдовой полковника русской службы, убитого при осаде Бендер. Незадолго до бегства короля она просила, через третье лицо, у Симолина достать ей два отдельных паспорта — один для нее, другой для ее матери, чтобы ехать во Франкфурт. По просьбе Симолина паспорта были выданы Монмореном. Несколько дней спустя госпожа Корф отправила Симолину записку, в которой писала, что, «сжигая различные ненужные бумаги, она имела неосторожность бросить в огонь также свой паспорт», и просила Симолина достать ей дубликат. В тот же день Симолин обратился к ведавшему выдачей паспортов секретарю с просьбой заменить, якобы, сгоревший паспорт другим, приложив записку госпожи Корф. Дубликат паспорта был выдан.

Таким образом, факт попытки королевской семьи бежать к границе Франции с чужим паспортом, выданным по просьбе русского посла в Париже Симолина, является вполне установленным.

По возвращении короля в Париж Монморен был вызван для объяснения в Национальное собрание. Здесь ему удалось оправдаться по обвинению в том, что он содействовал побегу королевской семьи. «Однако, народ бросился с такой яростью к его дому, что забили тревогу, и три отряда Национальной гвардии отправились туда, чтобы защитить дом от разграбления»[64].

Не менее сильно было негодование демократических слоев Парижа и против Симолина. «Граф де Монморен и я,—доносил Симолин 19 сентября 1791 г.,—могли стать жертвами народной ярости». «Только усиленная охрана спасла графа де Монморена от фонаря, а его дом от разграбления». «Что касается меня,—продолжает Симолин,—то на собрании в Palais Royal была вынесена резолюция, подтвержденная на другой день собравшимися на Елисейских полях, схватить меня и расправиться со мной, как с сообщником по организации бегства короля. Молодой граф Мусин-Пушкин и его друг по путешествию, услыхав это постановление, требующее крови, прибежали ко мне, чтобы предупредить меня об угрожающей мне опасности. Один разумный человек из толпы восстал против жестокости такого намерения и против нарушения международного права, которому был бы, таким образом, нанесен ущерб в моем лице. Ему ответили: „Чтó его императрица может нам сделать?“».

Первое впечатление от разыгравшихся событий, повидимому, было таково, что не оставалось сомнений в прямом участии Симолина, как и Монморена, в организации бегства королевской семьи. В изданном Lescure'ом в 1866 г. трехтомном собрании «Correspondance secrète inédite de Louis XVI, Marie-Antoinette, la cour et la ville de 1777 à 1792», составленном на основании рукописей «Императорской библиотеки в Санкт-Петербурге», имеется письмо 28-е, датированное 9 июля 1791 г., из Парижа, в котором говорится: «Создалось убеждение, что р у с с к и й и шведский послы были осведомлены об отъезде короля»[65]. Это мнение перешло потом и в литературу. В статье Рамбо, вошедшей в известную «Всеобщую историю» под редакцией Лависса и Рамбо, прямо говорится: «Екатерина вместе с Густавом III участвовала в заговоре, которым было подготовлено бегство в Варенн: ее парижский посол Симолин выдал, будто бы, на имя



«ПАСПОРТ МАДАМ ДЕ КОРФ ОТ 21 ИЮНЯ»
Современная сатирическая гравюра неизвестного мастера
Эрмитаж, Ленинград

баронессы Корф паспорт, которым должна была воспользоваться королевская семья»[66]. Позднейший французский историк, монархист Lenotre, в своей работе «Вареннская драма»[67] также разделяет эту точку зрения, ссылаясь на одно из донесений Симолина и письмо к нему Остермана, хранящиеся в русских архивах. Но высказывалась и противоположная точка зрения: так, H. Monin, автор статьи «Simolin» в «La Grande Encyclopédie», совершенно отрицает участие Симолина в «вареннском событии».

Вопрос о соучастии Симолина в подготовке бегства королевской семьи представляется далеко не столь простым, как это полагают некоторые авторы. Сам Симолин категорически отрицал свое сознательное участие в истории с выдачей паспорта госпоже Корф. В донесении от 27 июня он утверждает, что был «несколько замешан, хотя и самым невинным образом, в этом крупном событии». «Не вина г. де Монморена и не моя вина,— читаем в том же донесении, — что г-жа Корф дала использовать свой паспорт для таких целей, для которых он не предназначался и о которых мы никак не могли предполагать».

А в своем письме к Монморену от 25 июня того же года Симолин писал: «Только сегодня утром из газет узнал я о несчастном случае с паспортом, который имел честь просить у вашего сиятельства три недели тому назад...», «...мое поведение в этом случае было естественно и соответствовало моим обязанностям, и, смею надеяться, каждый согласится, насколько для меня было невозможно заподозрить, что оно впоследствии может дать повод к малейшим обвинениям против вашего сиятельства и против меня, несмотря на необдуманное употребление, которое, повидимому, было дано этому второму паспорту»[68].

Из других донесений Симолина явствует, что он сожалел по поводу неудачи с побегом, осуждая в то же время манифест, который оставил король после своего отъезда. «Взрыв, который я предчувствовал,—пишет

Симолин,—разразился скорее, чем я предполагал. План содействия выезду короля из дворца со всей королевской семьей был задуман и выполнен очень умно и в большой тайне, но не увенчался успехом. Монарх был арестован в двух милях от границы и препровожден в Мец; можно только содрогаться при мысли о несчастиях, которые грозят королевской семье, особенно королеве, рискующей стать жертвой жестокого и кровожадного народа»[69].

Однако, можно привести ряд соображений, заставляющих сомневаться в том, что Симолин был осведомлен об употреблении, которое было сделано с паспортом, опрометчиво выданном по его просьбе Монмореном. Известно, что план бегства и его осуществление были организованы другом королевы, Ферзеном — шведским офицером на французской службе, бывшим душой всего предприятия. Между тем, Симолин не был тогда близок с Ферзеном и не раз отзывался о нем в весьма нелестных выражениях в своих донесениях, относящихся ко времени русско-шведской войны, закончившейся лишь в августе 1790 г.

Из опубликованной в 1877—1878 гг. переписки Ферзена мы знаем, что выработанный им план побега был особенно тщательно законспирирован, что о нем были осведомлены только четверо французов, из которых трое находились тогда за пределами Франции, а четвертый, генерал Буйе (Bouillé),—за пределами Парижа.

Осведомляя об этом барона Таубе, Ферзен не рекомендует ему сообщать подробности даже шведскому королю (Густаву III), опасаясь «нескромности» последнего. Никаких указаний на соучастие Симолина в письмах Ферзена не имеется. Но о плане бегства королевской семьи под защиту иностранных государей, и в первую очередь шведского, были еще осведомлены шведский посол в Париже де Сталь и его жена, француженка по национальности (дочь Неккера). Повидимому, г-жа де Сталь кое-кому проболталась, хотя бы, например, членам Национального собрания Таллону и Семонвилю, «двум бешеным якобинцам», по аттестации Ферзена. Неопределенные слухи насчет данного плана, возможно, дошли и до Лафайета, Байи, Монморена и др. Были приняты меры предосторожности, что не помешало, однако, королевской семье поздно вечером ускользнуть незамеченной из Тюильри[70].

В тот момент Симолин стоял в стороне от той придворной клики, которая возглавлялась королевой, Ферзеном, бароном де Бретёйлем и Буйе. Как мы уже видели, его симпатии склонялись к промежуточной группировке—умеренных аристократов (Мунье и Лалли-Толландаль). Правда, к моменту бегства короля влияние Монморена на Симолина заметно падает, но отрицать его совсем, даже для осени 1791 г., не приходится.

Сам Монморен, бывший воспитатель Людовика XVI, был всецело предан королевской семье и пользовался доверием короля, тем не менее, он в это время уже не разделял тактики, которую рекомендовала королю придворная клика де Бретёйля, Ферзена и Буйе.

Особенно пагубным для короля Монморен считал влияние Ферзена на Марию-Антуанетту.

Друг Монморена, дипломат и эмигрант Сен-Прист сообщает в своих мемуарах, что после переезда королевской семьи из Версаля в Париж, в аппартаментах короля в Тюильри, он встретил Ферзена и Монморена, причем последний обратил внимание Сен-Приста на то, что «присутствие графа Фер-

зена, связь которого с королевой была известна, могло подвергнуть опасности как его самого, так и короля»[71].

Только в начале июня 1791 г. Монморен был исключен из членов Якобинского клуба. Патриоты считали его изменником, роялисты обвиняли его в союзе с разрушителями монархии.

Монморен, повидимому, не только не был, но и не мог быть в курсе разработанного и законспирированного Ферзеном плана бегства короля, хотя слухи о существовании этого плана и могли до него доходить: в 1790—1791 гг. при дворе его уже считали неудобным. Его отставки с поста министра иностранных дел добивался «комитет принцев», и ходили слухи о назначении на это место Сен-Приста[72]. Король и королева не держали Монморена в курсе своей закулисной политики. Его оставляли на министерском посту, поскольку считали наиболее подходящей фигурой для сношений с Национальным собранием и представительства официальной политики короля, которая, как известно, имела очень мало общего с его тайной политикой, осуществлявшейся совсем через других лиц[73].

В одном из донесений Симолина сообщается о встрече Монморена с королем после того, как королевская семья была снова водворена в Париже. «Граф де Монморен,—пишет Симолин,—видел короля и королеву наедине. Их величества говорили с ним о своем путешествии, в тайну которого они его не посвятили [разрядка моя.—*Н. Л.*]. На это министр ответил: „Ваше величество, не желая подвергать испытанию мою совесть, вы подвергли опасности мою жизнь“»[74].

В другом донесении Симолин говорит, что «король и королева привыкли его [Монморена] обманывать и подвергли его уже однажды испытанию, которое едва не оказалось для него весьма прискорбным». Это донесение относится к концу августа 1791 г., когда в Париже распространились слухи о подготовке нового побега королевской семьи. Организаторами предприятия снова называли барона де Бретёйля, Буйе и Ферзена. В связи с этим Симолин, очевидно, вспоминает о том трудном положении, в какое Монморен был поставлен после вареннского бегства. Добавим, кстати, что вместе с Монмореном Симолин не одобрял этого плана второго побега. «Можно быть уверенным,—писал он там же,—что не было бы ничего тягостнее и гибельнее для страны, чем осуществление подобного плана, потому что его неизбежным следствием была бы гражданская война, сигнал к которой был бы дан массовыми убийствами»[75].

Если бы Симолин был осведомлен о подготовлявшемся бегстве королевской семьи, то едва ли мог бы писать в одном из своих донесений: «Утверждают, что здесь имеются неопровержимые доказательства осведомленности шведского короля о плане бегства короля»[76].

Не приходится игнорировать и одно место из письма вице-канцлера Остермана к Симолину с выговором за неуместное выражение, допущенное Симолиным в письме к Монморену. Оказывается, Екатерина проявила крайнее недовольство тем местом в письме Симолина к Монморену, где русский посол квалифицировал употребление, которое было сделано с паспортом на имя госпожи Корф, как употребление «необдуманное» («usage inconsidéré»).

«Этот эпитет,—писал Остерман,—весьма мало приложим к обстоятельству, о котором шла речь, и если бы вы даже предоставили такой паспорт с действительным намерением оказать содействие христианнейшему королю и

тем способствовали бы его безопасности, то такой поступок был бы во всех отношениях приятен ее императорскому величеству»[77] [разрядка моя.—*Н. Л.*].

Это место из письма Остермана заслуживает особого внимания. Из него следует, что, по крайней мере, петербургский двор ничего не знал о том, что, ходатайствуя перед Монмореном о выдаче дубликата паспорта госпоже Корф, Симолин был, якобы, осведомлен о том, что этим паспортом воспользуется при своем побеге из Парижа королевская семья.

Против этого предположения говорит и оправдательное письмо, посланное Симолиным Остерману в ответ на полученный выговор от коллегии иностранных дел.

В этом письме Симолин ссылается, в свое оправдание, на то, что без опубликования злополучного письма он, как и граф Монморен, «могли стать жертвами народной ярости», он кается за допущение им эпитета, «не одобренного ее императорским величеством», но ни слова не говорит о том, что сознательно содействовал побегу короля. Между тем, именно такое признание должно было, несомненно, смягчить гнев императрицы. Сделать его было тем естественнее, что это донесение Симолина было послано зашифрованным. Тем более непонятно его умолчание насчет его действительного участия в вареннском бегстве, если бы таковое участие имело место.

Итак, целый ряд веских соображений, приведенных выше, заставляет нас сомневаться в правильности мнения, будто Симолин был одним из сознательных соучастников вареннского бегства.

Но совершенно несомненно, что это событие, а также получение выговора от императрицы заставили Симолина изменить свою позицию в отношении к Французской революции. Это чувствуется уже по донесениям, отправленным им непосредственно под впечатлением возвращения короля в Париж. «Нельзя не согласиться,—читаем в его приложении к донесению от 4 июля 1791 г., — что Национальное собрание обращается с этим несчастным монархом с суровостью и жестокостью, которым нет примера в истории... Эти факты кладут вечное пятно на французскую нацию».

После ареста короля Симолин совершенно перестал появляться на дипломатических конференциях у Монморена[78].

Но даже осенью 1791 г. Симолин не одобрял происков придворной клики, советовавшей Людовику XVI отказать в утверждении конституции, и в этом отношении он разделял точку зрения Монморена. «Продолжают оказывать давление на решение важного вопроса о принятии королем конституции,—доносит Симолин 12 сентября 1791 г.— В пятницу вечером лицо, принимающее самое близкое участие в этих делах, покинуло в гневе заседание некоего комитета, образованного по этому случаю, говоря о невозможности служить людям, чьи мнения так изменчивы, которые так же быстро хватаются за несбыточные надежды, как и впадают в отчаяние от малейших неудач, что нескольких аплодисментов, полученных королевой, когда она стояла у окна Тюильри, достаточно для того, чтобы считать себя кумирами народа и думать, что, следовательно, они могут все изменить, все восстановить по своему усмотрению. Далее это лицо сетовало, что на основании всех советов, всех докладов, всех писем, полученных королем по этому случаю, он составил на свой лад акт принятия [конституции], настолько же неудовлетворительный, насколько и гибельный для

L'extrême attachement de M. Du Mourier pour la Personne du feu Roi, son devouement pour le jeune Roi, et pour la Reine sa Mere, sa ferme resolution de retablir la Monarchie en France, et son aversion pour le sistême actuel me sont si parfaitement connus, que je n'hesite pas à croire qu'il s'entendroit volontiers avec les Puissances combinées pour accelerer le retour de l'ancien gouvernement, si l'on trouvoit un moyen de le faire concourir à ce but important, sans aneantir totalement l'espèce de gloire militaire qu'il a acquise dans la campagne derniere, et dont il est fort jaloux, et si on consentoit à lui assurer une existence aisée qu'il n'a pas, et une grande place militaire ou politique à son choix.

Voici donc ce que je propose.

Ce que feroit M. Dum.

1° à l'egard de la Hollande.

Si M. Dum. n'est pas forcé directement par des ordres superieurs de tenter l'invasion de la Hollande, et s'il en est encore tems, lorsque ceci aura été accepté de part et d'autre, M. Dum. renoncera à ce projet et y fera renoncer le conseil executif.

Dans le cas au contraire, où il auroit deja commencé l'attaque, ou ne pourroit pas absolument l'eviter, il la feroit assez mollement, et perdroit assez de tems auprès des premieres places, comme Berg-op-Zoom ou Mastricht pour laisser le tems à l'armée Prussienne d'arriver tellement en force et de faire presumer une telle resistance qu'il pût, sans inspirer aucune mefiance, lever les sieges qu'il auroit entrepris, et se replier sur les Pays-bas autrichiens.

2° à l'egard des Pays-bas.

M. Dum. suivi dans sa retraite de Hollande par l'armée Prussienne, et

Ce qu'on pourroit faire pour M. Dum.

1° Demontrer par tous les moyens praticables, une grande consideration pour ses talens militaires.

2° Promettre et garantir à M. Dum. sur l'honneur des Puissances coalisées, qu'au moment du retablissement de la Monarchie en France, il y auroit une amnistie pour lui et pour les personnes qu'il designeroit sans exception.

3° Lui promettre sous la même garantie, qu'à cette epoque ou aussitôt qu'il le demandera, il lui seroit donné un commandement militaire ou une grande Ambassade qu'il designeroit.

4° Enfin mettre à la disposition de M. Dum: ou de la personne qu'il indiquera, immediatement après l'execution de la 1re partie des engagemens de M. Dum: une somme que lui seul peut indiquer, mais telle qu'elle puisse lui assurer, à tout evenement, une fortune independante, et lui donner les moyens d'acheter les membres necessaires de la Convention

СТРАНИЦА ДОНЕСЕНИЯ СИМОЛИНА ОТ 5 АПРЕЛЯ 1793 г. С СООБЩЕНИЕМ ОБ ИЗМЕНЕ ДЮМУРЬЕ И ПРОЕКТОМ СДЕЛКИ С НИМ

Архив феодально-крепостнической эпохи, Москва

его собственных интересов... Это же лицо прибавило, что сам г. де Монморен исчерпал все свое влияние, чтобы заставить их величества изменить свои мнения, внушенные, несомненно, членами правой, стремящимися лишь к смуте, и пришел к выводу, что если уж невозможно добиться правления конституционно-монархического, то лучше довериться республикоманам и иметь республику, чем не иметь совсем ничего»[79].

Симолин считал, что лучшей тактикой короля для данного момента могло быть только «выжидать время». Отсюда и его крайне неодобрительный отзыв о принцессе Елизавете —«высокомерная ханжа не может себя заставить признать новое положение вещей»[80].

Учитывая поправение Национального собрания после бегства короля и особенно расстрел республиканской демонстрации на Марсовом поле (17 июля 1791 г.), Симолин видел теперь в Собрании оплот против дальнейшего развития революции. «Со времени бегства короля,—с удовлетворением констатирует Симолин 3 августа 1791 г.,—которое было результатом вероломных советов, Национальное собрание быстрыми шагами идет к восстановлению порядка и в этом встречает поддержку со стороны общественного мнения... Наконец-то друзья мира могут предвидеть конец революции и тех зол, которые она за собой повлекла... Таково положение дел в настоящий момент, и было бы желательно, чтобы деятельность теперешнего Собрания была продолжена до ближайшего мая, чтобы парализовать влияние Якобинского клуба и его отделений на новые выборы».

Если в начале революции симпатии Симолина были на стороне умеренно-аристократической группы Собрания, то теперь он ставил ставку на фракцию так называемого «триумвирата» (Барнав, Дюпор и Александр Ламет), сблизившуюся после бегства в Варенн со двором. В связи с этим снова воскресли его надежды на полное примирение Собрания с королем. Симолин готов был поверить искренности Людовика XVI, присягнувшего конституции и призывавшего принцев вернуться из эмиграции. Вот почему в августе—сентябре 1791 г. он был еще далек от мысли об интервенции держав во Францию.

Между тем, для Екатерины II вопрос о разрыве с революционной Францией был уже предрешен, как мы видели, еще в августе 1791 г.; в сентябре 1791 г. она держалась того мнения, что не следует признавать никаких актов французского правительства, и желала уже установления международного дипломатического и экономического бойкота Франции впредь до восстановления короля в его прежних прерогативах. Беда Симолина заключалась в том, что он не был достаточно информирован о планах императрицы. Таким образом, осенью 1791 г. политика Симолина в отношении официального французского правительства не соответствовала планам Екатерины. Это подтверждается и сердитой пометкой императрицы на донесении Симолина о миссии аббата Луи, уполномоченного «триумвиратом» вести переговоры с принцами относительно условий их возвращения во Францию. Тот же Луи должен был встретиться в Брюсселе с представителем императора, гр. Мерси, и отговорить его от мысли о совместном выступлении держав против Франции. К моменту появления в Брюсселе аббата Луи гр. Мерси был уже готов к отъезду в Англию, как раз с целью склонить последнюю к участию в коалиции против Франции. Но он уверил аббата, что цель его поездки—простое ознакомление со страной. Этой версии поверил и Симолин. Пометка Екатерины II гласила: «Лжековарные те бездельники, кои отечество свое довели до края

гибели, ныне стараются через Симолина довести подобные вести никакой веры недостойные и несходственные с истиной, одна декларация предложенная венским двором уже довольно опровергает мнимые речи графа Мерси лгуну аббату Луи»[81].

Ставка Симолина на умеренную часть Национального собрания, считавшую возможным полное примирение с королем на основе конституции 1791 г., не могла не вызвать неудовольствия со стороны императрицы, для которой вопрос о разрыве с революционной Францией был предрешен еще летом 1791 г., а конституция 1791 г. была названа ею «антихристовой» конституцией. В письме к Гримму Екатерина замечает: «Я получила очень неприятное известие, что Симолин стал ярым демагогом и теперь восхищается всеми нелепостями, которые совершает негодное Национальное собрание. Я думаю, что его свел с пути истинного г-н д'Отён (d'Autun)»[82].

В донесении от 3 августа Симолин отзывается еще иронически о проекте шведского короля организовать 20-тысячную армию из набранных в ландграфстве Гессенском и в Испании наемников для контрреволюционной интервенции во Францию[83]. Считая весьма вероятным, что Испания откажется субсидировать это предприятие, Симолин злорадствует, что план Густава скорее всего рухнет. Только через 4 месяца он наконец усваивает себе политическую линию императрицы и становится сторонником интервенции. В донесении от 9 декабря 1791 г. он пишет: «Настоящее положение вещей требует, повидимому, самого серьезного вмешательства великих европейских держав для восстановления французской монархии и христианнейшего короля на том посту, который уготован ему провидением. Бессмысленность теперешней системы очевидна. Все установленные власти действуют вяло и слепо следуют воле толпы». Резко критикует Симолин в том же донесении и применение конституции 1791 г. (напомним, что это был уже период Законодательного собрания). «Вопреки духу конституции,— пишет он, — королевский авторитет постоянно подрывается вмешательством законодательного корпуса. Министры, по конституции, облечены, как будто, властью даже бо́льшей, чем та, какой они пользовались прежде, но Собрание связывает их по рукам и ногам... В итоге, вместо конституции во Франции царит полная анархия, и это королевство придет неминуемо к распаду, если главенствующие державы Европы, объединившись, не остановят дальнейших мероприятий нынешнего Собрания, которое, как видно, представляет собой скопище злодеев, а не соединение законодателей королевства»[84].

В письме Остермана от 31 июля 1791 г. Симолину рекомендовалось тщательно избегать каких-либо сношений с французскими министрами после того, как власть короля была временно приостановлена. В депеше того же Остермана от 5/16 декабря 1791 г. Симолину предлагалось покинуть Париж. «Отношения между Россией и Францией...,—писал Остерман,— стали настолько критическими, что со дня на день может произойти внезапный разрыв дипломатических сношений и связей между двумя государствами». Симолину рекомендовалось переехать в Кёльн или Брюссель, чтобы оттуда продолжать свои наблюдения за происходящим в Париже. Симолину предписывалось оставить после своего отъезда из Франции поверенного в делах, которого он должен был связать со своими тайными агентами в Париже[85].

Но, прежде чем выехать из Франции, Симолин становится доверенным лицом королевы, ее тайным агентом по подготовке контрреволюционной

интервенции. Сношения Симолина с королевой происходили и непосредственно и через венского поверенного в делах Блумендорфа.

В конце декабря 1791 г., когда Симолин был у королевы, во время игры в карты, она подозвала его и выразила желание «побеседовать» с ним, но прибавила, что «не решается, так как окружена шпионами». Судя по донесению от 2 января 1792 г., Симолин к этому времени уже вошел в полное доверие Марии-Антуанетты и был в курсе некоторых ее дел. Сообщая, что королева отправила письмо Екатерине II, он добавляет: «Королева написала также недавно королям Швеции и Пруссии, чтобы эти государи не были введены в заблуждение и не считали соответствующим истинным намерениям короля акт от 14 декабря, который его величество вынужден был дать под угрозой меча мятежников, способных на всяческие преступления». В дальнейшем роль Симолина, как одного из доверенных лиц Марии-Антуанетты, вырисовывается еще определеннее.

«С некоторых пор,—доносил Симолин уже из Брюсселя (11 февраля 1792 г.),—у меня установились более тесные взаимоотношения с королевой, и ее величество просила меня несколько недель тому назад подыскать ей человека, скромность и осторожность которого мне были бы хорошо известны, чтобы доверить ему письмо к императору, ее брату, и поручить лично сообщить ему об истинном ходе дел, о несчастном положении короля и королевской семьи, об их образе мыслей, совсем ином, чем тот, какой они вынуждены показывать, и чтобы опровергнуть ложные сведения, которые, повидимому, даны об этом его императорскому величеству... Королева, узнав некоторое время спустя, что я получаю отпуск и покидаю свой пост и что мне будет предоставлено право выбрать место, куда я хотел бы поехать, поручила разузнать у меня, не расположен ли я взять на себя исполнение ее просьбы и этого деликатного поручения... Так как я имел возможность непосредственно наблюдать ужасное положение их христианнейших величеств, которые одиноки и не могут довериться нескромным, самонадеянным французам, находящимся в сношениях с принцами или с их друзьями, и так как я был польщен знаком доверия, оказанным вашему императорскому величеству их величествами, остановившими на мне свой выбор, я не мог воздержаться от ответа, что согласен на все, что их величества сочтут нужным мне повелеть, и что я был бы счастлив, если бы смог оказать им полезную и приятную услугу».

В дальнейшем Симолин сообщает о том, как он был принят королевой в ее спальне «после того, как [она] сама заперла наружную дверь на задвижку». Затем королева дала ему прочесть ее письма, адресованные Екатерине II и Леопольду II, которые Симолин должен был доставить по назначению[86]. Во время беседы, продолжавшейся больше часа, королева, между прочим, рассказала Симолину о бегстве королевской семьи из Тюильри. Потом пришел король, который дал понять, что вся их надежда—на русскую императрицу. В общем, беседа с королем и королевой продолжалась около трех часов. Королева обещала Симолину прислать вместе с письмами «и портфель с очень важными бумагами, которые надлежит положить в королевскую сокровищницу, где хранятся с февраля месяца прошлого года ее бриллианты».

После этого визита Симолин связался, наконец, с главными персонажами придворной клики, находившимися в курсе всех мероприятий королевы, бароном де Бретёйлем и графом Ферзеном[87].

УКАЗЪ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА

САМОДЕРЖИЦЫ ВСЕРОССІЙСКОЙ,

изъ Правительствующаго Сената

Объявляется всенародно.

Въ имянномъ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА указѣ, данномъ
Сенату за собственноручнымъ ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА подписаніемъ въ 8 й
день сего февраля написано: „Замѣшательства во франціи отъ
„1789 года произшедшія не могли не возбуждать вниманія въ каж-
„домъ благоустроенномъ Государствѣ. Доколѣ оставалась еще надежда
„что время и обстоятельства послужатъ къ образумленію заблуж-
„денныхъ, и что порядокъ и сила законной власти возстановлены бу-
„дутъ, терпѣли МЫ свободное пребываніе французовъ въ Имперія
„НАШЕЙ, и всякое съ ними сношеніе. Видѣвъ послѣ буйство и духъ
„возмутительный противу Государя ихъ далѣе и далѣе возрастающій
„съ неистовыми намѣреніями правила безбожія, неповиновенія верьхов-
„ной Государской власти, и отчужденныя всякаго добраго нравоученія
„не токмо у себя утвердить, но и заразу оныхъ распространить
„во вселенной, прервали МЫ политическое сношеніе съ франціею ото-
„звавъ Министра НАШЕГО съ его свитою, и выславъ изъ Столицы
„НАШЕЙ повѣреннаго въ дѣлахъ французскаго, къ чему и то еще
„имѣли право, что какъ взаимныя миссіи заведены были между НАМИ
„и Королемъ, то по разрушеніи бунтовщиками власти его, при со-
„держаніи его въ страхѣ и неволѣ не свойственно уже было имѣть
„видъ сношенія съ похитителями Правленія. Нынѣ когда ко всеобщему
„ужасу въ сей нещастной землѣ преисполнена мѣра буйства, когда
„нашлося болѣе семи сотъ изверговъ, которые неправедно присвоен-
„ную ими силу до того во зло употребили, что подняли руки свои
„на умерщвленіе помазанника Божія законнаго ихъ Государя въ 10 й
„день Генваря сего года лютымъ мучительнымъ образомъ въ дѣйство
„произведенное, МЫ почитаемъ себѣ долгомъ предъ Богомъ и совѣ-
„стію НАШЕЮ не терпѣть между Имперіею НАШЕЮ и фран-
„ціею никакихъ сношеній, каковыя между Государствами благо-
„устроенными существуютъ, доколѣ правосудіе Всевышняго на-
„кажетъ злодѣевъ и его Святой волѣ угодно будетъ положить
„предѣлъ нещастіямъ сего Королевства, возстановя въ немъ по-
„рядокъ и силу власти законной. Въ слѣдствіе того повелѣваемъ:
„*Первое*, Дѣйствіе торговаго договора между НАМИ и покойнымъ Ко-
„ролемъ французскимъ Людовикомъ XVI въ 30 й день Декабря 1786
„года заключеннаго, до вышеписанной епохи возстановленія порядка и
„власти законной во франціи прекратить. *Второе*, До того же вре-
„мяни запрещается впускать въ порты НАШИ на разныхъ моряхъ на-
„ходящіяся суда подъ флагомъ національнымъ французскимъ; равнымъ
„образомъ запрещается и НАШЕМУ купечеству и хозяевамъ кораблей
„посылать торговыя ихъ суда во французскіе порты. *Третіе*, Быв-
„шихъ французскихъ Консулей, Вице-Консулей, Агентовъ и прочихъ
„къ симъ принадлежащихъ выслать изъ обѣихъ Столицъ НАШИХЪ
„и изъ прочихъ мѣстъ гдѣ они находятся, объявя имъ, что дается
„каждому изъ нихъ для распоряженія дѣлъ срокъ трехъ-недѣльный,
„по истеченіи котораго обязанъ онъ непремѣнно оставить мѣсто
„настоящаго своего пребыванія, въ полагаемое же въ паспортахъ
„ихъ

„отправленія дѣлъ его на законномъ основаніи; которые же изъ озна-
„ченныхъ французовъ суть исповѣданія Протестантскаго, должен-
„ствуютъ отрицаніе ихъ подъ присягою учинить въ церквахъ того
„исповѣданія, а гдѣ ихъ нѣтъ, въ самомъ присудственномъ мѣстѣ.
„*Осьмое*, Исполненіе сего начать тотчасъ по полученіи указа НАШЕГО
„въ обѣихъ Столицахъ НАШИХЪ, собравъ по частямъ города въ Управу
„Благочинія живущихъ здѣсь обоего пола французовъ одной части за
„другою и по объявленіи имъ воли НАШЕЙ для тѣхъ кои пожелаютъ
„учинить отрицаніе назначить дни и часы для приведенія ихъ къ при-
„сягѣ; о тѣхъ же которые не пожелаютъ сдѣлать вышеписаннаго отри-
„цанія представить губерискому Правленію, дабы оное относительно
„высылки ихъ распорядило сходно пятой статьѣ сего указа НАШЕГО:
„впрочемъ НАША коллегія Иностранныхъ дѣлъ не оставитъ по вос-
„требованію губернскаго Правленія снабдить на сіе время потребны-
„ми для переводовъ людьми то Правленіе или Управу Благочинія.
„*Девятое*, Срокъ трехъ-недѣльный для распоряженія домашнихъ дѣлъ
„каждому высылаемому французу данный по третьей и пятой стать-
„ямъ сего указа имѣетъ считаться со дня объявленія ему о выѣздѣ;
„въ паспортахъ же ихъ прописывать имянно чрезъ которыя мѣста
„слѣдовать и во сколько времяни оставить границы Россійскія назна-
„чая оное безобидно и по соображенію возможности. *Десятое*, Всѣмъ
„подданнымъ НАШИМЪ запрещается ѣздить во францію, или же имѣть
„какое бы то нибыло сообщеніе съ французами въ отечествѣ
„ихъ или же въ Арміяхъ ихъ пребывающими, до того времяни,
„покуда съ возстановленіемъ устройства и законной власти въ
„той землѣ послѣдуетъ отъ НАСЪ разрѣшеніе. *Первоенадесять*,
„Запрещается ввозить въ Россію вѣдомости, журналы и про-
„чія періодическія сочиненія во франціи издаваемыя. *Второенаде-
„сять*, Строжайше воспрещаемъ впускать какъ сухимъ путемъ, такъ
„и водою въ Имперію НАШУ изъ за границъ французовъ, исключая тѣхъ
„которые чуждыя бывъ неистовства своихъ соотчичей похотятъ жить
„при исповѣданіи природной ихъ Христіанской вѣры подъ защитою НА-
„ШИХЪ законовъ; но и таковые не инако впускаемы быть должен-
„ствуютъ, какъ по свидѣтельству французскихъ Принцовъ и имянно
„обоихъ братьевъ покойнаго Короля, Графа Прованскаго и Графа Д' Артоа,
„также Принца Конде и по предварительномъ чрезъ ближайшихъ НА-
„ШИХЪ къ нимъ Министровъ испрошеніи дозволенія НАШЕГО на при-
„бытіе таковымъ въ Россію для вступленія въ службу, или же для ху-
„дожествъ и ремеслъ, съ тѣмъ что по въѣздѣ ихъ въ границы НАШИ
„обязаны они учинить сказанное въ шестой статьѣ сего указа подъ
„присягою отрицаніе.„ Правительствующій Сенатъ Приказали: Для
надлежащаго о семъ Высочайшемъ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ-
СТВА соизволеніи свѣденія и должнаго исполненія объявить всенародно
публичными указами. О чемъ симъ и публикуется.

Подлинный за подписані-
емъ Правительствующаго
Сената.

Печатанъ въ Санкт-
петербургѣ при Сенатѣ
февраля 14 дня 1793 года.

УКАЗ ЕКАТЕРИНЫ II ОТ 8 ФЕВРАЛЯ 1793 г. О ПОЛНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ СНОШЕНИЙ РОССИИ С ФРАНЦИЕЙ

Страницы первая и последняя

Институт Маркса — Энгельса — Ленина, Москва

Перед отъездом из Парижа Симолин имел еще одну, прощальную, аудиенцию у короля, в присутствии министра иностранных дел, а у королевы—в присутствии многочисленного двора. «Их величества,—писал по поводу этой аудиенции Симолин 30 января 1792 г.,—тем не менее, были осведомлены, как публично, так и наедине, относительно уверений в дружбе и участии, о которых мне поручено было им передать от имени ее императорского величества, и были этим в высшей степени растроганы. Я могу сейчас только сообщить, что они смотрят на императрицу, как на ангела-хранителя, что питают к ней самое глубокое и полное доверие и души их всегда будут безгранично открыты для нее».

Поверенному в делах Новикову Симолин рекомендовал при своем отъезде «избегать, насколько возможно, всяких переговоров с теперешним французским министерством, ограничиваться получением сведений о самых важных событиях и давать об этом отчет нашему двору». Одновременно он передал Новикову и свои конспиративные связи, сообщив ему об именах своих тайных парижских агентов[88].

Донесения, присылавшиеся Симолиным из Вены, говорят о выполнении им поручения, данного Марией-Антуанеттой. Здесь Симолин имел продолжительную беседу с государственным канцлером, Кауницем, а затем получил аудиенцию у самого императора.

Кауниц высказался против проекта интервенции. Доводы Симолина он назвал «сетованиями и жалобами, которые он уже слышал» и на которые «невозможно ответить иначе, как общими местами»[89].

Скептическое отношение Кауница к возможной интервенции держав в целях восстановления Людовика XVI в его прежних правах разделяли и другие приближенные императора. «Господин де Кобенцль [вице-канцлер],—доносит Симолин 17 марта 1792 г.,—склонен думать, что если французы перейдут Рейн, в ту же минуту все деревни от Бонна до Базеля будут за них и объединятся, чтобы убивать князей, графов и дворян, которые попадутся им под руку».

В последовавшей затем аудиенции у императора Симолин, выполняя поручение королевы, повторил доводы, уже изложенные в беседе с Кауницем. Император соглашался, что задача революции заключается в «подкапывании всех тронов и низвержении всех монархий»[90]. Он выразил уверенность, что в случае, если Национальное собрание объявит войну Австрии, союз Австрии, Пруссии и Англии против Франции обеспечен. Но никаких определенных обещаний от императора Симолин не добился.

Преемник внезапно умершего Леопольда II, Франц II, также дал аудиенцию Симолину. Король обещал дать ответ королеве, с приложением к нему особого мемуара, который Симолин и должен был доставить через своих агентов в Париж. В конце переговоров Симолин получил от Кауница весьма неутешительный ответ: «Король и королева Франции не должны сомневаться в том участии, которое принимает король в их положении, и в его намерениях облегчить им его, но что сейчас им можно обещать только нечто неопределенное... что теперь можно было бы притти к соглашению, но невозможно определить, когда и как оно может быть осуществлено»[91].

Покончившая с монархией революция 10 августа в глазах Симолина—«гнусное событие», а ее деятели—«чудовища, вампиры, каннибалы». «Национальный конвент,—пишет Симолин,—будет, вероятно, состоять из бандитов, находящихся сейчас в Париже... Задачей его будет, вероятно, провозглашение низложения короля и правящей династии»[92].

Еще большее возмущение Симолина вызвали сентябрьские события 1792 г. «История тигров и антропофагов,—пишет он,—не дает столь варварских и диких сцен, и столь жестокая мстительность этих чудовищ требует отмщения со стороны всей Европы и истребительной войны с ее стороны, чтобы предохранить остальную часть человеческого рода от подобного безумия»[93].

В другом донесении Симолин приветствует декларацию английского правительства, в которой сообщалось, что те, кто будет замешан в насилиях над королем и королевской семьей, никогда не найдут убежища в государствах, подчиненных Великобритании. «Если бы великобританский двор,—пишет он по этому поводу,—обнаружил желание присоединиться к другим европейским государствам, эффект его выступления был бы более обеспечен»[94].

После казни короля Симолин становится заклятым врагом не только Французской революции, но и всей французской нации.

«Казнь короля,—пишет Симолин,—преисполнит Европу отвращением и ужасом по отношению к нации, достойной истребления, чтобы не оставалось ее имени, заставляющего содрогаться и леденящего кровь».

Приговор королю, вынесенный Конвентом, Симолин характеризует, как проявление «зверства и тирании»[95].

Сообщая о дальнейших событиях начала 1793 г., в частности, об успехах контрреволюционного движения в Бретани, Симолин добавляет: «Если бы этим повстанцам могли оказать поддержку извне, контрреволюция стала бы развиваться гораздо скорее, и преступлениям и злодеяниям партии цареубийц скоро был бы положен предел»[96].

Контрреволюционная роль царизма и его агента Симолина сказалась также в активности, проявленной русским послом в деле Дюмурье. Измена последнего приводит Симолина в восхищение. «В момент отправки курьера,—доносит Симолин,—я узнал, что г. Дюмурье с линейными войсками армии присоединился к армии принца Кобургского и составляет теперь ее авангард; что он арестовал комиссаров Конвента и отправил их, как пленных, в Маастрихт. Спешу передать вашему сиятельству эту важную новость и принести вам свои поздравления по поводу события, которое будет содействовать восстановлению порядка во Франции и спокойствия в Европе»[97].

Там же Симолин восторженно отзывается о Дюмурье, о его преданности «молодому королю и королеве, его матери, его твердом решении восстановить во Франции монархию». «Я не сомневаюсь,—пишет Симолин,—что относительно этого он охотно вошел бы в соглашение с союзными державами, чтобы восстановить старое правление».

К тому же донесению Симолин прилагает детально разработанный им проект сделки с Дюмурье в виде двух колонок. В левой колонке донесения он помещает: «То, что берет на себя выполнить г. Дюмурье» 1) «по отношению к Голландии и Нидерландам», 2) «по отношению к крепостям, которые союзные державы хотели бы осадить», и, наконец, 3) «по восстановлению монархии». Под этой последней рубрикой записано, что Дюмурье «воспользуется первым моментом, когда Францию охватит ужас под влиянием успехов союзных держав, чтобы ускорить усмирение, и, доказав всю невозможность сопротивления, употребит тогда все свое влияние, чтобы ускорить восстановление монархии в лице особы нынешнего короля».

В правой колонке Симолин предлагает проект тех обещаний, которые державы могли бы, со своей стороны, дать Дюмурье. Сюда входит амнистия для самого Дюмурье и всех лиц, которых он назовет, обещание назначения на любую высшую военную должность, ассигнование в его распоряжение такой суммы, «которая сможет ему обеспечить при всяком повороте событий независимое состояние и даст ему средства для подкупа нужных членов Конвента»[98].

Французские революционные власти не могли, конечно, не знать о контрреволюционной деятельности Симолина, в частности, о его сношениях с королевой, его внезапном подозрительном отъезде в Вену и т. д. На остававшиеся в Париже его вещи был наложен секвестр. Судьба этих вещей очень интересовала Симолина, весьма заботившегося о приумножении своего имущества. В ряде донесений он снова и снова возвращается к этому вопросу.

Приехав в Брюссель в начале августа 1793 г., Симолин узнал, что Парижский муниципалитет категорически отказался выпустить его лошадей и карету, после чего симолинский агент поспешил их продать. «Такой же отказ,—доносил Симолин,—дан относительно присылки мне моего платья и белья, в которых я очень нуждаюсь»[99].

В приложении к донесению от 28 апреля 1795 г. Симолин рассказывает, что, будучи в конце 1792 г. в Дюссельдорфе, он послал своего старого слугу-немца за своими вещами и серебром в Париж. Слуга прибыл в Париж, но выполнить поручение Симолина ему не удалось. Перед отъездом он явился в одну из секций за получением паспорта, где был арестован и препровожден в тюрьму. После 8—9-месячного заключения он был гильотинирован. В своем донесении Симолин проливает «крокодиловы слезы» по поводу потери «верного и неповинного слуги» («un domestique fidèle et innocent»), как будто не он сам дал этому слуге столь рискованное поручение.

В этом же донесении Симолин жалуется, что, несмотря на его заявления и протесты, сделанные в свое время, его вещи и мебель, оставшиеся в Париже, были, на основании декретов Конвента, проданы с молотка. Оставалась лишь столовая посуда, находящаяся на хранении у одного банкира. Удовлетворились тем, что наложили на нее секвестр, вместо того, чтобы отправить ее на монетный двор. Симолин все еще надеется, что она будет ему возвращена. Ссылаясь на то, что Комитет общественного спасения официально признал, что международное право было нарушено в отношении собственности австрийского посольства, Симолин делал вывод, что «это право вдвойне нарушено по отношению к нему, поскольку между русской и французской нациями не было состояния войны».

На этом основании Симолин считал себя в праве требовать от Конвента справедливого вознаграждения за вещи, которые были проданы и не могут быть возвращены натурой. Но щекотливость положения заключалась в том, что, согласно инструкциям из Петербурга, Симолин не мог входить в какие бы то ни было сношения с революционным правительством. Однако, когда дело касалось его имущества, царский дипломат, отбросив в сторону всякую гордость, «умолял» Остермана получить для него от Екатерины II разрешение обратиться к Конвенту[100].

Изученные нами донесения Симолина показывают, что с конца 1791 г. царский посол в Париже стал надежным агентом по организации контрре-

волюционной политики Екатерины II в отношении Франции. Его робкое сочувствие созыву Генеральных штатов и некоторым актам Национального собрания, объясняемое его надеждами на скорое «умиротворение» страны и присоединение Франции к австро-русскому союзу, быстро испарилось под впечатлением взятия Бастилии и особенно похода парижских женщин на Версаль. Всякого рода революционные выступления «низов», плебейских элементов городов и крестьянства, были ему ненавистны с самого начала.

С дальнейшим ходом революционных событий отношение Симолина к революции становится все более и более враждебным, его отзывы не только

„КОНГРЕСС КОАЛИЦИОННЫХ ГОСУДАРЕЙ"

Французская карикатура времен образования первой коалиции (март—апрель 1793 г.).

Карикатура высмеивает попытку борьбы монархов с Французской республикой, символизированной изображением фригийского колпака, покрывающего карту Франции.

За столом: австрийский император, папа, Екатерина II, собирающаяся совершить „новый шаг" для захвата территории, короли сардинский, прусский, польский, португальский, английский и шведский. Из под стола вылезает Питт (в виде обезьяны) и топчет щит с бурбонскими лилиями

Исторический музей, Москва

о левых депутатах, но и о Собрании в целом—все более и более резкими. Весьма показательны в этом отношении его донесения, относящиеся к первой половине 1790 г., и предложение о мерах борьбы с распространением революционной заразы на другие государства. Вместе с тем, усиливается и его пессимистическое отношение к Франции, как к возможному союзнику царской России. Франция, по его мнению, надолго перестала играть какую-либо роль в концерте европейских держав.

Весной и летом 1791 г. Симолин работал над новым заданием своего двора: надо было добиться демонстрации готовности к войне французского флота, чтобы парализовать усилия английской и прусской дипломатии, поощрявшей турок к дальнейшему ведению войны. Осуществление

этой задачи, правда, не удавшееся, требовало от Симолина контакта с Монмореном и заставляло держаться в стороне от двора и его закулисной политики. Симолин не был посвящен в организацию побега короля и его семьи и лишь невольно стал пособником этого бегства, выдав дубликат вместо, якобы, утерянного паспорта г-жи Корф. Но эти события лета и осени 1791 г. только усилили его отрицательное отношение к революции.

Не получая, однако, своевременно инструкций из Петербурга, Симолин должен был одно время действовать на свой страх и риск. Это повело к тому, что в августе—сентябре 1791 г. его позиция в отношении официального французского правительства резко разошлась с планами императрицы. Вместе с Монмореном Симолин верил в искренность короля, утвердившего конституцию, и надеялся на возможность возвращения принцев-эмигрантов. Такой оборот дела, как будто, исключал необходимость разрыва дипломатических отношений и интервенции держав во Францию. Между тем, для Екатерины II вопрос о разрыве с революционной Францией был предрешен еще летом 1791 г. Осенью того же года она носилась с планом дипломатического и экономического бойкота революционной Франции, к которому надеялась привлечь и другие державы, хлопотала о примирении королевы с партией принцев, разрабатывала политическую платформу для эмигрантов, которые должны были организовать армию для вторжения во Францию, стремилась вовлечь в коалицию против Франции Австрию и Пруссию, имея в то же время и другую цель—обеспечить себе «свободу рук» в Польше. Польские дела, а раньше турецкая война не позволили Екатерине принять активное участие в военной интервенции во Францию.

После выговора, полученного от императрицы, Симолин резко меняет свою позицию. В начале декабря 1791 г. он уже сам становится убежденным и ярым сторонником интервенции. О Законодательном собрании он отзывается, как о «сборище преступников». 7 февраля 1792 г. Симолин покидает, под видом отпуска, Париж, но еще до своего отъезда он становится тайным доверенным лицом королевы. По пути из Парижа в Петербург он специально заезжает в Вену для передачи письма Марии-Антуанетты ее брату-императору и пытается склонить австрийское правительство к участию в интервенции во Францию. После казни Людовика XVI Симолин считал, что вся французская нация заслуживает лишь одного—истребления. Весной 1793 г. Симолин играет заметную роль в переговорах австрийского командования с изменником Дюмурье. Его донесения в целом дают весьма значительный и яркий материал, разоблачающий контрреволюционную роль правительства Екатерины II и ее политики в Париже в отношении Великой буржуазной революции во Франции.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «Дневник А. В. Храповицкого. 1782—1793 гг.», под ред. Н. П. Барсукова, СПБ. 1874, стр. 395 (запись от 17 и 24 апреля). Перевод: «У них нет патриотических пик». Я примолвил: «Ни красных колпаков».

[2] См. донесения от 20 июня, 29 июля, 1, 8, 11, 12 августа, 8 сентября, 16 и 22 декабря 1797 г. и от 4 января 1798 г. Все эти донесения в данном сборнике не публикуются. В дальнейшем указанием на то, что цитируемый или изученный документ не входит в настоящую публикацию, служат слова «н е п у б л.», помещаемые в скобках непосредственно после приведения даты документа (всюду по новому стилю).

[3] См. «Переписка гр. Н. И. Панина с гр. П. А. Румянцевым».—«Русский Архив», 1882, кн. 3, стр. 18—19; «Письма гр. А. Р. Воронцова к Безбородко».—«Архив кн.

Воронцова», т. VIII, стр. 250; «Письма А. И. Моркова к кн. А. Р. и С. Р. Воронцовым».—Там же, стр. 231.

[4] Печатные материалы обычно направлялись Симолиным русскому послу в Вене кн. Д. М. Голицыну, который отправлял их дальше (см., напр., не публ. приложение к донесениям от 10 и 18 марта 1790 г. и публ. ниже приложение к донесению от 16 апреля 1790 г.). Иногда передача брошюр и газет доверялась ехавшим в Петербург лицам—скульптору Козловскому, французскому офицеру де Ванту (de Vente), отправлявшемуся на русскую службу, аббату Жиро, геометру Дарвалю и др. (см. не публ. приложения к донесениям от 27 июля, 1 октября, 20 октября 1790 г. и публ. ниже приложение к донесению от 26 янв. 1791 г.). В ГАФКЭ имеются отдельные номера и целые комплекты посылавшихся Симолиным в Петербург французских газет. Из брошюр полемического характера сохранились: «La cabale d'Orléans, ressuscitée et dévoilée par un bon citoyen» (приложена к донесению от 31 мая 1790 г.), «C'est un fait de nous. Par Marat» (приложена к донесению от 6 августа 1790 г.), «Le secret de la coalition des ennemis de la Révolution française» (приложена к донесению от 14 марта 1791 г.) и другие. Часть печатных материалов, прилагавшихся к донесениям Симолина, хранится в Публичной библиотеке им. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде.

[5] См. приложение к донесению от 16 августа 1792 г. (не публ.) и донесение от 9 октября 1789 г.

[6] Донесения агентов от 13, 18 марта, 14 мая 1792 г. Донесения агентов (все они не имеют подписи) хранятся в ГАФКЭ в отдельной обложке с заголовком «Bulletin de Paris» (к. 54).

[7] См. приложения к донесениям от 5 и 18 апреля 1793 г. (не публ.).

[8] См. донесения от 1 и 17 марта 1792 г.

[9] Ранее были напечатаны следующие донесения Симолина:

I. От 13 июля 1789 г. и приложение к этому донесению.—Людовик XVI приглашает Бретёйля войти в министерство.—В собрании документов «Louis XVI, Marie-Antoinette et madame Elisabeth. Lettres et documents inédits publiés par Feuillet de Conches», P., 1864, v. I, pp. 229—232. (По пагинации другого издания этого сборника того же 1864 г.—pp. 221—224).

II. От 17 июля 1789 г.—Наступление революции, Ibid., p. 236 (227—228).

III. От 19 июля 1789 г.—Взятие Бастилии, Ibid., pp. 476—481 (455—460).

IV. От 19 октября 1789 г.—Об участии герцога Орлеанского в подготовке восстания в Париже 15 июля и 5 и 6 октября и о беседе с ним по этому поводу Людовика XVI. Ibid., pp. 279—280 (266—268).

V. От 16 июля 1790 г.—О празднике Федерации, Ibid., pp. 346—347 (329—330).

VI. От 27 июля 1790 г.—Возвращение герцога Орлеанского из Лондона, Ibid., pp. 350—351 (332—333). Донесение ошибочно датировано здесь 23 июля.

VII. От 27 октября 1789 г.—Выступление Мирабо по продовольственному вопросу, Ibid., pp. 482—483 (461—462).

VIII. От 1 апреля 1791 г.—О политике России по отношению к Франции, сравнение ее с политикой Англии и Пруссии, об агенте прусского короля Эфраиме, о Мирабо, Ibid., v. II, p. 24.

IX. Приложение к донесению от 4 апреля 1791 г.—Смерть Мирабо, Ibid., v. II, p. 31.

X. От 18 июля 1791 г.—Восстание в Париже, слухи о возможном преемнике Людовика XVI.—Ibid., v. II, p. 173.

XI. От 19 августа 1791 г.—Характеристика эмигрантов, Ibid., v. II, p. 23 (опубликован лишь отрывок).

XII. От 27 июля 1790 г.—О русских, проживающих в Париже. В книге: В. кн. Николай Михайлович, Граф Павел Александрович Строганов. 1774—1817. Историческое исследование эпохи императора Александра I, т. I, СПБ. 1903, стр. 231—233 и стр. 70 (опубликовано на французском яз.).

XIII. От 19 июля 1789 г.—О взятии Бастилии—и приложенный к этому донесению «Журнал событиям, совершившимся в Париже с 11-го по 17 июля 1789 г.».—«Русский Архив», 1875, кн. 2, стр. 410—416 (опубликовано в переводе).

XIV. От 27 октября 1789 г.—Предложение корсиканцев русскому правительству о присоединении Корсики к России, Ibid., стр. 417 (опубликовано в переводе).

XV. От 27 июня 1791 г. и приложенная к донесению копия письма Симолина к Монморену от 25 июня 1791 г.—О баронессе Корф и ее содействии побегу Людовика XVI из Парижа в 1791 г.—«Русский Архив», 1866, кн. 4, стр. 800 (опубликовано в оригинале и в переводе).

Наконец, несколько донесений Симолина, а также депеш Остермана Симолину и других документов в отрывках было использовано еще в некоторых исторических работах, вышедших во Франции.

Из всех этих ранее напечатанных (весьма неполно и неисправно) донесений мы считали необходимым включить в настоящую публикацию, ввиду их большого интереса, донесения №№ III (XIII), VII, VIII, IX, X, XII и XV нашего списка.

[10] Донесение от 9 октября 1789 г.

[11] См., напр., приложения к донесениям от 1 мая и 13 июля и донесение от 9 октября 1789 г.

[12] См. публикуемые ниже донесение от 19 июля 1789 г. и приложение к донесению от 27 июня 1791 г.

[13] О беседах Симолина с Монмореном во время дипломатических приемов послов см. в донесениях Симолина за 1789 г.: от 16 (не публ.) и 23 января, 6, 13 февраля (не публ.), 25 марта (не публ.), 1 мая (не публ.), 4 июня (не публ.), 10, 24 июля (не публ.), 17 августа (не публ.), а также в приложениях к его донесениям от 13 марта, 11 сентября (не публ.), 30 октября (не публ.), 13, 27 ноября (не публ.); за 1790 г.: в приложении к донесению от 8 января (не публ.), в донесениях от 22 января (не публ.), 3, 19 апреля, 13 декабря; за 1791 г.: в донесениях от 15 августа (не публ.), 30 сентября (не публ.). В приложении к донесению от 22 августа 1791 г. (не публ.) и в донесении от 19 сентября того же года Симолин сообщает, что воздерживается от официальных сношений с Монмореном.

[14] См. приложение к донесению от 19 июля 1790 г., донесения от 9 и 23 мая и 3 июня 1791 г. и донесение от 27 января 1792 г. (все не публ.).

[15] См. донесения от 17 октября (не публ.) и 9 декабря 1791 г.

[16] См. донесения от 4 июня 1790 г. и 10 апреля 1795 г. (не публ.).

[17] См. приложение к донесению от 8 июля 1791 г.

[18] См. донесения от 1 апреля и 27 мая 1791 г.

[19] См. приложение к донесению от 30 апреля 1790 г. (не публ.).

[20] См., напр., донесение от 26 января 1791 г. В то же время Симолиным велись переговоры относительно выписки для нужд русской промышленности некоторых французских машин.

[21] См. донесения от 1 (не публ.) и 18 апреля (не публ.), 4 июля 1789 г. (не публ.), 6 (не публ.), и 31 декабря (не публ.) и 24 октября 1790 г. (не публ.) и 26 января 1791 г.

[22] Австрия уже состояла в союзе с Россией.

[23] См. донесения от 9 марта и 19 июля 1789 г.

[24] См. донесения от 1 апреля, 27 и 30 мая 1791 г.

[25] Сталин И., Жданов А., Киров С., Замечания по поводу конспекта учебника по «Истории СССР».—«Правда» от 27 января 1936 г.

[26] Сорель А., Европа и Французская революция, СПБ. 1892—1908, т. III, стр. 242—243.

[27] «Дневник А. В. Храповицкого», запись от 29 июля 1789 г., стр. 299.

[28] Цитируем письмо в переводе с французского текста, опубликованного в «Сборнике Имп. Русского Исторического Общества», СПБ. 1885, т. 42, стр. 97.

[29] «Mémoires, souvenirs et anecdotes par M. le Comte de Ségur». Edition Barrière, P., 1859, II, 170; Сорель А., Европа и Французская революция (русск. пер.), СПБ. 1892—1908, т. II, стр. 183. Интересные сведения о влиянии Французской революции на различные слои русского общества содержатся в донесениях французского поверенного в делах в Петербурге, Жене. Тексты этих документов, перлюстрированные в Петербурге, хранятся в ГАФКЭ, Фонд «перлюстраций».

[30] ГАФКЭ, Отд. I, X, № 87-bis и Отд. II, фонд № 148, IX, № 68.

[31] Заключение мира с Швецией (14 августа 1790 г.) и с Турцией (11 августа 1791 г.— подписание прелиминарных условий, 9 января 1792 г.—подписание Ясского мира) развязывало Екатерине руки в отношении Франции, хотя именно Французская революция, помешавшая присоединению Франции к австро-русскому союзу, в значительной мере воспрепятствовала Екатерине II пожать все плоды этих двух войн.

[32] «Сборник Имп. Русского Исторического Общества», т. 42, СПБ. 1885, стр. 180—181. См. также стр. 188.

[33] Ibid., стр. 202, «Две записки Екатерины II по французским делам».—Пильницкий договор между Фридрихом-Вильгельмом II и Леопольдом II (27 августа 1791 г.), повидимому, был уже известен Екатерине.

[34] См. письмо Екатерины II к гр. П. Зубову о разговоре ее с маркизом де Бомбелем (Bombelles) о мерах к восстановлению королевской власти во Франции.—Ibid., стр. 194—195: «J'ai dit... qu'il étoit difficile d'aider quand on ne s'aidait pas soi même, que d'agir avec les forces d'autrui était le plus grand des malheurs»—говорится в конце письма.

[35] «Дневник А. В. Храповицкого», запись от 14 декабря 1791 г., стр. 386. Перевод французской фразы: «Есть причины, которых нельзя сказать; я хочу впутать их в дела, чтобы иметь свободные руки».

[36] Сорель А., Европа и Французская революция, СПБ. 1892—1908, т. II, стр. 292.

[37] «Сборник Имп. Русского Исторического Общества», т. 42, СПБ. 1885, стр. 209 (письмо Екатерины II к Зубову).

[38] Ibid., стр. 208.

[39] Ibid., стр. 209—210 (собственноручная записка Екатерины II о средствах противодействия Французской революции—осень 1791 г.).

[40] ГАФКЭ. Фонд «государственного архива», к. 51, л. 265.

[41] ГАФКЭ. Фонд «Сношения России с Францией», III—Paris, «dépêches-expédition», л. 56—«Projet de lettre du vice-chancelier comte d'Ostermann à M-r de Simolin».

[42] См. «Rapport fait à Assemblée nationale par M. Montmorin, ministre des affaires étrangères, le 31 oct. 1791», опубликованный в «Gazette Nationale ou le Moniteur Universel», 1791, №№ 309, 311. Об отношении Екатерины II к королевскому обращению к народу от 28 сентября 1791 г., содержавшему лицемерный призыв к всеобщему единению на почве принятой конституции и приглашение эмигрантов вернуться во Францию, можно судить по ее ироническим пометкам на полях этого документа, пересланного в Петербург Симолиным. См. «Proclamation du Roi du 28 septembre 1791» (приложена к донесению от 30 сентября 1791 г.).

[43] ГАФКЭ. Фонд «Сношения России с Францией», III—Paris, «dépêches-expédition» за 1791 г., л. 65—депеша от 3 декабря.

[44] ГАФКЭ. Фонд «коллегии иностранных дел». «Дело о высылке из России французского поверенного в делах Женета» от 1792 г.

[45] ГАФКЭ. Отд. I, IV, № 139.

[46] ГАФКЭ. Фонд «перлюстраций». Донесения Жене от 3 декабря 1789 г. и от 8 декабря 1791 г.

[47] ГАФКЭ. Отд. I, IV, № 139.

[48] См. донесения от 22 июня (не публ.), 17 августа (не публ.) и 13 июля 1789 г. (не публ.) «Мунье,—сообщает Симолин в последнем донесении,—прочел превосходный доклад, где он, определив с большой точностью слово «конституция», которому дают столь разнообразное толкование и значение, и различая правительства, действующие произвольно (gouvernement de fait), от правительств, основанных на конституции, приходит к выводу, что Франция не вполне лишена основных законов, способных дать материал для конституции. Что главным образом встретило одобрение,—это вступление, располагающее умы потрудиться над великим делом создания конституции с чувством умеренности, любви и мира».

[49] См. донесение от 4 июля 1789 г. (не публ.).

[50] Приложение к донесению от 20 сентября 1789 (не публ.) и приложение к донесению от 28 января 1790 г.

[51] См. приложение к донесению от 13 июля 1789 г. и донесение от 19 июля 1789 г.

[52] И не только для нее: дни 13—14 июля внушили страх перед народными массами Парижа даже либеральной буржуазии.

[53] См. донесение от 24 сентября 1790 г. (не публ.).

[54] См. приложение к донесению от 26 марта 1790 г. (не публ.).

[55] См. донесение от 15 марта 1790 г. (не публ.).

[56] См. приложение к донесению от 26 марта 1790 г.

[57] См. приложение к донесению от 24 мая 1790 г.

[58] См. ГАФКЭ. Фонд «Сношения России с Францией», III—Paris, «dépêches-expédition» за 1790 г.—депеша от 4 июня.

[59] Два списка проживающих в Париже русских приложены к донесению Симолина от 27 июля 1790 г. (см. ниже). Эти списки интересны с точки зрения социального состава тогдашней русской колонии в Париже.

[60] См. донесение от 27 июля 1790 г.

[61] См. донесение от 25 июня 1790 г. (не публ.).

[62] Пометка на листе 133 (к. 48).

[63] Ряд интересных подробностей по истории этого бегства дает работа Lenotre (G.), Le drame de Varennes. Juin 1791. D'après des documents inédits... etc., P., 1905, а также новейший труд Vingtrinier (E.), Histoire de la contre-révolution. Première période (1789—1791), P., 1924—1925, т. I—II. См. также более раннюю обстоятельную работу—Fournel (Victor), L'événement de Varennes, P., 1890. Фурнель доказывает, что Монморен знал о более раннем плане переезда короля из Парижа в провинцию, разработанном в феврале 1791 г. Мирабо. Но, одновременно, Фурнель подчеркивает, что Монморен был в неведении относительно «окончательного плана», составленного Ферзеном, «так как король боялся скомпрометировать своего министра» (Fournel, pp. 45, 82). См. также цитируемое Фурнелем письмо Марии-Антуанетты к Леопольду II (от 22 мая 1791 г.), в котором королева сообщает, что о плане побега знают лишь

два француза (Bouillé и Breteuil) и еще одно лицо, занятое приготовлениями к бегству, т. е. Ферзен (ibid., p. 48). Слухи о замышляемом двором бегстве короля распространялись еще в 1790 г. (см. «Annales Historiques de la Révolution Française», novembre-décembre 1936, p. 552 — заметка об одном документе, хранящемся в Национальном архиве).

[64] См. донесение от 27 июня 1791 г.

[65] Op. cit., vol. II, p. 539.

[66] Лависс и Рамбо, Всеобщая история, т. VIII, М., 1903, стр. 343.

[67] Lenotre (G.), op. cit., p. 54. В словаре «Larousse» под словом «Simolin» читаем: «Это он добыл для королевы Марии-Антуанетты паспорт на имя баронессы Корф и заставил графа Монморена, тогдашнего министра иностранных дел, дать свою подпись на этом документе».

[68] Копия письма Симолина к Монморену приложена к донесению от 27 июня 1791 г.

[69] См. приложение к донесению от 23 июня 1791 г.

[70] «Le comte de Fersen et la cour de France». Extraits des papiers. Publié par de Klinckowström, t. I, P., 1877, pp. 84—85. Ферзен в трех различных письмах говорит, что о «предприятии» знают только четверо французов (см. еще pp. 96, 113).

[71] «La Révolution et l'Emigration». Publié par de Barante, P., 1929, t. II, p. 22.

[72] О Монморене см. еще Goetz-Bernstein, La diplomatie de la Gironde, J.-P. Brissot. P., 1912.

[73] Vingtrinier (E.), op. cit., v. I, pp. 143—144, v. II, p. 147.

[74] См. приложение к донесению от 8 июля 1791 г.

[75] См. приложение к донесению от 29 августа 1791 г.

[76] См. приложение к донесению от 8 июля 1791 г.

[77] «Проект письма вице-канцлера графа Остермана господину Симолину от 31 июля 1791 г.». Это письмо приводится в примечании у Lenotre (op. cit., p. 56), но последний не делает из него никаких выводов. См. полный текст письма ниже, в настоящей публикации, стр. 489—490.

[78] См. приложение к донесению от 19 сентября 1791 г.

[79] См. приложение к донесению от 12 сентября 1791 г.

[80] См. приложение к донесению от 16 сентября 1791 г.

[81] Резолюция Екатерины II на донесении от 19 августа 1791 г. (не публ.).

[82] «Русский Архив», 1878, кн. 10, стр. 195. О связи Симолина с бывшим епископом Отёнским—Талейраном см. ниже, в донесении от 1 апреля 1791 г.

[83] См. донесение от 3 августа 1791 г. Возможно, что в данном донесении Симолин сообщает с запозданием все о том же плане шведской интервенции, который был задуман и тщательно разрабатывался Ферзеном еще задолго до бегства в Варенн (см. «Le comte Fersen», op. cit., т. I, p. 82).

[84] См. донесение от 9 декабря 1791 г.

[85] См. «dépêches-expédition» за 1791 г., отпуски депеш от 31 июля и 3 дек. (лл. 56, 74).

[86] Копии письма королевы ее брату и ее же записки князю Кауницу приложены к донесениям Симолина от 11 февраля 1792 г. Письмо Марии-Антуанетты к Екатерине II (от 3 декабря 1791 г.), о котором упоминает Симолин в донесении от 22 декабря 1791 г. (2 января 1792 г.), приводится в настоящей публикации. Оно разоблачает поведение короля, принявшего для виду конституцию и официально оповестившего об этом через Монморена европейские державы и в то же время подстрекавшего иностранные дворы к интервенции.

[87] См. донесение от 11 февраля 1792 г.

[88] См. донесение от 30 января 1792 г.

[89] См. донесение от 1 марта 1792 г.

[90] См. донесение от 1 марта 1792 г.

[91] См. донесение от 17 марта 1792 г.

[92] См. донесение от 16 августа 1792 г. (не публ.).

[93] См. донесение от 10 сентября 1792 г. (не публ.).

[94] См. приложение к донесению от 24 сентября 1792 г. (не публ.).

[95] См. донесение от 27 января 1793 г. (не публ.).

[96] См. донесение от 5 апреля 1793 г. (не публ.).

[97] См. приложение к донесению от 5 апреля 1793 г. (не публ.).

[98] Там же.

[99] См. приложение к донесению от 3 августа 1793 г. (не публ.).

[100] См. донесение и приложение к донесению из Франкфурта от 28 апреля 1795 г. и приложение к нему (не публ.). См. еще приложение к донесению от 16 декабря 1793 г. (не публ.), из которого узнаем, что все дома, векселя и вещи испанского и голландского послов были также конфискованы.

ДОНЕСЕНИЯ И. М. СИМОЛИНА ЗА 1789—1792 гг.

Перевод текстов Е. Александровой, редакция О. Старосельской

АРХИВНАЯ СПРАВКА

Публикуемые донесения русского посла в Париже И. М. Симолина о Французской революции 1789 г. хранятся в Государственном архиве феодально-крепостнической эпохи (ГАФКЭ, Москва), отд. II (Московский главный архив министерства иностранных дел), фонд № 148 («Сношения России с Францией»), рубрика III («Paris»).

Документы этой части фонда (III, «Paris»), хранящиеся в нумерованных картонах, объединены в хронологическом порядке в следующие группы:

1. «Rapports en cour»—донесения Симолина Екатерине II.
2. «Dépêches-réception»—донесения Симолина вице-канцлеру гр. И. А. Остерману.
3. «Dépêches-expédition»—депеши вице-канцлера гр. И. А. Остермана Симолину.
4. «Correspondance avec le ministère»—письма Симолина к гр. А. А. Безбородко.
5. «Rescrits»—рескрипты Екатерины II.

Указания на эти группы, а также на №№ картонов, нумерацию листов приводятся в нашей публикации непосредственно за документом, мелким шрифтом, с применением следующих сокращений: D. R.—«Dépêches-réception»; к.—картон; л.—лист.

Донесения Симолина Остерману имеют поставленные в левом верхнем углу старые делопроизводственные №№, на которые ссылается иногда сам Симолин (напр., в донесениях от 13 июля 1789 г. и 16 июля 1791 г.). Эти №№ сохранены в публикации. Не имеют №№ донесения об особо важных делах (напр., донесения от 4 июня и 18 октября 1790 г. о подкупе Симолиным чиновника французского департамента иностранных дел и о переговорах с секретным агентом), а также частные письма Симолина с просьбами о вознаграждении, пожаловании земли и др. (напр., письма от 17 августа и 25 октября 1790 г.). Такого характера донесения и письма, по установившемуся в дипломатической практике обыкновению, не принято было нумеровать, чтобы не смешивать их с другими.

В правом верхнем углу донесений обозначались место отправления и двойная дата (старого и нового стиля). В подавляющем большинстве своем донесения имеют приложения («apostilles»), в которых сообщались сведения, полученные уже после переписки набело основного донесения. Некоторые донесения имеют по два приложения (напр., от 20 мая 1791 г.), а иногда, в особо напряженные моменты, и более (донесение об измене Дюмурье от 5 апреля 1793 г.). Приложения помечались всегда № и датой основного донесения (ставились внизу слева от подписи). Но, в отличие от этих последних, приложения не имеют обращения, а распространенная подпись заменяется латинской эпистолярной абревиатурой: «Ut in litteris» («так же, как в письме»). Текст всех донесений и приложений к ним написан по-французски.

Все донесения и приложения к ним снабжены собственноручной подписью Симолина: под донесениями к Остерману—J. Simolin, под донесениями к Екатерине II—Jean Simolin. Последние написаны собственноручно Симолиным; его же рукой написаны и наиболее секретные сообщения, переписка которых не могла быть доверена секретарям (напр., донесение от 17 августа 1790 г. о переговорах с конфидентом и о вознаграждении его).

Значительное количество донесений и приложений к ним зашифровано. Расшифровка их производилась в коллегии иностранных дел в Петербурге, на листах

самих донесений, между строками цифрового шифра. В зашифрованном виде посылались донесения о дипломатических переговорах, сообщения о международных делах, добытые нелегальным путем, через секретного агента, сведения о сношениях Монморена с французскими послами в других государствах и др. (напр., донесения от 10 апреля, 1 мая, 4 июня 1789 г., приложение к донесению от 3 января 1791 г.). Шифрованы также некоторые сообщения об особо важных событиях, например, об аресте короля после его бегства в Варенн (приложение к донесению от 23 июня 1791 года). Расшифрованный французский текст донесений содержит много орфографических погрешностей.

Донесения и приложения к ним снабжены пометами на полях и оборотах листов. На полях обычны пометы ./. и ././., какими отмечались получения посланных вместе с донесениями газет, брошюр и др. материалов. Эти пометы в публикации не отмечаются. На обороте каждого донесения помечалась дата его получения коллегией иностранных дел в Петербурге. Эта дата (старого стиля) приводится в нашей публикации непосредственно вслед за указанием архивной рубрики.

Приложения к донесениям имеют помету: «получено с письмом г. Симолина №.......... год..........». Эта помета в публикации не отмечается.

Некоторые донесения снабжены пометами и резолюциями Екатерины II как на полях самих донесений, так и на отдельных приложенных к донесениям записках. Так, например, Екатерина II ставит «nota bene» на полях донесения от 22 марта 1790 г. против сообщения об основании Клуба пропаганды. На полях донесений, уведомляющих о посылке пакетов с прессой, имеются ее пометы: «еще не получено» (20 октября 1790 г.), «не получила» (14 октября 1791 г.). К донесению от 19 августа 1791 г. об аббате Луи приложена отдельная записка Екатерины II (донесение частично опубликовано в издании Feuillet de Conches, т. II, стр. 23, но записка, относящаяся к неопубликованной части текста, опущена). На донесении от 1 апреля 1789 г., в котором Симолин рекомендует на русскую службу инженера и географа Baltus de Varimont, имеется помета Екатерины II: «принять» и др. Все пометы и резолюции Екатерины II приводятся или оговариваются в примечаниях.

К донесениям прилагались и хранятся вместе с ними многочисленные рукописные и печатные материалы: письма иностранцев, обращавшихся по разным делам к Симолину (напр., к донесению от 4 июня 1790 г. приложено письмо американского адмирала Поля Джонса, к письму от 18 апреля 1789 г.—письмо Бугэнвиля, рекомендовавшего на русскую службу лейтенанта Margouet, к донесению от 15 октября 1790 г.—письмо вдовы Жан-Жака Руссо, Терезы Руссо, к Екатерине с просьбой о пенсии), копии дипломатических бумаг, среди них переписка Монморена с французскими представителями в Константинополе, Дании, Стокгольме (донесения от 4 июня, 17 августа, 24 и 29 ноября 1790 г., 23 января 1791 г. и др.). Среди рукописных приложений имеются также разные другие письма, проекты, записки и т. д. Напр., к донесению от 27 октября 1789 г. приложено предложение группы корсиканцев о присоединении Корсики к России (опубликовано в «Русском Архиве», 1875, кн. 8), к донесению от 30 октября 1789 г. приложена копия письма шведского короля к принцу Конде о предоставлении ему убежища и др.

Из печатных изданий, прилагавшихся к донесениям Симолина, сохранилась лишь часть (117 названий из 478 значащихся присланными). Среди них имеется ряд редких брошюр и газет (напр., майские номера «Gazette de Paris» за 1790 г.).

Все рукописные и печатные приложения к донесениям указываются в примечаниях, незначительная часть их публикуется.

Е. Александрова

ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ

Гравюра Женто-сына по зарисовкам художника Ивана Ерменева, очевидца события

Эрмитаж, Ленинград

ПИСЬМО ОТ 5 ЯНВАРЯ 1789 г. ГРАФУ А. А. БЕЗБОРОДКО

[*Без №*]

Париж, $\frac{\text{25 декабря 1788 г.}}{\text{5 января 1789 г.}}$

Милостивый государь[1],

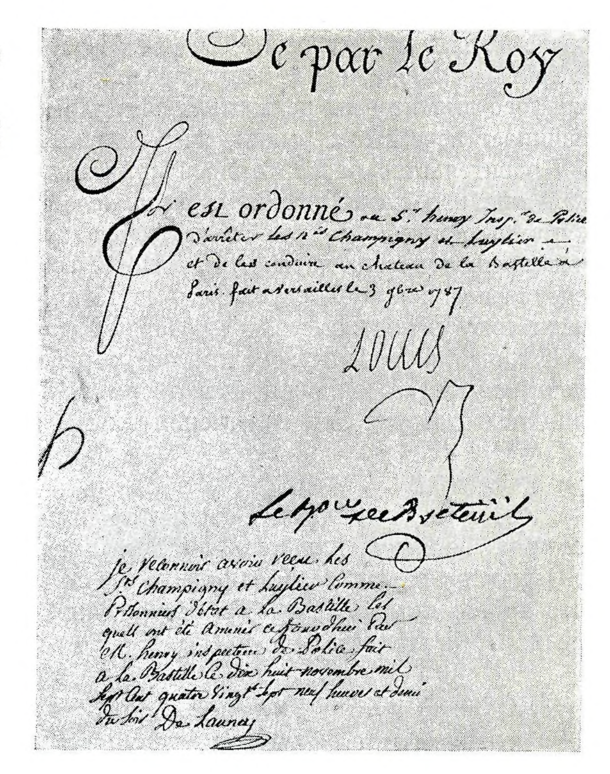
Мне крайне неприятно, что я поставлен в тяжелую необходимость изложить вашему сиятельству дело, которое причинило мне и продолжает причинять большие затруднения.

В августе месяце 1785 г. приехал сюда майор Розен, адъютант светлейшего князя Потемкина-Таврического, и вручил мне письмо от 24 мая, в котором его светлость пишет мне, что на г-на Розена им возложены различные поручения, для выполнения которых ему понадобится моя поддержка. При этом он рекомендовал мне этого офицера, как человека достойного, состоявшего при нем в течение нескольких лет и которым он имеет все основания быть весьма довольным.

Выполнив его поручения и представив его светлости отчет, Розен ждал пять месяцев ответа и обещанной ему, по его словам, высылки денег для расчета по этим поручениям, чтобы выехать обратно в С.-Петербург. Поскольку его ожидания оказались напрасными и он увидел, что его дальнейшее пребывание здесь только увеличивает сделанные им долги, он обратился ко мне с просьбой выручить его из этого затруднения и достать ему восемь тысяч турских ливров[2] для расплаты здесь и на обратное путешествие, обязуясь уплатить по своему векселю в четырехмесячный срок.

Мне было лестно ответить на обращение ко мне его светлости и оказать ему приятную услугу, и я обратился в банкирский дом гг. Риллие и К°, чтобы получить от него в ссуду упомянутые восемь тысяч ливров, причем я поручился за то, что они будут уплачены. Г-н Розен дал вексель на указанную сумму, подлежавший оплате в С.-Петербурге через четыре месяца. Гг. Риллие переслали этот вексель барону Сутерланду для получения денег по нему, но выплата не была произведена, г. Розен уехал с его светлостью в Тавриду, и вексель был возвращен в Париж. С этого момента вышеупомянутый банкирский дом Риллие беспрестанно надоедал мне и требовал погашения ссуды со всеми наросшими за истекшее время процентами. Видя, что все принятые мною меры остаются бесплодными и мне даже не ответили, я должен был, для сохранения своего кредита в этой стране и для прекращения неприятных домогательств, решиться изыскать средства, чтобы удовлетворить упомянутый банкирский дом. В начале августа месяца я взял обратно вексель г. Розена и свое гарантийное письмо, уплатив основную сумму в восемь тысяч ливров и девятьсот сорок ливров процентов, начисленных по день уплаты. Но, чтобы достать эти деньги, я вынужден был прибегнуть к содействию ломбарда (Mont de Piété)[3], где берут десять процентов, не считая прочих накладных расходов, при этом, если в конце года вещи не будут выкуплены или снова не будут уплачены проценты, то вещи будут проданы для погашения долга, что сопряжено с большим убытком для получившего ссуду.

Все вышеизложенное дает вашему сиятельству представление о том исключительно затруднительном положении, в котором я нахожусь и из которого не вижу возможности выйти без вашей помощи и участия. Потому я умоляю вас довести это дело до сведения нашей августейшей го-


De par le Roy

Il est ordonné au S.r henry Insp.r de Police d'arrêter les S.rs Champigny et Luylier et de les conduire au Château de la Bastille à Paris. fait à Versailles le 3 9bre 1787

Louis

Le B.on de Breteuil

Je reconnois avoir reçu les S.rs Champigny et Luylier comme prisonniers d'Etat a la Bastille lesquels ont été amenés ce jourd'hui par M. henry inspecteur de Police fait a la Bastille le dix huit novembre mil sept cent quatre vingt sept neuf heures et demi du soir De Launay

„LETTRE DE CACHET“
(КОРОЛЕВСКИЙ ПРИКАЗ ОБ АРЕСТЕ)
ОТ 3 НОЯБРЯ 1787 г.

Подписан Людовиком XVI и де Бретёйлем; внизу расписка коменданта Бастилии Делонэ в приеме арестованных

Исторический музей, Москва

сударыни и просить ее проявить в отношении меня справедливость и великодушие, тем более, что г. Розен не в состоянии уплатить своего долга, и я не знаю, жив ли он и где его искать. Я должен буду впредь воздерживаться от оказания услуг кому бы то ни было, ввиду того, что был подвергнут стольким неприятностям, помогая в неотложной нужде человеку, рекомендованному мне таким высокопоставленным лицом.

Осмеливаюсь еще заметить вашему сиятельству, что если я не погашу долга в ломбарде в назначенный срок, я потеряю заложенные там вещи и что к восьми тысячам девятистам сорока ливрам, выплаченным банкирскому дому Риллие и К°, надо прибавить еще проценты в ломбард с 1 августа 1788 г. Я умоляю ваше сиятельство удостоить меня благоприятным ответом и быть уверенным в моей живейшей признательности за оказанную мне услугу; за нее я могу заплатить только почтением и ненарушимой верностью, с которою имею честь быть навсегда с почтительнейшею преданностию вашего сиятельства нижайшим и покорнейшим слугою

И. Симолин

P. S. Осмеливаюсь приложить к сему запечатанный пакет, адресованный ее императорскому величеству, с ответами на письма, которые императрица соблаговолила собственноручно подписать.

Через курьера Литвинова, которому вручены мои сегодняшние депеши, я беру на себя смелость передать императрице счет на чрезвычайные расходы за 1788 г. Я осмеливаюсь умолять ваше сиятельство оказать мне содействие в том, чтобы эти деньги были мне возможно скорее высланы, ввиду того, что мне приходится платить проценты за деньги, выданные мною авансом двум курьерам—Константинову и Литвинову. Я не говорю

ей о чрезвычайной дороговизне жизни в этой стране и о недостаточности средств для существования здесь. Небывалые, совершенно беспримерные холода, непрерывно продолжающиеся уже пять недель, поднимают со дня на день цены на продукты и другие предметы, и многое уже начинает исчезать с рынка, как, например, уголь.

Правительство распорядилось привозить муку издалека, несмотря на большие издержки, чтобы не было недостатка в этом необходимом продукте в столице, где хлеб уже вздорожал.

В среду в восемь часов утра было 17 градусов ниже 0, а раньше температура неоднократно спускалась до 13 и 14 с половиной. Сена уже 4 недели тому назад замерзла от Парижа до Руана.

Количество рабочих, не имеющих работы, а следовательно, и хлеба, неисчислимо, а широкая благотворительность правительства и частных лиц недостаточна для облегчения их нужды. Ut in litteris.

И. Симолин

P. S. Г-н Козловский[4], скульптор императрицы, вручил мне прилагаемую записку для передачи ее императорскому величеству[5]. В ней содержится предложение, приводящее его в восторг, так как он считает, что ничего нет прекраснее и совершеннее двух статуй, о которых идет речь. Ut in litteris.

И. Симолин

На донесении имеется помета на русском языке:

О переводе к г. Симолину упоминаемых тут 8940 ливров сообщено С. Ф. Стрекалову[6] генваря 15.

Correspondance avec le ministère, к. 45, л. 25. Дата получения неизвестна.

[1] Письмо адресовано графу (позднее князю) Александру Андреевичу Безбородко (1747—1799), второму члену коллегии иностранных дел (1784—1797), докладчику Екатерине II по важнейшим вопросам внешней политики (до 1792 г.). Безбородко был фактическим руководителем внешней политики России во вторую половину царствования Екатерины II; с 1797 г.—канцлер.

[2] Монета турского образца (4/5 парижского ливра) с 1667 г.—счетная единица.

[3] Ломбарды «Mont de Piété» (дословно «благочестивый процент») существовали во Франции с 1626 г., в Париже с 1640 г. Первоначально цель их была действительно «благочестивой», так как ссуда под залог движимости давалась по очень низкому проценту, но впоследствии эти учреждения, ничем не регламентируемые, превратились в источник хищнической эксплоатации нищеты, и революция уничтожила их в 1789 г., восстановив лишь 16 плювиоза XII г. на несколько иных основаниях.

[4] Козловский Михаил Иванович (1753—1802)—известный скульптор и профессор Академии художеств.

[5] Записка эта приложена к донесению. Козловский предлагает Екатерине II купить за 50 000 руб. из дворца герцога Ришельё две статуи Микель-Анджело: «Природу» и «Разум». Покупка эта не осуществилась.

[6] Стрекалов Степан Федорович (1728—1805)—статс-секретарь Екатерины II.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОНЕСЕНИЮ ОТ 5 ЯНВАРЯ 1789 г.[1]

К № 88

Париж, 25 декабря 1788 г. / 5 января 1789 г.

Новый год был отпразднован в Версале обычным образом. После приема во время одеванья у короля заседал капитул ордена Св. духа[2], и король пожаловал его высочество герцога Шартрского[3] в кавалеры ордена Голубой ленты, принятие же его в орден состоится второго февраля, в день сретения.

Затем король в сопровождении своих братьев, принцев крови и всех кавалеров торжественно отправился в капеллу и там принял в орден Голубой ленты его высочество князя де Люксанбура и графа де Бриенна, бывшего государственного секретаря по военным делам.

Есть еще пять вакансий на ордена; распределение их его величество, вероятно, откладывает до собрания Генеральных штатов.

Более длительное пребывание в Париже может расстроить финансы г. Литвинова, и я счел уместным отправить его с моими сегодняшними депешами. Согласно распоряжениям вашего сиятельства, я выдал ему 180 дукатов, что по меновому курсу составляет 2088 турских ливров, которые я отнес к чрезвычайным расходам 1788 г.; я снабдил его также паспортом до Франкфурта-на-Майне. Беру на себя смелость послать с этой оказией и счет чрезвычайным расходам вместе с моим всенижайшим донесением ее императорскому величеству и осмеливаюсь просить содействия вашего сиятельства, чтобы деньги были мне доставлены возможно скорее.

Исключительная дороговизна в этой стране растет, вследствие суровой зимы, изо дня в день и делает пребывание здесь в высшей степени тяжелым. Ut in litteris.

И. Симолин

«Dépêches-réception» (в дальнейшем всюду: D. R.), к. 45, л. 130. Получено 13 января ст. стиля (всюду в дальнейшем даты получения даны также по ст. стилю).

[1] Донесение от 5 января 1789 г. и все следующие до № 69 от 19 июля 1791 г. включительно адресованы вице-канцлеру, графу И. А. Остерману (1725—1811).

[2] Высший орден французской монархии. Его носили на голубой ленте. Кавалеров ордена называли «cordons bleus» («голубые ленты»).

[3] Луи-Филипп (1773—1850)—старший сын герцога Орлеанского, впоследствии король Франции (1830—1848).

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОНЕСЕНИЮ ОТ 23 ЯНВАРЯ 1789 г.

К № 4

Париж, 12/23 января 1789 г.

Господин де Монморен[1] рассказал мне, когда я собирался выходить из его кабинета, о «Секретной истории берлинского двора» в двух томах, которую только-что выпустил г. Мирабо[2]. Это—письма, которые упомянутый Мирабо, по всей вероятности, писал господину де Калонну[3], когда был послан им, незадолго до смерти короля[4], в Берлин для наблюдения за всем происходившим при восшествии на престол теперешнего прусского короля[5]. Граф де Монморен не скрыл своего негодования, разделяемого вместе с ним всем обществом, по поводу этого поистине адского произведения. Император[6] в нем назван коронованным палачом и унижен ужасным образом. Прусский король выставлен самым большим дураком, принц Генрих[7]—болтуном, без талантов и характера, презираемым армией, правящим герцогом Брауншвейгским[8] и вообще всеми. Его перо, полное желчи и всякой мерзости, не пощадило даже лица, занимающего самое высокое положение, известного, почитаемого и любимого в этой стране, запятнав клеветою его добродетель и поведение[9]. На мой вопрос г. де Монморену, неужели нет законов в этой стране, чтобы наказать такого ужасного, низкого и бесчестного клеветника, он мне ответил, что, по его мнению, парламент займется этим. Я прибавил, что подобная переписка не делает чести министру, который ее поддерживал и с самого начала не обуздал такую возмутительную распущенность.

Он мне ответил, что в бумагах графа де Верженна[10], действительно, были найдены выдержки из этих писем, но в них не было всех тех подлостей и ужасов, которыми полны оригиналы. Никогда ни одно произведение не возбуждало в Париже такого всеобщего и даже полного горечи негодования, как это, особенно потому, что в нем затронуто такое уважаемое и любимое в этой стране лицо. Ut in litteris.

И. Симолин

D. R., к. 46, л. 14 б. Шифровано. Получено 7 февраля.

[1] Montmorin Арман-Марк, граф де (ок. 1745—1792)—воспитатель Людовика XVI, когда он был дофином, затем посол в Мадриде, участвовал в первом собрании нотаблей 1787 г. и вскоре был назначен на пост министра иностранных дел. Сторонник Неккера, уволен вместе с ним в 1789 г., но после взятия Бастилии возвращен. Вместе с Мирабо и другими стремился спасти монархию, ограничив ее очень умеренной конституцией. Был заподозрен в организации бегства короля в Варенн, но оправдан Национальным собранием. После принятия Людовиком XVI конституции 14 сентября 1791 г. и своего отчетного доклада в Собрании о внешней политике ушел в отставку, продолжая тайно быть личным советником короля и входя в так называемый Австрийский комитет, задачей которого являлась организация подавления революции и восстановления абсолютной монархии. Скрылся от народного гнева, но был арестован и убит в тюрьме в сентябрьские дни 1792 г.

[2] Речь идет об издании 66 писем Мирабо из Пруссии, напечатанных им в 1789 г. в качестве, якобы, «посмертного произведения» анонимного автора-путешественника без указания места издания: «Histoire secrète de la Cour de Berlin, ou correspondance d'un voyageur françois, depuis le 5 juillet 1786 jusqu'au 19 janvier 1787. Ouvrage posthume» (два тома).

[3] Calonne Шарль-Александр де (1734—1802)—член королевского совета, интендант, выдвинулся при помощи интриг на пост генерального контролера финансов (1783—1787). Хищениями, подарками королеве и придворным окончательно расшатал финансы королевства. Рекомендовал созыв нотаблей (январь 1787 г.), встретил оппозицию, был смещен и выслан. Активнейший деятель эмиграции с 1791 г.

[4] Фридриха II «Великого», короля Пруссии с 1740 по 1786 гг.

[5] Фридриха-Вильгельма II, короля Пруссии с 1786 по 1797 гг.

[6] Иосиф II, император германский с 1765 по 1790 гг.

[7] Принц Генрих (1726—1802)—брат Фридриха II («Великого»), прусский военный деятель.

[8] Герцог Брауншвейгский Карл-Вильгельм (1735—1806) командовал коалиционной армией против революционной Франции в 1792—1794 гг.

[9] Имеется в виду Екатерина II.

[10] Vergennes (Gravier) Шарль, граф де (1717—1787)—виднейший дипломат предреволюционной Франции, выдвинутый «всесильным» герцогом де Шуазёль-Стэнвилем в 1755 г. на пост полномочного министра, а затем посла в Турции; не выполнил данной ему инструкции побудить султана объявить войну России и, хотя война все-таки началась, был отозван (1768) и лишь после ухода герцога Шуазёля с поста государственного секретаря назначен послом в Швецию (с 1771 г.). Со вступлением на трон Людовика XVI получил портфель министра иностранных дел. В 1778 г. содействовал отпадению североамериканских колоний от Англии. Им подготовлены и заключены Парижский трактат 1783 г., торговый договор с Англией 1786 г. С 1783 г. он одновременно стоял во главе совета финансов и занимал пост государственного секретаря.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОНЕСЕНИЮ ОТ 1 ФЕВРАЛЯ 1789 г.

К № 6

Париж, 21 января / 1 февраля 1789 г.

Первый президент Парижского парламента, г-н д'Ормессон[1], умер, и король назначил на его место г. де Сарона[2], следующего непосредственно за ним по очереди.

В пятницу получены известия из Бретани, что между дворянством и третьим сословием произошли столкновения и были убиты один или

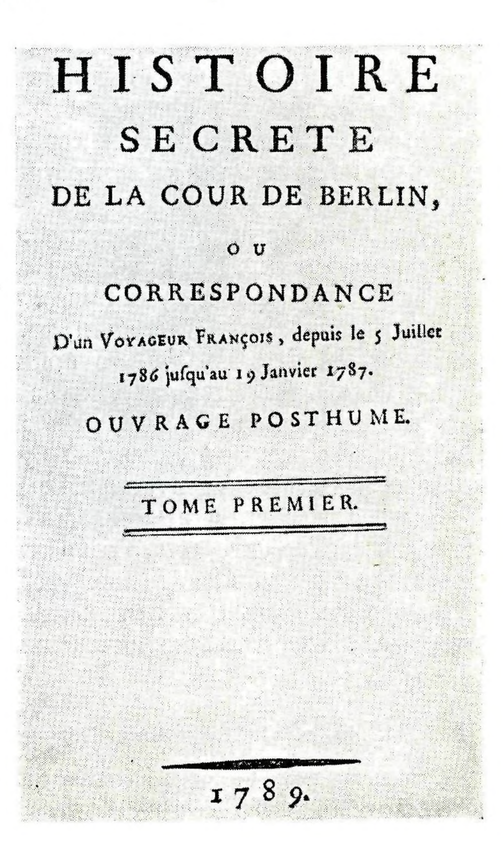
два дворянина, с другой стороны также есть убитые; насчитывают до пятидесяти убитых и раненых с той и с другой стороны.

В прошлое воскресенье король сам возбудил обвинение перед генеральным адвокатом г. Сегье[3] против «Секретной истории берлинского двора», и, вручая ему эту книгу, его величество сказал, что он требует от парламента расследования дела и наказания виновных[4]. Одновременно его величество собственноручно написал приказ о производстве необходимых розысков для отыскания автора и издателя и их наказания. Речь идет о переписке г. Мирабо с г. де Калонном, которым он был послан в Берлин незадолго до смерти короля, чтобы побудить его преемника вложить сотню миллионов ливров в фонды Франции. Это был проект настолько же химерический, как и нелепый, сторонником которого был и покойный граф де Верженн; граф де Монморен сказал мне в последний раз, что он нашел в бумагах покойного выдержки из этой переписки. Ваше сиятельство наверное одобрит, что я, пользуясь настоящим курьером, пересылаю вам экземпляр этой скандальной книги, возбудившей здесь всеобщее негодование. Король был особенно опечален подлым анекдотом, помещенным на стр. 168[5], что он и выразил на Совете в прошлое воскресенье.

Вчера вечером появилось продолжение «Секретной истории берлинского двора», которое я еще не имел времени прочесть. Ваше сиятельство, разрешите мне при сем приложить и эту брошюру. Ut in litteris.

И. Симолин

D. R., к. 46, л. 23. Получено 8 февраля.


HISTOIRE
SECRETE
DE LA COUR DE BERLIN,
OU
CORRESPONDANCE
D'un VOYAGEUR FRANÇOIS, depuis le 5 Juillet 1786 jusqu'au 19 Janvier 1787.
OUVRAGE POSTHUME.

TOME PREMIER.

1789.

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ КНИГИ МИРАБО „СЕКРЕТНАЯ ИСТОРИЯ БЕРЛИНСКОГО ДВОРА“, 1789 г.

Книга была прислана Симолиным при донесении от 1 февраля 1789 г.

[1] D'Ormesson Луи-Франсуа, маркиз (1748—1789)—президент Парижского парламента до 1788 г., во время двукратной ссылки парламента в провинцию мирил его с министрами. Считал созыв Генеральных штатов гибельным для Франции.

[2] Bochart de Saron Жан-Батист де (1730—1794)—крупный астроном, член Академии наук. В качестве первого президента энергично отстаивал прерогативы Парижского парламента.

[3] Séguier Антуан-Луи (1726—1792)—генеральный адвокат Парижского парламента. Враг реформ, защитник привилегий, один из первых эмигрантов.

[4] К донесению от 16 февраля 1789 г. (в настоящую публикацию не входит) приложен печатный экземпляр постановления Парижского парламента о сожжении книги, выпущенной Мирабо: «Arrêt de la Cour de Parlement, rendu par les Chambres assemblées, les Pairs y seant, qui condamne un imprimé, ayant pour titre: Histoire secrète de la Cour de Berlin, ou correspondance d'un voyageur françois à être lacéré et brûlé par l'Exécuteur de la Haute-Justice. Extrait des registres du Parlement. 10 février 1789».

[5] На указанной странице приводится рассказ о свидании Екатерины II, в бытность ее великой княгиней, с молодым французом на придворном костюмированном балу, свидетельствующий о легкости ее нравов, см. «Histoire secrète de la Cour de Berlin», 1789, I, 168.

ДОНЕСЕНИЕ ОТ 9 МАРТА 1789 г.

№ 15

Париж, $\frac{\text{26 февраля}}{\text{9 марта}}$ 1789 г.

Милостивый государь,

Важное дело[1] не обсуждалось и не было решено на Совете ни в среду, ни в четверг, как то предполагал граф де Монморен, после того, как он специально просил короля рассмотреть этот вопрос. Принц Нассау[2] беседовал около часу с королевой и вышел от нее очень довольный, найдя ее величество в полной мере расположенной и готовой к заключению союза, о котором идет речь; ею сделано только одно замечание о необходимости соблюдать в этом деле тайну, чтобы не вызвать никаких замешательств в момент, когда внутренние дела Франции поглощают все внимание правительства. Принц ей ответил, что все стороны равно заинтересованы в сохранении тайны и нет никаких оснований опасаться, чтобы что-либо из этого стало известным преждевременно, и что такое же условие нашла уместным поставить также императрица с самого начала настоящих переговоров.

После этой беседы он говорил также с графом де Монмореном в присутствии г. Неккера[3]. Первый очень горячо высказался за образование новой системы союза с двумя императорскими дворами, второй же сделал ряд возражений и, в частности, то, что дворы могут жить в дружбе и без заключения союза, на что принц Нассау возразил, что бывают моменты, подобные настоящему, когда совершенно необходимо, чтобы дворы сговорились и пришли к соглашению относительно обстоятельств, которые каждый из них может предвидеть в будущем, чтобы не действовать ощупью. Когда граф де Монморен остался наедине с принцем, он его просил не обращать внимания и не придавать значения возражениям г. Неккера, которому свойственно всегда занимать противоположную позицию, но которого, в конце концов, можно убедить.

Имею честь быть с почтительнейшею преданностию, милостивый государь, вашего сиятельства нижайшим и покорнейшим слугою

И. Симолин

D. R., к. 46, л. 81. Шифровано. Получено 24 марта.

[1] «Важным делом» Симолин называет намечавшийся союз четырех держав: России, Франции, Австрии и Испании.

ЛЮДОВИК XVI

Портрет маслом Ж.-С. Дюплесси, ок. 1775 г.

Музей изобразительных искусств, Москва

[2] Nassau-Siegen Карл (1745—1808) — германский принц. Путешествовал вокруг света и по пустыням Африки, принимал участие в американской освободительной войне и в осаде французами Гибралтара. С 1788 г. находился на русской службе последовательно в чине капитана, затем контр-адмирала, вице-адмирала и адмирала. Ему были поручены Екатериной II переговоры с Францией и Испанией о заключении союза. Симолин получил депешу от 17 января 1789 г. (старого стиля) с предписанием должным образом принять Нассау (см. «Dépêches-expédition» за 1789 г.). О пребывании Нассау в Париже, об отъезде его в Испанию, о неудаче его миссии Симолин сообщает в приложении к донесению от 28 февраля, в донесении и приложении к нему от 6 марта, наконец, в донесениях от 9 марта и от 10 апреля.

[3] Necker Жак (1732—1804)—банкир, трижды призывавшийся заведывать министерством финансов для спасения монархии от банкротства, был в это время облечен правами первого министра. Его колеблющаяся политика в проведении реформ в интересах третьего сословия сделала его ненавистным для двора и привилегированных, но, вместе с тем, вскоре оттолкнула от него и более решительные круги финансовой буржуазии и Национального собрания. «Эти часы отстают» — сказал о нем Мирабо, сыгравший значительную роль в интригах против Неккера, результатом которых было его окончательное удаление.

ДОНЕСЕНИЕ ОТ 13 МАРТА 1789 г.

№ 18 Париж, 2/13 марта 1789 г.

Милостивый государь,

На Совете в воскресенье вечером обсуждался вопрос о союзе с нашим двором, но ничего не было решено. Когда я беседовал с графом де Монмореном во вторник, он мне сказал, что желания и намерения его величества об образовании союза неизменны и непоколебимы, но что обстоятельства настоящего момента требуют размышлений и являются единственной причиной отсрочки решения короля. Эти размышления вызываются тем соображением, что, заключив союз с Россией, Франция потеряла бы все свое влияние в Оттоманской Порте и ее доверие к себе, которым она там пользовалась. Ей было бы тогда невозможно заставить ее оценить свои услуги и свое посредничество при заключении, без участия министров Лондона и Берлина, соглашения [Турции] с двумя императорскими дворами, на что имеются большие надежды. Король, по его словам, рассматривает Польшу, как очаг всеобщей войны, которая может вспыхнуть каждую минуту, и что в состоянии кризиса, в котором находится Франция, король был бы вынужден нарушить свои новые обязательства за невозможностью их выполнить до укрепления финансового положения и восстановления доверия в нации при содействии Генеральных штатов, созыв которых приближается и который пришлось бы отложить, если бы случилось, что король вполне определенно не выскажется до этого времени. Он сначала хотел решить вопрос в принципе, а окончательное его осуществление отсрочить до другого времени, месяцев на семь — восемь, и в этом последнем случае он предполагал предложить, чтобы наши оба двора обменялись секретнейшими декларациями, в которых признали бы договор о проектируемом союзе между ними ненарушимым и подлежащим торжественной санкции в определенный момент. Каково бы ни было принятое решение, Монморен отправит курьера к графу Сегюру[1], о чем я буду своевременно извещен. Тем временем, я готовлю эту депешу к отправлению обычным путем, на случай, если отъезд курьера, о котором шла речь, будет отложен.

Граф де Монморен ведет это дело добросовестно и бескорыстно и действует с редким прямодушием. Я не сомневаюсь, что во всем королевском совете нет никого, кто придерживался бы противоположного мнения, и что король

и королева признают полезность и необходимость этого союза и искренно его желают, но они не могут скрыть от себя трудностей внутреннего положения, которые являются единственной причиной медлительности и нерешительности. Было бы иллюзией считать возможным получить в настоящий момент от Франции какую-либо помощь, но несомненно, что через несколько месяцев после собрания Генеральных штатов она придет в нормальное состояние и займет в политике подобающее ей место.

Не претендуя предвосхитить решение версальского кабинета, я предполагаю, что будет решено предложить секретную декларацию, о которой шла речь выше, отложив до более подходящего времени заключение трактата. Если бы осуществилась надежда г. де Монморена на соглашение между Портой и обоими императорскими дворами, которое во многих отношениях предпочтительнее перемирия, при котором упомянутым обоим дворам трудно было бы подать друг другу руку,—главное препятствие было бы, без сомнения, устранено. Г-н де Монморен говорил со мной о поведении шведского короля[2], который воспламенил сословия королевства, собравшиеся на риксдаг, на продолжение войны, оценивая его поведение, как поведение безумца и подстрекателя, стремящегося только возбуждать волнения и смуты. Г-н де Монморен не верит также в искренность уверений г. Борка[3] в Гамбурге и Копенгагене, что прусский король всерьез советует вышеупомянутому королю заключить мир; если бы этому сопутствовала декларация, что его прусское величество его покинет, если он не последует этому совету, этот государь стал бы сговорчивее, и безумие, которым, кажется, охвачено его сознание, было бы укрощено.

Имею честь быть с почтительнейшею преданностию, милостивый государь, вашего сиятельства нижайшим и покорнейшим слугою

И. Симолин

D. R., к. 46, л. 91. Шифровано. Получено 28 марта.

[1] Ségur Луи-Филипп, граф де (1753—1830)—дипломат, историк, был послом при дворе Екатерины II (1785—1789), затем посланником в Берлине. Его кандидатура выставлялась в 1791 г. Марией-Антуанеттой и Людовиком на пост министра иностранных дел после Монморена, но не столько из доверия к нему (он был известен, как сторонник «конституционной партии»), сколько из нежелания обрекать на гибель более преданных им людей, как, например, роялиста Мустье и др. Присмотревшись к обстановке, Сегюр отказался от портфеля в последних числах октября.

[2] Шведский король Густав III (1746—1792), вступивший на престол в 1771 г.; опираясь, в борьбе с дворянской олигархией, на партию «колпаков» (среднее и мелкое дворянство и зажиточное крестьянство) и промышленную и торговую буржуазию, произвел в 1772 г. государственный переворот и фактически восстановил неограниченную власть короля и централизацию управления. Но к концу 80-х годов накопившееся недовольство в стране побудило его искать выхода в войне с Россией (1788—1790). В это время дворянство и финансовая аристократия устроили заговор, требуя созыва риксдага и восстановления правления сословных представителей. Однако, Густав III подавил это движение, апеллируя к национальному единению ввиду опасности со стороны союзницы России—Дании. Разбив датчан, он заключил с ними мир при посредстве Англии и Пруссии и новым переворотом, осуществленным под видом проведенного через риксдаг (в 1789 г.) пакта «единения и охраны», восстановил абсолютизм. Заключив Верельский мир с Россией, энергично принялся за восстановление абсолютизма во Франции и спасение Людовика XVI, но был убит в марте 1792 г. участниками нового дворянского заговора.

[3] Borck—прусский посол в Стокгольме.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОНЕСЕНИЮ ОТ 16 АПРЕЛЯ 1789 г.

К № 27

Париж, 5/16 апреля 1789 г.

Двор и общество заняты в настоящий момент исключительно приготовлениями к созыву Генеральных штатов. По мере того, как идут выборы, появляются наказы, и всех теперь объединяет стремление погасить национальный долг, восстановить кредит и уничтожить дефицит. Если это будет сделано, то Франция вскоре же выйдет из всех своих затруднений.

Принц Нассау, осведомленный о положении дел, сможет подробно осведомить обо всем ваше сиятельство.

Чернь Марселя и Экса в Провансе принудила избирателей этих двух городов выбрать графа де Мирабо своим представителем в Национальное собрание. Все честные люди страны возмущены, что сочинитель пасквилей и клеветник займет место в столь высоком собрании.

Посланник Соединенных Штатов Северной Америки г. Джефферсон[1] просил меня препроводить приложенное к сему письмо, адресованное им контр-адмиралу Полю Джонсу[2]. Ваше сиятельство, соблаговолите разрешить мне просить вас передать письмо адмиралу или переслать ему в случае, если он уже выехал из С.-Петербурга. Ut in litteris.

И. Симолин

D. R., к. 46, л. 3. Дата получения неизвестна.

[1] Jefferson Томас (1743—1826) — один из главных деятелей борьбы американцев за независимость, впоследствии третий президент САСШ (1801—1809). В 1784 г. отправился в Европу для заключения торговых договоров и с 1785 г. заменил Франклина в качестве полномочного министра САСШ при французском дворе (до 1789 г.).

[2] Jones Поль (1747—1792) — знаменитый американский мореплаватель. В 1788 г. поступил на русскую службу в чине контр-адмирала. Нерасположение к нему Потемкина и Нассау побудило его в 1789 г. оставить Россию и переехать в Париж. О свидании Поля Джонса с Симолиным и запросе последнего о выдаче Полю Джонсу жалованья см. приложения к донесениям от 31 мая и 4 июня 1790 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОНЕСЕНИЮ ОТ 1 МАЯ 1789 г.

К № 33

Париж, $\frac{\text{20 апреля}}{\text{1 мая}}$ 1789 г.

В прошедший понедельник несколько герольдов при оружии и в парадном одеянии объявляли на главных площадях и улицах Версаля при звуках труб и литавров об открытии заседаний Генеральных штатов. Король назначил на понедельник 4-го этого месяца процессию и на другой день, 5-го, торжественное открытие собрания. Дипломатический корпус будет иметь право входа в зал по билетам, и обер-церемониймейстер[1] предоставил ему семьдесят билетов, в том числе для иностранцев, которые были представлены ко двору.

В понедельник и во вторник были народные волнения в Сент-Антуанском предместье, причина которых даже неизвестна[2]. Королевский кроатский полк, вступив туда в понедельник после полудня, сначала рассеял чернь, вооруженную толстыми палками, а на другой день пришлось прибегнуть к стрельбе, и, когда отряд швейцарской гвардии приблизился с двумя пушками, мятежники не замедлили разойтись. В тот же день парламент вынес постановление, запрещающее всем, какого бы положения и чина они ни были, под угрозой чрезвычайных преследований и наказаний по всей строгости закона, собираться в городе, пригородах и предместьях

N° 65.

Paris le 6/17 Juillet 1789.

Monsieur,

Depuis ma dernière dépêche de lundi, qui peut être ne sera pas entrée, il est arrivé une révolution en France, qu'on aura peine à concevoir, si elle ne s'était pas passée sous les yeux des vivans. Toutes les lettres étant ouvertes, je ne me permets que de mander à Votre Excellence, que le Ministère nommé dimanche dernier a donné sa démission ou a été renvoyé; que le Roy vient aujourd'hui à 11. heures à Paris tenir une séance Royale à l'Hotel de ville; qu'il laisse à la nation la liberté de nommer ses Ministres et de statuer tout ce qu'elle trouvera à propos pour le bien de la Nation.

Si je puis obtenir un passeport j'expédierai un Courier avec le détail de cet événement, qui change absolument la situation des affaires et la Monarchie.

J'ai l'honneur d'être avec le plus respectueux attachement,

Monsieur

de Votre Excellence

le très humble et très obéissant serviteur

J: Simolin.

АВТОГРАФ ДОНЕСЕНИЯ СИМОЛИНА ОТ 6/17 ИЮЛЯ 1789 г. С ПЕРВЫМ СООБЩЕНИЕМ О РЕВОЛЮЦИИ ВО ФРАНЦИИ

Архив феодально-крепостнической эпохи, Москва

Парижа, призывать к скопищам и содействовать им, вторгаться в дома, производить там буйства и подвергать оскорблениям граждан. Не подчиняющихся этому постановлению будут рассматривать, как нарушителей общественного спокойствия.

В среду вечером пять бунтовщиков были повешены по приговору превотального суда[3], и общественное спокойствие с этого времени как будто восстановлено. Ut in litteris.

И. Симолин

D. R., к. 46, л. 23. Получено 16 мая.

[1] Обер-церемониймейстером французского короля с 1781 г. был маркиз Анри де Дрё-Брезе (Dreux-Brézé, 1766—1829), впоследствии эмигрант.

[2] Волнения рабочих 27/28 апреля, так называемое «дело Ревельона», сопровождавшиеся разгромом домов фабрикантов Ревельона и Анрио, не желавших повысить заработную плату сверх 15 су в то время, когда четырехфунтовый хлеб стоил те же 15 су.

[3] Prévôtalement—т. е. чрезвычайным судом, без права апелляции.

ДОНЕСЕНИЕ ОТ 8 МАЯ 1789 г.

№ 34

Париж, $\frac{27\ \text{апреля}}{8\ \text{мая}}$ 1789 г.

Милостивый государь,

Торжественная процессия, которая предшествовала открытию собрания Генеральных штатов, была столь же величественна, как и хорошо организована. На другой день, 5-го, король отправился с большой торжественностью в зал заседаний Штатов и открыл их тронной речью. Хранитель печати[1], испросив разрешения его величества, прочел речь, из которой ничего нельзя было расслышать из-за его тихого голоса. Затем г. Неккер начал читать приготовленную им речь, чтение которой продолжалось более трех часов. Он подробно остановился на положении финансов и доказал, что действительный дефицит равен лишь 56 миллионам. Затем им были затронуты вопросы административные, высказаны мнения и рассуждения, которые несколько раз прерывались всеобщими аплодисментами как со стороны Штатов, так и многочисленных зрителей, наполнявших зал. Как только речи будут напечатаны, я постараюсь возможно скорее переслать их вашему сиятельству, так же как и описание торжеств, организованных по случаю этого события, которое составит эпоху во Франции[2]. Если единение и согласие будут царить между сословиями государства, то совершенно несомненно, что через несколько месяцев Франция возродится и станет, как и прежде, вполне достойной уважения.

Имею честь быть с почтительнейшею преданностию, милостивый государь, вашего сиятельства нижайшим и покорнейшим слугой

И. Симолин

D. R., к. 46, л. 24. Дата получения неизвестна.

[1] Должность хранителя печати занимал с 1788 г. Поль де Барантен (Barentin, 1738—1819). После взятия Бастилии получил отставку; наряду с другими министрами, был предан суду Шатле, но оправдан. В конце 1789 г. эмигрировал.

[2] К донесению приложены: 1) «Correspondance nationale. Etats généraux» от 4 и 5 мая 1789 г. и 2) «Discours du Roi».

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОНЕСЕНИЮ ОТ 13 ИЮЛЯ 1789 г.

К № 64

Париж, 2/13 июля 1789 г.

Осмеливаюсь приложить к сему инструктивную записку, переданную от имени короля в Продовольственный комитет Генеральных штатов глав-

ным управляющим финансами, о которой я сообщал в моем донесении № 60 от 25 июня (6 июля)[1].

Вчера произошли дальнейшие перемены в министерстве. Г-н Неккер и граф де Сен-Прист[2] покинули еще накануне Версаль; первый отправился в свои поместья в Швейцарии, второй—в свое имение, находящееся в нескольких милях от Парижа. Барон де Бретёйль[3] назначен первым министром и председателем финансового совета, герцог де Ла Вогюйон[4]—министром иностранных дел, г. де Ла Порт[5]—государственным секретарем по морским делам, что еще не окончательно утверждено; маршал де Брольи[6]—военным министром и генералиссимусом войск, г. де Фулон[7]—интендантом армии и флота, г. де Галэзьер—главным контролером финансов с правом подписи, г. Дамекур—советником в финансовом совете; г. де Вильдёйль, государственный секретарь по делам королевского двора и Парижа, оставлен на месте; герцог де Нивернэ ушел, уже несколько дней тому назад, из королевского совета; хранитель печати г. де Барантен не смещен.

Вчера вечером произошло восстание. Французская гвардия, соединившись с чернью, начала стрелять в отряд королевского немецкого полка. Отряд был выстроен на бульваре под моими окнами[8]. Убиты два человека и две лошади.

На площади Людовика XV и во многих других кварталах—кровавые зрелища. Вот и сейчас, когда я пишу, стреляют под моими окнами, и я боюсь, что эта трескотня и шум продлятся всю ночь.

Третьего дня и вчера сожгли заставы на улице Бланш и в предместье Пуассоньер.

Все спектакли вчера были отменены по настоянию народа.

Сегодня утром мне передавали, что ночь прошла неспокойно. Было нападение на главный штаб войск, помещающийся против меня, во дворце Ришельё. Были стычки на Итальянском бульваре, на площади Людовика XV и на Елисейских полях. Стреляли из пушек. Надо надеяться, что будет найден способ прекратить эти безобразия. Ut in litteris.

И. Симолин

D. R., к. 46, л. 11. Получено 25 июля.

[1] «Записка», о которой Симолин сообщал в донесении от 6 июля, касалась предлагаемых королем мер помощи нуждающемуся населению, вследствие недостатка и дороговизны зерна и муки. См. прилож. к донесению «Supplément au № 191 du Journal de Paris». Vendredi 10 juillet 1789.

[2] Saint-Priest (Guignard) Франсуа-Эманюэль, граф де (1735—1821)—полномочный министр в Португалии, посол в Константинополе, где завязал связи с русским двором (1767—1783), и в Голландии (1787—1788). Министр внутренних дел в министерстве Неккера, уволен одновременно с ним. Вновь призван на пост после 14 июля 1789 г. После 5—6 октября советовал применить военную силу. Эмигрировал в 1790 г. и деятельно готовил интервенцию.

[3] Breteuil Луи-Огюст, барон де (1730—1807)—посол Франции в Копенгагене, Стокгольме, Вене, Неаполе. Министр двора (1783—1788). После отставки Неккера 12 июля 1789 г.—первый министр в образованном им (на несколько дней) ультрареакционном министерстве, ответом на которое было взятие Бастилии, после чего Бретёйль эмигрировал. Один из самых видных деятелей контрреволюции. Пользовался неограниченным доверием Марии-Антуанетты и Людовика XVI, по их поручению вел тайные переговоры с европейскими дворами. Участвовал в организации бегства королевской семьи в Варенн в июне 1791 г.

[4] La Vauguyon Поль-Франсуа, герцог де (1746—1828)—французский посол в Испании в 1789—1790 гг.

[5] La Porte Арно де (1737—1792)—бывший главный интендант морского ведомства, управляющий королевскими имуществами. В его ведении находилась секретная переписка Людовика XVI.

[6] Broglie (французское произношение Бройе) Виктор-Франсуа, герцог де (1718—1804)—влиятельный при дворе маршал. В 1789 г. был призван королем для командования стянутыми вокруг Версаля войсками, но отказался. После взятия Бастилии эмигрировал. В 1792 г. сражался против Республики в рядах армии принца Конде, затем принимал участие в организации интервенции англичан и русских (был принят на русскую службу с 1797 г. с чином фельдмаршала).

[7] Разбогатевший на поставках финансист, сторонник объявления банкротства.

[8] Симолин жил в это время на Монмартрском бульваре, в арендованном им доме маркиза де Ла Ферьера (de La Ferrière). В 1791 г. он занимал квартиру в доме № 3 по улице Basse du Rempart, принадлежавшем де Ла Гаренну (de La Garenne). Эти местожительства Симолина устанавливаются на основании контрактов, расписок, адресов и других материалов, находящихся в архиве парижской миссии (ГАФКЭ, II отделение, фонд № 95, дело № 4 за соответствующие годы). Среди этих документов находятся также черновой контракт от 1788 г., заключенный Симолиным на аренду дома Sainte-Foix на улице Basse du Rempart, и расписка Sainte-Foix в получении денег от 3 мая 1788 г. (ibid., № 1, «Книга реляций и ведомостей» за 1790 г., стр. 520).

ДОНЕСЕНИЕ ОТ 19 ИЮЛЯ 1789 г.

№ 66

Париж, 8/19 июля 1789 г.

Милостивый государь,

Революция во Франции свершилась, и королевская власть уничтожена. Восстание города Парижа, к которому умы, казалось, были подготовлены, разразилось на другой день после отъезда г. Неккера. В следующие дни оно продолжало разрастаться, как вы, ваше сиятельство, увидите из прилагаемого «Журнала»[1] о происходившем здесь с субботы до пятницы; к нему я беру на себя смелость присоединить несколько печатных изданий[2], во всех подробностях излагающих событие, которого Европа никак не ожидала. Это восстание сопровождалось убийствами, вызывающими содрогание; обстоятельства, при которых они были совершены, доказывают невинность нескольких жертв.

Посол его величества императора, граф де Мерси[3], сочтя необходимым избежать проявлений ненависти, которую народ обнаруживал к представителю брата королевы[4], уехал в деревню, а чтобы обезопасить свой дворец от явно грозившего ему нападения, он вынужден был просить охраны буржуазной гвардии, которая и была ему предоставлена. При этом гвардии было дано распоряжение не пропускать никого в его дворец без обыска, что едва не случилось и со мной, когда я захотел повидать секретаря посольства, но так как мне сказали, что он вышел, то мне не пришлось подвергнуться этой церемонии. По распоряжению Постоянного комитета[5], приходили обыскивать вышеупомянутый дворец, чтобы удостовериться, нет ли там пушек, склада военного снаряжения и оружия[6].

Жестокость и зверство французского народа проявились при всех этих событиях в тех же чертах, как и в Варфоломеевскую ночь, о которой мы еще до сих пор с ужасом читаем, с тою только разницей, что в настоящее время, вместо религиозного фанатизма, умы охвачены политическим энтузиазмом, порожденным войною и революцией в Америке.

Если бы король отказался подчиниться требованиям Постоянного муниципального комитета, народ, по всей вероятности, сверг бы его; таким образом, этот добрый государь, не желающий никому зла, был поставлен в жестокую необходимость сдаться на милость бунтовщиков, тем более, что Французская гвардия его подло покинула и он совсем не мог полагаться на войска, сосредоточенные вокруг Парижа и Версаля. Постановление Национального собрания, принятое после ответа короля, гласит,

МАРИЯ-АНТУАНЕТТА
Французская работа, мрамор, ок. 1774 г.
Эрмитаж, Ленинград

что Собрание, являющееся выразителем чувств нации, изъявляет г. Неккеру, так же как и другим только-что уволенным министрам, свое уважение и сожаление об их отставке.

Объявляет, что, опасаясь печальных последствий, которые может повлечь за собой ответ короля, оно не перестанет настаивать на удалении войск, собранных со специальными намерениями около Парижа и Версаля, и на образовании буржуазной гвардии. Подтверждает, что между королем и Национальным собранием не может существовать никаких посредников.

Объявляет, что министры и агенты гражданской и военной власти ответственны за все действия, нарушающие права нации и декреты Собрания.

Объявляет, что находящиеся у власти министры и члены Совета его величества, независимо от положения и чина, несут личную ответственность за происходящие несчастья и за все те, которые еще могут последовать.

Объявляет, что государственный долг находится под охраной чести и совести французов, что нация не отказывается платить проценты и что никакая власть не смеет произнести позорное слово банкротство, в какой бы то ни было форме, под каким бы то ни было названием.

Наконец, Национальное собрание объявляет, что оно настаивает на своих предыдущих постановлениях, что настоящая декларация будет передана королю председателем, опубликована в печати и послана, по постановлению Собрания, г. Неккеру и другим министрам, которых только-что лишилась нация.

Всякое внешнее сообщение прервано с понедельника для всех, независимо от их звания, и буржуазная гвардия у застав довела строгость при обысках до того, что раздевала лиц обоего пола, как выходивших из города, так и входивших в него.

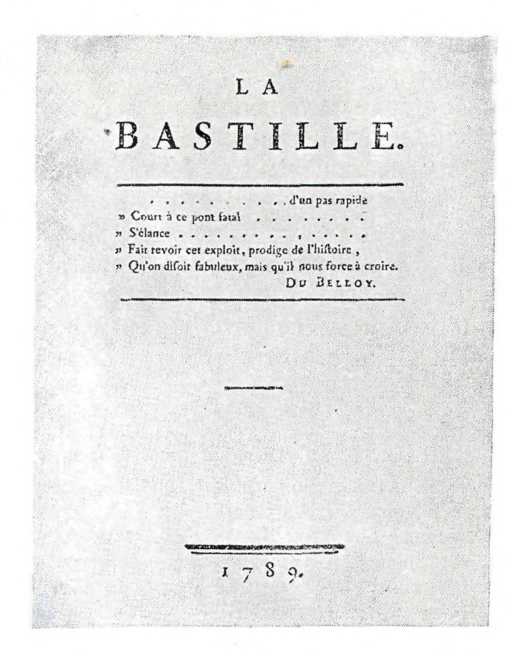
Я счел своим долгом не медлить с отправкой курьера с известием о событии столь большой важности при любых обстоятельствах и имеющем в настоящее время особое значение для нашего двора.

Было бы заблуждением рассчитывать теперь на союз и, тем более, на политическое влияние Франции. Каковы бы ни были соображения нового министерства по отношению к предполагаемому союзу с ее императорским величеством, оно не может уделить ему большого внимания, и надо рассматривать Францию при решении стоящих перед нами в данный момент вопросов, как несуществующую. Я не беру на себя смелость давать советы, но все же считаю своей обязанностью доложить о положении дел, каким оно мне представляется, и сказать, что Франция, даже с наилучшими намерениями по отношению к нам, не сможет оказать нам никакой услуги и что союз с ней будет иллюзорным для Российской империи. Кроме того, нация питает отвращение к союзу с австрийским домом из-за королевы, и если бы даже можно было заключить договор, он был бы нарушен, потому что министры будут вынуждены следовать принципам и побуждениям третьего сословия, которые возьмут верх над всеми другими соображениями. Если императрице нужны посредники, чтобы облегчить завершение двух войн, которые она ведет, то будет совершенно необходимо обратиться к кому-либо другому.

Ваше сиятельство должны объяснить моим усердием к службе и интересам нашей великой и августейшей государыни ту свободу, с которой я выражаю свое мнение о том, что касается этих интересов. Все поражены

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ РЕДКОЙ БРОШЮРЫ „LA BASTILLE", ВЫШЕДШЕЙ ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ ПОСЛЕ ВЗЯТИЯ БАСТИЛИИ

Библиотека Академии наук СССР, Ленинград



LA

BASTILLE.

. . . . d'un pas rapide
» Court à ce pont fatal . . . .
» S'élance . . . .
» Fait revoir cet exploit, prodige de l'histoire,
» Qu'on disoit fabuleux, mais qu'il nous force à croire.
Du Belloy.

1789.

при виде того, как в течение тридцати шести часов французская монархия была уничтожена и ее глава вынужден соглашаться на все, чего разнузданный, жестокий и варварский народ требует от него с такой дерзостью и таким повелительным тоном, и еще считать себя при этом очень счастливым, что народ соблаговолил удовлетвориться его отречением от своей власти и от своих прав.

В Пале-Рояле, который является очагом мятежа, было сделано в воскресенье вечером предложение провозгласить герцога Орлеанского[7] регентом Франции. Герцог немедленно отправился в Версаль засвидетельствовать публично перед королем и его братьями, что хотя он и любит свободу, но не принимает участия в столь нелепом предложении, и с тех пор он не выезжает из Версаля.

Не было его и в числе депутатов, сопровождавших в пятницу его величество в Ратушу, чтобы народ не имел повода кричать в присутствии короля: «Да здравствует герцог Орлеанский», как он обычно это делал, когда герцог показывался там, где бывало скопление народа.

Король был слишком взволнован в Ратуше, он едва мог произнести слова, которые за него были повторены собранию: «Мой народ всегда может рассчитывать на мою любовь». Г-н Байи[8], получив приказание короля исполнять обязанности хранителя печати, продолжая речь короля, сказал, что король прибыл успокоить тревогу, которая могла еще усилиться в связи с его распоряжениями, объявленными нации, а также для того, чтобы насладиться пребыванием среди своего народа и его любовью; что его величество желает восстановления тишины и спокойствия в столице, чтобы все вернулось к обычному порядку, и что при малейшем нарушении закона виновные будут преданы правосудию.

Его величество утвердил назначение маркиза де Лафайета[9] в звании командира буржуазной милиции Парижа, с чином полковника, и г. Байи — мэром Парижа, заменив им старшину купечества. Говорят, что он объединил в своем лице и должность начальника полиции. Его величе-

ство одобрил также мысль воздвигнуть на развалинах Бастилии памятник Людовику XVI и присвоить полку Французской гвардии, перешедшему на сторону революции и тем ускорившему ее проведение, наименование Национальной гвардии.

Многие придворные уехали. Среди них называют г-жу де Полиньяк[10], воспитательницу детей Франции[11], герцогиню де Гиш, ее дочь, графа де Водрёйль[12], г. барона де Безанваля[13], подполковника швейцарской гвардии, и многих других. Принц Ламбеск[14] вместе с маршалом де Брольи уехал во главе королевского немецкого полка, который провел ночь с пятницы на субботу в Сен-Дени, на пути к Нанси.

Имею честь быть с почтительнейшею преданностию, милостивый государь, вашего сиятельства нижайшим и покорнейшим слугой

И. Симолин

D. R., к. 46, л. 15. Получено 27 июля.

[1] См. рукописное приложение к донесению: «Journal des événements, arrivés à Paris depuis le 11 jusqu'au 17 juillet 1789», на 6 листах. Опубликовано в «Русском Архиве», 1875, № 8, 413—416 (в переводе).

[2] К донесению приложены: «Journal de Paris» №№ 193, 196—198 от 12, 15, 16 и 17 июля 1789 г. и «Le Point du jour, ou résultat de ce qui s'est passé la veille à l'Assemblée Nationale Nr XXV du jeudi 16 juillet 1789».

[3] Mercy Argenteau Флоримон-Клод, граф де (1727—1794) — австрийский посол при дворе Людовика XVI, один из самых видных членов тайного совета при Марии-Антуанетте, так называемого Австрийского комитета (см. о нем в предыдущих примечаниях—о Монморене). Почти два года (с 1790 г.) находился вне Франции, и королева вела через него свою контрреволюционную интригу путем секретной переписки, являющейся одной из важнейших документальных публикаций для всего этого периода.

[4] Иосифа II.

[5] Образован в июле 1789 г. в результате муниципального переворота в Париже (а затем и в провинции) для руководства революцией и вооружением народа. Состоял из членов прежнего муниципалитета, к которым были присоединены несколько членов избирательной комиссии и один представитель избирателей Парижа в Генеральные штаты.

[6] Постановление об обыске было принято на заседании 13 июля 1789 г.

[7] Герцог Орлеанский Людовик-Филипп-Жозеф (1747—1793) — двоюродный брат короля. Его оппозиция двору создала ему большую популярность среди буржуазии. Он одним из первых среди депутатов от дворянства присоединился к третьему сословию. Впоследствии — член Конвента, голосовал за смертную казнь Людовика XVI. За свои, якобы, гражданские добродетели получил от Коммуны Парижа наименование Филиппа Эгалите («Равенство»). После измены Дюмурье был обвинен в стремлении захватить трон и гильотинирован.

[8] Bailly Жан-Сильвен (1736—1793)—астроном, член Академии наук, депутат в Генеральные штаты от третьего сословия Парижа, первый мэр города Парижа.

[9] La Fayette Мари-Жозеф, маркиз де (1757—1834)—участник борьбы французов за американскую независимость. Депутат от дворянства в Генеральные штаты. Одним из первых присоединился к третьему сословию, но позднее изменил революции.

[10] Polignac, герцогиня де (1749—1793)—фаворитка Марии-Антуанетты, воспитательница ее детей, особенно возбуждала ненависть народа своей расточительностью.

[11] «Enfants de France»—так титуловались дети французских королей.

[12] Vaudreuil Жозеф-Франсуа, граф де (1740—1817) — генерал, участвовал вместе с графом д'Артуа в осаде Гибралтара и вместе с ним эмигрировал в 1789 г.

[13] Besenval Пьер-Виктор (1722 — 1791) — швейцарский барон, доверенное лицо Марии-Антуанетты, в 1789 г. командовал войсками, стянутыми Людовиком XVI вокруг Парижа для подавления революции. После взятия Бастилии пытался выехать за границу, но был арестован и привлечен к суду (см. далее, приложение к донесению от 15 января 1790 г.); оправдан, благодаря интригам двора.

[14] Lambesc Карл-Евгений, принц (1751—1825) — родственник Марии-Антуанетты, командовал королевским немецким полком. 12 июля 1789 г. во главе полка разгонял толпу, собравшуюся в саду Тюильри. Получил прозвище «Sabreur des Tuileries» («тюильрийский рубака»).

ДОНЕСЕНИЕ ОТ 24 ИЮЛЯ 1789 г.

№ 68

Париж, 13/24 июля 1789 г.

Милостивый государь,

Поскольку мне ничего не возвращено обратно из посланного с г. Павловым, отправленным в прошлое воскресенье курьером, я предполагаю, что он переехал через границу благополучно и не был арестован в пути[1].

В прошедший вторник граф де Монморен возобновил обычные совещания с дипломатическим корпусом в Версале. Граф де Сен-Прист также вернулся к исполнению обязанностей в своем ведомстве, и граф де Ла Люзерн[2] также призван вновь и прибыл во вторник в полдень в Версаль, чтобы принять управление морским ведомством.

Экстренный курьер в Брюссель с письмами короля и Национального собрания г. Неккеру уже не застал этого министра, выехавшего 15-го во Франкфурт, и отправлен туда вслед за ним. Другой курьер послан прямо в этот город, и двор и общество надеются, что г. Неккер примет приглашение короля и нации вернуться во Францию и войти вновь в министерство. Возможно, что назначение хранителя печати и военного министра отложено до его прибытия для того, чтобы выбор их был решен с его согласия и при его участии.

Здесь получены письма от 5 июня с известием о смещении Великого визиря, который был заменен некоим никому не известным Хассаном-пашою.

Имею честь быть с почтительнейшею преданностию, милостивый государь, вашего сиятельства нижайшим и покорнейшим слугою

И. Симолин

D. R., к. 46, л. 43. Получено 4 августа.

[1] Павлов прибыл в Петербург 27 июля с донесением Симолина о взятии Бастилии (предыдущее донесение). Через два дня он был вызван к императрице для личной беседы. Об этом сообщает в своем дневнике, под 29 июля 1789 г., Храповицкий: «Призван был тит. советник Павлов, но оробел. Велено ему подать изъяснение на письме. Разговор ее величества о происшедшем в Париже. Le pourquoi est le roi? Он всякий вечер пьян, и им управляет кто хочет, сперва Breteuil партии королевиной, потом prince Condé et comte d'Artois и, наконец, La Fayette уговорили его итти в собрание депутатов. Все знатные и принцы крови выезжают из Франции, многие уже в Брюсселе». («Дневник Храповицкого», СПБ. 1874, 299).

[2] La Luzerne Сезар-Анри, граф де (1737—1799)—генерал, был губернатором в одной из колоний, когда был призван Людовиком XVI на пост морского министра, но, разделив непопулярность Неккера и его коллег, вынужден был уйти в отставку в октябре 1790 г. и эмигрировал в Англию.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОНЕСЕНИЮ ОТ 24 ИЮЛЯ 1789 г.

К № 68

Париж, 13/24 июля 1789 г.

Когда я приветствовал графа де Сен-Приста по поводу его приезда и возвращения в министерство, он просил меня повергнуть его к стопам императрицы и уверить ее в его восхищении и почтительнейшей преданности ее августейшей персоне.

Он признался мне, что предпочел бы ведомство иностранных дел управлению королевским двором и что им было сделано предложение г. де Монморену поменяться с ним, но что тот и слышать об этом не хотел. Он сказал мне также, что все намеки на мир были с гордостью отвергнуты

в Константинополе, что там высказывались о нем очень двусмысленно, так что оба императорских двора не могут надеяться поколебать непреклонность Оттоманской Порты и могут добиться надежного и почетного мира только своим оружием и блестящими успехами.

Никогда моя душа не была здесь так охвачена печалью, как теперь. Париж похож на логовище тигров.

Ужасно произошедшее с г. Фулоном, бывшим интендантом армии, которому в самое последнее время было снова предназначено интендантство армии и флота, и с его зятем, г. Бертье[1].

Говорят, что народ составил список 54 жертв, которых он собирается еще принести в жертву своей ярости. Называют гг. де Сартина[2], Ле Нуара[3], Бомарше[4] и многих других, которых обвиняют в спекуляции хлебом. Не было никаких других обвинений и против обоих несчастных, которых постигла такая ужасная и жестокая судьба. Ut in litteris.

И. Симолин

D. R., к. 46, л. 44. Шифровано. Получено 4 августа.

[1] Реакционеры славившиеся своей жестокостью; олицетворяли для народа ужасы голода.

[2] Sartine Габриэль, граф д'Альби (1729—1801)—известный начальник полиции при Людовиках XV и XVI, организатор секретной ее части. С 1774 по 1780 гг. морской министр. Неумелое управление этим ведомством вызвало нападки на него со стороны Неккера и его отставку. Возбуждал ненависть народа, как яркий представитель дореволюционной администрации, широко применявший «lettres de cachet» и распространивший агентуру сыска на придворную и частную жизнь.

[3] Le Noir Жан-Шарль (1732—1807)—начальник полиции после Сартина. С 1785 г. библиотекарь короля.

[4] Знаменитый драматург. Пристрастие его к торговым спекуляциям было хорошо известно.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОНЕСЕНИЮ ОТ 24 ИЮЛЯ 1789 г.

К № 69

Париж, 13/24 июля 1789 г.

В среду чернь расправилась с г. де Фулоном, бывшим интендантом армии. Его повесили на фонарном столбе, отрубили потом ему голову, насадили ее на палку от метлы и понесли по улицам Парижа в Пале-Рояль и затем отправили ее навстречу его зятю, г. Бертье де Совиньи, интенданту Парижа, арестованному в Компьене; его везли оттуда в Ратушу под сильным конвоем из обывателей Парижа. Тело де Фулона таскали за ноги по улицам и стокам Парижа.

Г-н Бертье через полчаса после приезда был отведен в Ратушу, и его постигла та же участь, что и г. Фулона. Его сердце и внутренности были сожжены в Пале-Рояле, а остатки трупа изрублены на куски.

16-го этого месяца г. герцог Дю Шатле, командир полка Французской гвардии, подал в отставку; говорят, что третьего дня полк был распущен и что он будет соединен с буржуазной милицией и офицеры сохранят свое жалованье. Четыре роты, которые находятся в Версале и несут охрану короля, будут, однако, продолжать свою службу, и его величество позаботится о них. Ut in litteris.

И. Симолин

Есть письма из Базеля, куда приехал посланный отсюда курьер для встречи г. Неккера, в которых сообщается, что г. Неккер туда прибыл и, вне всякого сомнения, немедленно вернется в Версаль. Надо надеяться, что его возвращение в министерство умиротворит народное возбуждение

и поможет восстановить общественное спокойствие. Вчера цена хлеба весом в четыре фунта понизилась на одно су. Ut in litteris.

И. Симолин

D. R., к. 46, л. 49. Получено 4 августа.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОНЕСЕНИЮ ОТ 31 ИЮЛЯ 1789 г.

К № 71

Париж, 20/31 июля 1789 г.

Сто двадцать депутатов, избранных коммунами шестидесяти дистриктов города Парижа, собрались в субботу в Ратуше, в губернаторском зале. По желанию, выраженному голосованием всех дистриктов, мэром города вновь провозгласили г. Бальи, а г. маркиза де Лафайета—генералом Национальной милиции Парижа.

ВООРУЖЕННЫЕ ГРАЖДАНЕ ОТПРАВЛЯЮТСЯ ИЗ ПАРИЖА В ВЕРСАЛЬ 5 ОКТЯБРЯ 1789 г.
Современная гравюра неизвестного мастера
Эрмитаж, Ленинград

Оба эти представителя гражданской и военной власти принесли присягу, и гг. депутаты Коммуны поклялись от имени дистриктов повиноваться им во всем, что они прикажут для общественного блага.

Собрание затем постановило, что Временный комитет, Продовольственный комитет и Комитет докладов будут образованы из депутатов дистриктов и из избирателей, которые до сих пор управляли делами муниципалитета, что этих избирателей, патриотизму которых Коммуна многим обязана, будут просить принять участие во всех этих комитетах, пока не будет установлена муниципальная конституция.

Г-н Неккер прибыл в Версаль во вторник в десять часов вечера. На другой день утром он имел аудиенцию у короля и затем явился засвидетельствовать свою признательность Национальному собранию, и ему отвечал г. председатель. Вчера этот министр отправился в Ратушу, где он был принят с большою радостью по случаю его возвращения.

Речи, которые были при этом произнесены с той и с другой стороны, появятся, вероятно, сегодня вечером[1]. Ut in litteris.

И. Симолин

Присутствие г. Неккера в Ратуше, как говорят, привело к решению дать всеобщую амнистию. По случаю возвращения этого министра, вечером Париж был иллюминован. Ut in litteris.

И. Симолин

D. R., к. 46, л. 61. Дата получения неизвестна.

[1] Речь Неккера была послана Симолиным одновременно с донесением от 7 августа 1789 г. (см. ниже).

ДОНЕСЕНИЕ ОТ 7 АВГУСТА 1789 г.

№ 73

Париж, $\frac{\text{27 июля}}{\text{7 августа}}$ 1789 г.

Полнейшая и беспримерная анархия продолжает приводить Францию в состояние полного разрушения. Нет ни судей, ни законов, ни исполнительной власти, и о внешней политике настолько нет речи, как будто это королевство вычеркнуто из списка европейских держав. Национальное собрание, повидимому, раздирается на части враждебными друг другу кликами. Король и королева содрогаются в ожидании неисчислимых последствий революции, подобной которой не знают летописи. Король был очень опечален изменой ему четырех рот Французской гвардии, которые он сохранил за собой для несения службы в Версале, и утром, когда они ушли, камер-лакеи, лакеи и другие слуги дворца были вооружены и им была вверена охрана, пока их не сменила буржуазная милиция, которая начала с того, что сорвала приказ, вывешенный князем де Пуа[1], назначенным командующим названной милицией. Вне всякого сомнения, что недовольство полка Французской гвардии своим командиром, герцогом Дю Шатле, мелочным, ничтожным, сварливым, дало толчок этой удивительной революции и вызвало своим примером измену других отрядов, собранных для поддержания спокойствия. Ропот названного полка, требующего вознаграждения и отказавшегося войти в состав милиции дистриктов и быть под командой буржуа, начинает беспокоить обитателей столицы. Несколько сот этих гвардейцев уже потребовали отпусков, которые и были им предоставлены. Общество, кажется, убеждено в том, что если бы маршал де Бирон[2] был жив, то этот полк, который был великолепно организован, никогда не запятнал бы себя неповиновением.

Имею честь быть с почтительнейшею преданностию, милостивый государь, вашего сиятельства нижайшим и покорнейшим слугою

И. Симолин

D. R., к. 46, л. 66. Шифровано. Дата получения неизвестна.

[1] Poix Филипп-Людовик де Ноайль, князь де (1752—1819)—депутат от дворян в Генеральных штатах. Оставаясь приверженцем короля, вскоре подал в отставку.
[2] Biron Луи-Антуан де Гонто, герцог (1700—1788)—маршал Франции.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОНЕСЕНИЮ ОТ 7 АВГУСТА 1789 г.

К № 73

Париж, $\frac{\text{27 июля}}{\text{7 августа}}$ 1789 г.

Король назначил архиепископа Бордосского[1] хранителем печати и генерал-лейтенанта графа де Ла Тур дю Пен Полен[2]—государственным секретарем по военным делам. Маршал де Бово[3] объявлен государственным министром, и архиепископ Виенский[4] назначен ведать учетом бенефиций.

Несмотря на мудрые и решительные меры, принимаемые Муниципальным комитетом для восстановления порядка и тишины не только в столице, но и в окрестностях, в Сен-Дени произошло кровавое событие. Банда разбойников, не заслуживающих называться народом, недовольная мэром Сен-Дени, заподозренным в близких сношениях с злополучным интендантом Парижа, г. Бертье, погналась за этим несчастным, который спрятался на колокольне, и отрубила ему голову, насадила ее на копье, намереваясь в понедельник утром носить ее по улицам Парижа, но это безобразие было предотвращено.

ТЕРУАНЬ ДЕ МЕРИКУР
Миниатюра на кости французской школы, 1790-е гг.
Эрмитаж, Ленинград

Я беру на себя смелость присоединить сюда речь, произнесенную господином Неккером 30 июля в Ратуше[5]. *Ut in litteris.*

И. Симолин

D. R., к. 46, л. 69. Дата получения неизвестна.

[1] Champion de Cicé Жером-Мари (1735—1810)—архиепископ Бордосский.
[2] La Tour du Pin Жан-Фредерик, граф де Полен (1727—1794).
[3] Beauvau Шарль-Жюст де (1720—1793)—маршал с 1783 г.
[4] Pompignan Le Franc Жан-Жорж (1715—1790)—архиепископ Виенский.
[5] К донесению приложена речь Неккера: «Discours prononcé le 30 juillet 1789 à l'Hôtel de Ville par M. Necker, directeur général des Finances à l'Assemblée des Représentants des Districts et à l'Assemblée générale des Electeurs».

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОНЕСЕНИЮ ОТ 28 АВГУСТА 1789 г.

К № 81

Париж, 17/28 августа 1789 г.

Граф де Монморен сказал мне во время моей беседы с ним во вторник, что, по полученным им известиям, союзный трактат, которого так добивался

у Оттоманской Порты шведский король[1], наконец, заключен и что в нем имеется пункт о незаключении мира ни одной из сторон без согласия другой; что поставлен вопрос о субсидиях, но что шведскому королю очень трудно будет получить что-либо, и, во всяком случае, платежи будут производиться очень медленно.

Во вторник, в день св. Людовика, был выход у короля и прием у королевской семьи. Депутация Национального собрания была введена торжественно к королю. Двери были широко открыты, и они будут открыты и в дальнейшем для каждой депутации. Король ответил на речь председателя, что он «принимает с радостью выражения преданности Национального собрания и что оно всегда может рассчитывать на его доверие и любовь».

После процессии кавалеров ордена св. Людовика[2] и большой мессы, торжественно отслуженной, король возвратился в свой кабинет, где он принял депутацию от Парижа, в составе мэра города и нескольких членов Коммуны, Главного штаба и Муниципалитета во главе с маркизом де Лафайетом. Г-н мэр, принося присягу, сказал: «Ваше величество, здесь, в вашем присутствии, я клянусь богу уважать самому и заставить уважать других законную власть вашего величества, поддерживать и защищать священные права граждан и оказывать правый суд всем».

Больше всего удивило всех присутствие в кабинете короля г. д'Ормессона, бывшего главного контролера, в мундире Национальной гвардии и при шпаге. Герцог Орлеанский, единственный из всех принцев крови, участвовал в процессии.

Уже восемь дней, как хлеба не только недостаточно и он дурного качества, но во вторник, среду и вчера его было так мало, что я даже не мог достать его для себя. Затруднения с мукой объясняются, как говорят, недостатком воды на мельницах и безветрием. Ut in litteris.

И. Симолин

D. R., к. 46, л. 117. Первый абзац шифрован. Получено 8 сентября.

[1] Густав III.

[2] Орден давался за военные заслуги, носили его на красной ленте, и кавалеров его называли «cordons rouges» («красные ленты»).

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОНЕСЕНИЮ ОТ 18 СЕНТЯБРЯ 1789 г.

К № 91

Париж, 7/18 сентября 1789 г.

Собрание представителей Коммуны Парижа постановило нижайше умолять короля обратить внимание на продовольственное положение города Парижа и притти ему на помощь самыми решительными и надежными мерами, которые внушит ему его мудрость. Вследствие этого его величество издал 7-го числа текущего месяца постановление от имени Государственного совета, разрешающее введение, только до конца этого года, особых мероприятий, о которых ходатайствовало собрание представителей Коммуны Парижа.

Уже несколько дней, как хлеб в Париже не только очень плохого качества, но его и очень мало, что является непонятным, ввиду того, что урожай этого года один из самых обильных.

В субботу и воскресенье были волнения в Версале из-за хлеба, и одному булочнику уже накинули веревку на шею и он был бы повешен, если бы

буржуазная милиция не пришла ему на помощь. Вздорожание всех продуктов все увеличивается и становится совершенно невыносимым. Ut in litteris.

И. Симолин

D. R., к. 46, л. 154. Получено 29 сентября.

ДОНЕСЕНИЕ ОТ 9 ОКТЯБРЯ 1789 г.

№ 97

Париж, $\frac{\text{28 сентября}}{\text{9 октября}}$ 1789 г.

Милостивый государь,

Новое восстание, трагические и гибельные последствия которого неисчислимы, повергло Париж и Версаль в ужас. В понедельник утром 5-го этого месяца несколько сотен торговок, величаемых теперь «дамами рынка», рассеялись по городу и принудили итти за собою попадавшихся им навстречу женщин.

Они вооружились чем попало. Затем направились к Ратуше; несколько мужчин присоединилось к ним. Ратуша была взята силой. Они завладели оружием и запасными пушками и с триумфом их увезли.

Вооруженные солдаты шестидесяти дистриктов бросились на Гревскую площадь, но, так как они шли отдельными отрядами, им не удалось успокоить смятение.

В полдень толпа этих женщин в количестве нескольких сотен двинулась на Версаль, несколько мужчин примкнуло к ним; женщины везли с собой пушки и, пройдя некоторое расстояние, остановились на Avenue de Paris, где их встретили драгуны.

В Париже продолжалось волнение; около пяти часов вечера отряды

„ДОСТОПАМЯТНЫЙ ВЕРСАЛЬСКИЙ ДЕНЬ 5 ОКТЯБРЯ 1789 г.“

Современная лубочная гравюра

Эрмитаж, Ленинград

шестидесяти дистриктов с большим количеством вооруженных граждан, с 18 пушками, с маркизом де Лафайетом во главе, вынужденным итти с ними во избежание [насилия][1], отправились в Версаль, куда они прибыли между одиннадцатью часами и полночью. Народ заявлял, что он требует своего короля и хлеба.

Ночь прошла в сильнейшем волнении. Драгуны, фландрские и швейцарские полки выстроились под знаменами Национальной гвардии, поскольку у них совсем не было никакого желания оказывать хотя бы малейшее сопротивление. Банкет, данный на прошлой неделе гвардейцами королевской охраны офицерам Фландрского полка и версальского муниципалитета, на котором, как говорят, была оскорблена национальная кокарда, вызвал возмущение масс; вызывающий тон некоторых гвардейцев довел толпу до окончательного безумия. Женщины хотели ворваться в апартаменты королевы, против которой они, повидимому, имели злодейские намерения. Один гвардеец королевской охраны, стоявший в карауле, начал стрелять, убил и ранил нескольких женщин и одного гвардейца из буржуазной гвардии. Этому гвардейцу и еще одному отрубили головы, насадили их на пики и отправили в Париж. Я их встретил на полдороге от Версаля; пять других гвардейцев охраны сделались жертвами народной ярости и были бы также убиты, если бы сам король не попросил пощадить их. В четыре часа утра с понедельника на вторник толпа этих бешеных женщин, среди которых, как говорят, были переодетые мужчины, взломала ударами топора несколько дверей со стороны оранжереи, чтобы проникнуть в комнату королевы, где она почивала; ее величеству пришлось поспешно спасаться, почти в одной сорочке, в комнату короля.

Причинами этого восстания были нужда в хлебе в Париже, которая, действительно, очень велика, и распространение слуха о задуманном аристократической партией похищении короля и намерении препроводить его в Мец. В результате, чтобы успокоить это волнение, король вынужден был согласиться покинуть Версаль со всей королевской семьей и переселиться в Париж, в Тюильри.

Во вторник в час пополудни король сел в карету вместе с королевой, его высочеством дофином, ее высочеством дочерью, с Monsieur[2], Madame[3] и с принцессой Елизаветой[4] и направился в столицу в сопровождении многих других карет, всей парижской милиции, ста швейцарцев, Фландрского полка, драгун и артиллерии, привезенной из Парижа. Весь этот кортеж прибыл в столицу лишь между семью и восемью часами. Только карета, в которой ехал король со своей семьей, сопровождаемая по обе стороны солдатами, гражданами и вооруженными женщинами, была направлена в Ратушу, куда их величества и вошли. Мэр, испросив разрешения короля, сказал, что его величество при въезде в Париж обратился к нему со следующими словами: «Всегда с удовольствием и с доверием нахожусь я среди жителей моего доброго города Парижа». Но, повторяя речь короля, г. мэр забыл слова «и с доверием», о которых ему король тотчас же напомнил. Г-н мэр, поправившись, сказал: «Милостивые государи, теперь вы более осчастливлены, чем если бы я сам вам это сказал». Радостные крики и аплодисменты удвоились после этой речи. Герцог де Лианкур[5] объявил затем, с согласия короля, что Национальное собрание постановило во вторник утром, что оно рассматривает себя неотделимым от особы его величества и перенесет, следовательно, свои заседания в Париж. Их

величества отправились в Тюильри в десять с половиной часов. Для короля не было приготовлено апартаментов, и он занимает комнаты королевы, которая спит на антресолях. Для его высочества дофина, для ее высочества дочери короля и принцессы Елизаветы заняли помещения частных лиц, Monsieur и Madame помещены в Люксанбурском дворце.

Папский нунций встретил в Севре процессию с отрубленными головами, его карета была остановлена. Он почувствовал себя дурно и вернулся обратно. Эта же процессия пропустила меня, не остановив и не сказав ни одного слова.

Если мне попадется подробное и беспристрастное описание этого восстания, я не премину послать его вашему сиятельству; сегодня я ограничиваюсь докладом, основанным на слухах, которые очень противоречивы.

После этого похода на Версаль, после того, как короля перевезли в Париж, словно пленника, от которого его положение почти не отличается, можно было бы предположить, что возбуждение успокоится, но, когда я был вчера на утреннем приеме короля, я узнал, что толпа народа осадила ломбард (Mont de Piété), полагая, что королева обещала выкупить все заклады, не превышающие по своей стоимости луидора, что оказалось выдумкой. Ратуша отдала приказ трем батальонам Национальной милиции охранять этот неприкосновенный склад ценностей, который мог стать добычею черни. К вечеру, говорят, ломбард был в безопасности и народ рассеян.

Имею честь быть с почтительнейшею преданностию, милостивый государь, вашего сиятельства нижайшим и покорнейшим слугой

И. Симолин

D. R., к. 46, л. 206. Получено 20 октября.

[1] Пропуск в подлиннике, восстанавливаем предположительно.

[2] «Monsieur»—титул старшего из братьев французского короля; в данное время принадлежал графу Прованскому (1755—1824), впоследствии королю Людовику XVIII.

[3] «Madame»—титул жены старшего из братьев короля.

[4] Madame Elisabeth (1764—1794)—сестра Людовика XVI.

[5] La Rochefoucauld-Liancour Франсуа-Александр, герцог де (1747—1827)—придворный Людовика XVI. Депутат от дворян в Генеральные штаты.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОНЕСЕНИЮ ОТ 16 ОКТЯБРЯ 1789 г.

К № 101

Париж, 5/16 октября 1789 г.

Просьбы членов Собрания о выдаче им паспортов по мотивам состояния здоровья или устройства личных дел умножаются со дня на день. Это наблюдается особенно теперь, в момент, когда духовные лица переживают треволнения и опасения и, во избежание оскорблений, свистков и даже нападений, вынуждены скрываться, переодеваться и закрывать тонзуру париком. Повидимому, люди этого сословия подвергнутся преследованию. Один священник-патриот заявляет в опубликованном им письме, что он слышал, как из толпы был произнесен кровавый приговор: «Задержать этого скуфейника! Повесить всех этих негодяев! На фонарь!..».

Посмотрим, примирится ли народ с этим сословием после предложения епископа Отёнского[1] продать церковные земли в пользу нации. В понедельник предложили декретировать два основных положения этого проекта: 1) «Церковные земли принадлежат нации, которая позаботится о судьбе священников». 2) «Каждый священник получит, по крайней мере, 1200 ливров и жилище». Обсуждение этих двух статей отложено до другого дня.

На этом же заседании в понедельник г. де Мирабо потребовал, чтобы ему отвели день для ответа на письмо г. де Сен-Приста[2], чтобы исчерпать это дело до конца. Письмо это я приложил к моей депеше в прошлый понедельник. Пока нет таких ужасов, которых не позволяли бы себе печатать и распространять об этом министре-патриоте, чтобы очернить его и уронить в общественном мнении.

Беру на себя смелость приложить к сему два обращения короля к народу от 9-го этого месяца; одно из них касается ломбарда Mont de Piété и акта благотворительности короля, распорядившегося безвозмездно возвратить белье и зимнюю одежду, взятые в залог по ссудам, не превышающим 24 ливров.

В другом обращении к жителям провинции разъясняются обстоятельства, которые заставили его величество перенести свою резиденцию в Париж, и объявляется его намерение посетить без всякой пышности свои провинции, когда Национальное собрание закончит свой великий труд по восстановлению общественного благополучия[3]. Ut in litteris.

И. Симолин

D. R., к. 47, л. 17. Дата получения неизвестна.

[1] Известный дипломат и делец Талейран-Перигор (Talleyrand-Périgord) Шарль-Морис (1754—1838). В качестве епископа Отёнского был депутатом в Национальном собрании и 10 октября 1789 г. провел декрет о продаже нации рент и земельных фондов духовенства, обеспечив последнему сто миллионов дохода. Эта операция по своему финансовому размаху и социальному значению является одним из крупнейших законодательных актов революции.

[2] Мирабо выступил с обвинением против Сен-Приста, сказавшего, якобы, в Версале в дни 5—6 октября женщинам, требовавшим хлеба: «Вы не нуждались в нем, когда у вас был только один король, идите и просите хлеба у ваших тысячи двухсот властителей» («Vous n'en manquiez pas, quand vous n'aviez qu'un roi; allez en demander à vos douze cents souverains»). В своем письме Следственному комитету Национального собрания Сен-Прист утверждал, что он не произносил этих слов, и просил расследовать это дело. Копия этого письма приложена к депеше Симолина от 12 октября 1789 г.

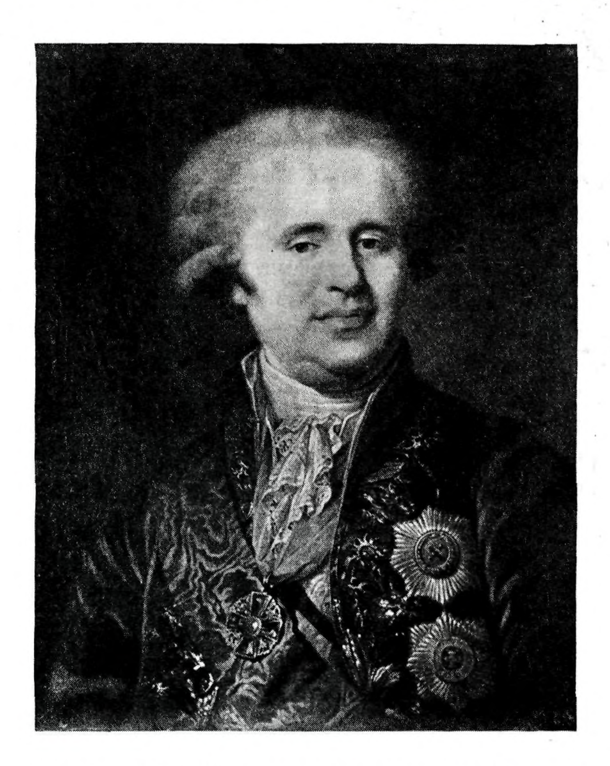
[3] К донесению приложены: «Proclamation du Roi, concernant le Mont de Piété. Du 9 octobre 1789»; «Proclamation du Roi. Du 9 octobre 1789».

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОНЕСЕНИЮ ОТ 27 ОКТЯБРЯ 1789 г.

К № 106

Париж, 16/27 октября 1789 г.

Г-н де Мирабо сказал в среду, когда Коммуна Парижа и генерал, командующий Национальной милицией, торопили с введением военного положения, что неразумно и недостойно Собрания в такой бурный момент вместо необходимых мер лечения принимать меры, продиктованные вспышкой самолюбия. Если говорят о необходимости военного положения и о создании трибунала, который уменьшит подозрение, сгладит обиды народа, то эти соображения важны, но они не являются основными. Все должно склониться перед народом, который голоден. Создание трибунала не является первым в ряду предстоящих мероприятий; Мирабо знает только одно, а именно: потребовать ответа от исполнительной власти, какие меры приняты к облегчению продовольственного положения, дать этой власти средства и сделать ее тотчас же ответственной. Это коварное предложение делает этого современного Катилину властителем над министрами и их головами даже при изобилии продуктов. Все министры подали в субботу Национальному собранию коллективно подписанное заявление,



А. А. БЕЗБОРОДКО
Портрет маслом Лампи-отца
Русский музей, Ленинград

в котором они говорят, что при настоящих обстоятельствах нужно больше добродетели и мужества для того, чтобы оставаться на посту министра, чем отказаться от него, потому они предлагают уступить свои места лицам более способным, а самим уйти в отставку.

Нужно признать, что г. де Мирабо не скрывает своего намерения войти ценой любых средств в состав министерства и заменить г. Неккера или г. графа де Сен-Приста. Ut in litteris.

И. Симолин

D. R., к. 47, л. 51. Получено 18 ноября.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОНЕСЕНИЮ ОТ 6 НОЯБРЯ 1789 г.

К № 110

Париж, 26 октября / 6 ноября 1789 г.

Недостаток муки начинает снова чувствоваться в Париже. Во вторник и среду была давка у дверей булочных, хотя они делали семь выпечек вместо пяти, как обычно, и вчера я не имел хлеба ни для себя, ни для своих домашних. Ut in litteris.

И. Симолин

D. R., к. 47, л. 79. Получено 18 ноября.

ДОНЕСЕНИЕ ОТ 18 НОЯБРЯ 1789 г.

№ 114

Париж, 7/18 ноября 1789 г.

Милостивый государь,

В моем нижайшем рапорте за № 101 от 5/16 прошедшего месяца я имел честь донести вашему сиятельству, что, по предложению Следственного комитета, Национальное собрание постановило, что впредь не может быть

ни для кого привилегированного положения. Ввиду того, что этот декрет не предусматривает никакого исключения из общего правила, дипломатический корпус почел себя вынужденным, чтобы избежать в будущем неверных толкований, которые могут возникнуть и скомпрометировать его достоинство, представить графу де Монморену ноту, копию которой беру на себя смелость приложить к сему вместе со статьей «Journal de Paris»[1], заключающей в себе вышеупомянутый декрет. Дипломатический корпус желает иметь определенную декларацию, чтобы быть спокойным в отношении полного сохранения за собою прав, которыми пользуются при всех дворах Европы посланники Франции.

Я не премину послать также вашему сиятельству ответ графа де Монморена, который он будет уполномочен дать дипломатическому корпусу. Я всегда придерживался мнения, что Национальное собрание отнюдь не могло иметь намерения нарушить международное право и посягнуть на привилегии и иммунитет, которыми пользуются во всех государствах мира представители государей.

Имею честь быть с почтительнейшею преданностию, милостивый государь, вашего сиятельства нижайшим и покорнейшим слугою

И. Симолин

D. R., к. 47, л. 97. Получено 5 декабря.

[1] К донесению приложена рукописная копия ноты дипломатического корпуса Монморену—«Notes». Упоминаемый Симолиным «Journal de Paris» отсутствует.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОНЕСЕНИЮ ОТ 18 НОЯБРЯ 1789 г.

К № 115

Париж, 7/18 ноября 1789 г.

Я только-что узнал от одного депутата Национального собрания, члена Следственного комитета, что получено несколько писем из Англии и провинций, предупреждающих Национальное собрание о том, что к 25-му текущего месяца готовится новое восстание, которое повергнет столицу и королевство в самые ужасные волнения и вызовет прискорбные последствия. Только одно из этих писем позволяет предугадать, что цель восстания—похищение короля.

Эти письма были сообщены г. Неккеру и маркизу де Лафайету, чтобы они могли принять необходимые меры для предотвращения этого или подобных проектов. Большая часть депутатов считает, что эти письма написаны в Париже заговорщиками, чтобы побудить город к большему ограничению короля и тем дать больше поводов провинциям считать его величество пленником в столице. Ut in litteris.

И. Симолин

D. R., к. 47, л. 99. Получено 5 декабря.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОНЕСЕНИЮ ОТ 7 ДЕКАБРЯ 1789 г.

К № 121

Париж, $\frac{\text{26 ноября}}{\text{7 декабря}}$ 1789 г.

Сегодня при дворе объявлен траур на два месяца по случаю смерти эрцгерцогини Марии-Анны Австрийской, сестры королевы, скончавшейся в Клагенфурте.

Вчера через курьера, отправленного из Тулона, стало известно, что муниципалитет этого города арестовал коменданта г. д'Альбера де Риона, в чине генерал-лейтенанта, помощника коменданта, майора

и одного или двух командиров кораблей и распорядился бросить их в тюрьмы города за то, как говорят, что ими было уволено несколько негодяев из числа рабочих арсенала. Ожидают, что сегодня утром будет доклад в Собрании об этом событии, которое возмущает всех честных людей. Ut in litteris.

И. Симолин

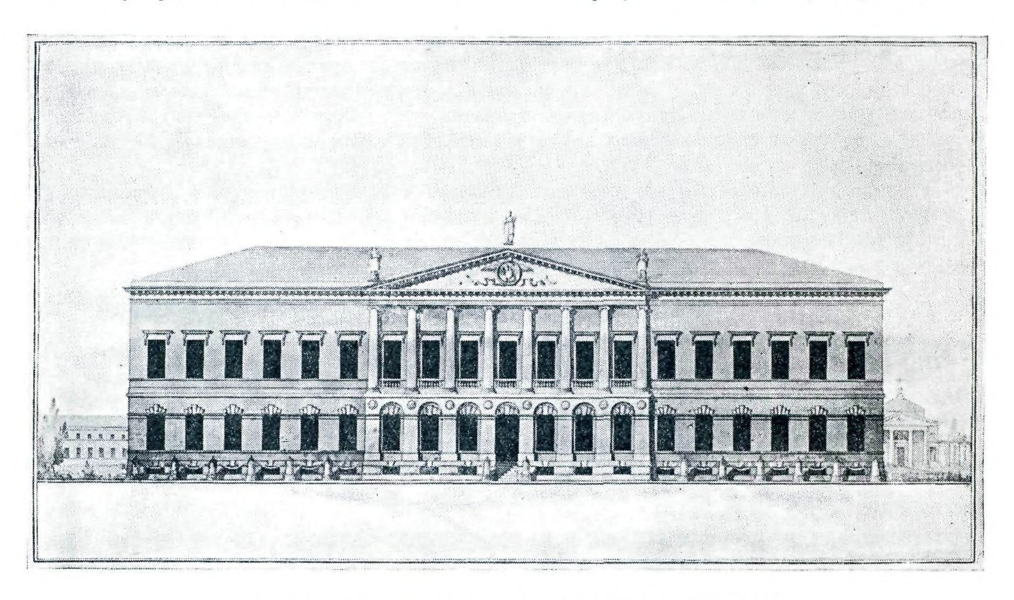
D. R., к. 47, л. 154. Получено 20 декабря.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОНЕСЕНИЮ ОТ 28 ДЕКАБРЯ 1789 г.

К № 129

Париж, 17/28 декабря 1789 г.

Monsieur, брат короля, отправился в субботу в шесть часов вечера в Ратушу, чтобы объясниться по поводу усиленно распространяемой



ЗДАНИЕ КОЛЛЕГИИ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ В ПЕТЕРБУРГЕ
Рисунок (проект) Дж. Гваренги
Музей города, Ленинград

листовки, в которой говорится о его тесной связи с г. де Фаврасом[1], арестованным в ночь с четверга на пятницу вместе с несколькими другими лицами и обвиняемым в заговоре против г. де Лафайета и г. Байи, мэра города. Речь его высочества в Коммуне напечатана, и я беру на себя смелость приложить ее при сем[2]. Есть люди, считающие, что этот заговор такого же рода, как тот, который, как говорят, замышлялся в свое время против города Парижа и существование которого до сих пор ничем не доказано. Допросы г. де Безанваля послужили только для того, чтобы уничтожить басню об этом заговоре.

Граф Роже Дамà[3], полковник нашей службы, прибыл в Париж прямо из Бендер. Он мне привез письмо от главнокомандующего, князя Потемкина-Таврического, с сообщением о том, что под командованием его [Потемкина] им совершены два похода и что он удостоен чина полковника и креста св. Георгия за свои заслуги и доблесть, проявленную на службе ее императорского величества. Граф де Монморен сказал мне вчера в Тюильри, что он ходатайствовал у короля о разрешении носить

графу Дама̀ этот знак отличия в награду за его заслуги и что его величество дал свое согласие на это. Этот офицер—настоящий русский и отдает должное нашим войскам и их командирам.

Он мне сказал, что рассчитывает вернуться в армию, если война продолжится, что кажется маловероятным.

Г-н Павел Нарышкин[4], прибыв в Париж со своим спутником, г. капитаном де Рошрёйлем, передал мне письмо, которое вы, ваше сиятельство, соблаговолили им вручить 24 июля 1785 [?] г. Я сделаю все зависящее от меня, чтобы оказать им в этой стране услуги, которые им будут приятны. Они приезжают как раз в такое время, которое не может считаться особенно благоприятным для пребывания в Париже. Ut in litteris.

И. Симолин

D. R., к. 47, л. 197. Получено 20 января.

[1] Favras Тома-Маи, маркиз де (1744—1790)—лейтенант Швейцарской гвардии графа Прованского (1772—1776) и его агент; пытался организовать особую армию роялистов, которая должна была осуществить контрреволюционные замыслы, между прочим, увезти короля и его семью из Франции. Был казнен (повешен) на Гревской площади, не выдав своих высоких соучастников. См. о нем ниже, приложение к донесению № 16 от 22 февраля 1790 г.

[2] К донесению приложен «Discours de Monsieur à la Commune» на 4 страницах.

[3] Damas Роже, граф де (1765—1823)—находился во время второй турецкой войны Екатерины II на русской службе. Отличился при взятии Очакова и осаде Измаила.

[4] Нарышкин Павел Петрович (1768—1841)—камергер двора.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОНЕСЕНИЮ ОТ 11 ЯНВАРЯ 1790 г.

К № 133

Париж, 31 декабря 1789 г. / 11 января 1790 г.

Государственный министр[1] маршал де Бово подал в отставку.

В среду и четверг были народные волнения в Версале. Толпа народа, бросившись в муниципалитет, потребовала с ужасающими угрозами снижения цены на хлеб с трех до двух су за фунт. Чтобы предупредить переход от угроз к непосредственному действию, муниципалитет постановил удовлетворить требование по отношению к тем, бедность которых удостоверена; они будут предъявлять булочникам записки, по которым муниципалитетом будет возмещаться разница. Из Парижа посланы войска для подкрепления буржуазной гвардии Версаля и Фландрского полка, который там расквартирован.

Обвинения, предъявленные некоему г. де Фаврасу, недавно арестованному, до того нелепы и чудовищны, что при первом ознакомлении нельзя не отметить, что план заговора является произведением совершенного безумца или же сплетением нарочно выдуманной лжи, чтобы держать нацию в бреду замышляемых заговоров против Национального собрания и конституции, созданием которой оно занято.

Прежде всего, проект образовать армию в сто сорок четыре тысячи человек на границе Фландрии из немецких войск, из войск округа, нескольких французских полков, которых надеются привлечь, из всех солдат, изменников и недовольных лишен всякого вероятия, особенно при таком организаторе, каким является вышеупомянутый Фаврас. Похищение короля и королевской семьи, для осуществления чего собирались вселить ужас в душу этого монарха и уверить его, что предместья Сент-Антуан и Сен-Марсо восстали и посягают на его священную голову и что ему необходимо тотчас же уехать для блага и спасения государства, является, повидимому, также проектом, выполнение которого кажется невозможным.

Между тем, ведется следствие об этом заговорщике, и вскоре будут известны правда и ложь об этом заговоре, за который виновник его, без сомнения, заплатит своей головой.

Король оказал милость графу Роже Дама́, полковнику службы императрицы, произведя его в полковники и во Франции, что является очень большим преимуществом для него, поскольку проектируемая новая организация армии отодвинула бы его производство, по крайней мере, на пятнадцать лет. Ut in litteris.

И. Симолин

D. R., к. 48, л. 4. Получено 26 января.

[1] Государственный министр—министр без портфеля, в отличие от королевского министра (ministre de la Maison du Roi) и от министров, управлявших определенными департаментами.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОНЕСЕНИЮ ОТ 15 ЯНВАРЯ 1790 г.

К № 1

Париж, 4/15 января 1790 г.

Среди множества свидетельских показаний не было еще ни одного, которое обвинило бы барона де Безанваля, бывшего генерал-лейтенанта и подполковника полка Швейцарской гвардии. В понедельник вечером было вызвано несколько свидетелей, которые должны были дать свои показания.

В четыре с половиной часа народ бросился к Шатле[1]. Толпа увеличивалась с каждой минутой, время от времени раздавались мятежные возгласы, и заметно было намерение напасть на охрану.

Когда залы заседания суда заполнились, было дано строжайшее распоряжение никого не пропускать, чтобы не загромождать проходов. Народ с трудом поддавался убеждениям в том, что помещение, действительно, так полно, как уверяли, и сделал новые попытки проникнуть внутрь;

И. А. ОСТЕРМАН

Портрет маслом неизвестного художника, конец XVIII в.

Русский музей, Ленинград

послышались требования голов г. де Безанваля и г. Фавраса; в конце концов, стали опасаться вторжения толпы. Один из докладчиков, прибывший около пяти часов, доложил суду, что некоторые формальности, упущенные при вызовах в суд, заставляют отложить заседание. Что касается происходившего снаружи, то там дело не прошло так мирно: когда несколько голосов потребовало голов г. де Безанваля и г. де Фавраса, тысячи присоединились к ним, предъявляя то же требование, сопровождая его мятежными возгласами; один из самых ярых бунтовщиков был арестован.

В понедельник вечером ожидали восстания, и многочисленная охрана бодрствовала всю ночь. Опасения увеличились к утру, и были даны распоряжения держать под ружьем всех гренадеров; около пяти часов застучали молотки во все двери. Толпа бросилась также к Шатле, но была удержана на расстоянии направленными со всех сторон пушками, заряженными на случай серьезного восстания.

Во вторник после полудня большое количество состоящих на жалованье национальных гвардейцев отправилось в Елисейские поля с совсем не мирными намерениями, и каждую минуту число их увеличивалось; это скопище представляло собою большую опасность.

Гренадеры, стрелки и кавалерия окружили их. Не оставалось ни малейшего сомнения в их дурных намерениях, судя по тому, что они пытались обратиться в бегство. Некоторые даже пробовали ускользнуть, бросаясь в реку. Они были арестованы в количестве двухсот десяти и сразу подвергнуты первоначальному дисциплинарному взысканию; им было предложено снять обмундирование, и они тотчас же были отведены под надежным конвоем, по всей вероятности, под арест в Сен-Дени.

Поводом к этому восстанию послужили требование о повышении оклада жалованья и недовольство некоторыми условиями службы, о чем они собирались заявить. В назначенный день они решили отправиться вооруженными в Елисейские поля, а оттуда двинуться к Ратуше, в полной уверенности, что, ввиду общего брожения умов, народ присоединится к ним.

Вчера и третьего дня в Париже царило полнейшее спокойствие.

Допрос г. де Фавраса продолжается. Повидимому, до сих пор в Шатле не сделано никаких открытий в связи с этим мнимым заговором. Ut in litteris.

И. Симолин

D. R., к. 47, л. 215. Получено 26 января.

[1] Название двух старинных крепостей Парижа. Одна находилась на правом берегу Сены, в западной части современной площади du Châtelet, в ней помещался уголовный суд (снесена в 1802 г.); другая, на левом берегу Сены, служила тюрьмой.

ДОНЕСЕНИЕ ОТ 28 ЯНВАРЯ 1790 г.

№ 6

Париж, 17/28 января 1790 г.

Милостивый государь,

Вследствие письма, которое ваше сиятельство соблаговолили мне написать 11-го прошлого месяца[1], в котором сообщалось о вашем желании получать наиболее интересные статьи и брошюры, которые настоящие обстоятельства во Франции ежедневно порождают, я с особенною заботливостью буду посылать вам с каждым представившимся случаем статьи и брошюры, произведшие наиболее сильное впечатление, имеющие отно-

шение к финансам и стоящие на стороне или против демократов. Количество этих произведений огромно, и более трех четвертей из них не заслуживает никакого внимания. Сообщения «Journal Politique National»[2] о революции во Франции, бесспорно, наиболее интересны, умеренны и правдивы, поэтому ни один типограф, книгопродавец и разносчик не захотели взять на себя труд печатать это издание, принимать на него подписку и разносить его. Издатель его, аббат Сабатье де Кастр[3], вынужден был переселиться в Брюссель, и затруднения, которые встретились при выпуске этой газеты, очень замедлили ее получение[4]. Она так интересна, что я спешу вложить ее в первую посылку, которую я направляю через курьера графа де Мерси. Я разделяю эту посылку на четыре пакета под №№ 1, 2, 3 и 4 и адресую их князю Голицыну[5], с просьбой отправить дальше указанным ему способом.

Курьеры графа де Мерси стали приезжать реже, чем прежде, и вот уже более года, как они прибывают раз в три-четыре месяца. Каждый раз, как они будут приезжать, ваше сиятельство будете получать пакеты с продолжением вышеназванного «Journal Politique» и «Actes des Apôtres»[6]. Эти издания занимаются критикой главных демократов; среди вышедших номеров попадаются как слабые, так и более язвительные, которые удачно злословят. Я буду также пересылать вам печатные произведения, имеющие отношение к финансам, кроме произведений г. Неккера, отправлявшихся уже мною по мере их появления, так же как и печатные известия о подробностях взятия Бастилии, которые одни составляют очень большой пакет.

Во многих памфлетах поносят королеву, и исторический очерк, посвященный ее жизни, написанный восемь лет тому назад и появившийся в печати только в начале теперешней революции, является скоплением гадостей, клеветы и лжи таких отвратительных, что я не решаюсь вам его послать. Что касается до графа д'Артуа[7], то сначала появилась только его исповедь, также полная непристойностей и лжи, как и очерк жизни Марии-Антуанетты. Я посылаю вашему сиятельству в этой первой посылке жизнеописание герцога Орлеанского и «Новые филиппики, или Te Deum[8] французов», которые не расточают похвал этому принцу, как и брошюра «Domine salvum fac regem»[9] и продолжение ее, «Pange lingua»[10].

Министры и должностные лица не являются личностями, привлекающими внимание писателей. Их открыто называют глупцами и невеждами, но ничего не печатают на их счет.

Что же касается депутатов, которые играют роль в Национальном собрании, то ваше сиятельство найдете всюду довольно меткие характеристики, особенно в «Галлерее Генеральных штатов», которую я вам отправлю с другой оказией. Заслуживает быть отмеченным, что только демократы играют роль в Национальном собрании.

Двенадцать или пятнадцать человек из этих бешеных ведут за собой во всех вопросах большинство Собрания при помощи различных ухищрений и происков, в которых их наставляют и руководят два женевца, изгнанные из своего отечества[11].

Среди так называемых аристократов только один аббат Мори[12] проявляет мужество, твердость и энергию.

Имею честь быть с почтительнейшею преданностию, милостивый государь, вашего сиятельства нижайшим и покорнейшим слугою

И. Симолин

D. R., к. 48, л. 32. Последние пять абзацев шифрованы. Получено 16 февраля.

[1] В депеше Остермана от 11 декабря 1789 г. Симолину предложено было присылать все вновь выходящие брошюры, особенно содержащие сведения о парижском дворе, министрах и выдающихся депутатах (см. «Dépêches-expédition» за 1789 г.).

[2] Орган клерикально-монархического и аристократического направления, в котором роялисты особенно ценили составлявшиеся до октября 1789 г. Риваролем политико-сатирические обозрения. Симолиным были высланы 24 номера «первого абонемента» и 8 номеров «второго абонемента» этого издания.

[3] Sabatier de Castres Антуан (1742—1817)—аббат, писатель. В начале своей литературной деятельности был последователем французских энциклопедистов, но затем перешел в лагерь их противников, нападал на Гельвеция, Вольтера. Пользовался покровительством и подачками французского двора.

[4] Издание было перенесено в Камбрэ: «Journal Politique National, publié par M. Salmon à Cambrai, 3-me abonnement». №№ 1—8 этого «третьего абонемента» приложены к донесениям от 24 мая, 2 июля, 16 июля, 20 октября, 26 ноября 1790 г. и 24 января 1791 г.

[5] Голицын Дмитрий Михайлович, князь (1721—1793)—русский посол в Вене с 1761 г. Список изданий, которые были посланы кн. Голицыну, озаглавленный «Pièces renfermées dans les paquets», приложен к донесению.

[6] «Деяния апостолов»—контрреволюционное сатирическое издание. Основано Риваролем и Пельтье. Вначале в нем сотрудничали представители крайне правого и правого монархического крыла Национального собрания—виконт Мирабо, Лалли-Толландаль, Мунье, Клермон-Тоннер. Выходило с 2 ноября 1789 г. три раза в неделю in 8°, не раз прерываясь, например, в октябре 1791 г. Первые 27 номеров были высланы Симолиным в Петербург.

[7] Граф д'Артуа (1757—1836)—младший из братьев Людовика XVI, впоследствии король Франции Карл X (1824—1830). Глава эмигрантов, сосредоточившихся в Кобленце и организовывавших интервенцию.

[8] «Тебе бога хвалим» («Te Deum laudamus») — начальные слова церковного песнопения.

[9] «Господи, спаси короля» — слова из молитвы, символизирующие преданность монархии. После принятия Людовиком XVI конституции национальные гвардейцы начали носить кольца с этой надписью.

[10] «Прилпни язык мой к гортани моей»—слова из псалма «На реках Вавилонских», имеющие здесь смысл «помни всегда о короле».

[11] Речь идет, несомненно, о конституционно-демократической группировке за пределами Собрания, «Société des Trente», в состав которой входили Лафайет, Кондорсе, герцоги де Люин и де Ларошфуко и др., депутаты Мирабо, Талейран, Фрето, Клавьер, а также два швейцарца—крупный финансист Паншо (Panchaud) и банкир-«идеолог» Швейцер (Schweizer). Ими велась энергичная борьба против Неккера, мероприятиям которого противопоставлялся смелый план финансовых реформ Клавьера и Паншо, проводивших под флагом «национальных» интересов защиту интересов одного из крупных объединений банкирских домов. К этой группе примыкала другая, так называемая «Faction américaine», где видную роль играл депутат Дюпор.

[12] Maury Жан-Сиффрен, аббат (1746—1817)—один из вождей крайних роялистов в Национальном собрании, представитель интересов духовенства и аристократии. Крупный оратор, выступавший против Мирабо и др.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОНЕСЕНИЮ ОТ 28 ЯНВАРЯ 1790 г.

К № 7

Париж, 17/28 января 1790 г.

Брожение в провинции возобновляется с бóльшей силой, чем когда-либо. Никто, кажется, не сомневается в том, что очаг этих волнений в самом Национальном собрании, которое их разжигает возбуждающими сообщениями. По известиям из Бретани, о которых я узнал от графа де Тиара, командующего войсками этой провинции, в окрестностях Ренна, главным образом, в районе Плоэрмеля, толпы крестьян бродят по деревням и уже разграбили и сожгли девять замков.

В Сент-Этьенне, в Дофине, крестьяне также собирались толпами, намереваясь убивать священников и дворян, грабить и жечь замки и имущество последних. Только благодаря конно-полицейскому отряду, рассеявшему их, эти отвратительные намерения не были осуществлены.

ТАЛЕЙРАН В БЫТНОСТЬ ДЕПУТАТОМ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
Современная гравюра неизвестного мастера
Эрмитаж, Ленинград

Так как вся нация вооружена, трудно, если даже не невозможно, заставить ее платить налоги. Поэтому отовсюду сообщают, что никаких сборов налогов не производится, и это должно само собой привести к банкротству, которое бешеные Национального собрания, кажется, и имеют в виду, чтобы нанести смертельный удар королевству, которое они ухитрились разорить сильнее, чем это могла бы сделать самая длительная и самая опустошительная война. Это прекрасное королевство уничтожено адвокатами и приходскими священниками, которые господствуют в Национальном собрании, конца которому в ближайшее время не предвидится, если только какое-нибудь неожиданное политическое движение не положит ему предел. Ut in litteris.

И. Симолин

D. R., к. 48, л. 42. Дата получения неизвестна.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОНЕСЕНИЮ ОТ 12 ФЕВРАЛЯ 1790 г.

К № 13

Париж, 1/12 февраля 1790 г.

Декрет Национального собрания в пользу евреев возбудил нечто вроде восстания в Бордо, где несколько молодых людей позволили себе оскорблять лиц этой национальности. Они хотели выгнать их из театра Комедии и запретить им на другой день вход на биржу. Это брожение скоро было успокоено, и для города Бордо это намерение преследовать евреев послужило поводом выразить им уважение.

Два брата по имени Агасс, принадлежавшие к очень почтенным парижским жителям, были приговорены за подлог к повешению. В понедельник совершилась их казнь на Гревской площади; тела их были сняты и перенесены к их двоюродному брату, причем впереди процессии и за нею шел

отряд волонтеров с непокрытой головой и при оружии, а также их брат и два или три других родственника. На другой же день, когда состоялись в церкви их прихода похороны, на которые семья раздавала пригласительные билеты, собралось 100 000 человек. Погребение Тюренна[1] или маршала де Сакс[2] не могло бы привлечь больше народа. Батальоны нескольких дистриктов стояли на карауле. Три портала церкви были задрапированы, и всей этой церемонии придали большую пышность, с целью нанести первый удар предрассудку, в силу которого позор ложился на всю семью за преступление одного из ее членов.

Коммуна Парижа предложила королю и королеве отправиться в Сен-Клу, чтобы некоторое время подышать там свежим воздухом, оставив его высочество дофина в Париже, но их величества не сочли для себя уместным принять это предложение.

Это г. Неккер убедил короля отправиться в Национальное собрание и возглавить собой революцию. Это он составил речь его величества. Он было вставил в нее слова, что король отправился туда свободно, но уверяют, что его величество вычеркнул эту фразу из своей речи. Ut in litteris.

И. Симолин

D. R., к. 48, л. 71. Последний абзац донесения шифрован. Получено 24 февраля.

[1] Turenne Генрих де ла Тур д'Овернь, виконт де (1611—1675) — маршал, крупнейший французский полководец XVII в.

[2] Maréchal de Saxe Морис, граф (1696—1750) — один из замечательных полководцев своего времени.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОНЕСЕНИЮ ОТ 22 ФЕВРАЛЯ 1790 г.

К № 16

Париж, 11/22 февраля 1790 г.

Окончательный приговор, вынесенный по делу Фавраса в четверг 18-го в 11 с половиной вечера, заслуживает ознакомления с ним ввиду особенности обвинения, и я беру на себя смелость приложить его[1].

На следующий день около трех часов его вывели из Шатле, чтобы вести на казнь. Прибыв на Гревскую площадь, он попросил разрешения войти в Ратушу, где он оставался так долго, что был казнен только около восьми часов. Он взошел спокойным и твердым шагом на помост, смотря с тем же хладнокровием на народ. «Тише, граждане,—сказал он.—Граждане, я совершенно невиновен, я умираю невинным. Палач, выполни свою обязанность».

Многие считают его невинной жертвой, принесенной в угоду ярости народа и, быть может, для личной безопасности судей Шатле.

Доносчики, которые разделили 24 000 ливров награды, обещанной Коммуной Парижа за обнаружение преступлений против нации, были единственными свидетелями, дававшими показания против этого несчастного; они были допущены в качестве свидетелей, несмотря на возражения подсудимого и вопреки закону, только-что декретированному Национальным собранием, о том, что доносчики не могут давать показаний, как свидетели. Это—вопиющее нарушение закона, и оно говорит в пользу жертвы.

В первые дни прошедшей недели прибыл к шведскому послу[2] курьер, направлявшийся в Константинополь, но который был отправлен этим послом в Лондон. Мне кажется, что граф де Монморен не знает о цели отправки этого курьера.

Курьер маркиза де Ноайль[3] привез вчера утром печальную новость, что его величество императора причащали и что он очень плох; вечером у королевы не было игры в карты. На утреннем приеме она казалась очень опечаленной, и ее глаза были полны слез. Здесь готовятся к грустному известию о смерти этого монарха. Ut in litteris.

И. Симолин

D. R., к. 48, л. 91. Получено 7 марта.

[1] К донесению приложены: 1) «Jugement en dernier ressort rendu publiquement à l'audience du parc civil du Châtelet de Paris la compagnie assemblée qui condamne Thomas de Mahi de Favras...». 2) Extrait des Registres de la Chambre du conseil du Châtelet de Paris...

[2] Шведским послом в Париже был в это время Сталь-Гольштейн (Staël-Holstein) Эрик-Магнус, барон де (1749—1802), женатый на дочери Неккера, известной писательнице M-me de Сталь. В июле 1791 г. через его посредство Густав III предлагал свои услуги Марии-Антуанетте для спасения королевской семьи, но та отвергла их, так как не доверяла «салону» M-me de Сталь.

[3] Noailles Эманюэль-Мари, маркиз де (1743—1822)—французский посол при венском дворе с 1783 по 1792 гг.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОНЕСЕНИЮ ОТ 26 МАРТА 1790 г.

К № 26

Париж, 15/26 марта 1790 г.

Граф де Монморен получил сведения из Вены через маркиза де Ноайль, что союзный трактат между Оттоманской Портой и прусским королем подписан 2 февраля, что срок его ратификации установлен в пять месяцев со дня его подписания, что создает еще бóльшую вероятность мирных переговоров. Французское министерство очень желает, чтобы они состоялись за этот промежуток времени и чтобы мир был заключен без чьего-либо посредничества[1].

Национальное собрание поставило своей главной задачей травлю настоящего министерства, чтобы донять министров и принудить их выйти в отставку, заменив их преданными ему ставленниками. Несколько дней тому назад с господином хранителем печати обошлись очень дурно и упрекали его за то, что он в записке или письме к председателю Собрания употребил выражение «неоднократные просьбы Собрания к королю», что является, по мнению Собрания, неприличным и непочтительным по отношению к законодательной власти, которая не заявляет никаких просьб, а приказывает исполнительной власти.

Каких только сумасбродств и безумств нет в головах 1 200 величеств, и невозможно предвидеть, каковы будут, в конце концов, последствия этого. Только провидение может предугадать, когда Франция сможет снова занять свое место среди держав Европы. Если судить по сложившейся обстановке, то, конечно, это не произойдет в настоящем столетии, если бы даже контрреволюция, кажущаяся невозможной при существующем положении дел, перевернула все, что совершено за это время. Все в этом королевстве дезорганизовано, извращено, уничтожено, и расстройство финансов сулит банкротство фактическое, если даже о нем не будет объявлено. Ut in litteris.

И. Симолин

D. R., к. 48, л. 163. Шифровано. Получено 6 апреля.

[1] Имеется в виду союзный договор между Пруссией и Турцией, заключенный в Константинополе (ратифицирован лишь 20/XI 1790 г. в Шёнвальде). Непосредственным следствием этого договора была Рейхенбахская конвенция 27/VII 1790 г. между Прус-

сией, Польшей, Англией, Голландией и Австрией, имевшая целью сохранить Турецкую империю, заставить Австрию отказаться от своих завоеваний в Турции и заключить мир, разорвав союз с Россией. Австрия 19/IX 1790 г. заключила с Турцией перемирие в Жиржеве, закрепленное Систовским миром 4/VIII 1791 г. Россия одна продолжала войну с Турцией, закончившуюся Ясским миром 9/I 1792 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОНЕСЕНИЮ ОТ 2 АПРЕЛЯ 1790 г.

К № 28

Париж, 22 марта / 2 апреля 1790 г.

Уже несколько дней втихомолку говорят, что в Следственный комитет был сделан важный донос, очень сильно скомпрометировавший графа де Майбуа[1]. Вот что об этом говорили в понедельник в обществе. Один из секретарей графа де Майбуа донес, что этот генерал был главою контрреволюционного заговора, к которому он стремился привлечь дворы Мадрида, Неаполя и Турина. Он просил у одного двора два миллиона и шесть тысяч человек, у другого четыре миллиона и десять тысяч человек и у третьего восемь миллионов и пятнадцать тысяч человек. Эти войска должны были войти одновременно в королевство, в назначенный момент; внутри страны к ним должны были присоединиться различные корпуса в довольно большом числе. Вышеупомянутый генерал был в деревне и, подозревая, что его предали, потребовал лошадей и немедленно уехал в Бреду[2].

Вот сведения, которые можно было получить об этом новом заговоре, подробности которого основаны только на недостоверных еще слухах. Достоверно только то, что г. де Майбуа уехал.

Предположение о существовании такого плана контрреволюции, замышленной графом де Майбуа или кем-либо другим, могло быть построено на основании рассказа людей, могущих быть хорошо осведомленными о том, что к графу д'Артуа был, действительно, послан какой-то офицер с предложением такого проекта. Принц, будто бы, ответил, что он никогда не присоединится ни к чему, что могло бы внести смуту в королевство и опечалить короля и королеву. Его намерения заключаются в том, чтобы жить спокойно близ монарха, который относится к нему, как к своему сыну, и сделать такие сбережения, которые позволили бы ему заплатить до возвращения во Францию бо́льшую часть долгов. Ut in litteris.

И. Симолин

D. R., к. 48, л. 176 б. Получено 13 апреля.

[1] Maillebois (des Marets) Ив-Мари, граф де (1715—1791) — генерал-лейтенант, губернатор в Дуэ. Участник контрреволюционного заговора.

[2] Город в Голландии, на реке Марк (Северный Брабант).

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОНЕСЕНИЮ ОТ 16 АПРЕЛЯ 1790 г.

К № 33

Париж, 5/16 апреля 1790 г.

Горячие прения об управлении церковными имуществами вызвали в понедельник и вторник большое возбуждение в умах. В Обществе якобинцев в воскресенье вечером было постановлено поддерживать декрет, который передавал церковные имущества в руки нации, а на заседании духовенства в монастыре капуцинов было решено сопротивляться этому декрету и бороться против всякого постановления, которое могло бы отнять у церкви управление имениями, необходимыми для отправлений культа и содержания его служителей.

(21 Mai 1790.)

GAZETTE DE PARIS.

ASSEMBLÉES PRIMAIRES

De Districts & de Départemens.

S U I T E.

Vente des Domaines du Roi.

Citoyens, qu'une convocation générale rassemble d'un bout du Royaume à l'autre; Citoyens de toutes les Classes, qui que vous soyez, vous avez dû frémir & méditer tout ensemble.

Nous avons fait comme cet ami de *César*, qui, ne croyant pas que toute l'éloquence [illegible] à faire sentir aux Romains la grandeur du forfait commis en [illegible] un Héros, en fit apporter à leurs yeux le cadavre sanglant.

Nous avons montré les corps déchirés de tant de Gentilshommes, de plusieurs Commandans de nos Provinces ou de nos Légions; si vous n'avez pas frémi, quelles vertus apportez-vous donc dans ces Assemblées, d'où le crime & l'intérêt personnel doivent être bannis!

Nous vous avons rapporté les Adresses & les Réclamations de deux cents Villes ou Bourgs, ou Villages ou Provinces. Les avez-vous méditées! Elles n'étoient pas l'ouvrage de l'intrigue & le tribut de l'adulation. Si vous n'avez pas senti de quelle autorité elles doivent être dans la discussion de tant d'intérêts sacrés, quels talens apportez-vous donc dans ces mêmes Assemblées, où l'on cite déjà tant de meurtres commis, & pas une seule action à proposer pour modèle!

Nous allons développer des vérités bien supérieures à toutes celles que nous avons déjà fait entendre. Il est des momens où l'homme le plus foible est élevé par son sujet ou ses devoirs au-dessus de lui-même. Le danger n'a plus rien qui l'arrête: le Guerrier seul a-t-il le privilège de braver la mort pour sa Patrie & pour son Roi! Quand le *Dassas* du Régiment du Maine, après avoir commandé à ses braves Grenadiers de ne pas faire feu sur le Peuple, ouvrit la porte de sa Caserne, bien sûr qu'il alloit au-devant de la mort, il ne vit alors que le bonheur de ces mêmes Grenadiers, de la générosité desquels il avoit obtenu la grace d'un Peuple forcené. — La Nature le pleure, il est vrai: mais son nom est placé à côté de celui des *Beausset* & des *Voisin*; mais l'amitié bénit sa mémoire: elle a demandé à *Louis XVI* quelques larmes pour lui; le Guerrier qui, le premier reçut dans [illegible] près de son cœur le fils de l'infortuné *Favras*, le digne Colonel de *Touraine* a jetté quelques lys sur la tombe de *Rully*: après ces grands exemples, comment hésiter à répéter les Décrets de la Vérité! Ils sont les seuls *permanens*, les seuls *redoutables*, les seuls qui aient le droit d'*être interprétés par eux-mêmes*.

Ce n'est point dans un ouvrage tel que le nôtre que nous pouvons désigner les sources où nous puisons, nommer les autorités, déduire des conséquences bien démontrées, d'après des argumens posés avec une dialectique profonde. D'ailleurs notre profession de foi est publique: mille suffrages nous l'attestent; nous avons acquis le droit d'être crus. Le sang coule, les victimes expirent, les flammes dévorent des héritages, le crime naît du crime; la soif du sang est devenue ce qu'étoit autrefois pour nous celle de la gloire, — inextinguible; — il n'est donc pas un moment à perdre.

Quand on annonce avec le sang-froid de la probité, que les Domaines de nos

(22 Mai 1790.)

GAZETTE DE PARIS.

CALOMNIES.

Nous suspendons les travaux les plus importans relatifs aux droits *de la Monarchie*, *à la permanence* de l'Assemblée Nationale, &c. pour rendre publiques quelques piéces intéressantes qui perdroient de ce même intérêt, si nous différions à les faire imprimer.

Nous prévenons ceux de MM. nos Souscripteurs de Provinces, qui nous ont écrit pour nous demander *le Feuilleton* des Spectacles, qu'il ne s'imprime que pour ceux de Paris. Nous donnerons quelquefois des notices sur les Ouvrages Dramatiques nouveaux. Il ne faut point perdre de vue ces Arts à qui nous devons [illegible] mais nous demandons grace pour la Religion & la Vérité, qui, dans les circonstances présentes, réclament tous nos momens.

Quant à ceux qui se plaignent que notre ouvrage ne contient que des détails qui les *attristent*, & rien qui les *égaye*, nous pourrions leur répondre par deux cents Lettres qui nous imposent le devoir, au nom de la Patrie & de l'Humanité, d'insister sur les malheurs qui dévastent la France. Comment a-t-on le courage de demander à être amusé, quand la fureur, la calomnie, l'irréligion & l'anarchie inondent du sang Français, ce sol autrefois si fortuné! Des Armées de Citoyens sont en marche pour se combattre, & vous exigez que l'on vous *égaye!* —— Demandez à ceux que l'on calomnie, que l'on dépouille ou que l'on massacre, quel nom ils donneroient à votre besoin de rire! — Les playes de la Patrie n'en feront bientôt qu'une seule! & le rire est encore sur vos lèvres! C'est assez répondre à une pareille demande; remplissons notre tâche, quelque pénible qu'elle soit. — D'autres voudroient plus de faits; quelle narration peut avoir pour les amis de la Vérité, l'intérêt que renferment les Lettres suivantes!

I.

Paris, 17 Mai.

» J'ai l'honneur de vous envoyer, Messieurs, le Numéro 211 du Journal rédigé par M. *Mercier*; & je vous prie de parcourir l'article intitulé: *Patriotisme du Chapitre de Noyon*, signé, *Carra*. Après beaucoup de déclamations bien grossières, bien odieuses & bien incendiaires contre le Clergé, vous y lirez « *que les vertueux* [illegible] *le 23 Avril, à la Majorité des suffrages, qu'il seroit chanté un* Te Deum *le premier Mai, en actions de graces du Décret du 14 Avril, qui les a dégagés de tout soin & intérêts temporels, &c.* »

» Eh! bien, Messieurs, cette Anecdote est entièrement controuvée. Il n'a jamais été question de cette prétendue délibération dans le Chapitre de Noyon, qui vient au contraire d'écrire à toutes les Eglises de la Province, pour démentir cet article du sieur CARRA.

» Ce Chapitre a cru mieux prouver son patriotisme & sa charité en versant des secours abondans sur les nombreuses victimes d'un incendie qui, au commencement d'Avril, a consumé soixante maisons dans un des Fauxbourgs de la Ville. Je n'ajoute plus qu'un mot: la Commune vient d'adresser, à l'Assemblée Nationale, un Mémoire qui renouvelle la demande déjà faite par la Municipalité, pour la conservation du Chapitre & de l'Evêché,

НОМЕРА „GAZETTE DE PARIS" ОТ 21 И 22 МАЯ 1790 г., ВЕСЬ ТИРАЖ КОТОРЫХ БЫЛ УНИЧТОЖЕН

Присланы Симолиным при донесении от 24 мая 1790 г.

Архив феодально-крепостнической эпохи, Москва

Париж был осведомлен во вторник утром об этих намерениях, и, чтобы предупредить беспорядки, у входа в Национальное собрание и внутри его охрана была удвоена и в течение всего дня ходили многочисленные патрули.

Виконт де Мирабо[1] испытал на себе благоприятные результаты их присутствия. Графа де Мирабо, его брата, при выходе из зала заседания народ провожал, как триумфатора, а на виконта сыпались насмешки и свистки. Из опасения, что народ перейдет к еще бо́льшим оскорблениям, он обнажил шпагу, и в этот момент он был в очень большой опасности, от которой его избавила национальная кавалерия, отогнав толпу; именно виконта де Мирабо, Казалеса[2], епископа Нанси, аббата де Мори[3] и других г. де Лафайет поручил особой охране Национальной гвардии, желая защитить их от всяких оскорблений.

Еще до сих пор не удалось успокоить волнений, которые угрожают Лиллю самыми большими эксцессами[4].

Комендант города, содержащийся в крепости, был вынужден дать распоряжение об удалении из него двух полков: de la Couronne и Royal Vaisseaux[5], находившихся в городе; но Лилль, в котором находится 8000 вооруженных людей, вступился тогда за них и помешал им выступить. Город находится в постоянных волнениях, и опасаются каждую минуту, что доведенная до крайности крепость откроет по нему огонь.

Озлобление в войсках так велико, что каждый осмеливающийся выйти из крепости рискует быть расстрелянным. Три солдата, решившиеся выйти в поисках продовольствия, также погибли от залпа, который дан был по ним с аванпостов города. При начале этого столкновения причины его были другие, чем те, которые разделяют теперь умы. Теперь обе партии отличаются только наименованием: аристократы и демократы, и этого достаточно, чтобы люди перегрызли друг другу горло.

Граф де Мерси предупредил меня, что он ждет с минуты на минуту возвращения курьера, посланного в Мадрид, который, не останавливаясь, отправится в Вену; я распорядился вручить ему два пакета № 1 и № 2 с брошюрами, список которых я прилагаю, для передачи князю Голицыну, которого прошу отправить их дальше по назначению.

Комитет по выдаче пенсий опубликовал добавление к предисловию Красной книги[6] в виде ответа на письмо маршала де Сегюра[7] и на письмо графа де Сегюра, его сына[8]; это добавление находится в одном из пакетов. Сегюр-сын написал по поводу этой публикации, озаглавленной «Доказательство истины», свои замечания, которые я осмеливаюсь приложить[9]. Он дает правильную оценку Комитету пенсий, доказывает его вредность и нелепость.

Я только-что узнал, что события в Лилле закончились приказом вывести из него четыре полка, которые были в его гарнизоне, и заменить их четырьмя другими. Ut in litteris.

И. Симолин

D. R., к. 48, л. 203. Получено 27 апреля.

[1] Mirabeau Андре-Бонифас, виконт де (1754—1792)—представитель крайней правой в Собрании, позднее видный деятель эмиграции. За пристрастие к вину и чрезмерную полноту носил прозвище «Мирабо-бочка» («Mirabeau-tonneau»).

[2] Casalès Жак-Антуан де (1758—1805)—роялист, представитель крайней правой Национального собрания. Эмигрировал после 10 августа 1792 г.

[3] См. прим. 12-е к донесению от 28 января 1790 г.

[4] Дезорганизация в частях войск старого режима выразилась в ряде военных «бунтов». В частности, в Лилле, где были расквартированы четыре полка, произошли беспорядки

на почве вражды между частями, считавшимися более аристократическими, и частями более демократическими, которых поддерживали муниципалитет и буржуазная гвардия города. Поводом для вооруженной схватки послужило убийство на дуэли одного солдата стрелкового полка пьяным драгуном. Последовали групповые стычки, стрельба среди города, были убитые и раненые. Два полка засели в крепости, в которой размещалась часть гарнизона, и захватили, в качестве заложника, генерала, коменданта города, маркиза де Ливаро (Livarot), и другого командира, которые поехали лично отдать распоряжение начальникам этих полков, чтобы они не выпускали солдат в город. Одновременно на коменданта Ливаро поступил в муниципалитет донос о его связях с эмигрантами. Королевским приказом Ливаро был вызван в Париж для дачи объяснений в Национальном собрании.

[5] Наименования полков.

[6] Регистры пенсий и пособий, выдаваемых французским двором, держались в секрете; они были опубликованы, под именем «Красной книги», Пенсионным комитетом Национального собрания 1 апреля 1790 г.

ПАРИЖСКИЕ ГРАЖДАНЕ РАБОТАЮТ НА МАРСОВОМ ПОЛЕ, ПОМОГАЯ В ПОДГОТОВКЕ ПРАЗДНЕСТВ 14 ИЮЛЯ 1790 г.

Современная гравюра неизвестного мастера

Эрмитаж, Ленинград

[7] Ségur Филипп-Анри, маркиз де (1724—1801)—маршал Франции, отличившийся в ряде кампаний, с 1781 по 1787 гг.—военный министр, провел ряд назревших реформ, но возбудил против себя недовольство широких буржуазных кругов ордонансом, разрешившим занимать офицерские должности лишь лицам, принадлежавшим к сословию дворянства не менее чем в четырех поколениях.

[8] Сегюр-сын (о нем см. прим. 1-е к донесению от 13 марта 1789 г.) выступил на защиту своего отца. Выступление это было вызвано утверждением Пенсионного комитета Национального собрания, что большой размер пенсии, получаемой маршалом Сегюром, не соответствует его заслугам.

[9] К донесению приложено «Observation du comte de Ségur sur l'écrit intitulé Démonstration de la vérité».

ДОНЕСЕНИЕ ОТ 14 МАЯ 1790 г.

№ 43

Париж, 3/14 мая 1790 г.

Милостивый государь,

Новость о вооружении Англии внесла беспокойство в Общество якобинцев, которые подозревают, что из-за интриг герцога де Ла Вогюйона[1] Испа-

ния отказывается от удовлетворения, требуемого сен-джемским кабинетом[2] за английские корабли, захваченные в проливе Нутка[3], чтобы вызвать войну, втянуть в нее Францию и тем, может быть, дать ей возможность отречься от многих постановлений Национального собрания и возвратить законную власть королю. Ожидают, что Национальное собрание потребует отозвания вышеназванного герцога от мадридского двора и воспользуется этим моментом, чтобы произвести полную смену министерства, которое оно не перестает считать зараженным аристократическими принципами.

В вышеупомянутом Клубе якобинцев было уже внесено предложение отозвать всех находящихся при иностранных дворах послов и посланников, подозреваемых в симпатиях к аристократам, и заменить их поверенными в делах и консулами, на которых можно положиться; но до сих пор это предложение не поставлено на обсуждение Национального собрания. Оно тем более по вкусу бешеным, что они не удовлетворяются тем, что привели Францию в состояние ужасной анархии, но стремятся уподобить ей все королевства и государства Европы. По-моему, необходимо установить во всех странах самое внимательное наблюдение над приезжающими туда французами.

Я могу с уверенностью сказать, что пребывание во Франции становится очень опасным для молодых людей других наций: умы их возбуждаются и проникаются принципами, которые могут причинить им вред при возвращении их в отечество.

Во время моей беседы во вторник с графом де Монмореном о вооружении Англии он сказал мне, что уверен в стремлении британского кабинета затеять ссору с Испанией и объявить ей войну, которую надеются легко довести до конца, ввиду невозможности для Франции помогать Испании.

Здесь почти все предполагают, что Англия имеет в Национальном собрании подкупленных ею и преданных ее интересам секретных агентов[4]. В вышеназванном Собрании поставлен вопрос о вооружении Англии и о мерах, которые надлежит при этом принять Франции, и при обсуждении его обнаружится образ мыслей демократов по вопросу о политических связях французского двора.

Имею честь быть с почтительнейшей преданностию, милостивый государь, вашего сиятельства нижайшим и покорнейшим слугой

И. Симолин

D. R., к. 48, л. 8. Шифровано. Получено 25 мая.

[1] См. прим. 4-е к приложению к № 64 от 13 июля 1789 г.

[2] То-есть английским: Сен-Джемский дворец—дворец английского короля.

[3] Nootka—пролив, отделяющий остров того же наименования от о-ва Ванкувера, у Тихоокеанского побережья Британской Колумбии. Эта борьба за господство в проливе окончилась договором 28 сентября 1790 г. в пользу Англии.

[4] Англия воздействовала на Мирабо через своих агентов Miles и Elliot.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОНЕСЕНИЮ ОТ 24 МАЯ 1790 г.

К № 46

Париж, 13/24 мая 1790 г.

Истины, раскрытые обществу на страницах «Gazette de Paris»[1], навлекли на ее издателя ненависть и месть демагогов из Клуба якобинцев. В субботу народ произвел нападение на дом одного книгопродавца и сжег все имевшиеся там газеты; редактор, которого разыскивали,

спасся бегством. Книгопродавец «Actes des Apôtres» испытал ту же участь накануне и должен был скрыться, чтобы избежать насилий. Таково уважение, с которым господствующая партия относится к декрету о свободе печати. Только пасквили и клевета на двор и королевскую семью пользуются терпимостью и уважением, газеты же, сообщающие об убийствах и ужасах, происходящих при новом порядке вещей в провинциях, преследуются.

Маркиз де Миран, командующий войсками в Провансе, удалившийся в Тараскон, вынужден был оттуда бежать, чтобы спасти свою жизнь. Полк лотарингских драгун, который нес там гарнизонную службу, выступил с оружием, знаменами и музыкой и присоединился к Национальной милиции в Марселе.

Барон де Тот[2], наместник короля в Дуэ, раньше служивший в Турции, должен был также скрыться, чтобы не стать жертвой разнузданной черни. Ut in litteris.

И. Симолин

D. R., к. 48, л. 39. Получено 5 июня.

[1] «Gazette de Paris, *ouvrage consacré au patriotisme, à l'histoire, à la politique et aux beaux arts*» — орган придворных групп, издававшийся де Розуа (de Rozoi) с 1 октября 1789 г. по 10 августа 1792 г. (всего вышел 81 номер). 22 мая 1790 г. контора газеты, помещавшаяся на улице St. Honoré, № 53, была разгромлена, и находившиеся там, а также у ряда парижских книгопродавцев номера газеты уничтожены. Немногие сохранившиеся майские номера представляют поэтому большую редкость. К донесениям Симолина приложены №№ «Gazette de Paris»:

от	16—20	мая	1790 г.	—к донесению	от	21/V	1790 г.
,,	21—22	,,	,,	—	,,	,,	24/V	,,
,,	9	июня	,,	—	,,	,,	11/VI	,,
,,	12	,,	,,	—	,,	,,	14/VI	,,
,,	23	,,	,,	—	,,	,,	25/VI	,,
,,	25—28	,,	,,	—	,,	,,	28/VI	,,
,,	7	июля	,,	—	,,	,,	9/VII	,,
,,	14	,,	,,	—	,,	,,	16/VII	,,

Отметим, что до сих пор ни в одном книгохранилище СССР не было обнаружено ни одного номера «Gazette de Paris».

[2] Tott Франсуа, барон де (1733—1792) — сын венгерского политического эмигранта, французский дипломат и военный деятель, известный созданием артиллерии в Турции и работой по укреплению Дарданелл (1773—1775) для оборонительной борьбы с Россией. По возвращении во Францию получил командование частями в Дуэ в чине бригадного генерала («Maréchal de camp»). В 1790 г., после восстания войск гарнизона, угрожавших ему повешением на фонаре, эмигрировал в Швейцарию, а оттуда в Венгрию.

ДОНЕСЕНИЕ ОТ 4 ИЮНЯ 1790 г.

[*Без №*]

Париж, $\frac{24\ \text{мая}}{4\ \text{июня}}$ 1790 г.

Милостивый государь,

Неожиданная и крайняя нужда заставила одного чиновника департамента иностранных дел предложить мне через посредство г. Машкова[1] свои услуги и засвидетельствовать полную преданность нашему двору. Я счел полезным и даже совершенно необходимым в интересах императрицы не упустить такой благоприятный для нас случай заручиться надежным источником информации. Вышеуказанный чиновник начал с того, что доставил мне шифр, употребляемый г. Жене[2] при его переписке с графом де Монмореном, и шифр последнего для переписки его с вышеупомянутым поверенным в делах,—эти шифры совершенно различны. Затем

он доставил шифр, служивший для общей переписки королевских министров при иностранных дворах, которым они пользовались еще в прошлом году, причем он не уверен, что шифр не был изменен с тех пор; затем копии нескольких депеш из Константинополя и ответа г. де Монморена от 20 апреля[3], оригиналы которых проходили через мои руки. Шифр так сложен, что без особой инструкции невозможно им пользоваться. Г-н Машков постарался его изучить под руководством упомянутого чиновника. Это обстоятельство вместе с другим, которое я не хотел бы доверить бумаге, побудило меня без всяких колебаний предложить г. Машкову отправиться в отпуск в С.-Петербург по семейным обстоятельствам, отвезти как шифр, который, ввиду его сложности, очень объемист, так и настоящую депешу и передать их вашему сиятельству, а также лично сообщить вам о тех обстоятельствах, которые я не хочу и не могу изложить письменно, ввиду того, что судьба человека, решившегося посвятить себя службе нам, зависит от тайны, которая должна остаться сокровенной.

Я, без сомнения, желал бы иметь предварительно распоряжение вашего сиятельства относительно требующегося для этой цели расхода, но я вынужден был решиться произвести его, ибо все зависело от момента, и если бы я его упустил, то другой едва ли бы представился. Я надеюсь, что ее императорское величество и ваше сиятельство не откажете в одобрении этого решения, которое я принял по собственному почину, предварив ответ своего начальства.

Чиновник, о котором идет речь, потребовал от меня десять тысяч ливров наличными, нужных ему для выхода из затруднительного положения, от чего зависела судьба его семьи.

Мне казалось, что я не должен был колебаться еще и потому, что эта сумма не может итти в сравнение с той важной услугой, которую он оказывает нашему двору, и той опасностью, которой он себя подвергает, если когда-нибудь будет уличен. Ограничиваясь такой умеренной суммой, он надеется на щедрое вознаграждение в будущем, и притом сообразно важности сообщений, которые он будет мне делать. Я сделал все, что мог, чтобы укрепить в нем эту надежду, уверив его, что нет государя, который вознаграждал бы с такой щедростью, как императрица, за оказываемые ей полезные услуги, и что я, со своей стороны, с готовностью сделаю для этого все зависящее от меня[4].

Чтобы еще больше обеспечить себя в отношении его, я заставил его выдать мне вексель на предъявителя на авансируемую ему сумму, сроком на три месяца, из которых один месяц уже истек.

Не располагая здесь никакими фондами и не осмеливаясь выписать вексель на имя вашего сиятельства, чтобы добыть сумму в десять тысяч ливров, я не имел другого выхода, как только заложить часть моей посуды в ломбарде, где берут 10 процентов. Я выдал более трех тысяч ливров г. Машкову на его путевые издержки. Его светлость князь Потемкин перевел мне деньги на некоторые покупки для него в Париже, и я взял указанные три тысячи из этой суммы в надежде вернуть их, прежде чем будут выполнены его поручения, и я умоляю ваше сиятельство послать мне эту сумму незамедлительно или же разрешить выдать поставщикам векселя сроком на четыре—шесть недель в том случае, если деньги не прибудут к сроку обратного отправления курьера, прибывшего из Ясс.

Я осмеливаюсь настоятельнейше просить ваше сиятельство не медлить с пересылкой мне суммы в тринадцать тысяч ливров для покрытия моих

КЛЯТВА ФЕДЕРАТОВ НА МАРСОВОМ ПОЛЕ 14 ИЮЛЯ 1790 г.

Цветная гравюра Л. Ле-Кёра с рисунка Свебаха-Дефонтэна, 1790 г.

Эрмитаж, Ленинград

расходов. Г-н Машков может лично рассказать вашему сиятельству о трудностях получения кредита в настоящий момент, при наличии волнений, растерянности и недоверия, в частности, о тех трудностях, которые я испытываю здесь, существуя на свое жалованье. Я добавляю к нему ежегодно 6000 альбертовских риксдалеров, ссужаемых мне митавским банкиром Бернером, которому я задолжал со времени моего приезда в Париж тридцать тысяч риксдалеров.

Я не осмеливался докладывать о затруднительном положении моих личных дел, ввиду войны, которую ведет наш двор, но я не могу воздержаться, чтобы не сказать вашему сиятельству об этом несколько слов, дабы вы соблаговолили вспомнить обо мне при более благоприятных обстоятельствах и расположили бы ее величество в пользу одного из самых старых ее министров и слуг, состоящих при иностранных дворах.

И еще одной милости прошу я у вашего сиятельства: соблаговолите вернуть ко мне г. Машкова возможно скорее, ввиду неотложной необходимости поддерживать сношения с нашим осведомителем, что во время его отсутствия будет очень затруднительно, как за невозможностью иметь другого посредника, так и по причинам, которые будут объяснены лично вашему сиятельству.

Ваше сиятельство еще более чувствительно меня обяжете, если позаботитесь о том, чтобы одновременно с посылкой тринадцати тысяч ливров мне были бы также высланы деньги на покрытие перерасходов прошлого года в сумме 6231 ливра 10 су. Я не просил бы об этом с такой настойчивостью, если бы не имел самой крайней нужды.

В уверенности, что ваше сиятельство соблаговолит получить от императрицы всемилостивейшее одобрение моего поведения[5], мне остается лишь просить ваше сиятельство сохранить свое благоволение ко мне и быть уверенным, что ничто не может сравниться с той почтительностью и непоколебимой преданностию, с которыми я имею честь быть, милостивый государь, вашего сиятельства нижайшим и покорнейшим слугою

И. Симолин

D. R., к. 48, л. 86. Получено 19 июня.

[1] Машков—первый секретарь русского посольства в Париже. Машков, подкупивший чиновника французского министерства иностранных дел, достоин, по мнению Симолина, ордена св. Владимира (приложение к данному донесению в публикацию не входит). В июле 1790 г. Машков назначается советником посольства. В апреле 1791 г. он отправляется в Петербург с секретными документами и шифрами, полученными от тайного агента (см. донесения за 1791 г. от 4 и 15 февраля, 11 и 15 апреля).

[2] Genest или Genêt Эдмон-Шарль (1765—1834)—секретарь французского посольства в Петербурге с 1787 г. и поверенный в делах его после отъезда из России посла графа де Сегюра (6 октября 1789 г.). Республиканские убеждения Жене вызывали неодобрение Екатерины II, вообще не желавшей иметь в России официального представителя революционной Франции, и 16 июля 1792 г. он был выслан из Петербурга.

[3] К донесению приложены рукописные копии письма Шуазёль-Гуффье к Монморену от 7 февраля 1790 г. и письма Монморена к Шуазёль-Гуффье от 20 апреля того же года.

[4] В дальнейшем агент осведомлял Симолина о деятельности Жене (см. донесения за 1791 г. от 10 и 17 октября и за 1792 г. от 27 января), доставлял шифры и секретные документы, относящиеся к дипломатическим сношениям Монморена с французскими послами в Константинополе, Стокгольме, Копенгагене, Варшаве (см. приложения к донесениям за 1790 г. от 17 августа и от 17 октября; донесение за 1790 г. от 18 октября; донесение и приложение к нему от 31 января 1791 г.; донесения за 1791 г.: от 4 февраля, от 11 апреля, от 14 октября, от 28 октября и от 19 декабря). В донесениях Симолина сведения об услугах агента чередуются с сообщениями о требуемых последним пособиях и вознаграждениях (см., например, донесения за 1790 г.: от 17 августа и от 17 октября).

[5] В исходящих депешах («Dépêches-expédition») за 1790 г. имеется отпуск письма Остермана Симолину от 30 сентября 1790 г., в котором ему от имени Екатерины II объявляется одобрение за установление связи с агентом, а этому последнему утверждается ежемесячное вознаграждение в 1000 ливров и единовременная награда в 10000 рублей. На полях отпуска собственноручная помета Екатерины II: «быть по сему».

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОНЕСЕНИЮ ОТ 9 ИЮЛЯ 1790 г.

К № 59

Париж, 28 июня / 9 июля 1790 г.

Марсово поле представляет собой уже несколько дней самое необычайное зрелище. Амфитеатр, возводимый по всей его окружности, оставался незаконченным, несмотря на непрерывную работу от 12 до 15 тысяч рабочих. Граждане, из опасения, что эта большая работа не будет выполнена к назначенному сроку, взялись однажды вечером за заступы и лопаты, чтобы помочь рабочим. На другой день стечение народа стало еще многочисленнее, можно было видеть людей всех сословий, всех возрастов, нарумяненных женщин в шляпах, украшенных перьями, кавалеров ордена св. Людовика, священников, монахов,—все они поспешили принять участие в этих работах.

Таким образом, более 40 тысяч человек занято теперь сооружением этого обширного амфитеатра.

Вокруг всего поля возвели земляной вал, возвышающийся ступенями, на нем будут установлены в тридцать рядов скамейки, что составит сто шестьдесят тысяч удобных мест, где смогут сидеть все граждане. Кроме того, на остальном пространстве вала может поместиться стоя более 100 тысяч человек, так что Марсово поле превратится в огромный зал, который вместит, кроме Национального собрания, короля, всего двора, депутатов от различных коммун и всех, кто должен присутствовать на празднике, еще около 300 тысяч зрителей.

Простой алтарь, вышиною в 25 футов, воздвигнутый на широких ступенях, будет единственным украшением этого храма. Триумфальная арка будет его замыкать. Ut in litteris.

И. Симолин

D. R., к. 48, л. 163. Получено 20 июля.

ДОНЕСЕНИЕ ОТ 27 ИЮЛЯ 1790 г.

№ 65

Париж, 16/27 июля 1790 г.

Милостивый государь,

Я получил письмо, которое ваше сиятельство оказали мне честь написать 4-го прошедшего месяца, чтобы довести до моего сведения высокие намерения ее императорского величества по отношению к ее подданным, живущим во Франции с начала волнений, которые потрясают это королевство.

С момента получения распоряжений е. в. я не теряю ни минуты, чтобы собрать сведения о русских подданных, находящихся в Париже, и поставить их в известность, что, согласно воле ее императорского величества, они должны немедленно покинуть эту страну. Я приказал составить два списка, которые и прилагаю, со сведениями об именах, возрасте, времени пребывания и с различными замечаниями о лицах, находящихся в Париже; те из них, с которыми я говорил, уверили меня, что они тотчас же выедут, как только устроят свои дела и найдут средства на дорогу. Г-н Козлов-

ский, скульптор, выезжает даже завтра с двумя учениками, которые находятся при нем.

В настоящее время в Париже очень мало знатных лиц. Князь Борис Голицын[1], который живет несколько лет во Франции со своей семьей, уже готов к отъезду, чтобы вернуться в Россию.

Княгиня Шаховская постоянно болеет и живет в деревне. Г-н Хотинский[2] также слабого здоровья и находится в деревне. Родственные связи заставили его обосноваться во Франции, однако, он объявил мне, что готов отправиться в Петербург, если такова воля императрицы и если исключения по отношению к нему не допускаются; он считает своим долгом повиноваться, несмотря на то, что подвергает свое здоровье очень большому риску.

Меня уверяли, что в Париже был, а может быть, находится и теперь молодой граф Строганов[3], которого я никогда не видел и который не познакомился ни с одним из соотечественников. Говорят, что он переменил имя, и наш священник[4], которого я просил во что бы то ни стало разыскать его, не мог этого сделать. Его воспитатель[5], должно быть, свел его с самыми крайними бешеными из Национального собрания и Якобинского клуба, которому он, кажется, подарил библиотеку. Г-н Машков сможет дать вашему сиятельству некоторые сведения по этому поводу. Даже если бы мне удалось с ним познакомиться, я поколебался бы делать ему какие-либо внушения о выезде из этой страны, потому что его руководитель, гувернер или друг предал бы это гласности, чего я должен и хочу избежать. Было бы удобнее, если бы его отец прислал ему самое строгое приказание выехать из Франции без малейшей задержки.

Есть основания опасаться, что этот молодой человек почерпнул здесь принципы, не совместимые с теми, которых он должен придерживаться во всех других государствах и в своем отечестве и которые, следовательно, могут его сделать только несчастным.

Я не премину своевременно известить ваше сиятельство о том, как каждый из русских согласовал свои действия с повелением ее императорского величества. Я должен ожидать, что некоторые из них не покинут Парижа из-за семьи или определенного материального положения или из опасения за свою свободу.

Имею честь быть с почтительною преданностию, милостивый государь, вашего сиятельства нижайшим и покорнейшим слугою

И. Симолин

К донесению приложена копия записки Екатерины II на русском языке:

Читая вчерашние реляции Симолина из Парижа, полученные через Вену, о российских подданных за нужное нахожу сказать, чтоб оные непременно читаны были в Совете сего дня и чтоб графу Брюсу поручено было сказать графу Строганову, что учитель его сына Ром [Ромм] сего человека младого, ему порученного, вводит в клуб Жакобенов [якобинцев] и Пропаганда [sic!], учрежденный для взбунтования везде народов противу власти и властей, и чтоб он, Строганов, сына своего из таковых зловредных рук высвободил, ибо он, граф Брюс, того Рома в Петербург не впустит.

Положите сей лист к реляции Симолина, дабы ведали в Совете мое мнение[6].

D. R., к. 48, л. 215. Получено 24 августа.

А. С. и П. А. СТРОГАНОВЫ
Рисунок А. Воронихина

Русский музей, Ленинград

К донесению от 27 июля 1790 г. приложены:

1-Й СПИСОК, СОДЕРЖАЩИЙ ИМЕНА, ВОЗРАСТ И Т. П. РУССКИХ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ПАРИЖЕ

Имена	Возраст	Сколько лет проживает в Париже	Звание	Примечания
ПЕСКОРСКИЙ[7] . .	35	10	Живописец	Был прислан сюда с.-петербургской Академией художеств, учеником которой он является, для усовершенствования в живописи; и хотя срок, на который он был послан, истек, он остается еще здесь работать, чтобы уплатить свои долги.
КОЗЛОВСКИЙ[8] .	37	2	Скульптор	Собирается уехать отсюда в свое отечество.
СОКОЛОВ[9] . . .	27	5	Скульптор	Ученик той же Академии художеств. Так как срок его пребывания здесь истек уже несколько месяцев тому назад, он получил распоряжение возвратиться в свое отечество, но сумма, ассигнованная ему на путешествие, оказалась недостаточною, и он вынужден остаться здесь, ожидая милостей вышеупомянутой Академии.
РОДЧЕВ[10]	24	2	Скульптор	Послан сюда вышеупомянутой Академией. Время его обучения, установленное Академией, еще не истекло.
КОМИССАРОВ[11] .	29	3	Архитектор	Ученик той же Академии, приехал сюда на свои средства для усовершенствования в архитектуре. Он пробрался во время революции в парижскую Национальную гвардию исключительно с целью избежать налогов и сборов, взимаемых с проживающих в своих квартирах. Он выразил желание уехать в свое отечество, как только получит проценты на вложенные им здесь деньги, которых он не получает уже более года.
ПАВЛОВ[12] . . .	21	3	Архитектор	Пенсионер его императорского высочества великого князя.

2-й СПИСОК ИЛИ ПРОДОЛЖЕНИЕ ИМЕН ВСЕХ РУССКИХ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ПАРИЖЕ

Имена	Возраст	Сколько лет проживает в Париже	Вольный или крепостной	Примечания
РЯЗАНОВ	38	13	Крепостной графа Андрея Шувалова	Женился на француженке и покинул своего господина при его отъезде отсюда; тогда же поступил на службу к покойному г. графу де Верженну, министру иностранных дел, которому он служил в качестве камердинера-парикмахера до его смерти; во время революции поступил в парижскую Национальную гвардию.
ЗАРИН	Больше 40	14	Крепостной графа Бутурлина	После того, как ушел от своего господина, поступил на службу к графу де Верженну в качестве выездного лакея. После смерти его живет на ренту, оставленную ему этим графом.
ЛАРИВОН	37	14	Крепостной того же графа Бутурлина	Служил у музыканта Саккини, оставившего ему после своей смерти ренту, на которую он живет; теперь находится на службе у герцога Орлеанского.
КОВАЛЬКОВ . . .	30	—	Крепостной князя Трубецкого	Женился на француженке, имеет от нее детей, основался в Париже, торгует парфюмерией.
ТИМОФЕЙ	50	—	Солдат-дезертир	Живет в Париже, имеет детей от француженки, на которой очень давно женат.
ТАТАРИНОВ . . .	36	—	Крепостной г. Бибикова	После того, как ушел от своего господина, научился парикмахерскому ремеслу и живет им.
(Имя не обозначено)	24	—	Крепостной князя Юсупова	Парикмахер без работы.
МАКСИМ	26	—	Крепостной г. Полянского	После того, как находился на службе у нескольких господ и был выгнан за пьянство, поступил в драгунский полк.
ФИЛИПП	25	6	—	Приехал в Париж с майором Лангелем, при возвращении которого в Россию ушел от него и был без хозяина, затем поступил в линейные войска.

Имена	Возраст	Сколько лет проживает в Париже	Вольный или крепостной	Примечания
СЕМЕН	22	6	Крепостной покойного камер-юнкера Шкурина	После того, как в Гамбурге ушел от своего господина, приехал морем в Бордо и поступил на службу к англичанину, которого вскоре обворовал и затем бежал в Монпелье, где чуть было не был повешен также за воровство. Возвратившись в Париж, был на службе у одного депутата Национального собрания, обворовал его и уехал в провинцию.
КАРЛ	25		Лифляндец, неизвестно — вольный или крепостной	Неизвестно, где он находится в настоящее время.
ИВАН СОЛОМОНОВ	34	12	Крепостной г. Нащокина	Парикмахер по профессии и имеет капитал в 12 тысяч ливров.

[1] Голицын Борис Владимирович, князь (1769—1813)—впоследствии генерал-лейтенант, участник войны 1812 г. (умер от ран, полученных под Бородиным), долго жил во Франции, выступал здесь, а потом и в России (под псевд. Дм. Пименов), как писатель, между прочим, на французском языке (повести, критические статьи, стихи).

[2] Хотинский Николай Константинович (1727—1798)—бывший советник русского посольства в Париже (1766—1784).

[3] Строганов Павел Александрович, граф (1774—1817)—жил в Париже под псевдонимом графа Очера—название одного из пермских заводов Строгановых.

[4] Священником русской посольской церкви в Париже был в это время Павел Васильевич Криницкий. 23 июля (3 августа) 1791 г. Симолин обратился в коллегию иностранных дел со специальным «доношением» (на русском языке), в котором ходатайствовал об отозвании этого священника, так как он ведет себя «самым порочным и соблазнительным образом», «со времени же здешней революции Права человека вступили ему в голову, [так] что он более ни приходить ко мне на требования по церковным делам, ни повиноваться не хочет; на возражения же мои отвечает, что он позовет меня к суду в здешний [трибунал]».

[5] Им был Жильбер Ромм (Romme, 1750—1795), известный член Конвента, монтаньяр, ярый якобинец, один из составителей республиканского календаря. До революции жил в России (1779—1787) в качестве гувернера Павла Строганова.

[6] Эта записка опубликована в книге: В. кн. Николай Михайлович, Граф П. А. Строганов, т. I, СПБ. 1903, 70.

[7] Пескорский (Пескарский) Иван Яковлевич (1757—ум. после 1811)—живописец, воспитанник Академии художеств, в 1777 г. был послан пенсионером за границу на 4 года; в 1783 г. уволен из Академии, так как остался за границей. В Париже работал под руководством Brenet.

[8] См. о нем выше, в донесении от 5 января 1789 г.

[9] Соколов Павел Петрович (1764—182?)—скульптор, воспитанник Академии художеств, с 1786 г.—заграничный пенсионер. Из его работ известны статуя в парке Детского села, навеявшая Пушкину стихотворение: «Урну с водой уронив, об утес ее дева разбила», грифоны и львы на мосту б. Екатерининского канала в Ленинграде. В списках парижской Академии живописи и скульптуры значится, как ученик Bridan.

[10] В списках русских художников, отправленных Академией художеств за границу, нет скульптора Родчева, но есть художник-портретист Василий Палладиевич Родчев (он же Родичев) (1768—1803), отправленный в Париж пенсионером Академии художеств в начале 1789 г. Кроме того, в списке парижской Академии («Старые Годы», 1909, июнь, 317) числится Родчев Гавриил, ученик Давида.

[11] Комиссаров (Камиссаров) Иван Яковлевич—архитектор, воспитанник Академии художеств с 1764 г. (был принят, как «сын служителя»). Заграничным пенсионером был за счет денег, оставленных ему в наследство дядей его, золотых дел мастером.

[12] Выяснить имя и даты жизни не удалось.

ДОНЕСЕНИЕ ОТ 25 АВГУСТА 1790 г.

№ 76

Париж, 14/25 августа 1790 г.

Милостивый государь,

Я получил письмо, которое ваше сиятельство сделали честь написать мне 16-го прошедшего месяца[1] по поводу комической депутации, состоявшей из иностранцев нескольких наций, которая была введена в Национальное собрание для засвидетельствования ему своей преданности новым и совершенно необыкновенным образом. Барон Клоотс[2], прусский подданный из Клеве, возглавлял это смехотворное посольство, депутаты которого получили по три ливра на человека, чтобы разыграть этот фарс, а некоторые из них также и для того, чтобы заплатить старьевщику за взятую у него напрокат одежду. Но я не мог найти никаких следов того, что среди этих, с позволения сказать, депутатов был хотя бы один русский, несмотря на то, что об этом сообщали газеты для бо́льшего прославления этого фарса. Большинство этих нелепых депутатов записало свои имена в регистре, который находится в архиве Национального собрания. Я распорядился, чтобы его просмотрели, но в нем не нашли ни русских, ни польских имен, и я склонен думать, что все русские, живущие в Париже, воздержались от участия в такой сумасбродной затее. Единственно, на кого

N.° 55.

Paris ce 14/25 juin 1790.

Monsieur!

Samedi soir on a introduit dans l'Assemblée Nationale une Députation nombreuse, composée des Etrangers de toutes les Nations residans à Paris; Anglois, hollandois, Prussiens, Polonois, allemands, Suedois, Italiens, Espagnols, Brabançons, Siciliens, Liegeois, Avignonois, Suisses, Genevois, Indiens, Arabes, Caldeens: On nomme aussi Russes, ce dont je doute [illegible]. Ils sont venus remercier l'Assemblée Nationale des Grands Exemples qu'Elle a donné au Monde, et la prier de leur accorder des places dans cette fête, qui se prépare pour le 14 juillet, afin qu'après l'avoir vu de près, ils puissent aller raconter à tous les peuples ce qu'ils auront vu, ce qu'ils auront entendu et ce qu'ils auront senti. Leurs expressions ont excité ces applaudissemens, et les transports ont redoublés encore, lorsque celui, qui présidoit l'Assemblée Nationale en repondant à ces Deputés, leur a dit: „Quand vous retournerés dans vos Patries, vous pourrés raconter avec quel zèle infatigables vous nous avés vu travailler à la régénération d'un peuple

ДОНЕСЕНИЕ СИМОЛИНА ОТ 14/25 ИЮНЯ 1790 г. С СООБЩЕНИЕМ О ПОСЕЩЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕПУТАЦИЕЙ

На полях резолюция Екатерины II

Архив феодально-крепостнической эпохи, Москва

может пасть подозрение, это на молодого графа Строганова, которым руководит гувернер с чрезвычайно экзальтированной головой. Меня уверяли, что оба они приняты в члены Якобинского клуба и проводят там все вечера. Ментор молодого человека, по имени Ромм, заставил его переменить свое имя, и вместо Строганова он называется теперь г. Очер; покинув дом в Сен-Жерменском предместье, в котором они жили, они запретили говорить, куда они переехали, и сообщать имя, которое себе присвоил этот молодой человек[3].

Я усилил свои розыски и узнал через священника нашей посольской церкви, что они отправились две недели тому назад пешком, в матросском платье, в Риом, в Оверни, где они рассчитывают остаться надолго и куда им недавно были отвезены их вещи.

Г-н Салтыков, камергер императрицы, только-что прибыл из Спа со своей супругой и своими детьми. Я не преминул довести до его сведения высокие намерения ее императорского величества по отношению к ее подданным, пребывающим во Франции, чтобы оградить их во время всеобщего брожения умов от неприятностей и от лишения той свободы, на которую имеют права иностранцы, пользующиеся гостеприимством во всех странах. Он меня уверил, что поспешит поступить сообразно распоряжениям ее императорского величества и, не теряя времени, уедет из этой страны.

Я не могу удержаться от просьбы к вашему сиятельству походатайствовать перед Академией художеств за одного из ее учеников, г. Соколова, который совершенно покинут ею и вернулся бы, если бы у него были средства. Под влиянием нужды он одно время вел себя не совсем исправно, и я почел своим долгом заплатить за него 200 ливров, чтобы его выпустили на свободу и тем избавили от позора судебного преследования. Художник, у которого он работал, засвидетельствовал, что у него есть талант.

Я писал уже пять-шесть месяцев тому назад в Академию по поводу него, но мне не сочли нужным даже ответить. Я написал в Гавр, чтобы узнать, нет ли кораблей, отправляющихся в Зунд или Гамбург, чтобы его отправить; а пока я его поместил в дом, занимаемый нашей посольскою церковью, и плачу за его прокормление[4].

Имею честь быть с почтительнейшею преданностию, милостивый государь, вашего сиятельства нижайшим и покорнейшим слугою

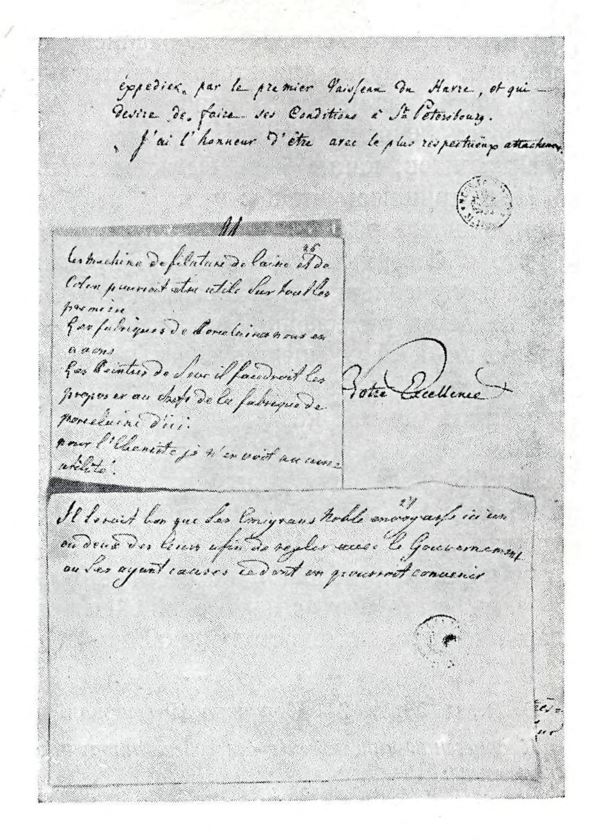
И. Симолин

D. R., к. 49, л. 69. Получено 11 сентября.

[1] В этом письме Симолину дано распоряжение сообщить имена русских, участвовавших 19 июня 1790 г. в международной депутации в Национальное собрание (см. «Dépêches-expédition» за 1790 г., л. 11). Последовало это распоряжение в результате донесения Симолина от 25 июня 1790 г., в котором сообщалось об этой депутации. На полях донесения рукой Екатерины II была наложена резолюция: «Писать, чтоб сведомился, кто оне таковы?».

[2] Cloots Жан-Батист, барон Анахарсис (1755—1794)—известный член Конвента и Клуба кордельеров, якобинец 1793 г., «оратор человечества», много содействовавший экспансии идей революции за пределы Франции, один из создателей культа Разума. Был гильотинирован вместе с эбертистами.

[3] В дальнейшем, сведения о «неподобающем» поведении Строганова Симолин получал от депутатов Национального собрания (донесения от 5 и 25 октября 1790 г.). Депутат Гиллерми сообщил Симолину, что Ромм внушает своему ученику мысль о необходимости революции в России. В подтверждение своих слов Гиллерми передал Симолину письмо, полученное им от своего родственника, с критикой воспитания Роммом Строганова и его поведения. Письмо это, приложенное Симолиным к донесению от 25 октября, попало в руки Екатерины II. На записке, приложенной к донесению, имеется ее собственноручная помета: «Покажите Строганову дабы знал как и к чему сыну его готовят»



expedier par le premier Vaisseau du Havre, et qui desire de faire ses Conditions à St. Pétersbourg.

J'ai l'honneur d'être avec le plus respectueux attachement

Votre Excellence

26

Les machine de filature de laine et de Coton pourrait etre utile sur toutes premier

Les fabriques de Porcelaines nous en avons

Les Peintres de Sevr il faudrait les proposer au chef de la fabrique de porcelaine d'ici:

pour l'Chemiste je n'en voit aucune utilité.

27

Il serait bon que les Emigrans Noble envoyasse ici un ou deux des leurs afin de regler avec le Gouvernement ou les ayant acces ce dont on pourroit convenir

ЗАПИСКИ ЕКАТЕРИНЫ II, ПРИЛОЖЕННЫЕ К ДОНЕСЕНИЮ СИМОЛИНА ОТ 26 ЯНВАРЯ 1791 г.

Архив феодально-крепостнической эпохи, Москва

(орф. подлинника). По настоянию отца Строганов выехал из Парижа в Россию 1 декабря 1790 г. и расстался с Роммом, которому Екатерина II навсегда запретила въезд в пределы России.

[4] В приложении к донесению № 48 от 20 сентября 1791 г. Симолин сообщает, что художник Соколов, проигравший свою одежду и попавший в тюрьму, отправляется на его счет в Россию.

ДОНЕСЕНИЕ ОТ 26 ЯНВАРЯ 1791 г.

[*Без №*]

Париж, 15/26 января 1791 г.

Милостивый государь,

Общество, поручившее г. бальи де Вириё передать мне записку, на которую ваше сиятельство сделали мне честь ответить 9 октября прошедшего года, пришло к соглашению относительно проекта эмиграции[1]. Этот проект передал мне на этих днях вышеупомянутый бальи. Артиллерийский офицер г. де Вант, предполагавший выехать в С.-Петербург больше месяца тому назад, отложил свой отъезд до завтрашнего утра. Я пользуюсь этим удобным случаем, чтобы переслать вашему сиятельству копию этого проекта, и рассчитываю своевременно получить на него ответ, чтобы иметь возможность сообщить его всем заинтересованным в нем лицам, которые надеются, что императрица предоставит им безвозмездно невозделанные земли.

Я не упустил из виду поручения, которое ваше сиятельство соблаговолили возложить на меня,—убеждать переселяться в Россию и поощрять к этому всех являющихся ко мне лиц, в особенности фабрикантов сукна, тонких тканей, а также других мастеров полезных ремесел, и облегчать

им переселение, выдавая под расписку столько денег, сколько, по моему мнению, им будет для этого необходимо.

В моем письме от 25 ноября (6 декабря) прошлого года я осмелился доложить вашему сиятельству, что в городе Париже совсем нет таких фабрикантов, какие были бы желательны.

Мне пришлось прибегнуть к некоторым посредникам в провинции, и я ожидаю результатов их услуг. Коронация императора во Франкфурте и Северный мир[2] подняли производство лионских фабрик, благодаря полученным ими заказам из Голландии, Германии и России. Что же касается ремесленников, то несколько человек явилось ко мне, и я прилагаю к сему предложения, переданные мне двумя из них. Одно из предложений от англичан об установке прядильных машин для хлопка и шерсти, другое касается устройства фарфоровой мануфактуры на подобие Севрской и Ангулемской. Есть также художники Севрской мануфактуры, желающие переселиться в Россию, но я еще не знаю их условий; кроме того, есть известный немецкий столяр-чернодеревщик, работавший для королевы, которого я рассчитываю отправить из Гавра с первым кораблем, условия же свои он желает сообщить в Петербурге.

Имею честь быть с почтительнейшею преданностию, милостивый государь, вашего сиятельства нижайшим и покорнейшим слугою

И. Симолин

D. R., к. 50, л. 24. Получено 19 февраля.

К донесению приложены две собственноручные записки Екатерины II на французском языке:

1

Прядильные машины для шерсти и хлопка могли бы быть полезны, особенно первые.

Фарфоровые фабрики мы имеем.

Севрских живописцев надо было бы предложить начальнику здешней фарфоровой фабрики.

Что же касается столяра-чернодеревщика, то в нем я не вижу никакой надобности.

2

Было бы хорошо, если бы эмигранты-дворяне прислали сюда одного или двух из своих, чтобы установить с правительством или с его уполномоченными, как бы лучше притти к соглашению.

[1] Приложен «Проект эмиграции»—«Projet d'émigration». В состав упоминаемого в донесении общества эмигрантов, основанного правым депутатом бальи де Вириё, входили дворяне, среди которых были и члены Национального собрания. «Лишенные состояния и звания», «желая сохранить свое дворянское достоинство» и «предпочитая иметь одного господина, чем легион тиранов» (см. вышеуказанный «проект»), они обратились к Екатерине II с просьбой предоставить им безвозмездно земли для поселения, обещаясь насаждать в России промышленность и предлагая организовать «военно-дворянскую компанию» («une compagnie de noblesse militaire»).

[2] Имеются в виду коронация Леопольда II и мир России со Швецией, заключенный в Вереле в 1790 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОНЕСЕНИЮ ОТ 28 ЯНВАРЯ 1791 г.

К № 6

Париж, 17/28 января 1791 г.

В прошедшее воскресенье при дворе был объявлен траур на восемь дней по случаю кончины герцогини Моденской.

Г-н де Вант отложил свой отъезд в С.-Петербург, и я ему вручил, кроме двух пакетов, переданных мною более шести недель тому назад, еще два пакета *А* и *Б* с брошюрами, список которых я прилагаю[1].

В понедельник была стычка из-за контрабанды между егерями, охранявшими заставы, и жителями деревни Ла Шапель, расположенной близ заставы Сен-Дени; несколько человек убито и ранено с той и другой стороны.

В среду народ сжег заставу в предместье Сен-Марсо, несмотря на то, что по толпе была открыта стрельба. Вчера наступила очередь заставы Вожирар. Говорят, что народ не хочет, чтобы существовали пошлины на предметы ввоза в город.

Во вторник вечером г. Барнав[2] донес Национальному собранию на Монархический клуб, как на подстрекателя к этим беспорядкам, и обвинил егерей в получении денег от этого клуба для совершения насилий. На другой день Клуб якобинцев разослал 15 курьеров по провинциям для распространения там этой ужасной лжи и возбуждения тем самым народа к новым преступлениям и злодеяниям. Ut in litteris.

И. Симолин

D. R., к. 50, л. 43. Получено 8 февраля.

[1] К донесению приложен список высылаемых брошюр: «Désignation des brochures envoyées à St.-Pétersbourg avec M-r de Vente, officier d'artillerie, le 15/26 janvier 1791».

[2] Barnave Жозеф-Антуан (1761—1793)—один из лидеров большинства в Национальном собрании, представлявшего интересы либерального дворянства и крупной буржуазии, член так называемого «триумвирата» (Дюпор—Шарль Ламет—Барнав), сыгравшего большую роль в попытках спасения конституционной монархии в последние годы ее существования. После «бегства в Варенн» организовал тайную переписку с Марией-Антуанеттой в расчете руководить через нее поведением короля и тем спасти монархию и принцип собственности и «положить предел революции». Раскрытие этой связи привело Барнава на гильотину.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОНЕСЕНИЮ ОТ 14 ФЕВРАЛЯ 1791 г.

К № 12

Париж, 3/14 февраля 1791 г.

Банда разбойников опустошила Шантильи[1]. Сады были вытоптаны и обезображены. Орды варваров не причинили бы бо́льшего разорения на своем пути. Парк Сильвии, хижина, зеленые рощи, фазанник, цветники—все было уничтожено.

Муниципалитет, спокойный свидетель этих ужасов, даже не вызвал кавалерийского отряда, который, впрочем, направился в лес при первом слухе об этом нашествии. Причины, по которым он не проявил деятельности, неизвестны. Декретом Национального собрания муниципалитет признан ответственным за опустошения, которым он мог бы воспрепятствовать, и обязанным возместить убытки.

Секции Парижа замышляют объединиться и воспротивиться путешествию их высочеств, теток короля, и некоторые из секций уже вынесли постановление о подаче петиции Национальному собранию, с просьбой не допускать выезда из королевства членов королевской семьи прежде, чем не будет выработана конституция, и декретировать, что все выехавшие должны вернуться в королевство в месячный срок под угрозой лишения прав.

Король, предупрежденный в субботу вечером мэром Парижа и г. де Лафайетом о том, что намереваются послать толпу торговок в Бельвю,

чтобы вернуть их высочества, его теток, в Париж и запретить им выезд из него, послал в тот же вечер за ними в Бельвю герцога де Виллекье, первого камер-юнкера королевского двора, для сопровождения их до Парижа. Вчера был у них прием. Маловероятно, что они смогут осуществить свой проект поездки на некоторое время в Рим.

Г-н де Бугэнвиль[2] вернулся из Бреста. Эскадра, назначенная в плавание к Антильским островам, отбыла. Она состоит из 6 линейных кораблей, 14 фрегатов, 3 катеров и 6 транспортов. В Бресте остались вооруженными 15 линейных кораблей, из них два трехпалубных, четыре — 80-пушечных и девять — 74-пушечных. Готовят запасы сухарей, вина и т. д. на тридцать кораблей.

Г-н де Бугэнвиль сохраняет за собой командование и вернется в Брест, если этого потребуют обстоятельства.

Г-н Морский, получивший назначение польским посланником в Мадрид, приехал в Париж и рассчитывает остаться здесь на несколько недель. Ut in litteris.

И. Симолин

D. R., к. 50, л. 133. Получено 27 февраля.

[1] Средневековый замок и дворец с парком, расположенный на притоке Уазы. Свою замечательную художественную отделку замок получил при Людовиках XIV и XV.

[2] Bougainville Луи-Антуан де (1729—1811) — знаменитый мореплаватель. Первый из французов совершил путешествие вокруг света (1766—1769). В 1790 г. был поставлен во главе брестской эскадры, но не мог восстановить дисциплину и вышел в отставку. См. дальше, в донесении от 30 ноября 1791 г., о его роли тайного королевского советника.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОНЕСЕНИЮ ОТ 4 МАРТА 1791 г.

К № 18

Париж, $\frac{\text{21 февраля}}{\text{4 марта}}$ 1791 г.

Муниципалитет Парижа недавно отдал распоряжение починить башню Венсенского замка для устройства дополнительного отделения парижской тюрьмы. Так как на ней были оставлены амбразуры и распространился слух о том, что на площадке будут поставлены пушки, часть народа вообразила, что там воздвигают крепость, угрожающую свободе, и вследствие этого в понедельник огромная толпа вооруженных людей бросилась туда, чтобы уничтожить все произведенные в башне работы.

Как только об этом волнении стало известно, тотчас же было отряжено достаточное число конных и пеших национальных гвардейцев для рассеяния бунтовщиков. Кавалерия пустила в ход сабли и разогнала мятежников, после чего можно было уже не беспокоиться, ибо их затея не могла больше иметь успеха.

40 из числа самых буйных были схвачены в толпе, а остальным предоставили возможность убежать.

Маркиз де Лафайет издал в понедельник утром приказ всем секциям держать наготове половину своих национальных гвардейцев, чтобы они могли выступить по первому удару барабана. Дворяне решили, что опасаются нового народного восстания. Они отправились к 7 часам вечера в количестве около 1 500 человек в «l'Œil-de-bœuf»[1], одни одетые, как полагалось, другие не по форме, но все при шпагах и многие с пистолетами в кармане.

Охрана дворца, которая была удвоена, довела до сведения короля о своем недовольстве выступлением дворян. Его величество вышел в

«l'Œil-de-bœuf», чтобы сказать этим господам, что, будучи уверен в их преданности к его особе, он в доказательство ее просит их сдать оружие, хотя бы пистолеты, которые он сохранит у себя до завтра. Некоторые из дворян подчинились королю и положили свои пистолеты на кресло его величества, другие же этого не сделали. Полчаса спустя видели, как вошел в кабинет короля г. де Лафайет, который, пробыв там с четверть часа, вышел оттуда, а вслед за ним, по его распоряжению, вынесли все

МИРАБО
Цветная гравюра Анжелики Брисо-Аллэ, 1791 г.
Эрмитаж, Ленинград

вышеуказанные пистолеты для сдачи их на хранение коменданту охраны дворца.

Когда люди, несшие это оружие, пересекали королевский двор, где собралась толпа народа, на них напали, и они вынуждены были отдать его первым попавшимся.

Дворян при выходе из дворца обыскала Национальная гвардия, и те, которые оставили при себе пистолеты и отказывались их сдать, подвергались оскорблениям как со стороны гвардейцев, так и со стороны народа. Они были отведены в тюрьмы Аббатства в количестве 32 человек, среди

которых есть несколько известных имен. Некоторые были отпущены, другие еще находятся там, и народ требует им возмездия.

Герцог де Пьен, первый камер-юнкер двора, преемник в этом звании своего отца, герцога де Виллекье, был сильно избит и только благодаря своему дяде, герцогу д'Омону, начальнику дивизии Национальной гвардии, был освобожден. Ut in litteris.

И. Симолин

D. R., к. 50, л. 163. Получено 15 марта.

[1] Аванзал перед парадными апартаментами в Тюильрийском дворце, в котором ожидали приема у короля. Назывался так по аналогии с аванзалом такого же назначения с круглыми окнами («l'œil-de-bœuf») в Версальском дворце.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОНЕСЕНИЮ ОТ 7 МАРТА 1791 г.

К № 19

Париж, $\frac{\text{24 февраля}}{\text{7 марта}}$ 1791 г.

В пятницу и субботу король почувствовал приступы лихорадки, вчера его величество принял рвотное, и лихорадка не повторилась. Утреннего приема не было, и мессу его величество слушал у себя в комнате.

Их высочества, тетки короля, отбыли, наконец, из Арнуа ле Дюк, и их багаж отправили вслед за ними три дня тому назад.

Камер-юнкеры королевского двора написали г. де Лафайету письмо о происшедшем в понедельник 28-го прошедшего месяца в апартаментах короля. Осмеливаюсь приложить это письмо[1]. Говорят, что г. де Лафайет им ответит. Если бы, по несчастной случайности, раздался хотя бы один пистолетный выстрел в апартаментах его величества, это повлекло бы за собой ужасную резню в Тюильрийском дворце, где головы национальных гвардейцев очень разгорячены, и неизвестно, как далеко зашли бы эти убийства. Ut in litteris.

И. Симолин

D. R., к. 50, л. 167. Получено 20 марта.

[1] К донесению приложено «Lettre de messieurs Alexandre d'Aumont, ci-devant duc de Villequier et Amedée de Durfort, ci-devant marquis de Daras, premiers gentilshommes de la Chambre du Roi».

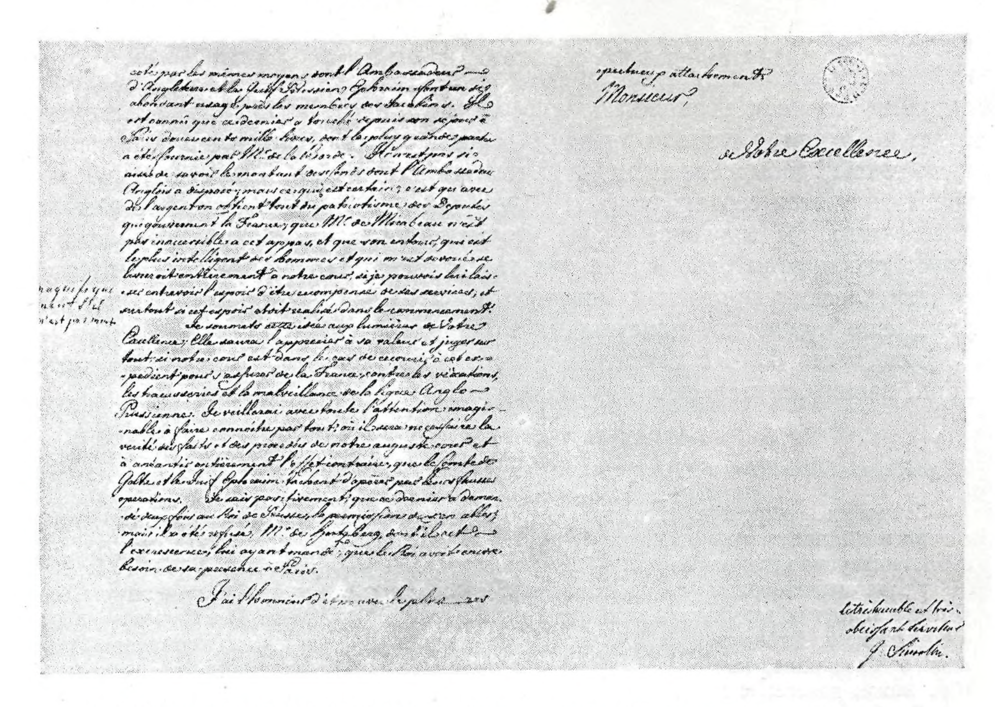
ДОНЕСЕНИЕ ОТ 1 АПРЕЛЯ 1791 г.

№ 27

Париж, $\frac{\text{21 марта}}{\text{1 апреля}}$ 1791 г.

Милостивый государь,

Я получил депешу от 11 февраля, которую ваше сиятельство сделали честь прислать мне[1] и в которой вы чрезвычайно правильно определили мотивы и действия, которые руководят кабинетом ее императорского величества и отличают его от берлинского кабинета. Я не преминул изложить все это графу де Монморену во время моей беседы с ним; он проникся истинностью всего, что я ему сказал. В то же время я расположил в свою пользу близкого друга г. де Мирабо, который руководит им во всем, что имеет отношение к внешней политике[2], чтобы познакомить его с истинным положением вещей и привлечь его сочувствие к принципам нашего двора и его действиям в несправедливой войне, которую ему навязали. Я указал, что, вследствие непреклонности врага, поддерживаемой влиянием и низкими и коварными происками дворов Лондона и Берлина' он [русский двор] вынужден продолжать эту войну, вопреки желаниям


[illegible] n'est pas mort

cela par les mêmes moyens dont l'Ambassadeur d'Angleterre et le Juif Prussien Ephraim ont fait un si abondant usage près les membres des Jacobins. Il est connu que ce dernier a touché depuis son séjour à Paris douze cent mille livres, dont la plus grande partie a été fournie par M. de la Borde. Il n'est pas si aisé de savoir le montant des fonds dont l'Ambassadeur Anglois a disposé; mais ce qui est certain, c'est qu'avec de l'argent on obtient tout du patriotisme des Députés qui gouvernent la France; que M. de Mirabeau n'est pas inaccessible à cet appas, et que son entour, qui est le plus intelligent des hommes et qui m'est dévoué, se livreroit entièrement à notre cour, si je pouvois lui laisser entrevoir l'espoir d'être récompensé de ses services, et surtout si cet espoir étoit réalisé dans le commencement.

Je soumets cette idée aux lumières de Votre Excellence; Elle saura l'apprécier à sa valeur et juger sur tout si notre cour est dans le cas de recourir à cet expédient pour s'assurer de la France contre les vexations, les tracasseries et la malveillance de la ligue Anglo-Prussienne. Je veillerai avec toute l'attention imaginable à faire connoître partout où il sera nécessaire la vérité des faits et des procédés de notre auguste cour et à anéantir entièrement l'effet contraire, que le Comte de Goltz et le Juif Ephraim tâchent d'opérer par leurs fausses opérations. Je sais positivement que ce dernier a demandé deux fois au Roi de Prusse la permission de s'en aller, mais il a été refusé, M. de Hertzberg [illegible] lui ayant mandé que le Roi avoit encore besoin de sa présence à Paris.

J'ai l'honneur d'être avec le plus [illegible] profond attachement Monsieur, de Votre Excellence, le très humble et très obéissant serviteur J. Simolin.

ДОНЕСЕНИЕ СИМОЛИНА ОТ 1 АПРЕЛЯ 1791 г. С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ СДЕЛКИ С МИРАБО

Страницы пятая и последняя. На полях помета Екатерины II

Архив феодально-крепостнической эпохи, Москва

императрицы и несмотря на то, что она идет навстречу заключению справедливого и достойного мира. Г-н де Мирабо проникся всем тем, что ему было внушено, и дал понять, что Национальное собрание не отнесется безразлично к отправлению английской эскадры в Балтийское море и что, по его мнению, в этом случае следует привести в боевую готовность эскадры в портах Франции.

Доброжелательность этого депутата, мнение которого имеет большой вес в Дипломатическом комитете, душой которого он является, была бы действеннее, если бы ее подкрепить с нашей стороны теми же средствами, какие широко применяют в отношении депутатов-якобинцев английский посол и прусский еврей Эфраим[3]. Известно, что этот последний истратил за время своего пребывания в Париже 1 миллион 200 тысяч ливров, большая часть которых была доставлена г. де Ла Борд[4]. Не так-то легко узнать сумму, которой располагал английский посол, но несомненно одно, что посредством денег можно получить все от патриотизма депутатов, управляющих Францией, что г. де Мирабо не недоступен для этой приманки*, а его друг, человек очень умный и преданный мне, будет всецело на стороне нашего двора, если я смогу ему подать надежду на вознаграждение за его услуги и, особенно, если эта надежда получит свое осуществление в самом начале.

Я представляю эту мысль на усмотрение вашего сиятельства. Вы сумеете оценить ее по достоинству и решить, в состоянии ли наш двор прибегнуть

---

* На полях около этих слов собственноручная помета Екатерины II на французском языке: «Проявить щедрость, если он не умер»[5].

к этому средству, чтобы расположить к себе Францию, ввиду притеснений, придирок и недоброжелательства англо-прусской лиги. Я приложу старание со всем возможным вниманием к тому, чтобы везде, где это будет необходимо, узнали правду о действиях и методах нашего августейшего двора, дабы совершенно уничтожилось неверное представление, которое стремятся создать граф де Гольц[6] и еврей Эфраим своими лживыми действиями. Я наверное знаю, что этот последний два раза просил у прусского короля разрешения уехать, но ему отказали. Г-н де Герцберг[7], паразитическим придатком которого он является, сообщил ему, что королю еще нужно его присутствие в Париже.

Имею честь быть с почтительнейшею преданностию, милостивый государь, вашего сиятельства нижайшим и покорнейшим слугою

И. Симолин

D. R., к. 50, л. 240 б. Получено 10 апреля.

[1] Сохранился отпуск этой депеши Остермана (с карандашными пометами Екатерины), содержащей предложение Симолину «разоблачить интриги берлинского двора». На обороте отпуска дата отправления—11 февраля («Dépêches-expédition» за 1791 г. без №).

[2] Сопоставление ряда фактов, известных из обширной мемуарной литературы, переписки и других документов того времени, с письмом Екатерины II к Гримму о влиянии епископа Отёнского на Симолина убеждает в том, что здесь, несомненно, речь идет о Талейране, которого Симолин сумел оценить по достоинству и подкупить. (Ср. ниже, донесение от 27 мая 1791 г. и прим. 3-е к нему).

[3] Ephraim—секретный агент прусского короля. В приложении к донесению от 7 января 1790 г. Симолин сообщает о его приезде в Париж и совещаниях с Монмореном и якобинцами, очевидно, со сторонниками Бриссо и Дюмурье, ориентировавшимися не на Австрию, а на Пруссию. В донесениях за 1791 г. от 22 и 25 июля сообщается о временном аресте Эфраима и о бумагах, взятых у него при обыске. Однако, и в 1792 г. Эфраим поддерживал связь с прусским посланником.

[4] La Borde Жан-Бенжамен, маркиз де (1724—1794)—банкир Людовика XV, музыкант и писатель. Во время семилетней войны давал взаймы государству огромные суммы и получил от короля должность откупщика (fermier général). При его посредстве проводился ряд операций в целях контрреволюции. Не только Мирабо, но и Барнав имели с ним «дела» и «связи». Был гильотинирован в 1794 г.

[5] Известно, что в это время Мирабо был уже подкуплен королем. О серьезной болезни Мирабо Екатерина II узнала из одновременно полученного приложения Симолина к публикуемому донесению (см. ниже).

[6] Goltz Бернгард-Вильгельм, граф фон дер (1730—1795)—прусский посланник во Франции (1772—1792).

[7] Hertzberg Эвальд-Фридрих, граф (1725—1795)—прусский статс-секретарь по иностранным делам.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОНЕСЕНИЮ ОТ 1 АПРЕЛЯ 1791 г.

К № 27

Париж, $\frac{\text{21 марта}}{\text{1 апреля}}$ 1791 г.

Г-н Мирабо настолько сильно захворал, что в продолжение нескольких часов он был в большой опасности; пульс стал перемежающимся и судорожным, и появились боли во всей груди. Головная боль ночью становилась все сильнее, язык обложило, и больного лихорадило.

После беседы моего друга с г. де Мирабо последний пожелал встретиться со мною у себя; день был уже назначен, но болезнь помешала этой встрече. Насколько его смерть была желательна два года тому назад, настолько теперь потеря его гибельна, так как облегчит исполнение пагубных и ужасных планов заговорщиков, которым этот депутат препятствовал. Г-н де Мирабо умирает, и в настоящий момент он безнадежен. Хин-

ная корка, которую ему прописали, не оказала никакого действия. Он умирает так несвоевременно, что все честные люди принуждены сожалеть о нем. Ut in litteris.

И. Симолин

D. R., к. 50, л. 240 а. Получено 10 апреля.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОНЕСЕНИЮ ОТ 4 АПРЕЛЯ 1791 г.

К № 30

Париж, $\frac{\text{24 марта}}{\text{4 апреля}}$ 1791 г.

Известие о смерти г. де Мирабо вызвало глубокое чувство скорби; по предложению, сделанному в Пале-Роаяле, дюжина повес распорядилась о прекращении всех спектаклей, что было исполнено, ко всеобщему удивлению. Секретарь г. де Мирабо, вынужденный за несколько часов до его смерти отдать брошенный им в пепел камина ключ от бюро, нанес себе три раны перочинным ножом, из которых одна довольно серьезная. Он был арестован[1]. Партия принца Орлеанского и Ламетов, которую сдерживал этот необыкновенный человек, проявила в тот же день неприличную радость. Говорят, Мирабо сказал, что с ним будет погребена монархия. Он с большим мужеством ждал приближения смерти, и до самых последних минут свойственная ему твердость не изменила ему.

Труп г. де Мирабо был вскрыт в присутствии сведущих медиков, чтобы прекратить распространяемые слухи о причинах его смерти. Внутренняя гангрена проявилась в полном охлаждении конечностей, длившемся в течение более сорока восьми часов; повидимому, закупорка каутера[2] была основной причиной его болезни.

По случаю смерти Мирабо муниципалитет объявил траур на три дня, и 12 его членов с г. мэром во главе отправятся на погребение.

Дофин был нездоров, у него был насморк и небольшая лихорадка. Королева сказала на вчерашнем приеме, что ему гораздо лучше и что его болезнь была незначительной. Ut in litteris.

И. Симолин

D. R., к. 50, л. 249. Получено 17 апреля.

[1] По версии Луи Блана, требование умирающего Мирабо дать ключи от бюро его секретарь Comps отказался выполнить. Заподозренный в краже принадлежащих Мирабо денег, Comps покушался на самоубийство в момент, когда запертая им изнутри дверь комнаты была взломана полицией. В позднейшей специальной монографии о Мирабо (Альфреда Штерна, 1900 г.) не подтверждается эпизод с ключами, но говорится, что покушение на самоубийство этого секретаря дало лишний повод для распространения слухов об отравлении Мирабо. Рассказывая о приходе Ла Марка, друга умирающего, и об изъятии и сожжении им с помощью другого секретаря, Pellenc, компрометирующих Мирабо документов, Штерн называет Comps одним из «интимнейших друзей» трибуна. Автор новейшей работы о Мирабо, O. Meunier («Autour de Mirabeau», 1926), на основании ряда неизданных документов освещает вопрос в том смысле, что Combs (sic!) был одним из всецело преданных Мирабо людей и что «неудивительно, если смерть такого патрона (maître) привела его секретаря в состояние отчаяния». Вопрос этот, однако, следует считать до сих пор не разрешенным.

[2] Каутер — искусственно поддерживаемая рана, дающая выход гною; распространенный в то время метод лечения воспалительных процессов.

ДОНЕСЕНИЕ ОТ 10 АПРЕЛЯ 1791 г.

№ 33

Париж, $\frac{\text{30 марта}}{\text{10 апреля}}$ 1791 г.

Милостивый государь,

Получив с последней почтой депешу, которую ваше сиятельство сделали мне честь отправить 1 марта, я могу только известить об ее получении

и довести до вашего сведения, что я сообщил г. бальи де Вириё совет, который был дан обществу, составившему план эмиграции, о посылке одного или нескольких доверенных лиц в С.-Петербург для того, чтобы выяснить, какое количество земли может быть предоставлено обществу, и другие относящиеся сюда вопросы, а также договориться с правительством или его уполномоченными, чтобы лучше притти к соглашению[1].

Г-н де Вириё нашел этот совет разумным и превосходным во всех отношениях и обещал известить об этом одного из членов общества, депутата Национального собрания, чтобы он договорился с остальными членами товарищества. Г-н де Вириё обещал сообщить мне результаты их решения, как только оно будет принято.

Я продолжаю осведомляться о прядильных машинах для шерсти и хлопка. Я узнал, что в Орлеане, Руане, Лионе и других городах их применяют и находят очень полезными. Одна такая машина, сделанная Перрье в Париже, стоит 12 тысяч ливров. В Орлеане прядут до 600 фунтов хлопка в день, причем работают 5—6-летние дети, которые получают по 2 су в день каждый.

Как только я соберу все необходимые сведения и переговорю с лицами, сделавшими мне это предложение, я не премину сообщить обо всем вашему сиятельству. Я постараюсь также получить чертеж этой машины, если его возможно получить, пообещав небольшое вознаграждение.

Я боюсь, что будет очень трудно построить такую машину только по чертежу, и, быть может, понадобится модель в том случае, если не захотят заказать машину г. Перрье.

Относительно живописцев с Севрской фабрики, предложивших свои услуги, я подожду распоряжений вашего сиятельства, чтобы сообразовать с ними свои действия.

Что касается столяра-чернодеревщика, выразившего желание переехать в С.-Петербург, то я его отпустил, сказав ему, что если он хочет, он может ехать в Россию искать применения своих знаний и таланта, но что он не должен рассчитывать при этом, что в отношении его будут приняты какие-либо обязательства и что ему оплатят дорогу.

Я горячо желаю успешно выполнить все поручения, которые ее императорское величество соблаговолили возложить на меня, чтобы заслужить всемилостивейшее ее одобрение, которым ей угодно было наградить мое рвение.

Подполковник г. Болтс, которому покойной императрицей Марией-Терезией и покойным императором было поручено учреждение различных заведений в Восточной Индии и который в 1786 г. заключил договор с шведским королем, передал мне мемуар и копию вышеупомянутого договора, которые ваше сиятельство найдете приложенными к сему[2]. Г-н Болтс просил меня передать этот мемуар нашему двору вместе с предложением услуг, ввиду того, что он совершенно свободен и готов привести в исполнение по отношению к России тот план, который он предлагал Швеции, на тех же условиях, какие установлены в вышеупомянутом договоре[3].

Представляя этот мемуар на мудрое и просвещенное усмотрение ее императорского величества, я прошу ваше сиятельство осчастливить меня ответом, который я мог бы передать г. Болтсу, предполагающему жить в Париже до тех пор, пока этот ответ не будет получен. Если его предложение бу-

дет принято, то он рассчитывает сам отправиться в С.-Петербург, чтобы приступить к исполнению своего плана.

Имею честь быть с почтительнейшею преданностию, милостивый государь, вашего сиятельства нижайшим и покорнейшим слугою

И. Симолин

D. R., к. 50, л. 262 а. Получено 17 мая.

ЛЮДОВИК XVI

Миниатюра на кости Шарля Берни

Эрмитаж, Ленинград

[1] Совет исходил от Екатерины II. См. выше ее записку, приложенную к донесению от 26 января 1791 г. Об обществе эмигрантов см. это же донесение.

[2] К донесению приложены: 1) «Mémoire de la part du Sr. Guillaume Bolts, Lieutenant Colonel, ci-devant au service de l'Empereur, soumis à la considération de Son Excellence Monsieur de Simolin—ministre plénipotentiaire de Sa Majesté de toutes les Russies». 2) «Convention entre S. M. le Roi de Suède et le Sr. Guillaume Bolts, faite au Château d'Upsal le 1-er novembre l'an 1786».

[3] Болтс предлагал в целях создания противовеса торговле Англии учредить на одном из островов Индийского океана факторию для торговли с Восточной Индией. Шведский король, подписавший соглашение с Болтсом 1 ноября 1786 г., отказался от выполнения плана, предложенного Болтсом, ввиду начавшейся войны с Россией.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОНЕСЕНИЮ ОТ 6 МАЯ 1791 г.

К № 41

Париж, 25 апреля / 6 мая 1791 г.

Булла папы[1] к архиепископам и епископам, членам Национального собрания Франции, по поводу декретированного Собранием гражданского устройства духовенства, наконец, получена несколько дней тому назад. Вторая булла папы от 13 апреля тоже появилась уже во вторник. Она обращена ко всем кардиналам, архиепископам, епископам, духовенству и народу Франции. Обличив присягнувших епископов, как виновников раскола, папа касается истории своей переписки с королем, который не санкционировал бы гражданского устройства духовенства, если бы его не толкало на это и не принуждало некоторым образом Национальное собрание, как то удостоверяют, по словам папы, письма, написанные ему королем 28 июля, 6 сентября и 6 декабря. Вследствие этого объявляется, что все епископы, которые не отрекутся от своей присяги в течение сорока дней, считая от даты буллы, будут лишены своего сана и дальнейшее исполнение ими своих обязанностей будет признано незаконным. Далее указывается, что новые выборы должны рассматриваться, как незаконные и нечестивые; что эти епископы навлекут на себя отрешение от должности и что они должны будут воздерживаться от исполнения своих епископских обязанностей под угрозой отлучения. Наконец, запрещается принимать какой-либо сан и производить рукоположения, которые будут аннулированы. Папа объявляет, что если в течение назначенного времени не произойдет подчинения самозванных епископов, чего он ждет от них, они уже не будут избавлены от канонических наказаний, ими на себя навлеченных, и что после установленного срока они будут подвергнуты отлучению, объявлены раскольниками в католической церкви и лишены причастия под обоими видами.

Римский двор неудачно выбрал момент для своих угроз и метания молний против новой доктрины. Он будет очень удивлен, узнав о расправе, уже учиненной над буллой в прошлый вторник в саду Пале-Роаяля. Там установили изображение Пия VI — большой манекен, одетый в белый стихарь, обшитый кружевами, в красную мантию, окаймленную белым мехом, с такой же шапочкой на голове и в малиновых туфлях. На пальце у манекена было пастырское кольцо и на его груди наперсный крест. Один из присутствовавших прочел обвинительную речь от имени нации против представленного здесь папы; он указал в ясных выражениях все несчастия, которые причинит булла, если нация, нарушив установленные ею самой законы, примет ультрамонтанские принципы, развиваемые буллой. Заключение было таково: «Пастырское кольцо будет снято с пальца, наперсный крест с груди, и они будут сохранены в надежном месте, в знак уважения нации к католической религии, а после этого манекен будет сожжен». Этот приговор огласил некий г. де Сент-Юрюж[2]. Затем манекен понесли к цирку, там к нему прикрепили две надписи: одну спереди — со словом ф а н а т и з м, другую сзади — со словами г р а ж д а н с к а я в о й н а; вместо пастырского кольца манекену вложили в руку кинжал. В то время, как складывали костер из соломы, люди, вооруженные палками, наносили ими удары по голове манекена, и, наконец, он был сожжен вместе с буллой при радостных криках собравшихся.

Отъезд графа де Сегюра в Рим, в качестве посла, не состоится. Папа отказал ему в приеме за принятие гражданской присяги без всяких ого-

ворок. Граф де Монморен написал нунцию, что король отказывается понимать поведение папы, что он имеет самое твердое намерение посылать только принесших присягу послов и что, если Пий VI не откажется от такого легкомысленного акта, разрыв между Римом и Францией неизбежен.

Уже два дня говорят о предстоящей отставке графа де Монморена и называют его преемником графа де Шуазёль-Гуффье[3], посла в Константинополе, который будет замещен г. де Мустье[4], полномочным министром в Берлине, или, как говорят другие, ушедшим в отставку морским министром, г. де Флёрьё[5].

Г-н Булгаков[6] известил меня вчера о значительной победе корпуса под начальством генерал-лейтенанта князя Голицына[7], одержанной 26 марта за Дунаем над турецкими войсками трехбунчужного паши, пользующегося большим доверием нового визиря, и о взятии города Мачина, которым наши войска овладели 28-го вышеуказанного месяца.

Я умоляю ваше сиятельство соблаговолить повергнуть к стопам ее императорского величества мои почтительнейшие поздравления с новыми успехами ее оружия и принять также искреннейшие приветствия по поводу события, тем более значительного, что победа одержана в начале правления визиря Юсуфа-паши, на которого турки возлагали свои последние надежды. Ut in litteris.

И. Симолин

D. R., к. 50, л. 63. Получено 17 июня.

[1] Пия VI (1775—1799).

[2] Saint-Huruge Виктор-Амедей, маркиз де (1750—1810)—популярный оратор, часто выступал в Пале-Роаяле.

[3] Choiseul-Gouffier Мари-Габриэль, граф де (1752—1817)—ученый, археолог и дипломат, игравший видную роль во взаимоотношениях России с Турцией и Францией. Получив в 1784 г. пост посла в Константинополе, содействовал установлению более мирных отношений Порты с Россией. К революции отнесся настолько враждебно, что вступал в переписку непосредственно с французским послом в России, Сегюром, минуя Монморена. Назначенный в 1791 г. послом революционного правительства в Лондоне, отклонил это назначение и остался в Константинополе, посылая свои донесения принцам-эмигрантам. Наконец, переехал в Россию, где Павлом I был поставлен во главе управления Академией художеств и Императорской библиотекой. Вернулся во Францию в 1802 г. и после Реставрации получил министерский портфель, пэрство и кресло в Академии.

[4] Moustier или Moutier Эли-Франсуа, граф де (1751—1817)—посол при курфюрсте Трирском, затем в САСШ (1787), посланник в Берлине (1790—1791). От предлагавшегося ему в 1791 г. Людовиком XVI портфеля министра иностранных дел дважды отказывался. Тайно вел переговоры от имени Людовика XVI с прусским королем по вопросам интервенции. Пост посланника в Константинополе вместо Шуазёль-Гуффье принял, но вскоре отказался и был послан в Неаполь. После 10 августа был одновременно представителем эмиграции у коалиционных держав. Переписка его была перехвачена генералом революционной армии Келлерманом, и 27 октября 1792 г. был издан против него обвинительный декрет. В эмиграции играл роль тайного посла графа Прованского при европейских дворах.

[5] Fleurieu Шарль-Пьер, позднее граф де (1738—1810)—морской офицер и крупный ученый гидрограф и географ; в 1776 г. был назначен Людовиком XVI на созданный специально для него пост генерального директора гаваней и арсеналов. Успехи французов в войне за американскую независимость приписываются в значительной степени его оперативным планам. С 27 октября 1790 г. по 17 мая 1791 г.—морской министр, а затем гувернер дофина, пост, на который претендовал Монморен и за который Флёрьё поплатился 14-месячным тюремным заключением. После 9 термидора вернулся к научной и политической деятельности в качестве члена Института, сенатора и пр.

[6] Булгаков Яков Иванович (1743—1809)—дипломат, с 1781 г. полномочный посол в Константинополе, добился у Порты признания присоединения Крыма к России,

в 1787—1789 гг. сидел в заключении в Семибашенном замке, по возвращении в Петербург был щедро награжден, в 1793 г. назначен послом в Варшаву.

[7] Голицын Сергей Федорович, князь (1743—1810) — видный военный деятель Екатерины II, участник турецких войн, впоследствии генерал-губернатор Риги и член Государственного совета.

ДОНЕСЕНИЕ ОТ 27 МАЯ 1791 г.

№ 49

Париж 16/27 мая 1791 г.

Милостивый государь,

Со времени получения шифрованной депеши вашего сиятельства от 17 апреля[1] я, не теряя ни минуты, старался употребить в дело доступные мне меры воздействия[2], чтобы побудить Францию, через Дипломатический комитет, произвести вооружения, могущие внушить страх Англии и заставить ее отказаться от замыслов, которые она имеет против нас. Мне уже удалось расположить преемника г. де Мирабо в вышеупомянутом комитете к точке зрения и образу мыслей покойного[3], а также и к цели, которую мы должны себе поставить. Надежды, которые я, с вашего разрешения, подал всем желающим содействовать видам и намерениям ее императорского величества, и знаки ее щедрости и великодушия подействовали сильнее на умы, чем соображения о самых насущных интересах Франции, которые, казалось бы, должны были побудить Дипломатический комитет предложить Национальному собранию те меры предосторожности, сознанием необходимости которых я пытался возбудить их патриотизм. Усилия, направленные в течение двух недель на достижение намеченной цели, не могли преодолеть малодушного сопротивления министра иностранных дел, с которым комитет должен был согласовать свои действия. То он возражал, что, благодаря этому, английский министр[4] получил бы возможность блестяще выйти из теперешних своих затруднений и мог бы обратить против Франции свои военные приготовления, повод для которых, выставляемый ныне, вызвал нечто в роде всеобщего неодобрения со стороны нации; при этом он прибавлял, что при том положении, в котором Франция находится, было бы крайне неполитично подать повод к малейшему столкновению. То министр говорил, что мир между императрицей и Портой скоро будет заключен, что с предложениями мадридского двора, повидимому, соглашаются обе заинтересованные стороны и что Россия удовлетворится разрушением Очакова и окончательной гарантией овладения Крымом, вследствие чего вооружение Франции явилось бы запоздалым и излишним по отношению к императрице и опасным по отношению к Англии, так как оно означало бы недостаток доверия к официальному заявлению, сделанному здесь два месяца назад английским послом.

Однажды он заметил членам вышеупомянутого комитета, и именно тем из них, которые целиком на моей стороне, что флот еще слишком заражен духом неповиновения, чтобы рисковать компрометацией офицеров, из которых едва ли кто согласится взять на себя командование вышедшим из повиновения экипажем, способным, быть может, выбросить в море своих командиров. Он прибавил при этом, что, пока организация флота еще не декретирована, было бы невероятно затруднительно произвести вооружение и что ничто не может сравниться с позором, который принес бы провал этой операции.

На это были даны следующие ответы:

Во-первых, что если два месяца тому назад было выражено полное доверие декларации английского посла, то обстоятельства могли измениться, особенно с тех пор, как французским колониям угрожают новые мятежи, могущие вызвать алчность англичан либо соблазнить Англию взять реванш за освобождение Америки, и что торговля требует в этом отношении обеспечения.

Во-вторых, что предложенная мера предосторожности была бы обоюдной, что она нисколько не втягивала бы Англию в политику континента, а свидетельствовала бы о бдительности, доказывающей, что нация совсем не потеряла и не предполагала терять ни своей энергии, ни своего влияния в международных делах.

В-третьих, что значительное вооружение, объявленное в настоящий момент, было бы действительным средством для ускорения организации личного состава флота и явилось бы мерой побуждения для офицерства отправиться в свои части, чтобы дисциплинировать их и получше узнать тех, кто должны быть исключены из нового состава.

И, наконец, в-четвертых, что уважение, которое было бы этим мероприятием некоторым образом оказано ее величеству императрице, не явилось бы лишним как раз теперь, когда она поручила своему послу предложить его, и что вообще нация расположена укрепить с этой державой связи, обоюдную полезность которых она признает.

В среду третьего дня министр был, наконец, поколеблен, и комитет решился. Один из членов Дипломатического комитета набросал с моим другом доклад, который он должен был сделать в тот же вечер в комитете, равно как и текст речи, с которой он выступит в Собрании, чтобы изло-

à Paris le 22. Juin 1791.

Vous êtes informé, Monsieur, que le Roi s'est absenté de Paris avanthier durant la nuit. L'incertitude du lieu de la retraite de Sa M.té a mis l'Assemblée Nationale dans le cas de prendre des mesures relativement au Département Politique, et Elle vient de m'autoriser à vous mander que la volonté de la Nation françoise est de continuer avec l'Impératrice de Russie la correspondance d'amitié et de bonne intelligence qui a existé jusqu'à présent. Je ne doute pas, Monsieur, de votre empressement à transmettre cette détermination amicale à votre Cour.

J'ai l'honneur d'être avec un sincère attachement, Monsieur, Votre très humble et très obéissant Serviteur.

Montmorin

M. de Simolin

ПИСЬМО МОНМОРЕНА К СИМОЛИНУ
ОТ 22 ИЮНЯ 1791 г.

Архив феодально-крепостнической эпохи, Москва

жить ему желание комитета и предложить декретировать немедленное вооружение тридцати пяти линейных кораблей и соответствующего числа фрегатов, так же как и отправку чрезвычайного посланника в Лондон для объявления там этого решения, вызванного беспокойством за французскую торговлю, и с просьбой дать объяснения о мотивах английских вооружений.

Это решение требовало больших усилий. До сих пор все, казалось, шло как нельзя лучше, но на вечернем заседании комитета в среду герцог Дю Шатле[5] с яростью выступил против предложения этой меры, заявляя, что это было бы объявлением войны Англии, скомпрометировало бы Францию и имело бы опасные последствия. Хотя другие члены комитета сумели дать должную оценку надоедливой болтовне этого посланника, но, не собрав большинства в комитете, они, однако, сочли нужным отложить внесение этого предложения в Национальное собрание.

Главные ораторы Собрания—г. Боме[6], Ле Шапелье[7] и многие другие—приготовились поддерживать предложение комитета, содействовать его принятию и декретированию.

Спешу доложить вашему сиятельству о теперешнем положении вещей, причем если последует решение комитета и если будет возможность преодолеть сопротивление г. Дю Шатле, что решится через четыре-пять дней, то я отправляю эстафету. Мои друзья с тем же рвением стараются довести это дело до счастливого успеха, но гарантировать его невозможно.

Я не смог заставить их уменьшить вознаграждение, которое они желали бы получить за свое усердие. Они дали мне почувствовать, что всецело полагаются на врожденную и всем известную щедрость ее императорского величества; но, каков бы ни был успех этих переговоров, я не могу не рекомендовать особому благоволению императрицы того, кто служит мне с такой проницательностью, преданностью и умом. Он является душой Дипломатического комитета, благодаря своим тесным связям с его членами. Если г. де Шуазёль-Гуффье получит департамент иностранных дел, то возможно, что он будет иметь на него очень большое влияние через г. епископа Отёнского, который играл решающую роль при его назначении в министерство, поскольку сам он не мог к нему стремиться из-за декрета Собрания, направленного против него. Я более чем когда-либо сожалею о смерти г. де Мирабо: он смог бы преодолеть препятствия, которые создали г. Дю Шатле и г. де Монморен к выполнению его плана, и увлек бы их вопреки их воле.

Если Испания решится на вооружение, то, вероятно, и Франция также вооружится.

Имею честь быть с почтительнейшею преданностию, милостивый государь, вашего сиятельства нижайшим и покорнейшим слугою

И. Симолин

D. R., к. 50, л. 117. Шифровано. Получено 7 июня.

[1] В депеше Остермана от 17 апреля 1791 г. Симолину предписывалось побудить Францию в ответ на вооружение Англии мобилизовать внушительную эскадру («Dépêches-expédition»).

За энергию, проявленную Симолиным в данном направлении, ему было выражено в особом рескрипте от 26 мая (6 июня) 1791 г. «высочайшее одобрение». Кроме того, в рескрипте объявлялось повеление Екатерины II выплачивать Симолину сверх оклада шесть тысяч рублей в год и перевести ему 350 тысяч ливров на расходы по

приисканию людей «отличных и способных для службы». «Rescrits-expédition» за 1791 г., к. 50.

2 Симолин имеет в виду меры воздействия через подкупленных им лиц, осведомителей («mes canaux»).

3 В «Dépêches-expédition» за 1791 г. (л. 29) сохранился отпуск депеши Симолину без даты с предложением установить сношения с видными депутатами Национального собрания и расположить в свою пользу преемника Мирабо. В секретном письме к Екатерине II от 12 апреля 1791 г. (ГАФКЭ, I отд., VII, № 2769, лл. 10—18) Симолин сообщает, что этим «преемником» Мирабо в Дипломатическом комитете явился Талейран («C'est M-r l'Evêque d'Autun qui a remplacé M-r de Mirabeau dans le Comité diplomatique»), что Симолин имел с ним свидание и Талейран обещал оказывать свое содействие планам Екатерины II. На этом же свидании был поднят вопрос о вооружениях Франции, причем Талейран сообщил Симолину, что ярым

АРЕСТ ЛЮДОВИКА XVI В ВАРЕННЕ

Современная гравюра неизвестного мастера

Эрмитаж, Ленинград

противником этих вооружений был герцог Дю Шатле (см. об этом в нижепубликуемом донесении № 51 от 30 мая 1791 г.).

4 Pitt (младший, 1759—1806)—английский премьер-министр Вильям Питт, известный вдохновитель коалиции против революционной Франции.

5 Du Châtelet Луи-Мари, герцог (1727—1793) —член Учредительного собрания и Дипломатического комитета. Был посланником в Австрии, затем в Англии. Имел репутацию исключительно честного человека и в комитете являлся, повидимому, единственным неподкупным его членом.

6 Beaumetz Альбер-Мари-Огюст, маркиз де (1759—1809)—один из лидеров конституционной партии. После 10 августа эмигрировал.

7 Le Chapelier Исаак-Рене, герцог де (1754—1794)—один из крупных ораторов и деятелей Национального собрания, инициатор организации Национальной гвардии, редактор декрета об уничтожении феодальных прав и привилегий; известен больше всего, как автор закона против рабочих коалиций (14 июня 1791). После бегства короля в Варенн он, Барнав и другие умеренные конституционалисты вышли из Якобинского клуба (15 июля), организовав Клуб фейянов. По его инициативе проведен был декрет 29 сентября 1791 г. об ограничении деятельности клубов, оставшийся, однако, без применения.

ДОНЕСЕНИЕ ОТ 30 МАЯ 1791 г.

№ 51

Париж, 19/30 мая 1791 г.

Милостивый государь,

Во время моей беседы с графом де Монмореном два дня тому назад этот министр мне сказал, что Дипломатический комитет совещался о вооружении портов Франции и что комитет считает это предложение несвоевременным в момент, когда появилась надежда, что мир между Россией и Турцией может быть заключен без посредников и в очень короткий срок; что эта мера была бы хороша, если бы Франция прибегла к ней в то время, когда Англия начала вооружаться, но что теперь она дала бы предлог союзным дворам обойти обещания помощи, сделанные ими Порте, внушив ей, что Франция препятствует осуществить эту помощь своими вооружениями; это могло бы помешать графу Шуазёль-Гуффье установить прямые переговоры между воюющими сторонами и сделать эти переговоры бесплодными.

Граф де Монморен повторил мне, что он написал в Испанию, с целью согласовать вооружения Франции с вооружениями мадридского двора, для придания им большего веса, и если бы мадридский двор на это решился, то Франция поступила бы так же. В портах, по его словам, создается такое положение, что в течение трех-четырех недель смогут выйти в море тридцать линейных кораблей; наконец, он настаивал на своем утверждении, что ни в Лондоне, ни в Берлине не хотят войны и что все демонстрации обоих дворов сделаны были без всяких оснований, в уверенности, что твердость петербургского двора будет поколеблена одними угрозами и приготовлениями; но, увидев, что их ожидания напрасны, они, как будто, перешли к более миролюбивым предложениям.

Это герцог Дю Шатле своим противодействием поколебал усердие и добрые намерения членов Дипломатического комитета, вполне расположенных к нашему двору, и хотя казалось, что граф де Монморен в среду колебался, однако, два дня спустя он уже придерживался мнения этого сварливого и болтливого герцога, который, как и покойный герцог де Шуазёль[1], полон желчи и ненависти по отношению к нашему двору и не способен понять, что новое положение вещей должно вызвать новые политические комбинации. Ответ мадридского двора определит решение французского, но малодушие графа де Монморена заставляет меня опасаться, как бы он не разубедил испанский кабинет теми соображениями о плане вооружений, которых сам он придерживается, желая избавить от вооружения Францию, чтобы не навлечь на нее вражды британского министерства.

Первый секретарь канцелярии иностранных дел, г. де Рейневаль, трепещет при мысли, что Франция вооружится, и потому старается подкрепить опасения министра и поддержать его колебания.

Имею честь быть с почтительнейшею преданностию, милостивый государь, вашего сиятельства нижайшим и покорнейшим слугою

И. Симолин

D. R., к. 50, л. 137. Шифровано. Получено 11 июня.

[1] Choiseul Этьен-Франсуа, герцог де, ранее известный, как граф Стэнвиль (1719—1785)—военный деятель, дипломат. Фактический руководитель политики Франции с 1758 г., когда получил пост министра иностранных дел и вслед затем портфель военного министра. Восстановил влияние Франции в Европе, провел ряд полезных реформ. В Турции вел политику, направленную против завоевательных планов России, и противодействовал ее польской захватнической политике.

ДОНЕСЕНИЕ ОТ 23 ИЮНЯ 1791 г.

№ 58

Париж, 12/23 июня 1791 г.

Милостивый государь,

Во вторник утром[1] в восемь с половиной часов распространилась весть, что король, королева, дофин, ее высочество дочь короля и принцесса Елизавета удалились ночью и их не нашли во дворце. Тотчас же г. мэр и г. де Лафайет отправились туда, и факт этот был удостоверен.

В 9 часов была поднята тревога: из пушек, установленных на Новом мосту, дали залп, ударили в набат, забили общий сбор, и вся Национальная гвардия была поставлена на ноги.

Муниципалитет собрался и выработал полицейский регламент о мерах сохранения порядка, который члены муниципалитета в шарфах, по установленной форме, сопровождаемые Национальной гвардией, отправились огласить в разные кварталы столицы.

Около десяти часов распространился слух, что король арестован в Мо, но этот слух впоследствии не подтвердился.

Собравшиеся секции приняли различные постановления о поддержании порядка и наблюдении за общественным спокойствием.

Их высочества—Monsieur, брат короля, с супругой—также уехали инкогнито. Предполагают, что королевская семья направилась через Компьен, где, думают, она встретит отряд, который должен будет их сопровождать, но нет ничего менее достоверного, чем этот слух.

Национальное собрание заседает день и ночь, и заседания его прерывались лишь на несколько часов.

Чтобы осведомить ваше сиятельство обо всех предложениях, сделанных по этому случаю в Собрании, и о вынесенных декретах, я беру на себя смелость приложить №№ 474, 475 и 476 газеты «Postillon par Calais», с точными отчетами обо всем, и сослаться на них[2].

Во вторник г. испанский посол[3] довел до моего сведения, что, ввиду создавшегося положения, при таких критических, невыясненных обстоятельствах, было бы более приличествующим и даже необходимым для чести и безопасности дипломатического корпуса придерживаться однообразного направления в своем поведении и что он послал г. Монморену письмо с просьбой сообщить о его намерениях на этот счет. Ответ этого министра гласит, что он намерен тотчас же отправиться в Национальное собрание, чтобы получить его распоряжения, и уверен, что они будут вполне удовлетворительными при настоящих ужасных обстоятельствах.

Вчера вечером я получил письмо от графа де Монморена, копию которого спешу переслать вашему сиятельству; он пишет, что уполномочен сообщить мне волю французской нации поддерживать с ее императорским величеством дружеские взаимоотношения и доброе согласие, существовавшие до сих пор[4].

В продолжение вчерашнего дня несколько раз распространялись слухи об аресте короля, однако, они тотчас же опровергались, но в девять часов вечера в зал Национального собрания вошел курьер и передал председателю несколько писем, которые и были зачитаны. Они извещали, что король и его семья арестованы в Варенне, небольшом местечке в 7 или 8 милях от люксембургской границы. Я прилагаю «Postillon par Calais» № 477 с сообщениями о сделанных предложениях и вынесенных декретах, касающихся этого важного события.

Г-н де Буйе[5] отстранен от командования, и отдано распоряжение администрации арестовать его и препроводить в Шалон.

Эта же газета передает также основное содержание обращения Национального собрания к французам, которое должно служить опровержением воззвания короля[6], переданного Собранию во вторник утром г. де Ла Портом[7].

Отправление курьеров опять задержано, и Собрание постановило, что все лица, выезжающие из Парижа, будут арестовываться. Возможно, что и по отношению к обычной почте, везущей письма, также не будет допущено никаких снисхождений.

Имею честь быть с почтительнейшею преданностию, милостивый государь, вашего сиятельства нижайшим и покорнейшим слугою

И. Симолин

D. R., к. 50, л. 183. Получено 1 июля.

[1] 21 июня нов. ст.

[2] Указанные номера «Postillon par Calais» приложены к донесению.

[3] Фернан-Нуньес (Fernàn-Nûñez) Карл-Хозе, граф (1778—1821)—дипломат, с 1787 г. испанский посланник в Париже; после бегства Людовика XVI в Варенн и его ареста был отозван со своего поста.

[4] Копия письма Монморена от 22 июня 1791 г. приложена к донесению, оригинал хранится среди документов архива парижской миссии за 1791 г. (ГАФКЭ, фонд № 95, дело № 4).

[5] Bouillé Франсуа-Клод, маркиз де (1739—1800)—реакционный генерал, жестокий усмиритель солдатского «бунта» в Нанси в 1790 г. Один из четырех организаторов бегства короля. Командовал частями в Меце, опираясь на которые король при содействии австрийских войск собирался произвести контрреволюционный переворот.

[6] Воззвание к народу, составленное королем накануне бегства, в котором он объяснял его причины.

[7] См. прим. 5-е к приложению к № 64 от 2/13 июля 1789 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОНЕСЕНИЮ ОТ 23 ИЮНЯ 1791 г.

К № 58

Париж, 12/23 июня 1791 г.

Взрыв, который я предчувствовал, разразился скорее, чем я предполагал. План содействия выезду короля из дворца со всей королевской семьей был задуман и выполнен очень умно и в большой тайне, но не увенчался успехом. Монарх был арестован в двух милях от границы и препровожден в Мец; можно только содрогаться при мысли о несчастиях, которые грозят королевской семье, особенно королеве, рискующей стать жертвой жестокого и кровожадного народа.

Я намеревался направить эстафету, чтобы возможно скорее довести до сведения императрицы о событии такой большой важности; но бюро почт постановило с некоторого времени не отправлять эстафет, и я пришел к решению направить эту депешу обычным путем—графу Румянцову во Франкфурт-на-Майне, с просьбой немедленно передать ее далее эстафетой. Ut in litteris.

И. Симолин

D. R., к. 50, л. 202. Первый абзац шифрован. Получено 1 июля.

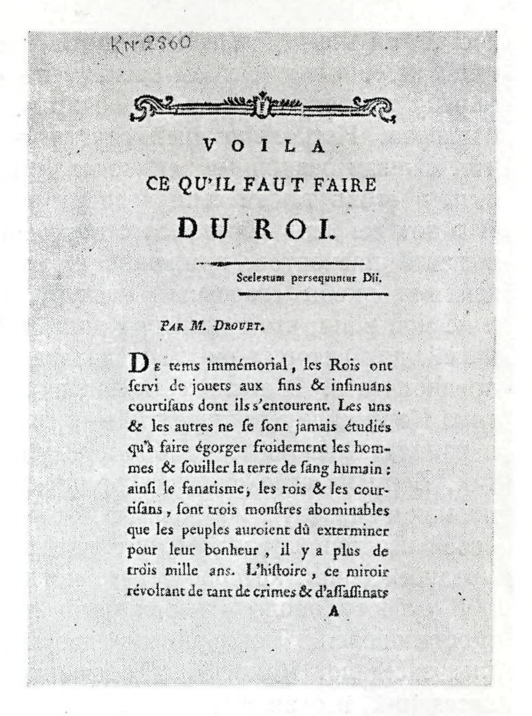
ДОНЕСЕНИЕ ОТ 27 ИЮНЯ 1791 г.

№ 60

Париж, 16/27 июня 1791 г.

Милостивый государь,

В пятницу, по предложению г. Камюса[1], Национальное собрание постановило, что, начиная с этого дня, выплата пенсий, жалованья и дол-



Kn 2360

VOILA

CE QU'IL FAUT FAIRE

DU ROI.

Scelestum persequuntur Dii.

Par M. Drouet.

De tems immémorial, les Rois ont fervi de jouets aux fins & infinuans courtifans dont ils s'entourent. Les uns & les autres ne fe font jamais étudiés qu'à faire égorger froidement les hommes & fouiller la terre de fang humain: ainfi le fanatisme, les rois & les courtifans, font trois monftres abominables que les peuples auroient dû exterminer pour leur bonheur, il y a plus de trois mille ans. L'hiftoire, ce miroir révoltant de tant de crimes & d'affaffinats

A

ПЕРВАЯ СТРАНИЦА БРОШЮРЫ ПОЧТАРЯ ДРУЭ, ОПОЗНАВШЕГО КОРОЛЯ В ВАРЕННЕ

Брошюра не упоминается библиографическими справочниками изданий эпохи Французской революции

Библиотека Академии наук СССР, Ленинград

гов будет производиться только тем, кто будет являться лично и предъявлять свидетельства от муниципалитетов и дистриктов, удостоверяющие постоянное пребывание этих лиц во Франции, с обозначением их имен и звания, если люди эти неизвестны. В иных случаях платить будут только по специальным доверенностям лиц, проживающих в королевстве. Настоящее распоряжение не распространяется на пенсионеров и кредиторов иностранцев, не являющихся должностными лицами. Этот проект закона был предложен и принят, главным образом, в отношении Monsieur, графа д'Артуа и остальных эмигрантов.

Затем был прочитан протокол ареста короля. Власти Клермонского дистрикта вышли навстречу его величеству. Когда председательствующий дистрикта сообщил королю о тревоге граждан по поводу его отъезда, он ответил, что в его намерения не входил выезд за пределы королевства.

После того, как Собранию было сообщено, что король предъявил в дороге паспорт, выданный за подписью Монморена г-же Корф[2], отправляющейся во Франкфурт с двумя детьми, лакеем, тремя слугами и горничной, министра призвали к решетке; он был приведен под конвоем, но ему не трудно было доказать, что он не содействовал и не мог содействовать бегству королевской семьи, и он очень быстро отвел от себя эти обвинения.

Однако, народ бросился с такой яростью к его дому, что забили тревогу, и отряды Национальной гвардии отправились туда, чтобы защитить дом от разграбления. Так как я также несколько замешан, хотя и самым невинным образом, в этом крупном событии данного момента, считаю своим долгом дать разъяснение обо всем, что касается меня в этом деле.

В первых числах текущего месяца г-жа Корф, вдова полковника Корфа, состоявшего на службе ее императорского величества и убитого двадцать лет тому назад при штурме Бендер, попросила у меня через третье лицо

достать ей два отдельных паспорта — один для нее, другой для г-жи Штегельман, ее матери, чтобы поехать во Франкфурт. Я написал г. де Монморену записку с просьбой об этом, и он распорядился доставить мне паспорта. Несколько дней спустя г-жа Корф поручила написать мне, что, сжигая различные ненужные бумаги, она имела неосторожность бросить в огонь также свой паспорт и просит меня достать ей дубликат. Я в тот же день обратился с просьбой об этом к секретарю, ведающему выдачей паспортов, приложив ее записку к своему письму. Секретарь заменил якобы сгоревший паспорт другим. Не вина г. де Монморена и не моя вина, что г-жа Корф дала использовать свой паспорт для таких целей, для которых он не предназначался и которых мы никак не могли предполагать. В статьях, появившихся в печати в связи с этим событием, г-жа Корф именуется шведкой,—я счел своим долгом исправить эту ошибку и написал письмо г. де Монморену, которое просил напечатать в газетах. Беру на себя смелость приложить к сему копию этого письма, так же как и записку г-жи Корф, в которой она выражает огорчение по поводу своей неосторожности. Я не сомневаюсь, что общество откажется от того предубеждения, которое у него могло возникнуть по отношению ко мне.

В субботу около четырех часов пополудни король вернулся в Париж и остановился в Тюильрийском дворце. В момент прибытия короля Собрание заседало. Комиссары, посланные навстречу королю, вошли в зал заседаний, и один из них дал в немногих словах отчет об исполнении возложенного на них поручения.

Поскольку в № 483 газеты «Le Postillon» подробно сообщается обо всем, что произошло, вашему сиятельству, надеюсь, угодно будет одобрить, что я прилагаю этот номер к сему и ссылаюсь на его содержание[3].

На утреннем заседании один из депутатов внес, после очень короткого доклада, проект следующего декрета:

Статья 1. Как только король прибудет в Тюильрийский дворец, ему будет дана временно охрана под начальством главнокомандующего парижской Национальной гвардией, которая будет оберегать его и отвечать за его особу.

Статья 2. Наследнику престола также будет дана временно особая охрана, состоящая под начальством главнокомандующего, и ему будет назначен Национальным собранием воспитатель.

Статья 3. Все лица, сопровождавшие королевскую семью, будут арестованы и допрошены. Королю и королеве будет предложено дать объяснения, которые будут заслушаны; все это будет сделано без промедления, чтобы Собрание могло принять надлежащие решения.

Статья 4. Королеве будет дана временно особая охрана.

Статья 5. Впредь до новых распоряжений декрет от 21 этого месяца, предписывающий министру юстиции скреплять государственной печатью декреты Собрания без санкции или согласия короля, должен сохранять всю свою силу.

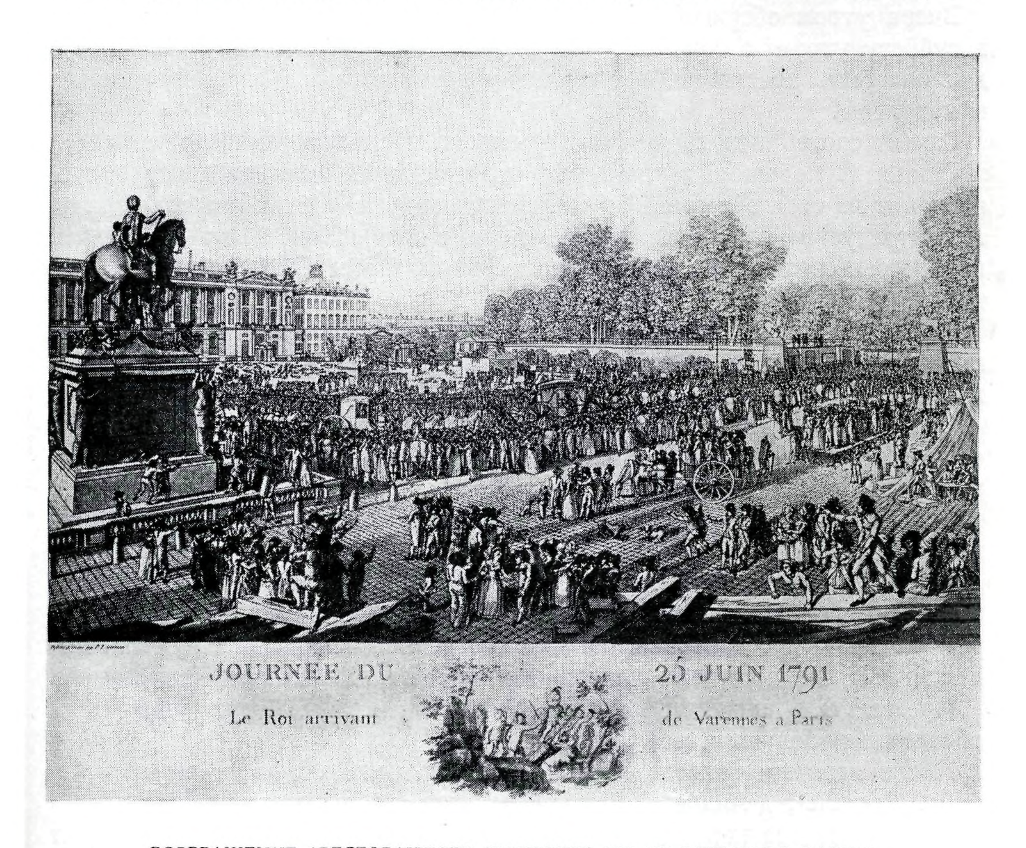
Статья 6. Министры и королевские комиссары государственного казначейства, кассы чрезвычайных доходов и ликвидационной кассы временно уполномочиваются, каждый в своем ведомстве и за своей ответственностью, принять на себя обязанности исполнительной власти.

Один из депутатов заметил, что предлагаемые меры явно не конституционны: конституция объявляет особу короля неприкосновенной и священной, а предлагаемый декрет превращает короля в пленника.

Г-н д'Андре[4] ответил г. Малуэ[5], что он плохо понял декрет, что Собрание провозгласило монархический образ правления и будет его поддерживать.

Прения были закрыты, предложенные поправки отвергнуты, и проект принят без всяких изменений.

Один из членов Собрания дал краткий отчет об аресте гг. Шуазёля[6], Дамá[7] и пр., и Собрание постановило, что они будут содержаться в заключении в городе Вердене до тех пор, пока Национальное собрание не получит дальнейших сведений о лицах, способствовавших отъезду короля.



ВОЗВРАЩЕНИЕ АРЕСТОВАННОГО ЛЮДОВИКА XVI ИЗ ВАРЕННА В ПАРИЖ
Гравюра П.-Ф. Жермена

Эрмитаж, Ленинград

Должностным лицам муниципалитета вменяется в обязанность заботиться об их безопасности. Говорят, что г. Буйе уехал в Люксембург.

Положение создалось в высшей степени щекотливое и затруднительное, и я не думаю, чтобы господствующая в Собрании партия взяла на себя какое бы то ни было решение вопроса об образе правления, ввиду того, что затруднительные и возбуждающие страсти обстоятельства могут ввести в заблуждение самых благонамеренных и благомыслящих людей. В общем, ожидают успокоения умов, чтобы приступить к существенным изменениям в самой форме конституции, для чего необходимо было бы достичь соглашения всей нации или, по крайней мере, значительного ее большинства, что не может явиться делом одного дня.

Одна из газет предлагает шесть различных решений, которые можно принять при существующих обстоятельствах:

1. Упразднить королевскую власть и заменить ее республиканской формой правления.
2. Предоставить решению нации вопрос о короле и о королевской власти.
3. Предать короля суду нации.
4. Требовать его отречения.
5. Отрешить его от власти и назначить регента.
6. Оставить его на троне, создав при нем выборный совет.

Вчера утром обсуждался вопрос об исполнении декрета, вынесенного в субботу утром, о том, что все сопровождавшие короля и его семью должны быть арестованы и допрошены и выслушаны объяснения короля и королевы.

Самый способ исполнения был установлен следующим декретом:

Статья 1. Собрание декретирует, что трибунал Тюильрийского округа назначит из своего состава двух комиссаров для осведомления повсюду, где потребуется, о событии, имевшем место в ночь с 20 на 21-е этого месяца, и обо всех связанных с ним происшествиях, как предшествовавших ему, так и последующих.

Статья 2. Вышеупомянутые комиссары в силу декрета от 25-го этого месяца немедленно приступят к допросу арестованных, так же как и к опросу свидетелей.

Статья 3. Национальное собрание назначит трех комиссаров из своего состава, чтобы принять объяснения короля и королевы, касающиеся вышеупомянутых событий.

Статья 4. Обо всем вышеуказанном будет доложено Собранию для принятия соответствующих решений.

Две первые статьи были декретированы без изменений, а третья была принята после обсуждения с поправкою, гласящей, что объяснения короля и королевы будут даны ими каждым в отдельности и подписаны их величествами и комиссарами. Статья 4-я не вызвала никаких затруднений.

Председатель объявил Собранию, что комиссары будут утверждены абсолютным большинством голосов.

После подсчета голосов председатель объявил результат выборов.

Гг. Тронше[8], д'Андре и Дюпор[9] получили большинство голосов.

В день отъезда короля Собрание постановило, что его заседание будет непрерывным и что оно сможет быть приостановлено только особым декретом. Г-н председатель предложил вынести такой декрет и отложить заседание до девяти часов сегодняшнего утра. Все это было утверждено.

Имею честь быть с почтительнейшею преданностию, милостивый государь, вашего сиятельства нижайшим и покорнейшим слугою

И. Симолин

D. R., к. 50, л. 218. Дата получения неизвестна.

К донесению от 27 июня 1791 г. приложены:

1. Копия письма г. Симолина графу де Монморену от 25 июня 1791 г.

Только сегодня утром из газет узнал я о несчастном случае с паспортом, который я имел честь просить у вашего сиятельства три недели тому назад. Я прочел также, что баронесса Корф—ш в е д к а,

и опасался, что общественное мнение, которым я безмерно дорожу, может приписать мне намерение вмешаться в права и обязанности г. шведского посланника.

Спешу исправить эту ошибку и заявляю, что баронесса Корф—русская, уроженка Петербурга, вдова барона Корфа, полковника, состоявшего на службе императрицы, убитого при штурме Бендер в 1770 г.; она дочь г-жи Штегельман, родившейся также в Петербурге, и обе они прожили около 20 лет в Париже. Обе эти дамы не могли и не должны были обращаться ни к кому другому, как только ко мне, за получением паспортов. Хотя я никак не был связан с ними и даже не имел чести их когда-либо видеть, я не мог и не должен был отказать им в небольшой любезности и содействии в этом деле. Действительно, утверждали, что один паспорт будто бы сгорел; об этом г-жа Корф сама написала мне в записке, которую я приложил к моей просьбе с целью получить его дубликат.

Но мое поведение в этом случае было естественно и соответствовало моим обязанностям, и, смею надеяться, каждый согласится, насколько для меня было невозможно заподозрить, что оно впоследствии может дать повод к малейшим обвинениям против вашего сиятельства и против меня, несмотря на необдуманное употребление, которое, повидимому, было дано этому второму паспорту. Поэтому я надеюсь, ваше сиятельство одобрите, если я дам напечатать это письмо в газетах.

Имею честь быть и т. д.

Подписано: Симолин

2. Копия записки баронессы Корф

Я в отчаянии: вчера, сжигая различные ненужные бумаги, я имела неосторожность бросить в огонь паспорт, который вы были так добры получить для меня; я, право, очень сконфужена тем, что мне приходится затруднять вас и просить исправить мою рассеянность.

[1] Camus Арман-Гастон (1740—1804)—крупный юрист, член Учредительного собрания, а затем Конвента и ряда их комиссий.

[2] Корф Анна-Христина, баронесса—дочь петербургского банкира Штегельмана, в течение 20 лет вместе со своей матерью жила в Париже, была в дружеских отношениях с Ферзеном (см. ниже, прим. 2-е к приложению к № 83 от 18/29 авг. 1791 г.), их считали шведками. Кроме паспорта, Корф предоставила Людовику XVI большие денежные средства. Впоследствии с просьбой содействовать возмещению их ей императором Францем II, ввиду ее крайней нужды, обращался к Екатерине II Ферзен. Письма Ферзена к ней от 1795 и 1796 гг. и письмо по этому поводу Остермана к послу в Вене, Разумовскому, опубликованы в «Русском Архиве», 1866, IV, 800—816. В предъявленном королем в Варенне паспорте на имя баронессы Корф число лиц вполне соответствовало тому, какое указывалось в препровожденном Симолиным заявлении о выдаче паспорта: в нем, кроме баронессы, которую изображала воспитательница детей короля, M-me de Tourzel, были названы горничная (королева), лакей (король), трое слуг (Дамà, Шуазёль, Мустье) и, кроме того, двое детей (дофин и его сестра); M-me Elisabeth, сестра короля, сопровождавшая семью, вообще не была предусмотрена в паспорте.

[3] К донесению приложен «Le Postillon par Calais» № 483.

[4] D'André Антуан-Бальтазар-Жозеф, барон (1759—1827)—представитель умеренных роялистов в Национальном собрании, член Дипломатического комитета, высказывался против отрешения короля после его бегства в Варенн.

[5] Malouet Пьер-Виктор (1740—1814)—видный представитель группы Национального собрания, называвшей себя «монархистами», выражавшей интересы финансовой буржуазии и крупного чиновничества и отстаивавшей, под влиянием идей Монтескьё, абсолютное veto короля, двухпалатную систему и т. д.

[6] Choiseul-Stainville Клод-Антуан-Габриэль, герцог де (1760—1838)—участник бегства короля. Впоследствии эмигрировал.

[7] Damas d'Antigny Жозеф-Франсуа-Луи-Шарль-Сезар, герцог де (1758—1829). Командовал драгунами, расставленными, по распоряжению Буйе, на пути следования короля во время его бегства. Впоследствии эмигрировал.

[8] Tronchet Франсуа-Дени (1726—1806) — юрист. Впоследствии защитник Людовика XVI во время его процесса в 1793 г.

[9] Du Port Адриен-Жан-Франсуа (1759—1798) — один из лидеров либерального дворянства и крупной буржуазии. Член «триумвирата» (Дюпор—Шарль Ламет—Барнав). После бегства короля встал на защиту королевских прерогатив.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОНЕСЕНИЮ ОТ 27 ИЮНЯ 1791 г.

К № 60

Париж, 16/27 июня 1791 г.

Воззвание короля, обращенное ко всем французам при его выезде из Парижа, не подлежало обнародованию до его прибытия в надежное место, так как иначе оно нанесло бы ущерб его делу. Ваше сиятельство одобрите, что я его прилагаю, так же как и обращение Национального собрания к французам, декретированное на заседании 22 июня 1791 г., которым оно пытается ослабить впечатление, произведенное вышеупомянутым воззванием[1].

Г-н де Монморен видел вчера короля, который очень спокоен. Король, королева и королевская семья видаются друг с другом попрежнему. Г-жа де Турзель, воспитательница детей Франции[2], сопровождавшая их во время путешествия, заключена в тюрьму Аббатства по постановлению Национального собрания. Последнее старается казаться строгим, но, быть может, не будет таковым в действительности.

Отъезд короля был событием, которое дало повод приостановить декретом на неопределенное время первичные собрания и выборы депутатов для нового Законодательного собрания.

В Брест будет отправлено распоряжение об обивке медью некоторых кораблей, два из которых трехпалубные; имеется продовольствие для 45 кораблей на 18 месяцев, и 25 тысяч матросов готовы отправиться в порты, где они станут под команду.

Говорят, что в проливе замечена крейсирующая английская эскадра. Ut in litteris.

И. Симолин

D. R., к. 50, л. 228. Шифровано. Дата получения неизвестна.

[1] К донесению приложены: 1) «Mémoire du Roi, adressé à tous les français, à sa sortie de Paris» (извлечение из «Journal des Débats» № 763, 27 стр.), и 2) «L'Assemblée nationale. Proclamation décrétée dans la séance du juin 1791» (De l'Imprimerie Nationale, 1791), 8 стр.

[2] «Enfants de France»—т. е. детей короля.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОНЕСЕНИЮ ОТ 1 ИЮЛЯ 1791 г.

К № 61

Париж, $\frac{\text{20 июня}}{\text{1 июля}}$ 1791 г.

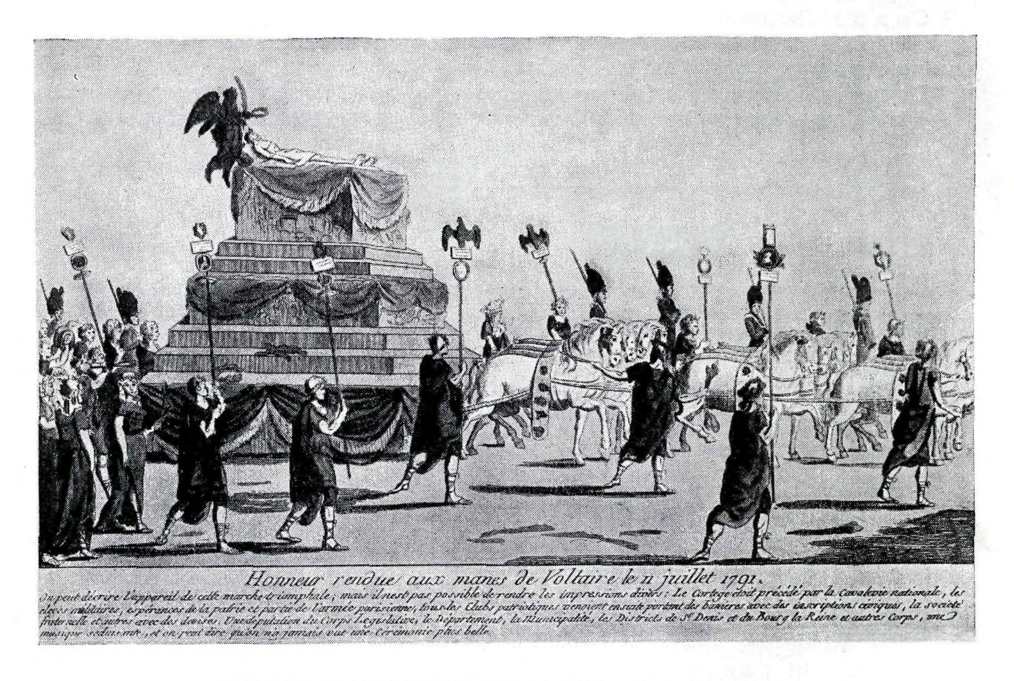
В Брест послан приказ вооружить 118-ти пушечный корабль, называющийся «Бургундские штаты», и разработать план операций его, равно как и некоторых других, ранее назначенных кораблей, один из которых 80-ти пушечный. Мне подтвердили, что имеется 25 тысяч матросов, подготовленных к службе, и продовольствия на 18 месяцев для сорока пяти кораблей.

Я продолжаю поддерживать намерение моих друзей добиться решения привести флот в боевую готовность. Они этому очень сочувствуют и не

пропускают ни одного случая, чтобы дать понять совершенно неотложную необходимость этой меры, но при теперешнем замешательстве во всех делах, когда исполнительная власть монарха полностью приостановлена, ни на что нельзя положиться, и успех их хлопот продолжает быть сомнительным.

В Париже попрежнему довольно спокойно, несмотря на все усилия нарушить это спокойствие, которое царило в нем с момента отъезда короля.

Клуб кордельеров велел расклеить свое постановление, в котором он предлагает установление республики. Департамент Парижа уничтожил это обращение к народу, как неконституционное и незаконное.



„ПОЧЕСТИ, ОКАЗАННЫЕ ПРАХУ ВОЛЬТЕРА 11 ИЮЛЯ 1791 г.“
Современная гравюра неизвестного мастера
Эрмитаж, Ленинград

Другой клуб, в свою очередь, расклеил петицию с требованием к Собранию, чтобы оно призвало к решетке для объяснений короля и королеву.

Мнения Национального собрания по вопросу о положении короля, видимо, разделились. Большинство склоняется, как будто, к тому, чтобы продлить срок приостановления действий исполнительной власти, пока не будет выработана конституция, чтобы предъявить ее затем его величеству и запросить его, желает ли он принять ее и быть королем французов на установленных в ней условиях; если он на это согласится, он будет продолжать царствовать; если же откажется, ему позволят удалиться, куда он захочет, назначив ему пенсию в несколько миллионов. Дофин будет объявлен королем, и, кроме того, будут назначены регент и совет при нем. Вот план, который обсуждается в умеренных кругах.

Уверяют, что Monsieur, брат короля, только-что написал Национальному собранию, что он скоро присоединится к королю в Париже.

Говорят также, что принц де Конде[1] распустил свой придворный штат с первого июля. Ожидают ответа, который он даст г. Дюверье, уполномоченному сообщить ему декрет Национального собрания[2]; он пригласил его приехать к нему в Кобленц, чтобы дать ответ возможно скорее.

В Собрании получено известие из Дюнкирхена от 25 июня, что все офицеры, кроме двух, полка «Colonel-Général», который прежде находился под командованием принца де Конде, перешли границу близ Фюрна[3]. Они взяли с собой знамена полка, оставив только их древки. Ut in litteris.

И. Симолин

D. R., к. 50, л. 257. Первые два абзаца шифрованы. Получено 11 июля.

[1] Condé Людовик-Жозеф де Бурбон, принц де (1736—1818) эмигрировал на другой день после взятия Бастилии. В Кобленце организовал на свои средства отряд эмигрантов.

[2] Декрет требовал возвращения эмигрантов под угрозой конфискации их имущества.

[3] Furnes—город в Западной Фландрии, ныне бельгийский город Верн.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОНЕСЕНИЮ ОТ 4 ИЮЛЯ 1791 г.

К № 62

Париж, $\frac{23 \text{ июня}}{4 \text{ июля}}$ 1791 г.

Уже три дня очень горячо обсуждается вопрос о республике. Некий г. Пэн[1], бывший секретарь Американского конгресса, по предположению многих секретный эмиссар г. Питта, стоит во главе этого нового общества[2], и подозревают даже, что г. де Лафайет является тайным сторонником этой доктрины, которую сейчас выдвигают. С другой стороны, принимают меры к тому, чтобы эти мечтания не пустили корней.

Управление государством теперь в полном застое. Король арестован и временно отрешен от власти. Он не работает со своими министрами, и они не имеют возможности видеться с ним каждый в отдельности, а лишь все вместе, в полном составе.

Иностранные послы и полномочные министры также не допускаются к нему на прием, хотя испанский посол дал понять графу де Монморену, что они ожидают разрешения исполнить этот долг по отношению к их величествам.

Невозможно, чтобы такое положение вещей долго продолжалось. Кажется, остается в силе план, изложенный в последней моей депеше, предъявить королю всю конституцию в целом, предоставив ему свободу принять ее или отвергнуть. Что бы там ни было, нельзя не согласиться, что Национальное собрание обращается с этим несчастным монархом с суровостью и жестокостью, которым нет примера в истории. Оно даже попирает ногами собственные декреты, принятые несколькими днями раньше на тот случай, если бы король, действительно, выехал из королевства. Эти факты кладут вечное пятно на французскую нацию.

Я беру на себя смелость приложить список брошюр в шести пакетах, врученных мною некоему Оберу, главному повару, которого я направил к гр. Чернышеву и который уже отправился морем из Гавра в С.-Петербург. Я прилагаю его расписку в получении этих пакетов[3]. Ut in litteris.

И. Симолин

D. R., к. 50, л. 270. Шифровано (за исключением последнего абзаца). Получено 16 июля.

[1] Paine Томас (1737—1809)—известный английский публицист, один из главных деятелей борьбы за независимость Америки. В своих памфлетах горячо защищал революционную Францию и не только не был секретным эмиссаром Питта, но пытался воздействовать на последнего в интересах Франции.

[2] Повидимому, Симолин говорит здесь об «Обществе друзей прав человека и гражданина», или Кордельерском клубе. Возникновение этого общества должно быть отнесено к апрелю 1790 г., но крупную роль оно начинает, действительно, играть летом 1791 г., когда ведет энергичную пропаганду республики. Был ли Пэн его главой, данных в литературе не имеется, но известна его тесная связь с Кондорсе, игравшим виднейшую роль в этом клубе в данный период.

Из числа организаций республиканско-демократического направления в событиях 17 июля, имевших значение республиканской демонстрации, особо отмечены следственными органами «Le club des Indigents («Клуб бедняков») и «Société fraternelle» («Братское общество»). Роль Пэна заключалась в идейном руководстве всем республиканским движением этого периода. Свои взгляды Пэн сформулировал в памфлете «Права человека» («Rights of Man»), выпущенном им в начале 1791 г. (I часть) в противовес памфлетам Бёрка (Burke). Возможно, однако, что речь идет о каком-либо другом республикански настроенном обществе или клубе, число которых чрезвычайно увеличилось за этот период, несмотря на преследования, которым они подвергались. Наиболее смелая пропаганда в середине 1791 г. велась так называемым «Cercle social»—«единственным клубом после Кордельерского, действовавшим так открыто в столице».

[3] К донесению приложены: 1) список высылаемых брошюр — Désignation des brochures envoyées avec s-r Aubrey (Aubert) и 2) расписка Aubert в их получении.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОНЕСЕНИЮ ОТ 8 ИЮЛЯ 1791 г.

К № 63

Париж, $\frac{\text{27 июня}}{\text{8 июля}}$ 1791 г.

Утверждают, что здесь имеются неопровержимые доказательства осведомленности шведского короля о плане бегства короля и что теперь, когда этот план потерпел такую досадную неудачу, этот государь хочет извлечь пользу из создавшегося положения. Я узнал из очень верного источника о сделанном шведским послом намеке одному из членов Дипломатического комитета, что король, его повелитель, будто бы готов содействовать всеми имеющимися у него средствами делу патриотов. Неизвестно только, каковы эти средства, которыми он мог бы быть полезен этому делу, но предполагают цель короля заставить Национальное собрание заплатить ему некоторую сумму денег, что оно едва ли расположено сделать. Граф де Монморен видел короля и королеву наедине. Их величества говорили с ним о своем путешествии, в тайну которого они его не посвятили. На это министр ответил: «Ваше величество, не желая подвергать испытанию мою совесть, вы подвергли опасности мою жизнь». Король выразил ему свое огорчение по поводу усиленно распространяемых в обществе слухов, будто бы он побил зеркала и мебель в своих апартаментах, тогда как Монморен знает, что он не сумасшедший и не пьяница.

Король говорил то же самое графу де Нивернэ[1] и другим. Граф де Монморен полагает, что через неделю дела будут налажены, королю вернут его права и он приступит к исполнению своих функций. Курьер, отправленный этим министром несколько месяцев тому назад в Константинополь к г-ну Шуазёль-Гуффье, вернулся оттуда. Депеши последнего датированы 13 июня. Он сообщает, что представители Англии и Пруссии потеряли у Порты всякий кредит, что их вызвали на совещание и объяснялись с ними самым нелюбезным образом, что, возвращаясь к себе, они бросали деньги в народ, который приписывает им все испытываемые несчастия и который хотел уже поджечь здания посольств.

Г-н Шуазёль-Гуффье не мог узнать, о чем шла речь на этом совещании.

Этот посол полагает, что война между Австрией и Портой возобновится, ввиду отказа последней произвести какой-либо обмен для урегулирования вопроса о границах Кроатии, хотя обмен ей и выгоден, и что военные действия еще продлятся.

Кажется, г. Шуазёль-Гуффье восстановил свой кредит и оттоманские министры проявляют к нему доверие. Он отказался от предложения быть министром иностранных дел. Ut in litteris.

И. Симолин

D. R., к. 50, л. 300. Шифровано. Получено 19 июля.

[1] Nivernais Луи-Жюль, маркиз (1716—1798)—литератор, дипломат, бывший послом в Риме, Берлине и Лондоне, член Королевского совета.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОНЕСЕНИЮ ОТ 15 ИЮЛЯ 1791 г.

К № 67

Париж, 4/15 июля 1791 г.

В понедельник состоялось перенесение праха Вольтера. Процессия отправилась в 4 часа с площади Бастилии, и был установлен следующий порядок шествия.

Впереди отряд национальной кавалерии, депутации от Якобинского клуба, школ, секций, герольдов [площади] de la Halle, братских обществ и т. д., и т. д.

Далее несли один из камней Бастилии, с высеченным на нем профилем Мирабо. Затем—на носилках золоченую статую Вольтера, окруженную триумфальными знаменами наподобие того, как у римлян. За статуей—собрание сочинений Вольтера в ларце, имеющем форму ковчега.

Наконец, двигалась колесница с прахом Вольтера, запряженная двенадцатью конями белой масти по четыре в ряд; на колеснице был установлен саркофаг с навевающими скорбь изображениями старости и смерти.

Национальное собрание, департамент Парижа, муниципалитет, Академия, писатели сопровождали колесницу, окруженную почетным эскортом лиц, одетых, в подражание грекам, музами и жрецами Аполлона.

Носилки со статуей Вольтера, изображенного сидящим в кресле, остановили в первый раз у дверей Королевской музыкальной академии. Г-н Шерон[1] увенчал статую лаврами, г-жа Понтёйль[2] сделала то же, поцеловав ее.

Г-н Байи шел за колесницей под гром аплодисментов, расточаемых Вольтеру; каждое проявление общественного энтузиазма он принимал с выражением растроганности, признательности и учтивости, так что можно было подумать, что он заблуждается и принимает их на свой счет.

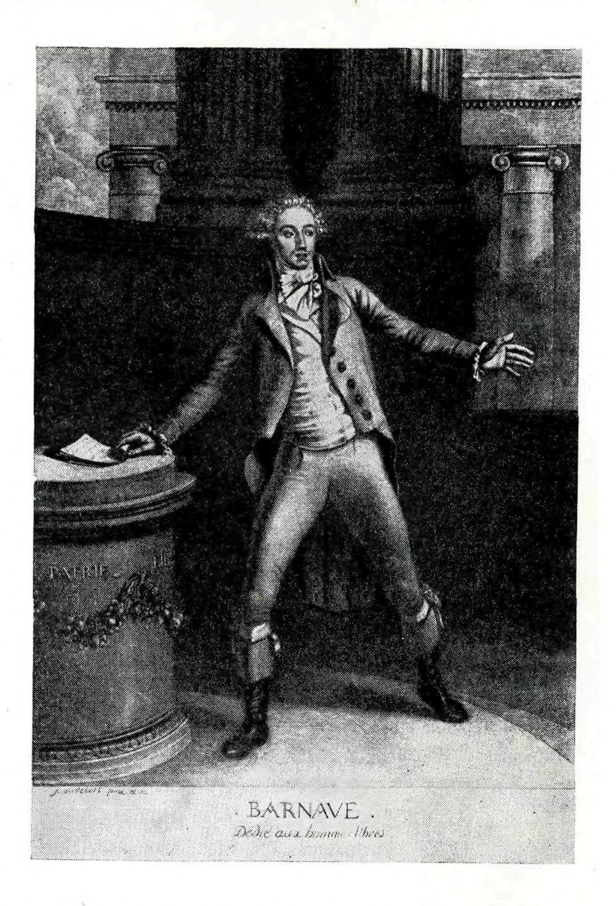
В четверть 8-го колесница остановилась против дома г. де Виллета[3]. Облако цветов покрыло ее; пели гимны, бросали гирлянды и венки.

Другая остановка—у театра Французской комедии; опять те же почести, та же пышность.

Наконец, довольно поздно процессия прибыла к церкви св. Женевьевы. На этом последнем переходе ее промочил дождь, что набожные люди истолковали по-своему.

Чувства, вызванные проведением этого празднества, различны. Те, кто всегда порицают все, что не они придумали, утверждают, будто этой церемонии, жалкой в своих деталях, нехватало цельности, торжественности и достоинства; что смешение современного с античным, поскольку это имело

БАРНАВ В БЫТНОСТЬ ДЕПУТАТОМ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
Гравюра Ж. Одбера с портрета маслом его же работы
Эрмитаж, Ленинград



место, придавало шествию смешной вид и что Вольтер был бы более почтён, если бы его останки были просто положены, как останки Декарта, в последний приют, предоставленный ему его родиной.

Г-н испанский посол прислал мне несколько печатных экземпляров депеши его двора от 1 июля и своего письма графу де Монморену; разрешите послать вашему сиятельству один экземпляр, как приложение к сему[4]. Ut in litteris.

И. Симолин

D. R., к. 50, л. 335. Получено 26 июля.

[1] Chéron Огюстэн (1760—1829)—известный в то время певец.

[2] Ponteuil (1760—1825)—известная певица.

[3] Villette Шарль, маркиз де (1736—1793)—литератор, поэт. Пользовался покровительством Вольтера, друга его матери.

[4] К донесению приложены: 1) «La dépêche de M. Florida-Blanca du 1 juillet 1791». 2) «Lettre de M. le comte de Fernan-Nuñez, ambassadeur d'Espagne à Mr. de Montmorin le 8 juillet 1791».

ДОНЕСЕНИЕ ОТ 16 ИЮЛЯ 1791 г.

№ 68

Париж, 5/16 июля 1791 г.

Милостивый государь,

В моем нижайшем донесении за № 33 от 30 марта (10 апреля), в ответ на депешу вашего сиятельства от 1 марта, я имел честь представить вам предварительный отчет обо всех сведениях, которые я смог получить, о прядильных машинах для шерсти и хлопка[1]. Прибавлю к этому только

то, что упомянутые машины прядут короткую шерсть для основы и утка, какая нужна для выработки сукон.

Так как ваше сиятельство высказали в вышеупомянутой депеше мнение, что цена, назначенная английскими механиками за установку машин, слишком высока, я попытался добиться значительного ее уменьшения. Один из компаньонов, по фамилии Пикфорд, согласился на снижение цены, но другой, Флинт, уехавший в Англию и с которым первый вступил в переписку, чтобы побудить его дать свое согласие, упорно отказывается уступить и хотя бы немного изменить поставленные ими условия. Таким образом, Пикфорд, который не может действовать без взаимного согласия, вынужден присоединиться к мнению своего компаньона.

При таком положении дел я ограничился тем, что попросил сообщить мне цену полного ассортимента механизмов для чесания и прядения шерсти. Имеется пять машин стоимостью в 8 000 ливров, но если машина явится моделью, по которой могли бы конструировать другие, бóльших размеров, то, в таком случае, хотят за ассортимент 6000 ливров. Осмеливаюсь приложить к сему доставленный мне проспект[2]. Что же касается чертежа, то Пикфорд сказал, что для конструирования машины его было бы недостаточно.

Я думаю, что в Англии можно было бы найти такого же рода механиков, но более сговорчивых, чем те, какие явились ко мне в Париже.

Представитель Общества эмигрантов был болен и потому лишь три дня тому назад доставил мне продолжение проекта эмиграции, который я осмеливаюсь препроводить вашему сиятельству, прилагая его к сему[3]. Прежде, чем решиться, сообразно данному им совету, послать нескольких из членов Общества для переговоров и выработки с правительством или его уполномоченными оснований для дальнейшего соглашения, глава этого предприятия желал бы предварительно узнать:

Будут ли земельные участки предоставлены правительством бесплатно, ввиду того, что общество, которое он предполагает довести до 500 семейств, не было бы в состоянии их купить.

Соблаговолит ли императрица принять предложение военной службы, на которую хотят себя завербовать эмигранты? И согласится ли на их присоединение к Мальтийскому ордену?

Имеется ли банк или другое учреждение, куда эмигранты могли бы вложить половину капитала, который повезет с собой каждая семья и размер которого определяется в 20 тысяч ливров, как это изложено более подробно в проекте.

Я должен прибавить, что арпан земли равен 900 французским туазам[4]. В разговоре, который я имел с агентом Общества, бароном де Гоннес, депутатом Национального собрания, он сказал, что мог бы вывезти много искусных мастеров, ремесленников и других рабочих, но что необходимо было бы знать, каковы условия жизни, которые могли бы им быть обеспечены.

Я ожидаю своевременных разъяснений вашего сиятельства, которые не премину сообщить главе Общества.

Имею честь быть с почтительнейшею преданностию, милостивый государь, вашего сиятельства нижайшим и покорнейшим слугою

И. Симолин

D. R., к. 50, л. 354. Получено 2 августа.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ КОНСТИТУЦИИ ЛЮДОВИКОМ XVI В НАЦИОНАЛЬНОМ СОБРАНИИ 14 СЕНТЯБРЯ 1791 г.

Гравюра Ф.-А. Давида с рисунка Лежена

Эрмитаж, Ленинград

[1] См. выше, стр. 451—453.

[2] К донесению приложено: «Un assortiment complet de mécaniques pour le cardage et la filature de laine». Подпись Pickford, дата: Paris, avril 30, 1791.

[3] К донесению приложено «Suite du projet d'émigration» (ср. донесение от 26 января 1791 г.).

[4] La toise — мера длины, около одной сажени (в данном случае имеются в виду квадратные туазы); l'arpent равняется 42,21 га.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОНЕСЕНИЮ ОТ 18 ИЮЛЯ 1791 г.

К № 69

Париж, 7/18 июля 1791 г.

В пятницу 15-го, когда кончилось заседание и депутаты хотели покинуть зал, они были окружены огромной толпой, теснившейся у дверей. Наиболее достойных членов встретили оскорблениями и угрозами. Многие вынуждены были вернуться в зал, другие прошли боковыми выходами. Фонарь! Отрубленные головы! Пики!—казалось, все ужасы, на которые способна разгоряченная чернь, готовы были возобновиться.

В это самое время Марсово поле заполнилось гражданами, возбужденными против самого духа Национального собрания и выставлявшими лишь два требования: обновление состава законодательного собрания и обновление исполнительной власти[1]. Эта скромная петиция сопровождалась очень явно выраженным желанием возвести Робеспьера на трон Генриха IV. Г-н Робеспьер — король французов!

Якобинцы собрались у себя в клубе. Когда Робеспьер был на трибуне, пришла депутация Пале-Рояля с просьбой допустить ее. Собрание приняло ее с восторгом; оратор изложил требование секции Пале-Рояля, чтобы король, отказывающийся санкционировать декрет, отрешающий его от власти, был предан суду, причем секция назначила даже преемника Людовику XVI.

Г-н де Лакло[2], всецело преданный герцогу Орлеанскому и являющийся его агентом, появляется на трибуне: он отвечает этим господам, что их петиция совершенно справедлива, но, чтобы придать ей больше яркости, он берется сам ее проредактировать и что она будет подписана на алтаре Федерации всеми теми, кто ее одобряет.

В день, когда был вынесен декрет, смутьяны Пале-Рояля выдумали, что этот декрет Собрания является общественным бедствием; поэтому они самочинно отправились прекращать начавшиеся спектакли. Они имели успех там, где сила была на их стороне, но потерпели неудачу в Оперном театре и в Национальном театре, где охрана оказала им решительное сопротивление.

Все эти волнения не поколеблют, надо надеяться, решения, которое приветствуют все добрые граждане. Только те, чьи намерения изменить конституцию всем известны, восстали против декрета[3].

Г-н Кондорсе[4], член Французской академии, произнес речь о республике, г. де Сегюр-старший ответил на нее и встретил живое одобрение. Он прислал мне экземпляр своей речи, и я осмеливаюсь приложить его к сему[5]. Нет никакого сомнения в том, что иностранные эмиссары раздают деньги и подкупили нескольких так называемых патриотов, чтобы поддерживать и увеличить, если это еще возможно, анархию в этом королевстве.

Это большое событие настолько поглотило внимание Национального собрания, что и в комитетах не ставилось никаких других вопросов на

обсуждение. Конституционный и Ревизионный комитеты работают без перерыва над созданием Великой конституционной хартии, которая должна быть предъявлена королю, прежде чем ему будут возвращены его полномочия.

Французский негоциант по фамилии Буше, обосновавшийся в Петербурге, выехал туда обратно из Парижа, и я вручил ему свою депешу за № 68 от 5/16 июля и два пакета с печатными произведениями, которые он обещал в полной сохранности доставить вашему сиятельству.

Он рассчитывает совершить свое путешествие со скоростью курьера. Ut in litteris.

И. Симолин

D. R., к. 50, л. 356 б. Получено 30 июля.

[1] В этот момент резко обнаружилось противоречие в интересах и настроении между парижскими массами и Национальным собранием, которое по призыву Барнава решило спасти монархию во имя спасения собственности и «остановить» революцию. Поэтому 15 июля оно вынесло решение только продлить временное отрешение Людовика XVI от исполнительной власти до принятия им вновь пересмотренной, в реакционном духе, конституции (декрет 15/16 VII 1791 г.). Пересмотр конституции вызывал отсрочку созыва нового собрания, что возбуждало подозрения масс, опасавшихся узурпации со стороны слишком уже правого для них Национального собрания.

[2] Лакло (Laclos) Шодерло де (1741—1803) — писатель и военный деятель. Автор романа «Опасные связи» («Les liaisons dangereuses»). Секретарь герцога Орлеанского. Один из самых деятельных его приверженцев.

[3] Симолин имеет в виду республиканскую агитацию, которую возглавлял в это время Клуб кордельеров.

[4] Condorcet Мари-Жан, маркиз де (1743—1794)—известный философ, автор «Эскиза о прогрессе человеческого разума», математик, видный член Клуба кордельеров, выступал в этот момент также за демократическую республику. Впоследствии член Конвента и автор конституции 1793 г.

[5] К донесению приложена брошюра: «Réponse au discours de M. de Condorcet sur la République par M. de Ségur ainé». На титульном листе помета: «Mr de Simolin, ministre plénipotentiaire de S. M. I. l'Impératrice de Russie. Rue Basse du Rempart».

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОНЕСЕНИЮ ОТ 18 ИЮЛЯ 1791 г.

К № 69

Париж, 8/19 июля 1791 г.

Народные выступления продолжались вчера на Марсовом поле, и когда какой-то инвалид с деревянной ногой и молодой парикмахер были повешены толпой в Gros Caillou, около поля Федерации, муниципалитет отправился туда, развернул красное знамя и объявил военное положение. Национальная гвардия дала залп из сотни ружей, чернь рассеялась и разбежалась; не известно точное число убитых и раненых; это, быть может, единственный способ восстановить мир и спокойствие в столице[1].

Вчера к вечеру решили оставить на ночь охрану у Тюильрийского дворца, били тревогу, и вся парижская армия была на ногах.

Сегодня утром все, как будто, спокойно в моем квартале, и я не слыхал, чтобы ночью была какая-нибудь тревога. Ut in litteris.

И. Симолин

D. R., к. 50, л. 371. Получено 30 июля.

[1] Эти события 17 июля разыгрались в связи с агитацией, развернутой Клубом кордельеров за подписание другой, республиканской петиции, в противовес орлеанистской петиции, составленной в Якобинском клубе 15 июля.

ПИСЬМО СИМОЛИНА ЕКАТЕРИНЕ II ОТ 3 АВГУСТА 1791 г.

[*Без №*]

Париж, $\frac{\text{23 июля}}{\text{3 августа}}$ 1791 г.

Ваше величество,

Министр иностранных дел и Дипломатический комитет заняты теперь только наблюдениями за передвижением армий, которое могло бы угрожать границам.

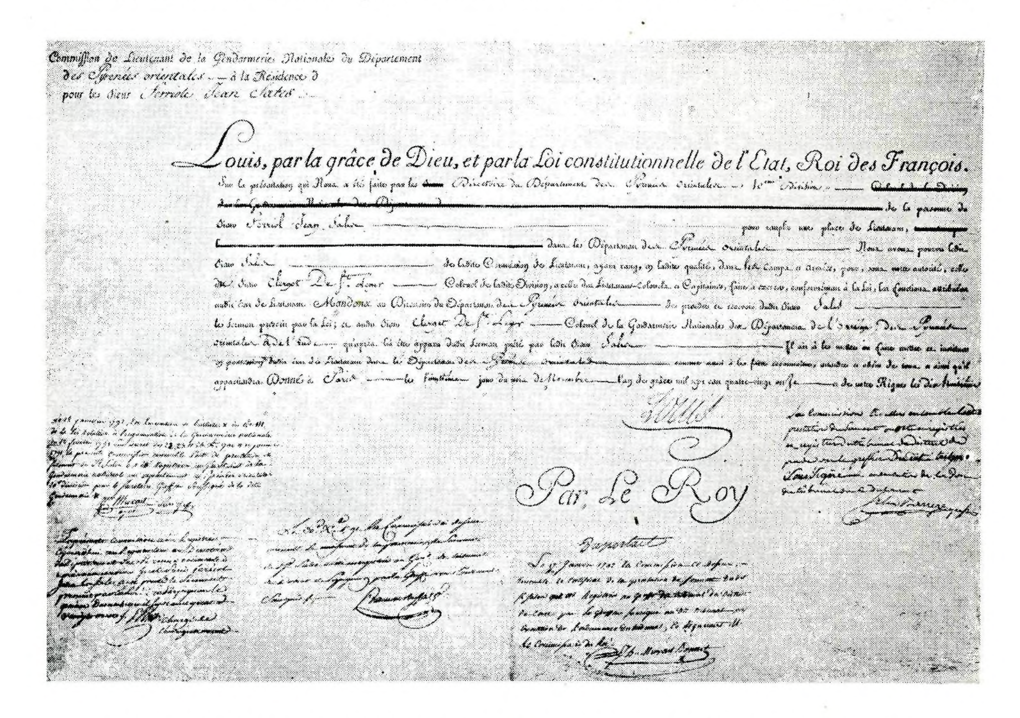
Интриги имперских духовных князей и видных французских эмигрантов становятся чрезвычайно активными, особенно старается шведский король, чтобы играть среди них важную роль. Путешествие г. де Калонна в Лондон имело целью просить его британское величество[1] не препятствовать ландграфу Гессенскому[2] предоставить от 12 до 14 тысяч людей для армии, которой Густав предполагает командовать. Духовные князья, епископ Шпейерский и несколько других мелких князей, вместе с эмигрантами берутся укомплектовать остальную часть армии, так что они рассчитывают вступить в королевство с корпусом примерно в двадцать пять тысяч человек. Но, так как их проект совершенно лишен главного жизненного нерва, король обратился к мадридскому двору, чтобы достать хотя немного этой единственной двигательной силы, именуемой деньгами, однако, в канцелярии иностранных дел уверены, что испанский король[3], хотя и недовольный холодным приемом, оказанным Национальным собранием его декларации и его советам во время бегства и ареста короля, его двоюродного брата, все же откажется принять участие в осуществлении этих иллюзорных идей. Кажется, до сих пор только один английский король оказал некоторую денежную помощь, и с этими первыми полученными деньгами и с напрасными надеждами на помощь Испании его шведское величество, не жалея ни трудов, ни сил, отправился в Стокгольм, где, как условлено, должен получиться ответ Мадрида. Оттуда он немедленно переправит 12 тысяч человек на канонерских лодках в Остенде достаточно быстро, чтобы намеченное сосредоточение войск смогло дать ему возможность вернуться, развернуть свою деятельность и двинуть свои силы еще в течение ближайшего месяца. Но если решение Испании будет отрицательным, на что здесь надеются, то этот грандиозный проект превратится в басню об опрокинутом горшке с молоком[4], и Густав останется сидеть на месте со своими лодками, солдатами и горькими воспоминаниями о прекрасных погибших планах. Г-н де Монморен допускает также возможность, что король натолкнется в собственной стране на внутренние препятствия, которых он не предвидел.

Тем временем здесь неуклонно приближаются к завершению конституционной хартии, которая через несколько дней будет отпечатана; она содержит около 172 статей. В конституции смягчено несколько декретов как по существу, так и в отношении отдельных употребленных в них выражений и определений, например, уничтожен мало лестный титул первого должностного лица в государстве, предназначавшийся королю. Он заменен титулом первого и верховного представителя нации; включен также пункт о том, что монарх является неотъемлемой частью конституции. Совершенно выпущен раздел гражданского устройства духовенства, который отнесен к распорядительным статьям, могущим быть пересмотренными и измененными последующими законодательными собраниями. Сохранено только несколько краеугольных камней, которые могут послу-

жить в дальнейшем для перестройки здания по системе двух палат, по видимости равных, но в действительности неизбежно, что одна из них получит некоторое преобладание; это приблизило бы ее к роли верховной палаты, однако, ровно ничего не дало бы бывшему дворянству, против существования которого так резко в настоящий момент высказывается народ.

Кавалер де Куаньи[5] уехал сегодня в ночь с личным письмом короля к графу д'Артуа и с запиской, довольно умно составленной, рисующей истинное положение вещей.

Мой друг получил оба документа для прочтения из рук того, кто посоветовал их написать и продиктовал их[6]. Письмо нежно и довольно убе-



Commission de Lieutenant de la Gendarmerie Nationale du Département des Pyrénées orientales — à la Résidence d pour les Sieur Ferriole Jean Sabes

Louis, par la grâce de Dieu, et par la Loi constitutionnelle de l'Etat, Roi des François.

Par Le Roy

КОРОЛЕВСКИЙ ПРИКАЗ ОТ 20 НОЯБРЯ 1791 г., ПОДПИСАННЫЙ ЛЮДОВИКОМ XVI— КОНСТИТУЦИОННЫМ МОНАРХОМ

Исторический музей, Москва

дительно. Прося оказать доверие подателю письма, король говорит своему брату, что пора прекратить раздоры, которые могут только навлечь непоправимое несчастие на всех, увлекшихся их идеями, что принцип, согласно которому государи могут править только на условиях и в пределах, которые предписывает им воля наций, остается незыблемым. Что такое положение в особенности присуще конституционным странам и что, поскольку Франции суждено и бесповоротно предрешено иметь конституцию, стало невозможным как физически, так и морально противиться этому всеобщему решению с каким бы то ни было успехом; что во время своего путешествия он вполне пришел к этому сознанию и искренне в этом убедился, что он накануне представления ему хартии и ее принятия, ибо в ней заключаются единственные условия для сохранения им короны для себя и для своего сына и для всех, которые будут иметь права на нее после

них, что вопрос о том, вполне ли свободно будет им совершен этот акт, не подлежит ни обсуждению, ни рассмотрению, потому что, по его мнению, истинная свобода будет состоять в отказе или в принятии хартии, в чем он совершенно волен. Он призывает и даже просит брата, как только это будет сделано и завершено, вернуться и дать всем его окружающим пример, которому они последуют. Он пишет, что этот поступок принесет, в частности, и самому графу д'Артуа больше славы и будет для него полезнее, чем преследование целей, которые могут только повергнуть его в несчастие на долгие годы. В заключение король говорит, что, когда они расставались, он, конечно, не рассчитывал, что прощается с ним навек, и что из всех знаков дружбы, которые брат мог бы когда-либо ему выказать, настоящий будет самым дорогим для его сердца.

Таково письмо почти слово в слово.

Записка развивает и обсуждает, какие личные интересы и намерения должны руководить графом д'Артуа; говорит о том, что он не должен целиком доверяться не только обещаниям, но даже и реальной кратковременной помощи, которую иностранные державы могли бы ему оказать. В записке высказывается предположение и почти уверенность, что этот интерес скоро ослабеет и постепенно совсем исчезнет, как только королевство будет успокоено установлением конституции и решением монарха присоединиться к ней; не забыли в записке и о личных интересах графа д'Артуа, подчеркнув и противопоставив их тем затруднениям, которые ему причинит его упорство, а также отметили ценное преимущество своевременности в решении каждого дела.

Если у кавалера де Куаньи хватит таланта заставить оценить надлежащим образом все эти доводы, то должно надеяться, что его переговоры увенчаются успехом, что было бы вдвойне выгодно для графа д'Артуа, поскольку его возвращение возбудило бы восторг и усилило бы чувство удовлетворения, которое вызовет здесь завершение конституционной хартии.

Здесь так устали от волнений и от неуверенности, в которой живут изо дня в день, что все умы одинаково склонны к единению, которое представляется залогом возвращения спокойствия. Однако, здесь не надеются на успех и особенно опасаются, что у г. де Калонна, рассчитывавшего по возвращении играть главную роль в управлении государством и овладевшего полным доверием графа д'Артуа, не окажется достаточно великодушия и здравого смысла, чтобы дать тому лучший для него совет, а самому добровольно отстраниться и обречь себя на бездеятельность и уединение, которые стали бы уделом его жизни. Впрочем, известная близость, постоянно существовавшая между ним и кавалером де Куаньи, могла бы дать этому последнему некоторую возможность убедить его решиться на эту великую жертву.

Monsieur, брат короля, будет, конечно, в силу своего характера, более склонен к примирению, и он даже более заинтересован в нем, ввиду того, что в качестве первого кандидата на трон он формально обязан пребывать здесь [в Париже] во время малолетства наследника престола. В силу этого он неизбежно будет вынужден подчиниться декрету, чтобы не быть лишенным своих прав, отказавшись считаться с ним. Такого особенного условия не существует для графа д'Артуа.

Впрочем, среди вожаков недовольных, сосредоточенных на границах Франции, отнюдь не наблюдается полного единения. Их можно разделить на две или три очень различные партии, которые не имеют ни общих интересов, ни общих намерений.

Принц де Конде и кардинал де Роган[7] составляют одну из партий, граф д'Артуа другую; имелась и третья, именно та, под защиту которой рассчитывали отдаться король и королева. Партия эта состояла из барона де Бретёйля, г. де Буйе и их сторонников. Министерские места были уже распределены в этой третьей партии. Бомбель[8] должен был получить министерство иностранных дел, Барантен—снова стать хранителем печати, Буйе—военным министром. Этот последний поступил на службу к шведскому королю. Королева никогда не согласилась бы увидеться ни с кардиналом де Роганом, ни с г. де Калонном, так что коалиция всех этих главарей, если бы удался отъезд их величеств, была бы очень трудной и повлекла бы за собой еще худшие интриги по сравнению с теми, что волновали Версаль в самые памятные в этом отношении дни.

Впрочем, что касается существа политики, то убеждения в необходимости тесного союза с Российской империей продолжают укрепляться в сознании членов Дипломатического комитета и членов министерства, а настроение Собрания окончательно склонилось к этой идее.

Имею честь быть, государыня, с глубочайшим уважением вашего императорского величества верноподданный

Иван Симолин

Rapports en cour, к. 50, л. 6. Дата получения неизвестна.

[1] Георга III (1738—1820)—короля Англии с 1760 г.

[2] Ландграф Гессен-Кассельский Георг-Вильгельм (1743—1821). Впоследствии вошел в коалицию, выступившую в 1792 г. против революционной Франции.

[3] Карл IV (1748—1819)—король Испании с 1788 по 1808 гг.

[4] Басня Лафонтена, аналогичная русской сказке о мужике и зайце.

[5] Coigny Мари-Франсуа-Анри де Франкето, впоследствии герцог де (1737—1821)—маршал Франции, депутат в Генеральные штаты, один из наиболее преданных Марии-Антуанетте придворных, фактически являлся эмиссаром короля, а не руководящей группы Собрания. Прибыл в Кобленц 13 августа, когда граф д'Артуа выезжал в Пильниц для участия в совещаниях прусского короля с императором. Это был период, когда эмиграция начала получать признание со стороны ряда иностранных государств: Россия и Швеция послали в Кобленц своих представителей. Граф Куаньи остался в Кобленце и занялся организацией представительства «дворян и собственников королевства Франции». Сражался в армии принца Конде.

[6] «Мой друг»—Талейран (см. прим. 3-е к донесению № 49 от 27 мая 1791 г. и прим. 2-е к донесению № 27 от 1 апреля 1791 г.). Получил документы он, очевидно, из рук Барнава или другого члена «триумвирата», так как известно, что Барнав со своей группой был инициатором и автором тех писем, которые были посланы королем Леопольду II и Мерси о примирении с народом, готовности принять конституцию и т. д. Барнав воздействовал в этом смысле на короля и официально через Монморена и неофициально через королеву, в своих письмах к ней. Однако, Мария-Антуанетта послала одновременно два секретных письма Мерси и одно Ферзену с предупреждением о том, чтобы они не доверяли официальным письмам: «совершенно необходимо, чтобы, по крайней мере, еще некоторое время они верили, что я следую всем их советам» (Lettres de Marie-Antoinette, II, 266, см. также ниже письмо Марии-Антуанетты к Екатерине II).

[7] Rohan Людовик-Рене-Эдуард, принц де (1734—1803)—кардинал, скомпрометировавший себя в деле с ожерельем королевы. Во главе собранного им отряда присоединился к армии принца Конде.

[8] Bombelles Мари-Марк, маркиз де (1744—1821)—дипломат. Был послом в Португалии, Венеции, эмигрировал, служил в армии принца Конде. Неоднократно приезжал в Россию, через него Екатерина II поддерживала сношения с принцами, братьями Людовика XVI; впоследствии Бомбель был послан ими к императрице с поручением убедить ее созвать конгресс для обсуждения способов восстановления монархии во Франции.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОНЕСЕНИЮ ОТ 29 АВГУСТА 1791 г.

К № 83

Париж, 18/29 августа 1791 г.

Дня через три или четыре конституционный акт будет закончен и приготовлен для представления королю. В Тюильри и среди советников, окружающих монарха,— скрытое волнение. Он получает со всех сторон, как извне, так и из глубины страны, докладные записки, проекты и всякого рода бумаги, которые, как будто, целиком поглотили его; чтение их, повидимому, приводит его в состояние все большей и большей нерешительности[1]. Если верить некоторым очень частным и секретным сообщениям, то король и королева, как будто, все еще питают намерение бежать и поспешат его осуществить, как только им будет предоставлена некоторая свобода для принятия конституционного акта. Подозревают, что барон де Бретёйль, который, как известно, был душой проекта г. де Буйе, приведенного в исполнение г. Ферзеном[2], поддерживает с этой же целью письменные сношения с монархом. Можно быть уверенным, что не было бы ничего тягостнее и гибельнее для страны, чем осуществление подобного плана, потому что его неизбежным следствием была бы гражданская война, сигнал к которой был бы дан массовыми убийствами. Однако, у г. де Монморена не возникает, повидимому, по этому поводу никаких опасений; впрочем, король и королева привыкли его обманывать и подвергли его уже однажды испытанию, которое едва не оказалось для него весьма прискорбным. Достоверно известно, что тайно собирают в большом количестве луидоры, притом при помощи тех же лиц, которые производили эту операцию в первые дни июня, перед отъездом короля.

Министры, между тем, повидимому, заняты совершенно другими мыслями. Они озабочены вопросом, даст ли король свои замечания к конституции или нет. Их намерение сводится теперь к тому, чтобы заставить его принять ее в целом и без оговорок и сопроводить свое принятие некоторыми замечаниями, основание для которых, несомненно, имеется, потому что все партии единодушно признают конституцию в ее настоящем виде в высшей степени неудовлетворительной. Значительное число сторонников министров, которых эти последние имеют теперь в Собрании, считает, что первое из этих замечаний будет сводиться к отмене декрета, запрещающего членам Национального собрания, срок полномочий которого уже истекает, занимать в течение двух лет министерские посты. Именно поэтому они и вычеркнули этот декрет из дополнительных статей, будучи уверены, что неминуемо потерпели бы с этим предложением поражение в Собрании и в надежде таким путем достигнуть бо́льшего успеха, в чем я, однако, сомневаюсь.

Что король и королева примкнут к этой группе, заставляет предполагать то обстоятельство, что королева продолжает высказываться весьма пренебрежительно о принцах и утверждать, что у них нет никаких средств, что они скорее испортили им дело, нежели помогли, что они слишком высоко расценивают свои мнимые услуги, требуя за них благодарности. Не говорит ли она так, чтобы лучше обмануть? В этом очень трудно разобраться.

Борьба мнений, которая царит среди руководителей эмигрантов, вносит также большие разногласия в их планы. Совсем особо стоит план г. Калонна. Он заключается в том, чтобы побудить императора предложить свое посредничество между королем, Собранием и принцами-эмигран-

ДОМ СЕНТ-ФУА НА УЛИЦЕ BASSE DU REMPART В ПАРИЖЕ, В КОТОРОМ ЖИЛ В 1788 г. СИМОЛИН

В 1791 г. Симолин занимал квартиру в одном из ближайших домов по той же улице

Современная гравюра неизвестного мастера

Музей Карнавале, Париж

тами (для того-то он только-что и увлек за собой графа д'Артуа в Пильниц). Если бы это произошло, Собрание было бы поставлено в очень затруднительное положение. Виднейшие из его членов придерживаются того мнения, что на это необходимо было бы реагировать; они поняли теперь, какую большую политическую ошибку они совершили, отнесясь с такой грубостью к декларации, с которой к ним обратился испанский король после отъезда короля; они возлагают вину за это на тех сумасбродов, которые имеются в их среде.

Король и королева очень опечалены декретом, устанавливающим состав их личной охраны; из нее исключена королевская гвардия, которую они хотели бы вернуть, и им предписывается выбрать себе охрану среди пехоты, линейных войск или Национальной гвардии.

Выборы депутатов в Законодательное собрание начинаются сегодня. Республиканская партия очень сильна среди избирателей. Если надежды их оправдаются и они начнут с того, что заставят избрать Керсэна[3], Кондорсе и Бриссо[4], то это будет служить самым дурным показателем настроений будущего Собрания.

Все заставляет думать, что оно будет из рук вон плохим и что якобинцы приобретут самое большое влияние.

Г-н испанский посол рассчитывает использовать свой отпуск, разрешение на который он носит в кармане уже свыше 13 месяцев, и отправиться около 8—9-го будущего месяца в Ниццу, чтобы повидаться со своим дядей, герцогом де Роганом[5], у которого там скончалась жена и который не может приехать провести зиму в Париже. Ut in litteris.

И. Симолин

D. R., к. 51, л. 131. Получено 10 сентября.

[1] Современники свидетельствуют (напр., La Marck в своей переписке), что в связи с предстоявшим принятием конституции Людовику XVI было представлено до 20 проектов, в том числе один на 27 стр., составленный бывшим секретарем Мирабо Pellenc'ом.

[2] Fersen Аксель, граф де (1755—1810)—шведский дворянин, приближенный короля Густава III; командовал своим полком Royal-Suède на службе французской монархии и пользовался особым расположением Марии-Антуанетты. Один из главных организаторов бегства короля. Выехав одновременно с королем из Парижа, он покинул Францию и сам продолжал из Брюсселя и других мест сноситься с королевой и подготовлять интервенцию и новые планы бегства, даже во время заключения королевской семьи в Тампле. Убит во время революционной вспышки в Стокгольме.

[3] Kersaint Арман-Ги-Симон, граф де (1742—1793)—моряк, литератор, член парижского городского самоуправления.

[4] Brissot de Warvile Жак-Пьер (1754—1793)—известный вождь жирондистов, выдающийся мыслитель, писатель, публицист и политический деятель, член Якобинского клуба, редактор наиболее прогрессивного буржуазного органа «Patriote Français», член парижского муниципалитета. Редактировал республиканскую петицию. Избран депутатом от Парижа в Законодательное собрание, несмотря на сопротивление двора, и сразу выступил против эмигрантов и за войну против монархической Европы, опирался на группу, представлявшую интересы крупной торгово-промышленной буржуазии Франции («бриссотинцы», позднее жирондисты).

[5] Rohan-Chabot Людовик-Антуан-Август, герцог де (1733—1807)—военный деятель, был депутатом от дворянства в Генеральные штаты, эмигрировал в начале революции.

[ПЕРВОЕ] ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОНЕСЕНИЮ ОТ 12 СЕНТЯБРЯ 1791 г.

К № 87

Париж, 1/12 сентября 1791 г.

Продолжают оказывать давление на решение важного вопроса о принятии королем конституции. В пятницу вечером лицо, принимающее самое близкое участие в этих делах, покинуло в гневе заседание некоего ко-

митета, образованного по этому случаю, говоря о невозможности служить людям, чьи мнения так изменчивы, которые так же быстро хватаются за несбыточные надежды, как и впадают в отчаяние от малейших неудач; что нескольких аплодисментов, полученных королевой, когда она стояла у окна Тюильри, достаточно для того, чтобы считать себя кумирами народа и думать, что, следовательно, они могут все изменить, все восстановить по своему усмотрению. Далее это лицо сетовало, что на основании всех советов, всех докладов, всех писем, полученных королем по этому случаю, он составил на свой лад акт принятия [конституции], настолько же неудовлетворительный, насколько и гибельный для его собственных интересов, каким было обращение с протестом, оставленное им 21 июня г. де Ла Порту и в результате которого он отрешен до сих пор от своей исполнительной власти; указанное лицо утверждало, что если они будут настаивать на этом своем проекте, то чтение акта в Собрании не пойдет далее первых десяти фраз и Конституционный комитет во всем своем составе поднимется на трибуну с требованием отвергнуть его, а дальнейшее рассмотрение этого акта в объединенном заседании всех комитетов, куда он будет затем передан на обсуждение, несомненно, приведет только к решению свергнуть монарха, мотивированному его оскорбительным отказом пойти навстречу нации и ее представителям.

Это же лицо прибавило, что сам г. де Монморен исчерпал все свое влияние, чтобы заставить их величества изменить свои мнения[1], внушенные, несомненно, членами правой, стремящимися лишь к смуте, и пришел к выводу, что если уж невозможно добиться правления конституционно-монархического, то лучше довериться республикоманам и иметь республику, чем не иметь совсем ничего.

Король решил предъявить этот опасный акт сегодня. Однако, имеется основание предполагать, что третьего дня возникли некоторые новые соображения, потому что два видных члена Собрания конфиденциально сообщали в субботу вечером, что, по их мнению, король склонен к принятию конституции без всяких оговорок.

С другой стороны, один человек, хорошо осведомленный обо всем, что происходит в покоях короля, сказал вчера утром, что принятие конституции в целом без изменений будет сопровождаться внесением параграфа, в котором монарх укажет на трудности проведения в жизнь конституции, которое ему должно быть вверено, докажет взаимное противоречие некоторых статей, невозможность выполнения некоторых других и закончит тем, что перенесет на Собрание ответственность за все недоразумения, которые может повлечь конституционный акт. Попрежнему создается впечатление, что король желает сменить часть своих министров; г. де Монморен продолжает добиваться места воспитателя дофина, но паралич, только-что разбивший г. де Ла Люзерна[2], посла в Англии, лишает г. де Монморена надежды, что тот его заменит. И действительно, среди всех составляющих дипломатический корпус не видно никого, кто мог бы быть призван на этот пост; разве что придется снизойти до выбора между графом Сегюром[3] и г. де Мустье[4], которые оба одинаково молоды и очень мало рассудительны. Ut in litteris.

И. Симолин

D. R., к. 51, л. 4. Получено 24 сентября.

[1] Можно, на основании опубликованной переписки Марии-Антуанетты с Барнавом («Marie-Antoinette et Barnave. Correspondance secrète». Par Alma Söderhjelm, P., 1934),

предполагать, что «лицо», о котором здесь говорит Симолин,—Барнав или один из его группы, поскольку именно эта группа проводила через посредство Монморена то давление на короля и королеву, которое одновременно, втайне от Монморена, проводил Барнав в своих письмах к королеве. В конце концов, был принят проект Монморена—Барнава, а не короля.

[2] La Luzerne Анн-Сезар де (1741—1791)—дипломат, французский посол в САСШ (1779—1783), затем (с 1788) в Лондоне.

[3] См. прим. 1-е к донесению № 18 от 13 марта 1789 г.

[4] См. прим. 4-е к приложению № 41 от 6 мая 1791 г. На этот раз, в сентябре, отказ Мустье был согласован с королевой, которая решила его «приберечь для лучших времен».

[ВТОРОЕ] ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОНЕСЕНИЮ ОТ 12 СЕНТЯБРЯ 1791 г.

К № 87 Париж, 1/12 сентября 1791 г.

Только-что появился протест 283 членов Национального собрания против конституции и против предстоящего принятия ее королем. Редакцию его приписывают г-ну д'Эпременилю[1].

Вчера предполагали, что король отправится завтра в Национальное собрание, чтобы принять конституцию. Две партии стараются набросить тень на этот поступок: одни, чтобы разжечь народные страсти, утверждают, что король потребует поправок, указанных в декларации, которую он оставил 21 июня этого года, другие же заявляют, что монарх не располагает надлежащей свободою, чтобы дать согласие, имеющее законную силу, и они пытаются поднять народ на восстание с целью показать призрачность этой свободы. Рост цены на хлеб, к несчастию, способствует влиянию агитаторов. На хлебном рынке возбуждение, внушающее тревогу. Мэр не преминул туда отправиться, чтобы успокоить умы, но встретил самый плохой прием. Ut in litteris.

И. Симолин

D. R., к. 51, л. 6. Получено 24 сентября.

[1] D'Espréménil Жан-Жак Дюваль (1745—1794)—бывший королевский адвокат в суде Шатле, советник Парижского парламента, сосланный за резкие выступления против старого режима. Возвращение его сопровождалось народными манифестациями. В Национальном собрании уже был в группе правых монархистов. В связи с дебатами о присоединении Авиньона, происходившими в Собрании 12 сентября 1791 г., выступил от группы правых с заявлением по поводу конституционного акта, но Собрание лишило его слова. Поскольку на следующий день конституция была подписана королем, протест не имел последствий.

ДОНЕСЕНИЕ ОТ 16 СЕНТЯБРЯ 1791 г.

№ 89 Париж, 5/16 сентября 1791 г.

Милостивый государь,

Речь, с которой г. Туре[1], руанский адвокат, занимавший кресло председателя, обратился к королю, была в высшей степени неуместна и заслужила всеобщее неодобрение. Он обошелся с королем, как с посторонним делу человеком, вместо того, чтобы поздравить его, как творца конституции, и сказать ему слово утешения по поводу всех горестей и несчастий, постигших его в течение двух лет. Незадолго до прибытия короля он предупредил Собрание, что достоинство законодательного корпуса требует, чтобы каждый депутат сел и надел шляпу, когда король начнет произносить свою присягу. Преувеличенная поспешность, с которой сам он сел, так удивила монарха, который этого совершенно не ожидал, что он с некоторым жестом презрения тотчас также сел; это так поразило Собрание, что в ту же минуту раздался гром аплодисментов, и все, хотя и продолжая сидеть, остались с непокрытой головой[2].

Я имел честь сообщить вашему сиятельству во вчерашней депеше, которую вы получите с эстафетой, что все судебные дела, возбужденные за эти два года против различных лиц, прекращены, и из тюрем освобождены как сопровождавшие короля, так и содействовавшие его отъезду. Герцог де Шуазёль[3], содержавшийся в тюрьме в Орлеане, и г. Шарль Дамà[4] появились вчера на утреннем приеме короля, который отыскал их в толпе и приветствовал. Орлеанский трибунал будет распущен, и следственные комитеты будут уничтожены. Предоставлена свобода въезда и выезда из королевства без всяких паспортов. Не сделали даже никаких исключений для г. де Буйе, так что эмигранты могут совершенно свободно вернуться к своим очагам, не опасаясь никаких неприятностей.

Возможно, что люди, уехавшие только из страха, решатся вернуться, но принцы и высшее дворянство, связавшее с ними свою судьбу, не проявят, вероятно, такой покорности.

Общественное настроение в этот первый момент довольно благоприятно. Если их величества воспользуются этим — не упустят случая появляться на спектаклях и тотчас же используют предоставленную им свободу выезжать, по желанию, в свои загородные дворцы, то народ легко убедится в искренности их намерений, и они с успехом используют всеобщий энтузиазм.

Принцесса Елизавета, высокомерная ханжа, не может себя заставить признать новое положение вещей и не проявлять своего недовольства, которое достигло такой степени, что королева вынуждена была третьего дня запретить своей маленькой дочери беседы с ней наедине.

une personne raisonnable du groupe s'étant élevée contre l'atrocité d'une démarche & la violation du droit des gens qui seroit commise en ma personne, il lui a été répondu: qu'est-ce que l'Imperatrice peut nous faire. Ayant prévenu Mr de la Fayette sur l'effervescence

СТРАНИЦА ШИФРОВАННОГО ДОНЕСЕНИЯ СИМОЛИНА ОТ 8/19 СЕНТЯБРЯ 1791 г. С СООБЩЕНИЕМ ОБ ОПАСНОСТЯХ, КОТОРЫМ ОН ПОДВЕРГАЛСЯ, БУДУЧИ ЗАПОДОЗРЕН В СОДЕЙСТВИИ БЕГСТВУ КОРОЛЯ

Архив феодально-крепостнической эпохи, Москва

Эта подробность, как и то, что я вам раньше сообщал о чувствах королевы по отношению к принцам, свидетельствует о недостатке согласия между членами королевской семьи и определяет тот образ действий, которого придерживаются теперь король и королева; они выжидают время, что является в настоящий момент, повидимому, самым лучшим решением, если люди, которые будут руководить их делами, сумеют искусно использовать те средства обольщения, которых у них осталось еще много.

Срок созыва новой легислатуры быстро приближается, и она очень скоро сменит Учредительное собрание. Все выборы, о которых уже известно в Париже и провинциях, свидетельствуют о том, что оно будет крайне демократично, а может быть, даже проникнуто республиканским духом.

Я узнал, что г. де Монморен, несомненно, несколько встревожен декларацией, подписанной императором и прусским королем в Пильнице; хотя всем понятно, что она является лишь условным договором и требует содействия других держав, тем не менее, считают, что она заслуживает бдительности в отношении ее дальнейшего развития и вытекающих из нее следствий[5].

На вчерашнем заседании Собрание постановило, что конституция будет провозглашена в будущее воскресенье в столице и в следующее за ним воскресенье будет послана во все другие муниципалитеты королевства. Постановлено, что муниципалитеты ознаменуют этот день устройством общественных празднеств.

Один депутат обратился с предложением освободить заключенных в долговой тюрьме за неплатеж кормилицам и заплатить их долги[6]. Было сделано предложение, чтобы эту меру распространить на все королевство. Оба предложения были приняты и отосланы к исполнению в Комитет финансов.

Г-н Фрето[7] предложил постановить, чтобы Военный комитет вошел в соглашение с военным министром и представил проект декрета о включении в линейные войска полка Швейцарской гвардии.

Г-н Реньян высказался в том смысле, что, одобряя по существу предложение предшествовавшего оратора, он считает предложение не соответствующим конституции: по всем вопросам, касающимся армии, предложения вносятся королем на рассмотрение Собрания, которое может обсуждать их только после этого. Он предложил поэтому просить короля, чтобы он приказал военному министру представить соображения относительно судьбы полка Швейцарской гвардии.

Эта редакция получила предпочтение, и г. д'Андре добавил к постановлению, что полк швейцарских гвардейцев будет пока продолжать служить в качестве охраны короля, как прежде.

Собрание вернулось к обсуждению проекта Лесного управления и декретировало 17 статей, а затем перешло к вопросу организации отчетности.

Имею честь быть с почтительнейшею преданностию, милостивый государь, вашего сиятельства нижайшим и покорнейшим слугою

И. Симолин

P. S. Г-н Павлов только-что прибыл и передал мне депешу вашего сиятельства от 15 августа со всеми приложениями к ней.

D. R., к. 51, л. 20. Получено 27 сентября.

[1] Thouret Жак-Гийом (1746—1794)—докладчик Конституционного комитета Национального собрания.

[2] Не только Симолин представлял дело так, будто инициатором этой демонстрации являлся Туре. Барон де Сталь, шведский посол, выразился еще резче: «Президент Туре имел глупость и дерзость провести декрет, чтобы члены Собрания сидели во время речи короля». В действительности, Туре, которого за его невозмутимое спокойствие и кротость прозвали «le placide Thouret», проводил лишь постановление Собрания, вынесенное по предложению депутата д'Андре.

[3] См. прим. 6-е к донесению № 60 от 27 июня 1791 г.

[4] См. прим. 7-е к донесению № 60 от 27 июня 1791 г.; Шуазёль и Дама были амнистированы после подписания конституции Людовиком XVI.

[5] Пильницкая декларация подписана 27 августа 1791 г. императором Леопольдом II и прусским королем в Пильнице, близ Дрездена. Декларация содержала обращение ко всем державам с предложением встать на защиту монархического принципа и французского короля с тем, чтобы вооруженной рукой обеспечить ему «возможность вполне свободно определить основы монархического образа правления, в равной мере обеспечивающего права государей и благополучие французской нации».

[6] Предложение это объясняется распространенностью во Франции того времени обычая отдавать детей на попечение кормилиц и почти столь же широко распространенным явлением уклонения от платежей за отданных кормилицам детей, что нашло отражение в сложном специальном законодательстве.

[7] Fréteau de Saint-Just Эманюэль-Мари (1745—1794)—юрист и политический деятель, член Дипломатического комитета, особенно влиятельный после смерти Мирабо. Предложение его стояло в тесной связи с декретами Собрания от 3 и 5 августа 1791 г. о роспуске Национальной гвардии, состоявшей на жалованье, и образовании из нее особых частей линейных войск, с целью сосредоточить управление этими наиболее революционно и демократически настроенными воинскими частями в руках военного министра и тем изъять их из под влияния парижских, уже республикански настроенных масс.

ПИСЬМО ВИЦЕ-КАНЦЛЕРА ГРАФА ОСТЕРМАНА СИМОЛИНУ

[Отправлено 15/26 августа 1791 г.][1]

Ее величество императрица, ознакомившись с депешами вашего превосходительства №№ 58—62, в которых вы сообщали о внезапном отъезде короля Франции из столицы, о его возвращении в Париж и о поведении, которого вы лично в этом случае придерживались, тотчас повелела мне известить вас об ее образе мыслей по этим вопросам и в то же время снабдить вас инструкциями, могущими послужить вам к руководству при непредвиденных случаях сношений, к которым может вас принудить в дальнейшем особое и исключительное положение вещей, создавшееся во Франции.

Прежде всего, я должен вам заметить, милостивый государь, что императрица выразила желание, чтобы при подобных обстоятельствах, заслуживающих особого внимания всех государей, вы взяли бы себе лучше за правило ожидать инструкций отсюда, прежде чем вступать там в какие бы то ни было письменные сношения с министром иностранных дел, не облеченным, после отъезда короля, при котором одном вы только и были аккредитованы, никакими полномочиями, чтобы входить в сношения с вами. Ее императорское величество не одобряет также своего рода оправданий, с которыми вы сочли нужным обратиться к г. де Монморену по поводу выданного по вашей просьбе паспорта, назвав употребление, которое ему было дано, когда его передали в руки короля, необдуманным.

Этот эпитет весьма мало приложим к обстоятельству, о котором шла речь, и если бы вы даже предоставили такой паспорт с действительным намерением оказать содействие христианнейшему королю и тем способствовали бы его безопасности, то такой поступок был бы во всех отношениях приятен ее императорскому величеству.

Итак, чтобы оставаться в должных границах в настоящую бурную эпоху при создавшемся положении дел, пока существующий теперь во Франции конфликт властей будет продолжаться, вам надлежит, и императрица вменяет вам это, милостивый государь, в обязанность, воздерживаться от обсуждения каких бы то ни было вопросов с лицами, назначенными или облеченными полномочиями так называемым Национальным собранием, а на устные сообщения и письменные ноты, обращенные к вам, давать всегда однообразный ответ, что, поскольку настоящее положение вещей является совершенно из ряда вон выходящим и необычным, вы не можете ничего брать на себя без особого на то распоряжения вашего двора.

Ее императорское величество предписывает вам одновременно, как общее правило вашего поведения, которого вы должны во всех случаях строго придерживаться, согласовать свои действия с действиями тех иностранных послов и чрезвычайных посланников в Париже, которые проявят наибольшую преданность королю, не отказываясь даже действовать с ними сообща во всем, что они сочтут необходимым задумать и предпринять в пользу его христианнейшего величества.

Если же беспорядок и анархия будут продолжаться во Франции и вашему превосходительству станет ясно, что точное соблюдение начертанных вам здесь правил может навлечь на вас большие неприятности и скомпрометировать ваше звание, то императрица разрешает вам в таком случае под приличным предлогом покинуть Францию и удалиться на время в какое-нибудь германское государство.

Я должен добавить, что для того, чтобы придерживаться и с нашей стороны такого же образа действий, какой предписан вам, было решено, что министерство ее императорского величества будет избегать принимать и, во всяком случае, будет оставлять без ответа все ноты и сообщения, с которыми к нам будет обращаться по распоряжению Национального собрания в этот же период времени французский поверенный в делах.

Имею честь и т. д.

«Dépêches-expedition», к. 50, л. 56. «Проект письма вице-канцлера графа Остермана господину Симолину».

[1] На подлиннике имеется помета: «rendu 31 juillet», обозначающая дату возврата проекта письма, после просмотра, Екатериной II. Дата отправления письма в Париж определяется на основании предшествующего и последующего донесений Симолина.

ДОНЕСЕНИЕ ОТ 19 СЕНТЯБРЯ 1791 г.

№ 90

Париж, 8/19 сентября 1791 г.

Милостивый государь,

С последним курьером я имел честь известить ваше сиятельство о прибытии г. Павлова и о получении мною в срок депеш от 15 августа, которые ему были вручены для передачи мне.

Я не могу выразить того чувства горечи, с которым я узнал, что мое оправдание по поводу паспортов[1], вызванное, казалось бы, крайней необходимостью, не получило одобрения ее императорского величества. Ваше сиятельство, без сомнения, не знаете, что граф де Монморен и я едва не стали жертвами народной ярости и что только усиленная охрана спасла графа де Монморена от фонаря, а его дом от разграбления. Что касается меня, то на собрании в Пале-Роаяле была вынесена резолюция, подтвержденная на другой день собравшимися в Елисейских

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ РЕДКОЙ БРОШЮРЫ, ПРИСЛАННОЙ СИМОЛИНЫМ ПРИ ДОНЕСЕНИИ ОТ 14 ОКТЯБРЯ 1791 г.

Архив феодально-крепостнической эпохи, Москва

LETTRE
D'UN
PUBLICISTE
DE FRANCE,
A UN
PUBLICISTE D'ALLEMAGNE,

Relativement au projet d'assembler un Congrès pour délibérer sur l'incendie qui embrâse la France, et menace l'Europe entière.

Roma deliberatur, dum ardet Saguntum.

A PARIS,
Chez LAURENT, rue de la Harpe.
1791.

полях, схватить меня и расправиться со мной, как с сообщником по организации бегства короля. Молодой граф Мусин-Пушкин и его друг по путешествию, услыхав это постановление, требующее крови, прибежали ко мне, чтобы предупредить меня об угрожающей мне опасности. Один разумный человек из толпы восстал против жестокости такого намерения и против нарушения международного права, которому был бы, таким образом, нанесен ущерб в моем лице. Ему ответили: «Что́ его императрица может нам сделать?».

Предупредив г. де Лафайета о возбуждении народа против меня, я просил его позаботиться о моей безопасности и об охране занимаемого мною особняка.

Вышеупомянутый генерал поставил удвоенную охрану из частей бывшей Французской гвардии у трех ворот моего дома с приказом разгонять народные толпы, если они будут собираться поблизости, так что спокойствие в моем квартале не было нарушено.

В то же время г. де Монморен дал мне понять, что мне следовало бы, о чем я и сам думал, обратиться к нему с письмом по поводу паспортов, которое могло бы рассеять подозрения народа о моем мнимом соучастии. Я счел себя обязанным сообразоваться с сделанным мне намеком, чтобы не дать повода к обвинению в том, что я пренебрегаю указанной мне мерой, предупреждающей еще большие недоразумения. В таком озабоченном состоянии я написал письмо, в которое вкрался эпитет, не одобренный ее императорским величеством[2] и за который я прошу у нее прощения. Я смею надеяться, что, если ваше сиятельство будете столь добры представить ее величеству обстоятельства, в которых я находился, она

соблаговолит извинить совершенный мною поступок и простит меня. Я слишком рассчитываю на ее справедливость и великодушие, чтобы не льстить себя надеждой на полный успех. Ваше сиятельство знаете, что в то время, когда произошло это событие, я был занят, и не без надежды на успех, одним важным делом, настойчиво рекомендованным мне вами в депеше от 17 апреля, которое заключалось в том, чтобы побудить Национальное собрание усилить вооружения под предлогом организации безопасности своих колоний и, внушив тем страх Англии, заставить ее отказаться от проектов, замышляемых ею против нашей империи. Таким образом, я имел еще одну причину стремиться устранить всякое подозрение, чтобы оно не повлияло на изменение намерений Дипломатического комитета, проводившего этот проект, благодаря примененным мною мерам воздействия, и не разрушило бы работы, приближавшейся, как меня обнадеживали, к благополучному завершению. Хотя все иностранные послы и посланники, за исключением шведского, продолжали во время отрешения короля сноситься с министром иностранных дел, я, тем не менее, не был ни на одном из совещаний со времени ареста короля. Поверенный в делах венского двора не переставал вести переговоры с ним, я же ограничивался только обращением к нему с просьбами о выдаче паспортов для лиц, которые их у меня просили.

Единственным случаем сношения моего с графом де Монмореном было вручение им мне двух мемуаров вместе с его депешей от 8 июля. Я тем менее мог воздержаться от исполнения его распоряжений, что депешу эту я получил значительно позднее, после того, как до императрицы дошло нижайшее мое донесение от 12 июня, отправленное мною с эстафетой об аресте и об отрешении короля от его функций[3].

Что касается моих знакомств с депутатами, членами Дипломатического комитета, то я был постоянно в курсе дел через посредника, тем более, что с момента установления мирных отношений на севере все сношения с ними стали для меня излишними.

Торжественное принятие королем в зале Национального собрания конституционного акта установило опять новый порядок вещей, и я буду держать себя в соответствующих рамках до получения дальнейших распоряжений императрицы.

Я не премину представить нижайший ответ вашему сиятельству на другую депешу, от 15 августа, привезенную мне г. Павловым.

Имею честь быть с почтительнейшею преданностию, милостивый государь, вашего сиятельства нижайшим и покорнейшим слугою

И. Симолин

На донесении помета карандашом:

«Г-н Павлов прибыл в Париж 5/16 сентября 1791 г.»

D. R., к. 51, л. 24. Шифровано. Получено 1 октября.

[1] См. выше, копию письма Симолина к Монморену от 25 июня 1791 г., приложенную к донесению № 60 от 27 июня 1791 г.

[2] В вышеуказанном письме к Монморену Симолин говорит о «необдуманном употреблении» паспорта, выданного баронессе Корф и предоставленного ею королю. Слово «необдуманное» вызвало неодобрение Екатерины II. См. выше отпуск депеши Остермана Симолину от 31 июля 1791 г., в котором ему объявляется выговор от имени Екатерины II.

[3] Эту недоговоренную Симолиным мысль можно, для ясности, продолжить так: «и, следовательно, рассчитывал, что за истекшее время мне могли бы сделать соответствующие указания».

ДОНЕСЕНИЕ ОТ 14 ОКТЯБРЯ 1791 г.

№ 100

Париж, 3/14 октября 1791 г.

Милостивый государь,

Курьер, посланный в Мадрид с известием о принятии королем конституции и с приказом довести конституционный акт до сведения министра его католического величества, вернулся в прошедший понедельник. Испанский поверенный в делах сообщил мне, что граф Флорида-Бланка[1] ответил французскому поверенному в делах, что король, его повелитель, не мог допустить мысли, чтобы король Франции мог быть свободен физически и морально, когда принял предъявленную ему конституцию; что его католическое величество желал бы иметь возможность убедиться в этом, и пока у него нет этой уверенности, он не будет отвечать на сделанное ему сообщение.

Прусский посланник, граф Гольц[2], сообщил мне, что в последних письмах из Берлина его извещали, что французский полномочный министр сделал министерству его двора официальное сообщение о принятии королем конституции 13-го прошедшего месяца, но что король подождет высказывать свое мнение по поводу принятия конституции, пока ему не станут известны намерения венского двора и других держав, которые были приглашены участвовать в общем деле, и впечатление, произведенное там этим сообщением.

Шведский посол еще не получил от своего двора ни новых инструкций, ни ответа на извещение о принятии конституции, посланное им в Стокгольм с нарочным, но ожидает со дня на день возвращения этого последнего.

Поверенный в делах императора, г. Блуменсдорф[3], все еще не имеет ни известий, ни инструкций по поводу того важного дела, о котором ведутся переговоры между его двором и главными европейскими дворами; но возможно, что он получит необходимые ему инструкции лишь тогда, когда заключение соглашения между императором и присоединяющимися к этому соглашению державами, затянувшееся из-за больших расстояний, их разделяющих, будет окончательно решено.

Упомянутый поверенный в делах подошел ко мне во вторник, когда мы выходили после совещания от графа де Монморена, и сказал, что министр сообщил ему об отказе господина де Мустье от предложенного ему портфеля министерства иностранных дел и что, ввиду того, что г. де Мустье дано распоряжение вернуться в Париж, он ожидает его в ближайшем будущем. Граф де Монморен признался ему, что будет в большом затруднении в связи с необходимостью приискания себе преемника, в случае, если г. Мустье по своем возвращении станет настаивать на своем отказе занять его пост.

Имею честь быть с почтительнейшею преданностию, милостивый государь, вашего сиятельства нижайшим и покорнейшим слугою

И. Симолин

D. R., к. 51, л. 115. Шифровано. Получено 25 октября.

[1] Florida-Blanca Франсуа-Антуан, граф де (1728—1808)—испанский министр иностранных дел с 1777 по 1792 гг. Одним из первых грозил интервенцией революционной Франции (нота от 1 июля 1790 г.).

[2] См. прим. 6-е к донесению № 27 от 1 апреля 1791 г.

[3] Blumensdorf—поверенный в делах императора. Вел дела в Париже во время двухгодичного отсутствия посла Мерси д'Аржанто, до 5 июня 1792 г.

4

Et vous Peuple François, Nation célèbre depuis tant de siècles, montrez-vous magnanime & généreuse au moment où votre liberté est affermie ; reprenez votre heureux caractère ; que votre modération & votre sagesse fassent renaître chez vous la sécurité que les orages de la révolution en avoient bannie, & que votre Roi jouisse désormais, sans inquiétude & sans trouble, de ces témoignages d'amour & de fidélité qui peuvent seuls assurer son bonheur.

FAIT à Paris, le vingt-huit septembre mil sept cent quatre-vingt-onze. *Signé* LOUIS. *Et plus bas*, DE LESSART.

A PARIS,

DE L'IMPRIMERIE ROYALE.

M. DCC. XCI

къ письму Г. Симолина подъ № 95 — 1791

PROCLAMATION DU ROI,

Du 28 Septembre 1791.

LOUIS, par la grâce de Dieu & par la Loi constitutionnelle de l'État, ROI DES FRANÇOIS; A tous les Citoyens; SALUT.

J'AI accepté la Constitution, j'emploirai tous mes efforts à la maintenir & à la faire exécuter.

Le terme de la révolution est arrivé: il est temps que le rétablissement de l'ordre vienne donner à la Constitution l'appui qui lui est maintenant le plus nécessaire; il est temps de fixer l'opinion de l'Europe sur la destinée de la France, & de montrer que les François sont dignes d'être libres.

МАНИФЕСТ ЛЮДОВИКА XVI ОТ 28 СЕНТЯБРЯ 1791 г. ПО ПОВОДУ ПРИНЯТИЯ ИМ КОНСТИТУЦИИ, ПРИСЛАННЫЙ СИМОЛИНЫМ ПРИ ДОНЕСЕНИИ № 95, 1791 г.

Страницы первая и последняя. На полях пометы Екатерины II

Архив феодально-крепостнической эпохи, Москва

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОНЕСЕНИЮ ОТ 14 ОКТЯБРЯ 1791 г.

К № 100 Париж, 3/14 октября 1791 г.

Голландский посланник, г. Беркенроде, ознакомил меня вчера с ответом Генеральных штатов Соединенных провинций на сообщение им конституционного акта, который был им препровожден вместе с двумя письмами короля. Ответ этот гласит, что Республика благодарит его величество за это дружеское сообщение, высказывает пожелания о благополучии короля и о спокойствии и процветании французского королевства и надеется, что ничто не нарушит доброго согласия, существовавшего до сих пор между Францией и Генеральными штатами, которое они постараются, со своей стороны, поддерживать всеми зависящими от них средствами.

Ответ английского посла лорда Гоуэра, данный по распоряжению его двора графу де Монморену, содержит благодарность за сообщение о конституции и выражение королем Великобритании надежды на то, что доброе, царившее между обеими нациями согласие и дружба будут существовать и впредь.

Вчера вечером вышло из печати «Письмо французского публициста к немецкому публицисту», автором которого считают г. де Калонна. Осмеливаюсь приложить его к сему[1]. Ut in litteris.

И. Симолин

D. R., к. 51, л. 119. Получено 25 октября.

[1] К донесению приложена брошюра «Lettre d'un publiciste de France à un publiciste d'Allemagne relativement au projet d'assembler un Congrès pour délibérer sur l'incendie qui embrase la France et menace l'Europe entière», P., Laurent, 1791, in 8°, pp. 13. В существующем библиографическом репертуаре печатных изданий эпохи Французской революции (справочники Tourneux Monglond и др.) эта брошюра не зарегистрирована и представляет, таким образом, большую редкость.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОНЕСЕНИЮ ОТ 24 ОКТЯБРЯ 1791 г.

К № 103

Париж, 13/24 октября 1791 г.

Ответ датского короля[1] на оповещение французского короля только-что получен. Датский посланник сказал мне вчера, что этот ответ, так же как и ответ прусского короля, является только актом вежливости и не содержит никаких высказываний по существу о принятии конституции.

Шведский посол все еще ожидает ответа короля, своего повелителя, хотя уже более десяти дней тому назад получил извещение о прибытии на место курьера, которого он отправил к своему двору. Ut in litteris.

И. Симолин

D. R., к. 51, л. 171. Получено 5 ноября.

[1] Христиан VII (1749—1808) — король Дании с 1766 г. Правил лишь номинально: страдал душевной болезнью. Фактически у власти стояло правительство партии реформ из прогрессивных помещиков и буржуазии.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОНЕСЕНИЮ ОТ 28 ОКТЯБРЯ 1791 г.

К № 104

Париж, 17/28 октября 1791 г.

Граф де Монморен получил, наконец, ответ императора на сообщение, которое ему было сделано о принятии конституции королем. Ответ этот, как говорят, облечен в самую приемлемую для революционеров и революции форму, поскольку заканчивается поздравлениями королю по поводу восстановления спокойствия и изъявлениями надежд на присоединение всех держав к этому одобрительному отзыву. Этот ответ пока передан только на словах г. де Ноайлю, который имел аудиенцию по возвращении императора.

2

Mais ma vigilance & mes ſoins doivent encore être ſecondés par le concours de tous les amis de la patrie & de la liberté; c'eſt par la ſoumiſſion aux loix; c'eſt en abjurant l'eſprit de parti & toutes les paſſions qui l'accompagnent; c'eſt par une heureuſe réunion de ſentimens, de vœux & d'efforts que la Conſtitution s'affermira, & que la Nation pourra jouir de tous les avantages qu'elle lui garantit.

Que toute idée d'intolérance ſoit donc écartée pour jamais; que le deſir irréfléchi de l'indépendance ne ſoit plus confondu avec l'amour de la liberté; que ces qualifications injurieuſes avec leſquelles on cherche à agiter le peuple ſoient irrévocablement bannies; que les opinions religieuſes ne ſoient plus une ſource de perſécutions & de haines; que chacun, en obſervant les loix, puiſſe à ſon gré pratiquer le culte auquel il eſt attaché; & que de part & d'autre on n'outrage plus ceux qui en ſuivant des opinions différentes, croyent obéir à leur conſcience.

Mais il ne ſuffit pas d'éviter les excès dans leſquels l'eſprit d'exagération pourroit vous entraîner, il faut encore remplir ſes obligations que l'intérêt public vous impoſe: une des premières, une des plus eſſentielles, eſt le payement des contributions établies par vos Repréſentans. C'eſt pour le maintien des engagemens que l'honneur national a rendus ſacrés, pour la tranquillité intérieure de l'État, pour ſa ſûreté au dehors; c'eſt pour la ſtabilité même de la Conſtitution, que je vous rappelle ce devoir indiſpenſable.

Citoyens armés pour le maintien de la Loi; Gardes nationales, n'oubliez jamais que c'eſt pour *protéger la ſûreté des perſonnes & des propriétés, la perception des contributions*

3

publiques, la circulation des grains & des ſubſiſtances, que les armes que vous portez ont été remiſes en vos mains; c'eſt à vous de ſentir, que la juſtice & l'utilité réciproque demandent qu'entre les habitans d'un même Empire l'abondance vienne au ſecours des beſoins; & que c'eſt à la force publique à favoriſer l'action du commerce, comme le moyen qui remédie à l'intempérie des ſaiſons, qui répare l'inégalité des récoltes, qui lie enſemble toutes les parties du royaume, & qui leur rend communes les productions variées de leur ſol & de leur induſtrie.

Et vous que le Peuple a choiſis pour veiller à ſes intérêts; vous auſſi à qui il a conféré le pouvoir redoutable de prononcer ſur les biens, l'honneur & la vie des citoyens; vous encore qu'il a inſtitués pour concilier leurs différends, membres des divers corps adminiſtratifs, juges des tribunaux, juges de paix, je vous recommande de vous pénétrer de l'importance & de la dignité de vos fonctions; rempliſſez-les avec zèle, avec courage, avec impartialité; travaillez avec moi à ramener la paix & le règne des loix; & en aſſurant ainſi le bonheur de la Nation, préparez le retour de ceux dont l'éloignement n'a eu pour motif que la crainte des déſordres & des violences.

Et vous tous qui par divers motifs, avez quitté votre patrie, votre Roi vous rappelle parmi vos concitoyens; il vous invite à céder au vœu public & à l'intérêt national. Revenez avec confiance ſous la garantie de la Loi, & ce retour honorable au moment où la Conſtitution vient d'être définitivement arrêtée, rendra plus facile & plus prompt le rétabliſſement de l'ordre & de la tranquillité.

МАНИФЕСТ ЛЮДОВИКА XVI ОТ 28 СЕНТЯБРЯ 1791 г. ПО ПОВОДУ ПРИНЯТИЯ ИМ КОНСТИТУЦИИ, ПРИСЛАННЫЙ СИМОЛИНЫМ ПРИ ДОНЕСЕНИИ № 95, 1791 г.

Страницы вторая и третья. На полях пометы Екатерины II

Архив феодально-крепостнической эпохи, Москва

Ответ венского двора произвел очень сильное впечатление в обществе, среди которого письма эмигрантов все еще распространяют некоторую тревогу. Результатом его было ощущавшееся уже третьего дня повышение курса государственных ценностей. Конституционные чувства королевы не вызывают больше никаких сомнений, и, таким образом, она вполне примирила с собой народ.

Некоторые видные эмигранты возвратились как в Париж, так и в провинции, но их несравненно меньше, чем тех, которые ежедневно продолжают покидать свои очаги. Опасение, возникшее на этих днях, что будет вновь издан суровый закон против эмиграции, дало, без сомнения, толчок к этому поспешному выезду. Прения, происходившие по этому поводу в Собрании, свидетельствовали о большем спокойствии в настоящее время, и возможно, что Собранием будет проявлена в этом отношении умеренность. Так же будет и с вопросом о присяге священников. У теперешних законодателей замечается чрезвычайно резкий поворот в сторону терпимости, и их задняя мысль в этих вопросах—достичь того, чтобы отправление всех без различия существующих культов оплачивалось самими верующими. Благодаря этому, можно было бы исключить из сметы государственных расходов жалованье находящимся на службе католическим священникам, что одним росчерком пера даст национальному казначейству больше восьмидесяти миллионов экономии. Каждый будет оплачивать своего священника, как он оплачивает своего врача. Воцарится полная свобода, и никто не станет враждовать с соседом из-за вопросов веры.

Вопрос о назначении нового министра иностранных дел еще не решен и откладывается до того, как г. де Монморен сделает Национальному собранию доклад о внешней политике, который он теперь подготовляет. Граф де Сегюр оказался тем, кто решился, наконец, выставить свою кандидатуру на этот пост, при условии сохранения тайны; король, как будто, на это согласен, королева тоже склоняется к этой кандидатуре, хотя и с некоторым неудовольствием. Противятся одни министры, которые остановили свой выбор на г. Сент-Круа[1]. Г-н Монморен недолюбливает последнего и, стремясь выставить его в смешном виде, сообщает всем и каждому депешу этого полномочного министра-демократа, в которой он, действительно, довольно забавно сообщает, что он «проливал обильные слезы, когда узнал о состоявшемся принятии королем конституции, и затем уснул с этим счастливым для доброго патриота сознанием; а после пробуждения его глаза продолжали быть полными слез, но эти слезы были слезами счастья». Этот красноречивый вздор может повредить его возвышению.

Пост посла в Англии останется вакантным в продолжение пяти или шести месяцев. Его хотят предоставить г. Бартелеми[2], как известную компенсацию, которой система равенства энергично требовала для него.

Впрочем, г. де Монморен не решил еще окончательно вопроса о том, не воспользоваться ли ему самому этой вакансией в том случае, если после отставки ему не удастся занять один из видных постов при дворе короля. В этом случае г. Мустье удовлетворится постом посла при неаполитанском дворе.

Все эти колебания г. де Монморена происходят оттого, что министры ставят ему некоторые препятствия к сохранению за ним права заседать в Совете, не состоя во главе какого-нибудь ведомства. Они говорят, что

их коллегиальной ответственности будет противопоставлен голос человека, который не несет никакой ответственности, и, таким образом, при голосовании его мнение будет иметь перевес и способствовать таким решениям, которые смогут скомпрометировать каждого из них, как главу министерства. Этот аргумент не имеет большого веса, потому что каждый может, равным образом, опасаться того же самого со стороны своих коллег, но аргумент этот служит доказательством, как нежелательно им иметь г. де Монморена в своей среде.

Король только-что назначил герцога де Бриссака[3], командира швейцарской сотни, главным командиром королевской охраны; под его командой будут по пехоте — г. де Понт-Аббе и по кавалерии — г. д'Эрвили, оба прекрасные люди и верноподданные[4].

При дворе объявлен траур на шесть дней по случаю кончины вдовствующей герцогини Мекленбург-Шверинской и принца Вюртембергского, брата ее императорского высочества, великой княгини, скончавшегося в Галаце. Ut in litteris.

И. Симолин

D. R., к. 51, л. 178. Получено 9 ноября.

[1] Bigot de Sainte-Croix Клод-Луи (1744—1803)—поверенный в делах при сардинском короле, а затем секретарь посольства в Стокгольме; замещал некоторое время Сегюра в 1787 г. в Петербурге. По возвращении в Париж занимался литературной деятельностью, затем был выдвинут на пост полномочного министра при дворе курфюрста Трирского. Но Мария-Антуанетта категорически отвела его кандидатуру, выставленную группой Барнава, под предлогом его неопытности в дипломатии, а главное, его родственного окружения, которое побудит его к расхищению средств министерства (его дядя Sainte-Foix был известный спекулянт, о котором говорили: «Sainte-Foix, sans foi, est tout entier au plus offrant dans tout les temps»). В действительности, двор не терпел Сент-Круа за то, что он считался ярым демократом. Портфель иностранных дел он получил 1 августа 1792 г., но 10-го был заменен Лебрёном.

[2] Barthélemy Франсуа, маркиз де (1747—1830) — состоял при Бретёйле во время его миссии в Швеции и Швейцарии, а с 1791 г. был поверенным в делах, а затем полномочным министром в Лондоне. Вместе с Мерси д'Аржанто строил планы спасения королевской семьи. От предложенного ему, по инициативе группы Барнава, поста министра иностранных дел отказался и в декабре 1791 г. получил назначение посланником в Швейцарию, где играл очень видную роль.

[3] Brissac Эркюль-Тимолин, герцог де (1734—1792). Получил это назначение вопреки желанию конституционалистов и «триумвиров».

[4] D'Hervilly Луи-Шарль, граф (1755—1795). В 1790 г. завязал в Нанте и Бретани связи с контрреволюционным дворянством. В 1792 г. эмигрировал.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОНЕСЕНИЮ ОТ 31 ОКТЯБРЯ 1791 г.

К № 106

Париж, 20/31 октября 1791 г.

Шведский посол, г. барон де Сталь, получил третьего дня обычной почтой сообщение о том, что шведский король отказался принять нотификацию о принятии конституционного акта французским королем, переданную уполномоченным на это г. кавалером де Госсаном[1]; барон де Сталь в тот же вечер известил меня об этом. Записка государственного секретаря, г. Франка, от 8 октября из Дротнингольма гласит, что им указанного числа был получен от г. кавалера де Госсана пакет с печатью: «Французская миссия в Швеции», но так как, вследствие пленения короля Франции, в Швеции, так же как и в России, нет более французской миссии, то государственный секретарь, по распоряжению короля, имеет честь вернуть г. кавалеру де Госсану этот пакет нераспечатанным и в то же время предупредить его, что дальнейшая переписка по этому поводу будет совершенно излишней.

Фрегаты «La Recherche» и «L'Espérance» готовы к отплытию из Бреста под начальством г. д'Антркасто, состоящего начальником дивизии морских сил. Король доверил ему руководство экспедицией, организованной с целью розыска фрегатов «La Boussole» и «L'Astrolabe», отправленных из Бреста под начальством г. де Лаперуза[2] 1 августа 1785 г. и о которых нет никаких известий со времени их отплытия из Ботани-Бэя[3] 10 марта 1788 г. Предполагают, что это путешествие продлится три года. Ut in litteris.

И. Симолин

D. R., к. 51, л. 195. Получено 13 ноября.

[1] Gaussen, кавалер де—член французской миссии в Стокгольме.

[2] La Perouse Жан-Франсуа де (1741—1788)—известный мореплаватель, в 1785 г. отправился по поручению Людовика XVI в кругосветную экспедицию, но был убит туземцами о. Ваникоро в Полинезии. Остатки его кораблей были найдены только в 1828 г. и доставлены во Францию.

[3] Botany Bay—залив на юго-востоке Австралии, близ г. Сиднея.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОНЕСЕНИЮ ОТ 14 НОЯБРЯ 1791 г.

К № 111

Париж, 3/14 ноября 1791 г.

Министерство, склоняя короля воспользоваться в первый раз прерогативой veto, не скрывало от себя, как было бы необходимо, даже для личной безопасности их величеств, усилить в то же время и меры предосторожности против затей находящихся вне королевства недовольных, и было принято решение направить все усилия дипломатии на побуждение имперских князей, в государствах которых они устраивают свои скопища, изыскать средства для избавления королевства от причиняемых ими беспокойств. Кроме того, многие из эмигрантов начинают возвращаться, и в их среде, как будто, усилились разногласия.

Еще ничего не решено по поводу выбора министра иностранных дел. Вчера наблюдалось стремление произвести значительные изменения в министерских постах.

Хотят предложить г. де Лессару[1] взять на себя министерство, которым он управляет временно после отставки г. де Монморена. Г-н де Лессар теперь уже склонен принять должность при условии, что в министерстве внутренних дел ему будет назначен преемником некий г. Гарнье[2], член парижского департамента, который известен, как человек очень способный. Предполагают удалить одновременно и г. Дю Портайля[3] и передать военное министерство г. де Нарбонну[4]. Таковы, повидимому, настроения момента и предположения на сегодняшний день; решения их ожидали вчера вечером, но ничего не было решено.

Беру на себя смелость приложить к сему воззвание короля, имеющее целью вернуть эмигрантов в свое отечество, действуя на них убеждением и мерами кротости, а также письма короля к принцам, его братьям, от 16 октября и 11 ноября[5]. Тайный советник граф Штакельберг только-что уведомил меня, что он имел честь подписать 8/19 прошедшего месяца договор об оборонительном союзе между ее императорским величеством и королем Швеции[6].

Мне передали, что здесь не будут возражать против предъявленного требования, чтобы г. Жене были даны новые верительные грамоты для вручения адресованной ее императорскому величеству нотификации короля. Ut in litteris.

И. Симолин

ЛУИ-ФИЛИПП СЕГЮР
Литография с портрета
Ж. Буальи, 1820 г.

Национальная библиотека, Париж

К донесению приложена собственноручная записка Екатерины II:

«Буде снова Женет аккредитован будет, то просто объявить, что от него ничего принято не будет».

D. R., к. 51, л. 264. Дата получения неизвестна.

[1] Lessart Антуан де Вальдек де (1742—1792) — министр иностранных дел с 20 ноября. Пользовался доверием Национального собрания и настойчиво выдвигался на этот пост группой конституционалистов (Барнав—Ламет и др.).

[2] Garnier Жермен (1754—1821)—прокурор Шатле в 1789 г., депутат в Генеральные штаты, с 7 февраля 1791 г. ведал департаментом Парижа. Известен, как переводчик Годвина (1796), Адама Смита (1808) и автор ряда оригинальных работ по политической экономии.

[3] Du Portail Лебег де (1743—1802)—военный министр. Вызвал резкие нападки в Национальном собрании 28 и 29 октября 1791 г. за то, что не принял соответствующих мер по вооружению укреплений и волонтеров.

[4] Narbonne-Lara Луи-Мари-Амальрик, граф де (1755—1813)—слыл за сына Людовика XV и жил при дворе, затем получил полк, и в 1789 г. в Безансоне ему доверено было командование Национальной гвардией. 9 сентября 1791 г. был назначен в одну из дивизий в Париже и при посредстве M-me de Сталь, с которой был в интимных отношениях, получил военное министерство, вместо министерства иностранных дел, которого добивался.

[5] К донесению приложены: 1) «Proclamation du Roi». 2) «Lettres du Roi aux Princes français, ses frères, Paris le 16 octobre 1791». 3) «Lettre du Roi à Louis-Stanislas-Xavier, Prince français, frère du Roi. Du 11 novembre 1791».

[6] Штакельберг Отто-Магнус, граф (1736—1800) — с апреля 1791 г. чрезвычайный посланник и полномочный министр Екатерины II при шведском короле. Был уполномоченным с русской стороны при заключении 8/19 октября 1791 г. в Дротнингольме оборонительного союзного договора на 8 лет, которым укреплялась дружба России и Швеции после Верельского мира.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОНЕСЕНИЮ ОТ 18 НОЯБРЯ 1791 г.

К № 112

7/18 ноября 1791 г.

В понедельник утром во дворце стало известно, что гренадерам внутренней охраны уже несколько дней тому назад дан секретный приказ наблюдать за тем, чтобы после 9 часов вечера король и королева не выходили из своих апартаментов и даже арестовать их, в случае, если бы они намеревались это сделать. Желая узнать, откуда исходит подобный приказ, допросили всех капралов. Двое были арестованы. Тот, который отдал приказ не позволять королю и королеве выходить, исчез. Он [пропуск нескольких слов в оригинале] второй дивизии и был арестован во вторник в 11 часов вечера и заключен в тюрьму Аббатства. Возникли очень серьезные подозрения насчет причин его поведения.

Комиссары секции собирались в среду утром в зале муниципального корпуса в Ратуше для подсчета голосов при выборах нового мэра, который должен заменить г. Бальи. Избран 6708 голосами при 10682 избирателях г. Петьон[1], бывший депутат Учредительного собрания, председатель уголовного трибунала парижского департамента, ярый республиканец. Г-н де Лафайет получил 3126 голосов. Число избирателей не соответствовало числу активных граждан города Парижа, которое доходит до 86 тысяч.

Сегодня г. Бальи введет своего преемника в дела. Ut in litteris.

И. Симолин

D. R., к. 51, л. 275. Получено 30 ноября.

[1] Petion de Villeneuve Жером (1756—1794) вместе с Бюзо принадлежал к немногочисленной группе левых в Учредительном собрании, наряду с демократами Робеспьером, Приером и др. Был послан с Барнавом сопровождать из Варенна в Париж королевское семейство. Впоследствии—видный член Конвента, жирондист.

ДОНЕСЕНИЕ ОТ 30 НОЯБРЯ 1791 г.

№ 117

Париж, 19/30 ноября 1791 г.

Милостивый государь,

Все обстоятельства предвещают большой и важный кризис. Г-н де Бугенвиль[1], всем сердцем и всей душой преданный королю и королевской семье, только-что передал королю через королеву новый мемуар, являющийся продолжением нескольких других, уже представленных им раньше и очень благосклонно принятых, в которых он рассматривает предательское поведение республиканской партии Национального собрания и братских обществ, управляющих и Национальным собранием и королевством. Ознакомив меня с содержанием своего мемуара, он разрешил мне снять с него копию для представления ее императорскому величеству, которая с таким благородством и великодушием принимает участие в деле восстановления несчастного монарха и потрясенной и разрушенной французской монархии. Хотя эта депеша отправляется в Петербург с надежной оказией, тем не менее, я почел необходимым зашифровать ее ввиду того, что муниципалитеты проявляют очень мало уважения к путешественникам, снабженным паспортами курьеров, и к пакетам, которые им доверены, доказательством чего является обращение с графом де Сомбрёйлем в Лонгви[2].

Г-н де Бугенвиль предлагает план спасения короля, выполнение которого требует энергии и мужества; он не скрывает той опасности, в кото-

рой находятся король и королева среди злодеев, не останавливающихся перед самыми ужасными преступлениями.

Имею честь быть с почтительнейшею преданностию, милостивый государь, вашего сиятельства нижайшим и покорнейшим слугою

И. Симолин

D. R., к. 51, л. 299. Шифровано. Получено 27 ноября.

МАРИЯ-АНТУАНЕТТА
Миниатюра на кости Жозефа Боза
Эрмитаж, Ленинград

К донесению приложен шифрованный мемуар Бугенвиля:

События чередуются и набегают одно на другое, как волны моря. Каждый день замечателен тем, что он вскрывает назревший кризис, и те шесть месяцев, которые нам предстоит пережить с настоящего момента до середины будущего года, будут решающими для французской монархии, а может быть, и для Европы. Любой план, предложенный неделю назад, уже требует изменений в некоторых своих частях, и каждая истекшая неделя повлечет за собой необходимость видоизменения плана, который мы представили бы сегодня. Выйдем за пределы замкнутого нашего горизонта и постараемся взглянуть с птичьего полета на создавшееся положение. Необходимо рассмотреть его с точки зрения внутренних и внешних дел.

Аристократия во Франции не имеет больше ни сил, ни средств; впрочем, не говоря уже об аристократии, и так называемые «бешеные» Учредительного собрания[3]—эти Барнавы, Дюпоры, Ламеты—рассматриваются, как аристократы, теми газетами, из которых парижское население черпает свои мнения, и обречены, вследствие этого, на недоверие народа. Правда, сторонники конституционной монархии бездействуют, они не имеют главы, не имеют никакого плана действий: королева, кажется, полностью во власти республиканцев, друзей чернокожих, сторонников... [пропуск][4]. Ибо все эти люди образуют одинаковую секту, которая, действуя без колебаний, согласно и последовательно добивается общей цели средствами тем более могущественными, что они не пренебрегают никакими преступлениями.

Министерство не может или не хочет как-либо влиять на общественное мнение. Оно представляет собой полное ничтожество и постоянно подвергается нападкам демагогов—членов Национального собрания. Оно считает, что им уже достаточно сделано, когда ему удается оправдаться. Г-н Бертран[5], однако, только-что поступил, как надлежит министру, но последуют ли другие его примеру?

Собрание, если судить по результатам его деятельности, всецело управляется республиканцами. Впрочем, говорят, что значительное число членов явилось с хорошими намерениями, но эти люди бессильны, потому что среди них нет единения, сплоченности, их воля слаба, их сопротивление неполно.

Итак, я вижу в настоящий момент во Франции только одну главенствующую партию—партию республиканцев, или якобинцев, потому что все клубы, носящие это название, придерживаются теперь республиканских принципов, и, вследствие отхода, разочарования или бездействия других партий, эти якобинские клубы управляют Собранием и Францией. Я могу привести в качестве доказательства результаты выборов, происходивших в последнее время в Париже и в провинциях. Цель этой партии—поставить короля под подозрение, заставить думать, что он заодно со своими братьями, что он всем сердцем желает восстановления старого режима и неуклонно питает намерение бежать. Эта партия желает, чтобы король снова отказался санкционировать какие-нибудь декреты, например, декреты, направленные против принцев, против священников, или какой-нибудь другой в том же роде, который они проведут. Тогда они провозгласят, что общественное дело в опасности, Собрание объявит себя учредительным, и можно предвидеть, что оно вслед за этим предпримет.

Рассмотрим бегло внешнее положение. Принятие королем конституции побудило часть иностранных держав отсрочить свои решения, другие ограничиваются оказанием денежной помощи принцам и тем, что поддерживают их надежды. Сами принцы не отдаются полностью этому делу; большего они не могут сделать, имея таких единомышленников. Их сторонники достаточно солидарны относительно средств, какими надо пользоваться, но они не достигли соглашения относительно цели, к которой надо стремиться: полный возврат к старому режиму является лозунгом одних, другие, более умеренные, чувствуют, что эта надежда является в настоящее время химерой, и охотно пошли бы на смягчение требований, что дало бы возможность разрешить как-нибудь это большое дело путем переговоров. Есть и такие, которым для возвращения

к своим очагам нужно только, чтобы прочно установилась безопасность личная и безопасность собственности.

Вот каково, я полагаю, положение дел в настоящий момент. Прибавим к этой картине одно несомненное обстоятельство, что господствующая партия бдительна и действует непрерывно, так что, быть может, уже поздно надеяться на успех борьбы с нею. Тем не менее, укажу, что я считал бы нужным предпринять, чтобы попытаться достигнуть успеха.

Настоятельно необходимо всеми доступными министерству мерами создать конституционное общественное мнение для оппозиции клубам, чтобы, таким образом, борьба мнений шла не между аристократами и демократами, а между конституционалистами и республиканцами.

Все министры должны вести себя в своем ведомстве так, как только-что поступил г. Бертран. Они должны останавливать Собрание всякий раз, как оно станет действовать вопреки конституции, постоянно возвращая его в рамки буквы и духа конституции. Необходимо, чтобы члены старого Законодательного комитета были готовы обнародовать, если это будет необходимо, протест против нарушений составленной им конституции, которой его преемники присягнули.

В особенности же необходимо образовать в Собрании оппозицию против новаторов, которая дружно боролась бы с новыми принципами и энергично противодействовала им, не теряя мужества при неудачах, всегда стремясь одержать верх; потому что большое число отдельных и, благодаря своей разрозненности, безрезультатных усилий создаст, в конце концов, все же силу сопротивления.

В высшей степени важно также перейти в наступление против клубов и возмутительных газет, действуя, однако, конституционными средствами, постоянно осведомляя народ о том, в чем его истинные интересы.

Тем временем, король должен позаботиться о своей личной безопасности и принять меры на случай, если престиж его величества окажется скомпрометированным в столице и Собрание объявит себя учредительным. Тогда надо будет покинуть Париж. Быть может, при выезде придется прибегнуть к силе. Ну, что ж! Когда Мария-Терезия со своим сыном на руках призывала венгерцев на свою защиту, то она отстаивала только права своей династии, и как это ни ужасно, но я вынужден сказать, что и королевский дом во Франции находится в таком положении, когда необходимо прибегнуть к решительным действиям. Августейшей дочери Марии-Терезии предстоит защищать нечто большее, нежели свой трон.

В конце концов, мужество, которое составляет славу королей, в то же время является их спасением, и я осмеливаюсь верить, что, защищая конституцию и свою особу, король будет непобедим, что здоровая часть нации поможет ему одержать верх над самой опасной сектой, когда-либо существовавшей на земле.

Принцы, предупрежденные одновременно с державами, должны действовать в согласии с ними, по крайней мере, император и самые могущественные державы Европы должны быть предупреждены о принятом королем плане и быть наготове выступить на помощь королю. Если король Франции падет, принципы, которые опрокинут его трон, не замедлят, без сомнения, поколебать троны всех властителей мира. Тогда дело эмигрантов и дело короля станет их общим делом, и спокойствие Европы будет зависеть от решения конгресса, который, восстановив во Франции

общественный порядок, предохранит также и другие нации от угрожающего нам общественного разложения.

[1] См. прим. 2-е к приложению к № 12 от 14 февраля за 1791 г.

[2] Sombreuil, граф де, арестован в Лонгви (Longwy), на границе Бельгии и Люксембурга. В сентябрьские дни 1792 г. спасен в тюрьме Аббатства, благодаря заступничеству дочери.

[3] Так называла их Мария-Антуанетта. В письме к Ферзену от 19 октября она говорит: «Успокойтесь и будьте уверены, что я не поддаюсь бешеным, и если я вижусь или держу связь с некоторыми из них, то лишь, чтобы использовать их в наших интересах: они мне слишком отвратительны, чтобы я когда-либо могла пойти им навстречу».

[4] Здесь неясно, кого имеет в виду Бугенвиль, говоря о «республиканцах», «друзьях чернокожих», во власти которых, будто бы, находится королева. Или он не разбирался в существе политики группы Барнава—Ламета, поскольку королева делала вид, что находится под их влиянием, и считал их республиканцами в то время, как они именно в сентябре 1791 г. были конституционалистами и в том же сентябре провели декрет против чернокожих, или он неправильно понимал игру Марии-Антуанетты, считая, что она направлена много левее, для привлечения на свою сторону подлинно республиканской группы Бриссо, Робеспьера, Марата и других «друзей чернокожих». Странно это тем более, что сам Симолин прекрасно разбирался в политической обстановке и в колониальной политике «триумвирата», как об этом свидетельствует, например, частное письмо Симолина к M-me Sullivan от 25 сентября 1791 г. Здесь он писал: «Образовавшаяся в Собрании два месяца тому назад коалиция, усилия которой все время направлены в интересах короля и общественного спокойствия, одержала в субботу большую победу. Она заставила отменить декрет, проведенный в пользу цветных в колониях, и есть надежда, что, благодаря этому решению, эти важные владения будут спасены». (См. «Marie-Antoinette et Barnave. Correspondance secrète». Par Aima Söderhjelm, P., 1934, 118).

[5] Bertrand de Moleville Антуан-Франсуа, маркиз де (1744—1818)— бывший интендант в Бретани, с 2 октября 1791 г.—морской министр. Обвинялся в том, что способствовал эмиграции морских офицеров, а также в утере колонии Сан-Доминго, ушел в отставку и поставлен во главе полиции. Эмигрировал 15 августа 1792 г. в Англию, откуда посылал для распространения во Франции фальшивые ассигнации. Известен своим планом бегства Людовика XVI и своими многотомными, но мало достоверными мемуарами. Во время Реставрации—ярый роялист. Бугенвиль ставит поведение Бертрана в пример другим министрам, имея в виду его выступления в Собрании 31 октября и 24 ноября 1791 г., когда он проявил твердость и, на основе соответствующих пунктов конституции, заставил признать, что право испрашивать у Собрания кредиты на сооружение флота принадлежит министру и не лежит на обязанности самого монарха.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОНЕСЕНИЮ ОТ 5 ДЕКАБРЯ 1791 г.

К № 121

Париж, $\frac{\text{24 ноября}}{\text{5 декабря}}$ 1791 г.

Письмо ее императорского величества маршалу де Брольи от 29 октября[1] появилось в парижских газетах. Его содержание, стиль, благородство и тонкость восхищают всех, утешают и питают надежды истинных друзей монархии и, следовательно, не нравятся республикоманам.

Вчера вечером передавали, что офицеры-моряки, назначенные в экспедицию, которая готовится в Бресте к отправке в Сан-Доминго, после случившегося с г. де Ла Жайлем подали в отставку.

Г-н Кребс, купец из Санкт-Петербурга, которому я поручил мои депеши за №№ 117—118 и 119, будет иметь честь передать вам также сверток с 13 карикатурами, которые появляются в изобилии в связи с обстоятельствами настоящего времени. Герцог Орлеанский, в изображении Шабру, очень похож[2]. Ut in litteris.

И. Симолин

D. R., к. 51, л. 328. Получено 17 декабря.

[1] В ГАФКЭ имеются собственноручный черновик письма Екатерины II к маршалу де Брольи без даты и отпуск этого письма, датированный 22 октября 1791 г., в которых

madame ma soeur, je profite de la premiere occasion sure ou il m'est
possible d'exprimer a votre majeste, les sentiments de reconnoissance qui
sont dans mon ame, pour tout l'interet qu'elle ne cesse de montrer sur notre cruelle
position: mais, madame, mon coeur ne seroit pas satisfait si il ne s'ouvroit
a vous entierement, avec la confiance, que votre interet, la noblesse
de votre ame, et votre grand caractere savent si bien inspirer.
livrés entierement a nous memes n'ayant personne aupres de nous a
qui nous fier, je vais tacher de vous tracer notre position, et je
demande d'avance l'indulgence, de votre majeste; je ne connois point
la politique ni son langage, l'interet seul de mon coeur me guide.

Je vais prendre a une epoque, qu'il est bien interessante que votre
majeste, connoisse parfaitement pour nous juger. le roi a
accepte la constitution, non pas qu'il la cru bonne ni meme
executable, mais il la acceptée pour n'etre pas le pretexte de plus
grand troubles et malheures dans le royaume, que les factieux
n'auroit pas manqué d'attribuer a son refus; il la acceptée dans
l'espoir d'en faire mieux sentir tous les defauts en ayant l'air
de vouloir franchement la faire executer et prouver par la chose
meme, qu'elle ne pouvoit point aller; il la acceptée enfin par
l'ignorance totale ou il s'est trouvé des dispositions des autres
puissances a son egard, ah madame! ce n'est pas a moi, de me
plaindre, mais ceux qui par tous les liens du sang, et de
l'honneur, et de l'interet, pouvoient et devoient meme, nous instruire
nous soutenir dans ces moments, par des craintes vaines que
je ne dois attribuer qu'a des considerations pour notre surete
personnelle, ceux la nous ont laissé dans un ignorance totale
des dispositions exterieures, livré a nous memes que pouvions
nous faire? il faloit donc accepter, pour tacher de rammener
a soi la majeure partie de la nation qui n'est qu'egaré par
une horde de factieux et de forcenes, et pour sauver la vie
et l'existance a la partie des honnetes gens, qui sont encore en
france, et qui fidels a leur roi, a leur devoir, mais trop foibles
et abandonnés comme nous, auroient eté les premieres victimes.

АВТОГРАФ ПИСЬМА МАРИИ-АНТУАНЕТТЫ К ЕКАТЕРИНЕ II ОТ 3 ДЕКАБРЯ 1791 г.

Первая страница

Архив феодально-крепостнической эпохи, Москва

ce n'est donc par aucun sentiment de foiblesse que nous avons
été entrainés, la crainte de nos propres dangers ne peut agir
sur nos ames, les avilissements que nous eprouvons sans cesse,
les indecences dont nous sommes temoins sans avoir aucune
force aucun moyens de les arrêter, et les reprimer, la
scelleratesse de tout ce qui nous entoure, la mefiance ou nous
devons être toujours meme dans notre plus grand interieure,
n'est ce pas la une mort morale, et continuelle mil fois pire que
celle phisique qui delivre de tous maux. votre majesté, qui
connoit si bien tous les genres de courage, doit trouver que celui
de souffrir de pareils tourments est le plus grand de tous.
mais c'est trop vous parler de choses aussi affligeantes; il faut
penser au remede. c'est a votre generosité, a votre grande ame,
que nous nous adressons avec confiance.
dès le mois de juillet, j'ai demandé, j'ai conjuré l'empereur
de s'occuper de nos affaires; j'avois donné dès lors un plan a
mon frère, pour rassembler un congrès armé, ou toutes les
puissances se reuniroit; les forces qui auroit accompagné ce
congres seroit resté derriere, pour en imposer, et en meme tems
eviter les malheures, que l'apparition d'une armée etrangeres
auroit occasionné dans l'interieure du royaume; le moment etoit
pressant alors, et si l'empereur m'avoit repondu, il auroit fixé
notre conduite sur l'acceptation, mais cette meme demarche du
roi, peut changer sur quelques formes non sur le fond; le projet
du congrès, me paroit le seul moyens pour pouvoir arriver a un
but solide et heureux pour ce pays ci, la difference d'opinions
l'aigreur des partis, tout met obstacles a un accord qu'elle on
que sans l'entremise des puissances. mais le roi, a accepté
la constitution il a du paroitre faire cet acte librement,
aussi lui ne doit jamais aigner de sa non liberté surtout
c'est les faits, c'est sa position journaliere qui prouve ce qu'il
est.
il faudroit donc que le congrès eut l'air de ne s'assembler d'abord
que pour l'interet, et l'equilibre general de l'europe.

АВТОГРАФ ПИСЬМА МАРИИ-АНТУАНЕТТЫ К ЕКАТЕРИНЕ II ОТ 3 ДЕКАБРЯ 1791 г.
Вторая страница
Архив феодально-крепостнической эпохи, Москва

et ce pays cy donne asséz de matiere a cela. la personne qui
se charge de faire parvenir cette lettre a votre majesté, pourra
en même tems lui envoyer des nottes que j'ai faites, pour les
principaux motifs a mettre en avant au congrès. il est très
essentiel que nous n'y paroissions en rien, et meme qu'icy nous
puissions suivre exactement la marche que nous avons adoptée
pour ne pas donner aucun soupçon, et pouvoir inspirer la
confiance qui seul peu nous menager le retour du peuple,
quant il aura une fois senti sa misere, et les malheures qu'en
trainent l'état actuel. mais pour cela il faut que nous
agissions dans le sens qui lui convient, et que personnes que
nos vrais amis, connoissent nos veritables intentions. la marche
est difficile j'en conviens, mais elle est sure, surtout si votre
majesté veut bien nous aider.
l'extreme prudence que nous devons mettre dans nos projets
et toutes nos actions, fait qu'il nous a été impossible d'ins-
truire les freres du roi, de nos idées, a dieu ne plaise qu'il
y aye la moindre mefiance entre nous (comme on veut le
repandre) nous jugeons de leurs coeurs par les notres. et nous
savons bien qu'ils ne sont occupés que de nous. mais tout ce
qui les entourent n'est pas de meme; la legerté des uns, l'in-
discretion des autres, l'ambition meme de quelques uns, tout
impose a nos coeurs la loi penible de ne pas leurs parler
avec l'abandon de la confiance qu'ils meritent par leurs sentiments
personnelles. c'est donc a votre sagesse, madame, et a l'ascen-
dant que vous devez avoir sur eux par vos bontés, que nous
remettons nos interets les plus chers. veuillez bien les guider
dans le sens, qui sans nous decouvrire a eux, peut nous etre
utile, en leurs prouvant bien qu'ils ne pourroient que perdre
leur trop malheureuse patrie en agissant d'une maniere
partielle, et que quant meme avec des forces superieures on
pourroit entreprendre quelque chose, il faudroit encore que les
princes et tous les françois restassent derriere. le mal
commence a se faire sentir icy, un peu de constance, et de
patiance nous menera a notre but dans ~~notre~~ l'interieur.

АВТОГРАФ ПИСЬМА МАРИИ-АНТУАНЕТТЫ К ЕКАТЕРИНЕ II ОТ 3 ДЕКАБРЯ 1791 г.

Третья страница

Архив феодально-крепостнической эпохи, Москва

mais pour cela il faut au dehors, une force imposante
qui ne peut etre motivée sans danger que par un congres
armé qui retenant les princes d'un coté, en imposé aux
factieux de l'autre, et donne aux gens moderes de toutes
cotés, un moyen de force et un point de ralliement réunion.
c'est dans ces vues que nous ecrivons aux rois, d'espagne et
de suède, sur l'interet desquels nous devons entierement
compter, par la maniere franche et noble dont ils agissent.
le roi doit ecrire aussi au roi de prusse, pour le remercier
de la bonne volonté qu'il lui a temoignée, mais sans entrer
dans les details de nos projets. daignez employer vos
bons offices pour dans cette cour, et dans celle de dannemark
engagé aussi l'empereur; a se montrer enfin mon frere
votre majesté vois que j'abuse de la confiance qu'elle m'ins
pire, mais j'aurois tant de satisfaction a devoir notre bon
heure, a une souveraine) qui par son grand caractere a deja
acquis tous mes sentiments d'attachement et d'admiration
il me sera bien doux d'y ajouter celui de la reconnoissance
paris le 3 decembre 1791 Marie Antoinette

pardonné madame, si je finis sans ceremonie, mais je ne
suis point l'etiquette, le roi, qui me permet, d'ecrire a votre
majesté me charge de lui dire, que tous nos sentiments sont
commun. et qu'il la prie si elle a quelque chose a nous
communiquer, cela ne soit que par mr le baron de breteuil
qui a toute notre confiance. et il est bien essentiel que
pour nous que le secret soit absolu pour tout autre

АВТОГРАФ ПИСЬМА МАРИИ-АНТУАНЕТТЫ К ЕКАТЕРИНЕ II ОТ 3 ДЕКАБРЯ 1791 г.

Четвертая страница

Архив феодально-крепостнической эпохи, Москва

Екатерина II восхваляет доблести французского дворянства, бывшего всегда оплотом монархии (см. цитату из документа во вступительной статье акад. Н. М. Лукина на стр. 355 настоящей публикации). Это письмо является ответом Екатерины II на те адресы, которыми французские дворяне-эмигранты, с герцогом де Брольи во главе, выражали русской императрице свою признательность и приверженность. В ГАФКЭ имеются два таких адреса (II отд., фонд № 148, IX). Оба они снабжены собственноручными подписями, среди которых на одном из адресов на первом месте стоит подпись герцога де Брольи.

[8] Карикатур в архиве не сохранилось.

ДОНЕСЕНИЕ ОТ 9 ДЕКАБРЯ 1791 г.

№ 122

Париж, $\frac{\text{28 ноября}}{\text{9 декабря}}$ 1791 г.

Милостивый государь,

Граф де Мерси, который все еще в Брюсселе, переслал поверенному в делах своего двора в Париже копию циркулярного письма, адресованного полномочным министрам императора при различных дворах, где его императорское величество приглашал их к согласованным действиям в тот момент, когда был арестован король Франции. Письмо это было приложено к сообщению о том ответе, который е. и. величество нашел нужным дать на нотификацию короля о принятии им предъявленной ему Национальным собранием конституции. Граф де Мерси добавил в своем письме, что, хотя он передает поверенному в делах копию циркулярного письма только к его личному сведению, все же он уполномочивает его конфиденциально ознакомить меня с ним, что вышеупомянутый поверенный в делах и исполнил, прочтя мне письмо.

Прусский посланник, граф Гольц, сказал мне два дня тому назад, что ему сообщили из Берлина, что князь Рёйс[1] выполнил такое же поручение в отношении прусского министра и прочел ему циркулярное письмо, обратив его внимание на главные содержащиеся в нем пункты. Я поблагодарил графа Гольца и господина Блуменсдорфа за это сообщение и обещал оказывать им такое же доверие.

Настоящее положение вещей требует, повидимому, самого серьезного вмешательства великих европейских держав для восстановления французской монархии и христианнейшего короля на том посту, который уготован ему провидением. Бессмысленность теперешней системы очевидна. Все установленные власти действуют вяло и слепо следуют воле толпы.

Вопреки духу конституции, королевский авторитет постоянно подрывается вмешательством законодательного корпуса. Министры, по конституции, облечены, как будто, властью даже большей, чем та, какой они пользовались прежде, но Собрание связывает их по рукам и ногам. Оно не хочет, чтобы они видели, слышали, а в особенности, чтобы они действовали; и в то же время оно обвиняет их в бездеятельности, причиной которой само же является; оно предоставляет им большую власть и, вместе с тем, лишает их всех средств для ее осуществления. Собрание кишит жестокими и безумными доносчиками, вроде аббата Фоше[2], которые безнаказанно оскорбляют министров и вносят замешательство в ход правительственных дел.

В итоге, вместо конституции во Франции царит полная анархия, и это королевство придет неминуемо к распаду, если главенствующие державы Европы, объединившись, не остановят дальнейших мероприятий нынешнего Собрания, которое, как видно, представляет собой скопище злодеев, а не соединение законодателей королевства. Возможно, что выступление

иностранных держав, объединившихся в тесный союз, окажет воздействие на Собрание и пробудит внимание нации, которая кажется парализованной.

Графу де Монморену предоставлена теперь возможность вернуться на свой пост, и министр иностранных дел заканчивает в настоящий момент подготовку почвы к его возвращению, улаживая, чтобы угодить ему, некоторые личные его дела, которые его очень тревожат и служат сейчас единственным препятствием к его возвращению.

Имею честь быть с почтительнейшей преданностию, милостивый государь, вашего сиятельства нижайшим и покорнейшим слугою

И. Симолин

D. R., к. 51, л. 329 б. Шифровано. Получено 20 декабря.

[1] Reuss, Генрих XIV, князь фон—один из двух представителей Австрии на Рейхенбахской конференции в июне—июле 1790 г. По окончании конференции получил назначение на пост посланника императора при прусском дворе.

[2] Fauchet Клод (1744—1793)—конституционный епископ Кальвадоса, впоследствии член Конвента, жирондист.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОНЕСЕНИЮ ОТ 23 ДЕКАБРЯ 1791 г.

К № 129

Париж, 12/23 декабря 1791 г.

Предполагаемые перемены во французском дипломатическом корпусе за границей, о которых я имел честь сообщить вам в приложении к моей депеше № 128, утверждены и дополнены Советом на заседании в воскресенье вечером. Вот список, который опубликован.

Король отозвал графа де Верженна, полномочного министра при дворе курфюрста Трирского, де Монтезана, посланника при мюнхенском дворе, и г. Беранже, посланника в Ратисбонне[1].

Барон Талейран, посланник в Неаполе, граф д'Осмон, полномочный министр в России[2], и г. Окелли, полномочный министр при дворе курфюрста Майнцского, подали в отставку. Полномочным министром в Данию, на смену г. де Ла Уз (de La Houze), назначается аббат Луи, бывший советник Парижского парламента.

Король назначил графа Шуазёль-Гуффье послом в Англию.

Г-н Бартелеми, полномочный министр в Лондоне, назначается послом в Швейцарию.

Граф де Мустье, посланник при дворе прусского короля, назначен в константинопольское посольство, если г. де Шуазёль согласится отправиться в Англию, в случае же его несогласия, г. де Мустье будет назначен в Лондон.

Граф де Сегюр должен был выехать сегодня утром в Берлин с особой миссией, имеющей целью убедить короля прусского сохранять нейтралитет, на который рассчитывают даже в том случае, если придется занять на короткое время территории курфюрста Трирского, чтобы изгнать оттуда и рассеять эмигрантов[3].

Помимо этого, существует тайный проект захватить в один прекрасный день кардинала де Рогана с его небольшим отрядом, находящимся под командованием г. де Мирабо. Это поручение возлагается на г. де Люкнера[4], как отвечающее его прежнему испытанному опыту, а если он потерпит неудачу, то будут считать его недостойным того высокого положения, которое он здесь занимает.

Г-н де Монсиель назначен полномочным министром ко двору курфюрста Майнцского, барон де Мако—полномочным министром во Флоренцию и г. де Мезоннёв,—полномочным министром к герцогу Вюртембергскому.

Предполагают, что граф де Монморен оказал большое влияние при всех этих назначениях, так же как и г. де Нарбонн, близкий друг г. де Шуазёль-Гуффье.

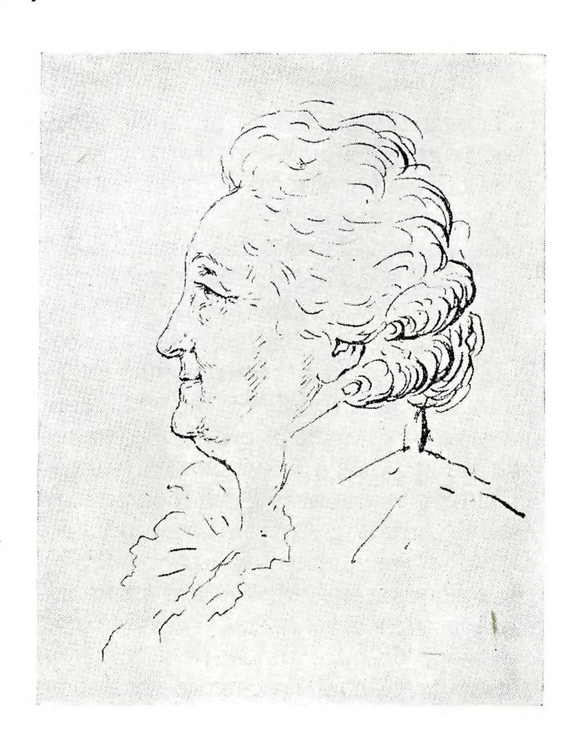
Упомянутый военный министр [Нарбонн] третьего дня уехал в Мец и вернется через неделю.

Сила и численность друзей порядка, собирающихся у фейянов для противодействия якобинцам, растут день ото дня. Возможно, что, вследствие этого, якобинцы вскоре пожелают объединиться с фейянами, и в последнем случае весьма вероятно, что большинство в этом крупном объединении будет на стороне фейянов и их системы.

Трибунал I округа, заседающий в Париже, вынес несколько дней тому назад что-то вроде решения по делу Национальной гвардии, обвиняемой в том, что 11 ноября отдан был незаконный приказ караулу воспрепятствовать королю выходить из дворца[5]. Трибунал постановил, что если рассматривать это преступление в отношении его первоначальной причины, т. е. незаконного приказа, то оно является чисто военным правонарушением, если же учитывать его последствия, то это будет покушение на свободу короля, на национальное представительство, и, следовательно, оно является оскорблением нации; и в том и в другом случае рассмотрение его не входит в компетенцию обыкновенного суда, на том основании, что преступления такого рода ему не подсудны. Трибунал постановляет копии судопроизводства и решения немедленно передать министру юстиции через королевскую комиссию для доклада Национальному собранию. Ut in litteris.

И. Симолин

D. R., к. 51, л. 388. Получено 3 января.



ЕКАТЕРИНА II
Рисунок неизвестного художника, 1790-е гг.
Частное собрание, Москва

К донесению была приложена собственноручная записка Екатерины II на французском языке, хранящаяся ныне отдельно в делах Гос. архива—ГАФКЭ, I отд., X, № 69.):

Я прочла в газетах и в просмотренных мною письмах, будто г. Сегюр отправляется с поручением в Берлин, и мне пришло в голову, как бы не прислали его сюда. Но так как он один из тех, и даже один из первых, которые отреклись от дворянства, то его не надо принимать. Первый способ, каким его можно было бы отправить обратно,—объявить ему в Риге, что, якобы, есть распоряжение не пропускать его, второй способ—это, позволив ему приехать, сказать ему затем, что буржуа не представляются ко двору, если же он привез товары, то пусть торгует, но в качестве посланника короля-пленника я не хочу и не могу его принять. Даже папа, и тот отказал ему в приеме.

[1] Vergennes, Montezan и Bérenger принадлежали к группе приверженцев короля.

[2] Граф d'Osmond был назначен посланником в Петербург 27 марта 1790 г., но его приезд туда не состоялся.

[3] Миссия Сегюра в Берлине имела целью побудить прусского короля отказаться от соглашения с Австрией, заключенного в Пильнице (см. прим. 5-е к донесению № 89 от 16 сентября 1791 г.), и в дальнейшем соблюдать нейтралитет по отношению к Франции. Миссии Сегюра французские эмигранты приписали цели революционной пропаганды. Прусский король, получивший информацию о, якобы, революционной цели приезда Сегюра в Берлин и, кроме того, предубежденный против Сегюра, который в бытность его послом при русском дворе проявлял себя противником прусской политики, принял его холодно и не дал никакого ответа. В марте 1792 г. Сегюр вернулся во Францию.

[4] Luckner (1722—1794)—маршал. Во время семилетней войны перешел из прусской армии на службу во французскую армию. Обнаруживал сочувствие к революции. По представлению Законодательного собрания, был назначен Людовиком XVI командующим северной армией. Впоследствии гильотинирован за измену.

[5] См. об этом выше, приложение к донесению № 112 от 18 ноября 1791 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОНЕСЕНИЮ ОТ 26 ДЕКАБРЯ 1791 г.

К № 130

Париж, 15/26 декабря 1791 г.

Заседание фейянов в пятницу вечером прошло неспокойно. Смутьяны-якобинцы силой захватили трибуну. Для восстановления порядка вынуждены были призвать на помощь не закон (слово это не устрашает якобинцев), а вооруженную силу.

Швейцарцы только-что вновь подтвердили своим полкам запрещение приносить какую бы то ни было присягу.

Новый военный министр, г. де Нарбонн, потребовал новой присяги от шести маршалов Франции. Маршалы де Муши, де Бово, де Мальи и де Лаваль отказались ее принести; нет ответа еще от маршала де Контада. Один только маршал де Сегюр исполнил требование министра и тем выделился среди своих коллег; своей уступчивостью он не снискал себе, однако, уважения у людей беспристрастных.

Ваше сиятельство, соблаговолите разрешить мне присоединить к сему письмо Антуана Антуан из Марселя[1], где он возобновляет свою просьбу о предоставлении ему новых патентов и об уплате ему денег за дом и морское снаряжение, проданные казне его херсонским отделением. Я прошу ваше сиятельство предоставить мне возможность дать ему какой-нибудь ответ, чтобы поощрить его восстановить свои торговые связи с Черным морем после окончательного заключения мира с Оттоманской Портой.

Прилагаю также ответ г. Делессара на обвинения г. Фоше, прочитанный в Национальном собрании 22 декабря[2]. Ut in litteris.

И. Симолин

D. R., к. 51, л. 394. Получено 6 января.

[1] Письма Antoine Anthoine при донесении не сохранилось.
[2] К донесению приложено: «Réponse de M. Delessart à la dénonciation de M. Fauchet. Lue à l'Assemblée Nationale».

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОНЕСЕНИЮ ОТ 2 ЯНВАРЯ 1792 г.

К № 132

Париж, 22 декабря 1791 г. / 2 января 1792 г.

Вчера, в день нового года, был обычный прием при вставании короля, прием у королевы и у принцессы Елизаветы; затем парадный обед. Герцог Орлеанский появился в Тюильрийском дворце, когда их величества были у обедни. Все сторонились от него, как от зловонного животного; публика встретила его чуть ли не свистом и оскорблениями, когда он вошел в галлерею, где был сервирован обед у короля.

Люди, которых называют оборванцами («mal-vêtus»), бывшие его приверженцы, теперь относятся к нему с крайним презрением. Ut in litteris.

И. Симолин

D. R., к. 51, л. 422. Получено 13 января.

ДОНЕСЕНИЕ ОТ 2 ЯНВАРЯ 1792 г.

[*Без №*]

Париж, 22 декабря 1791 г. / 2 января 1792 г.

Милостивый государь,

Спешу переслать вашему сиятельству депешу французского поверенного в делах в Стокгольме от 9 декабря, полученную 28-го этого же месяца[1]. Недавно, когда я был приглашен на карточный вечер к королеве, она сделала мне честь подозвать меня и сказала, что желала бы побеседовать со мной, но не решается, так как окружена шпионами, которые непрестанно следят за ней; потом она добавила, что восхищается величием души императрицы и ее благородным и великодушным обращением с французским дворянством. Я ответил в немногих словах, что ее величество не должна сомневаться в особом интересе ее императорского величества к положению короля и всей королевской семьи и в ее искреннем желании иного порядка вещей. Несколько дней спустя королева предупредила меня через императорского поверенного в делах, г. Блуменсдорфа, что она желает передать мне письмо для императрицы. Я ей ответил, что я буду всегда держать наготове курьера, чтобы отправить ее письмо по назначению, и что она может быть уверена в точности и преданности, с которой будут исполнены ее приказания. Когда г. Блуменсдорф, явившись к королеве по ее вызову, использовал этот случай для сообщения ей моего ответа, она поручила ему передать мне, что уже отправила свое письмо императрице. Королева написала также недавно королям Швеции и Пруссии, чтобы эти государи не были введены в заблуждение и не считали соответствующим истинным намерениям короля акт от 14 декабря, который его величество вынужден был дать под угрозой меча мятежников, способных на всяческие преступления[2]. Королева была обеспокоена судьбой обоих писем, запоздавших по пути в Брюссель. Но два дня тому назад ее известили, что они доставлены в полной исправности, и это ее успокоило.

Г-н Делессар, министр иностранных дел, в разговоре с г. Блуменсдорфом дал ему понять, что если французские эмигранты или иностранные войска вступят на территорию Франции, то он не отвечает за жизнь короля.

Имею честь быть с почтительнейшею преданностию, милостивый государь, вашего сиятельства нижайшим и преданнейшим слугою

И. Симолин

D. R., к. 51, л. 423. Шифровано. Получено 13 января.

[1] Следующее донесение, тоже от 2 января 1792 г., содержит шифрованную копию письма французского поверенного в делах de Gaussen из Стокгольма от 9 декабря 1791 г.

[2] Имеется в виду речь Людовика XVI в Законодательном собрании, в которой он «повелевал объявить» курфюрсту Трирскому, что если к 15 января 1792 г. он не воспрепятствует группированию на его территории враждебных Франции сил (эмигрантов), то Людовик XVI будет считать его врагом Франции. Он предупреждал, что декларация эта будет подкреплена одновременно предпринимаемыми мерами (150 000 чел. будут двинуты к границе). В той же речи король вновь заверял Собрание в своей лойяльности Конституции: «Пора показать иностранным государствам, что французский народ, его представители и король едины и нераздельны».

ОТПУСК ДЕПЕШИ ВИЦЕ-КАНЦЛЕРА ГР. И. А. ОСТЕРМАНА СИМОЛИНУ

[5/16 декабря] 1791 г.[1]

Милостивый государь, отношения между Россией и Францией стали настолько критическими, что со дня на день может произойти внезапный разрыв дипломатических сношений и связей между обоими государствами. Ее императорское величество, с полным на то основанием, опасается, что со стороны узурпаторской власти, управляющей теперь королевством, может быть совершено какое-нибудь насилие и нарушено уважение, подобающее достоинству и сану, которыми вы облечены. Ее величество признала нужным заранее предупредить эту возможность самым решительным образом. Мера, на которую ее величество в данном случае решилась, состоит в том, чтобы повелеть вам, милостивый государь, удалиться из Парижа и Франции так скоро, как только окажется возможным для вас сделать это, под предлогом состояния вашего здоровья или домашних дел. Вам надлежит переехать или в Брюссель или в другое какое-нибудь место по соседству, по вашему выбору, откуда вы сможете, однако, и поддерживать сношения и укреплять связи, которые вы озаботитесь наладить прежде, чем покинуть свой пост, чтобы быть осведомленным обо всем, что будет происходить во Франции, и извещать затем наш двор. Но, поскольку намерение императрицы состоит в том, чтобы возможно дольше избегать разрыва, а в особенности, не первой прервать сношения, существующие между обоими дворами, она желает, чтобы, уезжая, вы оставили поверенного в делах, который мог бы поддерживать эти сношения, пока обстоятельства не позволят вам вернуться на ваш пост. За неимением подходящего для этой должности лица из среды лиц, находящихся теперь при вас, выбор ее императорского величества остановился на г. Новикове, советнике посольства при русской миссии в Голландии, человеке зрелого возраста и имеющем большой опыт в делах. Именно он передаст вам эту депешу, и вы позаботитесь ввести его в обязанности поверенного в делах нашего двора во Франции.

Наибольшая трудность при данных обстоятельствах будет состоять в том, чтобы примирить данные вам инструкции избегать, насколько возможно, сношений с французским министром, так как эти сношения могли бы быть

СТРАНИЦА ИЗ ЧЕРНОВОЙ ТЕТРАДИ ЕКАТЕРИНЫ II С ЗАМЕТКАМИ О ПОЛОЖЕНИИ ВО ФРАНЦИИ В КОНЦЕ 1791 г.

Архив феодально-крепостнической эпохи, Москва

каким-либо образом истолкованы, как своего рода признание со стороны императрицы существующего положения вещей во Франции, с теми мерами, которые вы должны принять, чтобы обеспечить и узаконить политическое положение поверенного в делах. Не [касаясь?] способов преодоления этих трудностей, которые знание местных условий вам подскажет, я ограничусь предписанием вам, милостивый государь, известить министра, у которого при получении вами настоящих распоряжений будет находиться портфель иностранных дел, что вы просили и получили разрешение покинуть ваш пост для устройства личных дел и что, желая воспользоваться этим разрешением, вы оставляете г. Новикова и представляете его в качестве поверенного в делах до вашего возвращения. Во время аудиенции у короля и королевы, которая будет вам, вероятно, дана в этих обстоятельствах, вы воспользуетесь случаем, чтобы выразить королю и королеве от имени императрицы самые решительные и горячие уверения в дружбе ее императорского величества и в живом, постоянном участии, которое она принимает в их благоденствии, и передать им о ее намерениях содействовать ему всеми имеющимися в ее распоряжении средствами. Если во время этой аудиенции никто из подозрительных свидетелей не будет присутствовать, вы уполномочиваетесь, принимая во внимание это участие и эти намерения, которые их христианнейшие величества не могут не ценить, постараться узнать их истинные намерения и их чувства по отношению к тому, что происходит в настоящее время во Франции, и, главным образом, убедиться, насколько свободно их признание нового установившегося там порядка. Вы уверите их, что ее императорское величество желает быть осведомленной об этом только для того, чтобы быть в состоянии возможно лучше направлять сделанные ею до сих пор шаги в пользу их дела и добиться согласия тех из государей, которых она желала бы побудить к совместным с ней действиям для достижения той же цели.

Г-н Новиков, отправляясь к вам, не получил никаких инструкций от посланника императрицы [в Голландии], и на вас, милостивый государь, мы возлагаем заботу преподать ему инструкции, которые, по вашему мнению, будут необходимы для его руководства.

Главное, что вы обязаны ему рекомендовать, это по возможности избегать, как вы это сами делали, на основании последних распоряжений, вступать в переговоры о делах с теперешним министром Франции и ограничиваться лишь наблюдениями за событиями и сообщением о них двору. Чтобы облегчить г. Новикову эту задачу, вы наладите его сношения с лицами, информацией которых вы пользовались, поручившись за его скромность и осторожность.

Ее императорское величество сохраняет вам полностью впредь до новых распоряжений жалованье, которым вы пользовались во время вашего пребывания в Париже, и она соблаговолила прибавить к нему . . . рублей на издержки во время предстоящего вам путешествия, которые вы можете получить от вашего парижского банкира, с обязательством возмещения их коллегией иностранных дел.

Имею честь быть и т. д.

На документе имеется помета: «Доклад от 3 декабря»

Dépêches-expédition, к. 50, л. 65.

[1] Указывается дата отправления депеши. Эта дата устанавливается из донесения Симолина от 19/30 января 1792 г., в котором он подтверждает получение от Новикова депеши Остермана «от 5-го прошлого месяца».

ДОНЕСЕНИЕ ОТ 30 ЯНВАРЯ 1792 г.

№ 6

Париж, 19/30 января 1792 г.

Милостивый государь,

Как только я был предупрежден шведским посланником, что получу приказание покинуть Париж и королевство, я начал принимать меры к тому, чтобы быть готовым выехать немедленно по получении этого распоряжения[1]. Г-н Новиков[2], уполномоченный поддерживать и продолжать корреспонденцию, пока обстоятельства не позволят мне вернуться на мой пост, передал мне депешу вашего сиятельства от 5-го прошлого месяца, содержание которой поставило меня в полную известность относительно взглядов императрицы на нынешние взаимоотношения между Россией и Францией и о ее милостивых намерениях, исполнение которых с самою добросовестною точностью я считаю для себя законом. Я дождался, чтобы пришел день обычных совещаний с послами и иностранными министрами, и уведомил г. де Лессара, что я просил разрешения отлучиться со своего поста для поездки по личным делам, получил это разрешение и, желая им воспользоваться, хочу представить ему г. Новикова в качестве поверенного в делах до моего возвращения. Через три дня министр мне ответил, что он не назначил мне часа для встречи, о чем я его просил, потому что предполагал сам заехать ко мне, но переезд на новую квартиру и хлопоты, с этим связанные, помешали ему, и, опасаясь каких-нибудь новых препятствий, он предлагает быть к моим услугам на другой день, в субботу между 2 и 3 часами, если это мне удобно.

Я отправился к нему в сопровождении г. Новикова. Он принял нас с наивозможнейшей любезностью и выразил мне свои сожаления по поводу того, что обстоятельства момента не доставили ему случая, с тех пор,

8

madame ma Soeur; l'interet dont
votre majesté, veut bien nous
faire donner l'assurance, est une
grande consolation dans nos
peines: comme nous souhaitons
que rien dans notre conduite envers lui
soit caché nous avons desiré
que m.r de Simolin son ministre
voulut bien se charger pour
nous d'une affaire très délicate
et qui exige autant de prudence
que de secret.
nous ne pouvons nous deffendre
de croire, que, l'empereur, a été
induit en erreur, par des
informations fausses, tant a
l'egard, de nos sentiments person-
=nelles, qu'a l'egard du veritable
etat des affaires d'icy; nous
souhaitons qu'il soit desabusé:
la maniere prompte et franche
dont, m.r de Simolin, a accepté
cette proposition de notre part
nous a bien fait reconnoître
en lui, un fidel serviteur; de
v: m: et en quelles mains, pour-
rions nous remettre plus surement
nos interets les plus chers, que
dans les votres, madame, et
dans celles d'un de vos ministres
qui avec toute la prudence et
la sagesse de son esprit, a tout
vu, et a pu former depuis
le commencement de la revolu-
=tion, un jugement impartial
sur tous ses details; et qui
nous a montré personnellement
dans toutes les occasions interet

9

et attachement: le roi, et moi
desirons donc, madame, que vous
approuviez notre idée, si le
bien de votre service admet
cette course, et que v: m: veuille
bien aussi voir dans cette
demarche de notre part, une
preuve de la confiance entiere
que nous avons en elle.
Votre majesté, a toujours excité
notre admiration aujourd'hui
nous lui sommes attachés par
des liens plus étroit et plus
doux ceux de l'amitié et de
la reconnoissance
ce 1.re fevrier 1792 Marie Antoinette

ayant eu occasion de voir m.r de
Simolin, seul chez moi, j'ai cru devoir
l'instruire que j'ai deja écrit une fois
a v: m: j'espere qu'elle ne desaprouvera
pas cette confidence de ma part —

АВТОГРАФ ПИСЬМА МАРИИ-АНТУАНЕТТЫ К ЕКАТЕРИНЕ II ОТ 1 ФЕВРАЛЯ 1792 г., ПЕРЕСЛАННОГО ЧЕРЕЗ СИМОЛИНА

Архив феодально-крепостнической эпохи, Москва

как ему вверен департамент иностранных дел, войти со мной в сношения, чего он так желал, и высказал надежду, что мое отсутствие не будет длительным. Тут же я попросил его о паспорте, и он обещал позаботиться о нем.

Так как не принято просить аудиенции, когда министр отправляется в отпуск, то, следуя этому, я попросил вчера предупредить короля и королеву, что я буду отсутствовать по причине отпуска, вчера же поверенный в делах имел честь быть представленным их величествам и принцессе Елизавете.

Хотя я не получил аудиенции, которая могла бы состояться лишь в присутствии министра иностранных дел, а у королевы в присутствии многочисленного двора, их величества, тем не менее, были осведомлены как официально, так и частным образом относительно уверений в дружбе и участии, о которых мне поручено было им передать от имени ее императорского величества, и были этим в высшей степени растроганы. Я могу сейчас только сообщить, что они смотрят на императрицу, как на ангела-хранителя, что питают к ней самое глубокое и полное доверие, и душа их всегда будет безгранично открыта для нее.

Я не преминул дать г. Новикову необходимые указания относительно его поведения и переписки в духе тех директив, какими я сам руководствовался. Я ему очень рекомендовал избегать, насколько возможно, всяких переговоров с теперешним французским министерством, ограничиваться получением сведений о самых важных событиях и давать об этом отчет нашему двору.

Я указал ему несколько источников информации, но не считал себя вправе сообщить ему, несмотря на всю его скромность, один или два из тех, которыми я, главным образом, пользовался. Я введу его в салон, представляющий собой род клуба, где он сможет каждый вечер встречаться с хорошо осведомленными людьми и где ему будет легко завязать с ними связи. Я также постараюсь сохранить и поддерживать свои связи, о чем позабочусь до своего отъезда.

Имею честь быть с почтительнейшею преданностию, милостивый государь, вашего сиятельства нижайшим и преданнейшим слугою

И. Симолин

D. R., к. 53, л. 62. Шифровано. Получено 10 февраля.

[1] Повеление покинуть Францию было получено Симолиным из Петербурга через три недели после того, как он был предупрежден об этом шведским посланником в Париже (см. «Архив кн. Воронцова», М., 1878, кн. 8, 235).

[2] См. выше депешу вице-канцлера гр. И. А. Остермана от 5/16 декабря 1791 г.

ДОНЕСЕНИЕ ОТ 30 ЯНВАРЯ 1792 г.

[*Без №*]

Париж, 19/30 января 1792 г.

Милостивый государь,

Напомнив содержание моего последнего письма, имею честь сообщить вашему сиятельству, что я убедил нашего конфидента войти в сношения с г. Новиковым и что они познакомились третьего дня утром. Однако, я условился с ним, что возьму с собой шифр, который он составил для нашей переписки, и что мы непосредственно возобновим ее в случае, если произойдет окончательный разрыв с нашей миссией. Письма мне

будут доставляться без адреса, через посредников, следов которых нельзя будет обнаружить, и так же будет поступлено и с письмами, которые я при случае буду ему писать, но, пожалуй, без этого можно будет обойтись.

Я предупредил г. Новикова, что назначенное конфиденту вознаграждение по тысяче ливров в месяц ему выдано вперед по 1 сентября текущего года и что 9 тысяч ливров, которые я ему выдал, я заимствовал из сорока тысяч, находившихся у меня на хранении. Из Брюсселя я буду иметь честь послать вашему сиятельству его расписку с г. Головачевским, которого я отправлю в С.-Петербург в сопровождении лакея, моего старого слуги, преданность которого мне известна. Я уже отдал распоряжение приготовить в Брюсселе хорошую почтовую карету, чтобы отъезд их возможно меньше задержался.

Имею честь приложить копию ответа г. Делессара[1] французскому поверенному в делах в Стокгольме, из которого видно, что министерство очень обрадовано тем, что положение дел при шведском дворе не привело к формальному разрыву всех сношений.

Имею честь быть с почтительнейшею преданностию, милостивый государь, вашего сиятельства нижайшим и покорнейшим слугою

И. Симолин

D. R., к. 53, л. 69. Шифровано. Получено 10 февраля.

[1] Следующее донесение от этого же числа содержит шифрованную копию письма— «Copie de la lettre de Mr Delessart à Mr de Gaussen, chargé d'affaires de France à Stockholm du 19 janvier 1792».

ЗАМЕТКИ ЕКАТЕРИНЫ II К МЕСТАМ, ОТМЕЧЕННЫМ ЕЮ „NB“ НА ПИСЬМЕ СИМОЛИНА ОТ 31 ЯНВАРЯ (11 ФЕВРАЛЯ) 1792 г.

Архив феодально-крепостнической эпохи, Москва

ПИСЬМО СИМОЛИНА К ЕКАТЕРИНЕ II ОТ 11 ФЕВРАЛЯ 1792 г.

[*Без №*]

Брюссель, 31 января / 11 февраля 1792 г.

Ваше величество,

С некоторых пор у меня установились более тесные взаимоотношения с королевой, и ее величество просила меня несколько недель тому назад подыскать ей человека, скромность и осторожность которого мне были бы хорошо известны, чтобы доверить ему письмо к императору, ее брату[1], и поручить лично сообщить ему об истинном состоянии дел, о несчастном положении короля и королевской семьи, об их образе мыслей, совсем ином, чем тот, какой они вынуждены показывать, и чтобы опровергнуть ложные сведения, которые, повидимому, даны об этом его императорскому величеству. Хотя я вместе с одним лицом, тоже иностранцем, к которому равным образом обратились за такою услугой, пытался найти подходящего для такого поручения человека, с которым было бы безопасно иметь дело, мы ни на ком не могли остановить выбора. Королева, узнав некоторое время спустя, что я получаю отпуск и покидаю свой пост и что мне будет предоставлено право выбрать место, куда я хотел бы поехать, поручила разузнать у меня, не расположен ли я взять на себя исполнение ее просьбы и этого деликатного поручения, будучи убежденной в том, что ваше императорское величество примете за неопровержимый знак доверия то, что одному из ваших посланников вручаются самые насущные ее интересы, и будучи уверенной заранее, что вы соблаговолите одобрить мое почтительное согласие выполнить это предложение[2]. Так как я имел возможность непосредственно наблюдать ужасное положение их христианнейших величеств, которые одиноки и не могут довериться нескромным, самонадеянным французам, находящимся в сношениях с принцами или с их друзьями, и так как я был польщен знаком доверия, оказанным вашему императорскому величеству их величествами, остановившими на мне свой выбор, я не мог воздержаться от ответа, что согласен на все, что их величества сочтут нужным мне повелеть, и что я был бы счастлив, если бы смог оказать им полезную и приятную услугу, выразив при этом уверенность, что мое поведение встретит одобрение вашего императорского величества.

Прежде чем проститься, я сообщил королю и королеве краткое содержание полученной мной депеши от 5 декабря, уполномочивающей меня выразить им как публично, так и наедине самые искренние уверения в горячей дружбе вашего императорского величества и в живом и непрестанном вашем участии к их благополучию и о ваших намерениях содействовать ему всеми имеющимися в вашем распоряжении средствами.

В тот же вечер, в воскресенье, королева предупредила меня через одного из своих секретарей, пользующегося ее доверием, что на другой день в шесть часов вечера она пришлет его за мной, что он проведет меня к ней и что мне можно быть во фраке и в пальто. Ее величество приняла меня в своей спальне, и после того, как сама заперла наружную дверь на задвижку, она сказала мне, что не в силах выразить те чувства признательности к вашему императорскому величеству, которыми она и король проникнуты за вашу дружбу и благородный и великодушный образ действий, что они тронуты доказательством моей преданности и участия к ним, о чем всегда будут помнить. Она прибавила, что я застал ее за составлением писем, которые она предполагает написать вашему императорскому величеству

и императору, своему брату. Она дала мне прочесть их, говоря, что если я найду нужным что-нибудь к ним добавить, она это сделает. Сев и при-
NB гласив меня занять место рядом с собой, она подробно остановилась на положении их величеств, говоря, что ваше императорское величество уже осведомлены об истинных их взглядах на создавшееся положение из письма, адресованного ею вам к празднику рождества через барона де Бретёйля, уполномоченного вести переписку от их имени с иностранными державами[3].
NB Она почтила меня рассказом о бегстве из Тюильри,—по ее мнению, они были
NB преданы одной из камеристок,—затем рассказала о том, что произошло с ними, начиная с 21 июня. Были моменты во время этого рассказа, когда глаза королевы помимо ее воли наполнялись слезами. После часовой беседы вошел король; он оказал мне честь, сказав, что хотел бы повидать меня наедине перед моим отъездом; он подтвердил все то, что мне ранее сказала королева, причем вкратце повторил некоторые факты. Королева
NB сказала, в присутствии короля, что ваше императорское величество счастливы во всех своих начинаниях во время своего славного царствования и что она питает в душе уверенность, что вы будете так же счастливы в великодушной защите дела всех государей. Король одобрил ее слова и дал мне понять, что вся их надежда на вас. Он прибавил, что в Петербурге и Стокгольме, кажется, желают, чтобы ему удалось выехать из Парижа, но что он не видит никакой возможности для этого, да и не знает, к чему бы это привело, кроме лишь того, что ему пришлось бы играть роль претендента. Он сообщил мне также о письме прусского короля, в котором этот монарх со всей ясностью ставит вопрос о возмещении убытков, которые причинила бы война. Я напомнил его величеству, что баварскую войну покойный прусский король сумел довести до конца, хотя и он очень любил деньги. Однако, я знаю, что их величества отнюдь не имеют намерения возложить расходы по войне на прусского короля, и они считают, что справедливость требует возмещения этих расходов впоследствии в сроки, о которых будет договорено. Тем не менее, возможно, что если бы все державы выступили в полном согласии, с одною общею целью, им удалось бы повергнуть вправ партию мятежников и сторонников республики, не будучи вынужденными переходить к действиям. С другой стороны, можно смело поручиться, что если такое положение вещей продлится еще два года, королевская власть будет уничтожена и во Франции не будет больше короля.

Король, пробыв у королевы около часа, удалился, проявив ко мне большую благосклонность и выразив желание вскоре увидеть меня вновь. Я ему ответил, что самым счастливым моментом моей жизни будет тот, когда я смогу повергнуть себя к стопам их величеств. Прежде чем король вышел из комнаты, и он и королева заметили, что они вынуждены искать и находить утешение и участие у иностранцев, ввиду исключительности своей судьбы, и оба признали, что дворянство и парламенты разорили
NB—NB Францию и что банкротство неизбежно.

Затем королева возобновила разговор и не скрыла от меня, как тяжело у нее на сердце от холодности и непостоянства ее брата, который, по ее словам, сохранил на троне образ мыслей маленького тосканского герцога, произвел на свет 17 или 18 человек детей, которыми он только и занят, и не проявляет никакого участия к своим родственникам. Несчастие ее в том, что она рассталась с братом 26 лет тому назад, будучи еще совсем ребенком. Особенно больно затронуло ее, по ее признанию, то, что импе-

ратор не ответил ей на полное убедительных просьб письмо, посланное ему в сентябре прошлого года через графа де Мерси; это молчание свидетельствует, как мало он принимает участия в ее положении и в том, что происходит во Франции, хотя он должен бы опасаться распространяемой ею заразы.

Я затрудняюсь передать вашему императорскому величеству все сказанное во время беседы, продолжавшейся около трех часов. Следствием этой беседы будет то, что по прибытии в Брюссель я немедленно отправлю с доверенным лицом вместе с моей депешей письмо королевы к вашему императорскому величеству и копию с ее письма к императору, которое подлежит вручению ему в собственные руки. Доверив полностью тайну моего поручения барону де Бретёйлю и графу Ферзену, а также графу де Мерси, коечто, впрочем, от него скрыв, я выеду в Вену под предлогом воспользоваться отпуском и повидать в Германии друзей. Обо всем этом была осведомлена королева, которая соблаговолила вручить мне письмо для императора, причем она просила, если представится случай, лично сообщить ему
NB о состоянии дел во Франции, о положении короля и королевской семьи. Переговорив об этом же с посланником вашего императорского величества, князем Голицыным, и отдохнув несколько дней, я вернусь в Брюссель и буду ждать там распоряжений, которые ваше величество найдете нужным мне сообщить. Затем я дам знать через барона де Бретёйля в Тюильри о впечатлениях, произведенных моими сообщениями на императора и князя Кауница[4], которому я просил королеву написать несколько строк. Она обещала сделать это и прислать вместе со своими письмами и портфель с очень важ-
NB ными бумагами, которые надлежит положить в королевскую сокровищницу, где хранятся с февраля месяца прошлого года ее бриллианты[5].

По поводу принцев, королева сказала, что у нее нет ни малейших сомнений в чувствах привязанности и дружбы к королю его братьев, но что они, повидимому, введены в заблуждение и порабощены г. де Калонном, который с их помощью надеется играть первую роль во Франции; что она желала бы, чтобы державы, проявляющие интерес к общему делу, употребили свое влияние, чтобы побудить графа д'Артуа отправиться в Испанию и в Турин и что для предотвращения неисчислимых бед было
NB + бы желательно уничтожить влияние принцев и эмигрантов и чтобы выступали одни только державы.

На мое замечание, что, быть может, причиной или поводом осторожности императора в принятии решений является опасность, которой могла бы быть подвергнута ее жизнь и жизнь королевской семьи, она ответила, что король и его сын нужны нации, что она за них нисколько не боится, а что касается ее самой, то для нее все безразлично, лишь бы они были спасены, и что она меньше боится смерти, чем жизни среди унижений, когда ей каждый день приходится пить чашу оскорблений, горечи и желчи.

Я выехал из Парижа во вторник 27 января (7 февраля) и прибыл сюда
NB в четверг 29/9-го. После беседы с бароном де Бретёйлем и графом Ферзеном, ознакомившими меня с очень интересными письмами и документами, а также беседы с графом де Мерси, политика которого столь же изменчива, как и политика его двора, самым спешным делом было для меня отправить моего давнишнего слугу[6], преданность которого испытана, с настоящей важной депешей и наказать ему ехать с такой скоростью, какая только будет возможна в зависимости от погоды и времени года.

АВТОГРАФ НЕЗАКОНЧЕННОГО ПИСЬМА ЕКАТЕРИНЫ II К МАРИИ-АНТУАНЕТТЕ

Архив феодально-крепостнической эпохи, Москва

Madame ma Soeur, Ayant reçu successivement les deux lettres de Votre Majesté du 3 Decembre et 1 fevrier dernier, je me serois empressée d'y repondre sur le champ si je n'avois crue devoir a sa position une grande reserve sur toute correspondance qui sans procurer a V.M. les éclaircissements et les avis, dont Elle peut avoir essentiellement besoin, auroit pu la compromettre inutilement. C'est par cette consideration que j'ai voulu attendre les resolutions des Cours de Vienne et de Berlin sur les differentes ouvertures que je leur ai fait faire relativement aux affaires de France, pour etre a meme Madame de Vous annoncer le parti que j'aurois pris et a la determination duquel la conoissance des idées de ces Cours etoit

В надежде, что ваше императорское величество соблаговолите милостиво одобрить мое поведение и решение, которое я принял, не дожидаясь вашего соизволения, остаюсь с глубочайшим уважением, всемилостивейшая государыня, вашего императорского величества верноподданный

Иван Симолин

P. S. Королева просила меня передать вашему императорскому величеству ее извинения за формат бумаги, на которой она написала свое письмо; это сделано с той целью, чтобы возможно легче было его спрятать, ввиду того, что никто не защищен от насилий в этой стране.

Однако, со мной ничего не случилось в дороге, и только на границе у меня потребовали предъявления паспорта.

Королева поручила мне сообщить вашему императорскому величеству об обращении к правящему герцогу Брауншвейгскому. Военный министр написал этому государю и предложил ему от имени короля командование французской армией, а его величество был вынужден лично от себя сопроводить это предложение письмом, в котором им было высказано герцогу много любезного. Ответ герцога был весьма почтителен, однако, герцог отказался от предложения, заявив, что в качестве члена германской империи, а также ввиду своих тесных связей с Бранденбургским домом и по состоянию здоровья, он не может принять этого столь лестного для него предложения. В прошлую субботу г. де Нарбонн[7] предложил в Совете снова написать герцогу и повторить то же предложение, но Совет не согласился с ним, и этим дело кончилось.

Граф де Мерси и барон де Бретёйль были того мнения, что я должен представиться их королевским высочествам до моего отъезда из Брюсселя,

что и произошло на вчерашнем вечернем приеме. Эрцгерцогиня, молодой эрцгерцог и герцог Тешенский оказали мне очень милостивый прием. Через час я сажусь в карету, чтобы ехать дальше; мое путешествие, ввиду плохих дорог, при всем старании потребует 12 дней. Ut in humill[issimis] litt[eris].

Иван Симолин

«Rapports en cour», к. 53, л. 4.

К письму приложен конверт с надписью: «Ее императорскому величеству всея Руси и т. д., и т. д.» с двумя сургучными печатями.

Знаки NB поставлены на полях письма собственноручно Екатериной II. В бумагах быв. Гос. архива (ГАФКЭ, I отд., X, № 69) сохранилась следующая записка Екатерины II на французском языке, написанная ею по прочтении письма Симолина, в которой поясняется значение некоторых nota-bene:

Он [Симолин] говорит в нескольких местах своего письма, что король и королева сообщили ему много интересного и любопытного, но он все хранит для себя. Надо было бы ему сказать, чтобы он изложил все письменно и прислал бы мне, потому что, в конце концов, ему обо всем рассказали не для того, чтобы он все хранил для себя и не ради его прекрасных глаз, а для того, чтобы я обо всем знала. Надо было бы ему написать в Вену, чтобы он все мне прислал, но я не знаю, не отправлен ли уже курьер.

NB — NB. А вот я, например, не знаю, каким образом дворянство и парламенты разорили Францию. Им [Людовику XVI и Марии-Антуанетте] это внушают, чтобы отдалить от тех, кто служит поддержкой трона, и от той влиятельной партии, которая могла бы им помочь. Теперь они отстранили всех, кому следовало бы окружать трон, и заявляют, что около них одна сволочь. Они говорят, что они одиноки, всеми покинуты, и это верно, ибо там у них никто уже не занимает места, соответствующего ему по праву и положению. В конце концов, я одобряю поведение Симолина, они так несчастны, что помощь им, конечно, является добрым делом, если только все это не продиктовано Демагогом, орудием которого может стать российский министр. Это подозрение мне внушает как предложение послать графа д'Артуа в Испанию, так и выступление против дворянства и парламентов.

Место, отмеченное NB, ясно, как день, и г. Бомбель не сможет больше спорить. Боятся, как бы дворянство, парламент и принцы не восстановили власти короля!

К письму приложены:

1. Собственноручное письмо Марии-Антуанетты к Екатерине II (хранится отдельно от донесения—ГАФКЭ, I отд., IV, № 154)

1 февраля 1792 г.

Государыня и сестра моя,

Участие, в котором ваше величество соизволили нас заверить, явилось большим утешением в нашем горе; не желая, чтобы что-либо в нашем поведении оставалось скрытым от вас, мы выразили пожелание, чтобы г. Симолин, ваш посланник, взял на себя выполнение для нас одного очень деликатного поручения, требующего столько же осторожности, сколько и соблюдения тайны.

Мы не можем отказаться от мысли, что император был введен в заблуждение ложными сообщениями как о наших личных чувствах, так и об

истинном положении вещей здесь; нам хотелось, чтобы кто-нибудь вывел его из этого заблуждения. Готовность и искренность, с которыми г. Симолин принял это наше предложение, позволили нам признать в нем верного слугу вашего величества. А в чьи же руки могли бы мы с большей уверенностью передать наши самые насущные интересы, как не в ваши, государыня, и как не в руки одного из ваших министров, отличающегося осторожностью и мудростью, который был всему очевидцем и мог с самого начала революции составить себе обо всем беспристрастное суждение и который выказывал лично нам при всех обстоятельствах участие и преданность.

МАРАТ
Работа неизвестного мастера конца XVIII в., воск
Институт Маркса-Энгельса-Ленина, Москва

Если его путешествие не нарушает интересов службы вашего величества, то король и я, мы желали бы, чтобы вы одобрили нашу мысль и в этом нашем поступке соблаговолили видеть свидетельство полного нашего к вам доверия.

Ваше величество всегда вызывали наше восхищение, теперь же мы привязаны к вам более тесными узами и более нежными чувствами дружбы и признательности.

Мария-Антуанетта

Я имела случай видаться с г. Симолиным наедине и сочла своим долгом поставить его в известность о том, что однажды уже писала вашему величеству; надеюсь, что этот знак моего доверия к нему не вызовет с вашей стороны неодобрения.

2. Копия [рукою Симолина] письма королевы Франции к императору, ее брату

1 февраля 1792 г. [нов. ст.]

Долго пыталась я найти, мой дорогой брат, кого-нибудь, кто мог бы сообщить вам о наших истинных чувствах и ознакомить с действительным положением дел в стране: каждого француза вы заподозрили бы в преувеличении в ту или иную сторону. Г-н Симолин, которому его государыня предоставила отпуск, охотно взял на себя переговорить с вами от нашего имени; вы можете отнестись к нему с полным доверием; он видел и наблюдал революцию с самого начала и во всех ее подробностях. Глубина его ума, искренность и прямота, с которыми он принял наше предложение поехать к вам, доверие, которым почтила его императрица, наконец, участие, которое нам оказывает эта государыня,—все это должно внушить вам полное доверие к тому, что он вам скажет от нашего имени. Я не вхожу ни в какие подробности, потому что он был любезен все это взять на себя. Я ограничиваюсь потому, мой дорогой брат, уверением в нежной и ненарушимой к вам дружбе, с которой я обнимаю вас от всего моего сердца. Целую мою невестку и всех ваших детей.

3. Копия [рукою Симолина] записки королевы к князю Кауницу

1 февраля 1792 г. [нов. ст.]

Верьте, милостивый государь, всему, что податель этой записки вам скажет; он правильно судит и хорошо знает наше положение; я счастлива, что имею случай уверить почтенного и верного слугу Марии-Терезии в том, что ее дочь будет всегда стремиться, что бы ни случилось, быть достойной такой матери и заслужить уважение ее министра и друга.

Мария-Антуанетта

[1] Леопольду II австрийскому (император с 1790 г.).

[2] Екатерина II одобрила данное Симолиным согласие на выполнение поручения Марии-Антуанетты и предложила ему приехать в Петербург для более подробного доклада о его поездке в Вену.

[3] Подлинник этого письма Марии-Антуанетты (от 3 декабря 1791 г.) хранится в ГАФКЭ, I отд., IV, № 154. Письмо было по копии и не вполне исправно опубликовано в собрании документов Feuillet de Conches, IV, 276—281. Местонахождение оригинала в момент опубликования текста было неизвестно. На стр. 505—508 мы даем факсимильное воспроизведение оригинала, а здесь приводим русский перевод текста письма:

Париж, 3 декабря 1791 г.

Государыня и сестра моя,

Я пользуюсь первой надежной оказией, чтобы выразить вашему величеству чувство благодарности, преисполняющей мою душу, за все то участие к нашему ужасному положению, которое вы непрестанно выказываете. Но сердце мое оставалось бы неудовлетворенным, если бы оно не открылось вам полностью, с доверием, к которому так располагают и ваше участие, и благородство вашей души, и ваш возвышенный характер. Мы предоставлены всецело самим себе, не имеем около себя никого, на кого мы могли бы положиться, и я хочу попытаться сама обрисовать вам наше положение, прося заранее снисхождения вашего величества,—я плохо разбираюсь в политике, мне незнаком ее язык, влечение сердца одно лишь руководит мной.

Я начну с описания того момента, о котором вашему величеству чрезвычайно важно иметь ясное представление, чтобы судить о нашем поведении. Король принял конституцию не потому, что он признал ее хорошей или хотя бы осуществимой, но исключительно ради того, чтобы не создавать повода к еще бóльшим волнениям и несчастиям в королевстве, которые крамольники не преминули бы приписать его отказу. Он принял ее в надежде лучше вскрыть все ее недостатки и, делая вид, что желает провести ее в жизнь, этим на практике показать всю ее непригодность. Король при-

нял ее, наконец, и потому, что он находился в полном неведении, каковы намерения других держав в отношении его. Ах, государыня, мне не следовало бы жаловаться, но все те, кто в силу уз крови и чести и из участия могли, должны были осведомлять и поддерживать нас в это время, все они под влиянием пустых опасений, которые я могу объяснить лишь заботами о нашей личной безопасности, оставляли нас в полном неведении относительно предположений иностранных держав. Предоставленные самим себе, что могли мы делать? Пришлось принять конституцию, чтобы постараться вернуть к себе большинство нации, лишь сбитой с толку ордой мятежников и безумцев, чтобы спасти жизнь и существование честным людям, которые есть еще во Франции и которые, оставаясь верными своему королю и своему долгу, но слишком слабые и всеми, как и мы, покинутые, стали бы первыми жертвами. Мы вовсе не поддавались чувству слабости: страх за себя не может оказывать воздействия на наши души. Унижения, которые мы постоянно переносим, бесчинства, свидетелями которых мы являемся, не будучи в силах их пресечь, не имея возможности их приостановить, злодейство, которым мы окружены, подозрительность, которую мы вынуждены проявлять даже в самом тесном своем кругу,—разве это не длительная нравственная смерть, в тысячу раз худшая физической смерти, освобождающей от всех зол? Вашему величеству хорошо ведомы все виды мужества, и вы должны признать, что нужно самое большое мужество, чтобы переносить подобные мучения. Но я слишком много говорю вам о столь печальных вещах; нужно подумать о средствах к их устранению, и мы с доверием обращаемся к вашему великодушию, к вашей возвышенной душе.

С июля месяца я прошу, я умоляю императора заняться нашими делами. Я тогда же предложила брату план созыва вооруженного конгресса, на который собрались бы все державы. Вооруженные силы, которыми располагал бы этот конгресс, должны были бы оставаться в отдалении, с одной стороны, для подкрепления принятых им решений и во избежание несчастий, которые могло бы вызвать внутри королевства появление иностранной армии, с другой. Создавшееся положение требовало быстрых решений, и если бы тогда император мне ответил, он определил бы наше поведение в отношении принятия конституции, хотя действия короля в данном случае могли измениться больше по форме, чем по существу. Проект конгресса представляется мне единственным средством достижения для нашей страны прочных и благоприятных результатов. Различие в убеждениях, партийная нетерпимость—все это служит препятствием для какого-либо согласия без вмешательства держав. Но король принял конституцию, он должен был сделать вид, что совершил этот акт добровольно, и ему нельзя поэтому ни в каком случае ссылаться на принуждение. Только факты, только условия его повседневной жизни показывают, как все это обстоит в действительности.

Следовало бы, поэтому, чтобы создалось впечатление, что конгресс прежде всего созван в общих интересах, для установления общего равновесия в Европе, а наша страна дает для этого достаточно поводов. Лицо, которое берется доставить вашему величеству это письмо, сможет одновременно переслать вам составленные мной замечания относительно основных положений, которые следует выдвинуть в первую очередь на конгрессе. Очень важно, чтобы казалось, что сами мы совершенно к нему непричастны, и чтобы мы могли даже здесь ни в чем не отступать от принятой нами линии поведения, дабы не вызывать ни малейшего подозрения и внушать доверие, которое одно только может вернуть нам расположение народа, когда он осознает, наконец, свои несчастия и бедствия, проистекающие от нынешнего положения вещей. Но для этого необходимо, чтобы мы действовали согласно его желаниям и чтобы только наши истинные друзья знали наши настоящие чувства,—а этот путь, сознаюсь, очень труден, но этот путь верен, в особенности, если ваше величество пожелаете нам помочь.

Исключительною осторожностью, которую необходимо соблюдать во всех наших планах и во всех наших действиях, объясняется то, что нам невозможно было осведомить братьев короля о нашем образе мыслей, но избави бог заключить из этого о существовании между нами какого-либо недоверия (как об этом распространяют слухи). Мы судим об их чувствах на основании наших собственных, и мы хорошо знаем, что они заняты заботами только о нас. Но совсем иначе обстоит дело с их окружением: легкомыслие одних, болтливость других, наконец, честолюбие некоторых—все это диктует нам суровую необходимость воздерживаться от полной откровенности, которой они заслуживают по своим личным чувствам. Итак, вашей мудрости и тому влиянию, которое вы на них имеете в силу ваших милостей, вверяем мы, ваше величество, наши самые дорогие интересы. Соблаговолите, не выдавая нас, направлять деятельность принцев в полезном для нас духе, внушив им, что всякие их

несогласованные выступления могут только погубить и без того слишком несчастную их родину. Если бы даже при помощи сильной армии представилась возможность предпринять что-нибудь серьезное, то и тогда необходимо, чтобы принцы и все французы вообще оставались на заднем плане. Здесь уже начинают понимать все совершенное зло,—немного постоянства и терпения, и мы добьемся своей цели внутри страны. Но для этого необходимо, чтобы за ее пределами существовала внушительная сила, которая может найти себе объяснение без вреда для нас только при наличии вооруженного конгресса, который, сдерживая, с одной стороны, принцев, с другой—импонируя мятежникам, создал бы умеренным людям и здесь и там известную опору и явился бы для них объединяющим центром.

В этих целях мы пишем королям Испании и Швеции, на расположение которых к нам мы всецело можем рассчитывать, основываясь на открытом и благородном образе их действий. Король должен также написать прусскому королю, чтобы поблагодарить его за выраженную им готовность, но он не будет входить в подробности относительно наших планов. Не откажите оказать нам добрую услугу перед этим двором, а также перед датским двором и повлияйте на императора, чтобы он, наконец, проявил себя в отношении нас, как подобает брату.

Как видите, ваше величество, я злоупотребляю доверием, которое вы мне внушаете, но для меня явилось бы большим удовлетворением быть обязанной нашим счастием государыне, которая уже приобрела своим возвышенным характером чувства моей привязанности и восхищения. Мне будет чрезвычайно приятно присоединить к ним также и чувство благодарности.

Мария-Антуанетта

Простите, государыня, что я заканчиваю свое письмо без всяких церемоний,—я совсем не знаю этикета. Король, который дозволил мне писать вам, поручает мне передать вашему величеству, что наши чувства во всем совпадают и что он просит вас, в случае, если вы пожелаете сообщить нам что-либо, сделать это не иначе, как через барона де Бретёйля, который пользуется полным нашим довѐрием. Для нас в высшей степени важно, чтобы в отношении всякого другого тайна была соблюдена.

Вместе с этим письмом в том же фонде (ГАФКЭ, I отд., IV, № 154) сохранились второе письмо Марии-Антуанетты к Екатерине II, от 1 февраля 1792 г., пересланное с Симолиным (см. его текст в приложениях к данному донесению), и незаконченное ответное письмо Екатерины II на французском языке, повидимому, так и оставшееся недописанным и неотправленным. Приводим текст этого отрывка:

Государыня и сестра моя,

Получив одно за другим два ваших письма, от 3 декабря и от 1 февраля, я ответила бы вам незамедлительно, если бы не считала себя обязанной, учитывая ваше положение, соблюдать большую осторожность в переписке, которая, не давая вашему величеству настоятельно необходимых вам разъяснений и советов, могла бы только понапрасну вас скомпрометировать. В силу этих соображений я остановилась на мысли выждать решений венского и берлинского дворов в ответ на ряд предложений, с которыми я повелела обратиться к ним по поводу французских дел, чтобы иметь затем возможность сообщить вам и свое решение, для принятия которого осведомленность относительно мнений этих дворов была [необходима]...

[4] Kaunitz Венцель-Антон-Доминик, князь Ритберг (1711—1794)—австрийский государственный канцлер.

[5] «Портфель с очень важными бумагами» королевы, повидимому, действительно, был прислан Симолину и сдан им на хранение в сокровищницу австрийского королевского дома в Брюсселе. Из опубликованного A. Söderhjelm дневника Ферзена известно, что, когда революционная армия подходила в ноябре 1792 г. к Брюсселю, Ферзен (как он собственноручно записал об этом в дневнике под 9 ноября) озаботился о спасении портфеля, укрыв его в экипаже Симолина, когда они спешно покидали Брюссель («Fersen et Marie-Antoinette. Correspondance et journal intime inédits du c-te Axel de Fersen», P., 1929,—запись в дневнике Ферзена от 9 ноября 1792 г.). В настоящее время установлено, что в числе важных бумаг этого портфеля находилась секретная переписка Марии-Антуанетты с Барнавом (июль 1791 г.—январь 1792 г.), обнаруженная лишь в 1912 г. в Швеции, в замке, принадлежащем потомкам сестры Ферзена. Та же A. Söderhjelm—автор новейшей публикации этой важной политической переписки—высказала предположение об участии Симолина в деле сохранения для истории этих документов, но не

ПЬЕР СЕГЬЕ

Рисунок Клода Меллана, 1639 г.

Эрмитаж, Ленинград

могла установить, каким образом они попали в Брюссель. Свидетельство самого Симолина, вполне подтверждая догадку A. Söderhjelm, разъясняет этот вопрос окончательно.

[6] Этот слуга по имени Krieger был послан в конце 1792 г. из Дюссельдорфа в Париж за оставшимся там бельем и платьем Симолина, где и был арестован и после девятимесячного тюремного заключения гильотинирован (см. донесения от 11 февраля 1792 г. и от 28 апреля 1795 г.).

[7] Нарбонн, встречавшийся в салоне М-me де Сталь с Кондорсе, Бриссо и Инаром, слыл за единственного левого министра, примыкавшего к их воинственной политике, а не к Робеспьеру и его группе.

ДОНЕСЕНИЕ ОТ 29 ФЕВРАЛЯ 1792 г. ВИЦЕ-КАНЦЛЕРУ ГР. И. А. ОСТЕРМАНУ

[*Без №*]

Вена, 18/29 февраля 1792 г.

Милостивый государь,

Спешу передать вашему сиятельству только-что полученные здесь новости, сообщенные мне моим парижским другом.

Все, повидимому, предвещает, что Париж накануне кризиса, и даже общественное спокойствие находится, до известной степени, под угрозой. Все мирно настроенные граждане, не исключая и главных деятелей различных партий, а особенно женщины, все чувствуют некоторую тревогу от этой моды на пики, от этого неистовства, с которым взялись за их изготовление и которым охвачены вот уже две недели. Некоторые утверждают, что их наготовили до ста тысяч. Факт тот, что их уже много и что якобинцы первые подстрекали заняться этим делом, а так как они разделились на две партии, партию Бриссо и партию Робеспьера, то те и другие боятся стать жертвою этого оружия. Производилась подписка на пики; заходили даже в частные дома и к богатым людям и требовали денег на пики, а в ответ на отказ одного человека дать их, пока не будет предъявлено на это разрешение муниципалитета, просители стали угрожать ему.

Главной причиной и поводом этого брожения являются, повидимому, отчаяние, в которое повергнуто теперешнее Собрание сознанием недостаточности своего авторитета, его горячее желание приобрести большее влияние и особенно смешное стремление превратиться в Учредительное собрание, хотя бы вопреки желанию всех. Оно считает на основании своих наблюдений, что предшествовавшее ему Собрание имело успех только благодаря поддержке, которую оно оказывало народным волнениям в продолжение всего периода своего существования, а также благодаря тому, что этому Собранию часто удавалось поднимать свой авторитет при помощи народных восстаний.

Момент учреждения новой охраны короля показался Собранию подходящим для выполнения своих намерений. Сначала распространили слух, что король снова замышляет отъезд,—это повлекло за собой декрет о паспортах[1]; затем было добавлено, что королевская семья если не во главе своей охраны, то, во всяком случае, с ее помощью рассчитывает силою пробиться через заставы. Этот второй слух заставил приняться за производство пик. Собрание распространило среди народа убеждение, что бо́льшая часть Национальной гвардии готова объединиться с королевской охраной для поддержания всех начинаний исполнительной власти.

К счастию, недалеко от истины то, что Национальная гвардия совсем не разделяет предвзятого отвращения к новой охране короля, и эти воинские части склонны, как будто, жить в дружбе.

Особенно волнуются, и ныне более, чем когда-либо, республиканцы. Они обвиняют всех министров, за исключением, может быть, г. де Нарбонна,

в участии в заговоре, который, по распространяемым ими слухам, замышляет двор. Ответ императора, каков бы он ни был, даст им материал для новых обвинений; таким образом, совокупность всех этих разнообразных обстоятельств способна внушить подлинную тревогу.

Имею честь быть с почтительнейшею преданностию, милостивый государь, вашего сиятельства нижайшим и покорнейшим слугою

И. Симолин

D. R., к. 53, л. 82 б. Получено 5 марта.

[1] Учредительное собрание отменило 14 сентября 1791 г. декрет 28 июня того же года, запрещавший выезд из королевства всем, кроме иностранцев и французских коммерсантов, представивших соответствующие паспорта. Но с 14 октября в Законодательное собрание вновь поступают требования об издании ограничительных и репрессивных мер в отношении выезжающих из Франции, что и привело к изданию декрета 1 февраля о паспортах. Этим декретом была установлена жесткая система паспортных ограничений не только для выезда из Франции и въезда в нее, но и для передвижений внутри страны.

ПИСЬМО СИМОЛИНА К ЕКАТЕРИНЕ II ОТ 1 МАРТА 1792 г.

[*Без №*]

Вена, 19 февраля / 1 марта 1792 г.

Ваше величество,

Я прибыл сюда на тринадцатый день, испытав в дороге ужасный холод, против которого я не принял своевременно никаких мер. На другой день я явился к послу вашего императорского величества, князю Голицыну, и, чтобы облегчить себе получение отдельного приема у князя Кауница и у е. в. императора, я не счел для себя возможным скрывать от посла цель моего путешествия в Вену. Мы условились с ним говорить в обществе, что я покинул свой пост, желая использовать отпуск, который ваше императорское величество соблаговолили мне предоставить, что я решил было поехать в С.-Петербург, но, когда приехал сюда, мне передали письмо с указанием отложить исполнение моего намерения и не выезжать из того места, куда я отправился из Парижа и куда должен вернуться, отдохнув с неделю.

В тот же день посол представил меня князю Кауницу, которого он предупредил, что мне поручено передать ему письмо от королевы Франции и что я желал бы, чтобы он назначил мне особый час приема для вручения ему этого письма. Государственный канцлер оказал мне замечательный и исключительный прием, чего он не имеет обыкновения делать по отношению к иностранцам.

Он сказал мне совсем тихо: «Мы не будем говорить долго, чтобы не возбуждать подозрений, что у нас есть какие-то особые дела». Беседа приняла тогда более общий характер, и он, воспользовавшись представившимся случаем, воздал хвалу царствованию вашего императорского величества, которое всегда будет блестящей эпохой в мировой истории. Мне же он оказал честь, сказав, что уже в течение многих лет я ему известен с самой благоприятной стороны. Князю Голицыну он сообщил, что примет меня между пятью и шестью часами в своем кабинете. Я отправился к нему в назначенный час. После нескольких слов приветствия я передал министру письмо королевы. Он его распечатал, прочел и сказал: «Оно очень коротко и содержит только приветствие». Затем я ему сказал, что король и королева Франции, предложив мне поехать в Вену, поручили мне передать письмо его величеству императору и познакомить его с их

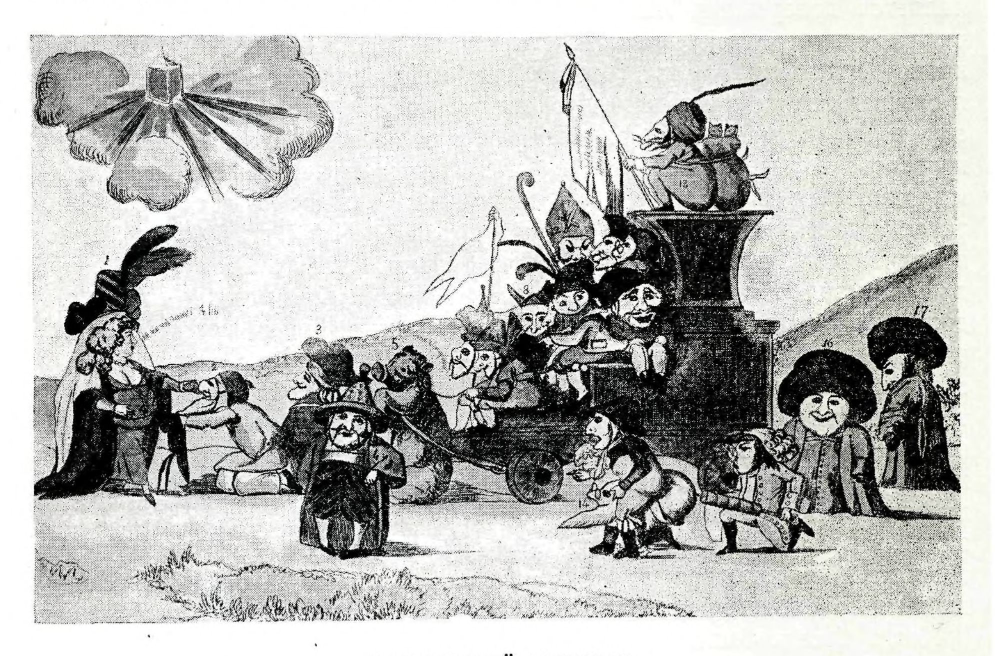
истинными чувствами и с действительным положением Франции, о чем, как им казалось, его величество император имеет превратные представления, вследствие неточных сведений, до него дошедших. Я не счел для себя возможным отказаться от исполнения воли и желания их христианнейших величеств, тем более, что я знал о том живом и постоянном участии, какое вы, ваше императорское величество, принимаете в их судьбе и их благоденствии. Затем я изложил ему то, что мне поручила сказать королева, а именно: принятие конституции не было свободным, а властно диктовалось обстоятельствами; что, если бы король был уверен в какой-нибудь поддержке иностранных держав, он отказался бы принять конституцию и что их величества отнюдь не были довольны введением нового порядка вещей, как то хотели представить. Я ему говорил об опасностях, угрожающих всем тронам, всем монархиям, о том, что, если принципы французской конституции не будут вырваны с корнем, эта зараза распространится на другие государства Европы; что от этого зависит спокойствие бельгийских провинций и что я не боюсь, утверждая это, быть опровергнутым графом Мерси. Я сказал, что считаю Французскую революцию по природе своей не имеющей примера в мировой истории и что, следовательно, она должна прервать обычную политику держав, организующих коалицию, чтобы объединить их на одном, а именно—на сохранении французской монархии, от которой в новой конституции осталась только буква, но не дух. Этим не исключается для держав возможность вернуться к принципам, которые диктуются их взаимными интересами, после того, как общая опасность будет предотвращена. Словом, я сказал этому министру все, что, по моему мнению, могло взволновать его кровь и его застывшие чувства. Судя по обдуманному и рассчитанному ответу, который он мне дал, мои слова не имели, повидимому, никакого успеха. Он мне сказал, что выслушал меня спокойно и поэтому просит меня, в свою очередь, не прерывать его. «Я размышлял,—продолжал он,—о делах Франции с хладнокровием, которым меня наградила природа. Я не понимаю, чего желают король и королева Франции: восстановления ли старого порядка вещей, что невозможно, изменения ли новой конституции, что может быть сделано только постепенно. Иностранные державы ни юридически, ни фактически не могут непрошенно вмешиваться во внутренние дела независимой нации, а их самих об этом не просят.

Национальное собрание, чувствуя невозможность вступления во Францию ста тысяч человек, на что нужно пожертвовать столько же миллионов деньгами, как будто, ничего не боится; но допустим эту возможность,— во Франции нельзя будет оставить войска, и после того, как они выступят оттуда, нация станет еще омерзительнее, чем раньше, и может подвергнуть короля заключению или даже отделаться от него более скорым способом. Нечего бояться заразы, распространяемой идеями французской секты; каждое государство должно тщательным образом наблюдать за тем, что происходит у него внутри страны, и следить, чтобы занимающиеся пропагандой эмиссары не распространяли в ней своего яда, а в случае, если они будут задержаны, вешать или даже колесовать их. Пример того состояния упадка, в котором находится Франция со времени принятия ею этих идей, может устрашить нации, которые хотели бы ей подражать». В том, что я ему только-что изложил, заключались лишь сетования, жалобы, которые он уже слышал, и он ручается, что невозможно ответить на эти доводы иначе, как общими местами и всякого рода вздором. Он не видит

даже возможности заключить союз между различными державами и поддерживать его с тем духом единения, какой необходим для успеха. Король своим утверждением конституции дал право думать, что он принял ее добровольно, а не по принуждению, и что он доволен новым порядком вещей.

Вот итоги речи, которая длилась добрых полчаса. Выслушав ее до конца, я ответил, что, по моему мнению, в намерения их христианнейших величеств не входит восстановление старого режима, доказательством чего является декларация короля от 23 июня 1789 г.[1], поскольку его величество по собственному побуждению предложил в ней более того, что нация могла до этих пор желать; кроме того, я знаю, что в намерения короля [не] входит, чтобы помощь, которая будет ему оказана для восстановления его на троне, была оказана безвозмездно, и что потом он возместит убытки, лишь бы только ему была предоставлена возможность и установлены разумные сроки для выполнения своих обязательств. Что же касается опасности, которая, по его мнению, угрожает и королю и королевскому семейству, то я могу его уверить, что королева ничего не боится, что нации нужен король и дофин, что их жизнь в безопасности, а что касается собственной особы королевы, то она менее боится умереть, чем жить в унижении и каждый день пить чашу горечи. «Вот еще общие места, сказал он,—какие я уже слышал». Я ответил, что передаю ему дословно то, что королева сделала мне честь сказать, а относительно так называемой свободы возразил, что нет оснований и не следует предполагать, что король согласился бы на свое поражение в правах и на унижение своего трона, если бы мог поступить иначе и если бы он не хотел избавить свой народ от еще больших преступлений, чем те, которые уже совершены, что, следовательно, сведения о добровольном принятии его величеством конституции и о том, что он удовлетворен новым порядком вещей, были неточны и что для того, чтобы разубедить императора, я просил дать мне возможность лично передать ему все то, что их величества сделали честь доверить мне, касающееся их истинных чувств и их действительного положения. Князь Кауниц, возобновив свою речь, просил меня считать, что данный им ответ исходил не от канцлера императора, а от частного лица, которое хотело оказать мне свое доверие. Прежде чем удалиться, я ему сказал, что мне поручено королевой передать письмо в собственные руки его величества императора и что я прошу его об одолжении предоставить мне возможность припасть к стопам его величества императора. Князь ответил, что на следующий же день он предупредит об этом его императорское величество, что это не представляет никакой трудности и что он даст мне знать о дне и часе, которые его величество назначит, чтобы принять меня. В понедельник я получил записку от князя Кауница, с приложением ответа, данного ему императором, копии которых имею честь при сем приложить. Его величество обещал принять меня в тот же день в четыре часа, разрешая мне быть во фраке и не соблюдать никаких формальностей; я не преминул отправиться в императорский замок в назначенный час. Передавая его величеству письмо королевы, я сказал ему, что из него он узнает о цели и поводе, приведших меня к его стопам. Его величество принял меня в высшей степени милостиво и ответил мне, что уже знает о цели моего приезда, что он очень рад получить, наконец, непосредственные вести от своей сестры, ибо все полученные им до сих пор были так разноречивы, что, в конце концов, он не знал, чему верить. Его величество соблаговолил выслушать возложенное на меня поручение, которое

я изложил в тех же выражениях, как и князю Кауницу, так что я не стану передавать сказанного мною, во избежание повторения. Император согласился, что принятие конституции было вынуждено обстоятельствами и что король не мог поступить иначе, не подвергая себя еще бо̀льшим опасностям. Он сознает, что король и королева не могли быть довольны новым порядком вещей, введенным революцией, принципы которой направлены к подкапыванию всех тронов и низвержению всех монархий и, следовательно, требуют внимания к себе всех властителей. По его мнению, спокойствие бельгийских провинций, равным образом, зависит от Французской революции и будет только тогда восстановлено, когда смогут ограничить ее и остановить ее успехи. Его величество осчастливил



„РОЯЛИСТСКИЙ МАСКАРАД"

Карикатура на обращение эмигрантов за помощью и приезд гр. д'Артуа в Петербург весною 1793 г. Изображены: Екатерина II в виде Коломбины, перед ней на коленях в виде Полишинеля — граф д'Артуа. Среди персонажей маскарада: Мирабо (брат) — в костюме китайца, Гогенлоэ — верхом на папе, Брольи и другие представители контрреволюции

Исторический музей, Москва

меня вопросом, не думаю ли я, что Франция действительно объявит ему войну к 1 марта, как это декретировано Собранием. Я взял на себя смелость ему ответить, что, опираясь на здравый смысл, ожидать этого нельзя, но при таком Собрании, какое повелевает теперь Францией и которым, в свою очередь, повелевают якобинцы и их филиальные общества, ни на что нельзя рассчитывать; но я все же смею думать, что война не будет объявлена. Затем его величество сказал мне, что 6 тысяч человек уже наготове для подкрепления войск в Верхней Австрии, что будет образована армия из 50 тысяч австрийцев и такого же количества пруссаков и эта армия способна будет заставить уважать его владения. Он добавил также, что имеет основания думать, что Англия без особого удовольствия будет смотреть на то, как французы нападут на Нидерланды, что он ожидает, в тот же вечер или на другой день, прибытия г. Бишофвердера[2], без сомнения, с планом союза, который должен предложить

берлинский двор; что у него совсем готова депеша для вашего императорского величества, но что отъезд курьера отложен с целью сообщить вашему величеству с той же оказией вышеупомянутый план и замечания, которые по его поводу могут быть сделаны. Затем его величество мне рассказал о том, что к нему направлялись разные лица — одни из них говорили одно, другие другое. Это доказывало, что царит полное разногласие в планах различных партий, вредящих друг другу. Далее, его величество сетовал на то, что секретнейшие сообщения получили огласку в Кобленце[3] и передавались прежде всего в Париж. Но главным пунктом, на котором остановился его величество и к которому несколько раз возвращался, было желание узнать, действительно ли барон де Бретёйль является доверенным лицом короля и королевы, кого они уполномочили вести переписку и заключать от их имени договоры с иностранными державами. Я подтвердил его величеству, что это верно, что я слышал это из собственных уст их величеств и что все, что передавали ему в опровержение этого, лишено всяких оснований. Его величество, казалось, был удовлетворен тем, что были разрешены его недоумения и рассеяны его сомнения, которые зародились в нем по этому вопросу. Император казался расстроенным тем, что королеве внушили, будто он ничего не хочет для них предпринять. Он говорил, что его намерения неправильно истолковывались, что его хотели выставить на первый план и предоставить одному выпутываться изо всего, на что он не мог согласиться; что план его императорского величества, как будто, состоит в том, чтобы сделать Национальному собранию, когда все будет налажено и подготовлено, разумные и приемлемые для него предложения как в отношении восстановления монархии и укрепления короля на троне, так и в отношении других подлежащих урегулированию вопросов. К этим вопросам принадлежат: восстановление прежнего положения в Авиньоне[4] не в силу важности самого вопроса, а вследствие недопустимости принципов, выдвигаемых Собранием; вопрос о возвращении принцам их беззаконно нарушенных прав и вопрос выполнения договоров, существовавших до сих пор.

Когда беседа была закончена, я просил повелений его величества, с которыми мог бы вернуться в Брюссель. Он мне ответил, что я могу запросто притти, когда захочу, и попросить доложить о себе, либо его величество сам пришлет за мной. Он спросил, где я остановился и имею ли я возможность доставить королеве надежным способом то, что он хочет мне поручить, прибавив, что вручит мне письмо и мемуар, объясняющие положение дел. Я ответил, что в Брюсселе буду иметь возможность переслать королеве в полной сохранности документы, которые его величество пожелал бы мне доверить.

Я не могу пренебречь и считаю своим долгом довести до сведения вашего императорского величества о предупредительности и рвении, которые проявил ваш посол князь Голицын, сделав все от него зависящее, чтобы обеспечить мне специальный прием у наиболее выдающихся особ императорского двора, какими являются вице-канцлер империи князь де Коллоредо и вице-канцлер граф де Кобенцль[5]. Хотя у меня не было никаких тайн от вышеупомянутого посла, осторожность и скромность которого мне известны уже много лет, он все же оставил меня наедине с этими министрами императора, чтобы не стеснять нас во время наших бесед. Я очень доволен первым из них; я полностью посвятил его в мой разговор с князем Кауницем и его величеством императором. В вопросе об оказании

поддержки и совместном выступлении всех монархов Европы он придерживается взглядов и мнений, желательных вашему императорскому величеству и их христианнейшим величествам. Он сообщил мне по секрету о том, что произошло в совете, когда обсуждался вопрос о посылке войск: возражения были сделаны только со стороны канцлера империи и двора его императорского величества, а также бароном Шпильманом, человеком очень ограниченного ума и боязливого и мнительного характера. Это сообщение доказывает искренность и прямодушие г. де Коллоредо. Он сказал мне также, что в тот же вечер после моей аудиенции видел императора, что он нашел его таким взволнованным, каким никогда еще не видел; что необходимо влиять на него и что он будет пользоваться каждым удобным случаем, чтобы говорить ему о необходимости, не теряя времени, принять решительные меры и что чем дольше тянуть, тем больше трудностей придется преодолевать. При расставании он сказал мне, что по той откровенности, с которой он говорил со мной, я могу судить, что он ничего от меня не скрывает, и что до моего отъезда он еще будет иметь случай беседовать со мной. Упомянутый вице-канцлер, узнав от г. посла о моем приезде, просил пригласить меня к нему на обед прежде, чем я был ему представлен, и он раскрыл и подробно ознакомил меня с своими планами быстрейшего и успешного разрешения правого дела.

Поскольку посол вашего императорского величества только-что прислал мне сказать, что он спешно отправляет курьера с печальным и неожиданным известием о смерти императора, я должен на этом закончить мое нижайшее донесение, зашифрованное потому, что за неимением оказии я хотел послать его обыкновенной почтой. Это событие так меня поразило, что я ничего не могу прибавить, кроме того, что я остаюсь с глубочайшим уважением, всемилостивейшая государыня, вашего императорского величества верноподданный

Иван Симолин

«Rapports en cour», к. 53, л. 10 б. Шифровано, за исключением последнего абзаца, приписанного рукою Симолина. Дата получения неизвестна.

К донесению приложены:

1. Копия записки князя Кауница Симолину от 27 февраля 1792 г.

Из приложенной к сему копии ответа на мою записку вы увидите, милостивый государь, что я все сделал, что вы желали, и так, как вы желали.

Соблаговолите, милостивый государь, поступить сообразно с обстоятельствами. Кто-нибудь из слуг князя Голицына в серой ливрее сможет вам показать, куда надо итти.

2. Копия записки его величества императора князю Кауницу

Возвращаю вам, князь, приложенное к сему письмо королевы Франции и прошу вас поставить в известность г. Симолина, что он может притти ко мне сегодня, в понедельник, в четыре часа пополудни, чтобы передать письмо королевы. Предупредите его, что он может быть во фраке и, не соблюдая никаких формальностей, пройти через мою уборную прямо ко мне. Остаюсь и т. д. и т. д.

Леопольд

[1] Имеется в виду речь короля на объединенном «королевском» заседании Национального собрания 23 июня 1789 г., в которой Людовик XVI, объявив недействительным постановление представителей третьего сословия от 17 июня о превращении

Генеральных штатов в Национальное собрание и провозгласив незыблемость всех видов феодальной собственности, обещал в то же время, в качестве уступки, отмену финансовых привилегий духовенства и дворянства и заключение займов с согласия Генеральных штатов.

[2] Bischoffwerder Иоганн-Рудольф (1737—1803)—приближенное лицо прусского короля Фридриха-Вильгельма II, фактический министр иностранных дел с 1791 г.

[3] Центре эмиграции братьев короля и принцев.

[4] Декретом от 12 сентября 1791 г. эта область, принадлежавшая папе, была присоединена к Франции на основании пожелания большинства ее населения.

[5] Cobenzl Филипп, граф (1741—1810)—австрийский государственный деятель и дипломат. Сопровождал Иосифа II во время его поездки по Франции в 1777 г. С 1779 по 1792 гг. вице-канцлер двора и государства. С августа 1792 г. канцлер, но за неудачную политику при втором разделе Польши и по вопросу обмена Бельгии на Баварию смещен и назначен канцлером итальянских провинций. С 1801 по 1805 гг. посол в Париже.

ПИСЬМО СИМОЛИНА ЕКАТЕРИНЕ II ОТ 17 МАРТА 1792 г.

[*Без №*]

Вена, 6/17 марта 1792 г.

Ваше величество,

Преждевременная и неожиданная кончина его величества императора приостановила все дела, и я должен был ждать, чтобы после уже погребения перед моим отъездом получить аудиенцию у его величества короля[1] и припасть к его стопам. Обер-камергер князь Розенберг написал в понедельник послу князю Голицыну, что хотя прием иностранных послов и полномочных министров назначен на будущее воскресенье, но король все же желает меня видеть на другой день в полдень, ввиду того, что я спешу вернуться в Брюссель. Его величество принял меня наедине в своем кабинете.

Я сказал королю, что ему, без сомнения, небезызвестно то дело, которое повергло меня сначала к стопам покойного его величества императора, а теперь повергает к его стопам, а именно: что король и королева Франции, удрученные мыслью о том, что император был введен в заблуждение ложными сведениями как о их личных чувствах, так и о настоящем положении дел во Франции, предложили мне быть подателем письма королевы к императору и рассказать ему об их истинных чувствах и о действительном положении страны; что я не счел для себя возможным отказать их величествам в исполнении их желания, зная о живом и непрестанном участии, которое принимает ваше императорское величество в их плачевном положении, и не сомневаясь, что они найдут у вас твердую поддержку и утешение.

Король сделал мне честь ответить, что он проникнут сознанием их горестного положения; что его намерения по отношению к ним таковы же, как и покойного императора, его отца, и что он не преминет доказать им свое искреннее участие. Когда я ему сказал, что его величество покойный император обещал мне дать ответ королеве, приложив к нему мемуар, объясняющий положение дел в настоящий момент, то король, в свою очередь, обещал передать мне письмо для королевы и мемуар с изложением намеченного им плана действий, которым он будет руководствоваться в дальнейшем с тем, чтобы она могла сообразовать с ним свое поведение. Затем король сказал мне, что он был очень рад меня видеть, что поручение, которое я на себя взял, делает мне честь и что он сохранит в тайне цель моего путешествия и то, что мотив, приводимый мною для его объяснения, был вымышлен.

Так как князь Голицын устроил мне свидание с придворным и государственным вице-канцлером графом Кобенцлем, я отправился после аудиенции у короля в его канцелярию и посвятил его полностью в тайну возложенного на меня поручения: о беседе, которую я только-что имел с королем и с покойным императором, об ответах, данных ими мне, так же как и о планах, которые они намереваются осуществить. Упомянутый министр, оказавший мне такое же доверие, сообщил мне о программе действий, которой будут придерживаться в настоящее время, согласовав ее с берлинским двором, о чем ваше императорское величество будете изве-

„НОВАЯ КОАЛИЦИЯ, ИЛИ РУССКИЕ УЖЕ СЕМЬ ЛЕТ В ПОХОДЕ“

Французская карикатура на образование второй коалиции, март 1799 г. (до побед Суворова)

Слева изображены представители контрреволюции, ожидающие спасения от русской армии, шествующей по облакам во главе с Павлом I. Реющий навстречу русским санкюлот извергает ветер, чтобы помешать их продвижению, и одновременно опрокидывает Кобенцля, австрийского уполномоченного в Раштате. Справа представители Французской республики показывают нос силам контрреволюции

Исторический музей, Москва

щены, как только будет получен ответ этого двора. Он рассказал о последнем представлении французского посла с требованием быстрого и категорического ответа как на вопрос о разрыве соглашения с другими державами, о котором шла речь в одной из нот покойного императора, так и на вопрос о сокращении войск на границах до размеров апреля 1791 г., и заявлением, что в этом случае Франция также отодвинет свои войска вглубь страны.

Граф Кобенцль склонен думать, что, если французы перейдут Рейн, тотчас же все деревни от Бонна до Базеля будут за них и сговорятся, чтобы убивать князей, графов и дворян, которые попадутся им под руку.

Взгляды этого министра на дела Франции и его отношение к ним, в конце концов, те же, что и князя Кауница, о которых я докладывал вашему

императорскому величеству. Он считает, что контрреволюция невозможна, ввиду того, что воля нации решительно высказалась за конституцию и за Собрание, и в этом пункте намерения принцев и эмигрантов совершенно отличны от намерений тюильрийского двора, который удовлетворился бы, повидимому, некоторыми изменениями в конституции, тогда как в Кобленце хотят восстановления старого порядка вещей, что невозможно. На его вопрос, можно ли доверять барону де Бретёйлю, я ответил, что король и королева оказывают ему доверие, в чем их величества сделали мне честь уверить лично меня. Он сообщил мне также о более чем странной политике мадридского двора, который желает, чтобы действовали другие державы, в то время как сам он не намерен принимать какого-либо участия из опасения нанести ущерб своим правам на Францию, которые предоставляются ему, в случае прекращения царствующей династии, фамильным договором и чем, видимо, он очень дорожит[2]. Граф Кобенцль сказал мне затем, что в то время, как он будет вести переговоры с берлинским двором по поводу совместного ответа их на последнее представление французского посла, князь Гогенлоэ[3], назначенный королем командовать армией, обсудит с г. Бишофвердером намечаемый военно-операционный план, который будет затем сообщен вашему императорскому величеству, а также и дворам, приглашенным к совместным выступлениям, чтобы с достоверностью знать, как и в какой степени они рассчитывают способствовать его выполнению. Упомянутый выше вице-канцлер обещал передать мне возможно скорее письмо короля и его мемуар, чтобы я мог вернуться в Брюссель и доставить их надежным путем королеве, дабы она руководствовалась ими в своем поведении. Тотчас по их получении я отправлюсь в путь.

В день аудиенции у короля я обедал у князя Кауница; по окончании обеда я сказал ему, что имел честь видеть короля, и сообщил ему ответ, который его величество соблаговолил мне дать. Я добавил к этому, что ожидаю только его распоряжений, чтобы вернуться в Брюссель. Г-н Кауниц ответил мне, что король и королева Франции не должны сомневаться в том участии, которое король принимает в их положении, и в его желании облегчить им его, но что им можно обещать только нечто неопределенное, подобное тому, что их величества поручили передать через меня. Он сказал, что теперь можно было бы притти к соглашению, но невозможно определить, когда и как это соглашение может произойти и как осуществиться. Он добавил, что хотел бы повидаться и побеседовать со мной еще раз у себя в кабинете. Я ответил, что всегда к его услугам, и он обещал этим воспользоваться.

Остаюсь с глубочайшим почтением, всемилостивейшая государыня, вашего императорского величества верноподданный

Иван Симолин

«Rapports en cour», к. 53, л. 24. Шифровано. Дата получения неизвестна.

[1] Франц II (1768—1835)—король австрийский и венгерский, еще не получивший в то время императорского сана. Император германский с 1792 г. и император австрийский с 1801 г.

[2] Договор между Францией и Испанией 1761 г., имевший целью обеспечить взаимную помощь представителей двух ветвей Бурбонов против растущей мощи Великобритании.

[3] Hohenlohe-Kirchberg, Фридрих-Вильгельм (1732—1796) — австрийский генерал, послан был в Берлин для составления плана кампании, командовал армией против французов.

МАРК-АНТУАН ЖЮЛЬЕН ДЕ ПАРИ И ЕГО ПЬЕСА «ОБЕТЫ ГРАЖДАНОК»

Предисловие К. Державина

Публикация и комментарии В. Александри

Французская буржуазная революция 1789—1799 гг. создала немало красочных и богатых эпизодами человеческих биографий. Движение широких народных масс, напряженность классовой борьбы, бурное развитие революционных событий—все это ежедневно открывало перед современниками тысячи жизненных путей, ярко запечатлевалось в судьбе людей этой эпохи. Революция создавала прихотливые биографии, и многие из них она продолжила далеко в глубь XIX в. Не мало также жизненных путей, определившихся в течение революционного десятилетия, по которым шли «люди революции», завершалось в годах и десятилетиях следующего века, в новых условиях общественной и политической жизни Европы, забытыми и полузабытыми эпилогами.

Революция создала особый стиль человеческих жизней. Этот стиль наиболее отчетливо и наиболее законченно отпечатлелся в тех якобинских биографиях, которые были рождены эпохой мелкобуржуазной, робеспьеристской диктатуры 1793—1794 гг. В своем «Происхождении современной Франции» Ипполит Тэн пытался реконструировать типическую схему того «якобинского сознания», которое являлось неотъемлемой частью подобной биографии. Он не смог, однако, справиться с этой задачей, и сочиненный им образ якобинца представляет собой безжизненную и предвзятую в своей враждебности карикатуру. Сама жизнь эпохи, запечатленная в официальных документах, в газетах, в политических брошюрах, в мемуарах, разрешила эту задачу гораздо многообразнее, богаче и убедительней. Из архивных досье, из частной переписки эпохи, со страниц воспоминаний до нас доходят свидетельства о многих и многих людях революции, чьи биографические пути скрестились с крупнейшими историческими событиями на рубеже двух веков для того, чтобы перейти через этот рубеж иногда прямыми и последовательными, иногда зигзагообразными и сложными направлениями.

Марк-Антуан Жюльен де Пари (1775—1848), писатель, журналист и политический деятель, оставил нам одну из типичнейших биографий революционной эпохи. Он был вовлечен в круг ее событий, и его имя сочеталось с наиболее драматическими эпизодами революционного десятилетия. Его жизнь закончилась в 1848 г.—в год новых революционных потрясений всей Европы, в которых уже обозначились контуры грядущей пролетарской революции. Жюльен де Пари умер почти в забвении, как и многие из его сверстников по эпохе Конвента, Директории и наполеоновских войн, но имя его заняло свое место в анналах общественной жизни первых десятилетий XIX в., в которые он принес свои либерально-демократические убеждения.

Сын левого монтаньяра, депутата департамента Дром в Законодательном собрании и в Национальном конвенте—Марка-Антуана Жюльена де ла Дром, автор «Обетов гражданок» впервые появляется на политической арене в качестве одного из четырнадцати депутатов от студентов Парижского университета, вручивших Национальному

собранию несколько тысяч ливров, собранных «в результате отказа от удовольствий» (1790 г.). Молодых патриотов от имени Собрания приветствовал епископ Отёнский—будущий министр иностранных дел Наполеона I и один из активнейших поборников реставрации Бурбонов, известный в дипломатической истории XIX в. под своим подлинным именем Талейрана.

В 1791 г. мы встречаем молодого Марка-Антуана Жюльена на посту секретаря якобинского «Общества друзей конституции города Роман». Он составляет докладные записки, направляемые в Национальное собрание, ведет активную политическую работу, вступает в переписку с Робеспьером и выдвигается на должность помощника военного комиссара, а впоследствии и военного комиссара пиренейской армии, оперировавшей против войск испанской интервенции (1792—1793 гг.). В сентябре 1793 г. Жюльен направляется в качестве ответственного и доверенного агента Комитета общественного спасения в южные и западные районы Франции и в их крупнейшие центры для того, чтобы «направлять и оживлять общественный дух в этих городах, просвещать народ, поддерживать народные общества, следить за внутренним врагом, разоблачать его заговоры и регулярно сообщаться с Комитетом общественного спасения». Ряд документов, хранящихся в архиве Жюльена (находящемся в Институте Маркса—Энгельса—Ленина в Москве), рисует перед нами его упорную каждодневную работу по поддержанию революционной законности, по наблюдению за местными органами, якобинскими обществами и отдельными представителями власти. В 1794 г. Жюльен переселяется в Бордо, облеченный вскоре полномочиями комиссара Исполнительной комиссии по народному просвещению. На этой работе ему приходится сталкиваться с самыми разнообразными вопросами организации народного образования, театральной политики, устройства национальных и патриотических празднеств и т. д.

Деятельность Жюльена, как одного из видных агентов якобинского правительства на периферии, прерывается арестом, последовавшим после контрреволюционного переворота 9 термидора. Заключенный в тюрьму, Жюльен получил свободу только в конце 1795 г. К тюремному периоду его жизни относится ряд документов, довольно полно характеризующих политические воззрения их автора, в частности, его принципиально отрицательное отношение к террору. Раскрытие заговора Бабёфа обращает на Жюльена подозрительность директорианских властей. Отрицая свою причастность к этому заговору, Жюльен вынужден скрываться и находит себе убежище в итальянской армии Наполеона Бонапарта. В 1797 г. он редактирует газету «Courrier de l'Armée d'Italie», выходившую в Милане. В 1798 г. мы встречаем его в Египте, в качестве военного комиссара. В 1799 г. он назначается генеральным секретарем временного правительства Неаполитанской республики. С 1801 по 1805 гг. он возвращается к работе на военных постах и занимает должность помощника инспектора по военным смотрам. В 1805 г. он получает орден Почетного легиона. В 1813 г. наполеоновская полиция арестовывает его. Падение Наполеона возвращает Жюльена к публицистической работе. Он недолгое время редактирует газету «L'Indépendant» и в 1819 г. основывает журнал «Revue Encyclopédique», в котором работает до 1831 г.*

Период наиболее интенсивного интереса Жюльена к вопросам театра относится к моменту его работы в Бордо. Там же, в Бордо, видимо, написана им и публикуемая ниже патриотическая пьеса «Обеты гражданок», сохранившаяся в копии с собственноручными поправками Жюльена в его архиве (ИМЭЛ).

Как и большинство якобинских деятелей в области просвещения, Жюльен неоднократно подчеркивал моральное и революционно-пропагандистское значение театра, зрелищ и народных празднеств. В театральной политике якобинской диктатуры, как известно, весьма отчетливо выявилось стремление к той «санкюлотизации» театра,

* Об этом периоде жизни Жюльена см. т. II, стр. 89—108 настоящего издания (С. Дурылин, П. А. Вяземский и «Revue Encyclopédique»).—*Ред.*

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ГЕРОЛЬД
Проект гражданского костюма
Рисунок неизвестного художника французской школы конца XVIII в.
Частное собрание, Ленинград

которая должна была полностью поставить театр на службу идейным интересам мелкой революционной буржуазии. В этом отношении взгляды Жюльена, выразившиеся в его докладах и письмах 1793—1794 гг., представляются весьма типичными для характеристики якобинского понимания общественной роли театра, как школы патриотических добродетелей и революционного воодушевления.

Так, в докладе о монтаньярской коммуне Лориан, который он сделал на публичном заседании народного и монтаньярского общества там же в Лориане 10 нивоза 2-го года (30 декабря 1793 г.), он говорит: «Национальные праздники являются наиболее могучей движущей силой для воздействия на общественное настроение свободного народа» («Rapport sur l'Orient, commune montagnarde», p. 47. Рукопись. Архив ИМЭЛ). Далее, в письме к членам Комитета общественного спасения от 24 плювиоза 2-го года (12 февраля 1794 г.) он пишет: «Самые незначительные, с первого взгляда, вещи могут порождать серьезные результаты: устройством праздников, зрелищ, торжественных церемоний пробуждается энтузиазм масс» («Régistre de mes opérations et de ma correspondance», p. 203. Рукопись. Архив ИМЭЛ).

Через неделю после получения новой должности в Бордо Жюльен делает такую запись: «Бордо, 5 прериаля 2-го года [24 мая 1794 г.] Республики единой и нераздельной. Марк-Антуан Жюльен, член Исполнительной комиссии отдела народного образования, посланный Комитетом общественного спасения в Бордо, во исполнение постановления Комитета общественного спасения, с поручением заняться в Бордо вопросами, входящими в круг деятельности комиссии, которой он состоит членом, и, на основании двух постановлений этой комиссии, которые он обязан выполнить во время своей командировки, первого—от 3 вантоза 2-го года Республики [21 февраля 1794 г.] о спектаклях и второго—от 8-го того же месяца [26 февраля] по вопросам народного просвещения, постановляет:

1) что директора театров Бордо обязуются в трехдневный срок представить точную информацию о пьесах, которые составляют их обычный репертуар;

2) что они должны посылать ему каждый день список пьес, которые назначены к постановке на следующий день;

3) что из двух пьес обычного репертуара, по крайней мере, одна должна быть обязательно на тему о революции, дабы будить в сердцах любовь к свободе.

. . . .

Муниципалитету Бордо, которому дается настоящее распоряжение, вменяется в обязанность следить за тем, чтобы каждодневно ставились патриотические пьесы» («Régistre de mes opérations et de ma correspondance», p. 252. Рукопись. Архив ИМЭЛ).

Свою идею о просветительной роли театра, зрелищ и т. д. Жюльен развивал, повидимому, достаточно широко и успешно. Об этом могут свидетельствовать заявления «с мест».

Так, члены генерального совета коммуны Ла Рошель в письме к «нашему другу» Жюльену от 8 прериаля 2-го года Республики (27 мая 1794 г.), после пространных рассуждений о прежнем театре «времен деспотизма», жалуются на то, что отдаленные от Парижа места, к сожалению, вынуждены еще пользоваться старым репертуаром. Они просят прислать список новых пьес, ставящихся на сценах Парижа. Письмо снабжено девятнадцатью подписями.

Письмо к Жюльену от комитета по просвещению при «Народном обществе Рошфора», помеченное 15 мессидора 2-го года Республики (3 июля 1794 г.), начинается следующими словами: «Гражданин, верные идеям, которые ты так хорошо среди нас развивал, и желая использовать все средства, могущие способствовать народному просвещению, мы признали, что спектакли могут приносить большую пользу в деле привития гражданам республиканской морали...». Авторы письма просят о доставке всех новых пьес, которые Жюльен найдет подходящими для пропаганды моральных и республиканских идей, а также маленьких патриотических опер, пригодных для постановки в любительских кружках. Под письмом—пять подписей.

В этих же революционно-пропагандистских целях Жюльен написал и свои «Обеты гражданок», о которых в письме к Робеспьеру от 1 флореаля 2-го года Республики (20 апреля 1794 г.) он сообщает: «Я составил маленький патриотический дивертисмент «Обеты гражданок». Я буду иметь честь представить его Комитету общественного спасения и, в случае одобрения, напечатаю это небольшое произведение вместе с приложенными к нему замечаниями об исполнении республиканского балета, которым пьеса заканчивается, для постановки ее в Париже и в других коммунах. Я не смотрю на эту работу, как на работу, чуждую моей миссии—делу формирования общественного духа, а к тому же, я потратил на нее всего три дня» («Régistre de mes opérations et de ma correspondance», p. 246. Рукопись. Архив ИМЭЛ).

Судя по всему, пьеса эта так и не увидела света театральной рампы. Мы не находим ее названия в репертуаре театров этой эпохи, равно как и не знаем ни одного ее печатного издания. Среди личной переписки Жюльена с некоей Клелией последняя сообщает ему 14 мая 1794 г.: «Ваша пьеса совсем еще не появлялась; нет надобности говорить вам, с каким нетерпением я пойду ее смотреть и с каким удовольствием я вам о ней сообщу». Само собой разумеется, что термидорианский переворот окончательно аннулировал возможность появления санкюлотских по своему существу «Обетов гражданок» на театральных подмостках.

Не приходится сомневаться в том, что постановка на сцене этой пьесы мало что прибавила бы к известности Жюльена: написанная в исключительно патриотических целях, она мало чем отличается от десятков и сотен пьес, стремительно сменявших друг друга на революционной сцене. В исторической перспективе, однако,

этот драматургический опыт имеет свой интерес и свое значение, как один из типичных образцов политико-просветительной санкюлотской драматургии. Для этой драматургии была характерна тенденция к использованию малых форм, к созданию фельетонно-публицистического стиля в драматургии и к применению в нем тех зрелищных элементов, которые были рождены широко культивировавшимися во Франции в эпоху революции народными празднествами, апофеозами, общественными обрядами и т. д. Этот драматургический стиль широко освоил традиции демократических театральных жанров, создавшихся еще до революции на малых бульварных парижских сценах. Он насытил их остротой политического содержания и памфлетностью характеристик. Не менее широко он использовал также и песенную традицию революции. Водевильный куплет сатирического характера, торжественная или боевая революционно-патриотическая песня, патриотический хор и т. д.—все это находит себе широкое применение в санкюлотской драматургии, выполняя все ту же политико-пропагандистскую функцию.

Сюжетная часть «Обетов гражданок» типична для всей санкюлотской драматургии малых форм. Носителями ее являются персонажи, встречающиеся, как традиционный элемент, почти в любой пьесе 1793—1794 гг. И пылкий патриот Клерваль—волонтер республиканской армии, и образец республиканской общественной добродетели—Добиньи, и притаившийся под маской лицемерного сочувствия республике «аристократ» Носикур,—их образы мы встречаем почти в каждой пьесе, откликавшейся на революционную и патриотическую злобу дня своего времени. Не менее типичны и женские образы. Типична также и самая атмосфера, в которой развивается несложное действие пьесы,—атмосфера патриотизма, включающая в себя своеобразную руссоистскую сентиментальность и покрытая легким флером типичного для эпохи Французской революции классицизма. Подобно многим пьесам репертуара 1793—1794 гг., «санкюлотида» Марка-Антуана Жюльена написана под знаком патриотического феминизма и в этом отношении крайне показательна для настроений мелкой революционной

Les engagemens
des citoyennes.
Sans-culottide nationale
à grand spectacle avec
chants, discours, danses, ballet etc.

par
agent du comité de salut
public de la convention
nationale dans les départemens
maritimes et frontières du
nord, de l'ouest et du sud
pour la régénération de
l'esprit public.

ЗАГЛАВНЫЙ ЛИСТ ПЬЕСЫ „ОБЕТЫ ГРАЖДАНОК“ МАРКА-АНТУАНА ЖЮЛЬЕНА, НАПИСАННЫЙ ЕГО РУКОЙ

Институт Маркса—Энгельса—Ленина, Москва

буржуазии, выдвинувшей из своей среды не мало женщин — активных участниц революционных событий и революционной борьбы, во главе с любопытной фигурой актрисы Клэр Лакомб.

Индивидуальной особенностью «Обетов гражданок» Марка-Антуана Жюльена является, главным образом, их подчеркнутый общественно-обрядовый характер. Общественная обрядность запечатлена в этой пьесе чрезвычайно настойчиво, что объясняется, несомненно, интересом ее автора к организации патриотических празднеств и церемоний. В сущности говоря, вся пьеса сводится в итоге к картине народного революционного празднества, организующим моментом которого является пространная речь комиссара, излагающего принципы республиканской морали и патриотической добродетели. Пропагандистский характер санкюлотской драматургии неизменно подсказывал ей обращение к ораторским приемам раскрытия идейного содержания пьесы. Взращенное и развитое революцией ораторское искусство, искусство политической речи и ораторской агитации, усиленно копировалось революционной драматургией. Не только специальные ораторские выступления прямым образом использовались в архитектонике множества пропагандистских пьес, но и действенные реплики приобретали ораторско-декларативный и публицистический характер. В этом отношении «санкюлотида» Жюльена «Обеты гражданок» являет особенно показательный пример. Ораторско-пропагандистское начало проникает во все поры драматургической конструкции, и редкие из действующих лиц не говорят языком трибуны патриотического клуба или народного общества.

Жюльен, однако, не довольствуется всеми этими средствами театрально-пропагандистской выразительности. Он прибегает также к выразительности танца и пантомимы, заключая свою пьесу программой небольшого аллегорического революционного балета. Эта программа представляет собой особую ценность и является, пожалуй, наиболее интересным моментом в публикуемом произведении Жюльена, поскольку история революционного балета известна нам лишь по весьма скудным материалам. Не приходится сомневаться в том, что, хотя балетный финал «Обетов гражданок», как и вся пьеса Жюльена, не был поставлен на сцене, он, тем не менее, является документом, весьма характерным для хореографических устремлений революционной, в частности санкюлотской, сцены. Сочиняя программу своего балета, Жюльен, видимо, ориентировался на имевшие место хореографические спектакли революционно-аллегорического стиля, используя, вместе с тем, опыт народных празднеств и зрелищ, в которых танцовальные и пантомимные элементы играли большую и, порой, преобладающую роль. Эмблематический и аллегорический характер этой балетной композиции ведет нас к тем танцам, которые оставила после себя Французская революция и которые были использованы ею в сценариях и постановках народных празднеств и общественных церемоний. Эта любопытная страница в истории хореографического театра еще ждет своего подробного исследования, но и оно, видимо, в свою очередь, устанавливает факт «санкюлотизации» балета на службе идейно-пропагандистским и политико-просветительным задачам революционной сцены.

Типичность биографии Марка-Антуана Жюльена де Пари, прошедшего жизненный путь от уполномоченного Комитета общественного спасения Конвента до либерального журналиста эпохи Реставрации и Июльской монархии, сказалась и в его драматургическом опыте. Пьеса Жюльена — его неосуществленный театральный опыт «Обеты гражданок» дошла до нас, как характернейший образец санкюлотской драматургии, вдохновленной патриотическим рвением, сознанием публицистической миссии революционного театра и преисполненной порой наивного, но всегда искреннего и убежденного гражданского чувства.

ОБЕТЫ ГРАЖДАНОК*

НАЦИОНАЛЬНАЯ САНКЮЛОТИДА[1]—ТОРЖЕСТВЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ С ПЕНИЕМ, РЕЧАМИ, ТАНЦАМИ, БАЛЕТОМ и т. д.

(МАРКА-АНТУАНА ЖЮЛЬЕНА)

УПОЛНОМОЧЕННОГО КОМИТЕТА ОБЩЕСТВЕННОГО СПАСЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО КОНВЕНТА ПО ПОДНЯТИЮ ДУХА ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ПРИМОРСКИХ ДЕПАРТАМЕНТАХ И НА СЕВЕРНЫХ, ЗАПАДНЫХ И ЮЖНЫХ ГРАНИЦАХ[2]

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Добиньи, *мэр*
Жюль, *комиссар*
Туллия, *сестра мэра*
Клелия, Эмэ-Свобода — *подруги Туллии*
Носикур, *аристократ*
Клерваль, *доброволец*
Санкюлот[3],
Молодой человек, *из призывников первого набора*[4]
Мальчик, *воспитанник Батальона надежды отечества*[5]
Матери семейств
Молодые гражданки
Молодые люди, *призывники первого набора*
Дети
Народ

БАЛЕТ

ОБЕТЫ ГРАЖДАНОК

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДЛЯ ОТДЫХА ПАТРИОТОВ

Действие происходит в одном из портовых городов Республики.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Сцена представляет общественный сад. В глубине сцены: слева—обсаженный деревьями дом мэра; справа—решетчатые ворота, ведущие в город.

СЦЕНА ПЕРВАЯ

Эмэ-Свобода и Клелия входят через решетчатые ворота, проходят на авансцену театра, где стоит деревянная скамейка.

Клелия. Ну, дорогая Вероника, великий день наступил.

Свобода. Вероника?! Фу! Это пристало разве какой-нибудь бабушке... Ты воображаешь, что я согласна носить имя, говорящее о какой-то покровительнице—глупой святой старухе? Единственная покровительница для французов и француженок—это Свобода! Слышишь, гражданка Луиза?

Клелия. Ну вот тоже—Луиза! Не знаешь ты разве, что подобным именем звали ненавистного тирана и оно вовсе не к лицу такой патриотке, как я?

Свобода. Как же зовут тебя теперь?

Клелия. А твое имя как?

---

* Перевод с рукописи — В. Александри, отредактирован М. Неведомским. Переводы стихов—М. Талова.

Свобода. Слушай *(поет на мотив: «Мы с играми в селе счастливом...»):*

Вероника мне имя было,—
В нем отзвук дряблой старины.
Его я новым заменила
В честь нашей доблестной страны.
В Республике все дышит силой:
Мы любим равенство, друзья!
Гражданского полна я пыла,—
Зовусь теперь Свободой я!

Клелия *(поет на мотив: «Мы с детства в пору игр невинных...»)*:

Так поступила и Луиза:
В сем имени—какая честь?
С ним расстаюсь не из каприза,—
В нем что-то от тиранов есть.
Мне имя Клелия[6] милее;
Клянусь: Республику люблю!
Любили ль римляне сильнее
Республику, чем мы—свою?

Свобода. Меня окрестил молодой комиссар, присланный в наш портовый город правительством. Это крещение, полагаю, не хуже того, которое совершил бы какой-нибудь епископ из бывших.

Клелия. И я его крестница... В чем, однако, будет состоять церемония, которой должен торжественно закончиться сегодняшний декадный праздник?[7].

Свобода. О, слухов всяких много! Говорят, будто всех нас выдадут замуж. Сначала отберут самых добродетельных, самых верных патриоток, самых бедных. Комиссар обещал дать им приданое от имени Республики. Остальных тоже выдадут замуж, но без приданого. Весь народ соберется, ибо гражданские свадьбы обязательно должны происходить публично, в многолюдных собраниях и входить в состав торжества у Алтаря Отечества[8].

Клелия. Я лично замуж не пойду. Это у меня решено. Дождусь возвращения призывников первого набора.

Свобода. Именно так я и представляю себе: свадьбы подготовят, сделают объявления, а самое заключение браков отложат до декады, к которой молодые люди успеют вернуться домой. Но вот Анжелика, она нам все разъяснит: ведь комиссар живет у ее отца,—она, значит, должна все знать о празднестве. Анжелика, Анжелика!..

СЦЕНА ВТОРАЯ

Те же и Туллия.

Туллия *(выходя из дома мэра)*. О, милые, меня зовут теперь Туллией[9]. Но не по имени дочки тирана Тарквиния, побудившей Тита предать отечество, а по дочери римлянина Цицерона, которая спасла родину от заговора Катилины. Такое имя дано мне комиссаром. Он при этом мне все разъяснил. Вам новые имена дал он же. Ты, Клелия, названа так в честь молодой римлянки, великодушие, мужество и пламенный патриотизм ко-

МАРАТ
Рисунок Никола де Куртейля
Музей „Архангельское“

торой снискали ей такое уважение у современников, что они воздвигли ей конную статую. А у тебя, Любимая-Свобода, прекрасное имя: Свобода будет вечно любима! Мне даже кажется, что теперь я и сама крепче тебя полюбила.

С в о б о д а. Сообщи же нам, дорогая Туллия (ведь я не ошибаюсь, таково новое твое имя?), в чем будет состоять церемония.

Т у л л и я. Вот в чем. Я все знаю от комиссара и расскажу вам. Сначала пойдет сегодня бесплатное представление патриотической пьесы, чтобы к удовольствиям, которые раньше доставались только богатым, получили доступ бедняки и санкюлоты—ведь для них-то и совершена революция! Затем комиссар созовет общее собрание гражданок в Храме Разума[10]. *(Несколько важничая).* Так мне говорил комиссар. Когда все гражданки соберутся, он предложит им расположиться в две колонны: по одну сторону станут молодые незамужние гражданки, по другую—матери семейств. Будет устроено возвышение, украшенное лаврами, с местами для комиссара, для моего брата, как мэра коммуны, и для председателя народного общества[11]. Начнут с музыки и пения гимнов, а затем выступит комиссар. Он обратится ко всем матерям и остальным женщинам и предложит нам принести присягу: матерям семейств в том, что они воспитают своих детей в твердых республиканских принципах, а молодым девицам в том, что они вступят в брак только с республиканцами.

К л е л и я. О, что до меня, я всем сердцем готова дать такую присягу! Жених мой—добрый республиканец: ведь он пошел сражаться, не дожидаясь призыва.

Т у л л и я. Я также собираюсь выйти замуж за истинного республиканца. Он не в рядах бойцов—это, однако, не значит, что от него меньше пользы отечеству. Его дело — проповедывать свободу и покорять ей сердца,

разоблачать ее врагов, просвещать народ, а такие заслуги, думается, не менее достойны гражданского венка[12], чем разгром вандейских разбойников[13]. Если бы потребовалось, он дрался бы не хуже всякого другого: тому, чье мужество презирало тюрьмы и кинжалы, не страшны ни огонь пушек, ни рукопашная схватка. *(Это похвальное слово произносится с подъемом.)*

Свобода. Какого это республиканца ты так горячо расхваливаешь? Кое о чем я догадываюсь... Тот, кто на общественной трибуне выступает пламенным проповедником свободы, тот в час свиданья не окажется холодным обожателем нежной Элоизы[14]: любовное пламя и огонь любви к родине горят на одном очаге.

Клелия. Бьюсь об заклад, что не пройдет дня, как Туллия станет женой комиссара. Тише, однако. Удалимся. Видите, он идет. У него очень взволнованный вид.

(Женщины удаляются через решетчатые ворота. Жюль и Добиньи выходят на сцену из дома мэра.)

СЦЕНА ТРЕТЬЯ

Жюль—комиссар, Добиньи—мэр, брат Туллии.

Жюль. Да, дорогой друг, от тебя я вовсе этого не скрываю. Тебе я доверил тайну своего сердца. Я обожал Эмилию. Едва прибыл я в ваши края, как со всех сторон я услышал восхваления ее за юную грацию, за живость, наивность, доброту, чувствительность... Ее называли воплощением всех добродетелей, всех, какие только мыслимы, дарований, усиливающих чары красивой наружности. Я увидел ее, полюбил и был любим ею!

Добиньи. Это было лишь в твоем воображении, Жюль. Не забыл же ты, в какое глубокое заблуждение ты впал, какими подпольными интригами завлекали в ловушку твое легковерие? Тебя надеялись соблазнить, чтобы затем погубить. Изучали твой характер, подмечали слабости. Он не любит золота,—говорили о тебе,—нет в нем вечно жаждущей скупости, вечно голодного честолюбия; его не соблазнишь никакими посулами сокровищ или почестей; он не боится угроз, не знает страха. Но душа его открыта, чиста, доверчива; в его пылком сердце мучительная потребность любить; он впечатлителен и не может быть равнодушным к красоте, к молодости, к невинности, к добродетели. И вот с тобой сближают красивую молодую особу, привлекательную, умную, страстную; ее происхождение от тебя скрывают. А она действовала лишь в интересах своих родителей и притворялась, что тебя любит.

Жюль. Все это мне известно. Ты мне сотни раз об этом говорил. Но мог ли я допустить, что в столь юном возрасте она уже научилась так скрытничать и притворяться? Во всяком случае, я тогда не знал, что дочерняя любовь хитро надевала обманчивую маску совсем иного чувства! Не предполагал, что при выборе возлюбленного она руководилась одной целью—спасением отца. Мои страстные взоры видели в ней только возлюбленную, а нетерпеливые желания побуждали судить о ее сердце по собственному моему сердцу... Внимая лишь голосу своей любви, я уже успел связать себя обещанием. Гименей должен был соединить нас узами, и мне казалось, он увенчает взаимное чувство: Эмилия составляла мое счастье и, мнилось, была счастлива мною. Но вскоре иллюзии рассеиваются, истина обнажается, счастье исчезает. Я узнал, что моя возлюбленная—дочь дворянина, притом «подозрительного»[15] и состоящего

на службе, дочь человека, на которого я, быть может, должен наложить руку. Слезы жены задержали бы эту занесенную для удара руку, любовь вступила бы в борьбу с долгом... А кто может решиться на такую борьбу без опасений за ее исход? Если бы я был простым гражданином, рассуждал я, если бы принадлежал только себе, глаза мои видели бы в ней лишь подругу, происхождение же ее мало смущало бы меня... Я даже ощущал бы радость и удовлетворение при мысли, что мне удалось вырвать невинную жертву из среды обреченной касты. Но ведь это не так. Я весь принадлежу народу и должен все приносить ему в жертву—спокойствие, личное счастье. Самую жизнь я обязан отдать ему. Я принадлежу отечеству. Его строгий голос повелевает мне забыть свою привязанность—и я повинуюсь. Благо общества, долг патриота возбраняют республиканцу, призванному карать виновных, вступать в союз с дочерью человека, которого преследует закон. И я отказываюсь от своей любви, от своих желаний, от своих надежд, от своего счастья. Я внемлю голосу народа и искореняю в себе все, вплоть до сожалений о прошлом. Тогда мой долг выполнен.

Добиньи. Народ, дорогой Жюль, сумеет наградить тебя, сумей лишь ты заслужить его признательность. Будь всегда доблестным, будь республиканцем! Пусть не действуют на тебя никакие соблазны. Ты сумел победить любовь—и сам станешь непобедимым. Остерегайся окружающих тебя тайных опасностей—они гибельны при недостатке бдительности.

Жюль. Не раз спасали меня от козней твои советы. Пусть же и впредь оберегают они меня и руководят моим поведением. А сейчас позволь другу, никогда и ничего от тебя не скрывавшему, на твоей груди облегчить свое сердце. Поддержка друзей помогла мне побороть мою первую страсть, у меня хватило силы победить любовь. Довольно длительное путешествие, намеренно мною предпринятое, отдалило меня от Эмилии, но не смогло изгнать ее образ из моей памяти. Судьба снова направила меня в ваши места, я вернулся. Но я запретил себе встречу с той, в праве любить которую я себе отказал. Я хотел независимости, искал счастья в равнодушии. Вскоре, однако, я почувствовал, что только новая страсть может окончательно погасить не вполне потухшее пламя прежней страсти. Ты дал мне приют, я жил у твоего очага. Изо дня в день виделся я с твоей сестрой. Сначала в ее пользу говорил мне только разум. Но затем в сердце, которому нужна была новая рана, чтобы залечить прежнюю, мучительно его терзавшую, стала незаметно проникать любовь. На первых порах я думал, что чувствую к Туллии лишь простую симпатию, как к сестре моего друга. Я был ей, казалось мне, лишь братом: без робости сближался я с ней, доверил ей тайну моего первого увлечения и той борьбы с самим собой, которая была необходима, чтобы избегнуть роковых последствий. Я видел слезы Туллии и сам плакал. И пылкая моя душа загорелась новой страстью. Брат и друг скоро превратился в влюбленного. Но смел ли я признаться в этом новом своем чувстве той, которая знала о моей первой любви и полагала, что я только сейчас от нее избавился? Я молча вздыхал. Я подавлял пламя, которое только сильнее от этого разгоралось. Так прошло два месяца, в которые я выжидал минуту, когда мог бы открыть тебе свое сердце, поговорить с тобой с полной откровенностью. С каждым новым днем я обнаруживал в моей Туллии новые добродетели, новые прелести. Ее любовь к отечеству, ее характер, словно для меня созданный, ее возраст, происхождение—все это делает ее необыкновенно для меня привлекательной. Как был бы я счастлив, если б мог назвать ее своей женой!

Добиньи. О, как был бы счастлив и я, если бы Жюль стал супругом Туллии и оказался моим братом! Это было бы осуществлением и моих желаний. Дорогой друг, ты ничего от меня не скрываешь, могу ли и я что-нибудь от тебя утаить? Ты обязываешь меня к полной искренности. Мою сестру с раннего детства знает один молодой человек,—сейчас он ушел по первому набору в армию и бьется с врагом. Ему прочили союз с Туллией. Туллию предназначали Клервалю.

Жюль *(страстно и с горечью)*. Все кончено! Мне суждено быть несчастным! Но, верный добродетели, я возложу на себя бремя еще одной жертвы. Неужто стану я оспаривать у него возлюбленную в то самое время, как он смотрит в лицо смерти, выполняя долг перед родиной? Ведь он, пожалуй, раскаялся бы в своей любви к свободе, в том, что устремился на ее защиту! Ведь я мог бы отнять у него самую дорогую для него награду! Нет, нет! Лучше умереть!

Добиньи. Но ведь, как бы то ни было, только сестре моей принадлежит тут право решать. Ты сегодня же должен с ней переговорить. И если стремления ее сердца совпадут с моими,—еще не кончится сегодняшний день, как Жюль станет мне братом, а ей—мужем. Ты понял меня?.. Час празднества приближается. Я покину тебя. Нужно спешить с приготовлениями. Я за тебя поговорю с сестрой. До свидания же.

СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ

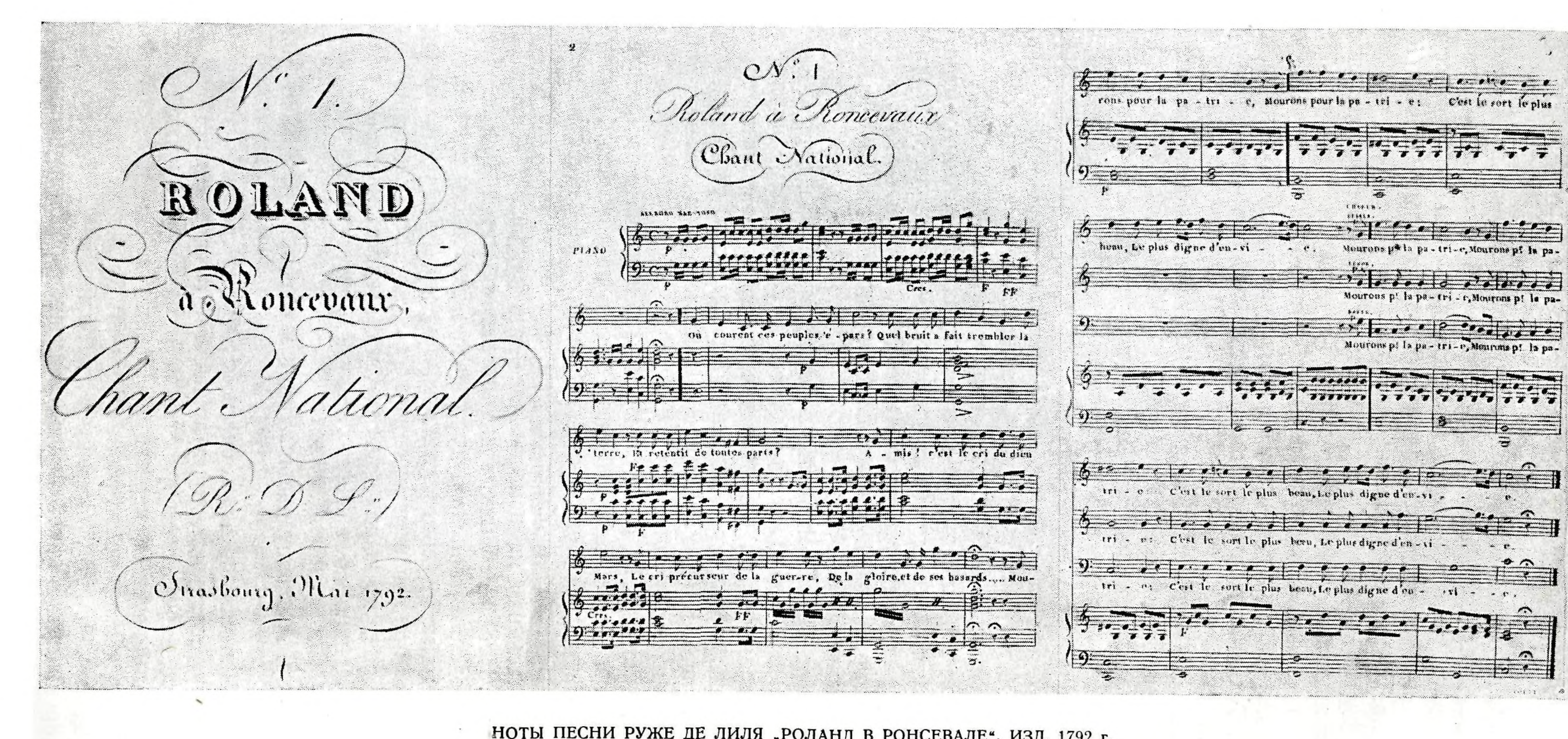
Жюль *(один)*. О, небо! И надо же это было, чтобы первая, на кого пал мой выбор, злоупотребила моим чувством и внушила мне любовь, которую народ осудил бы. Но мало этого! И теперь, когда я остановил свой выбор на другой, я обречен и от нее отказаться... О, сердце, слишком чувствительное! О, вечная жажда любви и пламенное воображение! Что за роковой дар природы этот вулкан, таящийся в моей груди! Неужели мужчина останется всегда рабом женщины? Неужели любовь может сковать душу, возвысившуюся до чувства собственного достоинства, до добродетели и доблести? Обуздывай же порывы своих страстей! Стань свободным ты, защитник свободы!.. А что, если Туллия ответит любовью на мою любовь?.. Быть может, ее сердце еще не занято? В конце концов, разве у нас с Клервалем не равные права? Он первый с ней встретился. Неужели этого довольно, чтобы его предпочесть?.. Безумец! Полно искать оправданий для своей несчастной любви! Стань выше этого! Стань достойным самого себя! Защитник отечества—тебе брат и друг; его возлюбленная для тебя священна. Неужели пойдешь ты на то, чтобы, подло воспользовавшись его отсутствием, похитить самое для него дорогое? И как раз в тот самый день, когда ты собрался призвать молодых гражданок к обету—лишь верных слуг родины награждать своей верной любовью, завершить которую должен Гименей!..

Что здесь нужно, однако, этой нелепой фигуре, одна физиономия которой целиком выдает ее настроение?

СЦЕНА ПЯТАЯ

Жюль—комиссар и Носикур—старый аристократ с унылой физиономией.

Носикур. Я направлялся к вам, сударь, и рад, что имею честь и возможность, встретив вас, поговорить с вами наедине.



НОТЫ ПЕСНИ РУЖЕ ДЕ ЛИЛЯ „РОЛАНД В РОНСЕВАЛЕ“, ИЗД. 1792 г.

На припев этой песни: „Умрем за родину“ написан гимн в пьесе „Обеты гражданок“

Частное собрание, Ленинград

Жюль *(в сторону)*. «Сударь»... «имею честь»... Личность явно старорежимная. Должно быть, какой-нибудь судейский крючок или поповская ряса. Плащами да рясами этими прикрывалось больше предрассудков и преступлений, чем таилось прелести и чар под поясом Венеры. *(К Носикуру, сухо.)* Что вы имеете мне сказать?

Носикур. Разрешите обратиться к вам с просьбой разъяснить, что это за слухи ходят. Говорят о каком-то празднике нового образца, будто женщины должны сыграть в нем особую роль. Говорят даже, что те, кто не явится, будут зачислены в «подозрительные». Я окончательно теряюсь... Только и разговора, что о «подозрительных»,—это слово у всех на устах.

Жюль. А знаете ли вы, что одна ваша манера говорить уже вызывает во мне изрядные сомнения на ваш счет?

Носикур. И вы туда же! Это значит, что вы меня плохо знаете... Я честный гражданин. Я ведь не пропустил ни одной очереди в карауле, уплатил все причитавшиеся налоги... Необходимо было... Но о каких это женских обетах может итти речь? Точно стоят чего-нибудь их обеты!..

Жюль. Обеты, даваемые нашими гражданками, не менее святы, чем наши. Не извольте равнять славных наших санкюлоток и добродетельных республиканок с прежними прекрасными дамами, у которых одно было на языке, другое на сердце. Ныне женщины—участницы в жизни государства. Искуплены по отношению к ним все несправедливости старого режима: они призваны укреплять новый режим, призваны обеспечивать прочность республики.

Носикур. Понимаю! Женщины станут по отношению к нам тем, чем мы были для них. Им в ближайшем будущем дадут доступ к общественным должностям, и они, конечно, не замедлят закрыть его нам... И вот мужчины возьмутся за домашнее хозяйство: мы увидим за прялкой наших геркулесов, а прекрасный пол займется законодательством. Эти новшества совсем сбивают меня с толку.

Жюль. Охотно верю. Язвительность ваша и желчное настроение дают ясное представление о настоящей цене вашего патриотизма... Знайте же: гражданки наши сумеют ограничить себя кругом обязанностей, возлагаемых на них природой и обществом; во всем будут они заодно с нами, будут приходить нам на помощь везде, где природа и общественность это позволят. Нет разве у них сердца или нет отечества? И разве влиянием личных добродетелей они не будут содействовать росту и блеску добродетелей гражданских? Они взяли на себя охрану и распространение революционных принципов и революционного духа. Вот священный огонь, уж, конечно, не менее ценный, чем тот, что некогда охранялся римскими весталками. И никогда не дадут угаснуть этому огню французские санкюлотки!

Носикур. А охрану наших портов и морских границ они тоже на себя взяли?

Жюль. Конечно. И если опасность будет грозить какому-нибудь нашему порту, если волны моря принесут к нашим берегам вражескую флотилию, все граждане станут солдатами, а гражданки поспешат в их ряды—подавать патроны, перевязывать раны, пойдут навстречу смерти бок о бок с мужьями, сыновьями и братьями! Да мы уж и видели это под стенами Анжера[16], Мо[17], в осажденном Гранвиле[18]... А если б врагу удалось проникнуть в какой-нибудь из наших городов и улицы его были

бы наводнены его святотатственными когортами, мы увидали бы, как тучами падают камни, потоками льется кипящее масло, низвергаемое женщинами с высоты домов, несущее смерть врагам. Свойственная их полу слабость не исключает мужества, и гражданка вправе взяться за любое оружие: она ведь свободу защищает, защищает отечество!

Носикур. Вот в чем дело... Мы, значит, возвращаемся к древним векам. Осуществится все, о чем говорят мифы. Наши женщины станут героинями, мы обзаведемся полубогами, новым Олимпом и Пантеоном. Вместо монахов и священников будут жрецы и авгуры. Флореаль и мессидор[19] явятся заменой богинь весны и осени. Все меняют—такова нынче мода...

Жюль. И необходимо было все изменить там, где одна неправда цеплялась за другую, где всем завладели деспотизм и суеверия. Священники были не лучше королей, и, как истым врагам революции, им не было места там, где воцарялась свобода. У них был общий трон, их и следовало уложить в общую могилу. Долой же все, что о них напоминает! Долой королевские побрякушки, скипетры, короны, а заодно и статуи святых, и кресты, и церковные хоругви! Долой всю эту нелепую бутафорию! Три цвета[20], которым предстоит вскоре распространиться по всему земному шару; эмблемы свободы[21], равенства, гражданские венки, отнюдь не возлагаемые на голову живым, а лишь на голову павшим за отечество; изображения этих героев—на память народу; Древо Свободы[22], вздымающееся по лицу всей французской земли, национальное знамя, высоко в воздухе реющее,—вот что должно запечатлеваться в наших глазах. Освободившись от деспотизма и рабства, народ вырвался и из оков фанатизма и предрассудков. Наши храмы—Храмы Разума, наши праздники—праздники Отечества.

Носикур. Но ведь в иных городах переименовали даже улицы. Очевидно, это какая-то мания перемен. И она в свое время пройдет, как проходят другие.

Жюль. Переименования, даже те, что на первый взгляд кажутся незначительными, часто полезны для воспитания патриотических чувств: каждая коммуна может дать яркую картину хода нашей революции, запечатленную во всех общественных местах. Улица 14 июля[23] приводит на площадь 10 августа[24], улица 31 мая[25]—к проспекту Горы[26] и на улицу 21 сентября[27]. Таким путем в памяти каждого гражданина закрепляются основные моменты, знаменующие переход от эпохи деспотизма к эпохе свободы. Ребенок ли или приезжий, в силу естественной любознательности, незаметно для самих себя, ознакомятся с историей Французской революции. Улица 14 июля с прилегающими к ней улицами Мощи, Мужества, Пик, Кокарды, Красного колпака, Санкюлотов напомнят о падении Бастилии, о тех, кто разрушил этот вертеп тирании, а это было первым сигналом разрывавшего свои оковы народа. Квартал Пантеона включает в себя улицы Брута, Марата, Вильгельма Телля, Клелии. Здесь увидят одно за другим имена великих людей и замечательных женщин разных времен и народов. На их подвигах будут воспитываться, явится желание им подражать. Обогащается воображение, ширится ощущение жизни, идеи свободы и родины через глаза проникают в души. Влекущие своей величавостью образы, обступая граждан со всех сторон, порождают в душах страстную привязанность к новому социальному укладу, к законам, опирающимся на свободное влечение, на непосредственные и неизгладимые впечатления.

Носикур. Если бы этим ограничивались!.. Но ведь столько других новшеств. Приходится лично нести караульную службу. Стоять на карауле мне—бывшему председателю! Нам, право же, есть на что пожаловаться...

Жюль. Велика беда! И какой же республиканец пойдет на то, чтобы сваливать на чужие плечи дело охраны отечества, охраны своего лучшего достояния—свободы? Весь французский народ теперь на-страже, и каждый из нас должен стоять на часах. А вот тебе куда больше пристало бы не здесь стоять на часах, а в Кобленце[28].

Носикур. Э! А на что же здешние солдаты? То и дело приходится отводить помещения... Направляют военных в мирную обитель служителя Фемиды![29].

Жюль. Да ну тебя! Защитники свободы и не подумают селиться у приказной крысы, вроде тебя! Они побоятся дышать таким зараженным воздухом и обойдутся без пристанища, которое ты с такой неохотой предоставил бы им! А вот посмотри на других—какой трогательный братский прием они оказывают солдатам, направленным в эту местность для надежной ее защиты! Не передашь словами, с какой радостной поспешностью предлагались помещения: наперебой друг перед другом стремились первыми уступить свое жилище. Даже те, кто удручен бедностью, видели в ней несчастье лишь потому, что она лишала их возможности чем-нибудь поделиться с защитниками свободы. Но и эти ищут у себя хоть малых излишков и делятся с солдатами. Прибывающие не знают, кого и слушать. Их тянут за руку, как милости, добиваются их согласия на тот или иной кров. Разбогатевшим чувствует себя каждый, кому удалось ввести к себе в дом солдата. И у всех на глазах слезы радости и умиления! В прежние годы старались избавиться от солдатского постоя, как от ненавистного бремени... Нынче то, что было тяжелой повинностью, стало удовольствием и радостью. О, свобода! Какие чудеса ты творишь! Равенство, Братство, Свобода, слава вам и благодарность за те, доселе неведомые, драгоценные чувства, которыми вы наполняете наши сердца!

Носикур. Что бы вы ни говорили, но факт тот, что нет ничего досаднее службы при новом режиме. Добрая половина мест не оплачивается. Этого прежде не было. Всегда можно было рассчитывать на время, терпение и посторонние доходишки и быть уверенным, что, в конце концов, кое-чего добьешься.

Жюль. Знаю. Для людей вашего разряда грабеж был привычным делом. Нынче в почете бедность. Что же касается бесплатной службы, то за нее республиканская доблесть умеет давать вознаграждение: тому, кто служит в муниципалитете, приходится покинуть свой плуг и поле для работы на пользу сограждан; и вот вся коммуна сообща дает ему справедливое возмещение: сограждане по очереди пашут за него его поле. Так что, пожалуй, и выгода есть в служении народу. При каком короле можно было увидеть что-либо подобное?

Носикур. В мире все перевернулось вверх дном! Надо стать бедняком, чтобы разбогатеть. Незаконнорожденного ребенка признают законным. Только добродетель дает знатность. Ничего я тут не вижу, кроме гибели порядка, кроме смуты и хаоса. И вот еще—это право усыновления. Ребенок не будет даже знать, кто его родитель!

Жюль. Ах, надоели мне клевета твоя и причитания! Усыновление! Прекраснейшее установление, какое только и может быть в республиканской стране. Да, Франция чтит старость, охраняет детство, помогает

Souvenirs.

j'étais com. des guerres à l'armée des pyrénées. le ministre pache m'avait nommé, le gal. servan voyait en moi un désorganisateur et il ne me pardonnait pas d'avoir dénoncé depuis longtems dumouriez et la gironde dont il était l'agent et d'avoir demandé la mort du roi, sans appel au peuple. je fus exilé à tarbes et chargé de deux dpts., poids accablant pour un jeune homme nouveau dans ses fonctions et sans expérience, on avait espéré me faire succomber, on me suscitait chaque jour de nouveaux embarras. j'avais organisé deux compagnies, formant un total de 300 hommes. c'étaient de braves et robustes paysans, descendus des montagnes; mais ils manquaient d'armes et d'habits. leur dénuement ne leur permettait pas même de monter la garde dans la ville où je les avais réunis. le gal. connaissait leur triste position et négligeait de pourvoir à leurs besoins. tout-à-coup il m'envoye l'ordre de les faire partir pour l'armée. je devais obéir, l'ordre est transmis par les capitaines des 2 compagnies. les soldats se révoltent et menacent de retourner dans leurs foyers. on leur avait promis de les équiper, de les armer et on les envoye nuds à l'ennemi. leur indignation était fondée. je me transporte à la cazerne et veux les appaiser. je ne le puis qu'en leur donnant ma parole solennelle que le matin même de leur départ, c'est-à-dire le surlendemain, je leur procurerais des habits, des souliers et des armes. je n'avais aucuns magasins, aucuns fonds à ma disposition. mais j'étais président de la société pop. et j'avais la force de l'opinion, et les bourses comme les cœurs des patriotes. je convoque la société. c'est peu, dis-je aux membres, de parler de son patriotisme, il faut le prouver par des faits. quand la patrie réclame des sacrifices, il faut les offrir avec joie. je ~~réclame~~ demande en son nom, pour deux compagnies de volontaires qui vont partir pour l'armée, 300 chemises, habits et équipemens complets, autant de fusils, de gibernes et de sabres. vous, habitans des villes et gardes nx de l'intérieur vous n'avez besoin de vos uniformes et de vos armes que pour de vaines parades; ils appartiennent de droit à ceux qui vont vous défendre. j'avais le langage brûlant de la liberté. tout est fourni; le lendemain même, c'est à

СТРАНИЦА РУКОПИСИ ВОСПОМИНАНИЙ МАРКА-АНТУАНА ЖЮЛЬЕНА О ПРЕБЫВАНИИ В ПИРЕНЕЙСКОЙ АРМИИ В 1792—1793 гг.

Институт Маркса — Энгельса — Ленина, Москва

несчастным. Бледные светильники греков и римлян меркнут перед зарею французской свободы. Богатство будет только средством помогать бедноте. Сирота найдет отца; старец-инвалид—любящего и добродетельного сына в приютившем его человеке с достатком. Люди станут братьями одной семьи. Усыновление создаст связь не хуже родства природного.

СЦЕНА ШЕСТАЯ

Те же два действующих лица. Появляются мэр и группа молодых гражданок. Они пришли за комиссаром, окружают его и кричат: «Крёстный! Крёстный!»

Одна из гражданок. Вот на! Что у него за дела с господином де Носикуром? Ведь уж этот-то заведомый аристократ...

Клелия. Идемте, крёстный, вас ждут, чтобы начинать торжество. Мы вернемся сюда целым шествием.

Мэр, комиссар и девушки уходят. Носикур смотрит им вслед с несколько озадаченным видом и уходит последним. Куплеты молодых гражданок на тему о предстоящем празднестве, на которое они собираются. Уходя, они напевают:

День счастливый настает.
Выйдет праздник наш чудесным!
Пусть в веселье повсеместном
К нам вся родина примкнет!

Конец первого действия.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

В глубине сцены поднимается занавес, видны: Храм Разума—под открытым небом; несколько колонн, гора с Древом Свободы. По одну сторону стоит трибуна для ораторов, по другую—Алтарь Отечества; на колоннах—эмблемы Свободы с надписями: Безбрачие—социальное преступление. Братство создает из людей одну семью. Узы усыновления не слабее уз крови. Добродетель—основа свободы. Чтобы быть хорошим гражданином, надо быть хорошим сыном, хорошим супругом, хорошим отцом. Добродетели частной жизни рождают добродетели общественные и т. п.

Появляются граждане и гражданки с мэром и комиссаром во главе. Все молодые гражданки без головных уборов и с простыми прическами, одеты в белые платья с трехцветными поясами. Матери семейств, как и молодые гражданки, идут попарно и размещаются одни направо, другие налево от трибуны; появляться в храме им следует с двух противоположных сторон.

Оркестр: марш, длящийся несколько дольше самого шествия. Появляются изображения Марата, Лепеллетье[30], Шалье[31], Брута, увенчанные дубовыми листьями; их несут санкюлоты. Музыка несколько грустная, в соответствии с происходящим на сцене. Двое из участников шествия, гражданин и гражданка, сменяя друг друга, поют гимн Работо[32].*

---

* Этот гимн сочинен республиканцем Работо де Ла Рошелем ко дню открытия памятников-бюстов Марата и Лепеллетье; он дал его в мое распоряжение, и я с удовольствием вставляю его в текст, считая при этом своим долгом огласить имя автора.

На мотив: «Умрем за родину, друзья...»

Мы жертв свободы пред собой
Лик созерцаем величавый.
Их имена почтим хвалой,
Им, преклонясь пред их судьбой,
Дань воздадим с венками славы
И повторим мы все толпой:
За край принять смерть и мученья— } bis
Удел борцов, достойный восхищенья! }

*

Свою измену оплатил
Людовик под мечом закона.
Сенат за правду отомстил,
И слуги сверженного трона,
Напрасно жертв ища, в сенат
Свой хищный устремляют взгляд.
За край принять смерть и мученья—
Удел борцов, достойный восхищенья!

*

Своих раздавленных врагов
Париж является мишенью.
Но тщетен будет вражий ков.
Средь наших стонущих рядов
Я слышу голос утешенья.
Он повторять всегда готов:
За край принять смерть и мученья—
Удел борца, достойный восхищенья!

*

Средь козней вражьих и сетей
Марат идет упорно к цели;
Не устрашит его злодей;
Он на трибуне—друг людей;
Скрываясь от врагов, на деле
Народ хранит он от цепей.
За край готов принять мученья,
Стране—вся жизнь его и помышленья!

*

Вооруженная рука
Нормандской кликою кровавой,
Ему ты в сердце сталь клинка
Вонзила; рана глубока,—
Но тем ускорила ты славу,
И он переживет века.
За край принять смерть и мученья—
Удел борцов, достойный восхищенья!

*

За славный подвиг, о, Лион!
На стогне ждет ужасной казни
Шалье, но разве слышен стон?
Пред смертью не бледнеет он,
Ее встречает без боязни
И повторяет, упоен:
За край принять смерть и мученья—
Удел борцов, достойный восхищенья!

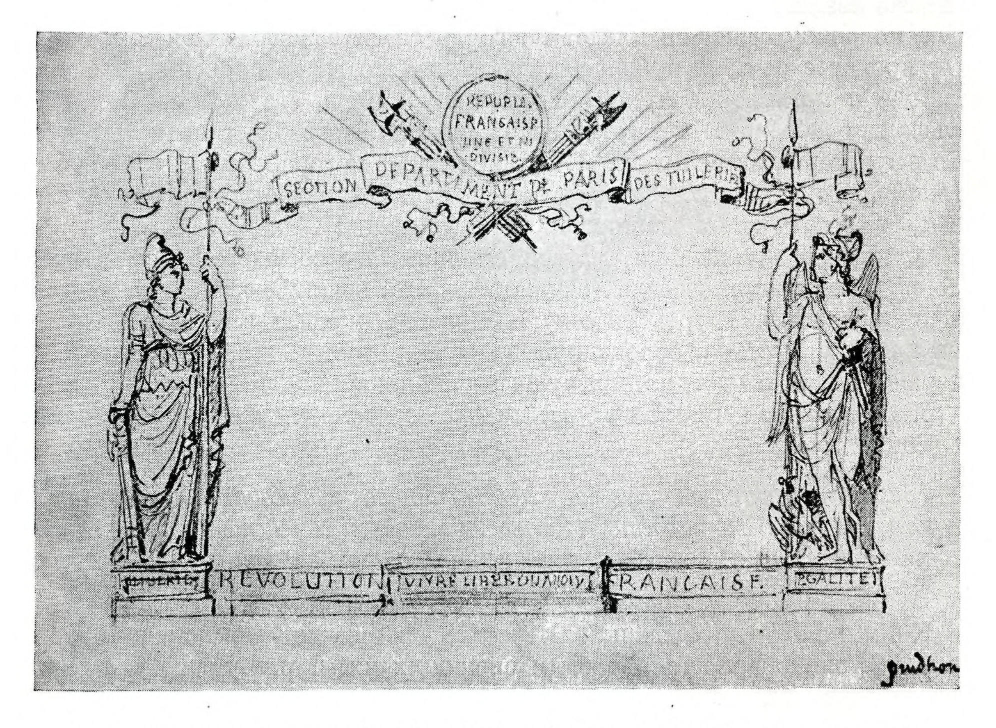
*

Пусть на дела свои взглянут
Враги толпою побежденной
И правды торжество поймут.
Ты завещал, о, гордый Брут,
Французам дух свой окрыленный;
Сей дух неукротим и крут.
За край принять смерть и мученья—
Удел борцов, достойный восхищенья!

Комиссар поднимается на трибуну. Царит глубокое молчание. Он берет слово:

Комиссар. Граждане! Прекрасен этот день—это собрание целой коммуны, на котором республиканцы и республиканки в священных и торжественных обетах закрепят тесную связь с отечеством. Тот пол, который создан для украшения общества всей прелестью добрых нравов, для воспитания душ и направления их по путям добродетели воздействием самых могущественных и самых сладостных влияний, долго, слишком долго был осужден на суетное, пустое, достойное презрения существование. Пусть женщина вознаградит себя сегодня за ту гражданскую смерть, на которую ее обрекал деспотизм. Гражданки! И у вас есть сердце, которое бьется для свободы, для родины, которое может питать ростки самых возвышенных добродетелей. Если вас не призывают к общественным должностям, если, по воле общества, ваша деятельность замкнута границами домашней жизни, это не значит, что вы менее дороги нашей общей матери или меньше других призваны работать на ее пользу. Ваш пост—у ваших очагов; здесь должны вы взращивать юных республиканцев, внушать им правильные понятия: зароненные устами матери в их молодые души, эти понятия созреют и дадут плоды и приготовят их к добродетельным делам, примеры которых подают им своей жизнью отцы. Будьте насадителями гражданственности и морали, считайте себя ответственными перед отечеством за свои идеи в той же мере, как и за свое поведение. Матери, пусть каждая из вас сделает свой дом начальной школой республиканского сознания. Пусть эта школа даст нам новых Эпаминондов[33], новых Гракхов. И у вас будет доля в триумфе ваших сыновей, в услугах, оказанных ими народу, и заодно с ними вы удостоитесь народной благодарности, любви и уважения. Поднимите сердца ваши до высоты и важности вашей деятельности и возложенных на вас обязанностей. Любящая мать, благородная республиканка, взгляни на своего сына—залог добродетельной любви, залог гражданского Гименея. С колыбели губы его лепечут

слово о т е ч е с т в о; у тебя научился он произносить это слово, от тебя должен научиться и любви к нему. Ты расскажешь ему, что недавно его родина была рабской страной, расскажешь, как была завоевана свобода, как граждане сражались, чтобы раз навсегда покончить с тиранией. Ты докажешь ему, что самое слово «король» должно вызывать отвращение, и внушишь ребенку ту любовь к Республике, которой должна пламенеть его душа. Ты будешь говорить ему о благостной и святой свободе, о спутнике ее—равенстве, о братстве, которое сплачивает людей в единую семью. Ты будешь волновать его душу, постоянно рассказывая ему о военных подвигах, приводя образчики доблести и преданности отечеству, число которых растет и растет в летописи нашего времени. Загорится



ПРОЕКТ ОБРАМЛЕНИЯ БИЛЕТА ТЮИЛЬРИЙСКОЙ СЕКЦИИ ДЕПАРТАМЕНТА ПАРИЖА
Рисунок П.-П. Прюдона
Эрмитаж, Ленинград

его юное сердце: энтузиазм к добродетели, к свободе и славе уведет его от низменных и порочных склонностей, губивших юношество при старом режиме. События памятных дней, создававших мощь революции, во всех их подробностях запечатлеются в его сознании. И вот он готов стать мстителем за народ, свергать тиранов, без страха смерти итти в битву, подниматься на трибуну для разоблачения предателя. Вскоре он достигает возраста, когда Республика обращает на него свой взор: он поступает в начальную школу, в ряды молодежи, составляющей Батальоны надежды отечества; он несет в среду товарищей принципы, которые впитал с молоком матери: человечность, послушание, добрые дела, мужество; его уважают и любят; любовь ближних дает ему счастье. Тебе, добродетельная мать, он всем этим обязан, и, благодарный, он уже вознаграждает тебя за все твои труды и заботы нежной привязанностью. Но тебя ждут

еще иные радости. Вот он настал, торжественный день, когда твой юный республиканец облачается в одежду мужа и гражданина. Он был хорошим сыном, сыном своего отца и твоим, и знает, как сделаться хорошим супругом и отцом. Может ли выйти из него плохой гражданин? Не может. Ибо отечество ему—первая семья, ибо с самых начальных наставлений своих ты задавалась одной целью—сделать его достойным сыном Французской республики. И вот на твоих глазах сограждане призывают его к одному почетному посту за другим, окружают его доверием и уважением... Он нанес поражение врагу, возвращается победителем, и гражданский венок венчает не его только голову: он спешит поделиться им с той, чьи заботы помогли ему заслужить такую награду... Его рука поспешно возлагает самые красивые в венке листья на колени матери, другую половину венка он кладет на грудь своей возлюбленной или жене. Он произнес речь на публичном собрании, его голос прояснил сознание народа и привел в смятение заговорщиков. Речь его покрывается возгласами одобрения. Его мать—свидетельница этого блестящего триумфа. Со всех сторон она слышит: «Счастлива мать, которой отечество обязано таким гражданином!». Какое умиление и какая радость увлажняют слезами ее глаза, какой восторг пьянит ее сердце!

О, конечно, гражданки, матери семейств, вы обещаетесь воспитывать детей в принципах свободы, внушать им, что всякий республиканец должен предпочесть смерть рабству, обещаетесь непрестанно указывать им на пример их отцов, боровшихся за родину против тиранов, обещаетесь взращивать в каждом из них душу республиканца.

Матери семейств *(все вместе, с поднятием рук)*. Обещаем!.. Обещаю!..

Краткая оркестровая музыка, под которую гражданки обнимаются, а народ проявляет радость. ⟨Куплеты матерей семейств на тему об обязательствах, ими на себя принятых, и о том, к каким последствиям это приведет.⟩

Комиссар. Гражданки! Отечеству даются лишь обещания. К клятвам постоянно прибегали рабы и опошлили их. С республиканки достаточно взять слово: она не погрешит ни забывчивостью, ни преступным его нарушением. Вы, гражданки, свои обязательства выполните. А вы, граждане, перед которыми только-что даны эти обязательства, продолжайте дело укрепления Республики. Ваши усилия даром не пропадут, дети ваши завершат ваши труды и будут достойно пользоваться их результатами: свободные и доблестные, они будут отдыхать под сенью этого древа, которое повсюду будет насаждено свободой, по мере распространения ее по всему миру. «Оно посажено нашими отцами!»—скажут они, и сердца их благословят вас, и вы будете жить в их любящей памяти.

Пусть преступления еще царят в должностных местах, а порок и интрига еще сильны и даже порой как бы торжествуют, пусть подлые пережитки режима, под пятой которого Франция изнывала тринадцать столетий, все еще оскверняют и грязнят страну свободы,—да обратятся ваши взоры к будущему поколению, и вы увидите, как порок вырван с корнем, как в почете лишь добродетель, как незыблема Республика! Если сейчас предательства и подлость вынуждают войны и льется чистейшая кровь защитников отечества, то пусть в момент гибели они скажут себе: «Не без пользы для сограждан наших мы умираем!»—и да облегчит эта мысль

БИЛЕТ ЯКОБИНСКОГО КЛУБА ГОРОДА БАРЖОЛЯ, ДЕПАРТАМЕНТА ВАР

Институт Маркса — Энгельса — Ленина, Москва

последний их вздох!.. Самая чрезмерность нынешних преступлений побудит человечество к полному отмщению. Море революции поглотит все, зальет потопом землю, разольется на необозримом пространстве; на поверхности вод останется только добродетель, и ковчег—ее убежище—уверенно причалит к острову свободы, а к нему никогда не найдут доступа приверженцы преступлений и тирании! Свободные люди, раскройте объятия прекрасному будущему—оно близится. Без следа исчезнете вы, интриганы, эгоисты, честолюбцы и низкие духом,—народ и добродетель останутся!

Но что это за шум? Что за толпа спешит на наше празднество?

Один из граждан. А! Молодежь из первого набора... Какой у них довольный вид! И не удивительно: они славно повоевали! Теперь отдохнут, и вполне заслужен будет отдых, который сограждане им предоставят.

В сопровождении военной музыки и с барабанным боем появляются призывники первого набора.

Призывник первого набора. Граждане и гражданки, к вам возвращаются молодые ваши сограждане, которых отечество призывало на свою защиту. Они выполнили свои обязанности, но по-республикански готовы по первому же зову вновь лететь туда, где грозит опасность и требуется отвага. В нескольких деревнях вспыхнуло восстание, подготовленное тайными агентами Питта[34] и его кликой. Сила наша и храбрость шли против подкупа и смуты. Мы захватили главарей преступного движения, и нам удалось на корню пресечь войну, которая могла стать опасной. Мы обязались не возвращаться в свои дома, пока не победим, и вот семьи наши, родители и друзья могут нас принять, не стыдясь за нас: мы их достойны! Приближался день празднества—день освящения декады; форсированным маршем двигались мы вперед, чтобы ускорить бой, и удвоили шаги, возвращаясь, чтобы сделать приятный сюрприз согражданам и принять участие в общем ликовании.

[Призывники первого набора и встречающие их молодые гражданки попеременно поют следующие куплеты:]

Один из юношей

Пред вами ваши братья, други,
Мы, победив, вернулись в наш очаг.
Тиранов подлых злые слуги
Погибли и раздавлен враг.

Другой

Свободы чистой светлый гений
Для патриотов это—бог сражений.
Любовью светлой зажжены
Сердца к судьбе родной страны.

Первый юноша

Она погибла, рать насилий,
Разбойники, клевреты королей;
Мы ради братьев победили,
И ради родины своей
Мы всех противников сломили...

Хор юношей

Храбры мы, не знаем бед.
В храбрости—залог побед.
Не победа ль освещает
Монтаньяров путь святой?
Гений славы вдохновляет
Их на подвиг боевой.

Одна из девушек

Кто защищает край родимый,
К победе тот идет надежней и верней.
В бою он видит лик любимый
Супруги милой и детей.

Другая

Встречая меч врага без страха,
На поле пав, живет в потомстве он,
И, смертный, созданный из праха,
Он для бессмертия рожден.

Первая девушка

О смерти говорить не надо;
Одних тиранов смерть пусть поразит.
Свободы страж пусть победит.
Он сдержит клятву; клятва—щит
И лавр—его побед награда.

Хор девушек

Победители пришли,
Враг разбит родной земли,
И победы увенчали
Дело доблестных солдат.
Славу нам завоевали,
В битве смерть обрел пират.

Первый юноша

Не может быть альтернативы,
Не нашу смерть—победу видит свет.
Да, мы по праву горделивы:
Свобода не погибнет, нет!
Народы будут жить счастливы.

Хор юношей

Храбры мы, не знаем бед.
В храбрости—залог побед... и т. д.

Первая девушка

В успех французского народа
Не веря, оскорбим мы божество.
Как можно думать, что свобода
Не охраняется его?
Сомненье—худшая невзгода.

Хор девушек

Победители пришли,
Враг разбит родной земли,
И победы увенчали... и т. д.

Мэр. Храбрецы товарищи! Как выразить нам то чувство радости, с каким коммуна приветствует ваше возвращение! Если бы вы вернулись не победителями, наши двери оказались бы для вас запертыми и мы сказали бы вам: ступайте и исполните, что обещали, а пока мы не признаем вас! Но вы вернулись победителями, и наши объятия для вас раскрыты. Мы знаем, какие подвиги храбрости вы совершили: глаза наши, хоть и издали, но следили за вашими деяниями. Узнайте и вы, как проявляли свой патриотизм ваши сограждане и согражданки за время вашего отсутствия. Вы увидите, что мы с вами достойны друг друга... Мы приняли на себя и скрепили всеми нашими подписями обязательство охранять порт, коммуну, береговую полосу, а также оберегать революционное настроение и революционные принципы в наших краях. Приток спешивших дать свои подписи республиканцев и республиканок был так велик, что на это дело потребовалась целая декада. Приняты, однако, лишь подписи тех, чья гражданственность была вполне проверена, и ни одного имени аристократа не вкралось в список патриотов. Только нам, истинным сынам Республики, принадлежат право и радость ее защищать. Мы оставили место и для вас, славные товарищи, и надеемся, что несколько страниц будет заполнено вашими именами. Жить свободными или умереть! Таков призыв, обращаемый нами ко всем, и он не останется без ответа.

Кстати, вы прибыли во-время, так что можете принять участие в празднике. Матери семейств только-что дали обет воспитывать детей в республиканских принципах. Теперь очередь за девушками. Это не может не интересовать вас. Внимание же!

Один из граждан. Тише!

Комиссар. Вы только-что выслушали, молодые гражданки, торжественный обет, данный матерями семейств. Вы тоже принадлежите Республике, с нежностью смотрит она на вас и твердо в вас верит. Вы обязаны связать себя с ней священным обетом. Дети, юноши, мужи— молодые и старые, словом, все члены нашей великой семьи, без различия пола и возраста, соревнуются в обетах любви к Республике и в верности ей. И одни вы останетесь бесчувственны и безмолвны? Неужели слух ваш, ваши души глухи к сладостному слову отечество? Нет, вы не хуже других сумеете послужить родине: ваш долг—не на поле битвы ее отстаивать, а, оставаясь в лоне семьи, быть носительницами добрых республиканских нравов. Возводите сердца молодых людей к высотам республиканских добродетелей, зажигайте в них огонь любви к родному краю! Отвертывайтесь с презрением от глупых и самовлюбленных франтов, только республиканцам отдавайте и уважение свое и любовь! Вам дано вознаграждать тех, кто заслужил благодарность соотечественников, сражаясь ли с оружием в руках против иноземных когорт коалиции или борясь внутри страны с притаившимися врагами нарождающейся свободы. Только тот вас достоин, кто идет на зов отечества, кого не удержали от выполнения долга ни нежные привязанности, ни самые дорогие интересы, ни самые святые чувства; тот только, кто идет на смерть, не страшась никаких опасностей, преодолевая все трудности, забывая о прелести мирной и тихой жизни в лоне любящей семьи, идет помеpяться силами с наймитами деспотов, чтобы их кровью отомстить обиды родины. Таковы те, что победителями вернулись сегодня в родные места, в ваши объятия, вернулись, полные готовности снова лететь на зов опасности. Но заслуживают также гражданских венков, сплетенных вами из мирт любви и лавров славы, и те, что просвещали пробудившийся народ, проповедуя ему свободу, без страха вступая в борьбу с самыми могущественными врагами народа, те, кто не поддавался ни влиянию групп, разрушавших единство, ни авторитету отдельных личностей и оставался твердым перед соблазнами страстей и материальных выгод. Неподкупна их добродетель, непоколебим их патриотизм. Юные гражданки! Обещайте соединять ваши руки только с руками республиканцев, выходить замуж за истинных граждан, пламенных и искренних друзей свободы и равенства, обещайте отвергнуть всякую связь с приверженцами аристократии!

Молодые гражданки. Обещаю... от всего сердца! Мы все обещаем!

Один из санкюлотов. Ну уж теперь, чорт их дери, всем нашим щеголям да аристократам не миновать превратиться в патриотов! Ведь иначе им безбрачие грозит!

Музыка: небольшие оркестровые номера. Куплеты молодых гражданок, принесших обеты.

Комиссар. Как прекрасна, как трогательна эта церемония: среди благоговейного молчания собравшихся, прерываемого лишь внезапными взрывами радостных патриотических чувств, были даны столь ценные

для Республики священные обеты. Обеты эти—верная гарантия ее жизнеспособности, основой которой служит укрепление добродетелей и улучшение нравов. Согражданки наши отныне становятся равными нам, ничем не уступая нам в любви к родине! Отцы! Идите в бой без страха: в ваших семьях подрастают на смену вам те, что за вас отомстят,—жены ваши воспитают Республике новых защитников. Вы, молодые граждане, без колебаний можете вырываться из объятий избранниц своего сердца, обещавших вам руку: никто не отнимет их у вас! Ступайте в погоню за лаврами славы; вы вернетесь, и для вас расцветут миртры любви.

Дитя из Батальона надежды отечества. Гражданин комиссар, я прошу тебя предоставить мне слово.

НОТЫ „ГИМНА К СВОБОДЕ", ИЗД. 1792 г.

На припев этого гимна: „Воля, воля ты, святая" написаны куплеты детей в пьесе „Обеты гражданок"

Частное собрание, Ленинград

Комиссар. Даю его тебе, друг.

Дети. Слушайте, слушайте!

Юный оратор. По поручению товарищей я прошу тебя принять обет и от нас. Если бы нам выдали оружие, мы пошли бы заодно с отцами на врага отечества, но то, что отсрочено—не потеряно, и мы еще покажем в свое время, что за народ республиканцы! Их мужество не зависит от возраста. А сегодня мы присоединяемся к произнесенным здесь обетам: мы обязуемся следовать наставлениям матерей и примеру отцов, обязуемся горячо любить отечество, благо которого всегда будет единственной целью нашей деятельности!

Куплеты детей

На мотив: «О, воля, воля ты, святая!..»

Все для отечества родного!
Ему все силы отдаем.

Оно потребует—без слова
На поле битвы мы пойдем.
Как прекрасно умирать
За возвышенное дело!
Мы свободу защитим,
Нету радости предела,
Честь в потомстве сохраним.

На другой мотив

Нас наши матери наставят
Всем добродетелям своим.
Уроки их наш ум направят,
Как Брут, мы твердость сохраним.
Тирана поразить
Всегда готовы наши руки.
Ревниво мы
Права народа отстоим.
Не остановят нас и муки,
Когда законы защитим.

На мотив: «О, воля, воля ты, святая!..»

Все для отечества родного!
Ему все силы отдаем и т. д.

Комиссар. Браво, юные товарищи! При таких защитниках свобода не погибнет!

Друзья, этот прекрасный день мы хотели закончить актами усыновления и гражданского брака. Для детей-сирот нашлись приемные родители. Они сейчас появятся среди вас. А затем вы будете присутствовать при публичном заключении брака: вступят в союз две избранные четы, неимущие, добродетельные, исполненные патриотизма, которых я наделил приданым от имени Республики. Но к вам возвратились молодые сограждане из набора первого призыва. Пусть же они сначала предъявят свои требования к согражданкам, которые связаны с ними словом. Что скажет на этот счет Туллия? Ее союз с Клервалем был бы лучшим завершением сегодняшнего торжества.

Клерваль *(своим товарищам)*. Странно! Он знает мое имя... Но почему, чорт возьми, собирается он женить меня на той, что зовется Туллией,—ее, правда, за меня сватали, но я ведь едва знаком с ней, и забыть ее совсем не было бы преступлением с моей стороны.

Клерваль

На мотив: «Как сосчитаешь ты алмазы».

Как честь, правдивость нам мила,
Республиканца слово свято.
Хотя обещана была

Рука мне Туллии когда-то,
Но край оставил я, друзья,
Все поглотила тень забвенья.
Ей возвращаю слово я,
Не совершая преступленья.

Туллия

На мотив: «Чижу завидуешь ли ты?»

Была я юной, безмятежной,
Он был со мною обручен,
Но только голос страсти нежной
Диктует сердцу свой закон.
Зовусь я Туллией. Должна я
Избрать героя женихом,
Или трибун родного края
Пусть в сердце властвует моем.

*

С тех пор, как мне предстал так мило
Слуга законов—комиссар,
Вопрос я сразу разрешила:
Во мне проснулся сердца жар.
Ведь тот, кто честь родного края
Всегда так пламенно любил,
Сумеет уделить, пылая,
Жене-подруге тот же пыл.

Мэр. Наше общее с тобой желание, милый друг, как видишь, осуществляется. Любовь к родине не вынуждает тебя жертвовать личной любовью, которую на этот раз отечество может только одобрить. Сообщаю вам, граждане, что Жюль, пламенно любя мою сестру Туллию, намеревался соединить ее с Клервалем: похищать у защитника родины и свободы обещанную тому руку—эту награду за совершенные подвиги—он считал недостойным делом. И вот он добровольно отказывался от той, что так дорога его сердцу,—от награды, им вполне заслуженной. Он хотел создать счастье человека, в котором умел видеть не соперника, а брата, чьи интересы ставил выше своих. Прекрасна готовность к такой жертве, и пусть увенчается она браком нежно любящей пары. Будь свидетелем их счастья, народ! Наслаждаясь празднеством, насладись и зрелищем этой прекрасной четы, добродетельной, неимущей, наделенной с твоего согласия приданым. Всенародно, перед Алтарем Отечества пусть соединятся они узами брака! Полюбуйтесь все и еще одним зрелищем—зрелищем того, как малолетние дети, оставшиеся сиротами, вводятся в новую семью благодетельным установлением и попечением общества. Отныне гражданскими браками и усыновлением будет завершаться каждое торжество празднования декады.

Куплеты граждан и гражданок на мотив: «Он жертвует отечеству»

Конец второго и последнего действия.

Следует большой балет-пантомима.
Вот подробное описание действующих в нем лиц и постановки.

БАЛЕТ

Сцена представляет попрежнему Храм Разума, а содержанием балета-пантомимы, заканчивающего пьесу, служат торжества усыновления и гражданской свадьбы, следующие за произнесением обета гражданками.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА И КОСТЮМЫ

Двенадцать месяцев года[35]:

Вандемьер

Лиф и панталоны телесного цвета. Платье—газовое, украшено, как и голова, виноградными лозами; в руке пышная ветвь винограда.

Свита: два сборщика и две сборщицы винограда в крестьянской одежде; в руках у них по корзине винограда, по серпику и надпись с названием месяца.

Брюмер

Костюм из газа серого цвета, изображающий парящий в воздухе туман.

Свита: четверо детей в одежде того же цвета; они изображают темные тучи и густой туман; в руках держат название месяца.

Фример

Головной убор и одежда из звериной шкуры, в руках—лук и стрелы.

Свита: четыре охотника с различного рода добычей и плакатами с названием месяца.

Нивоз

Весь в белом, чтобы изобразить снег. В руках жаровня в виде треножника, пылающая пламенем от горящего на ней винного спирта.

Свита: двое детей с коньками и со снежными шарами в руках.

Плювиоз

Наяда, держащая урну.

Два старика и две старухи с зонтами несут название месяца.

Вантоз

Обычный костюм Эола: газ цвета зари или огня, собранный в мелкие буфы, как бы надутые ветром.

Свита: четыре ветра в костюме Борея.

Жерминаль

Лиф и панталоны телесного цвета, покрыты зеленым и белым газом; венок, платье и пояс из бутонов цветов; в руке ветка цветущей вишни.

Свита: четверо детей несут деревца в цвету.

Флореаль

Костюм Флоры; венок и гирлянда из всевозможных цветов.

Свита: группы маленьких зефиров с гирляндами цветов и названием месяца в руках.

Прериаль

Все из зеленого газа; венок из зелени; пояс из фиалок и других полевых цветов.

Свита: четверо детей держат в руках лейки и название месяца.

Мессидор

Венок из колосьев; в руках сноп и серп.

Свита: два жнеца и их жены несут косы, снопы и название месяца.

Термидор

Почти нагой, на груди большое солнце, лицо покрыто потом, в руках горящие факелы.

Свита: четыре крестьянина, поддерживающие его и вытирающие пот со своих лиц: они истомлены жарой месяца, держат в руках его название.

Фруктидор

Обычный костюм Помоны [36], в руках рог изобилия.

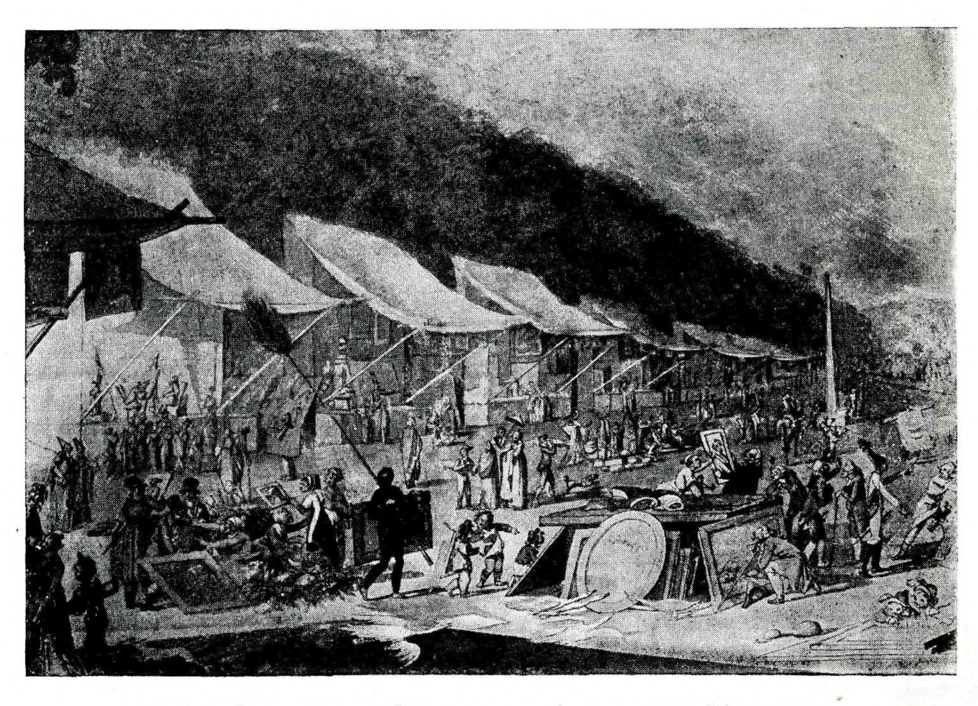
Свита: садовники с женами несут полные плодов корзины.

Пять санкюлотид

1. Добродетель. Белое простое платье с покрывалом того же цвета; на лбу—слово «добродетель». Ее сопровождают молодые девушки, одетые в белое.

2. Гений. Телесный цвет и белая газовая материя; на лбу венок, из которого спереди исходит легкое пламя горящего винного спирта.

Свита: все искусства с их атрибутами.



ПАРИЖСКИЙ АНТИКВАРНЫЙ РЫНОК ЭПОХИ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Акварель неизвестного художника французской школы XVIII в.

Музей изобразительных искусств, Москва

3. Труд. Его олицетворяет могучего сложения крестьянин с заступом и косой в руках.

Свита: кузнецы, слесаря, плотники, каменщики и рабочие разных других профессий с главными орудиями своего ремесла в руках.

4. Общественное мнение. Фигура в трехцветном костюме; в руке высокая шляпа с трехцветным султаном.

Свита: народ-санкюлоты.

5. Воздаяние. На одной руке ее нанизаны гражданские венки, в другой—маленький обелиск со следующими четырьмя надписями: великим людям, за отечество погибшим; добродетели; мужеству; республиканскому красноречию.

Свита: большая группа молодых девушек; они несут гражданские венки, бюсты погибших за отечество великих людей и небольшую картонную модель французского Пантеона[37].

Аллегорические фигуры[38]:

1. Свобода. Одета в костюм, обычный для этой фигуры на сцене. Опирается одной рукой на связку оружия, другой держит палицу. Фигуру несут четверо санкюлотов в красных колпаках.

2. Равенство. В руках нивеллир. Несут фигуру рабочий, богач, мавр и мулат.

3. Братство. Представлено двумя белыми женщинами и чернокожим мужчиной между ними; все трое покрыты одним плащом—подобно Павлу и Виргинии[39].

4. Бдительность. Одноглазая маска, с глазом посередине лба. На груди—треугольник с глазом в его центре. Платье все усеяно изображениями глаза. За фигурой следует группа санкюлотов, изображающая народное объединение.

5. Победа. В одежде Клоринды[40]. Панцырь и доспехи. За ней—группа воинов, изображающая победоносную армию.

6. Разум. У него в руке «Права человека»[41]. Стоит на триумфальной колеснице, которая топчет под собой предрассудки. Колесница снабжена соответствующими надписями. В нее впряжена пара белых коней.

Группа моряков, несущих маленькое судно с трехцветным флагом. Надпись: обойдет весь земной шар.

Группа старцев: перед ней несут знамя с изображением заходящего солнца и надписью: наши последние дни—лучшие дни нашей жизни.

Группа детей обоего пола; детей ведут за руки приемные их родители; над серединой группы—маленькое знамя с надписью: мы родились на заре свободы. Далее еще лозунги: узы усыновления стоят естественных уз; братство образует из человечества единую семью.

Появляется чета вступающих в брак. Ее сопровождает муниципальный служащий; Батальон надежды отечества замыкает шествие.

После того, как ряд действующих лиц проследует в только-что указанном мною порядке, двенадцать месяцев года исполняют раз-

ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА ПЬЕСЫ „ОБЕТЫ ГРАЖДАНОК“ МАРКА-АНТУАНА ЖЮЛЬЕНА С ЕГО СОБСТВЕННОРУЧНЫМИ ВСТАВКАМИ И ПОДПИСЬЮ

Институт Маркса — Энгельса — Ленина, Москва

личные танцы и постепенно соединяются в группы, по три месяца в каждой, знаменуя различные времена года; далее, обнаружив, что год выходит неполный, они призывают пять санкюлотид, которые и присоединяются к их игре. Персонажи, служащие свитой месяцам года и санкюлотидам, время от времени также участвуют в танцах; их группы то соединяются, то разъединяются с теми *временами года*, чьей свитой они служат. *Шесть месяцев года* располагаются со своей свитой по одну сторону сцены; остальные шесть—по другую. *Пять санкюлотид* располагаются посередине сцены; к ним присоединяется Свобода с Равенством по правую от нее сторону и Братством—по левую. *Месяцы года* образуют круг около трех богинь и один за другим чествуют их.

Маленькие дети из свиты Флореаля слагают из цветочных гирлянд, которые у них в руках, слова: *свобода, равенство и братство*. Три богини встречают благосклонной улыбкой теснящуюся около них толпу, а затем принимают участие в игре.

Месяцы и санкюлотиды тесно, как пучки, сплоченными группами окружают *Свободу*; все они по очереди проходят затем под эмблемой, которую держит *Равенство*. Наконец, сплетающиеся в большом числе около Братства круги танцоров как бы изображают те узы, которыми Братство связывает людей между собою.

Разум появляется рядом с *Победой*, *Бдительностью* и группами, их сопровождающими; остальные находящиеся на сцене актеры окружают колесницу Разума и склоняются перед ним и перед «Правами человека». Следуют простые танцы, близкие к природе и изображающие бичевание предрассудков: все стремятся участвовать в уничтожении последних. По данному Победой знаку, указывающему на двенадцать

воинов, Награда наделяет их венками; скромные воины отказываются от венков и кладут их на обелиск. Добродетель обнимает воинов.

Бдительность подзывает Общественное мнение и указывает на щеголя в красном колпаке, который замешался в группу моряков. Общественное мнение срывает со щеголя красный колпак, и разоблаченный франт постыдно исчезает.

Моряки один за другим проносят модели кораблей перед Свободой, Разумом и Победой и исполняют матросские танцы, не заслоняя надписей на флажках.

Дети чествуют группу стариков; от последней отделяется старик и приводит на сцену Труд с его свитой, как полезное для детей зрелище; ребятишки спешат приняться за дело, причем каждый избирает ремесло по своему вкусу. Двое несчастных, почти голых сирот находят себе убежище под плащом, которым облечено Братство. Два зажиточных гражданина, один—в сравнительно богатой одежде, другой—в одежде санкюлота, усыновляют сирот и ведут их к Алтарю Отечества, где все четверо обнимаются, исполняя священный обряд усыновления. Появляются жених и невеста в сопровождении комиссара; они соединяют свои руки над Алтарем Отечества: это совершается гражданский брак.

Месяцы года и другие действующие в балете лица исполняют танцы, окружая супругов; подносят им в подарок цветы и орудия труда, которые могут тем понадобиться. Подносимые им же изображения младенцев, мальчика и девочки, как бы говорят о плоде их союза, пророча радость, которую внесет в нарождающуюся семью этот верный залог взаимной любви.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Санкюлотиды—этим именем назывались пять дополнительных дней в году по республиканскому календарю. Республиканский год делился на 12 месяцев, начиная с 22 сентября, по 30 дней каждый, что составляло 360 дней. Год начинался 22 сентября и кончался 17 сентября. Недостающие до 22 сентября пять дней и составляли санкюлотиды. Последний день санкюлотид был посвящен национальным праздникам. В якобинской драматургии, кроме того, санкюлотидами назывались иногда небольшие пьесы, в которых действенное содержание заканчивалось политическим апофеозом. Ярким образцом такой пьесы и являются «Обеты гражданок» Жюльена де Пари.

[2] По постановлению Комитета общественного спасения Конвента от 15 апреля 1793 г., по департаментам были разосланы доверенные агенты, главной обязанностью которых было сообщать Комитету сведения об истинном состоянии общественного мнения на местах (в департаментах, войсках, администрации, трибуналах, народных обществах, деревнях и городах), а также собирать сведения о материальном благосостоянии и безопасности Республики.

Агентом Комитета общественного спасения Жюльен был назначен 10 сентября 1793 г. и тогда же послан в департаменты для поднятия общественного духа и проведения политики Горы. С 10 апреля по 18 мая 1794 г. Жюльен состоял таким агентом Комитета общественного спасения в Бордо, а с 18 мая Исполнительной комиссией отдела народного просвещения ему, как помощнику комиссара этой комиссии, поручается «принять все меры, получить все инструкции и мобилизовать всех агентов, необходимых ему для выполнения в Бордо возложенных на него обязанностей» (Extrait du régistre des arrêtés de la Commission exécutive de l'instruction publique du vingt-neuvième jour de floréal an 2e de la République Française, une et indivisible. Рукопись хранится в ИМЭЛ). Судя по записям Жюльена, относящимся еще к его деятельности на Западе, куда он был послан Комитетом общественного спасения для поднятия духа общественности, он неизменно выступал в качестве организатора народных национальных празднеств (Régistre de mes opérations et de ma correspondance». Хранится в ИМЭЛ). О Жюльене и его архиве, хранящемся в ИМЭЛ, см.: Александри В., Из истории французской революции XVIII в. Обзор коллекции Марка-Антуана Жюльена де Пари. «Борьба Классов», 1935, № 5.

[3] Санкюлоты—городская беднота, мелкобуржуазные и полупролетарские плебейские элементы, являвшиеся главной боевой силой во всех массовых революционных организациях и революционных выступлениях. Название санкюлот происходит от французского «sans»—без и «culottes»—короткие штаны до колен с чулками, которые носили представители высших классов. В отличие от них, санкюлоты носили длинные штаны до щиколотки.

[4] Призывники первого набора—рекруты от 18 до 25 лет, мобилизованные в армии Республики по декрету Национального конвента от 23 августа 1793 г.

[5] Батальон надежды отечества. В докладе Жюльена о Лориане (Rapport sur l'Orient, commune montagnarde. Рукопись хранится в ИМЭЛ) говорится, что дети от 8 до 12 и от 12 до 16 лет формировались в особые Батальоны надежды отечества; из последних формировались различные роты их собственными же офицерами. Об организациях этих рот доводилось до сведения муниципалитета. Роты получали инструкторов из членов Национальной гвардии, которые формировали из них личную гвардию (Garde personnelle) под наблюдением ветеранов. Таким образом, молодые сограждане помогали своим отцам в их повседневной службе в Национальной гвардии, а иногда даже принимали участие в военных действиях.

[6] Клелия—героиня римско-этрусской войны (507 г. до н. э.); римляне воздвигли ей конную статую.

[7] Декадные праздники—праздники, устраиваемые в последний день декады. Республиканский месяц делился на 3 декады. Все дни декады имели свои названия: примиди (первый день), дуоди, триди, квартиди, квинтиди, секстиди, септиди, октиди, нониди и последний день—декади. Этот день заменял воскресенье и был посвящен отдыху и праздникам.

[8] Алтарь Отечества—пирамидальное сооружение из досок, украшенное знаменами, листьями, республиканскими эмблемами и патриотическими надписями. Декретом от 6 июля 1792 г. Законодательное собрание постановило воздвигнуть алтари отечества в каждой коммуне. У этих алтарей должны были совершаться общественно-патриотические обряды, производиться запись рождений, смерти, браков и т. д. Алтарь отечества был местом собраний жителей для различных публичных торжеств; здесь собирались для чествования побед революционной армии, всевозможных праздников и т. д.

[9] Римская история знает двух Туллий: первая—дочь царя Сервия Туллия и жена (в рукописи Жюльена здесь явная описка) Тарквиния Гордого—получила печальную известность своим властолюбием и преступлениями. Убив своего первого мужа—брата Тарквиния, она помогала последнему в свержении с престола и убийстве своего отца Сервия (543 г. до н. э.). Вторая Туллия (78—46 г. до н. э.)—любимая дочь Цицерона, воспитанная им самим.

[10] Храм Разума. 10 сентября 1793 г. депутаты коммун объявили о принятии конституции 1793 г. Парижская коммуна, после нескольких антирелигиозных манифестаций, заменила христианство «культом Разума без священников». Было решено, что манифестации в честь нового культа будут происходить в Соборе парижской богоматери (Notre-Dame de Paris), превращенном в Храм Разума, и что республиканский праздник будет там чествоваться каждую декаду. 10 ноября 1793 г. Национальный конвент формально одобрил новую религию и в сопровождении народа отправился в Собор парижской богоматери для торжественного освящения нового культа. Торжественные открытия храмов производились во всех секциях Парижа и в департаментах, где чествование нового культа было наиболее оживленным. Культ Разума возник под влиянием антихристианских тенденций некоторых слоев революционной демократии. Несколько позже он встретил противодействие со стороны Робеспьера и уступил место культу Верховного существа.

[11] Народные общества. С 1789 г. граждане получили право организовываться в народные общества. Народных обществ насчитывалось во всей Франции до 44 000. С конца 1789 г. народные общества становятся опорой правительства на местах и руководителями общественного мнения. В общем, круг их деятельности не был точно фиксирован: их усилия направлялись на самые неотложные задачи текущего момента, начиная с чистки местной администрации и кончая работой в области продовольствия или организации «культа Разума».

[12] Гражданский венок. По примеру римлян, которые подносили венок или дубовую ветвь легионеру, спасшему жизнь товарищу по оружию, эта награда давалась во время Французской революции солдатам, гражданам и гражданкам за храбрость или гражданские добродетели.

[13] Вандея—департамент в провинции Пуату, на западе Франции, главный очаг контрреволюционного восстания во времена Конвента и Директории. Вандейская война

1793—1796 гг. была борьбой Национального конвента с непризнавшим гражданского устройства церкви духовенством, эмигрантами и жирондистами, использовавшими в своих контрреволюционных целях отсталые крестьянские массы Вандеи.

[14] Элоиза (1101—1164)—подруга Абеляра (1079—1142). Страстная и трагическая любовь, соединявшая Абеляра и Элоизу, сделала, как известно, их имена нарицательными, обозначавшими идеальных возлюбленных.

[15] «Подозрительные». В начале Французской революции (1789—1792 гг.) «подозрительными» назывались лица, отказывавшиеся назвать свое имя, указать свое жилище и свою профессию или скрывавшие оружие. По декрету Национального конвента от 17 сентября 1793 г., на местные «наблюдательные комитеты» возлагалась обязанность составления по своим округам списков «подозрительных», в целях борьбы с ними. Круг «подозрительных» расширялся. К ним стали относить людей, произносящих запугивающие речи на собраниях, в скрытой форме распространяющих сведения о неудачах Республики, подчеркивающих небольшие ошибки патриотов и умалчивающих о преступлениях роялистов и аристократов, тех, которые, «имея на языке всегда слова „свобода", „отечество", „республика", держали связь с „бывшими", с контрреволюционерами, священниками и пр.». «Подозрительными» считались также лица, которые, не принимая никакого участия в революции, отделывались от всех своих гражданских обязанностей уплатой налогов, пожертвованиями, службой в Национальной гвардии, не неся ее лично, а выставляя вместо себя кого-либо, не посещающие секций под разными предлогами; наконец, те, которые, «ничего не сделав против свободы, ничего не сделали и для нее».

[16] Анжер—столица Анжу. Главный город департамента Мен и Луар. В начале вандейской войны был центром действий республиканских армий против мятежников. Несколько раз был захвачен вандейцами, но в начале декабря 1793 г. вандейцы были отброшены геройски защищавшимся населением.

[17] Мо—город в департаменте Сен и Марн.

[18] Осада Гранвиля. Гранвиль—порт и город в Нижней Нормандии. 23 октября 1793 г. город был осажден вандейцами. Гарнизон и жители проявили необычайное мужество. Женщины и дети принимали активное участие в защите города. Осада продолжалась 28 часов, вандейцы были отброшены. Карпантье, докладывая об этом в Конвенте, заявил: «Осада Гранвиля равноценна для Республики выигранному сражению» («Le siège de Granville valait à la République le gain d'une bataille»). Национальное собрание заявило, что гарнизон и жители Гранвиля «оказались достойными своего отечества».

[19] Флореаль и мессидор. Флореаль—второй весенний месяц по республиканскому календарю, а мессидор—первый летний.

[20] Три цвета—синий, белый и красный—стали с 1789 г. национальными цветами Франции, знаменуя собой слияние трех сословий.

[21] Эмблемы свободы. Трехцветное красно-бело-синее знамя, сменившее династическое знамя Бурбонов—белое с золотыми лилиями, трехцветная кокарда, трехцветные шарфы, ленты вошли в употребление после взятия Бастилии (14 июля 1789 г.).

[22] Древо Свободы. В 1790 г. в Сен-Годане священником Норбером Прессаком было посажено первое Древо свободы, а к середине 1792 г. их возвышалось уже свыше 60 000 по всем коммунам. Древа свободы украшались цветами, трехцветными лентами, знаменами, патриотическими девизами и т. д. Они были пунктами остановок процессий в гражданские праздники. Их насаждения сопровождались всегда большой торжественностью и народными увеселениями. Солдаты республики сажали Древо свободы во всех местах, через которые проходили революционные армии.

[23] 14 июля (1789 г.)—день падения Бастилии.

[24] 10 августа (1792 г.)—день низложения короля Законодательным собранием и заключения его в тюрьму.

[25] 31 мая (1793 г.) Национальный конвент, под давлением Робеспьера и Марата, упразднил Комиссию двенадцати, состоявшую из жирондистов и образовавшуюся в ответ на выступления Коммуны, руководимой Гебером. Этим санкционировалась победа монтаньяров над жирондистами.

[26] Гора, или «монтаньяры»,—группа левых депутатов Законодательного собрания и Конвента, занимавших места на верхних скамьях с левой стороны.

[27] 21 сентября (1792 г.) Конвент голосовал за отмену королевской власти и провозглашение Республики.

[28] Кобленц—немецкий город при слиянии Рейна с Мозелем—вскоре после взятия Бастилии стал местом скопища эмигрантов-аристократов, а в 1790 г.—главным штабом армии принца Конде, командующего эмигрантской армией.

[29] Правосудия.

[30] Lepelletier de St.-Fargeau Луи-Мишель (1760—1793)—депутат Генеральных штатов и Конвента. Голосовал за казнь Людовика XVI. Накануне казни короля (21 января 1793 г.) пал от руки королевского гвардейца Париса, мстившего за осуждение короля. Тело Лепелетье было установлено на пьедестале статуи Людовика XIV, опрокинутой за год перед этим. Народ дефилировал перед телом весь день и всю ночь. Конвент устроил Лепелетье торжественные похороны, и прах его был помещен в Пантеоне.

[31] Chalier Марк-Жозеф (1747—1793)—глава лионских якобинцев. Известен под именем «лионского Марата». Был арестован в мае 1793 г. восставшим против Конвента муниципалитетом Лиона и гильотинирован. Поднявшись на эшафот, попросил палача приколоть к его груди трехцветную кокарду.

[32] Raboteau Пьер-Поль (1765—1826)—французский литератор. С 22 лет имел звание члена Академии изящной литературы своего родного города Ла Рошель. С 1797 г. он жил в Париже, занимаясь литературной деятельностью и сочиняя, главным образом, пьесы для театра.

[33] Эпаминонд—знаменитый фиванский полководец (418—362 до н. э.). Сражался за независимость Фив со спартанцами. Помимо военных способностей, отличался красноречием, высокой честностью и самоотверженной любовью к отечеству.

[34] Pitt Уильям (Питт-младший) (1759—1806)—английский политический деятель, с 1789 г.—первый министр, упорный враг Французской революции, организатор коалиции против революционной Франции.

[35] Названия месяцев. Революционный календарь был введен 5 октября 1793 г. после доклада Жильбера Ромма в Национальном конвенте 20 сентября того же года. Началом же новой эры для Франции считался день основания Республики, 22 сентября 1792 г. Год делился на 12 равных месяцев по 30 дней в каждом. Три осенних месяца были: вандемьер (сентябрь—октябрь)—месяц сбора винограда, брюмер (октябрь—ноябрь)—месяц туманов, фример (ноябрь—декабрь)—месяц заморозков. Три зимних назывались: нивоз (декабрь—январь)—месяц снега, плювиоз (январь—февраль) месяц дождя, вантоз (февраль—март)—месяц ветров. Весенние месяцы: жерминаль (март—апрель)—месяц образования почек и ростков, флореаль (апрель—май)—месяц цветов, прериаль (май—июнь)—месяц сенокоса. Летние месяцы были: мессидор (июнь—июль)—месяц колосьев, термидор (июль—август)—месяц солнечного зноя, фруктидор (август—сентябрь)—месяц плодов.

Имена святых, приуроченные к каждому дню недели, были заменены названиями плодов сельского хозяйства. Поэтические названия месяцев были даны писателем Фабром д'Эглантином. Революционный календарь просуществовал 13 лет. 1 января 1806 г. был снова заменен грегорианским календарем.

[36] Помона—римская богиня плодов.

[37] Национальное собрание, постановлением от 4 апреля 1791 г., превратило церковь св. Женевьевы в Париже в храм, получивший название французского Пантеона, в котором должны были покоиться останки великих людей страны. Здание было украшено надписью: «Великим людям благодарное отечество».

[38] Аллегорические фигуры. Еще в первые годы Французской революции установился обычай отображать политические идеи в аллегорических изображениях. Признанными символами были: нивеллир—знак равенства; кокарда национальных цветов; копье—оружие свободного человека; плуг—символ земледельческого труда; компас—символ умственного труда; пук прутьев—знак силы, которая достигается единением; дуб—эмблема процветания рода и символ семейных добродетелей. В качестве аллегорических фигур пользовались также изображениями треугольника, кошки, глаза, пчелиного роя. Свобода изображалась в виде молодой женщины, одетой в тунику, держащей сломанное ярмо и красный колпак на конце копья. Равенству и братству обычно вручали ватерпас и пук прутьев. Победу украшали венками, пальмовыми ветками. Гения изображали в виде крылатого юноши с пылающим пламенем на голове.

[39] Павел и Виргиния—герои известной сентиментальной повести французского писателя Бернардена де Сен-Пьера (1737—1814).

[40] Клоринда—одна из героинь поэмы Тасса «Освобожденный Иерусалим», сражавшаяся в мужском одеянии и доспехах.

[41] Права человека и гражданина—Декларация прав человека и гражданина (Déclaration des droits de l'homme et du citoyen)—политический манифест, выработанный Национальным собранием 4—27 августа 1789 г. и отменявший феодальные права и привилегии.

АРХИВНАЯ СПРАВКА

Опубликованная нами рукопись пьесы Марка-Антуана Жюльена де Пари «Обеты гражданок» хранится вместе с другими многочисленными документами Жюльена в архиве Института Маркса—Энгельса—Ленина в Москве. Рукопись представляет собой переплетенную тетрадь с завязками размером 19,5×15 см. Заполнены и пронумерованы лишь первые 58 страниц тетради, остальные 86—чистые. Сохранность рукописи прекрасная. Рукопись не датирована, однако, время написания ее—апрель 1794 г.—легко устанавливается по другим документам из архива Жюльена, в частности, по письму его к Робеспьеру (см. выше, предисловие, стр. 542).

Переписана пьеса неизвестной рукой. Есть основания предполагать, что это рука одного из секретарей Жюльена, так как в рукописи «Регистр моих дел и корреспонденции» (Régistre de mes opérations et de ma correspondance) Жюльена (см. выше, предисловие, стр. 541) часто встречаются записи, сделанные той же рукой. Заглавный лист пьесы написан самим Жюльеном. Последняя страница рукописи также снабжена собственноручной надписью автора. Этой надписью он удостоверяет, на манер официальных бумаг, правильность копии пьесы и скрепляет это удостоверение своей подписью: «С подлинным верно. Жюльен» («Pour copie. Jullien»). Воспроизведение заглавной и последней страниц см. выше, стр. 543, 571.

Рукопись пьесы испещрена многочисленными собственноручными поправками Жюльена. Поправки эти, с одной стороны, упраздняют ошибки и описки переписчика, с другой—дают варианты и уточнения текста (см., например, стр. 14 рукописи). Исправления, внесенные Жюльеном, свидетельствуют, вместе с тем, о том, что главное его внимание было обращено на четкость общей композиции пьесы и на музыкальное ее оформление. Так, например, Жюльен дополняет в первом акте одну сцену—четвертую (стр. 12 рукописи). После шестой сцены, перед вторым действием, вписывает: «Конец первого действия» (стр. 24 рукописи) и т. д. Для песенных куплетов Жюльен дает там, где эти указания отсутствуют, названия популярных мотивов, на какие они должны исполняться (стр. 4 рукописи): песенка Клелии (стр. 58 рукописи), куплеты детей и др. Больше всего подвергается авторским изменениям стихотворная часть пьесы. Так, куплеты юношей и молодых девушек после правки Жюльена получают новый вариант с прибавлением трех куплетов (см. стр. 35 и 55 рукописи). Первоначальная редакция куплетов детей (стр. 40 рукописи) зачеркивается и заменяется другой, более полной (стр. 58 рукописи). Несмотря на следы большой правки Жюльеном своей рукописи, ее все же нельзя считать совершенно законченной, и в ней остались некоторые неясности. На стр. 39 рукописи дается, например, ремарка: «Куплеты молодых гражданок, принесших обеты» (см. выше, стр. 564), а самый текст куплетов не дается. Отсутствует указание, когда должны исполняться куплеты юношей и молодых девушек, и пр.

Печатаемый нами русский перевод сделан с окончательного варианта Жюльена и не воспроизводит других вариантов текста. Исключение допущено лишь в одном-двух случаях, где восстановление зачеркнутого казалось нам необходимым. Фразы эти мы заключаем в ломаные скобки; в прямые скобки заключены восстановленные нами пропущенные и недописанные слова рукописи.

ЖОЗЕФ ДЕ МЕСТР В РОССИИ

Статья М. Степанова

Публикация и комментарии М. Степанова и F. Vermale (Гренобль).

Французская революция 1789 г. и порожденные ею глубокие социально-политические сдвиги и события вызвали напряженную работу мысли представителей старого господствующего класса. Прежним устоям всюду грозила опасность. Борьба с революцией, вначале казавшаяся очень простой и легкой, в действительности была трудна. Приходилось искать оружия сильного и меткого, действительно бьющего противника, и в то же время учиться владеть этим оружием.

Могущественным интересам общественных групп, двигавших революцию, сложным и далеко не однородным системам идей нельзя было противопоставить простую и голую защиту интересов землевладельческого дворянства. Нужно было работать над созданием целой идеологической системы, которая, вполне отвечая интересам этого общественного класса, в то же время учитывала бы всю сложность созданных революцией отношений. Эта система должна была быть последовательной и непримиримой в основе и одновременно гибкой и осторожной в методе и практическом применении.

Среди создателей такой идеологической системы первое место принадлежит знаменитому савойскому аристократу, французскому мыслителю и публицисту графу Жозефу де Местру.

Мировоззрение этого писателя отличалось глубокой непримиримостью по отношению ко всем идеям революции и буржуазного либерализма; оно было очень цельным и последовательным. В то же время Местр настолько своеобразно оценивал общественные явления, так умел подметить слабые стороны противника, что влияние его распространилось далеко за пределы реакционных общественных групп[1].

Самое движение революции Местр воспринимал очень широко. Пытаясь осмыслить всемирно-исторические события, современником которых он был, Местр умел понять силу революции, почувствовал всю ее грандиозность и—один из немногих ее противников—осознал невозможность легкой и быстрой борьбы с ней.

Революция в глазах Местра была не случайным и преходящим событием, а громадным историческим процессом, отнюдь не окончившимся после торжества контрреволюционных сил. В этом понимании силы и размаха революции и глубины порожденного ею социального расслоения и движения—может быть, главная отличительная черта идейных исканий Местра. В нем, может быть, и главный секрет того влияния, которое имели писания Местра на людей совсем иного общественного положения и миросозерцания, чем он сам.

Четырнадцать лет своей жизни Местр провел в России. Эта страна, менее западно-европейских подвергшаяся влиянию Французской революции, переживала, однако, процесс серьезного усложнения старых общественных отношений. Местр внимательно наблюдал и чутко схватывал происходившие в России социальные сдвиги и, ориентируясь во всей сложности происходившего на его глазах процесса, сигнализировал русскому дворянству об ожидавших его опасностях. Его меткие характеристики, оценка лиц, явлений и событий еще до сих пор не встретили должного внимания со стороны русских историков.[1] А, между тем, в них содержится большой материал для истории эпохи.

Публикуемые, вслед за статьей, новые материалы о жизни и деятельности Местра заимствованы из московских и ленинградских архивохранилищ. К ним присоединено несколько документов, присланных в копиях из Парижа. Материалы эти распределяются на следующие главы: I. Из дипломатической переписки Местра, II. Местр и русское правительство, III. Переписка с С. С. Уваровым, IV. Письмо к А. Г. Белосельской-Белозерской, V. Письма к П. К. и Р. К. Сухтеленам. Кроме того, в приложении публикуются письмо Местра к неизвестному и письмо к Местру графа д'Аварэ. В кратких предисловиях к каждой группе документов дается их характеристика.

Изучая эти новые материалы в связи со всеми старыми, мы пришли к выводу, что идеолог международной реакции, живя в России, не был бесстрастным наблюдателем или хотя бы и лицеприятным судьею лиц и событий. Он был активным участником политической борьбы, а к концу своего пребывания в Петербурге—даже вождем определенной политической группировки.

I

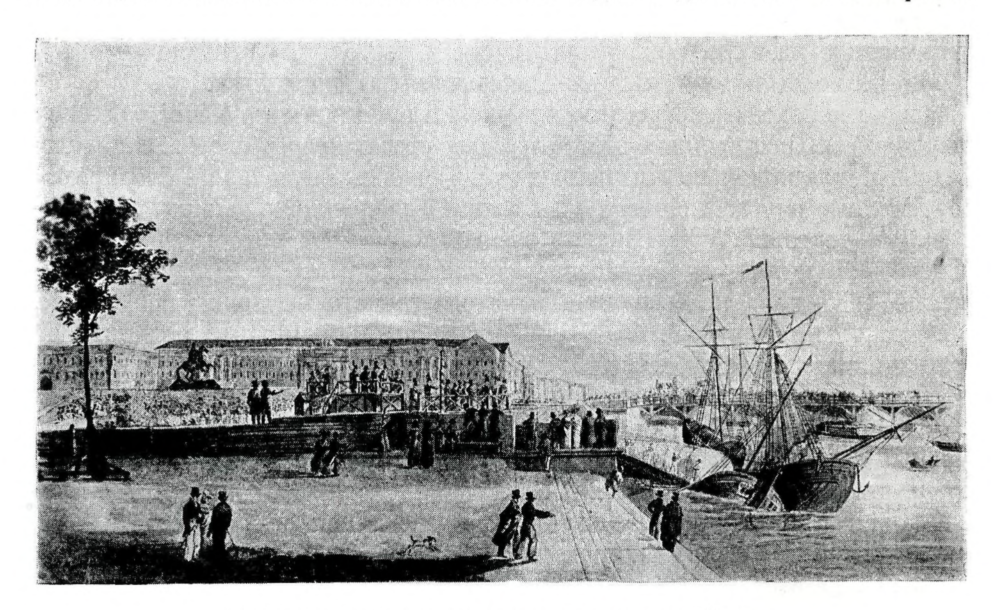
Дореволюционные годы своей жизни Жозеф де Местр (род. в 1753 г.) провел в Савойе, в г. Шамбери, где он служил в судебном ведомстве. С юных лет он интересовался, по преимуществу, философскими и религиозными вопросами. Католик по верованиям, он тогда еще был далек от ультрамонтанских принципов, активно участвовал в масонских организациях, главной целью которых считал объединение церквей. Наиболее близки ему были идеи Сен-Мартена и его «трансцендентное христианство»[2]. По политическим взглядам кануна революции и ее первых лет Местр—сторонник аристократической оппозиции, противник бюрократического деспотизма старого режима[3]. Эмигрировав в 1792 г. в Швейцарию, он там связался с группой возглавляемых Малле дю Паном сторонников введения во Франции конституции наподобие английской. Такая конституция, с точки зрения Малле дю Пана, была хороша своим компромиссным характером, сочетанием идеи свободы с традициями аристократии и сильной королевской власти. Избирательное право по этой конституции предоставлялось одним землевладельцам[4]. Со своей стороны, Местр, считая, что «проект перелить Женевское озеро в бутылки был бы значительно менее безумен, чем проект восстановления дореволюционного порядка», настаивал, однако, на полном восстановлении господства дворянства[5].

Но постепенно из взглядов Местра исчезает самая основа идеологии Малле дю Пана—идея компромисса. Он пришел к убеждению в необходимости противопоставить революции цельное и последовательное мировоззрение, и в своих «Considérations sur la France» он противопоста-

вляет ей уже не «трансцендентное христианство», а исторический католицизм. Теперь его политическая программа—безоговорочное восстановление дворянской монархии старого типа.

В начале 1803 г. Местр назначается сардинским посланником в Россию. Он едет туда уже немолодым человеком, потеряв все свое состояние, разлучившись с семьей, имея широкую литературную известность, немалый служебный опыт и сравнительно скромное прошлое в области политической деятельности. Применить свои силы полностью в этой сфере ему предстояло лишь здесь, на русской почве.

Местр стал дипломатом в возрасте около 50 лет, но его убеждения в области внешней политики сложились задолго до этого. Своеобразие



ВИД НА СЕНАТСКУЮ ПЛОЩАДЬ ОТ АДМИРАЛТЕЙСТВА

Акварель К. Кольмана, 1824 г.

В день приезда в Петербург, 13/1 мая 1803 г., Местр записал в своем дневнике: „Приехал в Петербург... Тотчас же отправился смотреть статую Петра Великого. На мой взгляд, она много лучше статуи Марка-Аврелия (в особенности—конь)“

Русский музей, Ленинград

этих убеждений, их, казалось бы, несоответствие тому, что обычно связывается с понятием «реакция», неоднократно заставляли исследователей пересматривать традиционное представление о Местре, как о реакционном идеологе, и искать в его воззрениях какой-то скрытый либерализм. Так, еще Альбер Блан, издавший в 1859 г. (в год франко-австрийской войны) выдержки из дипломатической переписки Местра за 1803—1810 гг. с тенденциозной целью обоснования идеи итальянского объединения под эгидой Франции и против Австрии, пытался сделать из автора «Du Pape» своеобразного защитника свободы, будто бы всегда напоминавшего о ней королям[6]. Приблизительно таков же был взгляд и Мандуля, который склонялся к мысли, что «Du Pape» было написано для защиты идеи объединения Италии и что воинствующий теоретик реакции на практике был «человеком восемнадцатого века», противником крайностей старого режима, стремившимся к преобразованию военной монархии Пьемонта в «королевство национального облика»[7].

Современный исследователь Фр. Вермаль подходит к вопросу более осторожно: отмечая пацифизм и антимилитаризм Местра, он указывает, что эти взгляды у него были общими «со всей савойской буржуазией и большинством его соотечественников из других классов», ненавидевших военный режим. Он даже прямо сближает эти взгляды с реакционной идеологией Местра, с его антидемократизмом и антиреспубликанизмом[8]. Эти объяснения нам кажутся правильными, но недостаточными.

О «либерализме» Местра, хотя бы лишь в области внешней политики, можно говорить, только совершенно игнорируя основные элементы реакционной феодальной идеологии эпохи. Только приняв во внимание эти элементы, можно понять пацифизм и антимилитаризм Местра.

Активная завоевательная политика европейских правительств, тесно связанная с развитием промышленности и торговли, вызывала протесты и недовольство в кругах землевладельческого дворянства.

Наиболее показательна в этом отношении публицистика Ленге́. В своих реакционных построениях этот в высшей степени своеобразный и парадоксальный публицист шел гораздо дальше защиты феодализма. Считая, что современные ему государства, «сделавшись добровольно данниками и подданными торговли, стали просто колоссами, голова которых из золота, а ноги—из глины», он противопоставил им идеал рабовладельческого общества, в котором не было нищеты, этого вечного источника революций, и восточный деспотизм[9]. И трудно найти во всей мировой реакционной публицистике более страстного и убежденного противника войны и милитаризма, чем этот защитник рабства. Называя армии «всепожирающей саранчой», «страшной опорой трона», разрушающей «самые священные семейные узы», он утверждает, что войны вызываются маклерами и торговцами, что «короли являются лишь жадными лавочниками, которые оспаривают друг у друга при помощи пушек право лучше снабжать свои лавки и драть три шкуры с покупателей»[10]. Войны вообще, а колониальная политика в особенности, стоят страшно дорого государствам, и Ленге́ предлагает продать колониям их независимость, а вырученные деньги обратить на погашение финансовых дефицитов и уплату долгов[11].

Взгляды Ленге́ на вопросы международных отношений вполне разделял и продолжал развивать дальше один из сотрудников его «Annales», Малле дю Пан. Годы Французской революции только укрепили его в этих взглядах.

Мы уже указывали, что политическое мировоззрение Местра складывалось в значительной мере под влиянием Малле дю Пана. Равным образом, взгляды его на задачи внешней политики, в основном, определялись этим же источником. Осуждая методы, применявшиеся антифранцузской коалицией, Местр заявлял, что желает ей успеха только в борьбе против якобинизма, что он видит «в разрушении Франции зародыш двухвекового побоища, санкционирование правил самого постыдного маккиавелизма, неминуемое озверение человечества и даже... нанесение смертельной раны религии»[12].

Местр с негодованием отмечает «ужасную систему расчета, при помощи которой нас возвращают к юридическим понятиям гуннов и герулов»[13], и, подобно Малле дю Пану, противопоставляет ей идею сотрудничества монархов и господствующих классов. Но, как представитель малой державы, особенно пострадавшей во время борьбы реакционных держав против революционной Франции, он никак не мог согласиться на сотрудничество одних крупных держав. Он даже думал, что «самое худшее, что

можно сделать для всеобщего мира, это допустить соприкосновение великих держав между собой; очень важно, чтобы они были разделены более мелкими державами, способными, однако, удерживать их в состоянии мира под угрозой своего присоединения к той или другой стороне и т. д.»[14]. Эти принципы и в дальнейшем руководили Местром. Вот почему он подверг суровой оценке деятельность Венского конгресса: «Законные государи открыто санкционировали идею разделов, раздроблений и отторжений государств по соображениям простого расчета. Это как раз основное правило Бонапарта и вечное семя войн и ненависти до тех пор, пока у людей будет сознание»[15].

В полном согласии с этими принципами Местр осуждал всякое усовершенствование в военном деле, «так как оно увеличивает страдания человечества, не увеличивая ни могущества, ни безопасности какой бы то ни было нации в отдельности», видел в военных поселениях Александра I — проявление стремления создать «государство военщины», грозящее «полным уничтожением гражданского порядка», и с сокрушением отмечал «ужасающее увеличение военного сословия во всей Европе»[16].

Эти пацифистские и антимилитаристические высказывания нисколько не противоречат, а, напротив, в полной мере совпадают с общим реакционным мировоззрением Местра. Если уже до революции среди французских феодалов возник протест против завоевательных стремлений, против растущего подчинения внешней политики интересам торговой и промышленной буржуазии, то тем более должен был обостриться этот протест под влиянием революционных событий, когда победоносная буржуазия стала вести активную политику завоеваний и те же настроения бродили в лагере враждебных держав. Реакционному пацифизму завоевательная политика уже потому казалась опасной, что она вела к революциям. Отсюда—мечты о торжестве морали в политике, о замене принципа эгоизма принципом солидарности.

Эти принципы были общими для всей группы идеологов крайней дворянской и ультрамонтанской реакции. И Бональд протестовал против «ложного и опасного мнения, которое позорит политику и унижает нравственность, представляя первую из всех наук—науку управления людьми, как независимую от законов нравственности». Дворянско-помещичий характер реакционного пацифизма в произведениях Бональда раскрыт совершенно откровенно. Бональд утверждал, что народы земледельческие не имеют поводов для столкновений; борьба, конкуренция и военные столкновения создаются развитием городов, промышленности и торговли[17].

Ламенэ также протестовал против господствующего в буржуазном обществе личного интереса, при котором «общество превращается в широкую арену борьбы интересов», и утверждал: «Люди не знают иного величия, иного благополучия, кроме славы, сопровождающей победы, и богатств, являющихся их плодом. Военное безумие и жажда золота волнуют, изнуряют народы... Финансы, выродившиеся в подлый ажиотаж, торговля, мануфактуры, армии составляют всю политику государства, потому что в деньгах—все счастье государства, а в пушках—вся его сила»[18].

Но Местр, в отличие от своих идейных учителей—Ленгé и Малле дю Пана, наивысшую опасность для дела мира и законности в Европе усматривал не в русской, а в австрийской политике. Еще в 1794 г. он писал: «Эта австрийская династия—великий враг человеческого рода и, в особенности, своих союзников. Признаюсь вам, что всем сердцем ненавижу ее»[19].

Чтобы объяснить этот взгляд Местра и понять его дипломатическую деятельность в Петербурге, надо остановиться на положении и политике Сардинского королевства, интересы которого он защищал при русском дворе.

Еще до Французской революции Сардинское королевство, владевшее Пьемонтом, Савойей и Ниццей, выделялось среди мелких государств Италии, как государство экономически более передовое и имевшее самостоятельную внешнюю политику. В союзе с Францией, поддерживавшей Сардинию в противовес Австрии, савойская династия настойчиво стремилась к территориальному расширению. Но и союз с Австрией бывал иногда нужен Сардинии, как государству, еще недостаточно сильному, чтобы отстоять свои владения от ее посягательств.

Тесно связанная с французскими Бурбонами, савойская династия с начала революции дала убежище эмигрантам и приняла участие в контрреволюционных коалициях. Чтобы обезопасить себя с этой стороны, революционная Франция должна была последовательно оккупировать Савойю, Ниццу и Пьемонт. С 1798 г. владения савойской династии ограничивались одной Сардинией. Поэтому новая коалиция встретила с ее стороны полное сочувствие. Но в лагере коалиции не было единства мнений по итальянскому вопросу. Австрия хотела по изгнании французов из Италии захватить себе Пьемонт и закрепить свое влияние в Северной Италии. Россия, целью которой был захват острова Мальты и господство в Средиземном море, не была заинтересована в утверждении в Италии какой-либо сильной державы. Поэтому восстановление при помощи русского оружия савойской династии в ее старых владениях было в интересах России. Этому всячески противодействовали Австрия и поддерживавшая ее Англия, опасавшиеся продвижения России к Средиземному морю.

При этих условиях савойской династии, расплачивавшейся за свою поддержку контрреволюционной эмиграции и антифранцузских коалиций, не оставалось ничего, кроме упований на Россию. «Нужно взнуздать Австрию при помощи России»,—писал сардинскому королю 4 марта 1800 г. его посол в Петербурге, граф Бальбо. «Союз с Россией—вот в чем спасение короля»,—писал он в министерство 15 апреля[20].

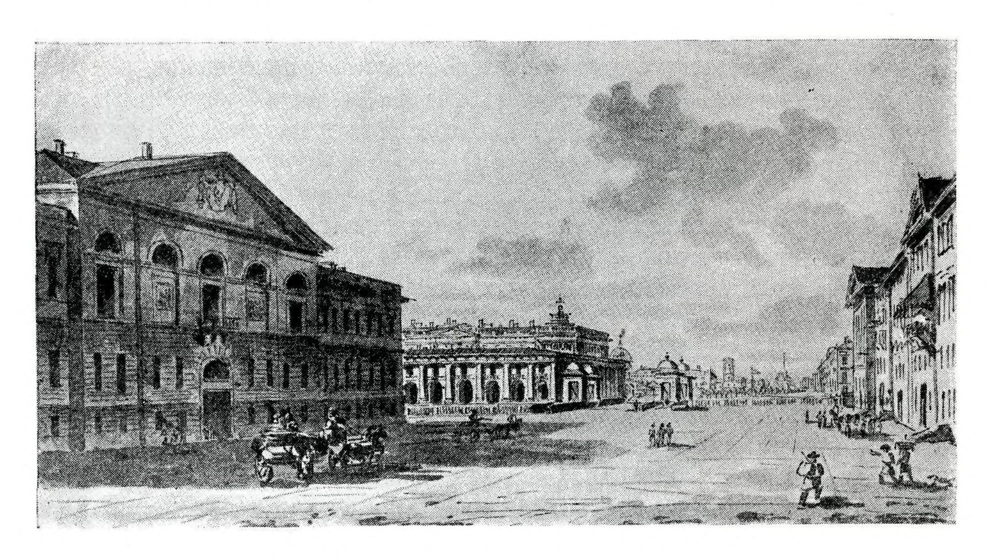
Битва при Маренго и изгнание австрийцев из Генуи, Пьемонта и Ломбардии изменили положение в пользу Франции. Император Павел, склоняясь к союзу с Францией, перестал думать о Сардинии.

Смерть Павла сначала сулила некоторые надежды. Новый император требовал возвращения Пьемонта сардинскому королю, но не настаивал на возвращении Савойи и Ниццы[21]. Однако, в заседании Негласного комитета 10 июля 1801 г. было решено избегать всяких осложнений и, поддерживая дружбу с Англией, не связывать себя договорами с ней и, стремясь положить предел честолюбию Франции, не обострять с ней отношений[22].

Неудивительно поэтому, что в подписанном 8 октября 1801 г. франко-русском договоре от Сардинии попросту отмахнулись. Статья VI этого договора обещала, что русский император и первый консул Французской республики будут «полюбовно и по своей охоте иметь попечение об интересах е. в. короля Сардинии и проявят к нему внимание, совместимое с существующим положением вещей»[23].

Однако, Россия вовсе не собиралась снимать совсем с очереди вопрос о сардинском короле, и вскоре с русской стороны возбуждена была пере-

писка о вознаграждении короля за утрату Пьемонта[24], о возвращении которого уже не было речи, так как Наполеон прямо заявил, что не отдаст Пьемонта, «покуда у австрийцев останется хоть пядь итальянской земли», и что он советует сардинскому королю удовлетвориться тем, что́ он еще сохранил из своих владений[25]. И в заключенном 27 июля 1802 г. между Англией и Францией Амьенском договоре о Сардинии не было упомянуто вовсе. Еще до этого последовало отречение сардинского короля Карла-Эммануила IV. Новый король Виктор Эммануил I начал свое царствование унизительным письмом к Наполеону, которого назвал своим «великим и добрым другом»[26]. Наполеон ему ничего не ответил, но, под влиянием постоянных настояний со стороны России, предложил вознаградить сардинского короля за утрату Пьемонта тосканскими землями Сиеной и



НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ, АНИЧКОВ ДВОРЕЦ И МОСТ

Рисунок тушью Максима Воробьева

„Я переехал на Фонтанку, рядом с дворцовыми магазинами [помещались в Аничковом дворце]", — записал Местр в своем дневнике 6 июня (25 мая) 1809 г.

Русский музей, Ленинград

Орбителло с округами, требуя, однако, от него формального отказа от Пьемонта. С русской стороны за предложение Наполеона ухватились с радостью, но заявили, что вопрос об отказе от Пьемонта должен решить сам сардинский король[27].

Таково было положение вещей, когда Местр был назначен сардинским посланником в Петербург.

Все сказанное достаточно объясняет ненависть, которую он питал к Австрии, объясняет и то, почему он боялся расчленения Франции, в которой видел возможного союзника и опору савойской династии в будущем.

В 1799 г. во время итальянского похода Суворова он ездил в Падую специально для того, чтобы «видеть русских и казаков, которых император Павел I послал в Италию против французов». И нельзя сказать, чтобы эти наблюдения не внушили ему страха и какого-то жуткого чувства. Он не без ужаса говорит о «скифах и татарах, пришедших с Северного полюса, чтобы с французами перерезать друг другу горло»[28].

Тем не менее, Местр ехал в Россию убежденным в том, что при наличных условиях для сардинского королевства нужна возможно более тесная связь с Россией.

В Петербург он прибыл 1 мая ст. ст. 1803 г.

В ноте, врученной государственному канцлеру Воронцову 15 мая, Местр заявил об отказе короля дать требуемое Наполеоном отречение от Пьемонта.

В итоге первых впечатлений от русского двора Местр сделал вывод, что от России при данных условиях нельзя ждать энергичного заступничества за савойскую династию. Правда, взяв более угрожающий тон, Россия, по его мнению, могла бы достичь хоть некоторого подобия равновесия, но можно ли ожидать этого от «головы, сформованной (façonnée) г. Лагарпом?». «У русского императора есть только две идеи: мир и бережливость»,—писал он 17/29 июля[29].

Все это настраивало его довольно пессимистически: он возмущался тем, что «государи, вследствие какого-то непостижимого ослепления, так мало уважают соединяющее их священное братство и могут смотреть на страдания одного, не страдая сами». С негодованием передавал Местр слух о фразе Чарторыйского: «Что нам за дело до короля сардинского», и отвечал на это: «Вам до него большое дело, так как речь идет о праве государей и о чести вашего государя, в частности. Император не умирает: Павел обещал, Александр должен сдержать обещанное»[30].

Новая европейская обстановка, сложившаяся весной 1803 г. вследствие разрыва между Англией и Францией, побудила Местра начать работу в пользу новой коалиции. Он убеждал английского посла в Петербурге склонить английское правительство на путь подражания Вильгельму Оранскому, который в свое время «соединил все интересы и сумел слить их воедино» против завоевательной политики Людовика XIV[31].

Но главной надеждой Местра все-таки является Россия. Рассчитывая на ее помощь и посредничество, Местр в принципе не отвергает и соглашения с Наполеоном. Если пока нельзя еще его победить, можно попытаться с ним договориться. Он узурпатор? Что ж такое! Людовик XIV ведь договаривался с Кромвелем. Поэтому Местр советовал своему королю согласиться на отказ от Пьемонта, если Наполеон даст ему в обмен за это не Сиену, не Орбителло, а Геную. Это был бы безусловный выигрыш, так как реставрация во Франции рано или поздно неизбежна, и тогда король «вернулся бы в Пьемонт, сохранив Геную»[32].

Король, однако, соглашался получить только территорию с населением не меньше 4 миллионов. «Если,—писал он,—можно получить Лигурию с Генуей, с частью Пьемонта, Пармой и т. д., это было бы самое желательное»[33].

Такая требовательность со стороны лишенного значительной части своих владений и укрывавшегося в Риме сардинского короля была более чем несвоевременна. И Воронцов кратко ответил: «Сиена или ничего»[34].

Что касается Наполеона, то он, готовясь к борьбе с Англией, менее всего думал о каком-либо вознаграждении сардинского короля, а тем более Генуей.

В записке, представленной сардинскому правительству в январе 1804 г., Местр предостерегает от иллюзий первых лет революции и утверждает, что изменить внутренний строй Франции путем военной победы невозможно и не в этом задача коалиции. Нужно изгнать французов из занимаемых ими чужих земель, угрожать их границам, ударить по их торговле,

лишить их флота и островов; наконец, обратиться к ним с манифестом, который изобразит им «войну, и войну бесконечную, со всеми ее ужасами, неизбежным результатом мании одного человека, для которого пятнадцать лет тому назад офицерские эполеты были сокровищем и которому теперь недостаточно Франции». Предлагая далее России и Англии взять на себя руководство борьбой, Местр обращается к итальянским делам. Здесь он указывает на ту реальную опасность, что, если могущество французов в Италии будет сокрушено, ею может завладеть Австрия. Желательно поэтому восстановить в Италии полностью дореволюционный status quo, но, если обстоятельства этому помешают, «было бы, по крайней мере, неполитично разрешить австрийской династии увеличивать свои теперешние владения в Италии, не увеличивая соответственно владений сардинского короля»[35].

1804 г. существенно изменил положение в Европе. Расстрел герцога Энгиенского, протест России по этому поводу и провозглашение Наполеона императором—важнейшие события этого года.

Сам Местр в этом году стал агентом Бурбонов, но провозглашение Наполеона императором его обрадовало. Он увидел в этом событии серьезный шаг в сторону реакции. «Я предпочитаю,—писал он,—видеть Бонапарта королем, чем простым завоевателем... Предоставьте Наполеону действовать. Предоставьте ему бить французов своим железным хлыстом; предоставьте ему заключать в тюрьмы, расстреливать, ссылать всех, кто ему подозрителен; предоставьте ему создавать императорское величество и высочества, маршалов, наследственных сенаторов и в скором времени, не сомневайтесь,—кавалеров орденов... Коронование Бонапарта увеличивает шансы короля»[36].

Однако, Наполеон внушал своим врагам непреодолимый страх. В июне, по его требованию, сардинский король покинул Рим, где он жил из опасения оккупации Сардинии, и направился во владения неаполитанского короля. В письме к кардиналу Фешу Наполеон заявлял: «Я очень желаю, чтобы сардинский король не возвращался более в Рим; это вопрос решенный. Я не допущу более, чтобы он владел чем-нибудь в Италии. Мне неприятно видеть в Риме этого государя—русского агента, который только стесняет и, в конце концов, скомпрометирует папу»[37].

Россия в это время назначила субсидию сардинскому королю и продолжала поддерживать в нем надежды на ее помощь. Инструкция Новосильцову, командированному для переговоров за границу, требовала возвращения королю сардинскому всех его владений и увеличения его доли при общем переустройстве Европы. Любопытно, однако, что та же инструкция, противопоставлявшая политике Наполеона либеральные принципы, требовала от сардинского короля дарования конституции[38].

В составленном Чарторыйским проекте устройства Европы после победы над Наполеоном говорилось уже определенно о возвращении королю Пьемонта и передаче ему Генуи и части Ломбардии. О Савойе и Ницце здесь не упоминалось. Напротив, указывалось, что Альпы останутся границей Франции[39].

Поражение коалиции 1805 г. снова изменило положение. Местр, с огорчением узнавший об Аустерлице, не мог, однако, не позлорадствовать по поводу поражения Австрии. «Я испытываю некоторое удовольствие,—писал он графу Фронту,—при виде падения австрийской династии. Вы скажете, что это—удовольствие демона. Я согласен, но это так»[40].

Предвидя возможность заключения мира, Местр снова напоминает России об интересах своего короля. Захват Наполеоном Неаполитанского королевства заставил сардинского короля переехать, наконец, в свою столицу, Кальяри. Отсюда Местр получил отчаянное письмо от королевы, которой не давали покоя соседство Корсики и грозившая опасность со стороны Наполеона. Местр представляет это письмо русскому правительству, указывая при этом на своеобразие своего положения среди дипломатов. «Я берусь за перо, я говорю только для того, чтобы просить. Ничто не нарушает приятным для меня образом удручающего однообразия моих обязанностей, ничто не вносит перемены в мои горести»[41].

Новая коалиция (Англия, Россия и Пруссия) возрождала надежды. Но Местр остается при старом убеждении, что задача коалиции не в военном разгроме Наполеона, а в нанесении ему таких поражений, которые изменили бы отношение к нему французского народа.

Подобные же взгляды развивает Местр в письмах и депешах к своему правительству. «Ведя войну против Франции и действуя одновременно внутри ее, можно привести страну к тому, что она свергнет узурпатора собственными руками». Он настаивает на необходимости общеевропейского признания королем Франции Людовика XVIII[42].

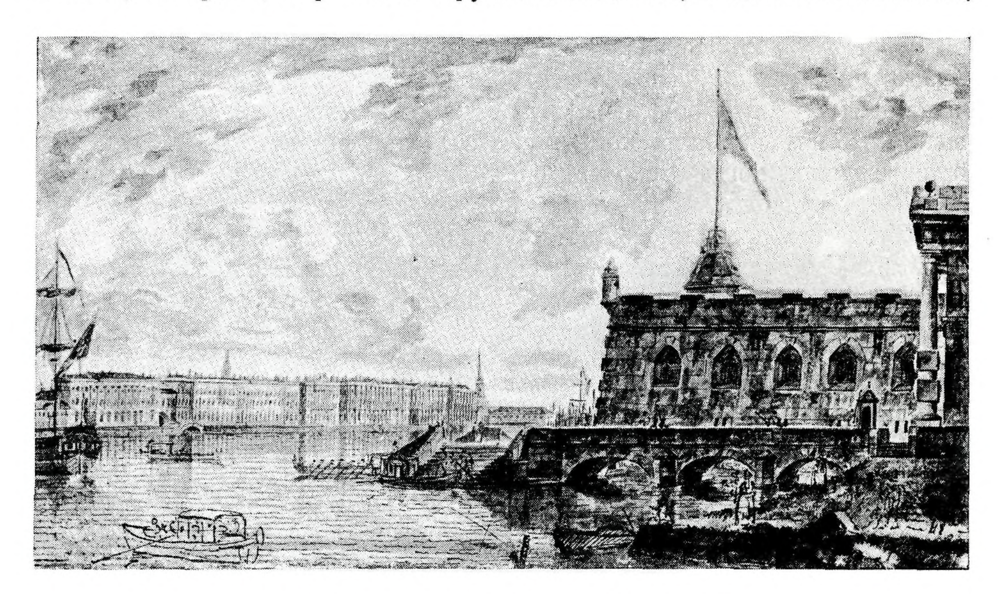
Но поражение снова подстерегало коалицию. Вслед за Иеной и Фридландом последовало тильзитское свидание. 18/30 июня 1807 г. Местр, до которого уже дошли слухи о предстоящих мирных переговорах, обращается к русскому правительству с новым напоминанием об интересах своего короля.

Наконец, приходит известие о заключении между Россией и Францией не только мира, но и союза. Это событие, вызвавшее негодование среди русской англофильски настроенной и связанной с Англией своими экономическими интересами аристократии, Местр сумел оценить с полным хладнокровием и спокойствием. Более того: он понял тактику русского императора. Он подробно развил свой взгляд на новое положение в письме к приближенному Людовика XVIII, графу д'Аварэ. Напомнив здесь свою старую точку зрения, что Европа будет терпеть Наполеона, пока его будут терпеть французы, и повторив, что он уверен в неизбежности его падения, Местр следующим образом излагает свой взгляд на происшедшее: «Император, подписывая мир, только подчинился благоразумию, необходимости, любви к своим народам. Если есть люди, которые его порицают, то они не знают, что̀ говорят: простым глазом нельзя даже различить в будущем время, когда, может быть, будет полезно нарушить этот мир...». Дело в том, что теперь наступает совсем новый период: под видом мира будет продолжаться война. Нужно только терпение. «Обстоятельства требуют перемены тона в музыке». Нужна, следовательно, новая политика, новые приемы борьбы[43].

9/21 августа 1807 г. министр иностранных дел Будберг объявил Местру, что в Тильзитском договоре совершенно не затронут вопрос о сардинском короле и его владениях[44]. Местр дважды выразил свой протест русскому правительству по поводу этого обстоятельства[45]. Но, действуя так, он, конечно, понимал, что это лишь выполнение дипломатического долга. Если созданная Тильзитом международная обстановка будет существовать длительный период, если нельзя пока даже предвидеть конца этого периода, то бессмысленно ожидать от России, чтобы она при этих условиях заводила речь о сардинском короле, хотя бы и в той скромной, ничего

не значащей форме, как это было в договоре 1801 г. Совершенно несомненно было, что, если под видом мира и союза между Наполеоном и Александром будет вестись дипломатическая борьба, то в интересах России—не обострять преждевременно этой борьбы такими сравнительно мелкими вопросами. Борьбу нужно было сконцентрировать на вопросах более крупного международного значения и более непосредственно связанных с интересами России, как-то: польский вопрос, Турция и т. д. Поэтому и Местру приходилось думать о новых приемах борьбы в изменившейся обстановке.

В тильзитский период дипломатическая деятельность Местра не только вступила в новую фазу,—она теперь была неразрывно связана с тем положением, которое Местр занял в русском обществе, с теми отношениями,



ВИД НА НЕВУ ОТ ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ КРЕПОСТИ
Акварель Ф. Алексеева, 1790-е гг.
Русский музей, Ленинград

которые у него сложились в России, а следовательно, и с русскими политическими течениями и группировками.

II

Задолго до своего прибытия в Петербург Местр имел совершенно сложившийся идеал «европейской монархии», которую он противопоставлял азиатской монархии, или деспотии. Это противопоставление,—ведущее свое начало еще от Монтескьё, различавшего монархию, как государственный строй, созданный на твердом основании законов, и деспотию, как порядок, в котором все управление покоится на основе личного произвола,—было тем элементом в мировоззрении Местра, который он унаследовал от Малле дю Пана.

Наблюдая политическую жизнь России, Местр пришел к выводу, что существующий в стране порядок очень далек от его идеала.

В Петербурге, когда туда приехал Местр, еще очень свежо было впечатление от переворота 11 марта 1801 г. Местр не только узнал все под-

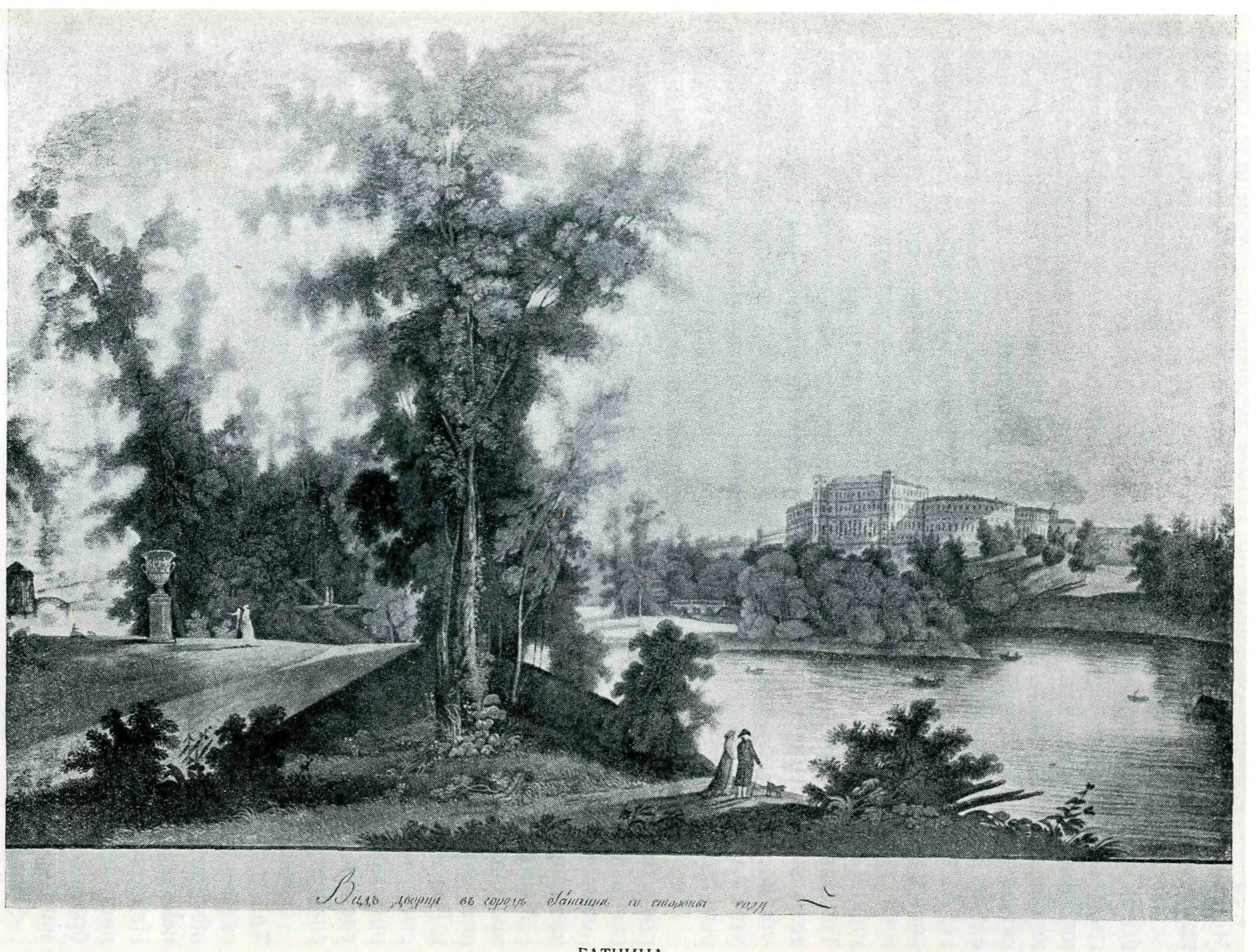
робности событий, но и лично посетил место убийства Павла[46]. И во все время своего пребывания в России Местр неоднократно возвращался мыслью к «одиннадцатому марта», так как, наблюдая отношения между императором и дворянством, он приходил к заключению о возможности повторения подобных событий («азиатского средства»—«remède asiatique»). В очень интересном письме к графу Фронту от 20 октября (1 ноября) 1807 г. Местр изложил свое понимание разницы между монархией европейской и азиатской. «В наших европейских монархиях, где существуют сословия, магистратуры, привилегии, одним словом—основные законы, различающиеся в зависимости от различия духа наций, король через своих представителей и через выраженную в письменном виде свою волю действует везде, даже без его ведома все делается его именем, и, таким образом, если даже предположить случай, когда, по природе, государь не обладает всеми качествами, необходимыми для столь высокого положения, машина все же может двигаться сама, и протяжения человеческой жизни, во всяком случае, недостаточно для ее полного разрушения. Но в монархиях азиатских, где государь действует непосредственно, в тех случаях, когда верховная воля слаба или порочна, неизбежно или падение государства или устранение его главы. И так как природа создает всегда правила, соответствующие образу правления, она у нас клеймила, до последнего поколения, всякое покушение на особу государя, тогда как в Азии убийца отца может оказаться на службе у сына. Отсюда следует, что в этих странах нужно ожидать всего и что ничто не может там поразить»[47].

Эти размышления были внушены Местру, конечно, не только событием 11 марта и судьбой его непосредственных участников, но всей русской социально-политической обстановкой.

В этой довольно сложной обстановке происходила, прежде всего, острая борьба течений в дворянской среде. Передовые землевладельцы, тяготевшие к капиталистическому хозяйству, говорили об улучшении положения крестьян, одновременно стремясь к защите и укреплению сословных привилегий дворянства. По своим английским симпатиям эта группа носила кличку «тористов». В дворянской массе притязаниям аристократии не сочувствовали, но относились к власти все же с некоторым недоверием, требуя от нее чисто дворянской политики.

Отзывы Местра об Александре и его «молодых друзьях» лишены особой симпатии. Неодобрительно говорит он о либерализме императора, воспитанного «учителем, преподававшим ему только философию восемнадцатого века, и отцом, заставлявшим его изучать только казарму». Без всякого сочувствия отзывается он и об англофильских и новаторских симпатиях сотрудников Александра и т. д.[48].

Первые знакомства Местра в Петербурге были, естественно, в среде дипломатического корпуса. Довольно близко сошелся он с английским послом, сэром Уорреном, скоро, однако, отозванным из России. Наиболее тесное знакомство, перешедшее скоро в крепкую дружбу, завязалось с неаполитанским послом, герцогом Серра-Каприола, старым жителем Петербурга, женатым на княжне Вяземской, дочери екатерининского генерал-прокурора. По свидетельству одного баварца, приезжавшего в Россию в 1800 г., «его [Серра-Каприола] дом приятен и единственное, существующее в настоящее время, место собрания для иностранцев»[49]. Его дом «не переставал быть центром постоянной оппо-



ГАТЧИНА

Рисунок Семена Щедрина, 1796—1800 гг.

„Я побывал в Гатчине... здесь всюду чувствуется дух Павла I, т. е. подлинно величественная сущность испорчена здесь чудачеством и солдафонством“ — записал Местр в дневнике от 4 октября/23 сентября 1806 г.

Русский музей, Ленинград

зиции против императора французов» и своего рода петербургским штабом роялистов.

Дружба с Серра-Каприола не только расширила и укрепила связи Местра с международными легитимистскими кругами, но и открыла ему широкий доступ в дома русской аристократии.

Мы имеем сведения от осени 1804 г., что в это время Местр чаще всего бывал в домах братьев Н. А. и П. А. Толстых, графа В. П. Кочубея, у графов Строгановых, адмирала П. В. Чичагова, тещи Серра-Каприола княгини Вяземской и князя Белосельского-Белозерского[50]. Здесь мы видим и реакционные салоны (Толстых и Вяземской), и салоны «тористские», правительственные (Кочубея и Строгановых). Из этих домов одним из наиболее близких Местру сделался дом обергофмаршала графа Н. А. Толстого. По словам графа М. А. Корфа, Н. А. Толстой, человек довольно ограниченный, дерзкий и грубый, стоял в явной оппозиции к «молодым друзьям» и, тем не менее, был близок к императору[51]. Об этом можно судить по приводимым в донесении австрийского посла словам Толстого, сказанным императору в эпоху союза с Наполеоном: «Государь, если вы не измените ваших политических принципов, вы кончите тем, что вас задушат, как вашего отца». Возможно, впрочем, что рассказ этот—анекдот, пущенный в ход самим Толстым для поднятия своей репутации[52].

Брат Н. А. Толстого, Петр Александрович, занимавший в 1803—1805 гг. пост петербургского генерал-губернатора, а в 1807—1808 гг. бывший очень неудачным послом при Наполеоне, по словам того же Корфа, человек чрезвычайно ленивый, «представлял лицо преимущественно отрицательное»[53].

Местра сблизили с обоими братьями их строго консервативные взгляды, вражда к преобразованиям и антинаполеоновская позиция. Кроме того, они оба нравились ему своей резкостью и откровенностью. В письме к Росси от 28 мая ст.ст. 1806 г. он говорил о своей близости с П. А. Толстым, которому отводит «одно из первых мест... среди защитников хороших принципов и русского имени». «У меня нет в этой стране большего удовольствия, чем беседовать с ним о политике. Это присущая людям слабость—любить тех, у кого находишь свои собственные взгляды».

С удовольствием подчеркивает Местр резко отрицательное отношение Толстого к парадомании императора и мужество, с которым он это высказал последнему прямо в глаза[54]. Очевидно, в этом петербургском обществе близких ему по убеждениям людей Местр находил усердных ценителей и слушателей. Кроме того, Н. А. Толстой и его жена, Анна Ивановна, сближали его со всем кругом консервативного, легитимистски настроенного русского дворянства, кругом, в котором грубость и резкость братьев Толстых, защитников «русского имени», совмещалась с изящными манерами французских эмигрантов и католических патеров.

Через сэра Уоррена Местр познакомился, а потом и близко сошелся с морским министром, адмиралом П. В. Чичаговым. Последний очень заинтересовал его своим крайне оригинальным умом и суждениями. «Он вспыльчив и горяч, и это одно создает ему множество врагов. К тому же у него несносная странность: он не ворует и не допускает воровства в своем ведомстве, за что его ненавидят»,—писал Местр 9 августа ст.ст. 1804 г. В одном из позднейших писем (январь 1808 г.) имеется и более обстоятельная характеристика Чичагова. Это—«один из самых выдаю-

щихся умов в стране. Он воспитан в Англии, где научился презирать свою страну, его жена, страстно им любимая,—англичанка, но он по своим симпатиям француз. Его речи очень смелы... у него много ума и оригинальности»[55].

При Павле I Чичагов подвергся заключению в крепость за «якобинские правила и противные власти отзывы». По свидетельству графа Ф. П. Толстого, Чичагов—человек очень образованный и прямой, «был ненавидим почти всем придворным миром и всей пустой, высокомерной знатью»[56]. В одном иностранном документе о России 1804 г. отмечаются трудолюбие Чичагова, борьба его с злоупотреблениями в своем министерстве и смелые разговоры, дающие людям основание приписывать ему крайние взгляды[57]. Если судить по собственным запискам Чичагова, в которых он резко критикует «раболепство» русского дворянства и, вместе с этим, симпатизируя сословным привилегиям, отрицательно относится к проникновению в дворянскую среду «худородных», то взгляды его были близки к «торизму». Но записки—продукт позднейших размышлений.

В описываемую эпоху Чичагов выделялся в петербургском обществе симпатией к наполеоновской буржуазной Франции и атеизмом. Кроме того, то, что известно из переписки Чичагова с Александром, действительно, характеризует его, как человека очень прямого. Он не постеснялся, например, привлеченного Александром на службу корсиканца Поццо ди Борго назвать «авантюристом, появившимся неизвестно откуда»[58].

Как видно из писем Местра к Чичагову, споры между ними чаще всего касались вопросов философских и религиозных. Спорили о материи и духе, о провидении, о системе Коперника и т. д. и оказывались на диаметрально противоположных позициях. Несмотря на это, Местр любил Чичагова и во время их разлуки, когда Чичагов был в Париже, мечтал о том, как будет еще дремать в его креслах, а в промежутках спорить с ним[59].

Отъезд Чичагова за границу и его отрицательные отзывы о России вызвали между ними споры об отношении к отечеству. Местр решительно отказывался понять причины отвращения Чичагова к его родине. Он все искал здесь какого-то «секрета». Он прямо коснулся этого вопроса в письме от 27 июля (8 августа) 1810 г. Здесь он говорил, что в сердце человека имеются тайники, скрытые от глаз даже друзей. «Например, то, что вас, адмирал, отвращает от этой страны,—это не то, или, по крайней мере, не только то, о чем вы мне говорили. Я вижу главную побудительную причину в вашем сердце, как вижу солнце, и, однако, я не знаю, что это такое». Затем Местр даже написал специально для Чичагова небольшое сочинение «Рассуждение о слове родина» («Dissertation sur le mot Patrie»). Отстаивая идею отечества, Местр утверждал здесь, что эмиграция не может быть оправдываема недостатками правительства: каждый обязан служить своему правительству, какое оно ни есть, и защищать его. Единственный случай законности эмиграции—падение власти, которой человек присягал[60].

Кроме Чичагова, у Местра завязались в Петербурге дружески-интимные отношения с сенатором В. С. Томарой, бывшим ранее послом в Константинополе. Беседы между ними запечатлены в «Soirées de St.-Pétersbourg», где Томара выведен под именем «сенатора».

Жизнь Местра в Петербурге была не из легких. Положение посланника, бывающего при дворе, обязывало к расходам, а средств нехватало.

На скудное жалованье, отпускавшееся ему из Сардинии, он должен был содержать и себя, и свою семью, оставшуюся в Турине. «От расходов у меня идет кругом голова,—писал он уже в августе 1803 г.—Один стол поглощает массу средств: вина и фрукты подаются всюду лишь заграничные... И вот результат: посреди огромных богатств все разорены, никто не платит своих долгов, и на это нет суда». Из того же жалованья ему пришлось шить себе шубу и весь гардероб, обзаводиться каретой и мебелью и еще помогать землякам-пьемонтцам, поступившим на русскую службу. Первая квартира сардинского посланника в Петербурге была ему уступлена каким-то дантистом, вторая занималась до него оперным певцом. «Вы видите,—иронически писал Местр,—что я неважный певец».

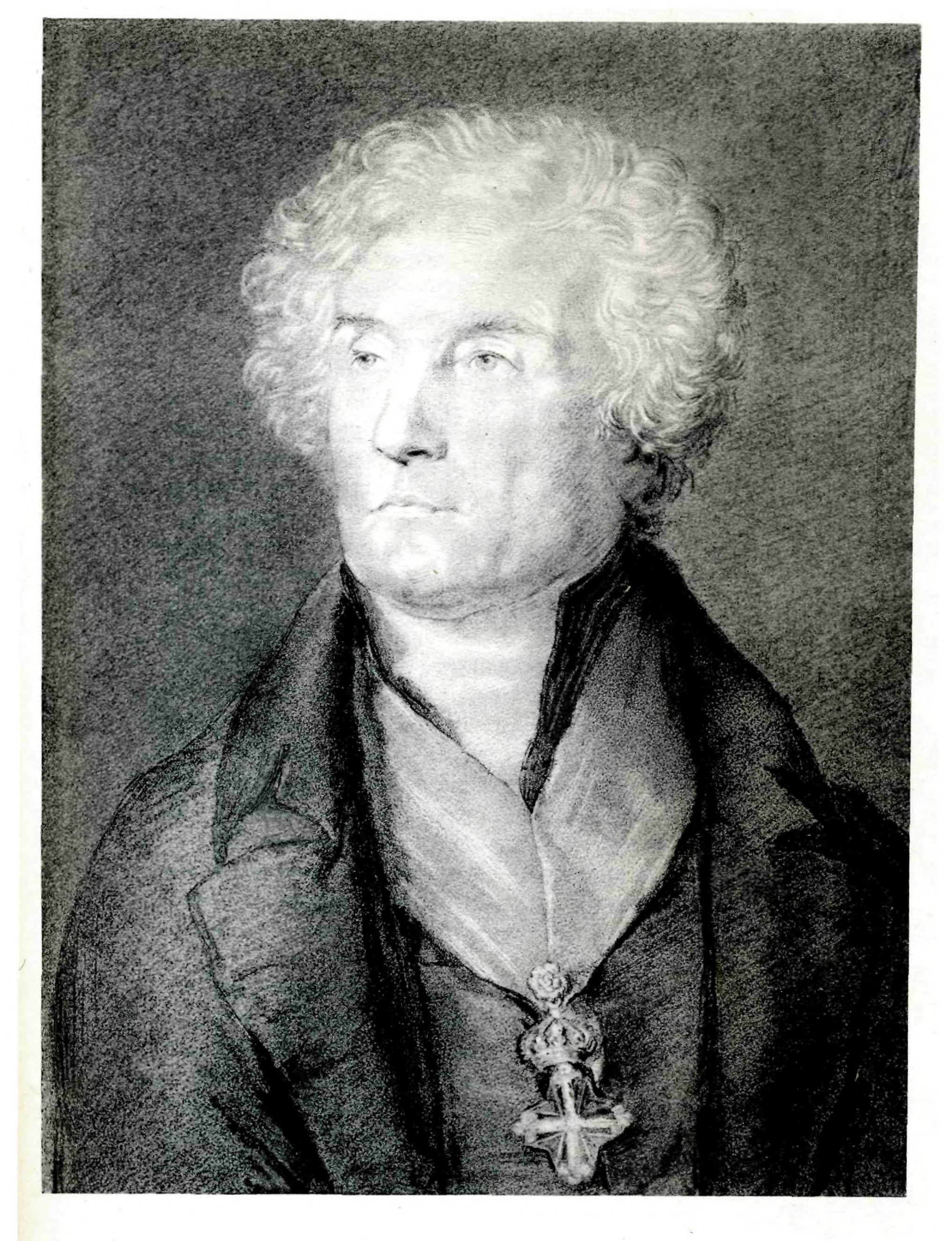
Иногда сардинский посланник вынужден был даже уклоняться от появления при дворе, так как это требовало больших расходов. Когда он приходил в отчаяние при мысли о тяжелом положении своей семьи, он бежал к Серра-Каприола и жаловался ему, но неаполитанский посол сам был разорен и мог утешать своего друга только своим «неаполитанским смехом». Иногда Местру нехватало на самое необходимое. «Его величество,—писал он о своем короле,—в своей доброте не соизволил принять во внимание, что повиновение, как бы священно оно ни было, не может простираться до унижения человека в человеке. Никогда никакой основатель ордена не требовал от своих монахов такого самоотречения и бесстрастия, какие его величеству угодно было наложить на меня». В своем «штате» Местр не имел даже секретаря, и он сам составлял и переписывал свои депеши, страдавшие, по собственному его выражению, от «преизобилия идей».

Правда, служебной работой сардинский дипломат перегружен не был. Свой петербургский образ жизни он сравнивал с движением часового маятника: тик-так. «Вчера, сегодня, завтра и постоянно... Мне очень трудно выбраться куда-нибудь из дома... я читаю, пишу, я у ч у с ь; ведь нужно же знать что-нибудь. После девяти часов я велю везти себя к какой-нибудь даме, так как всегда отдаю предпочтение женщинам». Мы увидим ниже, что эти посещения дам сопровождались пропагандой католицизма.

Но записная книжка Местра свидетельствует, что свой образ жизни он разнообразил как мог: он осматривал все достопримечательности города и пригородов (Михайловский замок, царскосельские и петергофские дворцы, Шлиссельбургскую крепость), посещал Академию наук, Кунсткамеру, Медико-хирургическую академию и другие учебные заведения; ежегодно 22 июля выезжал в Петергоф на традиционный праздник и вовсе не уклонялся от посещений «большого света»[61].

Несомненно, что в первые годы пребывания в Петербурге Местру не пришлось играть сколько-нибудь видной политической роли. Его положение, как дипломата, было самым жалким. У него не было ни средств, соответствующих рангу (а часто он нуждался в самом необходимом), ни престижа имени представляемого им правительства. Ему приходилось довольно много унижаться: просить о субсидиях для короля, постоянно напоминать о его жалком положении. При этом свободный доступ он имел только к министрам и редко получал аудиенцию у императора.

Но при дворе им интересовались. Одно из его писем к графу Фронту, отправленное через министерство, подверглось перлюстрации. Узнав об этом, Местр, по его словам, благодарил формально Чарторыйского за возведение его в ранг посланника, имеющего значение. «Так как



Lorsqu'Etant vieux et sot, il valoit moins que rien
On lui demandoit sa figure,
que? Dame d'importance et qui s'y connoit bien
D'honneur, c'est presque une aventure
Ct. Maistre St. Petersbourg 7/19 avril 1812

ЖОЗЕФ ДЕ МЕСТР

Рисунок Фогель-фон-Фогельштейна с дарственной надписью Местра неизвестной от 7 (19) апреля 1812 г.
Исторический музей, Москва

в своей корреспонденции,—писал он по этому поводу графу Фронту,— я мало прибегаю к шифру, они имели полное удовольствие, а я ничуть не был огорчен: ведь всякий раз, когда я не шифрую, какова бы ни была кажущаяся свобода речи, я всегда пишу, чтобы быть читанным»[62].

С другой стороны, еще в 1805 г. Местр позаботился о том, чтобы его записка по вопросу об австро-итальянских отношениях, писанная в январе 1804 г., была неофициально, «дружеской рукой», передана императору[63].

Отметим любопытный случай проявления особого внимания к Местру. В 1808 г. ему послали проекты предположенного памятника Минину и Пожарскому и просили высказать свое суждение о них. Проект, одобренный Местром, был утвержден императором. Сообщая об этом своему правительству, Местр не мог отказать себе в удовольствии поиронизировать по поводу того, что именно он выбрал лучший проект памятника людям, имена которых ему до этого не были известны[64].

Тильзитский мир еще уменьшил дипломатическую роль Местра в Петербурге. Но и в окружающей его политической среде произошла перемена: все великосветское общество, как и широкие круги дворянства, перешло в оппозицию.

Правительство и, в особенности, император и новый министр иностранных дел граф Н. П. Румянцев не пользовались никакой популярностью. В письмах и донесениях Местра именно теперь все чаще встречаются упоминания об «азиатском средстве», и он допускает возможность его нового применения со стороны недовольных кругов.

Личное положение Местра стало очень сложным. И политические симпатии, и личные связи ставили его в ряды противников Тильзита. Но, как мы видели, он был одним из немногих современников, понявших, что Александр в 1807 г. н е м о г не пойти на мир и союз с Наполеоном и что этот мир и союз на деле будут продолжением борьбы. Поэтому он не мог чуждаться противоположной партии. Возможность сближения с нею была для него открыта. Его друг и всегдашний антагонист Чичагов занимал открыто франкофильскую позицию; французские послы Савари и Коленкур сразу оценили это. Последний стал постоянным посетителем Чичагова[65].

В доме Чичагова Местр встречался с умной и хитрой фрейлиной Роксандрой Скарлатовной Стурдзой, с которой очень сблизился. Ее кружок, кружок греческих патриотов, первоначально, повидимому, также не относился враждебно к франко-русскому сближению.

Местр не изменил своего отношения к Наполеону, но считался с необходимостью перемены тактики[66]. В поисках ее он пришел к мысли о поездке в Париж для получения аудиенции у Наполеона и беседы с ним о делах и интересах савойской династии. 8 сентября ст. ст. 1807 г. он сообщил о своем намерении Румянцеву, который 29-го объявил Местру, что проект его одобрен Александром I. Граф Лаваль, один из знакомых Местра, устроил ему 1 октября в своем доме встречу с Савари, который начал разговор с заявления, что сардинский король не может питать никаких надежд, но он, Местр, может питать большие. Отклонив разговор о себе, Местр заговорил об аудиенции. Савари очень внятно повторил ему, что король должен довольствоваться оставшимися у него владениями, но согласился принять от Местра и послать Наполеону записку[67]. Она была готова 8 октября и 25 ноября отправлена. Сохранилось известие, что

записка Наполеону понравилась. Верно это или нет, но ответа Местр не получил. Разговаривать Наполеону с ним было не о чем[68].

Коленкур, которого Местр встречал у Чичагова, отнес его сразу к врагам, считал его и Серра-Каприола «главными агентами Англии» и учинил за ними секретный надзор[69]. В дальнейшем, однако, имя Местра в переписке Коленкура не упоминается.

Попытка Местра использовать политическую обстановку в интересах савойской династии потерпела неудачу и даже навлекла на него неприятности, так как в Сардинии были очень недовольны его поступком[70]. Уже в начале 1809 г. Местр приходит к выводу, что, пока Наполеон на престоле, савойской династии ждать нечего. При этом не надо забывать, что у де Местра не могло быть того увлечения проектами раздела Турции, которое охватило Чичагова и его греческих друзей. Идея захвата Константинополя русскими вряд ли могла его особенно увлечь. Он предвидит возможность падения Турции и продвижения русских и французов через Сирию до Египта. Он беседует на эту тему с Томарой, которому высказывает свое подозрение, что поездка Чичагова в Париж преследует цель согласования действий с Наполеоном на фронте борьбы против Турции. По его мнению, борьба эта—дело трудное, а главная опасность в том, что Наполеон может использовать русский флот в своих интересах.

С 1809 г. Местр с напряженным вниманием следит за испанскими делами. Революционный характер, который приняла там борьба против Наполеона, его пугает, он уже находит, что над головой французского императора поднимается дамоклов меч, что успех испанцев не только возможен, но и вероятен, и что в Испании решается «судьба человеческого рода»[71].

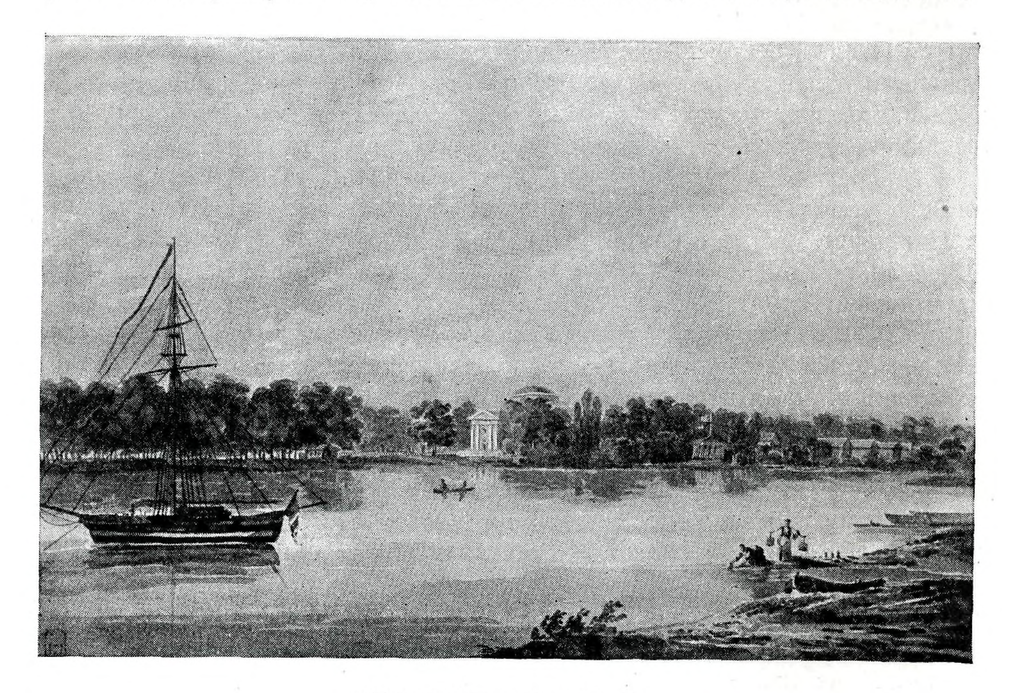
Все эти обстоятельства, в частности, глубокое убеждение в том, что революция, как показывают это и испанские события, живет и не думает умирать, побуждали Местра стремиться к активной политической деятельности, к мобилизации своих единомышленников.

Он все более внимательно вглядывался во внутреннюю обстановку русской жизни.

Появление в конце 1807 г. на посту военного министра самого яркого представителя павловских традиций, Аракчеева, обратило его внимание. Он отмечает, что это «жесткий, строгий, непоколебимый» человек, что он—гатчинец, что он сумел заставить повиноваться себе даже великого князя Константина. По своему значению он своего рода визирь, и, очевидно, его задача—поддержание порядка. Может быть, действительно в армии сейчас нужна железная рука, но, несомненно, речь идет не только об армии, а и о подавлении общественного недовольства. Очевидно, император «после длительного обсуждения» призвал этого человека, ненавидимого всем обществом и даже царской семьей. Пока-что Аракчеев «все подавляет». Говорят, что это кончится его убийством, но, по мнению Местра, русские «имеют слишком хорошие принципы, чтобы убивать министров». Диктатура Аракчеева и «гатчинская» система пугают Местра, как антимилитариста и сторонника «европейской монархии». «Мы погибли, — пишет он, — если это революционное капральство пустит корни»[72].

С особенной тщательностью отмечает Местр происходящие в России социальные сдвиги. «Нужда в деньгах крайняя,—пишет он в конце 1809 г.,—однако, роскошь, несмотря на все, не уменьшается, хотя ее из-

лишества и величайшая беспечность ведут страну к неизбежной революции. Дворянство нерасчетливо тратит деньги, но эти деньги попадают в руки деловых людей, которым стоит только сбрить бороды и достать себе чины, чтобы быть хозяевами России. Город Петербург скоро будет целиком принадлежать торговле. В общем, обеднение и нравственный упадок дворянства были истинными причинами наблюдаемой нами революции. Революция повторится и здесь, но при особенных обстоятельствах». Император, повидимому, хочет «создать промежуточное третье сословие... Это заставляет трепетать тем более, что здесь нет никакого морального принципа, который мог бы послужить дополнением или коррективом к законам». Снова и снова Местр повторяет, что многие русские (конечно, дворяне) не видят иных возможностей для выхода из этого по-



ЕЛАГИН ОСТРОВ С ДВОРЦОМ
Акварель Максима Воробьева
Русский музей, Ленинград

ложения, кроме «азиатского средства». Он приводит слова «человека, заслуживающего большого уважения», что государь—человек, посланный провидением, чтобы погубить Россию[73].

Конечно, к Сперанскому у Местра резко отрицательное отношение. Это—попович, т. е. представитель «последнего класса свободных людей, из которого, как это и естественно, более всего выходит новаторов». Он, несомненно, «исполняет веления великой секты, отправляющей монархии на тот свет». Секта «с адскою ловкостью пользуется самими государями, чтобы их свергнуть»[74].

Соответственно этим оценкам положения перед Местром ясно вырисовывается программа желательной внутренней политики России. Это—программа «европеизации» самодержавия. Для проведения ее в жизнь нужно было обратиться к содействию европейских элементов. Ими явились для Местра иезуиты.

Иезуиты были допущены в Россию при Екатерине II, в 1773 г., после официального упразднения их ордена папской буллой. Давая убежище иезуитам в Белоруссии, Екатерина надеялась, что они из благодарности будут воспитывать католическую молодежь этой только-что присоединенной к России области в духе преданности самодержавию. При этом иезуитам было указано, что, повинуясь папе в вопросах догмы, они должны во всем остальном повиноваться императрице[75]. Управление римско-католической церковью в России было поручено архиепископу Станиславу Богушу-Сестренцевичу, по происхождению литовскому дворянину, в прошлом гусарскому офицеру и протестанту. Это был убежденный противник ультрамонтанских принципов и сторонник наилучших отношений с царской властью. В последнем он был заинтересован и лично, так как его суконная фабрика поставляла сукно для русской армии.

При Павле I Сестренцевич сначала пошел в гору и добивался возможно большего ограничения власти Рима и расширения прав епископата[76]. Потом Павел приблизил к себе иезуитов, допустил их в Петербург, разрешив им открыть здесь пансион, и удалил Сестренцевича.

С воцарением Александра положение изменилось. Иезуитские школы в Белоруссии были подчинены Виленскому университету. Вернувшийся в Петербург Сестренцевич в специальной записке императору обвинял генерала ордена Грубера в том, что он выписывает «из чужих краев под именем иезуитов всяких бродяг и беспокойных людей» и рассылает их по всей России «для произведения в действо сокровенных своих замыслов». Эти «сокровенные замыслы» сводятся к колебанию в государстве единовластия и распространению влияния Рима. Сестренцевич предупреждал, что этот орден, имеющий 14 тысяч душ и «знатный капитал», может получить силу; он резко восставал против монахов, обретающих «пользу в праздной, соблазнительной и развратной монашеской жизни», обладающих «великими имениями, тунеядство, любострастие и гордость насыщающими», и настаивал на отнятии у них прав на воспитание юношества[77].

Но иезуиты продолжали укрепляться и начинали пользоваться поддержкой столичных аристократических кругов. С 1 января 1803 г. открылся их пансион в Петербурге. В пансион были приняты племянник В. П. Кочубея, кн. П. А. Вяземский, Д. П. Северин, сын Н. А. Толстого, бар. Вельо. В дальнейшем в нем обучалось шесть Голицыных, Прозоровские, Строгановы, Барятинские, Гагарин и другие сыновья петербургских аристократов. Сенатор Томара, княгиня Щербатова и граф Штакельберг сделали иезуитам богатые подарки[78]. Против Сестренцевича иезуиты боролись, выставляя его в донесениях своих в Рим сепаратистом[79].

Первоначально между Местром и петербургскими иезуитами не было близких отношений. Папский нунций Ареццо, близкий к иезуитам, характеризовал его, как человека, «преисполненного знаниями, но также и тщеславием и ложными идеями, а потому опасного при настоящих обстоятельствах»[80]. В то же время Местр, посетив экзамены в иезуитском пансионе, записал, что не видел в своей жизни ничего более жалкого и не нашел здесь проявления приписываемых иезуитам воспитательских талантов[81]. Тем не менее, отношения постепенно установились.

В связи с домогательствами иезуитов о преобразовании своей Полоцкой коллегии в академию Местр воспользовался в 1810 г. проектом Сперан-

ского об учреждении Царскосельского лицея для того, чтобы выступить с поддержкой требований иезуитов. Он сделал это в своих «Cinq lettres sur l'éducation publique en Russie», адресованных министру народного просвещения гр. А. К. Разумовскому. Это была первая атака Местра на русскую правительственную политику.

В первом письме Местр, прежде всего, выступает против принципа восемнадцатого века о науке, как основной задаче воспитания. Наука, утверждает он, лишь часть воспитания, в котором главное место принадлежит морали. Утверждая далее, что «вся современная цивилизация

Н. А. ТОЛСТОЙ
Миниатюра неизвестного художника
Толстовский музей, Москва

вышла из Рима», а Россия оказалась оторванной от цивилизации благодаря «схизме X века» и татарскому игу, Местр провозглашает, что русские вообще не созданы для науки. Для военных достаточно некоторых специальных знаний, чиновникам вообще не нужно образования.

Второе письмо Местр начал с превознесения схоластических школ и, перейдя к критике проекта образования лицея, объявил совершенно ненужными естественную историю, химию и астрономию, а учение о происхождении мира вредным, рекомендуя в этом вопросе следовать священному писанию. Так же вредны психология и право. Нужно только знание: 1) что бог создал человека для общества, 2) что состояние общества требует правительства, 3) что каждый обязан повиноваться последнему. История должна быть сведена к минимуму.

Третье письмо было посвящено критике внутреннего порядка, наме-

чавшегося уставом лицея, с противопоставлением ему идеальных порядков иезуитского пансиона.

В четвертом письме Местр уже переходит к восхвалению ордена иезуитов, доказывая его необходимость для охраны монархического строя. «Это общество—сторожевой пес... Если вы не хотите позволить ему кусать воров, это—ваше дело; по крайней мере, пусть он бродит около дома и будит вас, когда это необходимо, прежде чем ваши двери будут взломаны или к вам проникнут через окна».

Пятое письмо, начатое атакой на секту, ставящую себе задачей ниспровержение монархии при помощи самой монархии, содержит уже в себе основное пожелание преобразования Полоцкой коллегии в академию и освобождения иезуитских школ от подчинения Виленскому университету[82].

24 августа 1810 г. иезуитский генерал Бржозовский подал, со своей стороны, записку Разумовскому. Здесь указывалось, что Виленский университет несвободен от влияния опасных идей. Где гарантия, спрашивает автор, «что университеты всегда будут преподавать только одну здоровую доктрину и что, если вся молодежь империи будет им вверена, не сможет ли случиться, что они будут распространять принципы и правила, в тысячу раз более вредные для государства, чем случайные волнения, имевшие некогда место?». Провозглашая далее необходимость воспитания «в принципах патриотизма, чувствах подчинения, уважения и преданности к особе государя», Бржозовский утверждает, что эти принципы могут быть внушены только иезуитами, которые всегда были «враждебны идеям реформы и возмущений» и которые преданы русскому правительству из благодарности за сохранение ордена[83].

Первоначально эти откровенные записки, провозглашавшие утилитарный характер религии, ее значение, как опоры монархии, и даже циничная откровенность Местра, назвавшего орден иезуитов «сторожевым псом», не имели успеха. Но, как мы увидим сейчас, к осени 1811 г. положение резко изменилось.

К 1810—1811 гг. Местр укрепил и расширил свои связи с петербургскими аристократическими кругами. В письме к Росси от 14/26 сентября 1810 г. он указывает на свою связь с близкими к иезуитам домами гр. Головиной и кн. Голицыной, гр. А. К. Разумовским и одним из виднейших представителей дворянской оппозиции, гр. Ф. В. Ростопчиным[84].

В 1811 г. организовалась в Петербурге «Беседа любителей русского слова», привлекавшая на свои собрания многих представителей дворянского общества. Здесь осуществлялась духовная мобилизация господствующего класса ввиду приближавшейся борьбы с Францией, порицалась галломания, проповедывалась «народность» в литературе. Среди посетителей «Беседы» был и Местр. Он присутствовал, в частности, на знаменитом выступлении Шишкова с речью «О любви к отечеству»[85]. Не зная русского языка, отрицая всякую русскую культуру, Местр, однако, искал сближения и с этим кругом дворянской оппозиции. Он надеялся найти точки соприкосновения и с шишковистами. Ведь последние были также проникнуты непримиримой враждой к революции и либерализму и ко всяким попыткам расширения социальной базы самодержавия.

В те же годы в письмах к «туристу» Уварову Местр обрушивался на какие бы то ни было «сделки с XVIII веком». В общении с Р. С. Стурдзой

он переходил к осторожной пропаганде учения Сен-Мартена, через которое он сам в свое время пришел к ультрамонтанству. В других домах, как увидим ниже, он вел уже неприкрытую пропаганду католицизма.

Осенью 1811 г. в аристократической среде созрел заговор против Сперанского. Местр принял в нем участие через посредство Серра-Каприола и Н. А. Толстого.

Серра-Каприола находился в сношениях со всеми антифранцузскими дворами и принимал ближайшее участие в обсуждении вопросов, связанных с предстоящей войной. Из донесений австрийского посла в Петербурге видно, что он был связан, в частности, с гр. Армфельдом, главным руководителем заговора против Сперанского. Роль Толстого в заговоре, по словам М. А. Корфа, подобно роли Ростопчина, «заключалась в наговорах и переносах, к которым Толстой имел весьма часто все случаи, находясь постоянно при государе»[86].

Именно в это время Местр совместно с Бржозовским и возобновил борьбу за преобразование Полоцкой коллегии в академию.

6 октября ст.ст. 1811 г. его посетил кн. А. Н. Голицын, начальник Главного управления духовных дел иностранных вероисповеданий. Местр вручил Голицыну записку, поддерживавшую ходатайство иезуитов[87]. Это была часть составленной им в это время по предложению того же Голицына работы, опубликованной впоследствии под названием «Quatre chapitres inédits sur la Russie».

16 октября Бржозовский подал императору через Голицына свою вышеупомянутую записку в переработанном виде. Интересно, что здесь из программы воспитания исчезли «принципы патриотизма» и остались только «чувства подчинения, уважения и преданности к особе государя»[88].

1 ноября записка эта была заслушана в комитете министров, который высказался за удовлетворение ходатайства[89]. По сведениям, полученным Местром, единственным противником этой меры был государственный контролер, барон Кампенгаузен[90]. Записка Местра была прочитана Голи-

А. И. ТОЛСТАЯ
Рисунок тушью неизвестного художника в альбоме В. Н. Головиной
Музей города, Ленинград

цыным Александру 3 ноября, а 6-го, на балу у министра финансов Гурьева, Голицын передал Местру желание императора получить остальную часть его работы. Затем, при личной встрече, Александр сказал Местру, что его записка доставила ему большое удовольствие[91].

Указ о преобразовании Полоцкой коллегии иезуитов в академию, с предоставлением ей прав университетов и с подчинением ей всех иезуитских школ, освобожденных тем самым от подчинения Виленскому университету, был подписан Александром только 1 марта 1812 г. Это было громадное завоевание иезуитов. Теперь их учебные заведения составляли как бы особый департамент в министерстве народного просвещения, подчиненный только министру и совершенно независимый от всех других властей.

Но это был лишь первый шаг к осуществлению намеченной Местром программы «европеизации» русского самодержавия. Полностью она была развернута в «Quatre chapitres».

Вот основные положения местровской программы.

Для человека, испорченного наследственной наклонностью к греху, нужна узда. Этой уздой всюду сначала было рабство, а потом стало христианство, которое уничтожило рабство и заменило его, подчинив освобожденных своему моральному руководству. В России рабство существует до сих пор, «потому что оно в ней необходимо и потому что император не может царствовать без рабства». Здесь каждый помещик—власть, наделенная всеми полномочиями для «укрощения... беспорядочных порывов индивидуальных воль». Если уничтожить эту власть, на кого будет опираться государь?

На Западе католическая церковь—громадная консервативная и предохранительная сила. В России такой силы нет. Русское духовенство «не имеет голоса в государстве, оно не смеет говорить, и с ним говорят возможно меньше».

Освобождение русских рабов вызовет всеобщий пожар в России. Может найтись в эту минуту даже «какой-нибудь университетский Пугачев», который станет во главе этой массы. Поэтому первая задача власти—отказаться не только от мысли об освобождении крестьян, но и от какого-либо поощрения индивидуальных освобождений.

Вторая задача, естественно связанная с первой, заключается в охране и защите прав дворянства. В частности, надо жаловать дворянством только крупных землевладельцев и лиц исключительных заслуг и никогда не возводить в это звание коммерсантов, так как «скипетр государя—не аршин, а трон его—не тюк товаров».

Далее, не должно быть никаких особых преимуществ для образования. «Если только люди с одним научным образованием, независимо от дворянского происхождения и земельных богатств, решительно займут административные места, революция станет неизбежной»[92]. Должности—только дворянам и богатым людям. Такие люди получают достаточную подготовку при помощи литературы и нравственных наук. Слишком много литературы даже опасно, а естественные науки для государственных людей прямо вредны.

Отсюда третья задача правительства: не требовать научной подготовки ни от военных, ни от

чиновников, кроме самых необходимых знаний, как, например, математика для военных инженеров; уничтожить совершенно общественное обучение таким наукам, как история, география, метафизика, мораль, политика, коммерция и т. д., предоставив их изучать желающим в индивидуальном порядке; не покровительствовать, а, напротив, противодействовать распространению образования в низших классах.

Переходя далее к вопросам религии, Местр прежде всего обрушивается на «беспокойный и республиканский дух протестантизма», утверждая, что стремление «к ниспровержению европейских монархий и христианства» порождено в Европе реформацией. Россия особенно угрожаема с этой стороны, так как ни в русской церкви, ни в ее пастве нет той твердости догмы и того морального духа, которые нужны для борьбы с этим явлением.

Истинной опорой может быть только католическая церковь.

Поэтому—четвертая задача власти: содействовать сближению православной церкви с католической; покровительствовать последней, не вмешиваясь в ее управление; осторожно препятствовать протестантскому преподаванию; строго наблюдать за иностранными учителями, особенно немцами и протестантами.

В последней главе своей работы Местр касается вопроса о масонстве и иллюминатстве. Вопрос этот был несколько щекотлив. Автор в прошлом был иллюминатом французской школы и сейчас в России знакомил с этим учением своих приятельниц, вроде Р. С. Стурдзы; он не мог не знать также того, что влиятельные люди русского двора (Голицын, Кошелев) и сам император интересовались этим учением. Но он знал и то, что в западной реакционной литературе масонство в целом было объявлено одним из главных виновников революции[93]. И вот, отмежевываясь от этих утверждений, Местр доказывает полную невинность масонства, указывая, однако, на необходимость тщательного наблюдения за масонскими организациями. Об иллюминатах французского толка, последователях Сен-Мартена, мистиках и пиетистах, Местр выносит не менее интересное суждение: они вредны в католических странах, где они колеблют принципы единства и авторитета, и полезны в России, где они являются хорошим противоядием распространению неверия.

Опасным и вредным в полной мере является только немецкое иллюминатство с его республиканскими тенденциями (Вейсгаупт), предшественником которого был опять-таки протестантизм[94].

Итак, к чему же сводится, в общих чертах, программа «европеизации» русского самодержавия? Это: охрана интересов и усиление значения дворянства; полный отказ от какого-либо покровительства буржуазии; постепенное распространение католицизма, как основной опоры монархии; борьба с просвещением; охрана крепостного права и поддержание невежества в народных массах.

Дворянство и католическое духовенство — вот те европейские устои, которые должны сдерживать деспотию, т. е. попытки монархии расширить свою социальную базу, и тем предохранить страну от революции.

Эта программа должна быть сопоставлена с другой, незадолго до того представленной Александру. Мы имеем в виду «Записку о древней и новой России» Карамзина.

Социальная часть обеих программ (ориентация на дворянство, отрицательное отношение к освобождению крестьян) полностью совпадает. Аналогична была позиция в этом вопросе и признанного лидера дворянства той поры—Шишкова. Но и Шишков и Карамзин, в отличие от Местра, хотели опереться не на католицизм, а на православие. При его помощи они предполагали позаботиться о нравственном влиянии на массы.

И идеология «Беседы» не была лишена демагогического характера: «народность» и православие здесь выдвигались именно потому, что в предстоящей войне надо было подчинить народные массы своему влиянию и предварительно найти путь к «единению» с ними. «Единение» это и создавали на почве национально-религиозной. Программа Местра, как лишенная этого элемента, конечно, не могла стать общедворянской.

13 февраля 1812 г. Н. А. Толстой сделал Местру «важное предложение» («une ouverture importante») от имени императора. На следующий день он же сообщил Местру, что «все его идеи одобрены». Из письма Местра к Росси мы узнаем, что это было предложение редактировать все официальные документы, публикуемые от царского имени. Сам Местр при этом предложил съездить в Полоцк для установления контакта с местными иезуитами. Сообщая об этом, Местр пишет: «Меня изучали десять лет, прежде чем сделать этот шаг». 25 февраля Толстой передал Местру 20 тысяч рублей от имени императора на необходимые расходы. 5 марта канцлер Румянцев объявил Местру, что император имеет на него виды в предстоящей войне, что он хотел бы его пригласить на русскую службу и что он согласен послать фельдъегеря за семьей Местра. В тот же день вечером Местр был на квартире у Толстого и имел с ним разговор о предстоящей войне и вопросах командования. Во время разговора в квартире тайно присутствовал царь. В конце беседы он заменил Толстого и переговорил с Местром об его предстоящей редакторской работе.

По поводу всех сделанных ему предложений Местр, однако, твердо решил, что службы у сардинского короля он не покинет. Об этом он объявил 17 марта Румянцеву, не отказываясь в то же время от исполнения поручений Александра[95].

В тот же день последовала давно решенная ссылка Сперанского. 30 марта состоялась новая беседа с Александром, в которой Местр изложил свои соображения о моральной стороне войны[96].

Самая важная беседа произошла 8 апреля в кабинете императора. Разговор начался с вопроса Александра: «Что вы думаете об иезуитах?». Местр начал обстоятельно доказывать, что иезуиты сейчас не только нужны, но прямо необходимы, что они—опора против «великой секты», что нет лучшей организации «для поддержки, для преуспеяния, для защиты религии, для христианского и научного воспитания молодежи». Александр прервал эти рассуждения конкретным вопросом: «Думаете ли вы, что они расположены воздействовать в хорошем смысле на польское мнение?». Местр отвечал, что не только очень расположены, но и употребят на это все свои силы, а он, со своей стороны, обещает на них воздействовать. После этого разговор перешел в плоскость перспектив предстоящей войны. Местр указал, что задачи войны—реставрация Бурбонов во Франции, что надо для этого «ласкать французов, особенно дворян». Затем он вернулся к вопросу об иезуитах и католицизме. Здесь последовали

П. В. ЧИЧАГОВ
Гравюра Д. Гейнса
Музей изобразительных искусств, Москва

исторические доказательства счастья и долголетия государей, покровительствовавших этой церкви. После вопроса Александра о Наполеоне и краткого ответа Местра, что падение этого человека несомненно и вопрос только во времени, беседа закончилась[97].

Повидимому, в тот же день после свидания Местр написал какое-то не дошедшее до нас письмо Александру, на которое тот ответил на следующий день. Это последнее письмо—оно печатается ниже—дает основание утверждать, что содержание беседы известно нам не полностью. Очевидно, Местр, из донесений которого мы заимствовали приведенные сведения, не обо всем сообщил своему правительству.

Как можно судить по письму Александра, речь шла еще о составлении какого-то важного документа, относящегося к Польше. Повидимому, намечался проект манифеста о «восстановлении» Польши под скипетром русского царя[98].

По собственному предложению, получившему одобрение, Местр выехал в Полоцк для установления контакта с местными иезуитами и здесь получил от Александра из Вильны формальное предложение составить проект манифеста. Сообщая об этом своему королю, Местр писал 27 мая, что проект им составлен, но что вряд ли момент для этого благоприятен[99]. И действительно, манифест запоздал: польское дворянство стало на сторону Наполеона, и 26 июня варшавский сейм объявил восстановление Польши.

Ф. Вермаль считает, что рассмотренный нами период времени (октябрь 1811—май 1812 г.) —«месяцы наибольшего фавора де Местра при Александре I», когда он «оказал известное влияние» на решения царя в отношении ссылки Сперанского и войны. Ф. Вермаль даже называет Местра «министром

царя» и, указывая на то, что после поездки в Полоцк Местр потерял свой фавор, ищет объяснений этому факту в отношениях Местра к вопросам командования, в его личных связях и т. п.[100].

Мы думаем, что степень фавора и влияния Местра Ф. Вермалем преувеличена. Война с Наполеоном, как это известно, была решена Александром давно. Для устранения Сперанского, ненавидимого всем дворянством и не сумевшего сохранить расположение царя, вовсе не нужно было вмешательства сардинского посланника. В то же время роль друга Местра, Серра-Каприола, отмечается в донесениях послов. Донесение одного прусского агента в России от 1812 г. характеризует положение обоих дипломатов. Серра-Каприола «сделался здесь действительной властью». Напротив, Местр, «человек умный и знающий, тем не менее, не имеет значения»[101]. Однако, на принятие решения о Полоцкой академии и об иезуитских школах Местр оказал большое влияние. Несомненно также и то, что его в какой-то мере хотели привлечь к политической работе правительства. Весь разговор с Александром 8 апреля неопровержимо доказывает существование намерения использовать иезуитов для влияния на польское население и желания привлечь к этому делу Местра, между прочим, для воздействия на самих иезуитов. Разговор 8 апреля, дополнявший впечатление от чтения «Quatre chapitres», должен был дать Александру полное представление о взглядах Местра. По выполнении полоцкого поручения он не был больше нужен. В предстоявшей борьбе, где требовалось широкое воздействие на Европу, притом на все классы ее населения, нужны были люди с менее крайними взглядами, более гибкие и готовые на «сделку с XVIII веком».

Что же касается редакторской работы, о которой шла речь в первых беседах, то мы думаем, что и тут не приходится преувеличивать. Какие именно документы, исходившие от царя, можно было поручить редактировать Местру? Конечно, тут не могло быть и речи о манифестах и воззваниях внутреннего назначения. Что касается документов внешнеполитических, то для работы по возбуждению населения Германии против Наполеона Александром был выписан в Россию бывший прусский реформатор барон Штейн[102]. В перспективе Местр мог намечаться, как автор воззваний к итальянцам, когда это потребуется. Но строго абсолютистские взгляды Местра затрудняли и эту возможность: здесь нужны были либеральные обещания. Таким образом, на ближайший период времени, очевидно, все сводилось к тому же проекту о Польше и другим документам, связанным с польскими и иезуитскими делами.

III

Депеши Местра периода войны 1812 г. заслуживают специального изучения. Отметим здесь лишь крайне интересную депешу от 2/14 июня 1813 г., не вошедшую в собрание сочинений Местра и оставшуюся неиспользованной его исследователями. В этой депеше дается общая (и очень пристрастная) оценка войны 1812 г. По мнению Местра, война выиграна русскими только по вине Наполеона, избалованного успехом и потерявшего глазомер. Он должен был бить Кутузова, а не итти в Москву. А бить он мог: Кутузов—«старик свыше шестидесяти лет, больной, расслабленный и почти слепой». Его генералы—нули. Бородинское сражение—только бойня. Русские в нем потерпели поражение. Пренебрежительно отзываясь о всех русских, включая и посетителей петербургских салонов,

Местр защищает только своего друга Чичагова, сваливая вину за неудачу при Березине на Кутузова. Императора он считает цивилизованнее страны, но отмечает его немецкое происхождение и бессилие перед общим мнением. Депеша в копии стала известна русскому посольству в Лондоне и была препровождена в Петербург с характеристикой автора, как лживого льстеца и врага русского народа.

Развитие военных событий сразу поставило преграду между Местром и деятелями «Беседы». Демагогия Ростопчина могла внушить Местру только отвращение. «Граф Ростопчин—один из наиболее пылких людей, какие только существуют,—писал он в депеше от 27 октября (8 ноября).— Он потратил не мало труда на то, чтобы возбудить умы в Москве и для того, чтобы этого достигнуть, устроил столько фарсов для простого народа, превосходных, когда они обеспечены успехом, и смешных в ином случае». Для Местра все это—«шутовская трагедия или жалкая комедия». Расправа с Верещагиным вызывает резкое осуждение. Это «первосортная гнусность, настолько же далекая от культурности, как прокрустово ложе или бык Фалариса»[103].

Народный характер, который приняла война, внушал беспокойство Местру. «Этот вооруженный народ, так блестяще проявивший себя, вернется ли он мирно в первоначальное состояние? Положит ли он оружие, как клал лопату и грабли? Эти крестьяне, голодные и разбросанные по лесам, превратившиеся в настоящих гверильясов и умеющие только убивать,— станут ли они снова послушными рабами?»[104].

Бегство Наполеона разбудило активность Местра, как дипломата. 17 декабря он составил записку об интересах савойской династии. Теперь, говорил он, надежда «на вероятную перемену, которая должна произойти во Франции», сулит, по крайней мере, возвращение Пьемонта. В то же время интересы савойской династии и всей Италии требуют, чтобы Австрия «ничем не владела в этих местах». Поэтому надо сейчас сближаться с Россией и Англией, а после войны—и с будущим французским правительством для изоляции Австрии. В особой записке на имя Александра Местр указывает на необходимость поддержки сардинского короля, этого «друга, необходимого русскому императору, друга, при помощи которого русский император может действовать на По, как на Двине». Местр указывает на необходимость вернуть королю Пьемонт и отдать ему Геную[105].

Падение Наполеона и реставрация Бурбонов во Франции были торжеством политической линии, некогда защищавшейся Малле дю Паном. Это был компромисс между дворянством и буржуазией, «сделка с XVIII веком». И Местр сразу очутился в правой оппозиции к новому порядку: «Французский король,—пишет он сенатору Вейдемейеру,—находится под угрозой новой конституции». После всех ужасных экспериментов «новые шарлатаны подготовляют новые опыты, которые король Франции должен будет санкционировать». Конституцию могут навязать и сардинскому королю. Но «мы не имеем никакой нужды в конституции»[106].

Но о сардинском короле первоначально совсем забыли, и в мирном договоре союзников с Францией он даже не упомянут. В письме к своему соотечественнику, генералу русской службы маркизу Паулуччи, от 16 июня 1814 г. Местр заявлял, что пока нет причин особенно радоваться освобождению Италии. «Мы более чем когда-либо рабы». Надежда на русского царя?! Но сможет ли и захочет ли он что-нибудь сделать?[107].

Парижское издание работы Местра «l'Essai sur le principe générateur des constitutions politiques», в которой он восставал против «писанных конституций», а тем самым и против французской хартии, испортило его отношения с новым французским правительством[108]. Зато правое крыло французских ультрароялистов, возглавлявшееся Бональдом, признало Местра одним из своих вождей и теоретиков.

Если, таким образом, события 1814 г. определили положение Местра, как идеолога международной дворянской реакции, то работы Венского конгресса вызвали с его стороны порицание и осуждение с точки зрения всю жизнь разделявшейся им теории реакционно-легитимистского пацифизма. Позиция Талейрана на Венском конгрессе, провозгласившего лозунг легитимизма во внешней политике, т. е. неприкосновенность суверенитета государей над их территориями и народами, как нельзя более соответствовала убеждениям Местра. Но Талейран был поддержан Англией и Австрией, которую так ненавидел Местр. Против них была Россия, требовавшая себе все герцогство Варшавское и поддерживавшая притязания Пруссии на Саксонию. Эти притязания были резко осуждены Местром. «Король, низвергнутый решением, формальным осуждением своих коллег,—писал он по поводу проекта лишить власти саксонского короля,—это идея в тысячу раз более страшная, чем все то, что когда-либо провозглашалось с трибуны якобинцев, так как якобинцы занимались своим ремеслом, но когда самые священные принципы подвергаются нападению со стороны их естественных защитников, надо облечься в траур». И Местр настаивает на необходимости изменения самых основ внешней политики государей, которая должна быть «благородной и священной». «Пусть нам не говорят больше о низложенных королях, о разделах, о выгодах и даже о великих и малых государях: суверенитет ни велик, ни мал; он то, что он есть»[109].

В то же время в своей политической деятельности в Петербурге Местр не оставлял усилий в отношении «европеизации» России. С особенным рвением он и его соратники-иезуиты начали осуществлять намеченные ими задачи в годы 1814—1815.

Местр не был пионером в деле распространения католицизма в среде русской аристократии. По свидетельству С. П. Свечиной, он был «великий сеятель, но не первый». Первым был, по ее словам, французский эмигрант, бывший морской офицер, кавалер Огар, эмигрировавший в 1791 г.[110]. «Этот кавалер Огар... один из первых безумцев в Европе,—писала Екатерина II Гримму,—молю бога, чтобы он не оказался, кроме того, одним из величайших шарлатанов»[111]. С 1796 г. Огар жил в Петербурге, где занимал пост помощника директора Императорской библиотеки. Под его влиянием в католицизм обратились графиня В. Н. Головина, фрейлина Елизаветы Алексеевны, ее две дочери и княгиня Александра Петровна Голицына, известная под именем «princesse Alexis». Последняя, у которой Местр, по его словам, был «чудесно» принят, обратила в католицизм своего сына и дочь[112]. Под влиянием жившей у Головиной бывшей статс-дамы Марии-Антуанетты, принцессы Тарентской, «обратились» графиня М. А. Воронцова и графиня А. И. Толстая, жена обер-гофмаршала Н. А. Толстого.

Политическая идеология «обращенных» дам очень ясно вскрывается в интересных воспоминаниях Головиной. Лучшие главы этих воспоминаний, несомненно, те, в которых описывается блестящая, праздная жизнь

двора в Царском селе и Петергофе при Екатерине. Не менее интересна характеристика павловского режима. Это «режим террора», время Аракчеева—«личности, поднятой императором из ничтожества и ставшей исполнителем всех его жестокостей». Уже тогда любимым обществом Головиной становятся французские эмигранты. Ее лучший друг—принцесса Тарентская. Режим Негласного комитета для нее—«эксцессы свободы». Попав в Париж, Головина поселяется в Сен-Жерменском предместье и не признает иного общества, кроме общества «дам старого режима». На предложение русского посла представиться первому консулу она отвечает резким

МИХАЙЛОВСКИЙ ЗАМОК

Рисунок тушью Н. Чернецова, 1823 г.

„Я посетил Михайловский замок, который Павел I выстроил себе в целях безопасности и в котором прожил 40 дней,—комнату, где он был убит..."—записал Местр в дневнике 28/16 июня 1804 г.

Русский музей, Ленинград

отказом ехать ко двору «короля Пето». Перешедший на службу к новому режиму гр. Сегюр тщетно пытается в разговоре с ней сопоставить террор Робеспьера с террором Павла. Для нее Павел—«законный государь, благородный и великодушный», а Робеспьер—«преступный деспот и глава разбойников». Наблюдая произведенный революцией переворот в общественных отношениях, она видит только грубые манеры представителей нового общества и уверяет, что даже народ «удивляется манерам нового режима»[113].

Русский народ для Головиной просто не существует. Она его не знает и им не интересуется. Ее среда—среда международной легитимистской аристократии. И, по свидетельству хранителя католических традиций русской знати, иезуита Гагарина, ее салон был одним из «очагов католической жизни» в Петербурге[114]. Местр был в числе постоянных посети-

телей этого салона. Еще в конце 1809 г. он писал Блакасу: «Мои связи все почти те же: попрежнему задушевная дружба с графиней Г[оловиной]. Я мало-помалу привык к мрачному виду принцессы Тарентской. Она, со своей стороны, очень милостива ко мне»[115].

Анна Ивановна Толстая была проникнута теми же взглядами. Именно к ней Местр и обратился со своими известными двумя письмами, озаглавленными: «Lettre à une dame protestante sur la maxime qu'un honnête homme ne change jamais de religion» (9 décembre 1809) и «Lettre à une dame russe sur la nature et les effets du schisme et sur l'unité catholique» (8 février 1810)[116].

Приемы и методы пропаганды Местра были различны, как различна была его манера держать себя в обществе. Это очень хорошо подметил А. С. Стурдза. По его словам, этот «государственный, кабинетный и салонный муж не имел равного себе в аристократическом обществе, в котором он господствовал. Все превращалось в слух, когда, сидя в кресле с высоко поднятой головой, со своей широкой зеленой лентой ордена св. Маврикия и Лазаря, спускавшейся на грудь, с крестом, по виду похожим скорее на монашеский, чем на светский, граф де Местр отдавался ясному потоку своего красноречия, смеялся от души, изящно приводил доводы и оживлял беседу, руководя ею». Как рассказывает Стурдза, в салонах Свечиной и Головиной Местр совсем не стеснялся, но у людей, подобных Чичагову, он умерял свое красноречие и изысканно метал стрелы против неверия. У Томары он был «в меру» интеллигентен и блистал своими знаниями[117].

Количество «обращений» в 1814—1815 гг. принимало угрожающий характер. 27 мая 1815 г. Местр сообщал иезуиту Витри об «обращении» молодого князя Голицына, племянника обер-прокурора Синода, А. Н. Голицына.

31 августа он уже писал, что в этих «обращениях» обвиняют иезуитов и что А. Н. Голицын «сильно обеспокоен»[118]. Все это кончилось, как известно, указом 20 декабря о высылке иезуитов из Петербурга и Москвы.

Руэ де Журнель утверждает, что иезуиты не были повинны в большинстве «обращений», ссылаясь в доказательство на письмо Бржозовского к Местру. Там говорится, что ни один из учеников пансиона и никто вне его не был распропагандирован иезуитами. Но, если кто-либо сам обнаруживал желание «обратиться на путь истины», то что̀ должны были делать иезуиты, когда такие лица обращались к ним? Во всяком случае, орден, как таковой, и генерал ордена тут не при чем[119].

Существуют, однако, иные данные, свидетельствующие об активной роли иезуитов. Их дает сама католическая литература. По словам иезуита Гагарина, каждая из «обращенных» переписывала собственноручно и хранила потом у себя рукопись, состоявшую из копии двух упомянутых «писем» Местра к гр. А. И. Толстой и двух писем Розавена. Это и была католическая агитационная литература.

Письма Розавена очень любопытны. Он атаковал русскую церковь с двух сторон. Прежде всего: кто глава этой церкви? Его нет, заявлял Розавен. Если Россия распадется на части, у нее не будет никакого церковного главы, так как тогда «каждый государь претендовал бы, без сомнения, на такую же власть над церквами в своих владениях, какую теперь имеет император над церковью империи».

Вторая слабая сторона русской церкви—ее духовенство. «В России духовенство состоит исключительно из людей, происходящих из самого низкого класса». «...Неверно, что Христос брал апостолов только из бедных. Павел не был бедняком. Вначале надо было возвысить смиренных, но потом, когда цари преклонились перед церковью, духовенство должно было пополняться из людей, выделявшихся происхождением, должностями, личными качествами». Почему же русские «хотят иметь священниками только людей, которые были их рабами?»[120].

Освобождение церкви от главенства царской власти и аристократический состав иерархии—вот лозунги, выставленные иезуитами для «обращенных» аристократов. Если к этому прибавить программу «европеизации» самодержавия, изложенную в «Quatre chapitres», то станет ясным, что Местр и иезуиты работали над созданием ультрареакционной аристократической фронды, независимой от господствующей церкви и ее главы—царя.

Изгнание иезуитов было предрешено. Оно требовалось всей изменившейся обстановкой. В 1811—1812 гг., перед войной с Наполеоном, они были нужны. Теперь они были опасны. Опасен становился и Местр.

Мы указывали выше, что Реставрация сделала его одним из вождей правой оппозиции сложившемуся в 1814 г. европейскому порядку. Вся эта правая оппозиция была ультрамонтанской, а ультрамонтанство получило международное значение.

С падением Наполеона папство стало энергично возвращать свои позиции. 7 августа 1814 г. буллой папы Пия VII был восстановлен орден иезуитов,—как писал папа своему статс-секретарю, кардиналу Консальви,—«под аплодисменты всех добрых», несмотря на гнев «философской и янсенистской шайки»[121]. «Добрые», действительно, аплодировали. 16 ноября Бональд писал Местру, что около русского императора находится «опасный человек, швейцарец по происхождению, великий сторонник писанных конституций», что в Европе атеизм спущен с цепи и стремление уничтожить католицизм дошло до крайнего предела. Но, к счастью, в центре последнего посеяно зерно, которое «может сделаться большим деревом: иезуиты восстановлены в Риме». Но им теперь надо иметь лопатку каменщика в одной руке и меч—в другой[122].

Критическое отношение к политике русского императора, выразившееся в суждениях Местра и Бональда о Венском конгрессе, обозначилось еще резче после вторичного низложения Наполеона. 27 июля 1815 г. Местр в депеше графу Валезу указывал на необходимость для государей в данный момент беречься заражения революционным духом. «Революционный дух маскируется под видом философского духа, а под этой маской он весьма обольстителен». Как в начале революции иные аристократы поддались влиянию революционных идей, так теперь иные государи увлекаются «мнимой славой стать выше предрассудков... и показаться миру в облике государей-философов, т. е. государей, одураченных страшной сектой, которая аплодирует им только для того, чтобы их погубить». «Философский дух» некоторых государей сказывается в «конституционной мании», которая играет на-руку революционерам. Между тем, задача дня—полное и беспощадное подавление революционного духа[123].

Кроме «конституционной мании», которая была одним из приемов внешней политики Александра I, искавшего поддержки европейского общественного мнения и малых государств против Австрии, Местр резко по-

рицает и религиозную политику русского императора. В декабре 1812 г. было организовано Библейское общество, официальной целью которого был перевод на русский язык и распространение библии, а фактической—сближение церквей на почве «универсального христианства», как теперь называлось то, что в молодости Местра именовалось «трансцендентным христианством», и перевоспитание на основе этой идеологии русского дворянства. Мистицизм привлекался в качестве орудия и против революционного вольнодумства и против церковного фанатизма. В Библейское общество были приглашены представители духовенства различных исповеданий, в том числе Сестренцевич и Бржозовский. Последний отказался, указав на несоответствие принципов общества духу католицизма. Сестренцевич, напротив, охотно согласился. Местр, одобрив решение Бржозовского, назвал Библейское общество «социнианской машиной, установленной для ниспровержения всякой церковной организации»[124].

14/26 сентября был подписан договор о Священном союзе, приглашавший государей признать себя главами семейств «единого народа христианского» и править в духе «священного писания». Как определил несколько позднее этот акт официальный публицист А. С. Стурдза, он был направлен одновременно «против неверия и фанатизма»[125]. Одновременно с этим официоз министерства внутренних дел «Северная Почта» вел пропаганду «конституционно-монархических правил», защищал «благоразумную свободу тиснения» и нападал на французских ультрароялистов[126].

Первоначальное суждение Местра об учреждении Священного союза было не очень враждебно. Дух, продиктовавший этот акт,—пишет де Местр,—«не католический, не греческий, не протестантский; это особый дух, который я изучаю вот уже тридцать лет». «Он настолько же хорош в отделившихся вероисповеданиях, насколько дурен у нас»,—повторяет он свое старое суждение о французских иллюминатах. Если это суждение не враждебно, то оно и не дружественно. Это—холодное недоумение[127]. Но ультрамонтанская реакция имела свою программу международной организации Европы и не скрывала ее. В 1815 г. она была опубликована в брошюре Бональда «Réflexions sur l'intérêt général de l'Europe»[128].

Программа ультрамонтанской партии—это федерация «европейских», т. е. дворянских и католических, монархий под главенством папы. И об этой программе не только писали, за нее боролись.

Но, если программа европейской федерации под главенством папы в чистом виде для XIX века могла казаться нелегко осуществимой самому Бональду, если предполагать, что папа сможет теперь сыграть свою старую роль главы государей, было несколько смело, то что же реального несла за собой эта программа?

На Венском конгрессе представитель папы, кардинал Консальви, по выражению историка, «толкался в передней» и жаловался находившимся в аналогичном положении представителям малых держав на жалкую участь папского престола, которому Австрия не возвращает легатств[129]. Тем не менее, при встречах своих с уполномоченными держав-руководительниц Консальви беседовал с ними на тему о необходимости борьбы с революцией, которая, по его словам, «бродит на самом конгрессе», и указывал, что французская конституционная хартия и свобода печати являются сильным оружием в руках революции[130]. Уже этими выступлениями Консальви боролся против политики Александра I, видевшего в хартии

В. Н. ГОЛОВИНА
Автопортрет, масло
Собрание Ланскаронского, Вена

одно из наиболее надежных средств против революции. Венский конгресс вернул папе легатства, сохранив в Ферраре и Комаччио австрийские гарнизоны. Консальви ответил нотой протеста, на которую конгресс не обратил внимания[131]. Несмотря на это, а, может быть, именно поэтому после конгресса Австрия, в лице Меттерниха, всецело подчинила себе папский престол. Меттерних внушал Консальви, что «интимное согласие, существующее между нашими двумя правительствами, будет могучей опорой делу покоя, и „врата адовы“ будут бессильны против этого согласия». Вопросы русской политики, особенно религиозной, также служили предметом переписки Меттерниха с Консальви. И Меттерних имел полное право говорить, что Консальви предан Австрии и считает полное единение с нею необходимым «для обеспечения порядка в Италии и сохранения самого папского правительства»[132].

Если, таким образом, папа был орудием австрийской политики, то и идеи ультрамонтанской партии целиком шли на пользу именно этой державе, которая с 1815 г. повела последовательно борьбу с «либеральной» фразеологией русского императора. При таком политическом положении, когда орден иезуитов становился снова международной организацией и орудием враждебной России политики, когда созданному Александром I Священному союзу противопоставлялась федерация с папой во главе,—терпеть в России пропаганду и пропагандистов католицизма было бы, по меньшей мере, странно. С этой именно точки зрения изгнание иезуитов было необходимо.

Указ об изгнании иезуитов было поручено написать Шишкову. Главным деятелем в проведении этой меры был А. И. Тургенев[133]; в бумагах его сохранились копия «Cinq lettres sur l'éducation publique» Местра и письмо к неизвестному лицу, в котором Тургенев делится своими воспоминаниями

об этом деле. По его словам, после указа о преобразовании Полоцкой коллегии в академию «Бржозовский пришел ко мне благодарить за успех, которому я ни в какой мере не содействовал. Я ему ответил: это начало конца. Вы теперь натворите таких вещей, что вас выгонят»[134]. Далее Тургенев мотивирует свое участие в деле изгнания: «Для меня не прозелитизм был истинным мотивом их изгнания, но скорей дурное состояние их школ, даже петербургской, и особенно положение 22 тысяч польских крестьян, принадлежавших им в качестве крепостных»[135].

А. И. Тургенев, принадлежавший в то время к группе «тористов», деятелей «Арзамаса», правая рука кн. А. Н. Голицына и секретарь Библейского общества, был для периода 1815—1817 гг. характерной фигурой правительственного курса, сочетавшего мистику с либеральной фразеологией[136].

Но вот как реагировали на указ его братья, уже в это время мечтавшие об организации тайного общества на манер «Тугендбунда». «Он [указ] нам очень понравился,—писал Н. И. Тургенев старшему брату,—в нем заметен в особенности тот благородный либеральный дух, коим наше правительство, то-есть государь, отличается от других»[137]. Аналогичным образом реагировали на указ европейские либералы, например, M-me де Сталь[138]. Даже орган высланных из Франции либеральных бонапартистов—«Nain Jaune réfugié» приветствовал русского императора[139].

Между тем, изгнание иезуитов вызвало большое возбуждение в салонах. Роль Местра ни для кого не была тайной. Уже через 8 дней после указа об изгнании секретарь императрицы Елизаветы Алексеевны, Н. М. Лонгинов, писал графу С. Р. Воронцову: «Министр Сардинии, граф де Местр, ханжа и более чем иезуит, обвинен в содействии этому прозелитизму; несомненно, что именно через него они были введены в наши лучшие дома». Позднее Лонгинов писал о Местре: «Жаль, что его не отправили вместе с иезуитами»[140].

О разговорах, которые велись в обществе по этому поводу, писала княжна Туркестанова Кристину: «Все католики раздражены против Библейского общества и приписывают ему намерения, которых оно, наверное, не имеет относительно нашей страны, принимая во внимание существующую в ней терпимость. Они выдумывают тысячу историй о Голицыне и Тургеневе и о всех тех, кто имеет что-либо общее с этими господами. Послушайте г-на де Местра, послушайте княгиню Голицыну, жену князя Алексея, и всех этих дам... они считают, что мы все находимся накануне принятия протестантизма»[141]. Действительно, Местр дал полную волю своему раздражению. Теперь он прямо объявлял, что идеи Священного союза заимствованы из протестантского источника. Изгнание иезуитов, по его мнению, нанесло смертельный удар католической церкви в России, но и православная церковь ничего от этого не выиграла; выиграли только протестантизм, социнианство и иллюминатство. Местр объявил войну и старому врагу иезуитов Сестренцевичу и Библейскому обществу. Опасность, писал он рагузскому архиепископу, особенно велика со стороны Сестренцевича: «Это он сказал однажды при дворе, увидев проходящего императора: вот мой папа». Местр пишет в Рим кардиналу Северолли, что Сестренцевич принимает участие в Библейском обществе, и прибавляет: «В сущности, это протестант, и этим все сказано». Во главе Библейского общества и всех дел в России стоят «самые страшные враги религии», это общество «воспламеняет даже головы, ему чуждые»[142].

Итог наблюдений Местра над Россией сводится к следующему. Перед ней стоят три опасности: 1) опасность поглощения гражданского состояния военным, которую он усматривает в политике Аракчеева и в военных поселениях, 2) опасность освобождения крестьян, 3) опасность религиозной революции, совершенной протестантизмом иллюминатством под маской «универсального христианства»[143]. Наиболее резко положение России Местр характеризует в депеше от 18/30 января 1816 г.: Россия—это «огромная армия, крестьяне и коронованный генерал! Нет больше дворянства, нет больше гражданского состояния! Внутри полная анархия...».

Положение Местра в Петербурге стало неудобным. Александр поручил одному из своих министров потребовать от него объяснений о роли, которая принадлежала ему в пропаганде католицизма в Петербурге. Местр ответил, что никогда он не способствовал «обращениям», но что, если некоторые из «обращенных» сами признавались ему,—«честь и совесть» не позволяли ему порицать их. После этого он был принят Александром. Император резко упрекал его за поддержку «этих господ», говорил о своей вере в объединение всех церквей и о своем презрении к вероотступникам и лишь в конце беседы заявил, что считает вопрос исчерпанным и никакого недовольства против него не имеет. Однако, Местр отнесся к этому заявлению с недоверием и послал королю просьбу об отозвании из Петербурга. П. И. Бартенев передает дошедший до него рассказ Местра брату об этом свидании. По образному выражению Местра, у царя «ноздри пылали огнем» («le feu lui sortait des narines»). Понятно, что заключительное заявление могло вызвать недоверие[144].

Недоверие это было вполне основательно. 7 апреля из Петербурга пошла депеша к русскому посланнику при сардинском короле, князю Козловскому, требовавшая отозвания Местра (текст депеши публикуется ниже).

Зимой 1816 г. в Москве его считали уже уехавшим. На запрос Кристина по этому поводу княжна Туркестанова отвечала: «Откуда вы взяли, что г-н де Местр покинул Петербург? Он не тронулся со своей Моховой улицы... Его дочери танцуют у лорда Каткарта, а что касается его самого, то он каждый вечер отправляется дремать в кресле у княгини Голицыной, жены князя Алексея»[145].

Местр покинул Россию в мае 1817 г. За границей он давно уже занял завоеванное им место одного из вождей ультрамонтанской партии. Эта партия не прекращала борьбы с политикой русского императора. В вышедшем в 1817 г. собрании сочинений Бональда провозглашалось, что Россия только тогда станет цивилизованной страной, когда она «вернется к центру единства» и ее религия, «став союзницей правительства и перестав быть его рабой, преисполнится бо́льшим достоинством»[146].

В 1819 г. вышло «Du Pape» Местра — итог многолетней работы. Здесь не только провозглашался идеал ультрамонтанства: папа, стоящий над государями, ограничивающий их власть и примиряющий их,—но и сводились счеты с Россией. Русская церковь объявлялась протестантской, русское самодержавие—лишенным облика «европейской монархии». Перед Россией,—говорил автор,—только две возможные перспективы: рабство или революция. Спасение ее только в католицизме[147].

По свидетельству французского посла в России, книга Местра сильно раздражила императора и была одним из поводов к окончательному изгнанию иезуитов из России, совершившемуся в 1820 г.

ДОМ НА НЕВСКОМ, ГДЕ ЖИЛА В. Н. ГОЛОВИНА. ЗДЕСЬ У НЕЕ ЧАСТО БЫВАЛ МЕСТР
Акварель неизвестного художника в альбоме В. Н. Головиной
Музей города, Ленинград

Своей деятельностью в России Местр верно служил идеям международной дворянской и католической реакции, знаменосцем которой он был.

Что касается деятельности его, как дипломата, то надо признать, что она потерпела фиаско. Он совершенно верно понимал интересы савойской династии, когда призывал ее ориентироваться на Россию, помня, что Франция—враг временный, а Австрия—постоянный. Но Наполеон был низвергнут. На Венском конгрессе савойская династия вернула свои старые владения и получила Геную. Однако, Австрия получила Ломбардию, ряд герцогств и подчинила своему влиянию папу. Соперничество между ней и Сардинским королевством было неминуемо. На Венском конгрессе Меттерних уверял сардинского представителя, графа Сен-Марсана, что он не питает никаких захватнических планов в отношении Италии, а хочет только ей «обеспечить длительный мир и... уничтожить дух итальянского якобинизма»[148]. То же говорил Меттерних и в Германии: и там и тут он боролся за сохранение мира и против либеральных и революционных идей и под этим флагом подчинял эти страны влиянию Австрии.

Савойская династия могла бы противодействовать этому влиянию, только подняв знамя независимости и объединения Италии. Но для этого надо было прежде всего пойти по пути реформ, сближения с буржуазией, развития производительных сил и привлечения к себе симпатий итальянского населения. Но в Савойе, Пьемонте и других землях королевства царила дикая реакция. Политика, намеченная Александром I в 1815 г., проводилась Каподистрией. Для борьбы с Австрией последний готов был поддержать Сардинию. «Идея итальянской независимости... могла бы

вам обеспечить много сторонников и причинить великое зло Австрии»,— сказал он сменившему Местра посланнику Брузаско[149]. Однако, русское самодержавие через несколько лет полностью капитулировало перед Австрией, а савойская династия была еще целиком связана с реакционным дворянством и не могла сблизиться с буржуазией.

Жозеф де Местр работал для дела международной реакции, работал для той самой Австрии, которую он ненавидел, как итальянский патриот. Выступая в России, а потом и вне ее в качестве носителя ультрамонтанской программы «европеизации» самодержавия, он вредил себе, как дипломату, ориентировавшемуся на Россию. Твердя постоянно о задачах савойской династии в Италии и об Австрии, как противнике этих задач, он не видел, что мешает их выполнению реакция.

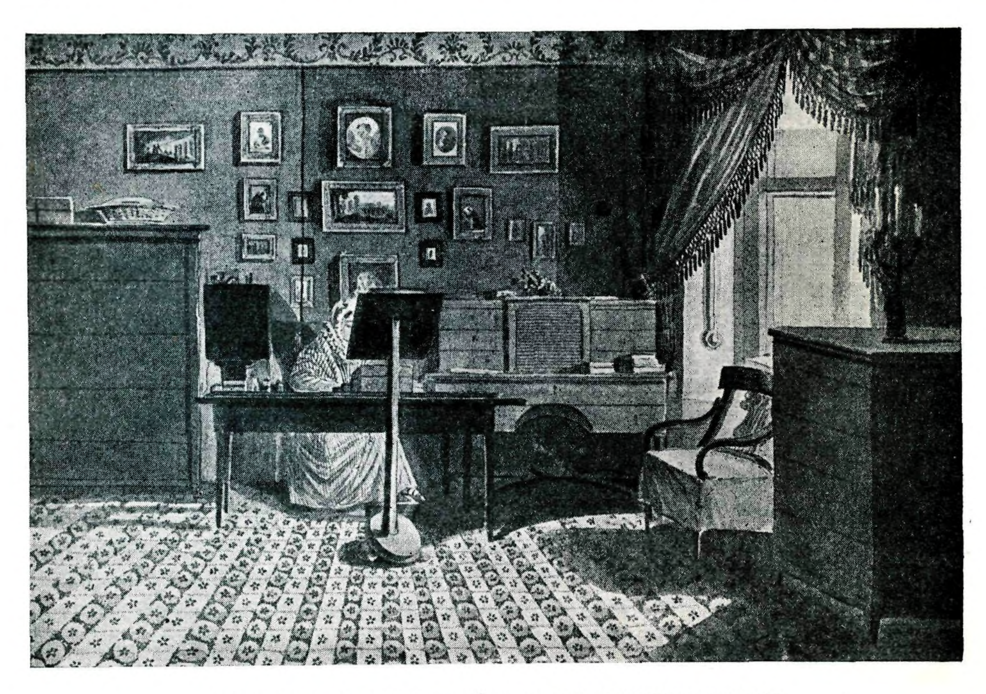
В 1821 г., когда в Пьемонте произошла революция, савойская династия прибегла за помощью к Австрии. Нужно было выбирать: или итальянская независимость и буржуазная конституция, или реакция и господство Австрии.

Смерть избавила Местра от этого выбора. Он умер, не осознав, что дело международной реакции и дело итальянской независимости были несовместимы.

IV

Мы указывали в начале нашей статьи, что влияние Местра распространялось и за пределы реакционных группировок.

В России,—если отвлечься от той узкой группировки, которая неудачно пыталась оформиться в виде русского ультрамонтанства, оставив после себя лишь единичных последователей, большею частью совсем порва-



КАБИНЕТ В. Н. ГОЛОВИНОЙ В ЕЕ ПЕТЕРБУРГСКОМ ДОМЕ
Акварель неизвестного художника в альбоме В. Н. Головиной
Музей города, Ленинград

вших с родиной,—можно отметить три главных периода влияния идей Местра.

Первый период—ближайшее десятилетие после наполеоновских войн, когда самодержавие, победившее силою русского народа Наполеона, оказалось бессильным в разрешении внутренних противоречий в стране. Тогда оппозиционные и революционные группировки прогрессивного дворянства заимствовали свои идеи из западно-европейского источника. Одни из них следовали при этом за буржуазными теоретиками Запада, другие, ставя перед собой, в основном, ту же задачу буржуазного перерождения России, в стремлении обеспечить своему классу руководящее положение в этом будущем строе, прислушивались и к голосам идеологов феодального прошлого. И Местр с его проповедью стихийности исторического процесса, с его резкой борьбой против рационалистического отрицания традиций прошлого, с его цельными идеалами, наконец, с его критикой русского самодержавия с аристократических позиций мог привлечь внимание этих идеологов.

Среди русских знакомых Местра был и молодой генерал М. Ф. Орлов. Он окончил пансион аббата Николя и имел связи среди петербургских католиков. В 1814 г., когда во Франции печаталось 2-е издание «Considérations sur la France», Местр послал Орлову первое издание своего труда. И молодой генерал, уже в то время мечтавший об организации тайного общества[150], был покорен. В письме к автору, возвращая ему его произведение, Орлов назвал последнее «единственной хорошей книгой о Французской революции из тех, которые ему пришлось прочесть». По его словам, «Moniteur Universel», этот документальный официоз эпохи, есть лишь «многотомное развитие» книги Местра. «Moniteur» можно иначе назвать «Сборник человеческой мудрости и свидетельство о ее бедности», так как там «записаны усилия людей действия и слова и ничтожность этих усилий». Книга Местра, по мнению Орлова,—блестящее подтверждение поговорки: человек предполагает, а бог располагает; она демонстрирует на примере истории Французской революции независимость дела общественного устройства от человеческой воли.

Таким образом, очевидно, в книге Местра привлекла внимание Орлова прежде всего религиозно-фаталистическая философия истории. Политически же, по его мнению, Французская революция есть прежде всего «величественный урок народам и королям. Это—пример, данный для того, чтобы ему не подражать»[151]. Надо подчеркнуть, что в дальнейшей своей деятельности Орлов эволюционировал влево и об общественных явлениях судил уже не как ученик Местра, а как типичный рационалист[152].

Гораздо более сильное влияние идеи Местра оказали на другого видного деятеля тайных обществ—М. С. Лунина. По своим социально-политическим симпатиям Лунин в тайном обществе был близок к группе представителей буржуазно-помещичьего либерализма (Н. И. Тургенев, Н. М. Муравьев, И. Д. Якушкин). Но либерализм в его мировоззрении как-то соединялся с католицизмом. Он видел в последнем ту воспитательную и организующую силу огромной исторической традиции, которой не могло создать новое буржуазное общество. Эти взгляды на католицизм, вероятно, первоначально были привиты Лунину Сен-Симоном, с которым он встречался во время своей жизни в Париже[153]. Но в дальнейшем несомненно и влияние «Du Pape» Местра. Впоследствии, уже в Сибири, в своей записной книжке Лунин писал, что в средние века папы «обузды-

вали страсти и сдерживали чрезмерные притязания государей», примиряя «противоречивые интересы дворов» и протягивая «оливковую ветвь мира между саблями соперничающих держав». Этот взгляд полностью соответствует воззрению Местра на папу, как международного арбитра и примирителя. Но выводы Лунина неожиданны. В православной церкви духовенство—«прислужники государя»; протестантство также вело к порабощению церкви светской властью. Напротив, католицизм воспитывал чувство независимости и даже «представительный порядок вещей... повсюду развился под влиянием католицизма»[154].

Крах революционного выступления 14 декабря 1825 г. и наступившая за ним новая эпоха открывают второй период влияния идей Местра в России. Неудача революционного опыта разрешения наболевших вопросов, казалось, подтверждала мысли идеолога реакции о безрассудности рационалистических методов преобразования, о нежизненности всякого рода писанных конституций, к каковым, конечно, можно было отнести и проекты декабристов. Влияние Местра на некоторых крупных представителей русской консервативной мысли эпохи несомненно. Декабризм последним должен был казаться, как Местру—писанные конституции,—искусственным вмешательством человеческого разума в закономерный ход исторического развития.

Со слов шурина Ф. И. Тютчева, К. фон Пфеффеля, известно, что поэт еще до своего отъезда за границу в 1822 г. «не избег» влияния «теократических идей, пущенных в обращение Жозефом де Местром», и «на всю жизнь сохранил его следы». По сведениям других неизданных источников, Тютчев восхищался де Местром и «постоянно его цитировал»[155].

Действительно, «цитаты» из Местра мы встречаем и в известных напечатанных письмах Тютчева к его второй жене[156]. Можно думать, что влияние Местра отразилось на стихотворении Тютчева «Декабристам», которые охарактеризованы поэтом, как «жертвы мысли безрассудной», уповавшие, что «станет» их «крови скудной, чтоб вечный полюс растопить». Их кровь только

«...сверкнула
На вековой громаде льдов,
Зима жемчужная дохнула
И не осталось и следов».

В своем политическом мировоззрении Тютчев обязан Местру, конечно, главным образом, идеей легитимизма, защиту которой он в своей работе «Россия и Германия» (1844 г.) считал основной задачей русской внешней политики, и убеждением в силе и живучести революции. И революцию Тютчев понимал в основном по Местру: это—восстание «человеческого я» против законов природы и истории. Как и Местр, Тютчев подчеркивает прежде всего антихристианский характер революции. Но в эпоху бурных революционных взрывов на Западе и «кладбищенской тишины» в России Тютчев, как и другие русские консерваторы, должен был противопоставлять революции не римский католицизм, а исторические устои России, в частности, православие[157].

Как известно, старый антагонист Местра, Уваров, когда-то в споре с ним опиравшийся на западные идеи, был творцом правительственной формулы с а м о б ы т н о г о развития России. И поэзия и публицистика Тютчева также постоянно подчеркивали «особенную стать» России.

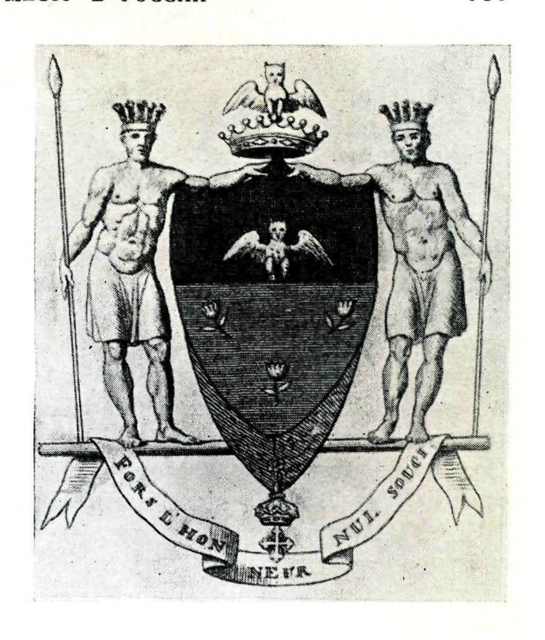
Иначе обстояло дело в кружках прогрессивного дворянства, близких к деятелям разгромленного движения. Здесь поражение восстания и устойчивость реакции вызвали потребность осмыслить исторические судьбы России, а вместе с тем, и стремление к построению философии истории. Шеллинг и немецкая идеалистическая философия, французские буржуазные историки эпохи Реставрации играли при этом роль главного духовного оружия. Но и Местру принадлежало здесь не последнее место. Его сочинения, посвященные России, тогда еще не были напечатаны, но «Cinq lettres» ходили по рукам в рукописи[158]. Как нам уже известно, в этом произведении Местр считает главными причинами отрыва России от западной цивилизации «схизму X века» и татарское иго. И эта мысль была использована теми русскими мыслителями, которые от «бессодержательности» и «бесперспективности» русского внутреннего развития апеллировали к традициям Запада. Таким мыслителем был Чаадаев. Нет сомнения, что его «Философические письма»—прежде всего письма по философии истории и, в частности, по вопросу о судьбах России. Опубликование неизвестных доселе «Писем» как будто решает вопрос о характере чаадаевского католицизма. Папство средних веков для Чаадаева—лишь отправной пункт в поисках идеала будущего. Идеал этот—«царство божие» не только на небе, но и на земле, ибо задача христианства—«установление совершенного строя».

Католицизм на Западе способствовал воспитанию общества и именно в свободном духе: «люди искали истину и попутно нашли свободу и благосостояние»[159]. Из напечатанного Д. И. Шаховским второго «Философического письма» известно теперь, что крепостное право Чаадаев продолжал ненавидеть, как в годы своей близости к декабристам, и существование его в России в значительной мере возлагал на ответственность православной церкви[160].

Но, несмотря на эти отличия, вряд ли можно сомневаться во влиянии Местра на Чаадаева. Взгляд на организующую роль папства и разъединяющее человечество действие реформации, объяснение отсталости и неподвижности русской жизни и самых недостатков русского характера влиянием «схизмы X века» целиком взяты у Местра[161]. Местра, Бональда, Ламенэ и Свечину называет «предтечами» Чаадаева А. И. Тургенев в письме к Пушкину[162].

Общественное значение деятельности Чаадаева, если не считать известного влияния первого его «Письма» на молодых западников, так ярко отраженного Герценом, еще не исследовано. Однако, кое-что можно уже здесь отметить. Одним из наиболее близких к Чаадаеву людей в 30-х годах был уцелевший декабрист М. Ф. Орлов, и именно с ним Чаадаев хотел вместе действовать[163]. В частности, социальная позиция близкого к ним «Московского Наблюдателя» с его «неприятием буржуазно-капиталистического прогресса» отражала настроения «европеизированных интеллигентских верхов землевладельческого дворянства»[164]. С другой стороны, с 1835 г. с Чаадаевым сближается приехавший из-за границы с рекомендацией от Шеллинга И. С. Гагарин. Он уже тогда увлекался католицизмом и, в частности, Местром и был распространителем первого «Письма» Чаадаева. Переехав в Петербург, Гагарин примкнул к «кружку 16», в котором участвовали гр. Ксаверий Браницкий, П. А. Валуев и другие представители аристократической молодежи. Здесь «все обсуждали с полнейшей непринужденностью и свободой», игнорируя существование III отделения.

ЭКСЛИБРИС ЖОЗЕФА ДЕ МЕСТРА
Гравюра Н. Уткина, 1814—1817 гг.
Частное собрание, Москва



Таким образом, вряд ли будет ошибкой сказать, что в 30-х годах идеи Местра и западной католической мысли имели немалое влияние на настроения аристократической оппозиции бюрократическому самодержавию.

Особо можно отметить В. С. Печерина, пришедшего к Местру и католицизму через сен-симонизм. По его словам, он стал читать «Soirées de Saint-Pétersbourg» под влиянием хвалебных отзывов сен-симонистской литературы об этом произведении и лишь постепенно «сжился и слюбился с Иосифом де Местром, привык к его слогу и идеям»[165].

Эпоха реформ—третий период интереса русского общества к идеям и произведениям Местра. Одной из причин этого интереса было появление в печати в 50-х годах ряда его, прежде неизвестных, произведений и писем. В 1851 г. вышли «Lettres et opuscules inédits», в 1858—письма к Чичагову, в 1859—«Quatre chapitres inédits sur la Russie», в 1858—1860—«Correspondance diplomatique». Все это—и, в особенности, высказывания о России—было особенно интересно в период напряженной борьбы классовых интересов вокруг реформ, о которых заходила речь еще во времена Местра.

Письма к Чичагову вызвали длинную, но поверхностную рецензию Ипполита Оже, попутно отозвавшегося и о «Lettres et opuscules»[166]. «Quatre chapitres inédits» были отмечены в кратких библиографических заметках М. Н. Лонгиновым и Ник. Книжником. Из них первый указал на то, что произведение Местра направлено «преимущественно против освобождения крестьян, к которому чувствовалось уже стремление 50 лет тому назад», а второго поразила тогдашняя покорность общественного мнения иезуитской пропаганде[167].

Крайне любопытен отзыв о «Correspondance diplomatique» Е. М. Феоктистова в 1861 г. Вслед за редактором рецензируемого издания Феоктистов превращает Местра в либерала. Он будто бы считал борьбу с новыми идеями безумной, ценил «либеральный образ мыслей» Александра I и мирился, как с «неизбежным несчастьем», с наступлением конституционного века. Он защищал рабство? Да, этого,—говорит рецензент,—Местр по своим «истинно-либеральным инстинктам» не должен был бы

делать, но его можно извинить «неведением того, о чем говорил он»[168]. Интересна эта новая попытка дворянской фронды опереться на Местра.

Совсем иначе о Местре отозвался орган радикальных демократов, «Современник». «Местр,—говорили здесь,—не блистает даже внешней стороной своих произведений», а по существу, он не оригинальный мыслитель и не искренно верующий католик, а защитник интересов дворянства, лицемер, использующий религию в этих интересах, партизан «священности палача». В заключение «Современник» указывал на живучесть идей Местра в реакционной среде, в частности, в статьях «Московских Ведомостей»[169].

Неудивительно, что при таком широком интересе к Местру его сочинения оказались в числе источников великой эпопеи Льва Толстого «Война и мир». Мнение «Современника» для Толстого, перед этим написавшего «Зараженное семейство», заостривщего основные тенденции своего романа против идей 60-х годов, не могло быть авторитетным.

Б. М. Эйхенбаум в своем исследовании изучил и отметил ряд почти цитатных заимствований Толстого из «Correspondance diplomatique». Самое имя Местра также упомянуто в романе: говоря о бессмысленности плана пленения отступающего Наполеона и его окружения, Толстой прибавляет, что так же думали «самые искусные дипломаты того времени (J. Maistre и другие)».

Знаменитый французский историк Альбер Сорель совершенно правильно указал на близкое сходство между взглядами Толстого на войну и рассуждениями в седьмом диалоге «Soirées de Saint-Pétersbourg». В этих рассуждениях подчеркнуты никчемность планов сражения и зависимость результата последнего от духа армии. И эти же мысли у Толстого накануне Бородинской битвы высказывает князь Андрей Болконский.

Но если всех этих рассуждений о «причинах» и «поводах», о «бесконечно-малых» и т. п. мы не найдем у Местра, то все же самая основа— фаталистическое понимание исторического процесса, отрицание политических и военных планов, насмешки над реформаторами (Сперанский) и стратегами—во многом взята Толстым именно у него. В своих «Considérations sur la France» Местр не уставал повторять, что «не люди ведут революцию, а революция употребляет людей», что «ни одно великое учреждение не рождается из рассуждения», что вообще устройство жизни и ход истории не зависят от человеческой воли[170]. В остальном Толстой с его отрицанием Запада и превознесением «народной правды» бесконечно далек от Местра.

Так, на разных стадиях развития русской мысли и литературы идеи Местра привлекали к себе внимание, оказывая, по существу, весьма различное воздействие на разные социальные группировки.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ПРИМЕЧАНИЯХ

Maistre, Oeuvres—	Oeuvres complètes de J. de Maistre, Lyon. Witte et Perrussel. 1884—1887. 14 vol.
Maistre, Carnets—	Les carnets du comte Joseph de Maistre. Livre-Journal. 1790—1817. Lyon—P., Emmanuel Witte, 1923, 1 vol.
Maistre, Mém. Pol.—	Mémoires politiques et correspondance diplomatique de J. de Maistre, avec explications et commentaires historiques par Albert Blanc. P., Librairie nouvelle, 1858, 1 vol.

Maistre, Lett. et Op.— Lettres et opuscules inédits du comte Joseph de Maistre précédés d'une notice bibliographique par son fils le comte Rodolphe de Maistre. P., A. Vaton, 1851, 2 vol., 2-me éd. P., 1853, 2 vol., 4-me éd., 1861, 2 vol.

Daudet— Ernest Daudet. Joseph de Maistre et Blacas. Leur correspondance inédite et l'histoire de leur amitié. 1804—1820. P., Plon, 1908. 1 vol.

Greppi— Joseph Greppi. Révélations diplomatiques sur les relations de la Sardaigne avec l'Autriche et la Russie pendant la première et la deuxième coalition tirées de la correspondance officielle et inédite des ambassadeurs de Sardaigne à Saint-Pétersbourg. P., Amyot, 1859, 1 vol.

Mandoul— J. Mandoul. Joseph de Maistre et la politique de la maison de Savoie. P., 1900, 1 vol.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Так, напр., сен-симонисты утверждали, что задачей новой эпохи, начало которой положил их учитель, является примирение идей Вольтера и Местра. См. «Изложение учения Сен-Симона (1828—1829)», перевод М. Е. Ландау, с предисл. В. П. Волгина. Госиздат, М.—Л., 1923, стр. 256 (серия «Предшественники современного гуманизма»).

[2] F. Vermale, L'activité maçonnique de J. de Maistre.—«Revue d'histoire littéraire de la France», 1935, № 1, pp. 72—76, и его же, J. de Maistre franc-maçon.—«Annales révolutionnaires», 1912. См. также литературу, указанную в этих работах.

[3] F. Vermale, Joseph de Maistre émigré, Chambery, 1927, pp. 29—35.

[4] О Малле дю Пане см. A. Sayous, Mémoires et correspondance de Mallet du Pan, 2 vol., P., 1851; F. Descostes, La Révolution française vue de l'étranger. 1789—1799. Mallet du Pan à Berne et à Londres d'après une correspondance inédite, Tours, 1897.

[5] Maistre, Oeuvres, IX, pp. 58, 171.

[6] Maistre, Mém. Pol., pp. 1—3.

[7] Mandoul, pp. 253—254, 267, 299, 311—317 et 330.

[8] F. Vermale, Notes sur Joseph de Maistre inconnu, Chambery, 1921, pp. 47—61.

[9] Linguet, Oeuvres, t. III, Théorie des loix civiles, т. l, Londres, 1774, pp. 41, 59; «Annales politiques, civiles et littéraires du XVIII-e siècle», 1777, pp. 92—94.

[10] Ibid., pp. 20—24.

[11] «Annales», t. VII, 1779, pp. 325—382.

[12] Maistre, Oeuvres, IX, p. 79.

[13] Maistre, Lett. et Op., éd. 1861, I, p. 29.

[14] Maistre, Mém. Pol., p. 118.

[15] Maistre, Lett. et Op., I, pp. 324—325.

[16] «Correspondance diplomatique de J. de Maistre. 1811—1817», recueillie et publiée par A. Blanc, P., 1860, II, pp. 205, 258—259, 321—322.

[17] Bonald, Oeuvres, édit. 1817, X, pp. 184—185; Bonald, Pensées sur divers sujets et discours politiques, P., 1817, t. I, pp. 5—6.

[18] F. Lamennais, Oeuvres complètes, P., 1844, t. I, pp. 280 et 311.

[19] Maistre, Lett. et Op., I, p. 31.

[20] Greppi, pp. 142, 158.

[21] «Сборник Имп. Рус. Ист. Общ.», т. 70, стр. 132.

[22] В. к. Николай Михайлович, Граф П. А. Строганов, т. II, стр. 69—71.

[23] Мартенс, Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россией с иностранными державами, т. XIII. Трактаты с Францией 1717—1807. СПБ. 1902, стр. 267—268.

[24] См. рескрипты Моркову от 4/16 ноября и от 8/20 ноября 1801 г. и ноту Моркова от 16/28 ноября.—«Сборник Имп. Рус. Ист. Общ.», т. 70, стр. 287, 291 и 295—297.

[25] Там же, стр. 384—385. Еще более ясно высказался Наполеон в письме к гр. Сен-Марсану от 29 августа 1802 г. Заявив здесь, что Пьемонт необходим Франции, пока Австрия владеет Венецией, он указал, что восстановление короля, который в качестве соседа четырех более могущественных, чем он, республик был бы предметом смут для Европы, нежелательно. См. «Correspondance de Napoléon I, publiée par ordre de l'Empereur Napoléon III», P., 1858—1869. Plon et Dumaine, t. VIII, p. 15.

[26] Mandoul, p. 48.

[27] «Сборник Имп. Рус. Ист. Общ.», т. 70, стр. 554—555, 581—583, 611—613, 622—623; т. 77, стр. 5—6, 38.

[28] Maistre, Carnets, pp. 135—136.

[29] Maistre, Mém. Pol., p. 97.

[30] Ibid., pp. 99 et 101.

[31] Ibid., pp. 102—103. В «Carnets» отмечены два разговора с английским послом в 1803 г.—21 июля и 15 октября. См. Carnets, pp. 162—163.

[32] Maistre, Mém. Pol., p. 104, и Maistre, Oeuvres, IX, pp. 249—250.

[33] Mandoul, p. 115.

[34] Maistre, Oeuvres, IX, p. 159, и Mandoul, pp. 115—116.

[35] Maistre, Oeuvres, IX, pp. 130—132 и 151—152.

[36] Maistre, Lett. et Op., I, pp. 46—48.

[37] «Correspondance de Napoléon», IX, p. 529.

[38] «Mémoires du prince Adam Czartorysky», P., 1887, II, pp. 29—30. Проект договора с Францией, посланный Новосильцову, также предусматривал полное восстановление и увеличение владений сардинского короля.—«Сборник Имп. Рус. Ист. Общ.», т. 82, стр. 64 сл.

[39] Czartorysky, pp. 62—63.

[40] Maistre, Oeuvres, IX, p. 504.

[41] Нота от 17/29 апреля 1806 г. См. ниже в главе «Из дипломатической переписки Жозефа де Местра».

[42] Maistre, Oeuvres, X, p. 177 et 196.

[43] Maistre, Lett. et Op., I, pp. 139—145 et 151—153.

[44] Maistre, Carnets, p. 182.

[45] Maistre, Oeuvres, X, p. 485.

[46] Местр посетил спальню Павла в Михайловском дворце 16 июня ст.ст. 1804 г. и «от служителя в императорской ливрее» узнал все подробности убийства. См. Maistre, Carnets, pp. 165—166; Maistre, Mém. Pol., pp. 267—268.

[47] Maistre, Oeuvres, X, pp. 494—495.

[48] Maistre, Mém. Pol., pp. 264—267.

[49] «Рус. Старина», 1899, IX, стр. 548—549.

[50] Maistre, Oeuvres, IX, pp. 239—240.

[51] «Рус. Старина», 1903, II, стр. 220.

[52] В. к. Николай Михайлович, Император Александр I, т. I, СПБ. 1912, стр. 463 (донесение австрийского посла гр. Сен-Жюльена от 16/28 сент. 1811 г.).

[53] «Рус. Старина», 1902, V, стр. 236.

[54] Maistre, Oeuvres, X, pp. 120—122.

[55] Maistre, Mém. Pol., pp. 116 et 304.

[56] «Рус. Старина», 1873, I, стр. 44.

[57] Там же, 1880, XII, стр. 813—814.

[58] Шильдер, Имп. Александр I, т. II, стр. 350.

[59] Maistre, Oeuvres, XI, pp. 393—394, 395—396, 450, 464.

[60] «Lettres inédites du comte Joseph de Maistre». A. Clusel, libraire-éditeur. St.-Pétersbourg, 1858, pp. 32 et 42—47. Это первое издание писем к Чичагову, подлинники которых хранятся в рукописном отделении Публичной библиотеки в Ленинграде.

[61] Maistre, Mém. Pol., pp. 99, 158—162, 165—167, 168—169; Lett. et Op., I, pp. 232 et 80; Carnets, pp. 164—165, 167, 171—172, 178—179, 183—186 etc.

[62] Maistre, Oeuvres, X, p. 133.

[63] Maistre, Carnets, pp. 166—167.

[64] Maistre, Mém. Pol., pp. 199—200.

[65] В. к. Николай Михайлович, Дипломатические сношения России и Франции по донесениям послов императоров Александра и Наполеона 1808—1812, т. I, СПБ. 1905, стр. 49.

[66] В одном из своих писем (19 января 1809 г.) Местр указывает, что по отношению к Наполеону существуют две крайних точки зрения. Одна считает его власть и династию окончательно упроченными и потому законными, что вносит в мир «ложные и опасные принципы». Другая квалифицирует его, как преступного авантюриста, о котором не стоит говорить. Обе точки зрения ошибочны, вторая, пожалуй, в еще большей степени, чем первая. Нельзя называть узурпатором и авантюристом «необыкновенного человека, владеющего тремя четвертями Европы, заставившего всех государей признать себя, породнившегося с тремя или четырьмя династиями государей и взявшего в течение пятнадцати лет больше столиц, чем величайшие полководцы взяли городов в течение своей жизни». «Наполеон—великое и страшное орудие провидения». Попутно Жозеф де Местр выражает свое согласие с мнением, что «первым достоинством политика является уменье изменять свои мнения» (Maistre, Lett. et Op., I, p. 200).

[67] Maistre, Carnets, p. 183; Maistre, Oeuvres, X, pp. 509—513.

[68] Maistre, Mém. Pol., pp. 288—290—291; Carnets, p. 186.

[69] Maistre, Oeuvres, XI, pp. 117—118; в. к. Николай Михайлович, Диплом. сношения, II, стр. 173 и 370.
[70] Maistre, Oeuvres, XI, p. 50.
[71] Maistre, Lett. et Op., I, pp. 209—216.
[72] Maistre, Oeuvres, XI, pp. 38—41 et 328.
[73] Maistre, Oeuvres, XI, pp. 378—379, 291—292, 175—176, 400.
[74] Maistre, Lett. et Op., I, pp. 228—229 et 254.
[75] P. Pierling, La Russie et le Saint-Siège, т. V, P., 1912, p. 52.
[76] «Старина и Новизна», XVI, стр. 139—143 и 173—174.
[77] Godlewsky, Monumenta Ecclesiastica Petropolitana, Petropolis, 1909, I, pp. 57—61.
[78] Rouët de Journel, Un collège des Jésuites à Pétersbourg, P., 1922, pp. 67, 93, 136.
[79] Pierling, op. cit., p. 340. Письмо Грубера кардиналу Консальви.
[80] Ibid., p. 364.
[81] Maistre, Carnets, p. 168.
[82] Maistre, Lett. et Op., éd. 1851, II, pp. 299—362.
[83] Архив братьев Тургеневых в Институте литературы АН СССР, № 1154/14.
[84] Maistre, Oeuvres, XI, p. 493.
[85] «Воспоминания К. С. Сербиновича».—«Рус. Старина», 1896, № 9, стр. 575.
[86] «Рус. Старина», 1902, № 3, стр. 496—497.
[87] Maistre, Carnets, p. 193.
[88] Tolstoy, Le catholicisme romain en Russie, II, p. 461.
[89] «Журналы Комитета Министров», т. II, 1810—1812. СПБ. 1891, стр. 257—258.
[90] Maistre, Carnets, p. 194.
[91] Maistre, Oeuvres, XII, pp. 80—81.
[92] Это, конечно, направлено против опубликованного, по мысли Сперанского, указа об экзаменах на чины.
[93] Это сделано, напр., в соч. аббата Баррюэля, Abrégé des mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme, 1-re éd., 1806.
[94] Maistre, Quatre chapitres inédits sur la Russie, publ. par son fils le comte Rodolphe de Maistre, P., 1859.
[95] Maistre, Oeuvres, XII, p. 91—96; Maistre, Carnets, pp. 194—195.
[96] Maistre, Oeuvres, p. 111.
[97] Ibid., pp. 126—134.
[98] О «восстановлении» Польши, как проблеме дня, Александр писал Чарторыйскому 1 апреля. См. Czartorysky, Mémoires, II, pp. 279—284. Рус. пер., II, стр. 257—263.
[99] «Correspondance diplomatique de J. de Maistre. 1811—1817», recueillie et publ. par A. Blanc, P., 1860, I, p. 107. В «Oeuvres compl.» этого письма нет.
[100] F. Vermale, J. de Maistre émigré, pp. 109—117.
[101] «Mémoires tirés des papiers d'un homme d'état», XI, p. 346.
[102] Freiherr von Stein, Briefwechsel, Denkschriften und Aufzeichnungen. Im Auftrag der Reichsregierung der Preussischen Staatsregierung und des Deutschen und Preussischen Städtetages bearbeitet von Erich Botzenhart, Berlin, 1931, B. IV, S. I.
[103] Депеша от 2/14 июня 1813 г. напечатана в «Архиве кн. Воронцова», XV, стр. 483—506; Maistre, Oeuvres, XII, pp. 277—278 et 304.
[104] Ibid., pp. 281—282.
[105] Ibid., pp. 321—336 et 351—352.
[106] Ibid., pp. 420—423, письмо от 19 апр. 1814 г.
[107] Письмо Местра к Паулуччи напечатано в «Русском Архиве», 1886, II, стр. 109—111.
[108] F. Vermale, op. cit., pp. 149—154.
[109] Maistre, Lett. et Op., I, pp. 296—298.
[110] Falloux, Madame de Swetchine. Sa vie et ses œuvres, P., 1860, I, p. 30.
[111] «Сборник Имп. Рус. Ист. Общ.», XXIII, стр. 667.
[112] Gagarine, Le salon de la comtesse Golovine, Lyon, 1879, p. 7; «Русские Портреты», I, стр. 75; II, стр. 24; «Рус. Старина», 1900, XII, стр. 634—635.
[113] «Souvenirs de la comtesse Golovine», 3-me éd., P., 1900.
[114] Gagarine, op. cit., p. 5.
[115] Daudet, p. 106.
[116] Maistre, Lett. et Op., éd. 1851, II, pp. 273—281 et 282—298.
[117] Alexandre Stourdza, Oeuvres posthumes, т. III, P., 1859, pp. 171 et 178—179.
[118] Maistre, Lett. et Op., I, pp. 336 et 353.
[119] Rouët de Journel, op. cit., p. 271 et suiv.
[120] Rosaven, L'église russe et l'église catholique, P., 1876, с предисловием Гагарина, которое мы цитировали выше.

[121] Consalvi, Mémoires, 2-me éd., P., 1866, I, pp. 86 et 88.
[122] Maistre, Oeuvres, XIV, p. 306.
[123] Ibid., XII, pp. 112—113.
[124] Ibid., p. 149.
[125] «Conservateur Impartial», 1817, № 36, 4 mai.
[126] «Северная Почта», 1816, №№ 41, 65 и 75.
[127] Maistre, Oeuvres, XIII, p. 162 et suiv.
[128] Bonald, Réflexions sur l'intérêt général de l'Europe, P., 1815, pp. 8—9, 11—15, 49—50 et suiv. Брошюра начиналась с критики Венского конгресса. Задачей конгресса было не устройство новых дележей территории, а восстановление европейского порядка на основах, существовавших до XVI века. Этими основами были религия и монархия. Тогда если и бывали войны, то они не угрожали независимости народов и часто прекращались «вмешательством главы церкви, общего отца всех христианских народов». Только реформация породила войны ненависти, и тогда стали возникать проекты равновесия. Самыми интересными из них были проекты Генриха IV и Лейбница. Эти проекты «ставили во главе христианства, в качестве арбитра и миротворца, общего отца христиан; и хотя осуществление этого проекта христианской республики было бы трудно, чтобы не сказать невозможно, хотя нельзя было бы заставить признать политическое господство главы церкви ту часть Европы, которая не признает даже его религиозного главенства,—надо остеречься от отбрасывания с презрением проекта, который казался осуществимым Генриху IV и Лейбницу». Указав далее, что в интересах мира не следовало ослаблять Францию, а надо было сохранить за нею левый берег Рейна и Бельгию, Бональд настаивает на укреплении власти и значения папы. Только из Рима придут порядок и мир. Все правительства должны работать для восстановления «на прежних основаниях этой колонны, на которой покоятся судьбы Европы». Язычники сделали Дельфийский храм местом прибежища и мира. Пусть же христиане уважают при своих распрях «эту священную землю», пусть знамена склонятся «перед этим величественным храмом, святилищем истины, цитаделью общественного порядка». В заключение Бональд настаивал на укреплении в интересах общего порядка роли и значения дворянства.
[129] A. Debidour, Histoire diplomatique de l'Europe, P., 1891, I, p. 25. См. также дневник швейцарского представителя на Венском конгрессе: «Journal de Jean-Gabriel Eynard, publié avec une introd. et des notes par Ed. Chapuisat», 2-me éd., P.—Genève, 1914, pp. 17—18.
[130] Consalvi, Mémoires, I, pp. 22—28.
[131] Angeberg, Le congrès de Vienne et les traités de 1815, 2-me partie, pp. 1428 et 1450; Metternich, Mémoires, documents et écrits divers, t. VII, P., 1883, pp. 469—470.
[132] Consalvi, Mémoires, I, pp. 126—127 (письмо Меттерниха от 11 июля 1819 г.); ibid., pp. 137—139 (письмо Меттерниха от 22 ноября 1820 г.); ср. Metternich, Mémoires, III, p. 81.
[133] Письмо от 27 февр. 1816 г. (неизд.)—Архив братьев Тургеневых в Институте литературы АН СССР, № 382, л. 137.
[134] Эти слова известны были до сих пор в передаче Henri Lutteroth, автора книги «La Russie et les Jésuites de 1772 à 1820», Paris, 1845, p. 17. Книга эта приписывалась Н. И. Тургеневу.
[135] Архив братьев Тургеневых, № 644 (неизд.).
[136] Характеристику и оценку роли и воззрений А. И. Тургенева в этот период см. в статье «Братья Тургеневы и дворянское общество Александровской эпохи», в томе «Писем Н. И. Тургенева к С. И. Тургеневу», ИЛИ АН, Л., 1936, стр. 8—14.
[137] Письмо от 13/26 янв. 1816 г. (неизд.).—Архив бр. Тургеневых, № 2617, л. 88.
[138] См. ее письмо к Александру I от 26 февр. 1816 г., напечатанное в приложениях к соч. Шильдера, Имп. Александр I, IV, стр. 493. «Я не перестаю следить за вашими политическими делами, государь,—писала M-me де Сталь Александру I,—с интересом и почтением, которыми моя душа полна по отношению к вам. Я любуюсь вместе со всей Европой вашей польской конституцией, вашим указом об иезуитах, и мне чудится великое и прекрасное стремление к терпимости в декларации трех держав различных религий, но всех трех—христианских».
[139] «Nain Jaune réfugié», Bruxelles, 1816, pp. 15—16.
[140] «Архив кн. Воронцова», XXIII, стр. 358 и 372.
[141] «Ferd. Christin et la princesse Tourkestanow». Lettres, II. Moscou, 1883, p. 464.
[142] Maistre, Oeuvres, XIII, p. 224; Maistre, Lett. et Op., I, pp. 398—399, 421, 438—439.
[143] Maistre, Oeuvres, XIV, p. 25; XIII, p. 226.

[144] Maistre, Lett. et Op., I, p. 419. Maistre, Oeuvres compl., XIII, pp. 280—284 et 293—294. «Рус. Архив», 1866, стр. 1492.

[145] «Ferd. Christin et la princesse Tourkestanow». Lettres, I. Moscou, 1882, p. 443.

[146] Bonald, Oeuvres, P., 1817, IV, p. 196.

[147] Maistre, Oeuvres, II, pp. 413—414 et 445—446.

[148] N. Bianchi, Storia documentata della diplomazia europea in Italia. Torino, 1865, I, pp. 400—401.

[149] Mandoul, p. 252.

[150] См. его показания в следственной комиссии 1826 г.—Довнар-Запольский, Мемуары декабристов. Киев, 1906, стр. 3.

[151] Письмо Орлова, датированное 24 декабря 1814 г., было впервые напечатано в издании «Considérations sur la France» 1821, под заглавием: «Lettre de M. O., Général au service de S. M. l'Empereur de toutes les Russies». (Мы цитируем его по «Oeuvres compl.», I, pp. XLIX—LIV). Письмо было препровождено вдовой Местра издателю Антуану Барбье 7 июля 1821 г. См. «Bulletin du Bibliophile», revue mensuelle publiée par J. Techener, P., 1854, p. 915. Здесь, в примечании, раскрыты инициалы автора письма. Кроме того, о письме Орлова упоминается в «Bulletin du Bibliophile Belge» publié par F. Heussner, Bruxelles, 1855, II, p. 156. См. также В. И. Семевский, Политические и общественные идеи декабристов. СПБ. 1909, стр. 382—384.

[152] См., например, его письма 1819 г. к Д. П. Бутурлину.—Сборник «Декабристы и их время», изд. О-ва политкаторжан, т. I, М., б. г., стр. 199—205.

[153] См. воспоминания Ипполита Оже.—«Русский Архив», 1877, №№ 4 и 5.

[154] М. С. Лунин, Сочинения и письма, ред. С. Я. Штрайха, Пгр. 1923, стр. 12—19; Maistre, Du Pape, suivi de l'Eglise Gallicane dans son rapport avec le Souverain pontife», t. I, Bruxelles, 1838, p. 188. Взгляд на папство, как орган международного арбитража, Лунин мог почерпнуть еще из книги Адама Чарторыйского, Essai sur la diplomatie, 2-me éd., P., 1864, pp. 58—70, первое издание которой вышло в 1830 г. и могло быть известно Лунину, благодаря его хорошим отношениям с ссыльными поляками.

[155] Цитируется по статье К. Пигарева, Ф. И. Тютчев и проблемы внешней политики царской России.—«Литературное Наследство», т. 19—21, стр. 187.

[156] «Старина и Новизна», XIX, стр. 220—242.

[157] См. статью Тютчева «Россия и революция» (1848 г.).

[158] Нам известны копии этого произведения в архивах братьев Тургеневых (ИЛИ) и гр. Эдлинг, урожд. Стурдзы (там же).

[159] П. Я. Чаадаев, Сочинения, под ред. М. Гершензона, т. I, М., 1913, стр. 87 и 89. Общая для Чаадаева и Лунина мысль о связи католической цивилизации с развитием свободных учреждений заимствована, повидимому, у Шатобриана.—См. Chateaubriand, Etudes ou discours historiques sur la chute de l'empire Romain, la naissance et le progrès du christianisme et l'invasion des Barbares, suivis d'une analyse raisonnée de l'histoire de France, P., 1831, III, pp. 282—288.

[160] «Литературное Наследство», т. 22—24, стр. 22—23.

[161] См. рассуждения на эту тему в шестом (по старому счету—втором) «Философическом письме».—Соч., I, стр. 97 и след.

[162] Пушкин, Переписка. Изд. Академии наук, II, стр. 272.

[163] См. письмо к Орлову 1837 г., где Чаадаев говорит, что давно мечтал собрать около себя нескольких чистых и благородных людей и сообща работать для блага человечества и отечества.—Соч., I, стр. 218.

[164] См. об этом в статье Н. И. Мордовченко, Гоголь и журналистика 1835—1836 г.г.—«Гоголевский сборник» Института литературы АН СССР, II, стр. 111—115.

[165] В. С. Печерин, Замогильные записки. Изд-во «Мир», Калинин, 1932, стр. 113. Впоследствии Печерин совсем изменил отношение к Местру, назвав его: «наглый, бессовестный фанатик—ярый поборник самого крайнего деспотизма» и т. д.—там же, стр. 114.

[166] «Journal de St.-Pétersbourg», 1858, pp. 3398—3399.

[167] «Московские Ведомости», 1860, № 159 (от 20 июня), стр. 1261—1262, и № 205 (от 22 сентября), стр. 1826.

[168] Статья Феоктистова, Жозеф де Местр в Петербурге.—«Русская Речь», 1861, №№ 27 и 28, стр. 413—417 и 429—433.

[169] А. [А. Н. Пыпин], Советы графа Жозефа де Местра. О «Quatre chapitres inédits»—«Современник», 1886, т. CXII, стр. 541—576. Раскрытию автора этой статьи мы обязаны И. И. Векслеру.

[170] Maistre, Considérations sur la France. Avec introduction et des notes par René Johannet et François Vermale, 1936, pp. 8 et suiv., 87—89.

I. ИЗ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ ПЕРЕПИСКИ ЖОЗЕФА ДЕ МЕСТРА

Под этим названием мы печатаем группу документов, извлеченных «Литературным Наследством» из Архива внешней политики в Москве, фонд канцелярии министерства иностранных дел за 1803—1814 гг. Бóльшая часть хранящихся в этом фонде документов, связанных с именем Местра, это—его ноты, врученные им в качестве сардинского посланника в Петербурге русскому министерству иностранных дел по самым разнообразным поводам.

Из этого обширного собрания неизданных документов мы печатаем здесь лишь то, что представляет безусловный исторический интерес и что, в частности, существенно дополняет новыми данными наши сведения о дипломатической деятельности Местра в Петербурге.

МЕСТР—КАНЦЛЕРУ ВОРОНЦОВУ

ЕГО СИЯТЕЛЬСТВУ ГРАФУ ВОРОНЦОВУ, ГОСУДАРСТВЕННОМУ КАНЦЛЕРУ И ПР. И ПР.[1]

С.-Петербург, 3/15 мая 1803 г.*

Нижеподписавшийся, чрезвычайный посланник и полномочный министр е. в. короля Сардинии при е. в. императоре всероссийском, приступая к выполнению обязанностей, возложенных на него королем, его повелителем, полагает долгом своим прежде всего напомнить е. с. государственному канцлеру основания, которые определили поведение и надежды е. в.

Из депеши, сообщенной из Петербурга 22 прошедшего января, е. в. королю стало известно о новом предложении первого консула относительно Сиенского княжества, Орбителло и пр., а также и о том, что ему советуют принять это предложение. Затем возник вопрос о другом предложении, сделанном Буонапарте,—о пенсии королю Карлу-Эммануилу в размере 500 тысяч ливров в том случае, если бы царствующий король согласился отказаться от своих прежних владений; при этом пояснялось, однако, что Россия не предполагает вмешиваться в это соглашение, по поводу которого Буонапарте может договариваться непосредственно с королем.

На основании изложенного е. в. мог считать, что предложение Сиены, Орбителло и пр. было сделано без всяких оговорок и что отказ от прежних владений[2] был только условием, связанным с принятием пенсии.

Вполне естественно, что король отклонил предложение о пенсии. Отказаться за такую цену от одной из самых прекрасных, богатых и плодородных земель Италии представляется королю настолько ужасным, что если он и согласится на это, то только уступая крайней необходимости.

Следует отметить, что е. в. ни разу не получал из Петербурга извещения о том, что отказ является неизбежным. Напротив, е. в. пребывал в уверенности, что е. и. в. может спасти его от этого последнего несчастья. Следовательно, за все написанное им, под влиянием такой уверенности, он не заслуживает упрека, как за желание помешать успешному ходу дела.

Если ныне королю вменяется в обязанность признать необходимость отказа от своих владений, то это меняет положение дела; но какова бы ни была дальнейшая судьба е. в., от глубокой проницательности е. с. господина канцлера не должно ускользнуть, насколько опасно было бы разделить настоящее большое дело на два, из которых одно обсуждалось бы между Россией и Францией, а другое между последней и королем.

---

* Дипломатические документы и официальные письма Местра, публикуемые в I и II главах, написаны им собственноручно. Все печатаемые в данной публикации документы написаны в оригинале по французски.

ТАДЕУШ БРЖОЗОВСКИЙ

Генерал ордена иезуитов; был тесно связан с Местром и добился в 1812 г. при его поддержке преобразования Полоцкой иезуитской коллегии в академию

Со старинной гравюры

Не трудно понять чувство деликатности, склоняющее к разделению дела, и в данном случае нижеподписавшемуся остается только от имени своего повелителя благодарить императора за великодушие, препятствующее ему подписаться под этим злосчастным отказом.

Что же касается достоинства державы-покровительницы, то оно отнюдь не пострадает от той или другой формы. Всем известно благородное покровительство, оказываемое е. и. в. савойскому дому, поэтому в отказе короля от своих владений всегда усмотрят лишь дело рук бессовестной державы, дерзкой по отношению ко всему достойному уважения, презирающей всякие приличия и ничем не стесняющейся.

Правда, выделение отказа в особый изолированный акт дает на первый взгляд более оснований предполагать, что он является вынужденным; но сколько опасностей таит подобное предположение! Король оказался бы в окружении дипломатов, ставших хозяевами положения; они начали бы диктовать ему условия в высокомерной, а возможно, и в унизительной для него форме, при малейшем возражении с его стороны он подвергся бы оскорблениям, его гоняли бы из города в город и т. д.,—можно делать любые предположения.

Наконец, если бы отказ был признан необходимым и король решился бы подписать его, посланнику короля не оставалось бы ничего иного, как умолять е. и. в. оказать милость и закончить это злосчастное дело тем способом, какой он считает наиболее соответствующим интересам покровительствуемой державы и достоинству державы-покровительницы.

Однако, на необходимость этого отказа нигде не указывалось королю. В этом убеждении он и поручил нижеподписавшемуся обратиться с самыми неотступными просьбами об избавлении его от этого несчастья. Нижепод-

писавшийся должен повиноваться. Он выполнит свой долг со всем рвением, на какое способен. Он настоятельно просит е. и. в. соблаговолить закончить это, достойное его величия, дело и спасти короля Сардинии от столь жестокой крайности. Он осмеливается надеяться, что не будет ничего невозможного, если только е. и. в. даст почувствовать огромный вес своего имени. Он надеется также, что е. с. господин канцлер, пользующийся полным уважением и доверием короля, согласится поддержать милостивые намерения своего великодушного государя всем своим влиянием, являющимся следствием и наградой его заслуг и талантов. Если избежать отказа возможно,—это окажется новым благодеянием, которое савойский дом будет вечно помнить. А если, напротив, е. в. император сочтет отказ неизбежным, то и тогда император останется благодетелем короля, ибо без его вмешательства е. в. потерял бы все без вознаграждения.

Савойский дом, внушающий к себе сочувствие своими несчастьями, столь же великими, сколь и малозаслуженными, не имел никакого права рассчитывать на поддержку русского двора. Статья трактата была проявлением великодушия, личной симпатии и еще, быть может, актом, внушенным великими идеями порядка, справедливости и европейского равновесия[3], ибо король Сардинии в силу создавшихся обстоятельств и географического положения своей страны не мог заручиться правами на поддержку при помощи союзов. Он не должен поэтому удивляться, если е. в. император прекратит свое покровительство, когда найдет это нужным. Король бесконечно далек от мысли создавать какие-либо затруднения или ставить условия, как это, повидимому, склонны были думать на основании некоторых документов, смысл которых был неправильно понят. Его собственные депеши, как и депеши его министров, содержат только уведомления, обращенные к дружеским чувствам могущественной державы, разъяснения, просьбы, пожелания, но никак не условия. А если бы даже, в случае признания необходимости отказа от владений, король, как нижеподписавшийся имеет некоторые основания предполагать, скорее решился бы все потерять, чем дать на это согласие, то и тогда его благодарность к своему сильному и великодушному покровителю сохранилась бы и пережила окончательную гибель его дома.

Нижеподписавшийся желал бы, по крайней мере, успеть написать в Рим[4] и получить ответ, пока еще ничто не решено, ибо самые милости е. и. в. стали бы призрачными, если бы король не смог решиться на отказ. Сардинский посланник чрезвычайно желал бы поэтому выяснить:

Не остается ли у е. в. короля Сардинии надежды избежать отказа от своих владений?

Не представляется ли, по крайней мере, возможным создать уклончивые условия соглашения, или же оставить дело in statu quo и затянуть переговоры, что при настоящем положении вещей могло бы открыть более благоприятные виды на будущее.

И, наконец,—дабы не оставалось никакой неопределенности,—в случае, если отказ будет признан неизбежным, е. в. на него решится и, если во что бы то ни стало пожелают расчленить дело, то каковы будут мероприятия, которые е. и. в. признает уместными для ограждения личной безопасности е. в. короля?

Нижеподписавшийся примет с большой благодарностью разъяснения, которые е. с. господин канцлер признает уместными ему сообщить по вышеизложенным вопросам, дабы дать ему возможность получить оконча-

тельные приказания своего повелителя. Впрочем, он с такой же готовностью подчинит свои суждения суждениям е. с. господина канцлера, с какой его государь доверяет свои интересы и свою судьбу просвещенному и великодушному решению е. и. в.

Нижеподписавшийся имеет честь принести е. с. уверения в самых почтительных чувствах.

Граф де Местр

Автограф.—Арх. Внешн. Пол. М. И. Д., Канц., 10621, лл. 4—8.

[1] Воронцов Александр Романович, граф (1741—1805)—при Екатерине II сенатор и президент Коммерц-коллегии. При Александре I с 1802 г.—государственный канцлер и министр иностранных дел. Это назначение было уступкой екатерининским вельможам, среди которых Воронцов выделялся, как представитель аристократической оппозиции.

[2] Т. е. формальный отказ от Пьемонта, занятого французами.

[3] Речь идет о статье VI франко-русского договора от 8 октября 1801 г.

[4] Сардинский король и его правительство в это время находились в Риме.

МЕСТР—КАНЦЛЕРУ ВОРОНЦОВУ

ЕГО СИЯТЕЛЬСТВУ ГРАФУ ВОРОНЦОВУ, ГОСУДАРСТВЕННОМУ КАНЦЛЕРУ

С.-Петербург, 8/20 сентября 1803 г.

Нижеподписавшийся, чрезвычайный посланник и полномочный министр е. в. короля Сардинии, имеет честь напомнить е. с. господину государственному канцлеру, что субсидии, которыми пользуется е. в. король Сардинии, хотя и вполне достойны державы, с такой щедростью дающей самую большую их часть,—все же недостаточны для удовлетворения необходимых нужд короля. Движимый дружбой, е. и. в. соблаговолил предпринять перед другими державами попытки к увеличению субсидий королю, и, хотя попытки эти оказались бесплодными, они, тем не менее, заслужили полную благодарность того, ради кого они были сделаны[1].

Ныне у е. в. короля Сардинии появились, как будто, основания надеяться на увеличение своих средств, если только е. и. в. согласится помочь ему своим влиянием.

Посланник короля при его католическом величестве[2] недавно сообщил, что встретил при указанном дворе достаточно благоприятное расположение умов в пользу предоставления субсидии. Он считает себя в праве высказать предположение, что при поддержке императорского посланника в Мадриде это важное дело, по всей вероятности, увенчалось бы успехом.

Е. в. не мог, конечно, не обратить внимания на столь важное для него сообщение. Но, глубоко тронутый всем уже сделанным в этом отношении е. и. в. и боясь злоупотребить правами дружбы, он ограничился лишь сообщением нижеподписавшемуся содержания депеши своего мадридского посланника, с поручением ему (нижеподписавшемуся) узнать о намерениях е. и. в. по этому поводу.

Граф де Местр спешит сообщить об этом е. с. господину государственному канцлеру в надежде, что, в силу своих неоценимых чувств к королю, е. и. в. соизволит уполномочить своего мадридского посланника поддержать шаги, которые предпримет посланник е. в. короля Сардинии перед этим двором для получения субсидии.

Отказ, который встретил е. и. в. у некоторых дворов, не может смутить нижеподписавшегося, ибо он убежден, что неприятности такого рода чув-

ствительны только для слабых и совершенно не существуют для е. и. в. Он знает, что благороднейшая привилегия величия заключается в том, что оно не может быть скомпрометировано в подобного рода случаях. Отказ, в ответ на великодушное предложение русского императора, мог бы иметь своим последствием лишь еще большее возвеличение императора в общем мнении. Титул защитника государей, угасший в Европе со смертью Людовика XIV, оживает в наши дни при русском дворе. Те, кто отказываются разделить эту славу, заставляют ее только ярче сиять над головой великого государя, которого она украшает.

Посланник е. в. короля Сардинии, поощряемый этими соображениями, осмеливается надеяться, что король, его повелитель, и на этот раз получит ощутительные доказательства драгоценной дружбы е. и. в. Поддержка, на которую король рассчитывает, может явиться, как результат более или менее открытого и торжественного выступления. Но в какую бы форму е. и. в. ни счел уместным облечь это выступление, он может быть уверен в полной благодарности короля.

Неустанно занятый размышлениями, приличествующими его положению и обязанностям, нижеподписавшийся льстит себя надеждой на возможность избавить е. в. короля Сардинии от тяжелого положения, в котором он находится, и притом таким способом, который, ни в малейшей степени не вредя правам короля, сделал бы в то же время его нынешнюю отрешенность от власти менее тягостной для его друзей.

Таким способом могло бы быть достигнуто временное устройство, которое, при известной предпосылке, не должно, как будто, встретить серьезных и существенных затруднений.

И в самом деле, когда первый консул среди полного мира предлагал е. в. королю Сардинии вознаграждение, совершенно ни с чем не сообразное, он все же имел право требовать, чтобы оно считалось окончательным, ибо он предоставлял его в виде добровольной уступки, делаемой только из уважения к особе е. и. величества.

Без сомнения, это было явное беззаконие, но это было, по крайней мере, следствие, очень правильно выведенное из неправильного положения. Это была, если можно так выразиться, справедливая несправедливость.

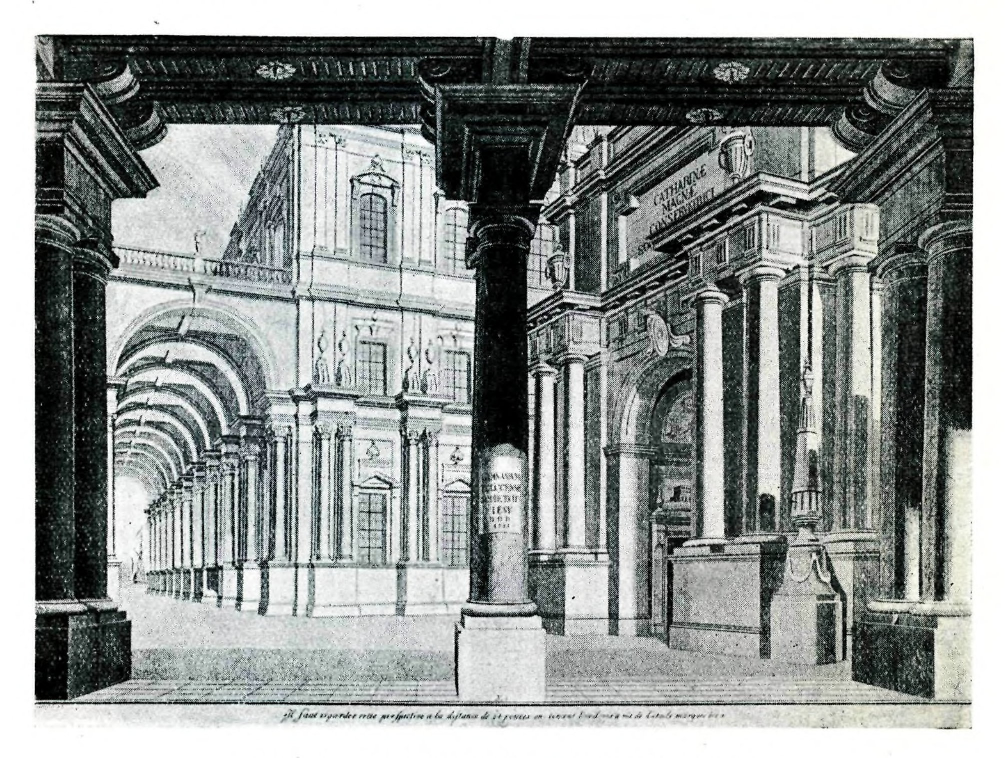
Но война вспыхнула вновь, и если первый консул, добиваясь сам посредничества России, признал, из уважения к е. и. в., принцип полного и окончательного вознаграждения, то у него, как будто, не должно быть оснований отказаться от неполного и временного вознаграждения.

Так, например, Сиена, предложенная сначала, как компенсация, долженствовавшая навсегда, и вопреки всякой справедливости, заставить замолчать е. в. короля Сардинии, могла бы теперь быть ему уступлена (то же можно сказать и о герцогстве Пармском и о любом подобном государстве), как удел, который можно было бы принять в ожидании, пока общеевропейские дела не обретут, наконец, более устойчивого положения.

У первого консула, повторяем, не должно бы встретиться никаких благовидных возражений против этого плана; ибо почему бы отказался он удовлетворить настояния е. и. в. о временном вознаграждении е. в. короля Сардинии, после того, как предлагал вознаграждение окончательное? И почему бы отказал он в неполном вознаграждении после того, как допускал полное?

Если бы этот план мог осуществиться, королю нужна бы была помощь его друзей только на время, необходимое для первоначального устройства и взимания первых податей, которые были бы установлены с умеренностью, свойственной его августейшему дому.

Ясно формулированная оговорка сохранила бы все права этого дома на полное вознаграждение в Италии. Насколько обстоятельства позволили бы, нужно было бы оградить предоставленную в пользование страну и, особенно, ее города от опасности вторжений и контрибуций. А если бы, несмотря на все принятые предосторожности, военные потрясения подвергли е. в. некоторым неудобствам, неизбежным при существующем



ПРОЕКТ ЗДАНИЯ ПОЛОЦКОЙ ИЕЗУИТСКОЙ КОЛЛЕГИИ
Гравюра с рисунка Г. Грубера, 1785 г.
Исторический музей, Москва

положении вещей, когда столь мало соблюдаются предписания публичного права, король мог бы утешиться перспективой лучшего будущего. Трудно предположить, чтобы даже такое положение нельзя было бы предпочесть его теперешнему положению, так как, несмотря на великодушное отношение трех дворов и, в особенности, русского, король все же более чем нуждается.

Но хотя этот план и представляется нижеподписавшемуся весьма заманчивым, он все же не скрывает от себя, что выполнение его зависит от ряда обстоятельств, остающихся для него неизвестными; к тому же и общая обстановка столь изменчива, что то, что возможно сегодня, становится невозможным завтра. Он ограничивается поэтому лишь изложением своих мыслей с обычной сдержанностью, тем более, что не имеет определенных полномочий сделать свои пожелания предметом прямой просьбы.

Он хочет только воспользоваться случаем напомнить е. с. господину государственному канцлеру о возможности возникновения, как он уже имел честь сообщать в начале прошлого июня, некоторых событий, представляющих угрозу для безопасности короля. Никогда горизонт Европы не был более мрачен. Так как обстоятельства делают возможным все, мы обязаны все предусмотреть. Огромный флот, которым располагают англичане во всех морях, без сомнения, обеспечивает королю возможность легко переменить местожительство, если бы в этом представилась необходимость. Но, предлагая в этом отношении всяческую помощь, какую только можно желать, англичане не преминули сами обратить внимание на то, что не в интересах е. в. было бы давать повод к предположениям, что он слишком решительно бросается в их объятия. Это указывалось из опасения, как бы на короля не распространилась старинная, дошедшая в наши дни до исступления, ненависть, навлекать которую на себя королю в его положении совершенно излишне.

Таким образом, события в одинаковой мере могут как способствовать безопасности короля, так и угрожать ей. Он надеется, поэтому, что в последнем случае для е. и. в. не окажется затруднительным предоставить в его распоряжение один из фрегатов, стоящих в Корфу, дабы оградить его вместе с семьей от всякого рода насилий.

Когда опасности такого порядка обрушиваются непредвиденно, отражать их поздно. Е. в. король Сардинии слишком привык ко всевозможным бедствиям, чтобы не быть готовым ко всему. Он полагает, поэтому, что следует принять некоторые предосторожности, а нижеподписавшийся, в точности выполняя приказания короля, своего повелителя, спешит воспользоваться случаем, дабы возобновить е. с. господину государственному канцлеру уверения в самых почтительных чувствах.

Граф де Местр

Арх. Внешн. Пол. М. И. Д., Канц., 10621, лл. 13—16.

[1] Сардинский король получал субсидии: от России—75 тыс. руб., от Англии—10 тыс. фунтов стерлингов, от Португалии—25 тыс. круазе. Потом русская субсидия была увеличена, но падение курса рубля делало это увеличение незначительным (Mandoul, pp. 120—122).

[2] Sa Majesté catholique—его католическое величество—титул испанского короля.

МЕСТР—КАНЦЛЕРУ ВОРОНЦОВУ

ЕГО СИЯТЕЛЬСТВУ ГОСПОДИНУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ КАНЦЛЕРУ

С.-Петербург, 5 декабря / 23 ноября 1803 г.

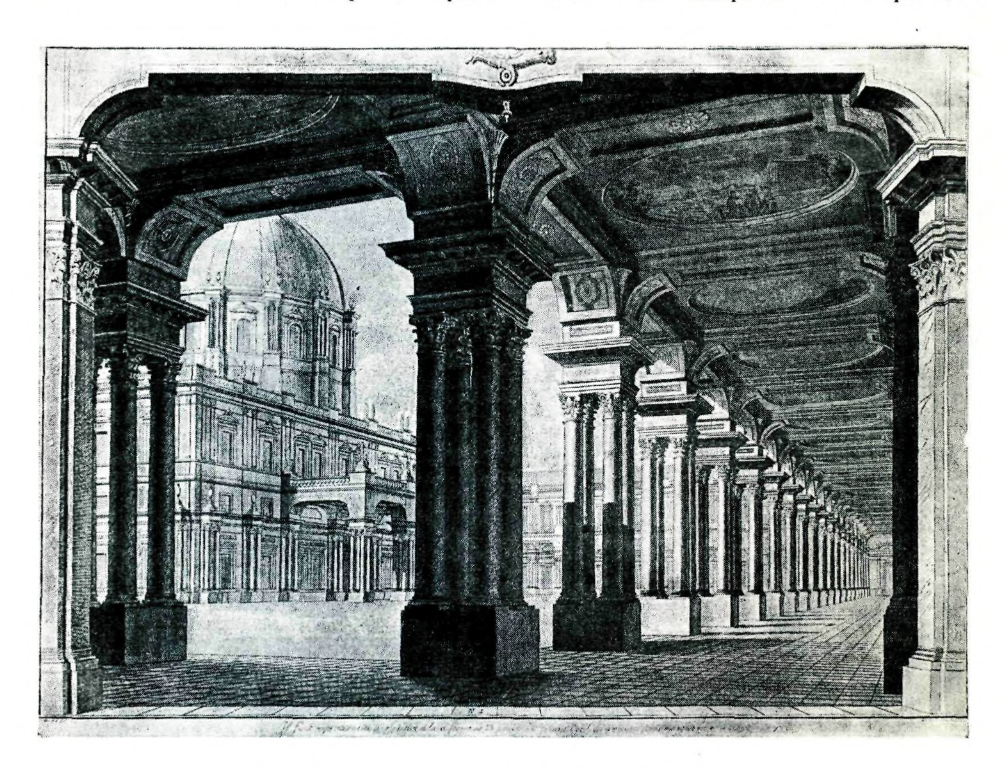
Нижеподписавшийся, чрезвычайный посланник и полномочный министр е. в. короля Сардинии, припоминает, что в последний раз, когда он имел честь беседовать с е. с. господином государственным канцлером, разговор зашел о жертвах, которых потребовали от Савойского дома после войны, которую он вел, можно сказать, во имя интересов всего мира и с добросовестностью, равной только обрушившимся на него вследствие этого бедствиям.

До последнего времени Франция не переставала делать соблазнительные предложения туринскому двору, чтобы оторвать его от коалиции. Господин Дюран был даже в 1797 г. нарочито послан в Швейцарию для переговоров с агентами, имевшимися у короля в этой стране. Нижеподписавшийся был в их числе. Он был прекрасно осведомлен об этих предложе-

ниях[1]. Туринский двор остался непоколебимо верным своим обязательствам в отношении Англии и Австрии, хотя эта последняя держава не скрывала уже своих видов на весь Пьемонт или на его часть[2].

Известно, каковы были для Савойского дома плоды этой верности; но, быть может, неизвестны последние предложения, сделанные ему его союзниками.

Фельдмаршал Суворов покинул Италию. Злой гений, неизменно руководивший данной войной, в завершение устранил этого выдающегося человека,—считали себя способными и без него продолжать дело, которое мог вести только он. Король Сардинии был тогда задержан во Флоренции



ПРОЕКТ ЗДАНИЯ ПОЛОЦКОЙ ИЕЗУИТСКОЙ КОЛЛЕГИИ
Гравюра с рисунка Г. Грубера, 1785 г.
Исторический музей, Москва

на возвратном пути из Сардинии, откуда он был вызван победоносным фельдмаршалом. Ему было запрещено возвращаться к себе, и даже учрежденный им в Турине верховный совет постоянно встречал противодействия разным мероприятиям своим, которые он предпринимал именем короля. Е. в. оказался изолированным, ограбленным и без всяких средств к сопротивлению. Этот момент, когда король был беспомощен, а другие рассчитывали, что можно еще многое сделать, был выбран для того, чтобы потребовать у короля уступки части Пьемонта с одним из самых прекрасных, больших и укрепленных городов, взамен которого ему предложили еле заметный городок.

Но между тем, как наш могущественный союзник хотел при помощи этой уступки получить господство над Турином и уничтожить его значение, битва при Маренго отбросила его самого за Эц и покончила с этим вопросом.

Нижеподписавшийся, найдя интересный документ по этому вопросу, считает своим долгом представить его на рассмотрение е. с. господина государственного канцлера. Это—нота, врученная в Вене 1 мая 1800 г. лордом Минто гр. де Валлезу, тогдашнему посланнику е. в. короля Сардинии при е. и. королевском апостолическом величестве[3], а впоследствии предшественнику нижеподписавшегося при императорском дворе в Петербурге. Нижеподписавшийся предполагает, что е. с. граф Воронцов не знаком с этим документом. Граф найдет в нем подробности, касающиеся предложений, которые были сделаны е. в. в короткий момент иллюзий, последовавший за пагубной отставкой фельдмаршала Суворова. Нижеподписавшийся никоим образом не позволит себе проявить малейшее неуважение к великой и почтенной державе. Он безусловно воздержится от всякого резкого суждения по поводу предложений, сделанных его повелителю. Он позволит себе только усмотреть в них простое невнимание, нечто вроде временного усыпления у монарха чувства великодушия по отношению к несчастному союзнику. Но чье напоминание об этом великодушии могло бы иметь большее значение, чем напоминание России, могущество и бескорыстие которой сделают ее, в конце концов (надо надеяться), арбитром Европы.

Нижеподписавшийся надеется, таким образом, что е. с. господин канцлер согласится признать прилагаемый при сем документ имеющим важное значение для интересов государя, которого он имеет честь представлять здесь. Документ этот может оказаться небесполезным при настоящих обстоятельствах.

Нижеподписавшийся просит еще об одной милости: не забывать, что всякого рода предложения, делавшиеся королю в течение двенадцати или пятнадцати лет как со стороны Франции, так и с других сторон, ни на минуту не изменили его поведения. Как в счастливые, так и в несчастные времена, как тогда, когда союза с ним домогались, так и после того, как он все потерял,—ни честолюбивое желание увеличить свои владения, ни самые обоснованные опасения, ни всякого рода страдания, ни боязнь, наконец, того, чего он больше всего страшился: увидеть себя вычеркнутым навсегда из списка монархов,—ничто не могло вырвать у него другого ответа, кроме нижеследующего:

«Я хочу сохранить, я хочу вернуть свое достояние, но боже упаси меня взять чужое».

И еще недавно первый ответ, который он дал на жалкое предложение Сиены, заключался в том, что он, прежде всего, желает согласия на это Испании.

Конечно, такое великодушие, такая деликатность, такое постоянство принципов не могут не вызвать сочувствия е. и. в., и держава, дошедшая до предела своего несчастья, смеет, по крайней мере, льстить себя надеждой, что она достойна державы-покровительницы.

Нижеподписавшийся всегда с новою готовностью пользуется случаем засвидетельствовать е. с. господину государственному канцлеру усердную дань своих почтительных чувств.

Граф де Местр

P. S. Боясь слишком часто утомлять е. с. г-на канцлера, нижеподписавшийся присоединяет выдержки из двух писем, интересующих е. в. (№ 2).

К письму Местра к канцлеру Воронцову от 5 декабря (23 ноября) 1803 г. приложены:

1

ЗАМЕЧАНИЯ [МЕСТРА]

Как назвать уступку, о которой просят е. в.? Что это — дар? компенсация? плата? взыскание? Нелегко найти настоящее название.

Е. с. господин канцлер благоволит к тому же отметить, с какою ясностью указаны эти границы: «На восток от Финале, на восток от западного рукава Бормиды, на восток от Танаро и к югу от По». Несчастному государю надлежало только подписать, а при выполнении границы выявились бы точнее.

Как бы там ни было, у него требуют Алессандрию, такой же большой и укрепленный город, как Турин, в нескольких от него переходах. Взамен этого города и всего, что находится к востоку и к югу, ему отдадут Ниццу и Савойю, «когда они будут отвоеваны», и ему даже дадут Финале. Вот уж, поистине, великое старание за чужой счет.

Поскольку обещают восстановить суверенитет короля, это доказательство того, что он был уничтожен, но кем? Ведь фельдмаршал Суворов по своем прибытии провозгласил суверенитет короля, и маркиз де Сент-Андре был торжественно поставлен наместником короля.

ЗАПИСКА,

ПЕРЕДАННАЯ ЛОРДОМ МИНТО, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ ПОСЛАННИКОМ И ПОЛНОМОЧНЫМ МИНИСТРОМ ЕГО БРИТАНСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА ПРИ ВЕНСКОМ ДВОРЕ, МИНИСТРУ КОРОЛЯ САРДИНИИ ГРАФУ ДЕ ВАЛЛЕЗ В ВЕНЕ 1 МАЯ 1800 г.[4]

Его величество император оставит за собой ту часть пьемонтской территории, которая расположена на восток от Финале и западного рукава Бормиды и на восток от Танаро; а к югу от По он оставит за собой также город и крепость Алессандрию с небольшим примыкающим к ней округом[5].

Все остальные территории, принадлежащие королю Сардинии, будут ему возвращены, включая графство Ниццу и Савойю, когда эти территории будут отвоеваны у врага.

Часть генуэзской территории, лежащая к западу от Финале (включая само Финале), будет уступлена королю Сардинии, и неприкосновенность всех его владений, включая и это новое приобретение, будет ему гарантирована императором и королем Великобритании.

Суверенитет над этими территориями будет восстановлен в лице короля Сардинии, и управление ими от его имени и его властью начнется тотчас после того, как е. в. уступит императору вышеуказанную территорию, удержанную его королевско-императорским величеством.

Однако, лично король Сардинии не должен вступать на пьемонтскую территорию во время войны. В этот период времени управление будет производиться назначенным им регентством, которое будет дружески согласовывать свои действия с австрийскими генералами и особым представителем его британского величества, облеченным на этот предмет чрезвычайными полномочиями, по всем вопросам, касающимся войны и средств, необходимых для успешного ее ведения.

Тут уже нет ни малейшего сомнения: очевидно, е. в. император завоевал Пьемонт у своего союзника и соглашался вернуть его законному монарху при условии, что последний уступит ему часть этих своих владений и как

Король Сардинии будет содержать армию, какую дозволят его собственные средства и помощь его британского величества; Пьемонт и прочие владения короля Сардинии на континенте должны поставлять хлеб, фураж и перевозочные средства императорским войскам, действующим на пьемонтской территории, в той мере, в какой ресурсы страны это дозволят, с ограничением, однако, численности императорских войск, для коих эти поставки будут

раз город, обладание которым фактически уничтожало бы прежний суверенитет.

То-есть, вы сохраните одно наименование короля. Вы будете только послушным орудием в моих руках. Вы даже не появитесь в ваших владениях. Ваши армии, ваши крепости, ваши арсеналы, ваши богатства будут моими. Я и не подумаю даже назначить вам доход с ваших собственных владений, в виде субсидии. В награду вы уступите мне Алессандрию и часть (которую мы определим) ваших самых плодородных провинций; я, со своей стороны, дам вам от 10 до 12 миль побережья вдоль Корни́ш[6], которые не принадлежат мне, и даже Финале, которое также не мое, и, кроме того, я возвращу вам территории, занимаемые неприятелем, поскольку события и военные обстоятельства позволят мне сделать все зависящее от меня, чтобы обратно завоевать их.

Такова, — без преувеличения и без горечи, — сущность этих предложений. Нижеподписавшийся воздерживается от рассуждений и всецело полагается на справедливость е. с. господина канцлера. Впрочем, по этому поводу возникает немало мыслей, которые гораздо удобнее выразить на словах, чем письменно.

требоваться, точно определенною цифрою, которая будет установлена по соглашению между австрийским правительством и регентством в Пьемонте, хотя бы численность императорских войск, действующих на пьемонтской территории, фактически и была больше.

На время войны вся пьемонтская армия будет полностью предоставлена в распоряжение и под начало е. в. императора, и руководство всеми операциями и решение всех военных дел в течение этого времени будет вручено императору, за исключением права назначения на должности и офицерские места, которое остается за королем и его регентством.

Император употребит соответствующие военные силы на защиту королевских территорий, которые уже отвоеваны от врага, и сделает все, от него зависящее, поскольку события и военные обстоятельства это позволят, чтобы отвоевать обратно и все остальное.

Заголовок записки и замечания написаны рукой Местра, текст записки—рукой переписчика. Внизу рукой Местра:

«Верно. Сличено с копией, хранящейся в архиве посольства. С.-Петербург, 5 декабря / 23 ноября 1803 г.

Граф де Местр»

2

Рим, 15 октября [н. ст.] 1803 г.

...Кардинал Феш[7] сообщил конфиденциально одному лицу, что ему было поручено первым консулом уведомить е. в., «что первый консул интересуется его судьбой и что он мог бы согласиться на его восстановление, если бы державы, которые покровительствуют королю, продолжали с прежним упорством свои настояния». Феш должен был сделать это (и, однако,

АНТОНИО СЕРРА-КАПРИОЛА
Неаполитанский посол в Петербурге
Гравюра Ф. Вандрамини, 1805 г.

не сделал) во время посещения короля, не в качестве посла, а в качестве кардинала, как он сам пояснил в начале своего визита. Лицо, которому это было сказано, передало все королю.

Рим, 22 октября [н. ст.] 1803 г.

...Полезно, чтобы вы были осведомлены о том, что, судя по сведениям, полученным нами, Франция продолжает замышлять нападение на Сардинию и что комиссар французского консула (Орнано), который имеет пребывание в Кальяри, непрестанно беспокоит правительство своими многочисленными нотами. Его секретарь еще более неумерен и гораздо опаснее его. Салисети[8] работает из-за границы и поддерживает секретную пе-

реписку с злонамеренными лицами. Он тайно рассылает эмиссаров и распространяет зажигательную литературу. Правда, некоторыми мерами осторожности можно предотвратить опасность; но, тем не менее, совершенно достоверно, что этот несчастный упорствует в своем намерении ниспровергнуть остатки влияния и власти е. в...

Арх. Внешн. Пол. М. И. Д., Канц., 10621, лл. 17—22.

[1] В записке 1806 г. Местр упоминает об этой миссии Дюрана, уполномоченного Директории. По его словам, король «оставался непоколебим», хотя ему предлагали Ломбардию за союз против Австрии. «Король не мог допустить мысли о выступлении против своих друзей и союзников, и никогда у него не было иного советника, кроме морали». (Maistre, Oeuvres, X, p. 161). Ни в «Carnets», ни в письмах Местра за 1797 г. нет никаких упоминаний об этих переговорах.

[2] Местр умалчивает, что еще 15 мая 1796 г. Сардиния заключила с Францией мир, а 15 апреля 1797 г. и союз против Австрии с обещанием нейтралитета в войне Франции с Англией и др. См. L. Seiout, Le Directoire et la Maison de Savoie.—«Revue des questions historiques», v. 45, 1888, pp. 138—225.

[3] Sa Majesté apostolique — его апостолическое величество — титул австрийского императора.

[4] Записка лорда Минто от 1 мая 1800 г. известна по соч. Greppi, pp. 158—161. Мы помещаем ее здесь из-за замечаний на нее Местра.

[5] Таким образом, по проекту лорда Минто, к Австрии должен был отойти значительный кусок восточной части пьемонтской территории, в частности, такой большой и укрепленный центр, как Алессандрия, который еще со времени Утрехтского мира (1714) входил в состав Савойи и вместе с последней отошел к Франции, но в 1799 г. отнят у нее Суворовым.

[6] Корниш—дорога между Ниццей и Генуей, идущая по берегу моря.

[7] Fesch Жозеф (1763—1839)—дядя (по матери) Наполеона. В начале революции был архиепископом в Корсике и резко сопротивлялся введению гражданского устройства духовенства. Потом перешел на сторону революции. Сделал карьеру, благодаря своему племяннику. В 1801 г. принимал участие в заключении конкордата. В 1802 г. сделан лионским архиепископом и скоро после того кардиналом. В 1803 г. назначен послом Франции при Ватикане.

[8] Saliceti (1757—1809)—французский посланник при Лигурийской республике (Генуе).

МЕСТР — КН. АДАМУ ЧАРТОРЫЙСКОМУ

ЕГО СИЯТЕЛЬСТВУ КНЯЗЮ ЧАРТОРЫЙСКОМУ [1]

С.-Петербург, 28 декабря 1804 г. / 9 января 1805 г.

В письме из Гаетты от 11-го прошлого ноября е. в. король Сардинии высказывает нижеподписавшемуся некоторые соображения по поводу современного положения вещей в Италии. Он отмечает, что, очевидно, цель Буонапарте—затягивать события, убаюкивая сильных, чтобы грабить слабых, ограбление которых даст ему впоследствии возможность не бояться сильных; но что, несмотря на всю свою дерзость, Буонапарте, тем не менее, явно обнаруживает желание считаться с Россией и боязнь раздражить ее сверх меры. Отсюда, продолжает е. в., усилия Буонапарте, направленные как на то, чтобы задержать отъезд своих представителей, так и на то, чтобы продолжали принимать его ноты. Отсюда оттягивание войск из Неаполитанского королевства, в особенности итальянских корпусов, замененных вскоре французами, проникшими туда незаметно. Отсюда, наконец, и возможность при создавшихся обстоятельствах уступчивости по отношению к е. в. королю Сардинии, если он будет мужественно настаивать на своем отказе, ибо не приходится сомневаться, что Буонапарте не захочет играть столь опасную игру, как торжественно объявить России

войну и умышленно нарушить перед лицом Европы одно из условий обеспечения мира, включенное е. и. в. в навеки памятную ноту от 16/28 прошлого августа[2].

Расценивая эти обстоятельства с точки зрения интересов своего престола, е. в. замечает, что, если однажды влияние России-покровительницы заставит Буонапарте в какой-то мере пойти на уступки и начнутся, наконец, серьезные переговоры (а это безусловно случится, когда он увидит себя вынужденным к тому опасностью, в которую он до сих пор еще серьезно не верит), то тогда станет очень неосторожным доверяться его обещаниям, которые явятся новыми ловушками, в особенности для России, если у этой последней не будет в руках крепости, могущей служить залогом и гарантией верности принятым по отношению к ней обязательствам.

Таким образом, бросая взгляд в будущее, е. в. полагает, что Генуя прекрасно могла бы в течение переговоров быть объектом подобной комбинации, так как оккупация этой крепости русскими дала бы е. и. в. полное обеспечение всех возможных соглашений по поводу Италии, не вызывая ни в ком подозрений, так как для всех очевидно, что е. и. в. не преследует в данном случае никаких личных интересов.

Эта мысль е. в. короля Сардинии полностью совпадает с теми предположениями, о которых нижеподписавшийся имел честь не раз беседовать с е. с. князем Чарторыйским и которые делались на тот случай, если бы е. в. король Сардинии не смог вернуться в свои владения, а это он всегда предпочтет всему остальному.

В другом письме, от 6 декабря, е. в. приводит несколько интересных подробностей, касающихся его отношений с венским двором.

Граф Кевенгюллер, чрезвычайный посол е. в. императора и короля при папском престоле, приезжал недавно во время своего отпуска в Ломбардию, где у него есть земли; по своем возвращении в Рим он поручил кавалеру де Росси, статс-секретарю е. в. короля Сардинии, находящемуся еще в Риме, передать е. в. бесчисленные приветствия; и не только в Риме, но даже в самом Пьемонте, по которому он путешествовал, он не раз говорил слова, свидетельствовавшие о живейшем интересе его к судьбе е. в. Между тем, король осведомлен, что извечная антипатия, которую к нему питают, втайне продолжает действовать и что его стараются обмануть с неизменным притворством. И на самом деле, когда граф Кевенгюллер завел откровенный разговор в Пьемонте с одним местным жителем и последний сообщил ему о том, с какой бесконечной радостью пьемонтцы увидели бы возвращение своего государя, граф ответил, что «император, его повелитель, будет непрестанно противиться этому изо всех своих сил».

С другой стороны, тот же монарх не перестает заигрывать с е. в. (нижеподписавшийся считает своим долгом привести подлинные слова королевской депеши). Он старается всячески убедить короля в том, «что Россия ничего не может для него сделать ввиду своей отдаленности и что самое лучшее, что король может сделать,—это положиться с полным доверием на Австрию, не рассчитывая больше на поддержку и покровительство русского двора».

В то же время е. в. имеет веские основания думать, что в инструкциях графу Кауницу, на скорейшем приезде которого в Неаполь чрезвычайно настаивал его двор, содержится указание приложить все усилия, дабы склонить неаполитанский двор уступить требованиям Франции и отдалить готовую, повидимому, вспыхнуть войну, одним из самых неприятных

последствий которой для его императорско-королевского величества было бы восстановление савойского дома в его прежних владениях.

Сообщая эти соображения, нижеподписавшийся слишком отступил бы от своих инструкций и твердых намерений короля, своего повелителя, если бы имел в виду что-либо иное, кроме намерения осведомить е. и. в. обо всем, что может интересовать государя, всем ему обязанного. Впрочем, е. в. король Сардинии очень далек от желания портить отношения или сеять подозрения. У него нет в душе ненависти ни к кому. У него нет даже чувства обиды, которое все нашли бы естественным. Нижеподписавшийся мог бы представить письменные доказательства того, что е. в. король Сардинии в своем стремлении снискать дружбу своего могущественного соседа дошел до крайности, до забвения своих собственных интересов, до того, что вызвал почтительное сопротивление своих верных министров. Но, однако, нельзя окончательно забывать о самозащите.

Нижеподписавшийся спешит воспользоваться этим случаем, чтобы возобновить е. с. князю Чарторыйскому уверения в своем глубоком и почтительном уважении.

Граф де Местр,
чрезвычайный посланник и полномочный
министр е. в. короля Сардинии

Арх. Внешн. Пол. М. И. Д., Канц., 10625, лл. 4—7.

[1] В январе 1804 г. гр. А. Р. Воронцов уехал в долгосрочный отпуск и фактически отошел от управления министерством иностранных дел. Оно перешло к товарищу министра, близкому другу императора, князю Адаму Чарторыйскому, одному из членов Негласного комитета. Отношения Местра к Чарторыйскому первоначально были неважными. Еще 17/29 сентября 1803 г., сообщая о предстоящей перемене в министерстве, он писал о Чарторыйском: «Он высокомерен, скрытен и порядочно противен. Я сомневаюсь, чтобы поляк, претендовавший на корону, мог быть хорошим русским и настоящим другом французов. Кроме того, я не думаю, чтобы он был сильно влюблен в нас, и по всем этим причинам перемена мне очень не нравится». См. Maistre, Mém. Pol., p. 101.

[2] Русская нота Франции от 16/28 августа 1804 г. перечисляла все поводы к разрыву отношений, в частности: систематическое уклонение Франции от вознаграждения короля сардинского, занятие неаполитанских провинций французскими войсками, нарушение неприкосновенности германской территории и т. п. В заключение ноты заявлялось, что Россия не пойдет дальше разрыва дипломатических отношений и что то или иное разрешение вопроса—быть или не быть войне—зависит исключительно от Франции. Передача ноты русским поверенным в делах в Париже Убри сопровождалась требованием паспорта для отъезда. За этим последовал разрыв («Сборник Рус. Ист. Общ.», т. 77, стр. 705—712).

МЕСТР—КН. АДАМУ ЧАРТОРЫЙСКОМУ

ЕГО СИЯТЕЛЬСТВУ КНЯЗЮ ЧАРТОРЫЙСКОМУ

С.-Петербург, 7/19 апреля 1806 г.

Нижеподписавшемуся поручено королем, его повелителем, официально выразить е. с. князю Чарторыйскому безмерную благодарность, с которой король встретил среди бедствий, обременяющих Европу, особые мероприятия, принятые е. и. в. в его интересах и не приведшие к желанному результату только вследствие событий, которые никакие человеческие расчеты не могли предусмотреть. С особым старанием выполняя столь дорогую ему обязанность, нижеподписавшийся пользуется случаем, чтобы вновь поручить интересы своего государя могущественному попечению е. и. в. Намерения Англии в данный момент в точности известны, и до тех пор, пока такие две державы, как Россия и Англия, будут единодушны

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ КНИГИ ЖОЗЕФА ДЕ МЕСТРА, ИЗДАННОЙ В ПЕТЕРБУРГЕ, 1814 г.

ESSAI
SUR
LE PRINCIPE GÉNÉRATEUR
DES
CONSTITUTIONS POLITIQUES
ET
DES AUTRES INSTITUTIONS HUMAINES.

Enfans des hommes! Jusques à quand Porterez-vous des cœurs assoupis? Quand cesserez-vous de courir après le mensonge et de vous passionner pour le Néant
Ps. IV. 3.

S^T.-PÉTERSBOURG,
DE L'IMPRIMERIE DE PLUCHART ET COMP.
1814.

в своих планах спасти Европу от полного порабощения, для е. в. короля Сардинии все-таки сохранятся надежды. Нижеподписавшийся настоятельно просит е. и. в. оказывать королю, его повелителю, и впредь то же участие, явное свидетельство которого он получал до сих пор. Каков бы ни был мирный трактат, которым закончится настоящая война, он не сможет, повидимому, создать прочного положения в Европе, но, по крайней мере, он даст ей обманчивое спокойствие, которое, вследствие усталости, будет более или менее длительным. Между тем, для савойского дома не может быть ничего ужаснее, как оказаться на некоторое время без всякого вознаграждения, ибо за этот срок общественное мнение могло бы привыкнуть смотреть на него, как на окончательно лишенного всех своих владений.

Нижеподписавшийся льстит себя надеждой, что в этом случае король, его повелитель, найдет сильную поддержку в великодушном покровительстве е. и. в. С неменьшим основанием может король положиться и на влияние, которое будет оказано е. и. в. на решение другой великой державы, не перестававшей до сих пор содействовать достижению той же цели с равным великодушием[1].

Возобновляя об этом настоятельные ходатайства, нижеподписавшийся пользуется случаем вновь повторить е. с. князю Чарторыйскому уверения в своем глубоком и почтительном уважении.

Граф де Местр,
чрезвычайный посланник и полномочный
министр е. в. короля Сардинии

Арх. Внешн. Пол. М. И. Д., Канц., 10627, лл. 3—4.

[1] Разгром Австрии Наполеоном и поражение России при Аустерлице 2 декабря (н. ст.) 1805 г. поставили в порядок дня вопрос о заключении мира. В апреле 1806 г. в Петербурге было уже решено послать в Париж уполномоченного для переговоров с Наполеоном. 19 апреля ст.ст. Чарторыйский представил доклад о средствах, необходимых на эту поездку, и 30 апреля были подписаны полномочия и инструкция Петру Яковлевичу Убри («Сборник Рус. Ист. Общ.», т. 82, стр. 352—353 и 364—365).

МЕСТР—КН. АДАМУ ЧАРТОРЫЙСКОМУ

17/29 апреля 1806 г.

Прилагая при сем письмо, которое не боится огласки, прошу разрешения в. с. обратиться частным образом лично к вам с несколькими словами. На свете мало обязанностей столь тяжких, как мои. Ежеминутно завидую я судьбе тех, кто были посланниками в счастливые времена и являлись с тем, чтобы предложить помощь или союз, договориться о заключении брака или поздравить с радостным событием. Все это не для меня. Я берусь за перо, я подымаю голос только для того, чтобы просить. Ничем приятным не нарушается для меня удручающее однообразие моей службы, ничто не отвлекает меня от горестей. Я давно изнемог бы, если бы не рассчитывал на милости е. и. в. и на благородную отзывчивость в. с., с неотступным вниманием следящего за моим положением. Я был бы несчастен свыше сил, если бы заметил иное к себе отношение.

Прошу в. с. вновь принять уверения в моих почтительных чувствах.

Граф де Местр

Приложение к письму Местра к кн. Ад. Чарторыйскому от 17/29 апреля 1806 г.

Выдержка из письма е. в. королевы Сардинии к нижеподписавшемуся из Кальяри от 22 прошлого февраля[1].

...Для вас понятна, разумеется, вся глубина наших несчастий; Италия в настоящий момент целиком во власти Франции, и грозное соседство Корсики не дает мне, что бы там ни говорили, ни минуты покоя, а ужас мой растет при мысли об уходе русского корабля, который перевез нас сюда.

Итак, я не сумею выразить вам, как желала бы я, чтобы российский император, наш единственный после бога покровитель, согласился предоставить в наше распоряжение один из своих линейных кораблей, и я умоляю вас приложить все свои старания, дабы получить это согласие для спокойствия моей несчастной семьи, и в особенности для моего собственного. Лишенная в течение трех месяцев каких бы то ни было известий от моих родителей, я живу в самой ужасной неизвестности... Одним словом, граф, лишь бог и е. в. император российский могут поддержать мое мужество и т. д...

Арх. Внешн. Пол. М. И. Д., Канц., 10627, лл. 6—7.

[1] Эрцгерцогиня австрийская Мария-Терезия (1773—1832), жена сардинского короля Виктора-Эммануила I, обратилась с этим письмом к Местру после переезда вместе с королем в столицу Сардинии, Кальяри. О получении этого письма королевы Местр писал кавалеру Росси 13/25 мая 1806 г., добавляя, что у него нет основания сомневаться в успехе просьбы (Maistre, Oeuvres, X, p. 114). 24 мая ст.ст. Чарторыйский представил доклад по возбужденному королевой вопросу («Сборник Имп. Рус. Ист. Общ.», т. 82, стр. 376—377), по докладу, однако, не последовало никакой резолюции.

МЕСТР—А. Я. БУДБЕРГУ

НОТА ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ ГЕНЕРАЛУ БУДБЕРГУ, МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ[1]

13/25 июля 1806 г.

Нижеподписавшийся, чрезвычайный посланник и полномочный министр короля Сардинии, в момент, когда замечаются некоторые признаки возможности мирных переговоров, считает себя обязанным вновь вверить интересы короля, своего повелителя, высокому и дружескому покровительству е. и. в.[2].

Нижеподписавшемуся небезызвестно, что события могут находиться

ВИД НА ПЕТЕРГОФСКУЮ ДОРОГУ С КРЫЛЬЦА ДАЧИ В. Н. ГОЛОВИНОЙ
Акварель неизвестного художника в альбоме В. Н. Головиной
Музей города, Ленинград

в противоречии с лучшими намерениями. Но он знает также, какой вес будет иметь при любом положении твердость столь великой державы, как Россия, дружбу которой важно купить любой ценой.

Нижеподписавшийся не будет повторять все то, что он так часто излагал и столь подробно объяснял, особенно в записках, поданных е. п., тайному советнику Новосильцову[3], относительно условий короля; первоначально королю Сардинии предложили владение с населением в 260 000 жителей, которое приносило бы ему меньше трех миллионов турских ливров. Это было ничто по сравнению с прекрасными и самыми богатыми владениями его в Италии, насчитывавшими приблизительно три миллиона жителей и с доходом около тридцати миллионов.

Парма, Пиаченца, Генуя, Тоскана, легатства[4] последовательно рассматривались, как объекты для вознаграждения. Однако, важно отметить,

что, если е. в. не получит порта в Италии, обладание Сардинией станет для него почти иллюзорным.

Е. в. король Сардинии с доверием высказывает надежду, что, если переговоры будут иметь какие-нибудь результаты, он не будет вынужден принять такое вознаграждение, которое завершило бы его гибель и мало соответствовало бы, к тому же, влиянию и достоинству его великого покровителя. Нижеподписавшийся считает еще своим долгом обратить внимание е. п. господина министра иностранных дел на то, с какой настойчивостью Буонапарте всегда устранял короля Сардинии от участия в каких бы то ни было переговорах, неизменно заявляя, что он ведет переговоры только из уважения к е. и. в. и поэтому не желает ни о чем договариваться с нами. В действительности же, все это делалось в надежде на то, что в некоторых вопросах, ближе известных заинтересованной стороне, ему будет легче вводить в заблуждение русских посредников.

Со своей же стороны, нижеподписавшийся не переставал просить о том, чтобы е. в. было разрешено послать своего представителя или, по крайней мере, чтобы ничего не решали, не выслушав его предварительно. Представители короля не могут помешать. Они могут только внести ясность.

Преисполненный уверенности в милостивых чувствах е. и. в., нижеподписавшийся ограничивается лишь возобновлением перед е. п. уверений в глубоком и почтительном уважении.

Граф де Местр

Арх. Внешн. Пол. М. И. Д., Канц., 10627, лл. 17—18.

[1] Князь Адам Чарторыйский, после поражения России при Аустерлице, неоднократно просил императора об увольнении его в отставку. Причиной этого было самовластие Александра, становившееся невтерпеж Чарторыйскому.

«...Какая польза вашему величеству,—писал он,—оставлять на посту министра, чьи советы вы не уважаете, которому не доверяете и который, со своей стороны, всегда находится в оппозиции к вам...» «Ваше величество никогда никому не доверяете вполне, вот почему, быть может, ни одно предприятие не было выполнено так, как это было бы желательно» (Кн. Адам Чарторыйский, Мемуары, т. II. Рус. пер. под ред. А. А. Кизеветтера, М., 1913, стр. 89, 92, 120). В июне 1806 г. Чарторыйский был уволен. 17 июня последовало назначение на его место барона Андрея Яковлевича Будберга (1750—1812). Местр был первоначально огорчен этой переменой; в письме к графу Фронту он писал, что «чувства его (Чарторыйского) нам были в совершенстве известны, тогда как чувства его преемника прослыли, как противоположные нашим» (письмо от 5/17 июля 1806 г. (Maistre, Oeuvres, X, pp. 141—142), но уже 19/31 августа Местр писал Росси о доступности, любезности и услужливости нового министра (ibid., pp. 184—185).

[2] Местр имеет в виду возможность открытия переговоров об общеевропейском мире. В самый день получения этой ноты Местра Будберг ответил, что по поводу переговоров пока ничего нельзя сказать определенного, но что «е. и. в. никогда не перестанет, как он это делал до сих пор, всегда принимать самое искреннее участие во всем, что касается короля Сардинии, и поддерживать его интересы настолько горячо и настойчиво, насколько только смогут это позволить обстоятельства» (Арх. Внешн. Пол. М. И. Д., Канц., 10626, лл. 2—3). Но чего не предвидели ни Будберг, ни Местр, это подписания П. Я. Убри в Париже 8/20 июля мирного договора с Францией. Договор совершенно умалчивал о Сардинии. Поступок Убри был дезавуирован русским правительством, и, вместо ожидавшегося мира, Россия снова объявила войну Франции.

[3] Новосильцов Николай Николаевич (1761—1836)—один из членов Негласного комитета и близкий друг Александра и Чарторыйского, был в 1804 г. послан за границу для переговоров с Англией и Австрией о союзе против Франции и о плане будущего устройства Европы. Записки, поданные ему Местром, повидимому, не сохранились.

[4] Легатства—города папской области Болонья и Феррара, управлявшиеся папскими легатами.

МЕСТР—А. Я. БУДБЕРГУ

Понедельник, 4/16 февраля 1807 г.

Генерал, если бы занятость в. п. не помешала мне вчера засвидетельствовать вам на словах мое удовлетворение, я имел бы честь предложить вам следующую мысль. В том случае, если Буонапарте будет вынужден после сражения при Прейсиш-Эйлау перейти обратно Вислу, и только в этом случае (если он останется на месте, дело другое), не считали ли бы в. п. уместным приказать отпечатать на особо тонкой бумаге краткую и энергичную реляцию об этом сражении? Эта реляция, которую здесь можно было бы совсем не распространять, свободно циркулировала бы по всей Франции и по всей Германии. А главное, она достигла бы Парижа и Вандеи, где произвела бы невероятное впечатление[1]. Вы можете быть уверены, в. п., что никогда в Европе не будет мира, пока будет существовать Буонапарте, и что Европа должна будет его терпеть до тех пор, пока его будут терпеть французы; итак, его должны уничтожить французы; и поверьте, генерал, что средство, которое я имею честь вам предложить, является одним из наиболее действенных, чтобы привести к этой спасительной операции. Если эта газетка будет иметь успех, ее можно будет продолжать выпускать.

В случае, если бы настоящая мысль не получила одобрения в. п., я прошу вас, по крайней мере, принять благосклонно продиктовавшее ее намерение. Примите также уверения в глубоком и почтительном уважении, с которым остаюсь, генерал, в. п. всенижайшим и всепокорнейшим слугой.

Граф де Местр

Арх. Внешн. Пол. М. И. Д., Канц., 10629, лл. 7—8.

[1] Сражение при Прейсиш-Эйлау произошло 7—8 февраля н. ст. Французами командовал сам Наполеон, русскими — ген. Бенигсен. В конце сражения к русским присоединился прусский корпус. Обе стороны понесли очень большие потери (каждая — около 25 тыс. чел.). Решающего значения сражение не имело, но наступление французов было остановлено.

МЕСТР—А. Я. БУДБЕРГУ

ПАМЯТНАЯ ЗАПИСКА

13/25 марта 1807 г.

Маркиз Паулуччи[1], о котором я имел честь беседовать однажды с е. п. генералом Будбергом, дал мне понять в разговоре, что, ввиду сделанных им определенных заявлений о его желании служить е. и. в. в военной службе и о готовности принять любое назначение, легко может случиться, что его направят в главную армию, действующую в Пруссии.

Я ничего не мог сказать ему по этому поводу, но в. п., быть может, не совсем осведомлены о достоинствах и способностях маркиза Паулуччи, и потому разрешите мне заметить, что е. и. в. не сможет без явного ущерба отказаться от услуг этого офицера в Далмации[2]. Религиозная ненависть может вызвать большие бедствия в этой стране. Маркиз Паулуччи подтвердил мне, что́, впрочем, я уже знал из других источников, что католическая партия, в сущности, не питает никакой приверженности к французам. Все зло от раздоров с греками, все дело в религиозных предрассудках, которые Буонапарте умеет использовать. Георгий Черный[3], как говорят, подлил масла в огонь, сжегши католические монастыри. Нужно быть осторожным, чтобы без всяких оснований не восстановить против себя

многочисленную партию. В этих обстоятельствах итальянский дворянин, знающий страну, говорящий на местном языке, исповедующий ту же веру, что и большинство местного населения, которое может представить опасность, такой человек, повторяю, в особенности, если к тому же снабдить его инструкциями и соответствующими полномочиями, мог бы быть драгоценным орудием для русского, а следовательно, и для общего дела.

Е. п. генерал Будберг, без сомнения, не осудит меня за то, что я вмешиваюсь в дела, меня не касающиеся. Мною руководит только усердие в служении е. и. в., и я ни единого слова не сказал маркизу Паулуччи о всем, что написано мною здесь собственноручно. Он был бы поставлен, впрочем, в весьма затруднительное положение, если бы его участь не была решена в течение двух дней. Вот почему я и беру на себя смелость вновь рекомендовать его в. п., как бывшего слугу е. в. короля Сардинии.

Арх. Внешн. Пол. М. И. Д., Канц., 10629, лл. 16—17.

[1] Паулуччи Филипп Осипович, маркиз (1779—1849). Отец его был одним из ближайших советников австрийского императора Иосифа II. С юных лет до присоединения Пьемонта к Франции Паулуччи служил в пьемонтской армии, а потом до 1801 г. служил в Австрии, в 1801—1806—в Италии, в 1806—1807—во Франции и с 1807—в России. В 1811 г. он был главнокомандующим Грузии, с 1812 г.—рижским военным губернатором. Местр был в хороших отношениях с Паулуччи и находил в нем незаурядные административные таланты и здравый ум, какие редко встречаются. (Maistre, Oeuvres, X, pp. 358—359). Письмо Местра к Паулуччи от 16 июня 1814 г., не вошедшее в Oeuvres complètes, напечатано в «Русском Архиве», 1886, II, стр. 109.

[2] Далмация была вместе с Истрией, Каринтией и другими отнятыми в 1805 г. у Австрии землями включена Наполеоном в состав образованного им Иллирийского королевства под управлением маршала Мармона. Еще в записке от 11/23 января 1806 г. Чарторыйский указывал, что «необходимо заняться с полным вниманием судьбой обитающих там христианских народов, которые всегда изъявляли большую привязанность к русскому императорскому двору, частью по причине сходства в происхождении и религии, частью потому, что они всегда надеялись именно с помощью России освободиться рано или поздно от турецкого ига. В то же время можно бы извлечь много пользы из обитателей Истрии, Далмации и провинций Каттаро, которые, в свою очередь, принадлежат к греческой вере и точно так же ненавидят французов». «Сборн. Рус. Ист. Общ.», т. 82, стр. 258, 265, 270. В конце 1806 г. Турция под влиянием Франции решилась на разрыв и войну с Россией, которая, со своей стороны, усилила деятельность среди славянских народов Балканского полуострова.

[3] Георгий Черный, или Карагеоргий (1752—1817)—вождь сербского восстания против турок в 1804 г.; в 1806 г. Карагеоргий занял Белград, стал правителем Сербии. Россия немедленно вступила с ним в сношения и подчинила его своему влиянию.

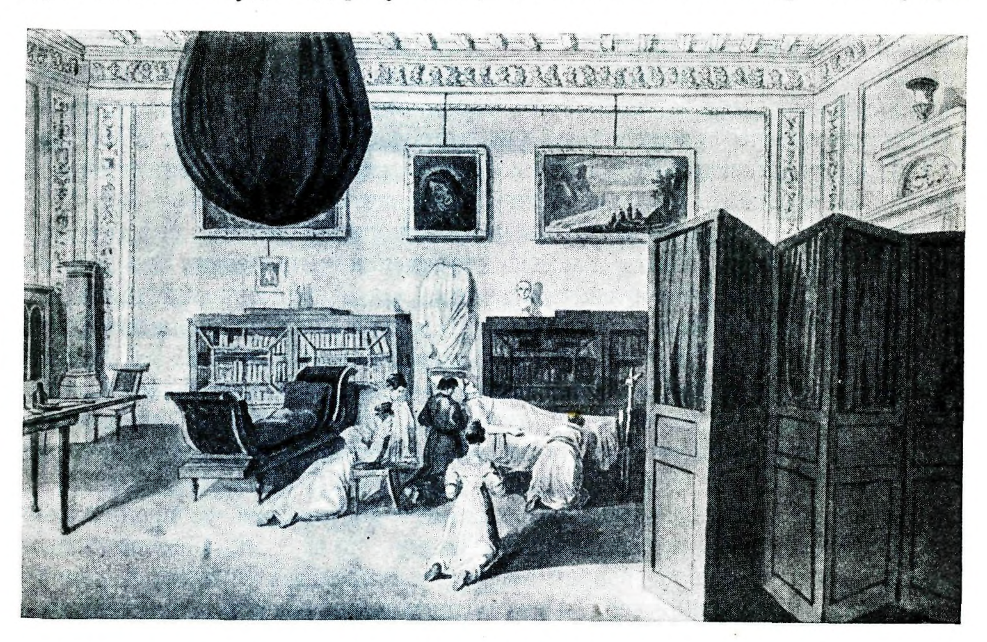
МЕСТР—ГР. А. Н. САЛТЫКОВУ

С. Петербург, $\frac{\text{30 марта}}{\text{11 апреля}}$ 1807 г.

Нижеподписавшийся имеет честь передать е. с. гр. Салтыкову адрес, по которому он постоянно, в течение пяти лет, получает письма от своей жены и детей. Так как сообщать в Турин свой адрес было неудобно, он выбрал адрес одной честной владелицы магазина в здешнем городе, известной своими восторженными чувствами к французскому королю, подданной которого она родилась. Письма нижеподписавшемуся не вкладываются даже во второй конверт, и часто, по рассеянности, их вскрывают, что ему совершенно безразлично.

Может случиться, что кто-нибудь из друзей нижеподписавшегося, кого он не смог предупредить о новых распоряжениях е. и. в., еще напишет ему по тому же адресу; но такие случаи будут очень редки. Как бы то ни

было, как только вышел ноябрьский указ [1], нижеподписавшийся поспешил сообщить прилагаемый при сем адрес е. п. господину Будбергу, и последний уверил его, что дал затем почте нужные распоряжения. Между тем, с 22 октября прошлого года нижеподписавшийся не получил ни одного письма из Турина, что кажется ему ненормальным. Нижеподписавшийся вместо того, чтобы задерживать письма от своей семьи в каком-нибудь промежуточном городе и затем получать их через курьеров, предпочел оставлять их, как он и раньше постоянно делал, в руках правительства. Он надеется, что е. с. гр. Салтыков соблаговолит расследовать, нет ли здесь какого-нибудь недоразумения, не забыто ли что-либо, что и вредит



ПОСЛЕДНИЕ МИНУТЫ ПРИНЦЕССЫ ТАРЕНТСКОЙ В ДОМЕ В. Н. ГОЛОВИНОЙ В ПЕТЕРБУРГЕ, 3 ИЮЛЯ 1814 г.

Слева направо: Любомирская, Розавен, В. Н. Головина и ее дочери П. Головина, Е. Головина

Акварель неизвестного художника в альбоме В. Н. Головиной

Музей города, Ленинград

переписке нижеподписавшегося, несмотря на предосторожности, принятые с самого начала.

Он спешит воспользоваться случаем, чтобы возобновить перед е. с. господином товарищем министра иностранных дел уверения в глубоком уважении.

Граф де Местр

Адрес графа де Местра в С.-Петербурге: Г-же де Вильнёв, владелице модного магазина, против Зимнего дворца. С.-Петербург.

Адрес, по которому он пишет своей жене (пользуясь им, правда, очень редко): Г-же Жюст-Вален, негоциантке, улица По, рядом с Университетом. Турин. Франция. Департамент По.

Арх. Внешн. Пол. М. И. Д., Канц., 10629, лл. 20—22.

[1] Указ 28 ноября 1806 г. о высылке французских и итальянских подданных, за исключением тех, которые согласятся принять русское подданство, и об учреждении комиссии по регистрации иностранцев.—П. С. З., т. XXIX, № 22, 371.

МЕСТР—А. Я. БУДБЕРГУ

С. Петербург, 18/30 июня 1807 г.

Генерал,

Когда слухи становятся упорными, приходится к ним прислушиваться. Я не могу поэтому не считать, по меньшей мере, весьма вероятным слух о приостановке военных действий, что, естественно, может привести к мирным переговорам.

Я смею льстить себя надеждой, что в. п. всегда считали меня не склонным к назойливым просьбам, но надеюсь также, что в случае, подобном настоящему, в. п. согласитесь с необходимостью с моей стороны вновь привлечь внимание е. и. в. к интересам короля, моего повелителя. Происшедшее мне известно, но каково бы оно ни было, Россия всегда непоколебима, и воля ее могущественного монарха будет иметь огромный вес. Самое существование е. в. короля Сардинии зависит от того, будет ли как-нибудь обеспечено его положение и предоставлен ему порт в Италии. А можно ли рассчитывать на большее или меньшее—это в значительной степени определится усилиями могущественного друга.

Впрочем, в. п. знаете, что Буонапарте никогда не прощал е. в. королю Сардинии верности союзам и всегда старался как повредить его авторитету, так и нанести ущерб его владениям. Он непрестанно трудился над тем, чтобы вычеркнуть его, если бы это было возможно, из числа монархов. Он ни разу не пожелал принять его министров, выслушать их, договориться с ними, что было бы, однако, весьма важно. Сохранение сана и ранга является вопросом величайшей важности при настоящих обстоятельствах, и поэтому, генерал, я считаю себя вынужденным настаивать перед в. п. на этих своих соображениях.

Я желал бы, генерал, чтобы до слуха е. и. в. совершенно не дошел слабый голос человека, не имеющего других заслуг, кроме бесконечной благодарности, и чтобы перед взором императора предстал лишь е. в. король Сардинии, поручающий себя и свою августейшую семью покровительству, на которое он возлагал все надежды[1].

Остаюсь с глубоким и почтительным уважением, генерал, в. п. всенижайший и всепокорнейший слуга.

Граф де Местр

Арх. Внешн. Пол., Канц., 10629, лл. 29—30.

[1] После поражения русских при Фридланде и полного разгрома Пруссии Александр был вынужден пойти на переговоры с Наполеоном и согласиться на личное свидание в Тильзите. Мир был заключен в Тильзите 27 июня (9 июля), но об этом к моменту вручения настоящей ноты в Петербурге еще не было известно.

МЕСТР—А. Я. БУДБЕРГУ

ВЕРБАЛЬНАЯ НОТА ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ ГЕНЕРАЛУ БУДБЕРГУ, МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ

С.-Петербург, 18/30 июля 1807 г.

Сардинский посланник во время аудиенции, данной ему 21/9 этого месяца е. п. генералом Будбергом, мог только выразить огорчение и изумление, в которые его повергло печальное состояние дел его повелителя, о котором он тогда узнал[1]. Трудно себе вообразить более бедственное положение, чем положение этого несчастного монарха, никогда, при самых

трудных обстоятельствах, не сворачивавшего с прямого и справедливого пути и оказавшегося теперь жертвой собственной лойяльности.

Антипатия Буонапарте к е. в. королю Сардинии проистекает, главным образом, оттого, что никогда не могло быть сближения между этими людьми, которые, в силу своего происхождения и положения, могли войти в сношения лишь при участии могущественного посредника.

Если имя е. в. короля Сардинии произносилось на совещаниях в Тильзите, а в этом нельзя сомневаться, сардинский посланник полагает, что он в состоянии написать слово в слово все, что было сказано врагом короля. Более того, он знает, что ответить на это мог бы только он сам или другой подданный короля, находящийся, подобно ему, в курсе всего происшедшего, которому е. в. было бы поручено выразить его пожелания. Тем, кто вели переговоры в Тильзите, лицам чрезвычайно почтенным во всех отношениях, были все же чужды, и это неизбежно, тысячи обстоятельств, имеющих значение для е. в. короля Сардинии. Если можно было сказать нужное слово, это слово не было сказано.

Таким образом, король Сардинии дошел до предела несчастья, не имея возможности сказать свое слово и точно не зная даже, была ли сделана какая-либо попытка в его пользу.

Сардинский посланник настоятельнейше просит е. п. обратить внимание, что Буонапарте предпочитает находиться с е. в. королем Сардинии в отношениях, которые можно назвать полувойной. Он держит при нем агента, чтобы следить за ним и мучить его, и в то же время он прогнал королевских консулов и велит снимать королевские гербы в городах, на которые распространяется его власть (именно в Венеции и в Ливорно). Такое положение весьма тревожит е. в.

В этих печальных обстоятельствах посланник е. в., глубоко убежденный, что мир был предписан жестокой необходимостью, и проникнутый благодарностью за дружеские намерения е. и. в., в которых он еще более уверен теперь, чем перед последним миром, разделяет со всеми русскими скорбь, причиненную последними событиями. Он не может в то же время воздержаться, чтобы вновь не поручить дружбе е. в. интересы короля, своего повелителя. Новые отношения неизбежно повлекут за собой бесчисленные переговоры и взаимный обмен мнений, что, в свою очередь, откроет, возможно, благоприятные перспективы. Так как непосредственное сближение стало неизбежным, было бы достойно е. и. в. обратить на это свои неустанные заботы, столько доказательств которых он дал е. в. королю Сардинии.

Арх. Внешн. Пол. М. И. Д., Канц., 10629, лл. 40—41.

[1] Во время этой аудиенции Будберг «с грустью» сообщил Местру, что «сардинский король был предоставлен самому себе Тильзитским договором и что император, начав войну за спасение Европы, был вынужден окончить ее для своего собственного спасения» (Maistre, Carnets, p. 182).

МЕСТР—ГР. Н. П. РУМЯНЦЕВУ

ЕГО СИЯТЕЛЬСТВУ ГРАФУ НИКОЛАЮ РУМЯНЦЕВУ, МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ И КОММЕРЦИИ[1]

С.-Петербург, 29 октября / 10 ноября 1807 г.

Нижеподписавшийся, чрезвычайный посланник и полномочный министр е. в. короля Сардинии, официально узнав о декларации 26-го этого месяца[2],

не мог без крайнего беспокойства рассматривать новые затруднения, в которые она повергнет е. в. При таких тяжелых для короля обстоятельствах он считает своим долгом обратить внимание е. с. гр. Румянцева, что его государь, одинаково связанный с Россией и Англией священнейшими узами привязанности и благодарности, должен безусловно остаться в стороне от всяких недоразумений, которые могут их разъединить. Его порты должны остаться одинаково открытыми для подданных обеих стран, которым он без различия не откажет в зависящей от него помощи. Е. в. король Сардинии ждет от великодушия е. и. в., что он согласится стать в этом вопросе на ту же точку зрения. Неоднократно, во время только-что закончившейся войны, Франция рассматривала долг дружбы и самого строгого нейтралитета, как меры враждебные по отношению к себе, что было совершенно несправедливо, но нисколько не мешало е. в. продолжать ту же систему поведения, хотя он и подвергся вследствие этого многочисленным неприятностям. Ныне, если бы новые узы между Россией и Францией предоставили е. и. в. случай, без ущерба для своих политических интересов, замолвить несколько слов в пользу такого полного нейтралитета, это было бы новой услугой, которая возбудила бы глубокую благодарность е. в. короля Сардинии.

Нижеподписавшийся спешит воспользоваться этим случаем, дабы возобновить перед е. с. господином министром иностранных дел уверения в своем глубоком и почтительном уважении.

Граф де Местр

Арх. Внешн. Пол. М. И. Д., Канц., 10629, л. 56.

[1] Румянцев Николай Петрович, граф (1754—1826). С 1802 г. занимал пост министра коммерции. Был сторонником дружбы с Францией и в 1804 г. один из всех членов правительства высказался против разрыва с ней. По этим именно причинам после заключения Тильзитского мира он заменил Будберга на посту министра иностранных дел.

[2] 26 октября (7 ноября) 1807 г. была опубликована декларация русского правительства о разрыве дипломатических и торговых сношений с Англией, вследствие неудачи посредничества между последней и Францией, взятого на себя Александром I, на основании ст. 13 Тильзитского договора о мире и ст. 4 договора о союзе. Декларация напечатана в подлиннике в «Сборн. Имп. Рус. Ист. Общ.», т. 83, стр. 197—200, и в рус. переводе П. С. З., № 226553.

МЕСТР—И. Я. ВЕЙДЕМЕЙЕРУ

Пятница, 17/29 апреля 1814 г.

Милостивый государь[1],

Члены парижских правительственных учреждений, родившиеся в областях, узурпированных революционным правительством, не преминут употребить все усилия, чтобы создать всякого рода затруднения находящимся накануне восстановления в своих правах законным монархам этих областей, среди которых король, мой повелитель, занимает одно из первых мест. Среди парижских сенаторов мы видим, между прочими, гр. де Ламотт Сен-Мартена[2], а среди членов государственного совета— гр. Галли[3], личных врагов е. в., членов революционного правительства в период завоевания. Они являются авторами или лицами, подписавшими самые резкие документы против своего монарха, и были преданы, в конце концов, суду во времена фельдмаршала Суворова. Они

сидели в тюрьме в ожидании суда, когда сражение при Маренго так надолго продлило бедствия Европы. Мне кажется невозможным, чтобы эти лица, как и многие другие, не создавали бы затруднений, которым мне представляется полезным воспрепятствовать прилагаемой при сем нотой. Прошу в. п. препроводить ее е. и. в., как только это позволят обстоятельства, и прошу вас принять уверения в глубоком уважении, с каковым остаюсь, милостивый государь, в. п. всенижайший и всепокорнейший слуга.

Граф де Местр

Арх. Внешн. Пол. М. И. Д., Канц., 10639, л. 8.

[1] Вейдемейер Иван Яковлевич (ум. в 1820 г.)—член Государственного совета, после отставки гр. Н. П. Румянцева указом 10/22 августа 1814 г. был назначен временно управляющим Коллегией иностранных дел. Это была должность чисто техническая, так как политическое руководство по всем делам иностранного департамента было возложено указом на графа Нессельроде, фактически исполнявшего эти обязанности уже с начала войны.

[2] St. Martin de la Motte Жан-Франсуа-Феликс, граф, род. в 1762 г. в Турине, доктор прав, занимался литературой и ботаникой, был членом Туринской академии наук. В 1798 г.— член временного правительства в Пьемонте. С 1808 г.— граф Французской империи и сенатор. В 1814 г. вместе с другими сенаторами голосовал за низложение Наполеона. Умер в 1818 г.

[3] Galli della Logia, граф, род. в 1732 г. в Турине, ученый юрист, сенатор. В 1798 г., после занятия Пьемонта французами, обратился к населению с воззванием, призывавшим к повиновению новой власти, за что в следующем году, во время захвата Пьемонта войсками Суворова, был заключен в тюрьму, откуда его освободили французы после битвы при Маренго. Наполеон сделал его председателем апелляционной палаты, а потом членом государственного совета. Местр, очевидно, не знал, что он умер еще 22 января 1813 г.

ЗДАНИЕ „ИЕЗУИТСКОГО ДОМА“ В ПЕТЕРБУРГЕ

С фотографии 1900-х гг.

II. ЖОЗЕФ ДЕ МЕСТР И РУССКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

В настоящей главе собраны документы, связанные с историей отношений русских правящих кругов к Жозефу де Местру. Часть этих документов извлечена из Архива внешней политики в Москве, другая любезно сообщена «Литературному Наследству» директором парижской Bibliothèque Slave г. Руэ де Журнелем.

До конца 1811 г. официальные и личные отношения Местра с представителями русской власти ограничивались преимущественно сношениями с министрами. Императора он видел редко. Тем не менее, личность Местра интересовала двор, его, как будто, там изучали. Вместе с тем ему, как представителю страны, которой покровительствовали, иногда старались оказывать внимание. В начале 1805 г. брат его, Ксавье де Местр, был назначен директором Морского музея и библиотеки Адмиралтейства. По этому поводу Местр обратился к Александру 6/18 апреля 1805 г. с благодарственным письмом. На следующий день он получил ответное письмо. Александр, уверяя Местра, что назначение его брата есть доказательство расположения к нему самому, писал: «Безграничная преданность, с которой вы служите его величеству королю Сардинии, дает вам право на особенное мое уважение»[1]. Повидимому, это был первый обмен письмами.

В 1807 г., после заключения Тильзитского мира, положение Местра в Петербурге, как дипломата, сделалось еще менее значительным. Он не мог рассчитывать на какую-либо защиту интересов своего короля со стороны России до нового конфликта между нею и Францией. Разговоры на политические темы между ним и русскими министрами почти прекратились.

Тем больший интерес приобретает публикуемое ниже письмо Александра I к сардинскому королю от 15 августа 1807 г., с целью объяснить королю причины, вынудившие Александра пойти на заключение мира с Францией, и уверить его в неизменности отношения к нему русского самодержца. Содержание письма с неопровержимой ясностью свидетельствует о том, что Александр вовсе не был увлечен перспективами союза с Францией, рассматривал этот союз, как вынужденный, и, несомненно, думал о возобновлении в будущем борьбы с Наполеоном.

В письме есть несколько строк о Местре, который «своей осмотрительностью и своим мудрым поведением сумел приобрести здесь всеобщее уважение» и «особое расположение» императора.

За этим письмом следуют три документа 1809 г.: два письма Местра к канцлеру гр. Н. П. Румянцеву и одно к императору. Все они связаны с вопросом о сыне Местра и его возможном участии во франко-австрийской войне на стороне Франции. 1809 г. был годом решительного перелома в отношениях России и Франции. Во время франко-австрийской войны Наполеон имел возможность убедиться в неискренности и лицемерии своего союзника. Со своей стороны, Александр уже в конце этого года начал думать о приближении войны с Францией. Стараясь усыпить внимание Наполеона переговорами, комплиментами и любезными улыбками, он уже начинал реальную подготовку к войне: собирал силы, зондировал настроение дворянства в Москве и через Чарторыйского искал сближения с поляками.

По отношению к Местру на этот раз, действительно, было проявлено «особое расположение»: кроме ласковых слов, он получил существенную материальную поддержку. Его сыну было выдано, под видом займа, вознаграждение в сумме 5 000 рублей.

В конце 1811 и начале 1812 гг. Местр неожиданно оказался приближенным ко двору. Свидания с кн. Голицыным, гр. Толстым и самим Александром, происходившие в конспиративной обстановке, закончились поручением Местру составить проект манифеста о восстановлении Польши. В связи с этим и состоялся обмен письмами с Александром. Письмо Местра от 8/20 апреля 1812 г. до нас не дошло. Ответное письмо Александра мы печатаем.

Далее следует письмо к Александру от 5 декабря 1813 г. В этом письме Местр, предвидя близкий конец войны, напоминает об интересах своего короля и просит Александра отправить своего сына с письмом к королю. Просьба не была удовлетворена, и мы не знаем, последовал ли на нее хотя бы устный ответ. Русский император в это время очень мало думал о сардинском посланнике и его сыне и немногим больше—о его короле.

Следующим документом в этой серии идет письмо к Александру от 28 августа (9 сент.) 1814 г., связанное с ожидавшимся приездом семьи Местра.

Далее мы публикуем интересную переписку русского министерства иностранных дел с кн. П. Б. Козловским, русским посланником в Турине, посвященную вопросу об отозвании Местра из Петербурга.

Князь Петр Борисович Козловский (1783—1840) родился и воспитан в Москве. Воспитанием его руководили французы. В 1801 г. он поступил на службу в архив коллегии иностранных дел, где познакомился с А. И. Тургеневым и Ф. Ф. Вигелем. Неблагожелательный и злоречивый Вигель все же характеризует Козловского, как «доброго малого, сообщительного, веселого и даже легкомысленного». «Он славно говорил по-французски и порядочно писал русские стихи»[2]. В 1802 г. Козловский был причислен к миссии при сардинском короле, находившемся тогда в Риме. Здесь он сошелся с католическими патерами и тайно принял католицизм. С 1806 г. он состоял при русском посольстве в Вене, а в 1812 г. был назначен чрезвычайным посланником в Сардинию.

Козловский занимался литературой, но признавался П. А. Вяземскому, что «письменный процесс для него тягостен и ненавистен» и что «прямое призвание его есть живая устная речь». По отзыву Вяземского, «в словах его были и достоинство, и красивость отделки, т. е. мысль и выражение. Вспомогательные средства были также обильны: большая начитанность, тесное знакомство со всеми европейскими знаменитостями и память удивительная. Ко всему этому прибавьте: смелость своих мнений... он был оратором ежедневным, ежеминутным, всегда готовым, всегда послушным внутреннему или внешнему призванию, всегда повелительным над вниманием своих собеседников»[3].

Местр познакомился с Козловским по приезде в Россию и нашел в нем «доброту, ум, знания и в особенности необычайную осведомленность в области политических событий и в отношении дипломатических лиц»[4]. Кроме того, католическое вероисповедание и западные симпатии Козловского должны были сблизить их. Между ними завязалась переписка. Как видно из трех дошедших до нас писем Местра к Козловскому[5], оба они скорбели над упадком русского дворянства и держались крайне низкого мнения о русском духовенстве. Козловский, подобно Местру, крайне критически относился к России. Однако, причислять его к полным единомышленникам автора «Du Pape» вряд ли правильно.

Колкие эпиграммы Козловского по адресу русских порядков, его западные симпатии приходились по душе и русским либералам, хотя они и не разделяли его презрения к России. Встретившийся с ним в 1811 г. в Риме Н. И. Тургенев писал о нем своему младшему брату: «Я с ним много спорил, и спорил о таких предметах, кот[орые] никакому сомнению не подвержены: он утверждает, что русский народ никакого характера не имеет». Впоследствии, в письме от 29 октября 1816 г. Тургенев, вспоминая Козловского, отмечал «его ум и его душу, прекрасную во многих отношениях» и в письме от 4 января 1817 г.: «Поклонись Козловскому—и скажи ему, чтобы он хамам [т. е. реакционерам] не уступал попрежнему. Люди, кото[рых] я здесь вижу, часто заставляют меня о нем думать с истинным удовольствием»[6].

Летом 1827 г., когда лучшие представители александровской эпохи сидели в рудниках, а Н. И. Тургенев, обвиненный заочно, проживал в Лондоне, кн. П. Б. Козловский встретился в Эмсе с его старшим братом, А. И. Тургеневым. Последний писал об этой встрече брату: «Ум и сведения... делают болтовню его не болтовнею, а блиста-

тельным монологом. Он богат идеями и воспоминаниями и размышляет просто. Дело твое понимает прекрасно и здраво судит о нем... Только заключения его меня сердят, ибо он вместо того, чтобы за суд нападать на судей, нападает на Россию вообще и на народ»[7].

И вот этому аристократу-фрондеру и тайному католику предстояла задача требовать отозвания Местра из России. Задача была нелегкая, тем более, что самая мотивировка отозвания была изложена в двух одновременно отправленных депешах неодинаково.

Секретная депеша от 31 марта 1816 г. дает обстоятельную характеристику Местра и мотивирует необходимость отозвания его ролью в деле иезуитов. Отметим поразительную осведомленность авторов депеши во всем, что касается Местра, в том числе и отношений с Козловским. Последнему предлагается, в случае возвращения Местра в Турин, воздерживаться «от разговоров с ним относительно положения России и мероприятий к его улучшению» и указывается на необходимость «осторожности и умеренности в речах». Другая депеша проникнута стремлением предупредить возможность враждебной деятельности Местра за границей. Депеша проявляет о нем трогательную заботливость. Здесь указывается, что отозвание ни в коем случае не следует мотивировать недовольством русского императора деятельностью Местра. Напротив, надо указать, что император, хотя и имел серьезные причины быть недовольным Местром, но простил ему. Отозвания просит сам Местр, и просит только по расстроенному материальному положению. Со своей стороны, император желал бы, чтобы все это не отразилось на дальнейшей карьере Местра, и надеется, что ему дадут хорошее и заслуженное место.

Козловский ответил 1/13 июня 1816 г. тремя депешами. В первой, печатаемой ниже, он ответил на первую из адресованных ему депеш. Во второй Козловский дает отчет в исполнении возложенного на него поручения. Он мотивировал необходимость отозвания Местра исключительно его затруднительными денежными обстоятельствами и всякий раз отклонял подозрение, когда речь заходила о деле иезуитов. Он выяснил, между прочим, что в Турине не особенно желали возвращения туда Местра. Губернатор Турина, гр. Ревель, под большим секретом сообщил Козловскому, что министр иностранных дел граф Валлез предпочитает удвоить жалованье Местра, чем видеть при дворе короля столь выдающегося человека. О возможности увеличения жалованья сказал ему и сам Валлез. Осторожно, в общей форме, Козловский заметил, что обычно оставаться в стране, из которой уже собирался уезжать, бывает довольно трудно. После этого Валлез стал пытаться вырвать от Козловского заявление о том, что Россия требует отозвания. Но Козловский от этого все время уклонялся и лишь мимоходом, как ему было поручено, упомянул о вине Местра перед императором и о христианском всепрощении последнего. Валлез, со своей стороны, распространился о великодушии императора и заметил, что, конечно, король не будет настаивать на сохранении Местра на посту, на котором он смог досадить «величайшему покровителю савойской династии». После нового заявления Козловского, что речь идет совсем не об этом, Валлез должен был понять, что Александр не хочет больше видеть Местра в Петербурге, но не требует формально его отозвания, и обещал все устроить к общему удовольствию. В третьей депеше Козловский сообщил, что Местр будет назначен президентом коммерческого суда в Турине. Русское правительство было недовольно этим назначением, находя, что оно не отвечает ни желаниям Местра, «ни наиболее нелицеприятной и строгой справедливости», но предложило Козловскому не вмешиваться в дальнейшее обсуждение этого вопроса[8].

Интересно, что Козловский ознакомил со всей печатаемой нами перепиской французского посланника в Турине, графа Габриака[9].

В депеше от 15/27 марта 1817 г. Козловский сообщил о назначении преемника Местру в лице графа Брузаско[10].

ИЗГНАНИЕ ИЕЗУИТОВ ИЗ ПЕТЕРБУРГА
Литография Г. Энгельмана
Публичная библиотека, Ленинград

Как мы знаем, Местр был назначен не на ту должность, о которой писал Козловский: ему дали должность первого президента верховного суда—по существу, только почетную.

Последний печатаемый нами документ—письмо Александра I к королю Виктору-Эммануилу от 17 ноября 1817 г. Давая лестную характеристику стараниям Местра «поддержать дружбу и доброе согласие между двумя государствами», Александр поручает его благоволению короля. Это письмо опять-таки стало известным гр. Габриаку,—16 января 1818 г. он писал Ришелье, что царь продолжает добиваться обеспечения Местру «почетного существования в его отечестве»[11]. 15 декабря 1818 г. Жозеф де Местр был назначен управляющим главной канцелярией (Régent de la Grande Chancellerie) в Турине[12].

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Оба эти письма напечатаны: Maistre, Oeuvres, XIV, pp. 298—299.

[2] Вигель, Записки, изд. «Русск. Архива», I, стр. 175.

[3] П. А. Вяземский, Полн. собр. соч., VII, стр. 241; II, стр. 287.

[4] Maistre, Oeuvres, XII, p. 113.

[5] Maistre, Oeuvres, XIII, pp. 168—173, 249—253; XIV, pp. 141—145. Надо отметить опечатку этого издания—Korlowsky, хотя в первом издании этих писем («Lettres et opuscules») он назван правильно.

[6] Декабрист Н. И. Тургенев, Письма к брату С. И. Тургеневу. Институт Литературы АН СССР, М.—Л., 1936, стр. 107, 202 и 208.

[7] Письма А. И. Тургенева к Н. И. Тургеневу, Лейпциг, 1872, стр. 52.

[8] Архив Внешн. Пол. М. Ин. Дел, Канц., № 11293—Turin, Réception, л. 91. Там же, № 11294—Turin, Expédition, лл. 32—33.

[9] Письмо гр. Габриака французскому министру иностранных дел герцогу Ришельё от 10 июня 1816 г.—Maistre, Carnets, pp. 232—235. Оно было известно в рукописи Мандулю.

[10] Архив Внешн. Пол. М. Ин. Дел, Канц., № 11296—Turin, Expédition, лл. 27—30.

[11] Письмо Габриака—Maistre, Carnets, pp. 235—236.

[12] F. Vermale, Joseph de Maistre émigré, Chambery, 1927, p. 16.

АЛЕКСАНДР I—КОРОЛЮ ВИКТОРУ-ЭММАНУИЛУ I

С.-Петербург, 15/27 августа 1807 г.

Государь мой брат и кузен,

Ваше величество, без сомнения, отдаете должную справедливость чувствам, которые я всегда питал к вам, чтобы не сомневаться в том, что если в договоре, который я заключил в Тильзите, не было ничего выговорено в вашу пользу, то, следовательно, не от меня зависело сделать это. Таковы были обстоятельства. В борьбе, в которую я вступил единственно ради общего блага, я оказался покинутым даже теми из своих союзников, которые более других были в состоянии поддержать мои усилия и которые были сами непосредственно в том заинтересованы. Поставленный в необходимость рассчитывать единственно на свои собственные силы против численного превосходства противника, я должен был подумать о спокойствии своих собственных владений, границы которых были уже под угрозой. Тильзитский договор был следствием этого несчастного стечения обстоятельств.

Изложив вам все это, государь брат мой, я не могу отказать себе в удовольствии еще раз уверить вас в том, что никогда не перестану я принимать самое искреннее и самое горячее участие во всем, вас касающемся, и что мне всегда будет приятно сохранить с в. в. те же дружеские отношения, которые я поддерживал до сих пор. Граф де Местр, избранный вами, чтобы представлять при мне в. в., своей осмотрительностью и своим

мудрым поведением сумел приобрести здесь всеобщее уважение и особое мое расположение. Я счел своим долгом по отношению к нему засвидетельствовать это перед в. в., и я прошу вас вновь принять уверение в неизменных чувствах дружбы и уважения, с которыми пребываю, государь мой брат и кузен, в. в. преданный брат и кузен

Александр[1]

Печатается по копии, хранящейся в семейном архиве графов Местр во Франции.— Текст сообщил M. Rouët de Journel.

[1] Передавая это письмо Местру для отправки королю, министр иностранных дел Будберг одновременно вручил ему копию с него.

МЕСТР—ГР. Н. П. РУМЯНЦЕВУ

С.-Петербург, 1/13 июня 1809 г.

Граф[1],

Я имел честь объяснить в. с., что трудности моего положения отнюдь не проистекают из моих опасений по поводу того, как пойдут в дальнейшем военные события, и что в этом вопросе я всецело полагаюсь на доброту е. и. в. В этом отношении нет более никаких сомнений[2].

П. Б. КОЗЛОВСКИЙ

Карикатура неизвестного художника
Литография 1846 г.

Мне приходится уступать случайным и совершенно непредвиденным затруднениям. Мне хотелось бы предоставить сыну возможность переменить службу с тем, чтобы удержать его подле себя; но все, что я ни придумывал, оказывалось в противоречии с каким-нибудь из правил службы. Мне пришел в голову Генеральный штаб, но, возможно, что и эта мысль окажется столь же мало приемлемой, как и прежние. Переход из кавалергардов в армейскую пехоту является в общественном мнении настоящей немилостью, и к тому же это навсегда лишило бы меня сына. Тем не менее, приходится вооружиться терпением. Мой сын погиб, граф, и я тоже, возможно. Нужно склонить голову перед несчастьем, преследующим меня без устали в течение двадцати лет.

Если нет другого выхода, кроме пехотного полка в провинции, не может ли е. и. в. оказать мне милость и забыть моего сына у меня на три месяца? В этом случае я ручаюсь честным словом, что ноги его не будет на улице до сентября; ибо к чему же это новое и унизительное назначение и как следствие его — отъезд, если не для того только, чтобы дотянуть до этого грустного месяца? Впрочем, это лишь простое предположение, на котором я отнюдь не настаиваю из боязни снова ошибиться.

Выражая в. с. признательность за участие, которое вы изволили принять в моем положении, я прошу не отказать принести за меня благодарность е. и. в. за все милости, которыми он осыпал меня до сих пор. Никакое несчастье не может заставить меня забыть их.

Остаюсь с глубочайшим уважением, граф, в. с. всенижайший и всепокорнейший слуга

Граф де Местр

На обороте рукою Александра I написано:

«Я предлагаю заем[3]. Переход в пехотный полк не является немилостью, так как переходят с соответствующим повышением чина. Я предлагаю лейб-гренадерский полк».

Арх. Внешн. Пол. М. И. Д., Канц., 10632, лл. 3—4.

[1] О Румянцеве см. примечание на стр. 650.

[2] Еще 16/28 апреля 1809 г. на приеме у Румянцева Местр возбудил вопрос о своем сыне и других служивших в России пьемонтских офицерах, в связи с предстоявшей франко-австрийской войной, в которой Россия должна была принять участие в качестве союзницы Франции. Прося «не употреблять их [офицеров] ни в какое дело, противное их совести и чести», Местр ходатайствовал о бессрочном отпуске для сына: «Это—последняя капля моей крови... недопустимо, чтобы мой сын находился на действительной русской службе во время войны с Австрией». Румянцев, прекрасно знавший, что Александр не собирался оказывать в этой войне сколько-нибудь существенную поддержку Наполеону, говорил, смеясь, Местру: «Но что это вы себе вбиваете в голову? Ведь ничего не будет, ничего не будет». Он обещал поговорить с императором (Maistre, Oeuvres, XI, p. 245, и Carnets, p. 189). 18/30 апреля, при встрече на балу, Румянцев сказал Местру, что император недоволен его просьбой, и снова заявил, что «ничего не будет». На вопрос Местра, что это значит, Румянцев ответил: «Нет, ничего не будет, и даже если бы что-нибудь было для остальной части человеческого рода, для вас ничего не будет» (Maistre, Oeuvres, XI, pp. 246—247). Александр выразил свое недовольство тем, что при встрече с Местром не сказал ему ни слова (ibid., p. 250). После этого Местр возбудил ходатайство о перемене полка для сына, в частности, просил о зачислении его в квартирмейстерскую часть. Ответом на это явилось предложение перевести Родольфа Местра в какой-нибудь из полков в провинцию, что было принято за выражение немилости.

[3] Резолюция была наложена Александром, очевидно, после ознакомления с содержанием второго письма Местра к Румянцеву от того же 1/13 июня, в котором Местр говорил о своих денежных затруднениях (см. ниже).

J'ai eu l'honneur d'expliquer à V. E. que les difficultés de ma situation ne résultoient nullement de mes craintes sur la direction présente de la guerre, en quoi sur ce point je m'en reposois sans réserve sur la bonté de S. M. I. ainsi il n'y a plus de doute à cet égard.

Je cède uniquement à des embarras de fortune accidentels et tout-à-fait imprévus. J'aurois voulu trouver un moyen de faire changer de place à mon fils en le retenant auprès de moi; mais tout ce que j'ai imaginé s'est trouvé contraire à quelque loi du Service. L'État général m'est venu en tête mais peut-être que cette idée se trouvera aussi peu recevable que les autres. Le passage d'un chevalier-garde dans l'infanterie d'armée est une véritable disgrace dans l'opinion, et d'ailleurs il me prive pour toujours de mon fils

cependant il faut bien prendre patience. mon fils est perdu, cht. Lafont et moi aussi peut être. il faut plier la tête sous le malheur qui me poursuit sans relâche depuis vingt ans.

S'il n'y a pas d'autre moyen que l'infanterie de Province, S. M. I. ne pourroit-elle pas me faire la grace d'oublier mon fils chez moi pour trois mois? dans ce cas, j'engage ma parole d'honneur qu'il ne mettra pas le pié dans la rue jusqu'au mois de Septembre; car pourquoi cette nouvelle destination humiliante et la dépense qui en sera la suite, uniquement pour atteindre ces trois Mois? Ceci n'est qu'une simple idée en l'air sur laquelle je n'insiste point de peur de me tromper encore.

En remerciant V. E. de l'intérêt qu'elle a bien voulu

prendre

АВТОГРАФ ПИСЬМА ЖОЗЕФА ДЕ МЕСТРА К Н. П. РУМЯНЦЕВУ ОТ 13/1 ИЮНЯ 1809 г
Страницы первая и вторая
Архив внешней политики, Москва

prendre à ma situation, je la prie de vouloir bien remercier pour moi S. M. I. de toutes les bontés dont elle m'a comblé jusqu'à ce jour, aucun malheur ne peut me les faire oublier.

Je suis avec la plus haute considération

Monsieur le Comte

de V. E.

Le très-humble et très-obéissant Serviteur

Le Cte de Maistre

St Pétersbourg 13/1 juin 1809

J'offre un prêt

Le passage dans un Regi de Campagne n'est pas disgrace car on passe avec le grade correspondant.

Je propose celui des Grenadiers du Corps

Ecrit au crayon par S. M. I.

J'offre un prêt

le passage dans un régiment de campagne n'est pas disgrace, car on passe avec le grade correspondant.

Je propose celui des grenadiers du Corps

АВТОГРАФ ПИСЬМА ЖОЗЕФА ДЕ МЕСТРА К Н. П. РУМЯНЦЕВУ ОТ 13/1 ИЮНЯ 1809 г.

Страницы третья и четвертая; на последней собственноручная резолюция Александра I

Архив внешней политики, Москва

МЕСТР—ГР. Н. П. РУМЯНЦЕВУ

С.-Петербург, 1/13 июня 1809 г.

Граф,

Я очень внимательно взвесил свое положение. Неожиданно оказалось, что мне предстоит чрезвычайно большой и совершенно непредвиденный расход. Я лишился некоторой суммы денег, на которую с полным правом рассчитывал. В довершение к этому у сына пали две лошади. Предстоящее выступление в лагерь вынуждает меня немедленно купить ему новых лошадей, и, кроме того, во время лагеря, при жизни на два дома, увеличатся вдвое мои расходы на стол и на выезд. Как видите, граф, в моем положении мало заманчивого. Я подсчитал, что для того, чтобы сын мог продолжать свою службу, а я сам удержаться на поверхности, нужно пять тысяч рублей. Я не имею права занять эту сумму, ибо не более, чем всякий другой, могу быть уверенным в том, что завтра буду жив; еще меньше права имею я просить ее. Признаюсь вам, граф, что такая абсолютно ни на чем не основанная просьба казалась бы мне просто неприличной. Я счел своей обязанностью, пользуясь деликатностью и доброжелательством в. с., привести все эти подробности в конфиденциальном письме, чтобы вы в душе не приняли за глупую гордость естественную сдержанность, которую, если хотите, можно назвать стыдливостью.

Теперь вы достаточно осведомлены, граф, и сможете оправдать меня перед е. и. в. и дать ему почувствовать, что в моем поведении нет ни непредусмотрительности, ни легкомыслия, ни вообще того, чем он мог бы остаться недовольным. Что сталось бы со мной, если бы, погибая, я имел еще несчастье навлечь на себя его неудовольствие. Когда на меня обрушились всевозможные несчастья, которых я, однако, не заслужил и в которых не был повинен, е. в. разрешил мне ухватиться за его покровительство, как за якорь спасения. Он выскользает теперь из моих рук. Ну, что ж! Остается только итти ко дну.

Я не мог бы закончить, граф, не повторив в. с. моих уверений в сердечной благодарности за дружеское участие, проявленное вами в этих роковых обстоятельствах. Ваши добрые намерения остались бесплодными, но, тем не менее, они вызывают в моей душе признательность, которая будет длиться, пока я жив.

Остаюсь с глубоким уважением, граф, в. с. всенижайший и всепокорнейший слуга

Граф де Местр[1]

Арх. Внешн. Пол. М. И. Д., Канц., 10632, лл. 5—6.

[1] Как видно из резолюции на предыдущем письме, Александр I решил оказать материальную поддержку Местру, выдав Родольфу Местру «вознаграждение в сумме 5000 рублей под видом займа» (Carnets, запись от 6/18 июня 1809 г., а из записи от 15/27 июня видно, что эта сумма была увеличена вдвое, стр. 189).

МЕСТР—АЛЕКСАНДРУ I

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ ИМПЕРАТОРУ ВСЕРОССИЙСКОМУ

[Июнь 1809 г.]

Государь,

Быть может, я виноват в том, что был нескромен в отношении в. в., взяв смелость утруждать вас в течение нескольких дней просьбами, не соответствующими обычаям вашей страны. Это произошло только от-

того, государь, что скромность с полным основанием повелевала мне опасаться щедрости в. и. в., но эта щедрость оказалась сильнее меня,—пришлось ей уступить. Граф Румянцев имел возможность доложить в. и. в., в какой мере я был поражен и даже смущен всей той добротой, которой я не имел счастья заслужить. Я видел своего единственного сына на краю пропасти. В. в. соблаговолили удержать его; только рука ваша могла спасти его. Я умоляю разрешить мне повергнуть к стопам в. в. свою безграничную благодарность, как и благодарность моего сына, все минуты жизни которого должны быть употреблены на то, чтобы оправдать милости в. и. в.

Остаюсь и т. д.[1]

Арх. Внешн. Пол. М. И. Д., Канц., 10632, л. 7. Копия.

[1] Это письмо, несомненно, является выражением благодарности за вознаграждение, о котором шла речь в примечании к предыдущему письму. Ходатайство о сыне разрешилось также к полному удовлетворению отца. Кавалергардский полк не был отправлен на войну, и Родольф де Местр остался в его рядах. 11 августа отец писал своей младшей дочери Констанции, что Родольф находится в лагерях в 4—5 верстах от Петербурга и что он с ним иногда видится (Maistre, Oeuvres, XI, pp. 269—270).

АЛЕКСАНДР I—МЕСТРУ

9/21 апреля 1812 г.

Я получил, граф, ваше письмо от вчерашнего числа. Со времени царствования покойного императора поляки наших провинций получили привилегию судиться по своим старинным законам. После того я дал им некоторые другие льготы, но они не кажутся мне достаточно значительными, чтобы о них стоило упоминать в таком документе, как настоящий[1].

Примите выражение моего уважения

Александр

Подлинник хранится в семейном архиве графов Местр во Франции.—Текст сообщил M. Rouët de Journel.

[1] При Павле I в губерниях, присоединенных к России от Польши, были восстановлены административные и судебные учреждения «Речи Посполитой». При Александре I в 1802 г. создан Виленский учебный округ, попечителем которого был назначен кн. Адам Чарторыйский. Документ, о котором идет речь,—проект манифеста с обращением к полякам, составление которого было поручено Местру. Проект был составлен к концу июля (Maistre, Oeuvres, XII, pp. 189—190, и Carnets, p. 195).

МЕСТР—АЛЕКСАНДРУ I

С.-Петербург, 23 ноября / 5 декабря 1813 г.

Государь,

Все верноподданные е. в. короля Сардинии, имеющие счастье жить во владениях в. и. в., очень обеспокоены, не видя, чтобы кому-либо из представителей короля была обеспечена в это знаменательное время возможность служить ему так, как они того бы желали.

Опасаясь, быть может, моей слишком большой сдержанности, они передали мне несколько заявлений, которыми рассчитывали пробудить мою бдительность.

Я отношусь с большим уважением к их беспокойству, источником которого является верность своему государю; но в то же время, глядя на других посланников, я чувствую, что не имею права обращаться с известного рода ходатайствами. Итак, все, что я позволяю себе, государь, в надежде, что в. и. в. меня не осудите,—это вновь поручить в. в. интересы

Sire.

Tous les sujets fidèles de S. M. le Roi de Sardaigne qui ont le bonheur de vivre dans les états de Votre Majesté impériale s'inquiètent beaucoup de ne voir à cette époque mémorable aucun de ses agens à portée de le servir comme ils le desireroient. Ils ont même fait parvenir jusqu'à moi quelques mots qu'ils ont crus propres à réveiller ma vigilance, et craignant peut-être ma trop grande reserve.

J'honore cette inquiétude qui a sa source dans la fidélité; mais je n'en sens pas moins, en considérant d'autres ministres, que je n'ai pas droit de faire certaines demandes. Tout ce que je me permettrai, Sire, et j'espère que V. M. I. ne le désapprouvera point, c'est de lui recommander de nouveau très-instamment les intérêts de mon bon Maître pour la première occasion qui peut n'être pas éloignée, où il pourra être possible et utile de prendre la parole pour lui.

Que si V. M. I. se trouvoit heureusement dans le cas de lui envoyer quelques bonnes paroles, mon fils, Sire, ne pourroit-il point en être le porteur? C'est peut-être le moment favorable de confesser ma foiblesse paternelle à V. M. I. Après vingt années de craintes, de souffrances, de privations, de sacrifices de toute espèce, et pour prix d'un dévouement dont V. M. I. seule dans l'univers peut connoître toute l'étendue, toute mon ambition seroit que mon fils fut choisi par V. M. I. pour aller à la cour de Sardaigne lui annoncer de meilleurs jours, et qu'il eut l'honneur de s'y présenter avec le chiffre de l'Empereur Alexandre I-er l'auguste protecteur de son père. Cette grâce couronneroit de bonheur une tête blanchie dans le chemin de l'honneur et je désire bien vivement qu'elle ne paroisse point indiscrette à V. M. I.

Je m'incline avec la plus tendre vénération devant sa personne auguste et chérie, la suppliant très-humblement et de toutes les forces de mon cœur de ne point éloigner, au milieu de la joie universelle excitée par son magnifique triomphe, des sentimens qui n'ont point attendu l'époque des miracles.

Je suis avec le plus profond respect

Sire

de Votre Majesté impériale

Le très-humble très-obéissant et très-dévoué Serviteur

Le Comte de Maistre

S. Pétersbourg 5 Déc-bre 1813 / 23 Nov-bre

Env. extr. Min. plén. de S. M. Sarde près V. M. I.

АВТОГРАФ ПИСЬМА ЖОЗЕФА ДЕ МЕСТРА К АЛЕКСАНДРУ I ОТ 5 ДЕКАБРЯ (23 НОЯБРЯ) 1813 г.

Архив внешней политики, Москва

моего доброго повелителя с настоятельнейшей просьбой, чтобы при первом же удобном случае, который, быть может, вскоре представится, в. в. подняли бы голос в его пользу[1].

А если в. и. в. признаете желательным послать е. в. королю несколько ободряющих слов, не могла ли бы передача их быть поручена моему сыну? Быть может, настал благоприятный момент признаться в. и. в. в отцовской слабости. После двадцати лет опасений, страданий, лишений, жертв всякого рода, в качестве награды за преданность, всю глубину которой только в. в. одни во всей вселенной можете знать,—мне хотелось бы удовлетворить свое честолюбие тем, чтобы мой сын был послан в. и. в. к сардинскому двору возвестить ему о лучших днях и чтобы он явился туда украшенным вензелями императора Александра I, августейшего покровителя его отца. Эта милость озарила бы лучами счастья голову, поседевшую на поприще чести, и я горячо желаю, чтобы просьба о ней не показалась нескромной в. и. в.[2].

Почтительно склоняясь перед августейшей и обожаемой особой в. в., всепокорнейше и от всей души молю в. в. не пренебречь среди всеобщей радости, вызванной блистательным его триумфом, чувствами, которые не дожидались времен чудес.

Остаюсь, государь, с глубочайшим почтением в. и. в. всенижайшим, всепокорнейшим и всепреданнейшим слугою

Граф де Местр,
чрезвычайный посланник, полномочный
министр е. в. короля Сардинии при
вашем императорском величестве

Арх. Внешн. Пол. М. И. Д., Канц., 10637, лл. 46—47.

[1] 1 декабря 1813 г. союзники опубликовали франкфуртскую декларацию, в которой заявили, что воюют не с Францией, унижения которой не хотят, а с ее императором, «или, вернее, с преобладанием, которое он так долго имел за пределами своей империи, к несчастью Европы и Франции». 2 декабря министр иностранных дел Коленкур уведомил союзников, что Наполеон согласен на переговоры о мире на условиях возвращения Франции к ее естественным границам (Рейн, Альпы, Пиренеи). Таким образом, вставал вопрос: или мир с Наполеоном с отказом его от вмешательства в дела Германии и Италии, или продолжение войны с перенесением ее внутрь Франции. При том или другом решении вопроса Местр считал уместным напомнить об интересах своего короля. Следует, однако, отметить, что еще 8 октября он писал Румянцеву о том же, настаивая на привлечении представителя Сардинии к участию в предварительных переговорах о будущем устройстве Европы (Maistre, Oeuvres, XII, pp. 370—373). В записке о задачах савойской династии, посланной в октябре 1813 г. в Кальяри, Местр предостерегал короля против слишком доверчивого отношения к России (ibid., pp. 375—399).

[2] Эта просьба не была удовлетворена.

МЕСТР—АЛЕКСАНДРУ I

28 августа / 9 сентября 1814 г.

Государь,

Когда в 1812 г. я надеялся вновь свидеться со своей семьей, в. и. в. оказали мне чрезвычайную милость, приказав выдать мне паспорт, освобождавший приезжающих от обычного досмотра на границах империи. Так как ныне у меня вновь явилась та же надежда, я подумал, что в. и. в., быть может, соблаговолите оказать мне ту же милость. В. в., надеюсь, окажете мне честь поверить, что я не преследую при этом иной цели, как

РОДОЛЬФ ДЕ МЕСТР
Акварель неизвестного художника в альбоме
В. Н. Головиной

Музей города, Ленинград

лишь избавить трех женщин от неприятных формальностей и получить официальное выражение покровительства, бесконечно для меня ценного[1].

Если в. и. в. окажете мне эту милость, я усердно прошу передать ваши распоряжения господину тайному советнику Вейдемейеру[2], которому я, одновременно с отправкой настоящего письма, сообщаю имена трех ожидаемых мной лиц, едущих в сопровождении моего сына, офицера на службе в. и. в.

Соблаговолите, в. в., извинить смелость, с которой я пользуюсь случаем принести свои пожелания, чтобы божественное покровительство непрестанно осеняло в. в. и чтобы конгресс увеличил, если это еще возможно, вашу славу, полученную на полях сражений.

Остаюсь, государь, с глубочайшим уважением в. и. в. всенижайшим, всепокорнейшим и всепреданнейшим слугою

Граф де Местр

Арх. Внешн. Пол. М. И. Д., Канц., 10639, л. 26.

[1] Семья Местра прибыла в Петербург 11/23 октября 1814 г.

[2] Вейдемейер Иван Яковлевич — о нем см. прим. на стр. 651.

ГР. НЕССЕЛЬРОДЕ—КН. КОЗЛОВСКОМУ

С.-Петербург, $\frac{\text{31 марта}}{\text{12 апреля}}$ 1816 г.

Князь,

Граф де Местр, чрезвычайный посланник и полномочный министр е. в. короля Сардинии в С.-Петербурге, обратился с ходатайством о своем отозвании. Мотивы, побудившие его предпринять этот шаг, судя по самым достоверным сведениям, заключаются в том, что, обладая весьма скромным состоянием, он с трудом может нести расходы, связанные с его служебным положением. Подчиняясь этому законному соображению, господин де Местр высказал, однако, опасение, как бы не приписали его просьбу тому обстоятельству, что он подвергся немилости е. и. в. в связи с изгнанием иезуитов.

Хотя император, наш августейший повелитель, и имел основания считать сардинского посланника не вполне безупречным, ввиду близких

его отношений к лицам, принадлежащим к указанному ордену, ввиду его неосмотрительного поведения, а также и того, что он злоупотребил своим положением в обществе,—тем не менее е. в., обещав господину де Местру забвение прошлого, с сожалением увидел бы его скомпрометированным в глазах своего правительства. Е. в. желал бы поэтому, чтобы произошедшее, независимо от того, каковы бы ни были ошибки посланника, не повредило ему в будущем и не заставило переменить мнения, которые король составил о его долголетних и выдающихся заслугах. С этой целью е. и. в. приказывает вам, князь, конфиденциально засвидетельствовать сардинскому министерству, что господин де Местр, прося о своем отозвании, не мог иметь для этого других причин, кроме своего имущественного положения. В случае, если король признает нужным снизойти к его настоятельным просьбам и назначить ему преемника на посту в С.-Петербурге, таланты и усердие этого старинного слуги знаменитого савойского дома, нужно полагать, послужат достаточным основанием для того, чтобы доставить ему назначение, более соответствующее его семейным обстоятельствам.

В таком именно смысле и с такими предосторожностями поручается вам, князь, объясниться по этому поводу с графом де Валлезом[1], не оставляя при этом туринский двор в неведении об обстоятельствах, слишком известных, чтобы их можно было обойти молчанием, но последствия которых, благодаря снисходительности, внушаемой е. в. его христианскими правилами, не должны пагубно отразиться на лице, которого косвенным образом коснулись репрессивные меры правительства.

Имею честь и т. д.[2].

Арх. Внешн. Пол. М. И. Д., Канц., 11294, лл. 20—21.—Проект депеши, представленный Александру I и им утвержденный. На полях пометки: «Быть по сему» и «Отправлена 7 апреля с камер-юнкером Обресковым».

[1] Граф де Валлез, предшественник Местра на посту посланника в Петербурге, был в это время сардинским министром иностранных дел.

[2] После окончания войны управление русским министерством иностранных дел было поручено двум лицам: гр. Нессельроде и гр. Каподистрии. Обе публикуемые депеши были, вероятно, подписаны Нессельроде. Во всяком случае, Козловский отвечает на эти депеши Нессельроде (см. ниже).

ГР. НЕССЕЛЬРОДЕ—КН. КОЗЛОВСКОМУ

С.-Петербург, $\frac{\text{31 марта}}{\text{12 апреля}}$ 1816 г.

Князь,

Депеша, отправленная к вам с настоящей почтой, по поводу отозвания графа де Местра, была составлена в не слишком неблагоприятных выражениях лишь из снисхождения к просьбам этого посланника, который вполне основательно придает большое значение заботливому к нему отношению, долженствующему гарантировать ему как забвение всего произошедшего, так и выгоды, присущие почетному отозванию. Как бы то ни было, снисходительность, новые доказательства которой в этом случае даны е. в. с целью избавить названное лицо от досадных последствий,—а их могло бы повлечь для его будущности слишком явно выраженное неодобрение,—требует более полных разъяснений, чтобы не оставить вас в неведении относительно некоторых подробностей, знание которых может быть вам полезно при выборе линии поведения в дальнейшем.

Граф де Местр во время своего пребывания в России приобрел репутацию, соответствующую его высоким познаниям, но преувеличивающую

широту его ума. Его удивительная память, обогащенная и изощренная долгими занятиями, существенно заменяет недостающую ему глубину. Стремясь более ослепить, чем просветить окружающих, господин де Местр домогается всяких успехов, каких только можно добиться в высшем свете, и его чрезвычайное усердие непрестанно бывать в нем, обратившееся в привычку и настоятельную потребность, предоставляет ему широкие возможности пользоваться в избранном им кругу властным авторитетом. Его политические взгляды и религиозные убеждения приобрели крайнюю тенденциозность по причине несчастных событий, жертвой которых он оказался. Непоколебимое упорство его идей и нетерпимость его принципов являются исключительно результатом ненависти, которую он питает без разбора ко всему, что ему кажется приближающимся к мнениям века, хвалить которые ему не за что. Уже и раньше проникнутый далеко не либеральными взглядами, он с еще большей горячностью воспринял все недостатки, свойственные духу касты и секты, с тех пор, как открыл, что источник всех бед надо искать в предмете его личной ненависти. Таковы настроения, с которыми этот посланник приехал в Россию.

Легкость его успехов, прием, оказанный ему повсюду, наконец, его общение с иезуитами внушили ему надежду, что своими речами, своею настойчивостью и своей перепиской он может оказывать пользу католической вере, полномочным представителем которой он, в конце концов, возомнил себя. Соединяя французскую самоуверенность с самыми крайними ультрамонтанскими притязаниями, этот посланник не мог успокоиться до тех пор, пока ему не удалось утвердить культ своих принципов

ОТПУСК ДЕПЕШИ НЕССЕЛЬРОДЕ К П. Б. КОЗЛОВСКОМУ ОТ 31 МАРТА 1816 г.

Вверху резолюция Александра I

Архив внешней политики, Москва

в домах, где в течение многих лет ему была предоставлена возможность высказываться и где он был всегда желанным гостем. Красноречие, с которым он восхвалял в салонах иезуитов, открывало доступ во многие семейства их духовникам и их книгам; оно внушало доверие к их пансиону, хотя даже сам оратор отказывался дать лестную оценку этой школе, не заслуживавшей ее ни в каком отношении.

Вскоре разразился скандал тайных вероотступничеств. Произошло изгнание иезуитов; господин де Местр был призван к порядку путем конфиденциальных и благожелательных указаний. Он пытался оправдаться в глазах императора, и е. в. обещал ему забвение всего произошедшего[1]. Тем не менее, дальнейшее пребывание этого посланника при русском дворе, при столь неблагоприятных ауспициях, было бы неуместно; и е. в. с удовлетворением узнал бы о назначении ему преемника, но, конечно, при условии, чтобы отозвание этого человека, преклонного возраста и обремененного заботами о семье, не повредило его будущности. Уже то, что самая вина его была покрыта данным ему обещанием, казалось императору достаточным основанием, чтобы быть ему полезным. К тому же е. и. в. убежден, что граф де Местр, благодаря своей честности и своим знаниям, может еще оказать важные услуги своему королю, особенно в области государственного управления.

В случае, если посланник вернется в Турин, е. и. в. представляется желательным, чтобы вы, князь, воздерживались от бесед с ним о положении России и мероприятиях к его улучшению. Излияния такого рода, предаются ли им в беседах, делают ли их предметом приятельской переписки,— влекут за собой очень серьезные неудобства и могут скомпрометировать не только отдельных лиц, но иногда даже достоинство правительства, представителями которых эти лица являются.

И на самом деле, ведь не путем поверхностных замечаний—плода случайных и беглых мыслей—можно надеяться оказывать плодотворное влияние на положение государства и способствовать его прогрессу. Только религиозная мораль, как принцип, и проверка на опыте, как средство, могут способствовать развитию нравственных сил нации.

Подробности, которые я только-что имел честь сообщить вам, князь, по приказанию е. и. в., были признаны необходимыми, чтобы указать вам точку зрения, которой, согласно воле императора, вы должны придерживаться при наблюдениях за всем, что относится как к внутреннему состоянию страны, где вы находитесь, так и к лицам, вас окружающим, подчиняя неизменному правилу осторожности и умеренности те заявления, которые вам придется, в зависимости от обстоятельств, делать в качестве посланника нашего августейшего монарха. Имею честь быть и т. д.

Арх. Внешн. Пол. М. И. Д., Канц., 11294, лл. 16—19.—Проект секретной депеши, представленной Александру I и им утвержденной; на полях пометки: «Быть по сему» и «Отправлена 7 апреля с камер-юнкером Обресковым».

[1] Имеется в виду разговор между Александром и Местром, в котором последнему было обещано забвение всего происшедшего. См. об этом во вступительной статье, стр. 613.

КН. КОЗЛОВСКИЙ—ГР. НЕССЕЛЬРОДЕ

ЕГО СИЯТЕЛЬСТВУ ГРАФУ НЕССЕЛЬРОДЕ

Турин, 1/13 июня 1816 г.

Граф,

Выполнив со всем старанием волю е. и. в., я должен исполнить обязанность, предписываемую мне совестью и незыблемым правилом, гласящим,

П. Б. КОЗЛОВСКИЙ
Анонимная гравюра 1846 г.

что свидетель защиты не должен молчать, когда он может представить что-нибудь в пользу обвиняемого. Справедливость в. с.—верная порука в том, что вы обратите особенное внимание е. и. в. на настоящую депешу, а великодушие нашего государя не оставляет сомнений насчет того, как она будет принята. Если вызвать неудовольствие монарха великой державы—всегда тягостное несчастье, то оно становится еще тягостнее, если этот монарх известен своим великодушием еще более, чем своим могуществом. Поэтому важно, чтобы император выслушал все, что я могу сообщить в оправдание графа де Местра и что будет изложено мною с величайшим беспристрастием.

Я всегда старался не упустить возможности узнать содержание депеш графа де Местра—дипломата, чрезвычайно много бывающего в с.-петербургском свете, хорошо осведомленного и могущего сообщить очень многое, вообще человека, отличающегося многоречивостью как в писаниях, так и в разговоре. Я могу вас уверить, граф, что все его депеши и все его личные письма к друзьям, в частности, к семье Бариоль, продиктованы одним господствующим чувством поклонения и безграничной привязанности к императору и убеждением, что ни один народ не может равняться с русским в стойкости, верности и благожелательности к иностранцам.

Я не буду говорить ни о его депешах, касающихся вопросов общей политики, ни о его мнении на этот счет, так как только слепой мог не видеть, насколько политика нашего кабинета была полезна королю, его повелителю. Не буду я говорить и о том, с каким удовлетворением он высказывается в своих последних донесениях по поводу того, как поддерживались интересы короля в вопросе о Новаре и Алессандрии[1]. Я ограничусь, граф, только депешами его, относящимися к нашим внутренним

делам, и о них и буду говорить. Как только император прибыл в Петербург, граф де Местр послал донесение, полное силы и красноречия, о том, как е. и. в. был встречен, и о нетерпении, с каким его ожидали; о его простоте среди такого поклонения, о достойных уважения проявлениях его привязанности к своей августейшей матери, о его посещении князя Салтыкова, о том, с каким рвением император приступил к делам, которых, за его отсутствие, конечно, должна была накопиться целая масса, наконец, о мудрости, с которой е. и. в. примирил выгоды своей империи с интересами народа, только-что перешедшего под его власть[2]. Самый усердный из слуг императора не мог бы быть более проникнут признанием его добродетелей и его славы. Перехожу к его депешам, освещающим его религиозные убеждения, крайность которых была первой причиной, навлекшей на него неудовольствие императора. Я видел его депешу с отчетом о нашем Библейском обществе, и в ней, смею уверить в. с., не было ни одного замечания, которое было бы направлено, если можно так выразиться, лично против России[3]. Его критические замечания показались мне, в сущности, повторением того, что я слышал по этому вопросу в Лондоне, и в частности, от одного прелата, столь же ученого, как и верующего. Когда я однажды сказал ему, что купил себе английскую библию, чтобы сравнить ее с славянской и латинской, этот прелат—речь идет об архиепископе Иоркском—ответил мне, что «изучение библии должно непременно основываться на толковании, подобно тому, как это делается при изучении Пиндара и Гомера. Не говоря о том, что святой энтузиазм пророков делает некоторые места библии туманными, недостаточное знание еврейского языка создает необходимость в таком комментарии. При изучении библии следовало бы разделить не только оба завета, а также и часть историческую—книгу бытия и книгу Маккавеев, часть иносказательную—книги Ездры и Песнь песней, и, наконец, часть нравоучительную. В сущности, только эта последняя часть должна распространяться для всеобщего ознакомления среди всех христиан, а все остальные нужно предоставить людям, которые имеют уже предварительные знания, которые знакомы с воззрениями древних, которые занимаются ex professo (по обязанности) догматами или историей нашей религии и призваны просвещать других. Сообразно с этим мнением, хороший катехизис, основанный на нравственности и примере нашего господа, очень краткий, очень ясный и подражающий простоте евангелия и деяний апостолов, был бы полезнее для большинства христиан, чем чтение полной библии, которую читали бы без понимания и которая по самому своему объему недоступна для всех классов общества». Те же самые мысли, выраженные почти теми же словами, составляют в итоге замечания графа де Местра по этому поводу, если не считать, что он добавляет еще один корректив: он думает, что, если распространение библии и не даст того благоприятного результата в отношении религии, который дал бы простой катехизис, то, по крайней мере, оно не преминет послужить на пользу русскому языку в смысле его улучшения.

Вот, граф, точный отчет о том, что граф де Местр когда-то писал по этому предмету. Это, естественно, приводит меня к мнениям графа де Местра об иезуитах, к чему и перехожу. В интересах истины было бы важно, чтобы вы учли два периода, т. е. то время, когда граф де Местр говорил только от своего имени, и то, когда он мог получить сведения о том, как смотрят на это дело при его дворе и вообще в Италии. Я не осмелился

тогда писать вам о том тяжелом впечатлении, которое произвело здесь изгнание иезуитов, и откровенно сообщить вам, что аргументы, внушенные мне депешей в. с. от 26 декабря 1815 г. по этому вопросу, не нашли одобрения даже среди моих протестантских коллег и что я имел успех только у тех, кто, подчиняя религиозные убеждения политике, были уверены, что мотивы, приведенные в указе, не подлинные мотивы, а выставлены только для того, чтобы завуалировать какие-то политически-преступные планы иезуитов[4]. Повторяли без конца, что невозможно ссылаться на пример изгнания этого ордена из различных государств, когда иезуитов обвиняли в упадке религиозной морали и в нерадении к делу спасения душ, которым они жертвовали ради мирских выгод,—невозможно, говорили, ссылаться на этот пример, чтобы оправдать их изгнание из России, мотивированное совершенно противоположной причиной, т. е. избытком усердия; а если закон империи запрещает даже духовенству господствующей церкви вербовать прозелитов, то это варварский закон, и его нужно отменить, как противоречащий самому духу евангелия. Указывали, что католические священники по самой сути своей—миссионеры и не могут, не становясь отступниками, принять обязательство отталкивать сердца, склоняющиеся на убеждение, что правительство не будучи вправе требовать от них моральных жертв, неприемлемых для духовных лиц, могло, самое большее, запретить своим подданным, исповедующим другую религию, доверять им воспитание своих

ИЗГНАНИЕ ИЕЗУИТОВ ИЗ ПЕТЕРБУРГА
Гравюра 1830-х гг.
Исторический музей, Москва

детей; что, наконец, в Англии и в Женеве, в странах, которым часто ставилась в упрек политическая нетерпимость, ни одному священнику не запрещается проповедывать истины, которые он считает необходимыми для спасения душ.

Эти доводы, повторяемые на тысячу ладов, были еще подкреплены словами графа Фунсиаля, португальского посла, бывшего здесь и в Милане проездом из Лондона в Рим. Он сказал, что священник при их лондонском посольстве обращал в католичество до тридцати человек ежегодно и что это не встречало никаких возражений; что среди прозелитов насчитывалось много знатных лиц и в том числе лэди Бьюкингэм, дом которой был постоянно полон англиканских духовных особ, и они не находили нужным возражать, считая это исключительно делом совести. Эти речи, граф, как и многие другие, заставили некоторых лиц предполагать, что императору пришлось принести жертву в угоду слепым предрассудкам наименее просвещенной части своего народа. Желая пресечь подобные подозрения, я говорил с графом де Валлезом в духе депеши в. с. и, конечно, ничего не упустил для того, чтобы показать ему, как и некоторым другим министрам, это дело в настоящем его свете. Мне неопределенно ответили, что не им судить о том, что монарх считает нужным делать в своем государстве, но статья в прилагаемой при сем газете, появившаяся на следующий же день после сообщения об относящемся к иезуитам указе, покажет в. с. полностью их тайную мысль[5]. К тому же я знаю, что беспокойство кардинала Консальви[6] при известии об этом событии не имело границ; он написал во Флоренцию, чтобы самым настоятельным образом узнать подробности о судьбе тех, кто открыто исповедывал свои новые религиозные убеждения. Итак, я хочу сказать, граф, что эти толки не могли не получить отзвука в душе графа де Местра, и его поведение с того времени, как они стали ему известны, заслуживает меньшего порицания. Я имею к тому же основание думать, что хотя король и не пожелал высказать мне свое личное мнение, он, тем не менее, сообщил своему посланнику в собственноручном письме о своем огорчении по поводу происшедшего. Теперь остается определить, насколько граф де Местр проявил инициативу в этом деле и как он его осветил в самом начале. Осмелюсь заверить в. с., что впервые я узнал об изгнании иезуитов из депеш графа де Местра, посланных через австрийского курьера. Их было несколько по одному и тому же вопросу. В первой он казался взволнованным под влиянием страсти и страха. Он оплакивал суровость, с которой обошлись с иезуитами. Он писал, что «они, встав утром, узнали, что коллегия закрыта, что у дверей каждого из них—стража и что они должны без всякого подготовления уехать в 24 часа, несмотря на суровое время года»[7]. В третьей депеше, написанной два дня спустя, он исправляет все, что было ошибочного в его первом донесении, и, между прочим, говорит, что в отношении иезуитов была проявлена величайшая заботливость, что их снабдили необходимыми вещами, шубами и шапками для дороги и что выслали их только до границ Полоцкой и Могилевской губерний. Во всех этих донесениях, несмотря на волнующую его страсть, нет ни одного порицания особе е. в. Он говорит, что уже во время первого возвращения императора в Россию ему указывали на недопустимость того, что иезуиты склоняют к отступничеству от православия, но что, однако, император, по своей мягкости, не принял никаких крутых мер; что в последнее время вероотступничество одного из родственников князя Голицына вызвало такой скандал,

что император должен был, несмотря на доброту своего сердца, принести эту жертву общественному негодованию. Что, каково бы ни было личное мнение е. и. в. по этому вопросу, у нас существует еще много глубоко невежественных людей, даже среди тех, чьи манеры вовсе не подают повода это думать, которые считают, что нужно поднять как можно более шума из-за вопроса, который в наши дни считается обычно делом совести каждого человека. Что для многих было чрезвычайно удобно разыгрывать усердных и нетерпимых патриотов за счет бедных, беззащитных священников; что некто, отнюдь не строгий к самому себе, выказал святое негодование в отношении своей невестки, которую он считал развращенной новым учением. Что, наконец, император не мог пренебречь настойчивыми и неоднократными представлениями и что, несмотря на все эти настояния, монахам, тем не менее, ничего не сделали, а только перевезли их со всей заботливостью в место, где они не будут больше предметом ненависти[8]. С этим донесением, за достоверность которого я могу поручиться, не шли вразрез и все последующие донесения графа де Местра, что должно, мне кажется, смягчить приговор императора в отношении посланника, который в столь щекотливом деле для человека, убежденного в превосходстве своих религиозных верований, тем не менее, не преминул отдать дань поклонения великодушию нашего государя.

Для меня весьма важно, граф, чтобы господин де Местр ни в каком случае не узнал о том, что мне были известны некоторые из его донесений, а также, что я осведомлен об огорчении, испытанном королем по поводу изгнания иезуитов, которых он собирался восстановить у себя. Здесь были крайне сдержанны и не сделали мне никаких намеков, если не считать статьи вышеупомянутой газеты, косвенно говорящей об этом.

Кончая эту депешу, я должен решительно заявить, что не пристрастие руководило моим пером, что у меня не было других сношений с графом де Местром, кроме простой литературной переписки, подобной той, которую я поддерживаю с некоторыми литераторами в разных странах, и что далеко не всегда я был им доволен. Вы сами могли заметить в одном из моих последних донесений, что я не остался равнодушным к легкомысленной манере, с которой он отозвался обо всех нас в своей ноте по поводу дела о Люседио[9], и что, следовательно, все то, что я говорил, я высказал, слушаясь только собственной совести и руководствуясь неизменными принципами справедливости. Если я вдался в подробное обсуждение этого вопроса, я считал себя уполномоченным на это как депешей в. с. от 26 декабря 1815 г., так и последующими депешами, которыми в. с. почтили меня. Я нисколько не опасаюсь вызвать этим неудовольствие е. и. в. Я знаю, что всякое оправдание, в особенности, если дело касается человека, достойного уважения, всегда найдет отклик в его сердечной доброте. Впрочем, я сообщил только о фактах, за достоверность которых я могу поручиться, и я не признаю возможным иначе служить моему государю, как только с самою добросовестною точностью выполняя его волю (в чем до сих пор я имел счастье успевать), никогда не скрывая в своих донесениях правды и избегая всяких умолчаний и оглядок на самого себя.

Честь имею быть с глубочайшим уважением вашего сиятельства и т. д.

Князь Петр Козловский

Арх. Внешн. Пол. М. И. Д., Канц., 11293, лл. 75—81.

[1] Эти итальянские области после войны были захвачены Австрией и очищены только по настоянию России в начале 1816 г. Особенного удовлетворения по по-

воду защиты Россией интересов короля в депешах Местра этого периода не заметно.

[2] Козловский излагает депешу Местра конца 1815 г. (без даты). Местр, действительно, очень хвалит здесь Александра, называя его «великой душой». Но Козловский умалчивает, что далее подчеркнуты нерусское происхождение царской семьи и неспособность русских должным образом ценить достоинства своих государей. (Maistre, Oeuvres, XIII, pp. 179—184).

[3] Повидимому, речь идет о депеше от 14/26 сентября 1815 г. (Maistre, Correspondance diplomatique, II, pp. 119—121).

[4] В указе были приведены следующие мотивы изгнания: иезуиты, «не сохраняя долга благодарности и не оставаясь смиренными духом, как христианский закон повелевает, и кроткими в чужой стране жителями... стали порученных им юношей и некоторых лиц из слабейшего женского пола отвлекать из нашего и прельщать в свое вероисповедание», чем сеяли «раздоры и вражду между семействами» и отделяли «дух отпавших... от духа отечества». После этого, говорилось в указе, «не удивляемся мы более, что сообщество сих монахов от всех держав изгнано и нетерпимо было»—см. Полн. собр. зак., т. XXXIII, № 26036.

[5] К настоящей депеше князя Козловского приложен номер газеты «Gazzeta Piemontese» от 8 февраля 1816 г., № 17, на котором отчеркнута заметка, где под видом корреспонденций из Пекина сообщалось об отмене китайским императором законов о веротерпимости и намекалось на принятые Александром I меры против иезуитов.

[6] Consalvi—кардинал, статс-секретарь папского престола.

[7] Это—изложение депеши Местра от 21 декабря 1815 г. Но Козловский умалчивает об оценке, которую здесь дает Местр изгнанию иезуитов; по его мнению, это—уничтожение католического культа в России. (Maistre, Oeuvres, XIII, pp. 202—204).

[8] Это—депеша от 24 декабря 1815 г. Однако, в ней говорится еще о том, что выиграли от изгнания иезуитов только иллюминаты, социниане и т. п. (ibid., pp. 205—210).

[9] Люседио—аббатство около Турина. Оно было уступлено Наполеоном губернатору Пьемонта кн. Боргезе, женатому на его сестре, в обмен на лучшие художественные произведения музея Боргезе в Риме. В 1815 г., после возвращения Пьемонта Сардинии, сардинское правительство секвестровало Люседио, но четыре державы (Англия, Россия, Австрия и Пруссия) вступились за права Боргезе, уже в 1814 г. порвавшего с Наполеоном. Дело кончилось продажей Люседио Пьемонту. На вырученные деньги Боргезе выкупил обратно большую часть произведений, проданных Наполеону. Речь идет о ноте, поданной Местром гр. Нессельроде в начале 1816 г. (Maistre, Oeuvres, XIII, pp. 230—242).

КН. КОЗЛОВСКИЙ—ГР. НЕССЕЛЬРОДЕ

ЕГО СИЯТЕЛЬСТВУ ГРАФУ НЕССЕЛЬРОДЕ И ПР. В ПЕТЕРБУРГ

Турин, 15/27 марта 1817 г.

Граф,

Наконец-то граф Брузаско уезжает; он сказал мне, что в начале мая будет в Петербурге. По моему мнению, необходимо попытаться его изолировать—Брузаско дебютант, и надо думать, что, как и все дебютанты, он будет стараться сверх меры. Он прошел школу узкой, но лукавой политики графа де Валлеза, и, следовательно, его нужно рассматривать, как второстепенного агента Англии. Он будет даже в этом отношении хуже английских чиновников, так как превосходная английская конституция, широко распространенное в стране просвещение и либеральное образование, которое получают там все почти состоятельные люди, придают большей части англичан известную возвышенность души, не позволяющую им впутываться в мелкие интриги, собирать всякие светские сплетни и злонамеренно преувеличивать вещи, не имеющие никакого значения. Отчасти по тем же основаниям, граф, я писал как-то раньше и подтверждаю это теперь, что отозвание графа де Местра не является благоприятным для наших интересов, так как его широкое образование и его долгий опыт умеряли в нем пристрастие к интриге, которым были и всегда будут

в большей или в меньшей степени заражены посланники туринского двора. Я достоверно знаю, что копии донесений графа де Местра постоянно сообщались графу д'Алье, посланнику короля в Лондоне, и что во время войны, чтобы сделать эту зависимость более действенной, ему особо предложено было посылать прямо в Лондон вторые экземпляры своих донесений. Надо признать, граф, что, питая расположение к отдельным личностям, граф де Местр не уважал русской нации, но это неважно—он почитал императора, и так как правление находится в руках нашего повелителя, то высокого мнения графа де Местра о государе было достаточно для того, чтобы его

ДЕПЕША П. Б. КОЗЛОВСКОГО К НЕССЕЛЬРОДЕ ОТ 13/1 ИЮНЯ 1816 г.
Первая и последняя страницы
Архив внешней политики, Москва

депеши не были совсем злостными[1]. Поэтому-то он писал в 1812 г. своему лондонскому коллеге, «что не следует рассчитывать на нашу армию, на наших генералов и еще меньше на настроение народа, который имеет только численное значение, но что нужно полагаться на характер императора, на его твердое решение продолжать войну и на превосходство его дарований, которые помогут побороть страх русских и преодолеть неспособность наших генералов»[2].

Как ни тяжела эта картина для национального самолюбия, но, тем не менее, надо признать, что конец совершенно сглаживал дурное впечатление, которое могло произвести начало, и я считаю себя вправе утверждать, что политический шпионаж графа де Местра не был для нас неблагоприятен по возможным своим последствиям.

Из всего этого следует, что посланник короля Сардинии будет всегда в большей или меньшей степени вреден или полезен, в зависимости от того, как будет он осведомлять британский кабинет... Должен также высказать в. с., что я предпочел бы, чтобы вместо простого поверенного в делах и дебютанта в них назначили бы графа Джифлента в качестве посланника и т. д.

Князь Петр Козловский

Арх. Внешн. Пол. М. И. Д., Канц., 11296, лл. 27, 30. Печатается в извлечениях.

[1] Восхваление Александра I, хотя и в менее восторженном тоне, чем об этом говорит Козловский, содержится, например, в письме Местра к графу Фронту от 26 июля (7 августа) 1812 г. (Oeuvres complètes, XII, pp. 166—188). Однако, в следующем письме к тому же Фронту об Александре говорится: «Настоящий враг России это—правительство, это—сам император, поддавшийся соблазну современных идей и, в особенности, немецкой философии, которая является ядом для России» (ibid., p. 196).

[2] Цитируемая князем Козловским фраза Местра взята из депеши последнего от 2/14 июня 1813 г., отправленной королю через Лондон, где она попала в руки русского посольства и была сообщена в копии канцлеру 24 сентября (6 октября) 1813 г. Повидимому, депеша была известна и кн. Козловскому, имевшему, как он сам писал, возможность какими-то путями знакомиться с дипломатической перепиской Местра. Депеша эта, не вошедшая в Oeuvres complètes, была опубликована в России по копии, сохранившейся в архиве князя Воронцова—см. «Архив князя Воронцова», т. XV, М., 1880, стр. 483.

Интересно отметить, что со всей перепиской по делу об отозвании Местра из Петербурга князь Козловский знакомил секретаря французского посольства в Турине, графа Габриака, который, в свою очередь, сообщал полученные сведения своему правительству—см. письма гр. Габриака к герцогу Ришельё из Турина от 10 июня 1816 г. и 16 января 1818 г., напечатанные в приложении к Carnets, pp. 232—236.

АЛЕКСАНДР I—КОРОЛЮ САРДИНИИ ВИКТОРУ-ЭММАНУИЛУ I

[17/29 ноября 1817 г.]

Мы, Александр Первый, божией милостью император и самодержец всероссийский и пр. и пр. высочайшему и могущественному государю Виктору-Эммануилу, божьей милостью королю Сардинии и пр. и пр.

Получив письмо по поводу отозвания чрезвычайного посланника и полномочного министра при нашем дворе, первого президента и кавалера графа Жозефа де Местра, мы с особым удовольствием свидетельствуем, что этот посланник, выполняя при нашем дворе возложенные на него обязанности, всегда с усердием старался поддерживать дружбу и доброе согласие, которые так счастливо связывают нас. Такой образ действий, равно как прекрасные качества посланника заслужили ему наше благоволение, и мы считаем приятной для себя обязанностью поручить его милостивому вниманию в. в.[1]. За сим мы молим бога, да хранит он в. в. своим святым и высоким заступничеством.

Дан в Москве 17 ноября 1817 г., царствования же нашего в год семнадцатый.

Вашего величества любящий брат

Александр

Печатается по копии, хранящейся в семейном архиве графов Местр во Франции.— Текст сообщил M. Rouët de Journel.

[1] Местр покинул Петербург 15/27 июня 1817 г. и выехал в Кронштадт, откуда должен был отправиться морем в Кале. 16/28 он отплыл из Кронштадта на 74-пушечном корабле «Гамбург» (Carnets, p. 201).

По возвращении в Турин Местр получил звание государственного министра и был назначен на должность управляющего государственной канцелярией—должность, которую он занимал уже в Сардинии в 1799 г. (Carnets, p. 206).

III. ПИСЬМА ЖОЗЕФА ДЕ МЕСТРА К С. С. УВАРОВУ

Из публикуемых здесь шести писем Местра к С. С. Уварову (1786—1855), хранящихся в архиве последнего в Историческом музее в Москве, первое уже появлялось в печати: его напечатал (не совсем исправно) сам Уваров в своих «Etudes de philologie et de critique» (SPb. 1843, pp. 53—65), но в дальнейшем оно осталось в полной мере забытым всеми исследователями и издателями Местра. Остальные письма были до сего времени совершенно неизвестны; сам Местр нигде не упоминает об Уварове и о своем знакомстве с ним. Уваров был в эту эпоху попечителем С.-Петербургского учебного округа и президентом Академии наук. Из ответных писем Уварова найдено пока только одно.

Старое представление об Уварове, как о либерале александровской эпохи, эволюционировавшем в сторону реакции, совершенно не выдерживает критики и недавно встретило очень решительный отпор со стороны С. Н. Дурылина. Но на наш взгляд, сам С. Н. Дурылин, правильно охарактеризовав отношения Уварова к русскому правительству, сильно перегнул палку в противоположную сторону и дал, в общем, очень преувеличенную, несоответствующую действительности характеристику, изобразив его человеком, попавшим «из камер-юнкеров, танцующих на посольских балах в Париже и Вене, в президенты Академии наук»[1].

Дурылин прав, характеризуя Уварова, как честолюбивого карьериста. Прав он и в том, что опубликованный в 1810 г. и составивший предмет письма Местра от 26 ноября (8 декабря) «Projet d'une Académie Asiatique» Уварова отражает завоевательные устремления России на Восток. Сам Уваров нисколько не скрывает политического характера своего проекта. «Россия,—говорит он,—имеющая столь близкие отношения с Турцией, Китаем, Персией, Грузией, могла бы не только содействовать в огромной степени общему просвещению, но и удовлетворить свои самые заветные интересы; никогда государственная польза еще так не согласовалась с великими целями нравственной цивилизации»[2]. В полном согласии с этим, восемь лет спустя, открывая кафедру восточных языков в Педагогическом институте, Уваров провозгласил, что Россия, «опирающаяся на Азию, повелевающая целой третью сего пространного края», нуждается в овладении восточными языками и должна усвоить лозунг: «побеждать просвещением, покорять умы кротким духом религии, распространением наук и художеств, образованием и благоденствием побежденных»[3]. То же самое говорил Уваров в письме к Сперанскому от 1 декабря 1819 г.: «Распространение восточных языков должно произвести и распространение здравых понятий об Азии в ее отношении к России. Вот поприще огромное, еще не озаренное лучами разума, новое поле славы неприкосновенной, источник новой национальной политики»[4].

Во всем этом видна ясно выраженная политическая мысль. И выражена эта мысль в словах, вполне соответствовавших терминологии александровского правительства. Укрепляя свою гегемонию в Европе на развалинах империи Наполеона, это правительство прекрасно понимало, что гегемония эта требует более гибких методов, чем откровенная политика силы и завоевания. Отсюда фразы о необходимости считаться с «духом века» и учитывать значение той «нравственной силы, которая называется общественным мнением». Отсюда и заявления Уварова, что теперь нельзя господствовать «одною силою меча», а надо «побеждать просвещением».

7 марта 1817 г. А. И. Тургенев писал брату Сергею об Уварове: «Он, кажется, и сам не ясно знает, чего он хочет и какой цели старается достигнуть в отношении к Востоку. Я не примечаю в нем стремления к истинной пользе, а более жадность к бумажному бессмертию и к той славе, которую дают немецкие и французские ученые общества и книгописатели. Он легко переходит от одного образа мыслей к другому и... от собственного убеждения к чужому...»[5]. А. И. Тургенев был неправ: Уваров знал, чего он хотел. Нельзя также упрекать его в переходе «от одного образа мыслей к другому».

На протяжении 1810—1820 гг. Уваров сохранял вполне определенную политическую и идеологическую позицию. Но кое-что А. И. Тургенев все же почувствовал правильно: он заметил, что не глубокое внутреннее убеждение руководило Уваровым в выборе позиции, а что-то другое. Это «что-то другое» были, конечно, огромное честолюбие и «жадность» не только к «бумажному бессмертию», но, прежде всего, к власти и влиянию. Позиция Уварова всегда была правительственной. И «Projet d'une Académie Asiatique» и другие работы Уварова, а также и печатаемые здесь письма Местра к нему и его ответное письмо дают возможность определить эту идеологию.

Конечно, Уваров не был ученым. Он был образованным дилетантом. Но дилетантами были и А. И. Тургенев, и Д. Н. Блудов, и многие другие люди, сыгравшие роль в умственном движении той эпохи. Дилетантизм Уварова, его юношески-самоуверенное презрение к «покрытым пылью трудам» старых ориенталистов достаточно резко подчеркивает Местр в первом из публикуемых писем. Если, затем, Клапрот и Фесслер помогли Уварову в тех частях его «Projet», где нужно было специальное знание еврейской и китайской литературы, то все-таки основные части проекта, его сущность— дело самого Уварова. Работа отличается блестящим стилем, в ней видны знакомство с соответствующей ученой литературой и определенное мировоззрение; выводы же автора, его суждения по вопросам востоковедения заимствованы целиком у специалистов.

Такова мысль Уварова, что индийская литература—«самая древняя, самая интересная и наименее известная из всех» литератур азиатских народов, что из соединения поэзии и философии в Индии родилась «религия, следы которой встречаются во всех религиях древнего мира», что «все религии Азии черпали из индийского источника»[6]. Эту мысль Уваров повторил и в своем вышедшем в 1812 г. «Essai sur les mystères d'Eleusis». Здесь Уваров, доказывая, что элевсинские мистерии были не египетского, а индийского происхождения, утверждает, что Восток—и именно Индия—«колыбель религиозных традиций и философских учений»[7]. Местр нашел в этой мысли Уварова доказательство его чрезмерного увлечения Востоком. Но мысль была Уваровым заимствована у одного из его немецких учителей. Источник этот верно указан рецензентом наполеоновского «Journal de l'Empire». Здесь читаем: «Русский камергер, г. Уваров, опубликовал проект Азиатской академии; идея прекрасна, но проект г. Уварова производит очень неопределенное впечатление: автор воображает, вместе со своим другом Фридрихом Шлегелем, что все знания и все языки к нам пришли из Индии»[8].

Действительно, именно Фридрих Шлегель в своем «Über Sprache und Weisheit der Indier» проводил мысль об исключительной роли Индии в развитии человеческой цивилизации. Что касается мнения Уварова о происхождении элевсинских мистерий, то источник этого мнения указан им самим: это английский ориенталист Вильфорд, у которого он заимствовал и все доказательства.

Таким образом, диллетантский характер обоих произведений Уварова несомненен. Но им нельзя все же отказать в известном значении. «Projet d'une Académie Asiatique» должен быть учтен историками русского востоковедения. Автор рецензии в «Göttingensche Gelehrte Anzeigen», обстоятельно изложив весь проект Уварова, пришел к выводу о невозможности его осуществления в России в ближайшее время, но признал за автором заслугу постановки идейной задачи, которую осуществить может лишь время[9]. Гёттингенское ученое общество избрало Уварова своим почетным членом. В России Жуковский в письме к А. И. Тургеневу высказал, что проект «делает честь изобретателю, но едва ли может быть очень полезен в России». Осуществление было бы возможно, если бы мы «стояли на высшей ступени образования; но где же у нас образование и где наша ученость?». Тем не менее, Жуковский перевел «Projet» на русский язык, а Уваров нашел его перевод прекрасным[10].

Второе издание «Essai sur les mystères d'Eleusis» было сочувственно отмечено в английской печати[11]. Во Франции знаменитый ориенталист Сильвестр де Саси, по

С. С. УВАРОВ

Портрет маслом О. Кипренского, 1813 г.

Частное собрание, Москва

просьбе автора проредактировав книгу и сделав в ней стилистические исправления, выпустил ее в 1816 г. третьим изданием[12].

Прочитав «Projet d'une Académie Asiatique», Местр пришел к выводу, что автор стоит на хорошей дороге. «Хорошая дорога» означала, прежде всего, отрицательное отношение к XVIII веку, который для Местра был «самой постыдной эпохой человеческого духа», когда «вся система мировой цивилизации сдвинулась со своих естественных основ». И Местр выразил надежду, что Уваров будет провозглашать «добрые старые принципы» и внедрять «в русских отвращение к преступным сумасбродствам прошлого века». Похвала и надежда Местра были вызваны, главным образом, позицией Уварова в вопросе о происхождении речи. Уваров решительно отвергает теорию о том, что дикое состояние было первоначальным состоянием человеческого общества, что человек стал развиваться под влиянием борьбы за существование и что показателем этого развития явилось возникновение речи. Называя эту теорию «одновременно сухой и романтической» и замечая вскользь, что «без божественного вмешательства» проблема речи неразрешима, Уваров утверждает, что в истории человечества заметны «следы лучшего состояния и доказательства вырождения человеческого рода». По его мнению, «первые понятия, переданные божеством вместе с речью, были простые истины, примененные к простому состоянию человеческого общества... Золотой век поэтов есть смутное воспоминание об этом лучшем веке», который характеризуется «знанием первоначальных понятий—даром столь же божественным, как и речь». И именно на Востоке, «колыбели человеческого рода, следовательно, первом хранителе первоначальных знаний, первом месте лучшего состояния человечества, первом свидетеле его упадка, нужно искать древнейшие обломки его истории. И именно там найдут факты, наиболее пригодные для уничтожения систем современных философов»[13].

Таким образом, востоковедение должно было служить целям борьбы с «системами современных философов». Все эти рассуждения Уварова целиком соответствовали взглядам Местра[14].

Но Уваров заимствовал эти взгляды из немецких источников. У Фридриха Шлегеля высказано убеждение, что «золотой век» человечества позади, и именно на Востоке, где существовала когда-то лучшая порода человечества. И этот взгляд Шлегеля был принят в эту послереволюционную эпоху не только идеологами дворянской реакции, но и представителями умеренного буржуазного либерализма. Так, M-me де Сталь видела доказательство справедливости этой мысли в том, что «нравственная культура древнейших народов была более поэтической, более благоприятствовала развитию искусств», чем культура позднейших народов[15]. Уваров, повидимому, познакомился с Фридрихом Шлегелем в 1808 г., когда последний поселился в Вене. Из личного общения со Шлегелем и из чтения его трудов Уваров должен был почерпнуть мысль, что центром духовной жизни человека является религия, что поэзия и философия—ее факторы, что в религии область таинственного, мистического (всякие мистерии и мифы)—главное. Но Шлегель, подобно своему брату Августу-Вильгельму, увлекавшийся средневековьем и идеализировавший феодальную культуру, именно в 1808 г. в Вене принял католицизм. Уваров не последовал за ним по этому пути. Напротив, он с похвалой отозвался о трудах немецких экзегетов и проявил, по выражению Местра, особую «нежность» к Гердеру, «одному из самых опасных врагов христианства». В действительности Гердер, конечно, не был врагом христианства, а, напротив, защищал идею провидения и его обнаружения в истории человечества. Но он был протестантом и относился свободно и критически к религиозным традициям.

Уваров вообще отозвался с похвалой о немецкой мысли и ее попытках со времени реформации по-новому изучать библию. Эти симпатии Уварова, его рассуждения о влиянии платоников на христианских писателей, его явное предпочтение индий-

ской поэзии и литературы еврейской библии вызвали резкое осуждение Местра, считавшего библию «книгой единственной во всех отношениях». По его мнению, Моисей сказал все по вопросу об «основных началах истории человечества... с ним мы знаем все, что должны знать об этих великих предметах; а без него не знаем ничего»[16].

Повидимому, ответное письмо Уварова содержало в себе защиту Гердера от нападок Местра. Последний в письме от 14 декабря уже прямо заявляет о своем «мизогерманизме» и называет протестантизм разрушителем спасительных принципов, провозглашенных католицизмом. Еще более резкие суждения находим в письме от 17 июня 1814 г. Здесь протестантизму и янсенизму—всем и всяческим сектам—противопоставляется цельность иезуитизма. На заявление Уварова, что он не протестант, не иезуит, не янсенист, не иллюминат, Местр ответил, что протестантизм и янсенизм в мировоззрении Уварова содержатся, хотя и «не вполне» и «не явным образом».

Уваров ответил на письмо Местра 19 июня; это письмо мы можем в выдержках присоединить к письмам Местра. Здесь Уваров довольно прозрачно обвиняет последнего в фанатизме, противопоставляя ему свое право «члена греческой церкви»—«спокойно пройти между обеими партиями» (т. е. янсенистами и иезуитами), свою «умеренность в характере и принципах». В качестве такого, если можно так выразиться, «беспартийного» христианина, Уваров считает себя в праве защищать Пор-Рояль и атаковать иезуитов за властолюбие, коммерческую алчность, интриги, богословские крайности и т. п. Самые похвалы иезуитам у Уварова не лишены некоторой иронии, но он снова отмежевывается от «XVIII века» и в лирических тонах призывает католическую церковь отбросить «заблуждения и запальчивость, от которых она не очистилась, свои мелкие раздоры, свои низменные слабости, свои исчерпанные споры, свои старые претензии» и взять «лиру Орфея» для покорения «дикарей» из «цивилизованного мира». Он зовет ее к отказу от своей исключительности и к объединению вокруг себя инаковерующих во имя общей цели—борьбы с материализмом и революцией.

Теперь для нас ясны пункты сближения и расхождения в мировоззрении обоих полемистов. Оба они стоят на почве антиреволюционной, антиматериалистической идеологии, оба—противники «XVIII века». Но для Местра истина далеко позади этого века. Реформация и все последующее умственное и религиозное движение для него—предтечи революции. Уваров же, черпая из немецких источников, ищет в экзегетике и романтизме компромисса между религиозной традицией и новыми исканиями. Противопоставляя эту традицию материалистическому отрицанию, он в то же время в религиозном разномыслии современной ему немецкой мысли, в разнообразии учений и верований видит какое-то положительное явление и идет к тому религиозному эклектизму, который был характерным явлением для мистики эпохи возникновения Священного союза; правда, его эклектизм несколько отличается от эклектизма мистиков, он даже проникнут католическими симпатиями, но католицизм в его интерпретации должен потерять свои характерные черты и сам стать эклектизмом. И вот почему Местр, отмечая у Уварова этот эклектизм и наклонность к рационализированию на ряду с «добрыми, старыми принципами», заявляет ему: «С XVIII веком нельзя вступать в сделки, лучше быть якобинцем, чем фейаном, лучше разделять его печальную славу разрушителя, чем стоять во весь рост между двумя вражескими армиями и служить и той и другой мишенью для пуль и издевательств».

То же следует сказать и о политических взглядах Уварова. Он—консерватор, но консерватор с прогрессивной окраской. Начав службу в 1801 г., он, подобно Блудову и Дашкову, подвергся влиянию группы «молодых друзей» Александра I, в идеологии которых совмещались мечты о сильной аристократии с симпатиями к капиталистическому хозяйству. Эти взгляды могли только укрепиться в Уварове во время его пребывания за границей и, в частности, от общения со Штейном. С 1810 г. Уваров сближается с «карамзинистами»—Жуковским, Тургеневым, Блудовым и Дашковым.

В 1813 г. в брошюре «Eloge funèbre de Moreau» он высказывается за восстановление во Франции «законного правительства, при котором могущественные барьеры обеспечивали бы гражданскую свободу лиц». Та же «сделка с XVIII веком», программа сочетания легитимизма и умеренной свободы изложена Уваровым в брошюре 1814 г. «L'Empereur Alexandre et Bonaparte», где короли и народы призываются к взаимным пожертвованиям: первые—деспотизмом, вторые—анархией[17].

С 1815 г. Уваров—член литературного общества «Арзамас». Идея «сделки» между старым и новым определяла политическое мировоззрение большинства арзамасцев. Типично для них убеждение А. И. Тургенева, что «История» Карамзина «послужит нам краеугольным камнем для православия, народного воспитания, монархического управления и, бог даст, русской возможной конституции»[18]. Н. И. Тургенев определил политическую физиономию большинства «Арзамаса» словами: «Здешние ористы»[19], то-есть консерваторы английской складки.

И в своей нашумевшей речи 1818 г. Уваров, отражая варшавскую речь царя, в которой прозвучали конституционные мотивы, сформулировал центральную мысль «торизма»—«равновесие всех политических сил», т. е. «сделка» между монархией, аристократией и «средним состоянием»[20].

Воцарение реакции изменило политическую физиономию Уварова. Из «ториста» он стал глашатаем и практиком «православия, самодержавия и народности».

ПРИМЕЧАНИЯ

1 «Литературное Наследство», № 4—6, 1932, статья С. Н. Дурылина «Русские писатели у Гёте в Веймаре», глава «Друг Гёте», стр. 190.

2 «Projet d'une Académie Asiatique». St.-P., 1810, pp. 8—9.

3 «Речь президента импер. Академии наук, попечителя С.-Петербургского учебного округа в торжественном собрании Главного педагогического института 22 марта 1818 г.», СПБ. 1818, стр. 21—22.

4 «Рус. Старина», 1896, X, стр. 188.

5 Архив бр. Тургеневых в ИЛИ АН, № 382, л. 33 (обор.).

6 «Projet d'une Académie Asiatique», pp. 35—39.

7 Цитир. по 2-му (1815 г.) изданию «Essai», p. 29.

8 «Journal de l'Empire», 11 avril 1811.

9 «Göttingensche Gelehrte Anzeigen», 23 März 1811, 47 Stück, SS. 457—464.

10 Письма В. А. Жуковского к А. И. Тургеневу, изд. «Русского Архива», М., 1895, стр. 81—82. Перевод В. А. Жуковского (с пропусками сравнительно с оригиналом) был напечатан в «Вестнике Европы», 1811, стр. 27—52 и 96—120. Письмо Уварова к Жуковскому от 21 апреля 1811 г. см. «Рус. Архив», 1871, I, стр. 158.

11 «The Classical Journal» поместил обстоятельное изложение работы Уварова в 3-х книгах: june 1816, XIII, № XXVI, pp. 399—406; XIV, № XXVII, sept. 1816, pp. 165—175; XV, № XXIX, march, 1817, pp. 117—123, и назвал ее весьма ценным произведением ученого автора.

12 Исправлений было немного. «Г-н Уваров,—пишет Саси в предисловии,—пишет на нашем языке с легкостью поистине замечательной, а его стиль оставляет желать очень немногого даже самому требовательному читателю».

13 «Projet d'une Académie Asiatique», pp. 11—15.

14 См. «Soirées de Saint-Pétersbourg», Brux., 1837, t. I, pp. 85—92 (deuxième entretien). В этом вопросе Местр следует за Сен-Мартеном, утверждавшим, что человек первых веков обладал истинной мудростью, основанной на связи с богом.—«Oeuvres posthumes», Tours, 1807, II, p. 10 et suiv.

15 «De l'Allemagne», P., 1852, p. 472.

16 «Lettres et opuscules inédits», 4-me éd., P., 1861, t. I, p. 158.

17 «L'Empereur Alexandre et Bonaparte», pp. 36—37.

18 Письмо к С. И. Тургеневу от 30 февр. 1816 г. в книге: Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу. Институт литературы АН СССР, М.—Л., 1936, стр. 204.

19 Там же, стр. 35—40. Подробно о «торизме» арзамасцев см. в статье «Братья Тургеневы и дворянское общество Александровской эпохи».

20 Речь президента Академии наук, цит. изд., стр. 40—52.

МЕСТР—С. С. УВАРОВУ

С.-Петербург, $\frac{26 \text{ ноября}}{8 \text{ декабря}}$ 1810 г.

Милостивый государь,

Я прочел с величайшим удовольствием ваш «Проект Азиатской академии». Он делает честь вашему уму и вашему патриотизму. В общем мне понравилось все, начиная с посвящения, и я нахожу лаконизм его очень хорошего тона. Стиль труда превосходен, я думаю, что самый придирчивый человек не найдет в нем и тени экзотеризма[1]. Проект сам по себе весьма полезен, и если даже он будет отложен по обстоятельствам момента, то идея его, во всяком случае, должна быть сохранена правительством. Эта идея особенно хороша тем, что она вполне соответствует общему движению умов, которое очень важно направить в сторону общественного блага. Вы сможете весьма способствовать этому, если у вас хватит мужества непоколебимо следовать по прямому пути, на который вы вступили; и ваши первые шаги на этом пути доставили мне большое удовольствие.

Начало цивилизации вашей страны совпало, к несчастью, с самой постыдной эпохой человеческого духа[2]. Отсюда и произошло то, что некоторые из ваших соотечественников стали невразумительно бормотать богохульства и что вообще вся система цивилизации оказалась сдвинутой со своих естественных основ. Вы призваны выполнить прекрасную миссию, и, я надеюсь, вы ее выполните, провозглашая во всеуслышание добрые старые принципы и способствуя всеми силами внедрению в русских отвращения к преступным сумасбродствам прошлого века. С величайшим удовлетворением ознакомился я с тем, как вы разрешаете важнейший вопрос о происхождении общества и о происхождении речи. Вы на хорошей дороге, и я от всего сердца желаю, чтобы вы нашли на ней всю славу, какую можно только пожелать. Тогда с полным правом вы сможете сказать: «Juvat integros accedere fontes»[3], ибо это будет, действительно, девственная слава, которою никто до вас не венчался в вашей стране. Но прошу вас, будьте осторожны. С XVIII веком нельзя вступать в сделки: лучше быть якобинцем, чем фейаном[4], и лучше разделить его печальную славу разрушителя, чем стать во весь рост между двумя вражескими армиями и служить и той и другой мишенью для пуль и издевательств.

Эта мысль была мне внушена некоторыми местами вашего «Проекта», по поводу которых я, с вашего разрешения, выскажу несколько замечаний с единственной целью доказать вам, как высоко я ценю ваш талант и с каким вниманием я вас прочел.

Стр. 1. «Покрытые пылью труды»[5]. Вот одна из характерных черт этого проклятого века: презрение ко всему, что уже сделано, и восхищение перед всем, что еще делается; вы, наверное, не подумали о книге Гайда «de Religione Persarum», классическом произведении, хвалить которое излишне[6]; о «Восточной библиотеке» Гербело[7]; о великолепном труде о. Мараччи[8] об Алькоране, переведенном на латинский язык и напечатанном в Риме с текстом и комментариями, заимствованными у арабских писателей, труде, который оставил последующим исследователям лишь заслугу быть его переводчиками, что и делалось, иногда даже без ссылки на источник, как поступил англичанин Саль[9], которого считали в этой области за классического писателя. Вы позабыли о «China illustrata»

о. Кирхера[10], человека, быть может, наиболее осведомленного в различных областях знаний, об истории Китая о. Дюгальда[11], об истории о. де Майа[12], о «Путешествиях» Шардена[13] и, главным образом, о собрании «Lettres édifiantes» («Назидательных писем»)[14], известность которых растет с каждым днем, по мере того, как все больше и больше признается за их авторами строжайшая добросовестность; и действительно, даже самая недоброжелательная критика никогда не смогла уличить их в недостатке добросовестности и т. д., и т. д., и т. д. Разрешите добавить только одно: хороши труды, лишь покрытые пылью, т. е. труды тяжелые, а мы нашими легковесными трудами погубили все.

Ibid., стр. 1. «Труды немецких писателей о библии» сопоставляются с трудами Калькуттского общества[15]. Между тем, трудно найти что-либо более противоположное, ибо первые содержат все, что только есть наиболее дерзновенного и пагубного для религии. Они особенно возбудили против себя негодование Англии. Ее газеты были полны возмущения по этому поводу, и г-н Делюк—женевец, ставший англичанином[16], недавно писал следующее: «Без сомнения, глава об ангелах будет занесена в число слабых мест Бэкона некоторыми мнимыми христианами наших дней, которые в своей экзегетике, или толковании священного писания, устраняют из него не только духов, но и всякое вдохновение и т. д. («Précis de la philosophie de Bacon», т. I, стр. 189—190). Итак, вы оказываете им слишком много чести, причисляя их (стр. 10 и 11) к писателям, труды которых способствовали изучению священного писания. Меня в особенности удивила ваша нежность к Гердеру[17], одному из самых опасных врагов христианства, ловкому и преступному комедианту, проповедывавшему евангелие с кафедры, а спинозизм в своих писаниях[18].

Стр. 16. «Бог, по учению Пифагора, не что иное, как неуловимая материя»[19].

Будьте уверены, что Пифагор, славный предшественник Платона, никогда не говорил этого. Утверждая, что разум—движущееся число, он изъял, насколько это во власти человеческого языка, всякую идею материальности. К тому же, читая греческих философов, нужно быть очень осторожным с их терминами: они употребляют слово материя *(ὕλη)* в особом смысле, и здесь легко ошибиться; но это завело бы меня слишком далеко.

Стр. 22. «Неоценимые преимущества анализа»[20].

Не восприняли ли вы случайно идею нашего века, вообразившего, что слово анализ представляет собою нечто совершенно отличное, новую систему, которой наши предшественники не знали? Г-н де-Жерандо[21] в своем труде о «происхождении идей» говорит буквально, вслед за сотней других французов, что все дело в том, чтобы переделать человеческое мышление...

«L'entreprise est fort belle
Et digne seulement ou d'un ange ou de vous».
[Затея эта прекрасна
И достойна только ангела или вас.]

Дело в том, что ум человеческий остался тем, чем всегда был, и в отношении его возможностей нет места никаким открытиям и не существует никаких новых методов, никакого «novum organum»[22] и т. д. Бог дал нам раз навсегда один-единственный рычаг для нашего пользования; смешон тот, конечно, кто употребляет рычаг для того, чтобы снимать капусту

St Pétersbourg 8 Xbre 1810
26 9bre

Monsieur

J'ai lu avec un extrême plaisir votre projet d'une Académie Asiatique. il fait beaucoup d'honneur à votre esprit et à votre Patriotisme. Tout m'a plu, en général, à commencer par l'Epitre dédicatoire dont le laconisme m'a paru du meilleur ton. Le Style de l'ouvrage est excellent et je ne crois pas surtout que l'homme le plus chicaneur y puisse trouver l'ombre d'Exotérisme. Le projet en lui-même est très utile et quand même il seroit retardé par les circonstances du moment c'est toujours une idée que le gouvernement doit conserver dans ses Porte-feuilles. cette idée est d'autant meilleure, qu'elle s'accorde parfaitement avec le mouvement général des esprits, qu'il est important de diriger vers le bien général. Vous pouvez y contribuer beaucoup, Monsieur, si vous avez le courage de suivre imperturbablement la ligne droite sur laquelle vous venez de vous placer d'une manière qui m'a fait beaucoup de plaisir. La Civilisation de votre pays ayant malheureusement coïncidé avec la plus infame époque de l'esprit humain, il en est résulté que plusieurs de vos compatriotes ont bégayé des blasphèmes et qu'en général, le système de la civilisation générale s'est trouvé placé hors de ses bases naturelles. Vous êtes appelé à une très-belle mission Monsieur et j'espere que vous la remplirez. c'est celle de professer hautement les bons et anciens principes, et de contribuer de toutes vos forces à dégoûter les Russes des coupables

14

mais, je vous en prie, Monsieur, ne perdons pas notre place. Lorsque vous parlez d'un Parallele très curieux entre la cosmogonie de Manou (Menu) et celle de Moyse, que vous nommez le second (p. 39) je crois entendre parler d'un Parallele très-curieux entre la vie d'Agricola et Cendrillon. Les Savans anglois que vous citez souvent n'ont jamais écrit dans la supposition d'une égalité que vous semblez trop supposer. Mr Jones, surtout, Wilford, et Maurice en Angleterre n'ont exprimé les livres et les traditions ~~hébraïques~~ indiennes que pour en faire jaillir quelques élémens Mosaïques délayés et perdus dans une bien d'extravagances. Qui sait au reste si le Tems n'est pas venu où Japhet doit habiter dans les Tentes de Sem? On a observé il y a long tems en Angleterre que cette Prophétie semble marcher rapidement à son accomplissement. Nous sommes, ce que nous autres Européens avons toujours été Audax Japeti genus allons en avant! vivons en bons cousins avec les enfans de Sem; travaillons ensemble au grand édifice de la science, mettons toutes nos forces en commun. Je vous exhorte de tout mon cœur, Monsieur, à vous mettre au nombre des ouvriers: n'épargnez pas vos peines;

Vous me verrez au moins dans ce champ glorieux
vous animer toujours de la voix et des yeux.

J'attends beaucoup de vous pour votre pays, Monsieur, et c'est parceque j'en attends beaucoup que je vous ai montré naïvement mes Desiderata. Le plus vif est celui de votre amitié. la mienne est à vos ordres, joignez y, je vous en prie, l'assurance des sentimens les plus distingués d'estime et de considération que je vous ai voués pour la vie

Maistre

АВТОГРАФ ПИСЬМА ЖОЗЕФА ДЕ МЕСТРА К С. С. УВАРОВУ ОТ 8 ДЕКАБРЯ (26 НОЯБРЯ) 1810 г.

Первая и последняя страницы

Исторический музей, Москва

в своем огороде, однако, рычаг остается рычагом, а тот, кто называет его «novum organum» потому, что пользуется им для новых целей, просто шарлатан.

Стр. 26. «Г-н Бэлли и т. д.»[23].

Г-н Бэлли принадлежит к числу авторов, больше всего моловших вздор об азиатских древностях; он отнес знаменитые таблицы Тривалора к эпохе Кали-Юга[24]. К счастью, оказалось, что они были написаны в XII веке нашей эры и даже вполне добросовестно так датируются. С этим вопросом покончено с тех пор, как г-н Бентлей[25] в последних томах «Азиатских исследований» превосходно осветил истинный характер азиатской астрономии, которого не понимал Бэлли.

Стр. 28. «Мы призваны восстанавливать, а не строить заново» и т. д.[26].

К счастью для ваших друзей и также, надеюсь, для вашей родины, вы еще молоды и, следовательно, проживете достаточно, чтобы увидеть, или, по крайней мере, уверовать, что всевышний архитектор допускает разрушать только для того, чтобы строить заново.

Стр. 29. «Блаженный Августин говорит, что он усмотрел тайну троицы в книгах платоников».

Примите, милостивый государь, благосклонно совет человека, умудренного опытом, никогда не цитировать с чужих слов, особенно, когда это касается вопросов первостепенной важности. Нужно было указать место, где блаженный Августин говорит то, что вы ему приписываете; а если даже он видел или предвидел троицу у Платона, он видел только то, что и всякий другой может видеть. Если вспомнить все, что сказано о платоновской троице Бэллем и Кедворсом в Англии, Пето и Бальтусом во Франции, Мосгеймом в Германии[27] и т. д., то вопрос будет исчерпан. Платон, которого Цицерон называл «Deus ille noster Plato»[28], но которого очень трудно читать, является настоящим предтечей христианства и в качестве такового должен был очень нравиться первым сторонникам этой религии; но каждый справедливый человек должен, в конце концов, согласиться с мнением лучшего апологета нашего времени (аббата Бержье)[29], что вместо того, чтобы упрекать отцов-предникейцев[30] в том, что они платонизировали, гораздо правильнее было бы обвинить платоников в том, что они христианизировали.

Ibid., «Исповедь», гл. XIX, XX.

Так как «Исповедь» блаженного Августина[31] разделена на 13 книг, то цитировать одни главы — все равно, что не цитировать ничего. Нужно было сказать: книга VII, главы 20 и 21.

Я возвращаюсь снова к вашему утверждению, что религиозные понятия (христианства) были пропитаны платонизмом. Я, не колеблясь, бросаю вызов всему свету и утверждаю, что никто не сможет доказать это. Как раз наоборот, платонизм, к великому ущербу для церкви, был пропитан христианством, а это большая разница (см. прекрасную диссертацию Мосгейма «Turbata per novos Platonicos ecclesia»).

Предположим, что блаженный Августин сказал бы: «Я увидел троицу у Платона» (чего он, конечно, буквально так не говорил). Значило ли бы это, что святой заимствовал догмат у Платона? Нисколько, это значило бы только, что он с удовлетворением отыскал свой догмат в трудах великого философа.

Мы видим совершенно ясно у Платона единство бога, духовность и бессмертие души, награды в иной жизни, ад и чистилище, действенность

молитвы и жертвоприношений за умерших, первородный грех, необходимость божественного заступничества, наконец, троицу; все это более или менее ясно выражено, но всегда очень необычно и всегда недостаточно. Неудивительно, что первые христиане превозносили до небес этого философа и что, в конце концов, вследствие склонности к преувеличению, свойственной человеческому уму, они нашли в его произведениях то, чего там вовсе не было; это можно утверждать с достоверностью, но, конечно, никогда не удастся доказать, что платонизм проник в христианство до такой степени, чтобы внести в него или заменить в нем некоторые догматы.

Стр. 27. «Когда Греция оскудела великими людьми» и т. д.

Грецию времен Платона отнюдь нельзя назвать «оскудевшей» людьми, и совершенно недопустимо считать «промежуточной фигурой между эпохой гения и эпохой духа» и в соответствии с этим называть «одним из последних великих людей Греции» человека, современниками которого были Софокл, Еврипид, Сократ, Фукидид и т. д., а преемниками—такие люди, как Аристипп, Антисфен, Филолай, Архит, Евдокс, Аристотель, Ксенофонт, Архимед и т. д.[32], Демосфен, Исей, Аристофан, Менандр, Стесихор, и т. д.[33], Паррасий, Апеллес, Зевксис, Лисипп, Пракситель, Скопас, Тимант, Тимофей[34] и т. д., наконец, Александр Великий. Какое же это оскудение, милостивый государь!

Не сердитесь, добрый и любезный автор, если я продолжу еще свои нападки по этому поводу.

Стр. 27. «Платон развил способность анализировать». Я повторяю, что совершенно не понимаю термина «способность анализировать», если только это не то же самое, что способность рассуждать, которой обладают все люди со времен Адама. Понимаете ли вы под словом а н а л и з искусство расчленять идеи и как бы превращать их в разрозненные нити, вместо того, чтобы пользоваться ими, не разъединяя, целым пучком, словом, понимаете ли вы под этим искусство «умножать», как вы говорите, суждения там, «где гений видит одно только целое»? (Поистине, печальный талант!) Но если это так, то вы не смогли сделать большей ошибки, потому что философия Платона прямо противостоит этому мелкому жанру; а если она впадает в него, то тем хуже для нее. Каждый раз, когда Платон придирается к мелочам, он становится ненужным и, откровенно говоря, даже скучным, но когда он бросает свой а н а л и з и становится восточным, он прекрасен и бесценен. Вы сами говорите, что он «облекает свои идеи всеми чарами поэтического воображения». Это утверждение явно не согласуется с предыдущим. Самым мощным а н а л и т и к о м, в самом полном и почтенном смысле этого слова, был его ученик, последователь и соперник—Аристотель, который беспрестанно противоречил своему учителю, но зато ведь поэтом он никогда не был.

Стр. 29. «Быть может, найдется нить в лабиринте человеческого разума»[35].

Помнится, в вашем возрасте я тоже думал, что понимаю подобные фразы[36]. Теперь я ясно вижу, что они лишены всякого смысла; скоро и вы будете того же мнения. Скажите, пожалуйста, что человеческий разум может и должен надеяться узнать о человеческом разуме? Е г о с у щ н о с т ь, е г о с и л у и п р е д е л е г о в о з м о ж н о с т е й. Не правда ли, ведь невозможно придумать еще четвертую проблему? Или вы думаете, что в Бенаресе или Калькутте найдется, чтобы выбраться из этого лабиринта, нить, которой мы не обладаем в Европе? В таком

случае, поспешите в Азию, любезный друг, и, если возможно, возвращайтесь с вашим клубком в Европу до моей смерти.

Стр. 35. «Еврейская литература отличается от всех других тем, что она не обещает никаких новых открытий».

Как я ни стараюсь, я никак не могу найти в этом утверждении смысла, который не заслуживал бы порицания. Если под литературой вы понимаете доктрину, то какого открытия можно ждать от доктрины, полученной путем откровения? Она есть то, что она есть, и ничего большего или меньшего она не может дать. Если же слово литература вы принимаете в его обычном смысле, то ясно, что язык, мертвый со времен вавилонского пленения, не дает никаких надежд на открытия, и потому такое ваше утверждение не очень великое открытие. Дальше вы говорите, что «индусская литература — самая древняя и самая привлекательная из всех». Конечно, вы были вправе отказать евреям в литературе, в точном смысле этого слова, но раз вы выше произнесли это слово, последующее утверждение недопустимо; а что касается вашего признания превосходства значения и интереса индусской литературы над литературой греков, римлян, итальянцев, французов, англичан и немцев, то, право, мне кажется, вы должны признать свое несколько чрезмерное увлечение Востоком. Еще сильнее оно дает себя знать в предпоследней строчке той же страницы, где вы храбро утверждаете, что «все религии Азии черпали из индусского источника»[37]. Неужели вы соблазнились такой мыслью? На следующей странице я читаю, что сходство индусских преданий с писаниями Моисея «не ускользнуло от внимания английских ученых». Оно не ускользнуло бы от внимания всякой грамотной горничной. Вы добавляете: «Это поразительное сходство не только не вредит должному уважению к священному писанию» и т. д. Еще бы! Это все равно, как если бы вы сказали: «Это доказательство не только не опровергает истины теоремы» и т. д.

Продолжаю. «Это сходство не только не вредит...», оно только доказывает, что «оба черпали из общего источника основных понятий». Опять эта злосчастная идея общего источника, последнее прибежище этих философов (мнимых философов), которых вы как раз осуждаете на стр. 12 и которые, не зная, как уйти от нового доказательства, почерпнутого в открытиях, сделанных в индусских книгах, ищут спасения в каком-то общем источнике, чтобы устранить первенство Моисея. Даже Вольней не только растерялся, но до такой степени потерял голову, что серьезно утверждал, что наш Христос был создан по образу индусского Кришны[38]. Это просто неподражаемо!

Совершенно не верно, что «основные понятия были даны человеческому разуму» (ibid., стр. 36); они были открыты глазам и ушам человека. Эти понятия—факты, сохраненные нам избранной нацией, поставленной хранительницей божественной сокровищницы, и, следовательно, по этому одному эта нация не может быть поставлена не только ниже, но даже наравне ни с какой другой. Доказательством того, что вы колеблетесь внутренно в принципах, является ваше робко высказанное утверждение: что «мы считаем библию основой откровения» (ibid., стр. 36). Значит, вы не осмеливаетесь сказать: да, это основа откровения. Но если вы не смелы в ваши годы, то когда же вы станете смелым? Берегитесь, прошу вас, безоговорочно утверждать, что «провидению угодно было допустить, чтобы основные понятия (стр. 37) видоизменились или

были забыты людьми»; очевидно, вы подводите евреев под общее проклятие, т. е. вы принимаете немецкую систему, которая в библии видит только восточных книжников. Надеюсь, что вы не дошли до этого и не согласны с немецкой книгой, когда-то напечатанной в Гамбурге под заглавием «Еврейская мифология», но вы даете повод так думать, и это-то меня огорчает.

От нападок по существу перейду к придиркам по поводу отдельных выражений, например, «общая грамматика» не может означать «происхождение и образование речи» (стр. 15). Это выражение означает исключительно общие законы речи для всех языков, и под этим названием пор-рояльцы опубликовали свою довольно известную грамматику[39].

Не знаю, почему «археология» должна означать только «историю искусств» (стр. 21). Новые словари, как и само слово, говорят, что это — наука о древностях.

Вы часто говорите Monou (стр. 37, 39). Я всегда читал Menu. Сын солнца, по мнению некоторых индусских ученых, сын Брамы, по мнению других, древнее, быть может, Моисея, по мнению Джонса, все еще несколько опьяненного Азией, но по мнению Бентлея и Пинкертона, да и по здравому смыслу, честный законовед XII века[40].

Мне совсем неизвестен бог Стрепитус (стр. 39). Память мне, как будто, подсказывает Крепитус, но у меня нет книг под рукой, чтобы проверить. Вы могли бы упомянуть еще более смешных богов: бога Фарсинус, бога Субигус, богиню Персунду и т. д. «Все было богом, кроме самого бога» (Боссюэт).

Затем опечатки: внимание вместо намерение (стр. 32), Спенер вместо Спенсер, Епиметрио вместо Епиметро (4-я табл.).

Надеюсь, что вы отнесетесь к этим мелким порицаниям с благожелательностью, равной той, какая их продиктовала. Я, быть может, единственный человек в Петербурге, который вас прочел. Похвалы без знания предмета могут мало вам польстить, а прямота моей критики ручается за искренность моих похвал. Ваш труд дает много и обещает еще больше. Стиль очень хорош; его находили слишком цветистым, но я не разделяю этого мнения; да если бы и встретились преувеличения подобного рода, я одобрил бы их, так как отсутствие роскоши в вашем возрасте сулит бедность для зрелых лет. Вы очень мудро сумели отойти от некоторых предрассудков сегодняшнего дня (например, в вопросе о схоластиках[41]). Я не только восхищаюсь, но просто люблю ваше мужество, оно помогает вам держать голову выше века, но, скажу с той же откровенностью, ногами вы увязли еще довольно глубоко в его липкой грязи. Поверьте мне, поскорее переходите в зрелый возраст и выбирайтесь совсем из этой грязи, иначе вы не будете любимы ни экзегетами, ни нами. Вы стоите, как Геркулес in bivio[42], решайтесь и идите направо. Если сравнить, хотя бы даже с такой второстепенной точки зрения, как слава, имена XVII века с именами следующего века, выбор будет не труден.

На этом я хотел было закончить, но, не знаю почему, у меня нехватает сил остановиться и хочется сказать еще несколько слов об Азии.

Азия — страна, вызывающая энтузиазм, потому что она всегда была страной чудес; от нее исходят, я сказал бы, какие-то пары энтузиазма, которые кружат головы не только туземцам, но, в большей или меньшей степени,

и головы самых спокойных европейцев и даже тех, что созерцали Азию только издали. Что касается вас, который называет христианские догматы «мнениями, нами чтимыми» (стр. 24),—выражение, над которым я усердно советую вам поразмыслить, вы далеко не так холодны, когда дело касается Зороастра. О нем вы говорите без всяких колебаний, как говорили бы о Цицероне или Вергилии, и так, словно вам известно, что он действительно жил и когда именно. Между тем, по этому вопросу существуют сотни гипотез, и особенно забавна неуверенность относительно того, к какой эпохе причислить годы его жизни; одни считают ее древнее эпохи Авраама, другие же относят к эпохе Дария, сына Гистаспа (не далее). Но будем говорить только о действительной ценности Зенд-Авесты[43], которую вы находите нужным восхвалять в таких пышных выражениях (стр. 2). Хотите свидетельство католика? Я процитирую вам аббата де ла Шапель[44]. Приведя самые неопровержимые свидетельства о поведении г-на Анкетиля[45] в Индии, о его занятиях и познаниях, он приходит к выводу, со сдержанностью, подобающей его сану, «что не следует покупать произведения г-на Анкетиля и даже читать их» (Défense de l'histoire véritable etc. 1770, стр. 325). Предпочитаете вы свидетельства протестантов? Прочтите убийственное письмо, написанное г-ну Анкетилю кавалером Джонсом[46], прочтите диссертацию, читанную 18 сентября 1780 г. в Гёттингенской академии ученым Мейнерсом[47]. Там вы прочтете: «Что нет, повидимому, никаких данных, свидетельствующих, что персы обладали хоть одной строкой Зороастра. Что существующая Зенд-Авеста является подделкой. Что в ней встречаются явные следы юдаизма, христианства и арабские слова, проникшие в персидский язык в VII веке; что г-н Анкетиль, проявивший во время пребывания в Индии легкомыслие и ветренность, оказался игрушкой в руках двух священников низшего ранга и что он не знал ни слова из древних языков и т. д., и т. д.». Может быть, вы предпочтете прислушаться к суждениям Вольтера? Как видите, я снабжаю вас самыми разнообразными оценками. «Зенд-Авеста,—говорит Вольтер,—отвратительный ворох хлама, из которого нельзя прочесть и двух страниц, не проникнувшись жалостью к человеческой природе. Автор ее—опасный безумец. Нострадамус[48] и какой-нибудь лекарь по моче[49]—здравомыслящие люди по сравнению с этим бесноватым». Надеюсь, довольно. О Зенд-Авесте, как и о всех индусских книгах, можно сказать то же, что так остроумно сказал г-н Фонтан[50] об Алькоране: «Это библия, переделанная в „Тысячу и одну ночь"». Воздадим Азии должное, но, прошу вас, не будем уступать нашего места. Когда вы говорите об «очень любопытной параллели между космогонией Мону (Меню) и космогонией Моисея», которому вы отводите второе место (стр. 39), мне кажется, что я слышу об очень любопытной параллели между жизнью Агриколы и Сандрильоны[51]. Английские ученые, которых вы часто цитируете, никогда не писали в предположении такого равенства, в чем вы, кажется, очень склонны заподозрить Джонса; Вильфорд и Маурис[52] в Англии, в особенности, толковали индусские книги и предания только для того, чтобы выявить в них некоторые элементы Моисеева закона, растворенные и потонувшие в море сумасбродства. Впрочем, кто знает, не пришло ли время, когда Иафет должен обитать в шатрах Сима? В Англии уже давно заметили, что это пророчество, как будто, идет быстрыми шагами к своему осуществлению. Мы, европейцы, остаемся

тем, чем мы всегда были: «Audax Iapeti genus»![53]. Итак, вперед! Будем жить, как добрые родственники, с потомками Сима. Будем дружно работать над построением великого здания науки, объединим наши силы. От всего сердца призываю вас быть в числе тружеников, не щадите своих трудов.

«Vous me verrez au moins dans ce champ glorieux
Vous animer toujours de la voix et des yeux».
[Меня, по крайней мере, вы всегда увидите на этой ниве славы
Поощряющим вас голосом и взглядом.]

Я многого жду от вас, милостивый государь, для вашей родины, и потому, что я многого жду, я так чистосердечно указал свои desiderata. Самое горячее из них—приобрести вашу дружбу. Располагайте моей и присоедините также, прошу вас, уверение в чувствах глубочайшего к вам уважения и почтения, которые я сохраню на всю жизнь.

Местр

Автограф.—Исторический музей, Москва. Альбом «Письма знатных иностранцев к графу С. С. Уварову».

[1] Экзотеризм—термин, употреблявшийся в религиозной литературе для обозначения «истин» и «знаний», передававшихся массе, в отличие от эзотеризма, обозначавшего «истины», сообщавшиеся лишь небольшому кругу посвященных. Строгое различие между тем и другим проводилось особенно в масонских кругах. Отсюда это заимствовал Местр, который «формально принимал самую идею эзотеризма». См. E. Dermenghem, Joseph de Maistre mystique. P., 1923, p. 193.

[2] С точки зрения Местра, этой эпохой был XVIII век.

[3] «Приятно приближаться к чистым источникам»—стих Лукреция, взятый Уваровым в качестве эпиграфа к «Projet d'une Académie Asiatique».

[4] Т.-е. лучше быть крайним, чем умеренным или представителем «золотой середины».

[5] Здесь имеется в виду следующее место в проекте Уварова: «В последние годы XVIII века совершилась великая революция во всех представлениях об истории человеческой цивилизации. Восток, еще недавно всецело предоставленный лживым рассказам нескольких авантюристов и покрытым пылью трудам небольшого числа эрудитов, был единогласно признан колыбелью всей мировой цивилизации». Интересно, что рецензент Уварова в «Journal de l'Empire» от 11 апреля 1811 г. тоже ставил ему в вину оскорбительный тон по отношению к «покрытым пылью трудам эрудитов».

[6] Hyde (1636—1703)—известный английский ориенталист, профессор еврейского и арабского языков в Оксфордском университете, автор «Historia religionis Persarum», 1 vol., 1700.

[7] Herbelot (1625—1695)—французский ориенталист, профессор сирийского языка (в Collège de France), автор «Bibliothèque orientale, P., 1697.

[8] Maracci Луи (1612—1700)—итальянский арабист, подготовивший издание корана под названием «Alcorani textus universus», Padua, 1698.

[9] Sale Джордж (1680—1736) перевел коран на английский язык, снабдив его примечаниями и комментариями.

[10] Kircher Афанасий (1602—1680)—немецкий иезуит, опубликовавший в 1666 г. «China monumentis, qua sacris, qua profana illustrata», переведенную впоследствии на французский язык. Кирхер был одновременно физиком, математиком, ориенталистом, филологом; он считал, что им открыто значение иероглифов.

[11] Duhalde Жан-Батист (1674—1743)—французский иезуит, опубликовавший «Description de l'empire de la Chine et de la Tartarie chinoise avec un atlas», 4 vol., 1735.

[12] De Moyria de Mailla, или Maillac Жозеф-Мари (1676—1748)—французский иезуит и миссионер. Автор «Histoire générale de la Chine», 12 vol., B., 1777—1783, с картами и гравюрами, опубликованной после его смерти.

[13] Chardin Жан (1643—1713)—французский путешественник. Первое полное издание его «Voyage en Perse et aux Indes» вышло в Голландии около 1711 г. и состояло из 13 томов.

[14] «Lettres édifiantes et curieuses écrites des missions étrangères», 1702—1781, 43 vol. Это—собрание известий католических миссионеров из всех стран мира, составленное иезуитами Legobien, Duhalde и др.

[15] Азиатское общество в Калькутте было основано в 1784 г. знаменитым английским ориенталистом Уильямом Jones (1746—1794), труды которого были использованы немецкими философами и филологами. Он перевел «Сакунталу» (1789) и «Законы Ману» (1794).

[16] Deluc Жан-Андре (1727—1817)—физик и натуралист, род. в Женеве. Автор «Précis de la philosophie de Bacon», 2 vol., P., 1801. Он в течение 44 лет был чтецом английской королевы.

[17] Гердер Иоганн-Готфрид (1744—1803)—знаменитый немецкий мыслитель, один из виднейших представителей сентиментальной реакции против рационализма и предшественник романтизма. По протекции Гёте был сделан проповедником и консисторским советником при дворе герцога Веймарского.

[18] В своей книге «Gott» (1787) Гердер, критикуя философию Спинозы, в сущности, защищал последнего от церковных богословов, доказывая, что, по его учению, бог есть источник всякого бытия, а познание бога и любовь к нему—основа всякого совершенствования. Для Местра всякая защита Спинозы, основоположника научно-критического изучения библии, была преступным спинозизмом.

[19] Вот полностью эта фраза Уварова: «Бог, по учению Пифагора, не что иное, как неуловимая материя, эфир, огонь, распространенный повсюду, приводящий все в движение и называемый поэтому душой мира».

[20] Говоря о «неоценимых преимуществах анализа», Уваров считает, что «применение аналитического метода к произведениям разума было последним результатом человеческой мысли».

[21] Gérando Жозеф-Мари, барон де (1772—1842)—профессор административного права в Париже, автор «Théorie des signes et l'art de penser dans leurs rapports mutuels», 4 vol., P., 1800,—труда, в котором он пытался примирить сенсуалистическую философию Кондильяка с католическим учением. Местр имеет в виду другое его произведение: «La génération des connaissances humaines», P., 1802.

[22] «Novum Organum» (в русск. перев. Бибикова 1874 г. «Новый Органон»)—одно из главных сочинений знаменитого английского философа Бэкона (1561—1626). Бэкон защищал в нем эмпирический и индуктивный метод познания вещей, отстаивая для опытной науки право на самостоятельное, независимое от метафизики и богословия существование.

[23] Baillie Джон (1766—1823)—английский ориенталист. Уваров кратко упоминает о его исследованиях в области древнеиндусской астрономии.

[24] Кали-Юга—индусское слово, означает «железный век». Эта индусская эра относится к 3101 г. до нашей.

[25] Bentley Ричард (1661—1742)—английский критик и полемист, профессор Кембриджского университета, переводчик Горация.

[26] На стр. 26—29 Уваров сравнивает современное ему состояние человеческой мысли с эпохой платонизма в древней Греции. И тогда и теперь господство «нескольких привилегированных умов», блестящих, изредка появлявшихся гениев сменилось кропотливой, часто невидной и неуловимой работой человеческого ума. Но платонизм предвещал грандиозную революцию, перестройку в области знаний, мыслей, идей. «Мы же, утомленные кровавыми эксцессами, совершенными во имя человеческого разума, больше не ждем никаких обновляющих его потрясений. Мы призваны защищать величественные развалины, восстанавливать, а не строить заново».

[27] Bull Джордж (1634—1710)—английский теолог, автор «Defensio Fidei Nicenae» (1683); Cudworth Ральф (1617—1688)—английский теолог, в своей работе «True Intellectual System of the Universe» (1678) сравнивает троицу Платона с христианской троицей; Petau Дени (1683—1752)—французский иезуит, преподаватель богословия в Сорбонне с 1618 г.; Baltus (1667—1743)—французский иезуит; Mosheim Лаврентий (1694—1755)—немецкий протестантский теолог, профессор Гёттингенского университета, его труд: «De rebus christianorum ante Constantinum Magnum commentarii» (1753).

[28] «Наш бог Платон».

[29] Bergier (1718—1790)—французский теолог, посвятивший свою жизнь борьбе против философов XVIII века. Его труды: «Traité historique et dogmatique de la vraie religion», 13 vol., P., 1780, и «Dictionnaire théologique», 2 vol., P., 1789. Местр много раз в сочинениях и письмах восхвалял аббата Бержье. См., напр., «Origine divine des Constitutions» (Maistre, Oeuvres, t. I, p. 1). В 1813 г. он рекомендует своему сыну Родольфу читать «Déisme réfuté par lui-même», прибавляя: «Именно этой книгой аббат Бержье начал свою благородную деятельность» (Maistre, Oeuvres, t. XII, p. 367).

[30] Отцами «предникейцами» («pères antenicéens») Местр называет церковных писателей, защищавших догмат троицы в эпоху, предшествовавшую Никейскому собору (325 г. н. э.).

[31] Августин (354—430)—крупнейший писатель западной церкви. «Исповедь»—его автобиографическое произведение, проникнутое глубоким самоанализом. К христианству Августин пришел именно через платонизм.

[32] Греческие философы: Аристипп (род. ок. 430 г. до н. э.)—основатель киринейской школы; Антисфен (род. ок. 442 г. до н. э.)—основатель школы киников; Филолай (500—420 до н. э.)—пифагореец; Архит Тарентский (430—369)—пифагореец и друг Платона; Евдокс Книдский (409—356)—астролог, ученик Архита.

[33] Греческие ораторы и писатели: Исей (IV век до н. э.)—учитель Демосфена; Стесихор (636—556)—поэт и лирик, указан Местром, очевидно, по ошибке, так как жил раньше Платона.

[34] Греческие художники: Паррасий (431—404); Зевксис (464—398); Тимант (IV в. до н. э.), соперник Паррасия. Греческие ваятели и архитекторы: Лисипп (ум. ок. 316 н. э.); Скопас (IV век н. э.). Греческий музыкант и поэт Тимофей (446 до н. э.).

[35] Уваров выражал надежду, что «нить в лабиринте человеческого разума» найдется при изучении Востока—этой «огромной и чудесной страны».

[36] Намек на свои исследования по франкмасонству. См. также ниже примечание 12-е к письму от 12 ноября 1812 г.

[37] Уваров говорит, что еврейская литература оставила единственный памятник: священное писание. В Индии же, по его мнению, не только была самая яркая и интересная литература, но из соединения поэзии и философии образовалась «религия, следы которой имеются во всех религиях древнего мира».

[38] Volney (1757—1820)—французский ученый. Кришна—восьмое воплощение одного из лиц «Тримурти» (индусской троицы).

[39] Пор-Роаяль (Port-Royal)—монастырь, основанный в 1204 г. около Шеврёза. С 1636 г. при монастыре поселился кружок ученых, работавших над вопросами религии, языка, литературы и воспитывавших молодежь. Они стали центром оппозиции иезуитам. Упоминаемая Местром грамматика под названием «Les lois générales du langage pour toutes les langues» была составлена Лансело, о котором см. ниже, в примеч. 6-м к письму Уварова от 19 июня 1814 г. К кружку пор-роаяльцев принадлежал, между прочим, знаменитый Паскаль. В числе учеников был Расин, написавший историю Пор-Роаяля.

[40] Ману—по индусским преданиям, мифический прародитель человеческого рода, которому приписывали составление древнего кодекса законов. Джонс в 1794 г. перевел законы Ману на английский язык; Бентлей—см. выше, примеч. 25; Pinkerton Джон (1758—1826)—ему принадлежит «General Collection of Voyages and Travels» (1808—1813).

[41] Средневековая схоластика, т. е. философия, преподававшаяся тогда в школе, подвергалась резкой критике философов XVIII в.

[42] На распутье.

[43] Зенд-Авеста (Зенд—комментарий, объяснение; Авеста—основа, основной текст)—название священных книг маздеизма, религии поклонников огня в древнем Иране, основание которой приписывалось Зороастру. В XVIII веке считали, что Зороастр жил в эпоху Дария, сына Гистаспа (VI в. до н. э.). Это мнение было основано на сходстве имен Гистаспа с неоднократно упоминаемым в Зенд-Авесте Гюстаспом.

[44] De la Chapelle, аббат (1710—1789)—автор «Histoire véritable des temps fabuleux».

[45] Anquetil-Duperron (1731—1805)—французский ориенталист, переводчик Зенд-Авесты.

[46] См. выше, примеч. 15-е и 40-е.

[47] Meiners Кристоф (1747—1810)—профессор философии в Гёттингене.

[48] Нострадамус Мишель (1503—1566)—знаменитый врач, астролог и предсказатель. Его сын, Мишель младший (ум. 1574),—тоже астролог и предсказатель.

[49] Médecin des urines—лекарь по моче—кличка врача-шарлатана, определявшего все болезни на основании мочи больного.

[50] De Fontanes Луи (1757—1821)—писатель и политический деятель; при Наполеоне стоял во главе Université Française с 1808 по 1812 гг.

[51] Агрикола—римский полководец I в. н. э. «Жизнь Агриколы» написана Тацитом в 97—98 гг. н. э.; Сандрильона—из сказки Перро (русск. Золушка).

[52] Wilford Френсис (ум. 1822)—английский ориенталист. В 1804 г. он обнаружил, что был жертвой мошенничества одного индусского жреца, указывавшего ему на наличие египетских имен в священных книгах Индии; Maurice Томас

(1754—1824)—английский историк, автор «Antiquités Indoues» в 7 т. (1791—1793) и «Histoire de l'Indoustan» (1795—1799) в 3 томах.

[53] «Смелый род Иапета» (Гораций. I кн. Од, III, 27).

МЕСТР—С. С. УВАРОВУ

С.-Петербург, 2/14 декабря 1810 г.

Милостивый государь,

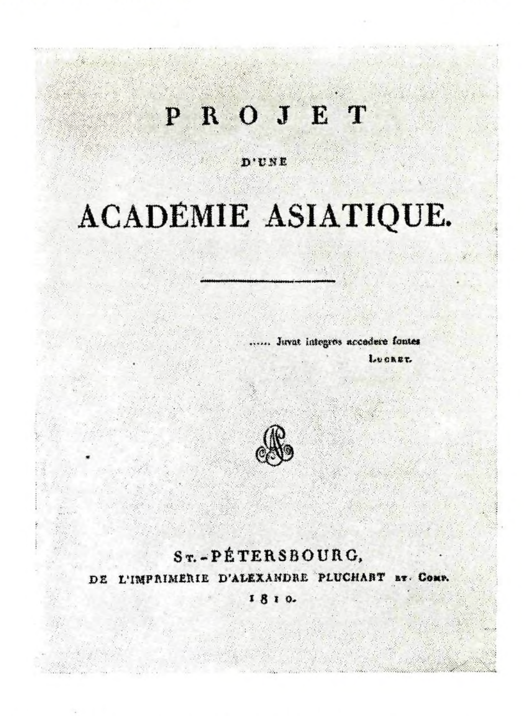
Неотложные занятия лишали меня до настоящего времени удовольствия ответить на ваше письмо от 27-го. Я это делаю в письменной форме, чтобы быть лучше понятым.

Моя неизменная приверженность к католицизму достаточно известна. По моему мнению, человек, который не ухватится за этот якорь, будет всю свою жизнь колебаться из стороны в сторону. Внешняя сторона этой религии проста и народна, но принцип ее высокофилософичен и полностью согласуется с природой человека.

Протестантизм же я считаю по преимуществу разрушителем[1] или, правильнее говоря, главным врагом этого спасительного принципа; итак, не скрою, что у меня врожденная неприязнь ко всему, что от него исходит. Протестантизм, по моему мнению, язва, хитроумно вызванная для удаления из религии некоторых наростов, которые исчезли бы при помощи простой перевязки. А так как немцы прибавили еще к этой несчастной системе свою извращенную философию, свое отвращение ко всякой догме, свой фальшивый энтузиазм, свою заказную чувствительность, свою страсть к парадоксам и свой отвратительный стиль, то, признаюсь, к моему общему отвращению ко всему, что исходит от протестантов, присоединился еще такой мизогерманизм[2], что если бы от меня зависело сжечь все, что Германия создала в XVIII веке, я, не колеблясь ни на секунду, поступил бы по примеру Омара[3], вполне убежденный в том, что действительные потери (достаточно большие, но вполне возмещаемые) полностью вознаградились бы уничтожением этой отравы. Правда, я мало читал в подлиннике этих немецких учителей[4], но все-таки некоторых из них я прочел и никогда бы не решился цитировать кого-либо из них с чужих слов, не проверив. Впрочем, у меня есть много способов познакомиться с ними в общих чертах и не читая их. Во-первых, того множества цитат, которые сыплются со всех сторон на человека, отдавшегося науке, вполне достаточно для того, чтобы со временем составить собственное мнение. Во-вторых, хотя отдельный ученый-католик может ошибаться в оценке того или другого человека, того или другого факта и т. д., однако, если все они сходятся в оценке какого-либо важного вопроса, им можно верить, их суждение ценнее всякого отдельного мнения. Наконец, к такой оценке я присоединяю мнение разумных протестантов, главным образом—англичан, которые являются чем-то вроде среднего пропорционального между католической строгостью и протестантским «риенизмом» («Rienisme»)[5].

Уверяю вас, мне нечего менять в высказанном мною мнении об епископе веймарском[6]; я прочел только две его книги: во-первых, его большой труд (заглавие которого невозможно перевести ни на один человеческий язык) «Мысли о философии истории человечества»[7] и его «Диалоги о Спинозе». Трудно было бы собрать больше преступных сумасбродств, чем их имеется в первом из этих трудов, который явно противоречит повествованию Моисея и всем принципам христианства. Передо мной статья «La Revue des Revues»,

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ КНИГИ С. С. УВАРОВА „ПРОЕКТ АЗИАТСКОЙ АКАДЕМИИ“
Петербург, 1810 г.


PROJET
D'UNE
ACADÉMIE ASIATIQUE.

...... Juvat integros accedere fontes
LUCRET.

ST.-PÉTERSBOURG,
DE L'IMPRIMERIE D'ALEXANDRE PLUCHART ET COMP.
1810.

напечатанная в Лондоне в «Anti-Jacobin» (juillet, 1804, № 73). Я в ней читаю: «This infidel divine» (говоря о Гердере) и дальше: «Herder's system as far as it is intelligible is nothing else than the ancient Pantheism»[8]. Не только общий дух сочинения плох, но все оно полно отвратительных построений, смешанных со всевозможными бреднями современной геологии. Поистине, я не знаю худшей книги.

Вы говорите, что «не одно и то же проповедывать спинозизм и утверждать, что Спинозу плохо знали». Конечно, это не одно и то же в теории и вообще говоря, но на практике это может быть то же самое, и я спешу воспользоваться этим случаем (как говорим мы, дипломаты), чтобы отметить безумие гордыни, первым порождением которой является неверие («initium omnis peccati superbia»)[9]. Какой разумный человек может поверить или даже только допустить, что в течение двух веков Спиноза никем не был понят? Что такой верующий человек, как Бейль[10], который так основательно его опровергал, что такие люди, как Жакело[11], Лами[12] и столько других, не поняли его? Что они сражались, подобно Дон-Кихоту, с ветряными мельницами? Что они ошибались до такой степени, что приняли добропорядочного деиста за настоящего пантеиста, и что сам Вольтер (потому что в этом вопросе все мнения сходятся) не ведал, что говорил, когда вложил в уста Спинозы, беседующего с богом, шутливые слова: «Между нами, я полагаю, что вы не существуете».

«Начиная с 1787 года, — говорит Гердер, — произошли большие перемены на философском горизонте Германии. Имя Спинозы, которое было предметом всеобщего отвращения, оказалось поднятым на такую высокую ступень почитания, что даже имена Лейбница и других выдающихся гениев (trefflicher Geister) померкли перед его именем (кто может сдержать свое негодование?). Действительно, в Германии злоупотребляли этой системой под именем трансцендентального спинозизма; что касается меня,—я буду придерживаться золотой середины... Спинозизм ставит

себе целью только свободу и спокойствие духа... и активное блаженство... Спинозизм, в сущности, есть не что иное, как развитие слов св. Павла: «in ipso vivimus, movemur et sumus»[13] (здесь опять нужно большое терпение). Почтенный Спиноза не нуждается в апологии пред мудрыми людьми». И дальше он прибавляет в своем отвратительном германском стиле: «Этот диалог будет ручкой того священного сосуда, из которого он приносит несколько капель на алтарь своей молодости». О! Как же ему не любить Спинозу и не быть ему благодарным, если он публично признает его своим учителем и, не зная, как выразить ему свою благодарность, говорит, что он исходит от Спинозы (по крайней мере, я не знаю, как перевести иначе: «Warum ich von Spinoza ausging, lag theils» etc.).

Впрочем, так как он претендует на умеренность, то и заявляет, что не принимает никакого определенного решения. «Я вовсе не собираюсь, — говорит он,—не имея на то полномочий (в этом, по крайней мере, он прав), стать судьей между двумя партиями. Диалог ничего не решает и не может ни в ком вызвать гнева». «К тому же,—прибавляет достойный епископ,—я вовсе не хочу спорить о боге» («Denn über Gott werde ich nicht streiten»). В самом деле, какая терпимость у человека, который сказал в своем цитированном выше большом труде, что он «недоумевает, как могла возникнуть мысль, что осуществимо распространение одной религии по всей земле, которая кругла и непрерывно вращается». Верх вкуса и благочестия! Боссюэт[14] и даже Кларк, Диттон, Шерлок[15] и другие говорили иначе, и я не думаю, чтобы этим великим людям случалось вопрошать: как возможно представить себе какой-либо предмет вне бога («fremden ihm zum Verstehen gegebene Objekte»—предисловие к диалогу). Но веймарские епископы не похожи на епископов Франции и даже на епископов Англии.

Гердер написал этот диалог (Herders Gott. Einige Gespräche über das Spinoza-System. Gotha, 1800, in 12°) в 1787 г., и так как предвидел тогда свою близкую кончину, он желал насладиться еще одним прекрасным летом, чтобы окончательно отделать свою «Адрастею»[16], и этой милости «он ожидал от законов природы, поскольку они зиждятся не только на мудрости, осторожности и доброте, но и на внутренней необходимости», а так как ему было «предназначено даже в его жизни* повиноваться необходимости, а не свободной воле, то отсюда следует, что, если его труд угоден вечной истине, она даст ему силы закончить его».

Я кончаю, ибо время драгоценно и для вас и тем более для меня, так как у меня его остается много меньше, чем у вас. Мне бы ничего не стоило умножить количество цитат, но, мне кажется, их достаточно, чтобы ответить на странный вызов, который вы мне бросаете: найти в «любом из трудов Гердера» хотя бы «страницу», «фразу» и т. д. Когда вы мне говорите: «Если бы вы захотели обратиться к источникам» и т. д., вы заставляете меня думать, что, по вашему мнению, я берусь судить о человеке, не зная его. Я знаю очень мало, но я никогда не говорю о том, чего я не знаю основательно. Никогда я не прочел книги, даже альманаха, без того, чтобы не сделать выписок[17], так что, несмотря на мою абсолютную книжную нищету, я все же в состоянии цитировать слова и страницы из тех авторов, о которых говорю. Я читал немцев (по-немецки) меньше, чем других, потому что я принялся за них слишком поздно и не могу

* «In meinem Leben selbst». Он хочет, очевидно, сказать: даже в делах своей жизни. Но кто из писателей этой секты знает или умеет выразить то, что он хочет сказать, или хочет сказать то, что он думает?

читать их свободно, но говорю только о тех, которых знаю, и это знание стоило мне тяжелого труда. Мне неизвестен ни один из тех, на которых вы ссылаетесь, кроме Эйхгорна[18], который пользуется репутацией убийцы священного писания. Вы заставили меня улыбнуться вашим «возрождением восточной литературы». Я бы хотел посмотреть, как ваши экзегеты будут сражаться с Беллармином[19], Каппелем, Эрпениусом, Буксторфом, Мараччи, Убиганом[20] и др. Мы увидели бы прекрасное зрелище.

Впрочем, никто больше меня не почитает немцев, как ученых. Я восторгаюсь их точностью, их терпением, их глубиной, но я искренне сожалею, что все эти прекрасные качества испорчены безбожным пирронизмом[21], фальшивым энтузиазмом, духом парадоксальности и необузданной склонностью ко всему причудливому.

Вот все, что я хотел сказать вам, и на этом я кончаю. Я хотел только оправдаться перед вами в подозрении, которого боюсь больше всего на свете, а именно: что я говорю о предмете, которого не знаю. Впрочем, я не могу достаточно выразить мое восхищение перед тем философским доброжелательством, с каким вы приняли мои замечания. Я вижу, что вы прекрасно поняли мои намерения и оценили их по заслугам. Вам нисколько не нужны наставления, но если бы вы даже и нуждались в них, я не имел бы никакого права давать их вам. Лишь видя ваши колебания в некоторых вопросах, я счел возможным выразить пожелание, чтобы вы всецело перешли на одну сторону, и желание это—признак моего уважения. И это неважно, получены ли мои замечания до или после напечатания вашего труда. Ваша работа свидетельствует лишь об избытке таланта, у которого еще много времени, чтобы созреть и показать свои силы.

Остаюсь с полным уважением и почтением, милостивый государь, ваш всенижайший и всепокорнейший слуга

Граф де Местр

Автограф.—Исторический музей, Москва. Альбом «Письма знатных иностранцев к графу С. С. Уварову».

[1] Протестантизм в определении Местра: «восстание индивидуального разума против всеобщего разума», «смертельный враг всякого суверенитета», «религиозный санкюлотизм». (Maistre, Oeuvres, VIII, pp. 64, 67 et 97).

[2] Мизогерманизм—отвращение ко всему германскому.

[3] Омар (634—644)—арабский калиф, который после взятия в 642 г. Александрии, согласно позднейшим известиям, достоверность которых сомнительна, сжег ее знаменитую библиотеку.

[4] Местр начал изучать немецкий язык в Лозанне в мае 1793 г., т. е. в возрасте 40 лет. (Maistre, Carnets, I, pp. 31, 124).

[5] «Риенизм»—словообразование от rien—ничего, для обозначения чисто отрицательного характера протестантизма, как протеста против католической церкви, не создавшего взамен отрицаемого учения ничего положительного.

[6] Гердер—см. примеч. 17 и 18, 15 и 16 к предыдущему письму и 7 и 16 к настоящему.

[7] Подлинное наименование этого значительнейшего произведения Гердера: «Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit», Riga, 1784—1791, 4 Bd. Здесь Гердер применяет к истории свою основную мысль о необходимости генетического объяснения умственной жизни человека. Человек—продукт природы, и законы исторического развития таинственны, подобно законам природы. Гердер не допускал возможности сверхъестественного вмешательства в ход исторического процесса и отвергал применение категории цели к объяснению этого последнего.

[8] «Этот неверующий богослов»... «Система Гердера, поскольку ее можно понять, является не чем иным, как древним пантеизмом».

[9] «Начало всякого греха — гордыня».

[10] Bayle Пьер (1647—1706)—французский философ и критик, занимал до смерти кафедру философии и истории в Роттердаме. Наиболее известен его «Dictionnaire historique et critique».

[11] Jaquelot Исаак (1647—1708)—французский теолог-кальвинист; после отмены Нантского эдикта уехал в Германию и умер пастором в Берлине.

[12] Lamy Бернар (1640—1715)—философ и эрудит, член духовной конгрегации «Оратория», последователь Декарта. Его «Entretiens sur les sciences» (Lyon, 1684, I vol.) «читал и перечитывал сотню раз» Ж.-Ж. Руссо («Confessions», Partie I, Livre VI. Oeuvres, éd. 1839, t. I, p. 228). В своем «Projet d'éducation» Руссо рекомендовал взять «Art de parler» Лами в качестве пособия для изучения диалектики (ibid., t. V, p. 308). Главный его труд «Apparatus ad Biblia Sacra», I vol., Grenoble, 1687.

[13] «Мы им живем, движемся и существуем»—из речи апостола Павла к афинянам.— «Деяния апостолов», гл. 17, ст. 28.

[14] Bossuet Жак-Бенин (1627—1704)—знаменитый французский богослов и проповедник, защитник католицизма и борец против протестантизма.

[15] Clarke Самуэль (1675—1729)—английский философ, противник материализма (Гоббса) и Спинозы; Ditton Гемфри (1675—1715)—английский математик и теолог; Sherlock (1678—1761)—английский богослов, лондонский епископ.

[16] «Диалоги о Спинозе» входят составной частью в произведение Гердера «Gott». Кроме указанного Местром издания, см. Werke, 1853, Band 31, SS. 79 und folgende. «Адрастея» (1801). Полное название: «Adrastea. Begebenheiten und Charaktere des achtzehnten Jahrhunderts». Это—очерки истории Европы в начале XVIII века.

[17] Эти выписки Местр делал в особых тетрадях, с которыми не расставался ни в Лозанне, ни в Сардинии, ни в России.

[18] Eichhorn Иоганн-Готфрид (1752—1827)—немецкий ориенталист, профессор Иенского и Гёттингенского университетов, кроме трудов по востоковедению, занимался новой историей и историей немецкой литературы.

[19] Bellarmini Роберто (1542—1621)—итальянский теолог, иезуит, кардинал. Местр изучал его труды с особенной тщательностью.

[20] Cappel Луи (1585—1658)—протестантский теолог и эрудит, профессор еврейского языка и богословия в Сомюрской академии; Erpenius (Thomas van Erpen, 1584—1624)—знаменитый голландский ориенталист; Buxtorf Иоганн (1589—1664)—знаменитый немецкий гебраист; Maracci—см. прим. 8-е к предыд. письму; Houbigant Шарль-Франсуа (1686—1783)—известный гебраист и комментатор библии.

[21] Пиррон (ум. около 270 г. до н. э.)—греческий философ, скептик, проповедывавший, что мы о вещах ничего знать не можем, а потому должны воздерживаться от суждений о них и усвоить себе полное равнодушие.

МЕСТР—С. С. УВАРОВУ

С.-Петербург, 21 марта / 2 апреля 1811 г.

Милостивый государь,

Податель настоящего письма—некий Зихерман, польский еврей из раввинской семьи, несколько лет тому назад принявший христианство. Им интересуются здесь многие почтенные особы; графиня Потоцкая[1] его рекомендовала е. с. графу Алексею Разумовскому[2], а я по рекомендации герцога Серра-Каприола[3], со своей стороны, пытался быть ему полезным у вашего тестя. Впрочем, Зихерман и сам представит вам прекрасные аттестации и среди них от графа Яна Потоцкого[4], который и со мной говорил о нем с интересом. Граф Разумовский пообещал место этому несчастному человеку, который лишился средств к существованию из-за своего обращения, разгневавшего его родителей; но, конечно, вполне правильно, что это дело было отложено до вашего возвращения, чтобы оно прошло установленным порядком[5]. Разрешите же, милостивый государь, рекомендовать вам этого человека, который давно мечтает получить возможность скромного существования и которому нужно только ваше милостивое ходатайство перед министром. Это будет доброе, полезное и достойное дело.

Спешу воспользоваться случаем, милостивый государь, чтобы приветствовать вас по случаю счастливого возвращения. Как только я узнал

о нем, я распорядился доставить к вам том сочинений кавалера Джонса[6], который вы любезно мне доверили.

Остаюсь с глубоким уважением, милостивый государь, ваш всенижайший и всепокорнейший слуга

Граф де Местр

[1] Повидимому, жена графа Яна Потоцкого, о котором см. ниже.

[2] Разумовский Алексей Кириллович, граф (1748—1822)—министр народного просвещения; на его дочери, графине Екатерине Алексеевне, был женат С. С. Уваров.

[3] Серра-Каприола, герцог (1752—1822)—неаполитанский посол при русском дворе, проживший в России свыше 30 лет, был женат на княжне Анне Александровне Вяземской, дочери екатерининского генерал-прокурора.

[4] Потоцкий Ян, граф (1757—1815)—польский аристократ, писатель-славист. Местр, состоявший с ним в переписке, нередко упоминает о нем.

[5] Т. е. через Уварова, как попечителя С.-Петербургского учебного округа.

[6] Джонс—см. прим. 15-е и 40-е к первому письму.

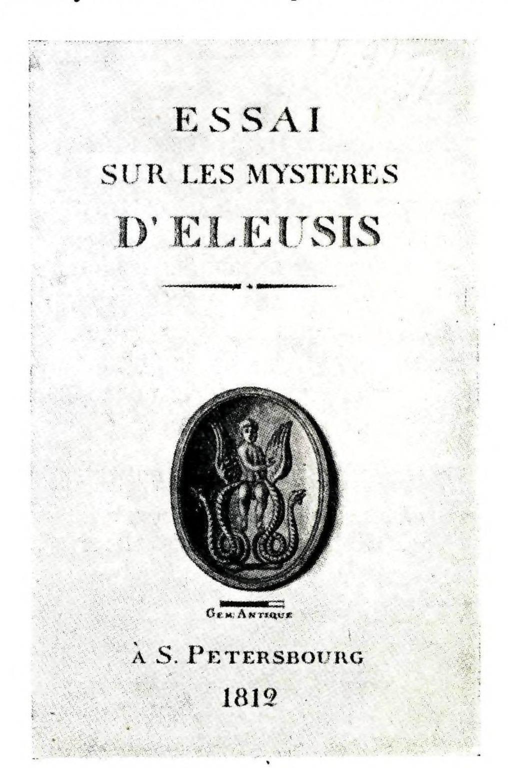
МЕСТР—С. С. УВАРОВУ

12/24 ноября 1812 г.

Я прочел с чрезвычайным удовольствием труд г-на Уварова об елевсинских мистериях. Он с начала до конца написан в превосходном духе и с такой чистотой стиля, что даже самый гордый, как говорил Цицерон, французский слух не сможет найти в нем и легкого следа экзотеризма.

Автор не преминул опереться на текст Цицерона, который всегда казался мне решающим (стр. 44). Читая труд, я ждал этой цитаты[1].

Гейне[2], огромные познания которого никто не уважает больше меня, хотя он, как и вся его школа, впадает в истерику перед каждой одухотворенной идеей, опровергает мнение Варбуртона[3] о VI книге «Энеиды» (стр. 25)[4]. Однако, я не думаю, чтобы английский ученый был не прав или совсем



ШМУЦТИТУЛ КНИГИ С. С. УВАРОВА „ОБ ЭЛЕВСИНСКИХ МИСТЕРИЯХ"

Петербург, 1812 г.

не прав. Если память меня не обманывает, сам Гейне приводит в этом интересном вопросе аргументы против самого себя. Вергилий сказал: «Mens agitat molem»[5]. Мне кажется, нет ничего менее эпикурейского[6]; все-таки, я оставляю вопрос in medio[7].

Стр. 11. У Гомера нет ни одной мистической идеи[8]—весьма верно и весьма важно. Однако, я не знаю, заметил ли почтенный автор в «Илиаде» несколько образчиков действительно головокружительной религиозной метафизики.

Стр. 27. Автор, как мне кажется, не очень любит этимологию, он готов видеть v i x в P a k s c h a. Поощряемый такой уступчивостью, я решаюсь сказать ему, смеясь сам над собой и уверенный насмешить и его, что *πάξ* есть просто-напросто P a x римлян, язык которых имеет так много сходства с санскритским. Итак, *κόγξ ὄμ πάξ* обозначает желание, бог и мир[9]. Чего только нельзя сделать с этими тремя словами, добавив к ним две-три части речи.

Стр. 55. Прекрасное и правильное замечание о новом «облике политеизма» в эту эпоху[10]. Неоплатоники позаимствовали из всех систем понемногу, чтобы создать этот облик и, конечно, не обошли и христианства при этом вынужденном заимствовании. Итак, они принялись х р и с т и а н и з и р о в а т ь, что дало повод сначала из хитрости, а затем по невниманию говорить, что христианство п л а т о н и з и р о в а л о. А я от всего сердца говорю вместе с остроумным автором: «exoriare aliquis[11]».

Стр. 8. «Малые мистерии бесспорно предшествовали большим». Мне очень хотелось бы увидеть подробное обоснование этого положения, которое, мне кажется, противоречит природе вещей. Всякая «голубая ложа» не может быть, мне кажется, ничем иным, как предварительной степенью «внутренней ложи», и является чем-то в роде подготовительной ступени, где шотландские рыцари подготовляют учеников[12]. Однако, ввиду того, что я не изучал этого внутреннего вопроса, я ничего не утверждаю, а только выражаю сомнение.

Я благодарю автора за сообщение, что блаженный Иероним[13] упоминает о Будде (стр. 26); я поищу этот текст, взятый, повидимому, из вторых рук.

Стр. 46 и 51. Автор сможет найти в знаменитой речи Демосфена «О государстве» доказательство его глубокого презрения к посвященным и посвящению[14].

Я бы никогда не кончил, если бы захотел детально перечислять все мысли, которые показались мне заслуживающими особенного внимания. Я могу только поощрить автора «голосом и жестом» и просить его продолжать неустанно трудиться. Он никогда не найдет человека, с большей искренностью и доброжелательством его одобряющего и приветствующего, чем я.

Граф де Местр

На особом листке я помещаю список типографских опечаток, чтобы показать автору внимание, с каким я его читал.

Стр. 21. В примечании *φιλοτιμότερον* и т. д. мне кажется невозможным, чтобы здесь в цитату не вкралась ошибка.

Стр. 27.	Строка	21	Vices.	Читай	Vicis или еще как-нибудь иначе.
» 35.	»	11	apporèse	»	aporrhèse
» 38.	»	20	*ἐπιβώμφ*	»	*ἐπιβώμιος*

потому что исправляющий должность священника при алтаре называется по-гречески *ἐπιβώμιος*, а не *ἐπιβώμος*, что нарушало бы аналогию, а так

как все предыдущие существительные стоят в именительном падеже, то и последнее должно быть тоже в именительном.

Стр. 69. Строка 26. Tam in antiquis litteris inveniri и т. д. Herman должен был бы написать «Tam in antiquis litteris hospitem» или еще как-нибудь иначе.

Ibid. Строка 23. Ebranlée. Читай ébranler
» 8. *κνεφάξω* » *κνεφάζω*

Адрес: Милостивому государю г-ну Уварову,
камер-юнкеру двора е. и. в.

Автограф.—Исторический музей, Москва. Альбом «Письма знатных иностранцев к графу С. С. Уварову».

[1] Уваров цитирует следующие слова Цицерона, обращенные к афинянам: «Во всем, что произвели и распространили среди людей великолепного и божественного ваши Афины, нет ничего великолепнее мистерий, возвышающих нас от грубой и дикой жизни к истинной человечности: они посвящают нас в истинное начало жизни, потому что они поучают не только жить с удовольствием, но и умирать с лучшими надеждами».

[2] Heyne (1719—1812)—профессор Гёттингенского университета, переводчик Тибулла, Пиндара, Вергилия и других античных писателей.

[3] Warburton Уильям (1698—1779)—английский прелат, духовник короля и теолог, решительный противник папства. Местр писал про него: «Один из наиболее ожесточенных фанатиков, когда-либо существовавших, основавший перед смертью кафедру для доказательства, что папа—антихрист» (Maistre, Oeuvres, II, p. 389). Уваров называет его «изобретательным».

[4] В VI гл. «Энеиды» Вергилия рассказывается о схождении Энея в ад. Уваров, приводя мнение Варбуртона, что эта глава «была точным воспроизведением церемоний и даже тайн доктрины посвящений», со своей стороны, полагает, что Вергилий «был знаком с некоторыми обрядами, применявшимися в мистериях».

[5] «Мысль приводит в движение массу» («Энеида» Вергилия, VI, ст. 727). Обозначает примат духа над материей.

[6] Уваров находит, что мировоззрение Вергилия было эпикурейским, т. е. материалистическим и враждебным мистериям, знание которых он почерпнул из чтения философов пифагорейской школы. Между тем, приводимая Местром цитата из Вергилия свидетельствует о его идеалистическом мировоззрении.

[7] «Посередине», т. е. неразрешенным.

[8] По словам Уварова, «поэмы Гомера являются, несомненно, самыми древними документами по истории Греции. Нигде он не упоминает о мистериях; более того: у Гомера нет никакого следа мистических идей».

[9] Уваров указывает, что при окончании богослужения в Элевсине молящихся отпускали со словами: κογξόμπα. Слова эти, по его мнению, санскритского происхождения и употребляются браминами при окончании религиозных церемоний. Это—Kanska (предмет наших наиболее сильных желаний), Om (односложное слово, употребляемое индусами в начале и конце церемоний) и Pakscha (соответствует латинскому слову vix и означает перемену, поворот, ряд, строй и т. д.).

[10] Уваров говорит, что политеизм в последнее время своего существования хотел побить христианство его же оружием: «сторонники политеизма пожелали облагородить свою веру, придав ей моральное величие, которого она никогда не имела».

[11] Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor—да восстанет когда-нибудь из наших костей мститель («Энеида», IV, ст. 625).

[12] По мнению Уварова, эпоха наибольшего развития малых мистерий—это эпоха организации греческих республик. В дальнейшем речь идет о масонских ложах шотландской системы. Около 1735 г. в старом английском масонстве наступило разложение. Недовольные легкомысленным характером, какой в это время имели масонские организации, отделились и стали создавать свои ложи, назвав себя последователями шотландской системы. При этой системе в масонстве было создано большее, чем прежде, количество степеней, причем участникам низших степеней, так называемых «голубых лож», внушалось, что высшие степени открывают какие-то таинственные, доступные лишь немногим истины. Местр с юного возраста был масоном. В 1778 г. он покинул ложу «Trois Mortiers», к которой принадлежал, и примкнул к шотландской системе. Об отношении Местра к масонству см. (1) Georges Goyau, La pensée religieuse de J. de Maistre, P., 1921; (2) Emile Dermenghem, J. de Maistre mystique,

P., 1923; La Franc-Maçonnerie, P., 1929; (3) Auguste Viatte, Les sources occultes du romantisme. 2 vol., P., 1926; (4) Paul Vulliaud, J. de Maistre franc-maçon, P., 1926; Les Rose-Croix Lyonnais au XVIII siècle, P., 1929; (5) René Johannet, Joseph de Maistre, P., 1932; (6) F. Vermale, J. de Maistre franc-maçon («Annales révolutionnaires», 1912); La Franc-Maçonnerie Savoisienne à l'époque révolutionnaire, P., 1912; Lettre de J. de Maistre au baron Vignet des Etoles sur la Franc-Maçonnerie. 1793 («Annales historiques de la Révolution Française», 1934); L'activité maçonnique de J. de Maistre («Revue d'hist. litt. de la France», 1935).

[13] Блаженный Иероним—христианский «святой» IV в.; перевел с греческого языка на латинский труды церковных писателей Оригена и Евсевия.

[14] Уваров ссылается на речи Демосфена, как на доказательство морального падения людей его эпохи, отразившегося и на мистериях, в которые теперь посвящали даже куртизанок.

МЕСТР—С. С. УВАРОВУ

С.-Петербург, 10/22 декабря 1813 г.

Милостивый государь,

С большим удовольствием прочел и перечел я ваш труд, который вы так любезно прислали мне[1]. Я нахожу, что он столь же хорош по мысли, как и по форме, и не знаю, как благодарить вас за то значение, которое вы придаете моему слабому суждению. Самая тема книги представляла существенные трудности, которые доставят вам, быть может, некоторые огорчения. Но, поскольку трудности эти не зависят от вас, я советую вам не обращать никакого внимания на критику, которая последует. Я более подробно говорил об этом с одной доброй и почтенной дамой—моим другом, а она, вероятно, в свою очередь, будет говорить с вами об этом, и поэтому я ничего больше не прибавлю.

Письмо к императору вполне достойно труда, который оно сопровождает. Стиль его так же благороден и чист, как и мысль[2]. Я не сомневаюсь, что е. и. в. останется очень доволен сочинением.

Считайте меня неизменно в числе лиц, наиболее интересующихся вашим талантом и вашими успехами, и примите самое искреннее уверение в привязанности и глубоком уважении, с которым честь имею быть, милостивый государь, ваш всенижайший и всепокорнейший слуга

Граф де Местр

Автограф.—Исторический музей, Москва. Альбом «Письма знатных иностранцев к графу С. С. Уварову».

[1] Речь идет, конечно, о работе Уварова: «Eloge funèbre de Moreau», St.-Pétersbourg, 1813. Моро Жан-Виктор-Мари (1763—1813)—французский генерал, участник революционных войн, противник Наполеона, изгнанный им из Франции в 1804 г. за участие в заговоре Пишегрю. После этого Моро жил в Америке, откуда вернулся в 1813 г. и принял участие в войне против Наполеона. В сражении под Дрезденом он был смертельно ранен. Местр писал Блакасу 24 августа 1813 г. о возвращении Моро, что этот человек во многом виноват, но «может более всех содействовать восстановлению короля Франции» (см. E. Daudet, pp. 257—258).

[2] Очевидно, Уваров послал свою брошюру Александру I при письме, которое показал Местру; это единственное, что можно здесь предположить, так как печатный текст брошюры не содержит в себе никакого письма.

МЕСТР—С. С. УВАРОВУ

С.-Петербург, 17/29 июня 1814 г.

Милостивый государь,

Наконец-то я могу присесть и спокойно поблагодарить вас за присланные вами вчера замечания, в равной мере мудрые и любезные, по поводу моего небольшого труда, который я поспешил послать вам[1].

St Pétersbourg 17 (29) Juin 1814

Monsieur

Enfin, je puis m'asseoir et vous remercier à l'aise des observations également sages et aimables que vous m'avez adressées hier sur le petit ouvrage que je me suis hâté de vous communiquer. Vous m'avez fait, Monsieur, je puis vous l'assurer, le plus grand plaisir. Veniam dabimus petimusque vicissim. Je ne conçois pas même qu'il soit possible de goûter la louange sans critique. Où seroit l'assurance, je vous prie, pour le pauvre louangé, si la critique ne lui certifioit pas la bonne foi de l'approbateur?

Je vais parcourir avec vous les articles qui ont attiré vos observations.

Je passe sur le §. VII. puisque vous le trouvez suffisamment raccommodé ou expliqué par le XII. En disant Ce qui est écrit n'est rien, j'ai voulu dire seulement que sans cet excellent esprit ce supplément intellectuel non-écrit ce seroit en vain &c

Vous desireriez que j'eusse donné plus de développement aux §. §. XVII et XVIII. — impossible, Monsieur: réfléchissez-y bien. J'aurois fait un livre de ces deux chapitres. Dans les ouvrages qui renferment une foule d'objets il faut surtout prendre garde à la proportion et ne choisir que ce que j'appelle les Points lumineux. J'ai une grande tendresse pour le §. XVII, qui m'a valu une exclamation de votre aimable et spirituelle amie Mme de Swetchin. Elle y a vu ce que je croyois y avoir mis, une vérité importante exprimée d'une manière tendre et pathétique. Vous n'y avez vu

...

Monsieur, faites comme vous voudrez. je vous répondrai. Nous pourrons intituler cette discussion comme celle de Limborch et d'Orobio, Amica collatio environnée de toutes les formes du bon ton et des égards naturels à deux hommes du monde qui s'aiment et qui s'estiment, je ne doute pas qu'elle ne plaise universellement et même qu'elle ne soit très-utile.

Je méditois aussi une lettre intitulée — Lettre d'un ministre étranger à un Gentilhomme Russe sur &c (ce seroit un des points les plus importans de votre droit public) vous y répondriez ce que vous voudriez — mais il faut opter. nous ne pouvons, comme on dit, courir deux lièvres à la fois.

La Question qui termine votre excellente lettre est bien digne de votre bon esprit, et m'a fait trembler comme un Roseau. Comment remonter sur le Sinaï? si vous me disiez Comment monter? je ne saurois pas trop que répondre. mais à comment remonter, je réponds avec une rare profondeur en remontant — Tout homme qui est descendu peut remonter par la même rampe qu'il a parcourue — s'entend pourvu qu'il soit vivant — mais s'il s'est précipité! — on peut bâtir une rampe ou dresser des échelles — mais s'il s'est cassé les Jambes — Qu'il se fasse guérir. — Mais s'il est cul-de-jatte — Qu'il se fasse guinder par les gens d'en haut — en un mot, il ne faut jamais désespérer — Mais je vous comprends bien et je vous apprécie bien. — aujourd'hui permettez-moi de finir en vous assurant de toute ma reconnoissance, de l'envie que j'ai d'entrer avec vous en société de pensées, et des sentimens les plus vrais d'estime et d'attachement avec lesquels je suis

Tout à vous

Maistre

АВТОГРАФ ПИСЬМА ЖОЗЕФА ДЕ МЕСТРА К С. С. УВАРОВУ ОТ 17/29 ИЮНЯ 1814 г.

Первая и последняя страницы

Исторический музей, Москва

Могу вас уверить, что вы доставили мне величайшее удовольствие: «Veniam petimus debimusque vicissim»[2]. Я даже не представляю себе, чтобы можно было наслаждаться одной похвалой без критики. Каким образом, скажите, тот бедняк, которого хвалят, мог бы почерпнуть уверенность в искренности похвал, если бы их не подкрепляла критика?

Я хочу пересмотреть вместе с вами те места, которые вызвали ваши замечания.

Пропускаю § VII[3], потому что вы находите его достаточно исправленным или объясненным § XII-м. Говоря: «написанное—ничто», я хотел только сказать, что без такой прекрасной одухотворенности, без этого ненаписанного духовного добавления все было бы напрасно и т. д.

Вы желали бы, чтобы я подробнее развил §§ XVII и XVIII[4]. Это невозможно, милостивый государь, подумайте хорошенько: ведь мне пришлось бы сделать целую книгу из этих двух глав. В произведениях, которые трактуют о массе разных предметов, нужно особенно заботиться о пропорции и выбирать только то, что я называю светящимися точками. Я питаю большую нежность к § XVII, который вызвал возглас одобрения вашего любезного и остроумного друга—г-жи Свечиной. Она увидела в нем то самое, что мне хотелось в него вложить,—важную истину, выраженную нежно и патетически[5]; вы же увидели в нем только слишком сжато высказанную мысль. Я очень уважаю вас обоих, что же мне думать? Подождем впечатления большинства читателей.

Я признàюсь вам в своих слабостях. Место, где я при помощи Платона беру протестантизм за шиворот, одно из тех, где я особенно доволен собой[6]. Я вижу, что вы его не отметили. Это дело такта, тут уж ничего не скажешь. Друзья, о которых вы мне говорите, считают, что § XXII[7] «является спорным». О, конечно! Надеюсь, вы не считаете меня слишком самонадеянным человеком. А я был бы самонадеянным и даже очень самонадеянным, если бы имел претензию убедить. Не знаю, может ли вообще человек быть настолько счастливым, чтобы хоть раз в жизни услышать о себе, а тем более сказать самому себе, что он прав. После того, как случается хорошо поспорить и многое опровергнуть, идешь спать, и совесть, которая никогда тебя не покидает, располагается рядом; тогда вспоминаешь, пока гордость спит за отсутствием зрителей, весь свой день: «Я читал, я слышал сегодня то-то и то-то... Я хвалился, я отрицал вот то и утверждал вот это. Я назвал такую-то вещь так-то. А уж не глупец ли я?». И почтенная дама, которая всегда тут и никогда не спит, отвечает вам: «Да, дорогой мой, это именно так».

В делах такого рода настоящий писатель не должен простирать свои претензии за пределы этих ночных успехов. Он должен был бы потерять рассудок, чтобы желать публичных покаяний.

Мне кажется, что я крепко схватил протестантизм поперек туловища, но я обнял его в обоих смыслах этого слова[8]. Я назвал его «благородным врагом, милым противником». Я с любовью заклинал его «принять во внимание» и т. д.[9]. Мне кажется, что я поступил, как надо, что я уверен в полной своей добросовестности. Я всегда прекрасно уживался с протестантами, у меня есть среди них хорошие друзья. Я часто задумывался над вопросом об услугах, которые мог оказать протестантизм. Не так давно я писал: «Он может быть превосходным лекарством, хотя ничего не стоит, как пища»,—нет ничего более верного. Тысячи честных людей

обязаны жизнью и здоровьем сулеме; но из этого вовсе не следует, что из нее нужно варить суп.

Реформа, мой любезный и ученый друг, нечто очень реальное, но она вся заключена в огромной главе постановлений Тридентского собора—«De reformatione». Среди нас—вот где произошла реформа, и, с этой точки зрения, большое спасибо сулеме! Когда некоторая часть человечества откалывается от христианского единства под предлогом реформы, оно само деформируется, а нас реформирует[10].

Это изречение вернее ора́кула Калхаса.

Вы делаете мне честь, когда находите §§ XXVIII и XXXV красноречивыми. Между тем, первый является только переходным. Мое тщеславие, у которого глаза более зорки, чем у меня самого, не сумело найти в них того, что послужило предметом вашего одобрения[11].

Мы подходим теперь к этому ужасному примечанию на стр. 66[12], которое причинило вам столько огорчений. Но позвольте мне выразить in limine[13] крайнее удивление относительно странного подозрения, возникшего у вас по этому пункту. Откуда, скажите на милость, взяли вы, что я говорю здесь о Пор-Роаяле? Nemmeno per ombra[14]. Разве дом есть секта? Как католик, я имею право осуждать янсенизм[15], как всякую другую ересь. Он так же был предан анафеме, как и другие ереси; этим все сказано. Однако, я признаюсь, что питаю особое отвращение к ереси Янсения, потому что она в одно и то же время самая ужасная, самая нелепая и самая низкая из всех. Я ненавижу фальшь и лицемерие, которые положены в ее основу. Еще недавно я писал: «Протестант—это военный, и, как всякий другой военный, он средь бела дня идет приступом на крепость, которую я защищаю; но янсенист—это солдат взбунтовавшегося гарнизона, он наносит мне удар кинжалом в спину в то время, когда я выполняю свой долг на валу». Если Пор-Роаяль пропитался этой системой, тем хуже для него. Но когда я говорю «гнусная секта», я даю лишь полную и хладнокровную оценку самой ереси, не называя и не помышляя даже о том или ином объединении, которое имело несчастье выпить из этого кубка[16].

Я в должной мере уважаю Паскаля, устраняя, однако, из его облика все наносное, все, чем наделила его чрезвычайно могущественная и активная партия. Я не могу судить о нем, как о математике; однако, я имею право смеяться над его циклоидой, которая даже на мгновенье не остановила на себе внимания иностранной науки. Я считаю его познания превосходными для того времени[17]. Это сказал Лейбниц: вынужденный сослаться на авторитет, я не нахожу лучшего. Как теолога, я уважаю его так же, как Аббадия, Кларка, Диттона, Шерлока, Леланда и т. д.[18]. Пожаловаться на меня он не может.

Смешной педантизм и крайняя посредственность Пор-Роаяля[19] не подлежат больше сомнению, равно как и то, что он нанес смертельные удары церкви, государству и литературе. Когда вы сами изрыгнете XVIII век[20], вы не будете больше в этом сомневаться; но это вещь не легкая*.

Я не возражаю против вашего суждения о конце § XXXVI[21], в нем действительно замечается некоторая запальчивость. Будем только называть вещи точными именами. Дух партии вовсе не одно и то же,

* Это может показаться несколько дерзким, но не переделывать же столько страниц? Пожалуйста, зачеркните это.

что дух секты. Они различаются так же, как род и вид. Иезуит—это янычар католической церкви, восторженный приверженец христианского единства. Дух, присущий этому, даже в своих заблуждениях диаметрально противоположен духу секты, и эта черта и отличает главным образом этот орден от секты или корпорации, с ним соперничающих. Пусть, сколько угодно, обвиняют иезуитов, пусть направляют против них десятки тысяч in folio, все равно, придется признать очевидную, как солнце, истинность того факта, что орден никогда не противился ни одному постановлению власти церковной или гражданской. Мы видели тому поразительный пример в знаменитом вопросе о китайских обрядах. Мнения самых уважаемых лиц (в том числе и Лейбница) были на их стороне. Очевидная польза для дела, интересы ордена, дух партии, гордость, принятые обязательства, явная надежда на успех, словом, все, что может ослепить человека, все объединилось, чтобы побудить их к сопротивлению; однако, они подчинились—все, как один, и тотчас же и навсегда. Я не говорю уже об их книгах и об их выступлениях вовне, но даже в интимной дружеской беседе мне часто приходилось говорить им: «Возможно ли?» И всегда мне отвечали: «Не стоит поднимать этот вопрос; власть высказалась, надо подчиниться»[22].

Не читали ли вы когда-нибудь письмо знаменитого Ла Нёвиля[23], относящееся к моменту упразднения ордена? Ничего нет прекраснее и трогательнее. «Будьте осторожны,—говорит он своим собратьям,—не надо ни жалоб, ни упреков. Проведем в жизнь то, что мы проповедывали» и т. д.

А на ряду с этой покорностью, посмотрите на Паскаля, который, выказывая неуважение к галликанской церкви и папскому престолу, позволяет себе писать дословно следующее: «То, что осуждено в совете короля, одобрено на небесах». Прекрасный католик!

Я сказал, что иезуиты воспитали весь век Людовика XIV[24], как я бы сказал, например, что «весь Петербург ждет е. и. в.»[25], хотя кучке негодяев и еще гораздо более многочисленной толпе равнодушных до этого нет никакого дела. Однако, и в данном случае я готов признать свою вину и, если это выражение кажется общим, я охотно смягчу его.

По поводу декларации 1682 г. я скажу вам очень немного. Я знаю, что этот презренный и опасный клочок церковной истории насчитывает еще много сторонников[26]. Я сумел бы расправиться с ним, если бы был к тому призван, но один разум без союзников бессилен или почти бессилен.

Совесть внушила галликанской церкви изъять эту декларацию из своих регистров[27]. В ожидании лучшего, удовлетворимся этим немым приговором. Ваш француз (кто бы он ни был) просто не знает, в чем дело, я в этом уверен. Впрочем, говоря, что он не знает, я вовсе не хочу сказать, что он невежествен. Будьте осторожны! Это совсем не одно и то же. Я не желаю никого оскорблять, даже людей мне незнакомых. Тем не менее, я думаю, что, когда законная власть посылает преступника на виселицу или на каторгу, [я] отнюдь не оскорбляю, говоря: «Вот ведут мошенника».

В заключение вы заверяете меня, что вы не протестант, не иезуит, не янсенист, не иллюминат. Не иезуит и не иллюминат—с этим я согласен. Не протестант и не янсенист—прошу прощения, но этого признать не могу. Вы протестант не вполне и не яв-

ным образом, но больше, чем сами думаете, и это неизбежно, в силу непреодолимого закона божественного... [не разобрано].

В связи с этим мне пришла в голову счастливая мысль. Напишите мне письмо, не говорю против (вы этого не сможете и не захотите), но по поводу места, которое вас так испугало в моем сочинении. Может быть, достаточно было бы придать письму, которое вы сделали честь мне написать, плюшаровскую форму[28]. А в конце концов, поступайте, как хотите, я вам отвечу. Мы могли бы озаглавить этот спор, как спор Лимборха и Оробио, Amica collatio[29], соблюдая в нем все формы хорошего тона, все знаки внимания, что так естественно между двумя светскими людьми, любящими и уважающими друг друга. Я не сомневаюсь в том, что спор всем бы понравился и был бы даже очень полезен.

Размышлял я также над письмом под заглавием «Письмо иностранного посланника к русскому дворянину по поводу» и т. д.[30] (оно касалось бы одного из самых важных вопросов вашего публичного права). Вы бы ответили на него, что вам заблагорассудилось, но нужно выбирать; нам не следует, как говорится, гнаться за двумя зайцами сразу.

Вы заканчиваете свое превосходное письмо, со свойственной вам остротой ума, вопросом, повергшим меня в трепет, подобно тростнику. «Как вновь подняться на Синай?». Если бы вы просто спросили меня, как взобраться, я не знал бы, что ответить. Но на вопрос, как вновь подняться, я отвечаю с редким глубокомыслием: вновь взойдя. Каждый человек, который спустился, может вновь взойти по пройденному откосу, лишь бы человек был жив. Но, если он сбросился вниз? Можно соорудить перила или поставить лестницы. Но если он переломал себе ноги? Пусть вылечится. Но если он безногий калека? Пусть заставит людей, которые наверху, втащить себя,—одним словом, никогда не надо отчаиваться. Но я хорошо вас понимаю и высоко вас ценю. Позвольте на сегодня закончить уверениями в моей благодарности, желании вступить с вами в умственное общение и в чувствах самого истинного уважения и привязанности, с которым остаюсь весь ваш

Местр

Адрес: Милостивому государю господину Уварову,
камер-юнкеру двора е. и. в.,
куратору Санктпетербургского университета.
В его деревню.

Автограф.—Исторический музей, Москва. Альбом «Письма знатных иностранцев к графу С. С. Уварову».

[1] Речь идет о сочинении «Essai sur l'origine divine des constitutions», начатом Местром еще в 1793 г. в Лозанне и оконченном в 1809 г. в Петербурге. Только пять лет спустя Местр решил напечатать эту работу, находясь, по его словам, «в состоянии раздражения против конституционного бешенства своего века» в связи с опубликованием во Франции конституционной хартии 1814 г. (Maistre, Oeuvres, XIII, p. 41). Печатание этой брошюры предполагалось в Петербурге, почему она должна была пройти через цензуру, подчиненную Уварову, как попечителю учебного округа. Уваров сообщил автору свои замечания, и настоящее письмо является ответом на эти замечания. «Читая мою брошюру, вы заметили,—писал Местр по выходе ее в свет,—единственное и мягкое исправление, которого потребовала от меня полупротестантская цензура» (ibid., XII, pp. 437—439). В 1814 г. «Essai» было переиздано во Франции (в одной книге с новым изданием «Considérations sur la France»). Французская цензура усмотрела в этой работе косвенное порицание Людовика XVIII, только-что утвердившего хартию. Более того, хвала по адресу Неккера (в § VIII «Essai»), которого эмигранты считали

ответственным за революцию 1789 г., должна была показаться особенно несвоевременной. «Essai» не понравился в высших кругах. Это повлекло за собой неблагоприятные последствия для самого Местра. В то время, когда его друг Блакас становился наиболее влиятельной фигурой во французской политической жизни, Местр был вправе рассчитывать, что Людовик XVIII вознаградит его за услуги, оказанные им во время эмиграции, предоставлением какой-нибудь высокой должности. Но ничего подобного не произошло. Несвоевременная публикация «Essai» была предлогом, оправдывающим королевскую неблагодарность.

[2] «Мы сегодня проявляем терпимость, а завтра сами нуждаемся в ней» (Гораций, Ars poëtica).

[3] Параграф VII объясняет, что английская конституция не есть писанная конституция. «Настоящая английская конституция заключается в том общественном духе, удивительном, единственном, непогрешимом, выше всякой похвалы, который ведет все, который спасает все. Написанное—ничто».

[4] Параграф XVII касается вопроса об объединении церквей протестантской и католической, более всего занимавшего Местра. См. F. Vermale, J. de Maistre émigré, livre VI—«Le rêve religieux de J. de Maistre».

В параграфе XVIII, говоря об образе правления во Франции, Местр доказывал, что Франция, как страна плотно населенная, должна быть государством монархическим. Это положение было очень популярно в XVIII веке.

[5] Местр в своем «Mémoire sur la Franc-Maçonnerie adressé au duc de Brunswick» (éd. Emile Dermenghem, I vol., P., 1925) высказал еще в 1782 г., что целью франкмасонства является осуществление внецерковной иерархии единства христианства, т. е. объединение католицизма, протестантизма и православия.

[6] Это параграф XIX: «Тот, кто воображает, что может построить на одном писании ясную и устойчивую доктрину,—большой глупец».

[7] Параграф XXII нападает на протестантизм: «Мы одни верим в слово, тогда как наши милые противники [протестанты] упорно верят только в писание».

[8] Embrasser—значит не только «обнять», «поцеловать», но и «объять», «охватить».

[9] Параграф XXII оканчивается следующей фразой: «...ожидая всегда с трогательным нетерпением минуты, когда его сторонники, выведенные из заблуждения, бросятся в наши объятия, открытые им уже около трех столетий».

[10] Тридентский собор (1545—1562) провозгласил незыблемость всех догматов католицизма и осудил вероучения протестантов; вместе с тем, на соборе разработан был ряд мероприятий по поднятию церковной дисциплины, улучшению духовного образования и т. д.—это Местр и называет реформой.

[11] Параграф XXVIII резюмирует любимую мысль Местра: «Человек не может сделать конституцию, и никакая законная конституция не может быть написана». Параграф XXXV содержит похвалу миссионерам вообще и миссионерам-иезуитам в особенности.

[12] Параграф XLI (Maistre, Oeuvres, I, p. 280, note), где Местр говорит о Паскале и «его гнусной секте».

[13] «На пороге», т. е. вначале.

[14] «Нет и тени», т.-е. нет и намека на это.

[15] Янсенизм—секта в католической церкви, основанная голландским богословом Янсением (1585—1638). Основным догматом янсенизма было отрицание свободы воли и вера в предопределение. В этом янсенисты сходились с протестантами кальвинистского толка. Янсенисты основали в Пор-Рояле кружок антииезуитского направления.

[16] Местр воспроизвел впоследствии всю свою аргументацию против янсенизма в книге «Du Pape», пятый раздел которой должен был называться «De l'Eglise Anglicane» и был издан отдельно под этим названием в 1820 г. (Maistre, Oeuvres, III).

[17] Паскаль Блэз (1623—1662)—сторонник янсенизма и Пор-Рояля. Против иезуитов были написаны им «Lettres provinciales» и «Apologie des Casuistes», кроме того, имели большое значение его «Pensées», написанные в защиту религии. Именно это его произведение внушало Местру то уважение, о котором он здесь говорит. Паскаль в юности определился, как талантливый математик. Его исследование о циклоиде имело большой успех и оказало влияние на Лейбница. В главе «Eglise Anglicane», посвященной Паскалю и озаглавленной «Pascal considéré sous le triple rapport de la science, du mérite littéraire et de la religion», Местр писал: «Паскаль (говорит Лейбниц) открыл несколько глубоких и необычайных для того времени истин о циклоиде... и предложил их в виде проблемы; но Wallis в Англии и P. Lallouère во Франции и еще другие нашли средство их разрешить» (Maistre, Oeuvres, III, p. 54).

[18] Abbadie Жак (1654—1727)—протестантский теолог, род. во Франции, жил

и работал в Германии и Англии. Его труды имели одинаковый успех у католиков и протестантов; L e L a n d Джон (1691—1766)—английский теолог, известный своей полемикой против атеистов и деистов; об остальных см. примеч. 15-е к письму от 14 декабря 1810 г.

[19] См. аналогичный отзыв в «Eglise Gallicane» (M a i s t r e, Oeuvres, III, pp. 29—30).

[20] «Я изрыгну тебя, говорит писание, обращаясь к равнодушию» (M a i s t r e, Oeuvres, III, p. 30).

[21] Параграф XXXVI весь посвящен восхвалению ордена иезуитов.

[22] Иезуиты-миссионеры в Китае при пропаганде католицизма шли на ряд послаблений китайцам-язычникам, как-то: выпустили 2-ю заповедь, допускали почитание предков и поклонение их теням, давали крещеным языческие имена, разрешали браки с 6—7-летнего возраста, а при совершении браков—языческие обряды. Против таких уступок восставали францисканцы и доминиканцы. Иезуиты отстаивали свою позицию. Отношение Рима все время менялось в зависимости от влияния той или другой стороны. Борьба длилась более ста лет, пока, наконец, в 1742 г. булла папы Бенедикта XIV не запретила окончательно всякие уступки (И. Н. А., Исторический очерк католической пропаганды в Китае. Казань, 1885, стр. 17—19). Местр аналогичным образом характеризует иезуитов в «Eglise Gallicane»: они—«янычары католической церкви» (M a i s t r e, Oeuvres, III, p. 61), «никогда никакая власть не видела их неповинующимися» (i b i d., p. 207).

[23] L a N e u v i l l e (1692—1775)—провинциал ордена иезуитов, автор «Observations sur l'Institut de la Société de Jésus» (1761). Вместе со своим братом он был одним из наиболее знаменитых ораторов-иезуитов XVIII в.

[24] Ср. M a i s t r e, Oeuvres, I, p. 374.

[25] Т. е. Александра I из-за границы после победы над Наполеоном.

[26] Д е к л а р а ц и я ц е р к о в н о г о с о б о р а 1682 г. во Франции, провозгласившая принципы так называемого галликанизма, т. е. известной независимости французской церкви от папы. Признавая главенство папы, декларация, однако, заявляла, что его власть ограничена соборами. Местр обстоятельно коснулся этой декларации в письмах к Блакасу в 1817 г. См. D a u d e t, p. 223 et suiv.

[27] См. в «Eglise Gallicane»: «Известно, что все постановления французского духовенства были внесены в огромное и драгоценное собрание его Записок (M é m o i r e s)... Столь знаменитая, столь важная декларация, прогремевшая во всей Европе, была исключена и никогда не была внесена в это собрание» (M a i s t r e, Oeuvres, III, p. 147).

[28] Придать письму п л ю ш а р о в с к у ю ф о р м у («u n e f o r m e p l u c h a r t i q u e»)—т. е. напечатать его. Плюшар—издательская и типографская фирма в Петербурге, издавшая, между прочим, брошюру Местра, о которой идет речь в настоящем письме.

[29] V a n L i m b o r c h Филипп (1633—1712)—голландский теолог; O r o b i o Исаак-Бальтазар (1616—1689)—испанский философ и врач еврейского происхождения, эмигрировавший в Амстердам вследствие преследования евреев в Испании. Они вели между собою полемическую переписку о христианстве и иудействе в дружественном тоне. Ван Лимборх опубликовал ее под заглавием: «De veritate religionis christianae a m i c a c o l l a t i o erudito judaico» (1687).

[30] Любимая Местром форма для его публицистических выступлений.

С. С. УВАРОВ—МЕСТРУ[1]

[С.-Петербург] $\frac{19\ \text{июня}}{1\ \text{июля}}$ 1814 г.

Я много размышлял о письме, которое вы, граф, сделали мне честь написать, и считаю нужным, прежде чем предавать в той или иной мере наш спор гласности, вернуться к одному вопросу, который я не мог в моем первом письме развить с должной полнотой.

Различие в нашем положении неизбежно заставляет нас совершенно по-разному рассматривать я н с е н и з м и и е з у и т о в. То, что вы изучали, как важный и почти основной вопрос вашей веры, было для меня только вопросом, представляющим, правда, крупный интерес, но интерес чисто и с т о р и ч е с к и й и ф и л о с о ф с к и й и даже, если хотите, а р х е о л о г и ч е с к и й. Я всегда придавал большое значение изучению различных видов церковной истории. Я почти не знаю другой отрасли человеческого знания, которая привлекала бы меня больше, чем

теология; она всегда казалась мне торжеством человеческого ума; я пытался изучать ее по источникам и, насколько это было в моих силах, вносил в это изучение дух, отрешенный от всякой предвзятости и свободный от предрассудков, обычных у светских людей; но если вы, как член римско-католической церкви, имеете право предавать анафеме янсенистов и с полным убеждением становиться на сторону иезуитов, то я, как член греческой церкви, имею право спокойно пройти между обеими партиями и даже считать и ту и другую наростами на религиозной системе Европы; одним словом, подвергнуть хладнокровному исследованию то, что вы можете рассматривать только сквозь призму религиозного чувства. Не делайте отсюда вывода, что я не отдаю целиком и полностью справедливости вашей точке зрения; я просто хочу обратить ваше внимание на то, что a priori мы должны видеть разные стороны этого вопроса.

Это вступление относится, естественно, и к моему замечанию к странице 66 вашего красноречивого труда. Я ясно видел, что название «гнусной секты» относилось именно к самому янсенизму; но я ограничился упоминанием о Пор-Роаяле, и противопоставил его противникам с точки зрения народного просвещения. Было бы неуместным с моей стороны защищать секту, покинутую всеми здравомыслящими людьми и самое название которой следовало бы избегать произносить, чтобы не будить воспоминания о времени, постыдном для всех партий. Итак, отнюдь не следует касаться темного вопроса о благодати[2]. Оставим в покое блаженного Августина и даже этого бедного епископа ипрского, который и не подозревал того, что он зажигает факел гражданской войны[3]. Пять тезисов были осуждены всеми и даже Арно[4]. С этих пор вплоть до чуда диакона Париса[5] следует непрерывный ряд слабостей, взаимных насилий, нелепостей всякого рода, злоупотреблений властью, недоразумений; все это, вместе взятое, причинило, без сомнения, много зла Франции и галликанской церкви.

. . . .

Пор-Роаяль, по моему мнению, является одним из учреждений Франции, принесшим веку Людовика XIV больше всего славы и добра; мне совершенно непонятно, какое зло причинила литературе конгрегация, давшая Расина, Паскаля, Ланселю[6], Арно, Лемэтра[7] и других.

. . . .

Если вам угодно будет сделать из этого простого и полного изложения моих чувств вывод, что я заражен янсенизмом, то я приму наименование янсениста, как принимал в своей жизни и многие другие. Умеренность характера и принципов создает наибольшее количество врагов и является свойством, которое легче всего не признавать.

Я всегда хвалил протестантам красоты католической системы; я постоянно указывал им, что протестантизм не представляет собой ни церкви, ни государства, что он только конвульсия человеческого разума, и они объявили меня католиком. Католикам же я говорил, что злоупотребления их системы естественно привели к протестантизму; и они считают меня протестантом. Мне случалось давать в полусерьезной и полуиронической форме отпор иллюминатам, и они заклеймили меня наименованием неверующего и современного философа. Наконец, вы считаете меня янсенистом, потому что я отказываюсь предавать анафеме Пор-Роаяль. Quot capita, tot sensus[8].

Считая себя на стороне этих добродетельных и несчастных отшельников, я в то же время готов отдать иезуитам дань уважения, которой они заслуживают. Если бы господа из Пор-Рояля или вообще янсенисты умели, подобно иезуитам, подчиняться гражданской и церковной власти, их роль была бы благороднее, чище и более христианской. Эта покорность общества Иисуса является одним из наиболее прекрасных деяний, которыми отмечена его история. Если прибавить к этому огромные услуги, оказанные им народному просвещению, миссионерство, Парагвай[9]—этого хватит, чтобы стереть обвинения, которые могли бы предъявить к нему правительства за его неустанное властолюбие, за его алчность, за дух интриги, делавший его наушником при королях, за его богословские крайности, за лукавство, за умственное притворство и т. д. и т. д. Эти обвинения—отнюдь не обвинения XVIII века. Когда иезуиты были изгнаны из Франции в 1594 г., из Венеции в 1606 г., из Англии в 1604 г., им приписывали политические преступления[10], и это обвинение, справедливо ли оно или ложно, не имеет ничего общего с «Системой природы»[11]. Вынося столь суровый приговор тем, кто осудил иезуитов, вы выступили не только против светской, но и против самой церковной власти. А чтобы вас не шокировала свобода, с которой я говорю, еще раз прошу вас помнить, что святейший Синод не давал мне никаких предписаний по этому вопросу.

Я часто отмечал, раздумывая над этой столь избитой антитезой—иезуиты и янсенисты, что, разбирая их распри или становясь в них на ту или другую сторону, многие ограничивали этим свои исследования. Мало внимания было обращено на монашеский орден, неизмеримо более почтенный, более мудрый, более знаменитый, который не интриговал, не поставлял духовников королям, не занимался спорами о благодати, но сохранял в тиши любовь к высшим знаниям и поднимал целину истории, как и ланды Франции; я говорю о бенедиктинцах, в частности, о конгрегации святого Мавра, бессмертной конгрегации, настоящей гордости французской церкви; мирная, скромная и добродетельная конгрегация, которая сумела оградить себя от всяких крайностей и приобрести всеобщее одобрение; чья память распространяет еще аромат святости и знаний, которых больше не встретишь, конгрегации, о которой невозможно думать без умиления. Я не знаю ничего более прекрасного, более религиозного, более полезного, чем эта община. В этом-то отношении монашеские ордена и спасли мировую цивилизацию. Лицемерие и чудеса господина Париса казались весьма ничтожными по сравнению с такими заслугами[12].

Разрешите добавить еще одно соображение, чтобы не было никаких недоразумений. Если бы я был католиком, я старался бы теперь уничтожить даже самый след этих постыдных раздоров. Перед римской церковью лежит целый новый мир, который она может завоевать или потерять. Ничто не послужило, мне кажется, ей в такой степени на пользу, как последние годы XVIII и первые XIX веков. Она очистилась в горниле страданий, и венец мученичества ей очень к лицу. Все умы стремятся к одному общему центру, многие сами того не подозревая, но довольно равномерно, хотя и разными и даже противоположными путями. Крещение кровью, которого другое крещение является только прообразом, умиротворило человеческий род; но во многих странах, где процветала католическая религия, остались одни развалины. Перед ней открывается

обширное поприще. Пусть она отбросит остатки заблуждений и запальчивости, от которых еще не очистилась, свои мелкие раздоры, свои низменные слабости, свои исчерпанные споры, свои старые претензии и возьмет лиру Орфея, которой так хорошо пользовались парагвайские миссионеры. Она говорит с дикарями среди цивилизованного мира . . .

. . . .

[С. Уваров]

[1] Это письмо печатается по копии, сообщенной в выдержках редакции «Литературного Наследства» директором Bibliothèque Slave в Париже г. Руэ де Журнелем. Как пишет г. Руэ де Журнель в письме в редакцию от 16/XII 1935 г., он лично снял эту копию с подлинника, хранящегося в семейном архиве графов Местр, несколько лет тому назад, когда работал над биографией С. П. Свечиной, причем опустил несколько отдельных фраз, не представлявших, на его взгляд, никакого интереса. Восстановление в настоящее время этого документа полностью встретило затруднение в том, что семейство Местров переменило место жительства и живет теперь вдали от Парижа. Публикуемое письмо является ответом на предыдущее письмо Местра от 17/29 июня 1814 г.

[2] Имеется в виду основное положение янсенизма, заимствованное у Августина, что «спасение» человека совсем не зависит от его дел, а только от «силы божественной благодати».

[3] Янсений был епископом в Ипре в 1636—1638 гг.; главное сочинение его (об учении Августина) было напечатано уже после его смерти: из этой книги его противниками иезуитами были извлечены пять тезисов янсенизма, осужденные в 1649 г. Сорбонной.

[4] Arnaud Антуан (1612—1694)—знаменитый теолог, один из главных деятелей янсенизма и Пор-Рояля, полемист против иезуитов («De la fréquente communion») и протестантов («Perpétuité de la foi» etc.).

[5] Paris Франсуа (1690—1727)—янсенистский диакон. После его смерти янсенисты распространили слух о «чудесах», творящихся на его могиле. Это вызывало такое стечение народа на кладбище, что правительство, в интересах порядка, вынуждено было прекратить туда доступ (1732).

[6] Lancelot Клод (1615—1695)—знаменитый грамматик, видный деятель Пор-Рояля. Его главные труды: «Nouvelle méthode pour apprendre la langue grecque» (1655), «Nouvelle méthode pour apprendre la langue latine» (1656), «Grammaire générale et raisonnée» (1660) etc. Последний из этих трудов есть та самая грамматика пор-рояльцев, о которой говорит Местр в первом письме, стр. 689.

[7] Le Maître de Sassit Луи-Исаак (1613—1684)—теолог и директор Пор-Рояля. Во время преследования янсенистов был арестован (1666) и заключен в Бастилию, где занялся переводом библии.

[8] «Сколько голов, столько и умов».

[9] Парагвай был в XVI веке испанской колонией. С 1698 г. сюда стали проникать иезуиты. Под видом организации миссионерской деятельности они основали здесь свое государство и постепенно добились почти полной независимости. В 1754—1758 гг. между ними и испано-португальскими войсками была война, закончившаяся их изгнанием из страны. Уваров, проповедывавший, что надо «побеждать просвещением», «покорять умы кротким духом религии», мог только сочувствовать иезуитской системе колониальной политики.

[10] Иезуиты были в первый раз изгнаны из Франции в 1594 г. после покушения Шателя на Генриха IV, которое они одобряли, как покушение на короля-еретика. Изгнание из Англии было не в 1604 г., а в 1605 г., после «Порохового заговора», т. е. попытки взорвать парламент и короля, в которой участвовали иезуиты, недовольные королем Иаковом I.

[11] «Système de la nature» («Система природы»)—произведение известного французского философа-материалиста Гольбаха. Книга эта, вышедшая в 1770 г., является одним из наиболее крупных произведений предреволюционного материализма и атеизма.

[12] Орден бенедиктинцев, возникший еще в V веке, в эпоху распада Западной Римской империи, отличался очень строгим уставом. Впоследствии обогащение монастырей во многом изменило первоначальный характер ордена. Некоторое его возрождение было в XVI веке, после Тридентского собора. Тогда возникла во Франции конгрегация св. Мавра, известная рядом трудов по истории церкви, в частности, изданием сочинений церковных писателей.

IV. ПИСЬМО ЖОЗЕФА ДЕ МЕСТРА К КН. А. Г. БЕЛОСЕЛЬСКОЙ-БЕЛОЗЕРСКОЙ

Признаков, по которым можно было бы определить адресата публикуемого письма, немного. Адресатка—княгиня, хорошая знакомая Местра, имеющая дачу на Крестовском острове. У нее есть сестра, которой Местр пишет тоже длинные и обстоятельные письма и которой, в частности, он написал подробно о своем житье в Полоцке, откуда отправлено и публикуемое письмо. Местр упоминает в нем о сыне своей корреспондентки, маленьком князе Эспере. Это упоминание и позволяет с безошибочностью установить адресата письма.

Уезжая из России, Местр написал 2/14 мая 1817 г. прощальное письмо княгине Белосельской-Белозерской. Из этого письма узнаем, что княгиня уже некоторое время жила в Москве и Местр очень сожалел об отсутствии возможности лично проститься с ней. Но, по его словам, он всегда как бы видел ее перед собой, бывая у ее сестры. Прося ее нежно обнять за него ее «дорогого Эспера» («votre cher Hesper»), он прибавлял, что подробности его отъезда из России она узнает от графа Лаваля.

Все это убеждает нас в том, что неизвестная корреспондентка Местра—княгиня Анна Григорьевна (1767—1846), вторая жена князя Александра Михайловича Белосельского-Белозерского (1752—1809), бывшего русского посла в Турине, известного мецената. От этого брака у нее был сын Эспер, впоследствии генерал-майор (1802—1846). О знакомстве с князем А. М. Белосельским-Белозерским Местр упоминает еще в одном письме, от осени 1804 г., но, сопоставляя это знакомство с другими (Кочубей, Строгановы, Чичагов, братья Толстые и др.), он называет его «менее полезным». Действительно, Белосельские-Белозерские стояли в стороне от двора и политики; очевидно, потому знакомство с ними и было «менее полезно». Тем не менее, как видно из печатаемого письма, с княгиней Местра связывала дружба. Сестра княгини, Александра Григорьевна, и муж последней, граф И. С. Лаваль, также были друзьями Местра.

Публикуемое письмо написано во время поездки Местра в Полоцк по поручению Александра I. Оно отличается живостью и остроумием и блещет той особенной светской любезностью, которая так свойственна эпистолярному стилю Местра.

А. Г. БЕЛОСЕЛЬСКАЯ-БЕЛОЗЕРСКАЯ
Портрет маслом Е. Виже-Лебрён, 1797 г.

МЕСТР—КН. А. Г. БЕЛОСЕЛЬСКОЙ-БЕЛОЗЕРСКОЙ

Полоцк, 9/21 июня 1812 г.

Княгиня,

Я сознаю здесь всю истинность слов госпожи Севинье о том, что ни один месяц не проходит без перемен. Сперва я думал, что до Полоцка они не дойдут[1], но ошибся. Май прошел хорошо, но я не поручусь за июнь, судя по тому, как он [Наполеон] принялся за дело. Как бы то ни было, княгиня, месяцы, протекшие со времени моего отъезда из столицы, показались мне очень долгими, а вы занимаете такое исключительное место среди всего, что влечет меня туда, что я не могу отказаться от удовольствия напомнить вам о себе, в ожидании возможности лично побеседовать с вами на Крестовском. Я говорю о Крестовском наугад, ибо, сказать по правде, вовсе не уверен, когда смогу приехать. Я думал, что все мои прекрасные планы осуществятся, так сказать, de plain-pié[d]. Я удивительно ошибся, ибо в то самое время, княгиня, когда я имею честь писать вам, я нахожусь в полном неведении о том, удалось ли моей жене выехать. Я получил только заверения в ее добрых намерениях, в коих, как вы и представляете себе, я нисколько не сомневался, но плоды их пребывают еще в сфере возможного. Я подробно писал обо всех этих тревогах вашей сестре и не стану повторяться. В недалеком будущем мне нужны будут ваше и ее сердца, чтобы разделить мою радость или печаль. Если в паспортах будет отказано, мое положение будет плачевно, ибо слово никогда всегда ужасно. Меня усердно обнадеживают, но я склонен ждать отказа,—быть может, по благодатной привычке, усвоенной мной лет двадцать назад,—ожидать всего худшего[2].

Здесь нет ни развлечений, ни какого-либо общества. А потому мне не остается ничего лучшего, как писать, что называется, черным по белому и бесполезно умножать тома, оставленные у вас. Однако, я сделал небольшую, стодвадцативерстную прогулку. Я съездил в Витебск представиться их королевским высочествам, правителям Белоруссии. Меня осыпали милостями, но я не смог поухаживать за герцогиней, которая из-за сильной простуды и довольно опасной болезни сына не выходила из своих покоев. Меня любезнейшим образом уговаривали продлить свое пребывание там, но ничто не могло меня удержать. Право, иной раз приходится верить предчувствиям. Я выехал из Полоцка в субботу 31 мая, а возвратился в понедельник 3-го, в два часа пополудни[3]. И представьте себе, княгиня, что ожидало меня у подъезда? Мой бедный Родольф, который прилетел за 200 верст, чтобы повидаться со мной, который мог подарить мне всего лишь два жалких дня, из коих один провел, беснуясь от нетерпения. Итак, я пробыл с ним сутки и не вполне уверен, успел ли я его обнять[4]. Еще менее я уверен в том, что такие свиданья благотворны. Я весьма сомневался в этом, когда сажал бедного юношу в телегу.

Сколько страшных мыслей нахлынуло на меня в тот миг! Так проходит жизнь, и, как сказал Шатобриан, все мы пьем из чаши горечи, в которую провидение подмешивает изредка несколько капель меда, чтобы позабавить нас.

Как бы то ни было, княгиня,—вперед, с закрытыми глазами! События вне нашей власти. Если бы для счастья необходимы были новости, я был бы в наихудшем положении, ибо до нас едва-едва дошла весть об убийстве Генриха IV. Природа тут соответствует всему остальному: в настоящее время в полоцких огородах еще не найти овощей для супа. Иной

Mad. la Princesse

J'éprouve bien ici la vérité de ce que dit Me de Sévigné qu'on ne demeure jamais au milieu d'un mois. j'ai cru d'abord qu'ils ne pourroient finir à Polock mais je me trompois. Mai s'en est fort bien allé, et je ne voudrois pas répondre de Juin à la manière dont il s'y prend. je trouve cependant ces mois bien longs, Mad. la Princesse depuis que j'ai quitté la Capitale, et vous tenez une place si distinguée parmi tout ce qui m'y rappelle que je ne puis me refuser le plaisir de me rappeler moi-même à vous, en attendant que je puisse vous parler de d'un peu plus près à Chrestoffsky. — Je dis à tout hasard à Chrestoffsky; car en vérité, je n'ai pas la moindre certitude sur l'époque de mon retour. je croyois que tous mes beaux projets s'exécuteroient pour ainsi dire de plain pié. je me suis étrangement trompé; car, dans le moment où j'ai l'honneur de vous écrire, Mad. la Princesse, j'ignore absolument si ma femme a pu partir. je n'ai que les assurances de sa bonne volonté dont vous sentez que je ne doutois guères, mais le résultat est encore dans la région des possibles. j'ai détaillé toutes ces Angoisses à Mme votre Sœur; je ne me répète point. Dans peu de temps, j'aurai grand besoin de vos deux cœurs pour partager ou ma joie ou mon affliction. Si les Passeports sont refusés, ma situation sera déplorable. car ce mot de jamais est toujours terrible. on me rassure beaucoup, mais j'incline vers la négative, peut-être par l'heureuse habitude que j'ai prise depuis vingt ans de mettre tout au pire.

Il n'y a ici aucun plaisir, ni aucune espèce de société quelconque —

c'est un de ses tics. Toujours mécontent du présent, il se lance dans l'avenir, et tel qui ne croit pas en Dieu, va consulter une sorcière — à propos de Sorcières et non de Jésuites n'avez-vous jamais remarqué, Mme la Princesse, que les femmes sont par nature je ne dis pas seulement enchanteresses (ceci est vulgaire) mais de plus Sorcières. Dans toutes les histoires de ce genre les plus authentiques, vous trouverez toujours mille sorcières pour quatre ou cinq Sorciers; il faut bien qu'il y ait dans cette espèce féminine quelque petit élément diabolique; qui devroit bien nous éloigner — cependant, personne n'a peur, et moi-même, que ne donnerois-je pas pour dîner aujourd'hui à Chrestoffsky, sans m'informer le moins du monde si je suis enchanté ou ensorcelé. Ce qu'il y a de bien sûr c'est que je ne me faisois jamais exorciser. J'embrasse l'excellent petit Prince Esper, et je me recommande au souvenir de sa Maman que j'aime et révère sans mesure. Agréez, Madame la Princesse, les sentimens qui ne doivent finir qu'avec

Votre très humble très obéiss.
Serviteur et dévoué ami Maistre

Polock 21 Juin 1812
9

Voulez-vous bien permettre Me la Princesse que je fasse ici mes complimens à Mr Spada!

АВТОГРАФ ПИСЬМА ЖОЗЕФА ДЕ МЕСТРА К БЕЛОСЕЛЬСКОЙ-БЕЛОЗЕРСКОЙ ОТ 21/9 ИЮНЯ 1812 г.
Первая и последняя страницы
Публичная библиотека, Ленинград

раз я думаю, что в Пьемонте коса уже вернулась к себе в сарай, а серп собирается выйти из него. Ах, пусть они косят и жнут! Я больше не вмешиваюсь в это. Единственное, о чем я прошу их,—это не скосить моих последних надежд. Я уверен, что не докучаю вам, говоря обо всех этих отцовских заботах; вы—мать, а потому мне нечего опасаться.

Сегодня герцог—губернатор—торжественно приезжает в Полоцк, чтобы присутствовать завтра на открытии академии, которое будет сопровождаться всеми гражданскими и духовными церемониями, какие только можно себе представить.

Говорят, на торжество соберется много польского дворянства, но я еще никого не видел[5]. Открытие этой академии—событие не малое, и философ найдет, над чем поразмыслить во время торжества. Кто бы сказал об этом Клименту XIV и всем христианнейшим, католичнейшим и благочестивейшим Бурбонам, которые вырвали у него буллу, приставив нож к горлу?[6]. В наш век опасно пророчествовать, если только не иметь верных связей с небесами. Между тем, человек всегда будет пророчествовать—это одна из его маний. Вечно недовольный настоящим, он бросается в будущее и, если не верит в бога, обращается к колдунье. Кстати, о колдуньях—не об иезуитах: не замечали ли вы, княгиня, что женщины от природы, не сказал бы чародейки (это вульгарно), а более того—колдуньи? Во всех наиболее достоверных историях такого рода вы неизменно найдете тысячу колдуний на четыре-пять колдунов. Как видно, в женской природе есть небольшая дьявольская частица, которая должна бы нас отпугивать, а между тем, ни у кого это не вызывает страха, и я сам чего бы ни дал я, чтобы пообедать сегодня на Крестовском, ничуть не заботясь о том, очарован ли я или околдован. Несомненно, однако, что я ни за что не согласился бы подвергнуться изгнанию бесов. Целую милого маленького князя Эспера и надеюсь на благосклонное внимание его матушки, которую я люблю и почитаю безмерно.

Примите, княгиня, выражение этих чувств, которые иссякнут только вместе с вашим нижайшим, покорнейшим слугой и преданным другом

Местром

Позвольте мне, княгиня, просить вас передать мое почтение г. Спада[7].

Автограф.—Публичная библиотека, Ленинград. Из рукописей, поступивших в 1936 г. (по акту № 62/4).

[1] Они—т. е., повидимому, войска Наполеона.

[2] В 1812 г. Местр ожидал прибытия в Петербург своей жены и дочерей, но этому приезду помешали военные действия.

[3] Местр выехал из Полоцка в пятницу 31 мая в 4 часа дня в сопровождении камердинера и лакея; 1 июня в $10^3/_4$ час. утра он прибыл в Витебск, остановился в Рижской гостинице. Обедал у белорусского военного губернатора, герцога Александра Вюртембергского, брата императрицы Марии Федоровны, ужинал и ночевал у иезуитов. На следующий день обедал, провел вечер и ужинал у герцога и в 12 час. ночи выехал обратно. 3 июня в 3 часа дня он уже был в Полоцке. В Витебск он ездил, по его словам, только для того, чтобы представиться герцогу (Maistre, Carnets, p. 196).

[4] Родольф де Местр прибыл в Полоцк для свидания с отцом 2 июня из Опсы, где стоял в то время его полк, и выехал обратно 4-го (ibid., p. 196).

[5] Освящение Полоцкой иезуитской академии состоялось 10/22 июня в присутствии герцога Вюртембергского (Maistre, Carnets, p. 196).

[6] Орден иезуитов был запрещен буллой папы Климента XIV в 1773 г. под влиянием настояний европейских (в частности, французского) правительств.

[7] Spada Антуан—французский эмигрант, с 1801 г. жил в России в качестве учителя в доме кн. Белосельского-Белозерского и перешел в русское подданство, в 1812 г.—почетный библиотекарь Публичной библиотеки, с 1814 г.—цензор.

V. ПИСЬМА ЖОЗЕФА ДЕ МЕСТРА К П. К. И Р. К. СУХТЕЛЕНАМ

В переписке Местра, особенно дипломатической, довольно часто встречается имя генерала Сухтелена[1]. Но эти, обычно краткие, упоминания не дают почти никакого материала для суждения о характере их отношений. Письма Местра к П. К. Сухтелену, обнаруженные в архиве последнего, хранящемся в Публичной библиотеке Ленинграда, дают возможность кратко охарактеризовать это знакомство Местра.

Предки Петра Корнилиевича Сухтелена были шведами, переселившимися в XVI в. в Голландию. Здесь он родился в 1751 г. и начал свою службу в инженерных войсках. В 1783 г. он вступил на русскую службу в чине подполковника и участвовал

П. К. СУХТЕЛЕН
Миниатюра неизвестного художника
Русский музей, Ленинград

в шведской и турецкой кампаниях. В начале царствования Александра I, будучи уже генералом, Сухтелен занимал одновременно должности члена военной коллегии, генерал-квартирмейстера и инспектора инженерного департамента. В 1807 г., в качестве генерал-квартирмейстера русской армии, вступившей в Финляндию, он руководил осадой и взятием Свеаборга. По окончании шведской войны, в 1809 г., он был назначен посланником в Стокгольм. Во время походов 1813 г. Сухтелен был снова призван в ряды армии, но по окончании борьбы с Наполеоном вернулся к своему посту в Стокгольм и оставался на нем до самой смерти в 1836 г.[2]. В 1822 г. ему было пожаловано графское достоинство.

Первые письма Местра к П. К. Сухтелену 1804—1806 гг. носят деловой характер. Они обращены к нему, как к инспектору инженерного департамента, и касаются группы пьемонтских офицеров, вступивших в русскую службу в 1804 г.

Из писем Местра, опубликованных в его «Correspondance générale», было уже известно, что в русской армии служило некоторое число сардинских офицеров, но подробности о них оставались невыясненными. Из писем Местра к Сухтелену мы узнаем, что все они были пьемонтцы и служили раньше в старой армии сардинского короля в артиллерийских и инженерных частях, пользовавшихся в свое время европейской репутацией. Во время кампании 1793 г. против Франции пьемонтская артиллерия была снабжена горными орудиями нового образца, дававшими сардинской армии неоспоримое материальное превосходство над французской.

С другой стороны, Туринская военная академия выпускала хорошо подготовленных и образованных офицеров генерального штаба. Вскоре после разгрома сардинского короля в 1796 г. Бонапарт потребовал включения сардинской армии в состав французской, действовавшей в Италии, чтобы получить в свое распоряжение хороших офицеров-специалистов и офицеров генерального штаба, достоинства которых ему были известны.

Как мы узнаем теперь из препровожденной Местром к ген. Сухтелену копии с полученной им от сардинского статс-секретаря, кавалера де Росси, депеши от 28 апреля 1804 г., Александр I, через своего посланника при сардинском дворе Лизакевича, просил короля о присылке к нему на службу нескольких офицеров его прежней армии. После опроса наиболее способных, знающих и опытных офицеров, которые по своим убеждениям и семейным делам могли отправиться в Россию, выбор остановился на пяти лицах: трех артиллеристах и двух инженерах, которые и выехали из Турина в Петербург, не договорившись предварительно о материальных условиях своего поступления на русскую службу. Местру было поручено позаботиться о них и оказать им всякое содействие. Этим хлопотам и посвящаются довольно многочисленные обращения Местра к Сухтелену за 1804 г., не увенчавшиеся, впрочем, особенным успехом, так как только через обер-гофмаршала графа Толстого Местру удалось исходатайствовать у Александра I 500 р. пособия для каждого из приехавших офицеров в возмещение их путевых расходов[3].

В письмах за 1805 г. речь идет об откомандировании одного из этих офицеров — артиллериста капитана Манфреди в распоряжение морского министра адмирала Чичагова. В 1806 г. Местр снова хлопочет за двух вновь прибывших пьемонтских артиллерийских офицеров, поступивших на русскую службу в августе 1805 г., о возмещении им расходов по переезду. Особо стоит письмо Местра к Сухтелену от 7 сентября 1813 г., где он заступается за группу принявших русское подданство пьемонтских военнопленных, что, однако, не помешало столичной полиции придираться к ним, обвиняя их в дезертирстве.

Все эти деловые письма имеют достаточно специальный интерес. Поэтому мы сочли правильным не печатать их здесь, а привести лишь их краткое содержание. Но нижеследующие четыре письма свидетельствуют о том, что между Местром и Сухтеленом существовало живое общение и на совсем иной почве.

По свидетельствам русского мемуариста, подтверждаемым и шведскими источниками, П. К. Сухтелен отличался большой ученостью и начитанностью: «...все математические науки, все отрасли литературы, философия, богословие равно были ему знакомы; в художествах был он верный и искусный судья». Библиотека его в Михайловском замке, где он жил, занимала весь тронный зал Павла I и вмещала в себе, на полках, «драгоценности, коим мог позавидовать всякий библиофил», а в громадных ящиках лежали «редкие рукописи, собрания эстампов и медалей»[4]. И Местр, страстно любивший книги, обильно черпал из этого источника для своих занятий и сам, в свою очередь, как это видно из публикуемых писем, содействовал обогащению замечательной библиотеки Сухтелена, перешедшей после его смерти вместе со всем собранием рукописей в Публичную библиотеку в Ленинграде.

Два публикуемых письма от 11/23 мая 1812 г. и от 5/17 января 1816 г. адресованы не к П. К. Сухтелену, а к его брату, Руфу Корнилиевичу. Последний вступил в русскую службу (в министерство иностранных дел) только около 1805 г. и был сразу причислен к посольству Головина, отправлявшемуся в Китай. По возвращении Р. К. Сухтелен перешел на службу в Императорскую библиотеку, где занимался «описанием книг, напечатанных в XV столетии». С образованием в 1812 г. Публичной библиотеки Сухтелен перешел туда, но скоро уехал к брату в Стокгольм, откуда прислал просьбу об отставке[5].

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] См., напр., Blanc, Mémoires politiques et corresp. diplom. de J. de Maistre, pp. 196 et 255; Corresp. dipl. de J. de Maistre, 1811—1817, I, pp. 60 et 77—78.

[2] См. биографию П. К. Сухтелена в «Рус. Биографич. Словаре», том «Суворов — Ткачев», стр. 211—212.

[3] Maistre, Oeuvres, т. IX, p. 316. В архиве Сухтелена имеются препровожденная Местром депеша сардинского министра иностранных дел Росси от 28 апреля 1804 г. и письма Местра за 1804 г.: от 14/26 июля (с приложением специальной записки о пьемонтцах), 29 июля (10 августа) и 13/25 августа.

[4] «Записки Вигеля», изд. «Русского Архива», II, стр. 43—44, и «Русская Старина», 1903, № 8, стр. 472—473.

[5] «Имп. Публичная библиотека за сто лет. 1814—1914», СПБ. 1914, стр. 30. См. также «Записки Вигеля», II, стр. 113—114; IV, стр. 142—143.

МЕСТР—П. К. СУХТЕЛЕНУ

Среда, 21 февраля[1] / 4 марта

Честь имею препроводить вам, генерал, знаменитую надпись из Розетты[2], которую дела до сих пор не позволили мне расшифровать, и египетскую урну из Велитри, быть может, самую прекрасную из вещей этого рода после стэлы культа Изиды[3].

Посылаю вам также маленькую диссертацию о. Фабриси о финикийской медали (она изображена в конце 1-го тома)[4]. Это ворох разных вещей, из которого можно кое-что извлечь. Автор писал currente calamo[5], и, что занятно,—умер, не написав заглавия к своему труду.

Прошу вас приобщить эту книгу к своей библиотеке, где она будет более к месту, чем в моей.

Имею честь уверить вас в моем уважении.

Граф де Местр

Адрес: Милостивому государю г-ну генералу Сухтелену,
кавалеру многих орденов и пр.
Михайловский дворец

Автограф.—Публичная библиотека, Ленинград. Собрание автографов № 316, картон 36.

[1] Установить год написания этого письма не удалось.

[2] Знаменитая надпись на гранитном камне, найденная французами в 1799 г. в Нижнем Египте, в Розетте, во время египетского похода Бонапарта. Надпись сделана на трех языках (иероглифы, вульгарно-египетский и греческий) и дала знаменитому французскому египтологу Шамполиону (1791—1832) ключ к иероглифам.

[3] Древний памятник, найденный в 1525 г. в Риме. На стэле помещены изображения Изиды и ее мистерий и другие египетские религиозные церемонии.

[4] Фабриси Габриэль (1725—1800)—французский археолог, доминиканец, в 1803 г. в Риме вышел его посмертный труд «De phoeniciae litteraturae fontibus» (2 тома).

[5] Currente calamo—второпях.

МЕСТР—П. К. СУХТЕЛЕНУ

Пятница, 17-го[1]

Не разделяя сегодняшнего скоромного режима генерала[2], я не буду иметь удовольствия обедать с ним; тем не менее, я не хочу, чтобы казалось, что

я забыл о двух надписях, которые он любезно прислал мне от имени г-на Лонэ. Имею честь препроводить, поэтому, прилагаемую при сем небольшую записку об этих надписях, составленную наспех и, как говорится, по памяти. Прошу принять уверение в моем глубоком уважении.

Местр

Автограф.—Публичная библиотека, Ленинград. Собрание автографов № 315, картон 36.

[1] Установить дату этого письма не удалось.

[2] Режим—пятница, постный день.

МЕСТР—Р. К. СУХТЕЛЕНУ

Полоцк, Белоруссия, 11/23 мая 1812 г.

Милостивый государь,

Собираясь покинуть Петербург, может быть, на два или на три месяца, я отложил несколько книг, принадлежащих моим друзьям, и распорядился вернуть их по принадлежности. Пиндар на греческом и на латинском языках[1], принадлежащий вашему брату, был в их числе; но по рассеянности, неизбежной при отъезде, мое приказание относительно этой книги не было выполнено. Не желая быть как бы виноватым перед вами, я ставлю себе в обязанность уведомить вас, что все произошло по рассеянности и что книга находится в полной сохранности. Это издание «Benedictus» in 4°.

Прошу вас передать мое почтение любезной библиотекарше, которая служит с таким рвением, хотя и без всякого вознаграждения. Не откажите также передать мой привет е. п. брату вашему, когда вы будете ему писать.

Имею честь быть с глубоким уважением, милостивый государь, ваш всенижайший и всепокорнейший слуга

Граф де Местр

Адрес: Милостивому государю
господину статскому советнику ван Сухтелену,
Михайловский дворец,
С.-Петербург.

Автограф.—Публичная библиотека, Ленинград. Собр. автографов № 316, картон 36.

[1] Пиндар—знаменитый лирический поэт древней Греции (522—448 г. до н. э.)

МЕСТР—Р. К. СУХТЕЛЕНУ

С.-Петербург, Моховая, 54, 17/29 января 1816 г.[1]

Милостивый государь,

Я припоминаю, что видел в библиотеке е. п. генерала вашего брата прекрасное издание истории Англии Юма[2] с рисунками; мне нужно было бы узнать число томов, место и дату издания, а также имя типографа; не будете ли вы так добры сообщить мне эти сведения? Я буду бесконечно вам благодарен.

Спешу воспользоваться случаем, милостивый государь, чтобы напомнить вам о себе и повторить уверения в отменном уважении, с которым честь имею быть вашим всенижайшим и всепокорнейшим слугою

Граф де Местр

Автограф.—Публичная библиотека, Ленинград. Собрание автографов № 315, картон 36.

[1] Это письмо написано в Стокгольм, где в это время жили оба брата Сухтелены.

[2] Юм Дэвид (1711—1776)—английский философ, экономист и историк. Его «History of England» появилась в свет в период с 1754 по 1761 гг., всего вышло 4 тома.

ПРИЛОЖЕНИЯ

I. ПИСЬМО ЖОЗЕФА ДЕ МЕСТРА К НЕИЗВЕСТНОМУ

Жозеф де Местр имел земли во Франции, так как его мать принадлежала к дворянской семье из Бюже. Эта область входила в состав владений герцога Савойского до 1601 г., когда, по Лионскому договору, она отошла к Франции. Тогда как дед Местра служил в магистратуре при Савойском сенате, один из братьев деда остался в Бюже после присоединения его к Франции. Он был приходским священником в Талисье и в 1777 г. завещал свое имущество Ж. де Местру.

Позднее, в годы революции (12 нивоза III года—10 января 1795 г.), земли Местра в Талисье и в соседних коммунах были проданы с аукциона, как имущество эмигранта. Бюже был тогда дистриктом департамента Эн.

Печатаемое ниже письмо Местра к неизвестному от 1786 г., хранящееся в числе рукописей Публичной библиотеки в Ленинграде, интересно прежде всего тем, что рисует перед нами Местра-феодала, землевладельца предреволюционной Франции, энергично отстаивающего свои права на освобождение от тех налогов, платежу которых формально были подвержены и дворяне, но от которых практически им обычно удавалось освободиться. Письмо выявляет одну из основных черт характера Местра. Он был, что называется, хозяином своего добра и ненавидел в деловых отношениях всякую неопределенность. Он всегда желал точно знать, сколько он должен, и питал отвращение к долгам, чем, несомненно, выделялся из дворянской среды той эпохи.

Шамбери, 22 августа [н. ст.] [17]86 г.

Я получил, сударь[1], с величайшим удовлетворением ваше длинное письмо от 17-го.

Я очень огорчен, однако, что из-за меня вам пришлось потрудиться над этим in folio, но, зная вашу обязательность, я воздерживаюсь от извинений. Я сто раз слышал в Бюже о г-не Д ю г л а; но такое искаженное произношение фамилии обмануло меня настолько, что, когда он появился в прошении (placet) под английской фамилией Дугласа, я совсем не узнал его. Он просил у короля Сардинии орден св. Маврикия, и мне, в качестве землевладельца в Бюже, было поручено навести о нем справки. Мне ни в каком случае не хотелось бы дать неверные сведения, и я в восторге, что все то, что вы мне о нем сообщили, не может помешать его желаниям. Я прошу вас никому не рассказывать обо всем этом.

Мне нечего говорить вам, как я был восхищен счастливым исходом моего дела о vingtièmes. Я начал очень на это надеяться с тех пор, как, по полученным мною известиям из Парижа, узнал, что указы последовали. Не смогли ли бы вы мне сказать, почему мне возвращают vingtièmes и поголовную подать[2] только за 1785—1786 гг.? Я уплатил их с 1781 г. и просил о возмещении их полностью за все время; нет никакого основания удовлетворить мою просьбу относительно двух последних лет скорее, чем в отношении предыдущих. Король Франции так мало нуждается в сумме около трехсот ливров, которую дало бы мне полное возмещение, что я не имею ни малейшего желания уступить их ему без всякого основания. Госпожа д'Анжевиль[3] советует мне писать прямо в Дижон[4]; но я не очень-то себе представляю, какое значение может иметь одно прошение, без поддержки на месте. Я хотел бы подписать расписки с оговоркой: без ущерба праву за прошлые годы; но, по зрелом размышлении, не хотел уклониться от лаконической формулы, которую вы предписали, и не указал даже Шамбери, что, на мой взгляд, было почти необходимо. Если бы вы смогли найти разгадку, почему мне ограничили возмещение, я был бы вам очень признателен за сообщение.

Что касается регистрации[5], необходимой для получения обратно талии[6], то поступайте, как найдете нужным. Мне кажется, что одного документа, по которому я освобождаюсь от vingtièmes, будет достаточно для судебного присутствия (cour d'élection)[7], если представить этот документ при регистрации; вы можете выбрать любой из оставленных мной. Я думаю, что достаточно представить какой-нибудь один;

представление остальных создало бы только путаницу в списках. Так как отзыву монарха о достоинстве подданного можно вполне доверять, то патент на первую должность, которую я получил в 1774 г.[8], еще до того, как мой отец был возведен в графское достоинство[9], думается мне, совершенно достаточен для этого, но, как я уже говорил вам, поступайте по своему усмотрению.

На необходимые расходы употребите деньги, которые поступят к вам для меня, но будьте добры сообщить мне, если их нехватит. Что же касается моих должников, то я сплю спокойно. Мои поверенные сделают то, что вы им скажете. Когда вы используете надлежащим образом документы, которые я вам передал, заделайте их, прошу вас, в пакет и, тщательно перевязав, отправьте к маркизу Иенну[10], когда представится вполне верная оказия, приняв во внимание, что это оригиналы, которые мне очень нежелательно утратить.

Толстая мамаша Шане[11], которая время от времени заставляет меня есть скверные рагу, поручила мне наблюдение за делом одного из ее родственников, рассматриваемым в Савойском сенате[12]. Будьте добры, передайте ей прилагаемую записку, которую доставил мне поверенный. Этот родственник ходатайствует о приведении в исполнение в Савойе приговора, вынесенного Лионским коммерческим судом. Предполагаемый должник отрицает долг; без выписки из баланса или свидетельства, о котором говорится в записке, сенат наверно вынесет частное определение (interloquera)[13], и, таким образом, дело протеже полногрудой дамы отложится до тех же календ, о которых говорите вы[14].

Не любезность, уверяю вас, заставляет меня сказать, как огорчен я тем, что в этом году не смогу побывать в Бюже[15]; мне, конечно, будет очень досадно не повидаться с вами. Вся моя семья шлет вам сто тысяч приветов; передайте от меня то же самое вашей семье и верьте, что я остаюсь на всю жизнь с чувством глубочайшего уважения и привязанности ваш всенижайший и всепокорнейший слуга

Местр

Автограф.—Публичная библиотека, Ленинград.

[1] Текст письма не позволяет установить личность адресата. Мы знаем, что Местр состоял в постоянной переписке со многими родственниками и друзьями из Бюже. В частности, он переписывался с заместителем бальи города Белле. См. F. Descotes, J. de Maistre avant la Révolution, 2 vol., Chambery, 1890; его же брошюру— Necker écrivain et financier, Chambery, 1896.

[2] Vingtièmes—или пятипроцентный поземельный сбор-налог в дореволюционной Франции, введенный в 1749 г. при Людовике XV генеральным контролером финансов Machault d'Arnouville; capitation—поголовная подать, от которой формально были освобождены только бедняки.

[3] d'Angeville—фамилия савойских землевладельцев, имевших также земли в Бюже. См. Armorial de Savoie, v. I.

[4] Т. е. в Дижонский парламент, верховный суд, распространявший свою юрисдикцию на Бургундию, кроме Оксерры, Бресс, Бюже и Домб.

[5] Регистрация сводилась к внесению в реестр приказа о возвращении взысканного налога.

[6] Taille—талья, налог, которым облагалось как земельное имущество, так и личность плательщика. С XV века талья взималась только в пользу короля. Дворянство и духовенство были освобождены от этого налога, но не вполне.

[7] Cour d'élection—суд, ведавший разбором претензий привилегированных, освобожденных от платежа тальи. На решения этого присутствия апеллировали в Cour des aides, где рассматривались дела по всем налоговым жалобам. Балле был в Бургундии одним из четырех городов, где имелась эта судейская инстанция.

[8] В 1774 г. (6 декабря) Местр был назначен на должность substitut surnuméraire de l'avocat fiscal при Савойском сенате, т. е. сверхштатным помощником прокурора по налоговым делам.

[9] Графский титул был пожалован отцу Местра 8 сентября 1778 г.

[10] Marquis d'Yenne—один из наиболее богатых представителей савойского дворянства; см. F. Vermale, Les classes rurales en Savoie en XVIII siècle, P., 1910.

Chambéri 22 aout 86

J'ai reçu avec la plus grande satisfaction, Monsieur, votre longue lettre du 17
tout mon chagrin est de vous donner la peine de me faire ces in-folio. mais
votre caractère obligeant me défend les excuses. — j'avois oui parler
cent fois en Bugey de M. Duglas; mais la prononciation m'a trompé au
point que lorsqu'il a paru dans un Placet sous le nom Anglois de Douglas
je ne l'ai plus reconnu. il a demandé au Roi de Sardaigne l'ordre de
St Maurice, & comme tenant au Bugey j'ai été chargé de prendre des
informations sur sa personne. je n'aurois pas voulu pour tout au monde
donner de faux renseignemens & je suis enchanté que rien de ce que vous
m'avez mandé ne puisse contrarier ses intentions. Je vous prie de ne jamais
parler de tout ceci. —

Je n'ai pas besoin de vous dire combien j'ai été charmé de l'heureuse issue
de mon affaire des 20mes; je commençois à en bien espérer quand les ordonnances
sont arrivées eu égard aux nouvelles qu'il avoit reçues de Paris; mais ne
sauriez-vous point me dire, Monsieur, pourquoi on ne me fait restituer que
les 20mes & la Capitation des années 1785—86? je les ai payées depuis
1781, & j'en ai demandé la restitution depuis ce moment: il n'y a
aucune raison de me les adjuger pour les deux dernières années plutôt
que pour les précédentes. le Roi de France a si peu besoin de 300# environ
que me produiroit la restitution complette, que je n'ai nulle envie de les

Toute ma famille vous fait cent-mille complimens; acquitez-moi,
je vous prie, auprès de la vôtre & croyez-moi pour la vie avec
les sentimens les plus vifs d'estime & d'attachement.

Votre très-humble & très-
obéisst Servit: Maistre

АВТОГРАФ ПИСЬМА ЖОЗЕФА ДЕ МЕСТРА К НЕИЗВЕСТНОМУ ОТ 22 АВГУСТА 1786 г.
Первая и последняя страницы
Публичная библиотека, Ленинград

[11] Хозяйка гостиницы в Талисье.
[12] Местр был сделан сенатором только 13 июня 1788, см. F. Vermale, Joseph de Maistre émigré, I vol., Chambery, 1927, p. 25.
[13] Устаревший юридический термин, обозначавший предварительное решение, принимаемое судом до представления каких-либо дополнительных сведений. В данном случае это означало, что сенат отложит дело до проверки долгового обязательства.
[14] Т. е. до бесконечности.
[15] Так как Местр собирался жениться во время судебных вакаций 1786 г.

II. ПИСЬМО ГРАФА Д'АВАРЭ К ЖОЗЕФУ ДЕ МЕСТРУ

Публикуемое письмо, сообщенное редакции «Литературного Наследства» во французской копии г. Руэ де Журнелем, директором Bibliothèque Slave в Париже, пополняет известные до сих пор материалы о сношениях Местра с политическим центром французской эмиграции.

Граф д'Аварэ, состоявший при претенденте на французский престол, графе Прованском, был «фаворитом принца и наиболее влиятельным членом его совета»[1]. Уже в 1794 г., когда гр. Прованский в качестве дяди «Людовика XVII» еще именовал себя регентом, граф д'Аварэ руководил политическими делами этого своеобразного двора. Он сохранил свое влияние и тогда, когда в 1795 г., после смерти своего племянника, гр. Прованский возвестил миру о своем вступлении на престол под именем Людовика XVIII.

Д'Аварэ был одним из самых непреклонных сторонников старого режима. Когда постепенно ряды эмиграции начали редеть, когда ее левые, буржуазные круги стали возвращаться в Париж и обнаруживали готовность к сближению с республикой, возникла необходимость сплотить ряды оставшихся, и в этих условиях особенно важно было использовать каждого талантливого единомышленника, что и пытался сделать д'Аварэ.

Выступление Местра с его «Considérations sur la France», направленное именно против этой отхлынувшей буржуазной части эмигрантов, произвело большое впечатление на дворянскую эмиграцию. Тогда и была сделана первая попытка со стороны ее политического центра завязать сношения с Местром. Они открылись письмом д'Аварэ от 30 июля 1797 г., на которое Местр отвечал 30 августа. В этом письме он просил передать Людовику XVIII, что нет человека, более его преданного интересам претендента, что он любит его, как любят симметрию, порядок, здоровье, и считает его счастье необходимым для Европы. Он предлагал свои услуги главе эмиграции. Но ответное письмо д'Аварэ от 28 сентября, содержавшее в себе предложение денег от имени Людовика XVIII, было перехвачено французским главным штабом и опубликовано Директорией в качестве одного из доказательств существования роялистского заговора. Для Местра это имело последствием ряд неприятностей, так как он, до некоторой степени, скомпрометировал сардинское правительство, находившееся тогда в мире с Французской республикой. 12 ноября 1797 г. Местр писал д'Аварэ: «Я вызвал недовольство, большое недовольство, и получил этому горькое доказательство, так как большая милость, накануне получения которой я был, отменена». Наконец, в письме от 10 февраля 1798 г., Местр просил своего корреспондента быть возможно осторожнее. После этого переписка прекратилась[2].

Весной 1803 г., перед отъездом в Петербург, Местр встретился в Риме с д'Аварэ, который уверил его от имени своего короля, что последний считает Местра верным защитником дела королей и его собственного[3].

В 1804 г. в Петербурге Местр поддерживал самые дружественные отношения с жившим там роялистским агентом гр. Блакасом, но непосредственных связей с эмигрантским центром не имел. Между тем, это был очень острый период для последнего. Расстрел 21 марта герцога Энгиенского, протест против этого России и провозглашение Наполеоном империи пробудили политическую активность этого центра. Он выступил с протестом против «узурпации Бонапарта». Позиция России внушала надежды. 25 июня в письме к Александру I из Варшавы Людовик XVIII извещал о своем намерении ехать через Россию в Швецию и созвать там совещание своих родственников для принятия манифеста к французскому народу[4]. В тот же день Людовик XVIII написал к Местру письмо[5], а следующим днем, 26 июня, датировано печатаемое ныне письмо д'Аварэ.

Отмечая заслуги автора «Considérations sur la France» перед роялизмом и рассыпаясь в похвалах его талантам и знаниям, д'Аварэ просит его высказать свое мнение

о проекте манифеста, посылавшегося на отзыв Местру. Настаивая в манифесте на своих правах, Людовик XVIII обещал французам общую амнистию, сохранение должностей чиновникам и офицерам, наконец, сохранение собственности владельцам национальных имуществ, но о политическом строе будущей реставрированной монархии там не было ничего.

Местр, как гибкий и тонкий политик, не одобрил этого. В письме к д'Аварэ от 21 сентября (3 октября) он настаивал на том, что, прежде всего, пункт о национальных имуществах должен быть сформулирован яснее, потому что он может быть использован, как наиболее опасное оружие против короля, и потому что «ни один рассудительный человек не может в настоящий момент мечтать о возможности возвращения этих имуществ прежним владельцам». С другой стороны, полагая, что враги могут использовать сквозящее в манифесте решительное отрицание народного представительства, Местр предлагал сказать: «Ни один достойный человек не будет лишен своего положения; мы не произведем в административном строе, в организации или распределении должностей других изменений, кроме тех, которые мы признаем необходимыми совместно с нашим народом или в согласии с общественным мнением, к которому мы будем обращаться». Находя, что эта фраза достаточно ясна, чтобы быть понятой, как обещание, и достаточно неопределенна, чтобы связывать короля реальными обязательствами, Местр в своем письме успокоительно прибавил: «Впрочем, все эти формулы не имеют большого значения. Король всегда властен и в достаточной мере властен»[6]. В письме к самому Людовику Местр выражал свою скорбь по поводу того, что приходится итти на уступки в вопросе о национальных имуществах и «санкционировать такой разбой»[7].

Сношения были установлены, и Местр стал «секретным агентом Людовика XVIII»[8]. Но дружба с д'Аварэ оказалась непрочной, и Местр вскоре пришел к отрицательным выводам относительно его политических способностей.

Тем не менее, переписка продолжалась, а когда после Тильзита Блакас покинул Петербург, последовал за Людовиком XVIII в Англию и здесь заменил серьезно заболевшего д'Аварэ в заведывании политической корреспонденцией претендента, Местр стал поддерживать с ним деятельную переписку, проявляя себя всегда усердным агентом Бурбонов в России[9].

ГРАФ Д'АВАРЭ—МЕСТРУ

Варшава, 26 июня [н. ст.] 1804 г.

Граф,

Уважение, основанное на полном согласии принципов, чувств и, скажу, преданности нашим государям, уже много лет тому назад подготовило и создало дружбу, которую я впоследствии мог принести, как дань вашим личным качествам. Вот к этой дружбе, обещанной вами и так хорошо оцененной мной, и обращается теперь король, мой повелитель в один из самых серьезных моментов своей несчастной судьбы, чтобы просить ваше усердие и ваш просвещенный ум автора «Considérations sur la France» поделиться своими идеями (употребляю точные выражения письма, которое король поручает мне послать вам). Вы должны уже знать, что король обратился ко всем монархам с протестом против открытой узурпации Корсиканца. Ваша душа, и ваш ум, должны подсказать вам, что он не остановится на этом и что в намерении е. в. было воспользоваться, по приезде в Россию, возможностью более свободно окружить себя просвещенными людьми и вескими авторитетами, чтобы затем обратиться с воззванием к своему народу[10]. Цель как письма короля, так и того, которое он поручает мне написать вам, доставляя этим удовольствие моему сердцу, заключается в том, чтобы осветить его труд вашими мыслями, соображениями и размышлениями по поводу этого великого и наиболее торжественного акта, какой только добродетель и честь могут противопоставить узурпации, преступлению и бесчестию. Откликнитесь, умоляю вас, граф, с полным доверием на ожидания государя, преисполненного к вам уважения, короля, представляющего миру зрелище, которое Платон считает достойным внимания богов,—брата, друга вашего монарха, дело которого одновременно и его собственное.

Вы передадите герцогу де Серра-Каприола[11] то, что вы сочтете нужным мне ответить, и если вы того пожелаете, все останется в абсолютной тайне между нами. Чем скорее вы ответите, тем лучше, но достаточно, если король получит через шесть недель просвещенные советы, которых он ждет от вашей преданности его делу и его особе...

Граф д'Аварэ

На подлиннике собственноручная пометка Местра:

Получено в Мурзинке, около Петербурга, в понедельник 27 июня (9 июля).

Подлинник хранится в семейном архиве графов Местр, во Франции.—Текст сообщил M. Rouët de Journel.

[1] E. Daudet, Histoire de l'émigration pendant la Révolution française, т. I, P., 1905, pp. 261—262.

[2] E. Daudet, Joseph de Maistre et Blacas, P., 1908, pp. 4—47. Письмо д'Аварэ от 28 сентября 1797 г. перепечатано в «Carnets», pp. 230—231.

[3] Ibid., p. 48.

[4] E. Daudet, Les Bourbons et la Russie pendant la Révolution française, s. a. Pièces justificatives, pp. 374—375.

[5] Письмо Людовика XVIII—см. Maistre, Oeuvres, t. XIV, p. 296. Местр ответил 28 июня (10 июля) 1804 г. (ibid., p. 297). Он писал кратко, что «брат, друг, товарищ по оружию» его короля имеет все права располагать его услугами, но что возложенная на него задача чрезвычайно трудна, тем не менее, он постарается ее исполнить.

[6] Maistre, Oeuvres, IX, pp. 230—231.

[7] Ibid., p. 268.

[8] F. Vermale, Joseph de Maistre émigré, chap. I.

[9] Эта переписка напечатана в книге E. Daudet, Joseph de Maistre et Blacas, P., 1908.

[10] Людовик XVIII первоначально хотел устроить в России свидание со своими родственниками для обсуждения своего воззвания к французскому народу и лишь вследствие протеста Александра I избрал Швецию. См. E. Daudet, Les Bourbons et la Russie, p. 269 et suiv.

[11] Неаполитанскому послу при русском дворе.

ЦАРСКАЯ РОССИЯ И ИЮЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1830 г.

Статья А. Молока

Июльская революция 1830 г. произвела огромное впечатление далеко за пределами Франции. «Первое же известие о революционных событиях в Париже подействовало здесь, как электрический удар»,—писал 20 августа 1830 г. брюссельский корреспондент одной немецкой консервативной газеты, добавляя, что эта революция угрожает «всем тронам» и вызывает поэтому одобрение оппозиционных элементов Нидерландского королевства, «английских радикалов, а также всех недовольных в Италии, Испании и Германии»[1]. Международное значение июльских событий хорошо определила и одна английская либеральная газета («Эдинбургское Обозрение»), заявившая, что дело свободы в Англии «одержало победу на поле битвы в Париже». Отмечая участие в этой битве ряда иностранных революционеров, один современник-француз писал: «Я думаю, что все народы Европы были представлены в этой победе, столь же европейской, как и французской»[2].

Победа, одержанная буржуазным либерализмом над дворянской и клерикальной реакцией во Франции, нанесла сильный удар зданию европейской контрреволюции, всей системе Священного союза, в основе которой лежали принципы легитимизма и господства феодальной аристократии. Ведь свергнутый французский король Карл X был, по меткому определению одной современной парижской демократической газеты, никем иным, как «вице-королем [наместником] Священного союза»[3].

Вместе с реакционной системой Священного союза под ударом оказалась теперь и политическая карта Европы, скроенная реакционными венскими трактатами 1815 г.

Вслед за революцией 1830 г. во Франции и, конечно, не без влияния этого события новый подъем революционного движения обозначился и в других частях Европы. Поднялись на борьбу за свою независимость народы, закабаленные «великими державами» и их союзниками. Возобновили или усилили борьбу за политическую свободу и конституционные реформы демократы и либералы ряда стран, изнемогавших под гнетом абсолютизма, и ряда стран, управлявшихся на основе аристократической конституции. Все эти движения носили тот же классовый характер, что и Июльская революция,—все они протекали под руководством либеральной буржуазии и направлены были на создание буржуазных, в своей основе, порядков. 25 августа 1830 г.—менее, чем через месяц, после революции во Франции—в Брюсселе вспыхнула давно назревавшая революция, и началась борьба, закончившаяся отделением Бельгии от Голландии и образованием независимого Бельгийского королевства. 29 ноября того же года разгорелось восстание в Варшаве, и началась новая борьба за осво-

бождение поляков от гнета царской России. В сентябре 1830 г. произошли революционные восстания в Брауншвейге, Саксонии, Гессене, и имели место волнения в ряде других государств Германского союза, направленные на борьбу за либеральную конституцию, отмену феодальных отношений и национальное воссоединение. Следующий, 1831, год принес с собою восстания в ряде государств Италии (в герцогствах Модена и Парма, в подчиненной папе Романье), подавленные почти сразу же военной интервенцией Австрии. В том же году в Швейцарии усилилось движение за пересмотр, в сторону демократизации, конституций отдельных кантонов и конституции всего союза. В Англии все выше и выше поднималась борьба за реформу аристократической избирательной и парламентской системы, закончившаяся умеренно-либеральной реформой 7 июня 1832 г., проведение которой ускорено было французскими событиями. Эти события придали новый импульс и борьбе испанских конституционалистов, и движению венгерских и ирландских националистов.

Происшедшее в 1830 г. утверждение политического господства буржуазии во Франции не могло не укрепить и действительно укрепило позицию буржуазии и в ряде других стран, где у власти все еще стояло землевладельческое дворянство—феодальное в большей части Германии, обуржуазившееся в Англии и, отчасти, в Италии.

Если внешняя политика нового французского правительства, правительства Июльской монархии, жестоко обманула ожидания всей либеральной и демократической Европы, то иными были роль и позиция французской демократии. Июльская революция снова сделала эту последнюю ведущей силой исторического развития, снова поставила Париж—не Париж банкиров и новых царедворцев, а демократический, республиканский, плебейский, рабочий Париж—во главе международной армии прогресса. Народные кварталы французской столицы опять, как и в 1789—1794 гг., стали центром притяжения борцов за свободу во всех странах и в то же время объектом злобной ненависти реакционеров всего мира[4].

I

С особенной ненавистью Июльская революция встречена была, понятно, правительством и правящими классами царской России, этого «жандарма Европы» и главной опоры Священного союза. Совершенно противоположным было отношение к этим событиям передовых слоев русского общества того времени. Но, пожалуй, нигде сочувственные Июльской революции голоса не звучали так робко, так глухо, как в Российской империи. Со времени разгрома движения декабристов чудовищный гнет феодально-абсолютистского и полицейско-бюрократического режима, казалось, надолго придавил здесь всякий протест, всякую оппозицию, всякое проявление свободомыслия. Значит ли это, что в николаевской России не было людей, которые сочувствовали бы новой революции во Франции? Они были, но высказывались с величайшей осторожностью или не высказывались вовсе. «Франции удалось оттолкнуть от себя руку, готовившуюся сковать ее цепями. В три дня в ней остались одни развалины от безумного деспотизма, который стремился в ней водворить Карл X»,—заносил 5 сентября 1830 г. в свой дневник молодой профессор Московского университета А. В. Никитенко, умеренный либерал, а вскоре крайний реакционер и цензор. «Что у нас говорят о сих событиях?»,—спрашивал он, с удовлетворением отмечая отголоски французских событий в других

странах (революцию в Бельгии, волнения в Испании и Португалии), и отвечал: «У нас—боятся думать вслух, но очевидно, что про себя думают много»[5].

Что настроение широких слоев русского общества было безусловно враждебно свергнутой в июльские дни династии, это не подлежит сомнению, это вынуждены были признать и представители господствующих классов. «Начиная с людей самых незначительных, от поденщика до людей самых выдающихся, все у нас находят Карла X виновным, это—установившееся мнение»,—говорил председатель Государственного совета, граф В. П. Кочубей, императору Николаю I 14 августа 1830 г. Кочубей добавлял, что бывший французский король своими действиями (изданием ордонансов 26 июля, нарушивших конституционную хартию 1814 г.) «не только вызвал революцию, гибельную для своей династии», но вызвал «осуждение всех европейских наций», и что «при таком положении вещей» ни о каких мероприятиях в пользу Бурбонов со стороны России не может быть и речи[6].

О том, какое сильное впечатление Июльская революция произвела на передовые слои тогдашнего русского общества, свидетельствуют показания целого ряда представителей русской либеральной и демократической интеллигенции. «Воздух освежел, все проснулись, даже и казенные студенты! Да и как еще проснулись!»—вспоминал об этом периоде В. С. Печерин, тогда вольнолюбивый студент Петербургского университета, впоследствии ревностный католик: «Словно дух святой снизошел на них! Начали говорить каким-то новым, дотоле неслыханным языком: о свободе, о правах человека, и пр., и пр. Да чего уж тут ни говорили! Даже Николаю приписывали либеральные стремления! Рассказывали, что, когда пришло известие о падении Карла X, государь позвал наследника и сказал ему: «Вот тебе, мой сын, урок! Ты видишь теперь, как наказываются цари, нарушающие свою присягу». И мы этому добродушно верили. Sancta simplicitas! [Святая простота!] С тех пор я более уже не засыпал»[7].

Революция 1830 г. во Франции и вспыхнувшее вслед за тем польское восстание нашли, как рассказывает в своих воспоминаниях А. И. Герцен, живой отклик и в стенах Московского университета. «Славное было время, события неслись быстро,—писал он потом об этих годах.—Какое-то горячее, революционное дуновение началось в прениях, в литературе... Мы следили шаг за шагом за каждым словом, за каждым событием, за смелыми вопросами и резкими ответами; мы не только подробно знали, но горячо любили всех тогдашних деятелей, разумеется радикальных, и хранили у себя их портреты... Средь этого разгара вдруг, как бомба, разорвавшаяся возле, оглушила нас весть о варшавском восстании. Это уже не далеко, это—дома, и мы смотрели друг на друга со слезами на глазах, повторяя любимое: «Nein! Es sind keine leere Traüme» [«Нет, это уже не пустые мечты»]. «Что мы собственно проповедывали, трудно сказать,—добавляет Герцен.—Идеи были смутны: мы проповедывали французскую революцию, потом проповедывали сен-симонизм и ту же революцию, мы проповедывали конституцию и республику. Чтение политических книг и сосредоточение сил в одном обществе. Но пуще всего проповедывали ненависть ко всякому насилию, ко всякому произволу»[8].

Аресты и ссылка положили вскоре конец пропаганде, которую вели окрыленные революционными событиями 1830 г. студенты Московского университета во главе с Герценом и его другом Огаревым.

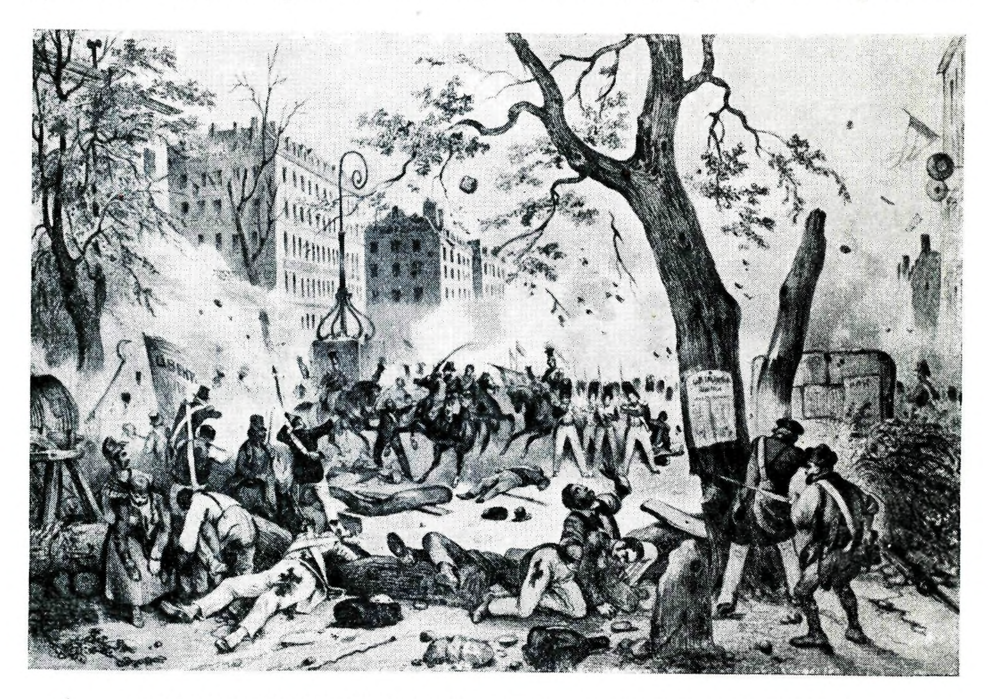
Не остались равнодушными к тому, что произошло во Франции, и умеренно-либеральные круги тогдашнего русского общества. Глазами этих кругов смотрел на французские события А. С. Пушкин. По свидетельству близко его знавших людей, гениальный поэт горячо переживал эти события и открыто радовался им. Родственник его лицейского товарища и друга, писателя барона Дельвига, рассказывает в своих воспоминаниях: «Лето 1830 г. Дельвиги жили на берегу Невы, у самого Крестовского перевоза. У них было постоянно много посетителей. Французская июльская революция тогда всех занимала, а так как о ней ничего не печатали, то единственным средством узнать что-либо было посещение знати. Пушкин, большой охотник до этих посещений, но постоянно от них удерживаемый Дельвигом, которого он во многом слушался, получил по вышеозначенной причине дозволение посещать знать хотя ежедневно и привозить вести о ходе дел в Париже. Нечего и говорить, что Пушкин пользовался этим дозволением и был постоянно весел, как говорят, в своей тарелке. Посетивши те дома, где могли знать о ходе означенных дел, он почти каждый день бывал у Дельвигов, у которых проводил по нескольку часов»[9].

18 августа 1830 г. П. А. Вяземский заносил в свою записную книжку: «У меня были два спора прежарких с Ж[уковским] и П[ушкиным]. С первым—за Бордо [герцога Бордосского, внука Карла X] и Орлеанского [герцога Орлеанского]. Он говорил, что должно непременно избрать Бордо королем и что он верно избран и будет. Я возражал, что именно не должно и не будет. Si un dîner rechauffé ne valut jamais rien, une dynastie rechauffée vaut encore moins [«Если разогретый обед ничего не стòит, то разогретая династия стòит и того меньше»]. В письме Карамзиным объяснял я и расплодил эту мысль. С Пушкиным спорили мы о П е р о н е [Пейронне́, бывшем министре Карла X]. Он говорил, что его должно предать смерти и что он будет предан «pour crime de haute trahison» [«за преступление государственной измены»]. Я утверждал, что не должно и не можно предать ни его, ни других министров, потому что закон об ответственности министров заключался доселе в одном правиле, а еще не положен и, следовательно, применен быть не может. Существовал бы точно этот закон, и всей передряги не было бы, ибо не нашлось бы ни одного министра для подписания знаменитых указов [ордонансов 26 июля]. Утверждал я, что и не будет он предан [смерти], ибо победители должны быть и будут великодушны... Мы побились с П[ушкиным] о бутылке шампанского»[10].

Живой интерес к политическим событиям во Франции Пушкин продолжал проявлять и в Москве, куда он вскоре затем выехал. 2 сентября (21 августа ст. ст.) 1830 г. поэт писал из Москвы своей приятельнице, Е. М. Хитрово: «Как я вам признателен за ту доброту, с которою вы посвящаете меня в европейские события! Здесь никто не получает французских газет, и в области политических мнений оценка всего происшедшего сводится к мнению Английского клуба, решившего, что князь Дмитрий Голицын был неправ, запретив ордонансом экарте». Речь шла о запрещении московским генерал-губернатором князем Д. В. Голицыным карточной азартной игры в «Английском клобе», этом центре, где постоянно встречались консервативно настроенные представители московской знати и так называемого образованного общества. Пародическим названием распоряжения Голицына («ордонанс»—по аналогии с ордонансами Полиньяка) Пушкин еще раз подчеркивает свое насмешливое отношение к этому учреж-

дению, которому он посвятил несколько иронических строк в «Путешествии Евгения Онегина»[11]. «И среди этих-то орангутангов я принужден жить в самое интересное время нашего века!»[12]—с горечью восклицает поэт по поводу убожества политической жизни Москвы да и всей страны.

Но интерес Пушкина к Июльской революции не приводил его к полной солидарности с происшедшим во Франции политическим переворотом. В том же письме к Хитрово поэт заявляет, что ему «смертельно хочется прочесть речь Шатобриана в защиту герцога Бордосского», и с уважением отзывается об этом легитимистском выступлении французского писателя. Поэт не скрывает своего отрицательного отношения к сторонникам республики. «Те, которые ее хотели,—пишет он,—ускорили коронацию



ИЮЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1830 г. В ПАРИЖЕ. НА ИТАЛЬЯНСКОМ БУЛЬВАРЕ
Современная литография Виктора Адама
Музей изобразительных искусств, Москва

Луи-Филиппа; он обязан им дать места камергеров и пенсии». К самому Луи-Филиппу и его окружению Пушкин относится, как видно из того же письма, достаточно иронически: «Брак госпожи де Жанлис [французская писательница XVIII в., воспитательница Луи-Филиппа] с Лафайетом [один из главных деятелей июльского переворота] был бы вполне уместен. А венчать их должен был бы епископ Талейран [бывший министр Наполеона, а затем Людовика XVIII, сыграл не последнюю роль в выдвижении Луи-Филиппа]. Таким образом, революция была бы завершена»[13].

П. А. Вяземский, как и Пушкин, резко осуждал Полиньяка. «Что может быть нелепее le Rapport au Roi [доклада королю] 25 июля?»—восклицает Вяземский 4 августа, ознакомившись с ордонансами Полиньяка и «обосновывавшим» их докладом министерства Карлу X: «О печатании везде говорится тут, как о каком-то существе, забывая, что оно орудие. Разве одна оппозиция выдает журналы? И министерство

имеет свои. Если оппозиционные более действуют на мнение, то доказательство неопровержимое, что министерство не симпатизируется с мнением. Таким образом можно и о даре слова [сказать], qu'il est dans sa nature de n'être qu'un instrument de désordre et de sédition [что он по природе своей только орудие смуты и мятежа]. При Нероне язык был орудием проклятий, при Тите орудием благословения»[14].

22 августа П. А. Вяземский снова обращается в своем дневнике к Июльской революции. Изложив мнение, высказанное ему по этому вопросу великим князем Михаилом Павловичем, заявившим, что, хотя Карл X и повинен в нарушении хартии, которую он поклялся соблюдать, все происшедшее затем «отвратительно», ибо отдает «якобинизмом», Вяземский продолжает: «Вообще трудно судить заранее об этих происшествиях. Если все обдержится, усядется и укоренится, то, разумеется, революция эта будет прекрасною страницею в истории Парижа, но можно ли надеяться на прочность содеянного? Est-ce une grande pensée qui est venue du cœur? [«Лежит ли в основе этого какая-нибудь великая, идущая от сердца мысль?»]. Тогда хорошо, но если тут одно личное честолюбие, то прока не будет. Впрочем, о многом и превратно судят: например, ужасаются трехцветной кокарде, забывая, что она знаменье не одной гильотины, а двадцатилетней славы, двадцатилетнего имперского господства Франции в Европе. Как французам отказаться от этого достояния из угождения Бурбонам, которые доказали не раз, что они не умеют царствовать? Доселе все случившееся, за исключением нескольких театральных выходок Орлеанского, законно и свято, если святы права народа, искупившего их своею кровью и бедствиями разнородными; но по мне Орлеанский что-то ненадежен. Он не герой этой революции, а актер ее, следовательно, силою обстоятельств вынужден играть и другую роль или пересолить нынешнюю; а, может быть, и лучше, что в этой драме нет героя, pourvu qu'il y aie de l'ensemble [«лишь бы в ней было необходимое единство»]. Революции на одно лицо суть революции классические: эта шекспировская»[15].

Скептическое отношение к личности «короля баррикад», сквозящее в этих рассуждениях Вяземского и столь сильно напоминающее приведенные выше критические замечания Пушкина о Луи-Филиппе, характерно почти для всех представителей тогдашнего европейского либерализма и радикализма. Но, как бы малопривлекательна ни была филистерская фигура «короля-гражданина», она не могла все же заслонить в их глазах героических бойцов июльских дней, не могла помешать прославлению их подвигов. Из русских поэтов того времени революцию 1830 г. воспел тогда еще почти никому не известный 16-летний М.Ю. Лермонтов. Он посвятил этому событию следующее стихотворение:

30 ИЮЛЯ.—(ПАРИЖ) 1830 г.

Ты мог быть лучшим королем,
Ты не хотел.—Ты полагал
Народ унизить под ярмом,
Но ты французов не узнал!
Есть суд земной и для царей,
Провозгласил он твой конец;
С дрожащей головы твоей
Ты в бегстве уронил венец.

И загорелся страшный бой;
И знамя вольности как дух
Идет пред гордою толпой,
И звук один наполнил слух;
И брызнула в Париже кровь.
О, чем заплатишь ты, тиран,
За эту праведную кровь,
За кровь людей, за кровь граждан?

Когда последняя труба
Разрежет звуком синий свод,
Когда откроются гроба,
И прах свой прежний вид возьмет;
Когда появятся весы,
И их подымет судия...
Не встанут у тебя власы?
Не задрожит рука твоя?..

Глупец! Что будешь ты в тот день,
Коль ныне стыд уж над тобой?—
Предмет насмешек ада, тень,
Призрак, обманутый судьбой!
Бессмертной раною убит,
Ты обернешь молящий взгляд
И строй кровавый закричит:
«Он виноват! Он виноват!»[16].

Стихи эти, при всей своей юношеской наивности содержавшие явное прославление Июльской революции и осуждение Карла X, смогли быть напечатаны только много лет спустя после смерти поэта, в 1883 г.

Современная поэту цензура, конечно, не пропустила бы в печать подобное произведение. Показательна в этом отношении судьба «Литературной Газеты», закрытой за одно лишь помещенное в ней (в номере от 28 октября 1830 г.) четверостишие французского поэта Казимира Делавиня, прославлявшего убитых бойцов Июльской революции[17]. Цензор Семенов, пропустивший это стихотворение и тщетно оправдывавшийся потом тем, что он никак не мог предположить, «чтобы сии стихи могли сколько-нибудь быть применены к России, которая, блаженствуя под скипетром мудрого монарха, находится в совершенно других отношениях, нежели Франция», получил строгий выговор. Редактор-издатель «Литературной Газеты», А. А. Дельвиг, был вызван к Бенкендорфу, который обошелся с ним крайне грубо и грозил упрятать его и его двух соредакторов, Пушкина и Вяземского, в Сибирь. Правда, позже газета снова получила возможность выходить, но Дельвиг к ее редактированию допущен не был.

Так подавлялись правительством Николая I малейшие проявления сочувствия революционным событиям 1830 г. во Франции и в других странах, замечавшиеся в тех или иных слоях русского общества. А потрясены были этими событиями все — в частности, и те представители тогдашней русской литературной общественности, которые стояли в лагере реакции и потому резко-отрицательно относились к происшедшему. Особенно рельефно выразил овладевшую ими тревогу В. А. Жуковский. 6 февраля 1831 г. он писал одной своей приятельнице: «Сержусь на свет,

который в пять месяцев оборотился вверх дном, проклинаю абсолютистов, которых безумие всему причиною, и еще более проклинаю анархистов, которые, сменив первых, хотят на место худого построить худшее; смотрю на будущее, не знаю, что будет, но уверен, что правитель верховный не дремлет и, наконец, сделает по своему»[18].

II

Ни одно иностранное правительство не отнеслось к Июльской революции так враждебно, как правительство царской России. 11 августа (30 июля ст. ст.), по получении в Петербурге первых известий о событиях во Франции, Николай I вызвал к себе французского поверенного в делах, барона Бургуэна (посол, герцог Мортемар, находился в это время во Франции), и встретил его словами: «Какое ужасное несчастье!». Затем он засыпал его вопросами, чем все это кончится, что случится, если Карл X будет низвергнут, кто займет его место, и не будет ли провозглашена республика. Бургуэн, не имевший в тот момент никакой связи с Парижем, отвечал, что он «блуждает во тьме хаоса». Император высказал ряд предположений и выразил надежду на то, что династия Бурбонов останется на троне если не в лице самого Карла X, то хотя бы его сына или внука. «Будем надеяться,—заметил он,—что, по крайней мере, будет спасено монархическое начало» и, отпуская Бургуэна, добавил: «Какие молодцы ваши гренадеры королевской гвардии! Я желал бы воздвигнуть золотую статую каждому из них»[19].

О том, как потрясены и возмущены были революцией во Франции члены царской семьи, свидетельствует переписка между Николаем I и в. к. Константином, наместником императора в Царстве польском. 14 августа Константин писал Николаю: «Как бы виновно ни было министерство Полиньяка в непредусмотрительности, в легкомыслии и самоуверенности, которых я ему не прощу, оно не могло позволить целому народу восстать таким недостойным образом, как это сделал народ Парижа, а стало быть, и всей Франции, которую он ведет за собой. Поведение герцога Орлеанского есть поведение человека более чем презренного в моих глазах; поведение остальных—это поведение людей, которые всегда вели себя подло и гнусно. Эти люди были у наших ног, мы их держали в своих руках [в 1814 и 1815 гг.], мы поступили с ними великодушно [?!—*А. М.*], а они вместо благодарности отвечают вам самым насильственным восстанием. Великодушие для них—это слово, лишенное смысла, их можно сдерживать только страхом... Итак, мои мрачные предвидения оправдались; начинается новая эра, и мы отброшены на сорок один год назад. Сколько трудов, сколько крови, сколько сил потрачено зря, только для того, чтобы привести к торжеству принципов, которые составляют основу принципов наших врагов!»[20].

17 августа Николай I, возвратившись в Петербург из поездки в Финляндию, получил известия, не оставлявшие никаких сомнений в том, что революция во Франции победила и старая династия низложена. Известия эти привели императора в состояние близкое к бешенству. Французскому поверенному в делах предложено было тотчас же оставить Петербург, граф Поццо ди Борго получил приказ немедленно оставить Париж со всем персоналом русского посольства, всем находящимся во Франции русским подданным предписано было выехать из нее, пребывающим в России французским гражданам запрещены были ношение трех-

цветных повязок и кокард и разговоры в присутствии русских о событиях в своей стране, въезд в Россию лиц французского гражданства был временно запрещен. Французские газеты, даже ультрамонархические, были почти совершенно воспрещены в России, из русских газет известия о политических событиях во Франции могли теперь печатать только две самые консервативные—«Северная Пчела» и «Сын Отечества», да и то лишь с разрешения цензора. Кронштадтский военный губернатор вице-адмирал Рожнов получил 5/17 августа следующее приказание: «По случаю возникшего во Франции мятежа и перемены существовавшего правительства, государь император высочайше повелеть соизволил ни под каким видом не допускать кораблям сей нации, плавающим под флагом трехцветным, а не белым, вход в Кронштадтский порт, но если бы усиливались войти в оный, то останавливать их действием оружия. Е. и. в. равномерно благоугодно, чтобы всякий корабль французский, из оставшихся ныне в Кронштадтском порте, который бы переменил белый флаг на трехцветный, немедленно был выслан в море. Сообщая в. п. высочайшую волю сию к непременному и строгому исполнению, имею честь присовокупить, что вместе с сим уведомляю об оной г. начальника морского штаба е. в.»[21].

Принимая подобные меры, Николай I демонстрировал не только свою ненависть к Июльской революции, но и свой страх перед влиянием, которое она могла оказать на оппозиционно настроенные элементы русского общества. Ни сам царь, ни большинство его приближенных не разделяли оптимизма княгини Д. Х. Ливен, жены русского посла в Лондоне, писавшей своему брату, графу А. Х. Бенкендорфу: «Мы имеем, к счастью, много причин, обеспечивающих нам безопасность. Во-первых, наша отдаленность, затем сравнительное невежество низшего класса, врожденная нам религиозность и преданность престолу, а самое главное, мы имеем монарха просвещенного, справедливого и, вместе с тем, строгого и деятельного душой и телом, умеющего заставить бояться и, в то же время, любить себя. Поэтому я не боюсь за нас, но мы составляем часть Европы и связаны трактатами,—не будем ли мы поэтому вовлечены в движение, нарушающее покой Европы?»[22].

Узнав, что два торговых судна под трехцветным флагом не были допущены в Кронштадт и что русское правительство решило прервать дипломатические сношения с Францией, поверенный в делах этой последней поспешил во дворец, чтобы попытаться переубедить Николая. Ему удалось добиться аудиенции в тот же вечер.

«Когда я вошел,—рассказывает Бургуэн,—император встретил меня на самом пороге и, став предо мною, произнес мрачным, но резко отчетливым голосом следующие слова: «Ну что, имеете ли вы известия от вашего правительства, от господина наместника королевства? Вы уже знаете, что я не признаю никакого другого порядка вещей, кроме прежнего, и считаю его единственно законным, потому что он основан на легитимной монархии». «Признаюсь, государь,—отвечал французский дипломат,—я крайне удивлен, что в. в. смотрите так на вопрос, отныне бесповоротно решенный моим отечеством, которое всегда умело отстаивать то, что делало». «Да, таков образ моих мыслей: принцип легитимизма, вот что будет руководить мною во всех случаях»,—заявил Николай и, сильно ударив рукою по стоявшему возле него столу, воскликнул: «Никогда, никогда не смогу я признать то, что случилось во Франции!». «Государь,—возражал Бургуэн,—нельзя говорить никогда; в наше время слово это

не должно произноситься; самое упорное сопротивление уступает силе событий». Он указал на то, что разрыв дипломатических отношений между Россией и Францией неминуемо приведет к войне, что это будет война европейского масштаба и что ее исход может оказаться роковым для новой антифранцузской коалиции. «Мы — уже не истощенная Франция 1814 г., а вы—уже не объединенная Европа 1815 г.»,—заявил Бургуэн и добавил, что если Россия займет враждебную Франции позицию, то последняя сблизится с Англией. «Я не питаю никакой вражды к Франции, это ведомо богу,—отвечал Николай,—но я ненавижу принципы, которые ослепляют вас». Из всех аргументов Бургуэна наибольшее впечатление произвело на царя заявление французского дипломата о том, что, в случае образования новой коалиции против Франции, последняя будет до последней капли крови защищать свою независимость и обратится за помощью к другим народам.

«Император постепенно успокоился,—рассказывает Бургуэн.—Он стал обсуждать важнейшие статьи новой конституции, заменившей собой хартию 1814 г. Он критиковал, со своей точки зрения, главнейшие статьи, и наш разговор, вначале столь бурный, принял тон теоретического рассуждения»[23]. Легко себе представить, какие «теории» развивал при этом русский «самодержец»!

Разрыва дипломатических отношений удалось все же избегнуть. Бургуэн остался в Петербурге и, чтобы угодить Николаю, временно продолжал вместе со всеми чинами посольства носить белую кокарду. Приказ о недопущении в порты империи французских судов под трехцветным флагом был отменен—под предлогом, что правительство наместника королевства «утверждено» Карлом X.

На следующий день после разговора с Бургуэном император Николай писал в. к. Константину, что, ввиду отречения Карла X и герцога Ангулемского, единственным «законным» королем Франции является в его (Николая) глазах герцог Бордосский, а «герцог Орлеанский всегда будет только гнусным узурпатором».

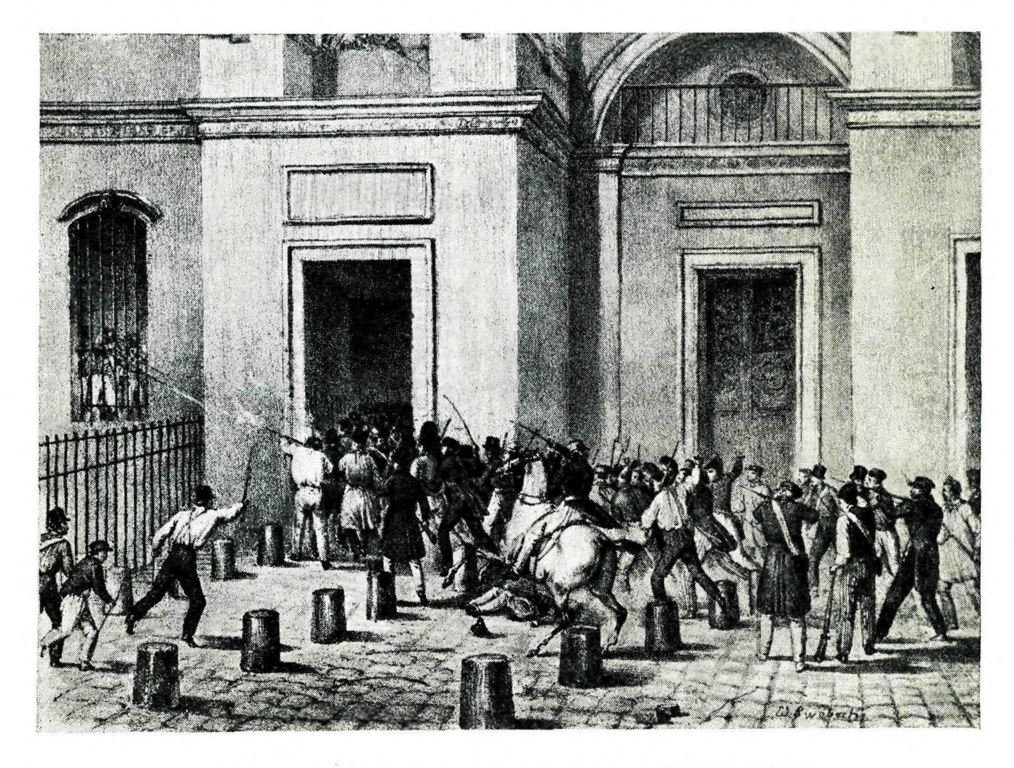
При всем своем отвращении к Июльской революции русский император не мог, однако, скрыть своего раздражения по поводу действий Карла X, вызвавших «это ужасное потрясение». «Не прошло еще и месяца с того дня, как король заверил меня своим честным словом, что он никогда не позволит себе принять какие-либо незаконные меры»[24],—писал своему брату Николай. «Самое печальное во всей этой катастрофе,—добавлял он,—это, помимо необъяснимого безумия короля и его гнусных советников[25], удручающая трусость поведения его и дофина. Благородная верность гвардии требовала того, чтобы ее государь или, за его отсутствием, наследник престола стоял во главе ее; все еще могло, пожалуй, измениться, если бы гвардия увидела их перед собою, но вместо этого они попусту послали этих несчастных на убой, даже не подумав о том, чтобы сделать им борьбу посильной, а сами уклонились от нее».

Переходя к вопросу о том, какова должна быть политика России ввиду Июльской революции, Николай заявлял, что, пока революция ограничивается пределами Франции, он не намерен вмешиваться в ее внутренние дела, что его оппозиция к происшедшему в ней перевороту «будет только моральной». «Но если,—добавлял он,—революционная Франция захочет вернуть себе свои прежние границы, это совершенно изменит наши обязанности: трактаты укажут каждому из нас его роль, и дело

должно будет решиться с мечом в руках, от чего да избавит нас бог». Сообщая Константину о принятых им мерах военного и политического порядка (о прекращении отпусков для военнослужащих, об организации «тщательнейшего наблюдения за настроением умов»), Николай признавался, что боится «нового взрыва в Бельгии, а затем, возможно, в Италии и Испании», не скрывал и того, что боится поляков: «Прошу вас постоянно держать меня в курсе того, что вы узнаете о нашей польской публике; доведут ли они свое восхищение всем, что исходит из Парижа, до того, что найдут восхитительным происшедшие в нем только-что события?». Рекомендуя брату приостановить отпуска из армии, расположенной в Царстве польском, Николай просил его сообщить ему, «предварительно и по секрету», свои соображения по поводу приведения в боевую готовность этой армии. «Если бы нам пришлось выступить в поход,—писал царь,— я рассчитываю двинуть вперед вашу армию, 1-й корпус, гренадер, гвардию, 1-й, 3-й и 5-й корпуса резервной кавалерии. 2-й корпус выступит, как только его организация будет закончена»[26].

Итак, уже в первом письме к Константину, написанном после Июльской революции, Николай I обсуждал вопрос о военной интервенции против Франции.

Великий князь оказался осторожнее и дальновиднее своего брата, императора. «Я должен вам откровенно сказать,—отвечал он 24/12 августа,—что недопущение французских судов под трехцветным флагом равносильно, с моей точки зрения, объявлению войны. Я еще не знаю, какие решения приняты Пруссией, Нидерландами, Австрией. Если они посту-



ИЮЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1830 г. В ПАРИЖЕ. ВЗЯТИЕ ЛУВРА
Литография Эд. Свебаха, 1830 г.
Музей изобразительных искусств, Москва

пят так же,—война налицо, но я не думаю, чтобы в интересах этих держав было вести ее в настоящий момент, если принять во внимание, что первые операции французов приведут их в Бельгию и в рейнские провинции Пруссии, очень мало надежные, особенно в отношении их военной организации. С другой стороны, если эти державы признàют трехцветный флаг, Франция скажет им: «Как это так: вы нас признаёте, а ваш союзник не признаёт нас? Выбирайте между нами и Россией или порвите с нами или с нею». Решение, принятое царем, «неблагоразумно и произведет,—указывает Константин,—совершенно противоположное впечатление на тех, против кого оно направлено». «Французские революционеры,—предостерегает своего брата великий князь,—воспользуются тем, чтобы оживить национальный дух, перед которым партийные страсти отступят тогда на задний план». «Не забывайте,—поучает он Николая,—любимую поговорку нашего покойного незабвенного императора: десять раз примерь, раз отрежь, к чему я добавлю: еду мимо—не свищу, а заеду—не спущу». Считая интервенцию против Франции делом опасным и несвоевременным, великий князь ставит ставку на разложение этой страны в результате внутренних раздоров. «Откровенно признаюсь,—пишет он,—что я желаю и горячо жажду для Франции такой гражданской войны, которая бы их подточила и разорила сверху донизу, ибо я утверждаю, вместе с поговорками, что собаки с жиру бесятся, и которая собака лает, та не укусит»[27].

Как видим, великий князь не уступал царю в лютой ненависти к народу, дерзнувшему свергнуть своего «законного» повелителя. Но, находясь в Варшаве, Константин Романов лучше понимал трудности международной обстановки и яснее отдавал себе отчет в действительном соотношении сил, нежели его брат Николай. На вопрос последнего о состоянии армии, расположенной в Царстве польском, наместник отвечал, что она к войне не готова, что потребуется, по крайней мере, три месяца для приведения частей в боевую готовность.

Новые, притом весьма важные, аргументы против интервенции во Францию великий князь приводит в письме, датированном 13/25 августа. «Я сильно сомневаюсь,—пишет он,—чтобы в случае вторичного европейского крестового похода против Франции, подобного тому, который имел место в 1813, 1814 и 1815 гг., мы встретили то же рвение и тот же энтузиазм к правому делу. С тех пор осталось столько неисполненных или же обойденных обещаний, накопилось столько попранных интересов. Чтобы сокрушить тиранию Бонапарта, тяготевшую над континентом, повсюду пользовались средствами народной борьбы и не предвидели, что рано или поздно то же оружие могут повернуть против нас самих». Относительно поляков наместник писал: «До сих пор у нас все спокойно, и я льщу себя надеждой, что, с помощью божьей, так останется и далее». За вычетом «расы судей и адвокатов, профессоров и студентов» наместник считал возможным ручаться за верность престолу всего остального населения Царства польского. Июльская революция должна была, по его словам, произвести самое отрицательное впечатление на польскую аристократию: «Эти господа увидят по чистке палаты пэров во Франции, чтò их ожидает, если бы существующий порядок был опрокинут»[28].

«Мы вовсе не торопимся действовать,—отвечал Николай (в письме от 17 августа),—но мне кажется, что в отношении непреложных,

священных принципов никогда не следует оставлять места сомнениям; но не изложить открыто наших взглядов на узурпацию герцога Орлеанского—значило бы поступить как раз таким образом». «Так как,—продолжает Николай,—законный, с нашей точки зрения, король Генрих V увезен своим дедом из пределов Франции, то он фактически эмигрировал и бросил свою страну. Но эта страна не может оставаться без главы, а за неимением его должна впасть в состояние самой ужасной анархии». Поэтому не остается ничего другого, как признать французским королем герцога Орлеанского, тем более, что это ближайший к трону член королевской семьи[29]. Таков вывод, к которому приходит царь.

Таким же образом рассуждал и русский посол в Париже, Поццо ди Борго: «Монархический принцип, спасенный среди этого кораблекрушения, каким бы незаконным и ослабленным он ни был после потери отнятых у него атрибутов власти, представляет собой все же крупную гарантию порядка по сравнению с тем, что произошло бы, если бы была провозглашена республика. Не признать этого—значило бы уничтожить его [монархический принцип], ибо, если вспыхнет война, к власти придет республиканизм со всеми ужасами, которые ему сопутствуют». Яснее выразиться было трудно. При всем своем отвращении к новому режиму, установившемуся во Франции после Июльской революции, царский дипломат убеждал свое петербургское начальство не давать французским республиканцам—«партии, которая хочет все уничтожить, предлога для уничтожения хотя бы тени власти, остатков монархических форм, которые еще могут быть сохранены»[30]. «Надо,—доказывал Поццо ди Борго,—вступить в дипломатические сношения с новым правительством, поскольку у нас нет выбора и поскольку оно, при всей незаконности своего происхождения, не является по своей природе несовместимым с существованием всех других правительств; но, выполнив эту формальность, надо стать на защиту существующих трактатов, дабы остановить его [новое французское правительство] в его предприятиях и приготовиться к борьбе с ним в случае, если оно предпримет такие шаги, которые сделают сопротивление справедливым и необходимым»[31].

Так обосновывал предлагаемую им политическую тактику—тактику «меньшего зла» («узурпация» герцога Орлеанского все же лучше, чем республика) — царский посол в Париже. К этой тактике начинал склоняться и сам Николай I. В разговоре с английским послом, лордом Гейтсбери, он заявил, что, хотя герцог Орлеанский всегда будет для него только узурпатором, он не собирается, однако, вмешиваться во внутренние дела Франции. При этом он подчеркнул, что отказывается от военной интервенции не потому, что не верит в ее успех, а совсем по другим причинам. «Что можно сделать с этой великой и сплоченной нацией в случае, если мы даже и дойдем еще раз до Парижа?—спрашивал царь.—Возможно ли, а если и возможно, то благоразумно ли, восстанавливать эти слабые существа [династию Бурбонов], упавшие с того места, на которое мы их однажды поставили, и которые снова упали бы с него, как только наши армии ушли бы домой»[32].

Знаменательное признание беспочвенности легитимной монархии и дворянской реакции во Франции русским «самодержцем», вернейшим союзником этой реакции!

Граф Кочубей следующим образом резюмировал то, что он услышал от Николая I во время своего разговора с ним 14 августа 1830 г.:

«1. Прежде всего, попытаются притти к соглашению с союзниками по поводу тех мер, какие надо будет принять в том или другом случае.

2. Разрыва с Францией не будет. Император признàет герцога Орлеанского наместником, признàет его даже и королем, если его признàют другие державы, но он сделает это последним.

3. Он не предпримет ничего враждебного против Франции, но если эта последняя нападет на одного из своих соседей, е. в. сейчас же объявит войну и выступит в поход с 200-тысячной армией.

4. Порицая поведение Карла X, император несколько раз с негодованием и горячностью высказывался по поводу вероломства этого государя. С такой же горячностью он утверждал, что государи должны всегда держать свои клятвы и поддерживать свою честь»[33].

Кочубей был решительным противником интервенции—впрочем, отнюдь не из сочувствия к происшедшей во Франции революции, а из соображений вполне консервативных. «Не нужно,—говорил он Николаю,—закрывать глаза на то, что мы живем в век, когда общественное мнение имеет колоссальное значение; что в тот век, когда цивилизация достигла такого прогресса, невозможно остановить рост идей или, во всяком случае, невозможно дать им другое направление иначе, чем с помощью величайшей мудрости и большой осторожности правительства; что поведение Карла X принесло в этом отношении большое зло другим странам,—оно даст людям, неустойчивым в своих мнениях, беспокойным умам, людям с дурными намерениями средства поддержать свои взгляды. Король стал клятвопреступником, это он нарушил закон; этот пример всегда будут выдвигать вперед. Будут говорить, что, если бы частный человек так поступил, он был бы обесчещен, в некоторых случаях подвергся бы наказанию. А короли нарушают закон, присягу, когда это им удобно, следовательно, им нельзя верить». Кочубей добавлял, что при создавшихся условиях, когда Бурбоны восстановили против себя все нации и, в частности, все население России, ни о каком выступлении в пользу свергнутой династии не может быть и речи. Настаивая на необходимости предварительного соглашения России с другими европейскими державами, он указывал на то, что энтузиазм, вызванный в Англии Июльской революцией, «так велик, что едва ли она пожелает войти в какую-нибудь комбинацию враждебную Франции»; что «в Австрии финансы в таком плачевном состоянии и сама она так плохо управляется, что ей трудно предпринять войну без английской поддержки»; что, наконец, Пруссия «разве в самой последней крайности решится взяться за оружие».

«Конечно, я войду в соглашение с союзниками»,—отвечал император. Сказав несколько слов «о неустойчивом положении Австрии со стороны Италии, о том, что в Нидерландах скорее всего может произойти потрясение», он добавил, что если другие державы признàют «Филиппа VII», то и Россия должна будет поступить точно так же[34].

III

Итак, прежде чем решиться на признание того, кого он продолжал считать и называть узурпатором, Николай I решил позондировать почву в Берлине и Вене, выяснить точку зрения своих союзников—прусского короля и австрийского императора—и склонить их к выработке плана

совместных действий на случай войны с Францией. С этой целью 28/16 августа в Вену выехал чрезвычайный посол русского императора, генерал-адъютант граф Алексей Федорович Орлов, а 31/19-го с подобным же поручением отправился в Берлин фельдмаршал граф И. И. Дибич-Забалканский.

Отпрыск немецких феодальных баронов, ярый реакционер и крепостник, мечтавший о том, чтобы «поднять дворянство, истинное дворянство, старое дворянство» и образовать из него замкнутую, привилегированную военную касту, которая должна была бы «оградить» Россию на все времена от тлетворного влияния либеральных идей, Дибич был решительным сторонником военной интервенции против Франции с целью восстановления в ней «законной» династии Бурбонов. Никакие затруднения не останавливали фельдмаршала, пользовавшегося исключительным доверием Николая I. На замечание Кочубея, что такого рода война потребует колоссальных расходов, Дибич отвечал, что денег хватит за-глаза, что у министра финансов есть сто двадцать миллионов рублей. Он заявлял, что «нет необходимости платить войскам серебром, что совершенно достаточно уплачивать двойной оклад бумажными деньгами..., что, кроме того, достаточно войти в соглашение с пруссаками и с другими государствами, по которым войска будут проходить, о получении всего, что необходимо для армии, уплачивая за все бонами, которые будут потом ликвидированы каким-нибудь способом»; «когда войска войдут во Францию,—добавлял фельдмаршал,—в чем я не сомневаюсь, так же как и в том, что мы победим французов, мы наложим на них крупные контрибуции, которые с избытком оплатят военные расходы, и принудим их подчиниться правительству, которое сможет дать гарантии на будущее». «Но какому же правительству?—спрашивал Кочубей.—Правительству Бурбонов? Разве на них можно положиться? Какие же могут быть гарантии, что они снова не вызовут новых потрясений?». «Я не настаиваю,—отвечал маршал,—что нужно во что бы то ни стало восстановить на престоле Карла X или даже дофина, но почему не посадить герцога Бордосского, почему ему не быть королем с твердыми монархическими учреждениями? А что касается гарантий, стоит только оставить во Франции сто тысяч русских, и тогда видно будет, будут ли уважаться эти учреждения»[35].

Так просто и прямолинейно «решал» граф Дибич вопрос о новой интервенции против Франции и о новой реставрации ненавистных ей Бурбонов. Столь же легко «разрешал» этот царский генерал и другие вопросы международной дипломатии. На замечание Кочубея, что следует опасаться сближения между Францией и Англией, Дибич возражал, что такое сближение исключено, так как завоевание Алжира вконец рассорило эти страны.

В основу переговоров, которые Дибич должен был вести в Берлине, положена была составленная им и одобренная императором Николаем записка следующего содержания: «Е. в. император,—так начинался этот документ,—ввиду настоящих обстоятельств, считает делом крайней важности притти по всем вопросам к возможно более точному соглашению со своим августейшим тестем и определить как тот образ действий, которого следует держаться в нынешний момент, так и те меры, которые надлежит принять на будущее время». Далее Николай заявлял, что может признать Луи-Филиппа лишь наместником королевства, притом только на время малолетства внука Карла X: «Не иначе, как в этом лишь качестве намест-

ника Генриха V, его величество может считать власть герцога Орлеанского законной властью, и он никогда не изменит своего глубокого убеждения в том, что герцог Бордосский является единственным законным королем Франции и что только после его смерти или личного отречения от престола герцог Орлеанский становится законным королем». Но, отказываясь признать Луи-Филиппа французским королем, русский император объявлял, вместе с тем, немедленное вмешательство во внутренние дела Франции нежелательным, во-первых, потому, что «Карл X сам первый нарушил конституцию, дарованную им под охраною союзных дворов, и этим лишил себя права требовать их помощи», во-вторых, потому, что «вторжение во Францию, не вызванное агрессивными действиями нынешнего ее правительства, было бы, вероятно, принято всем французским народом, как проявление честолюбивых замыслов, направленных к ослаблению его родины, и если бы даже успехи союзников доставили им победу в этой войне, которая приняла бы, по всем вероятностям, национальный характер, то было бы все же крайне трудно определить потом судьбы Франции, поскольку герцог Бордосский очень молод и поскольку он не мог бы найти себе законного попечителя иначе, как в той же фамилии Орлеанов».

Из всех этих аргументов против немедленной интервенции наибольшее значение имел, конечно, страх перед французским народом.

Считаясь с возможностью признания нового французского правительства берлинским и венским дворами, Николай заявлял, что они могут пойти на это лишь при условии получения от этого правительства «твердых гарантий» мира. Он добавлял, что в этом случае не откажется последовать примеру своих союзников, «но, жертвуя при этом своими задушевными убеждениями ради спокойствия и счастья Европы, всегда будет хранить в своем сердце убеждение, что во Франции нет другого законного короля, кроме Генриха V». «Он поставит себе за честь то, что последним уступил убеждениям своих августейших союзников, и никогда не изменит своего внутреннего презрения к якобинскому поведению герцога Орлеанского».

Лицемерно заявляя о том, что он «всем сердцем разделяет желания своего августейшего тестя относительно сохранения всеобщего мира», Николай оговаривался, что мало верит в возможность сохранить его при создавшихся обстоятельствах. Следовало резкое осуждение всего того, что произошло во Франции со времени Июльской революции: «Теперешний переворот, ускоренный незаконными действиями предшествующего правительства, отмечен чисто демократической политикой; разрушительные изменения, внесенные в хартию в тот самый момент, когда происходит восстание, поднятое, якобы, в целях ее сохранения, выдержаны в том же духе; заявление герцога Орлеанского о мотивах, которые побуждают его восстанавливать так называемые национальные цвета [трехцветное знамя], его речи в палате депутатов, полное забвение палаты пэров, совершенно незаконные меры, с помощью которых хотят их принудить к полному подчинению, больше же всего само это правительство, созданное и санкционированное чернью [sic!—*А. М.*] и слабым меньшинством палаты, законно тогда еще не существовавшей,—все это не может успокоить нас насчет того, что за этим последует. Император, видя крайнюю податливость, с которой герцог Орлеанский уступает всем [?!—*А. М.*] требованиям революционной партии, убежден, что последняя будет требовать все новых и новых уступок, пока не дойдет до того, что потребует чисто республикан-

ИЮЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1830 г. В ПАРИЖЕ. БАРРИКАДА НА УЛИЦЕ ДОФИНА
Современная литография Виктора Адама
Музей изобразительных искусств, Москва

ских учреждений». Николай выражал опасение, что развитие событий во Франции приведет ко «всем агрессивным действиям и всем бедствиям, которые принесла первая революция».

Выражая надежду на то, что его опасения не оправдаются, русский «самодержец» заявлял, однако, что считает необходимым заблаговременно принять все меры «для оказания твердого и энергичного отпора всякому нападению, к которому может привести настоящий порядок вещей». В случае войны с Францией, русские и прусские войска должны действовать в тесном контакте, как в 1813 и 1814 гг., на основе совместно выработанного общего плана борьбы участников новой антифранцузской коалиции. 14 пехотных и 12 кавалерийских дивизий русской армии намечались для участия в предполагаемом походе против Франции; командовать ими должен был Дибич. Войска эти предполагалось привести в состояние боевой готовности и стянуть к прусской границе, как только король Фридрих-Вильгельм III объявит, что не считает больше возможным избежать войны с Францией. Для осуществления этих операций автор записки считал необходимым несколько месяцев (но не более 4—5). «Если бы, однако,—добавлял он,—вторжение французов, особенно в рейнские провинции или в Бельгию, потребовало быстрой, хотя бы и частичной помощи, а общественное мнение признало бы желательность русского сотрудничества, если бы, поитом, время года позволило это, император готов перевезти морем в указанное е. в. королем место 2-ю дивизию русской гвардии с ее артиллерией».

Заканчивалась записка Дибича следующими словами: «Император, ожидая призыва е. в. короля для отправки своих войск, рассчитывает, отдав необходимые приказания, поспешить в Берлин, чтобы лично переговорить со своим августейшим тестем, а затем, рядом с ним, сражаться против врагов общего спокойствия»[36].

«Россия ждет ваших приказаний, государь!»—восклицал Николай I в собственноручном письме на имя короля Фридриха-Вильгельма III, извещая его о миссии Дибича[37]. 8 сентября русский фельдмаршал прибыл в Берлин и был тотчас же принят королем. Последний, находясь под свежим впечатлением полученных им только-что известий о восстании против голландского правительства в Брюсселе (25 августа), заявил, что полностью разделяет взгляды императора Николая и, подобно ему, считает войну с Францией в конечном счете неизбежной. Но, добавлял Фридрих-Вильгельм, он не хочет быть нападающей стороной и решил следовать тактике Александра I перед войной 1812 г. К тому же Англия уже признала новое французское правительство[38], то же собирается сделать Австрия, так же должен будет поступить поэтому и он, король Пруссии. Действительно, прибытие Дибича не помешало Фридриху-Вильгельму признать через два дня—притом без тех гарантий, которые считал необходимыми Николай,—Луи-Филиппа «королем французов».

Известно, что этот акт был вынужденным (как позицией Англии, так и сильным революционным брожением в Германии и Италии). Остается добавить, что признание Луи-Филиппа не помешало берлинскому правительству приступить к рассмотрению военных планов, привезенных русским фельдмаршалом. Дело это поручено было начальнику главного штаба, генералу фон Краузенеку, и адъютанту короля, генералу фон Вицлебену, которые и занялись, совместно с Дибичем, обсуждением военных мероприятий на случай войны с Францией. Принц Вильгельм уже намечался главнокомандующим рейнской армией, которая должна была действовать против Франции.

Между тем, 31 августа в Петербург прибыл чрезвычайный посол «короля французов», генерал барон Аталeн, привезший Николаю собственноручное письмо Луи-Филиппа, в котором он извещал русского императора о своем вступлении на престол, состоявшемся 9 августа. Письмо это, составленное почти слово в слово в тех же выражениях, что и письма, адресованные тогда же Луи-Филиппом австрийскому императору и прусскому королю, излагало события, приведшие к Июльской революции, которую новый французский монарх называл «катастрофой». Стремясь защитить себя от обвинений в узурпации власти, он старался представить свое поведение, как единственно возможное при создавшихся обстоятельствах, и утверждал, что никогда не был противником старой династии, хотя и осуждал враждебную хартии политику, усвоенную Карлом X, особенно со времени образования министерства Полиньяка. «Я видел, как его состав был подозрителен и ненавистен нации и, вместе со всей Францией, опасался мероприятий, которых от него следовало ожидать». Луи-Филипп утверждал, что борьба против этого министерства никогда не переросла бы в революцию, «если бы само министерство в своем безумии не дало рокового сигнала к ней столь неосторожным и дерзким нарушением хартии и уничтожением всех гарантий наших свобод, за которые каждый француз готов пролить свою кровь». «Никаких эксцессов при этой ужасной борьбе не было, но трудно было допустить, чтобы из этого не возникло какое-либо

потрясение нашего социального строя и чтобы самая экзальтация умов, которая отвлекла их от совершения беспорядков, не вылилась в попытку применения таких политических теорий, которые ввергли бы Францию, а может быть, и всю Европу в пучину страшных бедствий».

Обрисовав в преувеличенном виде опасности, угрожавшие монархическому строю на другой день после Июльской революции, Луи-Филипп выставлял себя спасителем «порядка» во Франции. «При таком положении,—писал он,—взоры всех обратились на меня. Сами побежденные считали меня необходимым для своего спасения. Еще более, пожалуй, я был нужен для того, чтобы победители не дали выродиться своей победе. Вот почему я взял на себя эту благородную, хотя и трудную задачу и устранил все личные обстоятельства, побуждавшие меня отказаться от ее выполнения, устранил потому, что малейшее колебание с моей стороны могло подорвать будущность Франции и спокойствие всех наших соседей, которое нам необходимо охранять». Указав на то, что титул наместника королевства, как временный, не мог обеспечить ему «необходимого доверия» населения и помочь ему отстоять существующую хартию от возможных покушений слева, Луи-Филипп добавлял, что «для достижения этой благой цели» необходимо, чтобы Европа получила «правильное представление» о парижских событиях и, воздав должное мотивам, которые им руководили, оказала новому французскому правительству доверие, «на которое оно вправе рассчитывать». «Пусть в. в.,—заканчивал он,—не изволит упускать из виду, что, пока король Карл X правил Францией, я был самым послушным и самым верным из его подданных и что лишь с того момента, когда я увидел, что действие законов парализовано и королевская власть как бы совершенно уничтожена, я счел своим долгом подчиниться желаниям нации и принять корону, к которой был призван».

Стремясь выгородить себя в глазах царя, Луи-Филипп особо подчеркивал свою привязанность к хартии и то значение, которое придавал ей, по его словам, Александр I. «На вас, государь,—заканчивал он,—Франция особенно обращает свои взоры. Ей отрадно видеть в России свою самую естественную и самую могущественную союзницу. Ручательством в том служат мне благородный характер и все качества, отличающие в. и. в.»[39].

Несмотря на все унизительные и льстивые выражения, которые в изобилии расточал в этом письме Луи-Филипп, посланец его встретил при русском дворе весьма холодный прием. На аудиенции, данной генералу Аталену 6 сентября, Николай открыто оплакивал падение Карла X, говорил, что не может пока дать никакого ответа новому королю, так как связан определенными «обязательствами» и «обещаниями», выражал сомнение в прочности нового режима во Франции и высказывал опасение по поводу деятельности в ней республиканской партии. Атален уверял царя, что республиканцы уже не опасны, что их вожди признали Луи-Филиппа «лучшей из республик». Николай отвечал, что любит Францию и уважает характер ее нового короля, но добавлял, что принцип легитимизма для него дороже всего. «Повторяю, что один я ничего не могу сделать»,—говорил он. «Интервенции не будет, дело должно уладиться... но я должен еще раз сказать, что я хотел, чтобы принцип остался незатронутым... Этот принцип имеет для нас слишком большое значение, особенно для меня и моего государства»[40].

Уклончивые ответы Николая уполномоченному французского правительства свидетельствовали о том, что русский «самодержец» продолжал

упорствовать в своем нежелании признать «узурпатора». Австрийский посол, граф Фикельмонт, всячески поддерживал царя в этом упорстве. Но, в конце концов, пришлось уступить и Николаю. 28/16 сентября он писал Константину: «Известия из Вены, полученные вчера, сообщают, что признание герцога Орлеанского состоялось там, так же как в Лондоне и в Берлине; что мне остается делать? Если бы я следовал только внушениям своего сердца и своим личным чувствам, я никогда бы не решился на это признание, к которому я питаю отвращение и которое кажется мне несмываемым пятном... Это решение есть горькая пилюля, которую я вынужден проглотить»[41]. «Я согласен с вашими соображениями, — писал Николай в резолюции по докладу своего министра иностранных дел графа Нессельроде от 16/28 сентября, высказывавшегося за признание Луи-Филиппа,—но призываю небо в свидетели, что это есть и всегда будет противно моей совести и что это одно из самых тяжелых усилий, которые я когда-либо делал над собой»[42].

В ответном письме, от 3 октября (21 сентября ст. ст.), — оно пришло уже после состоявшегося признания Луи-Филиппа,—Константин всячески убеждал своего брата в совершенной необходимости признания нового французского правительства и в полной невозможности всякой другой политики в этом вопросе. Он указывал Николаю на то, что он не должен отделять своих интересов от интересов своих союзников, в особенности Пруссии, географическое положение которой обязывает ее избегать войны с Францией. Он утверждал, что сорок лет назад, когда во Франции началась революция, она внушала, якобы, в Европе «отвращение всякому мыслящему существу и всем классам общества, как высшим, так и низшим», но что «с тех пор положение сильно изменилось». «Я уверен,—писал великий князь,—что в то время на сто—двести человек нашелся бы едва один, кто осмелился бы раскрыть рот, чтобы восхвалять ее и оказаться, таким образом, виновным по отношению ко всему обществу, тогда как теперь на сто здравомыслящих человек приходится, вероятно, двадцать пять, стоящих за революцию». «Когда происходила первая вызванная революцией война,—продолжал он,—все делалось с энтузиазмом, порожденным чувством долга и ужасом, который она [революция] внушала; все [господствующие классы, конечно.—*А. М.*] хотели сохранить свое социальное положение и были спокойны за свой тыл. При второй войне, если она случится, пойдут по чувству долга и, в большинстве случаев, неохотно. Новые идеи настолько укоренились во всех головах и вообще пустили слишком глубокие корни среди большинства людей нового поколения, чтобы можно было предполагать обратное. Сверх того, в прошлом было нарушено столько интересов [добавим: венским конгрессом и его решениями.—*А. М.*], было дано и не выполнено столько обещаний [добавим: европейскими монархами.—*А. М.*], чтобы можно было рассчитывать на единодушное содействие всех правому делу [читай: интервенции.—*А. М.*]». В виде примера того, как ненадежны стали подданные западно-европейских государств, великий князь ссылался на то, что даже представители «самых крупных и видных фамилий» немецкого дворянства исповедуют нередко «ярко выраженные принципы якобинизма». Объяснял он это тем, что многие владетельные дома прирейнских областей Германии, принимавшие такое деятельное участие в войнах с революционной Францией, оказались затем принесенными в жертву и «из суверенных государей превратились в подданных великих держав». Далее Константин указывал на то,

что те самые государства, как, например, Пруссия, которые видели во Французской революции «какую-то чуму» и сражались против нее, принуждены были потом примириться «с республикой, затем с консульством, потом с империей», т. е. с правительствами «неправовыми», вышедшими из революции. Самая борьба с Наполеоном, напоминал он, велась под лозунгом борьбы «против тирании», и в борьбу эту вовлечены были народные массы, т. е. она велась «теми же либеральными средствами», которые сокрушили затем «трон Реставрации».

«За последние пятнадцать лет,—с горечью констатирует брат «самодержца всероссийского»,—либерализм или якобинизм, которые для меня являются синонимами, сделали неслыханные успехи... Разве в 1812, 1813, 1814 и 1815 гг. у нас сочли бы возможным, чтобы у нас могло вспыхнуть возмущение, притом в Петербурге? Но поскольку такой факт случился, разве он не может повториться, особенно, если какая-нибудь отдаленная война приведет к удалению войск из страны и мы будем нападающей стороной?». Но война с Францией чревата, по мнению великого князя, еще и другими опасностями. «При одном только слове—война, при одном только упоминании о возвращении рейнских границ Бельгии партийные распри во Франции прекращаются, Франция становится единой и сражается за распространение своих разрушительных принципов вовне...». Оставленная же в покое, Франция, по словам варшавского наместника, «будет неизбежно ввергнута в гражданскую войну». «Они [французы] сами разорвут себя на части, и из беспорядка родится порядок [читай: контрреволюция.—*А. М.*] скорее, чем этого можно было бы ожидать». «Если даже,—заключает Константин,—Франция будет иметь глупость захотеть начать внешнюю войну, у нас будет в руках аргумент для своих [подданных.—*А. М.*], что нападение пришло с их стороны, несмотря на наше признание, обусловленное их обещанием остаться в пределах своей территории... Наш покойный незабвенный император, в своем манифесте по поводу войны 1812 г., говорил в заключение: на начинающего бог, и факты подтвердили это, как известно... Ради бога, без поспешности, больше спокойствия и хладнокровия»[43].

Трезвая оценка действительности,—в основе ее лежал, конечно, страх,—делала наместника Царства польского решительным противником интервенционистской войны против Франции. На той же точке зрения стоял, как мы уже знаем, министр иностранных дел. В письме к австрийскому канцлеру, князю Меттерниху, от 5 сентября 1830 г. Нессельроде следующим образом мотивировал необходимость признания нового французского правительства и невмешательства во внутренние дела этой страны: «Англия и Пруссия уже признали его. Мы оказались бы разъединенными перед революционной партией, а это было бы, без сомнения, наихудшим из зол. Зло, уже содеянное, непоправимо, постараемся помешать его росту, этим и должны ограничиться все наши усилия. Старая Европа не существует вот уже сорок лет. Будем брать ее такою, какая она есть, и постараемся сохранить ее. Если она не станет хуже, это уже будет огромным достижением, ибо желать сделать ее лучше—значило бы стремиться к невозможному. Карл X погубил себя потому, что не понял этой истины...»[44].

1 октября (19 сентября ст. ст.) Нессельроде мог известить генерала Аталена о признании Россией нового французского короля[45]. Но, чтобы подчеркнуть свое более чем сдержанное отношение к Луи-Филиппу, Ни-

колай I отказался дать его посланцу новую (вторую) аудиенцию и ограничился тем, что прислал ему свой портрет. В письме, в котором царь извещал короля французов о своем признании его, он отказывал ему в общепринятом между монархами обращении «брат мой» и называл его просто «государь». Это нарушение этикета произвело весьма тягостное впечатление в Париже. Вот текст этого письма, надолго определившего взаимоотношения России и Франции:

Государь, я получил из рук генерала Аталена привезенное им послание. События, навеки прискорбные, поставили в. в. в тягостное положение. В. в. приняли решение, которое одно, казалось вам, могло отвратить от Франции большие бедствия. Я ничего не скажу о мотивах, внушивших образ действия, усвоенный в данном случае в. в., но я воссылаю горячие мольбы божественному провидению, дабы оно благословило намерения в. в. и усилия ваши на благо французского народа. В согласии с моими союзниками я с удовольствием принимаю выражение желания в. в. поддерживать со всеми европейскими государствами мирные и дружественные отношения. До тех пор, пока эти отношения будут основаны на существующих договорах и на твердой решимости поддерживать права и обязательства, торжественно в них признанные, равно как и территориальные владения, Европа будет видеть в этих отношениях гарантию мира, столь необходимого и для спокойствия Франции.

Призванный совместно с моими союзниками поддерживать с Францией при новом ее правительстве эти охранительные отношения, я, со своей стороны, не только не премину отнестись к ним с надлежащей заботливостью, но и не устану проявлять чувства, в искренности которых мне приятно уверить в. в. в ответ на чувства, выраженные вами[46].

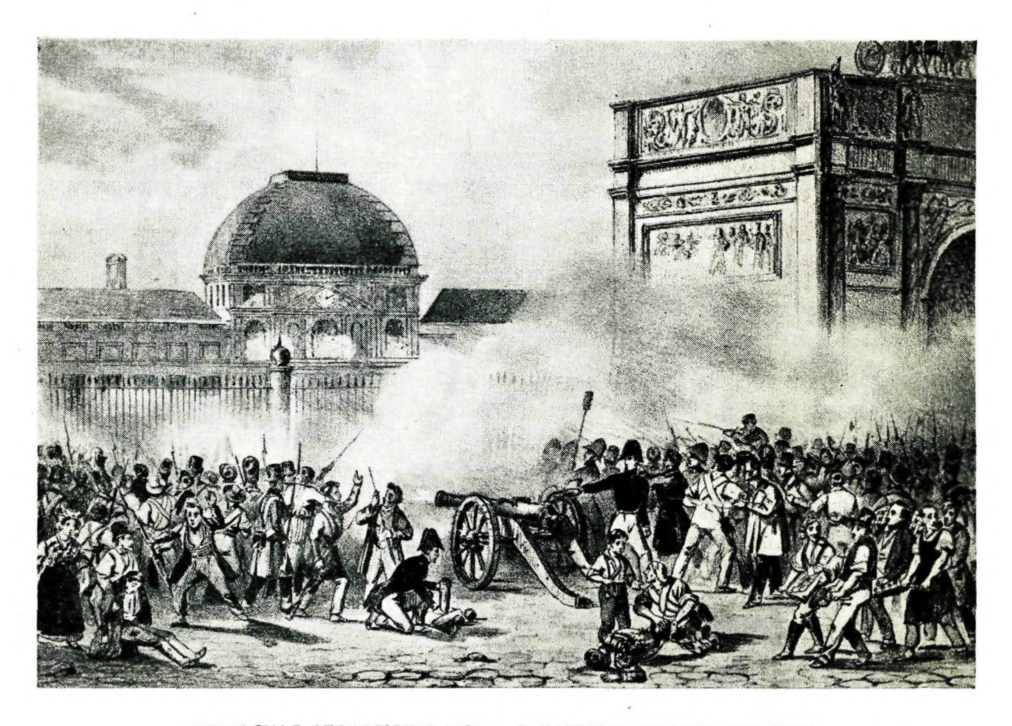
Лицемерные фразы об «искренности» симпатий царя к Франции, о его «заботах» о благе французского народа не могли прикрыть того факта, что признание Луи-Филиппа Николаем I носило временный, условный характер и поставлено было в прямую зависимость от соблюдения новым французским правительством реакционных венских трактатов 1815 г., этой внешнеполитической основы Священного союза. Мало того: в другом, строго конфиденциальном, не предназначавшемся для опубликования письме к Луи-Филиппу Николай заявлял, что Европа ждет от короля французов не только гарантии внешнего мира, но и гарантии внутреннего порядка. Но то и другое может быть обеспечено, по мнению русского императора, лишь при условии «упрочения во Франции консервативного правительства», которое должно «остановить поток, угрожающий разлиться во все стороны»[47]. Что речь шла о «революционном потоке»—это явствует и из письма Нессельроде к Поццо ди Борго.

Борьба с демократией внутри Франции и отказ от помощи освободительным движениям в других странах—таковы были условия, на которых «самодержец всероссийский» соглашался поддерживать «дружественные» отношения с «королем баррикад». Идя на признание Луи-Филиппа, Николай не отказывался, однако, от планов войны с Францией. Бельгийская революция августа—сентября 1830 г. дала новый толчок этим планам и придала им новую форму.

IV

Правительство Луи-Филиппа, верное провозглашенному им «принципу невмешательства» во внутренние дела других стран, осталось совершенно

чуждо бельгийской революции 1830 г., но не могло помешать французским демократам (в частности, членам республиканского «Общества друзей народа») лететь на помощь бельгийцам, не могло помешать и агитации части французской либерально-буржуазной печати за присоединение Бельгии к Франции. В глазах европейских монархов, членов Священного союза, оно оказывалось ответственным за бельгийские события. Военная тревога, нависшая над Европой после Июльской революции и несколько ослабевшая после признания Луи-Филиппа Англией, Австрией, Пруссией, теперь снова усилилась. В правящих кругах России снова стало раздаваться бряцание оружием, снова стали слышаться угрозы по адресу Франции. «Король голландский—друг России, он находится под защитою трактатов, и это может повести к войне»,—писала 6 сентября 1830 г. княгиня Ливен вождю английской либеральной оппозиции, Грею. «Царь любит принца Оранского [сына голландского короля.—*А. М.*], как брата [он был женат на сестре Николая I, великой княгине Анне Павловне.—*А. М.*]»,—добавляла она. Раздражение жены русского дипломата не знает границ. «Что мне за дело до этих негодяев—бельгийцев и до этих прирейнских провинций, которые вместо того, чтобы обожать своего короля, который относится к ним, как отец, обращают свои взоры к Франции,—с возмущением восклицает она.—И эти венгерцы, помышляющие о том, чтобы отложиться! И эти итальянцы, которые волнуются! Даже в самой Вене проявляется нечто вроде общественного мнения; разве все это может быть терпимо? А всему виною Франция!»[48]. Напрасно лорд Грей утверждал, что против образа действий французского правительства нельзя ничего сказать. «Это все одно лицемерие»,—возражала Ливен.



ИЮЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1830 г. В ПАРИЖЕ. ШТУРМ ТЮИЛЬРИ
Современная литография неизвестного художника
Музей изобразительных искусств, Москва

3 октября (21 сентября ст. ст.) Дибич, все еще находившийся в Берлине, отправил в Петербург большой доклад по вопросу о военных мероприятиях на случай европейской войны, которую он считал почти неизбежной. Делая правительство Луи-Филиппа ответственным за бельгийскую революцию и подозревая его в намерении присоединить Бельгию к Франции, русский фельдмаршал рекомендовал, в качестве предупредительной меры против французского вмешательства, занятие бельгийских крепостей частью прусскими, частью английскими войсками. Но Пруссия выступит, по мнению Дибича, лишь в том случае, если ей будет обеспечена поддержка России. Только присутствие русских войск сможет, по словам Дибича, сдержать «махинации агитаторов» (т. е. революционеров), которые не замедлят поднять голову в Германии после ухода прусских войск по ту сторону Рейна. Дибич излагал составленный им и одобренный прусским военным командованием план движения русских войск (в составе гвардии, армии Царства польского и пяти армейских корпусов) в Германию, до реки Одера, «откуда, если бы потребовали обстоятельства, они могли бы продолжить свой путь к Рейну и далее». «Дальнейшее продвижение войск за Рейн будет зависеть от хода событий и от того, как сложатся тогда обстоятельства,—писал фельдмаршал.—*Первая наметка плана, который мы набросали здесь, такова: большая часть прусских войск при поддержке одного или двух корпусов нашей армии вступит в Бельгию и во Фландрию, в то время как основная масса наших войск, подкрепленная тремя прусскими корпусами, направится через Шампань к французской столице. На юге, в районе Верхнего Рейна, австрийцы с тремя корпусами Германского союза опрокинут сперва слабый натиск со стороны Эльзаса, а затем двинутся в центр Франции...*»[49].

Таков был план военной интервенции в Бельгию и во Францию, который выработан был в Берлине в сентябре—октябре 1830 г. при руководящем участии русского уполномоченного. План этот предусматривал совместные действия вооруженных сил трех крупнейших военных монархий Европы—России, Австрии и Пруссии, поддержанных войсками Германского союза.

Николай I, вполне разделяя планы Дибича, поспешил начать подготовку к их осуществлению. 5/17 октября он писал своему военному министру, графу А. И. Чернышеву: «Депеши, только-что полученные мною, таковы, что надо принять безотлагательные меры для нашего выступления в поход. Король нидерландский пишет мне, прося, на основании существующих трактатов, о вооруженной помощи. Нетерпение Вильгельма *так велико*, что он просит меня послать часть войск, если это возможно, морем. Вы сами понимаете, что это дело неосуществимое в настоящее время года. Если бы эта запоздалая просьба пришла месяцем раньше, то все меры были бы приняты для ее удовлетворения. Теперь же речь идет о следующем: вы уведомите фельдмаршала Сакена, что 1-й и 2-й корпуса, а также 3-й и 5-й резервные кавалерийские корпуса должны быть приведены в состояние военной готовности. Вы знаете уже..., что 5-му резервному кавалерийскому корпусу дано приказание двинуться в Волынскую губернию, чтобы приблизиться к границе. Завтра я посылаю при-

казание 3-му резервному кавалерийскому корпусу (уже переведенному на военное положение) итти в Подолию и расположиться там. 3-й пехотной дивизии дано приказание сосредоточиться в Вильне. Вот чем ограничиваются меры, уже принятые». Чернышеву предлагалось дополнить их срочной закупкой лошадей для нужд артиллерии, переводом частей 4-й дивизии в Ригу и в Динабург, концентрацией 1-й дивизии близ прусской границы, возвращением на службу всех отпускных в корпусах, предназначенных для участия в походе, и т. п. мероприятиями. «По моим расчетам, ранее, чем через два месяца, мы не в состоянии будем выступить, по крайней мере, со всеми силами»,—писал Николай и добавлял: «Остается знать, не послужит ли одно известие обо всех этих обширных приготовлениях, о которых вы, не делая из них тайны, можете говорить громко, хотя и без аффектации,—к тому, чтобы предотвратить войну, которой все мы искренно желали бы избегнуть». Последние слова плохо вязались со всем тоном письма, заканчивавшегося следующей припиской: «Ускорьте движение казаков»[50].

«Наши военные приготовления идут хорошо»,—писал Николай 13 ноября Дибичу, сообщая ему, что к 22 декабря русская армия сможет выступить в поход, чтобы проучить «якобинцев всех стран». «Я вполне доволен настроением наших офицеров: все они готовы к походу и в восторге от него»,—добавлял император. Столь же воинственно был настроен Чернышев. В письме к Дибичу от 21 ноября военный министр горько жаловался на «людей, ослепленных настолько, чтобы верить в возможность предотвратить грозу конференциями и переговорами». «В настоящем деле речь идет о нашем существовании, о борьбе не на жизнь, а на смерть между законными правительствами и демагогией,—горячился Чернышев.—Пора противопоставить железный барьер этому ужасному потоку [революции.—*А. М.*], который через год, а может быть, и через несколько месяцев затопит добрую половину Европы; где найти тогда средства сопротивления?». «Если бы лондонский, берлинский и венский кабинеты поступили в свое время так, как наш обожаемый государь,—с сожалением замечает Чернышев,—зло уже давно было бы вырвано с корнем»[51].

Министр финансов и министр иностранных дел не разделяли воинственных настроений военных кругов и самого императора. 22 октября (н. ст.) Нессельроде писал Дибичу, что, поскольку Англия противится вооруженному выступлению против Бельгии, Пруссия не может послать туда более 25 тысяч солдат, а русская помощь подоспеет лишь через несколько месяцев, военная интервенция в бельгийские дела становится невозможной. Невозможность ее вице-канцлер обосновывал и ссылками на тяжелое внутреннее положение империи: «В очень многих губерниях,—писал он,—свирепствует холера, их пришлось поэтому освободить от рекрутского набора; внутренняя торговля остановилась в результате мер, которые пришлось принять, чтобы помешать распространению этого бича... Урожай был плох, и налоги поступают слабо. И при таких-то предзнаменованиях мы приступаем к приготовлениям к войне, последствия которой может предсказать один лишь бог». «Не надо, конечно,—заключает Нессельроде,—унывать и падать духом перед обстоятельствами, но мне казалось необходимым изобразить вам печальную картину нашего внутреннего

положения, дабы вы могли руководствоваться ею во всех планах, которые вы будете разрабатывать с прусским кабинетом»[52].

Это письмо было настоящим ушатом холодной воды для вояки Дибича, который, по ироническому замечанию одного из его берлинских собеседников, генерал-адъютанта графа Ностица, «держался крайне воинственно» и «с большой самоуверенностью говорил о прогулке в Париж и т. п.»[53].

Еще более охлаждающим образом должно было подействовать на фельдмаршала другое письмо министра иностранных дел, от 9/21 ноября. «Я провел утро,—сообщает Нессельроде,—на очень печальном заседании, на котором Канкрин [министр финансов] развернул перед нами картину нашей финансовой нужды. Не разделяя полностью его мнения насчет нашей несостоятельности, я должен, однако, согласиться с тем, что источники займов и некоторых других чрезвычайных мер совершенно иссякли. Без субсидий от Англии я не знаю, где мы найдем средства на войну, продолжительность которой никто предсказать не может»[54].

О том, каких больших расходов потребовала бы война, можно судить по тому, что один только перевод на военное положение частей, выделенных для участия в ней, должен был обойтись в 10 822 294 руб. И все же Дибич не сдавался. «Если наши финансы не позволяют нам защищать спокойствие Европы, то они еще гораздо меньше позволят нам выдержать борьбу, когда эта самая Европа станет освобождать Польшу»,—отвечал он 30 ноября Нессельроде. «Сама война дает средства для ее ведения, особенно, если вести ее как следует, т. е. вперед и ура!»—доказывал фельдмаршал, с «великолепным» презрением «дворянина старого рода» (так он именует себя сам) и истого солдафона николаевской России отзываясь о «злополучном денежном двигателе», который «жиды и атеисты» хотят, по его словам, «сделать основой будущих порядков в Европе»[55].

Но как ни упорствовал Дибич, он не добился ничего: даже Чернышев должен был признать внутреннее положение империи весьма тяжелым. «Теперешнее состояние России не может не внушать беспокойства,—доносил своему правительству английский посол:—Вся территория между Тифлисом, Астраханью, Оренбургом и Москвою опустошена эпидемией, которая распространится, может быть, скоро на всю империю. Все сообщения и всякая торговля прерваны, никакое рекрутирование армии невозможно... Россия должна рассматриваться в настоящий момент, как совершенно непригодная к бою. Сомневаюсь, чтобы даже в том случае, если бы армии удалось избежать заразы, общественное мнение, обычно инертное в этой стране, позволило России ввязаться во внешнюю войну, в то время как эпидемия производит такие опустошения в ней»[56].

Несмотря на такое плачевное состояние страны, Николай I продолжал готовиться к войне. Не соображения внутреннего порядка, а обстоятельства внешнего характера сорвали подготовлявшееся в Петербурге вооруженное выступление против бельгийской революции. Оказалось, что из всех великих держав одна только Россия готова выступить в роли интервента. Наметившееся после Июльской революции сближение между Англией и Францией[57] и сочувственное отношение английского общественного мнения к освободительной борьбе бельгийского народа принудили герцога Веллингтона занять позицию враждебную планам интервенции против Бельгии и предложить другим державам созыв конференции для урегу-

лирования бельгийских дел. Кабинет вига Грея, пришедший вскоре (16 ноября 1830 г.) на смену торийскому кабинету Веллингтона, еще более решительно выступил против всякой помощи голландскому королю.

Антиинтервенционистская позиция Англии оказала сдерживающее влияние на поведение других европейских держав. Еще большее влияние оказало на них заявление французского правительства, что оно не допустит чьей-либо интервенции против Бельгии. «На каждого пруссака, который поставит свою ногу в Бельгию, в нее тотчас же войдет десять французов... Себастиани [французский министр иностранных дел] сам сядет на коня и поведет французские батальоны к нам на помощь»,—уверенно сообщал в Брюссель 1 декабря уполномоченный бельгийского временного правительства, Рожье[58]. «Франция не допустит, чтобы принцип невмешательства был нарушен,—говорил в тот же день в палате депутатов председатель совета министров Лафит.—Она постарается, вместе с тем, помешать и нарушению мира... Если же война станет неизбежной, то пусть всему миру будет доказано, что мы ее не хотели и что мы ее ведем только потому, что нас поставили перед необходимостью выбирать между войной и отказом от наших принципов... Мы будем продолжать переговоры, мы будем вооружаться. В самом скором времени мы будем иметь, помимо крепостей, снабженных провиантом и средствами обороны, пятьсот тысяч солдат, готовых к бою, хорошо вооруженных, хорошо организованных, хорошо руководимых. Миллион национальных гвардейцев поддержит их, и король, если это потребуется, станет во главе нации. Мы выступим вперед сомкнутыми рядами, сильные нашей правотой и нашими принципами. Если при виде наших трехцветных знамен разразятся бури и придут нам на помощь, тем хуже для тех, кто их вызовет». Пригрозив, таким образом, реакционным правительствам Европы перспективой революционных выступлений за пределами Франции в случае, если последняя будет втянута в войну с новой коалицией, Лафит закончил указанием, что англо-французский альянс есть лучшая гарантия мира[59].

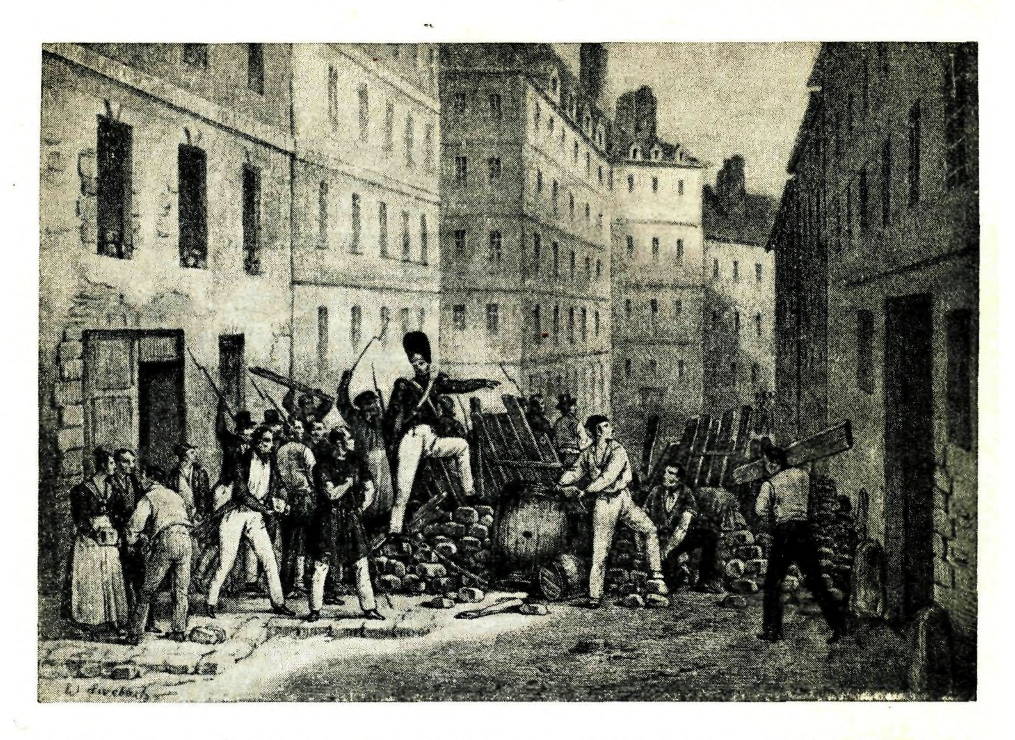
Речь Лафита отнюдь не означала, что правительство короля-буржуа намерено оказать поддержку освободительным движениям в других странах, как того требовала французская демократия. «Мы хотели,—разъяснял 2 декабря Себастиани в письме к Талейрану смысл лозунга невмешательства,—противопоставить его противоположному принципу, санкционированному Священным союзом, но, как и всякий другой принцип, он имеет свои границы. *Мы не хотели, понятно, поощрять народы к тому, чтобы они свергали правительства в расчете на поддержку нашего оружия*... Мы не могли бы стремиться к тому, чтобы помешать какому-нибудь государю силою оружия подавить часть своих владений, которая сбросила бы его власть... *Но в бельгийских делах речь идет о нашей собственной безопасности; мы не можем допустить, чтобы туда вступили войска какой-либо иностранной державы*»[60].

С того момента, как прусское правительство убедилось в том, что интервенция против Бельгии приведет его к войне с Францией и что Англия поддерживает последнюю, оно отказалось от всякой помощи голландскому королю. Со своей стороны, австрийский император, ссылаясь на «географическое положение» своей монархии, отвечал, что может оказать ему только моральную поддержку. Слабость австрийской армии и необходимость

держать сильные гарнизоны в Верхней Италии, где национально-освободительное движение получило после Июльской революции новый импульс, исключали всякое участие монархии Габсбургов в войне против Бельгии и, стало быть, Франции. Но, отказываясь осенью 1830 г. от поддержки короля Нидерландов, венское правительство отнюдь не отказывалось в принципе от интервенционистской политики. «Император никогда не признáет принципа невмешательства перед лицом активной революционной пропаганды»,—писал Меттерних 21 октября дипломатическому представителю Австрии в Лондоне, князю Эстергази: «Е. и. в. признаёт за собой не только право, но и обязанность оказывать всем законным властям, подвергшимся нападению общего врага, все виды помощи, которые допустят обстоятельства»[61]. Ратуя за всемерное укрепление Священного союза, этого «единственного,—по его словам,—якоря спасения, который еще остается у Европы»[62], высказываясь за тесный союз «трех великих континентальных держав», за объединение «их военных сил» и скорейшее приведение их «в состояние быстрой готовности», австрийский канцлер оговаривался, что этот союз, при наличии стольких угрожаемых пунктов, не должен ввязываться в такое безнадежное дело, как вмешательство в бельгийские дела.

Такой ответ получил в Вене чрезвычайный уполномоченный русского императора, граф Орлов, перед своим отъездом из австрийской столицы, состоявшимся 9 декабря. Четыре дня спустя Меттерних в письме к австрийскому послу в Петербурге, графу Фикельмонту, переходя от бельгийской революции к характеристике положения дел в других европейских государствах и рисуя его в достаточно мрачных красках, приходил к выводу о необходимости предоставить Францию «ее собственным заблуждениям и их неизбежным следствиям» и выражал при этом уверенность в том, что «ничто из того, что существует или кажется существующим в этой несчастной стране [«несчастной», конечно, со времени Июльской революции!—*А. М.*], не удержится», поскольку правительство Луи-Филиппа «не опирается на прочную базу» и живет «только призрачной жизнью». «Революция,—утверждал Меттерних,—напоминает вулкан, а вулканам свойственно потухать и затем прекращать свою деятельность. Вопрос заключается в том, совершится ли это потухание в кратере, или же лава разольется по другим участкам. В том и другом случае державы должны будут занять позицию оборонительную, но крепкую, для того ли, чтобы помочь разлитию лавы к центру деятельности вулкана [т. е. к Франции.—*А. М.*], для того ли, чтобы помешать, насколько им удастся, ее разлитию на чужую территорию»[63].

Позиция, занятая в бельгийском вопросе Англией, Пруссией и Австрией, заставила смириться и Николая I. «Так как при наилучшем желании не было никакой возможности приступить к немедленным действиям, ибо ни одна из держав, не исключая и России, сделать этого не в состоянии, то не остается ничего более, как воспользоваться зимою для организации грозной коалиции четырех держав; одна только эта комбинация может спасти Бельгию и предохранить Европу от еще бóльших несчастий»[64],—писал 17 ноября 1830 г. Дибичу граф Нессельроде. «Грозная коалиция» эта (Россия, Австрия, Пруссия и Голландия), однако, не состоялась: вспыхнувшее 29 ноября того же года восстание в Варшаве на целый год связало руки Николаю I, главному участнику предполагавшейся интервенции, и отвлекло его внимание как от бельгийских, так и от французских дел. «Таким



ИЮЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1830 г. В ПАРИЖЕ. СООРУЖЕНИЕ БАРРИКАД НА УЛИЦЕ СЕНТ-ОНОРЕ
Литография Эд. Свебаха, 1830 г.
Музей изобразительных искусств, Москва

образом, Польша вторично [в первый раз в 1795 г.], ценою самопожертвования, спасла европейскую революцию»[65].

Спасена была и Бельгия. 20 декабря 1830 г. конференция представителей пяти великих держав—Англии, Франции, Австрии, Пруссии и России—признала национальную независимость Бельгии, ее отделение от Нидерландов, к которым она была насильственно присоединена в 1815 г.

V

Велик был энтузиазм, пробужденный Июльской революцией среди польских националистов всех трех частей бывшего Польского государства, входивших в состав России, Австрии и Пруссии. «Известие о событиях, происходящих в настоящий момент в Париже, привело в движение Познань... Бурное ликование проявилось повсеместно при первых же слухах, распространившихся по этому поводу»,—читаем в донесении русских полицейских властей от 19 августа 1830 г.[66]. Победа революции во Франции и успехи освободительной борьбы бельгийского народа окрылили и поляков. В Познани революционное брожение среди ее польского населения и подготовка восстания приняли такие размеры, что прусское правительство поспешило наводнить великое герцогство войсками, во главе которых поставлен был старый фельдмаршал Гнейзенау, победитель Наполеона при Ватерлоо. Со своей стороны, австрийское правительство направило большую армию в Галицию, где также замечалось усиление освободительного движения среди поляков.

Восстание 29 ноября 1830 г., заставившее в. к. Константина бежать из Варшавы и распространившееся затем на все Царство польское, не было

только откликом на революцию во Франции и в Бельгии, но революция в этих двух странах дала новый импульс борьбе поляков за свое национальное освобождение, ускорила взрыв их восстания против гнета царской России. «Известие об Июльской революции,—рассказывает один современный историк,—было встречено здесь [в Варшаве.—*А. М.*], как заря польского освобождения. Трехцветное знамя, поднятое над домом французского консульства, знамя, цвета которого Польша так долго считала своими, казалось сигналом ее пробуждения к независимости. Концентрация русской армии, слух, что она должна пройти через Польшу, чтобы вступить в пределы Германии, и что корпус русской армии займет Царство, в то время как польские войска будут брошены в войну с Францией, усилили озлобление, особенно среди молодежи военной школы»[67]. Именно из этой среды и вышли руководители восстания 29 ноября.

Восстание поляков против царского правительства, этого «жандарма Европы», вызвало большой энтузиазм во Франции среди демократических слоев ее населения, а также в кругах либеральной буржуазии, требовавшей активной внешней политики, борьбы за французскую гегемонию на континенте. В Париже под главенством Лафайета, поддерживавшего личные связи со многими польскими революционерами, образовался смешанный комитет из представителей польской эмиграции и французских либералов, который занялся сбором денежных средств в пользу восставшей Польши и агитацией за оказание ей и другой, более действительной, помощи—помощи оружием. Идея вооруженной поддержки борющихся за свою национальную независимость поляков широко пропагандировалась во французской либеральной печати. Особенно горячо отстаивала ее, эту идею, газета «Насьональ». Того же требовали от правительства представители левого крыла палаты депутатов, так называемой «партии движения». В декабре 1830 г., на похоронах Бенжамена Констана, польский эмигрант Шапский произнес пламенную речь, в которой призывал всех друзей свободы во Франции поддержать поляков; ему была устроена овация. Не только из Парижа, но и из некоторых провинциальных городов Франции (Лиона, Страсбурга и др.) ряд пылких демократов отправился в восставшую Польшу и принял участие в борьбе с царскими войсками; некоторые из них нашли здесь смерть на поле битвы.

Но все надежды на вооруженное выступление французского правительства в пользу восставших поляков оказались тщетными. Напрасно обращалось к нему за помощью варшавское революционное правительство, командировавшее в Париж своего уполномоченного, генерала Княжевича. Луи-Филипп и его министры не хотели и слышать о каком бы то ни было вмешательстве в польские дела, которое могло привести к войне с Россией и вызвать против Франции новую европейскую коалицию. Верное своему принципу невмешательства, своей тактике отказа от поддержки освободительных движений за границей, озабоченное сохранением мирных отношений с петербургским двором, правительство короля-буржуа предало поляков. Пользуясь доверием последних, французский консул в Варшаве, Дюран, выдавал их планы русскому правительству. В то же время французский поверенный в делах в Петербурге, барон Бургуэн, заверял русского министра иностранных дел в том, что Франция не окажет никакой поддержки этому восстанию. Чтобы замаскировать свою предательскую политику в польском вопросе, Луи-Филипп сделал несколько робких представлений русскому послу о желательности «дружественного согла-

шения» между правительством Николая I и восставшими поляками и несколько нерешительных предложений посредничества[68]. Предложения Поццо ди Борго отклонил, заявив, что вопрос о польском восстании есть вопрос не международной политики, а внутренний русский вопрос.

Тщетно обращались поляки за помощью к герцогу Мортемару, когда в конце января 1831 г. он проезжал через Варшаву, направляясь в Россию в качестве чрезвычайного посла короля французов. «Мои инструкции дают мне право выступать лишь в пользу Царства польского в том виде, в каком оно было конституировано на венском конгрессе,—отвечал Мортемар.—Если поляки захотят пойти дальше, они не смогут рассчитывать на поддержку Франции». Он добавлял, что французское правительство не намерено итти на войну с Россией, и убеждал своих польских собеседников прекратить вооруженную борьбу. Его уговоры не имели успеха. «Французская демократия возьмет в свои руки управление событиями и окажет поддержку Польше,—отвечали Мортемару польские революционеры.—Общественное мнение заставит вашего короля и ваши палаты притти к нам на помощь». И они произнесли при этом имя Лафайета, столь популярное в тот момент среди европейской демократии[69].

Но Лафайет обманул ожидания своих польских почитателей, как не оправдал он и надежд, возлагавшихся на него другими иностранными революционерами. «Новый французский король сумел завлечь старика в свои сети..., этот бывший герой свободы теперь только раб герцога Орлеанского»,—с горечью писал из Парижа польский эмигрант Радонский своим познанским друзьям[70]. Но, разочаровавшись в Лафайете, он не терял надежды на французскую демократию, на ее помощь освободительной борьбе польского народа.

Эта помощь ограничилась индивидуальными усилиями. Тщетны были все попытки либеральной и демократической оппозиции добиться изменения курса внешней политики Июльской монархии. Напрасно было все красноречие генерала Ламарка, требовавшего революционной войны со Священным союзом, взывавшего о помощи полякам. «Благородная Польша устала от режима кнута,—говорил он 11 января 1831 г. в палате депутатов.—Она простирает свои руки к Франции, своему старому союзнику. Неужели мы заглушим наши привязанности, забудем наши исторические воспоминания и волны Эльстера, хранящие еще имя Понятовского? [польского генерала, маршала наполеоновской армии, утонувшего во время кампании 1813 г. в реке Эльстер.—*А. М.*] Она [Польша.—*А. М.*] воскликнула: «Свобода или смерть!». Неужели мы ответим ей: «Умри!»? Неужели Прага и Варшава увидят второго Суворова?»[71].

16 сентября 1831 г. Париж узнал о падении Варшавы, взятой войсками Паскевича. «Порядок царствует в Варшаве»,—в таких словах сообщил об этом радостном для реакции событии министр иностранных дел короля-буржуа, граф Себастиани, с трибуны французской Палаты депутатов. Демократический, плебейский, рабочий Париж ответил угрозами по адресу дипломатического представителя царской России, бурными антиправительственными демонстрациями, баррикадами, вооруженными схватками с полицией, продолжавшимися целых четыре дня.

Народные массы Франции и их передовой отряд, пролетарии и полупролетарии столицы, с исключительной силой продемонстрировали в эти дни свое сочувствие освободительной борьбе всех угнетенных народов и свою ненависть к их угнетателям.

VI

Энтузиазм, вызванный Июльской революцией среди прогрессивных людей всей Европы, стал скоро остывать, по мере того, как все яснее обнаруживалась половинчатость результатов этой революции, обманувшей демократические и патриотические чаяния народных масс, не давшей им политических прав и не принесшей улучшения их материального положения. Пожалуй, ярче всех это разочарование в непосредственных результатах революции 1830 г., овладевшее вскоре даже самыми восторженными из ее почитателей, выразил великий немецкий поэт Гейне. 28 декабря 1831 г., стало быть, через несколько недель после подавления рабочего восстания в Лионе, он писал из Парижа: «Луи-Филипп, который обязан короной народу и булыжникам июльских мостовых,—неблагодарный человек, отступничество которого тем более прискорбно, что с каждым днем становится все более ясно, какому грубому обману здесь поддались. Да, каждый день делаются явные шаги вспять, и подобно тому, как камни мостовой, которыми в Июльские дни пользовались, как оружием, и которые с тех пор еще лежали в некоторых местах нагроможденными в кучи, теперь снова спокойно вбивают в землю, чтобы не оставалось никаких видимых следов революции,—так и народ втаптывают, словно камни, на прежнее место и снова попирают ногами»[72].

Этот горький вывод не лишает, однако, Гейне уверенности в том, что французский народ еще не сказал своего последнего слова. «Vive la France! Quand même!..»—оптимистически восклицает поэт[73].

Из русских передовых людей того времени особенно тяжело переживал разочарование в социальных последствиях Июльской революции «неистовый Виссарион»—наш великий демократический критик Белинский. В апреле 1844 г., говоря о небывалом успехе романа французского писателя Эжена Сю «Les Mystères de Paris» («Парижские тайны») и пытаясь «объяснить местные и исторические причины такого успеха», Белинский усматривал их в Июльской революции и ее результатах. Победило мещанство. Народ, сражавшийся с войсками короля Карла X и победивший их, был обманут. «Вечный работник собственника и капиталиста, пролетарий, весь в его руках, ибо тот дает ему работу и произвольно назначает за нее плату... Этой платы бедному рабочему не всегда станет на дневную пищу и на лохмотья для него самого и для его семейства, а богатый собственник с этой платы берет 99 процентов на сто... Хорошо равенство! И будто легче умирать зимою, в холодном подвале или на холодном чердаке, с женою, детьми, дрожащими от стужи, не евши уже три дня, будто легче так умирать с хартией, за которую пролито столько крови, нежели без хартии, но и без жертв, которых она требует?».

Вывод—неправильный, в духе социалистов-утопистов, но самая картина социальных контрастов и эксплоатации трудящихся, не изменившаяся и после 1830 г., нарисована правдиво и с большой силой. Более того: Белинский приходит к заключению, что будущее принадлежит не буржуазии, восторжествовавшей в 1830 г. и присвоившей себе все плоды победы над легитимной монархией, а трудовому народу. «Изображая французский народ в своем романе,—замечает он,—Эжен Сю смотрит на него, как истинный мещанин (bourgeois), смотрит на него очень просто— как на голодную, оборванную чернь, невежеством и нищетой осужденную на преступления. Он не знает ни истинных пороков, ни истинных добродетелей народа, не подозревает, что у него есть будущее, которого уже нет

у торжествующей преобладающей партии, потому что в народе есть вера, есть энтузиазм, есть сила нравственности. Эжен Сю сочувствует бедствиям народа, зачем отнимать у него благоразумную способность сострадания, тем более, что она обещала ему такие верные барыши? Но **как** сочувствует,—это другой вопрос. Он желал бы, чтобы народ не бедствовал и, перестав быть голодною, оборванною и, частью поневоле, преступной чернью, сделался сытою, опрятною и прилично себя ведущею чернью, а мещане, теперешние фабриканты законов во Франции, оставались бы попрежнему господами Франции, образованнейшим сословием спекулянтов»[74].

Классово-буржуазная сущность Июльской монархии и ее консервативный характер обрисованы в этих словах с большой выразительностью.

Конечно, Белинский был не единственным представителем русского и европейского радикализма того времени, отдававшим себе достаточно ясный отчет в росте значения рабочего вопроса после 1830 г., а еще более после 1831 и 1834 гг. (после двух восстаний лионских ткачей). Но из русских демократов этого периода он отметил данный факт в особенно рельефной форме. Следующий период французской и европейской истории, период революции 1848 г., должен был показать, что конфликты между трудом и капиталом, с большой силой выявившиеся уже на-завтра после июльских событий 1830 г., займут теперь главное место в классовой борьбе европейского общества.

Но оставался еще другой фронт, фронт борьбы между буржуазно-демократической Францией и полуфеодальными монархиями Европы во главе с царской Россией. «Европейская аристократия попрежнему питает глубочайшую ненависть к Франции, это—кровная вражда, которая может окончиться лишь уничтожением одной из этих сил»,—писал 16 июня 1832 г. Гейне[75]. О силе этой ненависти можно судить по следующему отрывку из письма одного русского реакционера, графа А. П. Толстого, к другому—М. П. Погодину, письма, относящегося к лету 1832 г.: «Что европейцы? Духом отрицания и разрушения, и холода, и ненависти означены события во Франции. Что реформа [избирательная], никаких ни материальных, ни нравственных выгод не обещающая Англии, но грозящая смутами, переворотами, распадением, резнею»[76].

В этих словах звучала не только ненависть, но и страх. Последний не проходил. Правда, и внутренняя и внешняя политика нового французского короля с каждым днем становилась все консервативнее, но, кроме него, во Франции были те, кого европейские реакционеры именовали, по старой памяти, «якобинцами». Николай I не скрывал того страха, который они ему внушали. «Мортемар прибыл,—писал он Константину 31 января 1831 г.—Все, что он говорит, лишний раз подтверждает то, что весь вопрос во Франции сводится к следующему: кто окажется сильнее—король или якобинцы. Если—якобинцы, тогда неизбежна война, притом война не на жизнь, а на смерть»[77].

Так же рассуждал и Меттерних, которого революционные события в Европе и, в частности, в Германии в начале 30-х годов приводили в состояние тревоги близкой к панике. Памятником этой тревоги служит переписка канцлера австрийской монархии за эти годы (особенно его письма к баварскому министру князю Вреде). Указывая на рост революционного движения в разных странах, Меттерних не устает призывать к сплочению всех консервативных сил Европы против общего врага—

революции. Такие же призывы исходили в это время от царского правительства и от правительства прусской монархии.

Признав Июльскую монархию, Россия, Австрия и Пруссия не думали, однако, отказываться от планов военной интервенции против Франции, как ведущей страны европейского революционного движения того времени. В 1832 г. в Берлине, по инициативе Николая I, состоялись секретные переговоры по вопросу об организации войны против Франции, в которых приняли участие представители русского, прусского и австрийского главных штабов (царское правительство было представлено на этом совещании генералом фон Нейдгардтом).

15 октября 1833 г. уполномоченные России, Австрии и Пруссии—граф Нессельроде, граф Фикельмонт и Ансильон—подписали в Берлине секретный договор, возобновлявший основные положения договора о Священном союзе, подписанного теми же государствами 26 сентября 1815 г. Договор этот состоял из трех статей. Первая из них гласила: «Дворы австрийский, прусский и русский признают, что каждый независимый государь имеет право призывать к себе на помощь как при внутренних смутах, так и при внешней опасности, угрожающей его стране, всякого другого государя, которого он сочтет наиболее подходящим для оказания ему помощи, и что этот последний имеет право оказать эту помощь или отказать в ней, сообразно своим интересам и склонностям...». Статья вторая гласила, что «в случае, если бы потребовалось материальное содействие одного из трех дворов — австрийского, прусского и русского, и какая-нибудь держава пожелала бы воспротивиться этому силою оружия, то три двора сочли бы всякое враждебное действие, предпринятое с этой целью, как бы направленным против каждого из них» и приняли бы «самые быстрые и самые действительные меры к отпору такого нападения»[78].

Договор 15 октября 1833 г. (он получил неофициальное название мюнхенгрецкого, так как был выработан на свидании Николая I с австрийским императором Францем I в городе Мюнхенгреце) был дополнен другим, специально направленным против польского национально-освободительного движения. Новая полоса реакции, обозначившаяся в Европе с середины 30-х годов и затянувшаяся более чем на десятилетие, сделала ненужным применение этих договоров до самой революции 1848 г. (до военной интервенции царской России против венгерской революции 1848—49 гг.).

Отношения между Францией и Россией оставались, однако, после 1830 г. достаточно напряженными. Но по мере того, как правительство короля-буржуа, жестоко расправляясь с революционным движением, с республиканскими восстаниями во Франции, становилось существенной опорой европейской реакции, франко-русские отношения улучшались, и Николай I начинал постепенно более благосклонно взирать на того, кого он еще недавно готов был низвергнуть вооруженной рукой, как «узурпатора». Так складывается ситуация, о которой Маркс писал в «Коммунистическом манифесте»: «Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма. Для священной травли этого призрака объединились все силы старой Европы: папа и царь, Меттерних и Гизо, французские радикалы и немецкие полицейские»[79].

Но не успел «самодержец всероссийский» насладиться зрелищем «успокоения» Франции и превращения ее в опору реакции, как новая революционная волна унесла с собой и Гизо и Луи-Филиппа, а на развалинах Июльской монархии поднялась новая французская республика.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «Allgemeine Zeitung», Augsburg, 29 August 1830, Beilage zu № 241.

[2] Gallavresi (G.), La participation des réfugiés italiens aux journées de juillet et le principe de la non-intervention.—«Etudes sur les mouvements libéraux et nationaux de 1830», P., 1932, 32.

[3] Fabre (A.), La Révolution de 1830 et le véritable parti républicain, P., 1833, I, 225 (из газеты «Tribune des départements», 30 septembre 1830).

[4] «Kloake von Hauptstadt» («клоака, а не столица»)—так называет демократический Париж прусский генерал фон Рохов в письме от 10 ноября 1830 г.

[5] Никитенко А. В., Записки и дневники. 1826—1877, СПБ. 1893, I, 273—274.

[6] Богданович Т., Французская эмиграция, вопрос об интервенции, империя, Июльская революция в свидетельствах русского вельможи.—«Анналы», П., 1924, IV, 132.

[7] Гершензон М. О., Жизнь В. С. Печерина, М., 1910, 9—10.

[8] Герцен А. И., Собрание сочинений, ред. М. К. Лемке, 1920, XII, 125.

[9] Дельвиг А. И., Мои воспоминания, М., 1912, I, 107.

[10] «Полн. собр. соч. кн. П. А. Вяземского», IX, 1813—1852, СПБ. 1884, 136—137.

[11]
В палате Английского клоба
(Народных заседаний проба),
Безмолвно в думу погружен,
О кашах пренья слышит он.

[12] Во французском подлиннике это место звучит так: «Et c'est au milieu de ces orang-outangs que je suis condamné à vivre au moment le plus intéressant de notre siècle».

[13] «Письма Пушкина к Елизавете Михайловне Хитрово. 1827—1832».—Труды Пушкинского дома, вып. XLVIII, изд. Академии наук СССР, Л., 1927, 9.

[14] «Полн. собр. соч. кн. П. А. Вяземского», IX, 136.

[15] Ibid., 138—139.

[16] Лермонтов М. Ю., Полное собр. соч., «Academia», 1936, I, 146—147.

[17] France, dis-moi leurs noms? Je n'en vois point paraître
Sur ce funèbre monument:
Ils ont vaincu si promptement
Que tu fus libre avant de les connaître.

[18] «Уткинский сборник», ред. А. К. Грузинского, М., 1904, 105.

[19] Татищев С. С., Император Николай и иностранные дворы, 1889, 147.

[20] «Переписка императора Николая Павловича с великим князем цесаревичем Константином Павловичем. 1830—1831».—«Сборник Имп. Рус. Ист. Общ.», СПБ. 1911, CXXXII, 34. (Вся эта переписка—на французском языке).

[21] Шильдер Н. К., Император Николай I, его жизнь и царствование, СПБ. 1903, II, 288—289.

[22] «Княгиня Ливен и ее переписка с разными лицами».—«Русская Старина», июнь, 1903.

[23] Bourgoing (baron Paul de), Souvenirs d'histoire contemporaine. Episodes militaires et politiques, P., 1864, 507—518.

[24] Такого же рода заверения давали министры Полиньяк и Пейронне царскому послу в Париже, Поццо ди Борго, предостерегавшему их (и по собственному почину, и по поручению из Петербурга) против политики в духе ультрароялизма, которая могла бы привести к новой революции и к свержению Бурбонов.

[25] Т. е. Полиньяка и других членов ультрареакционного министерства 8 августа 1829 г.

[26] «Сборник Имп. Рус. Ист. Общ.», CXXXII, 35—37.

[27] Ibid., 40—41.

[28] Ibid., 42—43.

[29] Ibid., 45.

[30] Guichen (vicomte de), La Révolution de juillet 1830 et l'Europe, P. [1916], 134 (депеша Поццо ди Борго от 2/14/VIII 1830).

[31] Ibid., 137 (депеша от 23/VIII (4/IX) 1830).

[32] Ibid., 155—156 (депеша лорда Гейтсбери графу Эбердину от 20/VIII 1830).

[33] «Анналы», IV, 135 (Résumé d'une conversation avec l'Empereur à Tsarskoe Selo le 16 août 1830).

[34] Ibid., 132—134.

[35] Ibid., 136—137.

[36] Шильдер Н. К., Император Николай I, II, 571—574.

[37] Schiemann (Th.), Geschichte Russlands unter Kaiser Nikolaus I, B., 1913, III, 17, 30 August 1830.

[38] 30 августа 1830 г.
[39] Шильдер, op. cit., II, 303 (перевод исправлен.—*А. М.*).
[40] Guichen, op. cit., 158.
[41] «Сборник Имп. Рус. Ист. Общ.», CXXXII, 49—50.
[42] Schiemann, op. cit., III, 420.
[43] «Сборник Имп. Рус. Ист. Общ.», CXXXII, 51—53.
[44] «Lettres et papiers du chancelier comte de Nesselrode. 1760—1850», P., 1908, VII, 152.
[45] Вручение русским послом (Поццо ди Борго) своих верительных грамот Луи-Филиппу состоялось 8 января 1831 г., позже всех других иностранных дипломатов.
[46] Шильдер, op. cit., II, 468—469.
[47] Guichen, op. cit., 161.
[48] «Княгиня Ливен и ее переписка с разными лицами».—«Русская Старина», 1903, 691—692.
[49] «Сборник Имп. Рус. Ист. Общ.», CXXII, 318—324 (разрядка моя.—*А. М.*).
[50] Шильдер, op. cit., II, 574—576.
[51] Ibid., 577 (разрядка моя.—*А. М.*).
[52] Ibid., 469.
[53] Schiemann, op. cit., 29.
[54] Шильдер, op. cit., II, 471.
[55] Ibid.
[56] Guichen, op. cit., 206 (депеша Гейтсбери Эбердину от 12/X 1830).
[57] Немалую роль в этом сближении сыграла напряженность англо-русских отношений, обозначившаяся в конце 1829 г. в связи с адрианопольским миром, а также наметившимся тогда сближением между Россией и Францией (в частности, во время завоевания последнею Алжира, что произошло перед самой Июльской революцией).
[58] Guichen, op. cit., 232.
[59] Ibid.
[60] Ibid., 271—272 (разрядка моя.—*А. М.*).
[61] Metternich (prince de), Mémoires, documents et écrits divers, V, 44, P., 1875.
[62] Ibid., 51.
[63] Ibid., 61.
[64] Шильдер, op. cit., II, 490.
[65] Энгельс Ф., Иностранная политика русского царизма, Сочинения, XVI, ч. II, 25.
[66] Schiemann, op. cit., 44.
[67] Lesur, Annuaire historique universel pour 1830, 655, P., 1832.
[68] Guichen, op. cit., 247.
[69] Guizot, Mémoires pour servir à l'histoire de mon temps, II, 280—281.
[70] Schiemann, op. cit., 44.
[71] Lesur, Annuaire historique universel pour 1830, 20.
[72] Гейне Г., Собрание сочинений, VI, 29, «Academia», 1936.
[73] Ibid., 25.
[74] «Полное собрание сочинений В. Г. Белинского», под редакцией С. А. Венгерова. СПБ. 1907, VIII, 470—474.
[75] Гейне Г., Собрание сочинений, VI, 138.
[76] Барсуков Н., Жизнь и труды М. П. Погодина, СПБ. 1891, IV, 69.
[77] «Сборник Имп. Рус. Ист. Общ.», CXXXII, 118.
[78] Мартенс Ф., Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россией с иностранными державами, СПБ. 1878, IV, I, 460—462.
[79] Маркс К. и Энгельс Ф., Сочинения, VI, 483, ИМЭЛ, 1930.

Отв. редактор *П. И. Лебедев-Полянский* Зав. редакцией *И. С. Зильберштейн*
Зам. отв. редактора *М. Б. Храпченко*

ОГЛАВЛЕНИЕ

В ТОМЕ 237 ИЛЛЮСТРАЦИЙ, 4 ЧЕТЫРЕХЦВЕТКИ И 7 ФОТОТИПИЙ.

Адрес редакции: Москва, 6, Страстной бульвар, 11, тел. 3-61-80.

Технический редактор Г. Н. Шевченко
Уполн. Главлита № Б-21142
Формат бумаги 72×110 1/16
В книге 54½ печ. листов; в 1 п. л. 68.700 зн.

Корректор Е. А. Лядова
Сдано в набор 4/II 1937 г.
Подписано к печати 2/XII 1937 г.
Тираж 5300 экз.

Отпечатано в Гознаке. Москва, Мытная, 17.

Цена 65 руб.

Переплет 5 руб.